

Конец Коровича

ISBN 978-5-85887-349-5



9 785858 873495

«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

Константин Коровин

«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

КНИГА ВТОРАЯ

2 Константин Коровин







«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

Конст Коровича

Константин Коровин

ВОСПОМИНАНИЯ,
РАССКАЗЫ, ПИСЬМА
В ДВУХ КНИГАХ



Книга вторая

Константин Коровин

«ТО БЫЛО ДАВНО... ТАМ... В РОССИИ...»



РАССКАЗЫ (1936–1939)
ШАЛЯПИН.
ВСТРЕЧИ И СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
ПИСЬМА

МОСКВА
«РУССКИЙ ПУТЬ»
2010

УДК 882,0
ББК 84(2Рос)6
К-681

ISBN 978 5-85557-347-1
ISBN 978 5-85557-349-5



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Составление, вступительная статья
Т.С. Ермолаевой

Примечания
Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной

Оформление
И.И. Антоновой

© Русский путь, 2010
© Т.С. Ермолаева, составление, вступительная статья, 2010
© Т.С. Ермолаева, Т.В. Есиная, примечания, 2010



РАССКАЗЫ
1936–1939



Праздник в Москве

Праздновала Москва праздник Рождества Христова. Без жареного или холодного поросенка, гуся — праздник как-то не обходился. С ночи запекали окорок, обмазанный тестом. Ветчина была тамбовская, первый сорт. Такой-то нигде и не было. Ну, что говорить, москвичи умели праздник справлять.

Мчались тройки к «Яру», в «Стрельну». Ночь морозная, шубы меховые, месяц серебристый. Кричал ямщик. Жила Москва, кутила.

Лилось шампанское. А хор пел:

Ах, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова...
Белокаменная...

Веревьюшки, вьюшки, вьюшки,
У барышни башмачки...
Сафьяновые...

«Трямки, трямки, трямки, трямки...» — брэнчала гитара.

Барышни были «средственные», как говорил цыган Христофор от «Яра». Но ежели вполсвиста, то терпеть можно.

Веселилась Москва.

Черные очи да белая грудь
До самой зари мне заснуть не дают...
Эх, распошел ли, мой сивый грай, пошел.
Эх, распошел ли, хорошая моя...

— Это вот ширь и черт-те што! А плачешь, вот плачешь, — разливался слезами какой-нибудь подпивший москвич.

Купцы гуляли. Трактиры, рестораны полны. Сидят за столом компаниями, одиноко, а дам почему-то нет. «Где дамы?» — удивлялись некоторые.

Но когда идет кто-нибудь с дамой по залу, все оглядываются. Позовут метрдотеля и спрашивают: «Это кто, она-то?...» Метрдотель так серьезно отвечает тихо на ухо.

Кабинеты полны гостями серьезными, там уж с дамами — обеды, ужины. Слышны романсы, пианино. «Прага», «Эрмитаж», «Метрополь» и Епишкины номера полны. Живет Москва... И так живет, что страшно — как бы не треснула. Лица у всех

как-то пополнили — такие ровные, гладкие и печальные. В выражении глубина. На челе — печать горестного раздумья.

Начальник пробирной палатки Винокуров так пополнил в лице, что едва открывает ротик и тихонько и кротко говорит одно слово: «Налей...» Больше ничего. Приятель его, кудрявый красавец-прокурор Гедиминов, с утра мрачен и пьян. Актриса Таня избила его сафьяновыми сапожками, которые он ей подарил. Прямо по морде. Он с горя ударился в вино. Так говорил своему доктору Ваньке, что она его погубила, а то б он не пил...

Ах, Москва в ту пору весело жила!

Был такой семейный случай с одним прекрасным человеком. Он был охотник, и помещик, и еще что-то. И любитель фотографии. Любил снимать фотографическим аппаратом разные виды себе на память. Ну, и знакомых. А супруга его, прекрасная дама, эти снимки проявляла у себя в подмосковной даче. Раз и проявила его снимки и видит: все девушки в рубашках, такие веселые... Супруга их всех напечатала и вставила в рамки, как полагается. И без него все в деловом его кабинете на стол расставила.

Как раз я с ним приехал к нему на дачу. Все так мило, прекрасная дача. Такая милая, умная жена. Только, когда мы с ним вошли в его кабинет, он, увидев карточки на столе, высоко поднял брови и пристально посмотрел с удивлением.

— Ты видишь? — спросил он меня.

— Вижу, — говорю, — девушки какие-то...

— Что же это такое? Это не твои штучки?

— Что ты, какие мои штучки.

— Странно, — сказал он, — непонятно... Это не мои снимки.

— Видишь, — говорю я, — ты тоже снят... Посмотри — тоже легко одет...

Приятель вынул фотографии из рамок и с негодованием разорвал.

За обедом супруга его так просто и мило сказала мужу:

— Ты видел, я напечатала твои веселые снимки. Мне помогал Чича.

— Это вы, должно быть? — посмотрев строго на Чичагова, сказал мой приятель.

— Это вы где достали?

Чичагов смеялся, закатившись.

* * *

Жила Москва и не одним разгулом и кутежами. Была талантлива. Серьезные и умные были люди. Росла промышленность, фабриканты создавали отличные товары. Купцы московские были мудры, помогали искусству. Третьяков, Мамонтов, Солдатенков, Морозов, Алексеев и много других. Первые создания Римского-Корсакова были поставлены в Частной опере Мамонтова. Москва росла, и Москва жила. Художественный театр. Москвичи любили театр, газеты много писали о театре, так много, что, казалось, в России и не было ничего другого. В прессе Императорские театры поносились, и полагалось их ругательски ругать — вообще, ругать все, что исходило из казны. Такой свободной прессы, какая была в Москве, кажется, нигде не было и вряд ли будет.

* * *

Но среди довольства, праздничного веселья была какая-то особая, глубокая печаль. Дома было скучно — так говорили все. В кутежах, у «Яра», в «Стрельне», в

«Мавритании» было что-то нарочитое, в самом разгуле была досада. Кутящий был разочарован, встревожен, как будто он кутил с горя, с досады.

— Не любит меня Маша, — говорил мне один умный фабрикант, делец, и лил слезы, когда пела цыганка:

Сброшу с себя я оковы любви
И постараюсь забытья...
Налейте, налейте бокалы вина,
Дайте вином мне упиться...

Это был человек, окончивший Московский университет, сам музыкант, часто бывавший и учившийся за границей.

Странно было то, что дома у себя эти деловые люди были вроде как бы не у себя, случайно. Не было в жизни чего-то утешного... Жены и мужья скучали, молчали. Оживали, когда гости: «Ах, милый Франц, Сережа, вы ли? Я так рада...»

Молодые барышни, красавицы, смотрели своими прекрасными глазами, скучая и грустно мигая, в таинственную даль. Туда, туда... Они как будто всё ждали, как в сказке, что прискачет на коне какой-то Еруслан Лазаревич или Бова Королевич.

...черноокий,
Высокий, статный, весь в кудрях,
Полукафтан на нем широкий,
И шапка черная в руках.

Выходили замуж, но были скучны; у некоторых дам было много поклонников, которые говорили про нее: «Она так очаровательна». И все эти поклонники, кавалеры московские, назывались «ухажерами». И все эти поклонники, ухажеры, молодые люди мчались в загородные рестораны одни и там отводили душу с цыганками, с венгерскими и русскими хорами, с Женей Крошкой, с Сашкой Пароход, с Настей Станцуй...

В развеселой московской жизни, там, глубоко внутри, была какая-то порча — трещина, червоточина. Я как-то мало видал счастливой жизни.

А милые женщины, скучающие, разговаривая с одним, уныло переводили глазами на другого.

И потому в веселье московском была особенность шумливая, разгульная, с объяснениями в дружбе, с поцелуями, слезами и быстрыми ссорами и разочарованиями, тоской, отчаянием. Про серьезнейших деловых людей говорили с уважением, но и тихонько с сожалением: «Нездоров что-то, у него запой...» Нельзя было предположить, чтобы столь серьезнейший и умный человек, прекрасный, честный делец, вдруг недели на две ударялся в пьянство, в разгул, в пляс и в одиночестве сам с собой, один, куролесил в пьяном угаре...

— Понимаешь? — кричал он. — Нет, ничего не понимаешь! И не понимала меня никогда...

Вообще, часто слышалось: «он меня не понимает», «она меня не понимает». Все как-то не понимали друг друга. Был в жизни какой-то надрыв.

И вместе с тем — москвичи были добрые люди, купечество не жалело средств на помощь страждущим, им созданы были многочисленные приюты, великолепные больницы, богоугодные заведения; в их руках росла промышленность и богатство...

* * *

На празднике приключился как-то в Первопрестольной случай забавный. Замоскворецкие друзья богатые познакомились с иностранцами. У иностранцев дамы: певица Фажетт и красавица-шансонетка Пикеле. Замоскворецкие друзья решили показать праздник по-русски, дернуть на тройках за город, за Петровский парк, в Ростокино. Там у леса был большой ресторан «Гурзуф».

— Едем к Жану, — говорили москвичи, — угостим иностранцев.

Захватили с собой и Фажетт, и Пикеле, пускай посмотрят, как москвичи празднуют. Но, чтобы не очень их узнали, захватили с собой святочные маски, которые почудней: свиные рыла, носатых и рогатых чертей, — помчались на тройках. В «Гурзуфе» весело встретили маскированных. Музыка, цимбалисты, хоры венгерские, русские, цыгане, балалайки. Маски перепутались, не могут друг друга узнать.

В большом кабинете бегали половые, несли на столы стерлядей, икру во льду, бутылки с винами.

А один из гостей в маске, с собачьей рожей, все кричал:

— Где же Параша? Устал я... Позднюю отстоял и заутреню, ничуть не спал...

И присел на большую кушетку в углу кабинета.

Веселятся гости и видят, что присевший снял сапоги, пиджак, снимает брюки. К нему подошел один из приехавших и сказал:

— Послушайте, что же вы это делаете? Вы не у себя дома.

— Как — не дома? — говорит маска с собачьей мордой, скидывая штанину. — К черту! Я, брат, устал... Спать — больше ничего. Параша, где же ты?

— Позвольте! — кричат ему. — Кто вы такой? Снимите маску.

— К черту! Где моя жена Параша? — отталкивалась собачья морда, ложась на кушетку.

Все как-то примолкли, посматривая в недоумении на странного человека. Потом иностранцы ушли из кабинета. За ними и другие.

— Где Параша, жена моя? — кричала собачья морда, оставшись один.

Хозяин ресторана, метрдотель и половые уговаривали маску, что вот все-с уехали, вам бы тоже с ними, одеться соизволите.

Маска хмуро поднялся с кушетки, надел пиджак, вынул деньги, заплатил по счету и приказал подать шубу.

— Я — Шербаев. Слыхал? — сказал он на ухо хозяину ресторана. — Понял? Нельзя мне маску снять. Нельзя. Понял? Я коммерции советник. Понял? Узнают — что будет! Ты понял или нет?

— Так точно, — говорили кругом, — извольте панталоны надеть-с...

Надев панталоны, он задумчиво сказал:

— Я в первый раз вот так. Эх, выпить, что ли?.. Садитесь все.

Подняв маску, он выпил залпом шампанское и добавил:

— Дорогие, пейте, не сердитесь на собачью морду... Но расстаться с ней не могу... Так домой к Параше приеду...

Хвостики

Помню я в далекой младости художника Лариона Михайловича Прянишникова, который был моим профессором в Школе живописи в Москве. Он рассказал мне, что, когда еще у нас был в Москве свой дом в Рогожской улице, где он служил у деда моего, Михаила Емельяновича Коровина, в конторе его писцом, мне было тогда только семь лет. Зимой в это время захворала моя мать, позвали доктора, профессора Варвинского. Приехал доктор, такой серьезный, немолодой, приехал на паре вороньих, в санях. Лошади покрыты зеленой сеткой. Кучер в бархатном казакине, рукава шелковые, голубые. Доктор открыл меховой полог, вылез из саней, вошел к нам в дом, в переднюю. Серьезный доктор, в золотых очках. Горничная Глаша помогла ему снять шубу, повесила ее на вешалку. Доктор вынул платок, высморкался. Был слышен запах духов. Он посмотрел на меня и сказал:

— Шалун, как тебя звать?

И доктора повели к больной.

— Помнишь? — спросил меня художник Прянишников. — Тебе нравился доктор, что так хорошо от него духами пахнет. И ты все у шубы его что-то вертелся у вешалки. Помнишь? — спросил меня Ларион Михайлович.

— Что-то вспоминаю, — ответил я.

— У него шуба была хорошая; мех такой, норка, что ли? И на меху висели хвостики этого зверька. Много хвостиков. Вот ты, — сказал мне Прянишников, — где-то достал ножницы и хвостики у шубы все отрезал. Унес к себе в комнату, спрятал под подушку. Помнишь? — спросил меня он.

— Помню, что-то было, да, помню, — сказал я.

Доктор-то, когда уехал от нас, тоже во визитам, к другим больным, потом домой к себе, не заметил, что хвостиков нет, а вечером поздно поехал с женой к «Яру», ужинать. Уезжая от «Яра», когда ему подавали шубу, он увидал, что хвостиков нет. Говорит: «Шуба не моя!» Рассердился ужасно. «Где хвостики?! — кричит; шубу переменили!» Доктор такой важный, вся Москва знает. Пришел сам полицмейстер, знакомый доктора, он в это время тоже был у «Яра». Все смотрели шубу, видят, хвостики отрезаны. Рассердился полицмейстер: «Кто! Что!.. Как сметь!!! Да я вас, — кричал полицмейстер, — всех!!!»

Гардеробщики бегают, чуть не плачут. «Чего, — говорят, — знать не знаем, куда хвостики делись и кто их отрезал!»

Мрачнее тучи ехал знаменитый доктор с женой домой.

— Это хитрый, хитрый вор, — успокаивала доктора жена. — Может быть, ты был у Бахрушкиных!

— Был, — говорит доктор.

— Ну вот, я так и знала. Там она, Татьяна Васильевна, ну уж! Она меня... все назло, это она отрезала хвостики, она, она!

— Постой, постой — что ты? Что ты? Татьяна Васильевна? К чему ей? Подумай!

— Нет, она, я знаю, что она! Когда я голубую шляпу себе купила у мадам Дарзанс, она — тоже голубую! Я — черную, она тоже — черную. А я возьми да серую в бисер. Она тоже хотела, искала — ан, такой нет! Вот она, назло! Я от нее крадучись к портнихам еду. Встретит когда меня, такой уж друг, целует и уж вот добрая, а сама всю меня оглядит. Змея! Она это отрезала!

— Что ты! Пстой, она кончила институт. С какой стати ей? Не кто-нибудь!
— Ну вот, я так и знала, что вы за нее горой! Нравится вам! Я вижу. Она — святая!
С каких это пор?
— Ну, постой, постой, нельзя же так, — волновался доктор.
— Да, да!
И жена, вынув кружевной платочек из муфты, вытирала, вздыхая, слезы.

* * *

А я помню, лежа в постели, разбирал хвостики, и мне казалось, что это какие-то маленькие лисички. Я их гладил, и от них пахло духами. Мне нравилось, что эти лисички-хвостики спят со мной. Они около, тут, хорошенькие! В окно была видна зима. Искрился снег, падая у фонаря, на улице. Так хорошо. Думал я, пойду гулять завтра. Выпущу этих лисичек в сад, на снег.

Утром опять приехал доктор. Я посмотрел на шубу, повешенную на вешалке, пахнет духами, а хвостиков больше нет. Пошел к себе в комнату, смотрю, хвостиков нет под подушкой. Где же они? Ищу — нигде нет. Спустился вниз, в переднюю, вижу, как моя няня Таня, горничная Глаша и тетя Аня у шубы торопятся, пришивают хвосты к шубе. Я вернулся в свою комнату и думал: «Вот мои лисички, не пойдут со мной гулять, будут висеть на шубе у доктора, и зачем?» И так стало грустно. Я заплакал. В окно видно, за загородкой, сад, покрытые инеем кусты. Вот туда я бы и пустил их, лисичек.

* * *

Доктор уехал делать дальше визиты и заехал к Бахрушкиным. Рассказал он им про случай с его шубой. Что шуба норковая и у «Яра» отрезали хвостики, и удивлялся — кому это нужно. Сама Бахрушкина, Татьяна Васильевна, всплеснула руками и сказала:

— Боже мой! Как же, ведь теперь мода, хвостики — мода, у воротника внизу рюшкой висят. Ну, будет вам, Николай Петрович, — сказала она доктору. — Как вы наивны, право! Не судите нас, мы — женщины, будьте осторожны, наверно, супруга ваша, Анна Григорьевна, хочет сделать вам сюрприз. Она, она отрезала хвостики, она.

— Да что вы, Татьяна Васильевна, с какой стати? Анна Григорьевна так расстроена, у нее мигрень сделалась, всю ночь я провозился. Примочку Распайля прикладывал.

— Нет, нет — она, вот увидите! Она такая, такая! хвостики в моде, и вот... — убеждала доктора Татьяна Васильевна.

Когда доктор уезжал, его провожали муж и жена Бахрушкины. Но когда ему подавал лакей шубу, то доктор увидел хвостики. Остолбенел в удивлении, поправлял очки и смотрел растерянно. Хвостики норковые были все целы. Доктор смотрел на Бахрушкиных, те на него.

— Непонятно! — сказал доктор.

Татьяна Васильевна посмотрела на отвороченный край шубы и дернула хвостик. Тот живо оторвался. Она посмотрела ближе и сказала, смеясь:

— Ну что же, пришито на живую нитку. Ах, ну, мне все понятно!

* * *

Задумался, ехав домой, профессор, доктор медицины. «Черт знает это что такое! Эти хвостики, если жена пришла, — зачем? А Татьяна Васильевна, она не выходила, она не могла успеть прийти, может быть, приказала».

— Стой, — сказал он кучеру, когда тот заворачивал к дому, — в «Яр»! — крикнул ему доктор.

«Как я домой приеду... Она увидит, опять сцена, огорчение. Черт эти хвостики выдумал! На кой леший они нужны? Жена расстроилась. Чувствую, узнает, что я был у Бахрушкиных. Да я и сам скажу. Я не лгу, не могу лгать! Черт вас дери», — говорит доктор медицины, глядя на шубу.

* * *

В передней «Яра» бросаются к доктору гардеробщики, снимают шубу, ботики, и рожи их расплываются в улыбках, говоря:

— Ваше превосходительство, радость! Нашлись хвостики-то! Эка радость! А мы-то, о Господи, что горя было.

Прошел доктор в большой зал ресторана «Яра» и сел один в углу под пальмой за стол. Вытянувшись, почтительно подошел к нему метрдотель и сосредоточенно выжидал, что ему закажет уважаемый гость. Гость долго выбирал в преискуранте и рассеянно сказал:

— Навагу с хвостиками, то есть просто навагу, без хвостиков. Ну, и херес, что ль.

— Слушаю-сь, — сказал метрдотель и, передавая заказ официанту, сказал тихо:

— Скажи, чтобы хвосты отрезали.

...За едой доктор видит — нет хвостов, думает: «Что это такое, это хвосты все, как я приеду домой с хвостами, оторвать их, что ли? Скорей забудется эта глупая история. А если пришла жена? Нет, тоже нельзя. Пошлю-ка я кучера за Поляковым, он судебный следователь, по важнейшим делам, он знает, скажет, как поступить».

Написал письмо и отправил кучера по адресу судебного следователя. Писал Полякову: «Выручи, дорогой друг, из безвыходного положения» и еще что-то. Судебный следователь быстро приехал в «Яр» и, садясь к столу приятеля, озабоченно спросил: «Что случилось?»

Доктор медицины Варвинский все подробно рассказал. Про случай с шубой, про отрезанные хвосты.

— Слушай, дорогой, — сказал следователь, — знаешь, священнику и доктору говорят правду, ну, и другу тоже. Скажи мне откровенно — тебе нравится эта Татьяна Бахрушкина?

— Да ты что? — удивился доктор.

— Да ничего, бывает, согласишься... Кто же отрезал эти хвосты?

— Да черт с ними, с хвостами, ты скажи, как теперь мне поступить: ходить мне в шубе с хвостами или без хвостов?

— Вот что, — предлагает следователь Поляков, — надо выручить тебя. Хотя я иду против закона, сам же участвую, так сказать, в преступлении. Я эти хвосты от шубы беру себе и присылаю тебе как найденные у похитителя, через полицию. Понял?

— Вот благодарю, отлично.

И доктор жмет руку другу следователю и вдруг говорит:

— Постой, а как же Бахрушкины скажут жене, что на шубе оказались хвосты, когда я был у них?

— Верно, — согласился следователь Поляков. — Постой, вот что, ты утром сегодня заехал ко мне, понял? Я нашел преступника, и хвосты пришили опять тебе у меня.

— Отлично, — согласился доктор. — Едем ко мне, ты объясни жене. А если жена пришила, — задумывается доктор. — Ну, хорошо, делай, как знаешь, решай. Ты юриспруденция. Выручай.

— Отлично, — сказал следователь, — едем!

* * *

В меховом магазине на Кузнецком Мосту сам хозяин Михайлов наскоро готовил большую муфту из лучшего меха, на которую нашивают хвосты по фасону парижских мод. В отдельном кабинете «Яра», на столе, убранном цветами, муфта. Летит тройка по Тверской-Ямской, в ней доктор, огорченная его супруга и судебный следователь по важнейшим делам. Увидав муфту, супруга, Анна Григорьевна, крикнула от восторга.

— Да, — сказал торжественно следователь, поднимая бокал шампанского. — Все он, — показал он на мужа. — Все он. Я только исполнял долг закона.

Жена, схватив муфту, приложила ее к щеке и ласково смотрела на супруга.

— Ну, что ж ты молчишь, ты страдал, вот он какой у меня!

* * *

Много прошло времени, и нет этих милых людей, и вспомнил я детство, рассказ художника Прянишникова, когда у лежанки зимним вечером, там, в Москве, он, смеясь, рассказал мне:

— Вот ты был какой мальчишка. Вся Москва говорила про знаменитого доктора, у которого отрезали у шубы хвосты.

И, как сон, сейчас передо мной пролетают воспоминания прошедших дней...

НОВЫЙ ГОД

Новый год в России ждали, встречали торжественно и радостно. К Новому году получались награды, повышения по службе, раздавались ордена за службу отечеству. В день Нового года делали визиты, ездили на санках, санки весело поскрипывали по мерзлому снегу. Визитер всегда был в новом костюме с иголочки, причесанный, надушенный, всегда радостный и веселый. Поздравлял, расплываясь в доброжелательной улыбке: «С Новым годом, с новым счастьем вас...»

«Что значит, — думал я, — что это за новое счастье такое? Было счастье одно, а вот наступил Новый год — и вот явилось еще какое-то новое счастье. Старое-то уж прошло, значит, несколько прокисло, и новое тут как тут. Новый год».

Однажды мой приятель, несколько желчный человек, спросил одного визитера, Колю Хитрова, молодого человека с красными не в меру губами:

— Скажите, — говорит, — дорогой, с каким это вы меня новым счастьем поздравляете?

Тот не ожидал такого вопроса и несколько удивился.

— Я, — говорит, — желаю вам, Петр Васильевич, нового счастья от всей души.
— Какого же, дорогой? Вот вы и жену мою, Софью Петровну, тоже поздравили и ей новое счастье объявили. Скажите, что такое? Я понимаю, счастье. Желаете счастья, но почему новое?

Коля Хитров растерялся и только мог сказать:

— Везде так говорят в Новый год, так принято...

— Мало ли говорят неприличных вещей, а вы повторяете, — строго сказал Петр Васильевич. — Остерегайтесь!

* * *

Вечером Коля Хитров в компании других знакомых, где были и актеры драматического театра, рассказал, что вот как странно бывает: Петр Васильевич вроде как бы обиделся на новое счастье.

— Еще бы! — сказал ему актер Вова Тamarin. — Это что ж ты говоришь, да еще жене его: с новым счастьем... Вроде как ей любовника желаешь.

Прятели засмеялись.

— Как глупо! — обиженно сказал Коля Хитров.

— Ну нет, совсем не глупо. У ней же муж, а ты ей нового счастья желаешь. Ясно, что старое счастье — ни к черту! Менять, значит, нужно...

— Позвольте, позвольте... — горячился Коля Хитров, — позвольте... Может быть, я этим словом желал ей прибавления семейства, ну, допустим, сына или дочь, мало ли что...

— Вот так ловко! Какое же тебе до того дело? Какая наглость!.. — хохотали кругом.

— Да вы с ума сошли, что ли? — кричал Коля Хитров. — Все поздравляют «с новым счастьем», так принято.

— Невозможно глупо... — говорили друзья. — Ты это брось, потому настоящий человек, женатый, может тебе и морду набить.

Коля Хитров ужасно расстроился: «Что ж это такое?.. Я столько сделал визитов, и везде я говорил “С новым счастьем”».

Простившись с друзьями и проезжая Пречистенкой, подумал: «Заеду к Савве Тимофеевичу, поздравлю». Приказал извозчику подъехать к подъезду. Слез с саней и вбежал в подъезд особняка.

Савва Тимофеевич, такой радостный, лицо веселое, гости, на столе бутылки. Коля шаркнул ножкой и поздравил хозяина дома с Новым годом, а про новое счастье умолчал.

— Ох, — говорит хозяин дома Коле Хитрову, — с Новым годом... А что такое Новый год, что в нем, чего ждать? Вот если бы новое счастье вышло, ну тогда... Хотя что это такое за новое счастье — никто и не знает... Вот сегодня поутру ко мне приехал артист, дорогой Михаил Провыч. Я его и спросил: «Вот скажи мне, дорогой, что это такое за новое счастье такое, которое все в Новый год сулят, — есть ли оно?»

Задумался Михал Провыч и сказал мне:

— Есть.

— Какое «такое»? — спрашиваю я у него.

А он: «Это, — говорит, — не иначе, как интеллигентная содержанка...»

«Вот, — думаю, — до чего верно, — прямо меня по сердцу шаркнуло. — Верно». Я ему говорю:

— Вот уж я, дорогой друг, давно ищущу интеллигентную содержанку. Трудно — не найдешь. Думаешь, нашел, интеллигентная... а потом видишь — нет, елот. Нет этой самой изюмины-то интеллигентской, нет. Да и он согласился, что трудно. Таких сколько хочешь, а вот интеллигентную — трудно найти...

Коля Хитров слушает и думает: «Вот что, это оказывается, новое-то счастье...»

И поехал дальше делать визиты.

Едет и думает: «Заеду-ка к знакомому доктору», и так раздумался дорогой, что, позабывшись, сказал опять доктору: «С Новым годом, с новым счастьем...» И вдруг вспомнил про разговор у Саввы Тимофеевича и смутился:

— Не подумайте, — сказал он доктору, — что этим поздравлением «с новым счастьем» желаю вам завести интеллигентную содержанку...

Доктор посмотрел пристально на Колю Хитрова и замигал глазами от удивления.

— Это что же вы такое говорите, дорогой? Вы что — пьяны, что ли?..

Коля Хитров опешил.

— Нет, — говорит, — я ничего... Михал Провыч говорит, «с новым счастьем» — это интеллигентная содержанка. А я-то подумал, вам-то она зачем? И по нечаянности сказал — от чистого сердца... Оговорился...

* * *

Наш Новый год за границей — совсем другой. Балы, танцы, благотворительные аллегри, нужда, забота... Лекции с углублениями, объяснениями — почему так вышло, неожиданно так случилось, что вот мы здесь.

Мрачный человек сидит в бистро и говорит собеседнику:

— Положение! Сиди и жди.

— Да! — соглашается собеседник, — до Нового года опять... Новое счастье!..

— Что же делать? Еще Куропаткин сказал, помните: «Терпение, терпение...»

— Да как же, помню. Умница был.

— Верно, я его видал. Много у нас было умов-то, куда делись? Сейчас, признаться, как-то ровно все. Нету эдаких-то сил. Вы давно Желтобрюхова не видали?

— Какого Желтобрюхова? Я его и не знаю.

— Виноват, не Желтобрюхова, а Брюханова. Вот, батюшка, голова. Он это сразу все насквозь видит и все вперед знает — как и что. Но жаль — пьет... У нас как талант, то пьет...

— А, да! А пьет-то что? — спрашивает собеседник.

— Да вы про кого?

— Я? Да так, вообще... говорю — это верно. У нас как ум или талант — то пьет, обязательно пьет.

— Ну, да. А пьет-то что?

— Как что? Вино, аперитивы, коньяк, кальвадос.

— Но позвольте, позвольте... В Париже столько бистро, ресторанов, и везде эти бутылки и вино. Его же пьют. Разве пьют только таланты, умы русские? Пьют все. В чем же дело?

— Конечно, все пьют, но только не видно, внимания на себя не обращают... А я, знаете, между делом вроде статистики веду, на всякий случай. Вроде как искусством таким занимаюсь. Надо же удовольствие иметь. Вижу — кто-нибудь обедает в ресторане, думаю — интересно. Ну-ка, что он пить будет. Гляжу — и что же? Красное вино,

полграфина. Думаю: «Притворяется». Представьте, ни рюмки водки, ни кальвадоса. Притворяется!.. Все же вынимаю книжечку и записываю: «Пьет красное вино».

— А зачем вам это нужно — записывать-то?

— А... А как же — интересно! Про него скажут: он и то, и это, а я знаю — вино пьет, записано. Сижу это, скажем, и вижу нашего знаменитого коммерции советника Растаковского. Вижу: рюмку водки выпил. Я записал: пьет водку.

— Интересно это вы... занятно...

— Очень интересно! — обрадовался собеседник. — Советую и вам — записывайте на случай. Я так: когда про кого говорят, то это я в книжечку сейчас себе и посмотрю и вижу: пьет аперитивы — пикон, сидрон а л-о. Скажем — лекции у нас часто. Читает такой-то. Ну, что-нибудь такое: «Христианство и социализм», или «Свобода и эстетика», или мораль какая-то, все равно. Я к концу вечера и смотрю, что докладчик, что пьет после лекции?

— Интересно!.. — сказал мрачный человек.

— Еще бы, как утешает, знаете.

— Верно, — сказал мрачный человек, вставая из-за стола. — Ну, а вы-то пьете? Я ведь вас пьяным видал...

— Пью, только не выделяю себя, пью все.

— Ну, прощайте, с вами разговориться интересно, очень интересно.

— Подождите минутку. А Смирнов-то — женился, люльку качает и младенцу поет, подумайте, эдакую песню:

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.
Есть для тебя у них кофточка шитая,
Шубка на лисьем меху.
Много я душ для тебя, черноглазая,
Много я душ погублю...

...Такую песню, младенцу... подумайте... А ведь общественник был. Я, говорит, хочу, говорит, ему душу русскую вставить. Почему бы это с ним?..

Рождество Христово

В середине суровой зимы, когда были короткие дни и уже в три часа наступали сумерки декабря, среди покрытой снегами России, в городах, селах и бедной лачуге у глухого леса, приветливо в канун великого праздника нашего, Рождества Христова, в окнах мелькал огонек. И радовалась душа, что вот есть праздник — Рождество Христово, Бога нашего, и есть Он.

В жизни и трудно, и горько, и нужда, и незадача, и неправда живет меж людей. А вот есть Рождество, есть надежда, есть Свет разума. Обойдется все это злое, нечестное, обманное, житейское, низменное. И придет и воссияет правда, воскреснет приязнь и дружба человеческая, смягчится душа человека, и обнимет чувство любви душу, и возлюбят друг друга.

На кухне в моем деревенском доме хлопоты. Там жарят, варят — гусь, поросенок.

Композитор Юрий Сергеевич как-то изменился в лице, глаза круглые, озабоченные. Зашел ко мне в комнату, сказал:

— Где перец?

Взял так серьезно из шкафа перец и ушел. В коридоре мимо меня прошел молча мой слуга Ленька. Тетка Афросинья серьезная. Все молчат. Как-то меня не замечают. Барана моего, собаку и ручного зайца выгнали из кухни. Они как-то все примолкли. Там горит, кипит работа. Завтра Рождество.

Я это пошел было за квасом, а мне говорят: «Нет квасу». А барана, так прямо по заду — раз! Он прямо бегом ко мне и смотрит в страхе белыми глазами. Прямо чувствуешь себя виноватым, каким-то ненужным.

Приятель Коля Курин лежит на тахте и говорит:

— Юрий, знаешь, там жарит, варит, не подступись. Я спросил: «Позвольте пройти». — «Куда тебе?» — спрашивают. Я говорю: «На крыльцо выйти, поглядеть на звезду Вифлеемскую». — «Это, — говорят, — завтра, а сейчас убирайся отсюда, мешаешь». Это еда у Юрия — все, брат, оттого он и толстый, ужас какой толстый, живот какой у него!

— Это где же вы Вифлеемскую звезду, Николай Васильевич, здесь увидели? — спросил его приятель мой, доктор Иван Иванович.

— То есть как это — где? Она вот к двенадцати часам ночи будет над горизонтом на востоке. Это вот по ту сторону, — показал он рукой.

— Нет, уж это ошибаетесь, — сказал, встав, доктор Иван Иванович. — Это здесь не Вифлеем, а Север, Владимирская губерния. Этой звезды здесь нет, нет-с.

— То есть как это — нет звезды? — заспорил, встав, Коля Курин. — Нет-с, позвольте, все звезды известны. Это еще не указано, откуда волхвы-то по звезде шли в Вифлеем. Может быть, от нас, отсюда.

Сразу отворяется дверь, и в комнату вбегают Ленька, берет со стола самовар и поспешно уходит.

— Постой! — кричу я. — Куда ты самовар тащишь? Мы еще пьем чай.

Ленька в дверях говорит:

— Юрий Сергеевич велели убрать.

И уходит.

— Что делается! — «велели убрать». Пойди, Иван Иванович, тебя Юрий слушает, — что они там все жарят?

Возвращаясь, Ленька убирает все со стола и стелет новую белую скатерть.

— Что, скоро у них там будет готово?

— Нет еще, только еще поросенка кашей набивают. Гусь-то готов. Меня послали, чтобы на стол накрывал.

— Спроси, — говорю я Лене, — Юрия Сергеевича — мы хотели пройти на крыльцо посмотреть Вифлеемскую звезду.

Ленька ушел и, вернувшись, поставил на стол тарелки.

— Ну что ж, спросил?

— Спросил. А он говорит: «Нечего им звезду смотреть, ее, — говорит, — и нету. А шляться нечего, мешать».

— Это что ж такое? — возмутился Коля. — Какая скотина! Еда — это для него все. Звезда Вифлеемская, красота, поэзия — все нипочем, только бы жрать.

— Да ведь вот, — говорит Ленька, — ее, звезду-то, и отсюда в окно видать. Вон она, над моховым болотом, вон, вправо, между елками.

Мы все подошли к окну. И правда, невысоко над горизонтом мы увидели большую мерцающую звезду. Она сияла, играя то синим, то красным светом. Она была прекрасна на темном небе, среди задумчивых снежных елей. Как радостен и заманчив был лучистый блеск ее сияния. И как-то верилось, что там, под этой звездой, есть святое, прекрасное, — есть счастье.

— Это же Венера, — сказал Коля Курин, — только и всего. Она, брат, на севере.

В это время вошел Юрий, таща за рога барана.

— Посмотри, Юрий, — сказал доктор, — вон звезда Вифлеемская.

— Довольно! — кричал Юрий Сергеевич. — Привяжите барана вашего! Если еще он лезть будет на кухню, бодаться, я его зарежу. Вы вашу Вифлеемскую звезду есть не будете, а вот поросенок пережарится.

И Юрий Сергеевич, рассерженный, ушел.

— Видал? — сказал Коля Курин. — Какой циник! Ему бы только поросенок с кашей.

* * *

В полночь за столом сидят мои приятели. Все. Дедушка, тетенька Афросинья, Феоктист, Юрий Сергеевич наливает рюмки, и все, поздравляя друг друга с праздником, выпивают.

— Ну, Юрий Сергеевич, — говорит доктор Иван Иванович, — молодчина. Гусь с капустой — прямо ты повар!

— Повар, повар. Я по книжке поваренной готовил, надо читать да на часы смотреть, а то засушишь. Когда кашу класть, тоже знать надо... капусту... А тут этот ваш баран лезет — бодается. Глуп невероятно. Раздражает.

— Карахтер у его, верно, — упрямый, озорной... — заметил дедушка, сторож моего дома.

Весело на столе светились свечи, вставленные в старинные подсвечники, освещающая хрустальные бокалы, а за ними видны окна моей деревенской мастерской — синие, темные, где далеко в неведомом крае блестела красавица-звезда.

Приятели мои были веселы, толкался около стола баран с завитыми рогами, мой Феб и ручной заяц. И приятели мои, и Феб, баран и заяц, и далекая Вифлеемская звезда как-то сливались вместе в приязни и радости праздника.

Омшайник

Помню, как-то однажды приехал я в деревню Буково, к приятелю своему, охотнику-псковичу Герасиму Дементьевичу. Приехал зимой писать из окна его дома избы картину.

Хорошо зимой в деревне. Белые снега обильно покрыли леса и долины. Замело деревни, и глухо и тихо в снегах проходит деревенская жизнь. В доме Герасима тепло, чисто, как-то особенно уютно. Топится лежанка. Радостно встретили меня жена и дочь Герасима и сказали мне, что тятенька скоро придет. К нему тоже из Москвы приехал гость-охотник.

— Кто приехал? — спросил я.

— Кто его знает, ранее он не бывал. Пошли, чучелов захватили. Знать, на загон теревей пошли.

Хозяйка поставила самовар и хлопотала с дочерью — угостить меня. Ставили на стол олады, грибы соленые, грузди, рыжики, солонину лосиную. Разбирая краски, кисти, холсты, я посматривал в окно. Высокие сарайчики, покрытые снегом, за ними большой темный сосновый лес. А впереди загородка и ветви деревьев сада в инее, темное зимнее небо, к вечеру и светлые рожки молодого месяца весело глядели средь ветвей.

Положив на палитру краски, я торопливо стал писать сумеречный пейзаж.

Вскоре по тропинке из-за сарая показался Герасим, — он нес зайца, — и с ним приехавший охотник из Москвы.

— Здравствуй, Ликсеич, вот рад, — сказал Герасим, входя. — И чего, уж и за картину принялся!

Московский охотник смахивал снег с валенок в передней и сказал, входя:

— Я вам не помешаю?

— Нет, что вы, — ответил я.

Москвич, — большого роста, красивый человек, — так деликатно и застенчиво подошел к столу, налил себе стакан чаю и, сев на лавку с краю стола, пил чай, закусывая хлебом.

Оглянувшись, я увидел, что он украдкой смотрит на мою картину.

— Простите, — сказал он, — я так люблю смотреть картины. Когда смотрю, прямо вот какая радость, меня в дрожь ударяет. Это вы сарайчики пишете? До чего я люблю эти сараи, избы, лес! И не знаю сам отчего, но вот чудно: каменные дома, казармы, дворец мне не нравятся. Сады с куртинами, стриженные деревья, клумбы с цветами — видеть не могу, а вот заросль лесная, эти сараи, — я смотрю, глаз не оторву. Что такое это во мне?

— Это ты, Ликсеич, сарайчик списываешь, это Глушкова, Александра Иваныча, его омшайник. И вот чего было. Глушков-то богатый, отец его нажил, на Волгу ходил. Ну, значит, вот что. По весне на лето он одежину, значит, шубы, свою, женину — и все хорошее зимнее добро, в омшайник этот прятал, чтобы в доме не держать. Спаси Бог, пожар, а омшайник-то на отлете стоит, нежилое место, значит. Спрятал это он одежонку, а тут Красная горка — свадьбы, значит, бывают. Сосед его, Павел Гвоздев, дочь выдавал. Глушков-то и видит, как, значит, Павел-то Гвоздев и собирается к венцу дочь везти. Ну, тарантас, гости все выходят из дому, садятся на подводы, ехать, значит, в церковь. Только Глушков и видит, что у соседа-то его, Гвоздева, шуба его надета, и у дочери, и у жены вся его одежина. «Ишь ты, — думает Глушков-то, — как он у меня нашел себе одежду». Взял ключи да и пошел в омшайник. Вот этот самый, что списываешь, пошел поглядеть. Отпер замок и видит, сундук открыт, а одежины его нет, всё украли.

«Вот, — думает, — дело какое, сосед-то какой у меня». Он к уряднику. И урядник глядит — видит, кража. Только замок цел, ходу нигде нет, пол цел, потолок тоже — удивленье, и понять нельзя.

А жена Глушкова ездила в церковь к венцу, ей муж-то, Глушков, и говорит: «Видала одежину нашу — мы обворованы, Гвоздев обокрал», а она: «Батюшки, — говорит, — да неужто». Урядник поехал к земскому. Ну, значит, через день приехал зем-

ский, идут, глядят в омшайник, отпер Глушков замок и видит, в сундуке вся одежина лежит, шубы висят, все цело. Земский как заорет:

— Это вы что ж, надо мной шутки шутите, что ли? Я кто вам такой, хвост собачий?

Так-то и так-то их: на две недели под арест Глушкова и уряднику попало.

Глушкову говорят, не иначе — это омшайник балует, — омшайник, значит, черт дворовый. Зашел это он ко мне, Глушков, и говорит: «Герасим, завтра мне идти в тюрьму сажаться, чего это такое, ума не приложу. Неужто омшайник балует? Как бы его изловить? У тебя капканы есть, вот бы поставить». А у меня в те поры портной жил, деревенский, такой проходящий, парень пройдошный. И говорит ему, Глушкову: «Я их лавливал».

Тот обрадовался: «Сделай милость, пымай мне его, не пожалею ничего».

— Меду, — говорит, — надо да четверть водки, тогда, — говорит, — пымаю.

Поехал Глушков к земскому начальнику и в ноги ему прямо: «Повремените сажать меня, ваше благородие, я пымаю его, вора, это омшайник, не иначе, что леший».

— Ну ладно, пымай, — говорит земский. — Не пымаешь — месяц сидеть тебе.

— Вот смотрите, — сказал Герасим, показывая в окно, — вона Глушков-то идет, я его покличу, он вам сам расскажет.

И Герасим вышел в дверь.

— Ну и рассказы, — сказал московский охотник, улыбаясь.

— Удивительно, — согласился я.

— А ведь есть в этих сарайчиках, в лесу темном, в месяце что-то такое, что идет к этим рассказам, есть какая-то тайная и дивная красота.

Вошел Глушков в большой шубе, такой осанистый, пожилой, снял шубу, перекрестился, поздоровался со всеми и сел на лавку к столу. Дочь Герасима налила ему чаю.

— Вот, — говорит Герасим, — смотри, Александр Иваныч, Ликсеич твой омшайник списывает.

— Чего ж, охота ежели, — сказал Глушков, — а мне на его и глядеть моркотно, хошь бы он сгорел, я к нему и не хожу.

— Скажите, — говорю я, — Александр Иванович, нам Герасим рассказал, как у вас с одежиной вышло, что же, изловили вы омшайника?

— Ловили, — ответил Глушков, — месяц целый с портным ловили, верите ли, мне две сотни стоило. И вино, и пиво, и меду, и чай-сахар... Только вот прямо он из рук ушел.

— Видали вы его?

— А как же!

— Какой же он?

— Да так вот, махонький, вроде собаки аль кошки, горбатый. Корзинкой, вот что сено берут, его накрыли. Ну и держим. Портной-то мне и говорит: «Сядем на корзину; да надо выпить, а то он тверезых не любит, пойди, — говорит, — за вином». Я это пошел, принес вина. Ну, выпили бутылку, портной-то слабый, захмелел и давай песни петь.

Хороша наша деревня,
Только славушка плоха.

— Будя, — говорю я ему, — лови, а то вино-то мое пьешь целый месяц, а дела нет.

— Иди, — говорит, — за граблями.

Я пошел, ну и принес грабли. Взяли грабли, глядим на корзину — не лезет. Открыли ее, а там никого, только шерсти клок — его шерсть, ушел, значит, в зем, вот ведь что...

— Так, значит, не видали?

— Нет, видали, да не поймаешь, вот ведь что... Портной-то не сказал, сказал, да опосля, хрест на мне был, — да! а с хрестом-то его нипочем не пымаешь. Я и земско-му сказал, а тот шерсть глядел, приезжал, глядел и омшайник, — ну, меня, значит, простил. Говорил, что шерсть-то чудна больно, — откуда взяли, шерсть-то, не зна-мо, и что зверя эдакого нету.

— А плут был портной, — сказал московский охотник, — обманывал он вас.

— Да ведь как сказать, — в раздумье промолвил Глушков, — он старался, только где ж его, нечистого, пымать, это не рыба.

Глушков надел шубу и попрощался с нами.

— А как же у Гвоздева, соседа вашего, одежда другая была?.. — спросили его.

— То-то и дело, что другая.

— Чудно, — говорим мы, — а что же он вам сказал?

— Так нешто спросишь? Все-таки сосед, зазорно.

— Вот ведь, деревня-то что! — смеялся Герасим, когда ушел Глушков.

— Ты тоже колдун, Герасим, — говорю я.

Дочь Герасима, сидевшая на лавке, встала, смеясь, и сказала:

— Глушков сурьезный такой — ну, над ним этакое что-нибудь и устроят. Он задумался. Купил хорошую вороную лошадь, а на базаре у него бумажник с деньгами вытащили. Ну, и говорят ему: «Пошто лошадь вороную купил? Нехорошо к дому». Поехал на мельницу муку молоть, привез домой, глядь — мешки с картофелем. Что такое? Говорят: «Вороная лошадь!» Ну, переменял лошадь.

— Ох, сурьезный он, — говорит жена Герасима, смеясь, — его-то жена, Авдотья, она сродни соседу-то, Гвоздеву; ну, она и дала одежину на свадьбу понарядней, почище, и все тут, и сама уж не рада была. Молчит, а то он — скупой, сердитый, год ругать будет.

Отворилась дверь, и вновь вошел Глушков. Он снял шубу, перекрестился на иконы и, обратясь ко мне, сказал:

— Это теперь вот списали мой омшайник, так эта самая картина, значит, пойдет куда?

— В Москву, — говорю я, — будут смотреть те, кто любит картины глядеть.

— Так, так, — сказал Глушков, сев на лавку, — хорошо, а чего же тут глядеть? Омшайник, какое это дело, что? Кому надо глядеть-то его? Чего тут? Лучше б тебе мой дом списать. Он крашен и железом крыт. Глядел я тоже, ты списывал вон на мельнице. Старая. Какая краса в ей? Гниль. А стараешься, списываешь! Вот в Рыбинске новый собор, вот бы списал. А это что?

— Мало ль что, — говорю, — я здесь, у омшайника, напишу, как вы с портным черта ловили.

Глушков растопырил глаза и встал с лавки.

— Ну вот, — сказал он, — сделай милость, не надо. Это что? Брось! Земский увидит, осерчает. Почто, нет, не надо.

— Не буду, — говорю я.
— Вот, вот — не надо.
— Ну, не буду, — говорю, — даю слово.
— Вот, благодарю, что уважили. Мне самому это дело вспоминать неохота. Хоша страху большого не было, хорошо, что не пымали.
— А интересно бы посмотреть, — сказал московский охотник, — хорош, должно быть, омшайник.
— Чего хорошего, так, махонький, попугиват. Вот водяной на мельнице — это вот беда. Толстый, в бодяге весь, гладкий. Сидит деньги считает.
— Что ж, вы видели?
— Нет. Матрос сказывал, что в Остреево пришел, тот видал.
— Неужели вы верите, Александр Иванович? — спросил я его.
— Да ведь как сказать, — сказал Глушков в раздумье, — верь — не верь, а бывает. Толкается меж людей эта самая чертова.

Охота на волков

После Нового года, хотя день прибавился на час и солнце повернуло на лето, а зима пошла на мороз, — стужа большая, крещенские морозы, — я получил письмо от лесничего. Зовет на охоту. Волки. В Старой Сечи восемь штук, а у Грезина — шесть.

И сразу я увидел его дом у большого леса, двор за огороженным забором, кругом — никого, глухо. Хорошо у лесничего.

Читаю приятелям письмо.

— Помню я Лемешки... — говорит приятель мой, Василий Сергеевич, — там такая чашура, не пролезешь.

— А я что-то не помню, — говорю я.

— Как же, там бочаги глубокие. Еще вот он, — показал он на приятеля моего, Николая Васильевича Курина, — помните, когда мы окуней ловили, говорил, что он щекотки не боится...

— Какой щекотки? — удивился Николай Васильевич.

— Вот видите, — сказал Василий Сергеевич, — забыл. Ты же говорил, Николай, что женская щекотка тебе нипочем и на русалок тебе плевать. А там русалки живут.

— Какая ерунда. Мало ли что говорится... — сказал Коля Курин. — И какие теперь зимой, в такой мороз, русалки... Я бы с удовольствием с вами поехал. Только я не охотник. Возьму ружье... восемь волков... это, брат, разорвут в клочья...

Дали телеграмму псковичу Герасиму, что едем. День и час отъезда назначен на Ярославском вокзале. Павел Александрович Сучков приехал на вокзал с большим длинным ящиком: в нем проверчены дырья. Там сидел поросенок. Это значит — охота с поросенком...

— Что же это у тебя, Павел, — говорю я, смотря в ящик, — что-то поросенок-то велик. Это целая свинья.

— Довольно! — сказал строго Павел Александрович. — Мне шутки ваши надоели.

— Какие шутки, не надо его брать, он замерзнет дорогой.

— Оставь. Довольно. Я одеяло взял для него.

Когда утром приехали на полустанок, встретили нас возчики. Лес покрыт инеем, мороз. Раннее утро. Еще у входа на вокзал горели фонари. Так тихо... Охотники в валенках. Зашли в вокзал. Никого. Буфетчик заспанный, увидел, говорит:

— С приездом вас...

Пьем чай с пеклеванным, на дорогу выпили коньяку «три звездочки» Шустова.

— Ах, барин, — говорит буфетчик Николай Васильевичу Курину, — я вам башлычок дам в дорогу. А то вы опять ушки отморозите...

Едем. Скрипят полозья розвальней. Едем лесом. Все запушило инеем. Желтые лучи утреннего солнца освещают верхушки елей. Внизу дорога под горку. Показалась мельница, сугробы. Она какая-то бедная, жалкая, не то, что летом. Темнели колеса мельницы среди седых обледенелых глыб. Глухо лаяла собачонка, когда мы проезжали, и слышно было, как на задней подводе, где ехал Караулов, захрюкал наш поросенок.

У дома лесничего встретили нас лесничий, жена его, сестра, Герасим и Козаков. Все рады. Самовар готов. Лежанка топится. Нигде на свете нет таких деревянных домов, с таким теплом и уютом, как в России. И нет такого сердечного, душевного приветствия. Сейчас — угощение. На стол ставят все, что есть. На кухне выпустили поросенка. Он сейчас же принялся за еду и, хрюкая, подняв мордочку, смотрел на нас.

— Велик... — сказал Герасим.

— Это — кабан! — заметил Караулов.

— Эти остроты ваши... прошу бросить, — нетерпеливо сказал Павел Александрович.

— Да ведь это чего?.. Не сердчай, Пал Ликсаньч, — говорит Герасим, — здесь волки на его не пойдут, на поросенка-то эдакого. Велик... Это он орать-то будет, эдакой-то, на весь лес, и волков отгонит.

— Я один поеду с ним на охоту. Я знаю.

Хорошо за столом у лесника. В окно виден огромный лес, стеной идет вдаль. У реки, занесенный снегом, мост. У проруби воткнуты ветки елок. Кустарник по берегу. Зима... В окнах между рам на солнышке на вате цветные шерстинки.

Красавица, сестра лесника, Маша, — нарядная, наливает нам чай. А лесник, еще молодой человек, говорит, улыбаясь:

— Рад я гостям. Написал вам, значит, — волки, приезжайте, а вот тут вышло дело похуже волков. Надо ехать мне казенные деньги сдавать, а как их оставить, — показал он на жену и сестру. — Жена, сестра, мать-старуха, ребенок... Заметил я, что тут трое похаживают. Кто их знает — чего они? Как уедешь? Женщины одни — боязно. А у погоста, в десяти, не боле, верстах отсюда, с неделю, как женщину убили на дороге. Шла в Грезино. Няньку-старуху убили... Чего бы ни было, боишься... Место глухое, лесное, кругом ни души. В деревне Лемешки есть там у меня приятель, да ведь как деньги казенные доверить. Боязно. Приятель... а кто знает — деньги такое, соблазн...

* * *

Герасим, закусив, оделся. Он и Козаков вынули из мешков большую кучу свернутых веревок с привязанными к ним лоскутами красного кумача. Взвалив их на плечи и захватив ружья, Герасим сказал:

— Ну, теперь, значит, мы придем сюда в полночь.

И оба ушли. Видно было в окно, как они выехали на розвальнях со двора и, проехав мост, завернули в лес.

Часа в два ночи залаяла собака, и в дом вошли Герасим и Козаков.

— Ну, пора вставать, — сказал Герасим, — самовар сейчас подогреем, погода хороша, тихо.

— Что же, волков видел? — спросил Коля Курин.

— Волков-то? — засмеялся Герасим. — Как же, и-их сколько. Глаза прямо горят...

— Да неужели?.. — удивился Коля, — глаза горят... вот так штука.

— Что ты, Николай Васильевич, нешто их ночью увидишь?..

Когда мы пили чай, услышали — снова залаяла собака, и на крыльце послышались шаги. В дом вошли крестьяне, поздоровались с нами. Им всем налили по стакану вина и дали капусты, колбасы, калачей. Они сели у стола на лавках и пили чай. Герасим угощал их, посмеивался и был как начальник.

Это были загонщики — облава.

Павел Александрович написал на бумажках номера: «1», «2» и т.д., завернул их в трубочку, Герасим положил их в шапку, встряхнул и поднес нам. Мы вынимали бумажки; мне попал пятый номер.

Долго мы шли на лыжах по лесу. Пройдя оврагом, поднялись к горке. Едва светало. Лес был осиновый, крупный, по буграм заросль. С ветвей падал снег.

Герасим остановился и вынул из мешка белые балахоны с рукавами. Мы их надели и тихо пошли за ним на лыжах. Герасим приставил палец ко рту. Справа я увидел на снегу в кустах красный кусок кумачу, подальше другой. Недалеко он остановил меня и с другими пошел дальше.

Стою и смотрю: сугробы, глубокий снег, чаща. Вдруг далеко передо мной, в лесу, раздался крик: «А-а-а, э-э-э, уа-ы-ы-ы... у-у-у... э-э-э...» Кричал загон, и стучали палками. Слева раздался выстрел. Вдруг вижу — недалеко передо мной стоит большая серая собака, держит морду вниз, к снегу, и два круглых глаза смотрят на меня пристально. Цвет волка такой же, как стволы осин. «Ах, ты, — думаю, — волк, ты не хочешь жить с человеком...»

— Волк, — говорю, — лесная ты собака...

Волк стоял как вкопанный, как видение.

— Беги ты! — крикнул я.

Он сразу прыгнул высоко вбок, в сугробах вильнул сильной спиной, взвился у красной тряпки и перемахнул через бечевку.

Слева раздались частые выстрелы. Крики загона смолкали.

— Схо-ди-и-и-и... — кричал Герасим.

Убитые волки лежали в снегу. Их было три. Подойти я не мог, так ужасен был от них запах. Далеко слышно было в предутренней заре, где-то далеко, в деревне, выли и лаяли собаки. Павел Александрович убил двух волков, Козаков одного, а Василий Сергеевич убил зайца.

* * *

Едучи со мной на розвальнях, Герасим, смеясь, сказал мне:

— А ты, Лисеич, что-то сплутовал... Пропустил волка. Я кады тетиву сбирал, то видел — он был около тебя. Что-то ты согрешил?

— Смотри-ка, — говорю я Герасиму, — что это? Смотри — у дома лесника народ... солдаты.

— Да, — сказал Герасим, всмотревшись, — и впрямь. Чего это?

Подъезжая к воротам дома лесника, мы увидели: толпится народ. Наши убитые волки лежат в снегу перед окнами дома. Стоят урядник и двое солдат.

Когда мы вошли в горницу, я увидел за столом старика — белого как лунь, со стриженными бобриком волосами. Исправник. Большой и полный. Стояли урядник и солдаты в черных шинелях. На скамейке сидели два молодых парня, бледные, подавленные, опустив голову. Руки их были прикованы цепью одна к другой.

— Охотники! — сказал исправник, когда мы вошли. — Очень приятно. Из Москвы? Я тоже в молодости баловал охотой. Волков пристрельнули, поздравляю. А вот мы вам тут беспокойство сделали, да... Ваши-то волки что, а вот эти-то молодцы позвее их будут. Вот эти два дурака. Убили няньку-старуху. Шесть гривен денег взяли. Ах, дураки, стервецы!

Исправник выпил чай и, отодвинув стакан, стал что-то писать.

На кухне увидел сестру лесничего. Она плакала.

— Что вы, Маша, вы знаете их?

— Нет. Это нездешние... Как же жалко старуху... Няня была у священника...

— Веди! — крикнул исправник.

Звякнули шашки у солдат, и два парня, оба наклонив головы, вышли из горницы лесничего. От ворот двинулись подводы, окруженные солдатами.

* * *

— Где же брат? — спросил я Машу про лесника.

— Уехал с ними, деньги повез. Эти самые-то, которые ходили тут... Третьего не поймали.

— Тяжелая история, — говорю я.

— Да... Это тоже волки... — сказала Маша. — Только те лучше. Ночью я вот сижу тут, мне и видно: месяц светит. Придет волк и сидит у ворот, вот тут. Красивый, глаза так красным огнем горят. Я ему в подворотню-то вынесу, брошу поесть. Он меня знает. Большой. Вы его не убьете... Я ему в окно погрожу пальцем, слушается — уйдет...

* * *

Павел Александрович готовился ехать ночью, при луне, на охоту с поросенком. Делал репетицию, испытание поросенка — как он кричит. Вертел ему хвост, и так вертел, что поросенок орал прямо благим матом. Так орал — что его вытащили на двор. Лошадь, стоявшая у ворот, услышав поросычий ор, бросилась во всю прыть к реке и опрокинула сани.

— Никак нельзя, — сказал Герасим, — это что ж такое? Поросенок орет, чисто зверь какой.

— Ты, должно быть, ему хвост сломал, — сказал Василий Сергеевич. — Орет — остановить нельзя.

— Нет, я ему чуть-чуть повернул хвост, — удивлялся Павел Александрович.

Наступали зимние сумерки. Из края леса показался круглый месяц...

Михаил Александрович Врубель

Помню, однажды шли мы поздно вечером с В.А. Серовым от Саввы Ивановича Мамонтова по Садовой улице в Москве. У Сухаревой башни я остановил проезжавшего извозчика, чтобы ехать на Долгоруковскую улицу, где мы жили с Серовым в своих мастерских.

Проходивший мимо невысокого роста господин остановился и окликнул меня:
— Константин!

Воротник его пальто был поднят, он был в котелке, хорошо одет. Подойдя к нему поближе, я увидел — Врубель.

— Михаил Александрович! — обрадовался я. — Ты давно здесь?

— Да уже так с месяц.

Я познакомил его с Серовым и предложил ему:

— Поедем к нам, я так рад тебя видеть...

— Нет, — сказал Врубель, — не могу сегодня. Ты дай мне адрес. А вот что лучше: я иду сейчас в цирк, пойдемте со мной. Я вам покажу замечательную женщину, красоты другого века. Оттуда... Чинквеченто... Она итальянка, я с ними приехал сюда. Вы никогда не видели такой женщины, пойдемте.

— Поздно, — говорю я. — Одиннадцать часов...

— Она выступает в конце, так что мы застанем ее номер. А потом пойдем к ним. Она — наездница...

Все это было сказано Врубелем как-то особенно убедительно.

— Ну хорошо, — согласился я.

Серов молчаливо мигал глазами. Подумал и тоже сказал:

— Пожалуй, пойдем.

Когда мы подъехали к цирку Саламонского, Врубель провел нас через подъезд артистов за кулисы цирка.

Гремела бравурная музыка, громкая, как бывает в цирках. Толпа артистов. Мимо нас несли большой ковер и какие-то огромные металлические шары. А сбоку, в отдалении, рычали в клетках львы. Врубель сказал нам:

— Подождите, я сейчас...

И ушел.

Вскоре он вернулся с очень плотным, невысокого роста человеком, с широкой шеей, лет тридцати пяти, одетым в синюю шерстяную толстую фуфайку. Брюнет, силач, итальянец с юга. Врубель познакомил нас, снова сказал:

— Подождите, я сейчас...

И вновь ушел.

— Мне очень нравится Москва, — сказал итальянец. — Но только холодно, идет уже снег. Киев теплый. Моя жена — венецианка, а я из Рима, — сказал он. — Ваш друг Врубель — замечательный художник. Я тоже был раньше художником, но... — он подвел большой палец под верхнюю губу, щелкнул ногтем и, засмеявшись, добавил: — монеты, не кормит живопись...

Врубель подошел с женщиной, одетой наездницей. Лицо ее было матово-белым, и черные волосы были зачесаны круто наверх с высокой, ровной шеи.

Врубель познакомил нас, и она просто протянула нам свои красивые руки. Она не была красавицей, но в темно-карих глазах ее была мягкая улыбка.

— Пойдемте, — сказал нам Врубель.

Мы с Серовым пошли за ним по лестнице. Усадив нас в пустую ложу, Врубель сказал:

— Сейчас ее номер, смотрите.

Сначала вышел клоун с большим кружком, обтянутым гладко бумагой. Он вспрыгнул на высокую табуретку и кричал: «Скорей, скорей». За ним на арену выехала на лошади, сидя, она — наездница.

Врубель весь был внимание и несколько раз повторил: «Смотрите, смотрите...»

Наездница встала на лошади и, стегнув ее хлыстом, быстро замелькала по кругу цирка. Клоун поднял перед собой круг. Наездница ловко прыгнула в него, прорвав бумагу, и оказалась вновь на лошади, посылая руками поцелуи публике.

— Видите? — спросил Врубель.

В прямой высокой шее наездницы, в матовом цвете тела, в открытом маленьком рте кораллового цвета было что-то детское, трогательное.

Номер наездницы был окончен, и Врубель сказал:

— Идем.

Мы подождали внизу за кулисами цирка, и вскоре к нам подошла она и могучий итальянец, который был ее мужем. Она была как-то особенно пестро одета. На шее, на черной бархатной ленте, висел круглый золотой медальон. Пальто красного цвета тесно охватывало ее тонкую талию, голубая шляпа с розовыми перьями и желтая вязаная юбка с черными оборками.

«Как странно...» — подумал я. Врубель держал в руках ее небольшой чемодан.

Когда мы вышли на улицу, ее муж закутал себе шею толстым красным шарфом.

— Мы идем к ним, тут рядом, — сказал нам Врубель.

Серов стал прощаться. Врубель его остановил и сказал:

— Видите, какая женщина?

— Ничего особенного... — сказал, мигая, Серов.

И ушел.

На Третьей Мещанской улице, пройдя грязный двор, мы поднялись в бедную квартиру во втором этаже темного деревянного дома. Дверь открыл ключом муж артистки. Она зажгла лампу. В первой комнате на полу я увидел матрац, смятые одеяла, а на диване — прислоненное к стене большое полотно. На нем была написана она. Маленький коралловый рот, черные волосы и поразительный цвет белого тела. Голова ее была в три раза больше натуры, и огромные глаза, загадочно блестя, смотрели на меня. Она подошла ко мне, сказала по-русски: «Господин» — и помогла снять пальто. В другой комнате она приготовила на спиртовке кофе и поставила на стол колбасу, хлеб, сардинки. Ее муж, сидя на большой постели, снял сапоги и кофту и остался в одной фуфайке. Он тоже хлопотал у стола, ставил тарелки, вино, водку.

— Господин, — сказала она, — водка, водка хорош. Закуска... Меня любить, пожалуйста... Она, Мишель, меня любить...

Она наливала водку в рюмки и пила маленькими глоточками.

Я увидел, что в ней есть какая-то особенная красота. Ее муж, Врубель и она ели и не переставая говорили по-итальянски. Разговор шел про дела цирка. И муж показывал, быстро поднимая руки, что кто-то там, в цирке, делает трюки не так, как надо. Он передразнивал кого-то. И они смеялись до упаду.

«В чем дело?» — думал я.

— Мишель, — сказала она, показав на меня, — господин не кушай... — И налила мне вина.

— Это другие люди... — сказал я Врубелю.

— Да. Они отличные артисты. Я приехал с ними, с цирком. Я ее пишу.

Он позвал меня в первую комнату и показал другой холст, где была написана она, — поразительной красоты формы, невиданной и странной. Ее глаза, несколько раз переписанные и передвинутые рисунком, повторялись в разных поворотах, глядели на меня с холста, и я начинал поддаваться их магии. Она была написана выразительней и живей, чем была в натуре...

Уходя, я видел, что Врубель поправил жиденький матрас и подушку на полу в первой комнате, где он спал.

На другой день Врубель приехал ко мне в мастерскую на Долгоруковскую улицу.

* * *

Я познакомился с Врубелем в Полтавской губернии у Тефановских, где он был одно время гувернером их маленького сына. Мы как-то разговорились, подружились и с тех пор говорили друг другу «ты».

— Послушай, Миша, — сказал я ему, — оставайся здесь, у меня, мастерская большая, в чем дело.

Он согласился.

Пришел Серов, его мастерская была рядом с моей. Он пригласил Врубеля к себе, чтобы показать свои работы. Врубель ничего не сказал.

А к вечеру ко мне привезли на извозчиках холсты Врубеля. Это была совсем другая, невиданная живопись, скорей рисунок, покрытый особенными цветами. Серов смотрел в изумлении и сказал Врубелю, что он как-то не совсем понимает, несмотря на строгость форм.

— Да, конечно, — сказал Врубель, — не понимаете. Но, может быть, потом поймете...

И после этого Серов сказал мне:

— Знаешь, Константин, после того как я увидел холсты Врубеля, эту умышленную четкость форм, мои работы мне показались какими-то бледными, гладкими, как мыло... Послушай, какой это особенный барин... Что такое? Странно...

К вечеру мы — я, Серов и Врубель — поехали обедать в «Эрмитаж». Врубель долго одевался, повязывал галстук, причесывался, надушил платок, надел фрак и тщательно оправил рукава рубашки.

В «Эрмитаже», заказывая обед, он говорил с метрдотелем почему-то по-немецки.

— Зачем это ты, Миша, — спрашиваю, — по-немецки с ним говоришь? Он же знает русский язык.

— Он знает, но ему приятно поговорить на родном языке, — сказал просто Врубель.

Врубель ел красиво. В какой-то особенной форме был этот изящный, гладко причесанный, нарядный человек.

— Гувернер!.. — сказал мне Серов. — Посмотри, какой франт. Да, брат, мы с тобой утюги...

Глядя на Врубеля, на его светлые волосы, желтоватые глаза, на его сдержанную скромность, я почему-то подумал: «Это Моцарт» — и сказал это Серову.

— А знаешь, похож, верно, — сказал мне Валентин Александрович. — Это какой-то особенный человек.

За обедом Врубель увлеченно говорил, какое вино когда надо пить и что он очень любит бутылки, особенно из-под шампанского. На них бывают удивительные ярлыки. Бутылка «Мума», ведь это красота. Как она сделана...

Выходя из ресторана, Врубель загляделся на стоящих перед подъездом лошадей...

— Как хороши эти лихачи! — сказал Михаил Александрович. — Это Москва, особая красота! Ехать на лихаче — какая прелесть.

Перед сном Врубель надел пижаму и, потушив свечу, заснул.

В углу моей мастерской горела лампада. Мне видно было, как с холста Врубеля в сумерках мастерской таинственно, мягко улыбаясь, смотрела красавица-итальянка, наездница цирка...

* * *

Утром, пока Врубель брился, одевался и причесывался, я приготовил чай.

Солнце. Опять стаял снег.

Я люблю это переходное время — ноябрь. В окно виден потемневший сад, осеннее солнце освещает забор и ветки бузины. За садом видна церковь Св. Пантелеймона. Летят желтые тучи с синими краями. Мне всегда хочется поехать в деревню: там мои приятели, охотники-крестьяне.

— Хочешь, поедем в деревню? — спросил я Врубеля.

— Ну, нет... — ответил Михаил Александрович, — деревню я и летом не люблю, а теперь это удручающая тоска, мрак. Охоты я не знаю и не понимаю. А в деревне... избы... люди ругаются... Я совершенно не могу и не знаю, о чем говорить с мужиками. Я люблю город и люблю, по правде, Италию — Рим, где бы я хотел всегда жить. Какое было там искусство! Венеция, Рим, Флоренция... Я долго жил в Италии...

«Как странно, — подумал я, — а я так люблю деревню русскую, и когда был за границей, то каждую ночь видел во сне Россию, поля, облака, рожь, коноплю, лес...»

* * *

Мы едем с Врубелем к Савве Ивановичу Мамонтову. По дороге Врубель сказал мне, что он в первый раз живет в Москве, уже почти месяц. Он жил и учился в Петербурге.

— Я очень любил Академию Художеств, — говорил Врубель, — там есть замечательный художник — профессор Чистяков. Он умеет рисовать, он понимает, но не может достигнуть и сделать так, как понимает...

Савва Иванович Мамонтов радостно встретил Врубеля и предложил ему написать занавес для театра Частной оперы. Говорил, что приезжают Мазини и Ван Занд — итальянская опера. Звал вечером на спектакль.

— Приходите сегодня, поет Падила, «Дон Жуан» Моцарта. Падила — какое обаяние! А ему уже шестьдесят лет.

Врубель и Мамонтов сразу заговорили по-итальянски, вспоминая Италию. Савва Иванович восхищался:

— А вот, знаете, — сказал он, — Васнецов и Костенька, — он показал на меня, — заставили меня полюбить и русскую оперу. Началось со «Снегурочки» Римского-Корсакова. Я сознаю: раньше не понимал русской оперы.

За завтраком все время говорили про Италию, о театре — какие оперы ставить. Врубель предлагал «Орфея» Глюка.

После завтрака мы пошли в большую прекрасную мастерскую Саввы Ивановича, которая была в его доме на Садовой.

— Вот вам мастерская, — сказал Савва Иванович Врубелю, — работайте здесь. Вот он не хочет, — показал Савва Иванович на меня, — редко здесь работает. У него и у Антона (так прозван был Серов) там где-то своя нора...

Савва Иванович отдернул тяжелый полог, где в нише стояла статуя Антокольского «Христос», и вопросительно посмотрел на Врубеля.

Врубель как-то равнодушно сказал:

— Это в натуральный рост человека, видно, руки сформованы с натурщика. Как-то неприятно смотреть, это не скульптура...

Савва Иванович удивленно взглянул на меня и спросил Врубеля:

— Вам не нравится?

— Нет, — ответил Врубель. — Это что-то другое — не скульптура, не искусство.

Савва Иванович еще больше удивился и сказал:

— А всем нравится.

— Вот и плохо, — заметил Врубель, — что всем...

К Савве Ивановичу кто-то приехал по делу. Расставаясь с нами, он сказал Врубелю:

— Вы приезжайте ко мне всегда, берите мастерскую и работайте. Мне говорил Прахов — ваши работы в Киеве, в Кирилловском соборе, — прекрасны.

Дорогой Врубель сказал мне:

— Я буду писать в мастерской у него большой холст. Я буду писать Демона.

На другой день Врубель перевез свои холсты к Савве Ивановичу.

* * *

Вечером, когда я писал декорации для оперы в мастерской на Пречистенке, ко мне в мастерскую пришел сторож из театра Частной оперы Мамонтова и сказал:

— Савва Иванович приказали вам, чтобы сейчас в киастр приехали к нему...

Я оделся и поехал со сторожем на извозчике в Газетный переулок, где была Частная опера Мамонтова.

Войдя за кулисы сцены, услышал дивный голос итальянского тенора Децорни: шел «Трубадур».

Увидав меня, Савва Иванович взял меня под руку и повел в ложу на сцене.

— Послушайте, что же это такое? — глаза Саввы Ивановича улыбались. — Что же это, Врубель — это же черт знает что такое. Вы видели его картины, которые он привез сегодня ко мне в мастерскую?.. Видели?

— Видел, — говорю.

— Что же это такое?.. Ужас! Я ничего подобного не видал никогда. И представьте, я ему говорю: «Я не понимаю, что за живопись и живопись ли это». А он мне: «Как, — говорит, — я рад. Если бы вы понимали и вам бы нравилось, мне было бы очень тяжело...» Подумайте, что же это такое?.. В это время ко мне приехал городской голова Рукавишников. Вошел в мастерскую, тоже увидел эти картины и говорит мне: «Что это такое у вас?.. Что за странные картины, жуть берет... Я, — говорит, — знаете ли, даже, признаться, забыл, зачем к вам приехал...» Подумайте!.. Я ему говорю: «Это так — проба красок, еще не кончено...»

Я не мог удержаться и рассмеялся. У Саввы Ивановича глаза тоже смеялись.

— Что же, Костенька, вы смеетесь? Станный, странный человек. Знаю: он очень образован, кончил два факультета в Петербурге с золотыми медалями, а вот, к слову, — не говорите только, — он спросил у меня пятьсот рублей, — на расходы...

— Ну и что же? — сказал я и опять рассмеялся. — Деньги он отдаст. Врубель — человек благородный и большой художник. И вы, Савва Иванович, будете скоро так же говорить.

Савва Иванович серьезно посмотрел мне в глаза и сказал:

— Вот что. Вы поезжайте, найдите Врубеля и тащите его в театр, мы поедем после ужинать. Надо достать Антона. Поедут и итальянцы, Бевиньяни, Падила, Дюран, Салина. А Врубель говорит по-итальянски, как итальянец...

* * *

В ресторане «Эрмитаж» Мамонтов предложил Врубелю пригласить и его знакомых из цирка. Врубель задумался, сказав, что они могут не поехать.

— Я попрошу Децорни поехать со мной. Кстати, его фамилия такая же, как и моих друзей.

Оказалось, правда, что приятели Врубеля были дальние родственники певца. Вскоре открылась дверь, и вошла наездница цирка, ее муж, Врубель и Децорни. Наездница была обычно одета, очень пестро. Сев за стол, итальянцы весело разговорились.

Мамонтов сказал мне:

— До чего у Врубеля верно взяты глаза этой женщины и ее особенный цвет!

— Ну вот, — сказал я, — видите.

Врубель распорядился, заказывая ужин, убеждал Мамонтова, что знает, какое взять вино для итальянцев, и пошел с метрдотелем на кухню заказывать макароны — обязательно такие, какие готовят в Риме.

* * *

Дорогой, когда мы ехали с Врубелем ко мне на Долгоруковскую улицу после ужина с итальянцами, Врубель сказал мне:

— Она, эта наездница, бедной семьи, но она хорошего рода. Ты не думай, что я питаю к ней какие-нибудь чувства как к женщине. Нет...

— Это я понимаю...

— Понимаешь? Да. Это мало кто поймет...

Почему-то Врубель мне был чрезвычайно приятен, и я поклонялся его таланту. Когда он писал на холсте или на бумаге, мне казалось, что это какой-то жонглер показывает фокусы. Держа как бы боком в руке кисть, он своей железной рукой в разных местах жестко наносил линии. Эти оборванные линии, соединяясь постепенно одна с другой, давали четкий образ его создания. Чрезвычайно сложные формы: часть шлема, а внизу латы ног, сбоку у глаз — орнамент невиданной изящной формы, канделябры... — и вот я уже вижу Дон Жуана и Каменного Гостя. Как выразительны — рука, держащая канделябр, и каменная тяжесть страшного гостя!..

— Как же это ты, словно по памяти пишешь? — спросил я Врубеля.

— Да. Я вижу это перед собой и рисую как бы с натуры, — ответил мне Врубель. — Надо видеть по-своему и надо уметь это нарисовать. Не срисовать, а нарисовать, создать форму... Это трудно.

* * *

Вскоре художники в Москве увидели произведения Врубеля, и все рассердились. Врубель много работал: он исполнил для издания Кушнерева иллюстрации к Лермонтову, к «Демону». Вот они-то и рассердили всех.

Почему эти прекрасные произведения, эти иллюстрации, не понравились — неизвестно. Но Савва Иванович уже обожал дарование Врубеля и с глубоким интересом следил за его работой, когда тот в его мастерской писал «Демона». Врубель постоянно менял всю композицию, фантазии его не было конца. Орнаменты особой формы: сегодня крылья кондора, а уж к вечеру стилизованные цветы невиданных форм и цветов. Вдруг потом все переписывалось в других формах и в другой композиции.

* * *

Я как-то показал приехавшему ко мне в мастерскую Павлу Михайловичу Третьякову рисунки — иллюстрации Врубеля к «Демону» — и прекрасный эскиз, сделанный Врубелем в театральной зале, тот, который находится, — пожертвованный мною, — в Третьяковской галерее в Москве и сейчас.

Долго смотрел Павел Михайлович рисунки Врубеля и тоже сказал мне, что это странное искусство и он не понимает его.

Когда приехал Врубель, я рассказал, что был Третьяков и что тот сказал о его работах.

— Вот и отлично! — заметил весело Врубель. — Хотя рисунки мои очень ординарны, за исключением «Тамара в гробу».

* * *

Однажды летом в Абрамцеве, в имении Саввы Ивановича, где гостили И.Е. Репин и Поленов, вечером за чайным столом Репин зарисовал в альбом карандашом жену Саввы Ивановича, Елизавету Григорьевну.

Врубель посмотрел на рисунок, неожиданно сказал Репину:

— А вы, Илья Ефимович, рисовать не умеете.

— Да? Что ж, все может быть... — отвечал Репин.

Савва Иванович позвал меня и Серова на террасу и обиженно сказал:

— Это же черт знает что такое! Уймите же вы его хоть немного!

Я, смеясь, сказал:

— Это невозможно.

— Неверно, — заметил Серов, — Репин умеет рисовать.

Он тоже обиделся за Репина.

* * *

Во время работ по подготовке Нижегородской выставки министр Витте просил Савву Ивановича Мамонтова украсить выставку и показывал ему проект павильона искусств живописи. Савва Иванович посоветовал Витте сделать два больших панно над входами в павильоны, и эскизы поручили исполнить Врубелю.

Когда эскизы были сделаны Врубелем — «Микула Селянович» и «Царевна Греза», — то Витте показал их Государю. Государь долго смотрел, похвалил и одобрил эскизы Врубеля.

Огромные панно в 20 метров длиной Врубель написал сам. Но петербургская Академия Художеств взволновалась, и когда панно появились на фасаде павильона, то приехала от Академии комиссия — Владимир Маковский, Беклемишев, Киселев и еще передвижники, во главе с вице-президентом Академии Иваном Ивановичем Толстым, — и постановили: «Панно снять как нехудожественные». Вышел скандал. Постановление против высочайшего одобрения.

Савва Иванович Мамонтов вне выставки, за оградой, построил большой деревянный зал, где панно эти были выставлены.

* * *

Когда Врубель был болен и находился в больнице, в Академии Художеств открылась выставка Дягилева. На открытии присутствовал Государь. Увидав картину Врубеля «Сирень», Государь сказал:

— Как это красиво. Мне нравится.

Вел. кн. Владимир Александрович, стоявший рядом, горячо протестуя, возражал:

— Что это такое? Это же декадентство...

— Нет, мне нравится, — говорил Государь. — Кто автор этой картины?

— Врубель, — ответили Государю.

— Врубель?.. Врубель?.. — Государь задумался, вспоминая.

И, обернувшись к свите и увидав графа Толстого, вице-президента Академии Художеств, сказал:

— Граф Иван Иванович, ведь это тот, которого казнили в Нижнем?..

С лучом

Тоскливо проходят осенние дни в деревне. Уж конец октября, давно померкли летние ясные зори, короче стал день, рано наступали грустные осенние сумерки. Тихо спит обнаженный сад, и темные леса стоят в задумчивой мгле. Хмуро, уныло ждет природа зимы.

Но друзья мои, охотники, приехав в мой деревенский дом, не унывают. Настроение у них полно надежд, они веселы и бодры. Разговоры про охоту полны особенных впечатлений. Наступает ночь. В доме тепло. Приятели мои, охотники, сняли высокие сапоги, куртки, сидят за большим столом, где уютно горит лампа, и пьют бесконечно чай.

— Уж поздняя осень, — говорит охотник Караулов. — Все улетело в теплые края: дупеля, бекасы, утки, гуси...

— Утки еще держатся, — сказал охотник-крестьянин Герасим, — снегу еще не было.

— Место здесь такое у него, — сказал приятель мой, Павел Александрович, — что всегда охота есть. Тетерева, глухари, куропатки, зайцы, лисицы, лоси-звери есть.

— Верно, — подтвердил Герасим, — тут охота завсегда, когда хошь, хоть вот теперь, сейчас.

— Теперь, ночью-то? — сомневался приятель Василий Сергеевич Кузнецов.

— Верно говорю я, — сказал Герасим, — теперь ночь темная, самая настоящая охота, ехать в лодке с лучом, с острогой.

— Верно, — говорят охотники, — молодец ты, Герасим, ехать с острогой на рыбу — замечательно.

— Замечательно, — подтвердил Василий Сергеевич, — только перевернет челн, купаться что-то не хочется, неприятно, вода холодная. И утопиться можно.

— Бывает, — говорю я, — водяной шутит.

— Вот я терпеть не могу этих разных штук, водяных, лесовых, домовых, благодарю вас, довольно их было.

— Герасим Дементьевич, — предлагает Павел Александрович, — давай поедем, правда, лучить рыбу. Ночь тихая. Как бы достать смолья?

— Ладно, — согласился Герасим, — сейчас пойду, попытаю достать у рыбака Константина. У него всегда смолье есть, и челны у него возьмем. Наш тоже.

— Я не еду, — сказал Василий Сергеевич.

— Поедем, — зовут приятели Василия Сергеевича, — ну, чего боишься!

— Ничего не боюсь, а у меня ревматизм, в воду попадешь, ноги раздует.

Герасим ушел, а мы собирались, надевали длинные сапоги и уговорили ехать лучить рыбу и Василия Сергеевича.

Зажгли фонарь. Выйдя из дома на крыльцо, увидели, ночь была темная. Тихо. Идем краем леса. Пахнет землей и сыростью осени. С горки, видим, освещается противоположный берег реки, лес. А внизу Герасим и рыбак Константин зажгли смолье, положенное на «козу», железную решетку, прибитую на носу челна. Ярко горит смолье. Садимся в челны. Берем остроги. Дым от смолья попадает в нос, летят искры. С Василием Сергеевичем садится Герасим. Тихо отчаливают челны, освещая воду реки. Я вижу дно, песок, водоросли, стайку пескарей, потом мутная вода. Это глубина реки. У самого берега вижу освещенную светлую рыбу, опускаю в воду острогу, ударяю рыбу.

— Есть! — сказал рыбак Константин, правящий сзади челном. Крупный линь вертелся на остроге.

Опять едем у берега обрыва, наверху большой лес седыми елями спускается к реке. Темные, огромные тени ложатся от нас по песчаному обрыву. Они, как страшные великаны, повторяют наши движения. Впереди, у другого берега, я вижу: у Павла Александровича на остроге бьется большая рыба.

— Ишь, здорову щучину заколол, — сказал рыбак Константин.

На песке, на дне реки, я вижу большой, как бы белый крюк. Ударил острогой, и вынимаю темного налима, и слышу, сверху обрыва кто-то говорит: «Ишь, рыбину заколол! Им косу не переехать, перевернет».

— Это кто там говорит? — спросил Василий Сергеевич. — Какую косу?

— Какую косу? — передразнили его сверху из тьмы. — Узнаешь какую, погоди!

— А вы кто там такие?

— Мы-то? Черти лесные, ха-ха-ха-ха!

«Ха-ха-ха-ха», — разнесло эхо по лесу.

— Слышите, это что там за голубчики? — беспокоился Василий Сергеевич.

— Эй, кто вы?! — крикнул я.

— Лесовые, — ответили с обрыва.

— Хорошо, только не мешайте нам!

— Ладно! Сами утопитесь.

— Оттолкнись, Василий Сергеевич, от берега, — сказал Герасим.

Тот сильно стукнул острой к берегу. Вдруг с быстрым всплеском у берега взвилась огромная рыба, острога дернулась вбок, вырвалась из рук Василия Сергеевича и пропала в воде. Челн зашатался, посыпалось смолье и зашипело, упав в воду.

— Ого-го! — кричали сверху.

Василий Сергеевич стоял в воде по колено. Герасим тянул челн к берегу. Дальше по реке я увидел, как по поверхности воды плыла стоймя палка остроги, погружаясь в воду.

— Вот вам, доехали, — сказал Василий Сергеевич, — благодарю вас.

Мне видно было, как острога пристала к берегу и остановилась.

— Сейчас, — говорит тихо Герасим, — постой, сейчас зажгу, — и чиркает спичкой. — Эка тьмища; ух, велика рыбина.

Зажигает щепку смолья и кладет на «козу».

Я подъезжаю к нему.

— Дайте смольца, — говорит тихо Герасим, — эва, рыбина-то какая — не ушла бы. Поедем, Василий Сергеевич, скорей, она у того берега, видать острогу-то.

— Поезжайте, — говорит Василий Сергеевич, — а с меня будет. Руку дернуло, чисто черт.

— Черт! — крикнул наверху кто-то...

И кругом эхо повторило: «Черт — черт — черт...»

Тихо переплывая реку рядом со мной, Герасим шепотом сказал: «Почто черты-хаться, на воде-то неловко». И, подплывая к берегу, где была видна острога, он с силой бросил свою острогу в воду и крикнул: «Есть! Не уйдешь, бей, Лесеич!»

Я ударил у берега в рыбу. Герасим бросился из челна и схватил остроги, вытягивая рыбу на берег.

— Не уйдешь, наша, — говорил Герасим.

«Наша, наша», — отвечало в лесу эхо.

Таща рыбу на берег, Герасим упал, держа огромную щуку.

— Более пуда, — сказал он, таща щуку дальше на берег.

— Эку рыбину сшибли, — сказал, подходя, молодой парень.

— Ты чего тут, Серега? — спросил Герасим.

— В ночном пасем, тепло ноне, — ответил пастух.

— Это ты орал наверху? — спросил я.

— Не, не я, я так сказал, а тут завсегда кругом орет, ты ему слово, а он тебе десять. Место такое. Чертовое. Тут кажет. Нечисто место.

Я поехал за Василием Сергеевичем на другой берег.

— Молодец, — говорю я, — Вася! Щучину ты сшиб больше пуда. Садись, едем.

— Ну и местечко здесь у вас, — сказал приятель. — Я ведь слышу, нечистое место, говорят.

Увидав огромную щуку, Василий Сергеевич расхрабрился:

— Хорошо, что острогу-то выпустил, а то бы сорвалась. Ну, потащим домой.

— Семен-то, Баторин, — сказал пастух, — этку рыбину заострожил да домой-то и нес ночью, на спине, а принес в избу, бросил, ан, глядит, — бревно, вот оно. Тута это место, — сказал Серега, — тут завсегда кажет.

— Что кажет? — спросил Василий Сергеевич.

— Кажет; да вот высунет морду из воды, вон это место, у леса, и начнет укать, теперь нету, а вот месяц когда, все укать зачнет, а девка по берегу бегаёт и кричит: «Мое, мое, мое, мое...»

— Хороша же у вас тут местность! — сказал Василий Сергеевич. — Вся охота с лешими перепутана.

Герасим, продев в жабры щуки веревку, привязал ее к шесту остроги, и, сказав: «Берите» — и подняв оба конца, положили шест на плечи, чтоб нести щуку. Она висела посредине, хвост ее касался земли. Щука была велика.

— Вот, Василь Сергеич, какая тебе удача, — сказал Герасим, — это что, я эдаких-то щук не видал. Это надо справлять охоту такую, а ты все серчаешь.

— Не ударь я ее сильно, ушла бы, — оживился Василий Сергеевич, — гляжу под берег, думаю, бревно, и двинул в бревно-то, отъехать хотел, а она как ахнет, я думал — прощай. Господи, помилуй. В воду и спрыгнул.

— Ты сказал «черт», — подтвердил пастух, — я слышал. На воде-то чертыхаться — утопит. Вон Гришка, мельников сын, засыпал ночью зерно да чертыхнулся, а его оттуда, из-за жернова, за волосья да в омут, — вытащили, всего в бодягу завертело. Будя, боле чертыхаться — бросил. А Васька Гвоздев месяц матерно обругал, так вот у него на носу лепеха выросла, все девки от него прочь.

Василий Сергеевич увез щуку в Москву, снял себя с ней на фотографии. Приготовил ее разварную. Много было друзей: актеры, актрисы. Василий Сергеевич рассказывал: когда он ее ударил острой, то в лесу черти лесовые закричали все и в ладоши захопали.

— Почему же, Вася, собственно, в чем же дело? — спросил его артист Клинов, который готовил отварную щуку. — Чему лесовые черти рады были, чему?

— Хорошо не знаю, — ответил Василий Сергеевич, — но говорят, что она, щука эта, — оборотень. Я ведь в бревно острой ударил. Чтob от берега отплыть.

— Так вот в чем дело, — сказали гости-актеры, — теперь все понятно, какая дура, ей бы бревном оставаться, а теперь мы ее съедем.

Володя

Зима. Долго идет в России зима. Февраль. Мели метели. А сегодня конец февраля, утро ясное. Радостно светит солнце. Виден лес, синие тени ложатся по снегу. А по небу светлыми перьями рассыпались белые облака. Небо синее.

В облаках и в небе есть особая радость. Какое-то дуновение весны. Сарай живеи смотрит, освещенный солнцем, и деревянный колодец как-то ожил. Оттепель. Вдали видны крыши деревни, и все так просто, безмятежно кругом.

Дальний родственник мой, Володя, сидит за столом и пьет чай. Лицо у него такое ровное, круглое. Черные глаза серьезные. А рядом с ним сидит приятель мой, крестьянин-охотник, Герасим Дементьевич.

— Володя, — говорю я, — сегодня погода весной пахнула. Небо синее. Что-то есть, к весне зима клонит.

— Нет, — отвечает Володя. — Какая весна... Холодище еще долго будет. До чего надоело, ужас. Как окончу реальное, уеду на юг, в Крым. Там поступлю на место, буду служить.

— На какое место? — спрашиваю я.

— Ну, что-нибудь... Или смотреть за чем-нибудь, или управлять чем...

— А чем управлять-то?

— Мало ли чем... Мне все равно, мест разных много. Найду службу, жалованье буду получать.

Я налил себе стакан чаю и сел к столу у окна. Так хорошо смотреть в окно.

Утро... Вижу, пошел сторож, открыл ворота сарая. Куры, нахохлившись, расправляют крылья, отряхиваются. Рады, солнышко. В сарае видно сено и лодка, убранный на зиму. Петух разбирает лапами оттаявшую землю у сарая и, опустив голову, зовет кур. Те что-то клюют — что нашел петух. Петух заорал: «Кукуреку...»

«Значит, это все надо», — подумал я.

Хорошо смотреть в окно, как-то отдыхает душа.

Чай со сливками и черный сладкий хлеб, посоленный, со сливочным маслом. Хорошо. Дом у меня из толстых сосновых бревен, теплый. Мой дом лучше всех домов, которые есть на свете. Рядом лес, а под горой река с водой кристальной чистоты.

— Я ведь вам, дядя, всего не говорил, — вдруг сказал Володя, встав из-за стола.

Он достал из кармана большой серебряный портсигар с желтым шнуром, вынул папиросу, постучал по портсигару и бросил себе в красные губы, закурил.

— Я, дядя, по правде вам сказать, хотел бы быть актером.

— Да что ты? Это как же тебе вздумалось?

— Я очень театр люблю. Я вам не говорил... Мне в конторе, в Москве, Петр Ильич все контрамарки дает. Я почти каждый день в Малом театре. Познакомился с Трубенталем и Бакшеевым, они мне говорили: «Иди, — говорят, — в актеры, у тебя, — говорят, — физиономия такая подходящая, и рост...»

— Да, но все же надо способности иметь. Призвание.

— Ведь играют же любители. Я уже играл в Пушкине летом на даче. Это нетрудно. Роль выучил, ну и жарь. Петь тоже можно, все поют.

— Ну нет... — говорю я, — это не так просто. Нужно много работать. Да и дарование надо иметь... Артистов хороших мало.

— Да ведь что же... — задумчиво сказал Володя. — А меня на лето звал Трубенталь. «Поедем, — говорит, — со мной по Волге, проедемся. Ты вроде моего телохранителя будешь. Ну, и играть будешь со мной. Но условие такое...»

Володя остановился и продолжал:

— Только чудно очень условие его... «Если, — говорит, — кто мне поперек скажет, я, — говорит, — мигну тебе, ты ему морду бей. Понял?» — «Чудно, — думаю, — это ведь на кого попадешь...»

— Что же, ты согласился?

— Не-е-т... Вот еще!.. Мало ли что он захочет. «Мне, — говорит, — надо дать одному антрепренеру в морду, а я не могу, потому что волнуюсь очень и у меня сердце больное. Мне, — говорит, — нельзя никак, доктор запретил, а тебе, — говорит, — все равно, ты молодой, равнодушный, тебе нипочем...» Контракт со мной хотел заключить...

— Ну, что же? Туда, в контракт, вписал «бить антрепренера по морде»?

— Не-е-т... Что вы, дядя, разве можно это писать, это ведь так, между нами... Ведь это он с досады заливает. Я бы с ним поехал, только боюсь — заплатит ли... Когда деньги платить — все меняются. Деньги не любят платить.

Володя, помолчав, потряс озабоченно головой и сказал:

— В начале карьеры всегда такая ерунда бывает. Один мой знакомый сделал себе карьеру через женщину — ему один богатый помещик предложил: отбей, говорит, у моего соседа жену, тогда дам тебе место и оклад, отопление, освещение и отведу целый мезонин, квартиру, значит. Только отбей, говорит.

— Ну и что ж?

— Отбил. Вот, говорит, мучился, ужас до чего, устал, целый год притворялся, вроде как влюблен, стреляться хотел, топиться. И отбил. Ну и получил место.

— Ну, а сосед-то что же?

— Сосед? Чудно тоже... Он ему сто пятьдесят десятин земли подарил и такой друг его сделался, что водой не разольешь. «У меня, — говорит, — ее двадцать лет никто отбить не мог, только вот ты, — говорит. — Одолжил...»

— Да... Вот чего... — сказал, смеясь, Герасим Дементьич. — Есть в жисти всякое такое... Прямо што смех берет. Вот мне рассказывал Козаков на охоте: здесь, недалеко, в Петрове, живет такой богатый купец — железом торгует. У его дочь-красавица. Вот красавица. Так много женихов к ей сватались, и сын его, Козакова, тожа. Он студент-техник был, приезжал летом в Петров и влюбимши в ее был. И кончил курс, сделал ей, значит, предложение. А ее отец, купец-то, и спросил Козакова-сына: «Какое приданое хочешь за моей дочерью?» А тот говорит ему, отцу, значит: «Я ее так люблю, что мне о приданом и в голову не идет, и даже стыдно говорить...» Отец-то его и выгнал взашей... «Нам, — говорит, — такого дурака не надоть...» Вот ведь чего бывает, а? Каково? И так эта красавица замуж и не вышла... Три года в девках сидит.

* * *

Теплым был февральский день.

И вздумал я написать с крыльца дома зимний пейзаж. Взял мольберт, холст, краски и начал писать. Большие березы кладут синие тени по снежной крыше сарая, бревна стен освещены солнцем. Розвальни около ворот, кусок зеленоватого сена, дедушка, рванный, в линялой шапке, белая борода и красный вязанный шарф. А вдали леса, леса. Такая красота.

Володя стоит сзади и смотрит, как я пишу.

— Дядя, а зачем вы сарай пишете, он старый и бедный? — сказал он. — Такую картину никто и не купит. Вы бы написали здесь станového и корову. Становой описывает корову за долги, а дедушка стоит и плачет. Вот тогда бы все говорили, и картину бы живо купили.

— А почему же такую картину купили бы?

— А как же? Всем понятно. Все бы дедушку-старика жалели, а станového ругали бы. Припишите, дядя, станového и корову — я вам сейчас такую картину продам.

«Верно говорит Володя, — думаю я, — правильно... Но что-то сюжет такой портит этот весенний чудный день, радость».

Я не стал писать станového.

— Когда напишете станového, — не унимался Володя, — рожу ему пьяную, красную, он смеется, а дед плачет, — тогда всякий скажет: какой художник этот хороший человек, как он народ жалеет, напротив идет, злодеев не боится, за правду пострадать хочет. Великий человек, скажут. А то что же, один дедушка... Никто не будет знать, зачем картина написана... Идеи нет.

На крыльцо вышла тетушка Афросинья, и подошла ко мне моя ручная лисица. Подняв мордочку, она нюхала воздух. У сарая заволновались куры, бросились на нашест, а сороки с криком пронеслись с ветвей больших берез.

— Вот становой пришел, — сказал Володя, смеясь. — Видите, как ее птички любят, ага! Так тоже мужики станowego. На свете все так: давай! Все друг друга едят.

Я пишу картину и спрашиваю:

— Ну как, Герасим Дементьевич, по-твоему, Володя верно погибает?

— Да, — ответил хитро Герасим. — Чего ж... Точно — это есть, дурашное дело такое. Но как на него посмотреть, никак его не разберешь. Напиши, Лисеич, только не корову становой описывает, а лошадь. Ну, лошадь возьмут, тогда прощай, мужик, кончен. Только вот што: теперь этого нет. Лошадь становой не берет, шабаш. Он тоже понимает... да и не велено...

* * *

А весной, на Красной горке, я получил письмо: приглашение на свадьбу. Володя женится на дочери купца, который торговал в Петрове железом. Он выдал свою красавицу-дочь за Володю. Володя спросил приданое с купца, да такое, что купец ахнул...

Месяц торговался, но сказал: «С головой парень!» И отдал за него дочь.

Кавказ

В 1901 году мне предложили сделать декорации и рисунки костюмов к опере Рубинштейна «Демон» для московского Большого театра и для Мариинского.

Была ранняя весна. Взяв эти постановки, я решил, что необходимо съездить на Кавказ, написать с природы этюды гор, найти характер и настроение Кавказа. Директор Императорских театров Теляковский согласился с моими доводами, но сказал, чтобы я ехал на свой счет, так как на поездку не дадут ассигнования.

В начале мая я приехал во Владикавказ, остановился в гостинице. Маленький город, за которым большой тенью возвышались ровно громады гор Кавказа. В городке распустилась акация, и ее аромат сливался с кристальным воздухом гор. В шесть часов вечера ко мне приехал полицмейстер города Котляревский — бравый человек, с закрученными усами, высокого роста.

Войдя ко мне в комнату, он сказал:

— Здравствуйте. Вот ведь что: вы художник Коровин, да не тот! Я знал другого. Я сумец, кавалерист. Когда были маневры под Москвой, там с нами был другой Коровин. Хорошо так рисовал лошадей и атаку. Сергей Алексеевич звали.

— Это мой брат, — говорю я.

— Ах, ваш брат? Вы и похожи. Только тот красавец такой, эдаких-то мало и бывает.

— Да, — говорю, — брат мой был красивый, верно.

— Как — был?

— Да так... Ведь он умер.

— Вот что, прошу вас, поедем ко мне сегодня пообедать.

Я согласился.

Мы подъехали к пятиэтажному каменному дому, где помещалась квартира полицмейстера и участок. У крыльца стояли городовые.

В грязной комнате участка, где сидели писаря и дожидались какие-то люди — просители, я увидел старика в рваном бешмете, под которым была видна металлическая кольчуга. Старик походил на орла, и в глазах его застыли слезы безысходного горя. Когда мы проходили мимо него, он опустил на колени.

«Какой странный человек...» — подумал я.

В комнатах полицмейстера подошла к нам девочка лет одиннадцати.

— Моя дочь, — сказал вслух Котляревский, а на ухо мне прошептал: — А мать ушла... от меня... с репетитором-студентом.

Он позвал вестового и что-то приказывал ему насчет обеда.

— Скажите, — спросил я, — кто этот старик там? И отчего на нем надета кольчуга?

— Ишь, вы заметили, — сказал Котляревский. — Его сейчас в тюрьму поведут: фальшивые деньги сбывает. Ах, этого много здесь. Горе — жизнь наша.

— Жаль мне его, — говорю я, — у него такое хорошее лицо.

— Да? Хорошее лицо? Ну, вот пойдем, я вам покажу. Это хевсур, — сказал мне полицмейстер. И, пройдя в участок со мной, он сел за стол и предложил мне сесть. Старик стоял перед нами.

Котляревский сказал что-то дежурному чиновнику. Тот принес сверток грязной бумаги и положил на стол. Котляревский развернул сверток, вынул из него зеленого цвета бумажки, нарезанные в размер трехрублевок. Я взял одну из них и рассмеялся. Они были сделаны так грубо — на чайных обертках, так просто, что я сказал:

— Кто же их может принять за деньги?

— Вы смеетесь? — спросил полицмейстер. — А вот он, — показал он на старика, — их сбывает на базаре и идет под суд и в тюрьму.

Лицо старика, его глаза, в которых, как сукровица, остановились слезы горя и мольбы, возбуждали глубокую жалость.

— Неужели найдется хоть один дурак, который может принять это за деньги?

— В том-то и дело, что есть, — сказал Котляревский.

— Спросите его, откуда он их достал.

Чиновник спросил на неизвестном языке. Старик ответил:

— В горах, там... Приехал к ним молодой, с кокардой, царь послал его. «Давай масла, — говорит, — давай брынзу, рога, холст» — и заплатил этими деньгами.

— А разве он не видит, что это не деньги?

Старик провел рукою по глазам, и я увидел на пальцах его грубой руки железные гвозди. Не рука — а какой-то кастет. Железные кольца так приросли к рукам, что соединились с костями. Котляревский, заметив мое недоумение, сказал:

— Это у них у всех, у хевсуров. Дратся любят друг с другом.

— Ступай на волю, — сказал ему Котляревский. — Сколько мошенников по Кавказу ездит. Обманывают этот простой, дикий, честный народ.

Но старик попросил отдать опять ему деньги.

— Вы видите, — сказал я, — он ничего не понимает.

— Ступай же сейчас, — сказал Котляревский. — А то плохо будет.

Чиновник перевел ему слова полицмейстера. Он пристально посмотрел на нас орлиными глазами и, поклонившись, ушел.

Дарьяльское ущелье

Из Владикавказа я поехал по Военно-Грузинской дороге на станцию Казбек. Дорога шла по равнине, а впереди были видны громады гор. Они высоко поднимались над долиной. Потом обступили громадными глыбами камня, шли по обе стороны дороги. Первая остановка, станция. Небольшой одноэтажный дом с крыльцом; над входом вывеска, на которой написано: «Не уйжай, голубчик мой» — и нарисован чайник, калач и бутылка вина.

Когда меняли лошадей, я зашел на станцию. Большая комната, лавки, стол. За столом сидели казаки в черкесках и грузин-священник в высокой шапке и в черной рясе. Они пили чай.

Я спросил себе у буфетчика вино чихирь, но оказалось, что он не знает, что такое чихирь. «Вот, — думаю я, — как же, на Кавказе, я слышал, есть вино такое». Я еще, помню, в детстве видел картинку: какой-то веселый человек идет по дороге между гор и в руках у него бутылка, из которой он пьет из горлышка. А подпись была:

Я пью чихирь и оглашаю пространство
Стихами Лермонтова.

Мне подали кахетинское вино и чудный шашлык.

В это время в комнату станции вбежал казак и крикнул: «Выходи!»

Священник и сидящие за столом солдаты, вскочив, схватили ружья и быстро выбежали наружу. Я тоже вышел на крыльцо.

Казаки, бежа по дороге от станции, по временам останавливались и стреляли в горы.

— Вон, вон, — кричал священник, показывая рукой вверх, на гору.

Я увидел, что далеко в горах, между грудой камней и скал, перебежали какие-то люди, один, другой... Казаки стреляли.

— В кого они стреляют? — спросил я священника.

Он, смотря в горы, рассеянно ответил:

— Воры, ингуши. Корову у казаков угнали из станицы. Но разве в них попадешь, где же!

«Все так просто», — подумал я.

Я сел опять в подводку. Мы поднимались у самых громадных скал, и горы теснили нас все больше и больше. Ровные серые тучи закрывали вершины. Я как бы въезжал в облака.

Дорога шла над пропастью, где далеко внизу, между облаков, белела белой пеной река. Это был Терек.

— Что, — спросил я возчика, — казаки стреляли на станции в ингушей? Что же, они разбойники?

— Ингуши-то? Да, — ответил возчик. — Ведь это так у них завсегда: друг дружку. Ингуши — казаков тоже, а те их.

Дорога опускалась вниз. Переехали каменный мост через Терек. Светлые воды его омывали камни и, прыгая, кипели, шумели. На ровной долинке среди темного ущелья стояли белые одноэтажные дома, скучные, покрытые красной черепицей, — казармы и станция.

Ущелье становилось все уже и уже. Я увидел на высокой скале четырехугольную башню, которая кверху суживалась. В этой башне было длинное окно. Это и есть «Башня царицы Тамары».

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила...

Но Тамара там не жила. Это древнее сооружение, эти башни были военные посты на этой старой дороге в давние времена.

«Вот тут-то и надо мне написать ущелье, где обвал пересекает путь Синодалу, — подумал я. — Уж очень хорош и мрачен цвет этого ущелья. Какой-то особый тон, и впечатление такое таинственного и глухого края».

Ущелье расширялось, и за синими тучами показалась, блистала в высоте снежная вершина Казбека. Дорога шла понизу, и на серой ровной долине под Казбеком, извиваясь и зеленея, неслись воды Терека. А слева внизу, у больших темных обрывов гор, покрытых снежными узорами, лежал аул, с плоскими крышами и маленькой часовней. Стояла станция Казбек.

Во втором этаже станции мне отвели комнату.

Из окна ее видны были близко скалы гор. Стены были выбелены мелом. Стояла жалкая железная кровать, грязный стол и один стул.

Я сказал начальнику станции — он же и телеграфист, — что останусь здесь несколько дней для работы.

— Чего ж, — сказал молодой начальник станции. — Только вот теперь барашка нет, всех за перевал угнали. Но, может, куру вам достану поесть.

Уже вечерело. Мне принесли на стол жалкую жестяную лампу. Я открыл окно, было свежо. По мутной и скучной дороге в сумерках шел человек с лошастью и пел на чужом языке. Это был грузин.

Вечером ко мне пришел начальник станции пить чай. Принес кахетинское вино и сыр, какие-то лепешки. Когда я спросил про вино чихирь, он тоже не знал. Я рассказал ему про того хевсура, который менял фальшивые деньги во Владикавказе.

— Чудной народ, — сказал начальник станции. — Ведь вот они тут живут, — показал он рукой в окно на гору, — высоко. Такие гнезда, чисто орлы. К ним и не проедешь, и не пройдешь. А вот воры находятся, приезжают к нам на Кавказ. И этот простой народ обирают. Вот дают им чайную бумагу, говорят, что деньги. Те берут. И отнимают у них товар — кожу, сыр, масло. Пользуются дикостью... Беда!..

Станция Казбек

Рано утром проснулся я чуть свет. Вся долина Терека была в синеве тумана и темных туч, а высоко выделялась на бирюзовом небе, розовея снегами, вершина Казбека в предутреннем рассвете. Покуда я нанимал подводу, собирал краски, инструменты для живописи, чтобы ехать писать ущелье Дарьяла, все кругом изменилось. Тучи низко опустились, закрывая горы, и Казбек окутался мглой.

В ущелье Дарьяла, когда я приехал, была еще ночь. Оставив дожидаться возчика на дороге, я пошел по камням к подножию скалы, над которой возвышалась старинная башня. Таинственно и мрачно. Внизу, у бегущих вод Терека, я расположился на

берегу, поставил складной мольберт, холст и торопился писать тяжелые громады ущелья. Этот тон скал, мрачных и мертвенных, так подходил к картине, где остановился Синодал перед обвалом и где он увидел его — врага Демона.

Воды Терека шумели, ударяясь о камни, и как будто в звуках его вод кто-то говорил, не смолкая. Когда я наклонился к ящику взять флакон белил, я увидел стоящего неподалеку высокого роста человека — юношу в черкеске, с большим кинжалом у пояса. Это был стройный юноша, он пристально смотрел на меня острыми, как у птицы, глазами. Смотрел с удивлением.

Я писал и думал, как это он подошел ко мне, я ничего и не слышал. Подкрался, как кошка...

Я далеко оставил на дороге возчика, и мне стало как-то жутко. «Трус», — подумал я про себя.

Я спросил юношу: что он — грузин, ингуш или черкес.

Он молчал.

Я вынул папиросу и закурил. Предложил и ему, но он не взял. Стоит и смотрит на меня в упор... Тогда я достал из бокового кармана револьвер — маузер. Глаза у него разгорелись при виде блестящего пистолета. Он смотрел на него не отрывая глаз. Вижу — нравится ему мой маузер.

Я взял из ящика другой небольшой холст, нарисовал на нем кистью кружок, поставил в середине черную точку, дал его юноше и сказал:

— Пойди, поставь на тридцать шагов, я попаду.

Он взял холст и недоуменно смотрел на меня.

— Поставь, — сказал я.

Он что-то ответил, я не понял. Я пошел с ним, отсчитал тридцать шагов, поставил холст к камню, вернулся назад, прицелился и выстрелил. Холст упал. Он побежал смотреть. Я попал в край подрамника. Тогда он опять поставил холст и прибежал ко мне. Я дал ему свой маузер и сказал:

— Стреляй.

Он засмеялся, — я увидел его белые, как чищенный миндаль, зубы, — долго целился, выстрелил и побежал смотреть. Схватив холст, он принес его мне: его пуля попала в самую черную точку. Он радовался, заливаясь смехом, хлопая в ладоши, и опять отнес холст — вдвое дальше.

Но я сказал ему, что мне нужно писать, а стрелять будем потом, когда окончу картину.

Я продолжал писать этюд. Он сел около меня на земле и все любовался маузером, поворачивая его в руках и целясь. Я почему-то подумал, как бы он в меня из него не ахнул. Кругом никого, только скалы. А Терек все говорит, говорит, не смолкая.

Когда я кончил работу, он опять стрелял и попадал в середину холста.

— Молодец, — сказал я, — якши.

Я собрал свои принадлежности, и он помог мне нести их до дороги, где дожидался возчик. Положив в повозку вещи, я хотел взять у него свой маузер. Но он держал его у груди и говорил скороговоркой:

— Твоя — моя, кунак. Твоя друга — моя друга... — и прикладывал ладонь правой руки ко лбу и к губам, и все сыпал и сыпал непонятными словами.

Я недоуменно смотрел на возчика.

Возчик, смеясь, сказал:

— Он — чечня. Он говорит, чтоб вы его на службу взяли. Он рад и благодарит. Он будет служить вам, всегда защищать вас до гроба, себя не жалея. Только не берите у него этот пистолет.

— Как же, — говорю я, — у него дом, отец, мать, как же я его возьму?.. Чего служить? Он по-русски не знает.

— Знает, знает... Твоя — моя друга... — волновался чеченец.

— Чего, барин, — заметил возчик, — ежели надо вам, берите, он и домой не пойдет. Они ведь верные. Он за вас кого хошь убьет. Я чечню знаю — народ хороший. Они как татаре, одной веры.

А чеченец уже сел на облучок, вместе с возчиком, повернулся ко мне и скалил белые зубы. Он весело смеялся и ехал со мной, будто на какой-то особый пир жизни, кого-то ловить, догонять, кого-то резать этим большим кинжалом, в кого-то стрелять из маузера...

Он вдруг строго посмотрел на ехавший мимо нас экипаж и закричал: «Стой!» Проезжие от неожиданности остановились. Тут я увидел, что «служба» уже началась...

Подъезжая к аулу Казбек, я вошел в духан. Позвал чеченца и возчика выпить вина и съесть шашлыка.

Шашлыка не оказалось, но приготовили какой-то «чахохбили». Когда я налил моему новому слуге-чеченцу вина, он отказался пить, приложил руку ко лбу и, взглянув кверху, сказал:

— Магомет не велит...

Он попросил лепешку хлеба и стал в дверях, как на часах.

— Я здесь, на Кавказе, 31 год, — говорил возчик, — сызмальства ямщиком. Всегда с русскими. А сам я татарин — с ним одной веры. Только до их трудно, они твердые, трудно... Я и вино пью, как русский. А он — вот вам служить будет, как собака... Вот они верные. Только его, барин, не ругай. Он горячий народ. И-и... беда! Ежели вас кто обидит, он убьет разом. Верно. И-и... служить будет. Смелый народ!

Возчик говорит, а я ем чахохбили и думаю: «Куда его деть, этого чеченца... Совсем он мне не нужен. И вообще никакого слуги».

Смотрю на него, он стоит в дверях, ест лепешку, и у него такое детское, доброе лицо. «Вот, — думаю, — нечаянный слуга. Как быть?» У него кинжал у пояса, он весело смотрит на меня, ворочая глазами, как арабский конь. «Погоди, — говорит выражение его лица, — я уж услужу тебе. Кого-нибудь за тебя обязательно укокошу».

«Хорошо это все, — думаю, — но куда все-таки его девать?..»

Вдруг я увидел: он как-то вытянулся, посмотрел в дверь из духана, с испугом подбежал к нам и сказал:

— Смотри. Война едет. Казак едет...

Из дверей духана я увидел, как вдали, за станцией Казбек, по ровной долине около Терека ехала кавалерия. В черных бурках, с ружьями... Подъехав к нам ближе, на лугу у Терека, казаки спешили. Несколько из них отделились, поехали к станции, а двое к нашему духану.

— Казаки... — сказал возчик-татарин, — кубанцы...

Мой чеченец стоял бледный и не спускал с них глаз.

Двое больших, здоровых людей, соскочив у входа с лошадей, вошли в духан. Грубо крикнули хозяину:

— Давай хлеба, давай баран...

Хозяин духана ответил, что хлеб есть, но барана нет.

— Где баран, покажи! — крикнули они моему чеченцу.

— Моя не знай, вот-вот не знай, — согнувшись, отвечал мой струсивший слуга.

— Веди сейчас на аул, ты, слушай, плутня! — закричали казаки.

Чеченец пошел с ними. У него были глаза испуганной птицы.

Я уехал на станцию и на дороге видел, как двое казаков везли на плечах заколотых баранов, а чеченец бежал за ними с мешком хлеба.

Он нашел меня в станционной гостинице, вошел так тихо, что я не слышал. Я как раз собирался снимать сапог.

Он наклонился над моей ногой, чтобы мне помочь.

— Зачем грязный чувяк? Чисто буду... Твоя вера, моя вера... один Бог, нет другой Бог... Твоя — моя друга... Казак здесь, баран жарит... Ух, казак... Твоя боится казак?

— Нет, — говорю я, — зачем?

— Моя боится...

И глаза чеченца опять стали похожи на глаза испуганной птицы. Он взял у меня сапоги и пошел по лестнице вниз.

* * *

Я заснул и спал долго. К вечеру мой чеченец принес сапоги.

Надев сапоги, начищенные до блеска, я вышел из станции. Над Казбеком зеленеет вечернее небо, а уже в долине был сумрак, и на бивуаке у казаков, на лужайке, бродили расседанные кони. Казаки жарили баранину, и дым от костров поднимался ввысь в тихом весеннем вечере.

Я подумал: «Вот нужное мне отношение красок: костры, цветные пятна сидящих казаков, и дым, и горы, и тучи, и снежные вершины, — Кавказ...»

Мой чеченец пропал.

* * *

— Ушел, — сказал мне начальник станции. — Он боится казаков. Они едут во Владикавказ. Везут в мешке головы убитых разбойников с персидской границы.

Взяв небольшой ящик с красками, я пошел к кострам. Казаки ужинали, опуская ложки в котел, и пили вино. Один, с большими усами, спросил меня — кто я такой и что это я списываю? Узнав, что я приехал писать картины Кавказа, сказал:

— Спиши и нас. Хочешь, покажем тебе отрубленные головы разбойников? Они там у нас, у есаула, в мешках. Хочешь?

«Правду сказал начальник станции», — подумал я, но посмотреть головы разбойников отказался.

Я наметил цвета красок гор и костюмов, все контрасты и, вернувшись в гостиницу, ночью делал эскизы к опере.

* * *

Проснувшись утром, увидел: казаки чистят лошадей.

А мой чеченец пропал. Не идет. «Украл маузер», — мелькнула грешная мысль.

Но, когда я двинулся от станции Казбек по дороге на перевал, чтобы спуститься к долине Арагвы, из-за камней выскочил вдруг ко мне мой чеченец и быстро вспрыгнул на подножку экипажа.

— Твоя — моя друга... ушел казак... Ох, казак! Сидел тут, тебя ждала... Боюсь — его крадут... — и он показал рукой на грудь, где у самого сердца был запрятан у него мой маузер.

Что за странная любовь к оружию!

Мы ехали от станции долиной, где извивался Терек. Были видны громады гор, на вершинах покрытые узорами снегов. Неожиданно мой чеченец сказал: «Стой!» — и соскочил с экипажа.

— Пойдем туда, — сказал он мне, — вода Нарзан.

Он показал рукой вниз от дороги. Я вылез и пошел за ним по крутой тропе.

— Вот вода...

Из расщелины камня быстрой струей текла блестящая вода. Около валялся разбитый глиняный кувшин и еще черепки. Чеченец наклонился и прямо пил воду ртом.

— Пей вода, — сказал он, — гора дает...

Я наклонился и пил, хватая ртом быструю струю. Она как-то шипела во рту и колола язык. Вода была дивная. Подошел и возчик, набрал в бутылку воды и пил.

А крутом высоко синели горы, и солнце весело освещало дивные долины. Когда-нибудь, должно быть, содрогнулась земля и воздвигла эту бесконечную громаду гор. Высоко, в лазоревом небе, кружась, летали орлы, сверкали узоры снегов.

Мы двинулись дальше. Я не мог налюбоваться на волю и красоту Кавказа. А мой чеченец чистил рукавом черкески маузер, который блестел на солнце в его руках...

Станции Гудаур и Млеты

Дорога поднималась все выше и выше. Снега горной цепи как бы приближались. Воздух стал холоднее, и я почувствовал запах, как в России, первого снега.

Возница остановился и опустил между колес толстую палку. За поворотом придорожных скал дорога была покрыта снегом. Мы поднялись высоко. Ехали по снежной дороге, и крутом лежали снега.

Дорога становилась уже. Мы ехали как бы среди огромных сутробов. Солнце сияло ярко, освещая снег так сильно, что было трудно смотреть.

Справа открылась бесконечная снежная пустыня горных вершин, сверкающая на солнце гранями. Слева от сплошной снежной стены гор сыпались на нас комочки снега, все чаще и чаще. Возчик, стоя в пролетке, хлестал кнутом лошадей. Те опрометью неслись по дороге. Комки снега сыпались на нас, и я услышал сзади шум, который перешел в грохот. Ямщик, погоняя лошадей, кричал: «Пошел! Эй, эй, выноси, алла». Чеченец выскочил на дорогу и побежал рядом, нахлестывая лошадей.

Впереди к нам навстречу торопливо шла толпа каких-то людей с заступами и лопатами. Поравнявшись с нами, они о чем-то говорили с ямщиком по-грузински.

— Обвал, должно быть? — спросил я у ямщика.

— Да, — ответил, смеясь, ямщик. — Место такое, часто обвал. Проехали — хорошо. Невелик, а то пропадешь да закроет совсем. Копать надо. Время такое, тает в горах.

На ровной дороге показалась вдали станция Гудаур — Крестовый перевал.

С террасы станции видна была спускающаяся змеею в огромную долину дорога, а далеко внизу — станция Млеты, где все было в ясной зелени и в весенней цветущей

щей растительности — розовые, белые деревья, сияющая красота рая в голубой воздушной дымке, весна. И какой контраст являл этот вид со снежными сугробами, которые лежали здесь около меня, на станции Гудаур.

Какое очарование для глаз — далеко видно на предгорье внизу монастырь с высокими стенами и башнями по краям. Одинокое стоит он на возвышенности, окруженный пирамидальными тополями.

— Вот Кавказ, — сказал мой слуга. — Что хочешь: тут зима, а тут лето. Твоя — моя. Тут барашка есть, люли-кебаб есть, шашлык, чихирь есть.

За столиком на террасе сидели путешественники, какие-то судейские люди с кардами на фуражках. Пили чай, закусывали, выпивали.

Я и слуга мой, чеченец, тоже сели за стол, и я спросил еду и чихирь. На стол подали водку. Отведав шашлык, я напомнил слуге, чтоб дали чихирь.

— Вот чихирь, — показав на водку, сказал станционный слуга.

«Что такое, — подумал я. — Я-то думал, чихирь — это какое-то кавказское вино, а оказывается, это просто наша водка».

Возчик перекладывал мои вещи в новый экипаж, над которым была белая крышечка, как в Крыму у извозчиков, опустил к колесу экипажа какую-то цепь, укреплял тормоз. И сам переоделся в белый армяк. Видно было, что мы едем туда, где уж тепло.

По дороге вниз был особенно ароматный воздух. Пахло цветами. На станции Млеты был теплый вечер.

Я писал большой этюд высоких деревьев дивной формы, покрытых сплошь розовыми цветами, — эти деревья почему-то назывались Иудиними деревьями. Они были пышны, и очертания их ветвей на фоне голубых гор были прекрасны. А внизу по мелким камешкам бежала светлая речка. У противоположного берега шла тропа вверх с положенными большими камнями ступеней.

«Вот, — подумал я, — эти ступеньки»:

...по ним мелькая,
Покрыта белою чадрой,
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

И как-то неожиданно я увидел — на той стороне реки пришли грузинки, в узких бешметах, в больших шароварах, с кувшинами, и поставили их у самой воды. Они были высоки и тонки. Около висков их чернели локоны, и сзади от головного убора ниспадали цветные вуали.

Увидав меня, они, как испуганные лани, смотрели в мою сторону.

Я скорее хотел занести их на свой холст. Сказал чеченцу:

— Пройди реку-то, пойдти к ним. Здесь мелко. Попроси, чтобы они постояли, я им заплачу.

— Твоя — моя, не дай Бог, — разводя руками, сказал слуга. — Не надо, не можна никак. Отец придет, брат придет, кинжал возьмет. Не надо, что ты!

Настали сумерки. Долина покрылась тенью. Был тих и отраден весенний вечер. У станции на скамейке сидел заросший бородой, хмурый начальник станции, еще молодой человек. Я подошел и сел подле него на лавочку. Он был немножко на взводе.

— Тоска... — сказал он. — Здесь как в ссылке. Жена уехала. Вот в Тифлис я ездил, деньги за ремонт получать. Вот ее белил, — показал он на здание станции. — Приехал из Тифлиса, значит, а жены нет... Письмо оставила. Пишет, что к мамаше едет, жить больше тут не может. Вот оно что. Вот что Млеты-то, вот они, Млеты, какие. Кругом хгоры и хгоры. Вот до чего надоело, хуть бы ровное место поглядеть, как у нас в Новочеркасске. Эх, да что говорить! Жена через это самое уехала. Тут по всем станциям, сказать правду, все жены от мужьев убежали, начисто, потому что хгоры... тоска...

Он замолчал, затянувшись дымом папиросы. В холмах, покрытых лесами, среди тишины, в долине гор протяжно завывали волки.

Звездное небо. В долине, среди деревьев, вышел полный месяц.

Я наскоро собрал краски, холсты и торопил начальника станции дать лошадей — ехать в монастырь неподалеку, чтобы написать ночь, монастырскую стену.

Когда я подъехал к монастырю, от пирамидальных тополей в лунном сиянии по стенам ложились большие тени. А сверху было видно окно, длинное, узкое, освещенное светом лампы. «Вот», — подумал я:

Он поднял взор: ее окно,
Озарено лампадой, блещет...

У большого входа в стене из калитки кто-то показался. Посмотрел в мою сторону, где я писал этюд, а мой слуга-чеченец держал фонарь. Опять захлопнулась калитка — вероятно, он думал: «Что за сумасшедший! Пишет, изо всех сил, торопясь, ночью красками».

Через некоторое время показались трое. Хотели подойти ко мне, но мой преданный слуга крикнул:

— Не ходи!

Они вернулись к калитке. Я думаю: «Вот чеченец!»

— Идите, — кричу я им, — идите, пожалуйста!

— Что ты, — говорю чеченцу, — можно смотреть.

— Не надо, — говорит он.

«Вот, — думаю, — слуга!» Я встал и пошел к калитке. Здравуюсь с монахами и говорю им:

— Вот рисую ночь, это мне нужно для театра... опера «Демон», — тороплюсь им объяснить. — Нельзя ли, — прошу их, — посмотреть монастырь? У вас тут есть в монастыре келья.

Старший из них, уже седой человек, учтиво сказал мне:

— Пожалуйста, все вам покажем. Только днем.

— А теперь нельзя? — спросил я. — Мне ведь ночь нужна.

— Понимаю, понимаю, — сказал старик. — Ну что ж, пожалуйста.

Я наскоро собрал свои принадлежности, но мой слуга отказался их нести.

— Никак не можно... Как пойдешь? Другая вера... Магомет не велит...

Освещая путь фонарем, мы шли по узкой каменной лестнице и вошли в кованную железом дверь в витиеватых узорах-орнаментах. Келья была каменная, низкая, со сводом. У стены стояла икона, и горели лампы. Напротив — узкое окно, в котором видна лунная ночь. Низко у стены стояла деревянная кровать, обитая гвоздями,

в орнаментах, с большими светыющимися шляпками. Около стоял большой таз с высоким кувшином... Над постелью — выбитые в каменной стене кресты особенно-го восточного орнамента.

Наскоро нарисовав келью, я, поблагодарив монахов, вышел из монастыря. Мой слуга подошел ко мне, разводя руками, и сказал:

— Моя молится моя Аллах, твоя молится твоя Аллах...

Начальник станции не спал.

— Здесь у кузнеца, с краю, недалеко, — сказал он мне, — ветчина хороша — окорок. Он коптит их в кузнице. Хороша, язык проглотить.

Мы с ним пошли ночью к кузнецу, разбудили. Кузнец достал небольшой окорок, который висел у него снаружи сакли под навесом. Окорок был маленький, сухой, как камень.

— Хорош... — сказал хозяин, отрезал кинжалом тонкий кусок и дал попробовать.

Окорок был особенного вкуса. Нигде, никогда я не ел такой ветчины. Она была прозрачна, как янтарь. Начальник станции поставил на стол чихирь, вино, шамау, лук, приготовил шашлык, а слуге моему сказал:

— Поставь самовар.

Слышу — рядом — начальник станции ругательски ругает моего чеченца.

— Моя не знай самовар, — отвечает тот.

— Баран ты, чертова кукла, — кричал на него начальник станции. — Что же ты воду не налил, балда. Кас гчеби (глупый гусь) ты, сукин сын.

— Ну и слуга у вас, — сказал он мне. — Эх, дура, воду не налил в самовар. Откуда он у вас? Такая балда!

— Он хороший человек, — говорю я, — верный мой телохранитель. От разбойников меня защищает...

— Да тут у нас нет никаких разбойников и воров нет. На Кавказе народ честный. Приезжают вот сюда мошенники разные, обирают народ. А разбойников нет.

Когда сели за стол, начальник станции нарезал ветчину, подал шашлык.

Я просил его позвать моего чеченца.

Чеченец сел и робко ел лепешку, а про ветчину сказал: «Аллах не велел». Начальник станции налил ему рюмку чихаря, водки. Тот не пил.

— Вот видите, — с огорчением сказал начальник станции, — водки не пьет! Верно, Мугамет запретил вино из винограда, а водку из хлеба гонят.

— Понял? — спросил он у чеченца. — Из хлеба! Дак это не грех пить, чертово вы племя!

Чеченец послушался, выпил разом рюмку и закашлялся. Глаза у него завертелись.

— Якши? — спросил начальник станции, держа его за рукав.

— Якши, — ответил покорно слуга-чеченец. В его глазах — глазах оробелой птицы — стояли слезы.

— Никогда из них русских не выйдет, — сказал начальник станции, печально покачивая головой. — Водки не пьют! Не понимают ни черта!..

«Демон»

Ночь. Мастерская на Подьяческой улице — большая, освещенная лампами. На полу декоративной мастерской лежат огромные холсты декораций. Около них стоят тазы с колерами. Я пишу долину Арагвы и ущелье. Мои этюды, написанные с натуры на Кавказе, стоят передо мной.

В углу мастерской, вдали, у печки, где согревается клей, на полу сидит мой слуга Ахмед — чеченец. Он держит на коленях опрокинутое ведро и бьет в него ладонями рук. И, закрыв глаза и качая головой, тихо поет какую-то песню, похожую на молитву муэдзина. Как это напоминает Кавказ... брега иные, далекие...

Старший мастер Василий Харитонов Белов, маляр, подает мне составленные колориты в тазах, которыми я пишу по холсту декорацию светлой Арагвы.

— Вот чудной народ эти черкесы... Поет, а что — незнамо што. Поет... А то вынет из кармана платок, постелет на пол, встанет на его на колени, руки к ухам поставит и давай молиться. Вот молится!.. Ала-мала, ала-ала, сала-мала... И чего?.. тоже по-своему. Чудно!

— Он магометанин, — говорю я, — другой веры.

— Да, — согласился Василий Харитонович. — Да, это и видать. Ну и плясать он ловок. Их ты! Вынет кинжал, воткнет, значит, в пол-то и кругом его пойдет ходом... Их, ловко! На цыпочках. Закроет глаза и запоет, незнамо што, конечно, черкес он нехрещеный... Только знаете, что он говорит, — продолжал Василий Белов. — Что, говорит, Петербург! У нас, говорит, город Тифлис лучше. У нас там, говорит, бани — майдан, прямо из горы кипяток идет, вода... А тут что у вас, говорит, и гор нет. Вот ведь врать здоров до чего...

— Нет, — говорю я, — не врет он. Верно. Вода прямо из горы, кипяток идет, верно, — говорю я.

— Ну, что вы, Кинстинтин Ликсеич? Э-э, ну!.. А кто ж ее там греет? Вы верите!.. Мало ли что он врет...

Василий Белов подошел к столу, налил себе стакан квасу и выпил залпом, вроде как с досадой.

— Экой какой народ — злющий! Ежели воевать с ими, они, ежели в плен возьмут, это самое... голову тебе кинжалом отрежут начисто...

— Еще бы! — говорю я, продолжая писать. — Это верно. Тебя, Василий, и резать-то хорошо, вот ты какой гладкий...

— Ну, вот тоже... вы скажете...

Василий не любил моих шуток. Он лихо надел картуз и вышел из мастерской.

* * *

Когда декорации были готовы, их повесили на сцене в Мариинском театре. Была назначена монтировочная репетиция, где я освещал их, а также осматривал костюмы действующих лиц и хора, сделанные по моим рисункам.

Демона пел Тартаков, а Синодала — Николай Николаевич Фигнер. И тот и другой имели свои собственные костюмы. Они не хотели надеть костюмы по моим рисункам, так как боялись, что костюмы будут декадентскими. В то время постановки мои в Императорских театрах всеми газетами почему-то назывались декадентскими. Это словечко, прибывшее из-за границы, было тогда в моде и употреблялось кстати и некстати.

В середине сентября была назначена генеральная репетиция «Демона». Приглашенной публики не было, даны были только места знакомым и родственникам участвующих артистов и хора. Тем не менее «родственников» оказалось так много, что зрительный зал Мариинского театра наполнился.

На сцене — горное ущелье. Ночь. Костюм тенора Фигнера сильно отличается от других, моих, костюмов. На голове у Фигнера огромная белая песцовая папах; она похожа на большую муфту. На короткой белой черкеске нашито много золотой и серебряной мишуры с висящими сзади кистями, поддерживающими черную бурку. Под черкеской — голубая атласная рубаша с очень высоким воротником и блестящими пуговицами; яркие голубые шаровары с красными сапожками...

— Ну и костюм! — сказал мне директор Императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский.

На сцене хор поет:

Но-о-о-ченька те-е-е-мная,
Ско-о-ро прой-дет
Она...

Оркестр остановился.

Ко мне подходит барон Кусов, заведующий постановкой, и важно, строго говорит мне:

— Пожалуйста, вас требует его высочество на сцену...

Я пошел из зрительной залы за бароном Кусовым на сцену. За кулисами я увидел Фигнера, перед которым стоял великий князь Сергей Михайлович.

Когда я подошел, великий князь обратился ко мне:

— Скажите, кто это такой? — спросил он меня, показав на Фигнера.

Я как-то не ожидал такого вопроса, вернее, не понял, в чем дело, и сказал:

— Николай Николаевич Фигнер...

— Я прекрасно знаю, что это Николай Николаевич Фигнер, — сказал великий князь. — Я вас спрашиваю: кто он? То есть какой же это князь Синодал?..

— Это костюм Николая Николаевича Фигнера... Думаю, что он из кавказского магазина с Невского проспекта...

— Вот видите, ваше высочество, как изволят отвечать декаденты, — горячась, сказал Фигнер.

— Позвольте, — сказал великий князь, обратившись ко мне. — Это, значит, не ваш костюм. Отчего же вы не сделали костюма для Синодала?

— Нет, — ответил я, — я дал рисунок.

— А он готов? Покажите мне, — сказал великий князь барону Кусову. — Видите ли, — говорил великий князь, — я всю юность провел на Кавказе, и я вижу, что материи и цвета на всех других костюмах кавказские... Они говорят несколько о прежнем, хотя и не очень отдаленном времени, я уже мало встречал таких костюмов.

— Да, во времена давние была иная форма, заимствованная из Персии, — сказал я. — Но я боялся сделать очень отдаленное время, так как позднейшее было более изящно.

Барон Кусов принес и показал мой костюм князя Синодала.

— Надо его надеть на кого-нибудь, — сказал я.

Мой взгляд упал на моего слугу-чеченца. Ему велели надеть костюм. Костюм оказался ему как раз впору. Тонкая фигура чеченца была изящна.

— А зачем вы сделали откидные рукава? — спросил меня великий князь. — Это армянский фасон, у грузин не было.

— Я хотел сделать по Лермонтову... — ответил я. — «Играет ветер рукавами его чухи...» И притом у гурийцев я видел откидные рукава. А они тоже грузины. Это была смешанная мода, которая шла от армян.

— Я не поклонник декадентства, — сказал с улыбкой великий князь Фигнеру, — но должен вам сказать, что костюм ваш, Николай Николаевич, хотя и прекрасен, но несколько современен... На самом деле на Кавказе таких не носят... Уж очень много кистей мишурных... Вроде как на богатых гробах...

* * *

Фигнер все же пел в своем костюме.

После новой постановки оперы «Демон» пресса писала, что «костюм Синодала, сделанный по рисунку Коровина, — декадентский».

— Странно... — сказал директор В.А. Теляковский. — Так много говорят о постановке «Демона». А когда в прежней постановке «Демона» грузины почему-то были все в турецких фесках на головах, а горы были чуть ли не швейцарские — все молчали. А теперь все говорят и все ругают вашу постановку. Даже барон Фредерикс, и тот почему-то беспокоится... Спрашивает меня: «Неужели грузинки ходили в шароварах? Не странно ли?» — Теляковский рассмеялся. — И притом: все ругают, а театр полон...

* * *

Мой слуга, чеченец Ахмед, удивился, когда с него сняли костюм, который он примерял. Он думал, что ему его подарили...

Он очень огорчился, сказал мне грустно:

— Хороший город Петербург, генерал многа, начальник многа, всего многа... но гора нет... Скучно ро-о-овно... Как без гора жить...

И добавил:

— Зачем Демон? Такой человек нет Кавказ...

Василий Харитонович Белов с сердцем сказал ему:

— Чего ваш Кавказ? Ежели взять у нас в Москве Царь-пушку, да ее на гору поставить, да ах! тогда все, все вы, черкесы, что ни на есть, што скажете? А?

Мой чеченец промолчал. Но как-то сказал Василию Белову:

— Ты думаешь, моя дурак одна. А твоя тоже дурак...

* * *

Мой слуга-чеченец заскучал. Пришел он ко мне как-то утром и говорит:

— Твоя — друга моя. В полицейский участок была, начальник многа ругал меня. Пашпорт нет, кинжал не можно носить никак... никак нельзя... Пистолет нельзя, никак нэ можно. Пистолет — тюрьма сажает... Прощай, — сказал он мне, наклонив голову. — Я назад пойдет...

И я увидел слезы в его глазах.

— Пускай Кавказ меня. Твоя — моя один Аллах. Прощай, твоя друга. Твоя — вот хорош. Моя правда говорит. Пускай меня Кавказ... Скушно мне... Всего многа, Петербург хорош, гора нет... Скушно... Ну што тут, нэ можно жить без гора, скушно...

Он собрался в отъезд. Я вечером провожал его на вокзал. Купил ему билет. Деньги в сумке на шнурке велел надеть на шею, под бешмет. «А то, — говорю ему, — украдут у тебя...»

Прощаясь со мной, он крепко обнял меня за шею руками, сказал:

— Прощай. Чечен не может здесь жить... Такой человек — не виноват... Прощай!

И, поцеловав меня в лоб, он заплакал...

Постом

Москва постится. Медленно и протяжно разносится по Москве колокольный звон. Уныло, вроде покаянного... Тройки уже не несутся лихо по Тверской-Ямской в загородные рестораны. Москвичи говеют. Старушка богомольная несет в руках просфору от обедни. Все как-то пристойно, сосредоточенно — Великий пост...

— Ты, Петр Гаврилыч, у кого говеешь?

— У Варфоломея, в Зарядье.

— Эка ты!.. Ну, что... Ты бы у Савватия попробовал. Вот строг. Что Варфоломей! Савватий за пост сразу берется. Спросит: «Балык ешь?» — «Ем», — говорю. — «Головизну ешь?» — «Ем», — отвечаю. «Чем водку закусываешь?» — «Разно, — говорю, — семгой, сметками, белорыбицей, кильки ревальские, ну, огурчики...» — «Это, — говорит, — не пост, а безобразие...» Строг Савватий.

— Да-с... А Варфоломей — насчет женского полу пытается: как и что? Варфоломей-то говорит — на этом самом месте вся основа существа есть и честь человеческая утверждается. Ну, и насыпет, ух, насыпет — только держись... Едешь от него, так в нутре выворачивает. Верно, все верно. Ну, и думаешь о себе: ну и сукин же я сын!..

— А меня как-то сомнение берет, — говорит Петр Гаврилыч. — Сам не знаю, что, она тебя хвостом завертывает на это самое или ты ее? Ты сюды это от ее, Иосифом Прекрасным прикинешься, а глядишь — и влип. До чего эта слабость в человеке положена, до ужаса. В удивленье потом приходишь, сам себе не веришь.

Прасковья Ивановна пьет чай с постным сахаром, морщится и вдруг заливается слезами:

— Это все она, Анфиса Петровна... Сахар-то керосином отдает. Это она накапала в сахар мне... керосину... она... Она меня возненавидела за воротник соболый. А у ней куний.

Сидящая перед ней старушка-богомолка, желтая, худая, вздыхая, говорит:

— Матушка Прасковья Иванна... а может, это Дунька ненароком, с бутылкой керосинной сахар тащила из лавки. Ведь она девка-глупыш, может, она...

— Нет, нет, — отвечает Прасковья Ивановна, — это Анфиса Петровна. Уж я знаю, матушка, что она. Она мне это самое позапрошлый год, тоже этак-то в посту... Была у меня; в лампы воды подлила. Зажжешь, а они трещат, вот трещат — спать не дают... Тогда она меня за платье голубое, шелковое, с кружевцами... Вот уж она

меня тогда оглядывала. И в лампадки воды-то налила... Ну, теперь погоди. Теперь я себе шляпку на весну заказала у Ламановой. Из Парижа, по фасону. Погляжу теперь, как она завертится... Морозихе тоже нос утру... Да непременно Сергею Ликсеичу скажу, чтоб автомобиль нам завел. Буду мимо дома ее в Рогожской разъезжать да из него ей ручкой так вот любе-е-зно раскланиваться, в перчатках... Ух, грехи... Но Анфисе докажу.

* * *

Солнце весеннее. На крышах московских домов снега тают. Капель с крыш льет на мостовую. Лужи такие веселые. У Лефортова по садам грачи прилетели, гнезда вьют. А под Москвой, на проталинах, уж травка зеленеет, и высоко в небе звенит песня жаворонка. Прилетели. В булочных напекли жаворонков из сдобного хлеба. Глаза — черника вставлена. Утром на столе к чаю жаворонки у всех. Смотришь — весна. Так хорошо.

Собираются друзья мои, охотники, ехать на тягу. Уж вальдшнепа тянут — под Москвой, говорят, видали: у Останкина, в Люблине, в Листвянах, в Медведкове. Собираемся ехать на тягу, зовем приятеля, Василия Васильевича Кузнецова, а он что-то такой не в меру серьезный, так сухо нас встретил, когда мы за ним приехали.

— Отчего ты, Вася, серьезный такой? — спросил его артист Миша Клинов.

Кузнецов как-то особенно посмотрел на нас и медленно сказал, важно:

— На тягу я не еду. Я говею. Я только что сосредоточился. Поняли? Вот-с.

— Ну, ладно. А что же грехи-то собрал? Есть у тебя грехи-то, такие, зацепистые? — спрашивает его охотник Караулов.

— А что же, вы думаете, у вас только грехи. У меня тоже есть.

— Да какой у тебя, Вася, грех? — спросил его Миша Клинов.

— А как же... Я этого Юрия Сахновского, если бы мог, в кандалы заковал... На каторгу, по Владимирской гоном сослал бы... Что он мне третьего дня, в кружке, какой крендель устроил. Я — директор кружка — был дежурным старшиной. А Юрий явился в кружок в четыре ночи. Я ему говорю: «Юрий, заплати штраф». — «Хорошо», — говорит. А в штрафной книжке написал: «Вношу штраф по случаю того, что дежурный старшина Кузнецов — дурак». Хороша штука? Как это вам нравится? Книга-то шнуровая... Она в опекунский совет идет. Все читать будут... А! Вот я и хочу спросить — как это мне его, на дуэли убить или что делать? — так как этого я простить не в состоянии...

— Ну что, Вася, — говорят ему приятели. — Это дело просто так, по пьяной лавочке... Брось, поедем на тягу...

— Не могу, — говорит Кузнецов. — Такую историю Юрий устроил, что и не знаю... А что, пожалуй, не отложить ли, правда, сегодня?..

— Конечно, отложи, — говорят ему охотники-друзья. — Ты сейчас в таком состоянии находишься... Поди, посмотри на себя в зеркало: рожа красная, рот дутый, не годится...

Вася Кузнецов подошел к зеркалу, взглянул на себя, поправил рукой волосы и, обернувшись к нам, сказал:

— Ну ладно... А куда поедем?

— Поедьте в Кузьминки или Медведково. Там у Раёва мелколесье по буграм большое, наверное тяга есть. В Медведкове мельница старая, мельник — хороший

человек; отец дьякон — знакомый мой. У меня все припасено с собой: осетрина, балык, икра, копченый сиг, калачи. Хорошо, поедем.

— Да вот из-за этого Юрия, — говорит приятель Вася, — вчера я так расстроился, пришел домой, вынул из шкафа закуски и ем. Мне Ольга и говорит: «Что же это такое, ты, — говорит, — говеешь, а сам всю копченую колбасу съел...» А я и не видал, что ел. Вот ведь что делают со мной, подумайте... В такое время, не помня себя, колбасу ешь...

* * *

Едем на извозчиках в Медведково. У Крестовской заставы подряд стоят трактиры. Около извозчики, телеги, сани с дровами и бочками. Крестьяне хлопочут около. Их лохматые лошаденки жуют сено. Вечернее солнце ласково освещает заставу, трактиры и уже оттаявшую землю. Голуби, куры клюют у лошадиных морд рассыпанный овес. За заставой ровное шоссе, и у деревни Ростокино мы сворачиваем влево по проселку, в лес. В нем белыми пятнами лежат тающие снега и радостно звенят малиновки.

У отца дьякона в Медведкове в доме уютно. Цветы на окнах, занавески розовые, чисто. На столе жареные караси, пойманные им в пруду, маринованная щука.

Василий Сергеевич рассказал отцу дьякону про случай с ним в кружке. Тот ему говорит:

— Обиды большой нет. Это, — говорит, — между приятелями бывает часто. «Дурак» — это так, сгоряча. Ежели бы «подлец» записал в книжку штрафную, ну, тогда дело другое — суд. А то, что — это его отдельное мнение. Напиши ему туда же, в книжку: «сам дурак». И все тут. И чего гневаться? Гнев — это самый смертный грех есть. Вот что.

— Верно, — согласился Василий Сергеевич.

Приятели выпивали и закусывали, а потом, вечером, пошли в Раево на тягу. И отец дьякон с ними.

У бутра, где шло седое мелколесье, над которым погасали последние лучи зари, я увидел внизу сверкающую воду речки Чермянки и вспомнил, как на этой речке, в своей ранней юности, я с девочкой Татой босиком ходил по неглубокой воде, по песку и камушкам. Тата, как я был счастлив, бегая с тобой по зеленой траве берега...

«Крр... крр», — послышалось вдали. И на потухшем небе передо мной из-за леса летел вальдшнеп. «Не убивай его...» — как будто в моей душе сказала Тата. И аравийский гость пролетел, коркая, надо мной. Я далеко проводил его взглядом, и, когда он скрылся вдали, какая-то светлая грусть прошла по душе: Тата, Тата...

* * *

Весенний солнечный день. Утро румяное. А с семи холмов московских видны голубые дали...

Мостовые московские высохли. Кое-где на дровах у сараев, в саду лежат еще кучи рыхлого снега.

У Сухаревой башни много народу — Грибной рынок. В больших бочках, стоящих на санях, привезены в Москву из деревни и сел грибы соленые: грузди, рыжики, волвянки, белянки, валуи, опята. Торговцы кучами носят на плечах сухие белые грибы, нанизанные на бечевки. В суточные щи с кислой капустой сухие грибы необходимы. А грибы маринованные — красноголовки подосиновые, березовые, опята

маринованные — отдельно в банках. Хлопочут крестьяне, захватывая совками из бочек дары русские...

— Рыжики со сметаной хороши. Это тебе совсем другое — не то что социализм... — говорит приятель мой, охотник Караулов, моему племяннику-студенту.

Тот сердито, с сожалением, посмотрел на Караулова и промолчал, а потом о Караулове отзывался:

— Несознательный дурак...

* * *

Мне видно из окна моей квартиры в Сущеве, как хозяин дома, Сергей Алексеевич Сергеев, сел у подъезда на собственную пролетку с женой и поехал в ворота. Пролетка запряжена вороным. Кухарка Авдотья, посмотрев в окно, сказала:

— Говеют. Ишь, поехали. А вечер он, хозяин, эта кота, которого вы любите, драл... вот драл... Он рыбу живую в Охотном купил, а кот-то всю ее за ночь сожрал.

— Жалко, — говорю, — хорош кот...

— Я его вам принесу ужо, пусть у вас погостит. Он его драл не за рыбу — что ему рыба, он богатеи. А так, со зла, из-за ее... Жена, жена, а глаза у ей с заводом... Она на всех глаза пялит. Он ее из хору взял, певунья была, она от отца-матери еще четырнадцать лет сбежала, вот что.

— Откуда это ты, Авдотья, все знаешь?

— А... откуда... отсюда. Хожу белье пол оскать на Антроновы Ямы, плотомойня там. А там всё знают. Когда полоскаешь белье-то, тебе всё расскажут. Вот у нас жильцы — Гавриловы, — показала она пальцем в окно, — не говеют. Вот и эти, соседы Щегловы, — не говеют. А Бальчер, рядом живет, она и веры не нашей, а говеет. А у Хрусунова все дети, трое, не от его... Она-то говеет, строго пост держит, молока в чай ни-ни... Вот естолько не капает. Грехи... И что их на плотомойне — всё знают, там не спрячешься...

Солнце освещает розовым светом стену в моей комнате.

В окна виден двор, забор, за забором большой сад. Галки, покрякивая, перелетают с деревьев и вновь кучами садятся на них. Поблизости раздался благовест в церкви Пантелеймона Мученика. Как-то задумывается душа.

По всей Руси благовест... Служба неустанная, Великий пост. Покаяние в грехах... В этом величие и глубокое, и нужное. А природа оживает в весне, сулит радости жизни. Может быть, придет счастье, и блеснет прекрасная любовь. Может быть, пройдут обман и ложь. Как прекрасно солнце весны. А колокол гудит, зовет: иди, молись, грешный человек...

* * *

В комнату ко мне вошел Василий Княжев — рыболов-приятель.

— Вот погода... Эх, весна, — сказал Василий с приветом. — Теперь дома не усидеть нипочем. Поедемте в Перервы, на плотину, аль в Дубровицы, оттаяло по краям у реки. Андрей Иванович Бартельс сказывал: плотву крупную наловили да двух судачков взяли.

— А ты где был, Василий, давно тебя не видал.

— Я теперь не в городе, — отвечает Василий. — Чего тут... Теперь я в Царицыне, в павильоне рыболовного общества, у сторожа там живу. Ну, и видать — кто есть охот-

ник аль рыболов настоящий. Приедет туда, просто так приедет. Не ловить — ловить рано, — а уж нетерпение в ём сидит. Хоть поглядеть, как пруды тают. Края уж пообложились от льду. Ну, тоже чай пьют в павильоне, разговоры разговаривают. Вот Поплавский, знаете его, так он Плану говорил, что самый что ни на есть грех большой — это природу забыть. То есть это самое — вот реку, пруды, лес, значит, луга, травку, солнце. Кто это, значит, забыл — шабаш. Значит, тот больше не человек. Ежели это самое он забыл, значит, у его в голове одна чертова зачинается. У одного машины разные выдумывать, у другого — как кажинного человека сделать на свой лад. Значит, как знаешь, поворачивать его и как ему жить надо. Вот и от етого самого начинается чепуха, спор, драка. Для таких нет ни утра ясного, ни солнца красного. Только заботы начальством стать, чтоб всем управлять. Это самое заводится в тех, кого солнце, свет Божий не веселит. Ну, а План пить здоров — смеется над им, над Поплавским, — ведь План — машинист. «Хорошо, — говорит, — верно это все. Но тоже, — говорит, — неплохо дернуть рюмку эдак после работы да закусить белорыбицей со свежим огурчиком да с редиской. Да еще скажу — с бабой веселой вертуна завертывать... Это хорошо, да, может, по-твоему, оно и грех». Вот они спорили до чего. Сердил он шибко Поплавского. Поплавский говорит: «Природа, вот пруд этот, весна, солнце...» А План: «Баба, — говорит, — первое дело... И вот рюмка березовой или полынная водка — второе. Да закуска нужна — икра или семга...» Вот План-то Поплавского и угостил пашкетом рыбным, пашкет хорош, и я ел. Только Поплавский и увидел коробку от пашкета. А на ём написано — пашкет, значит, из дичи... Вот что. Тот ему так-то и так. «Ты, — говорит, — меня в посту Великом опоганил, скоромного я теперь наелся...» А тот, План-то, смеется. Вот до чего поругались, беда.

* * *

Поздний весенний вечер.

У большой деревянной плотины на реке Василий и я ставим донные удочки там, где падает с плотины вода. За омутом, наполовину покрытым полыньей тающего льда, виден ольховый мутный лес, и ели темными пятнами выделяются среди седой ольхи.

Темная вода у берега, и наши удочки, воткнутые в берег, с привязанными наверху бубенцами на леске, выделяются на темной воде. На потухшем вечернем небе, как круглый щит, показался красный месяц.

Внизу на удочке зазвенел бубенчик, и Василий быстро побежал по бережку. Подойдя к нему, я увидел, как он снимает с крючка большого темного налима, который вертится в его руках. Василий молча посмотрел на меня, важно, и опустил садок с налимом в реку, привязав сетку за сучок ольхового куста. Мы оба тихо сели на бережку. Василий закурил папиросу, я тоже. На плотину пришел мельник. Облокотившись, смотрел на нас.

— Эку рыбину-то вы поймали, налим... Нешто его едят?

— А как же, — сказал я.

— Не-е... Это ведь не рыба, у его чешуи нету, он гладкой. А вы православные?

— Православные.

— Мы не едим. Православные то есть. Я ведь тверской, у нас никто не съест. Чего ж, он чисто черт...

— Да что вы, это самая лучшая, самая вкусная рыба.

— Ну какая это рыба. Какая рыба тут: трава и трава. Скусу нет. Осетрина, севрюга — вот рыба, а это што... Этого-то налима съесть грех. У нас одна съела баба его, а у ей язык по пояс и вырос... Ведь это што. Мужнина жена. Вот тот тосковал, убивался, никак его назад-то не засунешь — велик больно. Как быть женщине, подумайте, ведь в ей, в женщине-то, красота должна заложена быть, а куда она с язычком-то таким... Вот ведь што налим-то етот.

— Это вот месяц вышел ни к чему, — сказал Василий, — помешает ловить. Не любит налим месяца.

— Хорошая будет ночь, — говорю я, — эдакая красота — весенняя ночь и тепло...

— Да... — говорит Василий, — хорошо... Вот хоша месяц взять, а к чему он, чего от его есть? Ну, солнце... Вся жисть от его идет, от солнца. А месяц на что?

— Месяц, Василий, тоже нужен. Есть в нем что-то. Душе он говорит. Песни-то про месяц ведь все поют. Колдун он: человека все куда-то зовет, любовь он зовет в человеке. Он чувство дает такое, которое купить нельзя... Понимаешь?

Василий помолчал, закурил. Потом сказал:

— Это вы верно. Месяц зовет...

* * *

— Ну и дом у него. Особняк. Архитектор Шпехтиль строил. Конюшни тоже, все в стиле, как этот стиль-то называется — забыл. Все по последней моде. Был я у него, ну прямо роскошь. Достал он это из стеклянного шкафа бутылку и наливает мне. Я ему говорю: «Не могу, — говорю, — Тимофей Саввич...» — «Что так?» — «Да ведь говею я, не подходит это теперь, спиртное...» — «Вот что... да...» — «А вы-то, — спрашиваю, — Тимофей Саввич, говеете?» — «Нет, — говорит, — в гласные баллотируюсь, некогда... Да и скажут: говеет... А теперь прогрессивное, говорят, настроение, так сказать, освободительное движение на полном ходу. Москва, как Галтимор, первая к старту прет».

— Очень интересно это, — говорю я ему, — а от чего, — спрашиваю, — вы освобождаться будете?

— Трудно это объяснить... — говорит он мне. — От многого освободимся. Впереди надо ждать: до автономной Московской республики докатимся.

«Их куда, — думаю, — заворачивает...»

— Да, — говорю ему, — тяжести большие на себя возьмете. А вот охрипши что-то вы, знать, простудились?

— Нет, не простуда у меня, — это от речей. Говорить много приходится. Вот Чентоков привык... говорит и говорит, чисто за прилавком аршином ситец отщелкивает. Спакович тоже мастер говорить. С маслом шампанское с утра пьет. А я с маслом не могу. Отрыжка берет. Говорить начнешь, а икота одолевает. Демосфен, говорят, оратор греческий, камни в рот в этом случае набирал. Ну, дак это греки. А я пробовал, набрал гольшей в рот — ничего не выходит. С одним вот камешком во рту и то ясно не скажешь, положим: «космополит» или «эмоционально»... Ни черта не выходит...

— И верно. Теперь мода: слушаешь оратора, вот говорит... и столько этих новых слов, что не разберешь нипочем. Что такое? «Дуэлизм несознательной сфигции...» Что такое, думаешь? Ну, а потом за завтраком в «Эрмитаже» спросишь рыбную солянку; как-то даже неловко, уж очень просто выходит, серо... А после этих речей долго в голове будто кто-то как кубари гоняет. Конечно, нельзя отставать никак от века. Серо у нас, нет эдакого-то, что за границей. Половой Егорка «ваше степенство» меня зовет. Эдакого звания и вовсе нет. Я его ругал: не зови меня степенством, а он

выдумал: «Семга у нас, не прикажете ль подать, икра первой гильдии, расстегаи рыбные с вязигой, уха стерляжья, жареные снетки белозерские, все первогильдейское». Вот ведь что, угодить хочет капиталу. Только звания коротки, почему внутри мал мала. «Сиятельство, светлейший, высокопревосходительство» — этого уж нету. С капиталом то тем, то этим балуются, хочется чем ни на есть на высоту народного расположения вступить. А настоящего почету нет и нет. Вот что...

* * *

— Отец мой и дед собственным умом в дело ударились. Значит — зачали щетину мыть, ну и щетки изготовлять. Ну, дед мой, значит, заведение щеточное завел у нас в Пеньделке. Ну и у моего отца дело пошло как надо. Только капитал начал расти, фабрику открыли. А грамоте знали мало. А у меня сын Сережа растет. Значит, в реальное к Воскресенскому определился, здесь, в Москве. Живу я в Рогожской. Надоумил меня один: возьми, говорит, к Сергею-то, в репетиторы, студента — помочь ему. Ну, я и позвал, чтоб к экзамену готовил. Дело было весной, что сейчас. Ну, пришел студент, такой долгий, из себя худой, волосы большие, человек скромный, ученый. Он с Сережей занимается. Пускай, думаю, учится, не такой будет серый, что мы. Все же надо при капитале разное такое... Ну, значит, Сережа учится, говеет. Пост. Все ладно. Экзамен пришел. Хорошо. Только Сережа мне и говорит:

— Вот что, — говорит, — папаша, я в Пеньделку не поеду, мне, — говорит, — эти щетки ваши ни к чему. Потому, что мы, — говорит, — с Петром Афанасьевичем, — со студентом-то, значит, — совсем наоборот думаем. Я, — говорит, — папаша, толстовцем стал. Граф сам лапти плетет и носит, и сапог не чистит. Это, — говорит, — не надо, и фабрика наша ни к чему.

Я слушаю и думаю, что с Сережей стало, как его студент этот в две недели обработал. Как быть, думаю, ума не приложу. А Сережа день ото дня все серьезней становится. «Что мне, — говорит, — папаша, щетки эти, суета сует». Подумал это я, долго думал... Дело, конечно, фабрика щетинная... Подумал: а может, «правда» в Сережу вошла. Щетки, пожалуй, и верно, суета сует, без щеток народ живет. Забота тоже — сапоги чистить. На эти щетки сколько я труда, заботы положил, жизни своей мало видел, все в деле находился... Думаю, и правильно, суета сует... Ну и продал я фабрику. И поехали мы с Сережей и Петром Афанасьевичем, который уж кончил курс лекарем, за границу — посмотреть, как там люди живут. Видим, города хорошие, везде щетки есть — сапоги чистить. В лаптях никого не видать. Сережа-то и говорит Петру Афанасьевичу. А тот себе щиблетки купил с пуговками.

— Вот вы, — ему Сережа говорит, — лапти какие купили...

Дальше — больше. Вот они ругались. А Сережа, когда мы вернулись, поехал в Пеньделку и фабрику опять назад вернул, с Петром Афанасьевичем помирился и место ему при фабрике дал. Тот-то — доктор — и говорит:

— Мы, — говорит, — хотя и толстовцы, а только в сапогах ходим. Это верно — щетки все-таки нужны.

* * *

Никита Иванович говеет всем семейством, и приказчики. Похлебка грибная, капуста кочанная, больше никаких. А сын у него, Леня, толстый, чисто шар. Говеет, пить бросил, только ему приятели и говорят:

— Это ты, — говорят, — зря бросил пить-то. Сразу нельзя бросать, плохо будет.
— Я, — говорит Ленья, — понимаю. Я с водки на красное удельное перешел. Я, — говорит, — и не пил бы никогда, да только среда такая, попал в среду. Познакомился с актерами, художниками, они меня втравили. А я бы сам не пил никогда. Это актеры — еще полбеды. Вот актретки — беда. Поют, и так прямо в душу лезут, не хочешь — запьешь.

— Ну, тоже его отец на похлебку грибную сажает постом да говеть приказывает.

Спросит отец:

— Где был?

— У Всенощной...

— Дыхни-ка, — говорит отец.

Тот дыхнет: вином пахнет.

— Это что?

— Это у меня, папашенька, от мясоеда еще осталось...

А тут уж праздник подходит, весна... В воздухах тополями запах разносится, на почке черносмородинной настой, на березовой почке настой... Мясоед пришел, ветчина тамбовская, цыплята паровые, огурчики свежие, куличи-пасха. Как не выпить. Так во грехах и живем до нового поста.

Весеннее солнце манит за город. И вот были такие люди московские, кто посты соблюдал, которые ходили пешком говеть в Троице-Сергиевскую лавру. Прямо из дому уходили с котомкой за Крестовскую заставу. До чего хорошо. Весна, солнышко светит. Еще местами по лесам снега лежат, а уж по краям дороги зеленая травка проглядывает, в лужах без умолку кричат лягушки. В цвету желтые подснежники. Жаворонки поют в небесах.

Останавливаемся в Мытищах чай пить с баранками, сушки с солью и анисом. Чай пьем на приволье. Лосиный остров — большой лес, из него льется запах сосны. Пройдут верст десять, отдыхают. Для женщин мармелад, халва к чаю, изюм, постный сахар, рахат-лукум. Нет этого, что в мясоеде, — «хи-хи да ха-ха», скромно все. Говеют... Мужчины отдельно ютятся от женщин по избам, на ночлег. Со мной-то Григорушка шел, он в Консистерии служит. Так тихо, скромно идет, руку на сердце держит, такой кроткий тихоходец. Идет смиренно с палочкой. Смотрю, глазком немножко все на одну поглядывает. Так скромно... А в мясоеде совсем другое. Чисто волчок кругом баб вертится, прохожу от него ни одной нет. А тут идет сторонкой, только поглядывает то на нее, то на небо. Поглядит — и вздохнет.

А кругом радость весенняя, солнце светлое, верба розовая в белом бисере блистает в весенней радости. А дали синие, синие. А мы идем свои скверны сбросить у святого сподвижника земли родной...

У гроба преподобного Сергия Радонежского блестят лампы. Паникадила с свечами восковыми, монахи в черных клобуках неустанно поют:

Преподобная отче Сергия, моли Бога о нас...

Вербное воскресенье

По всей Красной площади в Москве раскинута палатки вербного базара. Блистают на весеннем солнце золотые купола кремлевский соборов. За храмом Василия Блаженного видна голубая даль, и радостно сияют воды Москва-реки. Она широко разливается по лугам, заманчиво розовеют дали оголенных весенних лесов.

У торговых рядов и памятника «Минина Пожарного» стоят рядами пролетки извозчиков и частных экипажей. Народу — не протолпишься. Пеструю толпу освещает весеннее солнце. После долгой суровой зимы вербный базар — какой-то особый праздник Москвы. Веселый базар. Товары кустарей, любителей в бесчисленном разнообразии. Груды детских игрушек; куклы нарядные, глазастые, румяные; упряжки с лошадьми крашеными, в темных яблоках, деревенская мельница в зеленых елках, где ходит мельник с мешком, — игрушка с заводом; какие-то невиданные гусары верхом на лошади, зайцы бьют в барабан. А тут рядом — пряники, конфеты в цветных бумажках, перевязанные лентами с позолотой; ландрин, патока, монпансье в банках. Над толпой высоко в воздухе красные дутые шары, — покупатели тут же пускают их в небо. Цветы бумажные невероятных форм и окраски, которые москвичи ставят с вербой к иконам в доме у себя.

Базар завален снедью — пастилой, черносливом, дулями, мочеными яблоками, апельсинами, халвой, рахат-лукумом, патокой. Бабы-торговки носят большие стеклянные кувшины со стаканами: в них розовый клюквенный квас и яблочный. Книжки с картинками — Еруслан Лазаревич, Бова Королевич, Жития Преподобных, лубочные картины, монастыри русские. На них в облаках нарисована Святая Троица. Иконы в ризах, портреты царя и царицы, а в клетках птицы и белки в колесе. Пряники, орехи. Хрустальная посуда, самовары, чашки с золотом, пузатые чайники с узорами и цветами — яркие, часы с кукушкой, ну чего только нет на вербном базаре...

Какой-то бойкий парнишка предлагает:

— Вот купите: лекарь — из-под Каменного моста — аптекарь. — У него в зубах трубочка стеклянная, а в ней опускается и поднимается, поворачивается внутри зеленый чертик с рожками. Почему аптекарь — неизвестно.

У каждого в руках пучок свежей вербы, завязанный красной ленточкой. На вербе белые пуховки — цветы весенней радости.

Никита Иванович уже давно снял лисью шубу и шествует в драповом пальто. В руках у него пучки вербы и игрушки для домочадцев, родных и внучат. Рядом идет его сын. Одет франтовато, лицо гладкое, полное, глаза серые, хитрые, себе на уме.

— Ну что же, был вчера? Видел? — спрашивает отец.

— Видел, — отвечает сын.

— Ну что ж, хороша, нравится?

— Да ничего, папаша.

— Чего «ничего»? Да ты видел ли?

— Как же, папаша, видел...

— Что я из тебя язык-то чисто клещами тяну? Ну, что ж? Ведь двести тыщ!..

Красная горка не за горами. Смекай. Понять надо...

— Как не понять, понимаю.

— Он сам-то с тобой как, Замков-то?

- Да ничего.
- А у обедни-то ты был?
- Был.
- Видал ее, отец был?
- Да как же — говеют...
- Пил чай в доме-то?
- Как же, пил.
- Спиртного не было?
- Да он хотел мне коньяку в чай, а я говорю: «Не пью».
- Правильно сказал... — ответил Никита Иванович. — Только когда ты, Василий, врать бросишь. У обедни-то не был, — я ведь заходил! У Егорова ты был! Опять с этим саратовским актером! Мне сказывали...
- Извиняюсь, ничего подобного, — отвечает сын.
- Вот этой самой вербой бы тебя поучить надо, да время упустил... Все через мать.
- Чего ж вы, папаша? Я согласен. Ваш выбор. Невеста ничего...

* * *

Кабинет трактира Егорова. Собрались друзья-приятели Василия Никитича. Он, выпив рюмку, закусывает балыком. Говорит:

— Сегодня я ко всенощной иду. Приходите, она там будет. Посмотрите, какой мордovorот. Вязанье дома мне свое показывала, рукоделие, значит. Так уж у нас полагается, по-купечески. Сказывала мне прислуга, что она поет. Оно, конечно, за деньги берешь, а то бы...

— Да тебе с лица воду не пить, — говорит, смеясь, приятель. — Только деньги-то он отдаст ли тебе?.. Крепок Замков-то. Походишь около. Он тоже ведь не лыком шит.

— Да вот тут-то вся и мотня спрятана... — говорит Василий Никитич. — Думаю, что папаша мой норовит деньги-то себе хапнуть. А ну!.. только это не пройдет...

* * *

У всенощной в церкви Утоли Моя Печали впереди, у клироса, стоит, наклонив голову, молодая девушка, Софья Замкова. Около нее полная женщина — ее мать, и в стороне, высокого роста, купец Замков. А с ним рядом Никита Иванович. Он осматривается по сторонам. Сына нет — не пришел. «Эх, — думает, — ну погоди!.. Не драй я его смолоду-то, все мать виновата. А тут бы вербу исхлестал об его. Не пришел, когда надо».

Хочется Никите Ивановичу заговорить с Замковым, а тот глазами уперся на алтарь, молчит. «Не пришел Василий, — думает отец, — что с ним делать?»

Всенощная кончается. При выходе, видит Никита Иванович, — у дверей в притворе стоит сын. Подошел к матери Замковой, поцеловал ей руку, поклонившись Замкову, подошел к дочери Софье. Та покраснела. Идя с ней из церкви сзади отца, Василий говорит:

— Вчера, Софья Петровна, отец на вербном базаре такой пучок вербы купил... Пожалейте вербу, прошу вас. Он драить меня ею хочет...

— Да что это вы!.. — говорит девушка, смеясь. — Вы уж выросли. Поздно уж сечь-то вас...

— Ну вот, я тоже думаю, что поздно.

— А за что же? — спрашивает его Софья.

— Оно есть, конечно, за что... А главное, что боится, как бы я вас не упустил. За вами двести тыщ приданого, а он их на фабрику свою пристроить хочет...

— Сватаетесь, Василий Никитич, ко мне... А без денег-то вы бы не стали, без приданого-то...

— Это верно, — говорит Василий Никитич, — правильно, не стал бы...

— Спасибо вам за правду. И скажу вам, что ответ ваш мне нравится. И вы мне за это — тоже, за честный ответ ваш. А то я всю эту всенощную просила Господа: отврати меня от напасти. Так вы — ничего... Только вот... лицо у вас что-то такое...

— Какое? — озабоченно спросил Василий Никитич. — Скажите, Софья Петровна.

— Да как сказать... ровное такое... скучное... вроде как мордovorot...

Василий Никитич даже подскочил от неожиданности и, горячась, заговорил:

— Я... я... Софья Петровна... ей-Богу... я ничего... Вот вам не нравлюсь, что с этим поделаешь... И... и... и это вот ваше самое, что вы так прямо... очень даже меня за душу берет... Этакое вот... в первый раз слышу...

— Ничего, Василий Никитич, — это ведь вы меня у Егорова в трактире сегодня мордovorotом назвали друзьям своим.

Василий Никитич, мигая, молчал и глядел на девушку Замкову, которая сразу показалась ему необыкновенно интересной и привлекательной.

«Кто же это, — думает он, — сказал ей... Неужто Миша Ершов — друг мой? Ах, беда, предатель. Сегодня же буду ему морду бить».

— Молчите, Василий Никитич? Думаете, наверно, что это мне сказали? Нет, дорогой... Я, когда вы пришли ко мне смотрины устраивать и ваши отец и мать глядели на меня, так я и подумала: деньги ищут... И проследила я вас. Я у цыган была в Грузинах, где вы кутили с Ершовым. Там еще кутила Пикион был. А цыганка пела, помните:

Когда по целым дням в безумном восхищеньи
Я глаз не отводил от милого лица...

Помните?

Василий Никитич, растопырив глаза, смотрел на нее в изумленье.

— Половой в трактире Егорова, курчавый, когда вы с Мишей Ершовым были вчера, балык вам подавал. Кто это был? Я была. Переодета. Я — мордovorot... И в трактире Егорова я была...

Василий Никитич был смущен и глупо молчал.

— Молчите, Василий Никитич? — сказала девушка. — Думаете: потерял двести тысяч... Скажите мне, Василий Никитич, когда цыганка-то пела романс, почему у вас были слезы и вы дали ей в руки два серебряных рубля на чай? Помните? Они у меня.

— Тогда как же?.. — растерянно сказал Василий Никитич.

— А почему слезы-то были?

— Вот почему. Правду говорю... Я подумал: как она, эта цыганка, похожа на нее, которую я сватаю, то есть на вас... И жалко, что не у ней, не у цыганки этой, двести тысяч...

— Вот ведь что... Ту-то цыганку вам не найти...
Схватив руки Софьи Петровны, Василий Никитич в удивленьи и восторге смотрел на нее...

* * *

Никита Иванович у себя в конторе считает на счетах, — контора скучная, мрачная, — и, обернувшись, спрашивает приказчика:

— Скажи-ка мне, Илья Петрович, говорят, что Василия видали у цыган в Грузинах с Пикионом, он там кутит с ним.

— Видали, говорят, — отвечает приказчик.

— Ну, ступай.

Оставшись один, Никита Иванович ходит по пустой конторе и говорит: «Ох ты... ой, ой, ну-ну... верба хлест — бьет до слез. Не я буду, ежели этой вербой его не отдеру. По морде, куда попало. Не посмотрю ни на что. Сам родил — сам убью!»

И он взял из угла от иконы ветку вербы и, ходя по конторе один, хлестал по воздуху, говоря: «Вот тебе, вот тебе цыгане, вот тебе Мишка Ершов, вот тебе Пикион, вот тебе, сукин сын!»

Вдруг отворяется дверь, и в контору входит сын, Василий Никитич, и с ним Софья, дочь Замкова. Держа друг друга за руки, опускаются на колени перед Никитой Ивановичем. Сын говорит:

— Благослови нас, отец...

И старик-отец, растерявшись, рассыпает из рук вербу и второпях, как-то неуклюже, снимает из угла с веревки икону...

Светлый день

Хорошо было в Москве на Пасху. Но мне и приятелям моим, охотникам, больше нравилось встретить праздник Светлого Христова Воскресения в деревне. Там природа и как-то все просто.

Едем мы по Ярославской железной дороге, ночью. Утром рано приедем на станцию. В вагоне народу мало. У нас два купе второго класса. Уютно горит фонарь. На полке стоят в картонках куличи и пасха из кондитерской Флей; сделаны на заказ.

Павел Александрович Сучков открывает чемодан и говорит мне:

— Был у Шумбруннера, купил патроны и купил разные свистульки — приманивать дичь: уток, тетеревей, трухтанов. Интересно: теперь весна, тварь разная идет на манок.

— А это вот что за дудочка, Павел? — спросил я его.

— Вот в том-то и дело, что не знаю. Он положил мне разных второпях. Сказал — попробуйте. А на что она манок — не помню.

— Ну-ка, дай мне, — попросил Василий Сергеевич, лежавший на верхней постели в купе.

Он взял дудочку, посмотрел, вставил в рот и дунул в нее. О ужас! На весь вагон раздался дикий вой...

— Это на волков, должно быть... — сказал Караулов.

Слышим, в коридоре вагона кто-то кричит: «Кондуктор, кондуктор!..» Открываем дверь купе и видим — какой-то пожилой пассажир, высунув голову в дверь и грозно посматривая в нашу сторону, раздраженно и запальчиво говорит:

— Скажите, пожалуйста, что же это такое?.. Это не товарный вагон! Безобразия! Зверей возить! Я не позволю! Хороши порядки! Час ночи! Кондуктор!

Мы затворили дверь в купе. Неизвестно почему, когда воцарилось молчание, Василий Сергеевич опять дунул в дудку. Да так, что действительно получилось, что ором орет какая-то зверина непонятная...

— Оставь, довольно, — сказал Павел Сучков. — Брось свои дурацкие шутки...

Из соседнего купе пришел Коля с испуганным лицом, в пенсне.

— Слышите, — сказал он нам, — какой-то крик.

— Что ты! Это Юрий храпит, — сказал Кузнецов.

А в коридоре пассажир кричит: «Кондуктор, позовите жандармов!.. Где кондуктор?!»

В коридоре появился кондуктор.

— Что вы смотрите?.. — кричал ему пассажир. — Это не товарный вагон — зверей возить! Возмутительно!..

Поезд подъезжал к станции. Остановился. В вагон вошли трое: два кондуктора и жандарм. Шли по коридору, открывали каждое купе, смотрели наверху и внизу, под сиденьями. Осмотрев, уходили.

— Это вот толстый господин храпит, — сказал им Коля Курин.

Они, проходя, посмотрели на него и ничего не сказали.

Василий Сергеевич сидел на верхней постели и хитро посмеивался. Не успел поезд тронуться — видим: он опять берет в рот дудку. Полезли отнимать.

— Оставьте, — сказал он, не отдавая дудку, — стойте! Уж очень хорошо пассажир сердится. — И опять ахнул...

Пассажир крикнул опять: «Жандарм!»

И как-то сразу осекся. Охрип.

Мы уже подъезжали к станции, и Василий Сергеевич больше пассажира не дразнил. На станции, когда мы сходили с поезда, было тепло, тихо. Чуть-чуть брезжил свет утра. И мы, проходя по платформе, слышали, как среди тишины, в лесу, токовали тетерева.

Какая красота — весеннее утро! Вдали, в утренней дымке, розовеет мелколесье. Спят темные деревенские сараи.

— С приездом, — говорит нам возчик Феоктист, укладывая вещи в тарантас.

С краю, у палисадника станции, еще лежат тающие снега.

На станции заспанный буфетчик — замечательный человек, приветливый, — обрадовался нам:

— Из Москвы... на праздник сюда? Вот радость! Там ведь у вас, в Москве-то, што — гулянье, наряды, чего только... музыка!.. Вчера я тоже приехал из Ярославля, купил кой-чего в буфет. Только не приступишься, дороговь такая. У меня архангельская семужка еще есть, надо ли вам?

— Давай, — говорит Василий Сергеевич.

— Надо рюмку дернуть в дорогу, — предложил Караулов.

— Что ты? В Страстную Субботу... Обалдел? — строго сказал Василий Сергеевич.

Но когда всем нам налили березовую настойку, на почке, — то и Василий Сергеевич тоже выпил, смущенно сказав: «Я пью только для того, чтобы узнать, хороша ли семга, стоит ли брать...»

Понятно, конечно...

Хорошие люди были в России, была какая-то настоящая правда жизни, и все было верно, как надо — почему и для чего. И не просто так, чтоб уж очень верно и умно, а хорошо...

Дорога, сказать правду, расплзлась. Время такое — так и называется: бездорожье. Тарантас качается из стороны в сторону, из колеи в колею. У мелколесья — целое озеро, все залито весенней ростепелью.

— Стой! — кричит Павел Александрович. — Утки!..

Действительно, видим, стаями летят утки. Пролетев над нами, они опускались ниже и ниже и сели среди кустов, где кочкарник и заросль, мелкоколесье.

Охотники остановились, вынимая ружья, патроны, и пошли к кустам, к мелкому лесочку. Оказывается, глубоко.

Павел Сучков и Караулов, прыгая по кочкам, скрылись в мелкой заросли кустов. Видим, сбоку целая стая уток летит на них. Раздались выстрелы, и по кустам лег дым. Опять выстрелы, и вскоре из кустов показываются приятели. В руках у них большие дымчатые утки.

— Какие большие!..

— На шее черное кольцо...

— Нездешние... — говорят возчики.

— Морские, — подтвердил Василий Сергеевич, — наверно, рыбой пахнут.

— Что значит морские?... — горячился Павел Александрович. — Все равно дичь.

— Эвона летят журавли... Ишь сколько! — показывает возчик Феокист.

— Ну нет, — говорю я, — журавлей бить нельзя. Это оттуда, от меня... Они напротив моего дома живут, не стреляйте:

Журавли, освещенные утром, крикнули гортанным звуком: «курлы... курлы...» — и поднялись, высоко пролетев над нами.

— Журавля бы хорошо на праздник застрелить...

— Ни к чему, — сказал Коля.

Василий Сергеевич пристально и молча посмотрел на него.

— Чего ты смотришь, думаешь, что только ты понимаешь! Я тоже, брат, естественную историю знаю.

— Черт знает что! — возмутился Василий Сергеевич. — Естественную историю знает. А?!

Сев на подводы, мы тронулись дальше. За деревьями показалась Нерль. Разливалась по луку у леса, и идет лед.

— Как же мы там пройдем? — спросил я у Феокиста Андреевича.

— Да ведь вот... лед тронулся. Это вот сейчас, а то ровно было... Поднялся лед-то... Подождать надо будет.

— Эвона! — закричал возчик Батранов, спускаясь к берегу реки. — Глядите: заяц на льдинке, эва, сердяга, попал...

Заяц, сидя на куске льда, пригнулся. Караулов соскочил с тарантаса и побежал стрелять зайца.

— Не надо! Не надо! — закричали мы все.

— Это подло! — крикнул Коля Курин.

— Вы немножко осторожней выражайтесь, Николай Васильевич, — сказал, садясь в тарантас, Караулов.

Оказалось, что Коля «подло» крикнул нам за то, что мы запретили застрелить зайца.

Мы поехали к самой речке. У перевоза, по ту сторону, стояли на горке сараи деревни и виднелись верхушки деревьев моего сада. А у берега трое копошились над старой лодкой. Медленно двигались ледяные глыбы, надвигаясь одна на другую, ломаясь, — на реке стоял шум и хруст льда.

— Гони лодку! — кричал возчик Феокист.

С той стороны отвечали:

— Гони-и!.. Подождешь!.. Течь... конопатить надоть...

— Вот, — кричит другой, — кады прогонит вашутинский лед, легче станет. Озорно!.. Не проехать ничем...

Мы стоим, молчим. Мрачно двигаются льдины речные.

— Чего ж, обождать надо, — говорит Феокист. — Ишь, чего его гонит...

— Когда же его пронесет-то?

— Да кто знает... — отвечают нерешительно возчики. — Ежели на Выселки поехать, переждать... али к леснику Сергею Лобачеву, он нам рад будет.

— Верно, — соглашаемся мы. — Едем к Лобачеву, у него хорошо.

В огромном ровном сосновом бору стоит дом лесника Лобачева. Радостно встречает нас лесник с семьей.

— Пожалуйста на праздник, разговляться...

В большой горнице стоит накрытый белой скатертью стол. На нем на тарелках красные яйца. В углу у иконостаса горит лампада, восковые свечи.

Мы раздеваемся, вынимаем наш кулич-пасху и ставим на стол. На куличе был сахарный барашек, его нет.

— Это я его дорогой съел... — сознается кротко Коля Курин.

На него неодобрительно косится Юрий Сергеевич.

— Пить хотелось... — оправдывается Коля.

— Как хотите, — удивляется Юрий Сергеевич, — но Николай — совершенно неразгаданная личность...

В двенадцать часов поем все «Христос воскрес». У лесника гости — учительница, сын трактирщика и угольщик Семен. Стол полон угощением, чего только нет: тетерева, утки с груздями, лосина, окорок, маринованные грибы, щучья свежая икра с молодым луком, леци, караси... настойки полынная, березовая, смородиновая, мятная. Творожники, лепешки, оладьи... Пир — горой.

Павел Александрович, увидав гитару студента — сына лесничего, пел, глядя на молодую учительницу.

Я пью и в радости, и в горе,
Забыть весь свет, забыть весь мир...
Беру стакан я смело в руки,
Пью — горя нет, пью — горя нет...

Сидя на тройке полупьяный,
Я буду вспоминать о вас,
И по щеке моей румяной
Слеза скатится с пьяных глаз...

— Идите! — сказал Юрий Сергеевич, стоя в дверях. — Что в лесу делается!.. Какой оркестр!..

Мы все вышли на крыльцо. В призраке утра дышал лес, полный пения птиц.

Вечер весны

Красой зеленой покрывает солнце землю, посыпает ее цветами, но в вечернем сумраке весны, в заре вечерней, есть весной какая-то тайная печаль. Я всегда чувствовал в вечере весны грусть глубокую.

Среди серого мелкоколосья, у склона к ручью, где за сучьями обнаженной ольхи потухала вечерняя заря, где в тишине леса замирают звуки соловьиной песни, я стоял на тяге в ожидании, когда появится, коркая, вальдшнеп.

Я чувствую грусть и одиночество. Помню, рядом со мной стояла на тяге знакомая милая женщина, и я чувствовал от нее еще большую тревогу в сердце, одинокую.

С тяги я шел домой по талой потемневшей в сумраке вечера земле. Передо мной, далеко за мелкоколосьем, темнела среди больших берез и лип крыша моего дома, и дом мой сливался с печалью вечера. Все кругом было в тишине вечерней. Я вижу, как из дому идет мой дед-сторож, несет крынку молока, и корова стоит у сарая, и все как-то тихо, печально. И глухо в доме у меня.

Я вхожу с моей спутницей по ступеням крыльца в темную комнату, зажигаю лампу, и около — она, такая чужая, временная моя гостья.

Над моховым болотом, за которым далеко расстилались рядами леса, взошел круглый месяц, как розовый кружок на лиловой мгле ночного неба. Весенняя ночь пахла сыростью земли, и я почувствовал: в далях лесов и в месяце — была та же тайная печаль. И дом мой, освещенный лампой, был тих и сиротлив. И почувствовал я, что эта женщина — не что иное, как молчащее любопытство, что жизнь окутывает меня какой-то тревогой людского базара, где обольщение называется любовью, где честь почитают за глупость, а обман за ум, где плутовство и выгода — бытие.

Ярко горит хворост в камине. Огонь веселит освещенные стены моей деревенской мастерской, и как красиво блестят золотые с синим фарфоровые вазы, стоящие на окне, за которым видны темные силуэты высоких елей. Все кругом — одна симфония весенней ночи: вазы на окне, темные ели, фигура молодой чужой женщины, — все сливается в одно: ночь. И краски, которые я кладу на холст, звучат в разнообразии, и сущность живет в моем очаровании от окружающего молчания ночи.

Какая во мне жажда восхваления всего, что вижу я. И в картине — в молчании поет весенняя ночь. А душа все чаёт небывалой жизни, которая там... где-то там... Призрак счастья. И так будет до могилы, над которой ввечеру поет соловей, — очарование зорь весенних.

* * *

А рано утром все было другое. Было радостно.

Я умывался у колодца, где на березах, в скворечнике, заливался соловей хвалой ясному утру. Ко мне с головой, обернутой полотенцем, подошла моя гостья. Ее темно-карие глаза пронизывало солнце; они смеялись.

— Как хорошо у вас... Слышите, как кричит иволга, какое лето в ее свисте. Отчего вы говорили вчера, что в весеннем вечере есть грусть кладбища?

— Я сам удивляюсь. Сейчас все другое, чем вчера... Какая синяя даль. По небу, рядами, в белых перьях блестят облака. Посмотрите ввысь: как там весело.

Я из большого ковша лью светлую воду в руки женщины. Она брызжет в лицо себе воду, темные волосы ее заплетены на шее в пучок. Смеясь, глядя на меня, она вытирает лицо мохнатым полотенцем, кладет мыло в блестящую мыльницу и уходит в крыльцо моего дома.

Сегодня придет ее муж. Это мои новые знакомые. Он ученый, но, в сущности, я совсем не знаю, чему он учит и что пишет. Он охотник, так же как я. «Надо скорей собрать краски, — думаю я, — писать эту голубую даль, эти розовые ветви кустов у загородки, березы, за которыми так потонула в весенних ветвях калитка сада».

— Вы целый день рисуете ваши картины? — говорит мне гостья.

— А как же, теперь такая красота.

— Я не знала, что художники так много работают. Вы и жизни не видите.

«А правда, — подумал я вдруг, — верно, жизни я как-то не вижу».

— Знаете, — говорю я, — я люблю писать красками и все никак не могу написать так, чтобы мне нравилось самому, совсем нравилось... Я все хочу еще лучше.

— А вы думаете, за это найдете награду в жизни?

— Я об этом не думал... Какую награду? Деньги?

— Нет. Ну... допустим — любовь.

— Нет, я еще не видал никого, кто бы любил во мне мои создания. Они как-то отдельно от меня... Есть такие, которые мои картины любят. Ну, а меня самого за мои работы никто никогда не любил. Напротив, я чувствую, что я какой-то не такой, как надо... Я художник, так сказать, немного отверженный... Я всегда не то, что бы хотелось окружающим. Я даже привык быть как-то всегда в чем-то виноватым. Странно. Вот хотя бы то, что я пишу картины. И при встрече мне всегда говорят: «Отчего вы не напишете, я вам расскажу...» И я слушаю, что рассказывают мне. И почему-то они считают гораздо значительнее то, что рассказывают они, чем то, что я пишу. Часто, когда смотрят мою картину, говорят: «Вот если бы вы с нами были в Швейцарии, я бы вам показал ландшафт, вы бы написали. А то — и у меня в Орловской губернии, в имении... Был у меня там вид, батюшка, с балкона — вы бы ахнули». Я уже привык, что я не такой, как нужно. И никаких наград и любвей не жду...

Она ответила недовольно:

— У вас есть какая-то душевная сложность... Отчего не смотреть на жизнь просто и брать от нее то, что она дает...

«Верно. Отчего?» — подумал я.

В это время тарантас подъехал к подъезду дома. Двое вылезли у крыльца. Она побежала встречать мужа.

В комнату вошел блондин и жгучий брюнет; один худой и бледный, ее муж, другой плотный, толстенький, как кубарь, его знакомый. Оба были с ружьями, в высоких сапогах. Люди были возвышенных чувств и мыслей и говорили громко, уверенно:

— Какой восторг здесь... Леса... Какая прекрасная местность.

— Феноменально...

Мы расположились за чаем. Пасха, кулич, ветчина. Моя собака, пойнтер Польшон, — ласковая — тоже была рада гостям. Она положила одному лапы на колени. Тот оттолкнул Польшона и сказал, отряхивая колени:

— А вы его плохо учите арапником...

— Я не могу бить собаку.

Оба гостя с удивлением посмотрели на меня, дама весело засмеялась.

— Вы никогда не били собак? — спросил гость-блондин. — Это странно...

— По-моему, собаку бить нельзя, — ответил я.

— Почему?

— Потому, что собака — самое тактичное и верное, благороднейшее существо на земле.

— Да-а? Вот как? Ну, я без арапника на охоту не иду... Ваш пес, наверно, гоняет, как хочет, за ним и не уследишь. Он кладет лапы и портит брюки...

— Петя у меня, — сказала жена, — так любит платье, что однажды, когда разорвал брюки на лестнице, даже заплакал...

— Но, знаете, — сказал гость-брюнет, смеясь. — Для чего же существуют плетки, арапники... Для собак же?

— Да, — соглашаюсь я, — это верно.

А сам думаю: «Какие они другие люди».

К вечеру мы собрались на тягу, и, когда солнце опускалось над лесом, мы шли краем мохового болота около опушки леса, который поднимался на холмы, где была, по вырубке, заросль мелколесья. Кой-где высоко поднимались отдельные тонкие ели; на их верхушках сидели кукушки и куковали, переключаясь. Далеко расстилась мелколесье.

— А сегодня другое настроение, — сказала моя гостья. — Какие отрадны дали.

— Раздольные места, — отвечаю я.

И говорю гостям:

— Вот здесь надо стать на тягу. Внизу ручей и ольховый лес; тут будут тянуть вальдшнепы. А я пойду туда, немного ниже, к краю.

— Я пойду с вами, — сказала моя гостья. — Как хорошо здесь. Какой мягкий мох. Садитесь.

Она села на землю. Я сел рядом с ней. Польшон подошел ко мне близко и смотрел пристально на меня желтыми глазами.

— Зачем вы взяли собаку? — сказала гостья.

— Как же? — ответил я. — Она же Польшон, охотник. Убьешь вальдшнепа, не найдешь без него.

Она сидит на мху прямо и неподвижно смотрит на меня.

— Вы таинственный человек...

Слышу: «Кра... кра... ци... ци...» — тянет вальдшнеп.

Вскочив, я выстрелил. Вальдшнеп упал прямо к ногам моей гостьи. Она вскрикнула. Вдруг внизу, в лесу, раздался невероятный, чудовищный крик...

— Что это? медведь?!.. — вскрикивает она и в ужасе хватается меня за руку.

— Не знаю, — говорю я, — не знаю... Что-то странное...

Слышу — к нам бегут мои гости.

— Что это такое? — испуганно говорят они. — Смотрите, собака не лает...

Возвратясь домой, мои знакомые долго говорили потом о страшном и непонятном зверином крике.

Да я и сам до сих пор не знаю, что это был за крик. Говорили, что это орал лось, другие, что барсук — тоже кричит весной. А охотник Герасим, крестьянин, мой приятель, хитро улыбаясь, сказал:

— Это тебя волк стращал... Не будешь больше с чужой барынькой на тягу-то ходить...

Чужая жена

Утро. Сияет весеннее солнце. Как радостно лучи его проникают сквозь весенние ветви черемухи! Стою я у берега реки и смотрю восторженно на синие воды. Черемуха пышным узором рассыпала свой бисерный цвет по всему берегу небольшой кристальной речки. Переливаются синей зыбью быстрые воды реки. В узком месте она перегорожена вбитыми в дно кольями. Между них переплетены ветки зеленой ели и вставлены верши. Плывет рыба — и попадает в вершу, а оттуда не вылезешь.

Держась за колья, я иду по насланным жердям к верше и вижу: в ней большая рыба. Как золотая блестит на солнце, красные плавники, и дышит в страхе, открывая рот. Большой язь. Тащу вершу из воды и хватаю язя за голову. Только вытащил, а он как вильнет хвостом, выскользнул из рук да в реку. И пропал мигом... Слышу, с того берега, из кустов, говорит кто-то:

— Он за тебя, Лисеич, теперь Бога помолит... На свободу ушел...

— Герасим Дементьич, — кричу я, — это ты чего же там, в кустах, сидишь?

— Да к тебе шел, — отвечает охотник Герасим, — да, думаю, рано еще — спишь, поди. А он, вот вижу, — идет на реку рыбу воровать.

И Герасим смеется.

— Как — воровать? — говорю я. — Мой берег. А чьи верши-то? — спрашиваю я.

— Феоктист поставил.

— Ну... Феоктист свой.

— Смотри, Лисеич, краса кругом какая, дух какой. Черемуха цвезть начинает. Я вот сорвался, переходил яз-то, склизкие жерди, да и попал по горло, в воду попал... а вода-то холодная! Вот и сижу — портки сушу на солнышке. Постой, я сейчас перейду к тебе пониже, а то тут глубоко.

Вижу, Герасим переходит реку. Глубоко. Он держит над головой ружье, ягдташ и сапоги и по берегу, мокрый, идет ко мне. Я даю ему папиросу, он закуривает и одева-ется в мокрое.

— Идем ко мне, — говорю я, — обсушишься.

— Эх, день-то ясный. Ты, Лисеич, я помню, говорил, что рай тута, место это. А может, и вправду рай.

— Краса, — соглашаюсь я, — рай.

— Знаешь, есть отчасти, похоже.

— Почему отчасти?

Герасим переоделся в доме. Сидим, пьем чай.

— Да... похоже, что так, тут вот, и у тебя рай. А в жисти то-се надо, ну, и забота. Сволочи больно разной много... На плутню жизнь вертят, заворачивают, — говорит Герасим.

И глаза его смеются.

— Все загадки загадываешь ты, Герасим Дементыч. Сказки твои... Кто же это плутню вертит?

— Как — кто? Мошенники.

— Что-то я не слышал и не видал их.

— Э-х, ты не видал... Тебе легче. По правде-то поживи-ка. Трудно. Вот мошенству-то и не хочется работать, а плутней-то и обманом, глядишь, идет... богатеем становится. Вот что. Вот тебе рай какой!.. Тебе что, Лисеич, живешь тут. Ну, говорят про тебя, ну и картины списывает. Что ни на есть похуже выбирает: сарай Семену-угольщика, разваленный весь, а то мост худой. Говорят: сидит, пишет, а на нем, на мосту-то, никто и не едет, он брошенный, худой... Так говорят про тебя: «В голове у его не все дома».

— Как «не все дома»? — удивился. — Что за леший!

— Так говорят. Охоту тебе продали. Вашутинские луга, а там и лугов-то нет. А ты... эка — двадцать пять рублей в год... Ну уж они и смеялись.

— Да что ты, Герасим, мы с тобой там были, там еще ручеек маленький и Ключ Свят бьет. Помнишь, красота-то какая?

— Это верно, — говорит Герасим, — красота! Чиста вода — Ключ Свят. Там еще хрест старый у ключа стоит, кусты. Ты писал еще его. Но охоты там — ничего нет, голо. Кругом — вырубка. Смирягин муромский все начисто вырубил. А как я еще махонький был... то помню — там еще лес дубовый рос. Эх! Лес! Глух и велик был лес. Говорил мне дед мой — он помнил, старики сказывали, будто в старину там, в лесу дубовом, где Ключ Свят, в землянке жил человек такой, беглый стремянный княжий. У его жена, так такая красавица. Ну, и увидел ее, значит, сам великий князь Переяславский, и вот до чего она ему понравилась. Он и говорит мужу-то, этому-то стремянному, значит: «Отдай мне жену твою». Тот говорит: «Как я отдам? Бери, — говорит, — княже, ежели она пойдет...» Только и она, жена-то его, говорит: «Отдай, — говорит, — меня князю». — «Иди, — говорит, — сама, а я отдавать не могу». Но только эту самую службу он бросил и сбежал в это место, в Вашутино, в лес, у озера. Там в лесу и жил в землянке. Это он, говорят, будто хрест-то у Ключа Свята поставил. Приходил ночью на тот Ключ Свят, и лоси приходили воду из того ключа пить. Не боялись его, беглого того стремянного. Он лосей из бадейки водой ключевой поил, и гладил их, и в морду целовал. Великий князь Переяславский и поехал раз на Вашутино, на охоту, лося застрелить поехал. В лес тот дубовый приехал, идет он по лесу — гонят лосей псковичи-загонщики. И стрельнул князь в белу грудь, и видит — лосиху убил. Вскинула голову лосиха, посмотрела на князя и крикнула по-человечески: «Прощай, князь!» — и скрылась в лесу. Удивился и испугался великий князь Переяславский и, грустный, вернулся в терем свой ночью. Где она — мужнина жена? Нет нигде — пуста опочивальня... Ищут бояре-дворяне, стрельцы, загонщики. Нет нигде ее, полюбовницы княжей — мужниной жены. Омрачился душой князь, запечалился. Затворился затвором крепким, снял с себя одежды парчовые и надел схиму черную и до смерти одно только вымолвил: «Найдите мне лосиху стреляную...» А лосиху ту, князем битую, псковичи искали, стрелки, загонщики... Нет ее. По крови след привел к озеру и пропал. И где она — и невесть, и не ведают.

Эту сказку рассказал Герасим Дементыч, опустив глаза и помахивая рукой, в которой была ветка цветущей черемухи. Потом он посмотрел на меня, и глаза его улыбались.

— Ну, Лисеич, бери ружье, пойдём по мелочам. Может, косача найдем.

Особенный был человек охотник Герасим Дементыч Батранов. Всегда он, улыбаясь, рассказывал о загадочных сторонах души русской, в которых было что-то общее с природой русской, с лесами владимирскими, с холмами цветущими, с морозами зимы и весенней радостью.

— Хорошо, — говорю я, — Герасим Дементыч, солнышко светит весной... Радость какая.

— Да, — отвечает Герасим, — чего ж, светит... Далеко оно, солнышко-то, у Бога там. Только вот что: в человеках есть шпана. Хотелось бы им солнце-то потушить и другим жить не дать, да ведь вот руки короткие, — не потушить солнца им...

— А кого это ты, Дементыч, все ругаешь? Кто это «они», я что-то не знаю таких.

— Много их... они-то на земле ад ведут. А ты все «рай» говоришь, рай... Глядеть-то — умные они. Только што — стерва тленная. Человеку дано до солнца душой лететь, хвалить красу земную, в душах радость писать, а, глядишь, он по земле ползет, друг дружку поедом ест. Что ему краса-весна, твое — мое, отдашь — не отдашь. Одну молитву твердит: «Поддай, Господи...» А не видит, что все дано с избытком. «Отыми у всех, Господи, отдай мне...». Вот ведь какой у него «Господи», он жить не даст, мучение одно на землю несет. А ты — рай, говоришь... А слез сколько!.. Живет человек для денег, мучается, а деньги для жизни накованы, а не жизнь для них. Да вот, поди, — какой рай это, что ты, Лисеич! Каждый хочет себе только. Видал я; вот один своих деток до чего любит, а приятеля обобрал — другом прикидывался, — по миру его детей-то пустил. Рай, говоришь? Нет, еще нет раю... Отчего не грабят, не отымают жену, дом? Запрет! Заповедь есть! Веруют! А позволь — поглядишь, какой рай сделают! Говорю, молитву поет: «Отыми у всех, Господи, отдай мне».

— Ну, врешь, Герасим, такой молитвы нет... — говорю я. — И быть не может.

В это время ко мне в деревенскую мастерскую вошел сосед Феоктист, такой нарядный, жилетка новая, рубашка навывпуск, голова маслом смазана.

— Откуда, Феоктист? — спрашиваю я. — Что это ты нарядный такой?

— У Покрова был, — отвечает Феоктист. — Утреню-обедню отстоял. Там праздник приходский, народу что понаехало!..

— Ну что же, — говорит Герасим, — слышал новую молитву?

— Какую? — спрашивает его Феоктист.

— Отыми у всех, Господи, отдай мне... Слышал?

— Нет, — говорит Феоктист, — не слышал... Вот ведь... Да я выходил из церкви лошадь поить — пропустил, значит...

— Ну вот, слышишь? — смеясь, сказал Герасим.

На рыбной ловле

Весной, в мае, я никак не мог оставаться в городе. Как-то хотелось забыть Москву, работу, театр, все и вся. Уехать туда, в лес, на берег речки, в глухие места. Там поет неизъяснимой красоты весна, утро майское, в розовой заре, зелеными брызгами покрыты оживленные леса. Там все забудешь — и горькую неправду, и обманчивую любовь... И вновь охватит душу радость, очарование природы, и родятся слезы, слезы радости и восхищения.

Я вижу перед собой весенний лес. Он поднимается в гору, еще сквозной, розовый. Кое-где темными пятнами — зеленые ели. Берег реки. На поверхности зеркальной воды всплескивает рыба, колеблется отраженный лес. Никого кругом, глухо... Деревня далеко.

— Вот место-то хорошо, — говорит приятель мой и слуга, рыболов Василий Княжев.

— Замечательное, — соглашаюсь я. — Давайте станем тут.

— Хорошо днем здесь, да-с... — говорит другой мой приятель, Василий Сергеевич, — только ночью жутковато будет, пожалуй. Лучше бы поближе к мельнице. В этом лесу не без волков...

— Волки здесь есть, — подтверждает возчик Павел. — Да ведь чего, ведь они к вам в палатку не залезут.

Останавливаемся, снимаем с подвод мешки, где спрятана палатка, снимаем лодку с телеги, самовар, корзинки, ящик с красками, холсты для живописи. Все это кладем у реки, где кусты, зеленая травка, мелкие камешки, песок, мох, какие-то розовые цветочки у кустов. Собаки мои, Феб и Польшон, рады; они понимают, что это настоящая жизнь. Ставим палатку, в ней — складной стол, ставим около табуретки. Василий Сергеевич разворачивает складные удочки, соединяет их и кладет на берег каждую отдельно, а сам почему-то трясет головой, будто мух отгоняет. Я раскладываю мольберт, вынимаю холсты из ящика и спрашиваю его:

— Что это ты, Вася, скучный такой, головой все трясешь?

— Да, знаете, трясу головой потому, что у меня Сонька из головы не выходит...

— Да что ты, брось...

— Вот в том-то и дело... Вот приехал сюда, хорошо ведь тут, всю зиму ждали, чтоб вырваться на природу весной... а что она со мной делает, всю жизнь мучает... Характер такой! Вот вырвался от нее. А она со мной и сюда приехала — сидит в голове, не выбросишь!

— Да брось... посмотри, река какая... Сейчас чай будем пить, самовар ставят... Слышишь, как дымком пахнет? Ведь это на шишках еловых самовар ставят. — Василий его подбадривает...

— Вот в том-то и дело, что она меня так расстроила, что я ничего и не чувствую. Здесь вот, в сердце, — без радости я. Я был у Корзинкиных — он тоже на дачу собирается. Приехал я к ним с женой, а там именины — жена Корзинкина именинница. Приехал я с Софьей поздно, все уж пьяны. Шум... Крики... Скандал... Кто-то именинницу Корзинкину, Веру Петровну, — оскорбил... А Софья мне показывает на одного гостя и говорит:

— Это вот тот ее оскорбил.

Я смотрю — а тот здоровый такой, рыжий, морда у него противная такая.

А Софья не отстаёт:

— Ты, — говорит, — Вася, должен заступиться за честь женщины...

Я и подошел к нему.

— Позвольте, — говорю, — какое вы имеете право оскорблять женщину, да еще именинницу?

А он мне:

— Ступай к черту! Рыцарь еотовый!..

Я не стерпел, да и дал ему в морду. Что было — ужас! Он, брат, мне сдачи. В драку лезет со мною. Хозяин плачет, с Верой Петровной — истерика. Оказывается — Софья напутала: этот рыжий-то дядей им приходится, и он совсем ни при чем... Да самолюбивый черт — так обиделся, ужас! Я прощенья просить, а он — нет: «Я его, — говорит, — посажу!» А Софья-то едет со мной от них на извозчике и все время хохочет... Наконец спрашиваю ее категорически:

— Чему ты рада?

А она еще больше хохочет.

Мне ведь две недели сидеть придется. А ей хоть бы что! Черт меня с этой актеркой спугал!

Самовар готов. На столе — скатерть, стаканы, сардинки, балык, колбаса, бутылка красного вина, коньяк, — все блестит радостью весеннего солнца. Все сидят, пьют чай, закусывают. Возчики, Павел и Феокист, Василий Княжев пьют из стакана стоя, пьют, смотрит на реку и говорит:

— И рыбы тут что... их! Она, к лесу, у заводины, там ямы глубокие, сомы живут там.

— Надо живцов ловить, — говорит Василий Сергеевич, озабоченно потряхивая головой.

— Вася, — говорю я ему, — как же это ты все же зря в морду-то дал незнакомому человеку?..

— Вот в том-то и дело! — соглашается он. — «Честь женщины, честь женщины», — все говорят. Ну и Софья тоже. Всякий ахнет! Вот я страдаю, поймите, а ей все равно. Хохочет — смешного мало тут.

Он подошел к столу, налил рюмку коньяку, с досадой опрокинул в рот и вновь сказал Василию Княжеву:

— Надо живцов ловить.

На берегу лежат удочки, заброшенные в реку. Они далеко выдвинулись над водой своими тонкими концами. Дальше на тихой воде стоят поплавки цветные — красные, белые, желтые, поставленные на разную рыбу. Василий Сергеевич, сидя на корточках, внимательно смотрит на поплавки и говорит:

— Берет... а что — не поймешь. Положит поплавок, потом бросит. Не ведет...

Вдруг он дергает удилице и кричит: «Подсачек, подсачек!» Большая рыба гнет удилице и тянет в глубину, ведет вбок, задевая другие удочки, всплескивает у берега. Василий Княжев, войдя в воду, подсачком подхватывает большую рыбу — голавль. Большой голавль лежит на берегу в подсачке на зеленой траве, красивый, серебряный, с черным хвостом и ярко-красными плавниками.

— Э-э, голавль... — говорит Феокист, — это не рыба, скусу нет в ём. И костяст.

— Нет, уж это позвольте, — протестует Василий Сергеевич, — его сейчас жарить нужно, тогда узнаете, какая это рыба!..

— Лещ лучше, — говорю я. — Верно — костляв голавль.

— Правильно, — подтверждает Василий Княжев, — красива рыба, а есть — подавишься... И дохтура здесь нет. Подавишься — помрешь.

Василий Сергеевич берет голавля и пускает его у бережка в воду. Голавль опрометью уходит под воду и пропадает в реке...

Попала на живца щука большая, спугала все удочки. Василий Сергеевич упал в кустах, запутался, так она вела вбок по реке.

— Щука в полпуда... — говорили все.

Вытащив ее на берег, Василий Сергеевич новым охотничьим ножом отрезал ей голову прочь, говоря: «Не будешь, голубушка, больше рыбу жрать, будя...»

К вечеру наловили всякой рыбы — лещей, язей, окуней — и варили уху, разведя костер. Небо было зеленое, солнце село за лесом, острым серпом показался вдали месяц.

Поевши ухи, Василий Сергеевич вдруг тряхнул головой и сказал, засмеявшись: — А знаете что, пошло-ка я все к черту и здесь, на реке, жить буду, на мельнице... Все лето проживу, до осени. Пускай меня Софья поищет... да-с! довольно шуток. Тоже не очень интересно, если этот дядя рыжий меня к мировому потянет...

Тихий был вечер. Лес весь был полон пения птиц, и трещал соловей в кустах соседнего берега, у самой воды. Задумывалась душа. Вдруг послышалось вдали: «Ау-у-у... ау...» Кто-то аукался.

— Ау! — крикнул Василий Княжев.

— Зачем ты отзываешься? — рассердился Василий Сергеевич. — Еще кто-нибудь прилетит к нам...

— Кто знает, может, кто заплутался, — ответил Василий.

— Ау! — закричал и я.

Через немного времени слышим в тишине вечера скрип телеги — у берега реки кто-то ехал.

— Это к нам едут, — сказал возчик Павел.

Вскоре среди кустов леса, у елок, показалась лошадь, телега, в ней — женщина в шляпке, со спущенной вуалью, и здоровый рыжий человек в котелке.

Василий Сергеевич насторожился и глядел, открыв в удивление рот.

— Вот они где!.. — крикнул рыжий человек, смеясь. — Берет ли рыба-то?

Василий Сергеевич растерянно смотрел то на жену, то на рыжего человека.

Тот вылез из телеги, подошел к нам и весело сказал:

— Я ведь сам рыбак, вся моя жизнь в этом... Приехал с ей к убийце моему, потому — что делать? — герой он, за честь женскую сильно стоит. Только не туды попал, не в те ворота...

— Здравствуйте, — подходя, сказал он мне. — Позвольте познакомиться. Я донные удочки взял, сейчас налим идет. Я и наживу привез. Эх, хорошо на свете жить!.. Соня, где у нас корзинка, захватили мы шипучку. Хорошо ночью эдакое... за ловлей бокальчик-другой Вдовы Клико, в уважение жизни прекрасной и за Софью Григорьевну, пропустить...

Ма́й

Май... Погода чудная. Жара. Снял дачу в Кунцеве. Переехал. Ну, чудно. Садик, терраска, в саду сирень в цвету, тополя. Запах какой, аромат! Вечер, соловьи поют. Господи, до чего хорошо. Знаете, устраиваюсь, мебель привез, кабинет маленький делаю, раскладываю на столе книги, тетради с ролями, повесил календарь, лампу поставил, чернильницу. В спальне окошко завесил тарлатаном — от комаров. В столовой круглый стол с буфетом. Все это расставляю. Посуда. А на кухне Авдотья все тоже хлопочет, готовит. Тепло. Чудный майский день. Чтобы было удобней и не запачкать платье — снял и надел кимоно сестрино — из корзины достал. Голову повязал. Устал. Вышел на террасу. Смотрю: прелестно. Так рад.

У соседней дачи тоже терраса видна, тоже сад. Только дача больше моей — новая. Моя старенькая, у крестьянина снял. Сел это я на террасе, Авдотья мне молоко подала, я его с хлебом. Чудное молоко. Господи, думаю, до чего хорошо, после всего — Москвы, театров, репетиций, этой зимы огромной... Тишина, птички поют и воздух, воздух какой. Думаю: как хорошо купаться в Москва-реке — купальни, вода теплая.

Смотрю: на соседней даче на террасу тоже вышел человек, такой рослый, несколько лысоватый, рожа такая красная. «Это, значит, сосед», — думаю. Вышел так себе, переваливаясь, и посмотрел в мою сторону — на меня. Я тоже посмотрел. Только вижу — он сел, взял книгу в руки, читает. Читает, а сам все на меня поглядывает. «Что это?» — думаю. А потом он встал и, уходя с террасы к себе, взглянул на меня и мне рукой так... вроде воздушный поцелуй послал...

«Ах ты, черт, — думаю, — вот тоже сосед... С чего это он?»

Утром Авдотья, моя кухарка, подавая самовар, смеется, говорит:

— Вот, — говорит, — барин, чудно... Сосед наш, лысый, — утром на службу поехал, увидел меня и спрашивает: «Что, — говорит, — твоя барыня одна на даче жить будет?» Я сначала подумала, какая барыня, ай и смекнула — это он про вас спрашивает. Вы, значит, в китайском халате были, да и голову полотенцем повязали... Оно и похоже на барыню... Молодой вы, потому. Он и думает: барыня здесь приехала... Я и сказала ему: «Да, — говорю, — одна барыня, молодая вдова...»

Авдотья смеется:

— Видать, — говорит, — что сосед наш барин потрясучий...

* * *

Так рассказывал все это своим приятелям, актерам, помощник режиссера, которого называли Лаврушка.

— Всегда ты, Лаврушка, на бабу смахиваешь... — говорят приятели-актеры. — Завтра у тебя новоселье: Вася, Миша приедет, Вовка с гитарой. Колю прихватим, а ты оденешься опять в кимоно, слышишь? Тебе все равно... А сосед пусть глядит. Только ты голос поставь. Знаешь, на ермоловский тон, с дрожью так чтоб, понимаешь. Чтоб в душу шел. Любовь говори в два «ю»... Лю-ю-бовь. Два «ю», понял?

— Да ступайте вы к черту.

— Что к черту? Вы, режиссеры, теоретики. Ни черта в чувстве не понимаете. А тут надо чувство дать... разыграть соседа...

— Ну... Черт его знает, что он за птица. Может быть, жандарм какой. Знаете, нельзя так разыгрывать, это штучки опасные...

— Ничего, брат, не беспокойся. Мы из тебя героиню сделаем, такую, знаешь, особенную — разочарованную жизнью... Вроде, знаешь, как Катюша Маслова или Вера из «Обрыва». Вообще, расскажем... Пускай попомнит режиссера Лаврушку.

Актеры узнали, что сосед на даче — человек из себя серьезный. Такое лицо круглое, лоснится, глаза черные — чиновник пробирной палатки. Холостой.

* * *

На даче помощника режиссера Лаврушки — новоселье. На террасе накрыт стол, наставлены бутылки. Майский вечер. Шумит компания друзей, а сам Лаврушка одет в кимоно. Голова повязана кружевным платком.

Уж вечер. Звонит гитара, поют все гости. Входит Авдотья и говорит:

— Барин, вот вам, — и подает букет роз и письмо. — Это сосед прислал...
А на соседней даче, на террасе, — никого, темно. И только сбоку светит огонек в окне. Письмо соседа читают вслух:

Глубокоуважаемая соседка!

Простите великодушно, я, Ваш сосед по даче, взял на себя смелость написать Вам эти строки. Снизойдите милостиво к моему одиночеству. На Вашей даче жизнь преисполнена звуками веселья. Моя жизнь — мрак и разочарование человека, покинутого всеми... Да что говорить. Что писать. Если б позволили, почел бы за счастье и радость представиться Вам как сосед, принести поздравления с новосельем, причем должен сказать, что имею запасы прекрасных вин... Но не в них одних утешение скорбного одиночества... Простите за простодушие и назойливость. Ваш сосед Винокуров.

— Ловко! — говорят приятели-актеры. — Отвечай, сейчас же отвечай. Пиши! Лаврушка садится писать:

Очаровательный сосед!

Ваше внимание ко мне, розы и учтивость тронули меня до глубины души. Я прошу Вас присоединиться к компании моих друзей. Бутылки Ваших вин, каждая — поэма... Приходите.

— Подписывай: княгиня Аранская... — говорят приятели.

— Ну... позвольте, — протестует Лаврушка. — Княгиня — это я не подпишу. И притом Аранская... Это ерунда.

— Пиши, пиши.

Друзья-актеры: Миша, Коля и Вовка — пошли к соседу как депутация. И уже от него шли с ним вместе на дачу к Лаврушке, таща в руках кучи бутылок вина.

Чиновник пробирной палатки — нарядный, одет в чесучовый летний костюм. Умильно целует ручку княгини Аранской.приятели ставят на стол бутылки и на ухо говорят Лаврушке:

— Говори понежней... По-ермоловски...

Но тот как-то сбивается с тона: то нежно, то вдруг басом... Тогда актер Вовка ударяет в гитару и громко поет ни к селу ни к городу:

Папа мажет йодом бок,
Мама пляшет кекуок...

Чиновник-сосед стал посматривать, поводя черными глазами, с некоторым недоумением. И спросил учтиво Лаврушку:

— А ваше сиятельство, изволите, вероятно, в Петербурге жить?

— Нет, — отвечает за него актер Вовка, — княгиня родилась в городе По. Там все принцы Аранские жили, про них еще пели:

Ехал принц Аранский
Через речку По,
Бабе астраханской...

Тогда чиновник пробирной палатки завертел черными глазами во все стороны и посмотрел пристально на актеров, которые усердно дули его открытые бутылки с вином.

Особенное чувство прошло в душе чиновника пробирной палатки, он с грустью и упреком посмотрел на друзей «княгини». Тем не менее, уходя к себе на дачу, он, прощаясь, благодарил «княгиню» за внимание и пригласил ее и гостей к себе на воскресенье.

* * *

Приятели-актеры к вечеру приехали большой компанией с актрисами к нему на дачу в воскресенье и, представляя его, называли своих дам баронессами, графинями, княгинями.

Каких только тут не было! Графиня Коропузова, Дрыхляева, баронесса Бум-Бум, графиня Стрекачева, Чертовалова!

Пели романсы с гитарой, всё какие-то странные, так что чиновник, после выпивки и новых гостей, не спал всю ночь. Говорил про себя: «Нигде, никогда раньше не видал такого общества, поют, безобразие что такое, и она, княгиня, все терпит». И уехал после бессонной ночи прямо в дом предводителя дворянства в Москве — узнать: где можно найти родовые книги дворянских домов. Ему указали. Он долго искал в геральдических книгах на буквы «А» и «О».

Князей Аранских не нашел. Есть Чертероговы, разные такие есть, но Аранских нет. Чиновник пробирной палатки расстроился. Не нравилось ему общество, которым окружает себя княгиня Софья Павловна Аранская... Она такая милая... голос грудной, такой душевный, похоже, что княгиня. Как бы ее вырвать из среды каких-то бахвалов и с ней бы жить вдвоем на даче, кататься на лодке вечером, пить вино, проехаться по Волге или в Крым...

* * *

Рано утром проснулся чиновник. Погода прекрасная, утреннее солнце заливают лучом майского дня сад и террасу.

Он взял купальное полотенце, пошел парком и спустился к Москва-реке: лодочник дал ключ и билетик для купанья. Хорошо в купальне — никого. Рано... Вода теплая, светлая. Оделся чиновник и вышел, прилет на бережку на травку в кустах. Хорошо.

И вдруг видит: идет она... княгиня... в кимоно, на голове полотенце. Идет к купальне по мостику — в мужскую купальню. Отперла дверь, вошла, закрыла дверь за собой.

Забеспокоился чиновник Винокуров. Как же это? В мужскую купальню? Это надо ей сказать — она ошиблась. Купальня мужская. Положим, рано — никого нет. А если кто придет...

И Винокуров торопливо пошел к купальне, прошел через мостик и остановился у купальни в раздумье. Посмотрел кругом — никого. Лодочник у себя в избушке.

И охватила чиновника грешная мысль: посмотрю-ка я в щелочку, какова-то она, княгиня... И посмотрел. И черные глаза чиновника завертелись, как колеса, и на голове сам собой закачался котелок. А лодочник, улыбаясь, говорит:

— Барин, чего вы в мужскую купальню глядите в щелку-то?.. Ведь ошиблись... На чайшко дадите... я вам скажу, глядеть на их отколе надоть... С горы надоть —

вот от дуба, да в блинокль... Любители оттеля в блинокль глядят. А это чего... мужская...

Ничего не ответил чиновник Винокуров и быстро пошел в гору.

Пришел к себе и сел за письменный стол. Писал долго. Прочтет — и бросит, и пишет снова. Встал, взял палку, котелок, ни к чему сказал кухарке: «Дура, я не приеду, ничего не готовь» — и уехал на станцию. Проходя мимо дачи Лаврушки, повернулся и плюнул.

* * *

Чиновник пробирной палатки больше на дачу не вернулся. Но к Лаврушке как-то вечером приехал с колокольчиком исправник, такой полный седой старик.

— У вас тут, сударь, без прописки проживает княгиня Аранская, — сказал исправник. — Где она находится?

Лаврушка все чистосердечно рассказал старику. Тот, слушая, багровел от смеха:

— Слышь, вот что... Вот до чего я актеров люблю...

И вынул из кармана кошелек, дал три рубля.

— Слышь... Пошли кухарку или сбегай сам, достань коньячку три звездочки. Выпьем... Утешил ты старика.

— Что вы, — сказал Лаврушка, — я ведь не имею права угощать вас — вы власть...

И тут же крикнул:

— Авдотья, тащи все на стол!

— Понял, значит, начальник, как наши выучили потрясучего, — сказала с поклоном Авдотья и, смеясь, поставила на стол графины и закуски.

В отставке

Грустный человек сидит у окна. Широкоплечий, в светлых волосах его белеет седина. Говорит про себя:

«Пятьдесят один стукнуло, и отставка... Да... тяжело. Пенсию двадцать восемь целковых дали. Вот становым был столько лет в Боголюбовском уезде. Да... тяжело. Еще не стар, а вот... Во Владимире жил, квартира была, отопление, освещение. А вот назначили нового губернатора, и отставка мне вышла. Да-с. Погодите, посмотрю, как вы теперь на Клязьме мост без меня разведете, как барки пропустите — собьют! Погляжу я... Да что, нового назначили, молодого. Армейский, в полицию служить пошел. Знаем: наверное, в карты продулся. А я верой и правдой служил, и вот... Стар — сказали. Да нет! Мне брандмайор Черемушкин — душа-человек — шепнул по секрету, что отставка мне вышла за ершей. Вот ведь что. Верно: на Клязьму ходил ершей ловить на удочку. Пристрастился. Ну, и ерш... пяток на фунт, справа берет, где потише, у моста. Писарь Свистунов на реку носил мне бумаги подписывать. Верно! Чего ж тут? Все аккуратно было. Это он, должно быть, донес. Он — не иначе. Эх, народ!.. А я крестил у него дочь. Еще тоже намекали — пью. И курица пьет. Я не человек, ежели поутру стаканчик не пропущу... И закусишь, бывало, сардинкой Каню. А теперь что: дернешь — тарань, закусишь спинкой — соль одна. Ну, спасибо его величеству и на том... Вот что! Он-то ведь и не знает правду, разве ему скажут?.. А справа, с моста, на Клязьме, где к плотнику, у ивнячка, — вот ерш берет! Ну, ерш!.. Это ведь что за уха!.. Ну, а по мосту-то губернатор новый ехал, черт его нес, прости,

Господи. Ну, и видел: становой ловит... Ну, жизнь!.. Квартира была, а теперь вот комнату нашел. Домовладелица Соловьева... лавка у ней — галантерея. Прежде, бывало, меня как завидит, уж вот как: вся харя расплывается, любезная такая. А сейчас деньги, шесть целковых за месяц вперед давай, племянника посылает... Вот ведь что. Все продал: и шинель, и мундир. На фуражку красный околыш нашёл. Отставка. Пошел вечером на мост, на Клязьму, посмотрел его с одной стороны, с другой, по перилам смотрю. Вижу — разводили в утро мост, пропускали барки, а свели неверно. Вот ведь новый-то... не может! Эх, думаю, ну, народ, без меня мост свести не могут! По весне лес не прогнать ничем — все барки разобьет. На мосту сторож Игнат, уж вижу, знает, что отставка. Бывало, бежит ко мне: «Ваше благородие...» А теперь подошел, сукин сын, говорит так вольно: «Кто рыбу удит, у того ничего не будет». Вот ведь что! Прежде не смел бы так разговаривать, прежде: «Вам удочку, ваше благородие, приготовить?» А теперь — «ничего не будет...». Знает, стервец, что отставка мне вышла, знает».

Наловил становой у моста на удочку ершей и понес к себе. Вечер. Сидит один у себя в комнате, зажег лампу, взял нож и чистит пойманных ершей. Никого нет. Пошел на кухню, просил сварить на тагане уху. «Поздно, — говорят ему. — Завтра к утру сварите». Экая скука — один!.. никто и не зайдет.

Лампа горит, керосин подорожал... потушил становой лампу и прилег на постель. Не спится. Вспомнилась ему жена его Надичка и сын Володя. Юнкером на войну турецкую ушел и там и остался... Под Эрзерумом. «Мало я его видел: он в корпусе жил, только на праздник приходил. Все некогда было».

Встал с постели становой. В окно свет от уличного фонаря. Подошел к шкафу, открыл дверцу, достал бутылку и выпил из нее порцию, а закусить нечем. Хлебца на столе нашел и опять лег.

«Надинька, я любил тебя... вот любил... Искренно. Верно — грешил, по уезду ездил по делам. Там в гостях выпьешь, тут выпьешь, ну и согрешил с веселухами. Не утерпишь — молод был... Из себя-то я видный, они меня и завертывают... Я ведь тебе говорил: «Я ведь так это, не от души, не думай. Я тебя одну люблю, душой люблю... А это так — сдуру, под веселую руку»».

Он опять встал и опять хлебнул из бутылки. Закусить бы — нечем!.. И опять лег. «Душой не изменял. Бог видит, не изменял. А она взяла да ушла от меня, к богатому фабриканту, вдовцу Ермолкину. Вот каково? Уж я и то, и это... Они друг друга любят! Так мне и говорят. Я его и так, и этак пугать, а он ничего не боится. Вот ведь — богат. Вот и пришлось перевестись сюда».

Становой Малашкин встал и опять подошел к шкафу. На столе, на тарелке, чистые ерши блестят, освещенные уличным фонарем, который светит в окно комнаты. Становой, вздохнув, сказал: «Ну, и жизнь начинается... Это не сардинки! Ну, все равно».

Он поднял сырого ерша за хвост, окунул в солоницу, подошел к шкафу, опрокинул бутылку в рот, хлебнул до дна, взял сырого ерша в рот и жевал. «Вот ведь что отставка. Ничего — с солью ерш». Головку откусил — выбросил. «Ничего — с хлебом. Вот самоеды едят сырую рыбу... А я это теперь в отставке, хуже самоеда, кому я нужен? Кто меня боится теперь? Никто».

Бутылка в шкафу опустела. Становой зажег лампу. Как-то уныло стало на душе. Комната скучная — никого. «Один! Один я...»

И он стал одеваться.

«Пройдусь я по улице, еще не поздно, фонари горят. Пойду я, — думает он, — по берегу за вишневые сады в слободку цыганскую. Там в домике цыганка Шура живет, петь мастерица и гадает ловко. Попрошу ее погадать мне. Ну, чего уж мне гадать? Сам знаю, что в отставке. Пропало все».

Оделся и пошел. Пустая улица. Кой-где в деревянных домиках горит в окне огонек. Наткнулся становой на тумбу, подумал: «Выпил я немножечко...» Остановился, посмотрел на тумбу и сказал грозно: «Не сметь: ты что? Тумба. Ну, я с тобой еще поговорю! Не думай, что я тебе рыло не утру. Ты у меня погадишь, я не посмотрю...»

Становой пошел по переулку, к берегу реки. Кончались домики пригорода. Становой остановился у потухающего фонаря и посмотрел на него. «Мигаешь? Да? Потухаешь? Я бы прежде сказал тебе: ты что, тухнешь, кривой черт? Чего ты это? Ах ты сукин сын! Тухнешь?! А?! С кем говоришь, с кем? А? Мигаешь?!» Фонарь вдруг опять разгорелся. «То-то, — сказал становой, погрозив пальцем, — понял?... А то я б на тебя не посмотрел!..» И тут же подумал: «При мне эдакого ничего подобного не было. Боялись! А теперь что?.. Какого-то взяли молокососа!.. Э, все равно — мигай! — махнул он рукой в сторону фонаря. — Ты не мой теперь стан. Мигай, черт с вами со всеми, с фонарями вместе!..»

* * *

Светит месяц. От крутого берега реки Клязьмы тихая летняя ночь несет отрад-ный запах садов. На опущенных ветвях вишневых деревьев блестит точками спелая вишня.

Становой, идя у изгородей, протянув руку, сорвал ягоду и взял в рот. «Вот... вот ведь что... Ворую ягоду... Украл!.. Господи, вот ведь что! Месяц ясный, скажи, а? Когда это было? До чего довела отставка! А когда я взятки брал? Никогда. Верно: было раз — у Прохорова на именинах выпил... Было, угощали. Помню, от него при-ехал домой. Еще Надичка была. Она нашла у меня в пальто пятьдесят рублей. Поло-жил кто. Прохоров, должно быть. А я — нет, не брал. Месяц ясный, ты знаешь! Все знаешь!..»

У края садов шел забор. Видит становой — к берегу подплыла лодка. Из нее вышла женщина, повязанная большим красным платком. В руках — гитара. Лодка отплыла с гребцами и пропала на реке, в тени соседнего берега.

«Не Шура ли? — подумал становой. И что-то ласковое прошло в душе хмельного старика. — Среди этой дивной лунной ночи, если б прежде, когда я был молод... Тогда бы посмотрела. А теперь? Зачем иду к ней? Сам не знаю. Погадать иду просто так — деться некуда. Куда пойдешь? И раньше никто рад не был — становой, крю-чок полицейский. Чего тут. А теперь в отставке, на смех поднимут...»

И он подошел к маленькому домику в три окошка, где жила цыганка Шура. В окошках — свет. Шура, значит, не спит. Он подошел ближе к окну и заглянул внутрь: Шура снимала большой красный платок. Значит, это она приехала на лодке.

Сняв платок, цыганка подошла к столу и пила молоко прямо из кринки. Потом сняла башмаки, кофту, лампу поставила к постели, вынула из шелковой юбки пла-ток, развернула его и вынула из него золотое кольцо. Надела себе на палец. Кольцо

блестело драгоценным камнем. Она вынула другое кольцо и надела на соседний палец. Положила руку на розовое одеяло, долго любовалась игрой камней — и задумалась, глядя темными глазами в пространство. В лице смуглой цыганки было что-то озабоченное и встревоженное.

«Донесу... — подумал становой. И тут же сказал про себя: — Нет, не донесу, я в отставке. Да, да... пускай без меня другие». И постучал в окно.

Цыганка потушила лампу, подошла к окну.

— Это я, Шура, не бойся, пусти меня.

Ветхая маленькая дверь отворилась. На крыльце стояла, освещенная луной, бледная и испуганная, цыганка. И, улыбнувшись, сказала:

— Рада, рада. Вот кто! Начальник!.. Ваша благородие, рада, заходите, пожалуйста.

Она зажгла лампу.

— Садитесь, ваше благородие, — цыганка доставала из шкафика графин с вишневым наливкой и поставила на стол рюмки. — Наливка... настояла сама, поспела вишня сладкая...

— Шура, — сказал становой, — я пришел к тебе сам не знаю зачем. Так... Погадай, что ли, мне малость... Теперь я ничто, нуль... мыльный пузырь, да... отставка.

— Возьму я карты да погадаю... — запела Шура, раскладывая на столе карты. — Сначала погадаю себе, — сказала цыганка, с улыбкой раскладывая карты.

Вдруг Шура вскочила из-за стола, в испуге посмотрев на карты.

— Что ты, чего? — спросил становой.

— Смерть... — ответила Шура, — смерть мне... Вот в третий раз выходит смерть от трефового короля... Это он...

— Шура, ты что? Слышишь? Люблю я тебя, душой люблю, поняла? Говори-ка правду — откуда кольца у тебя эдакие?

Цыганка покраснела.

— А вы, ваше благородие, в окно видели?.. Вот они...

И она достала из кармана кольца.

— Бриллианты, знать? — спросила цыганка.

— Да... — подтвердил становой, — бриллианты... Дорогие... Не ворованные?

— Что вы! Ведь я сейчас приехала на лодке домой с пикника. Ермолкин мне подарил, в любовницы меня к себе зазывает... «Озолочу, — говорит, — тебя, Шура. Жена надоела мне — вот до чего...»

«Моя жена...» — подумал становой. И спросил цыганку:

— Что ж, пойдешь, в полюбовницы-то?

— Что вы!.. — и Шура засмеялась. — Вот если бы он был такой, как вы, — мыльный пузырь, пошла бы, правду говорю...

— Да что ты? — удивился становой.

— А то... — цыганка снова разложила карты. — Видите, ваше благородие, — вот выходит: марьяж, любовь и червонный король. Это вы... Душевный... Я ведь бывала, ваше благородие, в когтях... Там, тут... дарят, поят, угощают... Гршила. А души не видала... А вас, ваше благородие, жалею.

— Шура, да что ты, я пьяница, в отставке...

— Ну-ну...

Цыганка ласково обняла станового.

В Боголюбове, где река Нерль сливается с рекой Клязьмой, весной, я на песчаном берегу, покрытом ивняком, ловил с бережка рыбу на удочку.

Подошел широкоплечий человек в фуражке с красным околышем и с ним смуглая женщина.

«Цыганка...» — подумал я.

— Хорошо место это... — сказал он мне. — Я вам не помешаю, тут, в сторонке, закину на живчика...

К вечеру на бережку у нас горел костер, и варилась уха из ершей.

— Люблю я приволье, — сказал мой новый знакомый, — и эту самую ловлю, вот люблю...

И он поведал мне рассказ своей жизни — как его уволили в отставку за этих самых ершей...

На реке

До чего хорошо в деревне! Конец мая, и уж летняя жара. Сад и все кругом в свежей зелени. За рекой, в Феклином бору, кукует кукушка. Приятели мои, приехавшие погостить, ушли купаться. Внизу, за моим садом, речка Нерль; там тихо на бережку, на зеленой траве, где ольховые деревья, прозрачная вода. В ней отражается и лес, и небо, желтые купавки точно горят на реке. Как пахнет травой, водой, летом!..

Сижу я на ступеньках крыльца моего деревенского дома и мою в банке запачканные в красках кисти для живописи. За загородкой малиновый сад, пышно зеленый. Звонко и весело щебечут малиновки. Затихает душа...

Кладу кисть на сухую ступеньку крыльца, чтоб сохла. Слышу, вдали на реке кто громко кричит: «Вы не имеете права называть меня скелетом».

Что такое? Должно быть, поссорились приятели. Вижу, от реки по тропинке сада бежит ко мне Василий Княжев, мой слуга, друг и рыбовод. Быстро подходит ко мне и говорит озабоченно:

— Василь Сергеич приказали веревку достать долгую, потолще: учут плавать Николай Василича. Он плавать не умеет, и тот его обучить хочет.

— Возьми веревку в сарае, поищи, там есть. Да скажи им, чтоб не долго купались, а то завтрак остынет.

— Да кто их знает, они еще не купались, а так только на берегу ругаются. Очень обиделся на Василь Сергеича ученый: он его шкелетом обозвал. Да и верно — тот разделся, так вот худой... прямо чисто шкелет.

«Пойду-ка, — думаю, — посмотрю, как это Василь Сергеич учит плавать». Подхожу, слышу зычный голос Василия Сергеича: «Болтай ногами, болтай, что же ты, дура, ногами не болтаешь? Ну, сначала!..»

Мне видно с бугорка, как внизу в речке стоит в воде Василий Сергеич, а у другого берега, по колено в воде, Николай Васильевич Курин, обвязанный в груди полотенцем и веревкой. Он испуганно глядит на своего учителя плавания, Василия Сергеевича, а тот кричит: «Ну, сначала... Раз, два, три!» — и тянет веревку. Ученик падает в воду и, скоро барахтаясь, болтая ногами и руками, приближается к учителю и становится в воде около, кашляя и захлебываясь. В стороне стоит мой новый гость, уче-

ный, и пристально смотрит на урок. Рядом сидит нагишом на травке толстый Юрий Сергеевич и курит.

Увидав меня, Василий Сергеевич орет:

— Это вы думаете, просто, учить плавать? Нет-с, не просто. Вот скелет тоже плавать не умеет.

И он показывает на ученого.

— Я еще вам раз категорически говорю: вы не имеете никакого права называть меня скелетом... — обиженно говорит ученый.

— Сначала! — кричит Василий Сергеевич и, переплыв на ту сторону речки и держа в руке конец веревки, опять быстро тянет привязанного к ней несчастного ученика, который барахтается и испуганно кричит:

— Ну, постой, брат, довольно... постой.

— Нет, погоди!.. — не сдастся Василий Сергеевич. — Сам просил: выучи! Ты уж хорошо махаешь руками, постой!

Я говорю Юрию Сергеевичу, который сидит на травке, как Будда, и покуривает:

— Что же это делается? Посмотри на Колю; он же дрожит как осиновый лист.

— Я и сам вижу, что дрожит, — отвечает Юрий. — А интересная, брат, штука!.. Трудно, должно быть, выучить плавать. Что-то в этих уроках собачье есть. По-моему, его надо за ногу привязать и тянуть.

Покуда мы разговаривали, приятель мой, Николай Васильевич, быстро развязав веревку и схватив рубашку с травы, пустился голый бежать кверху, по дорожке на бугор.

— Вот видите, какая скотина, — обиделся Василий Сергеевич, — сам ведь просил: «Выучи, выучи...» А если бы его еще раз десяток протащил по реке, так он бы уж плавал. Я ведь не зря говорю: знаю.

— Ну, довольно, вылезай, Вася, — прошу я. — Пора завтракать, пойдем домой.

Василий Сергеевич вылез из воды, вытерся полотенцем, стал одеваться, лицо у него было такое серьезное, будто у настоящего спортсмена.

* * *

Когда мы пришли домой, его ученик, Николай Васильевич, сидел на кухне у плиты, в пальто и в калошах, а стряпуха — тетушка Афросинья — жалостно говорила:

— Их, сердешный, Миколай-то Василич, топ на реке... Пришел в чем мать родила, посинел весь.

А за завтраком Николай Васильевич сказал:

— Вася, может быть, ты и хорошо учишь плавать, только, брат, у меня ноги и сейчас дрожат...

— Это так и должно быть, — заявил серьезно его учитель. — Вы знаете, в Англии, скажем... Там каждый должен уметь плавать. Вот вы, положим, профессор, — он обратился к моему знакомому ученому, — а если плавать не умеете, все к черту, с кафедры долой... Плавать необходимо всем. А то с вами никто разговаривать не будет... У нас тоже пловцы есть. Мой знакомый фабрикант — фабрика бумажная по берегу Волги, его Володей зовут, — эх, здоров! Вот он дернет утром коньяку на берегу, наберет в грудь воздуху и прямо в Волгу. По дну переходит на ту сторону, не вздохнув. Выйдет на берег, дернет опять коньяку, наберет воздуху в грудь и назад — домой на фабрику... Таких-то, пожалуй, и в Англии нет... И нигде... А у нас ничего не знают.

* * *

На другой день приятели мои опять пошли на реку купаться. Колю опять учили плавать. Опять Василий Княжев прибежал и сказал:

— Чудно... А ведь Николая Василича выучили... Сам теперь через реку перебархтывается, без веревки... Видать, что выучили. А теперь велели у вас спросить, чтоб коньяку дали. Значит, теперь учить будут нырять.

Василий взял из шкафа бутылку коньяку и убежал на реку. Странно, что мой ученый тоже, несмотря на то что поссорился с Василием Сергеевичем, пошел на реку учиться плавать.

* * *

В стороне, с краю сада, за большими елями, сижу я в тени и пишу с природы красками этюд. Слышу, внизу, на речке, голоса приятелей: «Зажми нос... Раз, два, три — ныряй».

Тетьенька Афросинья идет мимо меня с огорода, несет свежие огурцы и укроп. Качает головой:

— И чего это делается на реке, ужаси... Миколая Василича беспрерменно утопят... Василий Сергеич карахтерный — все чтоб по его было. А Миколай-то Василич смиренный, где ж ему супротив... Вот Юрь Сергеич — тот не дастся нипочем... Барин с ответом. А етот тоже, учитель — ученый, глядеть жалко. И худ. Верно, што шкелет...

С реки прибегает Василий, говорит, запыхавшись:

— Василь Сергеич велели, чтоб завтрак принесли на реку, и вам велели придти.

— Ладно, — говорю. — Собирай там в корзинку все, что Афросинья приготвила. Я приду на реку. Правильно придумали: на речке хорошо посидеть...

— Это верно, — соглашается Василий. — Чего лучше? Эдакой жисти нигде нет, как у вас, ей-ей...

И Василий смеется.

— Ты чему же смеешься? — спрашиваю я.

— Чудно больно! Заметьте, ведь это што: плавать обоих выучил — и шкелета... Через глубокою яму переплывает... Только оба оглохли — вода в уши натекла. Ученый-то слаб, зеленый весь.

— Отчего это?

— Отчего... В господах бывает... От нежности... Через женский пол тоже...

* * *

На берегу реки, на травке, накрыта скатерть, на ней блестят в графинах мятная настойка, березовая, черносмородиновая на почке. Маринованная щука в монастырском рассоле, копченые ельцы, жареные цыплята, грибы сыроежки, молодая картошка, огурчики ранние, редиска, караси в сметане...

Приятели сидят кругом на травке в тени ольховых ветвей. За речкой дремлет на солнце, выступая огромными соснами к самому краю реки, Феклин бор.

Василий Сергеевич наливает ученику, Коле Курину, стакан мятной, насыпает туда перцу и говорит:

— Пей.

— Довольно... — отказывается тот.

— Чего «довольно», пей... Посмотрите на него — ведь он синий весь.

— Так ведь будешь синий, посинеешь... — отвечает робко Коля. — Но до чего я, брат, рад, что плавать научился... Спасибо тебе, Вася...

На той стороне реки, к берегу, пришел пастух, седой старик, и с ним мальчик-подпасок. Они сели на берегу и глядят, как господа утешаются. Василий Сергеевич, увидав пастуха, крикнул:

— Иди сюда, дед, — переходи реку ниже, по броду. Приходи — угостим.

Пастух встал, мальчик-подпасок побежал по лужку за кусты, где вдали паслось стадо, и, хлопая длинным кнутовищем, погнал стадо по краю соснового леса.

Дед-пастух подошел к нам, поднес к губам длинную дуду пастушкой, и берег огласился протяжными переливами.

Композитор Юрий Сергеевич, мигая, смотрел на седовласого старика.

— Это вот в утро, барин, играю... — говорил пастух. — А это вот вечер... А это вот самое — Богу и солнцу... Кто хлебушка дает нам, грешным...

И дед играл на дуде, задумчиво водя серыми глазами. Юрий Сергеевич смотрел на старика и мигал. В звуках, отрывистых и протяжных, было что-то отрадное, похожее на всю красу берегов дивной родины нашей... Какая настоящая красота и ласка душевная лилась в звуках пастушьей свирели.

— Спасибо тебе, — сказал Юрий Сергеевич, когда пастух кончил. — Вот, выпей, закуси.

— Закусить — благодарствую, а пить... Нет, не пью. Дал обет. Давно, смолоду, Преподобному Илье Пророку... В грозу и с градом — обет дал, когда всех овец перебило... В Нерекe то было, не пью. Ну, а рыбка хороша. Река Нерль невелика, а рыбна... Только вот купаться опасно здесь — вот его место.

— Почему? — удивились мои приятели. — Почему опасно?

— Да вот... это самое место, а на бугре-то сад, значит, там ране дом господский был большой. Я еще махоньким его помню, большой дом. Сгорел, значит, он. Барин ране жил там — Ступишин, у его жана плясунья была. И вот до чего хороша... и плясала она ране в Питере. И увидел ее Ступишин, к себе и увез. А она и померла. И вот он после того стал чисто зверь. Вот пил... Тожа помер... Патрет ее большой был в доме, она ночью с патрета выходила и плясала в саду... Ну, дом и сгорел. А она куда делась — говорили, в воду ушла... В реку. Видал я разок ее по осени — вот это место. В ночном пас, месяц светил. Со скуки я и поиграл на дуде. А она-то над рекой — это вот место — пляшет... И платье у ей широкое, красива была... Пляшет и в воду глядит. Как играть-то я бросил, она села и заплакала. Гляжу — ее и завернуло туманом... Вот он, Колька, видел, — показал он на подпасака.

Подпасок ел пирог и оглядывал нас. Он робко сказал:

— Видал...

Была такая светлая сказка, была такая простая жизнь... Да, была... Речка-то еще есть. А чудачки мои приятели ушли в вечность...

ЛЬВЫ

Давно то было. Помню, жарким летом в Москве пришел я писать декорации для оперного театра в мастерскую на Садовой улице, в дом Соловейчика. Завернул в ворота — большой двор, а в конце двухэтажное деревянное здание: декоративная мастерская. Рядом, за забором, виднелись верхушки деревьев большого сада, в котором к вечеру гремела музыка. Там был театр, оперетка, открытая сцена, — певицы, паяцы и всякие представления.

Подходя к крыльцу мастерской, я услышал за воротами заднего двора рычание львов. В мастерской я спросил главного мастера по составлению красок Василия Харитоновна Белова:

— Василий, что это тут, на заднем дворе, львы рычат?

— И-и... — отвечает Василий Белов. — Столько львов этих, прямо стадо! Приехали представление давать — вот, в саду у Лентовского. Они в клетках на колесах, вагонами стоят на дворе. Их утром кормили — как орут, ужаси! На улице слышать. Извозчики, у кого лошадь прямо кляча, — и та, услышит, вскачь лупит. Боятся, конечно: сожрут. Да и верно, чего начальство глядит? А ежели они из клеток незначай выскочут, дак пол-Москвы народу передушат. Вот ведь что...

И Василий показал рукой, что, мол, взятки берет начальство, а то бы львов не пустили.

Я начал писать декорацию и опять услышал, как за стеной мастерской, на заднем дворе, рычат львы. Василий подает мне в горшках разведенные краски:

— Главное, это самое, — говорит он, — их хозяин — укротитель, мадьяр, из немцев, так он с ими вместе в клетке спит. Потому, говорит, что тут у нас, в Москве, мух очень много — одолевают. Так он к львам спать уходит. Мухи не летают к львам, боятся. Там с ими спать-то покойней.

«Вот здорово», — думаю. И говорю, смеясь:

— Ты, Василий, врешь чего-то.

— Вы ведь ничему, Кинстинтин Лисеич, не верите, вам только смешки. Я верно говорю — сорок львов, а он с ими спит.

— Что же, ты это видел, что ль?

— Чего видел. Вот в портерной хозяин Митрохин говорил, а ему околоточный сказывал — Ромашкин: тот сам видел. Я хотел тоже поглядеть, ну, и пошел. А клетки брезентом закрыты, не видать, а туда, в нутро, не пускают, гоняют. Пусти-ка, народу что соберется, да и опасно. Гляди — выскочит лев, ну и ау, мигом сожрет.

Выйдя к вечеру из мастерской, я зашел на задний двор и, действительно, увидел много вагонов, соединенных вместе и покрытых брезентами. Около стояли какие-то люди, видимо, иностранцы.

У себя дома, на Долгоруковской улице, я застал Серова и рассказал ему про львов. На другое утро Серов пошел со мной, взял альбом, карандаши, хотел просить разрешения рисовать львов.

Когда мы пришли на задний двор, где стояли вагоны-клетки, около них сидели двое в рубашках и зашивали большие полотна брезента, а другие, в рабочих блузах, разводили в больших низких лоханях мыльный порошок и клали большие трубки, которыми садовники обрызгивают цветы. Все это они подняли и унесли внутрь, за брезенты.

Серов обратился к одному из сидевших по-немецки.

Тот крикнул, кого-то позвал. Из-за опущенного брезента вышел небольшого роста здоровый человек, с широкой шеей и голубыми глазами. Во рту у него была трубка. Он, слушая Серова, смотрел ему в глаза и кивал головой, как бы соглашаясь, и позвал нас за собой.

Он отвернул полу брезента, и мы увидели стоящие покоем длинные клетки во всю площадку открытых товарных вагонов. Слева, в клетках, соединенных вместе, была бурая масса львов, больших, покрытых густыми гривами, а в середине и справа их было меньше, по одному в клетке, без грив.

Хозяин зверинца, укротитель, взял меня за плечо и сказал:

— Не стойте близко к этим, — он показал на небольших львов без гривы, — нельзя близко подходить, могут схватить лапами из клетки. Это молодые и очень злые, дикие, пойманные львы.

— А вот эти, — показал он на массу больших львов, — мои дети. Они смирные. Это вот мой друг, старик-красавец...

И он протянул руку в клетку, погладил морду огромного льва, который открыл пасть и, как бы зевнув, прорычал: «Гы, уа...»

И в его огромной пасти были большие темные старые зубы.

— Посмотри, какая громада, — сказал мне Серов. — Какая голова, грива... Грозный красавец.

В это время отвернулся полог, вошли люди в блузах, таща плоские круглые зеленые лохани с водой, — в них белой пеной клубилось разведенное мыло.

Укротитель, подойдя к клетке, схватил рукой железные брусья, и стена клетки покатила вбок на роликах.

Между нами и львами клетки больше не было.

Мне так и ударило в голову со страху, я почувствовал, что у меня ноги мягкие. Я не мог бежать. А львы стояли перед нами...

Укротитель по железной лесенке прыгнул в львиную клетку, на площадку. Львы посторонились, и люди начали подавать ему туда круглые плоские лохани. Львы медленно отходили в сторону, в глубину. Укротитель потянул за прутья, клетка опять закрылась, скрипя по роликам. Он посмотрел на нас из клетки и, увидя, что мы стоим бледные, сказал по-немецки:

— Не бойтесь. Любая кошка опаснее этих львов.

Он крикнул что-то львам, скидывая с себя желтую кофту, которую бросил на пол, оставшись сам по пояс голым. К нему подошел огромный лев-старик. Немец, нагнувшись к его голове, что-то ему сказал. Старик-лев, подойдя к самой решетке клетки, где мы стояли, и смотря на нас, старался пропихнуть лапу между брусьями клетки.

— Это он вам руку подает в знак дружбы, — сказал укротитель. — Пожмите ему лапу, не бойтесь.

Серов и я еле дотронулись до огромной львиной лапищи.

Лев открыл пасть и как бы сказал: «Ы-ы... а-а...» И, растопырив лапу, выпустил когти. Ну что это была за лапа — ужас! Подняв голову и сверкнув глазами, он снова зарычал «у-ы». Как будто хотел сказать: «Вот я какой зверь...»

А укротитель подошел к куче львов, взял одного за гриву и повел с собой к лоханям, сказал что-то, ткнул в бок рукой. Тот сразу лег на пол. Немец сел на него, на шею, спиной к голове льва, достал из лоханки широкую щетку, обмакнул ее в разведенное мыло и стал обеими руками мыть льва...

Он вымыл одну сторону, встал, и лев повернулся на другой бок. Мытье продолжалось. Львов, покрытых мылом, из-за клетки поливали водой из трубки.

Стукнув льва по заду, отчего тот прыгнул, укротитель вел мыть следующего. И так одного за другим... Львы подходили к решетке, и люди, стоявшие около нас, чесали им гривы большим деревянным гребешком, что, видимо, царям зверей очень нравилось.

Мы посмотрели и простились с укротителем. Он сказал из клетки Серову:

— Приходите рисовать от часу дня.

— А струсили мы с тобой, когда клетку-то он открыл... — говорил мне Серов по дороге в мастерскую.

— Ах, не говори! У меня даже как-то ноги обмякли...

* * *

Серов приходил рисовать львов каждый день.

— Странная история эти львы, — говорил он у меня в мастерской. — Знаешь, ведь верно: он спит у них в клетке. Сегодня он разбежался и бросился в кучу львов, они его все покрыли. У меня от страха закружилась голова. Эти львы родились в клетках, он их, оказывается, сам выкормил всех с рожка, и они, когда еще львятами были, спали с ним вместе. А когда их кормят сырым мясом, он уходит из клетки: львы дуреют от крови, нечаянно могут ударить лапой. Убить. Но ведь и у собаки нельзя отнять кость.

Мы пошли смотреть, как кормят львов.

— Стойте тут, за брезентом, — сказал укротитель. — А то они стервенеют, когда посторонние смотрят. Они думают, что вы тоже пришли есть мясо, отнимать у них, у них есть эта дурацкая штука. Но только я их отучил драться друг с другом. А вот людей не отучишь...

И он рассмеялся.

Видно было, что этот сильный и добродушный человек любил своих львов. Он рассказал нам забавный случай: в клетку случайно забрел маленький котенок. Увидав львов, ощетинился и зашипел. Львы бросились от него во все стороны как уторелье, перепугались до смерти, тряслись, орали как бешеные...

А после представления укротитель со служащими обычно сидел в портерной на Садовой и пил пиво. Ему нравилось русское черно бархатное пиво и русский портер. Старик-лев тоже любил черное пиво и русский мед.

Как-то укротитель показал мне одну львицу, которая ходила неустанно по клетке взад и вперед, худая и скучная. Около нее лежал на полу львенок.

— Молока у ней нет, — сказал мне укротитель. — Это добрая мать, она уже дала мне много львов.

И он внезапно открыл передо мной клетку, прыгнул к львице, нагнулся, взял львенка и подал его мне из клетки.

С перепугу сердце у меня разрывалось на части. Львенок оказался тяжелым, как налитый свинцом, тонкая шейка, большая голова, большие лапы. Он сейчас же открыл рот и стал кусать мне руку. Но у него не было еще зубов.

Укротитель взял у меня львенка и подошел к деревянной закутке, отодвинул полог из грязной тряпки. Там на сене лежал большой дог — самка, и два львенка сосали у ней грудь. И этого львенка он положил к догу. Он сейчас же, взяв в рот сосок, уперся лапами догу в живот. Дог полизал его голову. «Мать...» — подумал я.

— Вот, — сказал укротитель, — собака их кормит, и я из рожка, а то у собаки не хватает.

— Смотрите, как она смотрит, — показал он на львицу. — Она понимает. Она собаку не трогает. Львы любят особую породу собак, а кошек боятся...

* * *

Вечером в саду у Лентовского гремела музыка. Масса народа. Рычали львы. За огромной железной загородкой, на открытой сцене, тридцать львов. Я увидел большого старого льва, знакомого, который давал нам лапу. Он открывал огромную пасть и глухо рычал, негодуя. Львы были в возбуждении.

В клетку вошел укротитель, одетый в светлое трико и в ярко-голубой камзол, обшитый блестками. Лихо завитой, румяный. Голубые глаза его улыбались. Публика аплодировала. В руках у него был маленький серебряный хлыстик, через который высоко прыгали львы, потом они прыгали и через его голову. Он изящно помахивал хлыстиком. Львы кружились вокруг, быстрее и быстрее. Вдруг они все бросились в сторону, и все заревели, и, рыча, медленно стали приближаться к укротителю. Он сделал вид, что испугался, пятился от них задом, смотрел на них в упор, все отодвигаясь. Он как бы хотел уйти в дверь и остановился и уперся задом в испуге в железную загородку.

В публике прошел тревожный шепот. Кто-то крикнул. А львы приближались, рыча, к укротителю, все ближе и ближе — вот бросятся.

В это время старик-лев, загородив укротителя, встал на задний лапы, открыв пасть и подняв обе лапы, в которых был пистолет, выстрелил в львов. Те все упали, как убитые...

Укротитель рукой посылал публике поцелуи.

Когда кончились представления зверинца и львы уехали с укротителем из Москвы, Василий Белов мне как-то в мастерской сказал:

— Да, вот этот мадьяр — хозяин, что львов показывал, и... и денег с публики нагреб. А какие это львы? Телята. Он ведь что... Вот спросите дворника, Миколая Тихонова, он знает, он сам видал... Он у всех что ни на есть, у этих львов, все зубы и когти повыдергал клещами... Ну и что... Тада его хочь за хвост тащи. Лев!.. Чего он такой может? Зверь умный, он видит... чего ему без его оружия делать? Ни зубов, ни когтей... Вот ведь что, плутня какая... Человек-то хитрее зверя, набивает карман. Тот он с ими, как с телятами, — спит, и все такое. А у их чего — ни зубов, ни когтей, чем им жить? А то бы они его давно сожрали, только бы косточки хрустели...

Василий сердито налил в стакан пива и выпил разом с досадой. Он бойко надел картуз и, уходя из мастерской, сказал:

— Смешного в этом самом мало, одна плутня...

Мимикрия

Как хорошо было летом в России! Помню, как-то сказал мне охотник, крестьянин Герасим Дементьевич, что недалеко, в семи верстах от меня, есть небольшая речка Шаха, лесная речка. Чистая вода, купаться — дно — чистый песок, и рыбы много, лещ есть — серебряный и золотой.

Как отрадно представилась нам лесная речка по рассказу Герасима, и еще, кстати, мельница, там, у реки, и мельник — свекор Герасима. Решил поехать, наскоро собрались приятели. Связывали длинные удилища в кучу, укладывали на телегу походную палатку, холст, краски, острогу на длинной палке, сеть и парусиновое складное ведро. Ведро оказалось с дыркой.

— Ленька, — спрашиваю я своего слугу, — отчего это дыра в ведре?

— Дыра-то... — отвечает медленно Ленька, — да от этого самого... в реку опустили с рыбой, а там крысы водяные прогрызли — рыбу хотели сожрать.

— Зачем же ты его кладешь на телегу, оно ведь не годится?..

— Конечно, не годится... — и Ленька снимает ведро и бросает его к сараю.

— Ты что это ведро бросаешь? — кричит Василий Сергеевич.

— Да ведь оно с дырой... — говорит Ленька.

— С дырой. Дак я нарочно дыру прорезал. Сажать в него лещей. Что ты понимаешь, — горячился Василий Сергеевич, — ты меня не учи! Где выполозки?

— Какие выполозки?

— Как — какие? Черви, которых я ночью ловил. Вот олух! Ты же фонарь держал, когда я ловил.

— Они все уползли... разве их удержишь?.. — сказал Ленька.

Василий Сергеевич пошел, сел у террасы дома на скамейку и медленно курил папиросу в расстройстве чувств.

Артист Трубенталь, в плаще и берете, помогал Юрию Сергеевичу собирать бутылки, закуски, укладывая бутылки на телегу.

Юрий Сергеевич говорит мне:

— Прошу, посади Трубенталья на заднюю подводку, не сажай со мной, а то он поет... Потом, он взял у тебя большой бинокль в чехле, так я отвинтил стекло, спрятал в ящик стола, а то он будет всю дорогу рассказывать, что он видит окрестности и какие окрестности. Это невозможно...

Собрались. Едем. Садимся.

— Я не еду, — говорит раздраженно Василий Сергеевич, — этот ваш Ричард — Ленька — выполозки в ящик не положил... расплозились... Как же вы леща поймаете без выполозка? А? скажите, пожалуйста!..

— Чего, Василий Сергеевич. Там найдем их, — уговаривал Герасим.

Наконец едем. Едем частыми лесочками, проселками. У дороги в траве голубые колокольчики, иван-чай. Пахнет лесами, и в душу входит покой и радость.

— Стой! — кричит Василий Сергеевич.

Повозки останавливаются. Из задней вылезает Василий Сергеевич и, подходя к нам, говорит мне и Юрию Сахновскому:

— Я... я с ним дальше ехать не могу. Оказывается, он влюблен! А я терпеть не могу влюбленных. У него и морда оттого такая сладкая. И говорит: «Нивириятно...» Я ему говорю: «Невероятно, а не нивириятно...» А он мне: «Я оттого говорю так, что влюблен... Я только нежно говорить могу».

Выезжаем из большого елового леса. Показалась полянка. Речка Шаха и небольшая изба мельницы, плотина, деревянный мост. Около — высокие зеленые вязы. Берега речки сплошь заросли кустами высокого ольшаника, как в зеркале отражающегося в воде. Тихая речка, и на поверхности всплескивают рыбы.

Расставляем палатку. С мельницы несут Герасим и хозяйка большой стол, скамьи. Располагаемся на зеленом берегу.

Когда мне говорят, что есть рай, то я его представляю только таким, как эта маленькая мельница у лесной речки Шахи, зеленом луже, покрытом мелкими цветами.

Друзья мои то угощаются, то уходят к реке. Большой самовар, разложены закуски, стоят бутылки. Тихо. Посвистывают в быстром полете ласточки, задевая острыми крылышками тихое зеркало вод.

Сбоку плотины, под вязами, Василий Сергеевич готовит удочки. Трубенталь стоит на мосту и смотрит в бинокль вдаль. Потом смотрит на бинокль, опять — в бинокль и опять на бинокль.

— Отлично, — говорит Юрий Сергеевич, — смотри, смотри... не будешь небось рассказывать, что видишь. А то надоело отчаянно...

— Ваш бинокль испорчен, — говорит, подходя, Трубенталь.

— У тебя в глазах переплет... — говорит ему Василий Сергеевич.

— То есть как это — переплет? Какой переплет?

— Ты же влюблен... а у всех влюбленных в глазах трепыхает... так и эдак — все переплетается...

— Я всегда знал, что вы циник!

И Трубенталь, выпив рюмку коньяку, перекинул плащ на плечо и запел:

Прости меня, прелестное создание,
Упреком я тебя, быть может...

— За такое пение... — говорит Юрий, — я бы сажал в одиночное заключение.

Внизу из-за вязов поднимается Василий Сергеевич и кричит нам:

— Идите-ка сюда!..

Мы подошли к краю плотины. Василий Сергеевич держал ведро с дырой, а в нем поворачивался большой лещ.

Василий Сергеевич опустил ведро в воду, привязав его к кусту. Потом, подойдя к нам, показал на ольховые кусты по берегу реки и спросил:

— Видите обломанные ветви, вон, рыжие завялые листья, видите?

— Ну, что же, — говорим, — видим.

— Это что такое, по-вашему?

— Что? — отвечаем, — завядшие листья. Видно, что обломанные ветви...

— Да-с? Листья? — прищурив один глаз, спрашивает Василий Сергеевич. — Нет-с, ошибаетесь. Это — мимикрия, да-с, мимикрия-с. Пожалуйте сюда.

Мы с Юрием спустились вниз к речке, у плотины. Там стоит Герасим. Он срывает рукой вялые листья, и мы видим, как эти листья летят из его рук и ползут по плечу. Это было неожиданно, точно фокус.

— Чего... — говорит Герасим, — это бабочки, себя под ржавый лист подгоняют, под ольшаник, а то под липняк, осинник... От птиц спасаются. Я дал ее Василию Сергеевичу, посадить на крючок-то, — гляди, какого леща выудил.

И, подойдя ближе, нельзя было сразу разглядеть, что это бабочки, — вялые, рыжие ольховые листья.

— А странная штука, — задумчиво произносит Юрий Сергеевич. — Какой силой энергии, каким началом воли или чем это создается? Как это странно... Человеку это не дано...

— Как не дано, что ты, Юрь Сергеич, — дадено... — говорит Герасим. — Вестимо, морду он себе переменить не может, душу тоже... Но из себя вот чего делает. Ласковый, рожу маслену строит, глаза честные, уж вот добрый, вот уж благодетель... Дадено человеку, много жулья... Вот ко мне тем летом приезжал... вот барин! А я хворый был, простудился. Он это мне говорит: я тебе дохтура сейчас привезу, лекарства, ко мне поедем... А у меня-то в те поры было черное дерево, да какое — из Клязьмы-реки содна натаскано. Нашел я его. Ему, может, боле тыщи лет есть. Вот это ему дерево-то и надоть... Он все берет — все дерево. Около его парнишка такой, знавал я его, говорит мне: «Этот барин во тебя наградит... Деньги, значит, из Питера пришлет». Дерево взял, ну и ау! Этот парнишка дал мне малость, сжалился. Вот эта бабочка от птичек спасается, а вот от эдакого-то благодетеля надо всем спастись, потому что у его нуτρο волчье, а он тебе овечкой показывается...

Мельник, слушая и видя наше удивление бабочкам, вздохнув, сказал:

— Есть эта притвора. Они листьа съедят, а сами себя листом показывают сухим. И, заметь, на отломанную ветвь садятся — за вялые-то листьа! Ломана ветвь. Вот ведь у твари ум какой. И чего это? У Господа забота даже о твари малой.

* * *

К вечеру я начал писать с натуры картину красками: большие вязы, плотину и вдали избу мельника. Был красив мирный край. И увидел я: с горки спускается толпа мужиков. Подойдя ко мне, они смотрели, как я пишу, — смотрели не на картину, а на меня и сказали мне:

— Это берег наш. Чего планты сьмаешь?

Я говорю им:

— Да вот хорошо тут, вязы большие, речка светлая... Картину я списываю.

— Вязы наши, — говорят мужики. — Давай, — говорят, — барин, на полведра водки с вашей милости.

— Натe, — говорю.

Внимаю кошелек и даю два с полтиной. Мужики ушли.

Часа через два пришли другие мужики. Я оканчивал работу. Они тоже смотрели на меня, как я пишу, и тоже спросили:

— Чего это планты снимаешь?

— Да вот, — говорю, — красиво тут, вязы списываю.

— Чего вязы? Вязы это наши, наш берег!..

И, ничего не говоря больше, подошли к вязам, взяли пилы и стали их пилить у корня.

— Зачем, — спрашиваю, — вы пилите? Эти столетние вязы, красота, на что они вам?

— Вот чего... на что вам?.. Вот когда спилим, бери их — сходно продадим, а нече их в казну показывать, отдавать. Чего сьмать?..

Как я ни уговаривал мужиков, что я не для казны пишу, ничего отбирать не собираюсь, они ничего не слушали, пилили вязы, и первый, самый большой, с шумом упал верхушкой в воду, в нижний омут реки... Я им предлагал деньги и на водку — они не брали.

— Знаем, дашь, а опосля в каталажке сидеть... Знаем мы эти картины... Полно врать, барин, знам мы — машина, значит, здесь пойдет. Вот и сьмаешь планты-то...

Поди-ка, опосля тады, возьми-ка у казны вязы-то ети. А спилим, так они в дом пойдут. Казаков купит. Вязы наши, понял?

— Понял... — ответил я покорно.

— Это сплоховал ты, — сказал мне Герасим Дементьевич, — надо было маленько схитрануть. Вот как бабочка... Димитрия, что ли?.. Сказал бы ты им: есть, мол, у меня богатей, невесть с чего удавиться хочет. Так вот, просил меня он за пятерку, чтоб ему деревцо подходящее нашел... Вот я эти вязы-то самые и сымаю — показать ему подходящее дерево. Тут вольготно ему висеть, и с речки ветерком продувает. Сказал бы — вот тады вязы-то эти целы бы остались...

Собачий Пистолет

Помню, как-то летом, рано утром в деревне, слуга Ленька подал мне телеграмму.

— Вот принес сегодня в ночь со станции сторож Петр. Опоздал маненько. Говорил, что шел после дежурства домой. Так вот на Ремже, у мельницы, только плотину хотел перейти и видит — какой-то мохнатый сидит на мосту у плотины. Увидал Петра-то да так с плотины в омут а-ах!.. Петр думает: «Чего это?» А у его фонарь с собой, он ведь сторож железнодорожный, путь осматривает, ходит с фонарем-то, привык... Он и подошел, где лохматый сидел, и видит: гармонь лежит на мосту, поддевка и четвертной штоф. Он понюхал бутыль, слышит — вином пахнет. Думает: «Глотну». И глотнул разок, да и другой, третий... Видит, водка. Нутро у него в радость ударило. Думает: «Чего же это человек в омутину бросился, меня, что ли, напугался?» Поставил бутыль. «Уйду лучше, — думает, — от греха, а то в ответе бы не быть, кто его знает — может, утопился...» Только уйти хотел, а тот ему из омута и кричит: «Что, хороша водочка-то чужая?..» А Петр ему: «Чего чужая, а ты там, в омуту, почто сидишь, вылезай». Тот вылез, а у его в мешке рыбы что... Это он руками из нор линей здоровых таскает. Глядит Петр, а у его в сквозь волосья — рога кажут... Петр-то думает: «Батюшки... да ведь это водяной...» И от его бегом. Вот и опоздал по тому случаю — с телеграммой.

Покуда Ленька рассказывал, я прочел телеграмму. Написано: «Приедем, вторник. Дог, Николай, Павел, доктор Собачий Пистолет». Подписано: Юрий.

«Что такое, — думаю. — Дог — это Василий Сергеевич, его так называли за высокий рост и дородство. А вот доктор Собачий Пистолет — непонятно...»

— Да ведь сегодня вторник?

— Вторник, — говорит Ленька.

— Эвона, — закричал он, глядя в окна. — Едут, в ворота заворачивают.

И он побежал встречать гостей.

Приехали приехали немного озабоченные, с ними новый их знакомый, которого я однажды видел в Москве, в Литературном кружке. Он подошел к нам, когда я ужинал с Сумбатовым, и что-то часто и много Сумбатову говорил. Он писатель — пишет в журнале «Женское дело». Он так скоро говорил, что у него слово за слово застегивалось: «Женское дело» он произносил: «женское тело».

Из себя он высок, худ, блондин, волосы длинные, приехал в черном скюртуке. Приятели мои все переодевались полегче, так как стояли жаркие дни. У Юрия Сергеевича рубашка шелковая, ворот обшит красными и голубыми петушками, огромный живот перепоясан пояском от Троице-Сергия. Коля Курин остался в белой крахмальной сорочке, но тоже для приличия опоясался ленточкой: ему дала тетенька Афросинья. Доктор Иван Иванович в чесучовой паре. Павел Александрович в зеленом охотничьем камзоле. Василий Сергеевич в шерстяной кофте, на которой штемпель профессора Егера.

— Потому в Егере, — сказал он, — что у меня хронический ревматизм.

Новому знакомому — писателю — я предложил красную кумачовую рубашку. Надевая ее, он сказал скороговоркой:

— В первый раз надеваю эту красную азиатскую рубашку палача... Но что делать, жаркое лето.

Было чудное утро. На террасе моего деревенского дома сидели за чайным столом мои приятели. Чай со сливками, клубника, малина, мед, олады.

Шут меня угораздил, взял я со стола из своей комнаты телеграмму и говорю Юрию Сергеевичу:

— Что такое в телеграмме, я не понял, написано: «Доктор Собачий Пистолет...»

И вдруг новый приезжий, писатель, вскочил из-за стола, побледнел, сморщил брови, глядел то на меня, то на Юрия Сахновского.

— Это что такое еще? — сказал доктор Иван Иванович. — Какой собачий пистолет? Я собачий пистолет? Это что еще?

Кругом все засмеялись. Тогда новый знакомый, подойдя ко мне, взял меня под руку, потянул в дверь, внутрь дома. И часто, запыхавшись, заговорил:

— Я... я... Я приехал к вам с этим господином... Невозможно, культуры нет, понимаете... Нет. Глубоко сидит татарщина. Еще Шекспир сказал, то есть Толстой: «горе невежества...». Я не позволю... Я приехал спасти вас от этих варваров. Вы не понимаете — кто они. Узнаете, но будет уже поздно... Сегодня в вагоне этот субъект, когда ехали, смел сказать про мою жену, окончившую Бестужевские курсы: «Она с придурью...» Как вам нравится?

Он, глядя на меня, говорил без остановки, и с губ брызгали слюни. Глаза вертелись во все стороны. Говорил и останавливался, сложив руки, смотря на меня.

— Успокойтесь, — сказал я, — в чем дело? Это они так...

Наливаю ему из графина стакан воды:

— Вот выпейте, успокойтесь, дорогой...

— Я не дорогой, у меня есть имя — Василий Эммануилович. Я в литературу несю и внес, а он смеет мне говорить: «А жаль, что с вас Шишкин не написал дубовую рошу...» А? Как это вам нравится? У меня цепочка на жилете золотая, он спрашивает: «Золотая цепочка?» Я говорю: «Золотая». А он говорит: «Златая цепь на дубе том...» А? Подумайте...

И он выпил залпом стакан воды:

— Азиатчина.

— Ерунда, — говорю я ему, — Юрий шутит и надо мной тоже... Вот и в телеграмме написал: «Доктор Собачий Пистолет».

Я пошел на террасу, он встал и пошел за мной.

Как только мы показали на террасе, Юрий Сергеевич сказал, показывая на нового приезжего:

— Он ничего. Горяч. Только вот говорил, что жена у него дура была.

Новый знакомый только что взял в это время ягодину клубники в рот. Он поперхнулся, побледнел, захрипел. Доктор Иван Иванович вскочил, поднял ему голову кверху и стал бить кулаком по спине. Писатель закричал:

— Не позволю! Молчать!

— Ладно, — сказал доктор. — Прошло. А то ведь ягода проскочит в дыхательное горло, ну и ау!

— Я не позволю мою жену... — кричал новый гость. — Милостивый государь, моя жена...

— Какое ты имеешь право, Юрий, женщину при мне называть душой? — встав и подняв высоко брови, сказал Павел Александрович.

— Что это значит — «при мне»? — быстро вставил новый знакомый. — Кто вы такой, милостивый государь? А при *мне*? Я — муж! Что значит «при мне»? Кто вы? Потрудитесь мне объяснить.

Трудно было что-либо разобрать: все говорили, все кричали. Вдруг около террасы раздался зычный голос Василия Сергеевича:

— Ленька, качай!

И всех нас окатила пожарная кишка. Юрию попало прямо в рот. Поливало всех и нового знакомого, и милого Николая Васильевича, который кротко молчал.

— Я не позволю! — еще кричал новый гость. — Что же это у вас делается?

— Вали, вали! — кричал Юрий. — Полей меня, Вася, еще. Отлично. Лето... Эх, жизнь, красота!

Коля Курин тихо говорил мне, вытирая салфеткой шею и голову:

— Зачем это Юрий привез к тебе Собачий Пистолет?

— Так это он Собачий Пистолет? — спрашиваю я. — Почему?

— Он так часто говорит, как лает. Ну, его Барошка в кружке и прозвал. Его теперь все так зовут. Он обижается ужасно...

Странно, после того как Василий Сергеевич полил спорщиков, все стали покойнее, легче.

— Ты не знаешь, Юрий, отчего это умные люди всегда такие сердитые? — спросил Василий Сергеевич.

— Вот вы, — обратился он к новому знакомому. — Чего вы все сердитесь? Всю дорогу сердились и теперь обижаетесь. Вы писатель, ну и пишите. Столько ерунды написали. А надо жить уметь хорошо, весело. Не надо сердиться. Юрий — ведь он все зря говорит, а вы, дорогой, приехали в деревню — тут радость, отдых, рай...

— Позвольте вам сказать: я не «дорогой», у меня есть имя и отчество — Виктор Эммануилович.

И Собачий Пистолет, посмотрев на всех с презрением, встал и ушел с террасы.

Юрий, смеясь, говорил:

— Он мне рассказывал, что жена его была хозяйка, любила хозяйство, а он писал роман под названием «Вперед». Однажды она без него рукопись взяла и сожгла, растапливая плиту. Он с ней разошелся — она ушла от него. Я сказал: «Должно быть, она была того... дура, хотя, может быть, и хорошо, что сожгла ваши рукописи». Вот он и взбесился на меня.

— И ты давно его, Юрий, знаешь?

— Нет. Только по кружку встречал.

И мы все пошли купаться на речку.

После купанья, за завтраком, пришел крестьянин-охотник, приятель мой Герасим Дементьевич, со всеми поздоровался: «С приездом вас» — и, посмеиваясь, сказал:

— Вот пришел, а со мной Шурка-телеграфист со станции. Он тоже по охоте мастер и рыбу ловить. Очень ему охота поглядеть на Собачий Пистолет, что в депеше прочел...

Мой новый знакомый опять вскочил. Приятели ржали как лошади.

— Давай кишку, Ленька! — крикнул Василий Сергеевич. — Давай кишку в окно! Нас снова полили. Подействовало, все сразу успокоились.

— Это ведь верно — водой надо, — сказал Иван Иванович.

— Вот видите, — сказал новый знакомый. — Кто вас окружает? Проснитесь. Неужели Репин, Айвазовский, Маковский могли бы жить в такой компании, допустить такое снижение идеала?..

— Маковский и Айвазовский? — лукаво и полувопросительно сказал Юрий Сергеевич. — А Шишкин, наверное, написал бы с вас дубовую рощу...

— Ну и барин, сердит... — говорила, качая головой, тетушка Афросинья, — вот сердит... Ежели бы прежде-то время, всех бы он выдрал вас на конюшне...

Саввинская слобода

Летом, в покос, у Москва-реки, на отлогом лугу, близ Звенигорода, в полдень жаркого летнего дня, сидели крестьяне-косари.

Кругом разбросано скошенное сено и сложены стога. Дымит поставленный самовар. Бабы вынули из лукошек хлеб, творожники, молоко в бутылках, соленые огурцы, лук зеленый, — словом, что у кого есть. Варили яйца, готовили тюрю.

Невдалеке от них сидели мы — еще молодые студенты московской Школы живописи: Левитан, Эйлер, Сангвинский и я. Жили мы в Саввинской слободе, а наверху горы блестел золотыми главами монастырь Св. Саввы Звенигородского. Крестьяне к художникам привыкли.

— Сидят, списывают, — говорили. — Картины списывают... Пущай стараются. Тоже... Народ голый... Пущай мажут...

В Саввинской слободе жил постоянно, и лето и зиму, художник-академик Лев Львович Каменев. Мужики его любили, говорили: «Бедный, конечно, но хороший, свой человек».

Мужики на лугу пережидали полдень. Жара свалит, опять за работу. Красные дни, покос управить надо.

Мы в стороне тоже сидим на травке. Достали молоко в бутылках. Хорошо, молоко с черным хлебом и печеное яйцо с солью. Сидим. А я взял краски, ящик и пишу с натуры: зеленое сено, около крестьяне в рубашках, бабы в цветных платках. Блестит в кустах ивняка светлая Москва-река. Хорошо... Лето...

Около меня Сангвинский, он старше меня, высокий, красивый. Тоже пишет покос. Говорит крестьянке Елычевой:

— Пстой, Матреша, немножко у стога. Пстой еще... Тебе уже из города платок привезу в подарок.

— Почто? — покраснев, отвечает Матреша. — Стоять-то ведь это труда мало, это ведь не жать...

— Покос мы за праздник считаем, — отозвались бабы.

— Тожа, сыми-ка ее. Тожа списать умственность надоть иметь... Они еще в ученьи находятся. Это не Лев Львович Каменев. Где ж им до его. А тот тожа не может — образ написать. Не дадено. Умственности нету. Тожа старается. Ах, художники, глядеть тожа: в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи...

Мужики смеются:

— Ловко сказал Гришка Стрекач. У Стрекача голова умственная... Дд-а... Стрекача — не переговоришь.

Григорий Стрекач смотрит на нас, карие глаза смеются. Молодой парень, красивый, волосы — черные как смоль — кудрявятся.

— Да вот, — говорит Стрекач. — Тоже художники прозываются. А почто они, кому надоть это самое... чего его? Есть которые иконы пишут, ну, те туды-сюды. А есть — мажут краской невесть што. Ну, спишет ежели вот монастырь Преподобного... Ну, туды-сюды — продаст купцу, еще ничто. А то — кому надоть? Нам эти картины не надоть — куда их! Петуха у Авдотьи списали — хорош петух Авдотьин. И тоже списали. А живой — лучше. Куда нам? А есть такой — купит. Ну, боле трешника не взять. За живого боле плотют. На вот... Вот ведь што, цена, значит, есть. А то нешто мучились бы эдак-то. Сидят часами — сымают, списывают.

— Умственно говоришь, — сказал Григорий Бажанов, — верно, нам дарма не надоть их труды.

— Ничего не умственно, — не соглашается Сангвинский. — А дурью говорит Григорий Стрекач. Ничего он не понимает. Художник — первый человек.

Мужики засмеялись.

— Эн, перьвый человек, — сказал один. — А сапоги каши просят...

— Ха-ха-ха, — рассмеялись бабы.

— У кого сапоги каши просят? — спросил Сангвинский.

— У кого? Вон — заплаты рыжие... — показал мужик на Левитана. — Тожа перьвый, значит?..

— Ежели умственно говорить, то слушай: кто есть первый что ни на есть человек, — крестьянин. Понял? — сказал серьезно Гришка Стрекач. — Вы все, и города ваши, Москву хоша взять, все вы, господа, что ли, — кто вас там разберет... все вы без крестьянина сдохнете без хлеба. Понял? Кто вас кормит? Мы! Поняли умственность?

Мужики поглядели на нас, сказали:

— Это верно...

— Ну и врешь! — сказал Сангвинский. — Во-первых, не хлебом единым жив человек. Да и что ты — крестьянин — первый человек. А по-моему — кузнец первый... Что ты без кузнеца можешь? А? Косу сковать? Ну, как скуешь? Как луг без косы скосишь, ну-ка?

— Верно... — сказали мужики. — Кузнец нужен. Тожа перьвый.

— Ну, а кузнецы вам косу не дадут, не продадут, а сами луга скосят себе... Тогда что?

— Эта ты тожа дуром баешь... — сказали мужики. — А тогда в волостное их, к старшине — исправнику.

— Ах, дак вот вы как. Волостным судом страшишь! А какой он — перьвый, суд-то?

— Вестимо... Тожа они из нас, тожа крестьяне... значит, перьвые... — говорят мужики Сангвинскому.

— Первые? — говорит Сангвинский. — А вот кузнецы-то богатые, они суд-то угостят, подпоят. А луг-то ваш и присудят кузнецам... Тогда как?

— Это верно, — сказали мужики. — Это самое верно. Было ето. Телку Игнатьеву присудили — а телка не его. Ей-ей, было так.

Мужики разволновались.

— Надоть искать начальника, что ни на есть правильного...

— Ага! — сказал Сангвинский. — Правильного? А он — первый человек или кто?

— Вестимо, перьвый, — отвечают мужики.

— Неизвестно... — сказал Сангвинский. — А вдруг взятку возьмет?

— Ну... Чего тут, нешто возьмет. Есть эдакие, не берут... За правду стоит, ежели постарше выбирать...

— Да, деньги не возьмет. А баба красивая уговорит, по ее и поставит. Тогда кто первый будет?

— Постойте, — сказал Гришка Стрекач. — Чего вы. Надоть пойти в скит, к старцу Тихону. Он скажет — как надоть.

— Так старец Тихон первый или нет? — спросил Сангвинский.

— Вот тожа... Вестимо, что ни на есть перьвый... — ответили мужики.

— А ты, Стрекач, говоришь — первые только «мы — мужики»...

— Тожа умственность, — заспорил Горохов. — Чего говорить зря, лясы точить. Тожа вы... старец, говорите. Ходили к ему бабы, а он им: «Я, грит, к делам мирским мудрости не приложу...» И все тут. И говорить больше не стал.

— Надоть тут, в город, к мировому... — сказал Батранов.

— Так мировой, — заметил Сангвинский, — он неграмотный, читать не умеет...

— Что врать-то! — сказал Стрекач. — Как неграмотный. Он учился грамоте, ученый... Чего врешь-то?

— Да? Грамотный? — сказал Сангвинский. — Вот что... значит, учился, учитель был у него, учитель нужен, значит?..

— А как же, — сказали мужики.

— А он-то, учитель, первый или какой?

— Вестимо, перьвый, — говорят мужики.

— Тогда почему же первые — мужики?

Мужики молчали.

— Учитель нужен, да? А он по книжке учит. Бумага нужна для книжки-то? Как ее сделать: фабрикант нужен?

Мужики молчали.

— Да? — сердито сказал Стрекач. — А кто учителя и мирового кормит? Судью? Мы. Я вот. Чей они хлеб едят? Наш. Я пашу...

— Постой! — сказал Сангвинский. — Мужик задним умом крепок. Не ты пашешь, а лошадь.

— Верно, — согласились мужики. — Лошадь первая — без ее, шабаш, нечего мужику делать.

— Корова тоже, — закричали бабы.

— Чего вы еще понимаете? — кричал Григорий Стрекач. — Умственность понимаете!

— А ты чего тоже... умственность! — сказала бойкая Горохова Авдотья. — Умственность, умственность... а сам ты дурак — уши холодные...

— А ты умная, ты чего знаешь? Мы что ни на есть первые — всех кормим. Город без нас сдохнет. Трактирщик Кульков, у его брюхо чисто шар. Чье брюхо наел? Наше брюхо, мое. А ты тоже — «дурак» мне... Чего «уши холодные»? А сама-то дурей оглобли...

Мужики стали браниться.

— Ну, зачем ругаться, — сказал Сангвинский. — Если правду сказать — то женщины... уважать надо. Женщины — первые.

Мужики перессорились. Бабы были за Сангвинского, мужики за Стрекача.

И с тех пор к Сангвинскому по вечерам, после работы, стали приходиться мужики и бабы, и Григорий Стрекач — «умственность разговаривать». И долго, до самой полуночи, слышно было смех и спор у избы крестьянки Прасковьи Герасимовны Ельчевой — вдовы, у которой молодая дочь Матреша с красивыми карими глазами. Матреша слушала и восхищенно смотрела на Сангвинского влюбленными глазами...

А в начале сентября в Саввинскую слободу приехал учитель — молодой человек из духовного звания, Андрей Петрович, и остановился у Прасковьи Герасимовны. Лето он провел на побывке у отца своего, дьякона, в Костроме. Зимой и раньше жил у Прасковьи Герасимовны. Приехав, увидал, что Матреша его что-то холодно встретила. И послушал он разговоры об «умственности» на вечерах у завалинки дома. Увидал, что Матреша глаз не сводит с Сангвинского, и затаил к нему злобу — оспаривал, говорил, что он белая кость и что он против простого народа.

А Матреше сказал, что Сангвинский в Бога не верит. Матреша ему ответила, что вон учитель ей тоже говорил, что Бога нет. Учитель обиделся и уехал от Прасковьи Герасимовны и больше на «умственность» не приходил.

Поздно засиделся в слободке художник Сангвинский. Уже наступал Покров. Както ночью к нему приехал исправник и с ним жандарм и приказали Сангвинскому собрать вещи и увезли его в город. Также взяли и Григория Стрекача.

Матреша молча страдала. Похудела, красивые глаза ее ввалились. Она плакала по ночам и упросила мать отпустить ее в город — узнать, что случилось с Сангвинским. Матреша из города не вернулась, через два дня Прасковья Герасимовна пошла ее искать. Ей сказали, что она уехала в Москву, куда увезли Сангвинского. Попал он за «умственность». Она валялась в ногах у начальников, и те сказали ей: «Может, обойдется. Дурак он, какую секту надумал — умственность».

Матреша вернулась через два месяца, совсем больная, и все молчала, как немая. Только раз сказала матери, что нигде его не нашла — пропал он:

— И я хочу пропасть...

Матреша чахла. К весне она сказала матери:

— Прощай... умираю я... Пойду к нему, мне тоже за правду умереть охота. Вон он стоит, гляди, мать, — в цветочках белых... Гляди: сияет... а глаза все колоты кривдой. Матреша умерла в бреду.

В начале мая я встретил в Москве, у подъезда моего дома, — Сангвинского.

— Я был у вас, не застал...

Я его спросил, что с ним случилось.

— Ерунда, — ответил он, — будто я создал какую-то секту. Ну, все объяснилось, ерунда... Присудили к трем рублям штрафа за нарушение тишины и спокойствия...

Я ему сказал, что Матреша — дочь Елычевой — умерла.

— Какой ужас... — сказал он с горьким изумлением. — В чем дело?

— Она, кажется, была в вас влюблена, — поведал ему Левитан.

По приезде нашем в Саввинскую слободу встретившая нас Прасковья Герасимовна заплакала. Говорила, что был у нее Сангвинский, ходил на Матрешину могилку и, когда Прасковья Герасимовна дала ему белые цветочки, сорванные с могилки, Сангвинский хотел их поцеловать.

Лепестки рассыпались и упали на землю...

Мушки

Помню лето в Москве. Жизнь была такая безмятежная, никаких событий. Стояли жаркие июльские дни. Все москвичи жили на даче, к вечеру на улицах Москвы бывало пусто, по Тверской-Ямской ехали лихачи за город. Там рестораны, пели хоры цыган.

А я предпочитал деревню — семь часов от Москвы, — к себе. Там был у меня деревянный дом у большого леса и у речки Нерли, и я любил дом свой. В глуши живу, а хорошо... У меня приятели всегда гостят, такие особенные люди, — хорошие. Охотники, артисты.

В большой комнате моей мастерской окна выходили в сад. Видны большие ели, березы и даль бесконечных лесов. Моховое болото и поля, поля... Желтые полосы ржи, и какой воздух!

У окна моей комнаты — стол. На нем в коробке табак. Приятель мой, Коля Курин, подошел к окну и свертывает папиросу, а другой приятель сидит за другим столом посредине комнаты, сидит и набивает патроны для ружья — собирается на охоту, — снаряжает патроны бекасинником.

Приятель-гофмейстер лежит на кушетке и читает газету — со станции принесли. Коля Курин, набивая папиросу, поет, так, от нечего делать.

О-от одной прелестной да-а-амы
Я прине-е-с две ро-зы ва-ам...

— Это что ты поешь все? — спрашивает его Василий Сергеевич, набивая патроны.
— Это, брат, пою я из «Гугенот», паж, брат, поет там это самое...

— От какой же он это дамы принес розы? И в чем дело? Ерунда.
— Совсем не ерунда, — протестует Коля. — Романтика... Счастливая эпоха была.
— А эта дама замужем была?
— Замужем? — передразнил его Коля. — Это была какая-нибудь маркиза. А он, которому она розы прислала с пажом, — тенор. Он поет:

Люблю тебя, — сказала ты, —
Люблю-ю-у-у...

— Если бы я был пажом, — сказал Кузнецов, — то сам за ней приударил. А то неси кому-то розы... Очень нужно. Как глупо.

— Она, — продолжал Коля, — она бы не стала тут жить. Что здесь? Видишь, бревна, деревянный потолок. Нет, брат, у ней все стены в резьбе, узорах. Она с тобой и говорить-то бы не стала...

— То есть это почему же не стала?

— Не стала бы. У маркизов жабо, парча, на ногах золотые пряжки, шпага, парик белый. А ты — посмотри на себя: босиком, в фуфайке Егера, нечесаный. Она бы, увидав тебя, упала в обморок...

— Знаем мы эти обмороки! — сказал Кузнецов. — У меня Ольга тоже в обморок падала. А ее из ведра водой. Ну, бросила обмороки. У меня эти штучки не пройдут.

— Их грубостью не возьмешь.

— Как я бы хотел жить в ту эпоху, — мечтательно сказал Коля. — Красивая жизнь была. Конечно, трудно — надо было учиться ногой шаркать и шляпу уметь снимать, чтобы все элегантно. Тебя, брат, и не подпустили бы...

— А вот мы, доктора, в особом положении, — сказал Иван Иванович. — Перед нами тоже не пофинтишь. Кто хочешь будь, а сознавайся: живот болит или мало ли что... Это тут перед нами все одинаковы. Говори, что болит, — и все тут...

— Ну, не-ет... — не соглашается Коля Курин. — Там у них прежде и доктора были другие. У каждой свой медик. Приходил утром и наклеивал маркизе мушку — то на щеку, то вот сюда... — показал Коля на грудь.

— А за каким чертом нужны там мушки? — удивлялся Василий Сергеевич.

— А как же? Мушки показывали, куда ее сегодня целовать можно...

— Ну, уж это ты врешь... И притом она приклеит мушку черт знает куда — ну и целуй ее... Очень нужно.

Лежавший на тахте приятель мой, гофмейстер, читал газету и слушал разговор гостей. Он отложил газету в сторону.

— Ты все врешь. Откуда ты это знаешь? — говорил Кузнецов. — Вот спроси Николая Александровича. Он гофмейстер, значит, придворный, знает этикет побольше тебя.

— Какой вздор, — сказал гофмейстер. — Хотя, конечно, мушки женщины приклеивали из кокетства. Это к некоторым идет. Но чтобы они указывали — куда ее целовать... Это вздор.

— Нет, я верно говорю, — отвечал Коля. — У меня самого была такая история с мушкой. Ужас! Я в Крыму познакомился, в Ялте, — еще студентом тогда был, молодой... Хорошенькая блондиночка. Я увидел ее в городском саду на музыке, среди публики. Все нарочно проходил мимо нее и смотрел. Она с кем-то ходила по саду,

потом они сели за столик, я — рядом, за другой. Они лимонад пить — я тоже. А на другой день я с ней познакомился. Она говорит мне:

— Я буду в городском саду вечером. Я мушку если вот сюда наклею, то вы тогда подойдите ко мне. А то — нет, и не здоровайтесь со мной. Понимаете?

Вечером, вижу, у ней мушка там, где показала, — у шеи внизу. Я подошел, и она из сада ко мне поехала. Вот я в нее втюрился! А на другой день она пришла ко мне и говорит:

— Я, — говорит, — жду деньги, мне должны на днях прислать. Прошу вас, не можете ли вы вот заложить мои часики?

— Хорошо, — говорю я ей. — Извольте — я заложу ваши часики.

Ну, и пошли в ломбард. Я взял часики и пошел закладывать. А она ждет на улице. Оценщик посмотрел часики и предложил за них пятнадцать рублей. Я взял деньги и выхожу. Вижу — она ходит напротив, по набережной. Подошел к ней и говорю:

— Вот, — говорю, — заложил ваши часики, но дали мало, только пятнадцать рублей.

Она как вскрикнет:

— Как? Да вы что... Ай! Как — пятнадцать рублей?..

— Успокойтесь, — говорю, — больше не дают. Они же маленькие, простые...

— Как — простые? Ай!

На нас смотрят прохожие, останавливаются, а она себя за голову хватает.

— Идемте, — говорю я ей. — Я сейчас возьму их назад.

Пошел с ней в ломбард. Даю квитанцию. Там смотрят — что такое: только заложил и уже выкупает. Но подают часы. Артельщик кладет их на прилавок. Она увидела их, как заорет на весь ломбард:

— Ай! Это не мои... Ай! Мои в бриллиантах...

Все смотрят, а она кричит:

— Кто вы такой? Где мои часы?

Вот какая история. Позвали полицейского, в участок. Пристав говорит:

— А эти чьи же часы?

Она говорит:

— Не мои.

Пристав, видно, человек бывалый, хороший:

— Вот что... — говорит. — Вы как-нибудь помиритесь, а то это дело скверное, я должен составить протокол.

Я отвел ее в сторону, а у ней глаза такие злые... Думаю, что делать? Смотрю на нее, а мушка так в глаза лезет, так и лезет. Говорю ей:

— Сударыня, вот вам... у меня полтора рубля, возьмите...

А она кричит:

— Ай! Это часы моей матери покойной, они мне дороги...

— Возьмите, — говорю, — вот еще мои часы, — и даю ей часы моего отца — золотые.

— Мне не нужны ваши часы. Зачем мне часы...

Я говорю:

— Подождите, я пойду, заложу их...

Она не пускает меня:

— Вы не уйдете... Я полюбила вас, — говорит. — Поцелуйте меня в мушку!..

— Ну, думаю, черта эти мушки! — и говорю приставу, что сошлись, мол, помирились.

Отдал я ей и деньги, и часы отца и скорей из Ялты! Пешком через Ялту до Севастополя пер.

Вот что такое мушки... Я-то, брат, знаю. Я потом прочел про эти мушки всю историю. Я знаю...

На мельнице

Несмотря на поговорку «июль — на рыбу плюнь», я и приятели мои собрали удилица, разные снасти и поехали на мельницу на рыбную ловлю. Полное лето. Какой красой дымятся и громоздятся белые облака в синем небе! Какая воля, отрада глаз! По проселочной дороге едем мы подводой, на деревенских лошаденках, где ржаные колосятся поля, мелькают васильки и пред нами, вспархивая, взлетают жаворонки, изящные трясогузки. Носятся ласточки, разрезая со свистом воздух летнего утра. Какое волшебство, несказанная красота входит в душу. Россия!.. Как дивны красы твои, отрада глаз и счастье созерцанья.

Приятели мои — рыболовы. Уже с вечера, когда мы задумали ехать утром, надежды их были полны неожиданных приключений. Мельница, на которую мы ехали, Голубиха, — огромный омут. В отдалении от деревень лежала она среди полей. Около нее — могуче росли высокие серебристые тополя, и большой постав колес шумел, издали уже был слышен, когда мы подъезжали к большой мельнице Голубихе.

Мы увидели светлые воды реки Нерли и тихое зеркало вод омута.

Перезжая мост, где была река уже, нам было видно вдаль, как на зеркальной воде растилались круги, всплески больших рыб.

— Ишь ты, как жерех играет! — сказал мне возчик Павел Батранов, — только как его возьмешь-то? Гляди-ка, на середке гуляет ведь. Леща здесь много... Крупен лещ. Да ведь и неводом не возьмешь. Допрежь здесь лес рос, дубье. Чего в омуте дубья навалено! Казаков неводом пробовал — тридцать рублей за невод-то заплатил — а его там оставил... Рыба-то тоже... поймай ее! А рыбы здесь масса. Матрос приезжал — Бзура, и вот хитрейший: кукелеваном рыбу травил. Много погубил. Продал в город, а от ее и ослепли — наелись да ослепли... Вот ему морду били, вот били!.. Насилу живой ушел. Ослепли — вот что. Дак нет, будя, теперь кукелеваном-то никто и не травит — запретили.

Большое здание мельницы. Шумит вода под колесами, работают на всех поставах. Радостно встретил нас мельник, посмеиваясь:

— Эх, — говорит, — господа, охота, верно говорят, пуще неволи...

На лугу, у дома, к омуту поставили большой стол, покрыли скатертью. Самовар блестел, как какая-то брошка на фоне зеленой травы и окружающего пейзажа. Приятели мои расположились кругом, вынули привезенные закуски, расставляли на столе. Хорошо на природе летом. Несказанная радость входит в душу. Вина не взяла, так как жара — в жару вино невозможно пить.

Василий Сергеевич с серьезным лицом раскладывает удочки с цветными поплавками и говорит сыну мельника Саньке:

— Налови-ка мне пескарей для живцов.

— Да, — говорит мельник, — эва-то вот омутина велик. Дна нет. Мерили бечевкой с камнем — двадцать семь аршин, а дна нет. Бечевки не хватило. Эвона глубина-то какая!.. А на дне-то хозяин живет. Вона когда старики говорили, а им отцы — вся мельница-то в омутину ушла вместе с мельником. Вот она, на дне-то, тама с хозяином ушла. А он-то, сам мельник-то, колдун был, его к себе-то водяной и позвал. Дак вот оно что. Там сом живет, и вот велик! Я-то аренду держу двенадцатый год, а до меня мельник держал двадцать три. Дак он говорил: у кого он взял, тот-то отдал потому мельницу, что у его вот что — как заведет лошадь, пустит вот здесь по лужку-то погулять, ан лошади-то и нет. А кто взял? Сом. Сомов много тута.

— Ну, это ерунда! — сказал Василий Сергеевич. — Неужели сом может лошадь съесть?

— Я тожа думаю — как это, где ж ему лошадь съесть... А говорят. Я ведь его видал разок — в Ильин день. И вот Илья Пророк чего делает. И-и... гроза была, и дождина, прямо плотину промыло. И вот гром гремел. А он, сом, посередке что делал... Хвостом бил по воде, сом-то — я сам видал! И велик, только куда ж — все ж лошадь ему не сожрать... Не иначе, что, полагать надо, что цыгане сказали про сома, а, знать, они лошадей-то и воровали. Вот что!

— Вот так штука, — сказал мой приятель Коля Курин. — Как теперь купаться пойдешь?.. А я хотел искупаться перед чаем. А поди-ка попробуй, — сожрет! Благодарю покорно...

— Ну, чего вы, барин! Не съест, — сказал мельник. — Покупаться можно в рукаве, у колес: там песочек, хорошо! И вода бежит.

— Санька! — сказал он сыну. — Поди покажи барину место, где купаемся.

Николай Васильевич встал и покорно пошел с Санькой.

* * *

Через большую плотину — мост. Наложены бревна, перил нет. Через этот помост переезжают помольцы. С этого помоста приятели мои забрасывают удочки в нижний омут. Я посмотрел вниз, видно было, как большие бревна плотины входят в воду. Голавли с черными хвостами, увидев нас, опустились в глубь воды. Вдруг сбоку, где шумят колеса мельницы, за кустами ивняка слышим крик приятеля Коли. Мы все бросились на крик, к колесам! Видим: Коля стоит голый на бережку, а с ним Санька.

— Смотрите, — увидав нас, кричит Коля, — смотрите, что это?

И в пене бегущей воды под колесами кожуха высунулся как какой-то большой темный мешок и ушел под колеса, пропав.

— Он чуть-чуть меня не сожрал, — говорит Коля, с испугом посмотрев на нас. — Вот черт!

— Да ты что дрожишь? — говорит ему приятель Вася Кузнецов. — Не дрожи!

— «Не дрожи»... Посмотрите, что это? Вон он, черт!

Действительно, из-под колес опять показался мешок, и на этот раз ясно было видно, как сом вернул хвостом.

Когда мы спустились к колесам, «мешок» пропал.

— Ну и сомина! — сказал Санька. — Эвона, под колеса, в ямину ушел...

Когда мельник остановил колеса и вода стихла, сома не было видно: он пропал.

Наступил полдень. На мосту плотины мои приятели закинули удочки в нижний омут. В жарком дне на тихой воде омута видны были цветные поплавки наших удочек. И были красивы они на синей воде отраженного в глубине неба. Мы долго смотрели на них. Скучно, неподвижно стояли они на воде: рыба не шла, «не клева-ла», как говорят рыболовы. «Июль — на рыбу плюнь», — сказал мой слуга и приятель Василий Княжев.

Жаркий летний день вступал в свои права. Хоть бы облачко на небе! Кругом всё — как под каким-то стеклом. Жара. Скучно.

Бросили мы и смотреть на поплавки, ушли и сидели у стола в тени тополей, попивая чай.

Приятель Василий Сергеевич расхрабрился: задумал купаться. Разделся и в руки взял топор. И с топором в руках зашел в воду по колено. Смотри перед собой на воду и держа топор, говорил так серьезно:

— Попробуй-ка! Я тебе не лошадь, я тебе покажу! Видал? — сказал он, хлопая по воде топором. — Ага! Тогда узнаешь — кто я, — говорил он сердито, но в речку дальше не шел. — Узнаешь меня, я тебе хвостик-то отрублю, погуляешь без хвоста! Я тебе — не Николай, — сказал он, обернувшись и посмотрев на приятеля нашего, Николая Васильевича.

Николай Васильевич передразнил его:

— «Покажу, покажу»... А что же ты в воду-то не лезешь? Полезь-ка, вот к колесам, узнаешь тогда; он с топором, брат, проглотит! Полезай-ка в колесо. Окунись.

— Да, полезь в колеса, — говорит Василий Сергеевич сердито. — Тебе-то что? А у меня — Ольга. Она не переживет, если со мной это случится, если этот черт меня в колесах утопит. А тебе все равно, — говорит серьезно Василий Сергеевич.

— Не переживет?.. Вот тоже! — сказал презрительно Николай Васильевич. — Тоже — «не переживет».

— А что же? — горячился Василий Сергеевич, вылезая из речки.

— А то же, что — переживет, — сказал равнодушно Коля Курин.

— То есть как же это «переживет»?

— А так, очень просто: к Куперу уйдет.

— Как — к Куперу? Да ты что? С ума сошел?!

— Ничего не сошел! Я, брат, баб-то знаю! У меня сколько их было — все ушли.

— Так ты ж — дура!

— Да, дура... А ты думаешь — у умных не уходят? Нет, брат, уходят. Ты тоже, думаешь, — умный?

— Слышите, что говорит? А? Что с Колькой делать? Хуже сома этого самого!

И приятель Вася, выйдя из воды и надевая штаны, говорил обиженно:

— Купер?! Почему Купер? Говори! Вот ведь дубина ты! Вот ведь расстроил меня! Говори, почему Купер? Говори!

— А потому, что женский портной он, между баб как вьюн вертится. Они все за него. Каждая просит его: мне, говорит, сшейте лучше другой. Понял? Он — всё у них. Он — мода!

Василий Сергеевич стоял и смотрел на нас. Зажмурил глаза, покраснел и расхохотался.

Смеясь, говорил:

— А ведь знаете что? Колька — прав! Прав! Верно! Ведь эдак жить нельзя. На каждом шагу — заставы, враги! Вот приехал сюда, лето, радость! Приехали рыбу ловить. Посмотрите кругом — красота какая! Так нет: сом лошадей жрет, купаться нельзя! Хороша мельница, думаю: омут большой. Рыбы половить приехали — рыба не идет: жара! И еще то, что не мы есть уху будем, а, того гляди, тебя тут сожрут! Не дурно это? А в Москве Купер моды завел. Ольга уйдет. А я все слушаю. А пошлю-ка я все к черту! И буду жить, как выйдет. Все равно. Не огорчите меня.

В это время с моста плотины шел Василий Княжев. Подошел к нам. И так скучно сказал:

— Вот что! Это самое место — такое, что лучше отсюда «прощай», — и более ничего. Помалец проехал по мосту, так сказывал: рыбу нам не пымать ничем. Потому — заговорено тут. Глубина — до ужаси какая. На дне «хозяйин» живет. Колдун был ране. Так ежели кто выпимши, ну, пымает еще, а то — нет! Тверезому — не пымать!

— Это верно, — вставил возчик Батранов. — У кого ежели хрест найдет, не пымать тоже ничем.

— Дак чего же ты, балда, когда сюда ехали, молчал? Ничего не говорил нам? Вот я так и знал. А все — Николай! «Не надо брать вина. Жара. Вредно!» А вот что получилось, — сердился Василий Сергеевич.

Споры

А долгая зима была в России. Вьюги, метели, мороз.

Снеги белы и пушисты. Покрывали все поля... И думается, неужели этот мой угрюмый сад в снегу был зеленый? Это так давно! И придет опять сияющая весна, и сад этот скучный, темный опять наполнится пением птиц. А сейчас я вижу сквозь замерзшие стекла окна обледенелый колодец, сугробы, сугробы, хмурый лес вдали и жалкие ветви малинового сада за бедным частоколом. Снежная пустыня... Бревенчатый дом мой — мой дом. И я чувствую, что люблю мой дом. И думаю: в этом есть какая-то вина, ведь у другого нет дома. Мне-то, в сущности, хотелось, чтобы у всех был дом, дом нужен человеку прежде всего. Но что же я могу сделать?.. Я думаю, что у собак, моего Тобика, тоже был, должно быть, когда-то дом, так как когда он ложится со мной спать, то несколько раз поворачивается на одном месте, потом ногами как бы разгребает ямку, сворачивается клубком и ложится. Это он ложится в логово, в дом свой. А мой ручной барсук? Помню: он под полом сделал себе дом, вырыл нору. Там у него была комната — земляные полки, и он туда все тасил, воровал — и пряники, и орехи, и сухари, и даже капсулы касторового масла, все там разложил на полках у себя. Хозяйственный был барсук, не верил мне, что я его прокормлю, на случай готовил, на зиму. А индюк в сарае так и живет в корзине, в которой я его привез из Москвы. Тронуть корзину нельзя, клюется. Это его корзина. Не дай Бог курице забраться в корзину — убьет! Вот собственник! Долго можно говорить, что чувство собственника — дурное чувство. Но — как быть — это чувство своего живет в животном мире у нас на земле. Чувствую и я, что есть у меня дурные стороны. Люблю дом свой, люблю друзей, приятелей, когда они у меня гостят, а сам я не очень

люблю в гостях гостить. Спать люблю у себя, в своем логове. Звериное это чувство у меня, свойство такое. Виноват. «Вот, — думаю, — у меня на стене висит этюд Левитана, подарок Поленова — картина, рисунок Васильева, Цорна. Мои эти картины. Почему мои? Ведь они не мои. А вот картины, которые я пишу, — не мои. Пишу — кому-то другим. Кажется, что это так и надо. Тоже вот эти рассказы пишу: пишу другим, не себе. Много писал декораций, рисунки костюмов, в театры, и все это для других. А вот рисунок Цорна — это, кажется, мой... Так ли это? Хорошо ли, не знаю. Говорят — собственности нет. Как сказать, не знаю хорошо... Жизнь — вот это не собственность: умрешь, не говоря уже о всем прочем».

Так я думал однажды в зимний день у себя в деревянном доме в деревне, где горел камин, было уютно и тепло, а кругом леса, зима — пустыня холодная, далеко от Москвы. За столом у меня сидели два знакомых философа — блондин и жгучий брюнет. Очень милые люди. Я поделился своими мыслями. Они снисходительно улыбнулись, когда я говорил, что у меня есть чувство собственности, что я люблю свой дом.

Блондин-философ сказал:

— Это уже старо, давно известно. Прюдон сказал, что собственность — кража.

— Да, я помню, читал раньше.

Сидевший также за столом мой приятель, доктор Иван Иванович, человек солидный, с баками, спокойно уплетавший за столом жареного зайца, заметил:

— Да, конечно... философия. Так. Но вот я сейчас зайца кусок съел. Он у меня сейчас тут, — показал он себе на живот. — Чей этот кусок — мой или нет?

Оба философа — блондин и брюнет, — посмотрев друг на друга, снисходительно улыбнулись и ничего не ответили.

Вопрос, конечно, был так себе.

— А вот, — продолжал Иван Иванович, — если спросить у этого ручного зайца (который сидел около), вот у него, которого выкормил он, — показал он на меня, — что бы заяц ответил, чей он?

Оба ученых засмеялись.

— Да-с, — продолжал Иван Иванович, — а когда он его съест, этого своего ручного зайца, тогда чей он будет?

— Это вы не по существу... — сказали ученые.

Мой приятель гофмейстер, лежавший на тахте, отложил книгу, которую читал, в сторону и вступил в спор.

— Позвольте... — сказал гофмейстер, — мне кажется, что доктор Иван Иванович прав. Вы изволили сами, — обратился он к ученым, — послать сегодня депешу, сказав, что «это телеграмма моей жене». Так, значит, послали вашей жене. Значит, жена — ваша.

— Это еще неизвестно... — сказал некстати приятель мой Василий Сергеевич.

— То есть как это неизвестно? — заметил, сдвинув сердито брови, ученый.

— Так, — сказал Василий Сергеевич, — вы говорите: собственности нет. А жена ведь это не вещь, да-с. Она существо само по себе. Моя жена — что такое? А она возьмет — и так-с!..

Василий Сергеевич, приставив к своей голове два пальца, показал рожки.

Оба ученые рассердились.

— Позвольте, — говорят, — это вы что же рога показываете? Какое вы имеете право про мою жену... даже не будучи с ней знакомы?

— Позвольте, позвольте, — встав с тахты и горячась, говорил гофмейстер. — Если собственность — кража, как сказал этот ваш Прюдон, то, значит, супруга тоже кража. Так или нет?..

«Ну, — подумал я, — начинается: сейчас поругаются».

И вышел в другую комнату. Там надел валенки, полушубок, взял ружье. А в соседней комнате уже кричали — клялись Прюдоном, Толстым, Достоевским.

Когда я проходил через комнату спорщиков, те, растопыбив глаза, спросили меня — куда я иду. Я ответил:

— Да вот, по задворкам пройду к реке. У житниц и сараев, там солома в стогах, прилетают иногда серые куропатки.

Так как спорщики были охотники, то, бросив горячий спор, они сказали мне:

— И мы пойдем.

Оделись и взяли ружья.

Философ-брюнет, горячась в споре, поперхнулся и, как-то икая, открывал рот. Выходя на крыльцо, он сказал доктору Ивану Ивановичу:

— Что-то у меня икота, в горле что-то...

Иван Иванович посмотрел ему в рот и удивленно сказал:

— Ну-ка, откройте-ка рот-то побольше.

Тот шире открыл рот.

— Вот ведь что... — сказал доктор, — это я в первый раз вижу... у вас небо-то черное, как у злых собак.

Философ закрыл рот и, сердясь, сказал:

— То есть как это — как у злых собак? Вы это что?..

И икнул опять.

— В первый раз вижу, — невозмутимо подтвердил Иван Иванович.

Философ вернулся в дом и долго смотрелся в зеркало, открыв рот.

Догнав нас у реки, где у горки стояли сарай и около них разваленные стога соломы, он сказал доктору, что и сам в первый раз видит, но что его небо действительно черное. В это время в стороне, недалеко, прямо на него вылетела из кустов ивняка стайка куропаток. Философ не растерялся и, выстрелив дуплетом, убил трех куропаток. А доктор Иван Иванович — одну. Все поздравляли охотников с удачей.

За обедом жареные куропатки, зимой! Какая редкость! Охотники разговорились. Василий Сергеевич говорил, что куропатки, в сущности, дикие куры и что он раз в лесу убил петуха, который-де, сидя на дереве, кричал по петушину «ку-ка-ре-ку».

Охотники усомнились. Но доктор Иван Иванович уверял, что помеси в природе много. Много разнообразия.

— Вот, — говорит, — у Васи, — показал он на Василия Сергеевича, который, сидя за столом, сосредоточенно пил гонобобелевую настойку. — Вот, — говорил Иван Иванович, — у него собака Шутик, породы неизвестной, а с морды вроде как кошка, и усы кошачьи, ловит мышей.

— Это верно, — согласился Василий Сергеевич. — Ее и прозвали — мышеройка. На охоте отличная собака, дивное чутье. Как нору мышиную увидит, то сейчас рыть. Я уж ее и бил, уж и не знаю — ничем не отучишь. Поймает мышь и съест. Кошачье что-то.

— В природе, — заметил философ-брюнет, — многое перепутано. Я сам, например. В моем роду были ханы, восток, Евразия. Род наш идет от Чингисхана.

— Вот и понятно теперь, — заметил гофмейстер, — вы были кочевники. Набеги, грабежи. Чувства собственности и не было...

— Далось вам это чувство собственности, — с досадой возразил философ. — Меня гораздо больше беспокоит — почему у меня небо черное?.. Тень, что ли, так падает или съел какую-нибудь дрянь?..

И он снова озабоченно пошел к зеркалу...

Благодетель

Это было во время революции. В Москве было голодно, трудно было достать хлеб. Деньги стали мало стоить. Стало трудно на них что-либо приобрести.

Вот в это время меня позвал к себе на дачу один знакомый агроном. Он жил в Тверской губернии, недалеко от озера. Говорил: «Приезжайте, там у нас все есть — и хлеб, и молоко, и баранина, и рыба». Сын его, Егорушка, был в московской Школе живописи и кончил архитектурные курсы. Он рассказал мне, как проехать, и пообещал на станцию мне выслать лошадь. От станции ехать четырнадцать верст.

Я собрался. Егорушка Иванов мне дал свой адрес в Москве и сказал, что похлопочет насчет билета, — достать билет для поездки по железной дороге было тогда трудно, почти невозможно, но так как я был «трудовой элемент», то он надеялся, что билет достанет.

— Очень хорошо, — говорил он, — что вы едете к нам. Я дам знать туда и сам скоро приеду. Вас встретит моя жена. Она — дочь вашего знакомого агронома.

— Как это? — спрашиваю я. — А ведь вы мне говорили, что это ваш отец?

— Нет, — говорит Егорушка, — вы смешали, это мой тесть.

«Ну, все равно», — думаю. И через три дня пошел к нему узнать насчет билета на железную дорогу. Пришел на Поварскую, в Крутликов переулок, дом 14. Смотрю — знакомый дом: я бывал в нем, там жил мой приятель, художник Янышев. Он умер, и отсюда его выносили в гробу.

Вспомнил я грустную утрату, поднялся по лестнице к квартире покойного. На двери, по-прежнему, дощечка — «Янышев». Позвонил. Дверь мне открыла Мария Ивановна — жена моего приятеля.

— Здравствуйте, Мария Ивановна, — сказал я, входя.

— Вы к Иванову? — спрашивает Мария Ивановна, — только его дома нет. Входите. Садитесь, вот чай готов. Только, конечно, из мяты. Чаю настоящего нет, и сахару нет.

Пью мяту и говорю Марии Ивановне, что вот еду в Тверскую губернию к знакомому, он — тесть Иванова, погостить. Там, говорят, хлеб есть и молоко — все. И спрашиваю:

— Не знаете ли, достал ли он мне билет?

Мария Ивановна смотрит на меня, и глаза у нее круглые.

— Что это говорит? — изумляется она. — Какой тесть? Он женат вот уже три месяца на моей дочери Ане...

— Вот как!.. странно... — пробормотал я, не зная, что сказать. — Значит, он с той развелся...

Мария Ивановна встала из-за стола и, волнуясь, сказала:

— Что вы, он и женат никогда не был. А вы его когда видели?

— Да третьего дня, — отвечаю я.

— И он вам говорил, что женат и что там его жена?

— Да... — говорю. — Он еще сказал, что его жена меня там на станции встретит...

— Что такое? — удивлялась Мария Ивановна. — Вы что-то путаете.

— Не знаю, — говорю, — вот адрес.

Она взглянула на адрес.

— Да, адрес наш... Господи, да что же это такое? Вы говорите, женат?.. Я не знаю, что и думать... Не слыхала я этого... Он не говорил, что был женат.

— Действительно, тут какая-то путаница...

Я как-то неловко распростился с Марией Ивановной и вышел. Иду по лестнице вниз и вижу: на площадке, на двери, дощечка: «Иванов». Решил узнать, не тут ли Егорушка Иванов. Позвонил. Дверь открыла дама высокого роста, дородная, пожилая. Я спрашиваю:

— Что, господин Иванов дома?

— Нет, — говорит, — он в отъезде.

— А-а... в отъезде? Скажите, он не в Удомлю ли уехал, к себе?

— Нет, — отвечает дама. — Войдите, пожалуйста. Вы господин Коровин?

— Да, — отвечаю.

— Вот как я рада познакомиться! Входите, пожалуйста... Он так много говорил нам о вас. Прошу — войдите. Он уехал достать чего-нибудь: муку... знаете, время такое. На неделю уехал.

— Он, вероятно, поехал в Тверскую губернию, к жене и тестю, — говорю я, входя.

— Как — к жене? — удивилась дама. — Что вы? Он же женат на моей дочери. Войдите, вот его комната, где он работает.

Хорошая комната, линейки, треугольники. Видно, что архитектор живет. Дама показывает мне карточку в рамке.

— Вот это моя дочь — его жена, два месяца, как они поженились.

На столе в рамке вижу и его фотографическую карточку.

— Вот, значит, дочь ваша в Удомле у отца сейчас, — говорю я.

— У какого отца? — удивляется дама. — Я вдова, мой муж уже десять лет, как умер... Что вы говорите? Вы меня пугаете!.. Разве он был женат?

— Нет... — пугаясь сам, отвечаю я. — Не знаю точно, только он звал меня поехать к его тестю... Говорил, что меня на станции встретит его жена, приедет за мной, может быть, даже на тройке. Вероятно, это ваша дочь, не иначе... Ведь она там теперь?

— Да нет, что вы... Она придет со службы в шесть часов. Она здесь, в Москве, служит по продовольствию, карточки выдает. Он ей и место это нашел...

Придя домой, я нашел у себя письмо от Иванова. Он писал:

«Жалею, что не застал, оставляю разрешение на получение железнодорожного билета. Выезжайте в эту среду. Буду ждать утром на станции».

«Что такое?» — думаю я.

Поезда в то время ходили — как придется.

Пассажиров тьма, вагоны набиты битком, спят на полу, на тормозах полно. Едут больше мешочники, за продовольствием — картофелем, мукой. Торговля меновая — на соль, одежду, сапоги.

На станции Удомля меня встретил Иванов, с ним милостивая блондинка — его жена.

Знакомый мой, его тесть, встретил меня приветливо:

— Вот он, — показал он на Иванова, — вам уж пуд муки достал, масла фунта два, рыбы еще. Озеро у нас рядом.

В небольшом деревянном доме-даче мне Иванов отвел наверху две комнаты.

— Здесь недалеко, — сказал он, — живет художник Архипов, тоже из Москвы, от голоду сбежал.

Хорошо было у агронома на даче. Большой еловый лес и озеро рядом. За обедом — хлеб, уха, жареная баранина.

— Трудно мясо доставать, — говорит мой знакомый агроном. — Вот ей надо мясо, — показал он на дочь, — у нее малокровие. Все похудели, да трудно... Достал вот кусок баранины, так отдал штаны, жилетку. Все уж обменял, вот только на мне и осталось, что этот пиджачишка, а то все проели. За деньги ничего не дают. Правда, ей, — показал он снова на дочь, — достал Егорушка два фунта меду. Выдали. Он старается, жалеет всех, хлопочет, как бы накормить. Он добрый.

В это время хозяина позвали, кто-то пришел. Он вышел из-за стола и вскоре вернулся. Говорит мне:

— Пойдемте.

Я вышел на кухню, там сидел на лавке большого роста крестьянин, уже пожилой. Около него лежал мешок. Увидав меня, он встал и пошел ко мне. Я думал, что он хочет поздороваться, и протянул ему руку, а он оглядел меня с ног до головы — серьезно так оглядел, — взял рукой край моего пиджака, потер между пальцами, пощупал, посмотрел вниз, потрогал штаны и сказал сухо:

— Ножку баранью можно дать...

— Я не продаю и не меняю, — сказал я.

— Эх, — усмехнулся он, — чего!.. Во, когда засосет в брюхе с голоду, — отдашь да в ногах поваляешься... Н-да... «не меняю»... Эх, Господи!..

— Если я отдам тебе, в чем же тогда я-то останусь?

— Эка, в чем одеться? Вы — господа, найдете. Вам-то всегда казна даст, а нам-то вот... соли нет, вот и подай за соли фунт — барана, вот что.

— Меновая торговля, — сказал Иванов, когда вернулись мы за стол. — Деньги совсем скоро упразднятся, все на меновую перейдет.

— Как же нам жить? — спросил я. — Кто же мне за картину что-нибудь даст?

— Что? За картину? — засмеялся знакомый дачник. — Не-ет... Кому нужна картина? Ничего не дадут.

«Вот жизнь начинается», — подумал я. А в окне — сквозь большие ели светит озеро. Вдруг я вспомнил: да я ведь охотник и рыбовод! И сказал агроному:

— Я рыбу ловить умею.

— Да, мне вот Егорушка говорил.

— Здесь у нас в озере судаки есть, — сказала жена Иванова, — только теперь что-то не ловят, не продают рыбаки.

После обеда я пошел на озеро. Было тихо. Далеко на той стороне виднелись на берегу села. И я думал: «Видят ли люди красоту этого дивного озера? Должно быть, нет... По-другому бы шла жизнь...»

Вечером я разбирал захваченные снасти — бечеву, крючки, лески. Ко мне зашел Иванов. Я его поблагодарил, что он увез меня из Москвы, и рассказал ему, что в Москве был у него по адресу, который он мне дал.

— Там у вас дама, открыла мне дверь и показала вашу комнату. Вышло какое-то недоразумение. Карточку видел вашу и супруги вашей — такая красивая брюнетка. Жена ваша, говорила мне дама, ее дочь. Что за странность: ваша жена на самом деле — блондинка и не похожа на ту. Я подумал, что там живет ваш однофамилец, тоже архитектор и тоже Егором зовут...

— Вы были там, да? — как-то мигая, спросил меня Иванов. — Вот что: прошу вас, дайте честное слово, что вы здесь не скажете, что видели в Москве мою жену, выйдет Бог знает что, все пропадут, и мы. Поймите, теперь всюду голод, ко мне все пристаю: достаньте хоть хлеба или что поесть... Я молод — ну, я себе их в жены и записываю. Надо же им есть... Там получишь на одну жену, там на другую... Где материи дадут, где ситцу, — ну, меняешь: сахару фунт достанешь, конины, крупы... Вот эти жены у меня и образовались...

Вдруг он сел, закрыл ладонями лицо и расхохотался.

— Что же, — говорю я, — вы смеетесь... Это ведь печально...

Он умолк, помолчал мгновение и со вздохом сказал:

— Конечно, печально... Но что же делать?.. Надо же им есть!..

На охоте

Июльский день. Рано мы вышли на охоту. Солнце всходило, освещало окраины провинциального города, скромные деревянные домишки, загородки садилов. Мы шли около канала Вышнего Волочка. Я был молод, шел на охоту с другими охотниками старше меня на озеро, называемое «водохранилище», — большое озеро. Оно укреплялось громадными плотинами, построенными еще императором Петром Великим.

Я шел с учителем, кажется, гимназии — охотником и с Дубининым — приятелем моим, который был профессионалом и жил охотой — настреляет дичи и продаст.

Шли в надежде, что спустили озеро, чтобы прошли барки по каналам из Петрограда. Когда спускали воду из водохранилища, тогда озеро мелело и обнажало большие площади дна. На этих площадях образовывалось болото, большие лужи, и на них прилетали утки, гуси, кулики, бекасы, дупеля. Только надо было рано приходить на охоту.

Подойдя к этой пойме болота, мы расходились. Дубинин шел посредине с собакой своей Дианкой — она и пугала дичь. Вылетая, дичь попадала на Дубинина или налетала на нас.

На этой охоте мы были всегда с добычей и настреливали полные ягдташи. И на этот раз посчастливилось настрелять уток чирков, дупелей; я застрелил двух больших вальдшнепов. Место раздольное, но ноги вязли в болоте, места топкие — дно озера, а вдаль синело рябью синей обмелевшее заводское водохранилище.

К полудню наступила жара; мы вышли из болота, подошли к берегу — ровному зеленому луку, где рос сосновый лес. А около стояли стога скошенного сена. Вот у одного стога мы приютились, сняли мокрые сапоги и платье — надо было обсушиться, отдохнуть — устали...

Дубинин набрал хворосту и поодаль развел костер. Весело трещал вспыхнувший можжевельник.

Над костром повесили котелок с водой и бросили в него щепотку чая. Вынули закуски: колбасу копченую, печеные яйца, а учитель — творожники, ветчину, разное такое, и появилась польнная, и налили по рюмочке: «против простуды пользительное», как говорил Дубинин.

— Эх, хорошо жить на свете, охотники — народ некорыстный. У них все важно то, на что другим плевать. Охота для настоящего человека, говорили, — пустяки, а вот нам и мне было так, что она самое нужное в жизни. Помню я себя тогда молодым — мне барышня одна, ну такая конфета, глаза, улыбка, ну, словом, что говорить, сказала: «Приходите в городской сад, где последняя скамейка у забора, где бузина, там никого нет... я буду вас ждать...» А я на охоту ушел — вот что понять надо...

Хорошо у стога, босиком, чай пьем, печеные яйца с солью, черный хлеб, рюмка польнной, копченая колбаса, как деревяшка, но хороша, а в земле, под огнем костра, зарыты утки, очищенные от перьев, с напиханными в нутро солью и перцем, вставлена чесноковина. Такой изготовки утки никто и не ел. Это и в Париже едал ли кто? Вряд ли! Но я уже больше писать не буду про такую кулинарию.

* * *

Отдыхаем у стогов. Перед нами огромная долина. На горизонте виднеется полоска песков, блестит далеко церковка — это Заозерье.

— Вот тоже помню за прошлый год это место. Также стог был. Только что поступил я, кончив семинарию, в гимназию преподавателем истории. Инспектор у нас был, перевели его в прошлом году с повышением в Харьков, кажется, или в Киев. Только вот что: жена у него, Наташа, эх, хорошенькая! Ну, это самое, феноменально, что вышло. Муж-то ее тоже охотник.

Она мне говорит: «Мне бы на охоту пойти, посмотреть», а я ей говорю: «Что ж, приходите; я завтра пойду — приходите часа в три, подожду вас у плотины, сторожка там».

Пришла. Я тоже краем леса иду с ней вот по этому лугу, рябчика застрелил, говорю: «Вот вам, постараюсь еще, что попадет». Ну, у стога и присели, как сейчас, отдохнуть. Нравится она мне. Но у меня в голове дурного ничего нет, этакое, такого. Также чай я развел — у нее бисквиты. Ну, я говорю, то ли, се ли, разное такое. Вдруг вижу: краем леса вдаль он идет — муж идет, инспектор с ружьем. Думаю — как быть? Что он подумает! Она тоже испугалась. Я выдираю сено из стога снизу: «Залезайте под стог-то, я вас закрою». Она залезла — я ее сеном и закрыл. А он уже близко. Увидал меня, здороваётся. «Ну как, что?» — «Плохо», — говорю. Собака с ним. Подошла, понюхала. Сердце у меня прямо оборвалось. «Батюшки мои! — думаю. — Что то будет?...» А он садится. Вынимает бутылочку наливки. «Выпьемте, — говорит, — я-то ведь не пью, так, на охоте рюмочку. Да ведь и смотрят за мной — не выпьешь. Скука такая, сплетни... Помню, в Москве, когда студентом был, — жизнь была. Жил на Сретенке в номеришке, но счастлив был... На Сретенку выйдешь вечером, девушки-белошвейки, хорошенькие, свеженькие. Посмотришь, угостишь цирком за тридцать копеек — твоя. Какое разнообразие!.. Какие красотки!.. Таня была такая. Если б теперь встретил!.. Во сне вижу Таню. А что сейчас за жизнь здесь, в глуши? одно и то же, скука. В гостях бывать надо, ерунда одна. К обедне ходить — надоело... Хотя

удавись... Конечно, и здесь есть, поглядывают, да ведь положение, согласитесь, воспитатель — все глядят... Никакой свободы!» Вдруг инспектор сразу побледнел и говорит мне в волнении: «Скорей, пойдемте, умоляю... Пойдемте». Вскрикивает: «Пойдемте, — говорит, — сейчас же». Я встал и иду с ним от стога. Говорю: «Что вы?» А он, схватив меня за руку, быстро ведет меня по лесу. «Ужасно, — говорит, — идемте...» Я едва могу за ним поспеть. Уж близко город. Я, осмелев, стараюсь узнать, в чем дело. «Труп, — говорит, — понимаете, труп». — «Какой труп?» — спрашиваю. «Зайдемте к вам, я вам скажу». Зашли ко мне. Он, показав мне икону, говорит: «Клянитесь, что будете молчать». — «Клянусь», — говорю, а сам не знаю, в чем дело. «У стога, где мы сидели, — труп. Я видел из-под стога, рука... мертвая... женская, и запах трупа... Молчите, а то попадем в дело. Сознаюсь вам: хорошенькая есть, знаете, Ремизова... Она замуж вышла, а мне авансы делает, а я ее репетитор был, и так меня прижала в саду городском, после танцев, кусты густые, говорит: “Я любила вас всегда, я твоя”, целует... Ну, знаете, я и положение забыл... А муж знает кто... узнают. Я — в сторону, говорю, не здоров, так и этак, а она пуще, любовь. «Отравлюсь, — говорит, — утоплюсь...» Что делать! Не она ли это в стогу! Боже!.. Какой ужас. Рука то знакомая. Ох!.. Клянитесь мне». Я клянусь, думаю, вот история, не знает, что в стогу-то жена, сказать не могу. Вот ведь история какая!..

В спальне квартиры инспектора молодая женщина, Наташа, лежит в постели. Около раздевается инспектор, высокий, худой, тоже ложится. Наташа, глядя на него, говорит: «Виктор, ты знаешь какая неприятность; весь город говорит. Ты слышал?» — «Нет, — отвечает муж, — а что?..» — «Как же, Оленька Ремизова три дня, как пропала. Полиция ищет, родители без ума, муж рыдает, ты не слышал?» Инспектор Виктор упорно молчит. Молчит и притворяется, что заснул. В душе какой-то сумбур. Эта рука трупа в стогу сена. Ольга Ремизова. Как он мог допустить? И вдруг мелькает мысль где-то у него, глубоко: «Пойду, пойду. Пойду к озеру, посмотрю стог. А вдруг там засада и меня схватят? Все равно», — решает инспектор. И встает с постели. «Что с тобой?» — спрашивает жена. «Знаешь, дорогая, милая, охотник я. Не спится. В перелет утиный. Чуть свет. На озере. Хочу, дорогая, для тебя чирка — понимаешь? Раз-раз, настреляю. Ты не сердись. Уж я пойду». Лес. Пробираясь лесом, охотник-инспектор приглядывает кругом, подходит к стогу. Видит, около стога валяется белая кружка. Это его. Он тогда оставил. Когда ушел к учителю. Значит, стог тот. Он быстро нагибается, смотрит под стог и ищет, роет сено под стогом. Ничего нет. Мелькнул беленький кусочек тряпки. Он хватает его. Ищет — ничего. Нет трупа! Нет запаха. Пахнет сеном. Уходит быстро от стога. Лесом пробирается к дороге, в город. Чуть светает. Идет дождь. На окраине города заходит в убогий домик, где живет охотник Дубинин. Стучит к нему в окно. Дубинин засветил лампочку. Радостно встречает охотника. Говорит: «Вот ведь дождь. Ноне охоты не выйдет. Пожалуйте, рад. Сейчас самоварчик подбодрю». Сел инспектор на лавочку, и как-то тепло стало на душе у него в бедном домишке Дубинина. Собака Дианка подошла к нему. Качался маятник часов, на стене портрет какого-то митрополита, на гвозде висит ружье, ягдташ, труба медная, на кухне рядом хлопочет Дубинин, ставит на стол чашки, достал баранки из корзинки, просфору большую, из шкафчика графин, рюмки, ставит на стол. Вынул из кармана инспектор мятую тряпочку и смотрит у лампы. Развернул — видит, пла-

ток, метка. Платок жены! Жуть прошла по душе. Что-то противное, а в стекла бьет дождь. Дубинин наливает ему чай. Как-то кругом все пошло в голове инспектора. Карие глаза Дубинина, как-то все здесь у него хорошо, честно, уютно, а этот платок жены, Ремизова, рука в стогу! Как-то все непонятно, противно. Пив чай из стакана, Дубинин глядел на гостя. Сказал: «Экий дождина льет, это дня на два. Охоты не выйдет. И гляжу я на вас, Виктор Александрович, чего-то скучный вы? Расстроенный. Забота, знать, у вас большая». — «Вот что, — говорит инспектор. — Верно это ты говоришь, забота! Вот что! Платок этот видишь? Это я в стогу нашел. Где сидели у озера, помнишь? Платок моей жены. Как ты думаешь, как он туда попал?» — «Очень просто, — сказал Дубинин. — Это стог сена. Значит, косили у сторожки, где большая плотина. А у сторожки, где всегда народ гуляющий. Пикники там. Много бывает. Вчера, видал, гуляли там — исправник, земский начальник, почтмейстер, Ремизов с женой и ваша супружница была. Да, много народу. Платок этот — потеряли. Ну, и попал в стог сена. Чего же еще?» Инспектор встал и сказал: «Ну ладно. Прощай! Я и забыл, мне по делу нужно». — «Как пойдешь-то в ливень такой? Переждать надо», — говорил Дубинин. Но инспектор ушел. Дождь лил. Он снял фуражку, ему было приятно, на него как из ведра льет дождь. Когда он вернулся домой, то его встретила жена и подала ему большой пакет. Печать: «От попечителя учебного округа».

Он получил повышение по службе за заслуги по воспитанию юношества. Перевод в губернский город.

Семейные недоразумения

Уже сжаты поля. Снопамы ржи завалено гумно. Дымят черные овины. Среди тишины серого осеннего утра слышно, как молотят рожь. Пахнет осенью. Как-то покойно и бодро на душе. В окно, над моховым болотом, за пожелтевшими березами, видна синяя дымка тумана.

Хорошо утро в деревне. Хочется есть. Чай со сливками и деревенские ржаные лепешки на масле. Замечательные лепешки умела делать тетенька Афросинья. Наверху, для красоты, ножом нарезана клетка.

Собаки мои, Феб и Польшрон, оба пойнтеры, отец и сын, — бодрые, веселые, выспались. Вчера на охоте были, на тетеревей. Оба глядят на меня, носы мокрые, холодные.

Пью чай и даю им лепешку. Вдруг они оба отскочили, убежали в дверь на террасу и залаяли у крыльца. Кто-то приехал.

Входит в дождевом длинном пальто доктор Иван Иванович. Он весь какой-то серый. Блондин. Большие баки растопырились врозь. Белые заспанные глаза смотрят несколько растерянно.

— Ну вот, — говорит доктор, — приехал к вам отдохнуть на Покров. От Москвы-то устанешь. Конечно, большой город. Но, сказать правду, рассволочился весь. Хорошо, что к вам на этот раз не приедут эти архаровцы.

— Какие архаровцы? — удивился я. — Вы что-то, Иван Иванович, не в духе?

Доктор снял пальто, положил на стол кулек. Достал из дорожной корзины полотенце и ушел умываться в коридор. Умывшись, вернулся и, вытирая себе физиономию шершавым полотенцем, сказал:

— Да, расстроишься. Расстроишься.

И посмотрел на меня белыми глазами. И, вынув из кармана куртки гребешок, причесываясь перед зеркалом, продолжал:

— Вот этот архитектор Кузнецов и эта жирная скотина Юрий не имеют права говорить, что жена моя — ворона. Да-с, не имеют права. Это слишком.

— Что такое? — удивляюсь я. — Это что ж? Все зря. Должно быть, выпили много.

— Нет, трезвые. В том-то и дело, трезвые. Называют ее, мою жену, вороной! Почему?

Доктор Иван Иванович сел за стол. Я подал ему стакан чаю. Он развернул кулек и вынул из него калачи, выборгские крендели, икру, сардинки, бутылку рябиновой водки, балык. Все клал аккуратно на стол. И подал мне письма.

— Вот это письмо от него, — показал он на верхнее письмо.

И, налив в стакан чаю сливки, пил, забрав в рот выборгский крендель.

Я подошел к окну, читая письмо от Кузнецова.

— Ну, чего он пишет? — спросил доктор. — Приехать, наверное, собирается. Если он только приедет, я к леснику уеду. Уж как хотите, я больше с ним не знаком. Ворона! Это все ж так нельзя. Про женщину, да еще про чужую жену, так говорить.

— Да ведь это все так зря, — успокаиваю я Ивана Ивановича.

— Нет, не зря. А чего он вам пишет про меня?

— Ничего не пишет, — говорю я. — Пишет он с росчерком. Как-то все так пишут, не разберешь сразу. Пишет вот, на Покров приедет, если освободится. Просит, чтобы побросали у кручи на реке, где глубокая яма, пареной ржи, так как хочет ловить там лещей на удочку. Вот дальше не разберешь. Что за слово?

— Дайте-ка мне, — говорит Иван Иванович. — Я знаю его руку.

И, читая письмо, Иван Иванович сказал:

— Вот видите, написано, действительно, скверно. «Ванька поехал к вам». Это про меня. «От, от вороны, от вороны своей. Спат-ся» — спастись. «Вот дура. И-и-нот-товая». Вот видите, что пишет. А, как это вам кажется? Дура енотоя! Это он, архаровец, пишет про жену мою! Но погодите! Дайте мне это письмо. Я ему покажу.

— Ну что, — говорю, — Иван Иванович, ерунда. Не стоит. Вы же знаете, он это ведь так. Вы приятель. Нельзя же всякое лыко в строку.

— Хорошо лыко! Я и говорю его жене, Ольге, говорю ей: «Его ничем не прошибешь. Как он смеет про мою жену так выражаться: ворона!» А она говорит: «Верно, так нельзя. Его, — говорит, — не прошибешь. Комодом вот этим нужно по башке». Комод у ней в комнате, пузатый, красного дерева, старинный. Здоров он. Он от бабушки ей достался. Но только обидно то, что вороной жену мою обозвал не он, а Юрий. Вот что. Но погоди. Пей. Пускай пьет. Водяночку получит. Я-то знаю. Я врач. Обязательно получит водянку. Тогда поговорим.

Покров день. Чудная погода. Соседний лесной берег речки — как дивный цветной ковер. Желтые березы, красные, как рубин, осины. Седые ольхи. Темные зеленые ели. И песок обрыва. Тихо. Все опрокинулось в отражении в зеркальной тихой воде. Синее небо глубоко. На берегу речки сидят мои приятели. Видны на воде веселые поплавки заброшенных удочек. Приятель Василий Сергеевич сидит на бережку и посматривает на поплавки. Рядом с ним на корточках рыболов, мой слуга Василий.

Подле ольхового куста полулежит композитор Юрий Сергеевич. Рядом с ними — на листе газеты калач и нарезанный балык. Он наливает рюмку черничной настойки и пьет, закусывая балыком. На соседнем берегу реки, около песочка, — его враг, доктор Иван Иванович. Тоже удит рыбу. Он ушел от меня, когда приехали Кузнецов и композитор Юрий. Ушел к леснику в дом, за речку. Поссорились друзья. Он с ними не разговаривает. А ловит напротив потому, что со мной не поссорился. И с той стороны речки разговаривает со мной.

Василий Сергеевич насторожился. Смотрит на удочку. Клюет.

— Ишь ты, — говорит он мне, — то положит поплавок, то бросит, уж который раз.

— Погоди, Вася, — говорю я, — это лещ берет.

Он держит руку на удилище, потом сразу дергает, подсекает. Рыба гнет тонкое удилище.

— Подсачек! — вскрикнул Василий Сергеевич.

Василий с берегу подхватывает подсачком большого леща. Лещ лежал на берегу и бился на траве.

— А, попал, голубчик, — говорит он, взяв леща, и сажает в сажалку у берега в воду. — А смотрите-ка, у него глаза белые, вот как у этого клинического врача, — показал он на соседний берег, где сидел доктор. — И морда тоже похожа.

— А ведь действительно, что-то есть общее с Ванькой, — заметил Юрий Сергеевич. — Тоже ленивое, должно быть, животное.

Доктор Иван Иванович слышит эти грубости, но не показывает виду, что слышит. Перекидывает удочку и как-то кротко, обиженно достает из кармана портсигар и закуривает папиросу. Сидя на бережку, говорит мне:

— Вы ведь вот профессор, это самое, по живописи. Ну, художник. Художники кое-чему учились. Ну, и читают все же. Некоторые самообразование имеют. А вот у вас там, в академии, и архитекторов делают. Конечно, разные это науки. Строительные материалы, цемент, камни, бревна, и больше никаких наук. Они оттого сами как-то вроде из бревен выходят. Подрядчики. Рост здоровый. Рожа тоже такая подходящая. Подрядчик.

Приятель, архитектор Василий Сергеевич, слышит и говорит, посматривая на удочки:

— Знаешь, Юрий, мужья есть. Вот говорят: жену люблю. Она у меня такая и эдакая. Я молод был. Зря женился, не знал. Романс такой поют: «рано молодец женился». Болванов-то ведь женят. Они не виноваты. Оказался характер у жены невозможный. Дура попала. Все ругает жену. Пришел с операции, какую-то кишку из живота вырезал, а пациент проснулся рано. Ну, и дернулся, сукин сын. Он не ту ему кишку-то и отрезал. Жена виновата. Расстроила. Застал ее с Борькой Краскиным, в комнате заперлись. Ну что с дуры спрашивать — ворона!

Доктор Иван Иванович на том берегу речки слышит все. Бросил папиросу в воду, делает вид, что не слышит. Хватает удилище и тянет из воды. И говорит мне:

— Сорвалась.

— Нет, — говорит Юрий, — она как-то больше на индюшку смахивает, Вася.

— Это бывает, — вставляет мой слуга, рыболов Василий. — Вот мой хозяин на Москва-реке говорил: он барку с Волги пригнал с солью в Москву. А я рыбу у его с барки ловил. Их, и угостил он меня, выпили, ну, и на жену он мне жалился. Его-то его товарищ женил, ну, значит, с рук спихнуть хотел. Да ведь что, друг-товарищ был.

Он и женился. Ну, и увидел, фрукт какой. И-и, что рассказал! Но выпили мы. Вот-то он ее ругал. Прямо шлюндой. А я ему, его жалеючи, и говорю: «Гони ее, шлюнду, чего тебе от ее еще ждатель?» А он осерчал. Я смотрю, чего это? А он так озлился, рожа, как лопата, серьезная такая. Губы сжал. «Никакого, — говорит, — ты права не имеешь мою жену шлюндой прозывать». Я ему: «Да ведь вы, — говорю, это самое, сами ее шлюндой зовете...» — «Я, — говорит, — муж. Я могу. А тебе нельзя». Вот ведь рассердился до чего. И с барки меня прогнал. Вот ведь...

— Глядите-ка, — крикнул Василий. — Глядите, ишь доктор какую рыбину вытащил. Это голавль, значит.

— Это не голавль, — сказал, услышав, Иван Иванович. — А шереспер.

— Ишь, — говорю я, — молодец Иван Иванович, поздравляю. Его мы сейчас тетеньке Афросинье отдадим, изжарит. Он хорош свежий, вроде как судак.

— А вот и тетенька Афросинья идет, — сказал Василий.

Афросинья подошла к нам, и в руках у нее была депеша со станции.

— Вот, — говорит Афросинья, — сторож Петр со станции принес. Ивану Ивановичу, знать.

— Прочтите, — крикнул мне Иван Иванович с того берега. — Нет, постойте, я сам перейду реку.

Он разделся и полез в воду. Потом выскочил назад на берег, холодна вода.

— Ишь ты, нет, не пойду.

Вернулся на берег и оделся опять.

— Стойте, — сказал Василий Сергеевич. — Я ему ее с камнем переброшу.

Он нашел камень и привязал к камню телеграмму. Развернулся и бросил ее на другой берег. Но камень не долетел с депешей. Она упала в воду и плыла по реке. Доктор опять разделся, быстро бросился в воду и достал телеграмму. Вылез на берег и читал мокрую телеграмму.

— Вот пишет, — сказал он, — «Уезжаю к мамаше на месяц».

— Кто пишет? — спросил я доктора.

— Жена.

И он взял в руки платье и удочки, побежал по реке ниже, перешел вброд и бледный, дрожа, подошел к нам.

— Где, ну-ка, дайте.

И взял у Юрия Сергеевича бутылку, опрокинул в рот. Одеваясь, говорил:

— Ух, холодна вода. Пронеси, Господи.

Он хлопал себя ладошками, согреваясь.

— Уехала. Ну, я рад. Пусть погостит у мамашки. Мамаша тоже что надо. А я здесь побуду. Эх, хорош шереспер. Фунтов ведь на восемь.

Кушная шереспера, приятели мои помирились.

Подкидыш

Москва осенью оживала. В конце августа приезжали москвичи с дач. Сады за заборами меняли зеленый покров, и грустно летели желтые листья на мостовую. В Сущеве обнажился густой сад в доме Сергеева. И ярко за темными липами горели купола церкви Нечаянная Радости... На дворе кучер у каретного желтого сарая мыл

коляску. Скоро приедет из-за границы хозяин, Сергей Петрович Сергеев. Сергеев был человек серьезный, капризный, еще молодой. Небольшого роста, ровно причесанный назад, глаза большие, голубые, одет с иголочки, важный из себя. Прислугу держал в повиновении — что та ни сделает, все не так. Утром проснется, смотрит — сапоги не чищены. Хотя они чищены и блестят — мало. Кричит:

— Егор!

Приходит лакей Егор. Капризно говорит хозяин:

— Ну, что же сапоги... посмотри... Ах, ну!

Егор покорно опять несет сапоги на людскую — чистить. Не угодишь. Привык он уж к хозяину. Сапоги постоят в людской, слышит, барин кричит опять:

— Егор!

Он берет те же сапоги и несет. Хозяин, барин, глядит на сапоги и говорит:

— Ну вот, то-то... — и надевает их.

За чаем нальет сливок в стакан чаю. Кричит:

— Аннушка...

Смотря с упреком на Аннушку, отодвигает от себя молочник со сливками и стакан чаю. Говорит капризно:

— Вот, все так. Смотреть надо.

А Аннушка, как и Егор, привыкла к барину. Унесет молочник на кухню, подержит там и несет опять назад на подносе.

— Ну вот, — говорит хозяин, — смотреть нужно. Вот, право, с вами... все не так.

Приятель заедет, расскажет про друга своего, Михайла Абрамыча, про Сашу Ветерок, про Мишу Ершова, к Омону приехала Фажетт — вот поет! Про часы поет и рукой — так...

Сергей смотрит снисходительно. Улыбается и говорит:

— Не то, не то, дорогой...

— Ну, постой, — убеждает приятель. — Фажетт — это класс. Класс, понимаешь? Тербужинский ей колье одно, другое, а она на скачках с ним, в бенуаре... Понимаешь? Рибоньер с ними...

— Ах... не то, — вздыхал Сергеев и отмахивался, как от надоедливой мухи.

На дворе запряжена коляска. Толстый кучер Игнат держит на вожжах двух вороных. Капризный хозяин выезжает со двора. В воротах стоит дворник Петр. Когда проезжает хозяин, он снимает картуз. Барин, хозяин, проезжая, погрозит ему пальцем, рукой в белой перчатке.

Хозяин на Воздвиженке заедет к доктору. Расскажет, что вчера ел холодную курицу, и вот — отрыжка. Отчего бы это? Выпил немножечко, ну, полстакана белого — и вот...

Доктор глядит язык и что-то прописывает.

Заезжает на Арбат за Варварой Андреевной. Та жалуется ему на головные боли. У Варвары Андреевны в собственном особняке огромная квартира. В зале висит картина Айвазовского — море.

Говорит ему, что Катюша вышла замуж. Ну уж что... А Володя — женился, ни кожа — ни рожа. И нашел уж, ну что... За ней бани в Рогожске взял. Прикидывался святошей, а приданое искал... ну уж что...

Заехал обедать в «Метрополь». Уху стерляжьую заказал. Подали. Сергеев посмотрел в тарелку — бросил ложку. Подбежал метрдотель, Капута.

— Это не стерлядь, — сердился Сергеев, — шип, да, это шип, шип...
— Никак нет, — говорит метрдотель, — стерлядь с Волги. Живую получаем.
— С Волги... ну да, — говорит Сергеев. — На Волге стерлядей уж нет. Шип это вроде... Я не ем.

Бросает деньги и уходит.

Едет к одному приятелю, к другому и рассказывает, как все не то... Шип подают... Ну невозможно... Ах, ну все не так...

Ужинает у Омона с приятелями, с друзьями, в отдельном кабинете. Икра зернистая — кислит.

Фажетт пела в театре — Сергеев слушал, только сказал:

— Н-ну... Ах, вы, право... Я в Париже слушал Дюгамель. Вот это — класс.

Выпив шампанское не той марки, расстроился Сергеев вконец. Дома ложился спать — подушки слишком мягкие, голова тонет. А проснувшись утром — опять сапоги не так вычищены.

Разочарован в жизни домохозяин Сергеев.

Каждое утро по совету доктора Сергеев прогуливался у себя при доме в саду. Сад был большой — заборы, рядом другой сад, при фабрике «Збук».

В это утро он натошак, перед чаем, шагал в саду по дорожке. И отскочил — видит, лежит на дорожке обернутый, перевязанный в одеяльце ребенок. Ребенок, увидав его, смотрит на Сергеева голубыми глазенками. Сергеев наклонился, а тот, улыбаясь, потянул к нему маленькую ручонку. Сергеев быстро, в волнении, вернулся к себе.

Аннушка наливает ему чай. Он отворяет окно и кричит:

— Петр... Петр...

Дворник Петр бежит к хозяину. Тот запальчиво говорит ему:

— Позови... беги в участок... Позови пристава... или околоточного... Ну, живо... Постояй... Тут приходил кто-нибудь без меня в сад? Ты не видал? Не смотришь.

— Да, видал, — отвечает дворник. — Приходила барышня, этакая, небольшого роста.

— Зачем же ты, скотина, посторонних пускаешь, а? как ты смеешь... Пошел вон!

— Да, барин, эта самая... вот она, эта самая... что с вами прошлый год до ворот приезжала... Еще зимой, к Рождеству... Вы ее, помню, ругали у ворот... Не видать было, у фонаря... черненькая такая. Ну, эта самая и приходила гулять. Много раз приходила. Кады вы, барин, год в чужу страну ездили.

Побледнел домовладелец Сергеев.

— Поговори еще, дурак. Марш в участок, ну — живо!

Сергеев, не попив чаю, спустился вниз, где жила его старая нянька. И говорит растерянно:

— Степанида, вот что... В саду мне ребенка подкинули. Он там. Что делать? Степанида, пойди посмотри. Холодно, помрет он, не евши. Что будет? Тогда обвинят нас. Шантаж... Это, должно быть, кто-нибудь от соседей. Знают, что я в саду поутру гуляю, и вот... Ты не бери его. Я за полицией послал. Не говори никому. Ведь это срам на всю Москву.

Степанида перекрестилась, сказав:

— Благодать Божия. Сережа, благодать тебе. Это счастье — благодать.

— Эх, дура... благодать.

И Сергеев опять вернулся к себе, в ужасе. Растерянный, смотрел в окно. И видит, как старая нянька несет из сада на двор ребенка. Улыбается и целует его.

— Вот дура, — волнуется Сергеев. — Что за народ, о Господи... Зачем я ее, дурак, послал. Ах, я лошадь... вот-то что... Дура такая...

Кучер, толстый Игнат, остановился на дворе с нянькой. И его серые глаза улыбаются. Он двумя пальцами щекочет ребенка и, смеясь, говорит:

— Идет коза рогатая... забодаю, забодаю тебя...

Ребенок с васильковыми глазами смеется.

— Вот идиоты... — сердится Сергеев. — Что это?.. Ведь погубят меня... срам... срам на всю Москву. Куда бежать от такого народа? О Господи, вот беда пришла.

— Да ты зачем его принесла, — кричит Сергеев на няньку. — За каким чертом... Я тебе посмотреть велел, а ты тащишь, чертова кукла. Что я буду с ним делать? Отправлю. Сейчас пристав придет. Уходи, уходи... — гонит он старуху-няньку.

— Чего будет... ничего не будет... — отвечает нянька. — Погляди, Сереженька, мальчик какой. Ну, ребеночек веселый, благодать Божия. Как ты махонький был... ну вот прямо вылитый...

— Вон... вон, дура!.. Ах, какая дура!.. Вон!.. — кричит Сергеев. — Ну и народ, Господи. Что же я буду?..

Нянька не уходит. Вошел пристав.

— С приездом вас, Сергей Петрович. Как проветриться изволили по загранице?

— Знаете... вот послушайте... Сегодня иду я в саду, утром... и вот... у меня... в саду... И вот, подкинули... Вижу, ребенок на дорожке лежит. Согласитесь... вот он, — показал он на няньку с мальчиком.

— Да, — говорит пристав, — дело такое бывает. Конечно, надеются — холостой, мол, человек, со средствами. Ну, то-сё... Может, и подберет, думают.

— Благодарю вас. «Подберет»... — волнуется Сергеев. — Нет уж, увольте. Сами понимаете. Да и зачем мне? Это, знаете, их намерение, потакать не согласен.

— Не извольте беспокоиться, Сергей Петрович. Неприятность. Это дело короткое. Сейчас же отправлю его в воспитательный дом.

Сергеев взглянул на свою няньку и ребенка. Тот смотрит пристально на пристава бирюзовыми глазами — и заплакал.

Больно что-то кольнуло Сергеева в сердце. Как-то глубоко и больно, чего он раньше никогда не испытывал.

— Позовите дворника, Сергей Петрович, и пусть возьмет мальчишку в участок. Я его сегодня же отправлю.

— Нет, нет, — сказала, заплакав, нянька Степанида. — Нет, нипочем. Не дам. Мой он. Не отдам... Благодать Божия... Нипочем не отдам.

Пристав смотрел на няньку и поправил пальцем бровые усы, сказав:

— Во как...

Нянька сказала:

— Помру я — возьмете, а так не отдам... — и, волнуясь, прижала к себе мальчишку.

В это время из одеяльца, в котором был завернут ребенок, выпало на пол письмо. Пристав подхватил письмо с полу, разорвал конверт и прочел: «Имя — Сергей. Крещен в приходе Нечаянная Радости 26 июня 1899 года, в Москве».

Опять глубоко кольнуло в сердце домовладельца при слове «Сергей».

— Дело такое, — отвел его в сторону пристав. — Никак не возможно мне его взять теперь. Старуха не дает. Насильно взять не могу. Уголовщина. Старуха-то характерная. Вы тут ни при чем. Кому подкинули — не указано. Что вам волноваться-то. Все дело чисто.

— Старуха, — обратился пристав к няньке, — конечно, тебе ребенок радость, а им, — указал он на Сергеева, — никак. Скажи-ка, на какие вши ты будешь его воспитывать, если тебе господин Сергеев ничего не даст?

— Ничего не дам, — сказал сердито ободренный начальником Сергеев.

— Дашь, — сказала твердо нянька, — дашь. Он ведь — это ты. Погляди, я тебя такого взяла у родителей, нянчила. Ты это. Это твое дитя.

Сергеев, побледнев, закричал:

— Дура... дура... Скажите, что делать? Это что ж такое...

— Пустяки, — успокаивал Сергеева пристав. — Я видал. Это все пустяки сущие. Охота вам себя беспокоить.

И, взяв Сергеева под руку, отвел его к окну.

— Можете дать пятерку в месяц, — сказал пристав.

— Пятерку, — повторил обрадованно Сергеев. — Двадцать пять могу.

— Ну и вот. Вздор. Не извольте расстраиваться. Слух пойдет — не бойтесь. Ну какой там слух? Скажут — хороший человек. Пустяки. То ли бывает? Ну, доброго здоровья.

И пристав, проходя мимо няньки, посмотрел на ребенка, сказал: «Сережка... Тюлю-лю-лю-лю...» — и, засмеявшись, вышел.

Нянька вышла за ним, унося ребенка.

Сергеев остался один и ходил по комнате молча. Подошел к столу, налил себе стакан чаю. Пил, глядя в пространство. Взял калач. Вдруг подумал: «А ест этот маленький Сережка калач?...»

Взял калач, обмакнул в чай и вышел из комнаты. Спустился вниз к няньке. Подошел к Сереежке и, сказав: «Тю-ли, тю-ли, тю-ли...», поднес ему калач. Подкидыш открыл рот.

— Пстой, Сережа, — сказала нянька. — Эх, чего ты, младенца подавишь. Уйди... уйди...

Домохозяин Сергеев вернулся к себе, подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Смотря в зеркало, говорит:

— Ах ты сволочь... сволочь... Сукин ты сын... стерва... С кем ты борешься... с детей... Сукин сын... Сладил... Хорошо, что нянька... — и плюнул на свое отражение в зеркало.

В тот же вечер подкидыш и нянька поместились рядом со спальней Сергеева, и Сергеев, проснувшись ночью, пошел к няньке на цыпочках, смотреть, как спит подкидыш.

А утром за чаем держал его на коленях у себя. И тот, смеясь, играл его цепочкой от часов.

Каждое утро Сергеев брал мальчишку на руки, подходил к окну и смотрел на церковь Нечаянной Радости, крестился и шептал. Подкидыш, глядя на него, тоже водил по лбу ручонкой.

Русский был человек домохозяин Сергеев.

Любовное недоразумение

На краю Парижа, у площади и прежней заставы под названием Порт Сен-Клу, созданы прекрасные и оригинальный фонтаны. В окружающих площадь зданиях Парижа расцвели изящные кафе и магазины. Вечером эти фонтаны, каскады бегущей обильно воды, освещаются электричеством; окруженные сочной зеленью деревьев, они создают фантастический вид и оживляют площадь. Кафе наполняются к вечеру публикой, фонтаны веселят зрение.

За столиком террасы кафе, под цветным широким зонтиком, сидят двое: один толстый, мордастый серьезный человек, а другой худой и грустный — оба русские — москвичи. Один — бывший домовладелец и помещик из купцов — Бабенский, а другой — бывший помощник присяжного поверенного — Петушков.

— Да, — говорит помещик Бабенский, — вот фонтаны. Фонтаны хороши. Ишь, сколько народу понабилось, глядят. А чего? Хорошо, конечно, вода струится, и будто дальше глухой лес идет. А он не лес. Все позастроено там. Это так кажется, в ночи. А днем не то. Кажется, будто там что есть, заманивает. А там все то же: квартиры, бистро, тоже все платить... Кажется, будто там она, такая живет — эдакая, настоящая, тебя ждет: приди к нам, витязь молодой, укройся в терем наш отрадный... Да... мечтаешь, а этого самого-то и нет. Того, что у нас было. У меня тоже... эх, и лес был, у Тарусы. Из Москвы поедешь, ну, за пятнадцать минут в машине, — и попал, как в рай. Дачи, дачницы были — ведь что за дачницы... В голове у каждого надежда была на любовь. Жизнь была. А потом все — толчея вышла. Ух, что началось... Ужас. Овдовел, жену потерял в Батуме: тиф и у ней, и у меня. Не видал и не знаю, когда ее и схоронили. Я хотя и толстоват, — сказал он, вздохнув, — но в годах еще таких, когда внутрь души женщина лезет. Прямо втыкается... Вот ведь что — не проживешь без них. А распутство это разное мне не по душе. Ищу вот уж сколько времени — нет ничего. Конечно, я не красавец какой. А все же — жить-то одному тяжело.

— Как же это? — удивляется Петушков. — В Париже-то женщины не найти... Да что вы, Алексей Иванович? Чудно что-то... Тут столько женщин, каких только нет. И русских сколько. Я удивляюсь, что это вы говорите? У вас все же и средства еще есть.

— Небольшие средства, — ответил помещик. — Берегу, проедаю понемножку. Скажу вам откровенно из приязни к вам: ищу женщину, вот именно русскую... Все-таки душу родную хочется найти. Знакомился... Ничего, как-то не подходит... Поговорить, она сразу говорит мне с полслова: «Полгода, — говорит, — за квартиру не плачено...» Деньги, все про деньги говорит. А одна мне сказала: «Вы, — говорит, — кажется, меня хотите от церкви отнять...» Что такое, думаю, я и не понял вовсе. А другая: «Вы, — говорит, — меня от танцев отваживать хотите...» А у ней свой танцор. Вот что тут поделаешь? А деньги давай. Я не прочь деньги, только за дело. А то — танцор, давай и ему. Это что ж такое, подумайте.

— Да... — соглашается приятель Петушков и, задумавшись, говорит: — Безобразие. Невозможно.

— Прежде, скажу вам, дорогой, было проще. Я помню, у нас там, в Москве: познакомиться, и все ладно выходит. Жена, дети — что надо. А теперь ужас — все не то. Вот я вам скажу, со мной что выходит. Прочел это я в газетке объявление, изволите ли видеть, такое: написано: «Энергичная молодая особа, приятного сложе-

ния, ищет друга, могущего противостоять ударам судьбы на жизненном пути». Согласитесь, объявление вполне приличное и разумное, заставляет задуматься. Я и подумал: дай попытаю. Но, скажу правду вам, сам один взять на себя не решился, боялся. У меня есть друзья, я к ним: так-то и так-то, хочу попытаться, сам не решаюсь. Вот, говорю, надо посмотреть, поехать, узнать, в чем дело, — кто и что, какая из себя, воспитание какое, кто была раньше, русская ли.

Ну, друзья с удовольствием берутся. Все, говорят, для тебя узнаем. Надо расходы, конечно. Деньги опять-таки. Ну, сто франков я для начала дела даю. Деньги, конечно, небольшие. Ну, значит, назначено свидание им в кафе. Письменные переговоры вели, писали много. Назначено в кафе. Я как посторонний в кафе нахожусь, час-другой жду. Сажу, газету читаю, в газете дырку провернул, чтоб глядеть. Вижу — идут. Она впереди, приятели мои за ней. Она высокая, стройная, фигура... прямо вот статуя. С лица так несколько длинновата, губы покрашены, брови выщипаны до отказа, ногти, конечно, крашенные.

Сели они за столик, она кричит: «Гарсон!» Смотрю, гарсон несет сэндвичи и бутылку кальвадоса. Она рюмку, другую, третью, четвертую. Приятели не отстают. Пива — она «деми», а приятели — «кар». Вот, думаю... Она, смотрю, руками так и эдак водит, что-то кричит, спорит. Все встают. Ко мне подходит один — приятель, значит, и говорит:

— Подожди здесь, скоро приедем, дай двести на завтрак, а то неловко — женщина светская, хорошей семьи. Подожди здесь. У ней в Полинезии канарейки вывозятся, только управляющий мошенник. Она и ищет эдакого, чтоб сладить с ним мог.

Смотрю из кафе и вижу: они в автомобиль сели, поехали завтракать. Так я их и не дождался.

Утром на другой день ко мне пришли оба. Что такое: у одного глаз перевязан, у другого по переносице царапина. И оба молчат. Я вижу, что-то не совсем ладно. Спрашиваю их:

— Ну что?

— Да вот, — говорят, — женщина ничего себе, только, верно, не в меру энергична и пьет. И фамилия вроде как нерусская: Фыр-Пец-Гольт...

— Да, пьет как пожарный, — говорит другой, — и притом очень на руки вольна...

— Только для тебя все переносили, — говорят друзья. — Хотели испытать, верна ли будет тебе. Ну, она и разошлась... рукой... Вот мне у глаза, а ему на носу, заметь — царапина. Ну, видим, что не подходит. Фамилия тоже, как-то нерусская...

Ну, я вижу тоже, что неподходящая. Они со мной согласны. Говорят: «Сразу не сыскать». А я-то думаю, что им бы не пить, а то не выходит.

— Вот я и надумал к вам обратиться, — говорит помещик Петушкову. — Вы не пьете, и законы вам известны. Вот еще я объявление нашел, такое подходящее, пишет так...

Он достал из кармана вырезку из газеты и читает:

«Хорошенькая, чуткая и одинокая душа ищет спутника, могущего поддержать ее. Вместе побредем...» Это заставило меня опять задуматься, — говорит помещик-москвич. — Написано хорошо, за сердце берет. Кто знает, может, и правда? Вместе побредем... Неплохо ведь, согласитесь.

— Да... — согласился Петушков, — одинокая душа — это глубоко и даже поэтично. Та энергичная женщина что-то фронтом отдает, революцией. А уж нам эти революции надоели вот до чего...

— Это верно, — согласился помещик. — Вот у меня и явилась мысль к вам обратиться, дорогой. Попытайте узнать, как что, кто она и как вообще... А то как-то сам стесняюсь сразу. Да и толст... А вы худой... Ну, а потом, когда вы узнаете, кто она, ну, и меня представите. Вы-то ведь женатый, серьезный человек.

— Да... — соглашается Петушков, — у меня женщина замечательная. Она в Реймсе осталась теперь, а я искать дела приехал сюда. Так она мне прислала пятьдесят франков. Ну, вспомнила, в первый раз я от женщины деньги взял. Она пишет мне так нежно: «Купи себе носки». Понимаете, какая. Она скучает. Вот любит меня, только не может сюда приехать, там квартиру оставить не на кого. Да и я тут ючусь в комнатухе.

— Ну, вот так... — предлагает помещик, — сто франков вам на расходы.

Ну и дал, значит, ему. Петушков распрощался с помещиком, вернулся в гостиницу, сто франков. Заплатил в счет за квартиру шестьдесят франков, сел за столик и сочинял письмо «одинокой душе», назначил ей свидание днем в соседнем синема, написал, что «буду ждать у подъезда, узнаете меня — буду держать в руках серую шляпу».

Дождивается Петушков у подъезда синема, в руках держит шляпу. Не идет что-то. Вдруг подходят две: одна — сама «одинокая душа» небольшого роста, прехорошенькая брюнеточка. За ней другая. Батюшки! Знакомая москвичка — Игоркина. Прямо к Петушкову и говорит, смеясь:

— Вот вы чем занимаетесь...

А Петушков ей:

— Позвольте... а вы тоже чем занимаетесь?..

Зовет в синема. Ну, сидят в синема, то-сё, разговоры...

— Поедемте, — говорит Игоркина, — завтракать.

Петушков думает: «У меня всего двадцать пять франков осталось».

— Извините, — говорит, — в два часа я должен по делу быть — американец ко мне приедет. Пойдемте куда в кафе.

В кафе «одинокая душа» гарсону велит подать ей папиросы «Визирь». «Батюшки! — думает Петушков. — Десять франков...» Но видит — «одинокая душа» так на него любезно смотрит, улыбается, зубки у ней такие белые, ротик маленький, хорошенькая, веселая, и так заговорились. Когда пошли из кафе, ему знакомая Игоркина и говорит:

— Вы ей понравились...

— Почему вы думаете? — спросил Петушков.

— Я-то, — говорит, — женщина, я все вижу. Нечего. Понравились. А сколько вы можете, — спрашивает, — дать ей в неделю?

У Петушкова в голове закружилось. «Хороша, — думает, — баба, — сразу так мгновенно прошло сквозь всего чувство. — Зачем, — думает, — я буду ее ему уступать, тому, толстому помещику?» И сказал Игоркиной:

— Я куда без дела здесь, дам ей франков пятьдесят в неделю.

А Игоркина ему закричала:

— Да вы с ума сошли! А еще письма пишете, свидания назначаете, заставляете время зря терять. А еще москвич. Постыдитесь...

Петушков прямо ошалел.

— Позвольте, — говорит, — мадам Игоркина. — Да что вы? Разве у нас в Москве могли быть такие вопросы? Вы, — говорит, — потонули в материализме...

А она ему:

— Ах, вы не стройте, пожалуйста, из себя наивного. Вы ищете чуткую, нежную одинокую душу без копейки. Ну так прощайте, поищите дуру.

И обе они ушли...

Петушков рассказал этот пассаж своему приятелю, Исаку Яковлевичу.

— Скажите, — говорит он ему, — как жить в такую эпоху, когда всякая мораль потеряна?

Приятель Исак Яковлевич грустно с ним согласился и сказал:

— Какую же вы себе так-таки хотите мораль за пятьдесят франков в неделю? Этого таки да, невозможно...

Женщины

Проснулся рано. Как грустно осеннее утро! Нависли темные тучи, дождь. Белая узкая полоска видна за сараем над темным лесом. Дальше — синяя грязная дорога.

А есть красота и в созерцании даже унылого времени.

Еще спят мои приятели-охотники. Я вышел на крыльцо. Осыпаются листья клена на террасу и крыльцо моего дома. В осенней поре есть особое настроение, рождающее святую печаль. Утренний осенний холод как-то бодрит.

У чулана стоят кадушки, бочка. Около навалены кочаны капусты. Проходя в кухню, вижу в банках маринованные грибы — подосиновики. Они красные, их и зовут так: красноголовики. Достал вилкой гриб и съел. Как вкусно! Слышу, по лестнице из светелки сверху идет мой племянник и тихо поет:

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус...

Племянник мой — студент университета, юридического факультета. Очень умный. Больше всего любит спорить. У него все, что ни скажи, — не так. Был влюблен в актрису, Раису Павловну, чуть университет не бросил, сделался режиссером-новатором, но разочаровался в Раисе Павловне по случаю того, что она устроила ему неожиданный сюрприз: ехали из Крыма, в вагоне только что познакомились с коммивояжером, а в Ростове Раиса Павловна с ним сошла с поезда и уехала неизвестно куда... Племянник остался в вагоне один.

Племянник мой спустился сверху и умывался. Лицо у него вдумчивое, губы красные как-то выпячиваются, а после того как Раиса Павловна уехала, в глазах у него как бы застыл упрек — выражение несколько собачье.

— Ну что, Володя, как спал? — спрашиваю я. — Сегодня погода-то какая скучная, дождь идет. Попробуй-ка вот красноголовиков маринованных.

Володя достает из банки вилкой гриб и ест.

— Ну что, сегодня видел во сне Раису Павловну?

— Нет, не видал, — отвечает медленно Володя. — Я думаю, дядя, что она встретила в вагоне тогда своего Ромео. Это может случиться с женщиной.

— Ну какой там Ромео! Просто увидела, что у него деньги есть, а у тебя мало.

— Как вы, дядя, так просто на все смотрите. Это невозможно. Она говорила, что в меня влюблена, часто говорила.

— Ну, говорила... Говорят все, а ты и веришь.

— Как это вы, дядя, говорите! Конечно, верю. Ведь это видно, когда влюблена, признаки ведь есть.

— Какие же это признаки?

— Ну вот, право... как вы странно все... Ясные признаки.

— Ясные? А какие же это ясные?

— Ну как же... разные признаки бывают...

— Это верно, — заметил стоявший в дверях мой приятель Коля Курин, вытирая себе лицо полотенцем. — Когда влюблена, то всегда ноздри раздуваются.

— Да... это бывает, — соглашается племянник. — Бывает и еще: руки вытягивает, и так — вроде как будто падает — опускает глаза и долго смотрит вниз.

— Это верно, — согласился Коля Курин. — И еще: опустит глаза и скажет: «Вы ничего не понимаете...» Это уж, брат, верный признак — значит, влюблена.

— Нет, — оспаривает племянник. — Скажет: «Вы меня только один понимаете».

— Нет, — не соглашается Коля Курин, — всегда больше говорят: «Вы не понимаете меня». А черт ее поймет — понять невозможно. Да, брат. Я уж сколько видел их, уж я, брат, знаю все их штучки. Но понять, ах, не поймешь ничем, очень трудно. Так это сотворено: понять невозможно...

Все приятели мои уже проснулись и собрались в большой комнате, где приготовлен чай. Утро такое грустное. В окно виден осенний сад в тумане дождя. Завтра Покров, праздник, — приятели собираются на охоту. Говорят: тетерева скучились и сидят на верхушках деревьев в лесу, зайцы ждут снега, уж белеют. Мой ручной заяц грызет кочерыжки от капусты, целый день грызет. Потолстел ужасно.

За утренним чаем спросили охотника Караулова, может ли он узнать, влюблена женщина или нет.

— Не знаю, — отвечает Караулов. — Я женился так, как-то сразу. Не знаю, была она влюблена в меня или нет. Только после свадьбы на всех моих знакомых глаза пялила. Ну, и нашла одного, помню, тоже осенью. Ну, и ах — к нему перебежала. А я, по правде сказать, рад был: на охоту уехал. Получил от нее письмо, посмотрел на него, да так и не прочитал. «Зачем, — думаю, — не стоит...»

— Вот это все у вас неверно, — сказал мой приятель, архитектор Вася, сидя с краю стола и набивая патроны для ружья. — Все неверно. Моя Ольга всегда при деле, и к ней все такие разные пошлости не пристают. Вот я уехал на охоту, она справляется: правда ли, что я на охоту уехал? Все узнает. Я ей сказал, что если она что-нибудь такое-эдакое затеет, то у меня на случай три обновочки готовы: одна брюнетка и две блондинки. Такой Лизок есть — красotka! Ну и Лизок! Так вот этот Лизок ей, Ольге моей, так в голову засел — только о ней и думает, за каждым шагом ее следит, при деле всегда. Это надо понять, а то бы тоже ушла, без дела-то. Я знал одного музыканта, он скрипач — страдивариус у него, концерты дает. В жену влюблен. Дома сидит в ногах у своей жены, все руку ее держит. Посмотрит на жену кверху и целует руку. Потом сыграет. Влюблен в жену ужасно. А ей скука, надоед. Та из магазина придет домой, он ее музыкой встречает. Ученик его мне жаловался: «Как быть? Лезет, — говорит, — она ко мне, а мне неловко, подумайте — профессор мой, муж-то ее». А я и говорю ему, ученику-то: «Вот что сделай: дай телеграмму своему профессору: “Сгораю от ваших вариаций. Жду эту среду в Петровском парке. Белая Роза”».

— Ну, и что же? — спросили приятели.

— А то, что она в парке была с утра, «белую розу» искала. Встретила ученика, спрашивает: «Вы не знаете — кто эта “белая роза”?» А тот-то ей: «Знаю», — говорит. «Покажите ее мне», — просит она ученика. «Да она была здесь, да уехала...» Она — искать мужа, его нет нигде. К вечеру приехал домой. Была сцена. А он клянется, божится, говорит жене: «Я не знаю никакой Розы, ты моя “белая роза”, единственная» — и руки целует. Ну, все и испортил.

— Женщин понять невозможно, — сказал задумчиво Коля Курин. — У меня нынешним летом тоже вот история какая вышла... Жара летом в Москве, ужас какая жара. И поехал я купаться в Кунцево, на Москва-реку. Пришел в купальню рано, никого. Ну, я разделся, влез в воду. Хорошо. Чудо какое купанье. Вижу я — в купальню входит такой здоровый человек, толстый, в шляпе соломенной. Смотрит на меня пристально и говорит: «Э-э... вот ты где...» Я ему отвечаю: «Я не имею удовольствия вас знать». — «Не имеешь удовольствия? — говорит. — Так узнаешь, погоди...»

Я думаю: «Что такое?»

— Это ты, — говорит, — вчера вечером с моей женой в лодке катался?

— Позвольте, — говорю я ему, — я не имею удовольствия знать вашу супругу и приехал сюда купаться сегодня утром.

— Врешь, — говорит, — я ведь видел... это ты катался с женой. Твою рожу я запомнил...

Я думаю: «Что за черт!»

— Вы ошибаетесь, — говорю я ему, — и не имеете права мне «ты» говорить. Потрудитесь оставить меня в покое, я купаюсь и не желаю с вами разговаривать.

— Купайся, купайся... — говорит толстяк, — но в лодке больше с моей женой не покатаешься. Будя!

Он собрал мое платье, живо свернул, взял под мышку и вышел из купальни.

Я выскочил за ним. Вижу, он в гору, в парк поднимается, по дорожке. Я хотел к нему броситься... Идут дачники, дамы, кавалеры... Я голый. Думаю: «Что делать?» Вернулся в купальню и кричу изо всех сил: «Сторож, сторож!» Пришел лодочник-сторож, он билеты на купальню продает. Я ему говорю, что приходил какой-то человек, схватил мое платье и унес.

— Что вы, барин! Это приходил Веревкин. Он нешто возьмет. Он миллионщик...

— Мне все равно, — говорю я ему, — он все мое платье взял. Он сумасшедший, что ли?

— Ну что вы, барин!.. Он шутит.

— То есть как — шутит? Как же я теперь?.. Узнай у него, как же я, голый, куда я пойду? Ведь это возмутительно! Безобразие!

— Это верно, — говорит сторож. — А только он шутит, он вас, знать, знает. Я попробую, пойду спрошу у его, он здесь, вот, в парке, дача-то их.

Сижу в купальне, дожидаясь сторожа. В купальню пришли четверо дачников купаться, один студент. Я говорю им:

— Вот какая штука со мной случилась...

А им смешно. Один мне предлагает свой купальный халат. Я обрадовался, надел халат и пошел в парк. Нашел дачу Веревкина. У него там и сторож-лодочник. Веревкин обрадовался мне и говорит:

— Войдите, — говорит, — в мое положение. Жена у меня целый день на лодке катается, и черт ее знает с кем. Простите, я думал, что это вы с ней катались вчера, я

ошибся... Что делать, невозможно ее отучить, и средства никакого нет против катанья. Из Москвы, из конторы приеду после дела — жены нет дома. Где? На лодке катается. Ночью, вот когда месяц, — всю ночь на лодке... Обращался к докторам, профессорам, полиции, к монахам — никакого средства нет... Не могут средства найти. Только и видишь жизнь зимой, когда река замерзнет — дома сидит...

— Вот когда сюда я ехал, то Веревкина встретил на вокзале. Он обрадовался, увидев меня.

— Ну как, — я спрашиваю его, — ваша супруга?

— Прошло, — говорит. — Бросила катанье на лодке. Но теперь еще хуже... Новое: целый день книжки читает и молчит. Что делать? Никакого средства нет. Жду, когда пройдет...

Водяница

Осень. Октябрь. Проснулся рано. Вижу в окно, как стаи ворон летят у грязной дороги. Моросит дождик. Уныло над дальними лесами. Розовеет утренняя заря. Тоскливо и одиноко на душе. Надо рамы вставлять: уже прохладно. С вечера сторож дома моего, дедушка, принес хворосту и положил у камина. Зябнется. Беру пачку хвороста и кладу в камин; зажигаю. Ветки можжевельника быстро охватил огонь — весело трещит горящая можжуха. Потянуло дымом и теплом. Одеваюсь у камина. Иду в кухню — никого нет. Сидит в углу мой ручной заяц и держит в лапах кочерыжку. Поднял уши — будто живая игрушка. «Ты что, — говорю я ему, — все жрешь? Вот лопнешь! Ишь, толстый! Куда дедушка ушел?» Заяц при слове «дедушка» поднялся и повел ушами, глядя в сторону. У печки стоит самовар, труба. Снял трубу, смотрю — самовар потух. Иду в соседнюю комнату. Мой слуга — Ленька — спит, закутавшись в одеяло с головой, спит в сапогах, не раздевшись: холодно! На стене висит гитара; в полузавешенное окно видны лужи на дороге и желтые опавшие листья клена. На столе записка. Написано: «На память», потом: «Не забыть: мыло, керосину, зайти к Яшкову». А дальше:

С тобою «быть или не быть» —

Вопросом стало: жить или не жить.

Леньку не бужу: пусть спит. Возвращаюсь на кухню, вижу — пришла тетка Афросинья. Сапогом раздувает самовар. Увидав меня, говорит:

— Ишь, в каку рань поднялся!

— Не спится что-то, тетушка Афросинья, — говорю я ей, — рано лег вчера.

— А чего делать: дождь и дождь! Дорога расплзлась. Вчера Горохов Илья шел вечер от моста в горку: никак! Склизко. Ноги расплзаются: пойдет в гору, ан назад сползет, к мосту. Батранов-то с краю живет, так услышал: у моста «караул» кто-то непутем орет, чисто режут. Горохов орет. Батранов его наверх насилу выволок.

— Наверно, пьян был, — говорю я.

— Нет, — отвечает Афросинья. — Вестимо выпивши, но не шибко. Склизко больно: от дождя распустилось.

Ленька встал и принес самовар; зевая, поставил на стол в моей комнате.

— Что, — говорю, — Ленька, все дождь идет?

— Да чего ж: теперь и охоты нет никакой! Вот надо за керосином идтить — керосину нет. А как пойдешь?

— А у тебя там в записке написано, я прочел: «С тобою “быть или не быть” — вопросом стало...» К чему это?

— Это мне Шурка-телеграфист написал, — говорит Ленька. — Он здорово на гитаре играет.

— Ты тоже на гитаре закатываешь.

— Он мне показывает. Вот у него выучил:

Ах, вы, Сашки-канашки мои,
Разменяйте вы бумажки мои.
А бумажки-то новенькие,
Двадцатипятирублевенькие...

— А вот припев, — говорит Ленька:

Ах, ты, чудо-перечудо,
Чудо — родина моя...

— Да, ловко, — соглашаюсь я. — А скажи: какие это «Сашки-канашки»? Кто такие? Девки?

— Нет, — отвечает Ленька. — Разные такие барышни. Красивые.

— Ты видал таких?

— Еще бы! Их много. Только сразу не узнаешь. Они такие, сначала не подойдешь — строгие. Так глядят — сказать ничего нельзя. А потом ничего, обойдутся.

— Так это — «Сашки-канашки»?

— Да ведь что! Конечно, при вас они не станут. А вот Шурка говорит: «Хорошенькие — они все канашки. Только притворяются серьезными».

— Ну, Ленька, что-то ты забираешься. Ты же молодой человек, так про всех — нельзя же. Вот ты жениться будешь — что ж, «канашку» выберешь?

— Да, а что? — удивился Ленька.

— Постой, у тебя ведь две сестры. Что же они, разве «канашки»?

— Младшая-то, Анка, ух ты! Вот она пляшет: в театрах насмотрелась. Деньги любит до чего. Она умная: у ней деньги есть. Она копит. А старшая меня ругает. «Отчего, — говорит, — ты в приказчики не идешь? Человеком бы вышел, а то что?» Она-то не «канашка»; она — некрасивая...

— Ну как же, Ленька! Ты же видел жену доктора, учителя жену, соседа инспектора? Мать же твоя не была «канашка»?!

— Да чего ж... — медленно отвечает Ленька, — те детные, совсем другие...

— Ну ладно, — говорю я. — Как же у нас керосину-то нет?

— Да вот, дождик пройдет, я схожу поближе, к Глускову. У него займу. Ваши старые сапоги надену, а то у меня козловые — новые, их жалко.

Вижу в окно: Ленька взял мой большой зонтик, вышел на крыльцо, остановился, посмотрел вверх и сердито что-то крикнул.

Вдруг я вспомнил Крым... Там внизу, у моего дома, была татарская кофейня у самого моря. Там всегда «околачивался» околоточный Романков. Когда волна с шу-

мом ударяла о берег, Романков кричал: «Молчать!» Я ему и сказал: «Не слушается волна-то, дура». Он сморщил брови, сердито посмотрел на меня и ушел из кофейни.

Уже смерклось. А дождь все бьет по стеклам окна. На столе горит лампа. У тахты растянулась моя собака — пойнтер Польшон. Спит. Слышу: на кухню кто-то пришел. Входит Ленька и говорит:

— Константин-рыбак пришел. Рыбу принес. Может, говорит, возьмете.

Обрадовался я рыбаку Константину.

— Зови его сюда, — говорю Леньке.

Константин-рыбак — низенького роста, лохматый, сгорбленный старик. Вошел, в корзинке у него рыба. Налимы и лини.

— Сейчас из яза достал, — говорит Константин. — Промок больно. Вот рыбе-то все одно: в воде живет, а вот дождь садит, беда.

— Садись, Константин, чай пить. Я тебе рюмку согреться сейчас.

Рыбак снял кацавейку.

— Что ж, — говорю я, — у тебя ноги-то мокрые, лапти. Снимай их, погрей вот у печки.

— Э-э, чего, — отвечает рыбак, — дело привычное. Я завсегда — при воде. Вот и лед когда идет, бывает, упадешь в воду — их, холодно! Ничего. Выпьешь это самое, полезно. Бог милует, не хворал никады.

Налил я ему чаю с коньяком. Говорю:

— Один ведь ты живешь, Константин, в избушке?

— Да, один. Видал ведь ты мою лачугу. Окно одно. Печка. Ну, тепло. Хорошо живу один. Ну, и поговоришь сам с собой. То это вспомнишь, что сделал, — спросишь себя. Ну и поругаешь — а то и похвалишь. Я хорошо живу: балую себя. Рыбки продашь — деньги. Ну, и купишь то-сё... Чай, в посту завсегда сахар постный у меня. Пеклеваный. Баранки. Соленая рыбка. Я своей-то ловли не ем. Колбаска, ситный. Свинина. Готовлю себе сам. Все справлю. На стол скатерть чистую кладу. Ну, бывает, прохожего странника зову, народ, который обедал. Зову прохожего, но посмотрю какой. А то боязно, убьет. Странники тоже бывают разные: спать у себя не оставляю, дам пяточок. И так я много от них понаслушал, что надо. Рад, что один живу. Что в жизни есть — беда!

— Ты ведь был женат или нет? — спросил я.

— Да вот, послухай. Значит, из Заозерья сосватал. Вдова, у ей — дочь. За дочь сватал. Она высокая такая. Закрымши платком ходит, все вниз глядит. Кра-а-а-сивая. У нас-то тогда дом был, хорошая изба. Сирота я: померли отец и мать холерой. А дом сгорел. Ну вот, значит, — повенчали. У ее матери в Заозерье — гости. А у меня и родных нет. Поехали с ней, значит, из Заозерья ко мне. Едем. Она мне и говорит дорогой. «Константин, — говорит, — что-то мне не можется. Моркотно. У сердца сосет. Пусти меня, сделай милость, к матери. Не можется. Пусти, я потом к тебе приду...» Вижу, она — не в себе, не можется ей: бледная. «Ладно, чего ж. Я довезу тебя». Поворачиваю лошадь. Она говорит: «Постой. Неладно скажут, вернемся ежел. Острамят. Нет. Я тихонько приду, чтоб не видали. Приду к матери, не можется мне». Ну, через день я поехал проведать ее. На сердце жалость была. А она и не приходила к матери. И куда делась, и невесть. Искали, искали, нет нигде. Прошло три месяца,

ни слуху ни духу о ней. Это вот на Ремже. Знаешь ли это место? Мостик старый там, у соснячка, место — глухое. Чашура. Ямы глубокие в речке. Я это сеть перекинул и иду на ночь сторожить. Кажет, когда рыба зайдет: шест у мотни качает. Шест-то белый, видать в ночи. Стемнело. Я в стороне тепленку в соснячке вздул да котелок поставил, чаю заварил. Пью чай и слышу, что вроде кто-то у моста шепчет. Да так жалостно: «Пошто, пошто сердце все изныло?..» И плачет. Потом говорит: «Проклят, проклят час мой! Любовный свет проклят!»

Я это слышу, а далеко. Ползу по песочку меж сосенок, и видать мне: месяц светит, девка голая, волосы распустила, стоит у реки, белая... и волосы белые. Чисто нежилая... Да как в реку ахнет. Я испугался, да все же бросился к реке. И, вижу, она мне в сеть попала и бьется там. Я схватил сеть и тащу. Выволок на берег. Ее из сети выворачиваю, лежит — утопла, знать. Я ее покачал за плечи. Думаю: решиться пришла... А она меня как хватит поперек, да волосьями за шею, да в воду... Сила какая! Топит, мне в рот впилась губами. Ногами обхватила... Я как растаял чисто. Хочу из воды-то вылезти, голову высунуть, а она говорит: «Не тот, не тот...» Опять захлебнулся, память потерял... Только очухался на берегу. Боль у меня — руки, ноги повывернуты. Гляжу — мужики, трое, стоят — овсеевские. И лошадь, телега. Мимо ехали. Ну, откачали. А ее никто не видал. Думаю: «Свят, свят, рассыпья. Ведь это была она — жена...»

Рыбак замолчал.

— Что ж, — спрашиваю я в удивлении. — Где ж она, жива?

— Кто знает, жива ли. Невесть где. Тогда только ейный платок на мосту нашли... Вот что... — помолчав, сказал рыбак. — Прошло время, мать-то мне сказала. Помирая, позвала меня и сказала — будто был у ее дочери такой, на войну ушел. Она с ним в лесу видалась. И ждала потом. Война кончилась, а он не шел.

— И никто так и не узнал, куда она делась? — спросил я.

— Да кому ж надо? Начальство, старшина знал, что пропала, да нешто им до этого дело, нужда? Пропала, ну и ладно. Водяница, — сказал рыбак. — Я рад, что пропала, а то утопла бы! Все одно не жить.

— Ну что ты, Константин! Какая водяница?

— Как? Эх, Лисеич, что ты! Есть это. У ей сердце взяли. Любовный свет отняли. Ну и вот. Водяница стала, топит.

— Ну, это — сказки, — говорю я.

— Сказки, говоришь? Да! Сказки есть что самая ни на есть правда. Да. Вот зимой занесет снегом у меня оконце, хорошо. Вспоминаю я, когда венец был в церкви с ней, и говорю: «Вот я венец держу и остался в девстве». И так на душе у меня радостно, и нет кругом меня горя, брани, гнева. А люди-то чудны. Все ругаются, завиствуют, дерутся... Эх, Лисеич! Жисть-то и есть сказка.

— Значит, ты и не женился еще? Отчего же?

— Эх! А как же? Я обет-то ей дал! Пред кем? Пред Самим Господом!

— Постой, — говорю я, — так она нарушила обет, топила тебя. Что ты?

— Да! Она — пускай, а я — нет. Доля моя такая вышла. Вот что. Слышишь? Я пойду, — сказал он, встав. — Ежели шесть гривен дашь за налимов, так я тебе линька накинута. Ладно?..

Разбойнику

Осень. Октябрь. Ясный день. На лесном пригорке, у стога сена, сидим, отдыхаем. С утра ходили на охоту. Полные ягдташи: тетерева и белые куропатки. Василий Сергеевич режет охотничьим ножом колбасу, кладет рядами на бумажку и наливает в стакан из фляжки водку; она блестит на солнце. Крестьянин-охотник Герасим Деметьевич, выпив, крикнув и закусив колбасой с пеклеванным, посмотрел вдаль, где шли бесконечное мелколесье и леса, и сказал:

— Вона, вдали, светит домик. Вона, за леском, — там рядами окошки идут. Это у большака, там дорога на Переславль. Дом-то не достроен, это — трактир строили, да бросили. Трактирщик строил покровский — богатый, толстый был из себя. Так вот дело какое: у него была жена Прасковья Васильевна, красавица — прямо краля. Только муж, трактирщик-то, зачал хворать. Поест — тошнит. Ну и помер. Похоронили, значит, по-богатому. Она тужила, тужила да и вышла замуж за молодого молодца. Он в трактире у него служил. И все — ничего. Ну, только один барин молодой в Покров приехал. Тоже по охране моста был. Я с ним ходил разок на охоту, у Караша. Этот барин, значит, следовательно — был назначен в Покров. Молодой барин. Ну, он обыск у ей сделал и банку с вареньем нашел, а в варенье — яд, мышьяк. Вот что! Эвона, трактир-то и не достроили. Значит, ее засудили в острог, а он-то, молодой муж ее, Ильюшка, убег да на разбойное положение и стал... Видали его в округе здесь кой-кто, только не пымали. Позапрошлый год еду это я из Букова на Переславль, мимо дома того, — показал Герасим вдаль, — еду и вижу: стоит молодец и спрашивает меня: «Куда едешь?»

Я ему говорю: «В Переславль». — «Подвези меня, — говорит, — до города, я тебе полтину дам». — «Садись, чего же», — говорю ему. Ну, сел он, едем. У меня и вошло в голову: не Ильюшка ли, который убег? Я ему, смеясь, и говорю: «Не Ильюшка ли вы будете?» А он мне: «Я самый — Илья Васильевич, а что? Я, — говорит, — в этом пустом доме живу. Меня сторожа сторожат. Скажут, ежели что. Меня не пымать. Во, ежели ты скажешь, ну, жди тогда: крышка тебе».

Я гляжу на него и думаю: «Врет он аль нет?» Приехали в город. Он слезает и спрашивает меня: «Ты почто приехал?» Я ему говорю: «Кур два десятка привез да яиц сотню, на рынке продать». — «Давай мне».

Сторговались. Я ему отдал. Он ни слова — заплатил все правильно, взял и ушел.

— Ну и местечко тут у вас, — сказал мой приятель Василий Сергеевич. — Встретишь эдакого, ограбит, убьет.

— Постой, — перебил его Герасим. — По весне иду это я из Караша, тороплюсь. Перегоняю по дороге человека: на нем пальто хорошее, идет с палочкой, калоши. Смотрю — узнал меня Илья беглый, смеется. И я смеюсь:

— Еще не пымали тебя?

— Нет, — говорит. — Ты ведь не веришь, а я — Илья Васильевич Пронин, тот самый, Васильевой-то трактирщицы — муж. Я кады убег, то на суде был в Володимире, между публикой, когда ее судили. Бородку себе отрастил, чтоб не узнали. Она на меня врала на суде, что я все: и яд доставал, и ее научил отравить мужа. А я ничего и не знал. Слушаю, что она на меня плетет, думаю: что это? Ведь она меня зазывала в полюбовники, я мальчишка был, чего знал? И женила меня опосля на себе. Вот дура! Чего ей надо? Верно, он-то, трактирщик, был старше ее. Ну, и жила бы так. Он —

хороший был человек. Мне-то стыдно было, да что делать? От ее не увернешься, замарьяжила. Черт ее угораздил травить его.

— А ты бы пошел да сознался, — говорю я ему.

— Я и ходил к исправнику, сказал ему все. А он мне: «Дурак ты! Мышьяк, яд, она у гадалки достала. Гадалка и варенье готовила, а врала на тебя. Вся вина твоя, что бежал от следствия». — «Что же, — спрашиваю, — мне теперь делать?» — «Бегай, — говорит, — бегай! Плохо только — ежели на дурака попадешь, а покуда я жив, бегай — и все тут...»

Мы закусили, отдохнули и спустились с бугорка в мелкий осинник. Как огонь горят красные листья. Понизу густая заросль пожелтевшего папоротника. «Тррр...» — раздалось в лесу. От собаки вылетел вальдшнеп. Приятель Вася выстрелил.

— Давай, давай сюда, — говорит Герасим собаке.

Пойнтер Польшон, растопырив желтые глаза, ходит около нас, держа во рту вальдшнепа.

Пройдя лес и болотину, добрались до картофельного поля, шли краем пашни. Вышли на большую дорогу и за сосенками увидели недостроенный дом трактирщика. Подле него стоял человек в пальто, в новом картузе.

— Это, — шепнул нам Герасим, — Илья Васильевич, беглый.

Илья радостно поздоровался с Герасимом.

— Чего, — говорит ему Герасим, — неужто здесь ночуете?

— Всяко приходится, — ответил тот. — Торговлей занимаюсь. Дорога! Кто что везет в город, куплю, а потом — я места знаю — подвезу, продам. Наживу малость. Работаю. Вот вы птичек настреляли, — показал он на ягдташи, — уступите мне. Вот этого долгоносика. Мне подарить надо доктору в Переславле. Он мне ночлег дает. Да! — вдруг сказал он Герасиму. — Ее по второму суду оправдали. Только к покаянию присудили. А гадалку — на каторгу.

— Да что ты? — сказал Герасим. — Эдак ты теперь к ей, значит, пойдешь?

— Ну нет, — покачал головой Илья Васильевич. — Нет. Выразить невозможно, до чего она мне противна. Она меня с места сманула. Я в Покрове приказчиком был, в амбаре у Кирсанова. Мне бы пятьсот теперь скопить — я бы разносчиком стал, рыбой бы торговал. А теперь — что же? Беглый. В Петрово не кажись — засмеют да посадят.

Мы отдали ему половину дичи. Он не брал даром — мы уговорили. На прощанье он попросил мой адрес. Я жил в двенадцати верстах.

Пройдя проселком и большим ельником, взяли четырех рябцов. Поблизости, в деревне, наняли лошадь, телегу. Едем. Везет нас молодой парнишка, румяный, глаза черные. Говорит:

— Мало, знать, настреляли. У нас тут надесь журавлей что на пашне село!.. Вот бы вам! А у нас ни у кого ничего — ружья нет.

— Так ведь журавлей не едят, — говорим ему.

— А ты видал Ильюшку-беглого? — спросил Василий Сергеевич.

— Ильюшку. Нет! — ответил парнишка-возчик. — Не дай Господи! Разбойник! Трактирщицу убил! Вот это тут, на большаке, он ее зарезал. Он тута, в доме недостроенном живет. Так ночью там, в доме, — вот пляшут. Видал Серега-угольщик. Он шел из Переславля ночью. Вот Ильюшка в красной рубахе, а с ним солдаты беглые. Все в красных рубахах. И девки голые. Вот пляшут. А один солдат на сабели голову трактирщицы держит. Голова на сабель вдета. Поглядел Серега да бежать. А те за им. Свят, свят... Насилу добежал до деревни. Отстали... Бойтся, конечно...

— А ты верь! — засмеялся Герасим. — В деревне — чего наговорят!

— Это верно, — согласился возчик. — У нас Дарья сказывала: шла она мимо дома тово. В ней вышел Ильюшка, говорит: «Иди к нам жить». Снял шапку, а там, в шапке у него, куча золота, деньги. «Бери, — говорит, — отдам тебе — иди к нам». Она, Дарья-то, — мужнина жена. Нешто пойдет она к разбойнику...

* * *

Стемнело, когда вернулись домой. Дома нас дожидался доктор Иван Иванович, приехавший ко мне гостить. Горела лампа, и на столе приготовлен ужин и чай.

Василий Сергеевич — человек огромного роста, днем прямо герой, к ночи робеет. Рассказывая за ужином доктору случай с беглым приказчиком, попенял меня:

— Зря вы адрес-то ему дали, мне что-то рожа его не нравится. И черт его знает, наверно, он и в бегах кое-кого придушил. Вы очень доверчивы. Так я и поверил, что его любовница травила мужа, а он не знал. Врет! Баба все любовнику расскажет. Да-с.

Герасим усмехался и глядел лукаво.

— Как хотите, — горячился Василий Сергеевич, — а ружьецо на ночь заряду пулей. У него там сторожа какие-то! Благодарю вас — сторожа... Наверное — разбойники!

Вошел слуга мой Ленька.

— Человек какой-то приехал. Вас спрашивает. Видать, что бродяга.

— Вот, не угодно ли! — говорит Василий Сергеевич. — Хорошее знакомство нашли...

— Позови его сюда, — говорю я.

Вошел человек, белобрый, высокий, худой, на ногах — опорки. Глаза серые, испуганные. Большие ресницы слиплись. Одет в женскую кацавейку. Робко вошел. В руках держит кулек и рванный картуз. Заикаясь, сказал:

— Вот это... к-к вам — селедка. Ту-ту-ту-а, И-и-ля велел.

— А ты кто будешь-то? — спросил я.

— Я-то... да я-то поднадзорный.

— Значит, за грабеж? — спросил доктор.

— Не, я — не острожный, я так, не помнящий родства.

— Родства не помнишь? — спросил Василий Сергеевич. — Странно!

— Ей-ей, барин, не помню. Вот ничего не помню.

— Ну, это ты врешь.

— Ей-ей, барин. Семи лет отец увез, отдал на шерстомойню. Шабаш. Сам помер в деревне. А как найти деревню, не знаю. И как звать деревню — не знаю. А меня Сережка Стрекач звать. Все на шерстомойне звали, а кто — Заика. Пашпорта нет. Шерстомойня сгорела. Не берут никуда. Бродяга. «Кто ты такой?» — спросят. Говорю: «Сережка Стрекач, Заика». — «Откуда?» — «Незнамо». В солдаты не берут. Вот ей-ей.

— А ты что же, в сторожах у беглого находишься? — спросил Василий Сергеевич.
— Не... Илья Васильевич, дай ему Господи, вот без гривны никого не оставит. Дай ему. Сказал — сапоги купить хочет, замерзнуть не даст. Летом вот тут жил, в доме на дороге, под полом, а теперь вот стужа. Пропадать без милостивца. Сапоги-то мне новые зачем? Стары бы лучше, а то за сапоги-то новые не убили бы. Душегубы есть такие. Вот барин один мне спинжак подарил — так на рынке били меня и в участке били. Я не украл, ей-ей. Я ведь непомнящий — не вор. На вот, бьют! «Все равно, — говорят, — бей...»

— Садись, Стрекач, чай пить. Вот поешь тут.

Сергей Стрекач посмотрел на всех и на стол, искал место, куда положить картуз, и сел с края стола. Иван Иванович налил ему водки и отрезал ветчины. Стрекач выпил водку и закашлялся. Встал, вышел в коридор.

— Больной! — сказал доктор.

В кульке, когда развернули, оказались копченые переяславские сельди. Дивные сельди. Стрекач вернулся, опять сел за стол, ел молча ситный, колбасу. Во всем — и в глазах его, было что-то похожее на убитую птицу. Выпив чай, он встал и сказал:

— Спасибо. Я пойду...

— Куда же ты пойдешь?

— На дорогу. Завтра, в утро, Илья Васильевич придет.

— Там ведь холодно.

— Да, стало холодно.

— Оставайся, — говорю я, — ночевать здесь, да поешь еще. Ступай к дедушке.

Видно было, что Стрекач стесняется нас. Сторож, дедушка Семен, угостил Стрекача и разговорился с ним.

— А позвольте вас спросить, — кого же это вы у себя ночевать оставляете? — сердито спросил Василий Сергеевич.

— Разбойника дикого... — рассмеялся Герасим.

С большой охапкой хвороста вошел сторож-дед и, бросив ее у камина, сказал, посмотрев на нас:

— Ушел Стрекач-то, его не удержишь. Там у него свое гнездо. Да и людев боится: не рассерчали бы. Он без вас по зиме бывал у меня, ночевал. Ну, кое-кому поработает, при трактире посуду моет, не берут его на службу-то никуда: не велено. В монахи хотел — тоже не берут. Волчьего паспорта — и того у его нет. И в каком он чине на свете живет — понять никто не может...

Волки

В полночь ехали мы со станции: впереди мои приятели на двух подводах, а я замешкался на станции — давал телеграмму, — в буфете закупил баранок ростовских, солонину ярославскую. Приятели уехали вперед, а я с Василием Княжевым сзади. Ехать двенадцать верст — на мельницу к Никону Осиповичу — рыбу ловить, ну и на охоту.

Тихая осенняя ночь; дорога грязная, переваливается тарантас из колеи в колею. Едем небольшим лесом, справа — река.

— Чу! — говорит возчик Захар. — Слышь, волки воют?..

Он встал. Тихо. Над темными елями ровная глубина неба. Вверху блистает месяц. На темной дороге блестит в лужах его отражение, и вдруг — далеко внизу, за лесной чащей, я услышал вой. Он переливался в несколько голосов, то дальше, то ближе.

— Это за Остеевом... — тихо сказал Захар и дернул лошадей.

Я слушал: вой то замолкал, то вновь начинался. И странно. Что-то было общее с этой ночью, осенним лесом, что-то родное в этих тяжких звуках волчьего воя. Почему-то вспомнилось ушедшее время. Казарма в Ейске, куда я был призван на военную службу, кубанский казак, молившийся Аллаху, стоя на коленях у койки и держа руки у ушей, смерть моей бедной матери... Театр, опера. Ван Занд. Жизнь моя показалась мне какой-то нечаянной, несерьезной перед звуками волчьего воя в ночи лесной пустыни. Россия — таинственный край!..

— Их восемь, — сказал возчик Захар.

— А почему ты знаешь, что их восемь? — спросил я.

— Да ведь слышать: четыре матерых, а то молодые.

— А почто они это воют?

— Эх, почто. Жалуются.

— Как — жалуются? Кому?

— Как — кому? Богу. Попросят, значит, прощенья за живодерство ихнее. Человека пост держит. Хошь — ест мясное, хошь — не ест. А волк — никак не возможно.

— Это верно, — заметил Василий Княжев. — Это они молитву поют об жисти их волчьей, чтоб с голоду по зиме не сдохнуть. Да ведь другой бы тоже б завыл, не хуже волка, да совестится. Засмеют — боится.

Впереди, в тишине ночи, послышался стук колес на мосту.

— Это наши едут, — сказал Василий.

— Трогай, — говорю я Захару, — мы далеко отстали. Вон, они мост переехали.

— Чего мост? Нам ведь на мост не надоть, — ответил Захар. — Мельница влево будет, а на мост, это — прямо к волкам, значит...

Вдруг впереди мелькнул огонек — кто-то ехал на нас. Вот уж и видно курящего доктора Ивана Ивановича.

Когда мы подъехали, доктор соскочил с тарантаса и, подойдя к нам, сказал:

— Что делается! Не туда поехали. Слышали, как волки-то воют? На них ведь едем. У Павла Александровича одно ружье, и то — дробь. А у Василия Сергеевича удочка только. Ну, револьвер еще. А что с револьвером? Ну, Василий Сергеевич: «Стой! Дальше не еду...» Да и дороги никто не знает. Вернулся за вами. Отстали вы далеко.

— На мост не надоть, — говорит Захар. — Влево брать, на мельницу ежели.

— Волки далеко, — говорю я. — Это в Остеевской пустоши.

— Не, — сказал Захар, — ближе. Версты три, не боле, в болоте.

— Они там все у моста, — сказал Иван Иванович. — Ехать не хотят. Ждут утра.

Доктор сел в повозку, и мы тронулись.

Показался заросший берег реки. У моста я увидел тарантас. В нем сидел толстый Юрий Сергеевич, луна освещала его круглое лицо, около стояли возчики.

— Слышишь, они в унисон лупят: ре, ля бемоль наверху. Интересная штука. Жутковато только. Они ведь недалеко.

— Да-с, — сказал Павел Александрович, — прекрасно. Волки воют. Ну, а что же дальше?

— А где Василий Сергеевич и Николай? — спросил доктор.

— Здесь, — услышал я голос приятеля Васи. — Да-с, я здесь лучше себя чувствую, — говорил он, сидя, как оказалось, на сучьях сосны. — Только дайте мне веревку или вожжи: я себя привяжу. А то задремлешь, свалишься. Ночью я не намерен ехать. Да-с.

— А где же Николай Васильевич?

— Я здесь, — слышим мы кроткий голос приятеля Коли с соседней сосны. — Я-то не боюсь, только у меня никакого оружия нет.

— В последний раз прошу тебя, полезай, Юрий, — сказал Вася. — У вас, конечно, есть два ружья, а у меня — револьвер. Но хорошо, если они начнут жрать сначала лошадей, — тогда мы успеем обстрелять их. А если с тебя начнут — что тогда? Разорвут ведь в клочья!

— Да чего это, право, — говорит Василий Княжев, собирая валежник и сучья. — Я сейчас зажгу костер, так ни один леший не подойдет.

Возчики и Василий рубили топорами можуху и сушняк. И вскоре запылал огромный костер. Он осветил округу, лес, лошадей, реку. Княжев, подвешивая на огонь котелок, сказал мне:

— Хорошо бы солонинки сварить. Видать, что не поедем до утра.

— Вот это верно, — соглашается Юрий Сергеевич. — Молодец, Василий. Ну-ка, доставай, закусим. Слезай, Вася.

— Это вы там правильно придумали, — говорит Вася с дерева. — Но я все же здесь посижу.

Набили полный котелок солонины. Около костра было тепло. По рукам передавали стакан, а Василий каждому наливал аккуратно.

— Хороша солонина, — говорили возчики.

— А теперь в Москве, в кружке, ужинают. Всего ведь двести верст, а никому там и в голову не придет, ни Южину, ни Рыбакову, ни Станиславскому, что здесь волки сожрали композитора Сахновского, художника Коровина, самого директора кружка Кузнецова, — говорил медленно Коля Курин, сидя на сосне. — На другой день — газеты, сенсация, панихида; в Консерватории, в Филармонии ученицы плачут. В редакции «Русского слова», в «Московских ведомостях» — радость. Статья: «Съеденные волками декаденты: Коровин, Сахновский...»

С другой сосны басом говорит Василий Сергеевич:

— Радость вдовы подьячего, что без остатка сожрали волки супруга...

В это время раздался треск, и Коля Курин как-то кубарем ахнул на землю.

— Вот хорошо! — смеялся Юрий Сергеевич. — Жаль, волков нет, а то бы тебя в клочки.

— Я ногу, брат, ушиб... Вот черт! Хорошо, невысоко и мох, — говорил, прихрамывая, подходивший к костру Коля.

— Слышите, — вдруг закричал Василий Сергеевич.

Вдали, за поворотом леса, у реки был слышен шум.

— Знать, едут, — сказал Захар.

Слышно было, как приятель Вася полез на сосне выше. На повороте осветилась большая лошадь, телега. Ехавший остановился. На телеге лежали мешки.

— Помольцы, — сказал Захар.

Показалась вторая телега. Тоже остановилась.

Захар крикнул:

— Чего стал?

— Свои небось.

Первая телега тронулась. Мужик, держа лошадь за узду, остановился около нас и сказал:

— Бог в помощь.

Другая телега тоже подъехала. Мужик и баба глядели на нас молча.

— Чего? Это, знать, по охоте заблудили? — спросил первый.

— Нет, — сказал возчик Батранов, — волков пережидаем. Рядом выли.

— Это далече, — сказал помолец. — Они нешто пойдут на человека. Нешто волк — дурак? Он знает: топор у мужика. Н-да. Топор.

— А вы откель? — спросил Захар.

— Мы-то. С помолу едем. Мы с выселок.

— Ну-ка, Василий, поднеси им по стаканчику, — предложил Юрий.

— Благодарствуем, — сказали помольцы. — А мы-то думали, чего это в таку пору? Что за народ у моста? Не лихо ли дело? Тут, у моста, эта-во, завсегда пугает. Кто-то бегаёт, песни поет. А кто — не видать. А вы, по охоте ежили, приезжайте к нам на выселки. У нас охота рядом. Тетеревей что! Приезжайте ко мне: Василий Макаров, чай пить у меня с медом. Ну, спасибо. И-их. Хороша солонина-то.

Простившись, помольцы поехали.

— Ну, вот что. Едем скорее, — слезая с сосны, говорил Василий Сергеевич. — Волки — черт с ними, но уж от этой певичцы, которая здесь бегаёт, подальше... Черт принес. Благодарю покорно. Честное слово, в последний раз еду. Каждый раз ерунда какая-нибудь. Бегаёт, поет... Едемте.

Сели в повозки. Переехали мост. За поворотом темнели большие ели, и в небе чуть мерцал свет утра.

Вдрут, слышим, сзади по мосту стук. Кто-то будто пробежал. Было что-то страшное в этом звуке.

Василий Сергеевич выстрелил из револьвера и крикнул: «Вот тебе!» И еще выстрелил: «Вот тебе, вот тебе».

И опять было слышно: кто-то побежал по мосту.

— Пугает... — сказал возчик.

Краем реки поднимались в гору. Дорога шла по песку, покрытому чистым мелким ельником. Светало. Вдали показался большой темный лес, как гребень. Под горой мы услышали шум мельницы. В доме мельника мерцал огонек в окнах.

Радостно нас встретил мельник Никон Осипович. Хлопотал. Дочь ставила самовар, а рядом, в горнице, стелили сено для ночлега.

Прятели мои решили не ложиться спать. Утренняя заря блистала за лесом. Бодро и весело шумели колеса мельницы в пене голубой воды.

Умывались у речки. Было видно дно, песок и мелкие камушки. Рядом подошли коровы и пили кристальную воду. Как-то все просто, естественно, хорошо.

Когда вернулись в дом мельника, на столе шипел самовар, белая скатерть, расставлены закуски из Москвы. Пришла Прасковья Андреевна, жена мельника, и дочь Маша в голубом ярком платье, в косу вплетена лента.

Разливали за столом чай, брагу, говорили: «Вот грибки попробуйте. Рыжики, ва-луи, белянки, пирог с капустой, оладьи с медом».

— Маша, — сказал я, — Василий Сергеевич всю ночь на сосне просидел: волков боялся. Пожалей его.

Василий Сергеевич, причесывая мокрые волосы у зеркала, рассмеявшись, сказал: — Верно. Ночью до чего страшно было, на сосне сидел.

— Да неужто правда, — удивлялась мельничиха.

— И я сидел, — кротко сказал Коля.

Маша, посмотрев на Колю, закрыла лицо фартуком и, смеясь, выбежала из горницы.

— Странно... смешного мало, — обиженно сказал Коля Курин. — Разорвут, сожрут...

— Да полно, — смеялась мельничиха. — Что в тебе им есть? Худой — кости да очки. И неслыханно дело, чтоб тут человека съели. А волки у нас кругом. Вот с вечера выть зачнут — таку скуку нагонят. В городах-то нету этого, у вас... Там весело...

«Ну, — подумал я, — у нас волки-то есть пострашнее...»

* * *

Утренним осенним солнцем освещена мельница. Бежит, блестя по колесам, синяя вода. А за ней... река. Берега — в заросли серой опавшей ольхи. Темными пятнами спускаются по песчаному обрыву огромные ели. Все опрокинулось в тихой воде. Какая красота! Я тороплюсь наносить на холст красками эти формы и цвета.

Сзади меня стоят помольцы и смотрят, как я пишу. Один держит дугу и говорит мне, смеясь:

— Сдел милость... Э, у тебя лазорева краска, эво-та, хороша... — показал он на палитру. — Намалой мне цветочки — это место на дуге. Зимой поедешь, поглядишь — веселей будет...

Английские рябчики

Серый осенний день. На деревянном мосту через речку сижу я с приятелем своим, рыболовом Василием Княжевым. Ловим мы на удочку ельцов. Небольшая елец-рыбка — серебряная, вершков в пять. Видно, как поверху быстрой речки плывут наши поплавки. Пропадет поплавок, дернем, ну и попал елец.

Раннее утро. Много мы наловили ельцов. Послезавтра — Покров день, ко мне в деревенский дом приедут приятели-охотники. Василий говорит:

— Ельцы хороши. Я из них копчущки приготовлю, коптить их надоть. Я знаю, видал, как их в Москве коптил Бураков. И вот хороши копченые ельцы! Скусны, язык проглотить! Их в торговле нету, на рыбу эту не глядят, за рыбу не считают, не знают... а скусны.

Беспрестанно попадают ельцы, уж мы их поймали сотню.

По берегу речки идет песчаная осыпь, по ней еловый лесок. Кой-где желтые осенние березки. Тихо. Высоко над нами раздается гортанный звук «курлы-курлы»: летят журавли. Хорошо на речке... задумывается душа.

В саду у меня, близ дома, у больших сосен, идет густой дым. Вижу, около сидит на короточках Василий. Когда я подошел к нему, вижу — Василий подкладывает в тепленку сухие осиновые поленца и сучья. Сбоку из кирпичей сложено что-то вроде печурки. Там висят на проволоке ельцы. Глаза Василия слезятся от дыма. Вытирая их рукавом, он говорит мне:

— Их вот на осиннике коптить надоть, хороши будут. Ишь, рассол из них течет. Долго коптить надо, умеючи.

У меня краски масляные из Лондона, фабрики «Виндзор-Ньютон, артист колор-мануфактур». Картонные коробки в деревянном ящике, на нем ярлыки. Вот этот ящик как раз пригодится для копченых ельцов. Сбоку пишу крупно черной краской английскими буквами: «мыбра». Ровно укладываем мы с Василием копченых ельцов полный ящик и крышку забиваем гвоздями. Приедут гости — угостим их «английскими копчушками»...

Пришел ко мне охотник Герасим Дементьевич — сосед, принес пару белых куропаток и три кряковых утки — на праздник, значит. Я его и прошу:

— Вот что, Герасим, будь друг, — говорю, — знаешь грачей? Их по лугу у мохового болота, где полдни, — стаи летают. Настреляй, пожалуйста.

Герасим смотрит на меня и смеется.

— Чего это, — говорит, — куда их? Подушку, что ли, пером набить хочешь? Так от кур-то перо лучше.

— Нет, — говорю, — набей, пожалуйста, десяток.

— Чего это, Лисеич, заряда жалко — на что тратить... Давай тады твое ружье, сейчас настреляю.

— Василий, — говорю я Княжеву, — вот что: Герасим настреляет грачей, надо их будет ощипать, только чтоб тетка Афросинья не видала, а то откажется жарить. Головки у них отрежь и ноги тоже. Скажешь ей, что это дичь — чирки, ну или вроде.

Василий смотрит на меня с удивлением, проводит пальцем под носом и смеется, шипя, вроде как гири у часов поднимает.

— Это чего? — говорит. — Неужто вы гостей ими кормить хотите?

Жареных грачей кладем в банку, туда эстрагон, маленькие огурчики, разводим брусничное варенье и заливаем. На банку наклеиваем ярлык с английских красок: «Италиен-Ринг-Ализарин». Сбоку ярлык. Пишу: «Альбион, рябчик».

В бутылки белого крымского вина кладем смородинное варенье, вишневое, малиновое, варим в вине еловые зеленые шишки, перецеживаем, наливаем в светлые бутылки. Получаются разного цвета вина. Коньяк с водой, гонобобель, анис, клюква, сахар — все вина выходят, все заграничные... Из спирта и жженого сахара выходит ром. Разноцветные бутылки, ярлыки от красок английских наклеиваем: «Пурпур мадер», «Роз мадер»... разные такие мадеры из Англии пришли...

Тетушка Афросинья поглядывает на наши приготовления и немножко сердится, покачивая головой. Василий и Герасим пробуют вина и говорят: «Вот бы еще сюда медку подложить, ну и наливки выйдут». Бутылки запечатываем сургучом.

Мелко изрубленная капуста с брусникой, луком в банке как-то особенно выглядит — заманчиво. Эффектен белый ярлык с медалью с бутылки гуниади янус. К приезду гостей, друзей-охотников, все было с вечера расставлено на столе в деревенской большой комнате, моей мастерской.

Утром рано моросил осенний мелкий дождичек. Приехали мои приятели на охоту. У всех дождевые пальто, в высоких сапогах, ружья в чехлах. С ними две гончих. Я боялся этих гончих. «Ручного зайца моего разорвут», — думал. Нет, они и внимания на него не обращают: домашний. Приехали: Караулов, Павел Сучков, гофмейстер, Василий Сергеевич, Коля Курин и Юрий Сергеевич Сахновский — композитор. На одном столе — английские кушанья, на другом русские — чай.

Английские вина произвели впечатление.

— Кто живет умно, так это Константин, — сказал композитор Юрий и пристально посмотрел на бутылки.

Приятели умывались с дороги, и видно было, что рады, что приехали ко мне в деревню.

— Скажи, что это за странные названия на бутылках? — спрашивает меня гофмейстер. — Английские ярлычки... Что это? Откуда?

— Всё из Лондона, — говорю я. — Приятель мой прислал, Беренс.

— Как? Николай Беренс? — удивился Павел Александрович. — Я его третьего дня в клубе видел.

— Нет, это другой — Эдуард Беренс... — вру я.

— Сейчас половина восьмого, я думаю, не стоит ложиться спать, — советует гофмейстер. — Надо чаю выпить.

— Сейчас подадут, — говорю я. — Ну и не мешает с дороги закусить вам. В Англии всегда с утра пьют кофе, чай, подают жареную ветчину — закуски такие.

Надев пенсне и высоко подняв брови, Павел Сучков рассматривает бутылки с ярлыками, берет их в руки и, осмотрев, поет:

Уеду в Лондон я далекий
И там делами я займусь...

— Да-с... — сказал он. — Что же это такое? Странно... Никогда не видал таких вин.

— А рыбу видишь? — говорю я. — Оттуда: мымра, копчушки. Попробуйте.

Подали чай. Юрий взял на тарелку копчушку и, съев, сказал:

— Замечательно... как это называется?..

— Мымра, — говорю я.

— Действительно, прекрасная рыба, у нас нет такой, — говорит гофмейстер. — Несоленая, нежная, я никогда нигде такой не ел.

Ельцы имели успех.

— У нас сиг не удаст, — сказал Павел Сучков.

— Ну, как сказать... и это превосходная рыба, — заметил гофмейстер. — За границей всё умеют приготовить. У нас как-то солоно, грубо.

— Это верно, — сказал приятель, архитектор Вася. — Я рыболов. Плотва ни к черту не годится, но лещ, карась — костисты. Щука ни к черту, налим — хорош, молоки, а шереспер — кости, подавишься.

— Ну, что-то ты заврался, — сказал Караулов. — Белуга, севрюга, осетрина, а навага? Да, Вася, ты уж того...

— Ничего не того, а таких копчушек нет.

— А что это в банке вон там? — спросил Юрий Сергеевич.

Все посмотрели на банку.

— Английские рябчики, — говорю я.

— Да неужели? — удивился гофмейстер, — я никогда не слышал и никогда нигде не ел... Покажи-ка. Что же это у тебя, Эльдорадо какое-то...

— Черт знает что такое! — говорит Юрий. — Замечательно! Вот это рябчики! Попробуйте.

— Какая тонкость, — восторгается гофмейстер, пробуя грача. — Знаете, я вспоминаю... я ел что-то такое же в Лондоне — этих рябчиков. Там тоже это был деликатес. Забыл, как они называются. Там их разводят.

— Нет, вы попробуйте, капуста какова... — говорит приятель Вася. — У нас такой нет. А огурчики — анисом пахнут. Ну, надо рюмку выпить. Что это за зеленое в бутылке?

И Вася налил из бутылки в стакан; выпивая, как-то смотрел в потолок.

— Что-то сосной пахнет, — сказал он. — Странная штучка, а хорошо... Немного сладко.

— Это десертные вина, — говорю я.

Ко мне подходит Герасим и говорит на ухо мне: «Вы велите, Кинстинтин Лисеич, этого вон, в темной бутылке, испробовать. Там ром с полынью и перцем варен, так узнают тады».

Юрий попробовал ром, ничего не сказал, только зажмурился. И налил Павлу Александровичу. Тот, выпив, вскочил из-за стола, глаза у него вертелись, как колеса.

— Ух! Ну и крепость! Ух ты, черт!

— Вот попробуйте роз-мADERу, вот ликер какой! — восхищался Коля Курин. — Мне бы достать бутылочку, я бы одну угостил... Хорошенькая. Она в кружке малагу пила, ее угощал Страхов — такая жирная рожа. Я бы этим ликером живо у него бы ее отбил...

— Да-а... — говорит Павел Сучков, — это класс. Странно, попали к нему на такие аглицкие штучки. Ром такой, морской; ужас. Это в море пить только, а у нас на суше невозможно.

— Ну-ка, налей-ка мне рюмку этого рома, я еще с рябчиком.

Ром произвел впечатление на всех. Говорили: «Ну, что у нас... не могут сделать. После него водка просто вода — и пить не стоит». Я думаю: «Ром этот Княжев сочинил — спирт и жженный сахар, перец клали. Странно, а понравилось». Поговорили о том, что как всё умеют делать за границей. Приятели, выспавшись, пошли на охоту. Застрелили зайца, а на обед опять настряпал я грачей, куропаток и уток, которых мне принес Герасим.

Изжарила Афросинья уток с груздями и куропаток с вареньем брусничным. Куропатки назывались горными, а утки руанскими — все из-за границы.

Кушая, говорил гофмейстер:

— Ел я в самых лучших ресторанах, но не то... Руанская утка — замечательна.

— Ну, — говорю я ему, — там подадут простую крякву, а счет подадут на руанскую; куропатку — скажут, горная, а окажется просто курица.

— А все может быть... — сказал гофмейстер, запивая роз-мADERой. — Вино исключительное, но совершенно оригинальное. Ну, там делают... Европа...

— Это Беренс у себя сам там делает, — говорю я.

— Ну да, пожалуй, — говорит Павел Сучков. — Знаешь, это все дамские вина — хороши, но сладковаты.

Только вечером, когда за столом мирно горела лампа и приятели мои слушали, как охотник Герасим им рассказывал про случаи на охоте, что в Ивановом озере, недалеко отсюда, такие звери живут, что просто страх берет: «Водяные... и вот — злы. Хвост рыбий, а сама она кошка водяная...» — вдруг вошел приятель Василий Сергеевич. В руках у него был фонарь, с ним Коля Курин. Хохоча, весело сказал:

— А вы знаете ли, что, знаете ли... он нас воронами накормил... — показал он на меня. — Да-с... ворон мы ели. Это рябчики-то английские — вороны оказываются.

— Нет, постойте, — вступился Коля, — послушай, — обратился он ко мне, — вот ведь что, я ведь не знаю, только вот я днем в беседке прилег, в саду, спать что-то не хотелось, и вижу, в оконце беседки идет Василий Княжев и тащит кучу убитых ворон. Сел, знаешь, у елки и щиплет их. Ощипал, отрезал головы и лапы и унес... Я и подумал — что такое? Думаю, зачем это он ворон ощипал? Встал, пошел на кухню и вижу: их тетушка Афросинья жарит на большой сковороде. Я ее и спрашиваю: «Что это ты жарить?» А она мне отвечает: «Дичь жарю». — «Нет, — говорю я ей, — это, тетушка, вороны...» Она страсть как рассердилась на меня. Я вот Васе и рассказал, а он с фонарем жерлицы на шук ставил, на реке. И зашли мы с ним посмотреть, где Василий щипал ворон. Перьев там ужас сколько...

Вася хохотал.

— Какой вздор, — сказал гофмейстер.

— Вот они, головки, — вынув из кармана головы грачей, Вася положил их на стол.

— Это не вороны, — сказал Караулов.

Все смотрели на головы грачей и не знали, что это такое... Только не вороны.

— Чьи это головы? — спрашивают охотники Герасима...

— Кто его знает, — отвечает Герасим, — только не вороньи. Нос — не то дятел, не поймешь.

— Какая это ерунда всегда у тебя, — говорит Павел Сучков.

— Ну какой вздор, это же не вороны, — сказал гофмейстер.

Приятель Вася хохотал и только мог выговорить: «Английские рябчики...» — и опять закатывался...

— Так обидно... и так горько... — говорю я. — За что, за что?..

— Ну-ну, знаете, господа, это несправедливо. Поблагодарим Константина за европейские блюда, — сказал гофмейстер. — Мало ли кого там когда щипали. Но рябчики были превосходные, и, знаете... я вспомнил... я ел их в Лондоне за обедом у королевы Виктории, да-с! Прекрасная дама...

И, встав, он поднял стакан с вином и выпил разом, смотря кверху, как бы в небеса.

Первый снег

Весь день с утра по небу неслись свинцовые мрачные тучи. Потемнел сад. На реке холодная, злая зыбь. Грустны сжатые поля. Тоскливо дымит труба в лачуге рыбака. Осень. Грязная дорога заворачивает к мосту. Все как-то стало угрюмо и бедно. Лодка моя сиротливо лежит на берегу. Уж наступают сумерки. Иду домой. На сарае каркает ворона.

Дом мой показался мне мрачным. Вхожу в крыльцо. Терраса серая, мокрая. Болтаются веревочки, на которых летом рос пышно дикий виноград. Такая тоска!

Вхожу. Темно. На тахте спит приятель Юрий. Лицо круглое, скучное. Зажигаю лампу. Юрий просыпается, вздыхает:

— Пришел?

— А где же все? — спрашиваю его. — Не приходили с охоты?

— Нет. Кажется, нет: я все время спал... Никогда в Москве так не дрыхнул, как у тебя в деревне. А ты что же, поймал что-нибудь?

— Нет, я ничего и не ловил. Ходил к Макарову, в Никольское, принес меду.

— Ну, мед — ерунда: это не еда! Вы что-то ничего не делаете: ни рыбы не ловите, ни дичи. Застрелили бы зайца.

— Погода, холод, — говорю я. — Все куда-то попряталось.

Юрий Сергеевич сел на тахте. Кряхтя, стал надевать валенки.

— Скверная история... Ноги пухнут. Валенки не лезут. Отчего бы это?

— От вина, — говорю я.

— Ну, это — ерунда... Что же я пью? Вчера пустяки выпил, сегодня — ни капли, а вот не лезут никак!

— Ты чьи же валенки-то надеваешь? Вот у камина, посмотри, сушатся-то чьи?

— Да, верно, — радуется Юрий. — Мои.

И он в носках идет к камину, берет свои валенки и надевает.

— Вот! А говоришь: вино! Ты посмотрел бы, как Сафонов пьет. Кротков, Лихачев, Варгин? А как пил Мусоргский? Верно — я толст? Это у нас в роду... Смотри, смотри, — вдруг закричал он. — Снег-то какой валит!..

Я посмотрел в окно: в сумеречной синеве его кружились хлопья снега.

Я надел пальто и вышел на террасу. На сумрачный сад падал частый снег. И пахло чудной свежестью зимы.

Снег уже покрыл пятнами седые ели, крышу беседки. Что-то родное, свое, бодрое и радостное входило в сердце; снег, зима...

За поворотом дома показались мои приятели-охотники. Увидав меня, закричали, показывая глухаря: «Каков Вася?»

Как красив был огромный глухарь на фоне падающего снега!..

— Знаете, — сказал, подходя, Василий Сергеевич, — Колька спугнул.

— Да, брат, я, — торжествуя подтвердил Николай Васильевич.

— Собачье чутье у Кольки! — засмеялся приятель Вася.

— То есть как это «собачье чутье»? — обиделся Коля. — У меня, брат, ноги озябли. Ужас как!.. Я, брат, в штиблетах. Дай, думаю, пробегусь. Побежал, а из куста как затрещит. Вася — «бац-бац!». Я даже присел. Понимаешь ли? Вижу: дробь летит, прямо около.

— Ах так? Ты даже дробь видел, как летит? Замечательная личность! — сказал Юрий.

— И очень просто, — не сдавался Коля.

В доме из ягдташа Павел вынимал дроздов: «Раз, два, три, четыре, пять...» — и пару вальдшнепов.

— Каково? — радовался Юрий. — Молодцы!

— Вот, один, — сказал Герасим, кладя рябчика на стол. — Не идут: погода... Весь лес просвистал. Один, сердяга, отозвался.

Василий Сергеевич взвешивал глухаря на безмене, в кухне, и серьезно сказал:

— Двадцать два фунта...

— Довольно, — рассердился Сучков. — Врешь.

— Нет, не вру, — горячился приятель Вася. — Посмотри безмен.

Все пошли вновь взвешивать глухаря. Оказалось — безмен испорчен. Ленька волокачил им кол на реке — привязывать лодку. Отправили сторожа-дедушку взвешивать глухаря к рыбаку Константину. Вышло 30 фунтов.

— Вздор! — вконец рассердился Павел Сучков.

Чтобы не забыть, Василий Сергеевич записал в «охотничий календарь»: «12 октября 1909 года взял из-под Николая к вечеру, в Феклином бору, на просеке, у межевой ямы, глухаря — весом 30 фунтов».

Приятель Вася торжествовал за обедом. Говорил:

— Завтра утром мы с тобой, Николай, опять пойдем, по пороше. Я из-под тебя зайцев набью.

— Ну нет, брат!.. Снег. Я тебе что ж, собака, что ль? Нет, дудки!

Охотник Герасим Дементьевич смеялся, закрыв глаза.

— Вот ведь бывает, — говорил он. — Ведь там собака Патрон был. Я видел, как он вел. Признаться, думал: по косачу. Ан вон что... Верно: глухарина — велик.

— Я его в Москву возьму. Пускай Мишка Клинов посмотрит...

— Ну, положим! Не будь меня — не видать тебе глухаря как ушей своих, — сказал медленно и серьезно Коля Курин.

— За Николая надо выпить, — предложил Юрий Сергеевич, — он охотничьей породы...

— Как это «охотничьей породы»? Я, брат, дворянин...

— Бросьте эти дурацкие шутки! — сердился Павел Александрович. — Надо завтра чуть свет, по пороше. Смотрите: все снег идет, — показал он на окно.

— Не забыть Кольку по лосиному следу пустить, — сказал приятель Вася.

— Это правильно, — подтвердил Юрий Сергеевич. — Выпьем за Колю!

— «Пустить»... как глупо, — сказал Коля обиженно.

— Лось днем в чепуре, в болоте держится. Не подойдешь. Ходу нет: потонешь, — говорил охотник Герасим. — А ночью — не видать: может, он вот тут, около, ходит. Утром видно: след даст. И волчий след увидеть можно утром. А найди-ка его!.. И рысь у кручи, на Поповке, след даст. Я завтра покажу. А днем прячется...

Жареные дрозды, вальдшнепы были хороши. Принесла тетушка Афросинья. Говорила: «Не жарила рябца: полежать надоть!..»

— Присядьте, тетенька Афросинья, — попросили мы.

Налили ей рюмочку рябиновой. Она выпила и закусила маринованным грибом. Сказала:

— С охотой вас, господа; хорош тетерь — глухарь! У, велик! Василию-то Сергеевичу посчастливилось стрельнуть. Герасима Дементьича обстрелял.

— Я его увидал, да на него спугнул, — сказал Коля. — А то бы...

— Ишь ты! Вот что! Какой молодец! А заяц-то наш, ручной... Вот снегу рад, вот у крыльца кувыркается. Пляшет. Снег-то ест. Ныне утром рано, — разговорилась Афросинья, — я на реке белье полоскала, а на том берегу Прохор ходит. Пьяней вина!.. Кричит мне: «Иде мост? Моста нету!..» — «Э-ка, ты, — говорю ему. — Мост-то — ниже, эво!..» — «Да нету его! — кричит. — Господи, и чево делатца». — «Где, — спрашиваю, — ты в таку рань набрался?» — «Под арестом был, — говорит. — У лесничего, за порубь. Двенашину спер. Так вот, с им, по случаю вдовства, дернули. Мы с им — одногодки, вдовы... Жен вспоминали, упокойниц. Оба... Вспом-

нили, поплакали... Оба, по такому случаю... Без жен тоже повоешь... Авдотья моя была работяга. Раз меня кнутом попотчевала...» — «За вино, знать». — «Да, за это самое... Дрался... А когда померла, не с кем стало и поругаться. Вот, зима на носу. Сиди один, пей чай. Дело-то какое... И моста не найду...»

— Женился бы опять, — сказал Юрий Сергеевич.

— «Женился»... А кто пойдет? У его трое детёв. Да бедность. Кому надо? Дети-то у чужих кормятся. У его и коровы нет. Доить некому. Тоже жисть вдовья — лихо дело. Вот мы дивуемся на вас в деревне: вы по охоте балуете, а никады при вас жен не видно... Вот только Василь Сергеич привозил, по лету, Ольгу Ликсандровну. Эх, и хороша!.. Ласкова. У нас ее все бабы полюбили.

— Не беру, — перебил серьезно Афросинью приятель Вася. — Еще подстрелят ненароком друзья.

— Жены охоту терпеть не могут, — сказал я.

— Да и верно: не женская часть.

— Моя жена — медвежатница: медведя убила, — сказал Павел Сучков. — А тут медведей нет. Ну, и не едет...

— Ишь ты! — удивилась Афросинья. — Неужта ведмедя?.. страсть какую! Вот бы поглядеть на ее.

— Верно, — говорим мы, — восемнадцать пудов медведь.

— Ишь ты! — повторила Афросинья. — Вот так барыня!

Когда Афросинья ушла, мы оделись и вышли посмотреть зиму.

Сверху, из небесной тьмы, падал хлопьями снег на побелевшую пустыню. Вдали мелькал огонек, в избе деревни. И среди тишины и тьмы кто-то кричит:

— Кто тут? Я иль нет? Пил, исенат! Не твое пил. Черта лысого, исенат!.. Я иль нет мешок дал? А говоришь: пьян... Ты подносил, исенат! Рупь тридцать... кто дал? Я дал. А грит: пьян... Не твое пил.

— Что ты выпил? На пятачок, на рупь показываешь. Знаем тебя... Татарина убил...

— Караул! — закричал кто-то.

И потом — тишина, все смолкло.

Коля Курин подошел ко мне и кротко сказал:

— Мне, брат, за воротник снегу насыпало, прямо ужас! Ноги озябли.

— Ну что ж, — ответил я. — Пойдемте домой!

Хорошо было прийти в теплый дом. Какой контраст с ночной метелью. Горит камин. Чай. Коля сидит у камина: греет ноги.

— Вот, — говорит Коля, — плохо в такую ночь тому, кому пойти некуда! Да, брат... Это у нас — не Палестина. Там всегда лето, тепло. Взял камень, положил под голову и спи. Проснулся, на дереве гранаты висят, акриды, дикий мед. Ешь, брат! Все задаром.

— В пещерах — девушки голые женихов ждут, — сказал Юрий.

— Откуда? Вот всегда, Юрий... Почему в пещерах девушки... И к чему это? Ерунда?

— Позволь — жара. Они и лезут в пещеры — прохладиться, женихов ждут.

— Как глупо! — сказал Коля.

— Это... из Библии.

— Ты читал в Библии? — спросил Василий Сергеевич. — В Палестине Иаков спал эдак, камень под голову подложил. Пришел лев да его и сожрал.

— Нет, что-то не помню. В Библии этого нет.

— Ну, довольно этой ерунды, — сердился Павел Александрович. — Скажи, Герасим, в такую ночь, в метель ты найдешь дорогу домой?

— Э-ка, — ответил охотник Герасим Дементьевич. — В такую пургу я шел раз из Остеева. Снег глаза слепит. Иду на авось, без пути-дороги. Под горку спускаюсь, и где — я не знаю. Вижу, обрыв, лес по ём спускается. Гляжу: дом. Узнал: Козиха. Дом там брошен. Мельник жил ране. Говорили: он деньги фальшивые делал. Под золото серебро подгонял. Ну, его и услали в Сибирь, а дом старый подгнивал. Вижу: в окне огонек светит, чуть-чуть. Я, это, подошел тихонько — в окне одно стекло, а то забито досками. Гляжу: там за столом сидят двое. На столе у них свечка горит, а они в карты дуются. Один — вот здоров, рыжий, а другой — помоложе, худой, вроде барина. И барыня — в стороне, платком голова повязана. А на столе деньги: сотни лежат. Куча! Водка в бутылке. Баранки, закуска разная: колбаса копченая, и револьвер лежит. «Батюшки, — думаю. — Чего это? Не иначе — лихое дело». Я, это, отошел тихонько да сбоку в кусту залег. Окно мне вбок видать. Я по нему из ружья: а-ах! Стекло звякнуло. Погасло!.. Они с другой стороны бегом из дому да в гору. Я крикнул: «Гони, справа! Эй, бери!..» Вот они бежали! И-их как!..

— Ты же убить их мог, — сказал Юрий.

— Нет. Я по окну, вбок дробью ахнул, близко... Так вот что. В эдакую пору, что сейчас, у нас по округе, часто, — то там, то в другом месте, по омшайникам, где крестьянин одежину, добро прячет из дому, от пожаров, — кажинную ночь кража. По ночи омшайник оберут. Беда! Никто не знает. Не пымают воров. Что хошь делай! А по деревням барыня ездила. И вот любезная, добрая... Бумага у ей от начальства была. Детям книжки разные — сказки, «Родное слово» — с картинками привозила и раздавала в деревне дарма. Вот ее благодарили: благодетельница! А я, когда в окошко глядел, барыня-то в голову мне влезла: иде я ее видал? Да-да: у нас в Букове, у меня была, в избе. Сыну Мишке книжку дала. А у меня опосля — в омшайнике одежину сперли: и шубу мою, и жены. Все. На триста рублей. Не в чем в церковь пойти... Когда я стрельнул по окну, убежали они-то, я в дом вошел, где они в карты играли. Пролез насилу: ходу не было, гниль одна. Зажег спицу. На столе — денег часть: видал я — боле лежало. А все же две сотни да мелочью сорок семь рублей. Да с ними я, ночь не спамши, прямо в Петров, к самому прокурору: думаю — верней, а то — кто знает? Отдаю ему деньги. Прокурор молодой. Туды, в дом, с исправником — так там, под полом, вот что одежины нашли!..

— Ну что ж, а их нашли, арестовали?

— Нет, не нашли... Где же? Это ведь не простые. У них дело правильно налажено. Где ж их пымать? Их след надоть по первому снегу искать, по пороше.

В дождичек

В дождичек, по осенней поре, утром зашли ко мне охотник Герасим Дементьевич, с ним — сосед Феоктист, Павел Ильчев, из соседней деревни.

— Был, — говорит Герасим, — в церкви у Покрова. Поют: «О мире всего мира Господу помолимся». А вот ведь, война затеялась. И пошто война? И невесть. Встретил у церкви Захара. Мужик он смекалистый. Уж ему за шестьдесят. Голова твердая, пустых слов нет. Не форсун. Говорил мне: война большая будет.

«Ну, — говорю ему, — колдун, — а его колдуном прозывают, — чего, — говори, — у тебя в голове колдуется, насчет войны-то?»

А он так глядит сурьезно, говорит: «Еще и тебя возьмут. Народу перебьют сколько! А пошто? На земле завсегда война идет, то там, то тут. Знать, так надо: положено на земле человеками. Очень много злобы кругом, неправды. Ну, и сердце в человеках остыло. Жить по совести Божией соскучились. Один говорит: вот тебе правда, а тот ему: нет, говорит, врешь: вот тебе правда, другая. У каждого своя правда. А правда-то — одна. Ну, вот и спор. А ему и конца не видать. Ежели без правды о правде спорить — зря лясы точить... Кривдой жить охота, а правду с кашей съели».

— Трудно сказать — почему война. Сложно все, — заметил гостивший у меня охотник Караулов.

— Да, — рассмеялся Герасим, — трудно. Вот у меня сейчас своя война вышла. Деревенский портной ходит по деревне, где возьмут, — одежину сшить или починить. Немолодой он, эдакой напористый. Ну, значит, я ему поддевку даю справиться. Сукно хорошее купил. Сторговались: харчи мои, чай-сахар — мой; работать у меня, а ночевать у соседа — он вдовый. Встает поздно, за работу принимается с полдня. Ничего ему не говорю. Мерил он и поддевку скроил. Опять мерил. Такой скучный. Недоволен чем-то, вижу. За чаем мне говорит:

«Дешево я, — говорит, — с тебя взял».

Я ему: «Да я с тобой не торговался! Что спросил сам».

«Верно, — говорит, — только рублевку накинуть надо».

Ладно. Соглашаюсь. Взял рублевку вперед и ушел. Через день пришел, пьян. Без меня пришел. Кады я вернулся, вижу: спит на моей постели не раздевшись, в сапогах грязных. Я молчу. Встал, истопил печь, котелок достал, воду в котелок налил, вышел из избы, поймал курицу мою, зарезал, ощипал и в котелок сует. Значит: себе варит. Смотрю: вольный портной. Молчу.

«Вот что, — говорит, — вино где у тебя? Мне опохмелиться надоть».

«У меня, — говорю, — вино в доме не заведено. Я вино только на праздник беру, когда гости. А так не пью, и вина нет у меня».

«Эка, — говорит, — зря это ты. Не знал я, а то бы не пошел к тебе шить».

Опять спросил рупь задатку. Я дал. Ушел. Пришел через день. Утро проспал. Я молчу. Опять берет поддевку. Пристегнул булавками. И говорит: «Дешево взял».

Я молчу.

«Вот что, — говорит, — прибавляй целковый. В моих руках дело: скроил. Как бы узко не вышло».

«Ах, — думаю, — не испортил бы сукно-то!»

Ладно. Дал рупь. Ушел он... «Вот, — думаю, — портной, ай, — думаю, — пойду справлюсь: он в Покрове шил». Пошел, справился. Там мне, где шил он, Михайло Зацепин и говорит: «Ну, портной!.. Он у меня всех курей переел, деньги забрал. То не так, это не так... Мало, говорит, взял. Чай внакладку пьет. Спит до полдня. Штаны сшил — в поясе узки, пуговицы на поддевке все отскочили. Ну, у нас с им война и зачалась. Ругались. Он было в драку. Я и дал ему разок. Так он понял, что со мною не годится. Ежели я дам раза, семеро дома подойдут. Видит он, и сразу в себя пришел. Смирный стал. Пуговицы попришивал и вставку вставил. Ну, я и дал ему расчет. В деревне все знали. Староста сказал ему: “Ты, портной, в деревню не приходи боле

и около не ходи. А ежели подойдешь, то знай, что тут же в упокойники поступишь». Напужал его, чтоб не ходил: не поджег бы».

— Ну, и что же дальше? — спросил Караулов.

Пришел я домой, его нету. Пришел в полдень. Сел шить.

«Мне, — говорит, — доктор велел курей есть. Ты вели мне куру сварить».

«Ладно, — говорю, — скажу». А сам думаю: испортит поддевку. Надо слушаться...

«Ну, поддевка готова».

Примерил. Пуговицы еще не пришивал. Опять на вино просит. «Хорошо, — говорю. — Пришей ране пуговицы. И получай расчет. А неча время тянуть».

«Немножко, — говорит, — в рукавах переставлю».

Гляжу: рукав выпорол и... ушел.

Утром встал я и к соседу иду. Гляжу: портной спит. А у соседа ведро с водой стоит. И караси в ём пойманы. Я взял это ведро с карасями и полил портного. Он как вскочит, глаза вытаращил...

«Это чего? — кричит на меня. — Какое ты право такое имеешь?»

«Иди, — говорю, — сейчас, кончай поддевку. Я тебе право дам, как в Покрове...»
Смирный стал.

«Чего, — говорит, — пойдем».

Через час поддевка — готова. Получил расчет... Вот ведь война с портным... Что поделаешь?

— Ну, приходил он к тебе опять? — спросил Караулов.

— Нет, — ответил Герасим. — На станции, в трактире, говорил: «У вас тут работать невозможно никак. Я на Вологду поеду. Там народ простой, уважают работу. А у вас тут прямо в морду лезут. Тут никакого полного права нет».

— Ну и портной! — смеялся Караулов.

— Да, — сказал Герасим. — Терпишь, терпишь — терпежка вся выходит. Как быть?

— А все же он тебе поддевку сшил хорошо? — спрашиваю.

— Сшил... Только — хоть брось. В рукавах сузил, жена перешивала. Да... А вот что у Казакова вышло... Приехал, значит, к ему на охоту его знакомый. А Казакова дочь — пятнадцать лет. Вот этот знакомый его и начал к ей приставать. В коридоре поймал — целует. Казаков-отец и думает: «Ну и гость!» Что делать? На охоту пошли. Вернулись. То-сё. Он ночевать у его остается. А Казаков набрал муравьев в лесу в мешочек. Эдаких рыженьких — зло кусаются, да ему, сонному, в постель насыпал. Что было... Вот ругались. Прямо война. Казаков говорит: «Кипятком от муравьев хорошо. Очень пользительно!» И плеснул. Гость домой, на станцию скорей... Я его вез. Вот он всю дорогу выл... В суд грозился подать.

— Ну, и что же? — спросил Караулов.

— Нет, не подал. Он женат ведь. Ну, неловко выходило. Боялся — жена узнает.

— Вот так история! — смеялся Караулов.

— Да, так, ведь и история... Гость — писарь на станции Узловой, в Москве, а Казаков — лавочник. А ежели бы эдако дело у царей вышло? Войны б не миновать!..

Сидевший в стороне, за столиком, приятель мой, охотник Павел Александрович Сучков, слушал эти разговоры, молчал и набивал патроны для ружья. Потом, обернувшись, сказал серьезно:

— Дурацкая штука — не хитрость. Поддевку не сшил, ерунда какая... Война — дело серьезное, не зря она бывает. Слушать вас, уши вянут.

— Ну, скажи, Пал Лисандрьч. Пошто война выходит? — спросил Герасим.

— «Пошто», «пошто»! По то! — сердился Павел Александрович... — Вот, положим, ты едешь на Кавказ, в Тифлис, по делу. Горы, конечно. А дорогой тебя по башке камнем с горы «раз»... Что ты тогда скажешь? Другой едет, камнем по башке «раз»... Кто ни едет! В посту ты чай с изюмом пьешь?

— Как же! — ответил покорно Герасим.

— А изюм где растет? На Кавказе. Везут его оттуда купцы, а их по башке камнем «раз». Как ты торговать будешь?

— Да уж какая тут торговля, ежели по башке, — ответил Герасим.

— Так вот понял? А там, на горе, Шамиль сидит. Понял?

— Чего ж не понять? — соглашается Герасим.

— Ну и что же? Тогда как? Без изюма чай пить будешь?

— Да как ты его уговоришь? Ему с горы-то сподручно.

— Ну, вот и война... Понял? Кавказ-то у него и взяли... Понял?

— Чего тут не понять? Всякой поймет.

— Ну, так вот отчего война бывает, — объяснил Павел Александрович и опять отвернулся набивать патроны...

За окном сеялся мелкий дождичек...

В деревенской глуши

Поздняя осень, утра туманные. Серые тучи нависли над опавшим садом. Траву дорожек — бурая. Мокрая от дождя, зеленая скамейка резко выделяется среди потемневших лип. В обнажившихся ветках сирени у окна моего дома чирикают снегирь. Они такие толстенькие, веселые, в красных жилетах. Снегири ждут снега. Их летом как-то и не видно, а поздней осенью держатся около дома, в саду, точно бы хотят повеселить человека. Радуется душа живому дыханию в ненастной осени...

Вдали у ржаного поля дымит темный овин. В серые ворота идет тетенька Афросинья в полушубке, в красном платке, несет мне крынку молока. Бурая корова моя, увидав тетеньку Афросинью, подняла голову и замычала — сказала что-то по-коровьи и пошла за ней.

Тетушка Афросинья вошла ко мне и, поставив на стол крынку молока, сказала:

— Тепло ноне, а все дождит, может, к вечеру и разгуляется, а то дождь надоел...

Я говорю ей:

— Тетенька Афросинья, а чего это тебе корова промычала?

— Да как же. Ведь она носит... скоро разрешится — не дойная. Значит, все это и сказала. Тоже ведь она — своя, знает, что я с ней заодно. Я теленка от нее приму. Как же — что и мы родим. Тоже я помню, когда я родила Ваню, рада была, хвастала, сын... Да Бог прибрал к себе... Вот как! Горе! Да, знать, Ему тоже надо...

— Кому надо-то? — не понял я.

— Да Богу-то.

— Значит, надо... Судьба.

— Знать, спят Левантин-то Лисандрьч, — спросила Афросинья про Серова, который гостил у меня, — и доктор Иван Иванович?

— Должно быть, спят. А что?

— Так он вчера с Феоктиста списывал в картину — у телеги стоял Феоктист. И лошадь тут же, ну эта, опоенная-то, хромая. Хворост лежал. А Феоктист новый картуз надел. А он ему и говорит: «Почто новый картуз, не надоть, — говорит, — надень шапку старую». А та рвана шапка-то... И рыбака Константина тоже списывал. Тот-то ин оделся чисто. А Левантин Лисандрч его и прогнал. «Иди, — говорит, — оденься, как был раньше, эдак в чистом мне не надо». Тот переоделся, а норовил сапоги новеньки. Опять прогнал. «Не годится, — говорит, — мне в сапогах, надевай, как ране был, — лапти». Константин-то говорит: «Срамота какая!.. Не охота, — говорит, — списываться, народ на картинке на меня поглядит, чего скажут!..» А ему Левантин Лисандрч: «Я не скажу, что с тебя списывал». Ну, тот согласился. «Списывай, — говорит, — только не сказывай, что я...» Списал. И вот прямо вот как живой. И срамота глядеть — рваный тулупишка, портянки грязные, лапти, нос в табаке... «Зря, — говорит, — меня не в новом списал, в сапогах...» А тот сознался, говорит: «Ошибся я». Сейчас, — сказала Афросинья, — самовар подам. Поди, уж ваши-то встают. Василий на крыльце рыбу чистит, карасей пымал.

Валентин Александрович Серов пришел к чаю грустный, посмотрел в окно на небо, сказал:

— Опять соизволил дождичек, мелкий такой, осенний, иди... Не придется мне дописать.

Подошел к барометру, стукнул его.

— Да-с, на дождичек заворачивают они... — показал он на барометр.

Вошел тоже и доктор Иван Иванович, причесывая баки гребешком. Посмотрел на барометр, потом на картину Серова, которую тот поставил на мольберт.

— Феоктист хорош... ну и рожа!..

— Обиделся на меня, — сказал Серов, — отчего я его в новом картузе не написал. Рыбак Константин тоже... Хотят все франтами быть, оба недовольны.

Валентин Александрович Серов не был охотник, а ходил с нами за компанию и удивлялся, почему я с охотниками-крестьянами в дружбе. Я любил Валентина Александровича — у него был острый ум. Часто он у меня гостил и целый месяц как-то рисовал ворон. Рисунки его были превосходны. Рисовал зайца моего ручного и все удивлялся, как он вертит носом. Говорил:

— Пишу портреты всё, — нужно! Такого недавно писал — глазки хороши!.. Что делать, надо...

Он был учеником Репина и его обожал. Живя у меня в деревне, он как-то никогда не говорил с моими приятелями — охотниками-крестьянами. Удивлялся мне, как я могу с ними жить. Это меня поражало. Я так и не понял, в чем дело. Серов говорил про мужичков: «Страшенький народец!» А я этого не замечал. Мне довелось встречать много людей, которые были совершенно чужды мужикам. А я чувствовал себя с крестьянами как с самыми близкими родными.

Однажды были мы с Серовым в гостях у охотника-крестьянина Герасима Дементьевича в Букове. Герасим Дементьевич, по обыкновению своему, все посмеивался.

Серов после сказал мне:

— А знаешь, этот твой Герасим — особенный, он умный.

— А, что! — обрадовался я. — Видишь, понял.

— Да. Смеется он хорошо, — сказал Серов. — Над нами смеется. Что он о нас думает? Интересно бы знать.

Когда пришел Герасим вечером, я его и спросил за обедом:

— Что ты, Герасим Дементыч, об нас понимаешь?

Герасим застенчиво улыбался.

— Чего говорить, Лисеич, — ты выдумашь! Что я могу понять в этом, в деле вашем. Дело трудное — нам не понять... Думаю так, что ученье, конечно, знать, так надо — дело господское. Ну, и удивленье у всех у нас — пошто вот сарай гнилой Левантин Лисандрыч списывает с краю в деревне. Все, вестимо, думают — пошто это списывать надо?..

Серов слушал, опустив голову, потом сказал мне:

— Ну вот как ты объяснишь, ну-ка?

— Вот, — говорю, — жизнь, деревня. За сараем лес, луг зеленый, книзу дорожка спускается, там ручей — дно видно, песочек... Хорошо. Место раздольное.

— Верно, — сказал Герасим. — Когда я в Переславль езжу, ну, город хорошо, а домой приеду — лучше. Только кто такую картину возьмет, с сараем-то. Скажет: чего сарай — худой, кому надо?..

— Он совершенно прав, — сказал доктор, подняв палец. — Гораздо лучше — написать реку. За лесом выходит месяц, отражается в воде, синий лес вдали...

Серов, опустив голову и глядя на меня исподлобья, спросил:

— Почему лучше?

— А потому, — сказал Иван Иванович, — что есть романс, поэзия, а в гнилом сарае ее нет.

— Ну, как сказать! — возразил Серов.

— Так чего ж, ваше дело, пиши што хошь, — сказал Герасим. — А вот бы списать, как глухарь по весне токует. Вот я видал эту весну, на суку сидел он, утром его солнце маленько осветило, так он то синий, то малиновый — вот краса какая! Я думал — вот бы тебе, Лисеич, эдакую картину списать, охапку денег бы дали. Я глядел, рот открымши, ей-ей. А он и улетел. Я и стрельнуть забыл, загляделся, значит. Ну, рад... пускай улетел, его счастье.

— Вот бы еще как картину надо бы написать, — сказал сосед мой Феокист. — Первое, значит, — младенца мать в люльке качает, не спит. А другой рукой веретено вертит — жисть крестьянская. Другая картина, значит, — младенец вырос: парень молодой, товарищи его учат: водку пить и табак курить. Третье — женится, дети у его, а он дело бросает, на гуляньице поступает, опять же водка... Потом еще картина: он же в блуд поступает, ера кабацкая становится, по трактирам, кабакам шляется, за девками в блуд ударяется, глаза вертятся, жулит. А кругом его — черти пляшут, радуются... Вот бы эдакие картинки-то списать. Пользительно.

— Эк ты, — вздохнул доктор Иван Иванович. — Блудницы!.. А без блудниц-то не прожить. Раз они есть, значит, нужны, а то на честных бросаться будут.

— А в деревнях у нас нету, — молвил Герасим, — у нас убьют...

— Пожалуй, убьют, верно, — согласился Серов.

— Народ дикий... — сказал доктор Иван Иванович.

Герасим засмеялся.

— А скажите, Герасим, — спросил Серов, — чему вы смеетесь?

— Да ведь чудно, Левантин Лисандрыч, — пошто они нужны, блудницы-то?.. Господам утеха. Нужны... чудно больно! Кому нужны они, блудницы-то? Да что вы!

Стоя в дверях, слушая, рыболов и слуга мой Василий Княжев тоже, как-то шипя, засмеялся и сказал:

— В городах-то шпаны много, — она заодно с хипесницами работает. Вы-то — господа, не знаете... А у нас в Москве, на Хитрове, знают. Я видал такого: барин, говорили — ученый. А у его жена. Она-то не жена, конечно, а так. Он-то кот, а она с ним работает заодно. Он ее наводит, на кого стрелять. Кто подурей, она сейчас охат, на мужа жалуется... Тот-то, подурей, и думает, что она в его влюбившись, — ну, и к деньгам дело идет. А было и такое, один ловкий такой, молодой, рассказал. «Я, — говорит, — в полюбовниках у одной был. Красивая была. А у ней муж. И вот он на меня прямо облаву устроил. Сколько я из-за нее мук натерпелся, в жулики попал. Да. Судили меня. Пришлось сознаться, хоша ничего и не воровал. Когда в окно залезал — поймали. Нельзя было сказать правду... Потом узнал, что она-то, самая, мужу и сказала, будто я браслет и кольца у нее украл и еще к окну добираюсь. А из-за чего? Она-то в то время другого себе любовника завела, помоложе, на его браслет и кольца свои потратила, а меня научила, чтоб в окно залез... Тут-то меня и сцапали...»

...По двору шла тетенька Афросинья. Бурая корова моя опять замычала — опять ей что-то по-коровьи сказала. Тетушка Афросинья остановилась, что-то ласково ответила и участливо покачала головой.

Шарук

Помню, в России — и в городе, и в деревне — «собака» было ругательное слово. Говорили: «ах ты собака!», «собака лает — ветер носит», «что с ним, с собакой, говорить...», «собаке — собачья смерть». Так выходило, что собака — что-то позорное. Вообще, к собаке не было внимания.

В деревнях собаки зиму и лето жили на дворе и назывались «дворняжки». В избу, в дом, их никогда не пускали. Считалось грехом: нечистое животное. Кошка — другое, кошку можно держать в доме, а собаку — грех.

Большую часть дворняжек называли Шарик, Волчок, должно быть, потому, что когда спит дворняжка, то свертывается в клубочек и похожа на шарик. Ласковая собака была дворняжка.

Шарик в стужу, в зиму холодную, в мороз, спал где попало. Свернется шариком, сунет мордочку в живот и спит на снегу. Ему и тепло. Кормят Шарика или нет, а он все живет, сторожит дом, лает, много лает. Так и говорили про Шарика: «Пустолайка». Били Шарика ногой куда попало — не лезь! Били чем попало. Сказать по правде, отношение к собаке у нас было плохое, жестокое, несправедливое. Ее не чувствовали, не видели, не понимали величия собачьей души, преданности ее чистого собачьего сердца. Дворняжка — и только. Некогда было любить собаку... Жизнь трудна, заботы много, нужда, незадача, злоба, пьянство, горе — до собаки ли тут?

Шарик это все понимал, видел, все чувствовал — и нужду, и досаду хозяина, видел горе и неразбериху жизни, понимал, переносил побои, терпел.

Он любил человека настоящей любовью с самых детских своих лет. Едва только прозрев, щенком маленьким, вилял хвостом и ковылял на нетвердых лапах к человеку. И все было для родившегося только что щенка Шарика не важно — даже мать.

Только один высокий долг — стремиться к другу своему — человеку, и в радости вертеть хвостом, видя своего великого любимого друга, своего бога.

В общем, дворняга Шарик был похож на северную лайку. Острые ушки, пестро окрашенный, темный в спине, белая грудь, каряя мордочка и хвост... замечательный хвост — крючком, лихо закручен, как крендель, пышно и круто завернут на спину. На лапках как бы надеты белые чулки. Лихие морозы, русские, были Шарикуну ни-почем: зимою он был богато, плотно покрыт мехом. Ночью Шарик не спал — сторожил дом. Если кто ехал по деревне, Шарик бежал к подворотне — облаять проезжего, так сказать, прогнать.

И Шарик уверен был, что он прогнал от дома чужих людей.

Ночью на двор, в дом никого не пустит, и много надо было хозяину уговаривать Шарика и ругать его, чтоб он впустил в дом. А то Шарик еще и под ноги бросится и укусит. «Нечего пускать чужих, живите, мол, сами хорошо, не ругайтесь». Собаки ведь не любят, когда в доме ссора, они омрачаются душой и делаются печальными. Когда Шарикуну скажут, что гость свой, то он успокаивается понемножку, но все же ворчит. Не верит посторонним.

Собака несла службу и была верна хозяину.

Однажды, мальчишкой шестнадцати лет, я гостил у тетки в Вышнем Волочке. Ходил на охоту, но собаки не было у меня. А без собаки — какая охота.

И вот мой приятель, охотник Дубинин, немолодой, с которым я ходил на охоту, подыскал мне собачку — у приятеля своего, тоже охотника. Собака прозывалась Шариком.

Дубинин жил в маленьком домике, на самом краю города. Сказал мне, что завтра приведет собаку. Выпросил я у тетки три рубля — надо отдать за собаку, — всю ночь не спал от радости: собака будет у меня, я буду ходить с ней на заводское водохранилище — большое озеро, буду лазить по камышам. Уток там сколько! Гуси есть. И — кукуля.

— Кукуля вечером кричит, — говорил мне Дубинин, — кричит по-человечьи. Но застрелить ее никто не может. Ее никто не видал.

«Ну, — думал я, — Шарик выгонит кукулю — посмотрю на нее, какая она».

Дождался утра и пошел к Дубинину. Долго у него дождался. Наконец пришел приятель Дубинина и привел на веревке Шарика. Собака была дворняжка.

— Ты не гляди, что она дворняга, — сказал мне Дубинин. — Она так за утями гоняет, что сеттеру-гордону не удаст. А тетеревьев крадучи покажет. И зайца гонит — чего тебе еще?

Хорош Шарик — как игрушка! Смотрит на меня. Мы по рукам ударили — я купил собаку. Дубинин за водочкой послал. Даю три рубля. Шарик смотрит. Я ему миску молока налил, хлеб крошу, а хозяин его ушел. Смотрю — не ест Шарик, на дверь смотрит — хозяин ушел... Как быть?.. И повел я на веревке Шарика домой, к тетке.

— Шарик, Шарик, — говорю ему, — на охоту пойдем.

Глажу его дорогой. Привел на двор к тетке, отвязал с шеи веревку, а Шарик к калитке, носом отвернул ее да бежать. Я за ним, бегу по улице, в отчаянии, чуть не плача, кричу: «Шарик! Шарик!» Изо всех сил бегу, замучился. Остановился у забора, и Шарик, смотрю, тоже остановился и смотрит на меня. Я иду к нему и говорю:

— Шарик, Шарик, зачем ты ушел?..

Подошел к нему, погладил по голове, говорю: «Шарик, милый мой Шарик, пойдем ко мне, пойдем, пожалуйста... Я на охоту с тобой пойду».

И Шарик пошел со мной. Я его кормил на кухне молоком, щами, баранками. И Шарик ел.

Когда я лег спать, Шарик свернулся около меня колечком на полу и, когда ехали дрожки мимо дома, стуча по мостовой, потихоньку заворчал. Шарик понял, что он продан мне, и не отходил от меня, сторожил.

* * *

Когда я проснулся утром, Шарик, как-то ровно поставив ушки свои и, встав белыми передними лапками на постель, весело и пристально смотрел на меня темными глазками. Когда я стал одеваться, Шарик радовался, прыгал. Вдруг сел на задние лапы и, сидя, махал передними. «Это его выучили, — с неудовольствием подумал я. — Это он служит. Зачем? Охотничьих собак не учат служить».

Я оделся и вышел с Шариком на крыльцо, он весело прыгал на дворе и сразу сделался приятелем кучера и дворника. Он был с ними как будто давний знакомый.

Но, когда я вернулся в дом к тетке, к чайному столу, и моя тетка хотела погладить Шарика, он заворчал и зло оскалил зубы...

— Какую ты злую собаку купил! — сказала тетка.

Она взяла кусок сахара и хотела дать Шарiku. Но тот не взял сахар и опять зарычал.

— Какая дура собака! — сказала тетка. — Она и не охотничья вовсе, таких не бывает охотничьих собак. Ты не держи ее здесь, пускай на дворе ее дворник привяжет. Злая, дрянная собака.

Думаю: за что Шарик невзлюбил тетку? Огорчился. Пошел я в свою комнату наверх, надел высокие сапоги охотничьи, взял ружье, патронташ и сказал: «Пойдем, Шарик, на охоту». Шарик прыгал от радости.

Пришел на край города в домик к охотнику, к приятелю своему Дубинину. Тот только что вернулся с охоты.

— Посчастливилось, — сказал он мне. — Взял на озере шесть кряковых да пяток чирков. Доход есть, продать надо.

Сидя с ним за чаем, ели пеклеваный хлеб, особенный, вкусный. Возьмешь в рот, а он весь мнется, внутри пустой. Такого вкусного хлеба и в Москве не было.

— Вот что, Костя, — говорит мне Дубинин, — поедem в лодке по реке Тверце до Осеченки, там охота хороша, утей много, красота — река! По берегу камыши, лесочек. Отмели — рыбы много. Я раз козу видел там дикую, не стрельнул — жалко было. Ведь это что — коза с козленком! Это из Тарлецкого большого леса. Говорят, там и олени есть. Охота там запрещена строго-настрого. А меня-то сторож пущает — только коз не стреляй. Там царская охота бывала, глухарей што!..

— Тетка моя Шарика дома держать не велит... сказала, чтоб привязали на дворе. Как быть? Невзлюбил ее Шарик, все ворчит на нее, — говорю я в огорчении.

— Вот ведь что!.. — удивился Дубинин. — Есть это в их, в собаках. Собака — глядеть собака, а она что: она знает, чего мы не знаем... — Дубинин серьезно посмотрел на меня. — Невзлюбил тетку твою Шарик, а кто ее любит? Ведь вот Прохор, у кого Шарика-то купили, и я знаем твою тетку-то, все знают. Тоже носили ей дичь. Она берет, вот торгуется... чисто ворованное принесли! Прислуга говорит вся — она

твою дядю-то заморила, заругала всего. Он всегда в расстройстве был через ее, всегда скушный, сам не свой. Жил с ей он, а потом женился и помер, сердяга, сразу после обеда. Какая еда — в душу не лезет. Она-то дело крестнику его отдала, он портнов сын был, сирота, без дела шлялся. Там шахи-махи были у них с теткой. Ну, тебе чего говорить?.. мал еще. А собаки-то все видют — где что. И богатство бывает, а жисть срамна — собака эдакая, Шарик, жить не будет, уйдет. Вот за озером, там помещик богатый, имение его. Тоже по охоте меня к себе зовет. Говорил так: каких собак заведет — не живут, уходят. И чего — он дивился — понять нельзя. А у его жена с полюбовником играла. Мы-то знаем. У него чисто покойник в доме завсегда. Скушно... Ссора дома, неудовольствие, все, что муж ни скажет, — все не так. Уж какая жисть! Нутро жисти гнилое, — кому надо? Собаки не живут. Не любят дома такого, а... убегают.

«Вот какая история, — подумал я. — Тетка моя — вдова». Бабушка моя что-то тоже недолюбливала ее. Никогда у нее не бывала и к себе не звала. А меня тетка всегда приглашала к себе гостить, и картинки, которые я писал в Волочке, брала себе и дарила их знакомым своим. Рассказы Дубинина почему-то глубоко меня огорчали. Я не понимал, что в жизни есть такие странные вещи. Моей юности не было это понятно...

* * *

Вечером мне говорит тетка, показывая фотографию какого-то толстомордого человека в мундире, и на шее у него медаль.

— Это, — говорит, — был друг твоего дяди. Это его крестник. Вот что, Костя, можешь ты списать с карточки его портрет, небольшой...

— Могу, — говорю я, — только лицо неинтересное, противное.

Тетка покраснела и сказала:

— Ничего не противное, что ты! Человек этот умный, деловой. Я тебе заплачу пятнадцать рублей. Небольшой сделай портрет, только постарайся.

— Хорошо, — соглашаюсь я, — только деньги вперед. Я хочу в деревню Осеченку уехать, там я буду писать, охотиться. Это первая станция от Волочка.

— А когда ты хочешь ехать? — спросила тетка.

— Да вот, соберусь сейчас да поеду. А то Шарик не хочет тут жить у тебя, тетушка... Скучно тут. У тебя словно покойник в доме...

Тетка пристально посмотрела на меня, вышла, принесла мне деньги и сказала:

— Ты все же напиши оттуда, и матери пиши, не простудись. Вольный ты очень мальчик, странный. Не смотрят за тобой, избаловался.

Я живо собрался, захватил с собою краски, всю свою муру, и тетка дала мне лошадь доехать до Дубинина.

Несказанно я был счастлив и рад, когда мы ехали на лодке по реке Тверце. Какие берега, отмели, камыши, луга, леса на берегу!.. Какая красота, воля!

— Вот когда подрастешь, — сказал мне Дубинин, — жениться будешь, смотри — осторожно бабу выбирай, а то на проныру, пройду попадешь...

— А что такое «пройда»? — удивился я.

— Не знаешь... Позже поймешь, — строго сказал Дубинин...

Мы остановились на бережку, развели костер. Шарик и Дианка рады. Дубинин захватил сеть, мы с ним разделись, полезли в реку и стали заводить сеть в камыши. Наловили рыбы, в котелке кипела уха. Ясное, благодатное утро...

Утенюк

Москва. Уж ноябрь месяц. Скучно. Облетели все сады. Короче день. Открылись театры. Едут в пролетках дамы, туго обвязанные капорами. Едут в театр.

Поздно: уж ночь. Сажу я у себя на Мясницкой улице, рисую костюмы для оперы «Садко» и к балету «Спящая красавица». Вижу перед собой то Ильмень-озеро, то прекрасную Францию: Версаль. Так непохоже одно на другое. Поморы, Архангельск, синие волны Ледовитого океана, берега озер, седые ели, сарафаны поморок, туеса, причудливые, дивные деревянные церкви Севера, башни Соловецкого монастыря — и узоры версальских садов.

Ночь. На часах пробило четыре. Все рисую. А в окно бьет дождь. Скучно: осень. «Боже, сколько рисунков!» Часы бьют пять... В звуке часов старинных есть какой-то далекий край... Раздеваюсь, ложусь спать, а в глазах все костюмы, узоры...

Утром проснулся — в окне опять дождливое небо. Вдали видна Сухарева башня. Одеваюсь. Сегодня надо работать декорации. Смотрю рисунки, пишу на них названия действующих лиц, из какого материала их делать. Сегодня, думаю, заеду в контору и отдам. Считаю: сорок два. А надо двести.

В театральной конторе чиновники сидят, пишут, уткнув носы в бумаги, сердитые.

Вхожу к управляющему Конторы московских театров. Подаю ему рисунки костюмов для «Садко». Он скучный такой сидит. Передаю ему рисунок за рисунком. Он кладет сбоку рисунка штемпель. Я говорю: «Волхова», «Индийский гость», «Варяжский гость», «Венецианский гость». Наконец — «Царь». Он останавливается и смотрит на меня сквозь очки и говорит: «Морской?» — «Ну да, — говорю я, — конечно, морской. Это видно: зеленый, чудовище». — «Ну да, — говорит он. — А у вас тут сверху написано “царь”. Нельзя же». Он берет перо и пишет на моем рисунке, перед словом «царь» — «морской».

— Послушайте, — говорю я ему. — Ведь на каждом рисунке у меня написано: «Опера Садко».

— Да, — говорит начальник, — конечно, но все же лучше пояснить.

Вышел из конторы. Тоска. На улице серо, дождь. Иду пешком до Трубной площади — решил позавтракать в «Эрмитаже». Вижу: сидит за столиком Михаил Провыч Садовский. Я сажусь с ним.

— Селянка хороша сегодня, — говорит мне Михаил Провыч. — Погода — тощица, ноябрь!.. До спектакля буду сидеть здесь. Играю сегодня. Знаешь, мой младший сын верхом, вот уже неделя, уехал из Москвы. Ау!..

— Куда же? — спрашиваю я.

— Да в Крым... Что с ним сделаешь: молодость. И ни телеграммы, ни письма. Как они не понимают — беспокоюсь и я, и мать. Да что? Сердца мало. Такая теперь молодежь. Главное — какой ездок? В первый раз поехал. И далеко ведь — Крым...

— Ничего, — говорю я отцу. — Он — ловкий, молодой!

— Да ведь я ничего не говорю. Пусть едет. Ничего не запрещаю, делай что хочешь. Новые люди... На днях артистка одна была у меня. Молодая. Так говорила мне,

что в «Горе от ума» она хочет реабилитировать Молчалина, так как Молчалин гораздо лучше дурака Чацкого. «Что ж, — говорю ей. — Валяйте, дорогая: теперь ведь все по-новому нороят. Мы уже в сторону, не нужны, старые».

— Ну, какая ерунда, — говорю я.

— Да, вздор, говоришь? Нет, не вздор! Скучно, брат, жить становится...

— Герой! — крикнул он вдруг половому.

К Садовскому подбежал маленького роста белобрысый половой. Почему он называл его «герой»?

— Принеси-ка порционную, — сказал ему Садовский, — да селедку.

Половой живо принес рюмку ему.

— Вот и живу, — продолжал Садовский. — Играю. Не знаю хорошо — помогает ли театр-то людям? Резон, понимаешь ли, резона мало в жизни. А жизнь — хороша! Как хороша!.. Вот, зима скоро... Люблю я зиму. Душевная зима у нас в Москве. Едешь на санках, в шубе... Хорошо! В окнах — огоньки светятся. Так приветливо. Думаешь: в каждом окне там жизнь. Любовь. А войди — ерунда все. Резону нет. Не понимают театра. Театр истину говорит. А от него хотят развлечения... «Весели меня, сукин сын, ты — актер...»

Садовский выпил рюмку водки.

— Вот я люблю, когда галки летают. Кучей кружатся, садятся на кресты церквей... Хорошо живут!.. Вот ведь галка не полетит в Крым? Не надо. Ей и здесь хорошо. Чего лучше Москвы? А вот молодежь, новое искусство... Молчалина реабилитируют! Пойми. Эхма!.. Был я за границей, нет там снегу. Вот как у нас теперь: дождик и галок нет. Так я соскучился по Москве — ужас! Уехал... Когда станцию пограничную Эйдкунен переехал, вот до чего обрадовался!..

— Герой, — снова крикнул Садовский, — ну-ка, принеси мне поросеночка холодного.

— От погоды, — говорю, — Михаил Провыч, настроение у вас мрачное.

— Нет, брат, что погода? Я погоду всякую люблю... Сын уехал очертя голову. Ни телеграммы, ни письма. Все равно, что отец страдает. Горя мало... Новые люди!.. Ты — тоже молод. Охотник! Уйдешь на охоту — а мать дожидайся, в окно смотри... А знаешь, и я ведь охотник был. Как-то в Петров день на охоту поехал. Знаешь Большие Мытищи? Молод был, как и ты. Приехал в Мытищи и пошел к Лосиному острову по речке Яузе. Болотце. Уток там на бочагах много. Заросль, осока. И собака у меня — пойнтер. Веста звали — сука. Она, это, по осоке причуяла и выгнала — крякву. Вылетела кряква, кричит, летит и падает по бережку, падает, — понимаешь? Я думаю: что такое? Раз! — и убил... крякву-матку. Тут я понял, что она это падала по берегу, чтобы мою собаку Весту отвести от выводка, от своих детей. Сел я на берегу бочага, на травку, а близко от меня Веста бегаёт, в осоке, по воде, и утят ищет. Вдруг вижу — из осоки ко мне на травку выглядывает большой утенок, кряковый. Ее утенок. И, увидав меня, прямо ко мне идет. Я притаился — прямо не дышу. А утка убитая лежит около меня — прямо около. Он подошел ко мне вплотную и сел около меня, около матери своей — утки-то убитой, сел и на меня глядит. Я тоже гляжу на него, и вдруг мне сделалось, понимаешь ли, так жалко его, так противно и подло. Что я наделал?.. убил его мать. А она так хотела увести собаку, спасти детей... Понимаешь ли — когда вот написано в меню: «утка», всегда я вспоминаю это подлое мое преступление... С тех пор, брат, не ем утки. Я так ревел, когда этот дикий утенок глядел на меня: глазенки у него были жалкие, печальные!.. Ты, наверное, думаешь про меня: «Дурак, сентиментальный старик...»? Как хочешь. А я не могу. Бросил, брат, я охоту... Как вспомню утенка, у меня сейчас

слезы подходят. Поверь мне: я не притворяюсь... Ушел я с охоты и утку оставил, не взял. А утенок так и остался сидеть около нее. Думаю: как быть? Тяжело мне... что я наделал? Зашел в Мытищах к Гавриле, мужику, он по охоте был там сторожем, с господами-охотниками ходил. «Вот, — говорю ему, — какая штука со мной случилась». А он смеется. Потом видит, я плачу. «Стой, — говорит, — барин, — я дело поправлю. У меня утки есть дикие, приученные. По весне беру утку, на кружок сажаю, на болоте, на воде. Она кричит, к ней селезни летят, женихи, понимаешь, а их из куста охотник и щелкает. Так вот, я возьму ее и к нему, к утенку, и пущу. Только покажи мне место, где у тебя утка убитая лежит...»

Взял Гаврила утку в корзину, и мы пошли скорее с ним туда, на болото. Подвел я его, глядим из кустика — утка лежит, а около нее, прижавшись... утенок. У меня опять схватило... плачу. Ты не подумай, что я пьян был. Я тогда ничего не пил... Гаврила говорит мне тихонько: «Садись». А сам вынул из корзинки свою крякву да и пополз вниз, к болоту. Подполз к самой крякве, утку свою подпустил к утенку, а убитую мигом за пазуху. Его-то утка обрадовалась, прямо в осоку на воду да орет, — утенок за ней. А у меня прямо будто сняло все... «Ну, Гаврила, вот спасибо!» Целовал я его. А он смеется. И говорит мне: «Ну и барин ты, чуден. Этакое, — говорит, — первый раз вижу».

Дома у него мы выпили — угостил я его... Приезжал в Москву ко мне, смеется всегда надо мной. В театре был. Слушал меня. Советовал мне это дело бросить. «Пустое, — говорит, — дело. Барин ты молодой, добрый, займись другим. Ну торговлей, что ль. А то что это — преставлять? Людев передразнивать?» На охоту звал меня. «Пойдем, — говорит, — носатиков стрелять, дупелей. Тех, — говорит, — не жалко: она — дичь прилетная, а вкусна».

Нет, не пошел на охоту... Вот с Костей Рыбаковым, у него на даче, у Листвян, так в речке там лещей ловили на удочку. Он любитель. Целый день на реке живет: все ловит рыбу. Интересная штука. Тоже и я поймал лещей. Ну, жарят их — и увидал я, это, понимаешь, на грех — как они на сковородке чищенные лежат, жарятся. Смотрю — а один еще дышит... Я опять расстроился — не мог есть. Вот какая штука со мной... Потом прошло...

— Герой, — крикнул Садовский.

Подбежал половой.

— Ну-ка, дай мне белужки. Знаешь: с жирком. Да рюмку — порционную. Живо. Половой принес и налил из графина большую рюмку водки.

Садовский взял на вилку кусок белуги, положил хрену, опрокинул рюмку водки в рот и закусил.

— А знаешь, — продолжал он рассказ, — наш полицмейстер Александр Петрович Огарев: человек — сажень росту, смотреть — страх берет, а и вот — курицы не ест. «Подло, — говорит, — потому что у курицы — яйцо едят, цыпленка ее, — и ее едят...» Так вот он кур не ест, а яйцо вкрутую ест. Разрежет яйцо, а наверх килечку. Понимаешь? Закуска — настоящая.

Садовский лукаво прищурился и снова крикнул:

— Герой.

Подбежал половой.

— Ну-ка, дай яйцо мне вкрутую. Скажи Егору Ивановичу, чтобы анчоус. Понял?

— Слушаю-с.

— И порционную не забудь.

Сам Егор Иванович Мочалов несет на блюде закуску: нарезанные крутые яйца, майонез и анчоусы.

— Видишь? — говорит Садовский. — Ем. И рыбу, и яйца — не жаль. А утки не могу... Как меня утенок-то шаркнул, по совести самой... Э, брат, есть штучки: «Мстят сильно иногда бессильные враги... Тому примеров много знаем...»

— Я был у Гималаев, — улыбаясь, говорю Садовскому. — Индусы не бьют ни птицы, ни рыбы. Может быть, мы оттуда пришли?.. Индусского происхождения. Вы, Михаил Провыч, немного похожи на индуса.

— Ну, что ты? — удивился Садовский. — Это еще что? Какой же, батюшка, я индус? Подумай, Егор Иванович, ну что он говорит?

— Все может быть, — ответил Мочалов.

— Ну, это вы бросьте... Я — русский. Вы еще скажете кому. Вот меня индусом и прозовут. Вы знаете театр — им только скажи!.. И чего ты только выдумаешь. Какой же, батюшка, я индус?.. Садовский? Само название-то говорит: садовники были. Тогда бы у меня было имя другое. Какое-нибудь «Махмед», а не Михайло.

Он махнул рукой и обратился к Мочалову:

— Вот что, Егор Иванович, отведи-ка мне кабинет. Я посплю на диванчике. А то ведь мне сегодня играть... Островского. Лицедействовать.

Михаил Провыч встал и сказал:

— Чудак ты, право. Конечно — художник... Фантазия! Только ты в театре не говори... Индус... Актеры сейчас подцепят.

Он протиснулся со мной и пошел по коридору — «поспать на диванчике».

Испания

Вагон третьего класса. Много народу. Пестрая, грязная толпа пассажиров. Все едят. Хлеб, творог, яйца. Чем-то похоже на русских крестьян. В окна видна иная природа. Громоздятся горы... Серые, каменные, не похожие на горы, которые я когда-либо видал. Иногда дивишься: как не упадут эти скалистые вершины, нависшие одна над другой? От подножия их кверху склоны покрыты выжженными травами, лесом, пихтами. Кое-где белые, узором бегущие дороги. Огромные каменные сениые сараи, покрытые черепицей. По дороге едут запряженные четверней экипажи, похожие на черную бочку.

У дверей вагона — солдаты с винтовками. Сидящие против меня испанцы, одетые в грязные серые плащи, достают из мешка хлеб, сало, сухое мясо, лук. Открывают вынутый из рукава тонкий, длинный нож и режут им еду. Едят молча, сурово. Женщины что-то часто говорят. Одеты пестро: на головах и на плечах большие платки, кончающиеся узорами — круглыми шерстяными шариками; много черного цвета. У мужчин на ногах род опорок, над ними как бы онучи, перевитые ремнями; от колен, сбоку, висят большие кисти. Груды полуоткрыты. Видны грязные холщовые рубахи. Красные широкие пояса. Желтые суконные рейтузы... Странно! Но почему эти совершенно другие люди похожи на русских?

Выйдя на станции, я купил хлеб, бутылку вина, сухое мясо. На станции — грязно. За холмами горела красная заря... Пустынный, мрачный каменный городок, точно в

знойной желтой пыли. Широкий длинный каменный мост через речку, в которой почти нет воды. Сквозит мавританским узором.

Быстро подошел вечер. Синей мглой покрылись долины и горы. Вошел кондуктор и зажег свечку в длинном фонаре.

Я устал и заснул в вагоне. Проснулся от толчка в плечо. Передо мной стоял кондуктор и с ним солдат.

Я достал билет.

Кондуктор серьезно посмотрел на меня и, видимо, спросил: «Куда едешь?»

— Валенсия, — говорю я.

Кондуктор взял у меня билет и строго что-то сказал солдату. Солдат с ружьем добродушно стал мне что-то объяснять. Слышались слова: «Валенсия», «Барселона». Я понял, что еду не туда, и подумал: «Черт меня дернул ехать в Испанию, не зная языка».

В Москве Савва Иванович Мамонтов затеял ставить «Кармен» — Бизе. И вот я уговорил его: поеду в Испанию и напишу с натуры эскизы для «Кармен». Мамонтов согласился.

— Поезжайте, — говорит, — вы — правы... Что вам? Двадцать три года.

В полночь я подъехал к большому вокзалу, освещенному газовыми фонарями. Носильщик, которого позвал солдат, понес мой чемодан, ящик, сложенный мольберт и завернутые подрамники с холстами. На вокзале я прочел: «Барселона».

Долго мы шли куда-то через станцию, коридоры, по улице среди высоких домов; в темноте редко-редко мерцал огонек в фонаре. Пройдя широкие темные ворота, солдат что-то сказал старику-носильщику и ввел меня в дверь грязного дома.

Большая комната. За столом сидел в мундире со светлыми пуговицами начальник. Седой старик... Пахнет московским участком, и полицейский — того же облика. До чего похоже!..

Солдат, что-то рассказывая, показал на меня и передал полицейскому мой железнодорожный билет. Полицейский, посмотрев на меня и на билет, сказал: «Пезеты...»

Я вынул бумажки. Он взял одну из них, открыл ящик, дал мне сдачи и сказал: «Русо? Барселона, Барселона».

Солдат смеялся.

Полицейский подал мне руку, и я опять с солдатом и носильщиком вышел на улицу. Солдат весело простился со мной. Я хотел дать ему на чай, но он не взял. А носильщик показал рукой — следовать за ним.

Мы шли грязной улицей. Ноги расползались. Башмаки промокли. Наконец подошли к воротам большого храма и через маленькую калитку, сбоку стены, вошли в небольшой сад. Слева шла колоссальная стена старинного здания. Над входом светился фонарь. Носильщик постучал в дверь. Дверь открыл какой-то старик в сутане, с тонзурой.

Он взял большую свечу, и мы вошли в белые покои, с Распятием на столе, перед которым горела лампада. В руках у монаха были огромные ключи на кольце. Пройдя коридор, он повел нас вниз. Мы остановились у низкой кованой железной двери. Монах вставил ключ в замок, с усилием повернул его и открыл дверь. Я увидел огромный сводчатый зал. Он был мрачный, каменный. Высоко светлело одно длинное окошко.

В углу зала на полу была постлана солома, лежала большая подушка. Монах мне показал на нее, вставил в стоящий тут же большой, странной формы, бронзовый подсвечник принесенную с собой зажженную свечу и, уходя, благословил меня. Носильщик поставил около мои вещи и сказал: «Спите, а утром я приду».

Я дал ему на чай. Он, поклонившись, поблагодарил меня.

Оба ушли. Звякнул замок в железной двери... Меня заперли.

«Хороша история», — подумал я.

Но в молодости как-то все легко. Я не раздеваясь лег на солому и посмотрел на подсвечник. Он изображал монаха — складки сутаны образовывали ножку его, а наверху поблескивала страшная мертвая голова с проваленными глазницами, длинный нос, старческий, улыбающийся рот. «Вот так подсвечничек».

Я развернул чемодан, достал альбом и с разных сторон нарисовал его.

«А все-таки этот старик благословил меня... У него доброе и умное лицо. Но почему носильщик не повел меня в гостиницу? Странно».

Вокруг колыхались тени столбов, поддерживающих своды. В углу темнели разбитые старые деревянные фигуры святых и большой черный деревянный крест. За столбами — ниша и ход. Я был в подвале храма.

«Что за странность?.. Почему все-таки носильщик не привел меня в гостиницу? Ну да, вероятно, думал — художник, зачем ему тратиться».

Я взял свечу и решил посмотреть помещение. За столбами открылась ведущая вниз лестница — несколько каменных ступеней, а там опять низкая комната со сводами. Видны были какие-то колеса, ремни с потолка, железные старые кольца.

Спустившись по лестнице, я увидел сбоку старый темный деревянный стол; за ним деревянное кресло и странную фигуру из чугуна. Пахло сыростью. Чугунная фигура была открыта, и, осветив ее свечой, я увидел, что она пустая внутри и со всех сторон в ней глядят острия... «Железная дева». Дальше я наткнулся на огромные чугунные башмаки. Опустив свечу, я увидел в них грязный слиток свинца. Около стояла железная кровать с ремнями из железа. Жаровня...

Я с любопытством смотрел на эти страшные машины инквизиции.

В стороне я увидел коридор и каменную лестницу кверху. Я поднялся по ее ступеням — опять мрачный коридор и каменная лестница кверху. Я продолжал подниматься и подошел к деревянной двери. Слева была стойка. Я притронулся к двери — она открылась. В лицо повеяло свежим ветром — улица! Каменные плиты, травка, стена...

Я вернулся в нижнюю залу, взял свою шляпу, пальто и пошел обратно. У выходной двери я потушил толстую свечу и быстро вышел наружу. Узкая грязная знакомая улица. На углу я увидел внизу нечто вроде таверны — прилавок, ряд бочек вина и на прилавке — бочонок с серебряным краном. За столиком в глубине сидели трое испанцев, а за прилавком — молодые, с высокими гребнями и розами в волосах, в темных корсажах — две веселые девушки.

Я спустился по лестнице в таверну. Девушки с удивлением посмотрели на меня. Я спросил вина.

— Мазанилья? — удивленно вскрикнули они и, смеясь, налили из бочонка с серебряным краном в очень длинный и узкий стакан густое, как патока, вино. Одна из них передо мной бросила вино из стакана кверху и, смеясь, ловко его поймала в тот же стакан. Вино зашипело.

Я выпил стакан до дна и спросил еще.

Девушки вновь налили мне вина, и одна из них, погрозив мне многозначительно пальцем, сказала: «Мазанилья!»

Я предложил им тоже выпить. Они налили себе другого вина и, смеясь, подсадились ко мне. Я попытался объяснить им, что еду в Валенсию.

«Валенсия?..» — услышав это слово, одна из девушек взяла кастаньеты, стукнула каблукками по полу и запела. В песне, по-видимому, говорилось о чарах прекрасных обитательниц Валенсии.

Окончив пение, она прошла в легкий танце, взяла мой стакан и налила еще мазанилья.

«А ведь это мотив глинковской “Арагонской хоты”», — подумал я.

Когда я расплатился и поднялся уходить — ноги мои что-то не шли. Мазанилья — пьяное вино. Мне было нехорошо. Я побледнел. Девушка взяла полотенце, намочила его в воде и положила мне на голову.

«Мазанилья...» — вновь погрозила она мне пальцем и рассмеялась.

Когда мне стало лучше, она накинула на себя черную мантилью, взяла меня под руку и вывела на улицу. Дорогой она много о чем-то говорила — я ее не понимал и все твердил: «Станционе... Валенсия...»

На станции было пусто, ночь. Девушка провела меня в первый класс и посадила на длинную мягкую скамью.

На прощанье я хотел дать ей монету. Она не взяла. «Странный народ, — подумал я, — похожи на русских...»

Я так устал, что заснул мертвым сном. Меня растолкал носильщик. Он, смеясь, мне что-то говорил и похлопал меня по плечу. Я понял, что он сказал, что пойдет за багажом. Через полчаса он пришел, взял у меня деньги на билет и посадил в поезд.

В окне вагона в раннем утре голубело море. В долинах, освещенных радостным утренним солнцем, были видны сады, как бисером осыпанные мандаринами. За долинами возносились голубые плоскогорья. Была какая-то особая радость в блистании утренней природы и в смуглых красивых лицах народа...

Испания...

* * *

Выйдя на станции Валенсия, я увидел причудливые экипажи, похожие на огромную черную бочку, запряженные четверкой лошадей. Носильщик, подавая мой багаж, помог мне влезть в эту бочку, где на длинных скамейках по обе стороны уже сидели пассажиры.

Веселый, красивый город Валенсия. Узкая улица, цветные домики, то голубые, то розовые, балконы, завешанные цветными жалюзи. Всюду — клетки с птицами. Мелькнули большая стена и огромная статуя Богородицы, мраморные, в скульптуре, дома, огромные храмы поразительной красоты. Необычайный экипаж остановился на небольшой площади у гостиницы в два этажа. Мне дали хорошую чистую комнату, как везде в Европе.

Я разобрал свои вещи, достал холсты, краски. В завешанное окно, с балконом, солнце проникало сквозь деревянные висячие жалюзи. Я думал: «Как далеко я от России!.. Испания...»

Вышел посмотреть город. Новое, незнакомое как-то особенно очаровывает душу. Мужчины в черных плащах, вверху, на отвороте подкладки, — красноватый плюш; женщины тоже в черном — в мантильях. Бедные люди — в толстых серых плащах. У некоторых круглые шляпы с шерстяными шариками по краям. Слышен колокольный звон.

На площади я увидел что-то вроде нашего крестного хода. Много духовенства. Несут большое Распятие. В серебряных облачениях, с красным на груди, идет много молодых певчих.

Пение и колокольный звон напомнили Россию...

Прохожие с любопытством смотрели на меня. На мне было пальто, по-московски. Я подумал: «Надо купить плащ».

Проходя у стены собора, я увидел большую нишу, ступени вниз. В нише — большой фонтан, бежит вода. В задней стене, за стеклами, — резная крашеная скульптура: лежащий старик, худой, со страдальческим лицом, больной; его поит из чаши монах; священники кругом. Около фонтана, на каменном мокром полу, сидят и полужелат люди — видимо, тяжело больные. Это — ждущие исцеления от воды фонтана. Они кашляют, стонут. Проходящие кладут подавание на стоящие при входе оловянные блюда. Особенно поразила меня молодая девушка с распущенными волосами. Больные, горячие глаза, умирающая... Она обхватила руками сидящую рядом женщину, покрытую с головой черным плащом.

Что-то страшное было в этой нише.

Неподалеку я увидел торговый ряд — лавки, магазины. Около них на мостовой сидели тетки в платках — торговки, совсем как у нас. Торговали старьем, сапогами, рванью, кричали, предлагали белье, хлебы, резаную колбасу. Это было так похоже на Обжорный ряд в Москве, — Хитровка!

Я зашел в магазин, где висели плащи, готовое платье. Приказчик бойко показывал мне плащи, накидывая и примеряя на меня. Когда я выбрал один, то понял, что он что-то дорого с меня просит, и предложил половину. Он не согласился. Я ушел из лавки; он догнал меня на улице и стал тянуть за рукав. Другой тянул меня в другую лавку; оба что-то кричали и ссорились. Я высвободился из их рук и пошел дальше. Первый торговец снова догнал меня, отдал плащ и, якобы с досадой, взял деньги. Как у нас на Сухаревке.

Надев плащ, я пошел домой в гостиницу, но прохожие так же смотрели на меня.

В ресторане гостиницы мне подали на блюде какие-то жареные длинные хвосты под соусом. На них были какие-то круглые пупыри, присоски. «Да ведь это лапы осьминога!» Я попросил дать мне рыбы. Рыбы не было. Я стал есть чудовище. Оказалось, что осьминог на вкус похож на вареный язык. «Как же это, — думаю, — рыбы нет, а рядом море?..»

Вошли двое испанцев. Швейцар указал на меня. Они подошли ко мне. Один из них протянул мне руку и сказал по-французски:

— Я художник Сапатер. А это художник Леонард. Мы пришли познакомиться с вами — русским художником. Вообще, мы русского видим в первый раз.

Я предложил им присесть позавтракать. Они сначала отказались, потом согласились. Я объяснил им цель моего приезда в Испанию.

К концу завтрака они предложили мне вечером поехать в загородный ресторан, послушать пение цыган.

— Там, конечно, танцы не особенно пристойны, но зато весело, — сказали они. — Только надо с собой захватить нож...

«Хорошенькое развлечение, — подумал я. — Этого у нас нет...»

* * *

Я спросил швейцара гостиницы, не может ли он мне найти модель — испанку. Через час он привел мне в комнату двух молодых девушек. Одна — Ампара — была в черной длинной мантилье с капюшоном; наряд другой — Леоноры — не такой жгучей брюнетки, был победнее: узкий корсаж и широкая черная юбка. Войдя ко мне, они встали у окна моей комнаты и, застыдившись, глядели как-то вбок. Я попросил их остаться стоять в тех же позах. Достал краски и начал писать.

Когда я стал писать их ноги, Леонора покраснела; у ней были худые, в заплатках, башмаки.

Окончив сеанс, я хотел дать девушкам денег. Они обе вспыхнули и отказались. Мы вместе вышли на улицу — девушки взяли меня под руки.

Прохожие продолжали смотреть на меня. Оказалось: моя шляпа из России, с широкими полями, походила на головной убор матадоров.

Мы отправились с Ампарой и Леонорой на базар. У лавки, где в окне была выставлена обувь, я предложил Ампаре и Леоноре зайти. Полная женщина, хозяйка магазина, достала с окна женские ботинки с высокими каблуками, щеголеватые. Леонора стала примерять башмаки и сказала:

— Узки.

Выбрали другие. Девушки сказали хозяйке, что я — русский. Полная женщина в удивлении хлопнула себя по коленям и, раскрыв рот, смотрела на меня. Потом побежала внутрь магазина и, вернувшись, подала мне завернутый в бумагу кусок пирога с вареньем — в подарок. «Как у нас», — подумал я.

Мои натурщицы, желая меня развлечь, повели меня на торговую площадь, где стояли балаганы — такие же, как у нас в России под Новинском.

Взяв билеты, мы вошли в шатер, где на земле, на соломе, лежала огромная свинья с поросятами. Действительно, я никогда не видал такой большой свиньи и не предполагал, что такая может быть.

В другом балагане стояли зеркала с вогнутыми и выпуклыми стеклами. Ампара и Леонора подвели меня к зеркалу. Я увидел себя невероятно длинным, худым, как спичка, а в другом зеркале — коротким, толстым. Они обе хохотали от всей души.

Мы вернулись в гостиницу. За обедом девушки не пили вина.

В конце обеда пришли художник Сапатер и Леонард, смотрели начатую картину, хвалили и хлопали меня по плечу.

— Надо позвать и их, — сказал я Сапатеру, показав на Леонору и Ампару. Девушки отказались. Ампара, отведя меня в сторону, горячо сказала:

— Не надо ходить...

Девушки смотрели огорченно и ушли обиженные.

* * *

Была ночь, и луна освещала светлые дома улицы. Леонард дал мне длинный искривленный нож. Это была наваха. Он открыл нож и показал мне, как держать его в руке. Они оба тоже взяли по ножу в рукав.

Мы долго шли узкими улицами. Навстречу нам попался какой-то старый человек, одетый в отрепья. В одной руке его был фонарь, и он хрипло пел: «Но-о-о... но-о-о...» В другой руке у него была секира.

— Это ночной сторож, он кричит — какой наступил час.

Какой стариной повеяло на меня!

Улица поднималась в гору. За поворотом я увидел у большой стены деревянное здание, крашеное, похожее на сарай. У входа ярко горели фонари, стояло много полиции с револьверами в кобурах.

Взяв билеты, мы вошли внутрь.

Крытый двор. С потолка свисали огромные длинные фонари восьмиугольной формы. Они были покрыты шелковой материей, оранжевой, красной, желтой. За полуоткрытой стеной синела ночь, светились окна домиков с балконами.

Внизу на эстраде сидели гитаристы с большими гитарами и пианист. У стен тянулись стойки; за ними толпился всякий люд — матросы, техники с кораблей; множество женщин.

Пестрота... Шум... У женщин были высокие гребни и розы в волосах... Глубоко вырезанные платья. На плечах — длинные китайские платки, в узорах золота, с большой бахромой. Цветные корсажи всех цветов, шитые золотом; широкие юбки в оборках из кружев. Некоторые были закутаны в кружевные косынки. Одна, в широкополой мужской шляпе, подняв над головой руки и щелкая кастаньетами, танцевала и пела на столе.

— Мариска... — сказал мне Сапатер.

Мы прошли в угол и сели за столик. Я открыл свой ящик с красками, чтобы набросать этот невиданный ресторан. В нем были жгучие краски. Испания... «Вот какой кабак нужен в “Кармен”...»

На середину двора вышел молодой испанец. В руках у него был высокий жезл, сверху — плоский кружок, с которого спускались вниз ленты ярких цветов. Испанец был одет в пунцовый бархат. Короткая куртка, расшитая плотным золотым узором, белая крахмальная рубашка и черный тонкий галстук, уходивший в широкий красный пояс. Сбоку рейтуз в обтяжку шли золотые пуговицы. Белые чулки и черные туфли. Из широкой шляпы видна была сзади косичка, спрятанная в зеленую сетку.

«Это тореадор...» — подумал я.

Встав среди двора, он крикнул. Все женщины и мужчины подошли к нему. Ударил гитары, и я увидел особенный танец — похожий на те, которые танцуют сейчас здесь, в Париже, вроде румбы. Женщины обмахивались веерами.

Недалеко от нас сидела компания. Один был одет в европейский белый костюм. От другого стола подошла женщина и что-то стала выкрикивать, потрясая кулаком перед его лицом. Потом схватила стакан и плеснула ему в лицо вином. Он вскочил и схватил ее за волосы. Ее спутники бросились ей на выручку, и началась драка. Летели стаканы, бутылки...

Вбежала полиция; не церемонясь хватала всех дерущихся за шиворот — и женщин, и мужчин — и выталкивала из ресторана.

Танцы продолжались...

Началась другая драка, с противоположной стороны... Дрались матросы.

— Пойдем, пора, — сказал Сапатер, торопливо расплачиваясь.

Действительно, когда я собирал краски, мимо пролетела бутылка. Я хотел заплакать — но Сапатер мне не позволил.

У входа на улице — толпа, лунная ночь, звезды. Вдруг сзади мою шею охватили женские руки. Я обернулся: красивое лицо с круглым ртом что-то говорило мне, смотря пьяными глазами: женщина звала меня к себе. Она сняла с моей головы шляпу и надела на себя. Леонард за руку оттащил меня... Какой-то человек в толпе остановил меня и долго и многозначительно жал мне руку...

«Не русский ли, — подумал я. — Похоже...»

* * *

Когда мы возвращались из загородного ресторана домой, была тихая глубокая ночь. Пахло лимоном и ванилью. Луна. Мягкие тени синели по дороге от садов. У портика храма, на каменных плитах и на мостовой спали вповалку люди. Их было так много, что мы вынуждены были переступать через спящих. Одна женщина с детьми протянула ко мне руку, прося подавания... Я увидел впереди, как один лежащий вскочил и схватил проходившего мимо молодого испанца за плащ. В руках прохожего сверкнул нож... Нищий выпустил плащ и долго стоял с опущенной головой, исподлобья глядя вслед уходящему и нам.

Мы вышли на большую, широкую улицу города. На балконе одного дома светило окно, слышался звук гитары и пение. Вдруг слышу знакомое — цыганский романс, что пела вся Москва:

Милая, ты услышь меня,
Под окном стою
Я с гитарою...

Я остановился. Пел хороший голос. Среди ночи как-то вдруг я почувствовал берега отчизны...

И, идя по улице, запел этот пустяковый романс по-русски. Новые друзья мои подпевали мне по-испански. Сапатер удивлялся — как, я его знаю.

Сзади послышался шум и смех. С нами поравнялась коляска. Сидящие в ней окликнули нас. Возница остановил лошадей. Из коляски вышла нарядная женщина. Она, смеясь, подошла к нам и обнаженной до плеч рукой подала мне мою шляпу, взятую другой красавицей у меня при выходе из загородного ресторана. Сидящие в коляске что-то кричали и смеялись.

Когда я надел свою шляпу, женщина подхватила меня и Леонарда под руки и повлекла к коляске.

— Мы едем к ним, — объяснил мне Леонард.

Двое незнакомых кавалеров очень любезно пожали нам руки и крикнули: «Оэ!..» Лошади чуть не вскачь помчались по узкой улице...

Мы остановились у ворот каменной стены, за которой темнели деревья. Внутри, в глубине сада, светились фонари. Журчала вода каменного большого фонтана в скульптурных украшениях.

Под фонарями стояли столы, уставленные бутылками и фруктами в хрустале. За ними пировали незнакомые мужчины и женщины. Нас весело встретили и налили в бокалы шампанского. Служили лакеи. Тут же, за столом, сидел толстый человек,

весь в черном и в широкополой черной шляпе; на животе у него колыхалась большая гитара. Гитарист ударил по струнам и запел. Напев знакомый, ведь тот же романс пел всегда в Москве мой друг Костя Шилиловский.

Пели все. Женщины танцевали под пение, стучали каблуками — они то перегибались назад и ногой подбрасывали юбки кверху, то, подбоченившись одной рукой, гордо и серьезно шли одна за другой. В этом была Испания — я нигде не видал такого танца. Но почему, несмотря на другую природу, обстановку, весь иной лик — я чувствовал себя, будто я в Москве?.. В чем дело?

И вдруг понял, в чем похожи испанцы на нас: в радушии и разгуле. Казалось, что и здесь какой-то вечный праздник, точно никто ничего не делает, как и у нас...

Женщины и мужчины пели и плясали. Когда я запел с ними тот же романс по-русски, все с удивлением посмотрели на меня. Леонард объяснил им, что я — русский.

— Руссо? Руссо?.. — удивились они. — Как? А нам сказали, что Инезилья взяла шляпу у матадора.

— Москва, Петербург? — спросил меня незнакомый красавец высокого роста, с тонким бледным лицом, одетый в шелковый черный плащ. На фоне колючих кактусов, освещенный кованым из железа фонарем, он был очень красив...

«Вот — Дон Жуан, — подумал я. — Вот бы кого написать...» Я сказал о своем впечатлении Леонарду.

— Верно, — сказал он, — его и зовут Дон Жуан...

* * *

Когда я приехал к себе в гостиницу, в открытом окне светлела заря...

Утром меня разбудили Ампара и Леонора. Они вошли, не смущаясь, что я еще в постели. «Как все просто», — подумал я.

Когда я одевался за занавеской, вошел какой-то господин. Он объяснил мне, что он журналист, и сказал, что придет ко мне с другими журналистами обедать. Уходя, он вынул из кармана пачку сигар и, улыбаясь, оставил их мне в подарок.

Сигары были отличные.

* * *

Я весь день писал Ампару и Леонору. К обеду в гостиницу пришли Сапатер, Леонард и еще шесть человек незнакомых. Все приветствовали меня, а выпив, уговаривали остаться жить у них в Валенсии.

Снова вспомнилась Россия.

После обеда, за которым было весело, Ампара и Леонора тоже пели и танцевали, как вчера те женщины в саду. Я подумал: «Да что же это такое? тут все только поют, танцуют и молятся».

Журналисты поднялись ко мне в комнату. Посмотрев мои картины и этюды, они что-то много говорили между собой. Было уже поздно, и двое решили остаться у меня ночевать.

Портье принес матрац и одну подушку, положил на пол. Один из моих гостей лег на полу, другой свернулся на небольшом диванчике, и продолжали разговаривать далеко за полночь. Интересовались, боюсь ли я медведей и Пугачева.

— Ерунда, — ответил я. — Какие там медведи!..

— Теперь, может быть, и нет, а прежде были.

Я узнал еще, что в России все едят снег, и что снег у нас другой — как мороженое, и что русские любят кататься по льдинам, которые постоянно плавают по Волге.

Утром, когда я проснулся, моих гостей уже не было.

А через день двое опять пришли ко мне и принесли газету. В ней тоже было написано про снег и медведей в России, выражалось изумление, что живопись моя не похожа на русские иконы; рассказывалось, что русские часто замерзают, их тогда кладут на печку — оттаивать, и покуда замерзший не оттает — все плачут и возносят моления.

— Верно? — спросил меня журналист.

— Верно, — согласился я. — Еще наливают замерзшему в рот воды, и когда вода во рту закипит, то, значит, жив.

Мой новый друг обиженно посмотрел на меня — ему было трудно расстаться с легендой.

Окончив картину и наброски для декораций, я собирался уезжать. Предложил деньги Ампаре и Леоноре. Они обе покраснели и опять не взяли денег. Тогда я снова пошел на базар и купил им большие шелковые китайские платки в узорах, с длинной бахромой. Они с восторгом надели их на себя, смотрелись в зеркало, ловко себя закрывали и танцевали, стуча каблуками.

Подошел день моего отъезда. Я зашел в мастерскую к Сапатеру, взглянуть на его живопись, он был колорист и художник большого темперамента. Леонард на прощанье подарил мне свой морской этюд — он был пейзажист.

Утром портье вынес мои чемоданы и холсты вниз, к дверям. У подъезда стоял экипаж, как большая черная бочка. Покуда размещали мои вещи, появились Ампара и Леонора. В руках у них были большие пучки срезанных зеленых веток, усыпанных мандаринами. Они отдали их мне в дорогу.

Мог ли я думать — это было так давно, — что доживу до того времени, когда каждый день буду читать об ужасе и горе этого прекрасного, доброго народа...

«Чертовá»

Скучная осенняя заря потухала над лесом. Потемнела дорога. Обнаженный кустарник кругом. Скользят ноги по грязным колеям дороги. Холодно. Заворачивая от берега реки, за ветхим мостом, приветливо показался огонек в доме мельника. Как уныло кругом! Темным силуэтом высоко громоздятся амбары мельницы, опрокинутые отражением в омуте. Переходим накат плотины. Пахнет водой и туманом. В руках нанизаны на бечевке пойманные щуки и темные налимы. Озябли мы. Как отрядно войти в теплый дом мельника!

— Эка, — говорит, встречая нас, мельник Никон Осипович. — Посчастливилось! Пымали налимов, и щука крупна. Ишь как вы приладились! А нам не пымать. Да и не занимаемся. Хороша рыба налим, а как его пымашь? Весной попадает в вершу, а на уду не умеем.

У мельника за столом большой самовар. Сидят помольцы. Греются, пьют чай. Баранки, ситный, лепешки деревенские. Поглядывают на рыбу нашу, и все довольны, что мы рыбу поймали. Хвалят.

— Много этих налимов, — говорит один. — На яме, у казенника. Бросил я туда верши по весне, да там и остались. Шут-ти, и место — чертово! Там водяной вертит. Ушел я: страсть какая!..

Мы, сидя на лавке, стаскиваем мокрые сапоги. Дочь мельника, Маша, подает нам теплые валенки. Как хорошо сунуть в них холодные ноги! Садимся к столу. Мельничиха наливает чай. Приятно выпить горячий чай с коньяком после холодного вечера.

— Это где же ты видал на ямах водяного? — спросил Василий Сергеевич помольца.

— Иде видал? Да вот тут, недалеко. У казенника, где круча елова. Как это я бросил по-вечор верши с берега, от кручи, — гляжу: чего это? А он в воде-то плышет. Его-то не видать. А воду крутит, рога-то высунул, лохмата голова, глаза белы, глядит, а всю морду не кажет. И велик. Я: «мать честная!» С берега-то в кручу бегом. А он как заорет, — чисто вот жеребенок. Я: «свят — свят». Да домой бегом и на верши плюнул. Шут его... Ухватит за ноги да утопит.

— Ну и ерунда — да. Неужто вы, православный народ, верите? Ведь это просто, ну, кажется, показалось.

— Эка, «показалось», — говорит другой помолец. — А вы, барин, значит, не верите, в водяного-то?

— Не верю, — сказал доктор Иван Иванович.

— А в домового тоже не верите?

— Нет, — говорит Иван Иванович, — не верю. Не видал.

— Да-а... — сказал помолец, — «не видал». А зимой живал ли в деревне? — спросил помолец.

— Нет, — говорит, — зимой в деревне не жил.

— Ну да. Так вот что... А вот как снега понасыпет, дак они все, лесовые, домовые, — к нам: стужа в лесу-то. Все к нам, в деревню, греться и поступают. По дворам — дворовые, по домам — домовые, запечные, омшайники понабьются. Кто куда... Вреда большого от их нет, а попуговать — здоровы... Чего? К попу, дьячку забираются. Вот ведь: не бояться! У нас к дьячку Тихону Васильеву, когда ежели выпимши он, — вот косы заплетут, не раскрутишь. А у Сергея Митрохина, дак гриву у лошадей закрутят, обязательно. Из-за баб больше. Потому — вдовый. За бабами гоняет, ну, ему бороду закрутит, дакон ее чешет, чешет — ничего: торчаем во все стороны торчит, и ничего не сделаешь. Глядеть противно... Он к бабе так и эдак, а они от него. Ни одна не идет. Так и мучится холостой... Чем ни пробовал бороду-то, — и масло у попа брал, и дегтем, колесной мазью, — ничего... Обстрижет, а она на другой день пуще торчит. Вот те и возьми!

— Вот тебе баки-то закрутит, погоди, за это самое! Не будешь на баб-то заглядывать, — сказал Василий Сергеевич доктору.

— Странно, — заметил Иван Иванович. — Как можно верить в такую ерунду?

— Не веришь, барин? — сказал один помолец. — Дак вот: хочешь, я тебе сегодня, во полночь, покажу в амбаре, здесь, где зерно засыпают у кожуха, где колеса, водяного покажу? Вот увидишь...

— А можно мне поглядеть? — спросил я.

— Не... одному — можно, а всем нельзя.

— Я бы поглядел, — сказал приятель Василий Сергеевич. — Только я ружье возьму с собой да картечью заряжу. Да по морде его и угощу. Тогда вот посмотрим,

что он скажет, — говорил приятель Вася, — он вас пугает, а я ему — не мальчик. Поспору... А какой же он из себя?

— Гладкий. И морду его не больно разберешь: вроде как человечья.

— Пошто его из ружья угощать? — говорил другой помолец. — Ведь вреда от его нет. Балует маленько. Вот и я надясь засыпал по ночи тоже зерно — рожь, значит. Засыпаю. Глядь, чего это? Овес. Вот ведь, ах ты, думаю... А дома из омшайника брал рожь в мешках. На мельницу привез... Вот ведь что делается: омшайник балует. А вот сосед, Захар, — продолжал помолец, — вот спросите у его, — показал помолец, — вот спросите у его, — показал он на другого помольца, — значит, на Покров, — приход у нас Покров-то, — ну, праздник храмовой. Гости приедут, честь честью. Я, значит, вино, четвертную, сдобрил: травки анисовой в бутыль понатыкал, для духу, и поставил в холодную, а то в избе не разбили бы, думаю: то-сё, пол моют — к празднику готовятся. Ну, значит, гости: свекор, теща, кум. Приехавши, за столом сидят. Что в печи — на стол мечи. Потчuem с хозяйкой. Вино наливаем гостям. Пьют. Я тоже за свекра выпить хочу. Говорю: у меня, ноне, сам-шесть уродило с хвостиком. Лошадь воронú купил. Внуку, жене шубы сшил... Выпил, это, вино, — гляжу: чего это? Вода. А те пьют, молчат. Я еще, это, попробовал. Вода... «Вино-то, — говорю гостям, — чудно! Аль у меня в роте чего-то? Не слышно, вроде слабо?»

— Да, — говорят, — похоже, что вода.

Золовка смеется. Кум говорит — вода...

«Эх, — думаю, — ясно дело: вино выпито, а воду налили. Вот что домовый делает».

— Это бывает, — сказал сосед Захар. — У меня на покосе тоже бутыль лесовой выпил, вино-то; а воду налил.

— Да, балуют, — сказал, тряхнув головой, молодой помолец. — Это самое, у меня свекор гостил на Пасху. Ну, значит, у иконостаса жена лампы зажглась. Масло деревянно в Караше покупали. Под праздник зажглась. Да... Ну, значит, приехали от обедни ранней. Пасху, кулич святили. Смотрим: ну что лампадки делают?.. Прямо понять нельзя, и спать не дают. Вот трещат, вот трещат. Без нас он вот чего наделал: воду в масло налил. Вот ведь что! Не нравится домовому праздник-то! Чем ни на есть досаду норовит подогнать, мешает жизни-то правильной.

— Так, может, тебе, — говорит доктор, — просто масло с водой в лавке продали?

— Ну что ты, барин! Нешто Василий Макаров станет таким мошенством заниматься? На лампадки... С масла жулить. Он — не гусяк.

— А что же, гусяки — плуты? — интересовался доктор Иван Иванович.

— Эка, — сказали все помольцы. — Еще бы!

— Да, — засмеялся Никон Осипович. — Гусяки — это есть в них. Помню — я еще молодой парнишка был, — с отцом ехал. Он вез с собой деньги, старшине сдавать. Деньги, значит, в сапоги за голенищу спрятал. Говорит: деревней Гусяцкой поедем. Нельзя в кармане деньги держать: уворуют. Едем, значит, с им, — деревня. Ну, и заехали в трактир передохнуть. К отцу и подходит человек. Эдакой степенный, пожилой. «Я, — говорит, — за вами ехал по дороге. Деньги, — говорит, — наша. Не вы ли, — говорит, потеряли?» Отец-то испугался. Говорит ему: «Может статься... Пойдемте, тихонько, — говорит ему, — из трактира: я погляжу». Пошли, значит, на двор. Отец за голенище лезет, за одно, другое. Пощупал за голенищем, — целы. «Поглядите, — говорит, — лучше: я за вами ехал, а деньги по дороге посыпаны». Отец опять за голенище, вынул деньги, посчитал. Ну — целы. Ну, сели чай пить, и

он сел. Он и говорит отцу: «Как мне быть? Куда, — говорит, — эти деньги деть? Ежели в церковь отдать, а ежели они — мужицкие, трудные, али казенные? Нельзя, пожалуй. Исправнику аль старшине отдать надо?»

А отец-то говорит: «Я к старшине еду, тоже деньги сдавать». — «Прихватите, — говорит тот-то, — деньги-то, что я нашел». — «Мне не складно это дело. Лучше тебе самому отдать. Поедем, — говорит, — вместе, сдашь».

Ну, приехали к старшине. Отец пошел к старшине первый сдавать. И я с ним. Отец дает деньги, а старшина-то как закричит: «Чего это, ты, Осип? Тут — красенькая, а потом бумага резная?..»

Отец-то прямо чуть не помер. Выбежал наружу. Где гусяк? А его и нет. Вот ведь что..

— Ну, уж тут-то домовый ни при чем, — сказал доктор Иван Иванович.

— Как «ни при чем»? — покачал головой мельник. — В эдаких делах черт главную руку держит.

* * *

Полночь. Все мы идем с помольцами в амбар мельницы смотреть водяного. Упросили Василия Сергеевича не брать ружья.

Только вышли на крыльцо, темная осенняя ночь...

«У-ху-ху-ху, — раздалось неподалеку в лесу. И ответило дальше: — Хуу!..»

— Ишь, пугач орет, — сказал помалец.

В звуке крика филина было что-то таинственное. Так подходило к этой темной ночи, большому лесу. И наполняло так странно какой-то поэзией. Чем-то родным, близким: лесовым, домовым... Во всей этой душевной выдумке народа — какая сказка! Какая таинственность!..

Большой темный амбар мельницы, осыпанный пылью муки, освещен фонарем, прибитым на стене. Несмотря на шум колес, жерновов, спят в углу помольцы. За рушницей и жерновами, в глубине, виднеется окно. Сквозь побитые мутные стекла окна видно бегущую с колес воду.

— Вот, — говорит помалец, — глядьте-ка в окошечко. Вот видать будет его.

Мы глядели в окно. Струи воды менялись в какие-то странные формы. Как бы длинные руки. И вдруг увидели: как бы спускалась в окне фигура человека. Мутное лицо посмотрело на нас.

— Ах ты, черт! — сказал Василий Сергеевич.

И приставил руку к глазам. Фигура, уходя вниз, тоже приставила руку. Мы смотрели, подойдя ближе к жерновам. Вода переливалась за окном. И опять спускается как бы человек. Мутное лицо, в шапке, с светлыми баками.

— Иван Иванович! — крикнули мы.

— Вот, — рассмеялся Иван Иванович. — Вот чудно... Отражает в окно. Да как ловко. На водяную струю попадает. Окно-то обливает водой, ну и кажет.

— Вася, — говорит, — стань тут: сейчас и ты водяным покажешься.

— Благодарю вас, — сказал Василий Сергеевич. — Довольно этих штучек! Потом во сне будет казаться.

Помалец не соглашался, что это отражает.

— Я, — говорит, — видал такую рожу!.. Вот страшну... Прямо инда тошнота берет. Чего говорить! Чертовá это есть!..

Старый этюд

Недавно я увидел здесь, в Париже, у одного француза свой старый этюд — «Мельница зимой». Написано мною в России, давно. При виде старого этюда моего пролетело в душе воспоминание «отчизны дальней...».

В газетах писали больше всего об искусстве, опере, балете. Приятели у меня были артисты и еще — любители природы, охотники, рыболовы. Встречал, разумеется, и других людей — чиновников, адвокатов, общественных деятелей, писателей и журналистов, политиков.

Политики — умный народ, но почему-то все угрюмые, недовольные жизнью. И мне было ясно, что они меня и приятелей моих — охотников — считают просто дураками, пустоплясами.

Был у меня и родственник — не дай Бог, до чего сердитый. Говорил только об освободительном движении и спорил с остервенением. Ни с чем не согласен. Я его спросил:

— Скажи, Петруша, ты все знаешь, от чего вы, собственно, освободиться хотите? Он задумался.

— Это трудно объяснить. Нужна подготовка. Освободительное движение — очень сложная вещь. В сущности, как это скажешь? Одним словом, если хотите знать, то от всего надо освободиться!

«Что за чертовщина! — подумал я. — Как — от всего?»

— Вам, дядя, трудно объяснить. Вот Лев Николаевич Толстой говорит, что надо освободиться от всякой услуги, от чужого труда. Самому обслуживать себя. Оттого он и лапти сам себе плетет.

— Как же это, — говорю, — Петруша? Я тебе почти каждый день даю билеты в театр, ты просишь, — на оперу, драму, балет. Ты ведь театрал. Так если я буду себе сам сапоги, штаны шить, когда же я успею сделать эти постановки в театрах? Ну, и ты... Когда ты будешь медициной-то заниматься, если станешь себя обшивать?

— Нет, дядя, — перебил меня племянник, — тут более глубокий вопрос...

И не стал со мною больше говорить.

Кого ни спрошу в Москве из сведущих людей про освободительное движение — только плечами пожимают. Спросил даже как-то у знакомого певца, замечательного артиста, — тот о политике иногда завирался. Спросил, а он как заорет:

— Как — от чего? От произвола!

— От какого, — спрашиваю, — произвола?

— От какого? От такого! Вот у меня контракт, а там неустойка. Двести тысяч. А мне надо будет в другой театр переходить! Черт знает что! Произвол!..

Поехал я от него, заехал в контору Императорских театров. Зашел к директору. Поехали завтракать с ним в «Эрмитаж». За завтраком я, смеясь, его спрашиваю:

— Отчего вот у артистов контракты, а у меня нет?

Он посмотрел на меня с удивлением и засмеялся.

— Что с вами, зачем вам контракт?

— Так, разговор был, — отвечаю я. — А кстати, какого вы мнения об освободительном движении?

Он опять посмотрел на меня с удивлением.

— Да что вы: контракт, освободительное движение. Вам-то от чего освобождать-ся? И без того делаете все, как хотите. Вы ведь на службе находитесь — по министерству Двора. Видите, я в вицмундире, при орденах? И вы тоже должны быть в форме. А у вас и вицмундира-то нет?

— Позвольте, Владимир Аркадьевич, — говорю я, — я даже не знал этого...

— Да, конечно, не знали! — все с тем же добрым смехом продолжал Владимир Аркадьевич Теляковский. — Дягилев вот — в вицмундире. Он «Ежегодник» издает. А вы в царскую ложу в пиджаке явились...

— Когда это?

— А когда шла «Спящая красавица» в Петербурге. Помните, царь вам сказал: «А эти маркизы Версаля... вы их сделали так ярко, как будто цветы». А вы ответили — «они и были цветы». Государь мне потом говорил, что императрица тогда сказала: «Он прав, они были цветы...» Вам все прощается — художник, охотник, Коровин...

— Воображаю: хорош бы я был в вицмундире! — ответил я. — Друзья мои — актеры, охотники — вот бы смеялись...

...Пестрая, сумбурная жизнь... Москва... Россия... Как страшно обернулось впоследствии столь тешившее меня в ту пору освободительное движение!..

Вечером я заехал к приятелю своему — охотнику, архитектору Василию Сергеевичу. У него собирались гости — артисты. Были Святки.

— Вот, — говорит Василий Сергеевич, — отлично, что приехал. Хорошо бы дернуть на Святки в деревню, съездить на мельницу, к Никону Осиповичу. Василия Княжева взять, там омут — поди, замерз. В проруби поставить удочку на кусок рыбы — налимы попадут, а может быть, и сом... Я бечеву приготовил из волоса в двадцать семь аршин, крючки навязал. Пушу туда, думаю, в глубину. Только вы не берите с собой этого вашего Петрушку — он тощища, все о политике жарит.

— Верно, — согласился я. — Хорошо поехать на мельницу. Какой контраст с городом: просто, и утешает душу красавица-природа!.. Поедем завтра утром.

Простившись с приятелем, я заехал за Василием Княжевым. А вечером собирал краски, холст. Думаю: напишу зиму-мельницу. Захватил ружье. Василия Княжева послал купить у Савостьянова: бисквитный пирог, калачей, баранок, пирогов с рыбой, икру, леденцов — угостить мельника.

Утром едем. В вагоне тепло, в окна виден лес в инее мороза. Как хорошо ехать среди снежной пустыни. Зима... Солнце. На станциях толпятся пассажиры: мужички в тулупах, бабы в платках. Бодрый мороз.

Сидим в вагоне, едим калачи с икрой. Из большого чайника Василий наливает в стаканы чай.

Приехали. Станция. Зимние сумерки над высоким еловым лесом. Поднималась красным шаром луна. Едем в розвальнях. Крутом снега. Лес в синем инее. Тихо: все таинственно заколдовано зимой. Спускаемся под горку. Слышно: шумят колеса, чернеет мельница. Светится в окне ласково огонек.

Никон Осипович, жена, дочь Маша, внук Санька от удивления, что мы приехали в такую стужу, ахали и взмахивали руками.

— Во, только что самовар шумел. Я говорила: к гостям, — сказала Маша.

С какой радостью, помню я, приезжал к Никону Осиповичу, к мужикам. Как к самым душевным, родным людям.

— Вот, пирогов-то... Только из печи вынули. С груздями! Прямо вот!..

И все спешат накрыть на стол, угостить. Обязательно угостить. «Россия, Россия... Как был радушен приют сынов твоих!..»

Из мельницы пришли помольцы посмотреть на охотников. Возчики на дворе распрягли лошадей. Остались до утра. Помольцы посматривали на нас. Один сказал:

— Вот третева дня здесь вам бы... Вот — тута, прямо у сарая, два волка прошли. Эх, здоровы!.. Ночью. А глаза у их, прямо вот, красные, горят. Чисто огонь! Вот бы вам тут их... Шаркнуть.

— Эка — что! — сказал Василий Княжев. — А я хотел пойти пешню взять, прорубки в омуту пробить, кобылки поставить на рыбу...

— В Москве-то, поди, теперь Святки, гуляют, — сказал помалец. — А вы — вот, сюда приехали... От гулянья. Чего тут теперь у нас? Не лето. Летом-то гоже. Теперь — служба и зима. А вот охота в вас, значит. На приволье тянет.

— Да, — говорим мы. — В Москве гуляют. Святки. Ряженые.

— Я видал ряженных-то, в Ярославле. Вот рожи!.. Во страшны... Господи, помилуй! И пошто это? — спросил помалец.

— Эх ты, — смеясь, ответил Василий Княжев. — Ряженые... Это ведь умственно господа придумали. На Святках рядятся не зря: для веселья. И посчитаться можно... кой с кем. Они рядятся, чтоб не узнали. Ну, то-сё говорят. Голос меняют. Ну, и говорят правду: то-сё. Не узнает, мол, кто говорит. «Ты, — скажет, — жулик...» Или эдакое, вроде... А сам себя святым кажешь. Тот сердчает, не нравится. А что сделаешь? Маска надета... А то, без маски, — как ты ему скажешь?

— Да, это самое есть, — сказал другой помалец. — Маску господа надевают еще к тому: мужья про жен узнают и жены — про мужей. Мне унтер гвардейский говорил. Из нашего села в Питер на службу взят был, к одному енералу, — на молодой женат был, а сам-то он — старый. Ему маска и наговорила про ее, про жену ево, что у ей молодой корнет-полюбовник. Он его и взял на глазок. К себе в гости зовет. Сам глядит. А жена-то его молодая и говорит енералу: «Зачем ты эдакого дурака зовешь? Он, — говорит, — противный».

Енерал думает: «Эх, мне зря наговорили...» Да ево к себе в денщики и взял.

— Ну, и что же? — спросили мы. — Что дальше?

— Да ничего. Она сына родила. Чего же?

— Эх ты, — говорят помольцы. — К чему ты это приплел? Она того «дураком» крестила — значит, енералов сын.

— А как же! Все рады: и енерал, и она, и денщик. Все рады.

— Эко ты. А к чему ты это клонишь? — спрашивают помольцы.

— К чему? Маску-то потому и надевают, чтобы это самое... Жисть чтоб не остывала. Поняли?

— Черт тебя поймет, — говорят помольцы. — Ждать теперь надо, когда вырастет: дурак выйдет — ну, и видать будет, что не от енерала.

Старый этюд... Какие пестрые воспоминания он пробудил в моей душе...

Мадьяры

Среди житейского волнения, в грезах, вспоминаются мне берега далекой отчизны, вечерние облака над рожью спелой, где темный лес дремлет в тиши лета, где пахнет сеном и малиной, где в саду у меня жила иволга. Ничего мне не было отрадней родины моей... Краса ее была для меня — все.

И там, где был мой деревянный дом, у глухого леса, в котором я часто бывал, куда ко мне приезжали мои друзья, там было все так просто и так ясно — благая жизнь. Когда я вспоминал Европу — я восхищался ее жизнью, искусством и нравами. Но я не сказал бы никому, что мой жалкий кусок земли-песку, сад над рекой, деревянный дом, беседка в саду — хуже для меня чем-то...

Грнула война... И в душу вошли тревога и ужас. И уже не так радостно казалось мне все кругом, огорчилась душа.

Летом я с приятелями сидел на террасе у дома моего. Были сумерки. За большим бором садилось солнце, и розовая заря потухала вдали. Думал я, что там, далеко, за этим лесом, за зарей печального вечера — война... Люди убивают друг друга...

Неслышно к нам на террасу вошел сторож моего дома — дедушка, и тихо сказал: — Слышь, к нам мадьяры пришли...

Мы удивились:

— Какие мадьяры?

— В болоте они... Тут... Их пригнали. Дак говорят: «Давай, давай»... А чего «давай» — не поймешь.

Приятели мои вытаращили глаза, а дедушка говорит:

— Они вороги... Их пригнали в моховое болото торф копать. Пленные! У Анки Хрущевой они мужа на войне убили... Вот она воеет, вот воеет — двое детев осталось. А сама, дура, вижу, к ним в болото, в барак, масло несет. Я ей говорю: «Чего несешь масло-то, они мужа твоего убили, ворогу несешь масло-то...» А она: «Вороги... они што и наши — подневольненькие... Велят — вот и убивают». На-ка, вот и возьми ее! Дура!

Я вышел на крыльцо. У крыльца стояли высокие стройные люди в синей военной форме, на голове маленькие шапочки. Они быстро вытянулись, отдали честь и попросили лекарства — болен их товарищ: марганцевого калия. Я пошел в дом и отдал им домашнюю аптечку. Они опять сделали под козырек и пошли к калитке.

Я вернулся на террасу.

— Боязно ведь... — говорил дедушка. — Ишь, они какие, здоровые. Кто их знает, кто они?.. Убьют одним махом.

— Тебя-то за что им убивать, что ты? — говорю я деду. — Поставь самовар, Герасим хотел прийти.

Дед пошел, качая седой головой и бормоча про себя: «Басурмане они, нехристи, вот кто...»

В большой комнате, моей мастерской, я зажег лампу. На мольбертах стояли холсты моей работы. Думаю: вот я пишу, радуюсь природе, прекрасному миру, божественной красоте, жизни... А там — война...

Входит мой приятель — охотник, крестьянин Герасим Дементьевич. Я обрадовался ему, говорю:

— Герасим, вот ко мне мадьяры сейчас приходили — пленные, лекарство просили.
— Мне дед сказывал. Да, австрияки. У нас, у Букова, они тоже на работы пригнаны — казенник рубить. Вот один на скрипке играет хорошо!.. Он по-русски малость калякает, говорит: «У вас, — говорит, — милей всего жить. Мы, — говорит, — останемся тут, домой не пойдем. У нас, — говорит, — хуже...» А чтобы это самое, чтобы за бабами бегать али воровать — этого у них нету.

* * *

За чаем Герасим рассказывает:

— В Лемишках, так чего: один пленный женился. Авдотья вдова была. Ну, и мастер — столяр, а огород разбил, вот работать мастак!.. Только вот, значит, ей сплел из соломы шляпу и себе, перчатки купил — ей и себе, белые. Деньжонки есть у его, скопил. Вечером-то с ей и пошел гулять, да под ручку ее держит. Все глядя-ат, вот ржу-ут... Закатываются от смеху. А он хоть бы што! Она вырвалась, убежала в дом и платок надела. А народ не унимается — хохочет.

— Чего ж смешного? — говорю я. — Ну, шляпа, что ж такого?

— Нет, Лисеич, не говори, чудно глядеть. Чего чудно — не поймешь, а есть... В смех ударяет — не удержишься.

— Ну, дак я тоже в шляпе хожу, тоже соломенная.

— Да, верно. Да ежели и я его шляпу бы надел, — говорит Герасим, — ничего. А вот он с ей в шляпе под ручку идет... — нельзя глядеть, со смеху помрешь. Что тут? На-ка, возьми, ничего не сделаешь...

— А ведь есть что-то в жизни такое... — сказал Юрий.

— А вот чего есть, — продолжал Герасим, — у нас в Букове черный такой из себя жил — цыган, что ли, ну, и жулик: прямо в глаза кажинного обманет. А ведь любезный — глядеть, прямо друг твой. Наши не раз его по морде били, и он в Петров уехал. Бьют — потому. А Петрове он что — перьвый богач стал. Вот все у нас дивились. Наши-то знают, что жулик он, а вот в Петрове все за его... Медаль получил на шею. Церькву покрасил.

— Ну и что же, хорошо он живет и сейчас?

— Нет. В острог попал, засудили. А вот у меня охотник — барин из Москвы приезжал. Так вот ндрав какой, послушайте-ка... Ко мне другой приезжал, тоже охотник. Вот ругал его, вот руга-ал... И чего только про его говорил. Когда приехал тот-то, я и говорю ему: «Вот как вас мне ругали, и чего только не говорили». А он хохочет, веселый такой стал, и рад:

— Спасибо, — говорит, — Герасим, что сказал, я так рад. Давай выпьем. Ведь ежели бы он меня хвалил, я бы, — говорит, — до чего огорчился!.. Подумал бы: «Эко горе, что эдакая сволоча меня жалует. Спаси, Господи...» И вот до чего развеселился. Вот и пойми, как что.

— Как странно... — сказал Юрий Сергеевич, — мне Кашкин говорил, который знал Мусоргского, что тот бывал доволен, когда его музыку ругали, и терпеть не мог, когда его превозносили. Он Серова не любил — тот хвалил его. Знаешь, тут что-то есть... не поймешь.

— Как — не поймешь? — говорю я. — Ты же Скрябина ругал, помнишь?

Юрий покраснел и заорал:

— Да ты думаешь, ты что-нибудь понимаешь в музыке? Ни бельмеса.

— Верно. Но я люблю и думаю, что я люблю хорошее.

— Хороших двух нет, — горячился Юрий.

— Вот и война, — засмеялся Герасим. — Так вот, заметьте, что есть в нутре у человека. Я помню, к нам сюда, в казенные леса, народу нагнали. Ну, значит, от казны, — народ здоровый. Русский народ. Только дальний. Дак вот они с нами за стол не садятся — не хотят с нами чай пить и есть. «Чего это?» — думал я. Ну, и сказал мне их старшой: «Они не станут с вами знаться. Вы, — говорит, — народ больно жигулястый, наших противность берет. Есть-то вместе не охота...» Вот! Что ты делаешь? А ведь русский народ, не мадьяры.

— Слышите, что дедушка и Афросинья говорят, — сказал, входя, Василий Сергеевич. — Эти мадьяры здесь без конвоя...

— Так чего ж? — ответил Герасим. — Они, глядеть, — суровы, в плену ведь... А так ничего...

— А вы знаете, что такое мадьяры? — горячился Коля Курин. — Нет, вы, Константин Алексеевич, ничего не знаете. Им все равно, кого резать, они, как наши черкесы, — раз, и готово...

— Послушайте-ка, что Афросинья и дедушка говорят, — снова вступил в разговор Василий Сергеевич. — Они говорят, что мадьяры только на болото пришли вчера — сейчас же к вам. Лекарство нужно? Нет!.. Они смотреть пришли — кто-что тут. И вот ждите ночью...

— Да полно, Василий Сергеевич, чего ты? — смеясь, успокаивал моего друга Герасим.

— Да ты чего еще понимаешь? — горячился Василий Сергеевич. — Они без конвоя, пришли ночью...

— Это верно... — подтвердил испуганно Коля Курин.

— Постой, Василь Сергеевич, они у Покрова лес рубили — пленные они. Чего ты? Они в праздник Покрова в нашу церкву ходили, тоже молиться.

— Да, молиться? А потом ее взорвут!

— Да полно... — уговаривал Герасим Василия Сергеевича.

— Полно, полно... — передразнил Герасима Василий Сергеевич. — Вот что — как вам угодно, а я — уезжаю.

— Дорогою-то хуже, поймают... — сказал я.

Василий Сергеевич остановился и несколько времени глядел на меня, мигая. Потом сказал:

— Так едем все. Настаиваю в последний раз. Потом я не отвечаю ни за что, потом не говорите, что я вас не предупредил...

— Кому же говорить-то тогда, когда перерезаны все будем?..

Василий Сергеевич не удостоит нас ответом и, взяв свой чемодан, стал деловито совать в него патронташ, туфли, ночную рубашку...

Вошел дедушка и сказал:

— Мадьяр пришел... Вот принес вам...

Дедушка поставил на стол большую мою аптечку и высокую корзину, искусно сплетенную из зеленых прутьев ивняка. Корзина была полна брусники.

Мы все вышли в кухню. В дверях стоял высокого роста красивый солдат-мадьяр. Вытянувшись, он поднял руку и приложился к козырьку. Юрий принес стакан самогона и поднес мадьяру. Тот взял стакан, залпом выпил водку, что-то сказал по-немецки, повернулся и вышел.

— Видали? — спросил Василий Сергеевич.

— Постой, Вася, — сказал Коля Курин, — он, брат, по-немецки сказал: «Пленные просят передать благодарность господину за помощь, оказанную их больному товарищу, которому лучше. Одно лекарство еще оставили у себя».

— А вы верьте больше. Вот попробуйте-ка поесть эту брусничку — тогда узнаете! Ну, ладно: я останусь, не поеду. Но только знай, Юрий, — ты отвечаешь.

— Я-то при чем? За что я отвечаю?

— Как — за что? Ты отлично знаешь, что нас могут зарезать, а молчишь...

— Да ты что, обалдел совсем? — возмутился Юрий Сергеевич. — С какой стати мадьярам нас резать? Мы не военные. Не идиоты же они — резать мирных граждан.

— Ну, как хотите... Сказал — остаюсь... Одно хорошо: водку он пьет ловко — разом, как наши... Когда он дернул стакан, у меня как-то с души сошло. Не может же быть, что человек, который так пьет водку, может зарезать человека... хотя бы и Кольку...

— Верно, — смеясь, сказал Герасим. — Чего в ём резать?.. Николай Васильич чисто шкелет. Ежели резать, так Юрия Сергеича — есть резать чего.

— Афросинья! — крикнул Василий Сергеевич.

Пришла Афросинья и стала в дверях.

— Ты видела, как мадьяр самогону дернул?

— Видала. Правильно выпил. Нече говорить...

— Дак с чего же ты и дедушка тоже — «вороги... убьют... зарежут...».

— Верно, вороги, только видать теперь, что сжалются. Мадьяр хоша — а пьет чисто... Вот как мой Феоктист...

Верка

Семьдесят пять лет — это много.

Семьдесят пять лет жизни на нашей прекрасной и тайной земле... И подумалось мне: что я могу вспомнить о первых годах, что осталось в памяти от начала жизни.

Медведица Верка!

Отец мой, Алексей Михайлович, был высокого роста, стройный и красивый. Вспоминаю деревянный дом, навес, ворота, двор, сарай, кучера и под на весом, у погребца, — медведь, прекрасная Верка на привязи. Перед домом — луг. За лугом — роща. Это дача, построенная моим дедом. Дача в Кускове под Москвой.

Верку я помню как сейчас.

Она не всегда была на привязи. Когда приезжал отец из Москвы, то Верку спускали с цепи, и она сейчас же бежала ко мне.

Она играла с моим братом Сергеем, который был старше, но любила меня. У нее была какая-то обо мне забота, она хотела чему-то помочь. Бывало, принесет охапку сена и положит около меня. Дворник носил на кухню дрова, Верка — тоже.

В соседней роще сосновой стояли столики. Там пили чай летом приезжие из Москвы. Дымили самовары.

За чаем были вкусные плюшки, покрытые сахаром. Я любил их, но не ел всю плюшку — половину прятал тихонько в карман.

Это для Верки, которую никогда не брали с собой в рощу.

Верка была теплая и лохматая. Она спала со мной и любила меня больше всех. Потому, должно быть, что я был маленький мальчик — пяти лет.

Она таскала меня на руках, играла со мной на лугу перед домом. Когда я падал на траву, она хватала меня лапами и старалась поставить меня на ноги. Я все нарочно падал. Верка беспокоилась. Она любила со мной бегать.

Когда она спала со мной на постели, то обнимала меня лапами. От нее пахло сеном, лесом, она все время мурлыкала и тихо, чуть-чуть нежно качала меня.

Няня моя Таня в первые дни пыталась отгонять ее от меня, — медведица сердито рычала. Няня Таня выкормила ее вместе со мной и считала ее своей, домашней.

Когда меня кормили, Верка держала морду около моей головы. Я ей давал кусочки того, что ел, но сама она не отнимала у меня ничего.

Когда я приходил с прогулки, Верка была в восторге — бежала ко мне навстречу и облизывала мне лицо.

Помню, что отец, когда бывали у него знакомые, рассказывал им про Верку, и все удивлялись привязанности медведицы ко мне.

Мать моя была недовольна.

Я целый день играл с Веркой. Она была большая, но давала мне повалить себя. Я ездил на ней верхом, держась за шерсть.

Умываясь у умывальника, я умывал и морду Верки. Она любила сильный дождь и, мокрая, отряхивалась.

Помню, отец говорил, что Верка считает меня своим медвежонком.

Когда меня брали гулять — отец, мать, знакомые, — то Верка старалась меня не отдать, спрятать и с беспокойством урчала: «У-у-у... у-у-у...»

Вспоминая эти давние годы, я не могу понять, как отец мой мог позволять большой медведице спать со мной на постели, на которой она едва умещалась, — со мной, пятилетним мальчиком. Мать, помню, сердилась, хотя тоже любила Верку и удивлялась ее любви ко мне.

Однажды я вышел в ворота дачи с Веркой и пошел через луг в лес. Верка, придя в лес, встала на задние лапы, оживилась и стала нюхать воздух. Взяла меня лапой и на всех лапах побежала со мной в глубь леса.

Лес становился все чаще. У песчаного обрыва, под горкой, Верка выпустила меня и стала быстро передними лапами рыть песок. Песок летел во все стороны, попадал мне в лицо. Она выкопала яму, залезла в нее и рыла все глубже.

Перестав, наконец, рыть, медведица взяла меня, уложила рядом с собой в яме под корнями дерева. Обняла лапами, лизала мне лицо, мурлыкала... Это означало — Верка увела меня к себе. И мне нравилось.

Я привык засыпать под мурлыканье медведицы, и вскоре глаза мои закрылись.

Я проснулся от толчка — Верка вытащила меня из норы. Она стояла на задних лапах и с испугом слушала. Вдали в разных местах леса раздавались голоса и крики — по лесу шел народ. Это отец собрал крестьян искать меня.

Верка, схватив меня, побежала от ямы. Мгновениями останавливалась и слушала, стоя на задних лапах. Я испугался, плакал и кричал.

Когда голоса приблизились, Верка бросилась к высокой сосне и быстро взобра-лась на самую ее верхушку — с земли медведицы не было видно.

Ко мне подбежали ямщики со станции. Какой-то чиновник со светлыми пуговицами взял меня на руки, погладил по голове и сказал:

— Мальчик, мальчик, зачем ушел?

Подошел отец и тоже, взяв меня на руки, спросил:

— Как ты ушел?.. Верка тоже ушла...

— Верка была тут, — сказал я. — Она полезла на дерево и пропала.

Вернувшись домой, я увидел мать в отчаянии. Дома был крик. Верка вернулась и сидела у погребца на цепи. Я слышал, как она рычала, — ее били палкой.

На другой день какие-то люди в мундирах, сидя с отцом за столом, что-то писали.

Я услышал, что Верку хотят взять у нас.

Я выбежал на двор к медведице, обнял ее за шею. Она дрожала, и глаза у нее были злые, звериные. Все же она, ворча, немножко полизала мне лицо.

Вечером Верка не пришла ко мне... Ночью меня разбудили. Меня одевали мать и няня Таня. У ворот стояла большая карета. Отец вел на цепи Верку. Голова у нее была повязана большим платком, и ней было надето бабье платье. Она была похожа на бабу, и на морде ее была написана забота.

Мы все сели в карету. Отец втолкнул в карету и Верку, и мы тронулись. Была ночь. Я спал.

В Москве, у дома нашего на Рогожской улице, карета въехала в ворота. Собака на дворе отчаянно лаяла. Все вошли в дом. Отец ввел и Верку на цепи.

Верка хватала меня лапами, не отпускала, рычала. Помню, мать волновалась и что-то сердито кричала на отца. Тот снял с медведицы ошейник и велел отвести Верку ко мне в комнату.

Когда я ложился в свою детскую постель, Верка грустно смотрела на меня и легла около моей кровати на полу.

Утром Верку увели от меня. Когда — я не слышал.

Проснувшись, я спросил у няни Тани:

— Где Верка?

Она мне ничего не ответила.

Внизу, в столовой, я спросил и у отца, где медведица. Отец мне сказал:

— Успокойся. Она уехала на дачу... И когда поедем туда весной, ты ее увидишь.

Я был в отчаянии. Все вспоминал Верку и плакал.

Какие у нее были робкие, печальные и злые глаза. Ее били... Бедная моя Верка !..

Вспомнил также, как однажды меня научили за обедом дать Верке кусок калача, внутрь которого положили горчицу.

Верка ела, потом плевалась и, пробурчав «У-у...», ударила меня лапой по руке... Бедная Верка!..

* * *

И вот — каково же было мое удивление, когда, приехав однажды из гостей с матерью домой и войдя в переднюю, я увидел у двери Верку. Медведица стояла на задних лапах на деревянной подставке, держа в передних лапах деревянное большое блюдо, на котором лежали письма.

Я обрадовался и испугался: Верка была неживая... Она была жесткая...

Я разревелся неутешно и больше никогда не видал даже и чучела Верки.

Кто же сделал такую гадость с Веркой? И как могли сделать? Неужели отец и мать?.. Я тосковал, я не ел за обедом и все глядел в окно. Шел осенний дождь...

— Верка... Верка...

Помню, когда она спала со мной, она видела сны, что-то бурчала, лапы ее двигались... Она будто бежала.

«Верка!.. Верка!.. Отчего ты не убежала тогда со мной далеко, далеко в леса дремучие?.. Может быть, было бы лучше... Я тоже был бы зверем, как ты... И я бы никогда не сделал из тебя, за любовь и дружбу твою к человеку, — мертвое чучело...»

В сочельник

Иду я вечером от художника Поленова, жил он на Третьей Мещанской улице в Москве. Сад у дома его особняка весь синий, в инее мороза. Холодно, на улице никого, даже — извозчиков.

Иду пешком в Суцeve — все заборы, за заборами сады. Мутно горят на улице огоньки в фонарях, стекла замерзли, под ногами хрустит снег. Навстречу идет человек, воротник пальто поднят, шея закутана большим шарфом.

— Василий Княжев. Здравствуй. Откуда ты?

— От Веревкина, — кашлянув, отвечает Василий Княжев, мой приятель, рыболов и слуга.

— Пойдем ко мне, Василий, — предлагаю я. — Разговеешься, выпьешь. Гости будут.

— Чего ж, пойдете...

— Извозчиков что-то нет — доехать бы...

— Да ведь ноне сочельник, день эдакий... Всяк по себе праздник встречает, кто ни на есть, у кого что, семейство. А другому что праздник, что будни — все равно...

— Что-то ты, Василий, скучный.

— Да чего ж, будешь скушный...

— А что?

— А то — у кого какой хозяин. Сразу видать: другой, приметно, уж в сочельник веселый идет, выпивши малость, — хозяин, значит, хороший. А то, на вот — будешь скушный, у Веревкина работал я... концы правил, не одну сотню. Камыш-то кривой покупает. Ну и правишь на лампочке спиртовой. Без этого никак не возможно. Кто удочку-то кривую купит? Их што — тыщи две надо к весне справить. Н-н-да... Он хитрый, показывает, что не надо ему вроде, а сам ищет меня, подсылает... Я, к примеру, у Малиновского, в Неглинном проезде, правлю; ну, только у его, у Малиновского, скушно: один сидишь. А Веревкин знает, что скушно. У его все же приходят рыболовы, поговорят об охоте, ну, и пошлют выпить, закусить. Люди, значит, охотники — народ душевный. Веревкин знает. Ну, и сманит меня. А сам-то он, наживала, норовит прижать, гнет меня. Что ни сделаешь — все не так; криво, косо, говорит. Спросишь рублевку — так полтину выкидывает. Жила! Только и я тоже мастер, кое-чего знаю... Он много работы подбавляет. Ну, и правишь легко. Удочку купит кто — глядит, а к вечеру сырость на реке уж обязательно, глядит — удилице кривое. Ну, и приходит к ему в лавку — вот ругает его, хозяина-то, а я слушаю, молчу. Вот тебе — возьми, жила! И сегодня считал, считал... «Эх ты, — говорит, — забрал сколько». Мне двенадцать приходилось, а у его три с полтиной выходит... «Ты, — говорит, — за месяц выпил на двадцать три, проел сколько, колбасу, говорит, ешь, селедку тожа». Верно: я колбасу люблю... У него правил раз тоже один удилица,

дешевле меня взял. Веревкин рад был, да потом вышло, что он-то спирт не в лампочку наливает, а больше того себе в брюхо... Ведь это что — отрава, детунерат... А тому хоть бы што — пьет и пьет. Нажигал его, значит. Он понял, что спирту много выходит, ну, и прогнал его...

Показался извозчик.

— Извозчик! — крикнул я. — На Мясницкую, к Красным воротам.

— Пожалте, шесть гривен.

— Эк загибает, — сказал Василий Княжев.

— Чего загибает! Сочельник... А завтра што — праздник ведь Господен... — проворчал себе в заиндевевшую бороду извозчик.

— Тридцать копеек будя, — мрачно сказал Василий.

— Садись, сорок, — согласился извозчик. — А двугривенный береги на гроб...

На Первой Мещанской повстречали солдат. Целая рота. Ровно идут, слышно — кых, кых, кых... Под мышкой у каждого узелок с бѣлем.

— В баню на Антроповы Ямы крупа прет... — сказал Василий.

— Почему крупа? — спросил я.

— А как же — кашу жрут, их крупой зовут. Скажи-ка им, вот до чего не любят... Сейчас в драку полезут, — смеется Василий.

Приехали. Я даю извозчику шесть гривен.

— Во барин, спасибо, — обрадовался извозчик. — Завтра Молоденец родится, помолит за тебя.

— А тебе — черта с рогами, в рот-те ноги!.. — уже отъезжая, крикнул он Василию.

— До чего все деньги любят! — сокрушался Василий, поднимаясь по лестнице ко мне.

— А ты не любишь разве?

— Конечно, грешен... Но не лезу на них... Знать, оттого у меня и нет их никады...

* * *

В доме у меня хлопоты. Все как угорелые. На кухне слышно — толстая кухарка Люция кричит: «Пирог уйдет...» Ленька, озабоченный, тащит на блюде жареного гуся.

Мы с Василием прошли ко мне в комнату. Вижу — у меня все прибрано, чисто, стекла вымыты. Я почему-то сразу стал говорить тише, почувствовал, вроде я лишний. Заглянул в столовую. Там двоюродная сестра Варя строго на меня посмотрела черными глазами и не сказала ни слова. Пахло ветчиной, рябчиками.

Мне и Василию подали чай и сушки.

— Василий, вот ты деньги не любишь, а что ты больше всего любишь? — спрашиваю я.

— Да ведь как сказать... — с каким-то шипением рассмеялся Василий, — в деньгах весь заворот жизни заложен, вся что ни на есть чертовá. Забота, самый переплет жисти, злоба, и эти самые деньги вертят человека туды-сюды, куда хочешь заворачивают, и так-то его завертят, что он уж и сам, сердешный, не поймет, где и правда есть... Какой я человек? Эстолький, — показал он на свой мизинец. — Прежде всего — дурак. Чего я?.. Так, ничего... А люблю я больше всего — волю, а потом, грешен, — баб... А не то и бабу забуду, вот как ежели весна зачинает — бродяжить люблю, из города вон... Люблю на это самое глядеть — на лес, на радость зеленую, на

луг, на небо... Эх, воля, воля — хороша! Какой хошь хозяин, что хошь мне давай — а нет... прощай, хозяин! Весна! Будя! Я сам тады себе свой. Гляжу и гляжу — утро, солнце, вечер — вот они мои. Воля!.. Чего еще? Эх, и хороша земля наша, до чего! Вот бабы, конечно, тоже хороши, ежели недолго, а то заедают... И не любят они это самое — вот смотреть то-сё... Сиди, говорят, дома — боле ничего.

— Как же, Василий, бабы без денег? Деньги ведь нужны. Дети, да и вообще, как же?

— Это верно, — соглашается Василий. — У меня-то тоже был детеныш. Ну, а она ушла. А я с бабами полюбовное дело завертывал не за деньги. А когда в этом деле деньги — это уж што, последнее дело, скушно... Конечно, угощение нужно, — ну башмаки купишь тоже. Есть, конечно, такие — нет денег у тебя, и она, значит, прощай. Эдакие-то мне на кой нужны, я на их и глядеть не стану. Это они пускай господ вертят... Не-ет... За деньги я себе через час гарем заведу, да нешто я татарин...

Звонок в передней. Приехали друзья — Павел Александрович Сучков, с ним охотник Караулов. Гитара Сучкова в чехле, гитара с короной императрицы Елизаветы Петровны. Павел Александрович, как всегда, серьезен. Говорит: «Ну, здравствуй!» Лица веселые, красные с мороза. Коля Курин в котелке, озяб.

— Брось ты котелок-то свой, — пугает Курина Василий Сергеевич, — отмерзнут уши, отвалятся.

— Нельзя, брат, — говорит Коля, — я профессор, брат, в Консерватории. Консерваторки, брат, смотрят вот как... Наденешь шапку меховую, кучером прозовут, я ведь их знаю...

Гости, друзья, — радостно, весело. Что может быть лучше друзей-гостей?..

Приезжает Федор Иванович. Общая радость. Раздевается в передней, роста выше вешалки, лицо веселое, глядит на Павла Александровича — друга-приятеля. Но Павел говорит отрывисто и строго:

— Здравствуй.

На столе — грибы маринованные, грузди, рыжики в сметане, рябчики с брусникой, поросенок с хреном, гусь с капустой, белуга, свои копчушки, тетерева своей охоты, заяц... Приятели мои любили покушать и выпить. Павел Александрович налаживает гитару. В разговорах все больше норовят подшутить, один над другим.

— Скажи-ка ты, Петруша, как ты эту трубку гуттаперчевую, чем из аквариума воду выливают, съел?

— Честное слово, — говорит Казнаков, — с макаронами съел нечаянно... До сих пор у меня иногда отрыжка гуттаперчей. А доктор и Наташа не верят, ничему не верит Наташа, не верит мне... Вам только смех.

Павел Сучков, перебирая струны, запел и, посмотрев на Шаляпина, сказал строго:

— Вторя, ну!

Задремал тихий сад,
Ночь повеяла тихой отрадой...
А кругом аро...

Он остановился, посмотрел на Шаляпина и сказал:

— Сначала: «Задремал тихий сад...» Да, да... это не опера вам... не можете...

Шаляпин смотрел оробело: он нарочно так ловко фальшивил...

Сучков был в отчаянии:

— Странно... Довольно странно... Солист Его Величества... а вот... Это вам не опера... не можете... Сначала.

Все кругом ржали. Шаляпин виновато мигал глазами... Пение продолжалось. Шаляпин все больше и больше расходился с первым голосом. Павел Александрович только в недоумении качал головой, пил вино и говорит, смотря в пространство:

— Непонятно...

То было давно... там... в России...

НОВЫЙ ГОД

Пришел ко мне приятель Василий Сергеевич, мрачный, лицо красное, рот дудкой, говорит:

— Праздник... Невозможно жить! Куда ни пойдешь — бутылки... ликеры. К Собинову — пей, в кружок, обед — пей, в Алатр — пей. И Новый год на носу. Как жить? Был у Ваньки, говорю: «Справа у меня под ребром ноет». — «Печень, — говорит, — не пей». А сам вполсвиста! Доктор, конечно... Вот и он, и я, мы подумали — не поедете ли вы в деревню на Новый год — подышать лесом... Льжи, вина никакого. Отдохнем. Хорошо у вас там, просто.

— Я рад, я и сам собрался на завтра, в одиннадцать утра, на Ярославку. Павел едет, Коля, Юрий и Караулов.

— Вот спасибо — спасение! Позвоню сейчас доктору Иван Иванычу. Вина только не берите...

* * *

Приехали. Доктор Иван Иванович достает письмо из кармана.

— Вот ехал к вам из Москвы, захватил с собой письмо от пациента. Нарочно не читал. Прочтешь, знаете ли, в Москве, а он, скажем, пишет: болен, умираю. Изволь ехать с визитом... Знаем мы их!.. Есть у меня пациент, говоришь ему: «Пить нельзя». А он: «Какие нельзя — короткие или вина?» Какие-то у них короткие есть! «Рябиновую, — спрашивает, — например, можно?» Ну, говорю ему: «Ни рябиновой нельзя, ни водки, ни ликеров, ни коньяку, ни вина, ни пива!» Ясно, кажется. Так нет же — телеграмму дает: «Приезжайте, болен, умираю». Едешь — лежит, орет! Камни у него. Жена мне говорит: «В сочельник зубровки целую бутылку выдул...» — «Как же можно, — говорю, — ведь я запретил строго-настрого!» — «Нет, — говорит, — постойте, доктор, я и думал, что больным можно... Скажи вы мне — я бы не стал пить...» Еще меня винит!..

— Новый год, — испытующе глядя на Николая, говорит Василий Сергеевич, — новое счастье... Наверно, уж у тебя на Новый год — новая любовь?

— Я не обязан тебе отчет давать. Ты циник и грубиян. Где тебе понять — что такое любовь...

— А ты понимаешь? — перебил Юрий.

— Я, брат, понимаю... Я раз двести влюблялся! Да как! Стрелялся, хотел в пустыню уйти, мучился. Да и как не потерять головы. Куда ни подашься — везде пьют, и в голове бусарь у всех. На душе — тьма, кошки скребут. А тут тебя и начнет завертывать какая-нибудь красавица. «Отчего вы грустны?.. Вы как Чацкий...» Дальше —

больше. «Проводите меня сегодня из кружка...» Ну, из вежливости соглашаешься, конечно, — и опять в переплет попал!.. Выхода нет!.. Вот я рад, что в деревню сюда приехал, вот рад! Немножко отдохну... Подумаю... с мыслями соберусь. Никак не разберешь — какая лучше... Извод! Я ведь не вы, я всю душу отдаю. Страдаю!..

— Сам ты с бусарью в голове, — сказал Юрий. — Ты возьми красненькую и в руку ей дай дорóгой. Возьмет сразу — значит, настоящая женщина, а если скажет: «Как вы смеете, вы с ума сошли!..» — слезай с извозчика и опрометью беги, не говоря ни слова: цел будешь! Понял, бусарь?

— Черт знает что ты говоришь, Юрий!.. Я же идеалист, я люблю в женщине мечту! Какие пошлости — красненькую!

— Дурак ты, уши холодные, — рассердился Юрий. — Вот оттого-то они тебя и посылают в пустыню мечтать...

— Это верно, — с важным видом подтвердил Василий Сергеевич.

— Вы знаете домик у меня в Печатниках, отцовский, где я живу в Москве? Так заложить пришлось: дамочке платить... Деньги не брала: «Ах вы, что вы!» А тридцать тысяч рубликов стоила мне. Да-с...

У подъезда послышался колокольчик.

— Приехали, приехали, — закричал Ленька.

Засыпанные снегом, в дохах, ружья в чехлах, — приехали приятели. Раздеваются в передней. Павел Александрович Сучков, Караулов, с ним Герасим Дементьевич — охотник, мой сосед. Озябли. На столе самовар. Подбросили в камин хворосту.

Входя в горницу, Павел сказал:

— Пороша...

— Здравьете, Павел Лисандрович, — приветствовала его тетушка Афросинья. — Озябли, поди? Метель идет, чаю искушайте. А то мне стол накрывать пора, завтра год родится — счастливый. Новый год.

— Вот что, — говорит Павел, прихлебывая чай и греясь у камина. — Тащи-ка сюда кулек, посмотреть надо — не лопнула ли вдова...

— Какая вдова? — спрашивает Коля.

— Вдову Клико захватил сюда.

Из кульков вынимали бутылки и ставили на стол. Батарея...

— Начинается... — сказал доктор Иван Иванович.

— А тебе-то что? — заметил Юрий. — Пациенты будем!

— Бесплатные... — засмеялся доктор.

— Плати тебе — еще уморишь!

Серьезно и деловито накрывают на столе. Феокист и Ленька тащат из кухни и ставят на стол жареного гуся, тетеревей. На кухне Афросинья на них покрикивает:

— Неси грибы, не пролей...

В конце входит и сама, одетая в новый большой платок, нарядная. Несет большой пирог. Все так важно, серьезно, деловито.

— Ну вот, господа, готово, садитесь...

Юрий первый подходит к столу посередине.

— Перекрести лоб-то сначала, — осаживает его Вася.

Все крестятся и молча садятся за стол.

— С какой начинать? — спрашивает Павел.

— С березовой, — советует Юрий.

— Ну, нет... — не соглашается Караулов, — полынная верней. Горькую надо сначала.

— Простую, — заметила Афросинья, — потому опенки. Полынная запах тушит...

— Верно, до чего верно! — восторженно восклицает Павел Александрович. — Тетенька Афросинья, будь здорова. Спасибо, спасибо тебе. А скажи-ка: повторить чем?

— Ее же, чтоб груздь не обидеть, а опосля анисовую — под пирог. А на гуся полынной можно — гусь-то с яблоками, а тетерка с брусничным вареньем. Сразу, опосля горького-то, сласть дадут. В аппетит и войдете. А зря, без понятиев, — что за еда.

— Правильно, все правильно, — сказал Павел Сучков.

«Правильно», — кто-то глухо крикнул в камине.

Все оглянулись и вскочили из-за стола.

— Что такое? Чудно.

«Кто ты там?» — Молчание.

— Опять ваши штучки... Новый год, — горячится Василий Сергеевич.

— Удивленье... — говорит тетюшка Афросинья.

— Это бывает, — объясняет Герасим. — Мало на чай печникам дали, знать, когда печку клали. Они и заложили кирпичи-то нарочно — оно и отдает в трубу. У соседа моего Афанасия — он скупой, на чай не дал, — печка говорила, хоть из дому беги.

— Это верно, это бывает, — подтверждает и Феокист. — У нас, у старшины, печка матерно говорила... Срамота! Перекладывали всю печь начисто.

— Довольно странно — печки говорят! — засмеялся Сучков. — Какая ерунда!

«Ерунда», — повторил кто-то в камине.

Вдруг открылась дверь, и, весело смеясь, вошел приятель — лесник Петр Захарыч.

— С наступающим, с новым счастьем. Напужал я вас маненько. Отряхался от снега в коридоре да и сказал в трубу, где вьюшку закрывают... Я к вам зашел на праздник, но и по делу. Слышь, охотники вы. На Ремже тута, где чаща в гору, к стогу ночью шесть лосев приходит. Ежели с вечеру засесть, напротив, где валежник, так их и стрельнуть можно, шагов триста, не боле. Чтой-то часы-то у вас показывают? Сейчас я со станции пришел, десять часов только, а у вас старше показывают.

— Садись, Петр Захарыч, — говорю.

— Вот, не угодно ли... — горячится Павел Александрович, — хороши охотники: лоси тут рядом, а пули где — нет, не вязли!

— Вся надежда на Николая, — смеясь, говорит Юрий. — Он вам пуль сколько хочешь отольет.

— Ну нет, уж увольте... — отмахивается Коля.

— Не бось, — утешает Герасим, — утро вечера мудреней. На кузнице отолью завтра, что надо. Только лесник-то, не льет ли пули? Где ж ночью лося убить, неслыханно дело. Да и неладно: ежели лосиху убьешь — весь год каяться будешь, я знаю...

— Это верно, — говорит Павел. — По этому случаю за женщин надо выпить.

— Правильно, — одобряет Герасима и тетюшка Афросинья, — чего еще убивать? Гляди-ка, на столе-то, чего-чего только нет. Кушайте! Николай Васильич, ешь пирог боле, худой какой.

— Все из-за баб, — говорит Юрий, — от любви...

— Это бывает, — смеялась Афросинья. — Любовь не картошка, не выбросишь в окошко... Я вот скажу — когда мне шестнадцать лет было, так в деревню ундер приехал. Девчата говорят: вот ундер, вот красавец! А тоже Новый год был: меня мать гулять не пускает, я сижу в избе, гляжу в окошко, думаю: может, ундер пройдет, увидеть бы... А ундер идет, прямо около. Я ему кланяюсь, прямо во мне все загорелось. А ундер меня рукой зовет: выходи... Ну, я накинула шубейку да в сени. А мать-то меня поперек и схватила, а у ей прутья, да как завернет, да меня-то «жик-жик... жик-жик...»: «Вот тебе ундер, вот тебе ундер!» У нас-то строго это самое... Не погуляешь с ундером. Венчано дело... А потом стою в церкви, а вот его-то, — показала она на Феоктиста, — долговязого, рядом поставили. Я маленько поглядела, да боюсь. А поп поет. Вот ундер-то, — показала на мужа. — Что ж, состарились... Живу хорошо, чем не ундер? Ни разу не поругались. Мать-то нажгла за ундера в самый Новый год...

— Наливай, Павел, Вдовы Клико, — сейчас часы забьют — Новый год.

Хлопнули пробки. Часы били двенадцать.

— С Новым годом...

— Ну, и вино заморское... — сказал Герасим. — Эх, хорошо!

— А ведь монах его выдумал, — заметил Павел Сучков.

— Да неужто монах? — удивился Герасим. — Знать, расстрига был...

Зимняя сказка

Не спится.

В окно видна темная ночь.

Вдали на башне чужого города пробили часы, медленно и тоскливо.

И вспоминает душа, что далеко-далеко, там, в ночи, спят леса, долины. Печально, бедно... Вспоминается деревня под снегом, угрюмо, безотрадно. Снега, снега...

Едешь дорогой, сыплет метель. Кутаешься в шубу, думаешь: не замерзнуть бы. Кругом снежная мгла...

— Что ж, — говорю возчику, — переехали реку-то али нет?

— Явный факт, — отвечает возчик Батранов, — знать, переехали.

— Но постой, — говорю, — какой явный факт: «знать, переехали»? Значит, ты не знаешь.

— «Не знаешь»? А кто знает-то? Видишь чего, метет пурга. Естолько не видеть. Она-то знает, грех неровный, привезет... — сказал он про лошадь.

Останавливается. Бросает вожжи. Слезает. Идет смотреть впереди лошади дорогу, пропадает в темноте. Возвращается, опять садится, поворачивает лошадь назад. Слышно: «Ну, ну, грех неровный, трогай, не бось».

— Батранов, — говорю, — три часа едем, что же, не заплутать бы?

— Ничего... Я сам вижу, что долго. Мне бы у оврага-то свернуть да на Некрасиху. Я покороче вздумал — чистяком, а вот что...

— Смотри, Батранов, Новошутино бы не взять, там уж никуда не доедешь... Куда же ты повернул опять? — беспокоюсь я.

— Да глядел я, заметно, Лисеич, что болото, значит, на Алексея Захарыча надоть. Ежели на него выйдет — погреемся.

— А говорил — доведет грех неровный.

— Не бось, Лисеич, не замерзнем, стужи нет большой, чертоводит маненько. Ничего... А вот и лес, правильно.

Лошадь стала.

Перед нами — лес, большие ели, метель повернула вбок. Батранов вылез опять, пошел вперед и кричит мне:

— Знать, казенник, чаща — не проехать.

Опять сворачивает назад. Становится как-то одиноко, жутко. Батранов говорит:

— Вот что, Лисеич, — водит...

— Как же быть? — спрашиваю я.

Батранов хлестнул лошадь и крикнул: «Свят, свят, рассыпья, сила вражья».

Лошадь бежала рысцой и повернула влево. Внизу, вдали, блеснул огонек.

— Мать честная! — крикнул Батранов. — Ведь это круча. К Егору попали. Это ведь что, — возчик рассмеялся. — Егор — явный фахт. Постой, я поведу лошадь.

Батранов опять вылез и, взяв под уздцы лошадь, повел ее круто под гору.

Егор Васильевич — ученый лесник казенного леса. Огонек приближался, ясно показался дом лесничего. За частоколом лаяла собака.

Подъехали к воротам, вылезли, ноги у меня застыли. Стучим в калитку.

— Кто такой, чего надо? — спрашивает за воротами грубый голос.

— Отворяй, свои, — кричит Батранов. — Заплутали, Лисеич приехал...

Слышу голос Маши — сестры лесничего:

— Кто там?

— Маша! — кричу. — Послушайте, не бойтесь — это я.

— Кто — вы-то?

— Константин Алексеевич!

— Да неужели? В такую ночь!.. Как это вы?

— Сейчас, — доносит со двора.

Мы ожидаемся. Слышно, подходит человек, отворяет засов и, хрипло смеясь, говорит:

— Вот вы. Эка что, Ярлычева-то нету, в город уехал.

Отворяются ворота, Батранов въезжает. Иду в крыльцо. Собака прыгает, ласкается.

— Шарик, — говорю, — здравствуй, Шарик.

Собака, узнав, сует мне в руку холодный нос.

Накинув шубейку, встречает сестра лесничего, Маша. В доме тепло.

— Заплутали, значит? — говорит Маша. — А на праздник вспоминали вас, братец писать хотел вам: «приезжайте, волки к воротам подходили». Самовар поставим, озябли, поди.

Маша и мать ее, Дарья Петровна, хлопотали, ставили на стол варенье, пирог, маковые лепешки, ветчину, водочку в бутылке, чтоб погреться. Маша наливала чай.

Я заметил, что Маша изменилась. Лицо у нее стало бледное, грустные глаза.

Маша вышла в коридор за сливками.

— Вот, — сказала мне Дарья Петровна, мать Маши, — помните студента, — замуж Маша вышла, помните? Вот вернулась к нам...

— Что так? — спросил я.

— Нехорошо... — ответила мать, — краснобай, пустой человек. Маша намучилась и ушла.

Я взглянул на Машу, когда она вернулась. В лице ее была печаль, какие-то будни.

После чая возчик Батранов пошел спать в кухню.

Маша принесла простыню на сено, принесла подушки, и я лег в большой горнице на полу. Устал и заснул.

Ночью слышу голос Маши:

— Встаньте, поглядите в окно — волки...

Я вскочил с постели. Маша наклонилась и, заставив меня наклониться, повлекла меня к окну. На фоне синего снега у ворот, снаружи, сквозь мерзлые окна я увидел — двигались, как тени, мрачные, горбатые силуэты волков. Их было два. Блеснули внутренним блеском глаза и потухли. При мутном свете зеленой лампы грустное молодое лицо Маши, с полуоткрытым ртом, казалось мертвенно-бледным.

— Вон еще... — шепчет Маша.

— Маша, я выстрелю в них с чердака.

— Как хотите, — сказала она. И прибавила: — Нет, не надо, с ними мне веселей...

Маша пристально смотрела на меня.

— Маша, — начал я и осекся.

— Ну-да, ушла я от мужа, помните, при вас он приезжал в запрошлый год? Мы под венец в город уехали, помните?

— Что же, Маша, случилось? Вы такая веселая были.

— Да вот, не стерпела. Много у него в городе знакомых. Он все по гостям, и к нам гости. Он разговорчивый такой. Вижу я, что со всеми там, разными знакомыми барыньками-курсистками, заговаривается, и на всех у него глаза горят, вот как у волков! Каждую ночь из гостей поздно приходит, вином пахнет. Со мной ни слова. Я говорю ему: «Петя, ну скажи мне что-нибудь. Чего ты молчишь?..»

Он говорит:

— Ты моя лесная женщина, ундина. Я тебя люблю иной любовью, природой своей, вольной страстью. Ты не поймешь этого. Я люблю — от тебя пахнет лесом. Но есть другое, есть идейные женщины, они — город. Я не могу жить в лесу, я человек свободы.

И стало мне ясно, и удивилась я себе, что это со мной случилось? Когда он раздевается около, глядит в очки — рот у него большой и плоский, высокие плечи, с которых он снимает помочи, уверенность какая-то в лице... Ложась ко мне, улыбаясь, громко говорит: «Ну, здравствуй, мой лес». И до того мне делалось противно, что я спросила себя внутри: кто этот человек, что-то он? И не дурак ли? Когда он ест, какая-то уверенность всегда, какая-то снисходительность ко мне — я не могла есть с ним. Мне хотелось не раз ударить его. Но я сдерживала себя...

Маша наклонила голову и вдруг, подняв лицо, обняла меня за шею и сказала у самого моего лица, заплакав:

— Поцелуйте меня, Константин Алексеевич, как хотите... немножко будет лучше... Только не жалейте меня...

И матовые губы Маши прикоснулись к моей щеке.

— Что ты, Маша?.. — спросил я, удивленный.

— Любовь не волчья, другая любовь, которая давно была во мне здесь, в лесу, в этом лесу... — прошептала Маша.

На мерзлых окнах в кристаллах узоров отразился начинающийся рассвет.

— Маша, — сказал я, — по стойте здесь, у окна, я сейчас достану краски, холст, напишу вас с окном морозным, может быть, тени волков в эту предрассветную темноту.

Маша молча кивнула головой. Я быстро старался брать краски в мутной комнате, схватить настроение этого куска жизни.

Вскоре подъехала к воротам лошадь.

— Братец приехал, — сказала Маша.

И, накинув шубейку, выбежала в сени.

— Лисеич! Вот рад! — сказал, входя, лесничий. — Батюшки, чего это, ты Машу написал? А я письмо послать хотел — волки опять подходят к дому, Шарика им достать охота, а он умный, не дается.

«Ушла ночь», — подумал я.

Мать и Маша опять хлопотали, самовар на столе, просфоры из города. Умываю ледяной водой, валенки подает мне Батранов.

Осветился лес, ушла ночь, и с ней Маша, в таинственную сказку...

Батранов поит лошадь, к лесничему пришли мужики. Он деловито дает им билеты на порубку в лесу, считает деньги. Все другое — дневное. А Маша разливает чай — тоже другая.

Уезжая, прощаясь, я видел ласковые глаза Маши. Она вышла за ворота провожать меня. Я уезжал от чего-то близкого, родного...

В чужом городе вспоминаю лес в инее мороза, тени волков, помертвевшее милое лицо... Маша!.. какой прекрасной и таинственной небылью-сказкой живешь ты в памяти моей.

Ссоры

Давно уж мне показалось, что люди как-то любят ссориться.

Конечно, есть умные люди, и ссорятся умно. Но все же было бы как-то лучше, если бы не бранились.

Раз поссорились у меня все приятели, все переругались. До невозможности переругались. И помню, я сидел один в ресторане «Метрополь» в Москве, обедал. Как-то грустно было на душе, а оркестр вдали заиграл вальс Штрауса. И мне сразу показалось, что все ссоры — чистый вздор, совсем ненужная на земле энергия.

И вижу, идет приятель, подходит ко мне, лицо взволнованное. Смотрит на меня и молчит.

— Здравствуй, садись, — говорю я ему. — Послушай, — говорю, — какой оркестр. Штраус. Слушай, как красиво...

Приятель молчит, вижу — не слушает.

— Позвольте вас спросить, — говорит, — с какой стати вы это про оркестр, как будто вы ничего не знаете...

— Знаю, что вы переругались. Постой, послушай — это «Дунай» Штрауса...

— Извините, Дунай или там Яуза — мне все равно-с. А вот как он смел сказать, когда меня Ольга сама выбрала, всем предпочла меня, нашла, отличила... «тебя познакомила с Ольгой Марья Иванна». А вы знаете, Марья Иванна кто?

— Нет, не знаю.

— Не знаете-с. Так знайте: сводня. Понимаете, что получается...

— Какой вздор! — говорю я. — Ерунда, не обращай внимания.

— Нет-с, не вздор. У вас от музыки в голове, должно быть, такой легкий налет получается. Вы же не понимаете... что он из меня, сукин сын, делает? Кто же я такой,

получается, и кто же тогда Ольга? Марья Иванна сосватала, свела... Понимаете или не понимаете? Или вы притворяетесь? Ведь это довольно странно, понимаете. Ведь этого стерпеть невозможно. Среди всех прохвостов, среди приставал, разных ухажеров Ольга меня выбрала. Я горжусь. А он мне говорит: «Что ты из себя показываешь — она нашла дурака, ну, и устроилась». Каково животное, а!.. Поняли вы или нет? Помните, как в меня была влюблена Ольга?

— Помню, — говорю.

— Я Юрию говорю тоже: «Помнишь, как в меня Ольга была влюблена?» А он говорит: «Помню — как кошка». Понимаете, какая скотина, — кошку вставляет... Это все, чтоб понизить, опоганить, изничтожить... Погодите, я ему брюхо толстое распорю... Не я буду, распорю.

— Да брось ты, — говорю я, — какая чушь... Послушай — музыка, Шуберт...

— Да ну его к черту, вашего Шуберта, — перебивает меня сердито приятель Вася. — Ольга мне пела...

Когда, кругом тебя холодная, пустая,
Толпа мне преграждает путь...
Скажи глазами мне, скажи хоть что-нибудь...

Поняли? Это вам не Шуберт...

— Ну что ж, ты ей глазами-то говорил что-нибудь?

— А вы думаете, я из дурачков! Нет-с... Я у Головина спросил, он актер, понимаете. У него глазница вы видали какие? Так он мне показал, как это с женщинами глазами говорить нужно. Только должен вам сказать — Ольга чистый человек, чистая душа. Она не понимает этих штук. У меня приятели ужинали, она это поет в конце ужина с гитарой, а я ей глазами вроде как мигаю, хочу сказать глазами: понимаю, дорогая, мол, все понимаю... А она, Ольга, чистый человек, подошла ко мне за столом — народу много — и говорит мне на ухо: «Что ты все мигаешь? Я послала уж Дарью за вином, не беспокойся...» Вот ведь что. А? Какая чистая душа!.. Она меня сама выбрала из всех, а он говорит, Машка сосватала. Не скотина ли? А?

— Вот, — говорю я, — доктор Иван Иванович идет сюда.

— Так знайте — я ему руки не подам, как хотите... Он с Юрием заодно.

Подошел доктор Иван Иванович, здоровается со мной, садится за стол и говорит, не смотря на приятеля, как будто его и нет:

— Что делается, что делается... Все как взбесились. Бранятся. Кого ни встретишь, сердитые какие-то, что ни скажешь — все не так. Поумнели, что ли, или одурели, не поймешь. Вот и эта алясина, — показал он на приятеля Васю, — тоже взбесился.

— Потрудитесь, милостивый государь, меня оставить в покое! — резко сказал приятель Василий Сергеевич.

— Эх, ну что, право... — тужил Иван Иванович, — этот-то обойдется, на него дурь накатила, пройдет. А вот что я вам скажу: какой редкий случай был у меня позавчера, трудно поверить, прямо удивленье. Вызвали меня к больным — за Москва-реку. Приехал я на извозчике, смотрю — особняк с садом. Чистый такой, приятный дом. Вошел я в калитку: двор, крыльцо, все так хорошо. Позвонил. Открыла горничная, такая испуганная, провела меня в комнату. Там женщины две — не старые, а другие старухи. Дети с ними. Так тихо, в перепуге все. Вижу, семья купеческая. Говорят:

«Доктор, поссорились у нас. Сам мой, Никита Иванович, с ее мужем, на сестрах они женаты. Вот с ее супругом. Все праздники спорят, друг дружку из рук не выпускают... Здоровы ли... Вот я вас приведу — поглядите их, как бы разнять. Круто очень поругались, и не поймешь. В политике разошлись...»

Привели меня, значит, в большую столовую. Вижу, за столом сидят двое: один такой рыжеватый, другой темный, солидный. И вот один держит рыжего за бороду, а рыжий того за волосы, и сидят так друг против друга. На столе графин с квасом, стаканы, закуска разная. Вошел я — они оба глядят на меня и оба говорят:

«Почто пожаловали? Что надо?»

«Да вот, — говорю, — доктор я, позвали к вам».

«Напрасно, — говорят. — Мы, слава Богу, здоровы. А дело у нас особое, вам нас не рассудить, да и судья-то не рассудит, — говорит рыжий, а свободной рукой из стакана квасок прихлебнул. — А вы кто будете, так сказать, по внутреннему положению своему... это самое... к какой партии принадлежите?»

Я говорю:

«К какой партии политической, хотите знать?»

«Это самое», — говорит рыжий.

«Больше к октябристам склоняюсь», — ответил я.

«К левым или правым?»

«Направо больше подаюсь», — говорю я.

«Так вот я правого-то этого за волосы и держу...»

«Что такое», — думаю я и говорю им: «Согласитесь, я ведь доктор, тут политика ни при чем. Позвольте пульс у вас посмотреть».

«Извольте», — говорят оба и протягивают каждый свободную руку.

Ну, я пощупал пульс — пульс нормальный.

«И долго, — спрашиваю их, — вы держите так друг дружку?»

«Порядочно».

«С час будет?» — спрашиваю.

«Э-э... — говорят, — много боле...»

«Вам бы покушать...»

«Мы поели, кваском запиваем».

«Что же такое, помириться бы вам...»

«А-а... — говорит рыжий. — Пускай на другую платформу станет, тогда отпущу».

«Договорились бы», — предлагаю я.

«Говорили, язык устал», — сказал черный.

«На монархиста заворачивает Никита Иванович, в господу лезет... На кадетском крыле ране стоял, из одной печи, да не одни речи. Кто кого доле передержит — поглядим...»

«Сдавайся, не левши», — говорит другой и улыбается.

Посмотрел я на этих чудных людей, простился и ушел.

Женщины говорят:

«Они так все праздники у нас спорют. Амбар-то заперт, вот и спорют без дела. А когда при деле — проходит».

Дали мне за визит пятерку. Вот и подумайте, что же это такое? Что-то сделалось — эпидемия какая-то...

Было уже поздно. Вышел я из ресторана «Метрополь». Зимняя тихая ночь. Москва покрыта снегом. У Большого театра мерцает ряд фонарей, едут извозчики. Перешел площадь. Зашел в театр на сцену. Музыка, опера, поют:

Уж вечер... облаков померкнули края...

Сразу — другое настроение. В душу входят другие чувства. Забывается — смешное, вздорное. Вспоминается природа, весна... Скоро поеду к себе, в глушь, — к облакам, зверям, лесам...

Тихий человек

Знал я такого молчаливого, тихого человека. Кончил Практическую академию коммерческих наук в Москве. Так сказать, был человек земной, реальный. Говорил мало, но все правильно.

Встретил я его на Ильинке, в Торговых рядах. Идет, лицо такое серьезное. Верит, вижу, человек в ряды торговые, в огромные склады, где лежат горы товаров, хлопок. Ходит у огромных стен банка Взаимного кредита, Купеческого банка, контор разных. Проезжают по Ильинке на рысаках именитые купцы. Остановится тихий человек, посмотрит в умиление и скажет:

— Расторгуев проехал... Десять миллионов подымет...

Пройдет опять, остановится, поглядит, скажет:

— Найденов... Двадцать миллионов подымет...

И на лице — страх, почтение, вера и поклонение.

Ходит по Ильинке тихий человек без дела, смотрит, останавливается, говорит:

— Морозов... Шibaев... Боткин... Якунчиков... Рябушинский... — вздохнет и считает, сколько какой миллионов подымет.

Зайдет в контору, дожидается. Директора увидит — о службе просит. Тот запишет фамилию и адрес. И ждет службы тихий человек, все ждет. Никогда стакана вина не выпьет — боится, чтоб не пахло. «Не дай Бог, места не получишь. Строги богачи, осудят...»

Пойдет домой. А приятель, с которым он вместе живет, Анатолий, брюзжит:

— У меня одной картошки из четырех не хватает. Опять ты съел.

— Да, съел. А тебе жалко?

— Какой чудак! Не жалко, а счет не выходит. Я ведь на все четыре рассчитывал. У меня прежде всего аккуратность. Не зря мы Практическую академию кончили...

— Между прочим, ты не можешь мне одолжить рубль? — спрашивает тихий человек. — До послезавтра?

— А ты не можешь у другого взять?

— Странно ты говоришь. Ведь взять рубль — значит, себя потерять. Во всех глазах пропасть. Ты ведь мой друг, одолжи же рубль.

— Рубль? Рубль забудешь. Сто рублей возьмешь — помнишь будешь. У Морозова спроси-ка рубль, так он разговаривать не станет, беспокоить не из чего.

— Ну так дай сто рублей...

— Эк хватило! Откуда у меня они?

— Ну и Академия наша коммерческая, доехали... — пробормотал тихий человек. — К деньгам не подойдешь, места не получишь... Трудно...

* * *

Идет тихий человек по московским улицам, горят фонарики в вечернем сумраке, — долго идет по снежной площади Сухаревка. Из трактиров в трактиры народ идет, хлопает дверьми, из дверей пар на улицу валит, пахнет щами, ветчиной, — и хочется есть тихому человеку.

И вспомнил он по приятеля своего детства — небольшого фабриканта Ершова. Думает: «Пойду навещу Мишку. Только пить он здоров, заставит... Пей сколько хочешь, а денег не даст, так уж заведено у них...»

И пошел тихий человек на Рогожскую, по прямой Садовой улице. Долго тянется Садовая — соборы, заборы. Приветливо горят огоньки в окнах, и кажется тихому человеку, что везде там жизнь, счастье. Жены, дети... А вот он — один.

Рогожская. Вот и дом приятеля. На дворе собака лает, дворник в овчинном тулупе открывает калитку.

У приятеля Ершова, Михайла Никитича, встретила его мать, сестры — все в перепуге, говорят:

— Здравствуйте, все рады... Вот дело какое: Миша нездоров — белая горячка. Куролесит, с разбойниками все воюет. Доктора лечат. И сейчас у него доктор дежурит. Дело запущено, разобраться нельзя, векселя... В Пенделке, на щетинной мойке, рабочие денег ждут, а кто разберет дела? Вот рады мы вам — не разберете ли...

— С удовольствием, — говорит тихий человек, — дело знакомое, тому учились.

— Вот, пожалуйста в контору.

Привели его сестры в контору, видит тихий человек — книги, бумаги, счета на столе навалены. «Попробую, — думает, — разберу, как не разобрать, учился тому».

А сестры, милые такие, бутылки несут, вино, пиво, водку, закуски разные на стол ставят, угощают.

— Искушайте, — говорят, — веселее будет разбираться, а нам приятней, рады мы вам. Часто братец поминал вас — не идет, говорит, ко мне что-то. Любит вас.

Засел тихий человек, разложил бумаги и по тройной итальянской бухгалтерии повел дело. Трудно разобраться... Налил в стаканчик, дернул и закусил. Хорошо, тепло, приятно. Только дернул вторую, третью — задумался. Смотрит бумаги, видит — по бухгалтерии итальянской что-то много дохода выходит. Удивленье... Притворился, знать, Мишка, когда на дела жаловался. Говорит сестрам:

— Наличности-то нету. Кассу бы открыть... — и смотрит на несгораемый шкаф.

Долго у шкафа подбирали ключ — не подходит. А секрет-то у Михайлы Никитича. Как быть? Пошли к доктору. Доктор сказал:

— Постойте, больной все кричит: «Три-четыре-пять, не узнать тебе, Рыбаков, секрета, не сломать тебе несгораемого, Стенька Разин. На-ка, выкуси. Не поддешь...» — не это ли секрет?

Поставили ключ по цифрам три, четыре, пять. «Сезам, отворись!» — И открылся шкаф. А в шкафу: бутылки, ликеры, шампанское — и денег куча.

Наутро болит голова у тихого человека. Выпил порядочно. Пришел на работу в Рогожскую, к Ершову. Видит — что такое? Полон дом народу: судебный пристав с

цепью на шее, печати на двери ставит, сестры плачут, мать не в себе... Помер Михайла Никитич...

— Все из-за вас, — говорят тихому человеку. — В тюрьму вас посадить надо.

Сестры дали ему рубль и сказали:

— Унесите ноги куда... Узнал Михайла Никитич, что шкаф отперли, кричал, ругался: «Кто тут мое вино пьет?..» Доктора избил, а вино все выпил. Вот и скончался, через вас.

* * *

Пришел домой тихий человек, а приятель его говорит:

— Приезжали к тебе двое на рысаках. Вот письма оставили.

Читает тихий человек записки и удивляется: «Прошу пожаловать ко мне на Ильинку по делу. Найденов». Другой тоже: «Многоуважаемый, прошу пожаловать Вас отобедать ко мне. Иван Морозов». «Что такое?» — думает тихий человек.

— Анатолий, — говорит приятелю, — видишь, штаны-то у меня обтрепались. Помоги, надо купить новые. Зовут вот ведь — прочти.

Прочел Анатолий письмо и сказал, что можно, и прямо из кармана вексель достает.

— Пиши, — говорит, — тыщу, а вот тебе пятьдесят рублей.

— Как же... за пятьдесят — тыщу, что ты? Ты же друг мой...

— Да, друг. А коммерческая наука нужна, вместе учились. Нечего дурака-то ломать. Не хочешь — не бери.

— Возьми триста, — говорит тихий человек.

— Ну, черт с тобой, пиши, — согласился приятель. — Все равно из тебя коммерсанта не выйдет никогда. Читал сегодня в «Биржевке», написано: Ершов помер, баланс оставил больше миллиона. А у него сестра Варвара есть, хороша... Свататься буду.

— И, — сказал тихий человек, — не надо мне денег, оставь себе. Так к Морозову пойду...

И пошел он на обед званый, к Морозову.

Какой обед! Сам Олимпыч служит. Вина какие — шампанские, все в смокингах, все именитые, кольца на руках, икра во льду, стерляди аршинные. А сам Морозов на ухо говорит ему: «Ни к кому не иди, награжу». И пьет с тихим человеком.

Выпил порядочно тихий человек, идти далеко — с Воздвиженки в Сущево, а холод и мороз. Денег нет ни копя.

Спрошу, думает, рублевку у Морозова... Да как взять — себя погубишь... А сто спросить — не подумал бы, что жулик...

Уезжают гости, а Морозов говорит тихому человеку:

— Подождите, дело у меня к вам есть...

Уехали гости, Морозов говорит: «Едем к “Яру”, там решим».

У «Яра» и не был никогда тихий человек. Цыганский хор поет.

— Рад, — говорит Морозов, — дело с тобой вести. Мне, — говорит, — главный бухгалтер Взаимного кредита сказал, Беренс, англичанин, что ты итальянку знаешь. Баланс вывел, фабрикантик был такой, Ершов, сродни он мне. Хороша Варя, сестра Ершова? Я тебя женю. Нет, брат, не уйдешь ты теперь от меня, ученая итальянка... Погоди... Мы-то ведь купцы, понимаем...

Плетется на другой день по улице тихий человек. И зашел на Ваганьково кладбище, где похоронили Ершова. Нашел его могилу, посмотрел на нее, покачал головой, сказал:

— Ну вот помер... Хорошо тебе: помер — и все тут. Лежишь себе... Тоже ты, Мишка, был туды-сюды... Эх, да что, лежи теперь, тебе хорошо... А я вот как живой покойник хожу, места-то не найти... Писал тебе, дела разбирал по итальянской бухгалтерии, учился... А ты помер, сволочь... Рублевку получил... Все вы такие. Помнишь, ужинать звал меня? Пришел в клуб купеческий, в карты играют. «Выиграю, говорил, ужином угощу». А ставки большие. Говорил тебе: не тяни на пятерку, скажи «своя», а ты тянул, сволочь. И я не емши пешком домой шел. А сколько проиграл? Вот те и Практическая академия коммерческих наук. Подумал бы!.. Ну, да что... Прощай. Царство тебе Небесное. Не сердись, прости...

Тихий человек вынул из кармана грязный платок и вытер слезу. Отвернулся от могилы и вдруг видит перед собою сестру Ершова. Та смотрит на него и говорит:

— Петр Петрович, мы вас искали, вы все правильно сделали, и обидели вас понапрасну... Люди, эти, которые прогнали вас, ищут, и все дела братца просят вас принять. И душеприказчиком вас ставят. Братец-то ведь любил вас и мне говорил: «Есть у меня друг один, только меня не любит. Вот тебе жених, Варя, он тихий такой...» Про вас ведь говорил-то. А я и не знала вас... А капиталу оставил миллион чистых. Ваша записка все объяснила...

И закурилось в голове у тихого человека. Обернулся он к могиле, упал, схватил руками землю и закричал:

— Бедный Миша, друг ты мой. А я-то думал... что ты такая же сволочь, как другие. Ведь ты видел, что я не ел. В карты играешь, твоя ставка одна — спасение жизни моей была. Ты ж видел, что я голодный, ужин обещал. А я домой не евши шел... Простите меня, Варвара Никитишна, не знал я ничего этого. Верно тройная бухгалтерия показывала. Миллион сто семьдесят восемь тысяч триста двенадцать рублей двадцать шесть копеек. А про вас-то вот Миша ничего мне никогда не сказал. А бухгалтерия что ж покажет...

И заплакал тихий человек. И своим платочком Варя вытирала ему и себе слезы...

Естественная история

Помню, в молодости как-то летом заехал я к приятелю своему, Павлу Александровичу Сучкову. У Фоминской стоял лагерем кавалерийский эскадрон, а приятель мой был в эскадроне в чине корнета. Человек серьезный, жгучий брюнет, ровный подбор, волосы туго намазаны фиксатуром.

— Вот что, знаешь, — сказал мне корнет, — до обеда я должен заняться с солдатами. Поверочный экзамен такой. Недолго. Если хочешь, пойдем со мной...

Мы пошли. В деревянном большом бараке, наскоро построенном из сосновых досок, я увидел много солдат, сидящих за партами на скамьях.

Мы вошли, солдаты встали. Павел Александрович сел на скамейку впереди, за небольшой стол, на котором стоял графин с водой, стакан и лежал какой-то список. Я сел в стороне у окна на лавочку. Павел Александрович скомандовал:

— Садись.

Солдаты сели. Он посмотрел список и вызвал:

— Свистунов.

За средней партой поднялся солдат. Широкогрудый блондин с голубыми глазами. Павел Александрович строго спросил:

— Что такое воробей?

Солдат помолчал, поглядел в сторону и ответил:

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как же ты — воробья не знаешь? Не видал?

— Так точно, ваше благородие, я его не знаю. Никагда не видал, ваше благородие.

Я с ним не знамши.

Павел Александрович обернулся ко мне, покраснел и еще строже сказал:

— Да как же ты воробья не видал? А? Ведь ты в деревне жил... Что же это такое?

Вот так естественная история... Поди сюда.

Сучков встал и позвал солдата к окну.

— Смотри. Видишь? Вон, на дороге... Вон, полетели, видишь, навоз клюют.

— Воробьи, ваше благородие, — обрадовался солдат.

— Ступай, — сказал Сучков.

Солдат пошел на место, стал за партой. Сучков опять сел к столику, спросил:

— А что такое петух?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Что же, ты видал петуха-то или нет?

— Так точно, ваше благородие, никогда не видал.

— Ну, с курами ходит — петух. Что же ты, никогда не видал петуха? В деревне ведь есть у вас куры и петух при них.

— Так точно, ваше благородие, эдакого-то петуха я видал.

— Ну, ладно. Что же такое петух будет?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Так птица же он будет или нет?

— Так точно, птица будет, ваше благородие.

— А воробей что?

— Не могу знать, — совсем оробев, ответил солдат.

— Вот и возьми их, — сказал Сучков. — Садись!

Он посмотрел на список и скомандовал:

— Дацук!

Встал высокого роста бравый солдат с черными, как пуговицы, глазами.

— Что такое воробей?

Солдат молчал.

— Что же молчишь?

— Я его не знаю, ваше благородие.

— Садись, — сказал Сучков.

Он налил себе воды и в волнении выпил. Встал, заложил руки в карманы рейтузов и посмотрел на солдат.

— Ну, кто может мне сказать про воробья? Кто знает, что такое воробей?

Поднялся один солдат на задней парте, с веселым бойким лицом:

— Мы думаем, ваше благородие, вы про знакомого какого спрашиваете... А чего воробей? Это самая что ни на есть последняя птица. И чего в ей, самая проклятая.

Когда Христа распинали, так эти самые воробьи гвозди им носили. Вот какая это птичка будет.

— Молодец, — сказал корнет.

— Свистунов, — крикнул он опять. — Так петух, значит, птица. Ну, а сколько у ней ног будет?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Что за черт, — сказал Павел Александрович. — Не знаешь.

— Как счесть-то их, ведь петухов много. Не пересчитаешь, ваше благородие.

— Я спрашиваю про одного петуха. Сколько у него ног?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Так две же у него ноги... Что ты со мной делаешь?

Солдаты улыбались.

— Так точно, ваше благородие, так что у него две ноги, — ответил Свистунов.

— Ну, а сколько у лошади ног?

— Так что по две ноги будет, ваше благородие.

— Это что же еще такое? Черт вас... Так четыре же всего выходит. Что ты, смеешься, что ли?

— Никак нет, ваше благородие.

— Всего у ней четыре. Спереди две да сзади две.

Мой приятель опять налил в стакан воды.

«Ну и естественная история», — подумал я.

Павел, помолчав, сказал:

— Холоденько!

Вскочил солдат на передней парте.

— Что такое Санкт-Петербург?

— Не могу знать, ваше благородие.

— А Москва?

— Москва? Так что самый что ни на есть большой город.

— Так столица она или нет?

— Так что столица, ваше благородие.

— Москва — Первопрестольная столица, — поправил Павел.

— Иропкин, — крикнул Сучков.

— Как имя-отчество нашего Государя императора?

— Александр Николаевич, ваше благородие.

— Ах, ну и дурак ты, дурак. Не знаешь имени своего Государя. Не Александр Николаевич, а Николай Александрович.

— Простите, ваше благородие, ошибся я малость.

— Садись. Ну, завтра в три часа быть здесь.

— Пойдем, — сказал мне Сучков.

Возвращаясь, я сказал Сучкову:

— Ну и хорош экзамен.

— Я знал, что ты будешь зубоскалить.

— Павел, — говорю я, — уж очень ты строг на экзамене. Лицо у тебя такое, знаешь, сердитое, они боятся тебя.

— Да, — сказал Павел, — попробуй — помучаешься. Смеяться можно, дурацкое дело не хитрость. А ты вот займись, попробуй, с ними. Нужна программа. Естественная история общая — мой предмет.

— Ну что же ты, — говорю я, — воробей, петух... Ты бы им что-нибудь про крокодила, слона рассказал.

— Ха-ха, — рассмеялся Сучков. — Расскажи-ка, скажут, что врет. Эдакого, скажут, не бывает. Они ведь нездешние, из дальних деревень. Ты народа не знаешь. А потом, при начальстве, они знаешь что про крокодила заговорят. Я ведь отвечаю. Каждый раз я на экзамене расстраиваюсь, в отчаяние прихожу. Болен делаюсь.

— К «Яру!» — крикнул он извозчику.

* * *

В саду у «Яра», за обедом, выпив рюмку водки, Сучков спросил полового:

— Егор, ну скажи мне, пожалуйста, что такое воробей?

Егор от неожиданности растопырил глаза и в удивлении ответил:

— Воробей — воробей. А кто же его знает, что он?

Павел Александрович в огорчении опустил голову и стал есть осетрину с хреном. Не знаю, отчего я рассмеялся.

— Смейся, — сказал мне Павел Александрович. — Смешного тут мало.

— Послушай, Павел... Это правда странно, чтобы человек в двадцать с чем-то лет, кавалерист, говорил, что у лошади две ноги.

— Так вот отчего я и пью, — сказал он, наливая водку. — Я страдаю, а ты смеешься.

— Постой. Он отлично знает, что у лошади четыре ноги, и он бы ответил это. Но он удивляется — ты спрашиваешь, что ему так известно. Что такое воробей? Он думает: «Что за ерунду спрашивает?» Что такое петух? Он думает: «Какой тут подвох?» Напуган он. Ну и говорит: «Не могу знать» — чтоб отделаться от ерунды. Прежде всего он боится тебя. Лицо у тебя такое: брови такие, высокие, и глаза, брат, такие делаешь, как у лягушки.

— То есть позволь, — удивился Павел. — Как это, как у лягушки?

— Ну да.

Павел посмотрел на меня и расхохотался.

— В первый раз, знаешь, слышу.

В это время мимо проходила цыганка из хора «Яра» и поклонилась Сучкову.

— Здравствуйте, Павел Александрович. Давненько вы у нас не были. Забыли вы нас.

— Марья Тихоновна, постойте. Садитесь, пожалуйста, — сказал Павел Александрович. — Не хотите ли покушать?

Он подал цыганке стул.

— Я уж ела, — садясь, сказала Марья Тихоновна. — Вот если мороженым угостите.

— С удовольствием, — сказал Сучков. — Марья Тихоновна... Скажите, а на кого я похож?

— Да что ты, батюшка. На кого похож? На человека похож. На нашего брата цыгана смахиваешь. И на гитаре понимаешь, и поешь наше все хорошо.

— А вот он говорит, — Сучков показал на меня, — что у меня глаза лягушечьи.

Марья Тихоновна засмеялась, посмотрела на меня и сказала:

— Есть отчасти, ты не гневайся.

— А что такое лягушка? — спросил Сучков серьезно.

— Лягушка... а кто ее знает. Зверь такой болотный.

— Ну вот, — удивился Сучков. — Вот и она не знает... Н-да... Странно... Вот так естественная история.

Воспоминания детства

Многим бы хотелось видеть Пушкина. А бабушка моя, Екатерина Ивановна Волкова, видела его. И много говорила мне и брату моему, когда мы были детьми. Говорила об Александре Сергеевиче Пушкине, что это был самый умный человек России. И часто говорила нам о нем. И мне представлялся он красавцем, на белом коне, как наша лошадь Сметанка, и в каске с перьями. А бабушка сказала мне, что нет, он был маленького роста, сгорбленный, курчавый блондин с голубыми большими глазами, блестящими, будто на них были слезы. Серьезный, никогда не смеялся. Одет был франтом, носил большое кольцо на пальце и смотрел в золотой лорнет. «Зачем это, — подумал я, — маленького роста? Неправда, что бы мне ни говорили». Мой дед, Михаил Емельянович, был огромного роста, и мне хотелось бы, чтоб и Пушкин был такой же и приносил бы мне игрушки. Но мне всегда нравилось, когда бабушка читала мне Пушкина. И я, слушая, сидя на лежанке, думал: «А ведь его убили. Как это гадко!»

Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было полно им: и вечер, и зимняя дорога, тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, дорога, остановка на постоялом дворе, калачи, поросенок, икра, и мясцо, и страшный лес на дороге. И нравился мне Пушкин. Как верно и хорошо он написал про что-то, все самое мое любимое.

И я знал уже много его стихов наизусть. Из дому деда, на Рогожской улице, ухаживал на соседний большой двор, к ямщикам, в ямскую избу, где было тепло, пахло щами. Такие хорошие ямщики, отдыхали, сидели, пили чай. Ели баранки, ситный. И любили меня, хозяйского внука. Я всей душой любил ямщиков. Я им говорил наизусть:

По дороге зимней, скучной,
Тройка борзая бежит...

И видел — нравилось ямщикам.

— Ну-ка, — говорили они мне, — скажи, Костя, вот ему... про разгулье удалое аль сердешную госку... Как это, скажи-ка...

Ямщики слушали.

Один из них, Игнат, с черной бородой, часто просил меня:

— Скажи да скажи... про старушку родную...

Тогда я ему говорил стихи:

Буря мглою небо кроет...

Игнат плакал. Всегда плакал.

Поразило меня однажды, что приятель отца моего, судебный следователь Поляков, сказал про Пушкина: барин, камер-юнкер. И что-то нехорошо говорил. Я сказал бабушке, Екатерине Ивановне:

— Поляков не любит Пушкина.

— Да, — ответила она, — не слушай его. Он нигилист.

Я не понял, но подумал: нигилист — это, должно быть, вроде дурака.

Странно, что Ларион Михайлович Прянишников, впоследствии художник, родственник наш, часто бывая в доме у нас, тоже не любил Пушкина, тоже сказал: камер-юнкер! Мой дед был именинник. Лежал в постели, прихварывал. Утром я пришел к нему и сказал стихи:

Птичка Божия не знает...

Он меня погладил по голове и, смотря добрыми глазами, сказал мне:

— Это, Костя, хороший барин сочинил.

Потом, вздохнув, сказал:

— Эх, грехи, грехи. Ты, Костя, когда молишься на ночь — то поминай и его. Он ведь был добрый, как Божий серафим. Мученик — ведь его убили.

«Вот, — думал я, — что такое».

— Дедушка, — говорю я, — а Игнат, я ему сказал стихи, а он заплакал.

— Ишь ты, — удивился дед. — Он, Игнат, хороший мужик. Бедный, бездомный.

Пьет только частенько...

Почему-то дед запретил мне ходить в ямщицкую, к ямщикам.

— Есть, — говорит, — запойные... Всякого наслушаешься. Не надо, — говорит, — ходить тебе туда.

Когда дед умер, то после я спросил свою няню Таню:

— Вот дед мне велел молиться о Пушкине.

— А кто он тебе доводится? — спросила няня Таня.

— Он серафим от Бога был, камер-юнкер убитый.

— Ишь ты! — вздохнула няня.

Ну, няня сказала:

— Молись так: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба Твоего камер-юнкера Серафима».

Я на ночь, стоя на коленях в постели, поминал деда, покойную сестру и доброго убиенного «камер-юнкера Серафима».

Встречи с А.А. Пушкиным

Москва, зима... Много раз, после работ, я заходил на Тверскую в Английский клуб обедать... Каменная ограда и ворота с забавными по форме львами, которые отметил Пушкин. Большой мощный двор и прекрасное, старинное здание.

Потолки в залах Английского клуба были украшены прекрасными плафонами французских художников. Они были темные, теплого цвета, глубокие и прекрасные по тону.

Лакеи, старые люди, одетые в ливреи времен Александра I, дополняли характер эпохи.

Народу за обедом в Английском клубе бывало мало. Однажды, заехав в клуб, я никого не встретил. В большой столовой, за большим столом, мне поставили один прибор. Когда я сел за стол, вошел пожилой генерал, высокого роста, лет семидесяти, с лицом восточного типа. Мы поздоровались. В Английском клубе, по обычаю, все члены должны были быть знакомы, но я не знал, кто этот генерал. Наклонив голову, он ел суп. Я заметил, что когда его большие глаза смотрели в тарелку —

белки их отливали синевой. Я подумал: если бы на него надеть чалму, он был бы похож на дервиша.

— Как я люблю Английский клуб, ваше превосходительство, — сказал я. — Здесь ощущаешь историю. Все дышит прошедшим: сколько впечатлений, волнений, разговоров, дум прошло здесь. Что-то родное чувствуешь в этих стенах. Я слышу здесь шаги Александра Сергеевича Пушкина.

Генерал почему-то пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да, отец мой очень любил этот клуб.

Я удивился и спросил:

— Как, отец ваш?

— Да, я Пушкин. Поэт Александр Сергеевич был мой отец. Я — Александр, значит, Александрович.

Я встрепенулся и как-то нескладно сказал:

— Как, неужели? Как я рад.

— Я живу больше в Петербурге, — сказал генерал, — но люблю этот клуб. Тут тихо. Москву я люблю тоже. В Москве у вас мороз крепкий, зима настоящая. Отец мой тоже любил Москву, зиму любил. У вас в Москве еще в домах лежанки топят. Кот у меня тут, приятель, мурлыкает. В окно сад виден в инее.

— Ваше превосходительство, — сказал я, — когда вы вошли, я подумал, глядя на ваше лицо, — какого вы племени. Вы не похожи на русского, в вас чувствуется арабская кровь.

— Да что вы, батюшка, какой я араб! В отце было что-то. Курчавый был. Тоже русский — какой араб... Я и жары-то не люблю. Вот на станциях — в буфетах, в ресторанах — всюду на столах пальмы ставят — терпеть не могу. Елка лучше. А берега, а лес наш...

— А вы хорошо помните отца?

— Помню мало. Помню, что брюки у него были темные, в клетку, фрак желтоватый, глаза голубые. Помню, игрушки мне какие-то привез с матерью. Платье на матери было тот день широкое, шляпа большая с лентами, нарядная. На коленях у отца сидеть любил. Он мне пел: «Во саду ли, в огороде...» Волком меня стращал... Конечно, отец хорошо писал стихи, глубоко. Щекотливые сюжеты он брал — про любовь, — опасно. Не надо бы было. Ведь я помню, потом, после смерти, его все осуждали, и дома у нас осуждали...

Помню, раз — зеркало стояло у нас, к стене внизу, новое. Я смотрел в него да качал да на себя и уронил — на голову. Оно и треснуло. Отец испугался, рассердился и закричал: «Я тебя вот высеку!..» Высечь он меня не высек, но в угол носом поставил... Ездить любил с ним в санях. Он к себе меня в шубу сажал...

Однажды летом на открытой террасе Английского клуба, которая выходила в большой густой сад, после обеда с Александром Александровичем, я нарисовал его лицо в альбом. Он взял рисунок, вошел в клуб, посмотрел на себя в зеркало и сказал:

— Похоже, только мрачно. Неужели я такой сердитый? Знаете, я на отца здесь больше похож.

— А разве он был сердитый?

— Бывал сердитый. Задумчивый. Один в комнате, бывало, все ходит, думает. Войти нельзя, не пускали к нему никого. Кто громко говорит, он крикнет, чтоб не мешали.

— Александр Александрович, — спросил я однажды. — А вы не пробовали сами писать стихи?

— Что вы, батюшка, это ведь трудно... Какой я поэт!..

Александр Александрович был скромный, простой, русский. На руке у него было кольцо отца, а ногти у него были темного цвета. Однажды, перехватив мой взгляд, он сказал:

— Вот ногти, это оттуда, от Ганнибалов... У отца, говорили мне, было другое хорошее кольцо, да украли, во время похорон...

Он застенчиво улыбнулся.

— Вот все спрашивают про отца, а я — что помню?.. Мало, мало помню...

Деньги

Помню зимние сумерки. С краю, у высокого леса, уходящего вдаль, показался круглый месяц. Среди снегов сиял он таинственно и печально... Мы шли на лыжах с охоты, спускались из большого леса к замерзшей реке.

Переходя через реку, почему-то все остановились у широкой проруби и смотрели, как во льду текла темная, сердитая вода. Как это непохоже на лето! Лето, лето... Какие тогда берега! Купавками покрыта река, отражается зеленая ольха, летают стрекозы. Я здесь всегда купался, плескались рыбы, и в кустах черемухи пел соловей.

А теперь бедно, оголенные кусты и снега, снега, снега. Безотрадно, уныло. И красный месяц за бугром сквозит через ветви оголенных деревьев. Как печально в душе!..

Поднялись на гору, к моему саду. Приветливо блеснул огонек в темном силуэте моего дома.

У крыльца, скидывая с ног обледенелые лыжи, входим через коридор в кухню. Тепло. Сторож моего дома, дедушка, говорит:

— Эж запоздали, а у вас гости ждут.

Весело встретили нас приятели-охотники. Вижу — доктор Иван Иванович, гофмейстер, Василий Сергеевич, Юрий.

— Четыре часа ждем. Да-с, — сказал Василий Сергеевич.

— Ну, что же, ничего? Пустые? — спрашивают приятели.

— Нет, есть, — говорит Герасим. — Что попало. В сугробах по пояс тонешь. Где тут, нешто возьмешь. Глухаря взяли. Посчастливилось. Удивление берет: Николай Васильевич стукнул! Да ведь и где — на самой макушке сидел.

— Да, брат, на триста шагов.

— Ну, уж это ты врешь.

— Нет, не врешь. Я ему в глаз прицелился, и готов.

— Молодец.

Герасим приносит и показывает глухаря.

— Я его картечью ахнул, — говорит Коля.

— Да, бывает счастье эдаким разным... Нечаянно, конечно, попал.

— Позвольте спросить — каким же это разным? — спросил Коля.

— Высоко сидел, — сказал Герасим. — Я диву дался.

Коля торжествовал.

Охотники оживились. Гофмейстер допытывался у Герасима, видал ли он какие-нибудь следы зверей.

— Есть, — отвечал Герасим. — Видал лосиный, свежий. Да где же? В такой рыхлости не дойти — лыжа вязнет. Усталь берет. Насту нет. Это ведь тетерь дуром попался.

— И я говорю, дуром, — сказал Василий Сергеевич.

— То есть как это, дуром? — обиделся Коля.

— Как же вы его увидели? — спросил гофмейстер,

— Как видел? Он сидит на макушке да на меня смотрит. Я его и ахнул. Подряд. «Раз-раз».

— Загляделся! На Кольку! Подумаешь. Ну и охотник. Вот и выходит, что дуром.

* * *

Хорошо, тепло в доме у меня, потрескивают сучья в камине, потонули окна в темно-синем сумраке. Приятели расположились на тахтах. Встанет один — другой встанет. Нальет рюмку за столом, выпьет, закусит зайчатиной, груздем и опять полеживает. Разговоры разговаривают, случаи на охоте. Случаи иной раз такие, что веришь так, по дружбе...

— У Караулова было ружье, из Англии выписал. Оба ствола — чок. Идет здесь, под Никольским, к болоту — вылетает кряква. Он «раз», кряквы нет. Идет в Ратушине, по мелочам, стойка — вылетает черныш... Он «раз» — черныша нет. И куда девается — неизвестно. Он зайца — «раз», зайца нет... Что такое? Он ружье смотрит — как быть? Ружье рвет на части, Ланкастер, садовое ружье. Отпускать надо дальше, на сто, на двести шагов бьет — рвет. Дичи нет. Не знаешь — что убил, все вдребзги. Дак собака выла от досады.

— А вот у меня ружье Пэрдэ, — сказал гофмейстер. — Под Вологдой, на Кубинском озере, птицу застрелил. Голова отскочила. Не знал — что такое. Серая птица. Какая дичь — не поймешь — головы нет. Я остановился там, у священника, в Кубине, так он сказал, что лебедь, а оказался гусь.

— В пойме, на Клязьме, — вступил в разговор Василий Сергеевич, — я на луже, в осоке, смотрю — уток выводки, сотня, нелетные утки. Я «раз-раз». Половину набил. А с горки от меня, от леса, приятель мой, Баранов, был. Подряд тоже лупит. А от него до лужи шагов пятьсот. И бежит к луже, к болоту. Залез в лужу, да уток моих подбирает и в ягдташ себе кладет. «Постой, — говорю, — ведь это утки мои!» А он: «Нет, я тоже стрелял». Вот ведь что! А ведь друг был. Я возмутился и ушел с болота. Больше его не видал. Прощай, пиши... В Москве встретились. «Здравствуй», — говорит Вася. А я: «Вы ошибаетесь, я не Вася». — «Как, — говорит, — да что ты?.. Вася Кузнецов, да что с тобой?..» — «Ошибаетесь, — говорю. — Я не Вася, и фамилия не моя. А моя фамилия Ежиков, и зовут меня Николай». Он смотрел, смотрел на меня да так, выпучив глаза, и ушел. Таких друзей мне не надо.

— Эх, друзья, — сказал Герасим. — Бывает это.

— А как узнаешь — кто друг, кто нет. Надо, говорят, пуд соли съесть, и то — узнаешь ли? — сказал Кузнецов.

— Да, трудно узнать. Есть эдакое в жисти — собутыльников много, а друг — где его сыщешь? Вот я вам скажу, какое дело было со мной, — говорил Герасим. — Был

я молодой, женатый. Жена родила сына. Один я — хозяин. Отец помер, братьев нет. Нужда. Не нужда, а недостатки. И пошел я работать на карьер. Значит, на машину. Рельсы новые клали. Поблизости, в стороне, бугор, суглинок песчаный, лесок на нем растет... Копаем да бросаем в вагон, на платформу — насыпь класть, под железную дорогу. Путь вести. Со мной из деревни нашей — восемь человек работают. Работают кто? Сосед мой, Захар, все друзья, деревенские. Копаем, значит, а на меня это сверху земля поползла, суглинок, всего и засыпала. Батюшки, не вздохнуть! Сразу мне в голову ударило — помру, жена, сын. А в кармане у меня забито, поглубже, весь капитал мой — восемьдесят два целковых. Невелик, а как без него? Пропадешь. Смотрю, за ноги меня вытаскивают, и отдышаться не могу. Ушибла земля, на ногах стоять не могу. «Помру, — думаю. — Нехорошо мне. Надо бы деньги кому отдать, чтобы жене передал». И сумление берет меня. Не отдадут, затаят... Сосед — не отдаст ничем. Знаю его. Петру? — пропьет. Тут со станции пришли, на носилки меня взяли. Несут, а я думаю: «Вот ведь, нет друга. Кому поверить деньги?» И взяло меня раздумье — что ж такое, грешу я. Нет, в голову вьелось — не отдадут. Нет эдаких-то. Ну, в Петров, в больницу, отправили. В больнице хуже. Память потерял, значит, здорово меня земля ушибла. Очнулся потом, думаю: «Не нашли бы деньги в кармане — отымут, украдут». Опять очухался, смотрю — жена сидит около. Принесла мне поесть, узнала на станции, что в больнице я. Говорю ей: «Возьми деньги у меня, в куцавее, там поищи. Не потеряй, не показывай никому». — «Ладно», — говорит. Ну, дальше — больше. Лучше стало. На ноги я встал. Выписали меня, а идти мне нельзя — слабь. Жена приехала на телеге. Еду я с ней дорогой, лежу на сене, щупаю куцавейку, карманы — денег нет. Значит, жена взяла. Так вот, спрашиваю: «Куда ты деньги спрятала?» Она говорит: «Вот что, Герасим. Я тебе не сказала — огорчать тебя больного не хотела, не нашла я денег. Деньги выкрали». Испугался я. Уж и не знаю — пропали! И вдруг в голову вошло: что — а не врет ли жена молодая? Господи, что же это? Смотрит она мне в глаза — думаю: «Неужто эти глаза лжецы?» Так мне нехорошо. Не дай Господи. Руки на себя наложить охота. Молод был, конечно. Привезла домой. Мальчонок рад, шею обнял, целует тятку. Лезет ручонкой в куцавейки карман — пряник ищет, и достает деньги — трешник, пятерку роняет. Чего это? — гляжу я. Деньги в кармане завалились. Жена-то не нашла, думала — украли. Вот радость была! Не денег, что нашел, а веру в честь человеческую. Вот радость в чем на земле. Подумай, грех какой в голову вошел, что жена утаила. Как жить! Кто горю такому научил на земле! Люди. Вот — помирать будешь, в таком разе передать, дитя малое остается, сын твой, жена, кому деньги доверишь. Подумаешь. Поищешь друга и узнаешь, кто друг.

— Это верно, — сказал Василий Сергеевич.

— Я бы его превосходительству отдал, — сказал он, глядя на гофмейстера.

— А нет, — засмеялся гофмейстер, — с деньгами чужими, нет, увольте, я бы не взял. Это страшно.

— А тебе бы, Юрий, не отдал, — сказал Вася неожиданно.

Юрий замигал глазами и, засопев, сказал:

— Я не городской, архитектор, от подрядчиков взяток не беру.

— А я беру? — взбесился сразу Кузнецов. — Потрудитесь, милостивый государь!..

Приятели мои чуть не дошли до драки, разбирая вопросы — кому, умирая, отдать деньги.

Доктор Иван Иванович, молча покачивал головой, пил коньяк и вдруг меланхолично произнес:

— Вот умирал в Москве большой миллионер, Фирсанов. Друзей-то не имел. Так нашли его утром умершим, а ключ от несгораемого шкафа у него в носу. Он его себе чуть не к мозгам пропихнул. Вот ведь деньги что!

В снегах

Конец февраля. Снегу навалило — от крыльца дома не пройдешь, — сугробы. Белым-бело.

— Суровая была зима, — говорил мне охотник Герасим Дементьич, приятель мой, крестьянин. — Плохо тому, у кого ни кола ни двора. А народу такого много. Зиму пережить — их, лихо!

— Дык-ить, по трактирам бездомные околачиваются, — сказал сосед мой, Феоктист Андреевич.

— Тоже трудно. Гоняют. Ну, кто милостивый из хозяев — даст поспать где в углу. Тоже за работу даст ночлег. Воду носят, печь топят, моют, на побегушках служат. А лишних-то гоняют. Христовым именем промышляют. А то сами в острог, в тюрьму сажаются. Тепло там, кормят. Так-то не попасть, в тюрьму-то. Надо тоже голову иметь, — сказал Феоктист.

— Как? — спросил я. — Неужели сами сажаются?

— Эх, — смеялся Герасим, — уж знают, как сесть. Нарочно украдет али себя непомнящим родства объявит, бродягой. И зовут как его — не знает, ну и сажают. А по весне вспомнят. Отпускают. А летом — чего ж, тепло, воля... живи себе. Много таких-то. У нас есть один такой — Серега Кольцов. По весне приходит, отсидевши, значит, еще и деньги есть, папиросы курит. У него ни земли, ни дому. Волю любит. В лесу до осени живет, промышляет. Я видал его логово. Так, у кручи заросли, у реки. Глядеть — не найдешь, ловко заделано. Прямо заимка. Деревом обделана, в песке. Круча-то песчаная, завалена валежником, а там у него внутри стол, скамейка, постель, чайник, топор, ведро, — все хозяйство. А в лесу, незаметно где, лук сажает, редьку, морковь, грибы собирает. Сквородка, жарит. А то сушит грибы, белые, — ну и продает. Малину тоже сушит. Но уж как снежок осенью — в острог идет. Говорит: «В остроге хорошо, только шпаны много». А работать ни к кому не идет. Хозяев не любит. Не могу, говорит, когда помыкают. А и ругают зря. Держу, говорит, себя. А то хочется, говорит, горло перервать.

— Как же это, позвольте, — прищутив глаз, спросил гостивший у меня в деревне приятель, бывший судебный следователь Николай Дмитриевич Чичагов. — Ведь нужен проступок.

— Так он знает, — усмехнулся Герасим. — Умеет. Жилетку будто украдет, урядник арестует. Ну, до суда-то посидит в арестантской. До суда-то сидеть долго, черед идет. А на суде говорит, к весне-то, — «ошибся, — говорит, — жилетка-то моя, а тому показалось, что я украл». А он жилетку-то нашел. Вот и оправдался. Лето-то завсегда на свободе.

— А знаешь, это правда, — сказал Чичагов. — Я сначала не понимал. А вот так ловко линию свою ведут, что вот чувствуешь, что врет, не виновен, — а сделать ничего нельзя.

— Что же за охота? — удивлялись мои приятели. — Отчего же он работы не ищет, службы?

— А нет, что вы, — смеется Герасим. — Я ведь говорил вам. Он волю любит, на службу его не заманишь. На службу он не пойдет, что хошь ему давай. Летом раздолье. Он с поднадзорными летом заодно. То то, то другое ему тащат. Рыбу удят, вино пьют. Говорил мне — трудно теперь стало. На какого следователя попадешь, говорит. На молодого, ну, значит, ладно, сиди. А постарше — беда. Тоже законы, уложения знать надо. Не перехватить. А то украдешь из нежилого помещения — хорошо, ну, и дурак, выходит. Дадут два месяца — и уходи вон. Лучше из жилого да ночью. Ну, тогда вроде как грабеж. Тогда в самый раз — с осени прямо до Пасхи и попал. А суд всегда оправдывает. Присяжные — говори им, что через женщину. Присяжные любят это. Кольцов, заметьте, он девкам нравится. Все девки за его. Красивый, смелый, деньги дарит. В деревню придет — на ведро даст. Пряники, орехи. Одна — вот оделся, чисто барин! И с ним барыня была — вот красивая! Куда потом делась — невесть.

Наступили сумерки. Я и приятели мои оделись и вышли на крыльцо. Пробовали идти и вязли в снегу. Рыхлый снег, по колено, а под ним вода. Забивался в валенки. За высокими елями моего сада по дороге идет какой-то человек, перегибаясь, едва вытаскивая ноги из снега. Останавливается, глядит на нас, кричит:

— На огонек. Господи!.. Ну и замело.

— Иди, — кричим мы, — иди.

Человек, падая и карабкаясь в снегу, спешит добраться к нам. Подходит невысокого роста мужичонка и говорит:

— Господи... чего, слава Богу.

— Горохов, — говорю я, — откуда ты?

— Да ведь вот, из Никольского. Три часа иду. Мучаюсь, сбился. Казаков за вином послал. А где же, нешто дойдешь. А хрестины у его, жена сына родила. Не лето, нет пути. Тоже родят не по времени.

— Заходи, Горохов, — говорю, — погрейся, обсушись.

— А ведь жестокая это штука — зима, — говорил Чичагов. — Вот вызовут на следствие, так попробуй проехать — в метель. Было со мной. На убийство ехал. Ни пути, ни дороги. На двенадцатый день только попал. С доктором ехал. Приехали — а убитого нет, ушел.

— Как убитый ушел? — удивились мы.

— Кто ж его знает. Говорят — выпивши был он, замерши. Прямо говорят — убиенный, видать. На дороге нашли. Положили в сарай, глядь — а он ушел. Отрезвел, должно. Вот и возьми их.

На кухне сидел Горохов. Грелся, пил чай. Дедушка, сторож дома моего, ему перцовки поднес.

— Ну как же, — спрашиваем дедушку, — Горохов пойдет за вином-то?

— Да ведь надоть, — говорит Горохов. — Ведь у кого служит — у самого Казакова. А кто он-то, Казаков? Мы-то знаем — плутня, ворованного жеребца купил у цыгана. Эх, жеребец! Сивый! Так боялся Казаков, не узнали бы. Хозяин найдет. Меня окрасить заставил. В сарае перекрасил ваксой в вороного. Да и поехал Казаков на ём в Петров, на базар. А дождик — краска-то и сходит. Глядят — чего это? А прямо под жеребцом лужа черная. Вот смеху что было! То, пятое-десятое. А исправник видит.

«Кто, — говорит, — хозяин?» Нет хозяина. А Казаков-то в трактире сидит. Я не я — и лошадь не моя. А хозяин-то жеребца тут. Он жене Казакова родной брат. Чай пьют вместе. Дело-то какое... Рад шурин, что жеребца-то своєю нашел. А Казаков молчит. «Какой плут его перекрасил? — говорит шурин. — Не я буду, ничего не пожалею, а в тюрьму посажу». Пятое-десятое... Дальше — больше... Казаков-то и говорит шури-ну: «Вот что. Цыган Оська мне жеребца продал». Сознался. «Я, — говорит, — его окрасил».

Шурин и говорит:

— Неужто это ты купил? Ведь ты его видал у меня. Ведь это плутня. Ведь ты мне родной. На сестре женат. Пойдем, — говорит, — в собор. Надо с тебя грех снять.

Ну, помолились в соборе. А потом, по тому случаю, выпили. А жена-то Казакова все молчала да вдруг и говорит мужу: «Что ты наделал!...»

А Казаков не сознается.

— Я, — говорит, — не признал.

— Врешь ты, — отвечает жена, — Оську-цыгана научил. Каково, — говорит, — мне от тебя носить теперь, ежели сын родится? Ведь плутня, жулик, значит. Жулика ношу...

Ныне сына родила. Казаков и рад и не рад. Вот за вином-то меня и послал. «Ведро водки купи, — говорит. — А то моркотно мне. Ум у меня раскорячился. Неужто я впрямь мошенник?» Стыдно ему жены-то, совесть мучает.

— По такому снегу, — говорит дедушка Горохову, — тебе ведро не донести. И так-то не пройдешь. Пошли Павла Киселева — тот молодчага, молодой — живо сраба-тает.

— Верно, — говорит Горохов.

Позвали Киселева. Отдал ему деньги Горохов на ведро водки.

Поздно вечером сидим мы, думаем, что в таком снегу делать. Не пойдешь на охоту, лыжи тонут. И слышим, в деревне, в отдалении, поют песни.

Приходят дедушка и Горохов.

— Вот ведь что вышло, — говорит дедушка. — Киселев-то принес в деревню ведро, а у него и отняли мужики. Говорят: «Все равно тебе не донести вина до Никольского к Казакову. Вишь, опять метель метет. Не пропадать же тебе из-за Казакова. Мы, — говорят, — выпьем. Казаков — плутня, за дрова еще нам не заплатил. Шут с ним!» Ну, значит, и пьют всем миром.

— Ох, прогонит меня Казаков, — тужит Горохов. — Да все одно — один ответ. Пойдем, дедушка, на деревню, не допили бы без нас, стаканчик-другой хватим. Чего в эдаком снегу жисть вести, выпьем! Без водки никак не возможно.

Мы легли спать. В окно видно, как метет метель. В трубы завывает ветер.

Входит к нам дедушка.

— Сдел милость, — говорит, — Горохов выпил, на деревню ходил, не вели ему, — на Никольское он собирается. Метель метет, где ж пройти.

Пошел я на кухню, говорю:

— Что ты, Горохов, куда пойдешь — затонешь.

— Выпил я малость. Лисеич, эх, хорошо. Нет лучше жисти, метель занесет, — кто знает, может, это самое-то и надо. На что Господь снег на нас сыпет — шток помереть в эдаком разе, забыть кручину, саму покручину нашу...

И Горохов, уходя, запел:

Пеленали вся поля,
Одно поля не покрыли,
Горя лютого мово...

* * *

Летом, в июле, шел я по охоте на тетеревей. Мелкий перелесок близ Никольского. Вижу, впереди, осматривая по сторонам, собирая грибы в большую корзину, идет Горохов. Увидав меня — остановился, снял шапку, сказал:

— Здравствуй, Лисеич, — вот рад. Заходил к тебе, да нету, не застанешь. Все ты в отъезде.

Я сел у куста орешника, присел и Горохов. Я налил ему из фляжки коньячку, достал хлеб, копченой колбаски. Перекрестившись, он выпил и, крикнув, сказал: «Эх, хорошо». Его серые глаза слезились, и он вытирал их руками.

— Ну, как Казаков поживает? — спросил я Горохова.

— Э-э-э... брат, — ухмыльнулся Горохов. — Казаков — прощай, и не узнать теперь. Стариком сразу стал, поседел, нос книзу держит, пьет. Дело бросил, хозяйство, — все. К попу все ходит. Жена-то его к брату своему уехала, и сына взяла. «Не хочу, — говорит, — с ним жить, а то он еще со мной детей приспит, жулики будут. Не хочу я жуликов родить». Вот ведь что! Баба такая серьезная, беда. Ничем ее не сломаешь. А причиной всему — жеребец вышел. Не ваксой бы красить-то!..

В детстве

Я полюбил деревню с ранних лет.

Помню, мальчиком, в детские годы, родители повезли меня за город. Это была такая радость. Как только мы выехали из Москвы за Крестовскую заставу, я увидел в даль уходящее шоссе — ровное, светлое. По краям его была зеленая весенняя трава, и светлые облака клубились в синеве неба. Какая воля! Простор...

На шоссе лежали сбоку кучи битого камня. Рядом на обочинах сидели и отдыхали богомольцы. Женщины, повязанные светлыми платками, с вязанными из лыка котомками, из которых вынимали еду. В сермяжных зипунах мужики-богомольцы. Они шли к Троице-Сергия Радонежского. Весеннее солнце освещало их лица — другие, не городские лица. Как нравились они мне. Мне хотелось быть с ними. Идти туда, далеко, в голубую даль. Там, казалось мне, что-то настоящее, доброе, светлое.

И каким страшным представлялся мне город, из которого я уезжал.

За деревней Ростокино повернули на проселок. Замелькали покрытые, как зеленым бисером, весенние березки. Трава, цветы. До чего все поражало красотой несказанной мою детскую душу!

Переезжая старый деревянный мост, мы остановились у речки и вышли. С края моста я смотрел на воду и увидел стаю маленьких рыбок, беловатых, с темными глазками. Они были как брошки — блестели серебряной чешуей на солнце. Я не мог оторваться от созерцания красоты, бегущей воды и розоватых кустов среди яркой травы берега. Вдали сквозила за деревьями ветхая, пожелтевшая крыша мельницы, и шумели колеса. За зеленым лугом виднелись избы деревни.

— Это Медведково, — сказал отец, — где мы будем жить лето.

Я был в таком восторге, что отказался сесть со всеми в экипаж и бежал за пролеткой по зеленой траве.

Деревенская дача.

У дачи старая деревянная терраска. Внутри — три комнаты, бревна, окошки, а в них виден зеленый луг. На столе крынка молока. Хлеб. До чего все хорошо! Почему-то лучше здесь, чем дом в Москве, на Рогожской улице, где большие комнаты, столовая, приборы, тарелки с вензелями.

Выбежав на террасу, я увидел в жидком палисадничке маленького, круглого, лохматого, как муфта, щенка. Хвост у него был крючком. Серыми круглыми глазенками он смотрел на меня. Подбежал ко мне и, виляя хвостом, облизал все лицо. Он был пушистый и мягкий. Такого чуда я никогда не видал.

Он пил из стакана со мной молоко и с жадностью ел хлеб.

«Отчего же, — подумал я, — мы не жили раньше здесь, а в городе? Там пахнет ладаном, стегают лошадей, водят арестантов, оборванных, несчастных; все спорят, сердятся, умирают. Сестра умерла, дед умер. Зачем, зачем?..»

Вскоре появились две телеги с нашей мебелью. На дачу таскали стулья, комоды, и мать мне велела уйти. Я подумал: перейду-ка я этот луг. Там, вдали, кусты и речка, — и пошел. И так сделалось мне вдруг весело, что я побежал, а за мной, прыгая и спотыкаясь, бежал мой новый друг — щенок.

У берега быстро шла вода, плыла темная ветка, кусок дерева.

Водой прибило ветку к берегу. Я ее схватил и вытащил. По ней ползла темная, с оранжевым брюшком, ящерица. У нее были темные глазки и кривые лапы. Она была в пупырышках. Я ее положил в шапку и помчался домой.

— Вот что я нашел, — показал я отцу.

— Это тритон, — сказал мне отец, — откуда ты взял?..

— В реке, — сказал я.

— Ну, отпусти его назад.

Мне было жаль отпускать тритона. Выбросив его из шапки в воду, я увидел, как он опустился на дно.

«До чего все здесь интересно, — подумал я, увидав в речке, сквозь кусты, большую рыбу с красными плавниками, которая, медленно поворачивая темным хвостом, плыла неглубоко от поверхности. — Вот бы поймать!»

Слышу, вдруг какой-то мальчик бежит по берегу и кричит: «Костя, Костя!.. Домой велят; обедать».

Я ему сейчас же рассказал про тритона и рыбу. Он важно надулся.

— Ящер-то, он те жиганет — тут и помрешь.

Я испугался.

— А рыба — это щучина, ее не пымать. Она бечевку перегрызет. Я ловил, так она как хватит, так я с мостка в воду ахнул, чуть не утоп. Мы пойдем с тобой на муху уклею ловить. Мы с тобой ужо ведро наловим. Я тебе уду сделаю, только ты скажи отцу, чтоб он тебе крючьев мелких из Москвы привез.

Все поражало меня. И приятель мой, мальчик Егор, был замечательный человек — лучших на свете не бывает. Когда мы с ним ловили уклею на муху, он из кармана вынул творожники, каких я никогда не ел, и сказал мне, что он их украл у матери для меня. А я тоже утром за чаем украл две плюшки — для него.

Егор всегда говорил важно, таинственно.

— Пойдем в вечер на речку Чермянку, к омуткам, поставим там крючья, наденем на крючья уклею — щучина попадет.

Долго шли мы по лугу за деревней. Прошли мимо стоящей посреди луга большой кривой сосны. Небольшая речка Чермянка шла среди обрывистых берегов, покрытых кустами ивняка, изгибаясь и поворачивая, она была то в глубоких бочажках, то растекалась по мелкому песочку.

Привязывая веревочки к веткам ивняка, мы бросали в воду концы с крючками, с надетыми на них уклеями. Поздние сумерки зари опустились на землю. Темнело. Сбоку над долинами блестел серп месяца.

Мы сели на бережку, и до чего было хорошо на душе! Потемнели кусты у речки, и вдали послышался странный звук, как будто кто-то дул в бутылку. Приятель мой Егорка вскочил и сказал мне тихо:

— Пойдем скорей — это он!..

И мы оба побежали по лугу прочь от речки. У кривой сосны Егорка остановился. Мы запыхались.

— Кто он? — спросил я Егорку.

— Леший, луговой, — сказал он, и мы опять побежали.

Дома я сказал отцу:

— Как кричит луговой... вот там, за сосной. Я слышал.

— Какой «луговой»? Что за вздор! — сказал отец.

«Не знаешь, — подумал я, — а Егорка все знает!»

Ложась спать, я думал: «Как хорошо в деревне, тут и леший, и речка. Никогда бы я не поехал в Москву».

Наутро Егорка разбудил меня, и мы пошли на Чермянку. Был светлый летний день. Роса лежала на траве. За лесом только всходило солнце, — как хорошо идти босиком по мокрой траве!

Быстро бегут светлые струи Чермянки. Мы ходили босиком по песочку, по мелкой воде. Подошли берегом к глубокому бочагу. И только что наклонился Егорка взять веревку, как под берегом плеснула большая рыба и натянула конец. Веревка запуталась за торчащие из воды сучья. Как быть? Вдруг видим, на поверхности большая щука. Такую рыбу я видел в первый раз.

— Постой, — сказал Егорка, — я сбегая за корзиной.

И убежал в деревню, а я в оцепенении смотрел на щуку.

Она быстро опустилась на дно. Я пошел по берегу дальше и опять увидел натянутую веревку. Потянул ее рукой — большая рыба плеснула, блеснув золотой чешуей, и пропала в глубине под берегом. У меня билось сердце и дрожали ноги. Я опять потянул веревку изо всех сил и выкинул на берег в кусты большую рыбу. Она билась в зарослях.

Егорка прибежал с корзиной.

— Эка, язище какой! — сказал он и накрыл рыбу в кустах корзиной. Поднимая корзину, он схватил рыбу рукой за жабры и вытащил на луг.

— Пойдем, — сказал он мне и полез в одежде в бочаг, медленно ведя в воде корзину. Бочаг становился все глубже. Егорка ушел по горло и тотчас же попятился назад. Потом вплавь бросился к берегу, где торчали из воды ветви кустов.

Бросив картуз на берег, он окунулся с головой и стал распутывать веревку. Поиманная щука выскочила на поверхность, повернувшись кольцом в воздухе.

— Тащи! — крикнул он мне.

Щука показалась на поверхности. Медленно он подвел под нее корзину под водой. Щука оказалась в корзине.

Выбравшись на берег, Егорка вытащил рыбу из корзинки и упал с нею в кусты.

— Не уйдешь!

Все мокрые, мы несли домой рыбу в корзине. В ней прыгали две щуки, голавль и язь — большие рыбы. Отец мой был удивлен. Велел переодеться.

— Простудитесь, — сказал он.

Я и Егор весело переодевались в сухое платье и, чувствуя себя героями, пили горячий чай, ели калачи, баранки. Отец удивлялся и спрашивал:

— Как вы могли поймать такую большую рыбу?

И мы рассказали, как ловко ныряли за ней.

* * *

В конце мая приехал мой брат Сергей и с ним его приятель в синей курточке, в черной шляпе, с большими карими глазами — Левитан.

На другой день они взяли свои ящики с красками и пошли к мельнице. Там они сели на складные стулья и, открыв ящики, писали с природы мельницу красками. Я тоже рисовал, но у меня еще не было масляных красок, которые так мне нравились и от которых так хорошо пахло.

Я и Егор смотрели, как писали брат и Левитан, и, должно быть, надоели им.

— Не мешайте нам, — сказал брат.

Мы отошли в сторону. Я сказал Егору:

— Не так пишут.

Придя домой, я взял картонку от шляпы, свои краски и пошел с Егором к мельнице. Там я живо нарисовал на картоне мельницу, лес, мостки, воду, вернулся домой, развел муку, сделал клей. Из зеленых листьев клена я вырезал по рисунку на картоне деревья и приклеил их на места. Собрал землю в саду, намазал тестом места, где была изошрена земля, и присыпал землею. Из маленьких стружек и гнилушек я сделал деревянные части мельницы и тоже приклеил к рисунку. Окошечко сделал из куска разбитого стекла. Нарисовал мельника в красной рубашке. Небо покрыл голубой краской. Воду не знал чем сделать. В ней отражались деревья и голубые струйки воды, бегущие с плотины. Егорка мне посоветовал растереть зеленые листья по картону, где должна была быть вода. Вышло точь-в-точь.

Наконец, я выкрасил голубой краской тонкую травку и приклеил на те места, где шли струйки.

Вернулись брат и Левитан. Левитан подошел и стал разглядывать наше творчество.

— Ты посмотри, Сергей, что здесь делается, — крикнул он брату.

Подошел брат.

— А знаешь ли, — сказал Левитан, — тут есть какая-то правда. Это ярко!

Поставя к стене на террасе свою картину на картоне, мы ушли с Егоркой купаться.

А когда мы вернулись домой, я увидел, что мой друг, щенок Димка, всю мою картину слизал дочиста.

Осенью вернулись в Москву. Мне не нравились улицы, дома и люди. Все это мне казалось хуже, чем в деревне, и я отпрашивался у матери в Медведково к Егору.

Счастьем, упоением было для меня ходить поздней осенью в Медведкове. Деревья желтые, опавшие листья шумят под ногами...

На берегу Чермянки мы с Егором разводили костер. Пекли яйца. Ловили рыбу и жарили на сковородке, и никогда еда не казалась такой вкусной, как на природе.

Помню день — в доме у Егора рубили капусту, солили грибы, пили чай с пекле-ванным, — что-то настоящее было в этой жизни! Рано наступили осенние сумерки. Река покрылась туманом. Я собирался домой в Москву.

— Оставайся, касатик, — говорила мне мать Егора, — куда пойдешь, поздно, дождит на улице.

Но я не остался. Егор проводил меня до моста и дал мне пяток яиц в карман.

Накрапывал дождь. Я быстро шел лесной дорогой. Стемнело. Первый мелкий снежок падал с дождем и бил мне в лицо и за воротник пальто. Так хорошо пахло землей и вялым листом на дороге!

Подходя к Ростокину, я почувствовал, что сильно промок. Ярко светили окна в трактире. Думаю, зайду погреться.

Пройдя мимо телеги с лошадьми, мимо мужиков-возчиков в армяках, я зашел в трактир. Тепло, пахло чаем, сапогами и хлебом.

«Как быть, — подумал я, — у меня только пяточок. Дадут ли что?» Подошел к стойке. За стойкой хлопотала полная женщина со светлыми волосами. Она посмотрела на меня добрыми голубыми глазами.

— Что тебе, барчук?

— Промок, — сказал я ей, — можно погреться? У меня есть пяточок — можно выпить чаю?..

— А это что стоит? — спросил я, показав на большую копченую селедку.

Она пристально посмотрела на меня и сказала:

— Можно. Вот, садись туда, — показала она на свободный стол.

Я снял мокрое пальто, повесил его и сел за стол. Женщина принесла мне чашку, чайник, пеклеванный хлеб и на тарелке копченую селедку. Положила в чашку сахар, налила чай и села напротив, глядя на меня.

— Откуда, красавчик, идешь?

— Из Медведкова, от приятеля Егора Булычева.

— А ты чей?

— Я московский.

— Родители у тебя есть?

— Есть.

— Как же ты в этакую темь в Москву пойдешь?

— Пойду.

— Ишь, смелый! Большая дорога — всякий народ шляется. Сапоги снимут. Ты не боишься?

— Не боюсь.

— Ты при деле каком, учишься?

— Учусь дома.

Она отошла. Взяла мое пальто и сказала:

— Я посушу, у печки.

Я выпил чаю и съел копченую селедку с пеклеванным.

Окончив есть, встал и подошел к стойке и протянул трактирщице пятак. Хозяйка улыбнулась и ласково сказала мне, отдавая мне пятак:

— Приходи всегда пить чай ко мне. Вырастешь, богатым будешь — тогда запла-
тишь. Оставайся, ночуй, а то темь и пурга на улице.

— Не могу, — сказал я, — дома мать будет беспокоиться.

— Смелый ты мальчик, без разума.

* * *

Была темная ночь, падал мелкий снег, когда я по шоссе шел от Ростокина.

Ноги шли быстро. Обернулся — Ростокино пропало из виду.

За шею и в лицо падал снег. Навстречу кто-то шел, светился во тьме огонек папи-
роски. Поравнявшись со мной, прохожий остановился. Я опрометью кинулся бе-
жать по дороге. Вспомнил слова трактирщицы — «снимут сапоги».

— Эй, стой, — услышал я хриплый голос сзади.

Прохожий бежал за мной. Я напрягал все силы, чтобы уйти от него. Долго бежал,
и мой преследователь стал отставать.

Впереди ехали возы в Москву. Я подбежал к возам. В накинутых рогожах шли
взвочки у возов. Один посмотрел на меня и спросил:

— Чего ты бежишь?

— Да вот, какой-то за мной бежал, должно быть, сапоги снять с меня хотел...

— Не бойсь, иди с нами. Ты, знать, певчий. С нами до Мытищ певчий от Троицы
шел. Тоже боялся. Зря... Чего у певчего взять? Мы посуду везем. Тоже, гляди да
гляди. Воруяют из возов парнишки. Вона, Москва светится. Скоро приедем.

* * *

У Крестовской заставы в Москве блестят окнами трактиры. Возы повернули к
ним. Крыши, колодезь у трактира, лошади были покрыты первым снегом. Мерцали
фонари, пахло зимой.

В десять часов я пришел домой в Рогожскую.

С озабоченным и обеспокоенным лицом встретила меня мать.

За чаем сидели брат, Левитан, Мельников — сын писателя Мельникова-Печер-
ского. Я рассказал им, как хорошо в деревне у Егорки, — никогда б оттуда не уехал.

— А что тебе нравится? — спросил меня Мельников.

— Все, — ответил я.

Дуновение весны

В конце февраля, утром, смотря в окно своего деревенского дома, — за частоколом,
где жидкие сучья малинового сада, за колодцем, увидел просвет неба. Какой-то дру-
гой — теплый, румяный. В нем было что-то радостное, живое — дуновение весны.

Утреннее солнце осветило деревянный колодезь и сарай, и в желтых лучах солнца
тоже было что-то живое, радостное, отрадное — дуновение весны... Я не отрываясь
смотрел в окно. Как хорошо! Розовые дали лесов за болотом и большие березы поло-
жили синие тени на рыхлый снег. Все как-то ярче, бодрей.

Смотрю в окно. Подошел ко мне приятель мой, Василий Сергеевич, тоже посмотрел в окно, потом на меня и спросил:

— Что это вы смотрите в окно?

— Да вот смотрю на небо за колодцем, в нем весна есть... До чего хорошо!

— Да что вы, какая весна. Еще до весны далеко. Это вот в середине апреля грязь-ца начнется, лужи, ни на санях, ни на колесах...

— Вот и я, — говорит, прихлебывая чай, другой мой приятель, Коля Курин, — терпеть не могу весны. Ну, когда еще сирень цветет, май — туда-сюда... Да и то!.. Весной в голову всякая чепуха лезет, и всегда у меня истории выходят... Экзамены, придешь домой усталый — и всю ночь ученицы-консерваторки в голове вертятся; до того, что я даже бромистый калий принимаю... Получил, помню, письмо — прямо ко мне на квартиру пришло. Читаю: «Виктор, я, кажется, беременна...» Что за ерунда! Смотрю, конверт — на мое имя. Письмо подписано «Зоя». Думаю, кто такая? И вдруг вспомнил: поет в студии. В тот же день встречаю ее. «Вот вы, — говорит, — какой! Я вам писала, что же вы не пришли, я нарочно устроила свидание у своей подруги. Там так уютно, мы были бы одни...» — «Позвольте, — отвечаю, — ваше письмо я получил. Но оно несколько странное». Вынул письмо из кармана и читаю. Она вдруг зашептала, вырвала листок у меня из рук: «Это оттого, что я все время думала о вас, перепутала имя...» — «Как перепутали имя? Я, кажется, тут ни при чем...» — «Какой вы педант!.. Посмотрите, весна какая — тут все забудешь, сирень цветет, в Пушкине соловьи поют. Поедьте в Пушкино. В лесу ландыш распустился... Поедьте, у меня там знакомые — подруга».

«Поеду, — думаю, — все равно, будь что будет... Сидишь в Москве — надоело. Посмотрю природу, лес весенний».

Приехали. Дача. Прошли в калитку. А на террасе здоровый такой, в очках, на меня смотрит.

Зоя Андреевна представляет его. Оказывается, этот-то самый верзила — Виктор и есть. Я как-то скверно себя почувствовал. Еще подруга Зои, муж подруги, студенты какие-то...

Думаю: «Зачем я приехал?» Выбрал время и тихонько говорю Зое:

— За каким же чертом вы меня позвали? Ваш Виктор здесь.

— Это ничего не значит... Пустяки...

Смотрю, Виктор отводит ее в сторону, сердито прочитывает письмо и показывает на меня. У меня сердце оборвалось.

Зоя вырвала у него письмо и говорит:

— Перепутала. Это письмо учителю музыки, успокойтесь, он старый хрыч. — Она с лукавою улыбкой обернулась ко мне. — Вы его знаете, не правда ли?.. Скажите Виктору, кто он.

Я мельком взглянул на письмо, — приглашение мне на свидание, — и говорю:

— Да, я его знаю — старый человек, глухой...

— Странно, — заметил Виктор, — глухой... Как же он уроки музыки давать может?

Мы остались с Виктором вдвоем. На террасе накрывали завтрак, звенят малиновки, *так хорошо*, весна, сирень цветет. А на душе ерунда: зачем я приехал!..

— Давно вы с Зоей Андреевной знакомы? — прищурившись, спрашивает меня Виктор.

— Да года три — она подруга моей жены.

А сам думаю: «Что я вру?..»

— А отчего ваша жена с вами не приехала, подруга Зои? Супругу-то вашу вы пригласить забыли...

Тут этот болван встал, положил руки в карманы и сказал:

— Вот что, унесите-ка отсюда ноги, господин хороший, а то как бы я их вам не вывернул...

Я и ушел. Вот тебе и весна!..

* * *

Отворилась дверь, и в комнату вошел приятель мой, охотник Герасим Дементьевич. На плече у него висело ружье. Он из ягдташа вытащил черныша, положил на стол. Собака моя Феб обрадовалась охотнику, обнюхивала ягдташ и радостно лаяла.

— Лисеич, — сказал Герасим, — смотри, день какой, ведро... Капель с крыш, дух от леса какой, весной пахнет, грачи прилетели. Снег мокрый, весна начинается. Вечор у Красного Яра слышал, глухари урчать начали. Токуют... Снегу еще много в лесу, на Глубоких Ямах круча уж голая, лешим лось орет по ночи, на бой друга зовет. Медведь в берлоге повернулся, скоро с гор вода. И что это в весне есть — заботы уходят! Она, весна, чисто главная какая, все велит, всеми хозяйка.

— Ну уж нет, — сказал Коля Курин — хороша хозяйка! Каждый раз до того накуролесит, весь год не распутаешь. Я из-за нее уже три раза женат был. Хорошо, что больше нельзя. Спасибо, догадались и запретили...

— В весне есть эта самая жизнь, — сказал Герасим. — Что ни на есть человеку самое настоящее — положено в весне. Первое — радость любовная, это самое что ни на есть нужное человеку, самая святая отрада, и сама земля в радости любовной с солнцем живет, сама себя цветами стелет и поет, и зарей украшается, и курит ладаном неведомым духам, по лесам, полям стелется, душу тайной отрадой в любовную ласку венчает. По весне у земли есть разумение святое, нужное человеку, великая правда в этом людям дадена. Весна сама закон ставит разума, самое то, на чем жизнь ставится. Значит, самим Богом дадено, добром несказанным указано в ей все. Перед ней злоба, дурь, вражда, война — все ненужное. По весне Ярилой все показано, что в жизни нашей есть нужное, а иное все — сутолока. Только понять это не всем дадено.

— Эх ты, Герасим, какие песни поешь, — сказал я.

— В весне самое крепкое кольцо венчано, кует весна. Это, брат, дело первое и святое: в весне заложено гнездо вить. Всем заложено. В этом вся честь жизни. А чего такое дом? Гнездо человечье. Дом свят есть, его не трожь. Дом тронул — все пропало. Проклят будь тот, кто гнездо разорил. Слепнет душой, слепой тот, кто дом-гнездо разоряет. Вот что. И кровью зальет землю лют человек тот, и покою себе не найдет на земле во веки веков.

Я смотрел на Герасима и думал: откуда это в нем — языческое, древнее?

Приятели мои тоже с удивлением смотрели на Герасима, когда он, сидя за чаем у стола, опустив голову, говорил навеянные весной какие-то Ярилины заговоры.

— Колдун ты, Герасим, — сказал приятель Василий Сергеевич.

— Так в жизни не бывает, — мрачно пробормотал Коля Курин. — Гнездо! Таких, брат, баб нет. Они весной, правда, как-то глазами вертят по-другому, красивеют все. Но с тобой говорит, а на другого смотрит; с ним говорит, а на двух еще поглядывает. Поди-ка, свей гнездо...

— Да, — засмеялся Герасим, — есть эдакие-то. Барин ко мне приезжал из Москвы, на тягу, хороший человек, немолодой. Охотник. Так рассказал мне он: жену-то свою схоронил, померла, значит. Ну, говорил, любил ее он, а она обман любила и с другими путалась. «Чуял я это самое, в душе у меня к ней отворот вышел, а когда померла, горевал сильно, жалел ее, жалел-то по-другому, о жизни, пропавшей без чести и радости». Эдакое дело бывает, понять трудно...

Вошел сторож моего дома — дедушка:

— Эх, и погода! Чего дома сидите, какая радость наружи, от бора дух идет медовый. Лисеич, у нас куры все занеслись, гляди-ка...

И он в своей шапке показал кучу яиц.

— Вот на Христов день красить будем...

Масленица

Как хотите, что там ни говорите, а в России было неплохо. Ну вот хоть бы взять Масленицу. Прежде всего самое начало весны. Капель с крыш. С гор вода. Солнышко теплое, весеннее, радостное. Тают снега. Оживает земля от суровой зимы, морозов лютых. Уже нет злой вьюги, метели.

На пригорках у леса проталины. Грачи прилетели. Жаворонки. Радостью заголубели дали, и оживают леса.

Хлебная страна наша. Пекут блины. И нет дома, куда бы не звали на блины. Без блинов — невозможно. «У нас блины, приходите».

Надо, чтобы гости были. Что за жизнь без гостей — скука!

Ели блины горячие, масляные, со сметаной, икрой зернистой, белужьей, осетровой, паюсной, салфеточной, со сметками, грибами, рыбой соленой и с вареньями разными...

Как уж что, а без блинов нельзя.

Пекли блины бедным. Хитровским ночлежникам, бездомным. В тюрьме, острожным арестантам, жуликам и убийцам лютым.

— Ешь! потому широкая Масленица!

Масленица мокросток — разлив рек. Весна-краса идет. Наступает радость дней теплых, привольных. Земля хлеб родит.

Отец Варфалуил так на блины приналег с благодетелем-купцом Петрушей Солеварниковым, что оба задохнулись. Веки на глазах опустились — не поднимаются. А чтобы глядеть, надо всю голову кверху закидывать. А то ничего не видать более.

От блинов этакое дело случилось!

Думают, блины, значит, тому причина.

— Толсты мы с тобой, — говорит благодетель-купец отцу Варфалуилу, не потереть ли лампадным маслом животы-то?

— Чего, — говорит Варфалуил, — я тюрью ел, квасом запивал. Надо бы после миски кажинной, как съели, кагором покрывать али портвейном, а ты водку сначала. Она понизу-то и заложила. Икра тоже. За доктором послать надо. А то жалю.

Послали в Звенигород за доктором. Приехал в монастырь фельдшер — солдатский. Доктора дома нет.

Солдатский фельдшер, не долго думая, вывел из ворот монастырских больных да и гаркнул:

— Марш за мной! Р-р-раз-два, р-раз-два!

— Постой! Что же, куды ж иттить?

— Иди! — кричит фельдшер, — а то смерть, удар сейчас примете.

Пошли за ним Варфалуил и купец Петруша Солеварников. А тот кричит:

— Шагом арш! Р-раз-два, р-раз-два!

В воротах стоит братия, диву дивуется. В город гонят. Срам какой! Кого гонят. Самого! И увел их фельдшер в город. Это рассказал нам доктор Иван Иванович, когда я и приятели мои были у меня в деревне на Масленой.

* * *

Был светлый день. Солнце, чувствовалась весна. На прогалинах уж зеленела трава, и в белых пуховках за окном блестела верба.

Сегодня Масленица.

С утра тетушка Афросинья, сестра моя двоюродная Варя, Дарья, Феокист и слуга мой Ленька — все такие серьезные. Я заглянул на кухню. Там на меня так взглянули, что я ушел. Позвал тихонько Феокиста, спросил его:

— Что такое?

— Блины ноне пекут, — ответил тихо, серьезно Феокист.

А слуге моему Леньке даже брызнули в лицо из ковша водой.

— Уходи, — сказали, — не толкайся!

— Ну что же, Иван Иванович, — спросили мы, — как же Варфалуил?

— Выздоровели! Да, прогнал их фельдшер солдатским маршем до города в больницу. Я был там земским врачом. Прошло. Только у Варфалуила глаз один в сторону ушел. От блинов, что ли? Так что долго на место не возвращался...

— Вот ведь что, блины-то, — сказал приятель, охотник Караулов, — поешь, а потом глаза — один на вас, а другой — в Арзамас.

Ленька и Дарья накрывали на стол. Ставили тарелки, графины с настойками. Принесли масло, сметану, икру. Все так серьезно и строго носили. Распахнулась дверь. Тетушка Афросинья, Варя, Феокист несли на блюдах покрытые салфетками блины.

Поставили на стол и молча ушли. Мы все сели за стол. От блинов шел пар.

И не успели мы съесть по блину, как принесли еще, говоря ласково:

— Кушайте, горячие!...

В окно увидели, как к моему дому неслась тройка. В ней сидели нарядные седоки. Приехали гости — лесничий Алексей Петрович с каким-то знакомым и сестрой Машей.

Лесник привез в большом таюсе желтую щучью икру.

— Вот, Лисеич, — сказал лесничий. — Эта икра здешняя, и лучше ее нет.

Все увлеклись блинами. Доктор Иван Иванович сказал:

— Вот что: блины хороши, но только ты, Юрий, — осторожно. Прокладывай каждый блин мятной, березовой; полынной тоже можно. Прокладывай! А то у меня лекарств здесь нет. С твоим брюхом не сладишь.

Доктора слушались. И все «прокладывали». Усердно. Тетушка Афросинья угощала:

— Вот со сметочками попробуйте, с грибками. Сметаночки берите.

Доктор всем наливал для прокладки — настойки.

— Эту щучью икру сын наловил мой, — сказал лесничий.

— Сын ваш? — сказал я. — Вот молодец. Щучья икра — ведь это прелесть какая!

Приехавший с лесником гость, вроде купца, брюнет с проседью, кушая блины, порядочно выпил прокладки. И вдруг сразу встал, покраснел и обиженно сказал:

— Вы не смеете, не смеете меня сукиным сыном называть!

— Кто вас называет? — удивлено спросили все и доктор.

— Да вы вот, как вы смеете! Я первый раз здесь у вас. Я не щучий сын. Слышите!

Не щучий сын!

— Это вот он всегда так, — сказал лесник, — глух он.

— Ты что, глухая тетеря, — обратился к нему лесничий, — никто тебе «сукина сына» не говорил.

— Нет, вот он сказал, — показал гость на доктора.

— Молчать! — сказал доктор.

Тот сразу опешил, сел и успокоился.

— Это всегда с ним, — сказал лесничий. — Как выпьет — беда. Его учили, только не помогает. Тетерев глухой — потому.

— А кто он такой? — спросил доктор.

— Зовут Капитоша, а фамилия Типочкин — купеческий сын. У отца капитал большой был раньше. Теперь на положении приказчика, стал по лесной части работать.

— Кто сказал «Типочка»? — вскочил рассердившийся новый гость и опять сел, замолчав, и глядит пьяными глазами на всех по очереди. Опять вскочил и, показав пальцем на приятеля Василия Сергеевича, сказал:

— Вот этот самый человек, пьяница!

Все гости как-то смутились. Приятель Вася удивился и крикнул:

— Ленька, принеси-ка сюда узду. Надо этого гостя обуздать! Откуда такого лесного достали?

— Да он ничего. Это так, он смирный. Когда выпьет, с ним завсегда этакое выходит. Его не отучишь, — объяснял нам лесничий.

Ленька подал узду Василию Сергеевичу.

Маша смеялась.

— Какой чудной народ! — сказала она. — Вот он на меня обиделся за обедом. Ну, братец увещает; у него по лесной части разные бывают. Ну и этот приехал тоже делянку лесную покупать. Все на меня так ласково смотрит. Выпил, да и налей ему кто-то в рюмку из графина воды. Он выпил так разом, видит, вода! Вот на меня обиделся! «Не надо, — кричит, — мне делянки! Я, — говорит, — не ожидал от вас таких насмешек!» Разбил рюмку и ушел из дому.

Василий Сергеевич держал узду в руках и смотрел на сердитого человека. Тот тоже смотрел на него и, видя его богатырский рост, струсив, мигал.

— Вот что, — сказал Василий Сергеевич, — я вижу, что ты саврас без узды. Как вы думаете, надо ему узду надеть, а то сладу с ним нет?

— Не надо, не надо, что ты! — сказали все.

Встав из-за стола, сердитый гость быстро вышел из комнаты, наскоро оделся в коридоре и, ни с кем не прощаясь, выбежал с крыльца, сел в сани, дернул тройку и заехал в елки сада.

Лесничий с Машей, схвативши шубы, бросились на двор и уехали с ним.

— У него склероз в ушах, — сказал доктор Иван Иванович. — Он то слышит, то нет. И шут его знает, что он слышит! И кажется, что все про него обидное говорят. Получается ерунда!

— Какой там склероз. Просто дурака ломает! Деньги были, показывает себя, к почету привык, а тут почета не оказывают, — сказал Василий Сергеевич.

— Знавал я такого, — сказал Герасим. — Чудной барин. На охоту ко мне приезжал. Что ни раз — то мимо. Где ни летит — стреляет. Мимо! Ружье смотрит. «Перемазали, — говорит, — ружье». Ну, приедем с охоты впусую. Пару куликов, коростель, — что за дичь! Как в Москву ехать! Едем в Ярославль. Ну, я знаю, где взять. Ну, купил дичи — и зайчей. В Москву меня зовет. Дорогой говорит: «Не говори, что купили-то». Ну, приедет домой. Дом свой у него. Жена, семейство, дети, повар. Ну показывает! «Вот, — говорит, — какая охота», — сам на меня смотрит. Те рады. Обед делает, дичь жарена, угощает. «Этих, — говорит, — я сразу пару дублетом». Что рассказывает! «Помнишь, — говорит, — Герасим, как я этого косача хватил, на самой макушке сидел». — «Помню», — говорю. Славы хочется, чем-нибудь, хоть охотником быть.

— Почет! Вот кому почет, — наливая в стаканы вино, сказал Юрий. — Блины-то какие!

— Почет тебе, тетенька Афросинья! Принеси-ка еще горяченьких.

Глухариный ток

Все мои приятели рады — собираемся уехать на Пасху из Москвы.

В Москве все стали от долгого поста или еще от чего — необыкновенно серьезные, сосредоточенные. Кого о чем ни спросишь — отвечает, точно обиделся.

Швейцар Петр в подъезде, где я живу, — тоже серьезный, умственный.

Спрашиваю:

— Ну что, Петр, ходит лифт?

— Подымает, — отвечает мрачно Петр.

Он входит в лифт за мной и дергает канат. Лифт медленно возносится кверху.

— Ведь вот, эксплуатациа какая, — бормочет Петр, — не дает хозяин на сало, жила!

Лифт и не ходит. Без сала не пойдет.

Вынимаю пятерку, говорю:

— Купи сала, лифт пойдет веселее и тебе на праздник в нутро попадет.

— Вы тоже скажете, — улыбаясь, отвечает Петр.

Высоко живу, часто лифт портится. Как на сало дашь — идет, а то — стоп.

Дома у меня сидит родственник, студент, читает книгу.

— Что ты все читаешь? — спрашиваю я.

— Странно, — отвечает он, — как это вы всегда так. Надо же когда-нибудь определиться.

Слышу в коридоре звонок. Отворяю дверь. Доктор Иван Иванович. Бледный, баки расчесаны. В кожаной куртке. На куртке серебряный значок доктора медицины. Приятель. Очень картины мои любил. Сидит, смотрит на картину часа три подряд и молчит.

Опять в передней звонок. Коля Петушков. Немножко испуганный, худой. Входит, потирая руки.

Друзья все подъезжают. Павел Александрович Сучков, Караулов, Василий Сергеевич, в новом светлом зипуне, обшитом по краям белым барашком.

— Не годится, — говорю я, — светлый зипун. Если на глухариный ток пойдем — видно будет, не подойти к глухарю.

— Вот, я так и знал, — заволновался Василий Сергеевич. — А вот Павел говорит, что глухарь будет думать обо мне, что я кусок снега.

— Снег же не ходит, — угрюмо заметил Караулов.

— Позвольте, — разгорячился Василий Сергеевич. — Глухарь? Я вам скажу, что такое глухарь. Идет прошлым летом у вас в Феклином бору Колька в серой непромокашке, котелок наготове, в пенсне. Глухарь и глядит на него с сосны — никогда не видал такого господинчика, да и загляделся. А он его — «р-раз!» Сам рассказывал.

— Это верно, — говорит Коля Петушков. — Он мужиков видал много, а интеллигентного человека не видел...

Снова звонок. Приехал гофмейстер. Теперь все в сборе.

— Я должен сказать правду, — величественно цедит сквозь зубы гофмейстер, — что я никогда не был на глухарином току. На току тетеревином бывал, но на глухарином — никогда.

— Не забыть взять коньяку, — прерывает его Павел Александрович. — А то к глухарю иногда идешь по пояс в воде.

— Ну что ты пугаешь, Павел Александрович, — замечает Караулов, — они и по сухой реке токуют.

— Во всяком случае, запишем, что надо взять.

Павел Александрович, сев за стол, стал записывать: коньяк, ром, окорок, пашу, куличи, бычьи пузыри, чтобы не утонуть, компас, беловскую колбасу.

Коля Петушков, в стороне, объяснил гофмейстеру, что тетерева — одно, а глухари — другое. Глухарь токует не на земле, а на дереве, на суку. Он, когда токует, ничего не слышит и не видит: «Я раз подкрался, когда он токовал, да за хвост его и поймал».

Услыхал Павел Александрович, рассердился и крикнул:

— Довольно этих пошлостей! Надо взять аспирина.

— Лекарства я возьму, — сказал доктор.

— Балык, белорыбицу, — записывал Павел. — Подзорную трубу, английскую горькую, папиросы...

— Капкан, — сказал Караулов.

— Зачем? — спросил Сучков.

— Ловить хорька, а то он кур жрет.

— Экая ерунда! — возмутился Павел Александрович.

Приехали в деревню. Ясный весенний день. Разлив реки.

Друзья с реки не идут. Хорошо в деревне. Соседний лес отражается в быстро текущей воде. Кое-где плывет оставшийся лед.

У крутого берега Василий Сергеевич и Герасим стоят с острогами и смотрят в воду. В воде положены на дно светлые доски. Когда щука заходит на доску — они ударяют ее острогой.

Несколько лет назад Василий Сергеевич однажды стгоряча слишком сильно ударил остройгой, доска раскололась, и он упал в ледяную воду. А у него ревматизм.

Все по очереди растирали его горячей водкой с перцем и внутрь давали. Говорили:

— Пей чай с водкой, коньяк тоже.

И другие все пили, от простуды. Кстати.

На этот раз Василий Иванович был привязан веревкой к дереву на берегу. Привязывал пастух и говорил: «Чтоб барин не утоп».

Коля Петушков захворал. Не в меру приналег на красные яйца. Наложил в карман, ходил и жевал, как орешки. Хлеб держал в руках.

Доктор Иван Иванович сказал:

— Безобразие. У него теперь в животе янтарь образовался, надо спиртом разлагать.

Послали в Петров за спиртом. Разлагали. Коля после лечения едва ворочал языком и сознался в том, что у него новая жена.

В час ночи вышли на крыльцо. Темный силуэт моего сада резко выделялся на мутном небе. Высокие ели стояли, как часовые. Над лесом блестел Юпитер. Пахло землей. Тишина.

Мы шли на глухариный ток. На лодке Герасим перевозил нас по очереди на другой берег реки к большому лесу. Переправившись, мы долго шли краем просеки. Неживая яма. Белый столб — на нем черный орел. Казенник.

Шли огромным лесом, обходя большие весенние лужи. Корни старых елей выпирали и стлались по земле.

Герасим остановился. Слушает... Тихо сказал:

— Чу!..

Слушали и мы.

Вдали перед нами послышался звук, как будто щелкнул разгрызенный орех. Звук повторился еще, еще...

Это щелкал глухарь.

Мы двинулись дальше. Кругом была топь. Герасим то махал нам рукой и быстро перескакивал с кочки на кочку, то вдруг замирал на месте. Мы за ним.

— В чем дело, я ничего не понимаю? — громко спросил гофмейстер.

Сверху недалеко затрещало, и полетели глухари. Герасим махнул рукой, снял шапку и схватился за голову.

— Чего вы, барин? Нешто не слышали, как ток стучал!

— Ничего не слышал...

— Надо теперь обождать маненько...

Герасим снова понизил голос.

Василий Сергеевич вздумал закурить.

— Это на охоте — курить! — с укором сказал ему Герасим. — Он же видит за версту, за две. Что вы!

Герасим долго слушал и, собрав нас, едва слышно зашептал:

— Две версты к Яру токуют.

— Слышь, — наклонился он к уху генерала, — слышь, щелкает? Раз, раз... Далеко... А то были рядом.

Мы тихо пошли за Герасимом.

Гофмейстер тихо сказал мне:

— Не странно ль, что такая огромная птица щелкает, как чижик. Тетерева ведь токуют, кричат громко, чуфыкают, а эти... Я ведь в первый раз...

Долго шли. В сапогах — вода. Идти тяжело, прыгать с кочки на кочку. Мы остановились.

Герасим каждому из нас указал место. Мне было видно, как он гофмейстера поставил на кочку, где посуше, а сам встал неподалеку от него.

Мы долго стояли. Над высокими макушками леса прошумели в полете большие птицы. Начинаясь рассвет. Показалась розовая заря. Снизу каркали глухарки, и в двух местах, близко, защелкали глухари.

Герасим взял под руку генерала, и они запрыгали с кочки на кочку. И вдруг — остановились.

Вблизи меня, в короне сосны, щелкнул глухарь. Он сидел на суку, распутив хвост веером, опустив крылья вниз, вытянув прямо шею. Освещенный лучом солнца, он переливал всеми цветами радуги, то синим, то зеленым, то розовым. Это было так красиво, что я загляделся. Внизу токовали тетерки. Глухарь вдруг как бы упал на землю. Справа раздался выстрел. Вдали другой, третий — и еще дальше.

Ко мне шли Герасим и гофмейстер. Герасим нес за ноги большого глухаря и глухарку.

Охотники уже говорили громко.

Убили по глухарю еще и Сучков, и Караулов.

Лес осветило солнцем. Мы выбрались на горку и сели на сухую траву. Сняли сапоги. Развели костер.

В розовом свете весны шли рядом огромные леса. Несказанная красота была в весеннем утре. Что-то живое, радостное, бодрое.

Вблизи закуковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, — сказал Василий Сергеевич, — сколько лет мне жить осталось? — и с серьезным лицом, подняв кверху палец, считал.

Кукушка куковала подряд, не смолкая.

— Да ты бессмертный, Вася, — сказал я ему.

— Ну вот и сбили, — рассердился Василий Сергеевич.

А сейчас, когда я пишу это воспоминание красоты жизни в краю родном, эти друзья все спят вечным сном в земле сырой.

Помещик

В молодости был у меня приятель — ученик Школы живописи, Комаровский. Вместе с ним мы были в мастерской профессора Саврасова.

Он получил через некоторое время от отчима в наследство имение в Московской губернии, близ города Тарусы, и бросил живопись — его увлекло сельское хозяйство.

Впоследствии он приехал как-то ко мне весной, в конце апреля, и звал меня гостить к себе в имение. Имение его, говорил он, замечательное: огромный сад, река под горой, на горе новый дом, — старый сгорел, — множество дичи в лесах, в реке много рыбы. От станции надо ехать на лошадях 28 верст. Лошадей вышлет. «Приезжай, этюды писать».

Я соблазнился и поехал к нему.

На станции дожидалась пара лошадей. Тарантас. Утро. Погода прекрасная. Белье, весенние облака, шоссе, по краям зеленая травка. Лес в бисере весенней зелени. В небе летают ястреба. Еду, а колеса у тарантаса скрипят и визжат невозможно.

— Что такое, — спрашиваю возницу, — колеса не смазали? Скрипят, ехать противно, чисто кошку дерут.

— То-то и дело, — обернувшись, сказал мне парнишка-возчик, — что смазаны колеса. Сам барин мазал. Сам мазь варил. Густа больно и застыла. Хорошо, что катятся как-никак. Теперь-то разогрело, а ночью не вертятся, так ползешь, чисто на санях. Мазь крепка. Эх, до чего у нас барин вот дотошный, чего выдумывает — беда! Все сам. По книжке работает. Сеет по книжке, огурцы сажает, мазь колесную — по книжке варит. А вот она... — засмеялся возчик.

— Что у вас в реке-то, рыбы много? — спрашиваю я.

— Иде. У нас реки нет — река далече.

— Как — нет? Мне Николай Николаевич говорил, что река у дома внизу и рыбы много.

— Нешто это река? Так, курица перейдет. Бочажки малые в ольшине. Ну, воду берем на чай, вода хороша.

— Сад большой у дома? — спрашиваю я.

— Сад есть. Только чего? Свины все перерыли. Ходу нет. Свиной барин завел. И-и... что свиной, а поросят нет.

— Отчего же это?

— Отчего? Боров-то холостой.

— Что же, он не знает, что ли?

— Эх! Где ж сказать, ведь он мужиков не слушает. Он все по книжке.

Тарантас спускался под гору. Внизу виднелся мост, речка. По ту сторону, среди весенних деревьев, блестела белая сельская церковка. Весело выглядывал деревянный дом священника. Окошки с зелеными ставнями.

Какой оазис мира и тишины!

— Тута надо вздохнуть с часок, — сказал парнишка. — У попа остановимся. Это ведь погост. Кладбище тут. Ране господский дом был, да сгорел. Вот это сад-то липовый — его, — показал он кнутом в сторону от дороги.

Хорошо у священника в доме. Чистота. Салфетки вязаные, старинный пузатый комод. Лампада розовая у иконы. В рамках фотографии старика-архиерея, генерала Кутузова, венценосного младенца в короне и самого священника.

Дочь священника Настя — блондинка с голубыми глазами, застенчивая, скромная, — наливает чай. Подали жареную рыбу.

— Речка хороша у вас, — говорю я священнику.

— Хороша, — отвечает священник, — рыбная. Вот это я наудил.

— Я тоже любитель. Еду к Комаровскому, поди, вы его знаете.

— Как же! Вотчима хоронил. Его упокой у нас на погосте...

Когда я стал собираться, священник вышел меня проводить и сказал возчику:

— Лошадь-то у тебя белая, дай-ка из хвоста десяток волос выдернуть, на леску язей ловить.

Парнишка живо ему надергал пучок из хвоста лошади.

— Приезжайте, — сказал мне священник, — половим. Вот тут, под кручей, язь крупен берет. А то ведь у вас реки там нету.

В городе Тарусе опять остановились у трактира. Отдыхали. Пили чай.

В окно видно — промчалась тройка. Лошади в яблоках. В коляске — полные люди, дородные. В руках палки с костяными и золотыми ручками, в перчатках и пенсне.

— Князя Долгоруковы, — сказал возчик. — Недалече тут у них поместье. Эвота сад. Во сад! Беседки, птицы павлины. Вот красивы, вот хороши, а орет дуром, что вот колесья наши. Это дети княжевы проехали. Толстые. Чего им? Завсегда павлинов едят. Говорят меж себя — ничего не поймешь: «Ля-ля-ля...» По-нашему, знать, не умеют.

— А вот она, Ляпуниха, — сказал возчик, подъезжая к имению Комаровского.

На горе я увидел дом, какой-то чудной. С вышкой. Половина выкрашена голубой краской. Все окна в разных финтифлюшках. За домом — сад.

Переехали мелкий ручеек. «Вот река-то», — подумал я.

Завернули в ворота. Двор. Сарай. Какие-то босые бабы тащат пойло. Длинные корыта. Грязь. Масса свиней.

Сбоку у крыльца лежит в раскопанной земле огромный боров с тупым рылом. Спит.

На крыльцо вышел хозяин в халате.

— Ну, вот рад, приехал. Иди... Поставьте самовар! — крикнул он, проходя кухню. — Да закусить!

В руках у помещика я увидел книгу. Мы прошли в большую комнату — зал. На полу стояли цветы в горшках. В длинных ящиках была посеяна какая-то травка. В землю вставлены градусники. Лейки, мешки с какими-то семенами. На столе разбросаны газеты, книжки, счеты, наседка с цыплятами, завешанная клетка с соловьем.

Открыта дверь в сад. Стеклянная. Из разноцветных стекол.

Хозяин хлопотал, расчищая стол. Босая девка принесла яичницу на сковородке и поставила на книгу.

— Что за безобразие! — закричал хозяин. — Сколько раз я тебе говорил, Акулина, не ставить на книгу. — Хороша здесь природа. Но, понимаешь, — тьма кромешная. Ничего с ними не поделаешь.

Притащили большой самовар. Какой-то старинный. Чайник. На нем вязанный из шерсти петух. Хозяин сбросил петуха и заварил чай.

— Жена, понимаешь, уехала, Ольга Петровна. К Николаю Угречи. Письмо получила из Киева. Богомолье одолело. А у меня дел по горло.

— Какой у тебя боров здоровый лежит у крыльца! Свиной сколько!

— Ты видал? — сказал он. — Йоркшир, понимаешь, английский. На выставке купил. Золотая медаль. Но поросят нет. Не понимаю, в чем дело. Садись, ешь яичницу. Сейчас гуся зажарят. Посмотри, — показал он мне на книгу, — свиноводство — это клад. Сорок свиней. А осенью их четыреста — понял? Свиноводство. Я надумал...

Вот только поросят жду.

— Зря ждешь, — сказал я.

— То есть как — зря? — удивился он.

— Боров-то у тебя холостой.

— То есть как это? — разгорячился хозяин.

— Да как же — поросят-то нет?

— В том-то и дело, — уныло сказал он. — Я сам сомневаюсь. Он все спит, жиреет, и потом, морда у него, как у мопса, — английский, а свињи-то у меня русские, плос-

комордые. Может быть, им не нравится? Не разберешь. А кто тебе сказал, что холостой? — озабоченно спросил Комаровский.

— Мне парнишка-возчик сказал. Холостой. Все, говорит, знают.

Хозяин выбежал в коридор и крикнул на кухню:

— Позовите Илюшку.

Вошел возчик Илюшка.

— Ты почему это говоришь, что боров у меня холостой?

— Я чего... я ничего... Все говорят. Чего он?.. Жрет да спит. Толстый, чисто гора. Куда он? Жир из его топить. Свины-то не поросятся, ведь видать каждому.

Задумался Комаровский и сказал озабоченно:

— Ну, если так, то я судиться буду. Я им покажу, как холостого борова в завод продавать! Какое безобразие!

— Пойдем посмотрим, — предложил он в волнении.

Мы вышли на крыльцо. Здоровенный боров сладко спал на солнышке у завалинки дома. Хозяин ходил, смотрел кругом и ударил его ногой. Боров поднял морду, встал, посмотрел на хозяина и захрюкал. Потом пошел к сараю и лег у длинного корыта в лужу.

— Может, это и не боров, — сказал Илюшка. — Толст больно, нешто разберешь...

— Как — не боров, что ты болтаешь, дурак? — рассердился хозяин.

— Как хотите, — обиженно сказал Илюшка. — Мне все одно. А это свинья. Правду говорю. Хошь рассчитайте. Я за правду стою.

— Что же это такое? — говорил Комаровский, возвращаясь в столовую. — Вот соловья купил, представь: соловыха! Не поет...

Он опять убежал на кухню. Кричал что-то. Илюшка впряг лошадь и поехал опять в Тарусу за ветеринаром.

После обеда помещик показал мне вышку дома, на полу которой была насыпана горой греча.

— Эту гречу я выкину, и ты можешь здесь писать. Смотри — вид во все стороны. Вон, вдали, эта пустошь, Неклюдиха, а дальше, вон, деревня Обираловка. Вон, вдали, церковь Хлысты.

— Как — церковь Хлысты, не может быть? — изумился я.

— Да там хлысты живут. Я был. У них Богородица — бледная такая, красивая, только в глаза не глядит. А вон, видишь вдали, — показал он в противоположное окно, — курган. Этот, брат, курган раскапывали археологи и нашли, говорят, Илью Муромца. Скелет в четыре аршина ростом. Булава в гвоздях — пять пудов. Узда от лошади, понимаешь, в серебре... Непонятно. В два аршина. Скажи, какая же лошадь должна была быть? Лошадь не нашли...

— Это вроде твоего йоркшира, — сказал я.

— Вот ты шутишь. А я расстроен ужасно. Если это свинья — какой обман! Ведь аттестат! Медали, медали, — понимаешь. Вот мой вотчим не верил в ордена. Говорил: от орденов в голове больше не станет.

Приехал ветеринар. Сначала закусывал на террасе, пил водку. Потом пошли смотреть борова. Тучный старик-ветеринар надел очки, смотрел ему зубы и долго молчал.

Когда вернулись на террасу, он опять пил водку и опять молчал.

Комаровский не выдержал и спросил:

— Ну, как же вы думаете, что — боров или как? Ведь медальный...

И он протянул ветеринару диплом борова.

— Боров-то, пожалуй, боров, но только жирен до несоразмерности, так что не разберешь. И стар. Поросят от него не ждите. Вот, видите ли, я тоже толстый человек и старый. Анну имею 2-й степени. А кто же про меня скажет, что я жених? Ведь все смеяться будут. Купите в Тарусе просто молодого борова без медалей. Дело поправится, к Рождеству с поросятами будете.

— Всех их надо под суд отдать, — сказал, рассердясь, Комаровский и вышел. Ветеринар уехал.

— Уходи-ка и ты, — сказал мне Комаровский, — этюды писать. Теперь к вечеру хороши весенние дали. Уходи подальше, мы здесь борова резать будем.

Я взял ящик с красками, холст и ушел далеко за ручей, в лес. И только начал писать, как услышал визг несчастного борова.

«И угораздило же меня, — подумал я, — впутаться в эту сельскохозяйственную историю!..»

Геркулесовы столпы

Вспоминаю время освободительного движения в Москве. Как много было надежд на лучшую жизнь! Сколько речистых людей, ораторов. Эти люди были полны добрых намерений. Они знали все, что нужно и — как нужно, чтобы жизнь была прекрасной и свободной.

И все, что они говорили, толпа награждала обильными аплодисментами.

Их было много, и все они говорили разное.

Один из них, мой знакомый, даже охрип от речей.

Однажды он зашел ко мне и, застав у меня моего приятеля, доктора Ивана Ивановича, попросил его дать ему средство от хрипоты.

Иван Иванович подвел его к окну, посмотрел горло и сказал:

— Пройдет. Помолчать надо денька три-четыре...

И, улыбаясь, добавил — есть, мол, такая русская пословица: «Мели, Емеля, — твоя неделя».

Мой знакомый, прищурившись, посмотрел на нас и обиженно спросил:

— Вы это к чему?..

— Да ни к чему. Есть пословица такая в народе — и все.

— Глупая пословица! Что значит «твоя неделя»? Глупо!

— Это верно, — согласился я, — недели мало.

— Не в том дело, что мало, — раздраженно сказал он, — а смысла нет! Чушь!

Он строго посмотрел на нас и сказал, что ему пора на собрание.

Когда он уехал, мой приятель Коля Хитров, который был при этом разговоре, рассмеялся.

— Здорово он вас умыл! Оратор, потому и находчив! Все может как хочет обернуть. Бывает, договариваются до Геркулесовых столпов.

— Все мы до Геркулесовых столпов дошли, — сказал доктор. — Есть нечего, смотришь на столб телеграфный и думаешь: не повеситься ли. А что говорят кругом, что обещают! Хозяин дома у меня — вне себя от разговоров. Собаку убил

цепную, жрет — и хоть бы что. Не унывает, только бы говорить. Все удивляются: прежде от него слова не добьешься, а теперь хоть кол ему в рот сажай — говорит и говорит.

* * *

На улицах, на Тверской, у памятника Пушкину, на всех площадях у вокзалов и в вокзалах, в манежах, в университетах, в городской думе, в суде, в казармах — везде говорили. Митинги, митинги, митинги... А жизнь все делалась хуже.

Однажды утром на Театральной площади, в разных местах, говорили ораторы и кучами стоял народ, слушая ораторов.

Вдруг откуда-то, из слуховых окон или с крыши, затрещал пулемет. Ни с того ни с сего. Смятение. Народ и ораторы бросились во все стороны. Бежали, давя в свалке друг друга.

Площадь опустела. Только кое-где лежали убитые и раненые.

И все в Москве сразу замолчали. Будто в рот воды набрали.

Встретил я после этого своего словоохотливого знакомца. Он был мрачен и, грустно усмехнувшись, шепнул мне на ухо:

— Вот она, наша свобода слова, видите. Не дадут у нас говорить, не ждите.

Грустно стало в Москве. Ходят, друг на друга поглядывают искоса. Молчат.

Придут к знакомым, только и разговоров — кто чего достал поесть, а уж о том, что как строить свободную и прекрасную жизнь, — молчание.

Зашел доктор Иван Иванович к своему знакомому пациенту. Тот обрадовался.

— Иван Иванович, вот рад! Ждал вас, думаю, что это Иван Иванович забыл — не случилось ли чего?

И, сказав, посмотрел на дверь.

— Да ведь и забудешь, — сказал доктор. — Проснешься, знаете, так не вспомнишь, на каком свете живешь. Ума не приложишь, что делается.

— Постойте, Иван Иванович, — озабоченный взгляд в окно и на дверь. — Ради Бога, о политике ни слова. Я сейчас на кухне посмотрю, нет ли кого там.

Пациент отлучился на мгновение и, вернувшись, шепотом продолжал:

— Сегодня, представьте, какой-то солдат на кухню вошел, говорит: «Барин, не купите ли баранки?» И достает из-за пазухи баранки. Три года не видали! Страшно, называет барином. Думаю — подвох. Солдат, должно быть, переодетый — не солдат, думаю.

— Баранки, — говорю. — Я ведь не барин — баранок не ем. А баранки вот прямо как вот от Филиппова.

— У меня и хлеб есть. Не нужно ли?

— Хлеба могу взять. Хлеб — другое дело.

— Ну, — говорит, — я сейчас принесу.

И ушел, а баранки оставил на столе, на кухне.

— И сейчас лежат?

— Лежат.

— Покажите-ка.

Хозяин приоткрыл дверь в кухню, и оба издали посмотрели на баранки, которые лежали на столе.

Иван Иванович наконец осмелился, подошел ближе и с опаской пощупал баранку.

— Свежие...

— Не трогайте, Иван Иванович.

— Чего ж вы боитесь? Я их куплю.

— Не надо, Иван Иванович. Сохрани Господь. Скажут — буржуи.

— Я ведь для больных покупаю. Мне можно.

— Иван Иванович, потише... И я-то сам хорош — «Господь». Может, он притаился за дверьми. Услышит.

В дверь постучали. Вошел солдат и пристально посмотрел на Ивана Ивановича. Потом позвал хозяина за дверь.

— Вот, барин, — оглянувшись, сказал он, — принес хлеб, только при чужом-то мне опасно... Давайте деньги скорей, а баранки пушай у вас остаются. Не говорите, что мои. Время такое — опасно. Пропасть можно...

И солдат ушел. Хозяин совсем растерялся.

— Несомненный подвох! Как хотите, Иван Иванович, а я уйду. Неспроста он эти баранки оставил.

И он стал одеваться.

На улице Иван Иванович спросил:

— Куда же вы уходите?

— На неделю уйду. Куда глаза глядят. В Кунцево уйду или на Воробьевы горы. На реку посмотрю. Тяжело... Баранки...

Иван Иванович остановился, внимательно посмотрел на приятеля-пациента и сказал:

— Ну-ка, дайте-ка, я пульс пощупаю... М-да... здорово вы расстроились...

— Молчите, Иван Иванович, что вы? — сказал приятель, озираясь. — Услышат ведь!.. Почему, спросят, расстроился... Баранки — тут и пропал...

— Ну, дошли! — сказал Иван Иванович. — До Геркулесовых столпов.

Через неделю вернулся ночью приятель Ивана Ивановича к себе. Вошел со двора. На столе лежал черствый хлеб и баранки.

Приятель Ивана Ивановича разделся, лег в постель и украдкой взял одну баранку. Грыз ее в темноте, глядя в потолок, и говорил про себя: «Да-с, Иван Иванович, верно... все верно... Геркулесовы столпы!..»

Философы

Хорошо весной в деревне. Апрель. Солнце. В невыразимой радости голубеют дальние леса. Белыми пуховками покрыты розовые ветви вербы. У скворечника над сараем заливается скворец. Набухли почки яблонь и розовеют на фоне голубого неба. Блестят лужи у оврага, где в тени седой ольхи лежит еще тающий последний снег.

Все в какой-то глубокой радости, и резко светит солнце — ветви деревьев в узорах, как кружево.

— Вот радость, — говорит доктор Иван Иванович, — что уехали из Москвы. В деревне прямо рай.

Доктор Иван Иванович смотрит в окно. Сидит у столика, ест калач с икрой, записывает чаем.

— Вот ведь, — сказал он, — час гляжу: петухи дерутся. Вот дурачье! Как колошматят друг друга, перья летят. Кругом так хорошо, а они дерутся... А ведь замечательная штука — жизнь! Я клинический врач, насмотришься на больных и поймешь, какое благо жизнь. Хотя бы одна лишь радость созерцания природы. Живешь, так сказать, в таком-то веке, конечно. Читаешь историю прошлого и удивляешься: сколько ерунды было!

Он насмешливо улыбнулся и продолжал:

— Теперь этого уже, разумеется, быть не может — прогресс, цивилизация, культура! Так и говорят: культурный век!.. И чего люди ратоборствуют? Вот как эти петухи? Жизнь на нашей тайной земле так коротка!.. Смерть. А что это такое — смерть? Никто не знает, и никто не узнает никогда...

— Один ученый — не помню имени — сказал... — вступил в разговор, кушая пасху с куличом, мой родственник — студент филологического факультета.

— Какой это ученый? — спросил его мой приятель Николай Васильевич Курин.

— Постой, — перебил доктор Иван Иванович, — а что сказал ученый?

— Это тот, — задумчиво ответил студент, — который нашел в Китае пекинского человека. Скелет. Зубы у него были, как у волка. Клыки. Впоследствии было найдено даже кладбище пещерных людей. Целого скелета не было. Ученые полагают, что они ели друг друга. У одного скелета головы не было. Как ему голову отъели и кто — неизвестно.

— Эко! — удивился крестьянин-охотник Герасим Дементьевич. — А вот волки-то друг дружку не жрут.

— Да ведь это очень давно было, — сказал студент. — Пекинский человек жил в доисторическую эпоху, миллион лет назад, может быть, бегал на четвереньках.

— У нас этакий-то был в Петрове, — сказал Герасим, — Будяев, железом торговал, богатый. Завсегда, когда выпивши был, на четвереньках ползал. За картами поссорились, так он ухо одному откусил. В драке, конечно. Но чтобы голову отъесть — это неслыханно. Трудно поверить. Может быть, ему голову отрубили сабелью?

— Тогда не было железа и рубить было нечем, — строго сказал Николай Курин. — Дикая люди были, как звери, и всегда дрались.

— Так это и сейчас драться любят. Вот у нас буховские всегда с остеевскими в драку друг на дружку лезут. «Потому, — говорят, — вы не наши, а заречные...» Вот поди тут! А приход у них один — Покрова, молятся вместе. А в Покрове давно уж, по осени, церковь ограбили, и не нашли, кто ограбил. Так вот сейчас, кто ни едет на мельницу молоть, — когда Покровом селом едешь, обязательно тебе крикнут: «Эй, жулик буховский, церковь ограбил!» Кажинного, кто ни едет, — облают.

— А что этот ученый, — спросил Николай Курин, — когда нашел этого человека скелет, — на нем одежды не было?

— Нет, там тепло — голые ходили.

— У нас не походишь... — заметил Герасим. — Летом комарье и слепни заедят, а зимой, в мороз — сунься-ка!

— Там тепло было. Вот в Греции, давно ли, все голые ходили: Аполлон, Венера...

— Неужто? — засмеялся Герасим. — Срамота-то какая! Неужто правда? У нас этакое нет. Ежели летом купаться девки пойдут, так далече уходят на речку, чтобы не видали, — боятся.

— Людоеды и сейчас в Африке есть, — сказал доктор. — Тоже голые ходят. Только едят они белого человека, своих не трогают.

— Николая есть не станут, что в нем — скелет! — сказал приятель Василий Сергеевич. — А ученые ваши и покойникам покоя не дают. И почему они знают, что скелету миллион лет? Ведь это в известку кости превращаются. Миллион лет! Очки втирают!.. Чертов палец видали? Окаменелость! От дохлых чертей осталась. Испокон веков! Вот покажи вашему грамотею чертов палец — пусть скажет, сколько ему лет.

— Значит, вы науку не признаёте? — улыбнувшись, спросил студент.

— Довольно ерунды, — засмеялся Василий Сергеевич, наливая вино, и запел:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился —
Тогда бы не было сомненья...

Он глотнул вина и продолжал:

— До чего скучно вас слушать! Как хорошо, жизнь, весна. Вот облачка бегут, река разлилась. Не все ли мне равно, почему они бегут, яблоня цветет, река течет, девушки улыбаются?.. Метеорологи предсказывали позднюю весну, холода и дожди. А вот погода какая! Доктора тоже всё врут.

— Медицина — это не наука, — сказал Коля Курин. — Доктор, как ни лечи, — все равно умрешь. Лекарства настоящего выдумать не могут. Мятные капли, горчичники, — все ерунда.

— Медицина — не наука? — обиделся Иван Иванович. — Это уж вы заврались. А кто тебя вылечил, когда ты в воду упал? Помнишь?

— Не ты, а баня, — сказал Василий Сергеевич. — В бане парился на полкѣ, веником, — все и прошло.

Иван Иванович махнул рукой и обиженно проворчал:

— Медицина — не наука... Черт знает что...

— Ну, допустим, наука, — горячился Василий Сергеевич, — а вот внизу, у реки, на залильном лугу, купавки желтые. Аромат от них какой! А они — нежные, желтенькие, и ветки в лепестках. Ни одной моднице так не одеться. Как эти купавки образуются? Земля, суглинок?.. Чьим приказом, какой энергией это делается? По-вашему, это не чудо?.. Чудо! И жизнь чудо, и сама земля — чудо. А ваш ученый ходит около, тщится узнать. Ничего не узнает. Стоят развалины египетских, греческих храмов. Жизнь какая была! И — кончилась. Засыпана песком. Все пропало. Что тут скажешь? Наука изучает, а вот кто управляет — наука не знает.

— Нет, брат, — сказал Курин, — это что! Цветы, брат, можно посадить. А вот женщина, брат, — ничего не поймешь... Одна говорит мне: «Вы такой веселый, все смеетесь, с вами весело». А другая: «Что это вы все смеетесь, зубоскалите, вы несерьезный человек, с вами скучно». Вот и разбери. Никакая наука не поможет...

— Первобытный человек, — вмешался внезапно в спор студент, — был с клыками, как зверь. Иначе говоря — животным плотоядным. А теперь, под влиянием

тысячелетий, у человека зубы изменяются, и еще лет через тысяч сто-двести он станет...

— Жвачным? — иронически осведомился Иван Иванович.

— Если хотите, — обиделся студент. — Во всяком случае, не будет хищником. Тогда и прекратятся распри и взаимное уничтожение.

— Рога вырастут, как у коровы, — сказал развеселившийся Коля Курин.

— Нет, с вами нельзя разговаривать, — вконец рассердился студент.

Встал, взял книгу и ушел.

Душа томится...

С окна моей мастерской на Балчуге видно, как оттепель покрыла лужами дорогу. Грязная мостовая. Стаяли снега с крыш кремлевских башен. Москва-река набухла, покрылась водой — скоро ледоход. Уж нет переезда через лед. Стоят деревянные барки.

По Москворецкому мосту едут извозчики, кто на санях, а кто и в пролетках. В воздухе чувствуется весна.

Медленно и уныло ударил колокол к вечерне. В отдалении другой. И по Москве, по церквам, несется звон.

Однообразно зовет колокол: «К нам, к нам».

Великопостный, покаянный звук.

Страстная неделя. В монастырях всенощное бдение. Говеющие москвичи.

На папертях толпится бедный люд. Закутанные в платки старушки. Тужат, вздыхают:

— Ох, Господи, прости рабу твою грешную...

И какие могут быть грехи у этих старушек, нянек, замученных в труде, с добрыми, оробелыми лицами, всю жизнь отдавших другим и оставшихся нищими?

Говеет торговый люд — купцы именитые приезжают на своих лошадях, ищут знакомого иерея, который построже. Исповедуются и в дом на разговорье зовут, угощают особо. «С души тяготу снял, утешил».

Москва в Страстную неделю как-то притихла, серьезная, скромная стала. В трактирах, ресторанах народу мало. Толпами ходят рабочие, солдаты, служащие в бани. Под мышкой свернуто в платки чистое белье, мочалки, мыло.

Рабочие, мастера декоративной мастерской моей Императорских театров, пришли ко мне прощаться. Уезжают на неделю к себе домой, в деревню, на побывку. Новые сапоги с набором. Картузы. Почему-то физиономии у всех в веснушках. Глаза глядят, как пуговицы.

— Ну что ж, — говорю, — хорошо теперь в деревне-то. Весна. Отговели в Москве?

— Да, — отвечает Василий Белов.

— Василий, что-то у тебя веснушки по всей роже и даже на руках? Как ты весной расцветашь!

— А кто ее знает. Сам не пойму. Вот у прочих нету, а у меня как весна, так обкладывает.

— Это оттого, что все на сцену бегаешь из мастерской — на балет глядеть...

— Эх невидаль! Я ничего и не глядел. Тоже скажете. Очень нужно глядеть. Это господам, им при капитале можно.

— Ну что ж, — говорю, — и я в деревню поехал бы. Лето, природа, воля. Неужто вам в Москву оттуда не скучно ехать? В пыльную, душную мастерскую, краски разводить, клей варить? А там покос, луга у речки, отрада...

— Верно, — отвечал Белов, — хорошо. А скучно. Сказать правду — избаловались уже.

— Есть это! — сказал другой рабочий. — Меня взять. Жена, детей двое. Жена хорошая, жалею ее. Уеду — тужу. То ей куплю, другое куплю. Приеду к ней — рад, а поживу — скучаю. В город тянет...

— Вот ко мне отец приезжал, — сказал, смеясь, черноглазый и хитрый маляр Павел, — я его на сцену на леса сажал. Он оттуда представление глядел. Вот до чего ему понравилось! Глядит и плачет. «Чего плачешь, — спрашиваю, — отец?» — «За сердце берет, поют до чего хорошо — чисто в раю». Уезжать ему, а он: «Павел, — говорит, — дай еще послушаю хоть разок, эх, послушаю да и помру пускай...» Вот как театр понравился...

— А мне, — сказал Василий Белов, — это самое, когда поют, вот как надоело! В мастерской-то все слышно, особенно когда какая затынет — беда! Вот еще Ван Занд пела туды-сюды, ловко. А наши, как затынут: «Пошто меня не любишь?», в такую скуку вгонит, из мастерской прямо вон! Придешь в портерную, возьмешь бутылку пива, рад: слава Богу, вою не слышать. Отойдешь малость. Четырнадцать лет слушаю с Кинстинтин Лисеичем.

Отворилась дверь, и вошли приятели — Василий Сергеевич Кузнецов и актер Бакшеев. Оба огромного роста. У обоих лица красные, глаза веселые.

Бакшеев хохочет.

— Говели мы сейчас. Васька огорчен.

— Огорчишься! — оборвал его Василий Сергеевич. — Странно! Первое — спрашивает: «Пьете? Сильно предаетесь?» Я говорю: «А почему вы так думаете?» — «Так с лица выглядываете». Не угодно ли?

Рабочие смеялись.

— Ну ладно, — сказал Бакшеев, — надо червяка заморить, у Егорова селянку съедим. Идем.

Сидим в пролетке втроем. Стучат колеса по обнаженной мостовой, скользят по оставшемуся кое-где льду.

В Охотном ряду толпы народа. Кричат торговцы, предлагая товар.

У трактира Егорова слезли с извозчика. Пахнуло запахом рыбы, селедок, рогожей, квасом.

В трактире народу мало.

Бакшеев, сев за столик, заказал половому расстегаи с рыбой и ухой. Половой поставил графин с водкой.

— Нельзя, — поморщился Кузнецов. — Неловко.

— Ничего, ведь она постная, — сказал Бакшеев.

— У тебя все постное. А если ты хочешь знать, уха эта на курином бульоне.

— Нешто можно, — смеялся половой, — посадят. В этикие дни гостя скоромным накормить! На какого попадешь — ежели православный, так искалечит. Что вы, право, господин Кузнецов, скажете!

— А знаешь ли, — внезапно помрачнев, сказал Бакшеев, — незаметно как время бежит. Вот всю зиму играли. Кружок, ужин, разговоры... К утру спать ложишься. Проснулся — в театр. Времени не видишь и не видишь, как проходит жизнь. А в сущности — одиночество. Когда один сам с собой — противно, тоска. Не знаешь, куда деться, душа томится. Женщины все как-то ясны. Увлечение, потом охлаждение и опять тоска. Был я влюблен, молод был. Она получила чахотку — умерла. Весной умерла. Каждый раз, когда весна, хочу поехать на могилу, а кладбище забыл. Приеду на Ваганьково — не то, в Даргомилово — не то, в Покровское — не то. На всех кладбищах бывал — не то... Так знаешь ли — зайдешь в трактир где-нибудь у заставы, ну и выпьешь, как-то легче становится. Представь себе, третьего дня подумал: у Сокольников, где-то в Печатниках, кладбище есть — не там ли, думаю, хоронили ее? Поехал. Заехал на Рязанский вокзал. Буфет.

Сел тоже закусить. Выпил. Сижу, и вдруг вспомнил: «Батюшка, да ведь ее схоронили в Казани!» Подумай, ведь сколько лет я ее здесь по кладбищам искал. Заметь: как только выпью слегка, так меня тянет могилу искать. Сколько я зря проездил! Не попади я на Рязанский вокзал, и сейчас тебя бы уговорил ехать со мной искать... Нет, постой, ошибаюсь, что такое... Не в Казани — в Казани другая, а та... постой... вспомнил — в Нижнем! Вот рад... Наконец-то вспомнил!

— Погоди! — позвал он полового. — Ну-ка, принеси еще графин.

— Какая радость — вспомнил! Давай-ка еще по расстегаю. Да вот, кажется, и солнышко выглянуло. Весной какие-то воспоминания в душу лезут. Выпьем, Вася. Сегодня на исповеди вижу — устал отец Василий. Накрыл меня епитрахилью. «Ну, грехи-то?» — говорит. А я ему: «Все те же — актерские». — «Ну, — сказал, — Бог простит». Вот и все...

Весной

За далекими лесами расстилалась утренняя заря. У мелколесья, по проселку дороги, виднелись весенние лужи, и в лесу кое-где лежал еще талый снег.

Охотник Герасим, с которым мы возвращались с глухариного тока, показал мне в высоту глубокого неба, сказав:

— Глядь-ка, вона лебеди летят!

Посмотрев над собой, я увидел высоко стаю летящих торжественно птиц. Освещенные солнцем, они блестели белизной.

Как таинственен и прекрасен был их быстрый полет! Стаи, одни за другими, проносились в высоте и пропадали, теряясь в лазоревом эфире небес.

Долго я смотрел на стремительный полет могучих птиц. И, посмотрев на землю, дорогу, где вдали возвышался как бы оазисом мой небольшой сад и крыша моего деревянного дома, я ощутил какую-то грусть.

В душу проник тревожным чувством мой земной удел. Я взглянул опять на небо — лебедей уже не было.

Какой красотой, свободой и волей восхитил меня лебединый полет!

И какой заботой, тревогой показалось мне бегущее время моей жизни.

— Лисеич, — сказал Герасим, — хорошо лебедям жить — лети, куда хочешь. Дружно живут — вольно. Нет у них войны, а враг, поди, и у их есть. А вот кто?..

Охоты на них не ведут, не едят их, а все уж они человека опасаются. Почто бы? У них тоже сторожевой есть — на страже стоит. Помнишь, когда мы с тобой на Кубинезере были у Северной Двины? Так на отлогах песчаных что́ их было — массая, чисто берег снегом крыт, а подойти нельзя. Помнишь! Человек — враг, значит, опасаются. Да, человек — враг. Враг и есть. А ведь к нему все в дружбу идут. Мириться хотят, а лебедь — нет. Заметь: у тебя иволга в саду. Ты ее любишь и хвалишь. Она знает.

— Почему знает? — удивился я.

— А вот ты заметь — сейчас, по весне, у тебя в осиннике в саду шесть гнезд они свили. Я иду к тебе утром вчерась, а они на террасе на столе сидят. Ничего не боятся, что пыхаешь, в клетку посадишь. И горлянка у тебя гнездо вьет. Я дивился. А почему? Ты в саду стрелять не велишь. Они знают. Ты заметь: сколько у тебя в саду птицы поет. И дрозды, и скворцы, соловьи в черемухе, — не боятся.

«А верно», — подумал я.

— Ужи тоже под домом живут. Прямо ручные. Знают, что ты не враг.

— Ну, а как же, — говорю я. — А вот убитого глухаря тащим. Тетка Афросинья жарить будет.

— Ну, это ведь так Богом положено, — сказал Герасим.

«Положено ли?» — подумал я.

— А вот лебедя, журавля — я не стрелял. Невестя почему. А сдается, что грех. А ведь дайся он — из-за пуха, пера всех их перебьют. Вот сойки, дьяба — крылья красивые! Так платили по двадцать копеек за пару крыльев. Мода была — барыни на шляпках носили, а потом бросили. Вот лебеди-то и знают. Может статься, всех птиц перебьют люди-человеки. И вот тоска будет в жисти!

— Леса тоже порубят, — сказал я.

— Верно, — согласился Герасим. — Человек — враг. А ежели выгода, то все и друг друга без жалости передушат.

Подходя к дому, я увидел у сарая — тетюшка Афросинья выпускала корову. Та, подняв голову, освещенная солнцем, протяжно мычала, как бы приветствуя весеннее утро, и, подняв хвост, как-то дурум, неуклюже побежала в ворота, где проходило стадо.

Весело звучала свирель пастуха. Солнце освещало сад и дом мой.

— Ну вот, — сказала тетенька Афросинья, — самовар кипит.

Я вошел в дом. Слуга мой Ленька спал, открыв рот.

Хоть ночь я не спал, но утро такое бодрое и светлое, что ложиться не хотелось.

— Ленька! — крикнул я. — Фрося пришла!

Ленька опрометью вскочил и глянул кругом.

Скоро Вербное воскресенье. Около огорода белым бисером пуховок покрылись розовые ветви вербы.

Тетенька Афросинья внесла самовар, поставила на стол и сказала:

— Вот он, самовар-то, поет, гляньте-ка в окошко, вона к вам гости едут.

К крыльцу подъехал тарантас. Весело смеясь, вошли приятели-охотники.

— Вот рад, — сказал я, — я что-то здесь приуныл. Сейчас шли с Герасимом с охоты, так сколько лебедей летело высоко-высоко. Позавидовал я им — какая красота!

— Мы видели их, когда со станции ехали. На кой черт они нужны? — сказал Василий Сергеевич. — Это вот Иван Иванович, — показал он на доктора, — когда

женился, я шафером был, так жену звал — «лебедь белая». А вот шесть лет прошло — вороной называет.

Иван Иванович, умываясь в коридоре с дороги у рукомойника, услышал и вошел. Вытирая лицо полотенцем, посмотрев на Василия Сергеевича, обиженно сказал:

— Я бы попросил вас жену мою оставить в покое. Лебедь она или ворона, вас не касается! Вот вы можете над ним смеяться, — показал он на Колю Петушкова, — он все прощает.

— Постой, что ты, — сказал приятель Вася, — ты сам ее вороной называл.

— Да, называл. Я — муж, а ты права не имеешь. Если б я твою Ольгу индюшкой бы назвал, что бы ты сказал?

— Ах ты, черт, — засмеялся Вася, — а ведь правда, я-то думал, на кого Ольга похожа, — индюшка, это верно!

— Ну, какая ерунда, — сказал я, — что ссориться, обижаться? Верно, супруга Ивана Ивановича смахивает на лебедь.

— Тоже скажете, не лебедь — ворона, — сказал Иван Иванович, — только он этого права говорить не имеет. А я могу.

— Ну ладно, — сказал Василий Сергеевич, — не буду. Ты не сердись. Да на ворону она и не похожа. А если сказать правду, то растолстела Анна Петровна не в меру и похожа просто на корову.

— Что на корову смахивает, это есть отчасти, — согласился Иван Иванович.

* * *

На лодке по разливу реки поехали мои приятели. Герасим с большим шестом правил лодкой, упираясь в дно рукой. Раздольно разлилась река. Быстро несла вода. Лодка села на мель. Над выглядывающими кустами, залитыми весенней водой, летели утки. Приятели присели. Утки, поднявшись, летели над ними.

Раздался залп. И одна утка упала недалеко от лодки.

Герасим влез в воду; было неглубоко, и он старался столкнуть лодку. Но это не удавалось.

Вылезли все в высоких сапогах. Было мелко. Василий Сергеевич, идя по воде у лодки, зацепил шестом и, потянув, схватил утку. Взяв ее, закричал:

— Смотрите, что это такое делается: это курица!

Действительно, утка как кряковая, лапы в перепонках, а нос куриный.

Герасим смеялся.

Василий Сергеевич бросил утку в лодку и сказал:

— Ну и местечко у вас здесь! Черт-те что за утки такие!

И рассердился. Лодку толкали все, и она пошла вперед. Однако, когда стало глубоко, лодку подхватило течение и унесло.

Все остались на мели.

— Эко дело, — сказал Герасим, — не удержали. Чего теперь делать?

Лодку быстро уносило. Герасим нащупывал дно, шел впереди, стараясь попасть на берег, но становилось глубже. Пошли в другую сторону. Опять глубоко.

— Дело дрянь, — сказал Коля. — Здесь погибнем.

Герасим озабоченно смотрел кругом.

— Вот оно, птичку-то какую застрелили. Это ее штучки. Утка — куриный нос, — беспокоился Вася.

Молча стояли в раздумье. Берег был недалеко. Пробовали опять идти. Шли выше колена. В сапоги вливалась вода. Глубоко. Стали кричать. Далеко — никто не слышит.

— Надо стрелять, — сказал Василий Сергеевич. — Может, кто покажется на берегу.

Стреляли залпом. Никого.

Пошли книзу по тихой воде, где были залитые кусты. Было мелко, но у кустов, когда подошли, стало глубже. За кустами увидели лодку.

Герасим, взяв шест и сняв сапоги, повесил их себе на шею и на шесте прыгал по кустам в воде.

— Идите! — крикнул нам. — Здесь мели.

На берегу показался мальчишка-подпасок и что-то кричал нам, показывая на лодку.

— Давай, давай, — кричали мы, — лодку!..

Герасим бросился в кусты и схватил лодку. Мы обрадовались. Быстро Герасим привел лодку. Мы набились в нее и отталкивались сквозь кусты к берегу.

Вылезая на берег, Василий Сергеевич вспомнил убитую утку, стал искать, но ее в лодке не было.

Василий Сергеевич, прищурив один глаз, сказал:

— А птичка-то не простая!.. Хорошо, живы остались!..

* * *

В Москве, в Литературном кружке, вечером за ужином с приятелями и друзьями, артистами Малого театра, Василий Сергеевич, который был в это время дежурным старшиной кружка, рассказал, когда подали на жаркое утку, что он на охоте у меня в деревне застрелил утку с куриным носом.

Актеры как-то сразу все замолчали. А Юрий Сергеевич Сахновский сказал ему:

— Ты ведь старшина дежурный. И в должности такой ты врешь как сивый мерин.

Василий Сергеевич обратился ко мне.

— Скажите же вы Юрию, чтоб поосторожней был. Вы ведь видели, что у ней куриная морда была?

— Верно. Честное слово даю, — сказал я.

Актеры засмеялись, и Сумбатов сказал:

— Ну, какой вздор!

— Охотники, конечно, — сказал Юрий.

Василий Сергеевич был вне себя.

— Может же быть, — говорил он, — что с курицей помесь! Допустим, утка с петухом связалась.

— Ну, довольно! — сказал Юрий.

Василий Сергеевич встал и сказал мне:

— Это с вашей стороны нечестно. Скажите же им! Ведь вы видели?..

— Вася, — говорю я, — я же дал честное слово. Послушайте, господа, клянусь вам, что видел утку, которую убил наш друг Вася, с куриным носом.

Но ничего не помогало. Как я ни божился, актеры ржали как лошади.

Повара

Ласковой красой блистает солнце. Высохли гряды огорода за частоколом. Зеленеют молодые листья моего сада. Зелеными брызгами покрылись березы. В веселых кустах черемухи заливаются малиновки.

Отдыхает душа. Ничего не хочется делать. Одолевает лень. Ни о чем не думаешь. Сядешь на ступеньки деревянной террасы и смотришь.

Далеко тянутся леса в голубой дымке. Собака — пойнтер Польша — лежит около меня и смотрит на муху, которая на нее села.

— На террасе чай накрывать? — лениво спрашивает меня мой слуга Ленка. Лицо у него такое скучное, все в угрях.

— Накрывай на террасе, — говорю я. — Что это ты так расцвел, вся физиономия в прыщах?

— Кто знает? Я картофельной мукой посыпал — не помогает. Это от солнца, говорят.

«Да... — думаю я, — весеннее солнце, истоста. Идти никуда не хочется».

Приятель мой дрыхнет. Ночью ловили налимов на реке, только — река ли еще широка или луна полная, но ничего не поймали.

— Ленка! — крикнул кто-то сверху из светелки. — Который час?

— Девять часов! — кричит Ленка.

И слышно, как проснувшийся спускается по лестнице в коридор.

На террасу выходит Василий Сергеевич. Лицо заспанное и черное. Это от костра, который жгли у реки. На шее у него мохнатое полотенце.

— Ленка, — говорит он, — давай из колодца ведро воды и ковш, я буду здесь, на травке, умываться.

Намылив себе физиономию, приятель Вася мельком взглянул на меня и сказал:

— Рыба у вас вся из реки ушла.

— Ерунда, — говорю, — куда же ей уйти? Еще рано — не берет. Паводок.

За чаем приятели-рыболовы жаловались, что делать нечего, — тощища.

— Знаете что, — вдруг предложил Василий Сергеевич, — пойдем наберем свежего щавеля и молодой крапивы. Я зеленые щи варить буду. Тетенька Афросинья не умеет, я ей покажу. А ты, Василий, ступай с Колькой — наберите сморчков.

— Каких сморчков? — удивился Коля Курин.

— Вот! Ничего ты не знаешь — это грибы.

— Ах да, знаю. Только я не согласен. Еще отравишься. Я, брат, боюсь.

— Я-то знаю, — сказал Княжев, — небось не помрете.

В лесу свежая зелень пробивается сквозь наст гнилого осеннего листа. Зеленеют свернутые в трубочку ландыши.

— Нашел! — кричит Коля, наклонившись у пня.

Когда я подошел, Коля торопливо клал в корзинку на длинных ножках дымчатые поганки, которые росли у пней большими кучами.

— Это же поганки, — говорю я, — что ты!

— Ну, уж извините, пожалуйста, я-то знаю, — это опенки. Они всегда растут у пней.

— От этих грибов ты наверняка умрешь.

— Ну, нет, посмотрим, — упрямылся Коля, — кто из нас очочурится: я от этих грибов или вы от сморчков. Это опенки. Я знаю.

Подошел Василий.

— Надо в осинник, — сказал он, — там сморчков поискать, а здесь их нет.

— Василий, посмотри, что Николай-то Василич набрал. Опята?

Василий посмотрел темными глазами на Колю Курина и, зашипев, засмеялся.

— Чего вы — это поганки!

— Нет, извините. Я-то знаю. Когда я их зажарю, пальчики оближете.

И пошел с грибами по дороге к дому.

В кухне, когда мы пришли, тетенька Афросинья с Василием Сергеевичем варили зеленые щи.

Коля в стороне чистил свои грибы и клал их из кастрюли на сковородку.

— Что делается! — расхохотался Вася, зажмурив глаза. — Кольку сегодня хоронить будем... Посмотрите, поганки жрать собирается...

— Это дуром набрал... — сказала, покачав головой, тетенька Афросинья.

Коля упорно молчал; солил и поливал маслом свои грибы, смиренно дожидаясь, когда освободится место на плите. Лицо у него было серьезное и обиженное.

Грибы шипели на огне и превращались в темную тягучую массу. Коля помещивал вилкой в сковородке. Через некоторое время он попробовал с вилки свои грибы, смотря сверху и как бы смакуя, потом выплюнул и сказал:

— Еще сыроваты...

— Да неужто вправду станешь есть поганки?! — спросила тетенька Афросинья.

— Это опята.

— Беспременно помрешь.

— Молока надо подлить немного, — сказал Коля и налил в сковородку молока.

Грибы шипели. Молоко сделалось темно-синего цвета.

— В опенки уксусу надо, — посоветовал Василий Сергеевич. — Прочти-ка поваренную книгу. Уксус необходим.

Коля подлил уксусу, потом попробовал и опять плюнул.

— Сметаны! — лаконически сказал Василий Сергеевич.

Коля положил сметану.

— Муки! А то у тебя жидель какая-то выходит.

И Василий Сергеевич насыпал муки на сковородку с грибами.

— Что ты делаешь! — обиделся Коля. — Ведь это драчена какая-то выходит...

Он облизал ложку.

— Кислота!..

— Клади сахару.

— Ну, это ерунда, — сказал Коля.

— Возьми поваренную книгу, тогда узнаешь.

Коля пошел за поваренной книгой. Стоя у плиты, он что-то поглядел в книге Молоховец и насыпал сахару на сковородку. Грибы шипели и пузырились.

Попробовал.

— Вот ты мне и испортил! — сказал он. — Есть нельзя будет...

— Слава Богу, — засмеялась тетюшка Афросинья, — жив останешься.

Василий Сергеевич, взяв у Коли поваренную книгу, быстро перелистал несколько страниц, прочел и сказал:

— Луку забыли положить и яйцо.

Положили в кастрюлю со щами луку и яйцо...

— Ах, черт! — вдруг дернулся Василий Сергеевич. — Яйцо-то ведь потом кладут. Все это из-за тебя, Николай.

От сковородки шел дым: грибы подгорели.

— Пспели! — сказал Коля.

* * *

В двенадцать часов все сели за стол. Подали зеленые щи и Колины грибы — это была какая-то подгорелая лепешка мрачного, черного цвета.

Попробовали щи. Тоже что-то не то.

— Я говорил — конского щавеля набираете... Чего лошади только едят!.. — сказал Василий Князев.

— Надо сметаны больше, — хмуро пробормотал Василий Сергеевич.

Положили сметаны. Но и сметана не помогла.

Коля ел медленно и озабоченно свою стряпню и говорил:

— Поганки, говорите, умрешь... Я, брат, не муха... Но вот ты мне все испортил! — Коля сердито посмотрел на Василия Сергеевича. — Когда укус положили — сковородка так и затрещала. Видно было, что не надо укусу класть.

Тетушка Афросинья решительно взяла сковородку и, не говоря ни слова, унесла. Коля пошел за ней. Она сбросила Колины грибы со сковородки у сарая.

Подошли куры, петух, посмотрели на выброшенное кушанье, но не стали клевать.

Слетели с березы сороки, попрыгали кругом, потрещали и улетели.

Подошла свинья, понюхала и, хрюкая, скушала все...

— Ну вот, — сказал Коля, — а вы говорили, поганки!..

* * *

— Ну и повара!.. — вернувшись к столу, засмеялась тетенька Афросинья. — И щи-то — тоже не похлебаешь. Я сейчас вам окорочок принесу...

— А я его подкочу, куда плита топится, — сказал Василий Сергеевич. — Надо его чесноком нашпиговать, как колбасу.

— Нет, повара, будя. Не дам. А то голодные останетесь, — смеясь, сказала тетюшка Афросинья.

Пасхальная ночь

Солнце, весеннее солнце... Оживает весной наша тайная земля, и радуется душа теплым дням весенним. Прошла зима лютая, не воеет вьюга снежная, не метут метели злые. Тают снега, и шумят ручьи. Бегут, блистая, воды в голубые дали, все дальше и дальше, куда жадно смотрят глаза, — к неведомому счастью, которое там, в дали лазоревой, там, за заборами, за домами городскими...

Весеннее солнце льет румяный свет. Горит, вливаясь в окна, в мою деревенскую мастерскую, где мы готовим пасхальный стол.

Держа в ложке яйцо, доктор Иван Иванович серьезно опускает его в кастрюлю, где разведена красная краска. Вынимая окрашенные, кладет на блюдо и говорит мне:

— Три десятка. Довольно?

— Да красьте все, что оставлять? Крашенные как-то веселее есть.

Ничего не говоря, приятель Коля берет с блюда крашеное яйцо, ударяет им по столу, очищает от скорлупы, солит и ест.

— Что же это ты делаешь? — возмущается другой приятель, Василий Сергеевич. — Ты что?

— А что? — удивляется Коля.

— Как — что? Вот же рядом некрашенные! Канун Пасхи, Великая Суббота сегодня, а ты яйца ешь...

— Так он же сказал, что крашеные есть веселей, я и взял.

— Поста не держишь.

— Яйца скоромным не считаются, — робко возражает Коля. — Ты сам, я видел, ветчину от окорока ел на кухне.

— Слышите, что говорит! — горячится Василий Сергеевич. — Я на кухне пробо-вал, поспел ли окорок, а он — слышите!.. Вот он какой!

— Велик ли грех яйцо съесть! — засмеялся приятель мой, охотник-крестьянин Герасим Дементьевич, пришедший ко мне на розговены. — Вот, помню, у нас в Петрове один такой постник был, амбар держал, овес, гречу, зерно покупал. Ну, значит, у него при амбаре приказчики. Молодцы-лавочки. Вот он их постом доедал! В кашу масла нипочем. Чай с изюмом, молока ни-ни. Рыбу нельзя. А ежели бы яйцо кто — беда!.. Прогнал бы. Только, это самое, в амбаре у него весы большие на цепях. Зерно вешать. Гири пудовые. Но на весах-то, где гири ставят, под доской, свинцовые плиты на полпуда прибиты. И сколько это он, вешая, наворовал. Один-то молодец на него и донес. Его и пымали. Прямо у весов. Да в тюрьму, да под суд. Вот. А был постник, богомол.

— А что же было потом? — спросили мои приятели.

— Чего ж, сидел долго. На суде доказали, что все, что ни на есть, он от весов тех нагребил, — все дочиста отдал на богоугодные заведения. Сиротам, вдовам, на больницы... Даже за это самое и медали, на шею жалованные, в праздник носил. В пример прочим.

— Где же он теперь? — спросил доктор Иван Иванович.

— Где? Тута, в Петрове. И заметьте, никто на это самое — на больницы, вдовам, сиротам, — никто более ничего не дает. А он-то и говорит: «Вот что я брал с их, жулил и отдавал, а тово теперь-то и нету».

— Вот что об этом скажешь? — спросил доктор Иван Иванович.

Все молчали.

— У нас, — сказал доктор, — в Москве, глазная больница, новая, для бедных и для всех. Такую больницу и за границей поискать. Так вот что. Московский городской голова Алексеев, сажень ростом, толстый, умный человек, сколько добра внес. Широкий человек. Он больницу строил. Денег надо много. Приехал он к старику Солодовникову-миллионщику, а тот скуп — штаны носит, так внутри подкладку клеем смазал, чтоб не изнашивались. Ну, приехал к нему городской голова. «Денег дай на больницу. Надо, — говорит, — для Москвы. Обращаюсь к вам как к человеку и христианину». А тот ему: «Горд ты больно, христианином пугаешь, городской голова. Поклонись в ноги — дам». Алексеев ему и бух в ноги, к самым сапогам, да и заплакал. Солодовников удивился да полмиллиона и подписал.

Уехал от него Алексеев и думает: «Вот ведь что надо». Заехал к Попову на Никольскую — чайная торговля, — прямо в контору. Вошел да прямо Попову в ноги — бух,

на больницу дай. Тот удивился: что такое — сам городской голова в ногах валяется?.. Сто тысяч подписал.

Было это в старину в Греции, кажется, сам Сократ тирану сиракузскому Дионисию в ноги пал, за друга-философа просил. Осудили его за это друзья его, а он говорит: «Я не виноват, что у него уши в ногах...» Заехал голова Алексеев и к Морозову, и к Найденову, в одну контору, в другую, и везде в ноги валится. Приехал домой к обеду, щетку в передней взял — колени чуть не час чистил. А больницу все-таки построил, да клиники, да еще детскую больницу. Вот ведь как. Боялись его. Богатый-то думает, когда говорит с ним, как бы леший-то этот в ноги не упал...

К вечеру привезли пасху: святили пасху и куличи.

— Ну и дорога, — сказал Феоктист. — Из колеи в колею. Ну и лужи... Колеса покрывают. На Некрасихе думал — пропаду. Вся телега ушла, пасху на голове держал. Уток что летает!

— Пойдемте, — сказал Караулов, — постреляем.

— Ну нет, неловко что-то в канун такого дня.

В саду, к вечеру, заливались пением птицы. Высоко в небесах треугольником, освещенные солнцем, летели журавли.

Таинственна и чужда была природа. Пленяла душу весна. Я хотел сорвать ландыш, — и вдруг мне стало жалко ландыша. Пускай живет...

Пасхальная ночь была светлая. С одной стороны, как зубчатый гребень, темнел Феклин бор. Торжественно и задумчиво фонарем от дома освещались лица моих приятелей.

Вошли в дом.

Пасхальный стол был накрыт. В стеклянных банках стояли желтые купавки, которые набрали на мокром лугу реки. Волшебным запахом наполнилась комната.

Приятели сидели за столом молча. Вдалеке, за лесами, послышался благовест...

— Это на Вепре, у Спаса, — сказал Феоктист.

Мы отворили окно и слушали. Несказанное очарование было в весенней ночи! Высоко в небесах слышался шум тысяч летящих птиц.

Россия, как торжественна и свята была в просторах твоих пасхальная ночь!..

На Пасху

Я с приятелями решили ехать на Пасху в деревню. Чего же лучше: весна, река разлилась, охота...

Василий Сергеевич ездил к Сучкову, Караулову, к гофмейстеру, звать на Пасху ко мне в деревню. Отъезд с Ярославского вокзала, чтоб приехать накануне.

Живу я в глухом месте, семь часов езды от Москвы, — место лесное, болото, гуси дикие летят прямо над самым домом. Вальдшнепов с террасы дома стреляли.

На реке под садом турухтанов сотни, а глухарей, тетеревей кругом ток такой, что спать не дают.

Охотники таких рассказов выдержать не могут, волнуются.

— Есть ли глухариный ток? — спрашивает меня гофмейстер по телефону.

— Еще бы, — отвечаю я, — двести верст сплошной лес дремучий — Феклин бор. Там все есть.

— Еду, — согласился гофмейстер. — Я возьму пасху и кулич.

— Бери, — говорю.

С вечера в пятницу приятели-охотники собрались на вокзале. У Павла Александровича большая, длинная острога и особенный ацетиленовый фонарь для лучения рыбы.

У всех захвачены куличи и пасхи.

Когда сели в вагон, то пасхи не могли поместиться на полках.

— Вот он рассказывал, — показал Павел Александрович Сучков на слугу моего Леньку, — что будто бы у тебя на лугу, перед домом, чуть к утру, сели дикие гуси. Это было без тебя, тебя не было дома. А он трех из оконной форточкой застрелил. Он это врет или нет?..

— Нет, — говорю я. — Я сам зимой четырех куропаток убил у сарая из форточки. Они в сене ковырялись.

— Замечательное место, — сказал Василий Сергеевич, — уток там на реке весной страсть сколько. Только утки-то не утки, помесь с курами. Лапы утиные, а нос куриный. Такая гадость...

— Ну, довольно вздора, — сказал Павел Александрович.

— Нет, Павел, — говорю я. — Я сам стрелял таких.

— А не съесть ли пасхи? — предложил Павел Александрович.

— Ну нет, — сказали все, — нельзя, это испортит весь праздник.

— Ну так я отрежу кусочек окорока, что-то есть хочется.

И он из фляги налил в металлический стаканчик коньяку.

— Ну нет, — сказали все, — это невозможно: Страстная Пятница. Да ты что, потерпи до разговенья.

— Не могу, — настаивал Павел. — Я же есть хочу.

— Неудобно, — заметил гофмейстер, — в Страстную Пятницу в вагоне разговляться. Вот скоро станция Сергиевский Посад. Поезд стоит десять минут, я справился у кондуктора, там мы закусим. Это как-то принято на станции закусить. Пасхи там нет, как-то приличнее в дороге.

На станции у Сергия Троицы приятели выпивали и закусывали и пирожками, и ветчиной, и гусем и говорили друг другу и гофмейстеру, что он был совершенно прав, что закусить на станции скромным не грех.

В вагоне, в пути, не годится.

— Неизвестно, — сказал Василий Сергеевич, — гуся жрать в пятницу — это, кажется, везде скромное, ветчина тоже.

— Но в дороге это все как-то так по-другому, а в вагоне — свой окорок, пасха, куличи, — нет уж, увольте. В Пятницу, это — позор.

Чуть брезжил свет, когда мы приехали на полустанок Рязанцево. Приехавшие возчики на розвальнях встречали нас.

В утреннем рассвете пахло весенней землей и лесами. Когда мы сели в розвальни и ехали по грязной земле и остаткам снега, над лесами мерцала Венера.

Как дивно было в природе в весеннее утро!

Коля Курин, так кротко и спокойно сидя в розвальнях, что-то грыз.

— Ты что это грызешь-то? — спросил Василий Сергеевич.

— Да вот с пасхи барашек упал, леденец. Он ведь не скромный, что-то пить хочется. Он кисленький, — говорит Коля кротко.

— Ведь это агнец святой, а ты его натошак в Великую Субботу жрешь...

— У Кольки никакой совести нет, — обратился он ко всем.

— Ну хорошо, не сердись, Вася, я его опять прилепил.

— Нет, уж ты его не прилепляй. Обслуживал — и прилеплять хочешь, всю пасху опоганишь.

— Не прилепляйте, — согласился гофмейстер, — кушайте, пускай агнец. Ничего, Бог простит.

И во рту у Коли хрустел агнец.

— Гляньте-ка, — крикнул с другой подводы возчик Батранов, — рябчики, вишь, сели, более десятка!

— Стойте, стойте, — сказали тихо охотники, вынимая ружья из чехлов.

— Тише, — сказал Павел Александрович, — я сейчас достану манок самки, они все и подлетят.

И он, торопясь, искал в ягдташе манок. Достав манок, он, наклонясь, шел к высоким елкам и, сев в кусту, дунул в манок.

Получилось что-то невероятное. Такой звук на весь лес, что как будто кого-то режут.

— Не тот манок, — сказал Павел.

Слышно было, как улетали рябчики. Сев в розвальни, мы опять поехали.

— Скажите, Павел Александрович, — спросил гофмейстер, — этот странный манок на какую дичь?

— Это — на лося.

— Вероятно, — согласился гофмейстер, — такой громкий манок.

Осветились леса солнцем. С краю леса в розовых кустах блестели большие лужи и журчали ручьи весенних вод. Блестя на солнце, плавно и грациозно перелетали над кочками болота чибисы.

Охотники остановились и вошли в болото.

— Не стреляйте чибисов, — сказал я.

Но вскоре Павел Александрович выстрелил: «раз... раз...» — и что-то поднимал с земли, кладя в ягдташ.

Вдали поднялись утки. Смотрю, Коля грызет уже второго агнца с пасхи. Подходит Василий Сергеевич, смотрит на Николая Васильевича и говорит:

— Ты опять жрешь?

— Понимаешь ли, пить хочется.

— Пить хочется, так смотри, вода-то около — пей!

— Ну нет, благодарю вас, я и так раз змеиных яиц с водой-то нахватался. Солитер вышел, брат, тридцать восемь сажен. Морда с усами — отвратительный. Я чуть в обморок не упал.

Гофмейстер выстрелил вверх. Павел Александрович показал убитых двух туруханов. Гофмейстер застрелил утку, невиданной породы, пролетную морскую. Охотники были в восторге.

Когда мы приехали ко мне в дом, расставили на столе пасхи, куличи, ветчину, закуски, Василий Сергеевич, забыв, что суббота, отрезал большой кусок ветчины и ел с вилки, глядя в окно, приговаривая:

— Ну и хорошо же у вас! Даль-то какая, Господи, вот жизнь, вот радость!

— Это что же ты ветчину-то ешь? Ты что это? — говорю я.

Он вынул изо рта кусок и плюнул в руку.

— Вот ведь, ей-Богу, машинально!

И он пошел к умывальнику полоскать рот.

— Хорошо, что вы мне сказали, — говорит Вася, растопырив глаза, — а то, правда, как-то неловко выходит.

— А на станции что вы делали? Гуся лопали, — заметил Коля.

— Не тебе бы говорить. А кто святых агнцев дорогой грыз! «Пить хочется», подумай! Уж чья бы мычала, а твоя бы молчала. Вот что!

Охотники с дороги умываются.

Тетенька Афросинья была рада гостям.

— Вот вчера, — сказала она, — я ходила под Никольское к леснику, мед брала. Вот что тетерева у мохового болота сидело, прямо во! Вот вам бы — жаркое бы настроляли.

За далекими лесами зашло солнце. Розовела заря за голубой далью лесов. Над темным бором за рекой блестел серп месяца. В глубоком своде небес блеснули звезды. Потемнела весенняя земля, и какая могучая тайна была разлита кругом! Весна, весна...

Над нами, когда мы вышли с крыльца, неслись странные шумы. Это тысячи птиц пронеслись высоко в потемневшем сумраке небес.

Они летели к нам из далеких стран.

Далеко в тишине раздался звук колокола.

— Это, должно быть, у Покрова ударили к заутрене.

— Нет, это у Всех скорбящих радости, — ответил Ленка.

Лес оживал непрерывным током тетеревей.

Приятель-охотники и я были в каком-то сладком гипнозе весенней ночи.

В калитку ворот вошел приятель-охотник, крестьянин Герасим Дементьевич.

— Эх тока-то кругом, — подойдя к нам, сказал Герасим. — С наступающим праздником вас!

— Ну что, Герасим, надо бы на глухарей?

— Есть, — ответил Герасим, — недалече, в Ратухине, — у старого кургана. Там посуше. На Феклином бору по пояс вода — не подойти.

— Ну, где это по пояс вода? Я не иду, довольно, — сказал гофмейстер. — Потом, это прыгать по кочкам, проваливаться — не вижу в этом никакой радости.

— Ну, знаете, паркета на токах не постелешь, — сказал Василий Сергеевич.

— Паркет — не паркет, а дощечки постелить можно бы!

— Эх, где же дощечки, он тоже видит. Он глухой, когда стучит, токует, а то во какой чуткий — не подойдешь!

Вошли в дом.

Тетенька Афросинья, нарядная, хлопотала у стола, и, когда привез Феоктист священную пасху, все христосовались и сидели за стол.

Юрий Сергеевич, сев за стол, первый налил всем по рюмке березовой.

— Позвольте, — сказал гофмейстер, — это со священной пасхой невозможно!

Но Юрий, проговорив: «Ну, Христос воскрес!», взял кильку, положил на кулич и, выпив, закусил.

— Странно, я не охотник, — сказал он, — но кругом в лесу ором орут тетерева, тысячи, а у нас на столе нет ни одного. Согласитесь!.. Я не охотник, но удивляюсь... Вот они, рядом тут. Должно быть, не можете?

Герасим рассмеялся.

Тетьнька Афросинья поставила на стол жареного гуся с яблоками.

— Вот опять, — сказал Юрий, — охотникам неприятность — кругом летят гуси, лебеди, журавли, утки, тетерева, а едим домашнего гуся! Странно это!

— Ха-ха, — засмеялся Павел Александрович, — он прав, а потому я не ложусь спать и предлагаю тому, у кого еще охотничье чувство не остыло, идти со мной. Видите! Вон, справа над лесом, заря... Уж утро. Закусим еще и соберемся. Пойдем.

— Верно, — сказали все. — Пойдем на охоту.

— Правильно, — сказал Юрий, — я не охотник, я посижу за столом, подожду вас. Вот только я не знаю, что у тебя в этой бутылке темной?

— Ленька, — спросил я, — это какая?

— Это гонобобелева, вы с «гандибобером» говорили.

Охотники встали из-за стола, надевали длинные сапоги, одевались, подвязывали патронташи. Собаки Феб, Польштрон, Дианка прыгали в восторге, лая. Пошли на охоту.

Юрий Сергеевич взял гонобобелевую настойку и сел к окошечку за маленький столик. Лучи утренней зари освещали косяк окна.

На Клязьме

Давно то было, помню, тяжело болел я брюшным тифом. Весной, в апреле месяце, стал я поправляться, и доктор посадил меня у окна моей мастерской. Как красиво показались мне: Москва-река, кремлевские башни, освещенные солнцем, пестрая толпа народа, деревенские лошади, сено, бочки грибного рынка, барки на воде. В несказанном восторге смотрел я в окно. Торговцы, деревенские мужики, накладывали из бочек в ведра, в горшки покупателям большим ковшом — рыжики, грузди, капусту...

До чего мне хотелось есть эти грибы, сметану, творог, кислую капусту! Но есть мне не давали, говорили: «Ни под каким видом».

Пришел навестить меня мой приятель из Владимира на Клязьме, Абраша Баранов — человек замечательный, с которым вместе недолгое время были мы в Академии Художеств. Он сделался учителем рисования во Владимире, приехал звать меня к себе погостить.

— Хорошо там у нас, Клязьма разлилась. Под Боголюбовом, где Нерль сливается с Клязьмой, я место знаю. Приезжай. Половим на удочку судаков и стерлядь. Там, на берегу, живо поправишься.

И сразу мне представились берега реки Клязьмы, дали лесов, — и что-то родное, радостное, святое вливалось в душу.

Приятель Абраша Баранов был человек простой, хороший, добрый, высокого роста, курчавый, с темными глазами, сын замечательного мастера, который резал из дерева иконостасы.

Я думаю: «Вот поправлюсь, обязательно поеду к нему».

Когда он ушел, я все время думал о предстоящем путешествии: где у меня высокие сапоги. Надо бы их смазать мазью. Сходить к Барштейну, достать у него лески, крючки, взять куртку меховую.

Под Боголюбовом, на гладком песке отмели, где кусты ивняка, при слиянии реки Клязьмы и Нерли, ночью у нас разложен костер.

Приятель Абраша Баранов в большом, привешенном над костром котелке варит уху из пойманных нами стерлядей и судака. Светлая теплая весенняя ночь...

Над соседним берегом Клязьмы блестит, мерцающая, Венера.

Разливаем уху по тарелкам.

С нами двое приятелей Баранова. Один — учитель истории и географии, а другой — математик.

— До чего хорошо жить на свете, — говорю я, — какая красота! А вот болен был тифом, все мне хотелось в жару уйти с земли.

— Ну нет, — засмеялся учитель географии, — с земли не уйдешь. Да и к чему?.. Жить-то ведь неплохо,

— Как — неплохо? — сказал математик. — Я вот живу и чувствую, что я всегда виноват. Вот рыбу ловим — виноваты. Директор нашей гимназии узнает — покосится. Он раз сказал мне: «Серьезные люди рыбу не удят...»

Заалела утренняя зорька над Клязьмой. Тепло у костра, а в воздухе — предутренний холодок.

Вижу: издали по бережку к нам идут с удочками на плечах приятели, и один из них кричит издали:

— Вот он где! Насилу нашли. Абрам Ефимович, были у вас, а нам и сказали: идите от моста до Нерли, на них и наткнетесь.

— Вот ведь, — сказал мой приятель Василий Сергеевич, — пришли навестить, а он рыбу поехал ловить. Погоди, думаем, найдем.

Василий Сергеевич был тоже владимирец и приятель Абраши.

Подбросили в костер сучьев, очищенную рыбу положили в котелок, и опять закипела уха.

Ясное было майское утро. Весело было сидеть у костра.

Теплые лучи солнца осветили берега. Все друзья-рыболовы заснули на песочке у костра. Один Василий Сергеевич, закидывая удочки во все стороны, говорил про себя, глядя на удочки.

— Ишь, дрыхнут, стерлядей поймали...

— Нет, Вася, — говорю я, — стерляди тебе не поймать, это ночью надо.

Вдруг вижу, он схватил удочку и тянет большую рыбу. На берег вывернулась на удочке большая стерлядь.

— Кого вы учите-то? — прищурившись, сказал Василий Сергеевич. — Говорите, ночью? Зря языком треплете.

Вася торжествовал. Он взял стерлядь и поднес к лицу спящего Юрия. Юрий Сергеевич вскочил в испуге.

— Хороша рыбка?

— Хороша, — согласился Юрий, — но только ее отварную приготовить надо в Москве, у Егорова.

— Ерунда, — сказал Василий Сергеевич, — и здесь съедем. Эх, радость-то, радость! Денек какой...

Разговор снова зашел о речной ловле.

— А ведь верно, пожалуй, — говорил Василий Сергеевич, наливая чай. — Если бы не надо было строить дома, дачи разные, — я бы только рыбу ловил. Не заработаешь. Вот стерлядь, которую поймал, продать — что дадут?

— Пустяки дадут, — сказал Василий и засмеялся. — Пословица говорит: «Кто рыбу удит, у того ничего не будет». Вот я — зимой одежишку заведу. Работа. У Березкина у удилиц концы правлю. Но весна — прощай! — на реку ухожу. На службу не пойду нипочем, что хошь давай. И вот живу. Никто так не живет. Грибы в лесу наберу — ем, ночью в лесу. Мне в доме душно. От людей бегу. Это вот Кинстинтин Лисеич туда-сюда. С ним повадно. Он тоже охотник. Наш брат — шалтай-болтай, — зашипел, смеясь, Василий.

— То есть как это, шалтай-болтай? — обиделся я. — Что ты, Василий!

— А чего ж... Вы тоже на разгулянье идете. За картины какие деньги платят! Ведь это что? Щук написали — три тысячи рублей — охапка денег!.. Другой бы денно и ночью рисовал, а на рыбу, на охоту — он махнул рукой... Зимой-то у меня и баба есть, а как весна — прощай, Макар, — ноги озябли. Женщина нешто станет на реке с нами сидеть? Сразу скажет — дураки. Да все так говорят.

— Я что-то не слышал, — сказал Василий Сергеевич.

— Ведь вам-то не скажут в глаза, подумают только: на одной стороне червяк, а на другой — дурак. Так и говорят. Не понимают. А я от себя думаю, что я лучше всех живу. На все лето у меня сапоги новые, пара рубашек, пара порток, кофта шерстяная вязаная, пальто теплое да двенадцать рублей. До осени, Покрова, я лучше всех живу. Чего я только выдаю: реки, луга, леса. Ведь каждый угол — рай. Цветы растут. Гроза идет. Зори какие. Я все гляжу. Чего только в душу лезет. Глядишь — не наглядишься...

— А ведь верно Василий говорит, — сказал Василий Сергеевич. — Я взял тоже однажды, как Василий, корзинку, сковородку, одеяло, подушку, полушубок и уехал из Москвы сюда же, на Клязьму. Под Грезином, у обрыва, на берегу, чаща лесная. Остановился. Лодка у меня. Целый месяц прожил. Жена думала — пропал, утопился. Искали. Найди-ка, попробуй. А я рад. Чудно: жутко ночью было в лесу. Ружье со мной. Только в лесу есть что-то. Кто-то ходит. Кажется — когда луна, — прямо видения видишь.

На соседнем берегу в лесу куковала кукушка. Приятели молча поглядывали на поплавки.

Василий Сергеевич разостлал в стороне, у куста, плед, закинув в реку донные удочки, у которых наверху были привязаны бубенчики, лег навзничь и глядел в небо. На поплавок глядеть не надо. Если рыба возьмет, то бубенчик зазвенит.

Лежа и смотря в небеса, Василий Сергеевич вдруг рассмеялся:

— Сколько жулья на свете всякого! Вот посмотрите: ястреб кружит, едва видно, высоко. Выглядывает, мошенник, чего бы стащить... И как он видит оттуда!

День разгорался. Солнце начинало припекать. Сильнее запахло водой и потеплевшими травами.

И впрямь — благодать!

Во французской газете была иллюстрация: изображались небольшие дома испанского города, кажется, Герники. Окна выбиты, все в тумане дыма. Снизу домов тлеет мусор, труха сгоревшего домашнего хлама.

Ни души.

На первом плане стоит собака и смотрит на дымящийся дом. Во всей фигуре собаки сеттера невыразимая печаль.

Ничего не осталось: ни людей, ни дома.

Мне было так жаль осиротевшего пса! Мне казалось, я понимаю его горестное недоумение перед человеческой трагедией, ненужной и страшной.

Собака — казалось мне — думает: что же случилось с человеком, моим другом, моим богом, отчего и какой злобой он старается уничтожить себя и все окружающее? чем омрачилась душа его? какой мыслью, каким внушением? чтобы забыть мою любовь к нему? Так покинуть меня?

— Тобик, — говорю я своей собаке, которая принесла мне эту газету из киоска, — вот видишь, смотри, какая история, как поссорились люди в поисках справедливости. Убивают друг друга, а ты вот ничего не понимаешь. С утра приносишь газету, потом мячик — «играй со мной». Глупая ты собака — тебе бы только играть. А у людей, брат, другие заботы. Люди — существа разумные.

— Неизвестно... — ответил Тобик.

— То есть как, неизвестно? Как ты смеешь? Ах ты, дурак этакий! Собака — а про людей выражаешься: «неизвестно». Да ты кто такой? Вот люди сожгут города, передушат друг друга — куда ты пойдешь, с кем будешь играть в мячик, кого сторожить? Нечего сторожить-то будет, дурак. Вот в газете картинка — смотри. Дождалась собака. Да что с тобой говорить, ничего ты не понимаешь.

Тобик вскочил с постели и, залаяв, бросился к двери.

Пришел человек в форменной фуражке с книгой и подал счет за газ. Я торопливо достал деньги и уплатил.

Только я взял газету — опять звонок. Тобик снова залаял.

Пришел человек со счетом за электричество. Я поискал еще денег — не хватает. Человек ушел, оставив неоплаченный счет.

Опять я стал читать газету. Тобик принес мне мячик — «поиграй со мной, ну что ты все читаешь и пишешь!».

— Хорошо, тебе, Тобик, — говорю я, — ты покрыт беленькой шерстью, глазки как вишенки, лапки белые, портного тебе не надо, все у тебя есть, счетов тебе не подают, войн не ведешь, сердце у тебя собачье, великое, полное любви к человеку. Замечательный вы народ, собаки. Я всегда поражался величию вашего собачьего сердца. Не мог постигнуть вашей преданности.

Мой маленький внук пришел из школы. Тобик встретил его ласково и прыгал от радости.

Впрочем, он немножко боялся мальчика, так как тот брал игрушечный пистолет и стрелял хлопучками, наморщив сердито брови. Тобик терпеть этого не мог. Прятался под мою постель и весь дрожал.

«Странно, — подумал я, — как не любит Тобик эту игрушку. Значит, он понимает, что есть страшные игрушки, которые убивают людей».

— Милый Тобик, если б ты был со мной там, далеко, где был у меня деревянный дом, где был лес и сад, луга, покрытые цветами, где бы ты бегал, где были у меня другие собаки с таким же великим сердцем, как твое, которых уже нет. Они умерли, отслужили свою странную службу верности в любви к человеку. Я почему-то вижу их иногда во сне: бедного Марсика, которого убили во время гражданской войны, хотя он не был человеком. И когда я спросил: «За что же вы убили мою собаку?», мне ответили brave люди, которые пришли ко мне в дом: «А чего она лает?»

Тобик, ты не видал леса, травы, речки. Сейчас вокруг тебя большие каменные дома южного города. И вся твоя радость — когда я с тобой поиграю мячиком в своей маленькой комнате, — мячиком, который ты так любишь, что даже с ним спишь.

Какие удивительные существа — собаки! Как они чутки! Когда я был болен, ко мне приходил доктор. Он не обращал ни малейшего внимания на Тобика, а тот, встречая его, прыгал от восторга. Любит он и приятеля моего, Николая Николаевича, музыканта, приносит ему откуда-то туфлю, мячик, чулки, взбирается к нему на руки, хотя тот с притворной строгостью гонит его: «Пошел, ты же большая собака, а лезешь на руки, постыдись».

Но у Тобика есть и враги — такая же собака, как он, Микэ. Почему враги — неизвестно. И когда я кормлю Тобика и он лениво ест, — достаточно мне сказать «Микэ», и Тобик с ворчанием съедает все мгновенно.

Мой приятель Коля, услышав однажды, как я подзадориваю Тобика именем Микэ, рассказал мне, к слову, забавный случай из жизни людей.

Вот его рассказ:

— Пришел я как-то в клуб пообедать. Присел к столу, где сидели разные люди, клубные знакомые. Ну, как всегда, общий разговор, анекдоты, события дня. И больше всего, конечно, о трудности нашей жизни.

Вдруг я весело сказал: «Мне вчера подвезло, заработал двадцать пять тысяч». Все сразу насторожились.

— Выиграли? — спросил один.

— Нет — говорю. — Продал музыкальное сочинение.

Тут почему-то все рассердились, а один старый человек, посмотрев на меня презрительно оловянными глазами, сказал:

— Вчера я тоже встретил одного. Автомобиль «ролс ройс». Любезно раскланялся со мной. Одет с иголочки. Разбогател. Тоже — музыка. Я посмотрел: в автомобиле-то его дождалась старушка, так лет за семьдесят, а ему тридцать пять... Прощается со мной поспешно. А я ему: «Ступайте скорее, мамаша вас ждет...»

— Странно, — сказал другой из сидящих за столом. — Музыка — только удовольствие, а не дело. Музыканты, казалось бы, потому и музыканты, что они любят музыку. За что же тут получать деньги? Возьмем народ в деревне. Народ поет песни, пляшет — для своего удовольствия. Он же не берет за это деньги.

Во время всего обеда разговор шел в этом духе. Мои выдуманные двадцать пять тысяч произвели то же впечатление, что на Тобика собачка Микэ. Я испортил настроение почтенных людей. Они заспорили. Из слов выходило так, что деньги, как живые существа, упорно попадают не туда, куда нужно, и не тем, кому нужно. Спор переходил в ссору.

— Вы получали? — кричал один. — Знаем, за что вы получали!..

— Я не желаю вам давать отчет. Вы мне не опекун.

Я расплатился и покинул зал.

По выходе, у вешалки клуба, ко мне подошел один из знакомых и любезно предложил мне купить пылесос, который стоил пять тысяч, за пятьсот. Только деньги сейчас.

Я весело ответил ему:

— Послушайте, у меня комната в полтораста франков, там и пыль-то не живет. О, если бы я имел пятьсот франков!

— Позвольте, а двадцать пять тысяч?

— Да, — ответил я, — я, знаете, мечтатель, сказал, чтобы утешить других, создать настроение, порадовать близких. И вот — не вышло. Получилась какая-то чепуха. Все рассердились, у меня язык прилип к гортани, и мои эфемерные двадцать пять тысяч превратились в пыль для вашего пылесоса.

Когда я шел домой по прекрасному городу и тяжелые мысли о мятежности нашей, о жизни и нужде давили меня, мне вспомнился мой Тобик...

— Тобик, что ты думаешь об этом рассказе?

В палатке

Купил себе в Петербурге у Кепке походную палатку. В этой палатке был складной стол, две кровати и стулья, тоже складные. Какая живая радость поставить эту палатку в красивом глухом месте у леса и реки!

Мне вспомнились места по реке Нерли, которые я видел, когда бывал на охоте. Весной я готовился уехать в эти места и жить в палатке, жить в природе. Я заготовил ящик для холстов, краски, мольберт, удочки для ловли рыбы, сеть, консервы, вино. Согласился со мной ехать слуга и приятель мой — рыболов Василий Княжев.

Третьего мая я уехал в глухое место Владимирской губернии. Возчик вез нас от станции на телеге, где лежала палатка и весь багаж.

Был ясный весенний день. Бисером, зеленея, блестел весенний лес. Долго ехали по проселочным дорогам и просекам в лесу.

У реки, у большого песчаного обрыва, где кучей до самой воды опускались засохшие упавшие ели, на полянке у песчаной отмели остановились, разложили и поставили палатку. Хороша была палатка из белого холста, флаг — наверху. В палатку поставили новый маленький стол, складные стулья. Наверху я повесил ружье и фонарь.

Медный чайник кипел над разведенным костром перед палаткой.

Василий Княжев заварил чай. Из корзинки вынули филипповские баранки, хлеб и беловскую колбасу. Возчики уехали. Мы остались с Княжевым одни. Ни души кругом.

До того замечательно, что не знаешь, как и сказать, как выразить все счастье, всю красоту и восхищенье, которые входят в душу от окружающей природы...

Какой воздух, какой аромат от весеннего леса. Кристальной чистоты река. Глубоко видно дно, и на поверхности всплескивает рыба. Бугор песков, зеленые и седые ели, лес опрокинулись в воде.

Заливаются птицы, перекликаются кукушки.

К вечеру лес освещало желтое солнце, и ложились синие тени.

Я разложил мольберт и писал с природы прекрасные заросли берегов реки.

Василий Княжев сидел у костра, держа блюдо в руках, и долго пил вприкуску чай. Потом подошел ко мне и сказал:

— Ну и рыба здесь! Ишь на заводины бьет. Здоровá. Надо на живца закинуть.

Покуда я писал, Василий с берега ловил пескарей и опускал их в ведро, — их было множество, они ходили по дну речки стаями.

Когда ведро наполнилось, он взял донные удочки с бубенчиками, насадил на крючки пескарей и закинул их с берега на середину реки.

На первой же закинутой удочке зазвонил вскоре бубенчик. И не успел Василий подбежать, как рыба потянула короткое удилище и выдернула его из берега. Удилище плыло по реке, и рыба тянула его.

Василий Княжев живо разделся и бросился в воду за удилищем. Схватил его зубами и плыл к берегу. Черные глаза его растопырились. Большая рыба дергала удилище. Василий, выскочив на берег, тащил рыбу, перебирая леску. Большой голавль лежал на берегу и прыгал, блестя серебристой чешуей.

— Эх, и здоров, — сказал Василий. — Фунтов на двенадцать.

— Ну что — голавль... — говорю я, — больно костлявый, пускай его назад.

— Чего вы, уху сделаем.

— Ну что ты. Уху из окуней надо, ерши, — вот хорошо.

К вечеру в котелке варилась уха из окуней, и жарили линия на сковородке.

Я с ружьем, недалеко в лесу, близ реки, стоял на тяге. Когда погасала розовая заря, коркая, потянули аравийские гости.

Убитых вальдшнепов мы искали с Василием...

* * *

Была светлая ночь, и зеленело весеннее небо над темными силуэтами елей.

В палатке горел фонарь.

Василий принес на сковородке жареных вальдшнепов и сказал:

— Вот палатка заметна, ежели теперь в ней спать, то маленько кровать надо отодвинуть от края, а то чего она — холст... Заснешь, а он, ежели который подойдет, да отसेлева, снаружи, сквозь холост, в эдаком глухом месте, ножом тебя и полоснет в бок или куда. Вот тогда узнаешь.

Василий посмотрел озабоченно в темноту, в открытый полог палатки.

— Это кто ж такой «который», что будет резать нас?

— Как это вы говорите, право. Всякий народ есть. При вас вот и золотые часы на столе лежат. Палатка с флагом, видать, что и деньги есть. В эдаком-то месте. Кругом — пустошь, деревня далече. Я ведь к тому, что спать в палатке не надоть, а прямо пойти в лесочек, и спи у сосенки — там сухо, лучше. Человека в грех не введешь. Я ежели бродяжу, то лучше жисти нет этакой. А все ж хоронюсь, место выбираю, как зверь, чтоб не видали. А у вас чего — флаг!

Он возмущенно передернул плечами.

— А возчик-то меня спрашивал про вас, чего это он будет делать тут. Глядел, как это вы картину ставили, холст. Я ему сказал: «Планты сымать будет». А он говорит: «Знать, машину тут поведут». Я говорю: «Нет, место больно хорошо, привольно, картину списывать будет». А он не верит. «Ну и место, — говорит, — нашли, — самое что ни на есть негодящее... Здесь и покосу нет. Чего тут — песок да заросль. Просто плюнуть не стоит...» Да еще что сказал... — и Василий засмеялся.

— Что ж он сказал? — спросил я.

— Да чего, конечно, зря, — улыбался Василий.

— Так говори, Василий, чего ты, а еще приятель...

— Сказал: «Барин-то у тебя, знать, дурак. Флаг, — говорит, — вывесил, ведь это что. Ишь, какое место нашел. Чертям тут жить». Это недалеко здесь Глубокие Ямы, так там лесина здоров. А в ямах-то по ночи леший воеет. Сюда никто и не ходит. Тут, кады маленький я был, разбойники жили в горе. У них тут и гнездо было. Я лошадь искал, из ночного ушла, так видал их. Они женщину голую тащили без головы. Голову-то ей отрезали. Я думал: батюшки... Вот это место, за кустом-то сидел, да потом-то ползком, да домой бегом. Сказал — у нас, в Старове, не верят. А сами говорят: поди туды, говорят, зарежут.

— Вот они тебя и напугали.

— Напугали. Место-то, верно, глухое.

— Что ты, Василий, — говорю, — у нас револьвер, ружье, чего ты боишься?

— Не боюсь, — ответил Василий, — но в палатке спать не надо. Потому флаг, палатка, все такое. Зовет на это самое. Кажинный увидит, и в голову ему это самое разное такое и пойдет. Подумайте: кругом ни души. «Что за народ такой? — про нас подумают. — Чего это? Бей их, боле ничего. Плантаы сымают. Значит, землю отбигать». Вредное все в голову пойдет.

Снаружи на бережку послышался звон бубенчика на удочке. Василий побежал. Я вышел посмотреть.

В тишине ночи мерцали звезды, дым от костра поднимался кверху, и трещали искорки.

На заводи, у леса, кричала выпь.

— Ишь ты, — сказал Василий, — вот ведь орет, чисто кто в бутылку дует. По ночи-то чего разного такого слышно. Всякое зверье выходит из нор.

— Какое зверье? Все известно. Барсук кричит, лось орет, филин воеет, вот и говорят — леший кричит.

— Ну нет, — сказал Василий, — леший — это особливо. А вы не верите, что леший? Нет? А леший есть.

— Полно врать, — говорю я.

— Врать?.. А я видал.

— Да ну! Какой же он из себя?

— Вы-то не верите, а из себя он — небольшой, можно сказать, махонький. Вот вполроста будет. Горбатый, ушки как у мыши, долгоносый и губы большие, а зубы как у лошади. Ходит вприпрыжку, и в лапах узда. Прямо передо мной на дубок влез. Я к дубку, поглядеть, — а его уже там и нет. Вот и возьмите...

— Это тебе с перепоею показалось.

— Ну вот, вы всегда скажете — с перепоею. Бедный человек — значит, пьяница, а он и не пьет.

— Ты-то не пьешь?

— Да видь нельзя не выпить. Всегда в стуже, не рыба. Дождь. Неделю льет по осени — не хочешь, так выпьешь. Тоска тоже берет. Выпьешь — оно и легче. Вино для этого самого заведено.

Во тьме леса, в кустах заводи, щелкал дрозд.

Каким очарованием была его ночная песня!

Около Василия вертелся на берегу большой пойманный темный налим.

— Ишь какой чертила попался! — сказал Василий. — Вот это уха! Чего же, жизнь правильная, надо правду сказать, чисто в раю. Только вот ежели бы этих самых разбойников не было...

И он, взяв пескаря, опять закинул далеко леску удочки.

* * *

Наступила ночь. Кругом тишина. По реке легли туманы, окутав леса. Пахло свежестью воды и ароматом зелени.

В палатке горел фонарь, и в ней было душно.

Я вышел и сел у догорающего костра. Закинув донные удочки с живцами в реку, Василий Княжев посадил большого налима в сажалку и, подойдя к костру, подобрал можжевельных веток.

Костер затрещал и запылал, осветив реку и соседний обрыв.

— Вот ведь, — говорил Василий. — Вы тоже упрекаете меня: «пьешь», вроде как я пьяница выходит, а ежели правду сказать, чего я? — ничего. Чего у меня есть — ничего, и кто я есть? Просто, можно сказать, бродяга. Но только это самое для кого как. Такой человек бывает с достатком, так он тебя гнет и все к худу клонит. Ему угодить никто не может. У его все виноват. Итак, ежели у тебя гроша нет, а у его трешник, он над тобой царь и Бог, и учит тебя, и себя над тобой ставит: кто я — знай, и умным себя полагает, потому у него трешник в кармане, да.

Березкин — хозяин. Я ему камышовые концы, удилица всю зиму правлю. Я ведь мастер. Понимаю, что удильцику конец что ни на есть прямой нужен, снасть понять надо. Ведь радость в руке какая, на ровное удилице рыбу взять. Я мастер, потому правлю, значит, хорошо. А Березкин молчит. Никогда меня не похвалит. Все только одно от него слышно: «Пьете, деньги пропиваете». А какие деньги? гроши! Завсегда я виноват. А ежели выпьешь на виду, так он меня что ни на есть матерно. Так уж заведено. Ну, огорчит, опять же выпьешь, ну и легче. Вино для этого самого и заведено.

— Ну, а с радости-то тоже надо?

— Ну да, и с радости, — зашипев, засмеялся Василий, — вот теперь бы коньячку в чай хорошо.

— Вали, Василий, тащи из корзинки.

Василий опрометью бросился в палатку. Мигом хлопнула пробка, и он подал мне бутылку.

— Хорошо, — сказал Василий. — Ну, и жисть на свете — что надо? Заметьте, ведь такие выдумают напитки пользительные. Хоша вот коньяк взять али ром. А кто выдумал? Вот и водку тоже. Кто первый винокур был? Знаете?

— Нет, Василий, не знаю.

— Ну вот, а чего вам говорить — вы ведь ничего не верите. Первый винокур был — леший.

— Ерунда...

— Чу... — насторожился Василий, — слышите?

Я услышал шаги. Кто-то шел из леса. Скоро мы увидели подходивших к нам троих людей.

Один из них был в подряснике. Другой — низенького роста, с широкой шеей, в рваной кофте, и третий — в коротком тулупе. Все босиком. Все трое сняли шапки, и толстошей сказал:

— Здравия желаю, ваше благородие. Не обессудьте за беспокойство, одолжите папиросочку поднадзорному.

Он почему-то пристально смотрел на Василия...

Тот оробел.

— Вот что, поднадзорные, — говорю я, — станция отсюда семь верст. Ступайте туда. Вот вам десять рублей. Купите в буфете колбасы, копченых селедок, баранок, пива, бутылку водки, словом, на красненькую всего, и приходите сюда.

Взяв красненькую, они повернули, быстро побежали и скрылись в лесу.

— Ну вот, — сказал Василий, — дождались! Чего это вы, право, красненькую? Нешто можно? Красненькую пропьют, а потом вернуться — и тогда ножа не миновать. Я-то вижу — рыжий-то, с толстой шеей, ведь это что ни на есть убивец. А вы деньги даете. Надо отсюда сейчас слезать. В этакое месте такие люди.

— Не беспокойся, Василий, — сказал я. — Я их напишу у костра. А потом они перенесут палатку на Глубокие Ямы, про которые возчик рассказывал, где водяной воеет и лес велик. Там должно быть хорошо.

— И чего это вы, право. Поднадзорные, водяной воеет, чего хорошего? Спать теперь — ау.

Василий сокрушенно качал головой.

Я лег спать и крепко заснул. Слышу — Василий трясет меня в плечо, говорит:

— Слышите, идут...

Вернулись поднадзорные. Принесли все. Разложили большой костер. Повесили котелок. Стали весело закусывать, выпив по стаканчику.

Я вынул холст и писал костер и их освещенные лица.

Василий в беспокойстве переводил недовольно черные глаза то на них, то на меня. Один из поднадзорных сказал:

— Барин, вот что: это место пустошь. Мужики вас одолеют, потому оно ихнее. Палатку и чего у вас есть — все донесем.

— Ладно, — ответил я. — Пойдем потом на Глубокие Ямы?

— Верно. Вот место, вот лес, и рыбы чтб... Туда никто не придет — бояться. Там чертовъ много и списать вам есть что.

— Только я устал немножко, надо часок-другой поспать.

Холст с написанным костром я вставил в ящик, потушил фонарь и лег в палатке. Сидевшие у костра поднадзорные говорили:

— Хорошо с селедкой еще по стаканчику пропустить.

Василий деловито соглашался.

— Что ж, можно еще по одной, а то и будя. Конешно, он так простой с виду, а то и строг до ужаста.

Это он говорил про меня.

— Пивца бы открыть, — сказал поднадзорный, — бегали на станцию, запарились.

— Можно, — ответил важно Василий, — по стаканчику, — и засмеялся, зашипев.

— А вот духовный-то, монах, зачем при вас находится?

— Тоже к нам вступил через это самое, через бабу...

— Монаху бы и не надоть, — сказал Василий.

— А ты думаешь, монахом бабы не вертят? И монахом как хочешь заворачивают. Конечно, есть твердые, но редко. Я был в монастыре. Нужда, к работе не приучен, —

в монастырь. Ну, служка, значит, годовик. На год на испытание поступил. Ну, за службой то-сё, свечи ставишь, паникадилу раздуешь, то-сё, а она всегда на ходу моем стоит — молится. Когда прохожу, так толкнет, вздохнет, а сама голову завсегда опустя держит. Богомольная. Ну, то-сё, пятое-десятое, и говорит мне, когда я ей профору отдаю по упокойном супруге ее, значит — вдова она: «Переоденься, — говорит, — и тихонько приходи ко мне».

«Переоденься», а как? Во что? Надо деньги, где взять? А мне не можется — ночи не сплю. Прямо она передо мной завсегда. Ну и свистнул из монастырской кружки. А меня — цап, пымали. Вот и все...

— А я не через бабу попал, — сказал третий, — я через муху. Муха, мух-то летом много. Жара была. Муха в ухо мне и села. Я по уху-то хлопнул рукой, она в голову-то и пролетела мне. Там и елозит. Ничего не поймешь. У хозяйина выручку ахнул и запил. Все через муху. На суде я говорю — никто не верит, ну, значит, сиди. Лишение прав, а она, сволочь, вылетела. Теперь вот и ходи. Службы никто не даст.

— Чудно через муху-то в остроге сидеть, — прошипел Василий. — За муху страдать не стоит. Ничего. Завтра, знать, ведро будет, тепло... Пиво-то надо кончить, а то пропадет. Поди, спит. На Глубокие Ямы собирается. Неужто там, говорите, водяной вое?

— Как же, мы слышали, — сказали поднадзорные. — А я так видел. Вот здоров. Кожа на ём зеленая, пятнами. Вылез на отмель да как завоет... Батюшки! Мы бегом. Да ведь есть всякое такое по ночи. Разá старичка встретили у Козики, что за озерьем, туда, к Вепрю, — так идет в лесочке. Мы к нему подошли, а он как свистнет — мы все и сели. Покуда опамятовались, он из глаз и скрылся. Вот старичок какой.

Проснулся я рано, перед восходом солнца. Костер потух. Поднадзорные и Василий, свернувшись, спали.

Страшными какими-то показались они мне в раннем утре, в окружающей русской природе. Как дешев, подумалось мне, человек, как просто и глупо преступление.

Они проснулись и быстро вскочили.

— Надо костер подбодрить, — сказал я, — чайку выпить.

Василий, согнувшись, пошел в палатку, взял чай, сахар и большую связку баранок. Важно и деловито разделил сахар и баранки ровно между всеми.

Поднадзорные ловко разобрали палатку, и мы лесом пробирались с багажом на Глубокие Ямы.

Тихие большие плесы увидел я, и в них отражался огромный лес.

Через пять дней я уезжал.

Загрустившие поднадзорные меня звали приехать на Вепрь-озеро.

Дорогой, когда ехали на станцию, Василий повеселел.

— Удивление, — говорил он, — чего ведь это — поднадзорные. Что ни на есть народ никудышный. Грабители. А вот хошь бы что.

Московские чудаки

Я москвич, и мне частенько вспоминается Москва.

Замечательные люди были москвичи: гостеприимные, приветливые. Любили театр, музыку, искусства. Были среди них и, так сказать, люди с причудью.

Вспоминаю знаменитого купца Абрама Михайловича Морозова — особняк в Москве, прекрасные залы и комнаты в разных стилях, много картин в доме — старинных, коричневых, темных.

Хозяин, показывая картину, обычно разводил руками:

— Говорят, Рафаэль или Мурильо, а кто знает. Или вот — Тициан, но фигура справа — младенца — говорят, не его, а Корреджио. Вот тут и разберись...

Младший брат Абрама Михайловича любил и понимал живопись: он создал галерею — собрание прекрасных французских импрессионистов: Моне, Сизеле, Ренуара...

Старший брат, Абрам Михайлович, собирал по преимуществу старые картины иностранцев, не признавал собрания младшего брата и всегда огорчался.

Помню, он жаловался:

— Я люблю барбизонцев. Приобрел как-то Коро, обед устроил. Только расстроил меня один художник до невозможности. Сказал: ненастоящий у меня Коро. Так расстроил, что я захворал. Сам профессор Захарьин лечил. Его высокопревосходительство. Пить запретил. Ни шампанского, ни коньяку, ни-ни... Благодарю покорно... Сахар у вас, говорит... Какой там сахар!.. Коро доехал!..

Он помолчал и с сокрушением продолжал:

— Поехал я как-то в Париж — читаю в газетах: посмертная выставка Гогена. Поехал он на острова Таити, это черт его знает где. Замечательные женщины, сложены, как Венеры, цвета бронзы. Небо розовое, деревья синие, ананасы, белые апельсины... И сделался он дикарем. И писать стал, как дикарь. Естественно — насмотрелся. Выставка открыта — не помню уже, в каком месте. Думаю — постой! Сейчас же поехал. И ахнул! До того чудно, что думаю — эге!.. Покажу брату и Москву удивлю! Куплю картины, повешу в столовой, пусть и Захарьин посмотрит. Покажу я ему — какой у меня сахар! Можно ли мне пить или нельзя!..

Выбрал четыре больших картины и приценился. Дешево. Пятьсот франков штука. Купил. Картины такие, что сразу не поймешь. Думаю: потом рассмотрим.

Привез Абрам Михайлович картины в Москву. Обед закатил. Чуть не все именитое купечество созвал.

Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям, объясняет — вот, мол, художник какой: для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы, народ гольем ходит... Жара...

— Это вам не березы!.. Люди там как бронза...

— Что ж, — заметил один из гостей, — смотреть, конечно, чудно, но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха? Скажу правду, после таких картин как кого — а меня на березовую тянет...

— Скажите на милость! — вскинулся Абрам Михайлович. — Мне и Олимпич, метрдотель, говорил: «Как вы повесили эти картины, вина втрое выходит». Вот ведь какая история! Искусство-то действует...

Он подмигнул глазом и с гордостью присовокупил:

— Брату показывал. На-кось!.. Он смотрел, смотрел и сказал: «Что-то есть...»
Явно — есть! Это тебе — не импрессионисты!..

* * *

Года через полтора уехал я в Париж. Была у меня маленькая мастерская на рю де Дельта, бульвар Рошешуар. Однажды утром слышу звонок, отворяю дверь. На пороге стоит, в цилиндре, полный, высокого роста, Абрам Михайлович. С ним тоже толстый человек с лицом русского ямщика — адвокат Дерезинский. Черные глаза Морозова вертелись как-то колесом...

— Едем завтракать, — сказал Морозов, — едем к Паюру. Ну, брат, и история вышла. Вот он тебе расскажет, — сказал он, показывая на Дерезинского. — Опять — незадача! Опять Захарьин пить запретил. Услышишь — какая история...

* * *

Как оказалось, Абрам Михайлович приехал в Париж уже назад две недели. В первый же день по приезде заехали в галерею, где купил он Гогена около двух лет назад. Там его вспомнили. Один из владельцев сказал: «А дешево вы у нас Гогена купили». А Абрам Михайлович, как человек деловой, не задумываясь, спросил: «Не хотите ли, я вам их уступлю?» Те говорят: «Отчего же, уступите». — «Пожалуйста. Дадите тридцать тысяч за четыре картины?» — «Что же, можно, — согласились владельцы, — они у вас здесь?» — «Да, — говорит Морозов, — через четыре дня будут здесь, приходите». Оставил свою карточку и адрес.

Из гостиницы Абрам Михайлович тотчас же послал телеграмму в Москву с приказом управляющему Прохору Михайловичу немедленно привезти картины в Париж.

Через четыре дня картины были доставлены.

В назначенный час в гостиницу пришли прежние владельцы. Оба в цилиндрах, элегантно одетые, со строгими лицами.

Посмотрели мельком на картины, один из них любезно попросил чернил, написал чек на тридцать тысяч и передал хозяину.

Тот думает: «Что такое?» Усомнился.

— Да, но это чек, а не деньги...

Гость, подписавший чек, извинился. И вежливо сказал, что через шесть минут будут деньги.

Взяв чек, он передал его своему компаньону и остался с Морозовым дожидаться его возвращения.

Через шесть минут вернувшийся вручил деньги Абраму Михайловичу, и оба, быстро взяв картины, улыбнувшись, ушли.

Морозов огорчился: больно легко нажил двадцать восемь тысяч.

Приехал адвокат Дерезинский — пошли вместе завтракать. Но Морозову было как-то не по себе.

После обеда поехали в кафе «Каскад» в Буа де Булонь, потом в театр, потом в «Казино де Пари», — гложет Абрама Михайловича что-то внутри, да и только.

Ночь спал плохо.

Утром пошел в галерею, куда продал картины. Идет по залам и смотрит — не выставлены ли его полотна.

В последней комнате увидел их прислоненными к стене. И с напускной небрежностью спросил у заведующего: «Что стоит эта картина?»

— Пятьдесят тысяч, — последовал ответ.

Абрам Михайлович ахнул и опрометью кинулся вон. Сел в карету и помчался к Дерезинскому.

— Поезжай сейчас же, купи назад мои картины. Что просят — плати.

Он в отчаянии упал в кресло. Опять без Захарьина не обойтись!

* * *

Как-то в Москве, работая декорации в мастерской Большого Императорского театра, в час дня пошел я через Театральную площадь в «Метрополь» завтракать.

Сел за маленький столик. Невдалеке от себя увидел сидящих за большим столом — он назывался «морозовским» — разных москвичей.

Видно было, что там хорошо выпили, — в хрустальных графинах стояла водка, жареный поросенок, гусь.

Один из пировавших за столом, Постников, увидав меня, подошел. Глаза у него были осоловелые, нос покраснел. Он был пьян. Поклонившись, он сказал мне:

— Видишь, сидит?.. Кто сидит! Звезда Европы! Профессор Лейден. Да, брат, это не наши... Захарьин!.. «Сахар, — говорит, — у вас». Пить запрещал. А я-то, лошадь, слушал, шесть лет капли не видал. А он, профессор Лейден, звезда, «диабет? — спрашивает, — сахар? Пейте!». Поросенка ем. А? Вот она — Европа!

— А Абрам Михайлович где? — спросил я.

— Абраша? Выпил, что надо, и спать поехал. Худо ему стало. Гогена, должно быть, вспомнил — огорчился... Картины, картины губят его...

Зазуля

Был у меня приятель, милейший человек, но настолько женской любовью испуганный, что лицо имел с выражением недоумения и испуга. У него как-то поднимались брови на лбу так высоко, что подходили к самому пробору вьющихся волос. И все это от любовных происшествий...

Каждый человек, как и этот приятель мой, в женщине, которая понравится, видит свой идеал. И вот, к пятидесяти своим годам, приятель мой приехал однажды ко мне в деревню, таинственно настроенный, какой-то особенно возвышенный, и постепенно мне и другим приятелям, гостившим у меня, поведал, что влюблен. В Зазулю.

Конечно, приятели мои, охотники, народ легкомысленный, когда услышали слово «Зазуля», удивились и рассмеялись. Что за Зазуля? Такого и имени нет.

Кто говорил — это иностранка, кто говорил — гречанка, но приятель мой сказал, что она русская, но зовут ее Зазуля.

— Такого русского имени нет, — сказал ему Вася Кузнецов.

— Нет, есть, — утверждал влюбленный приятель.

— Нет, нет, — говорили все. — Посмотри Святцы.

Взяли Святцы, оказалось — такого имени нет.
— Наричательное имя! — кричал влюбленный.
— Ерунда! — говорили приятели.
— Нет, не ерунда, вы ничего не понимаете... — не соглашался влюбленный. —
Она — Зазуля. И если хотите знать, она не просто Зазуля, а фон Зазуля...
— Что за черт? — смеялись приятели. — Что ты путаешь...
— А вот увидите, она сегодня приедет в шесть часов. Вот тогда посмотрите.
— Постой все же, — сказал ему Павел Сучков. — Странно и пошло. У нее же есть отец. Как же ее по отчеству зовут?
— Ее зовут Зазуля, а больше я ничего не знаю. Но она мой идеал и влюблена в меня. И это все.

* * *

Был жаркий день лета. В синеве неба ни облачка. В окне блестели березы. Ворона сидела на сарае, открыв от жары рот. На террасе, на столе, стояла клубника, покрытая сеткой от мух. Ласточки летали высоко в небе. В саду звенела малиновка.

Охотники сидели дома, расстегнув рубахи. Перед тем ходили купаться на речку, но, сколько ни купались, еще хуже берет жара. Постоянно пили кто квас, кто разводил черничное варенье в воде. Безмятежное житье в деревне летом. На охоту в такую жару ходить нельзя.

Собаки лежали, растянувшись в тени, или лениво бродили, высунув языки.

В воротах сада показался тарантас. В нем сидела женщина в соломенной шляпе, покрытой белой вуалью. У крыльца она быстро выпрыгнула из тарантаса на землю. Высокая красивая женщина с бирюзовыми глазами, блондинка. Изящная и стройная.

Она любезно поздоровалась со всеми нами. Лицо ее было как будто из фарфора. Во всей ней была какая-то особенная кротость.

Влюбленный приятель восторженно глядел на нее, подняв брови кверху, до самого пробора.

Она прошла на террасу и села у стола, сказав приятелю, нельзя ли чего-нибудь выпить. Тот быстро принес ей стакан воды.

— Принеси коньяку, — сказал Сучков.

— Благодарю, — сказала дама. — Хорошо, коньяку.

Коньяк налили в стакан с водой, положили сахару.

Павел Сучков, отведя меня в сторону, сказал на ухо:

— Она мила. Но нельзя же называть ее Зазулей.

— А баба ничего, — сказал мне тихо и Вася Кузнецов. — И откуда это только Колька достал. Зазуля.

И Кузнецов рассмеялся.

Тихая Зазуля, с бирюзовыми глазами, мигая ресницами, кротко ела клубнику. Каждую ягоду обмакивала в сахар, брала в рот и, кушая, смотрела бирюзовыми глазами, мигая, в небеса.

Влюбленный приятель старался ей услужить, говоря в повышенном тоне самые простые вещи.

— Прекрасная погода, феноменально какое лето. Вот этот лес большой, тянется на две тысячи верст.

— Ну и врешь, — сказал ему Кузнецов.

— То есть как это, врешь?

— Всего на двести.

— Ну и на двести достаточно, — согласился влюбленный.

Зазуля слушала, кушала ягоды и молчала. Так и не разговорилась ни с кем из моих приятелей Зазуля.

* * *

Поздно вечером, когда я пошел с Васей Кузнецовым на речку поставить на ночь донные удочки с живцами, Вася Кузнецов, человек огромного роста, но к ночи какой-то тусоватый, закидывая удочки, сказал:

— А знаете, Зазуля — это штука... Тут надо посматривать...

— Ничего не штука, просто баба. Колька — человек занятный, говорливый, бабам нравится своей искренностью.

— Ну нет-с, — не соглашался Вася. — Знаете, это не так. Это подозрительная штука. Какой черт ей нужен Колька. И потом — Зазуля. Что это такое-с? В Святцах нет-с... Имени не говорит, скрывает.

— Черт с ней, — говорю я. — Может быть, не хочет сказать.

— Не хочет-с. Тут-то все и спрятано... Зазуля... Это еще неизвестно, что такое. Знаете-с, это псевдоним, инкогнито. Если она в него влюблена, почему имени не говорит... Помните черного рыцаря в «Лоэнгрине»? Эльзе говорили: спроси у него имя. Так Эльза сдуру и спросила, а тот позвал лебедей, сел на них да и прощай. Тоже, знаете ли, была штука... Нет, я сам спрошу ее имя. Она у меня не увернется. Жили мы здесь спокойно, а теперь, знаете, опасно: Зазуля...

* * *

Василий Сергеевич, вернувшись, когда уже взошла луна, долго ходил с приятелем Колей по саду, что-то ему говорил, а тот с ним горячо спорил.

Охотник Караулов тоже взял меня под руку:

— А не кажется вам что-то странное в этой Зазуле. Самое название — Зазуля... Тут что-то есть...

И Павел Сучков — он сидел на террасе, пил коньяк, осовел, — тоже тихо сказал мне:

— Да... странно-с, непонятно-с... Зазуля... В первый раз в жизни. В чем дело?... Зазуля... Стоит подумать.

Была прекрасная летняя ночь. На столе на террасе накрывали ужин. Сквозь ветви заросшего сада мерцал огонек в большой старой беседке. Там, в беседке, сидела с Колей Зазуля.

Когда подали ужин, я сказал моему слуге Леньке:

— Поди в беседку, позови Колку и Зазулю ужинать.

Ленька скоро вернулся и медленно процедил:

— Они не идут. Я стучал в дверь — ничего не слышат. Посмотрел в окно. Они сидят на кушетке и целуются. Я и в окно стучал — ничего не слышат.

— Что за черт, — сказал Вася,

— Да... — засмеялся Павел Александрович. — Это, господа, любовь.

Громовым голосом Василий Сергеевич крикнул с террасы:

— Колька, Зазуля — ужинать!

Освещенная луной, у беседки показалась Зазуля и нежно крикнула:

— Мы не хотим кушать.

* * *

А утром к чаю на террасу не пришли ни Коля, ни Зазуля.

Я подошел к беседке, дверь была открыта.

На крыльце стоял возчик Батранов, и, когда я уходил от беседки, Батранов сказал:

— Николай-то Василич с барыней в три часа ночи уехали. Велели вам заплатить, потому денег у них только на билеты, на машину, остались. Они всю дорогу о деньгах говорили — что денег нет.

— Вот это настоящая любовь, — сказал я приятелям.

— Любовь? Нет, врите-с... Непонятная штучка, а не любовь, — прищурив один глаз, сказал Вася. — Ночью увозит Николая. Как хотите, тут что-то есть подозрительное. Если хотите знать-с, то я на нее, знаете, смотрел-с, она глазки отводит в небо, в глаза не смотрит-с. Совесть нечиста. В Святцах имени такого нет-с... Это тоже что-нибудь!

— А все-таки женщина-класс, — сказал бывший военный, Павел.

— У Николая, — говорю я, — денег ни копейки, а повез... Вот это и есть настоящая любовь.

— Да, странно, — сказал охотник Караулов. — И что она в нем нашла? Обезьяна он и дурак. И пятьдесят лет.

— И я говорю — что она в Кольке нашла: шкелет и шкелет, — соглашался Вася.

Тетенька Афросинья, подавая к чаю оладьи, посмотрела на нас, покачала головой и сказала:

— Ну и барыня приезжая. Вот хороша. Чисто ангел шелковый. И-их, и ласкова, видать, что барыня. А он... удивленье. Прямо верно, что шкелет. И-их, любовь зла — полюбишь не то что козла, а и Зазулю.

Так мы и не узнали, какое же имя, не птичье, а человеческое, было у этой нежной Зазули с бирюзовыми глазами.

Дачи

Июнь месяц в России городские люди жили на даче.

«Летом город суший ад», — говорили москвичи.

Впрочем, Москва летом не была адом. В Москве было много садов и зелени.

Сады при особняках были пустые, заросшие. В них были беседки — забавные и причудливые, с разноцветными стеклышками в окнах.

В этих беседках отдыхали от летней жары. Пили чай, прохладительные напитки.

И все же на природе было лучше, и подмосковные крестьяне построили по всем деревням небольшие деревянные дачи. Они были крашены, срублены из соснового леса, отличались уютом и простотой. При дачах всегда были террасы и сады.

А в Пушкине, Царицыне, Люблине, Перловке, Кунцеве, где отдыхали богатые москвичи, дачи строили архитекторы. Они были крыты железом, с фонтанами перед террасой, с металлическим журавлем, из горла которого била струя воды. В садах

стояли столбы, увенчанные зеркальными шарами. Дачи были крашены в желтый цвет, украшены разными финтифлюшками, голубыми и красными. Газоны, куртины цветов, дорожки посыпаны песком...

* * *

Простые деревенские дачи, где сад был окружен частоколом, где густо росла малина и спелая вишня пряталась в тени, где крапива буйно росла у крылечка, где за березами выглядывал скворечник, — были милее моему сердцу. Они были похожи на какие-то деревенские игрушки.

По вечерам из этих дач слышалось пение, аккорды гитары, мелькали в розовых и белых ситцевых платяцах барышни, гимназисты, студенты.

Здесь жили небогатые семьи Москвы. Здесь всегда слышался живой смех и скрип качающихся качелей.

И вся молодежь была летом влюблена. У каждого юнца был предмет обожания.

Ночью, при луне, дачники гуляли, ходили в рощу слушать соловья.

И действительно, всюду звенели соловьиные трели, и несказанно прекрасны были ночи на подмосковных дачах, — нигде больше я не знавал такого поэтического и восхитительного времени, как лето в России.

* * *

Утром, обернув голову полотенцем, все шли купаться на речку или большие пруды, где на воде стояли деревянные, сбитые из досок купальни.

Что за восхищенье — эти купальни!

Когда по деревянным мосткам от берега войдешь в них — вас охватывает, при виде воды, какая-то особая бодрая радость.

Вы раздеваетесь на лавочке у стены. Маленькие рыбки стайками бегают у ваших ног и пропадают в глубине. По маленькой лестнице вы спускаетесь в воду. Какая вода! Она пахнет соседними лесами. Купаться так приятно, что вы окунаетесь, и вам не хочется расстаться с водой.

И какая истома охватывает вас после купанья!..

* * *

А возвращаешься на дачу — на террасе чай со сливками, свежее масло, розанчики из белого хлеба, плюшки сдобные. Разносчики покрикивают, предлагая всякую всячину: «калачи, выборгские крендели, сдобные баранки, сухари, сушки с солью, творожники, бисквиты».

Другие кричат: «цыплята, индейки, рябчики, поросята, солонина, баранина, телятина».

А то еще рыбный товар: «белуга, севрюга, осетрина, икра, сига копченые, балык белорыбий, осетровый, тешка кавказская, судаки свежие, караси, лещи...».

Тоже и колбасы разные: «беловская с чесноком, языковая, чайная, копченая филейная, полендвица, гусиная».

И еще разносчик: «халва, шоколад, рахат-лукум, монпансье, конфеты...». И еще: «малина, клубника, вишня владимирская, абрикосы, крыжовник, черника, смородина красная, белая, черная».

Каких только разносчиков не было! Всех не перечислить.

В сущности, пишу я это так, ни к чему, — одну из страничек нашего былого быта. По вечерам на подмосковных дачах было много пения, и слышалась музыка. Каких только не пелось романсов. Сколько песен о любви. И сколько беззаботности.

Летом мы живем на даче —
Невозможно нам иначе,
Будь хоть беден, хоть богат,
Летом город сущий ад...

Как-то, идя вечером на станцию, чтобы ехать в Москву, я увидел на одной из маленьких дач, тонувших в зелени деревьев, студента в белой тужурке. Он сидел на скамеечке у калитки и пел басом:

Ты куда, куда стремишься,
Лекарь-девушка? Вперед!..

Знакомый голос. Подойдя ближе, я узнал: Володя.
— Володя, — сказал я, — какая у вас октава!
— Ага, — улыбнулся он, — октава еще не есть прогресс. Прогресса нет, прогресса нет...

Он потянулся. Во всей его фигуре, в больших губах, в рыжей шевелюре чувствовалась молодость и сила. Он вынул папиросу, постучал ею о портсигар и, бросив в рот, закурил.

— Какая скука эти ваши дачи, ваши соловьи, ручьи журчащие, лунные ночи...
Какая ерунда. Подождите меня, я сейчас возьму фуражку и поеду с вами в Москву.

Он скоро догнал меня на дорожке.

— Почему же вам скучно здесь, Володя?

— Тощища, — ответил он. — Это вы всё, художники, выдумываете: эти поэзии. А я — человек идейный. Старый мир восхищений надо сломать. Соловьев всех передуть. Луну к черту. Воду и землю заставить работать...

— Здорово, Володя, — сказал я, — что-то вы очень сердиты.

— Семья и все эти штуки — мещанство, — не слушая меня, продолжал Володя. — Погодите, мы эту вашу клетку с канарейкой кончим!.. Вот я сегодня у Ермилова был. Угощает. Я репетитор его сына. Противно! Жена его влюблена в мужа. Дура! Я уж сколько влиял на нее — не сдвинешь. Тоска!..

И Володя запел:

Не гулял с кистенем
Я в дремучем лесу,
Погубил я себя
За боярскую дочь...

И пришло страшное время. Было жаркое лето. На дачах уже никто не жил. Стекла в окнах выбиты, загородки развалились. Собаки убежали или издохли с голоду. Есть нечего. Народ омрачился. Свирепствовал сыпняк.

Я встретил Володю. Он похудел. Шел пешком по площади от вокзала. Извозчиков не было. Он растерянно остановился передо мной и мрачно, посмотрев карими глазами, спросил:

— Нет ли у вас покурить?

Я достал папироску из махорки. Он молча затаился и пустил дым. Снял с плеча мешок, поставил на мостовую.

— Вот черт, — сказал он, — насилу достал. Обдиралы. Пару сапог, две ложки серебряные чайные, пиджак — все на меру картошки обменял в Мытищах.

— Нет уж больше дачников, Володя, и разносчиков нет, — грустно сказал я.

Володя внезапно пришел в ярость.

— Довели!.. Все ваши дачники, соловьи ваши, лунные ночи, романсы, тьфу!

И, взвалив мешок на плечи, Володя, обутый в опорки, большой, грузный, кивнул мне головой и тяжело зашагал по площади.

Пугало

Летом, в июне месяце, за сараем на огороде, где поспевала клубника, я поставил пугало — воробы и сороки-вороны клевали ягоду.

Пугало сделать было нелегко. Я достал большой горшок-крынку, посадил его на большой кол. Мой слуга Ленька помогал мне в работе. На крынку сверху надел картуз приятеля моего, Василия Сергеевича. Картуз этот был продырявлен дробью, его подбрасывали кверху, и сам владелец, Василий Сергеевич, стрелял в него, говоря, что практикуется в стрельбе влет.

Из дощечек прибили к колу как бы растопыренные руки, надели рубаху. Набили сеном. На рубаху надели старую длинную поддевку Василия Сергеевича, а снизу на веревочках подвесили детские сапожки — они качались от ветра. На горшке я написал масляными красками физиономию приятеля своего, Василия Сергеевича. Трудно было написать такие серьезные черты. Вблизи выходило похоже, а издали — нет, так что надо было писать широко и с обводкой. Долго старался.

Наконец, вышло лицо, несколько испуганное. Сверху кол намазали маслом, и при ветре чучело поворачивалось.

Воробы, сороки, вороны, поглядывали с сарая на поспевавшую клубнику, но ягоду не клевали — боялись садиться на гряды. Пролетая над садом и видя чучело, каркали. Чучело оказалось неплохое. Тетушка Афросинья сказала:

— Ну что... чего... прямо Василь Сергеич. Пошто его?.. Кады он приедет, непременно обидится.

И слуга Ленька, и сторож дома моего — дедушка покачали головами.

А приятель мой, крестьянин-охотник Герасим Дементьевич, увидя пугало, рассмеялся и сказал:

— Хорошо пугало! И сапожки снизу болтаются, под поддевкой, — смешно. Вот за что Василь Сергеич обидится! Беда!

Чучело поворачивалось при ветре, и собака моя гончая, Бургомистр, облаивала его.

Приходившие ко мне крестьяне и бабы из соседней деревни, с земляникой, с молоком, говорили:

— И-их. Чисто Василь Сергеич.

Клубника поспела, набрали корзину.

Как-то рано утром к деревенскому дому моему подъехали в тарансах приятели, охотники, рыболовы. Уже в передней слышу зычный голос Василия Сергеевича и смех друзей.

— Чего вы ржете как лошади? Нисколько не похоже. Он не может. Наталию Николаевну двадцать сеансов писал — ни черта! Он не может. Картуз мой, поддевка, а лицо — нет.

Василий Сергеевич обернулся и крикнул:

— Ленька! похоже чучело на меня?

— Не-ет, — медленно пропел Ленька, — ничуть.

Приятели умывались с дороги. На деревянной террасе дома накрывали чай, и клубника стояла на столе в корзине.

Одевшись, я вышел на террасу. Юрии Сергеевич, здороваясь со мной, весело загоготал:

— А ловко ты это чучело...

Он показал на Василия Сергеевича.

Василий Сергеевич мрачно посмотрел на Юрия и, повернувшись к чучелу, которое видно было с террасы за сараем, долго и хмуро разглядывал его.

Павел Александрович сказал мне:

— Ну, здравствуй... Пугало это, сапожки качаются — глупо и пошло. Никакой эстетики.

Юрий Сергеевич покатывался со смеху.

— Ничего здесь нет смешного, — сказал, прищурившись, Василий Сергеевич. — Конечно, поддевка моя и картуз мой. А вот Шаляпина картуз не надели на пугало?.. Он бы вам показал. У вас тоже его картуз простреленный есть. Тоже с ним влет стрелял... Бойтесь?..

Тетьнка Афросинья принесла на блюде горячие оладьи. Поздоровалась с гостями-охотниками. Василий Сергеевич, сев за стол спиной к чучелу, налил себе чаю и спросил:

— Тетушка Афросинья. Вот там, — показал он пальцем назад, — пугало поставили. Скажи правду, похоже оно на меня?

— Вот вчера в вечер корову доила, гляжу из сарая через кустики, зорька — вечерняя, алая — ну, прямо ты, как живой, руками машешь...

Караулов некстати рассмеялся. Василий Сергеевич вскочил из-за стола.

— Довольно, надоели ваши шутки. Я сюда приезжаю отдыхать!..

— А ты, идиот, чего молчишь?.. — крикнул он доктору Ивану Ивановичу, который ел, никого не слушая, клубнику со сливками.

Тот посмотрел на него белыми глазами, расправил бакенбарды.

— Да ты что? Меня это пугало совершенно не интересует. Пугало и пугало. Что ты бешишься? Приехали отдохнуть, половить рыбу, а ты орешь! В чем дело?..

— А в том дело, что кем-нибудь — неприятно. Вы в Москве всем расскажете. Пугало, пугало... А я ведь не кто-нибудь. Я архитектор. Дойдет до клиентов. Это, знаете, положение подрывает. Я особняк строю Солодовникову... Хороши смешки!..

Он возмущенно передернул плечами, встал из-за стола и ушел в дом.

— Я говорил, — лениво сказал Ленька, — что обидится.

Мы видели, как с крыльца Василий Сергеевич, держа на плече кучу удилиц, пошел на реку ловить рыбу. Проходя за сараем у огорода, он остановился и долго и пристально смотрел на чучело.

Все приятели сидели с удочками на берегу реки. Был тихий серый день. Красиво лежали цветные поплавки на тихой воде.

Василий Сергеевич вытянул большого леща и повеселел.

— Шесть фунтов, не меньше, — сказал он мне.

— Посчастливилось тебе, — говорю я.

У него опять повело поплавок. Он подсек рыбу и закричал:

— Подсачек!

Крупная рыба гнула удилице. Снова — огромный лещ. Василий Сергеевич торжествовал.

На соседнем берегу в сосновом бору стучал дятел.

— А хорошо, Константин Алексеевич, что вы пугало поставили, — не то этот дятел всю бы у вас клубнику склевал, — сказал доктор Иван Иванович.

— Дура! — с бешенством крикнул Василий Сергеевич. — Тебя бы поставить на огороде, — глазищи белые, баки желтые, — так не то что вороны или дятлы — корова из стада домой бы не вернулась.

Вечером за обедом подали леща, пойманного Василием Сергеевичем. Лещ был с кашей — замечательный.

В небе сгустились тучи. В окнах блеснула гроза, ливень хлестал в окна. В трубе завывал ветер.

— Заметьте, — сказал Василий Сергеевич. — Вы ничего не поймали. Рыба перед дождем не идет. А я на леща поставил. Лещ идет перед дождем.

— Молодец, Вася! Спасибо за леща, — говорил Юрий, накладывая леща с кашей на тарелку.

Проснувшись утром, я посмотрел в окно. Солнце весело освещало мокрый сарай, на дороге блестели лужи. На огороде не было пугала. Его сорвало ветром. Приятели еще спали. На кухне тетенька Афросинья и Ленка чистили грибы.

Я вышел к сараю на огород. Пугало лежало распростертым на грядках. Картуз куда-то унесло ветром.

Я поднял чучело и водрузил вновь. На круглом горшке рожа стерлась, была запчкана в земле.

Подошел Герасим, засмеялся и вдруг, хлопнув себя по лбу, сказал:

— Постой!

Он побежал в сарай, принес охапку сена, снял с пугала поддевку и набил рубаху до отказа сеном. Потом достал поясok Юрия Сергеевича и высоко, как делал тот, подвязал живот.

Удивительно: пугало стало похоже на Юрия! Герасим взял клубнику и раздавил на горшке, на месте рта. На террасу вышел Юрий Сергеевич, посмотрел на пугало, сжал зубы и отвернулся.

Подали чай. Все собрались на террасе. Василий Сергеевич взглянул на пугало, остолбенел:

— Юрий, посмотри-ка, пугало на кого похоже, посмотри!

— Надоел, — слазал Юрий, — довольно.

— Нет, ты посмотри! — приставал к нему Василий Сергеевич.

— Ленька, — кричал он, — Афросинья, бабушка Герасим, смотрите-ка, на кого похоже чучело?

— Чего уж, — лукаво подмигнул мне Герасим, — ишь его ветром раздуло, чисто как Юрий Сергеевич стал!

— А что, — торжествовал Вася, — закон-то возмездия есть. Вот что делает природа!..

Лето

Лето в России, июнь месяц. Мельница на небольшой речке Нерли. Около мельницы большой песчаный обрыв. Сверху — сосновый лес.

По берегам реки ольховые кусты.

Мы — я и приятели мои, рыболовы, поставили на берегу палатку. Перед палаткой — стол, на столе — большой самовар мельника.

Жара...

Приятели сидят за столом, пьют чай с черникой.

— Не пойти ли купаться?..

Спускаемся вниз и идем по лугу, усеянному цветами. В небесах кучей клубятся летние облака. Вот и река. Высокие ольхи по берегам, а посредине водная гладь, освещенная солнцем.

Вода так прозрачна и чиста, что видно дно — песчаное, ровное, плавают голавли и стайками шныряют пескари.

Тени от ветвей ольхи ложатся на реку.

Выбираем место, лениво раздеваемся... Вода теплая, дно ровное. Благодать! Не хочется вылезать.

— А дрянь купанье здесь! — изрекает вдруг приятель Юрий Сергеевич.

— Что ты, — говорю, — Юрий, что ты!.. Замечательное купанье!

— Ерунда, — не соглашается приятель. — У буковского моста лучше. Здесь глубоко, а там сядешь — вода по горло. Возьмешь бутылку пива, пьешь и закусываешь. Внутри что делается!..

— Это верно, — соглашается другой приятель, Василий Сергеевич. — Там ляжешь — мелко, вода по тебе бежит. А здесь только плавай, и больше ничего...

* * *

После купанья находит какая-то истома, лень. Ничего не хочется, все как-то забывается. Ляжешь на траву, глядишь в небеса, а над тобой носятся ласточки, перегоняя друг друга. Пахнет летом, травами, водой...

— Нирвана, — прерывает молчание Юрий Сергеевич.

— Нирвана!.. — без причины вспыхивает вдруг Коля. — А по-нашему, просто равнь. Забвение! Благодарю вас. Анфиса все жаждала нирваны. Что говорила!.. И показала мне нирвану!.. И я ей, надо правду сказать, шван фюбер устроил! Все ее корзинки с костюмами и шляпами с третьего этажа по лестнице катились. А она — за ними.

— Грубое животное! — кратко сказал Юрий Сергеевич.

— Грубое животное? Да-с? А знаете ли вы, что я еще и нынче, когда из воды вылезал, так место попросторнее выбирал, чтоб рогами за сучья не задеть!.. Я тоже страдал. Ночи не спал. Приехал в Крым. Так, знаете, нечаянно. А у ней, милостивый государь, чуть нагота прикрыта. Она говорит: «Не обращай внимания, жарко. Это мы репетируем». А он, знаете, как увидал меня, так в окошко — с балкона и ахнул. Что вы на это скажете?..

Прятели мои смеялись...

* * *

Когда возвращались с купанья и дошли к палатке, то увидели, что куры на столе клюют наш хлеб и закуски.

Мельник Никон Осипович принес самовар. Сел с нами за стол. Сказал:

— Хорошо летом здесь, приволье. Июнь — помолу нет, да и как равнять лето с зимой. Зимой мороз все заледенит, стужа. В избы хоронишься. И самый помол зимой.

После купанья — особенно вкусна уха, жареные грибы, сыроежки...

— Никон Осипович, — сказал я, — вот друг мой Николай Александрович жалуется, что у него рога выросли.

— Это чего еще? Скажите!.. — засмеялся Никон Осипович.

— Нет, постой, жена ему, понимаешь ли, изменяет. Это значит — рога поставила.

— Вот что! Слышал я, когда старшиной был, слышал... Господам-то бывает, а у нас этого нет. Где ж?.. Забота?.. Тоже наша баба ведь в делах. Не управится. Неколи. А у господ времени много, ну и надумается такое. Чего ж — бывает. И я, когда молодой был, — правду сказать, согрешил. Тоже рога поставил. Да ведь кому? Самому исправнику. Приехал к нему, за делом, а его-то нету. Исправничиха... То да сё, пятое-десятое, угощает, вином поит. А я не пил ране — все в голове завертелось. Смотрю — батюшки! — она меня руками-то за шею держит. Дальше и не помню, как и что... Поутру приехал исправник, я ему про дело докладываю. И все мне между делом хочется сказать: вот у меня что с твоей женою вышло... Хорошо — не сказал. Потом ей говорю, что, вот-де, совесть-то меня берет, сказать мне охота мужу правду. А она мне: «Ах, ты, — говорит, — такой-сякой, дурак небитый, да я тебя, — говорит, — в тюрьме сгною...» Да мужу-то и говорит: «Гони, — говорит, — этого нахала, он, — говорит, — ко мне лезет, пес поганый...» У меня — глаза на лоб. Я стегнул по лошадам да домой. А исправник погрозил мне пальцем и крикнул вслед:

— Ну, не будь ты мальчишка, дурак, посидел бы ты у меня в темной...

— Вот ты и возьми, бабы-то что. Еду дорогой, и так мне совестно! И все никак не разберусь, кто же из нас дурак выходит. И так сейчас думаю, что оба мы дураки.

— Да, женщин, брат, понять трудно, не разберешься. Любовь, брат, не поймешь... — раздумывал Коля.

— Полно, — сказал Никон Осипович, наливая чай, — какая это любовь? Любовь — другое. В любви первое что ни на есть — жалость, душа. А это — какая любовь? Человеку обман дан. В нем жить нельзя. Нутра нет. И какая радость? Так — ошибка...

— Вот и я говорю — ошибка. Так, в этих ошибках, у меня вся жизнь проходит, — сказал Вася, — и чувствуешь, что ошибка, а вот живешь в ерунде. Юрий, что это ты водку пьешь? Жара.

— Вздор! — говорит Юрий Сергеевич, — жара спадает, видишь, тени какие длинные ложатся.

Ольховые кусты, зеленые и сочные, как бархат, освещались вечерним солнцем и отбрасывали густые синие тени по берегу.

Розовые облака клубились над лесом. Василий Сергеевич, взяв удочки, пошел на нижний омут ловить рыбу.

Я, вынув холст, писал освещенные деревья, желтый обрыв реки. Сбоку у меня, от края плотины, в сажалке плескались пойманные нами рыбы. Мне стало жаль рыбу. Я подошел к плетеной сажалке, открыл ее... Рыбы, как стрелы, убежали на свободу.

Вечеру подошли коровы и пили у сажалки воду. По плотине, возвращаясь с рыбной ловли, шел Василий Сергеевич. Увидав коров, он остановился.

— Чего ты стал? — кричу ему.

— Да ведь коровы, — отвечает, — черт их знает, может, они бодаются!

Коровы повернулись и пошли к сараю мельницы. Василий Сергеевич, проходя плотину, наклонился, посмотрел на сажалку и закричал:

— Чего вы смотрите, коровы всю нашу рыбу сожрали! Благодарю покорно...

Василий Сергеевич пустил в сажалку пойманных рыб и побежал в избу к Никону Осиповичу — жаловаться, что коровы рыбу съели.

Никон Осипович смеялся и говорил:

— Полно, нешто рыбу коровы едят?..

— Что вы мне говорите, — горячился мой приятель, — вот он видел, — Василий Сергеевич показал на меня.

Неслышно подошел вечер. Померкли краски... Затуманились дали... Россия... Приволье... Невероятная быль.

Скорбь

Родился, ну и, конечно, живешь на свете.

Но все же по временам как-то чудновато становится. Век такой, эпоха, знаете ли, такая замечательная.

Умственный человек Василий Харитонович Белов говорил, что в такое время живем, что «у кажинного ум раскорячивается».

А другой — интеллигент — тоже очень умный, мне сказал, что все довольно ясно, но в общем понять ничего нельзя; жизнь полна добрыми намерениями, но из намерений панталон не сошьешь.

И он, вздохнув, посмотрел на свои панталоны.

А панталоны были у этого интеллигента, действительно, какие-то скучные, беспомощные. Такие панталоны бывают только у людей, которые называются «общественниками», которые не живут для себя, а только для других, помогают ближнему. Всегда они в заботах, в делах, в гостях — как бы достать деньги, чтобы помочь учащейся молодежи, студентам, вдовам, обремененным, покинутым любовницам; словом — скорбящим.

И вот у этих замечательных людей — «общественников», от их профессии и благотворительных дел лица и панталоны до того скучные, что, глядя на них, выпада-

ешь в скорбь и уныние. Знал я не одного такого. Их было много. И у всех — отражалась на панталонах унылая тоска жизни.

Ах, как много было общественной скорби по всей прекрасной стране моей: в городах, среди разгула, веселых праздников и в глухих углах родины звучала дудка общественной скорби.

Ни вино, ни удаль, ни похмелье, ни младость, ни любовь, ни веселье — ничто не заглушало назойливой скорби плакальщиков.

* * *

А там — настало иное время. Вспоминаю другого общественника-интеллигента. Тоже идейного. У того были бравые суконные панталоны цвета хаки, вправленные в высокие сапоги с набором, поддевка, жилет, рубаха навыпуск из-под жилета, картуз кожаный, черный, большой козырек, по бокам козырька пуговицы, от пуговиц ремешок. На вид — лихой рабочий, старший мастер с фабрики, бравый человек. Ни скорби, ни унылых панталон.

Приходит на службу утром. Простой стол, скамейка. Садится на скамейку, картуз не снимает. Из ящика стола вынимает сухую краюху черного хлеба. Из графина наливает воду и ест хлеб. Хлеб да вода. Толпы просителей смотрят и шепчутся:

— Ишь, сам-то, гляди-ка, товарищ, — хлеб один...

А идейный интеллигент кричит:

— Чего вы? вот видите — хлебом да водой пробавляемся, а вам чего надо? Кто не трудится — не ест.

— Товарищ, — говорю, — дайте разрешение проехать по железной дороге в деревню, дом у меня там и мука, в Москву привезти, а то здесь есть нечего.

— А муки-то у вас много? — насутился интеллигент.

— С пуд есть, — говорю.

— А вы кто, элемент?

— Элемент, — говорю.

— Нетрудовой элемент?

— Трудовой, — говорю я. — Вот посмотрите, у меня руки — правая большая, а вот левая много меньше.

Он посмотрел на мои руки и спросил:

— А вы что этой рукой, вертите, что ли, что?

— Верчу. Кистью верчу туды-суды.

Он мрачно посмотрел на меня и стал писать записку: проезд по железной дороге.

* * *

Получив пропуск, я пришел домой и говорю слуге и приятелю моему Василию:

— Ну, Василий, едем. Раздобудем чего поесть, только надо захватить кое-чего на обмен.

Василий берет мешок и запикивает в него платье, занавески с окон, всякую всячину. На столе у меня всякая мелочь — кольцо с фальшивым бриллиантом от Тэта.

Надеваю его на палец.

— Чего это вы? — говорит Василий, смотря на кольцо. — Никак это не возможно. Чего это вы бриллиант на палец надели? Увидят — убьют, убьют бесприменно.

— Он ведь фальшивый, Василий. Может, дадут в деревне пяток яиц.

Василий пристально посмотрел на мое кольцо, провел пальцем под носом, отвел черные глаза в окно и, глядя на улицу, сказал:

— Убьют. Нешто разберут — фальшивый аль нет. Беспременно убьют...

* * *

В вагоне 3-го класса стекла выбиты. Вагон набит битком. Мешочники, солдаты, крестьяне.

Я примостился на лавочке с краю. На полу внизу сидели бабы с детьми, рабочие, и все тотчас же стали смотреть на мою руку, на которой блестело кольцо. Стоящие тоже смотрели.

В разбитые окна вагона были видны мелькающие леса, сжатые поля — печальная осень.

Сквозь толпу пассажиров в вагон протиснулся человек в черной кожаной куртке и черном картузе. У пояса висел наган.

Приблизившись ко мне, он прогнал баб и сел против меня. Посмотрел на кольцо и спросил, наклонившись близко ко мне:

— Пятерку дали?

— Нет, — ответил я, — два рубля.

— Я-то вижу... — сказал человек в куртке и улыбнулся.

Смотрю — Василий покосился на меня и пошел к дверям, сделав и мне знак глазами, чтобы я уходил.

— Товарищ, — сказал мне шепотом человек с наганом, — сымите кольцо, а то народ волнуется. Весь вагон глядит — думают, настоящее.

Я снял кольцо и спрятал в карман.

— А вы, товарищ, элемент будете?

— Элемент, — отвечаю.

— Нетрудовой?

— Нет, трудовой.

Сжав кулаки, я показал ему руки. Он поглядел и сказал:

— Правая много боле. Чего ж, на заводе что вертите или что?

— Кистью верчу с краской туды-сюды,

— Вот, вот, — ответил он. — А кольцо-то вам зачем?

— Обменять хочу, товарищ. Может, десяток яиц дадут.

— Не надевайте, а то арестовать велят.

И он ушел.

* * *

В другом вагоне я нашел Василия. Мы слезли на станции и пошли осенней, покрытой лужами дорогой.

Тих был осенний вечер. В далеком небе раздавались гортанные звуки летящих журавлей. Унылые и печальные показались мне знакомые места, речка и моя родная земля.

Дом мой был тосклив и жалок. Не встретили меня мои собаки — их уже не было. Не было и сторожа-дедушки.

Я зашел к соседу, к тетушке Афросинье. Она обрадовалась, увидав меня.

— Заварю, заварю, — засуетилась она, — сейчас мятки заварю. Чаю нет, сахару нет. Лепешки принесу. Спрятала, а то отбирают.

— Тетушка, — говорю, — у меня мука в доме есть. Возьми. Боле пуда.

— Да что ты? Эка! Все взяли: и подушки, и самовары, — все. Какая мука? Чаю что, поди! И чего это? Отбирают!..

Я сидел и пил теплую мяту.

— Давно не были, — сказал Феоктист.

— А где же дед?

— То тут, то там. У дома держится. Обобрали и его. Сети отняли. Не вяжет боле, да и нечем. Озорство идет. Лихо дело!

— Вот, — говорю, — в мешке Василий привез одежину. Наменять на что. Вот еще кольцо фальшивое, дадут, может, яйца.

— И что ты, дорогое кольцо. Спрячь, в землю спрячь, а то убьют. Нешто можно, что ты! За одежину-то что и дадут — картошки, а муки-то мал-мала. Знать, до лета сами помрем.

* * *

Печальная луна взошла над моховым болотом. Обеднели клены, и мрачно, уныло дремал, ожидая зимы, мой милый сад. И вот, в этом умирании осени, вместе с садом умирало и то прекрасное, для чего я жил...

Василий подошел ко мне и сказал:

— Чего... спать-то не на чем? Все пропало. Одеяд нет...

Я ходил в темноте по моему дому, держа в руках зажженную лучинку. Все было разбросано, перевернуто. Посуды не было. В углу кухни увидел плошку моей собаки — пойнтиера Феба. Он умер давно. Я похоронил его в саду. Воспоминание о Фебе вошло в душу чем-то светлым, чистым, радостным.

Я пошел в сад, к молодому ельнику, где была могила Феба. Во мгле лунной тихой осенней ночи освещенный луной бугорок над останками моей собаки был покрыт павшими листьями.

Я присел на бугорок.

Подошел Василий.

— Гляньте-ка, бутылочку самогону достал — Захар в лесу тихонько курит. Поднес мне. Хорошо! С души прямо это самое сошло сразу. Забудешь, что и голод. Вот выпить-то — не во что налить.

— Василий, на кухне, в углу, плошка Фебина, тащи сюда, помой водой.

— Спи, мой Феб, мой верный друг, моя собака. Ты умер, полный любви к человеку, своему богу.

Вернулся Василий с плошкой.

Я выпил самогону и налил Василию. Он молча выпил, как-то захлюпал и пошел с плошкой на кухню.

Осень... Безлюдье... Тоска...

К Белому морю...

Летом как-то тянет уехать из Москвы подальше. Представляются просторы, большие реки. Волга... Днепр... Московская губерния не похожа на Владимирскую. Проедешь верст пятьдесят — другое. Иные впечатления.

Хороша тоже река Северная Двина.

Любил я реки русские. И задумал я поехать по Северной Двине на лодке. Днем и ночью думал. Куплю в Вологде лодку — большую, построю на ней из досок кают-компанию. В середине — стол, а по бокам лавки. Они же и кроватями будут. Сзади пристрою плиту отдельно...

Уговаривал и друзей своих ехать со мной. Но, как ни странно, не встретил сочувствия — все отказывались. И не дела были тому помехой — у каждого оказывался «предмет». Сердечный предмет. Она.

Говорю одному приятелю:

— Пусть и она едет, уговори ее. Хорошо ведь ехать по реке, лето, виды какие!

Но «предмет» ехать не захотел. Нашел, что неудобно, — еще дождик пойдет, тоже удовольствие — мокнуть...

Одну уж совсем уговорили, так утораздило кого-то пригласить ее играть в любительском спектакле в Пушкине. Ну и конец. Не поехала.

А одна прямо сказала мне:

— Я еще с ума не сошла — ехать к черту на кулички...

Все расстраивалось. Приятели без «предметов» не ехали.

* * *

Вдруг через неделю приходит приятель Василий Сергеевич и говорит:

— Едем! Едем завтра же!

Я удивился.

— Как же, — спрашиваю, — а «предмет»?

— Ну ее к черту! Надоела.

— В чем дело? — удивился я.

Он повернулся ко мне и, прищурив один глаз, спросил:

— Помните, нас с вами в деревне на охоте сфотографировали? Прекрасная карточка. Так она проколола булавкой глаза мне и вам.

— Почему же мне-то? — удивился я.

— Так — кстати... Тогда я взял — у нее в комнате висела карточка какого-то Виктора — она говорила, что это ее жених, — разорвал ее и выбросил в лоханку на кухне. Она как взбесится. Ты, говорит, его мизинца не стоишь. И пошла, и пошла... Ну, думаю, довольно, это не пройдет, прощайте!.. И так меня на Северную Двину потянуло... Раздолье, благодать. Едем!

— Хорошо. Я как раз жду ответа от Павла Александровича. Василия послал с письмом, он скоро вернется. К слову — на Северной Двине семга и стерляди. Другие снасти брать надо.

— Там по берегу, — загорелся приятель, — разное зверье, наверное, бегают. Олени, медведи. Надо штуцер и пули брать, и капкан.

— Да, — соглашаюсь я. — Это Павел возьмет. Ну вот, и Василий вернулся.

— Ну что, Василий, — спрашиваю, — застал Павла Александровича?

— Застать-то застал, только они не в своем положении...

— Как «не в своем положении», что такое?

— Да так... Это самое... вот до чего! К дому подъезжал на извозчике, так уж в переулке слышать было — поют! Окна-то открыты. Ну, у их что ни на есть цыгане. Я как вошел к ним, а Пал Лисандргыч с рубахе и с гитарой милитируют и поют. Тоже и в пляс пускаются. Вина что, закуски, и-и!.. Захар там и Соколов-кривой, все выпимши. А один спит на диване, военный, в мундире. Толстый, лицо бледное. Так Соколов-то говорит: «Знать, он

помер. Потому его будили, а он не просыпается». Меня, значит, послали за сургучом — пробовать, помер он али нет. Значит, сургуч зажгли, ну, ему на живот капали сургучом этим... Как зачали капать, тут он и вскочил. Да как заорет... Ну, все рады — жив, значит. Пал Лисандрьгчу ничего, как есть, сказать невозможно. Я ему говорю, что вот прислали к вам меня — Кистинтин Лисеич, значит, ехать вас зовет, а он как закричит на меня: «Молчать!..» — «Письмо, — говорю, — вот вам...» А он — «Молчать!..». Боле ничего, и письмо не берет. Чего тут делать? А старуха какая-то, цыганка, мне говорит: «Вы, — говорит, — его не беспокойте в таком разе, потому, говорит, что Пал Лисандрьгч тоску с себя сымает, к нему не лезьте. Это, — говорит, — понять надоть...»

— Что такое? — удивился Василий Сергеевич, — тоску снимает!

— Да мне-то сказали там — ему Дуня Орлова, цыганка, нос наставила.

Василий, сказав это, зашипел смехом.

— Ну, — говорю я, — видно, не составить нам поездки на Двину...

— Где ж, — соглашается Василий, — время такое — июль, жарко, на это самое зовет... Разгуляться охота. Ну, тоже и в нежность вдаряет. Не холодно. С женским людом играть вольготно.

— Это что такое за слово еще, «играться», где ты это слышал? Какая гадость!

— Ну что вы... — смеясь, говорил Василий, — где я слышал. Господа говорят. У вас профессор такой был, на Мусю поглядывал, говорил мне: «Хорошо бы с ней поиграться...» А я ему сказал: «Что ж, попытайте. Да только Муся строга», а он жигуляст больно — не поддудит...

— Вот что, — спохватился Василий Сергеевич, — Юрия зовите. Он не охотник, а на лодке в кают-компания первый человек. Будет сидеть, и на капитана похож — прямо что надо.

— Что вы, нешто он поедет... Его из Петровского парка ничем не достать. И где же?... Его на лодку не поместишь, он и лодку утопит. Тяжесть какая. На мель сядем.

* * *

О моем предполагаемом путешествии на лодке по Северной Двине до Белого моря узнали в Литературном кружке. Было много разговоров за ужином. И столько нашлось охотников — по преимуществу актеров — ехать к Белому морю, что нужно было уже не лодку, а пароход. Многие приезжали ко мне и восторженно фантазировали.

Один говорил, что необходимо, во всяком случае, захватить белое вино. «В Белом море — там навага... Понимаешь, что такое?... Лучше всего — Шабли...»

— Я там хлопну, — говорил другой, — белого медведя, у постели, брат, положу шкуру. Утром встанешь, понимаешь, ногами на шкуру — нога тонет.

Третий восклицал:

— Восторг! Едем! Я уговорил обоих Грибовых, едут с нами. Жена у другого прехорошенькая. Потом Коля Журавлев, Носов, Трубенталь. Просится Шура Пароход, Машка-кудлашка.

Желающих все прибывало. Я уж начинал серьезно беспокоиться. Но тут восторженный Трубенталь обмолвился как-то про возможные в путешествии опасные встречи с дикими самоедами, и все вдруг решили, что лучше ехать по Волге на пароходе «Самолет».

Тут уж пошла полная ерунда. Июль кончался, дело шло к осени, и поездка была отложена до следующего года.

Впрочем, с Василием Сергеевичем и Василием Княжевым мы все же ездили до Вологды — смотреть лодку, на которой была построена из досок кают-компания.

По реке Вологде мы проехали до Сухони. Была дождливая погода. Остановливаясь у берегов на охоту, стреляли дупелей, турухтанов и жалели, что не поехали дальше по дивным рекам прекрасной страны родной.

Склероз

В доме своем, в Замоскворечье, купец Иван Васильевич Волков захворал по случаю старых своих лет.

Дьякон Аполлинарий Михайлович, соседнего прихода церкви Воздвиженья, сидел около больного — он навещал старика по давней дружбе.

И говорил больной старик, глядя на отца дьякона, тоже старого человека.

— Да вот, сказываешь, «душу своя положи за други своя». Да! А я вот не положил души своей за други своя... Да и где они, други-то?.. Я и не знаю... Да, было... Пили, ели вместе. Были этакие-то разные. Много было таких-то. А чтобы душу за них класть — этаких-то и не было. Ну-ка, дьякон, скажи, за кого душу класть надо было?.. Ты мою жизнь насквозь знаешь, скажи-ка?

Отец дьякон сидит, сонно смотрит на болящего и думает: «Ишь, в нем беспокойство какое, и что ему сказать в утешенье».

И говорит рассеянно:

— Это так, вроде что, верно, не было таких-то, которые тебя понукали бы душу за их класть. Ты ведь на войне не был, ну, и чего ты надумал. Тебя, значит, это самое в жизни обошло.

— Обошло, говоришь? — задумывается Волков. — А все же, значит, я впустую отойду в вечность. Помрешь — умер впустую?..

Он тяжело вздохнул, и оба приятеля замолчали.

— Да, — сказал через некоторое время Волков, — верно. Итак, все прошло, а друзей чего-то не было. Чего же! Смотри кругом — жизнь прошла. Все кругом думали больше о чем? В карман, как бы карман понабить, и кого бы согнуть, накрыть... Ну и гнули. Ты его норовишь, а он тебя. Эх, да что... — вздохнул старик. — Женщины тоже. Так и этак. Дружбы этой самой не было. А даже совсем наоборот. Прасковья Михайловна... уж я ли ее не ублажал? Все что хочешь. Ну, а что ж? Расплевалась. Марфуша — тоже. Акуля!.. Сам знаешь.

— Да, — сказал дьякон, — Акулина Петровна — плюнуть стоит, поступила не по поступкам.

— Ну так вот где други-то? За кого душу класть? Скажи-ка? За Николая Петрова, что ли?

— Эх, сказал, — Николай Петров!.. Он — подьячий... Он тебя в минуту на что хошь обменяет.

— Это верно, — вздыхает Волков. — За любую юбку тебя продаст. Да, верно. Верно. А ведь дом-то я на Долгоруковской Акулине подписал. Верил. Уж вот ласкова была. Вот друг, вот чисто ангел. А теперь Миколай-то с ней живет. Дело он вел, дарственную писал. Ну так, дьякон, скажи-ка, за кого душу класть?

— Да полно ты! — дьякон налил себе из графина рюмку водки. — Чего в таком разе, хвораешь — и все тебе в разум лезет пустое. Смирись. Возлюби врага своего ближнего.

— Да ведь я ничего, так, досада — ну и лезет в голову сволоча разная.

— Все это в тебе потому, что овдовел ты рано. Опосля того неча ждать любовности сладкой, и жизнь во вдовстве на вертуна играть пошла. Серьеза нет. Случай разные такие подворачивались между делом. Не ругай уж. Скажи, а ты сам-то не в грехах живешь? Акулина-то была тебя втрое моложе...

— Это верно, — соглашается, вздохнув, больной, — моложе была. Не будь этого самого подьячего, может стать, и не свернулась бы она. Пребывала бы в чистоте. А он, сукин сын, всему причина.

— Это верно, — соглашается дьякон, наливая рюмку рябиновой и закусывая икрой.

Больной смотрит на дьякона, как он пьет. Смотрит пристально, сочувствуя, и опускает голову. Помолчав, как бы про себя говорит:

— Степан Иванович, доктор Голубков, — хороший человек, а вот третий год пить мне вино запрещает. Говорит: нельзя одной капли, потому, говорит, у вас склервоз всех что ни на есть сосудов. А я ему — про тебя. Говорю: «Отец дьякон Крестовоздвиженский старше меня только на один год, а он может с бутылкой сладить, и у него, значит, стержозы в сосудах нету». — «Ну, — отвечает химия, — это еще неизвестно, может, у его еще боле. Я, — говорит, — его не расследовал».

Я и думаю: «Не зря ли попал к ему в лапы?» Не лечи он меня, не расследуй, — может быть, веселье жизни, какое ни на есть, видел бы... Пить нельзя! Поросенка в Рождество — не ешь, нельзя. Холодного-то поросенка — нельзя! Понимаешь? Крупу ешь, кашу, яблоко печеное...

— Я это уху стерляжью поел. Он как узнал — вот меня ругал. Ну, я думаю, батюшка, октись! Так у меня все нутро затоскует! Пускай, думаю, помру, — все едино, и да еще две тарелки и съел. Он пришел, слушал, слушал трубочкой — где ему! узнать не может ничо чем.

И больной, улыбнувшись, присел на постели и весело смотрел на отца дьякона.

— Ну-ка, дай-ка мне икорки лизнуть! Эх, икра-то зернистая.

Дьякон подвинул больному икру, рюмку и стал наливать рябиновой.

— Постой, — испугался больной, — это ты зря! Что ты? Никак нельзя мне.

— Рябиновая не крепка, — успокоительно сказал дьякон.

— Это верно, — согласился больной и опрокинул рюмку в рот.

— Три двадцать. У Колганова брали, первый сорт.

Выпив и закусив икрой, больной старик повеселел.

— Вот, отец дьякон, вот ведь в чем дело в жизни заложено. Доктор меня лечит, и хорош, доктор — Степан Иванович, и все его почитают, но только строг очень. Сам все в меру, ничего спиртного, ни-ни. Помню, когда я покрепче был, старость еще не досаждала мне, в сосудах себя не показывала еще эта стерьоза, — помню, на его именинах я у его был. Ну, гости, действительно, были все более доктора. Честь честью, все как надо, ели, пили. Именины, конечно. Ну, и сам он еще молодой, холостой, и, значит, музыка, фортепиано у его. Сам он поет, можно сказать, голос у его — бас — очень хорошо. Ему этакая-такая подыгрывает на фортепиане. И он так жалостно поет: «Твоя любовь открыла мне могилу». Слушал я и думал: «Вот ведь что, чего

же это такое?» И в ум не могу взять. Слова такие дурацкие, ведь он доктор! Ты как думаешь, отец дьякон?

— Понять никак не возможно, — ответил отец дьякон. — Много этой не в духовном пении дурусти есть. Нескладно. Любовь — дело Божье. В ней что ни на есть сладость жизни положена. Открыла могилу ежели, то это такое дело, что тебе, Иван Васильевич, надо бросить у его лечиться. Человек, значит, пустой.

— Постой, убери скорей со стола, — вдруг заволновался больной, — а то звонок в коридоре! Знать, он сам приехал.

Дьякон наскоро убрал и рабиновую, и икру и спрятал за занавеску окна.

Вошел доктор, посмотрел на отца дьякона и на больного.

— Ну, как ночь спали?

— Да как спал, — ответил больной, — всю ночь бабы в голову лезли!

— Как «бабы»?

— Да вот так, что бабы... Вот и поди ты...

— А вы что кушали на ночь? — строго спросил доктор.

— Что ел? Кашу, — скучно ответил пациент.

— Кашу — тяжело на ночь. Потому и сны неприятные в голову лезут.

Доктор наклонился над больным, пальцем поднял ему веко и сказал:

— Смотрите кверху!

Пациент посмотрел кверху.

— Ну, а теперь вниз.

Больной купец посмотрел вниз.

— Кусок бумаги!

Больной позвонил в звоночек и крикнул:

— Аннушка!

Аннушка принесла бумаги и чернил. Доктор написал рецепт.

— Вот, пошлите в аптеку, — сказал доктор. — Вам принесут пузырек, вы выльете все содержимое в стакан и выпьете на ночь перед сном. Снов этих у вас больше не будет. Ну, а завтра я вас навещу.

И доктор ушел.

— Вот, заметь, — сказал больной, — и каши нельзя!.. Глаза у меня глядит!

— Чудак ты, право!.. Он доктор, так ведь он в науку свою верит. Наукой живет.

— Ну и дьявол с ним и с его наукой! — расสวิрепел вдруг больной. — А то вот что! Будь друг, сходи, Аполлинарий Михайлович, в Охотный, купи гуся пожирней да у Смирнова захвати бутылку — белая головка, да коньячку три звездочки. Авдотья гуся жарит, с капустой, к обеду, и мы завтра с тобой поглядим, узнает он про это самое или нет! Надо же чем-нибудь стерзьозу эту самую из жил выгонять!.. Не пузырьками же!..

Куриная Слепота

Тихий июльский жаркий день склонялся к вечеру.

Вечернее солнце розовыми лучами освещало небольшую деревянную мельницу. В соломенной крыше с торчащими жердями, в небольших сосенках, идущих по песчаному бугру, в подмосте плотины, в длинных вечерних тенях от ольховых кустов, — во всем была разлита какая-то печальная отрада летнего вечера.

Среди тишины слышно было, как капала вода с колес мельницы. Помола не было и на мельнице было скучно.

Мельник Никон Осипович уехал с семьей в Заозерье к родным.

Я и приятели мои сидим у дома мельника. Стол и лавки вынесли из избы наружу, и возчик, Иван Васильевич, подбодрил самовар.

— Скучно одним-то, — сказал Иван Васильевич, — повадней, когда народу-то много.

— Как бы молока достать? — спросил приятель Василий Сергеевич.

— Как достать? Попытаю, пойду погляжу в избе. Вот ведь тоже, смотрите, уехали в Заозерье, а ничего не заперли. На три дня ведь Никон уехал.

— А ты почему знаешь? — спросил я.

— Знаю, праздник в Заозерье приходский; ну, туды уехали. Так уже заведено. Родня там у ево.

— Значит, нам придется одним быть. Благодарю вас! А вот тучи собираются, видите, гроза будет.

Действительно, в вечернем небе клубились тучи, надвигались друг на друга, и в высоте над нами края их ярко освещались заходящим солнцем.

Потемнели сараи мельницы; соседний сосновый лес стал как угрюмая стена; как гребень, выделялись верхушки огромных елей, уходя вдаль.

Солнце село за тучи, и сразу потемнело кругом.

Блеснула молния, и раздался удар грома.

— Начинается! — сказал Василий Сергеевич.

Сразу хлынул дождь, и бурая река покрылась пузырями.

Гром ударил сильнее.

Мы вбежали в дом. В доме было темно. В каморке за печкой слышим хриплый голос:

— Господи, помилуй, Господи, помилуй.

— Ишь, — сказал возчик, — тут кто-то есть.

И он пошел за печку.

Мы хотели зажечь свет, но не было ни свечи, ни лампы.

— Кто? Чего тебе надо? Уехали, уехали, — сказал голос за печкой.

Иван Васильевич, вернувшись, сказал:

— Там какая-то старуха...

— Зажгите же свет, — крикнул Василий Сергеевич.

— Чего вы? Кто вы? какой народ? Батюшки! Господи, помилуй! — причитала в своем углу невидимая старуха.

Раздался сильный удар грома, и подробнее в окна застучал дождь.

— Уедемте отсюда, — горячился Василий Сергеевич, — я здесь не останусь!

Иван Васильевич принес лампочку и зажег. Она тоскливо мигала на столе.

Из-за печки все доносилось бормотание старухи:

— Чего приехал, как бы знамо? Ишь, беда, пропаций. Кабы знамо, заперли бы меня... А ну, вот на!.. Пошел!.. Уходи!.. Леший!.. Проклятый! А-а-ах!

Юрий Сергеевич взял лампочку и пошел за печку.

— Что это она там? Посмотрю.

За ним пошли тихонько мои приятели.

За печкой в углу, прислонившись к бревенчатой стене, на полу сидела в лохмотьях древняя старуха и смотрела слепыми белыми бельмами как-то вверх.

Мы все были поражены ее жалким видом.

Вернувшись назад к столу, приятели сидели молча.

Охотник Караулов вынул закуски, отрезал кусок колбасы и ел молча.

— Как бы уехать отсюда? — спросил я возчика Ивана Васильевича.

— Что же, попытаем, — нерешительно ответил Иван Васильевич и пошел во двор к лошадям.

Гроза удалялась, но молния сверкала часто, и дождь лил как из ведра. Ночь потемнела.

— Молока-то нет, — говорил Караулов. — Корова-то пришла в сарай, я видел. Вот, Вася, ты пошел бы, подоил.

— Нет уж, бросьте ваши шутки. Не до того. Старушка хороша сидит за печкой. Видали? Благодарю покорно! Приехали! Как это только ехать будем отсюда.

— Запрёт, — сказал, войдя, возчик, — только вот что, как хотите, ехать трудно, не приведи Бог. Круча под Покровом. Ночь темная, воробьиная. С кручи бы не ахнуть.

— Это еще что за штучки! Что значит «воробьиная»?

— Выйдите, поглядите. Руку свою не видно около. А дорогу совсем ничуть. Не доехать...

— Ерунда, — сказал Василий Сергеевич.

— Чего, чего пришел, острожный, убивца, кто тебя звал?

Старуха, ползя на руках, показалась из-за печки.

— Идем! — не своим голом крикнул Василий Сергеевич.

Потушив лампу, мы ощупью вышли на крыльцо избы. Кругом было так темно, что мы не видали друг друга.

Возчик Иван Васильевич отошел, и слышно было впереди, как фыркали лошади, — нам их не было видно.

— Идите, — позвал Иван Васильевич.

Мы все пошли на его голос...

— Вот, вот сюда... эвота... Сядете ль?.. Я сейчас пойду в избу, забыл корзинку, возьму.

Вдруг резко осветилось окно избы, и послышался крик.

— Расточись, свят, свят! Убивца, не боюсь я тебя. Пошто пришел?

* * *

Мы ощупью сели на подводу.

Иван Васильевич примостился впереди.

— Ну, трогай, грех неровный, — сказал он, хлопнув вожжами.

Лошади медленно двинулись и остановились.

— Вот ведь, — обернувшись, сказал Иван Васильевич. — Как поедешь?

Он опять дернул лошадей. Они пошли, и под колесами захлопала вода.

Когда проехали горку, переднее колесо за что-то зацепило. Телегу наклонило на сторону. Юрий соскочил с повозки.

— Стоп, — сказал Василий Сергеевич и тоже соскочил. — Я пойду пешком. Буду держаться за телегу.

В это время сзади нас, на крыльце избы, раздался громкий смех.

— А-а-а, а-а-а, испугался!

Что-то жутковатое было в этом смехе старухи среди темной ночи.

— Благодарю вас, — сказал Василий Сергеевич. — С вами, как ни поедем, всегда чепуха выходит. Хороша старушка. Поезжай, Иван Васильевич, чего здесь ждать?

— «Поезжай»... Да как поедешь-то? Чего старуха? Пущай! Она без ума, а все же в избе лучше. Ехать нельзя, как хотите. Вернемся. Я самовар поставлю, сена принесу, а с утра будет по-другому. Ночь перетерпим. Чего же от жилья ехать? Да и что? Сами видите. Нельзя доехать. Застрянем. А может, опять дождь. Вот опять накрывает.

Сверкнула молния, и послышался гром.

Иван Васильевич взял лошадей под уздцы и повернул назад к избе мельника.

Входя в избу, он опять зажег лампочку. Все вошли в избу. Что за притча, — старухи в избе не было! Все как-то переглянулись, а Василий Сергеевич, прищурив один глаз, таинственно сказал:

— Старушка-то слепая? Да-с? А вы уверены — старушка ли это?

— А чего? — спросил Караулов. — Она здешняя, ушла куда-нибудь, мало ли что слепая.

— Да-с?.. старушка?.. А я вот ружье заряжу и под икону в угол сяду, тогда пускайка приходит. Я ей покажу...

И Василий Сергеевич, не снимая шапки, сел за стол в угол под иконой, держа около себя ружье.

Караулов из корзинки доставал закуски.

— Что же это ты, Вася, под икону сел, а в картузе? — спросил я.

— Это верно, — спохватился Василий Сергеевич и быстро снял картуз.

Все-таки, выпивая и закусывая, друзья мои удивлялись, куда могла деться слепая старуха в такую ночь.

Принесли самовар, и, разливая чай, Иван Васильевич, качнув головой, нерешительно сказал:

— Есть отчасти, бывает этакое-то, старуха, кто ее знает! Ночное дело. Мельница! Никого нет. Может, это не старуха, а душа. Упокойница, может, какая прежняя. Народа-то нет — она и пришла.

— Знаете, Константин Алексеевич, с вами еду в последний раз. Я и ехать не хотел. Нет, зовут! Ты тоже, Юрий: «Едем, едем!» Дьявол бы вас всех подрал!..

— Что же это ты, Вася, под иконами сидишь и чертыхаешься?

— «Чертыхаешься!» Вы доведете! Не угодно ли — спать теперь не будем. Как хотите: придет эта «покойница» — я ее из ружья дробью шаркну. Довольно, скажу, голубушка, шляться. Подите, дурачков пугайте, а у меня ружьецо-с заряжено. Нечего по ночам гулять.

— Ну и сердит ты, Вася, — сказал Юрий. — Ты, чего доброго, сдуру и вправдухлопаешь несчастную старуху!

— Сдуру — не сдуру, а я вам покажу!..

Василий Сергеевич, вдруг выскочив из-за стола, открыл окно и с остервенением стал палить из ружья — «раз! раз!».

— Какой леший в окно стреляет? — послышался мужской голос из сарая мельницы.

— А ты кто такой? — закричал Василий Сергеевич. — Иди сюда.

Издали послышались шаги, отворилась дверь, и вошел низенького роста, бородастый, заспанный мужик.

Сняв шапку, сказал:

— Вона чего! Охотники. Василий Сергеевич. Здравствуйте. Я-то спал, проснулся и думал — кто огонь светит. Думаю — Авдотья слепая. Ишь угораздило огонь засветить. Дивился. А вона чего. Гости наши приехали. Слышь, завтра утром в нижнем омуте, после грозы, сомы гулять будут, и сомина тут есть, боле тебя будет, Василий Сергеевич. Вот бы тебе его пымать. Вот, сомина, говорят, он жеребенка съел раз. Жеребенок пропал у Никона. Да ведь кто знает? Съел! Где ж жеребенка съешь? Цыгане стояли... Не они ли его и съели? Я-то хоша сторож, а где же, замков не держим, за всем не углядишь — замок кажинному нужен; ну, и упрут.

— Ты сторож, вот скажи-ка, тут в избе старуха была, а теперь ее нет, куда она делась?

— Авдотья? Курина Слепота? Знать, ушла в черну избу, где помольцы спят. Слепота куриная, она ночью видит, а днем хошь бы что. У ней мужа и детей убили. Хватила много горя — ну, теперь она всех разбойниками крестит, никому у ей веры нет...

Русское лето

Мимо дома моего, за частоколом сада, шла проселочная дорога и тропинки, протоптанные в мелкой травке, покрытой розовой и белой кашкой и длинными стержнями дикой рябины.

Когда кто ехал по этой дороге, то поднималась пыль.

За дорогой была сплошная нива. Густая, сочная. И синие васильки прелестью лазоревой веселили душу.

Когда я смотрел из окна своего деревенского дома на это море поспевающей ржи, какое-то отрадное чувство входило в душу.

Лето. Деревня. Покой.

Созерцание полей, торжество лета рождали покой и отраду. Забывался город, споры, повседневные заботы и огорчения.

Помню раннее детство, деревенскую школу, когда мы, мальчики, пели перед учителем, серьезным и добрым Петром Николаевичем:

Нива, моя нива,
Нива золотая,
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая!

Вместе с полями ржи мне вспоминается вся моя жизнь в России.

Как отраднo было ехать в телеге этими проселками, полями, над которыми клубились кучами облака лета.

И, едучи с приятелями на какую-нибудь мельницу, в гости к лесничему, на речку, среди зеленых кустов, в эти дивные куски рая земного, я всегда чувствовал себя счастливым. И ничего мне не было дороже на свете созерцания этого дара Господня...

Как прекрасна Россия! Как восхитительны необозримые поля ее и голубые дали!

Бегающие дороги всегда звали неведомо куда. И куда я ни ехал по ним, я всегда встречал привет, простую жизнь и любовь. Я никогда не видал вражды к себе — только уют и гостеприимство.

Я никогда не встретил косога взгляда, — был ли я беден или богат. И никто меня не спросил: «Какие источники доходов ваших родителей?»

Что за странность! Я редко слышал разговоры о деньгах... Куда бы я ни приезжал — ласка и забота — как бы угостить получше. А для какой корысти? Я был для этих случайным гостем. За чаем, за беседой вечером каждый поведывал мне свои огорчения или радости, и никто никогда у меня ничего не просил, ничем не укорял.

Были мрачные и неудачливые встречи. Но редко. Они как-то не запоминались, выпадали из жизни, — среди природы, полей веселых, среди ржи золотистой, лесов обильных слагался щедрый характер русских людей...

* * *

Мы спускались из леса под горку, к деревянному мосту. За седыми елями, сквозь длинные стебли иван-чая блеснула речка голубой рябью.

— Купаться! — закричали мои приятели.

Повозки останавливались у старого деревянного моста. Мы видим дно реки, песок, осоку. За ней, как оловянная игрушка, притаилась щука и замерла.

Увидав нас, она мгновенно пропала.

— А ведь фунтов на десять! — сказал Василий Сергеевич. — Знаете что? Хорошо здесь, у моста. Останемся здесь. До лесничего Елычева еще семь верст. На кой черт, успеем. От добра — добра не ищут.

Хорошо! Приятели разделись и полезли в реку.

— А хорош голым толстый Юрий!.. — сказал Василий Сергеевич.

Тот сосредоточенно мочил голову и сердито посматривал на нас — человек серьезный и насмешек не любит.

Вода теплая, парная. Светлая, как кристалл. Зеленые стрекозы летают над рекой. Какие-то голубые, пестренькие коромысла, как изящные брошки. Седой ивняк блестит на солнце, и сочные ольховые листья, отражаясь в воде, мягким бархатом зеленыт реку.

«Рай», — подумал я.

В тени, у кустов лужка, щипали траву распряженные лошади. Телеги стояли в тени леса.

Герасим разложил скатерть, расставлял чашки и стаканы из моей походной корзинки и, смеясь, говорил:

— Мост-то, а через него ведь не проехать, гляди-ка, сгнил. По нем и не ездят. На Елычево-то надо брать ниже. Это Батранов нас на гнилой мост завез.

— Явный факт, — отвечает Батранов, — а кто ж его знает, когда он сгнил.

От костра стелется дымок, пахнет еловыми шишками и можжевельником.

— Колька! — кричит, сидя по горло в воде, Василий Сергеевич, — ты бы хоть половину брюха у Юрия себе взял.

Войдя по колена в воду, Коля Курин долго нерешительно поеживается и, наконец, по-бабьи, приседая, несколько раз погружается в реку: «У-ух... у-ух...»

— А вот как из воды-то вылезать, — кричит Василий Сергеевич, — слепни заедят. И как это все подло устроено, зачем слепни сотворены? Хорош рай!

Он презрительно подмигивает мне. Выйдя из воды и одеваясь на берегу, Юрий Сергеевич отмахивается полотенцем, отгоняя слепней, которые вьются над ним.

— Юрий, да ты закури, — говорю я, — слепни-то и отстанут...

Юрий мрачно посмотрел на меня и стал доставать из куртки портсигар.

Неизвестно почему сидевший рядом Василий Сергеевич хлопнул его изо всех сил ладонью по животу.

Тот от неожиданности выпустил изо рта папиросу, схватился за живот и, выпучив глаза, крикнул:

— Да что ты, ошалел, дура!

— А что? Я слепня убил.

— Вот, возьмите идиота! — сказал Юрий сердито, растирая живот ладонью. — Все дурацкие шутки. У меня заворот кишок сделаться может. Скотина!

* * *

Вскоре все приятели сидели в тени леса, пили чай с малиновым вареньем и закусывали пирожками с грибами.

Только с Колей Куриным что-то случилось. Он морщился, делал кислую рожу и, поплеывая в сторону, с испугом смотрел черными глазками в пространство.

— Что с тобой, — спросил я, — садись, пирожки-то какие!

— Погоди, погоди, я, кажется, клопа лесного съел. С ежевикой попал в рот. Какая гадость!

Коля ополоснул рот чаем.

В какой-то несказанной неге и лени лежали мы на пахучей прибрежной траве. Не хотелось ни двигаться, ни думать. Слышно было, как в ветвях ели однообразно жужжала муха, попавшая в паутину. Вечернее солнце озолотило берег.

— Что же, ночевать будем здесь? — спросил Юрий. — Комары заедят...

— Вы! Будет прохладиться! — крикнул Василий Сергеевич. — Надо костер собрать, на уху наловить. Что же, в самом деле? Ты вот, лентовайский, раздевайся-ка да в реку полезай, сеть ставить. Клопа съел — эка невидаль! — и расстроился. Какие нежности, смотреть противно.

Василий Сергеевич ушел к мосту и стал разбирать удочки, Невдалеке раздался выстрел, и над нами пронеслась стая уток. «Это Герасим», — подумал я.

И действительно, с противоположной стороны моста показался Герасим, держа в руках кряковую утку.

Перекинув мелкую сеть к кустам ольхи, в реке, мы опять купались. Вода была еще теплее к вечеру. Уж солнце село. Лиловой мглой покрылось небо, и сбоку, за ветвями елей, показался блестящий серп месяца...

Какая красота разлилась кругом. В тишине природы слышались отдаленные звуки, то крик козодоя, то треск упавшей ветки. И вдали трещал коростель.

— Попалась, попалась! — закричал Василий Сергеевич и бросился в воду, к сети.

Кол от сети качался — большая рыба ворочалась в ней.

Василий Сергеевич тащил сеть на берег; в ее петлях торчали, шевелясь, раки, ворочался большой темный налим.

— Ну и уха! Смотри-ка, раки! — обрадовался Юрий.

Вылезая, приятель Вася опять хлопнул — на этот раз легонько — Юрия по животу. Тот отскочил.

— Довольно, идиот!

— Идиот? А кто поймал-то? Налим-то каков! Господа, а я на вас работай...

— Тоже работник, — процедил Коля, — поймал! И я тоже ставил сеть-то... Озяб.

— «Тоже, тоже»!.. — передразнил его Вася.

Слышно было, как Герасим топором рубил сушняк. И вскоре большой костер запылал.

В темной ночи высоко засверкали звезды. Пахло лесом, травой, скошенным сеном.

Вдали над речкой лег туман.

Россия! Как можно забыть красу твою!..

На Волге

Не знаю — как кто, а я очень люблю рынки и базары. Люблю крики торговцев, предлагающих свой обильный товар.

Как хороши рынки в Париже: чего только нет! Дары обильные земли. Хлеб наш насущный. И какая красота: среди зелени лежат рядом блестящие рыбы — дары моря. Какие яркие краски!.. Фрукты, ягоды, помидоры, лук, салат, дичь, фазаны, куропатки...

Люблю я проходить базаром по утрам. Какое оживление — и душа моя уносится к воспоминаниям, туда, на родину. И там я восхищался рынками и базарами. Разнообразны были базары в России. Я их видел от Архангельска и по Волге и базары Кавказа, Крыма и дальней Азии, вплоть до Гималаев. И все люди на базарах мне представлялись — положительными, солидными и нужными в жизни.

Вспоминаю один базар на Волге, туда, к Астрахани. Уж не помню города — кажется, Царицын. В жаркий день, у самой Волги, у затора барок, пристаней и пароходов, в парожном дыму, — бесконечные склады хлеба, рогожных мешков, всяческая снедь, цветная толпа народа. Трактиры с раскрашенными ставнями, горы сухих судаков и воблы, кучи стерлядей, вертящихся в корзинах из зеленых прутьев, и поразившая меня огромная белуга. Она еще была жива — и, задыхаясь, открывала огромный рот.

С другой стороны пристани — горы камышинских арбузов; на досках, ящиках сидят какие-то татары, крючники, богомольцы в белых сермягах, едят эти арбузы. Купцы у прилавков, увидя меня, предлагают «свежей, зернистой икорки». Тут же разрезают осетра, выкладывают икру в миски, солят щепоткой соли. А рядом тетки-торговки предлагают вам калачи, какие-то мягкие, особые — пеклеванные... Вы наедаетесь икрой, и радуется торговец, когда вы похвалите его товары: «Скажи-ка адрес, где живешь? Ужо будет белужья, вот я тебе пришлю самой свежей».

Купец — в фартуке, и глаза у него тоже как у белуги.

Пить хочется... камышинский арбуз манит съесть его.

— Вот хорош арбуз! Бери, — говорит молодец. — Сахарный! Ноне не в меру уродило. Бери: пятачок пара.

Я говорю:

— Я тут его и съем.

Молодец берет арбуз, разбивает его и кладет на прилавок. Говорит, смеясь:

— Велик! Съешь ли?

Этот базар шел без конца по Волге. Какая-то выставка обилия могучей русской земли... Какие-то сельди, золотые, целый берег завален какой-то серебряной, блестящей рыбой — «чехонь». Я никогда и не ел этой рыбы: она, кажется, стоила чуть не две копейки пуд!

И тысячи чаек пожирали эти горы рыбы. А надо всем — в даль бесконечную стелется светлая матушка-Волга!..

* * *

На возвышенном берегу стены старого собора. В воротах видны в черных подрысниках и камилавках монахи. На всей пестроте окружающего они какие-то мрачные, черные... Звонят ровно колокола соборов и церквей... Успенский пост!

Купцы крепко держат посты...

— Не едите рыбы-то в посту? — спросил я лавочника.

— Да где ж. Пост держим, да, признаться, и надоела рыба-то. Вот вы, приезжие, до икры-то охочи, а нам-то и глядеть тошно. Ну какой когда севрюжки — туды-суды, а то претит рыба. Все в рыбе живем.

— А что же вы едите? — удивился я.

— Да ведь как сказать? Хлеб больше! Оладьи с медом, огурцы, капуста, щи с грибами. Грибы-то от вас идут, белые — сухие. У нас грибов-то мало. Почитай, что и нет. Да ведь в России на каждое место — свой продукт земля дарит!.. Балыки по осени будут. Это с моря придет. Эх! Балыки хороши! Много всего! Тоже надоедят.

— Что же у вас, в городе-то, музыка есть? Театр?

— И-и... — ответил купец. — Сколько хочешь. От вас приезжают. Актеры, певцы, певицы — любим мы. Хоша и грех, ну да ведь не удержаться. То ли, сё ли, в театре бываю. За душу берет! Угощение артистам делаем. Народ занятный. И чего только есть! Один так насмешил! Где бы ни был — пишет: «Пришли корзиночку». И я уж всегда посылаю. А вот теперь что-то давно не пишет. Знать, помер.

— А фамилия-то как? — спрашиваю я его.

— Как фамилия-то? Постой, постой. У его два прозвища: одно-то вроде Вральский, а другое — Козельский... Чего-то я, кажется, путаю... Но только играл он в театре, вот здорово! Короля Лира... Так весь театр плакал. Даже полицмейстер и брандмайор. А уж они-то к слезам привыкли.

— Отчего «привыкли»? — удивился я.

— Да как же!.. Один с жульем, ворами всю жизнь ведет, а другой с пожарами. Тоже горя нахлебались... Сам Шаляпин у нас запрошлый год был. Так весь город чисто как помешался: ничего боле нет, как Шаляпин. Жены что делают! Билеты берут! Театр сломили! Нешто поместишь всех... А он-то, дак тихонько из театра уходит, а то ведь одолеют, раздерут. Шапку ведь отняли! На маленькие лоскутки разодрали! На память, стало быть. А одна у него платок взяла. Так другая-то увидела да оторвала половину. А та-то взяла да эту половину съела, чтобы не давать ей, — да подавилась. Помирает! А не кто-нибудь: дочь градского головы нашего!

— Что же, не померла? — спросил я.

— Нет. Выгацили прямо из нутра. А все же этой-то кусок не отдала нипочем. Говорит: «Помру, а не отдам». Тоже! Вот приезжали актеры: Вишевский, Качалов, Москвин.

Тоже было это самое... Так до того их запотчевали, что они и ехать куда — не знают. Да ведь по Волге нетрудно запутаться. Буфеты везде. Стерляжка — кольчиком. Ну, и угощение при этом что надо. А города-то по Волге часто. Ну, домой-то приедешь аль нет — неизвестно. К тому же женский пол... Это у кого хочешь ум раскорячится. Театры у нас любят... Ну, а в посту уж нет! Все на изюм садятся: надо грехи замолить!

* * *

Шумят колеса парохода «Самолета». Тихая Волга. Вечер.

С одной стороны видно: возвышенный берег, покрытый лесом. Вечерняя, розовая зорька. Далеко-далеко легла ширь Волги. Что-то грустное и таинственное есть в вечерней русской заре.

Сяду на палубе, у столика. На лавочке, впереди, в картузах и поддевках, сидят какие-то солидные торговые люди. Навстречу нам идет небольшой пароход и тянет вереницу пустых барок.

— Это керовской, — заметил один в картузе. — Сорокина. Чего? Плюнуть стоит пароходишко. У него капиталу-то кот заплакал. Керов-то богатый. Где же Сорокину до его, он третью жену с приданым берет.

Пароход уже равнялся с нашим «Самолетом». Один, в картузе, встал, подошел к перильцам и, приставив руки ко рту, закричал: «Чей пароход-те? Са-а-рокин-ский?» С парохода, издали, отвечали: «Протри бельмы-то, пьяна ро-о-жа. Пароход чей? Купца первой гильдии Ке-е-ро-о-ва. Сорокин-то по-о-мер. В долговой, в рот-те нога».

Купец в картузе, видимо, рассердился и закричал пароходу:

— Керовский — жулик. С кем говоришь-то? На кого лаешь? Капиталом поравняемся. Небось! Стерва.

И, обернувшись ко мне, растопырив, руки, сказал: «Прямо шамотон. Озорной народ. И чего лается».

— Волен больно, — сказал другой. — Это механик Миколка Тихонов. Ему в Сызрани за озорство шибко морду били.

— Река — вольна, — говорил первый купец. — Ну, самую эту удаль и вдаряет в нутро. Кажинный о себе думает: «Кто я? Стенька Разин!»

— Так ведь вот чего. До чего меня напужал надьсь один эдакой. Я в Шишкове, под Ярославлем, в имении, значит, у барина лес покупал, а он на круче живет, прямо на берегу дом его. Ну, говорили, говорили насчет леса. То ли, сё ли... Сошлись... А вечер, поздно. Пристань от него в версте. Попрощались. Я и хотел сократить дорогу да с кручи-то как а-ах. Батюшки. С кручи-то по песку качусь, круча лесная, елкой завалена. Я до самого низу летел. И сел. Очумел. Рад — жив остался. Смотрю: передо мной человек. Здоровый, молодой. Курчавый, волосы черные. В портках, а у пояса нож... Я думаю: чего это? Что за человек такой? Напужался. И говорю:

— Молодец, ты кто будешь?

А он мне и отвечает:

— Стенька Разин.

Я говорю:

— Полно пужать-то.

А он:

— Давай, — говорит, — пятерку.

Я говорю:

— На вот, красненькую возьми.
— Ну, — говорит, — спасибо. Ты, — говорит, — упал. Ну, чего сидишь, вставай. Я хочу встать, а у меня в ногах дрожь. Он видит, что я не в себе...
— Тебе, — говорит, — куда надоть?
— На пристань, — говорю, — к пароходу.
А он взял меня, как перышко, на плечи положил, да и понес — чисто лопату.
«Ну и сила», — думаю.
Пришел на пристань, поставил и говорит:
— Спасибо тебе за красненькую...
А сам смеется. Одет бедно, прямо бродяга.
Я говорю:
— Я тебе место дам. На сплав возьму.
— Нет, — говорит. — Я в батраки не гожусь.
— Эк ты какой.
— Какой такой? Стенька я Разин. Понял? Не дал бы мне коли красненькую, так в праведниках ноне бы был. А теперча прощай.
Повернулся и ушел.

Жара

— Заметьте, — говорит некий мой приятель и рыболов, Василий Княжев, — вот ведь утро, а не продохнешь.
— Действительно жарко, — соглашаюсь я.
Василий подает мне стакан чаю, плюшку, хлеб. Не хочется одеваться.
Сидишь на постели свеся ноги, босиком. Носки надо надевать. Не хочется. В открытое окно видны дома напротив, с зелеными и красноватыми крышами, раскаленными на солнце. Вдали — Сухарева башня, как какая-то обсосанная карамель. Синее небо — без облачка. По мостовой едут ломовые вереницей. Везут пустые бочки. Стучат колеса по мостовой.
В окно доносится запах рогожи, кваса.
— Василий — говорю, — сбегай в овощную лавку, купи две бутылки говоровского квасу, похолодней.
— Квасом нешто напьешься, — говорит Василий, — от его у меня как клей во рту становится. Лучше пиво черное.
— Ну ладно, ладно, тащи пива.
У окна, сбоку, сидит приятель Коля Курин. Скучая, читает «Русское Слово».
— Ну что, — спрашиваю, — новенького?
— Новенького?.. Ничего... Никого не убили...
Мой приятель обиженно откладывает газету в сторону. Тишина. Зной...

Василий ставит на стол поднос со стаканами и начинает откупоривать пиво. Вдруг пробка хлопает, и желтая струя летит кверху. Василий старается рукой зажать горлышко бутылки — ничего не выходит. Сквозь пальцы, шипя, пена течет на пол.

— Ишь ты, — озадаченно говорит Василий, — теплое дали.

Остаток выливается в стакан. Но пена и из стакана сразу выливается через край.

Василий растерянно смотрит на вторую бутылку.

— Брось, Василий, уноси все. Поди-ка лучше к овощнику, купи «Ситро»...

Но и с «Ситро» случается то же самое.

— Знаешь, лучше возьми бессарабское белое, с водой хорошо, — предлагаю я.

— Вот, Василий, это правильно придумано, — говорит, несколько оживляясь,

Николай Васильевич.

— Что же ты в пиджаке сидишь, да еще в черном?

— Это верно, — соглашается Коля и медленно снимает пиджак и жилет.

— Не знаю, брат, что это значит — спать хочется. Зевота одолела...

— Ну вот что, — говорю я. — Василий, заверни-ка мохнатые полотенца в бумагу.

А ты, Коля, напиши, пожалуйста, — на дверь повесим: «Уехали в Кунцево купаться, вернемся вечером, в 8 часов»...

* * *

Медленно тарыхтит извозчик по Тверской-Ямской. Я, приятель Коля, Василий Княжев со свертком под мышкой, прислонившись к козлам напротив, едем на Александровский вокзал... В буфете прохладнее. На столах стоят пальмы. У стойки Василий спрашивает пива, Коля и я «Ситро».

Одетый в чесучу, в серой шляпе, разведя руки, как бы в удивлении, смотрит на нас артист оперного театра Николай Петрович Юнашев:

— Вы это куда?

— В Кунцево, — говорим, — купаться.

— Вот рад, я тоже в Кунцево, я там живу. Едем вместе. Вот вам билеты. У меня сезонная книжка...

В вагоне — снова духота.

— Я ведь в Москве три дня был, — рассказывает Юнашев. — Этакая жара... Двести восемьдесят давали... Черт ее знал, что она придет, а я пятьдесят на Гальгимора проставил! Вторым пришел!.. Остался на другой день. Эта сволочь трехлетка Диана последней пришла, а я шестьдесят на нее поставил!.. Вот что жара делает!.. Пятьсот сорок проиграл. Так, верите ли, места себе не найду. Черт меня дернул на даче поселиться!.. Поехал бы лучше в Крым, деньги были, а теперь... Аванс взял. Жди до двадцатого сентября и сиди без гроша за душой.

— Вы один на даче-то живете? — спросил Коля.

— Один, — угрюмо ответил тенор. — Приехал не один, а остался один. Так бывает. Если бы этого не было, я бы на скачки не ездил. Как приехал на дачу — все время скандал. Не знал я, что она такая поэтическая натура. Извольте ли видеть, на лодке любит кататься. Луна — и я тоже должен по Москва-реке на лодке валандаться. Но пусть не забывает — я тенор! Начнется сезон — пятьдесят других будет!..

— Но теперь не сезон, — сказал Коля.

— Да, конечно, — согласился тенор, — да и жарко.

В Кунцеве Юнашев зашел к себе на дачу взять полотенце. Мы дожидались у ворот. Когда тенор вышел, у калитки стоял разносчик.

— В понедельник, — поторопившись, бросил ему на ходу Юнашев.

— Чего, барин, в понедельник... Месяц гоняете, балык взяли... Двадцать шесть за вами. Чего? Хожу, хожу, тоже время тратишь. Эдак тоже не очень господа будете, а говорили, императорский... Не отдадите — к мировому подам.

Юнашев, не слушая, быстро шел мимо палисадников в кустах запыленной акации по пыльной дорожке. Разносчик шел сзади за нами и кричал:

— Знать, деньги мои ау?!

— Невежа! — вдруг остановился и завопил Юнашев. — Скотина! Говорю, что в понедельник.

— Сам ты скотина! — кричал разносчик. — Сейчас к становому пойду, на гроб тебе не оставляю. Любишь балык-то есть? Тоже барин!..

Тенор, не слушая, быстро повернул за дачи по дорожке в парк. Из парка шел большой спуск вниз, показалась широкой лентой красавица Москва-река. Внизу — маленькая хижина рыбака-лодочника. Цветные лодки стояли на привязи для катанья публики. В тени большого вяза, за столом, сидела компания и пила чай.

На ровном зеленом лужке мы живо разделись и бросились в воду.

За седым ивняком берега купались женщины и весело смеялись и повизгивали. Юнашев, по горло в воде, запел:

Куда, куда, куда вы удалились
Весны моей златые дни...

Женщины вдруг перестали смеяться, а по берегу подошли какие-то нарядные дачники. Остановились и посматривали в нашу сторону.

Коля окунался, стоя по колена в воде.

— Что ж ты у берега там купаешься, иди сюда, не утонешь.

— Я, брат, плавать не умею — захлебнешься!

— Постой, я тебя выучу... Василий, брось-ка мне полотенце.

Василий бросил с берега полотенце, я поймал его.

— Ну вот, Коля, возьми в зубы край полотенца, ложись на воду и болтай руками и ногами, а я тебя потяну.

Коля взял полотенце в рот, лег на воду и тут же захлебнулся. Он выскочил на берег и, согнувшись, долго кашлял.

— В уши вода. Ой... умираю...

Юнашев, выйдя на берег, тряс побледневшего Колю за плечи.

— Это, когда учат плавать, завсегда так, — сказал Василий Княжев. — Меня-то учили — прямо на глубину пустили да сказали: «Черт с ним, пускай потонет». Это, конечно, не господа, так я нахлебался воды, а выплыл. А где? На Москва-реке тоже, на барке, против шпитального дому. Выпивши, конечно, товарищи-рыболовы бросили с барки. Так глубина какая! Как это Бог спас, под барку не попал... А что? Надо, вижу, спасибо сказать. Без вина бы пропал, а оно внутри-то, может, себя тоже спасало. Есть в ём жизнь. Пьяному море по колена, Бог бережет...

Под большим вязом, у накрытого скатертью стола, сели мы на лавочках после купанья. Лодочник принес самовар и поставил на стол. От самовара вился дымок, пахло еловыми шишками.

Хорош чай с крыжовенным вареньем.

Разносчик с лотком предлагал нам калачи, колбасу с чесноком, белорыбицу, балык.

Юнашев недовольно смотрел на разносчика и мрачно сказал:

— Не надо соленого, обопьемся.

Мы после купанья, действительно, выдули весь самовар. А поодаль, под большими деревьями парка, на травке, сидели дачники и посматривали в нашу сторону. Дожидались: не запоет ли тенор.

С купанья отправились к Юнашеву. Он отпер дверь ключом, и мы вошли. На столе, посреди комнаты, стояли пустые крынки молока, грязный стакан, лежали черствые объедки хлеба. Пол был сплошь засыпан билетами тотализатора.

Юнашев стал наскоро убирать со стола. Видимо, прислуги у него не было.

В другой комнате была видна неубранная постель. На полу тоже валялись билеты тотализатора, а сбоку — маленькие разорванные женские туфли с голубыми бантиками.

Юнашев искоса посмотрел на нас и сказал:

— Я на завтра лошадку знаю, — пятьдесят за десятку дадут.

Мы с Колей предложили ему по десяти рублей взаймы. Тенор ожил и повеселел.

— Вот если на третий заезд рискнуть на жокея, то тоже наверняка взять можно.

— Сколько время-то? — спросил Коля, посмотрев на часы. — Не пора ли в Москву?

— Едем! — обрадовался Юнашев.

На другой день к вечеру мы опять поехали в Кунцево купаться.

Когда ехали на извозчике по Тверской, увидели идущего пешком навстречу Юнашева. Остановились и окликнули его. Он быстро подошел к нам.

— Ну что, как лошадка? — спросил его приятель Коля.

— Вообразите, — сказал он в волнении, — без хлыста, подлец, ехал! Полголовы проиграл, мошенник!

Во всей фигуре Юнашева было возмущение.

— Бог с ним, Николай Петрович, — сказал я. — Едем купаться. Жара ведь. Пообедаем на станции.

Он примостился с нами на извозчике...

На станции за столом мы спросили окрошку. Юнашев отказывался есть.

— Не хочу, — сказал он, — жара...

И, наклонившись, сказал мне тихо:

— Вот что, дайте-ка пятерку: завтра верная трехлетка...

Я вздохнул и потянулся за кошельком.

Юнашев мгновенно оживился. А получив от меня тихонько в руку пять рублей, добродушно улыбнулся, сказал: «До свиду!» — и ушел...

Мораль

Утро. В окно моей деревенской мастерской я увидел, что на больших березах сада появились желтые листья, и грусть вошла в душу. Август — август. Скоро осень. Пролетело лето незаметно. Наступят дни ненастные. Улетят скворцы, малиновки из сада моего, улетит и иволга. И гнездо горлинки на террасе дома моего уже пусто.

Как грустно расставаться со всем тем, что любил, чему радовалась душа!

Друзья мои, охотники, понемножку встают: устали вчера на охоте. Идут к речке умываться. Вернулись, все на террасе, стол, самовар, горячие оладьи, пирожки с капустой, грибами. Говорю им:

— Вот гнездо горлинки в углу. Вывела детей и улетела. А как, бывало, курлыкала ласково. Грустно вспоминать.

— У меня, брат, не горлинка, а бабы все разлетелись. Уж вот курлыкали до чего! Я им сдуру всем верил, — сказал приятель Коля Курин, кушая пирожок и запивая чаем.

— А я вот не верил им ни одной, и они мне не верили, а все целы, не разлетаются. А я сам с утра думаю — куда бы сегодня улететь, — смеюсь, говорил другой приятель мой, Василий Сергеевич.

— А странно все же, — сказал, медленно наливая сливки из молочника в стакан, доктор Иван Иванович. — С утра вы какую-то аморальщину несете. Вроде как турки какие-то. Что же у вас, гаремы, что ли? Ведь это что же такое? Понять трудно.

— Ишь ты, смотрите, Ванька-то себя каким показывает! Кто я?! Моралист! А ты вот скажи — отчего у тебя левая бака короче стала?

Доктор Иван Иванович смотрел белыми глазами как-то в пространство — потом сказал:

— Да, странно. У одного все разбежались, у другого все целы. Это что ж — хлыстовщина какая-то? А баки короче, вы думаете, что жена укоротила? Нет! простите. Я спиртовку разводил, и она вспыхнула, только и всего.

— Вот и врешь, — засмеялся приятель Вася. — Сам рассказывал, что тебе какая-то истеричка вцепилась в баку и тебе наскоро отрезать пришлось. Забыл?

— Эх, хватил! Это было когда? Запрошлый год. И совсем не истеричка, а одна пациентка была влюблена в меня, а я не желал. Так вот она со зла, было это самое. Я уж тут ни при чем. И все оттого, что я на нее не с вожделением смотрел. И смотри я с вожделением, этого бы не было.

— Вы послушайте, — говорит мне, смеясь, Василий Сергеевич. — Слышите? Ванька знает, как с вожделением смотреть. А? И что только врет! Это он — с вожделением: глаза белые, как у галки. Вожделение! Это вот Николай — у него глаза черные, пенсне. Он и всегда с вожделением смотрит на них на всех: думает — не подудит ли?

— Ух, брат, — перебил его, оживясь, Коля. — На днях я брюнетку видел в кружке — певица. Вот брюнетка! Закачаешься! Косища — вот как это бревно.

— Я знаю — кто. Да у нее рука в плече вдвое толще тебя. Она на тебя и не посмотрит.

— Ну нет, позволь! Извиняюсь, — протестовал Коля. — Она меня в Крым звала. Да-с! Извиняюсь.

— «Звала, звала», — передразнил его Вася, — а сам говоришь — все твои эти самые разлетались?

— Да, — сказал грустно Коля. — Очень, брат, они легкомысленны: морали, брат, мало. Это верно. Иван Иванович говорит: «морали нет» — пропала мораль!

— Вы подумайте, что делается, — сказал приятель Вася. — Колька о морали говорит! А? А что такое мораль? Ну, скажи-ка!

— То есть позволь! Я-то университет кончил, ты бы мог и не спрашивать меня: я-то знаю, что такое мораль. Я диссертацию, брат...

— Постой, — перебил его Вася. — Ну вот кончил университет, а что такое мораль, не знаешь!

— То есть как это — не знаю! Позвольте! Мораль — это, прежде всего, субъективное понятие, а во-вторых — априори, — понятие относительное.

— Вот видите, не знает! Начинает завираться. Разные это штуки ученые: «относительное понятие, априори...». А что такое мораль — ни в зуб не знает!

— Позвольте, позвольте, — горячился Коля.

— Да что «позвольте», — перебивал Вася. — У вас, в университете, и науки такой нет. Вот профессора сюда приезжали на охоту, к нему, — показал Вася на меня. — Так они его модель, Куликову, чуть на части не разодрали.

— Это верно, — процедил медленно мой слуга Ленька, снимая со стола самовар. — Она их «шамотонами» назвала.

— Вот, слышишь? Ленька правду говорит, — радовался Василий Сергеевич.

— Позвольте, ведь они — это историко-филологический, а мы — юридический. У нас вся философия права на морали построена.

— Ну ладно, — сказал доктор Иван Иванович. — Отчего же вы говорите — от вас все бабы разлетелись?

— Вот оттого, что, если им мораль показать, им скучно становится. Они тут же в сторону — какая куда. Бабы у нас такие!

— Это правда, — согласился доктор Иван Иванович. — Действительно, у нас как помотришь в Москве, так прямо многоженство! И шут его знает — отчего это?!

— Ну что это вы все утро спорите? — сказал все время молчавший охотник Карaulов. — Как это вам не надоест? Все о женщинах. Все что-то неприличное. Пойдемте лучше на речку! Наловим к обеду уху. На речке хорошо. И эта ваша разная «мораль» на ум не пойдет.

— Это верно, — согласился Василий Сергеевич.

— И я пойду с вами. Дайте мне удочку, пожалуйста, — сказал Иван Иванович. — Я поймаю рыбу и отвезу Раису в подарок.

Я выбирал доктору удочку и подумал: «Как странно! Он эту самую Раису, свою жену, ругательски мне недавно ругал».

На речке, когда мы пришли, было тихо. Зеленые кусты ольхи отражались в воде. На бережку сидят приятели и посматривают на поплавки. Доктор Иван Иванович, в стороне сидя, положил удилище рядом с собой на бережок и закурил папироску. Вдруг удилище его с берега поехало в воду. Большая рыба, попав, тянула удилище.

— Смотри-ка, чего ты! Удилище! Рыба тащит, — кричит ему Василий Сергеевич.

Доктор вскочил. Но поздно. Большая рыба тянула удилище, удалялась по заводи реки.

— Ах ты черт! — растерялся доктор. — Ну и рыба попала! А я на Раису закинул.

— Раздевайся, полезай скорей, — кричат ему. — Доставай удилище!

Доктор торопился, раздеваясь, и бросился в воду. Схватив удилице, он плыл с ним к берегу. Все приятели помогали ему вылезти, и большой пойманный линь лежал в подсачке на берегу.

Доктор одевался, с радостью говорил: «Вот Раиса будет рада!»

— Заладил — Раиса, Раиса, — сказал приятель Вася, — а сам говорил — «Раиса дура»?!

— Когда я говорил? Что ты, очумел? — надевая штаны, сердился доктор. — Вот тоже! Я-то муж! Имею право сгоряча и сказать про жену, а тебе-то что? Ты не имеешь права говорить про нее «дура».

— Да ну ее к черту! Смотри, линь-то фунтов на восемь. Вот здоров!

— Не имеешь права мою жену к черту посылать!

— А ты-то? Сам ее при мне к черту посылаешь!

— Мало ли что? Я — муж! А ты не имеешь права.

— Сам ты говорил, что тебя на дуре женили.

— Мало ли что я говорил...

— Линь хорош! Таких и не видал, — восхищался охотник Караулов. — Его надо свежего есть, теперь! А если в Москву везти — сонного привезешь. Уж это не то!

— Да!.. И везти кому? Дуре?! — прибавил Василий Сергеевич.

Доктор, вытирая баки платком, молча смотрел на приятеля своего Васю и на лежащего на траве линя. И, подумав, сказал:

— Верно! Надо его теперь жарить. Да и озяб я — вода холодна!

К обеду была уха. Жареного линя уложили в корзинку, постановив, что есть его без супруги доктора Раисы Михайловны — неморально.

И Иван Иванович повез его в Москву, сказав: «Повезу жене эту трофею!»

«Ихтиолух»

Август. Я и друзья мои, охотники, устали на охоте. Ходили-ходили по мелко-лесью, исходили и большой казенный лес, Красный Яр, но вот — ничего.

И собаки, высунув языки, идут сзади нас.

— Тетерева-то скучились, — говорит деревенский охотник, приятель мой Герасим Дементьевич. — Подросли и скучились. Дело-то к осени. Где они? Велик лес. Надо на стару сторожку идти. Там, может, найдем глухарей. В бору что делать? Надо выходить.

И Герасим пошел вперед.

Мы, усталые, поплелись за ним.

Жаркий день. Солнце пятнами сквозь высокие сосны ложится на седой мох и ровный игольник. Душно в лесу. Пахнет сосной и смолем.

Вскоре поредел лес, и показалась блистающая зеленую поляна. На ней большие стога сена. Мы радостно расположились в тени одного из них. Сняв ягдташи, Караулов вынул из них закуски: хлеб, вино, колбасу, печеные яйца.

— А где же пирожки с визигой? — спросил я.

— У Николая Васильевича, должно быть, — сказал Караулов, — в корзинке.

Коля задумчиво лежал у стога, смотрел, мигая сквозь пенсне, в небеса и молчал. Около стояла корзинка, которую он взял, чтобы собирать грибы. Он ходил с нами на охоту без ружья. «За компанию».

— Что ж ты молчишь? — спросил Василий Сергеевич. — Давай пироги-то.
— Какие пироги? — медленно приподнимаясь, сказал Коля. — Я, брат, не знаю, что в корзинке.
— Неужто съел все? — изумился Василий Сергеевич.
— Ну уж и все, — меланхолично ответил Коля. — Каждому осталось по пирогу.
— Костер бы подбодрить в стороне, — предложил Павел Тучков. — Чай заварить. Пить хочется. Жара...

* * *

На скатерти разложили закуски. В стороне горел костер, трещала можжуха. Мы долго ждали, лежа у стога, возвращения Герасима, который пошел искать воду. Вернувшись с большим медным чайником, он повесил его над костром.

— Где ты воду-то достал? — спрашиваем мы.
— Да-алека. Вот за лугом — овражек. Там, у ольшины, бочажок. И вода хороша. Несказанная отрада — чай среди луга, у стога сена... Никогда он не казался таким вкусным. И эти пирожки с визигой.
— А что такое визига? — спросил вдруг Коля.
— Вот, визиги не знает, — засмеялся Василий Сергеевич.
— Забавно — но я тоже не знаю, что такое визига, — сказал Павел Александрович. — Из чего она делается?
— Вот тоже, — сказал приятель Вася, — из чего делается? Из рыбьего клея...
— То есть, позвольте, как это — из клея? — усомнился Коля.
— Вот ведь, не знают, из чего визига делается, а сами в «Праге», в «Метрополе» жрут визигу. Хороши голубчики.

Я помалкивал, про себя думал: «А в самом деле — что такое визига?» И вслух спросил:

— Герасим, ты знаешь, что такое визига?
— Нет, — ответил Герасим. — А чево это?
— Да вот, пироги-то ты ешь — с визигой.
— Хороши пироги. Я впервые эдакие-то ем.
— Да ты видал визигу-то? — спросил Караулов Василия Сергеевича.
— Еще бы. Она такая — винтом идет. Как веревка. Ее на аршины покупают.
— Что за черт! — воскликнул Павел Александрович. — Странно. Я никогда не видал.

— И я никогда не видал, — удивлялся Павел.
— И я не слыхивал, — сказал Герасим.
— Из рыбьего клея, говоришь, делают? Чудно! — озадаченно бормотал Караулов.
— Странно. Ничего вы не знаете, — волновался Василий Сергеевич. — Во-первых, из лошадей делают столярный клей, из смолы — деготь, а из рыбы — клей и визигу. Не из нашей рыбы: плотвы и окуней, конечно, — а из китов, акул, моржей...
— Постой. Вася, ведь морж-то не рыба, — говорю я.

— Все равно, извините. Все равно-с. Вроде. А морская корова, по-вашему, не рыба? У ней хвост — рыбий.
— Ну, это ерунда, — сказал Коля.
— Вздор говорите, потому что вы не проходили ихтиологию. Вот вы — охотники, рыболовы, а ничего не знаете...

— Ихтиологии, говоришь, не знаем? — прищурившись, спросил Вася. — А ты копченого сига ел?

— Конечно, ел.

— Отчего у него палка внутри вставлена?

Коля, мигая, молчал. И, подумав, медленно сказал:

— Действительно, у него палка внутри есть, а зачем — неизвестно.

— Нет, известно. Если бы тебя коптить, что бы ты делал?

— То есть позвольте, как же это, меня коптить, я же не рыба.

— Это все равно. Если бы тебя коптили — ты бы вертелся, тебе бы не нравилось...

Вот в тебя бы и вставили палку — не вертись. Понял, ты, ихтиолух.

— До чего глупо и пошло, — сказал серьезно Павел Александрович.

— Позвольте, позвольте, — обиженно возражал приятель Коля, — во-первых, не ихтиолух, а ихтиолог, а во-вторых, ихтиология этими вопросами не занимается.

— Нет-с? Хорошо, посмотрим, — горячился Василий Сергеевич. — Ну-ка, скажи, ихтиолух, где копчушки ловятся?

— Копчушки? — задумался Коля. — На Волге.

— Ну, а навага? — не унимался Вася.

— Навага, навага... Постой. Тоже на Волге.

— Вот и врешь... На Белом море.

— Но я же не обязан знать — где что ловится, об этом в ихтиологии не говорится...

— А где шпроты ловятся?

Коля молчал.

— А миноги?

— Миноги, брат, — это не рыба.

— Как — не рыба? А что же? Вот — не знаешь! А мымра?..

— Постой, постой, — задумался Коля. — Это, брат, в море.

— А ты ее ел?

— Конечно, ел.

— А где ел-то?

— В Петербурге, у Лейнера, и в Москве — в «Праге».

— Никогда не ел мымру, — сказал Тучков. — Вообще, странно. Мы так много едим всего, а что — мы, в сущности, не знаем.

— Мымра — это не рыба, — сказал Караулов. — Совсем нет такой рыбы. Мымра — это птица...

— Эвона, глядите-ка, что уток-то летит, — вдруг крикнул Герасим. — Знать, с Вашутина озера.

Все сразу забыли об ихтиологии и подняли головы кверху.

— Что ж, идем туда, — заторопились мы.

— Вот жара маленько свалит, и пойдем, — лениво сказал Герасим.

Тихо было Вашутино озеро.

На зеркальной поверхности, через камыши, мы увидели вдали большие стаи сидящих уток. На отлогом песчаном берегу лежал старый челн.

Мы сдвинули челн с песка на воду, но никто не решался ехать нем по озеру.

Павел Александрович, ничего не говоря, смело залез в челн.

— Ну-ка, дай-ка, Вася, кол. Вон лежит.

Василий Сергеевич взял у куста на берегу большой кол, сам тоже залез в челн и подал кол Павлу. Тот живо оттолкнулся от берега. Челн быстро двинулся по серебряной глади озера. И вдруг опустился вниз.

Оба приятели наши пропали в воде и вскоре вновь показались на поверхности, барахтаясь и отплевываясь.

— Это ж не шутки! — кричал во все горло Василий Сергеевич.

На озере от крика поднялись утки.

— А здесь глубоко, — сказал Герасим, глядя на барахтающихся приятелей, и начал раздеваться.

— Плывите к берегу, — кричали мы.

— Трудно в сапогах-то, — сказал Герасим и бросился в воду.

Подплыв к Василию Сергеевичу, он схватил его за мокрую куртку и поплыл с ним к берегу. Тучков ухватился за край челна и, медленно гребя одной рукой, тоже приближался к нам.

* * *

Приятель Вася с испуганным лицом стоял по пояс в воде близ берега и говорил, глядя на нас:

— Благодарю вас, угостили... В одежде-то не поплывешь.

Павлу Александровичу вода доходила до горла. Он стоял рядом с челном и, смеясь, говорил:

— Недурно. Тону, хочу плыть, а меня кто-то за ноги держит. Забавная история.

Утки, кружась над озером, летели на нас.

Голый Герасим схватил ружье и присел к кустам. Раздался выстрел Караулова...

— Батюшки, — возопил вдруг Василий Сергеевич. — Ружье-то в воде осталось.

— Ахти, беда какая! — огорчился Герасим.

Все решили раздеться и по очереди стали прыгать в воду — ныряли, ища на дне ружье. Но, сколько ни искали, — ружья не было...

Уже вечерело. Герасим развел огромный костер. Сушили платье «утопленников». Пили чай, выпили весь коньяк — но случаю «утопления». Решили остаться у костра до света и утром опять доставать ружье.

Вдали, на берегу озера, раздался выстрел; из-за кустов показался Коля. Никто раньше в суматохе не обратил внимания, что его не было.

Подходя к нам, он поднял руку, показывая застреленного большого кулика. В другой руке он держал ружье Василия Сергеевича — ружье, которое так долго искали в воде.

— Ах ты чертова визига! — закричал Василий Сергеевич. — Где же ты ружье-то взял?

— Ты ведь без ружья поехал на озеро. А тут я увидел, что кулик сел на отмели. Я ружье взял и пошел. Вот и кулик.

Василий Сергеевич вдруг расхохотался.

— Как глупо! Как все глупо... Вот уж действительно ихтиолух!

Осенья грусть

Наступили дождливые дни. Из-за забора московских улиц выглядывают поредевшие сады. Кое-где в сумерках приветливо в окна особняков мерцает огонек. Моросит дождик.

Мне кажется, в этих окнах, около сада, такая счастливая жизнь!

Лениво подметает с мостовой дворник обильно опавшие осенние листья.

Я еду в Сущево, домой, с вечернего класса. Фонарщик, подставляя лестницу, зажигает уличные фонари.

Тоскливо на площади в Сущеве. Стоит пожарная часть, желтая, с большими сараями.

Вхожу в деревянные ворота дома, в мезонине которого я живу.

В комнате за столом сидят мои товарищи: Светославский, Левитан и Андрюша Мельников, сын писателя Андрея Печерского.

— Что ты опоздал? — спрашивают они.

— Да вот, — говорю, — шел, смотрел на оголенные деревья... Как тосклива осень! Как одиноко и грустно, — щемит сердце.

— Я не люблю город, — сказал Левитан, — а в Останкине дубовая роща и липовый парк... Какие мотивы! Вот где тоска настоящая. Больше всего я люблю эту печаль. Грязные синие дороги, унылую темную избу...

Левитан отворил окно.

— Сегодня тепло... Посмотрите, этот сад за забором, какая красота. Это надо почувствовать.

В тихом осеннем сумраке, вдали, из острога, донеслось пение арестантов:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...

Что-то грустное было в этой песне.

— Поют, — сказал Левитан. — Несчастливые люди, они не виноваты.

— То есть как это не виноваты? — удивился Андрюша Мельников.

— Не виноваты.

— Постой, — возразил Мельников, — постой... Вот здесь, у Константина, в этом саду, за забором, яблоки. Хорошие яблоки — антоновка. А на заборе острые гвозди понатыканы. Не будь их — яблоки зелеными украли бы. Я сам не могу видеть, когда по Москве везут в кандалах арестантов с выбритыми головами. У солдат сабли наголо. Но, когда бы не было сабель, ты бы увидел небо с овчинку и перестал бы наслаждаться грустью осени, ты узнал бы, что такое горе. Я спросил отца — как это ужасно, арестанты, каторга. «Да, — согласился отец, — ужасно, но ничего не поделаешь».

Святославский в мастерской нашего профессора А.К. Саврасова писал большую картину «Днепр и восход солнца» и говорил: «Солнце, само солнце не выходит».

— А я не люблю солнца, — сказал Левитан. — Я не понимаю, зачем все это. Солнце, а все равно умрешь. Это все так странно. Какая красота! Зачем красота, когда есть смерть...

Левитан был в любимом его настроении — меланхолии. В нашей юности мы были все товарищи, ученики обожаемого нами прекрасного художника Алексея Кондратьевича Саврасова. И всегда были в минорном настроении. Все мы были друзья и знали бедность и невзгоду, но не печалились этим. Одно удивляло нас, что мы были как бы отверженные, одинокие. Искусство наше не было никому нужно.

И странно, когда мы встречали других людей — других профессий, нам казалось, что люди эти какие-то чужие. И все, что они ни говорили, считали сплошной ерундой.

У меня много было родства в Москве. Двоюродных сестер, братьев, теток. Я не мог бывать у них. Они были мне чужие. И я постепенно отстал от них и слышал, что они меня называли гордецом. Это была неправда.

Ближе к нам был любимый нами профессор Саврасов и Антон Павлович Чехов — еще студент. Он часто присоединялся к нашей компании, когда мы, собрав гроши, покупали хлеб, копченую колбасу, печеные яйца и шли от Москвы куда-нибудь на природу — писать этюды.

Антон Павлович почему-то надевал, как и мы, высокие охотничьи сапоги, точно бы там были какие-то непроходимые болота. На плечи накидывали пледы. Это была как бы мода, и встречные прохожие говорили: «Ишь, скубенты прут».

Окрестности московские были прекрасны. Кузьминка, Кусково, Перерва, Останкино, Дубровицы, Царицыно, Кунцево, Петровское-Разумовское.

Проводя целый день под Москвой, мы купались на речке, в прудах.

Я, будучи охотником, часто звал приятелей в Большие Мытищи, в болото к Лосиному Острову, захватывал ружье и постреливал дичь.

Чехов и Левитан не сочувствовали мне, жалели убитую птицу. Но жареную ели и хвалили.

Странно, что все сюжеты, которые мы писали, были всегда грустны. Дивной архитектуры церкви, дворцы в Дубровицах, в Архангельском, имении Юсуповых, в Братцеве — имении Щербатова, в Кускове — имении Шереметева, не прельщали нас. Мы никогда не писали их, предпочитая старый мост на речке, мельницу, деревенские избы или просто лес...

Особенно не нравились нам роскошные дачи и подстриженные сады, цветники.

Грязная дорога, телега, убогая лесная сторожка, брошенная усадьба больше увлекали нас.

А Левитан всегда искал дальний просвет грустной вечерней зари, овраг с ручьями, повисшие ивы над прудом, сельское кладбище. Я часто видал на красивых глазах его слезы. Он говорил мне: «Посмотри, какая красота, какой мотив... Я никак не могу сделать эти ветви, эту тоску».

А.П. Чехов был веселей нас. Мы не любили города и всегда старались уйти подалее от него. И искренно восхищались проселочными дорогами, унылыми стогами на сжатом поле, пожелтевшими деревьями осени, собирали ветви и букеты с вялыми листьями, приносили домой.

Шиповник больше нравился, чем прекрасные розы.

Станный романтизм жил в нашей душе в молодые годы.

Может быть, эти свойства души рождались в нас вследствие отчужденности от общества, которое мало интересовалось искусством в то время. Как-то никому оно не было нужно. И если бы не было замечательного гражданина Павла Михайловича Третьякова, Саввы Мамонтова, то, вероятно, картины Васильева, Саврасова, Перо-

ва, Репина, Сурикова, Поленова и многих других остались бы у них в мастерских и вряд ли были бы созданы. И может быть, русские люди не слышали бы опер Римского-Корсакова — «Снегурочку», «Псковитянку», «Садко», «Царя Салтана», «Кашея», «Майскую ночь» и «Хованщину» Мусоргского и много других, которые С.И. Мамонтов впервые ставил в Частной опере Москвы, где Ф.И. Шаляпин проявил свой великий талант...

Грезино

Помню, в молодости жил я во Владимирской губернии, в двадцати верстах от Боголюбова, в маленькой деревушке из шести дворов под названием Грезино.

Поселок этот стоял на возвышенности, окруженный лесом. Внизу, в ольховых кустах, бежала мелкая светлая речка. Большой еловый лес шел рядами до самой поймы реки Клязьмы.

Я жил в старом деревянном большом доме у Гаврилы Ивановича.

Этот дом был — господская кухня. А Гаврила Иванович был поваром у прежних господ.

Господский дом, тоже деревянный, сгорел. А старик Гаврила Иванович хорошо помнил крепостное право.

Со мной жил приятель мой, Абраша Баранов, тоже, как и я, ученик Московской школы живописи. Крестьяне и Гаврила Иванович были рады нам. По вечерам приходили на скамеечку к нам у дома и любили посидеть и покалякать. Газет мы не получали, да и в Москве не читали их. Политикой совершенно не интересовались и что делалось на свете — не знали.

В этом глухом месте была какая-то необъяснимая божественная красота. И когда окрестные места погружались в сумрак вечера, — дыхание леса, покров наступающей ночи охватывали душу несказанным забвением.

От спелой ржи, овсов, леса, речки шли колдовские ароматы и запахи травы и цветов.

Грезино. И название — по благодатным местам.

Тихо было ввечеру.

— Э-эх, допрежь, помню, молодой был. Вот здесь, около, в дому-то, — господский дом-то здесь стоял, — барышни, Софья и Тата, в таком в вечеру на арфах играли. И вот играли и пели, вот до чего хорошо, чисто ангелы Божии... А мы на луку сидим и слушаем, и, слухая их, чего-то в животе идет, будто не на земле живешь, а в небе летаешь.

— Помню и я, — сказал лохматый седой старик Афанасий, — неча говорить, от их вреда не было. Также, были из себя хороши, а в девках засохли. Приезжали редко эдакие-то, как вы, охотники, верхом катались. Ну, один-то такой ходил на охоту, да и утоп на Поганой Луже. Тата на Погану-то Лужу все ходила — видал я. Сидит там у развалинки, где ране мельница была. Сидит, наклоня голову, и глядит. Тужит. Ждет, знать. А чего ждет — невесть. Ну и засохла от тоски. Померла она-то опосля этого, как утоп молодой барин приезжий, и на арфах более не играли.

— А другая-то, Софья, — сказал Гаврила Иванович, — чисто в затвор заперлась. Они обе, знать, в его влюбимши были. Хорош был барин. Нарядный. Сюртук табаш-

ного цвета надет, ворот закрытый туго перевязан черной шелковой лентой. Штаны белые в сапоги. Шпоры, лернетка на ленте. Золотая лернетка. А он в лернетку-то глядит — все на них, то на одну, то на другую. Лицо чистое, бритое, на руках кольца большие. Звали его Вольдемар. Настреляет, бывало, тетеревов, ну и глядит, как я жарю. «Закрой, — говорит, — да в духовую ставь», из коробочки чего-то сыпал. Стол тоже накрывать — скатерть чистую велит, посуду — каждый стакан смотрит. Все сам салфеткой перетрет. Петр с ими приезжал — лакей. В мундире, перчатки белые, за столом служит. Он сам к обеду белый луперздон надевал — опушка меховая, а посередке золотые канты пуговицы перехватывали. А барышни наши, Софья и Наталья, прически себе делали и в платьях белых с лентами к столу садились. В графинах квасы — брусничный, смородинный, черничный, яблочный, вишневый, а вино — фряжское. Ну чего только не выдумывали к обеду. А ели чинно, благородно. А вот только за обедом по-нашему — ни слова. Понять нельзя. Барышни зайца не ели, чего — не поймешь. Баранину не ели, поросенка ни-ни. В год раз на праздник Святки приезжали гости. Много. А барышни на арфе играют. Так мать-то и отец (я-то мал был — не помню) говорили, в Питере их наукам обучали. Тогда тетка жила толстая, ну, и говорили — пила. Мужики-то, когда что у ней просят — она соглашалась, только вынет платочек маленький и заплачет. Ну, конечно, сознаться, выпивши была часто.

— А вот, — сказал другой, Семен Рудаков, — один тут, в Боголюбове, у нас на Никитинской фабрике работал. Идет с фабрики, то сюда, то домой, а ночь была светлая. Он вниз-то спустился к Поганой Луже, да и сел отдохнуть-то. А там развалилось, старые-то колеса на мельнице в воду ушли. И слышит он — кто-то играет на гусях. Обернулся, видит, барышня сидит у колес и на арфе играет. А в воде голубой месяц прыгает, чисто пляшет... Он как вскочит да бегом. Вот бежал. Замучился, да и упал. Тут вот, по речке, где ивы большие. Лежит, отдышаться не может с перепуту; и слышит, как далеко там, сзади, на Поганой Луже, барышня сладко поет, и до того сладко, что он заслушался. «И так, — говорит, — хорошо мне было, что я и уснул». Проснулся — свет Божий, солнце, Погана Лужа, колеса, мельница, иван-чаем заросло, а около его — крынка разбитая, а в ней водица, и рыбка маленькая там плавает. «Чего это, — думает, — кто рыбку в черенок пустил?» Встал он, взял и выплеснул воду с рыбкой вместе в Лужу. Поглядел кругом, постоял и видит: у ног, где черепок-то, крынка стояла, чего-то блестит. Смотрит, — поднял, — золотой. Ковырнул — другой, третий из глины-то выглядывают, где крынка-то была... Так он два десятка накопал, ну и жил дома тут. Лошадь купил, лесу, строиться начал. Глядят — откуда деньги. Так через двадцать лет сознался и рассказал, что рыбка — не иначе как барышня Наташа была...

— А где ж он теперь? — спросил мой приятель Абраша.

— Да так ведь! Он на Погану Лужу, почитай, кажинну ночь ходил, все копал — золотые искал, остудился, жена сказывала, ну и помер чахоткой. Давно помер. Жена тоже померла. Бездетные были. Дом-то пустой — вот с краю стоит.

И все в рассказах по вечерам на скамейке у дома, среди бедных хижин у леса, было грустно и невероятно. А кругом природа, красота очарованная, и жизнь этих людей мне казалась проста, как и природа окружающая.

Рассказы о барышнях-дворянках мне казались как прошедший сон — я точно сам слушал нежные звуки арф и слышал чарующий девичий голос с мельницы.

— А ведь, поди, бывало, — сказал Абраша, — господа-то прежние ежели рассердятся, то и пороли кое-кого?..

— Эх чего, не!.. куда тут!.. Эти господа были не такие. От них этакого-то не узнаешь. И перед ними не покривишь, и к ним совесть правильно лежала. Почитали.

— Это вот Курбатовские господа, — сказал лохматый мужик, — вот те, верно, в злобе жили с народом. Ну, и народ аховый стал. От их-то Чуркин-разбойник вышел. Вот в Володимере надьсь монастырь ограбил. Он тут похаживает, гуляет. Урядник был надьсь, так он мельнику Трофиму рассказывал. Вот ловок. Разбойник, а у губернатора обедал, а губернаторша-то в коляске возила его — город показывала, соборы. Он гусаром из Питера приехал по делу: кто я? Да у настоятеля отца Симеона сорок тысяч и свистнул.

— Где ж уряднику его поймать, — сказал Гаврила Иванович, — прост больно, да и пьет. Что он? Ундер. Встретил я его в лесу — верхом едет, посмотрел на меня и говорит: «Ты, — говорит, — куда, дурак, старый хрыч, прешь?» Я ему говорю: «В Ламешки». Он спрашивает: «Почто?» А я ему: «По то». За что он меня облаял — не знаю. Вот бы, когда барышни жили, он бы не мог так лаяться. Не мог бы перед ними слова сказать, боялся бы. А чего боялся? Господа настоящие были. Господина-то настоящего сволоча боится. Где ж ему Чуркина пымать!..

Мордобой

Ясное утро. В саду моем горят огнем покрасневшие осины, седые ветви опавших лип блестят узорами ветвей на синем осеннем небе.

Как бодры краски ясного осеннего дня!

Четко вдали, на горе, видна деревня Любилки. Синяя речка, извиваясь по луку, пропадает за розоватым мелколесьем. Кое-где темнеют ели.

Я иду по саду к реке.

У края сада прилег на бугорке. Внизу видна река и полуразвалившаяся терочная. Синие старые бревна блестят на солнце. Рядом со мной сел мой ручной заяц. А собака пойнтер убежала вниз, к речке. Заяц слушает, вода ушами. Вытянулся кверху. Стекланные светлые глаза его смотрят в сторону.

— Заяк, какой ты дурак. Беги, что сидишь? Эх ты! свободу сменил на кочерыжку, дурак.

Заяц не обращает на меня никакого внимания. Привык к моим выговорам. Водит носом как-то особенно, что-то нюхает. Ничуть меня не боится.

Собака Польшон вернулась ко мне с речки. Мокрая. Бегала по осоке — охотилась. И на собаку заяц — никакого внимания. Привык.

— Польшон! Пиль его! — говорю я.

Польшон знает, что я смеюсь, смотрит желтыми глазами на меня и опять бежит вниз на реку.

Вдали на мельнице, у Ремжи, кричит баба:

— Миколка, вот погоди, ужо я те...

На той стороне краем леса по дороге едет телега. На телеге мешки с мукой. На мешках сидит баба. Рядом с телегой идет Колька в большом картузе и ест репу. Заяц вытянулся и смотрит на телегу. Заяц мой терпеть не может мальчишек. Увидав Кольку, сел ко мне поближе — я все-таки защита.

Смотрю вдаль, и далеко видны леса, и блестит светлой точкой церковка на Ивановом озере прихода Утоли моя печали.

Летят в душе воспоминания. Кладбище, где могила матери. Сзади слышу крик.

— Кинстинтин Лисеич, игде вы? — кричит дед, сторож дома.

Ко мне подбегает слуга Ленька и говорит:

— Урядник приехал, чего-то ему до вас нужно... Бумага пришла.

Заяц первый подбежал к двери крылечка, Польштрон тоже. Дверь заперта. Заяц передними лапами быстро ударил по морде Польштрона. Польштрон отошел ко мне.

«Странно, — подумал я, — Польштрон не обижается на зайца, что тот его бьет по морде. Знает, что я люблю зайца. И заяц знает, что Польштрон его не тронет».

Урядник встает и здоровается:

— Заехал, — говорит, — вам бумажка есть.

И он достает из бокового кармана линялого полицейского мундира какие-то бумаги. Разбирает и подает мне одну.

Я смотрю на бумажку, читаю: «По указу Его Императорского Величества», а потом что-то мелко — не разберу.

— Чего это? — говорю уряднику. — Не разберу...

— Чего? Да ничего, — говорит урядник. — С вас взыскание — шесть с половиной копеек. Это подати за участок этот. За него вы не платили, — смеется урядник, — а вот где полушку-то взять?

Ленька несет из кухни самовар, ставит на стол. Тетенька Афросинья выносит пирог со свежими груздями.

Доктор Иван Иванович приходит на террасу расчесанный. Умывался у колодца.

— Эк великолепная погода стоит, — говорит доктор.

За чаем свежее рябиновое варенье. Урядник, поев пирога, попробовал варенье и, качнув головой, сказал:

— Эк варенье хорошо! Скажу жене. Да где достать, рябины не купишь, у нас в Переславе нет. Да, рябину не продают, кому она...

— У нас по речке, — говорю я, — сколько хочешь.

— Это надо заняться, — согласился урядник, — собираю.

— Иван Иванович, — спрашиваю я, — вот скажите: заяц не боится Польштрона, как подойдет к нему, сейчас по морде лапами, и больно бьет. А тот хоть бы что, не огрызнется даже. А ведь у людей не так!

— Это верно, — засмеялся урядник. — Вот ведь, к примеру: вчера в Петрове этакое дело вышло. Домохозяин там, Замков, дом хороший, шорник, лавка. Ну, именинник, значит, он. А у него в мезонине, во дворе, часовщик живет. Он утром часовщика-то позвал к себе, — околodочный научил, — и говорит: «У меня, — говорит, — гости сегодня будут. Вот, — говорит, — гитара есть, от сына-учителя осталась. Ты сегодня мне поиграй гостям вечером, чтобы повеселей выходило». А тот удивился: «Чего-с? Я не умею...» А околodочный говорит: «Чего не умеешь, толкуй... часы-то трудней чинить, не хочешь?» Часовщик-то молчит. А Замков-то и говорит: «За фатеру-то тоже он мне должен — третий месяц не платит». Замков-то с околodочным уже, конечно, выпили. Именинник потому. Околodочный-то часовщику гитару в морду сует. «Полно гордиться, сыграй», — говорит. А часовщик-то сердитый, худой такой. Все кашляет. Взял гитару-то да как ею Замкова по башке ахнет, да и околodочного. «Вот вам, — говорит, — музыка, слышали?» А околodочный-то Пеньков — толстый, сразу у него личность посинела,

фонари под глазами явились. Драка была такая, что насилие разняли. Женщины визжат, а часовщик кричит: «Вот вам музыка, вот вам, не сумевши, сыграл...» Вот я по этому делу и был в Петрове. Исправник послал. Говорит: «Поезжай скорей, да там, — говорит, — надо это дело закрыть, а то неловко — в суд попадет. Окологочный не должен по уставу битым бить, да еще гитарой... На смех подымут. Ты, — говорит, — их попугай, помири, а то крепко сидеть будут. Сибирью попугай». Ну где ж, городишко-то уж весь знает. Смеются. Рады все. Да ведь и верно — дурь. Часовщику музыкантом велят быть...

— Ну что же, — спросил Иван Иванович, — помирили?

— Как же — помири, и выпили хорошо. Плакали. А часовщик строг. Чахотка у него. По этому случаю и сердитый. Окологочному Пенькову парикмахер все это на личности припудрил, подкрасил. Опухоль, конечно, видна. А у Замкова шишка над глазом велика...

Заплатил я уряднику налог, тот пошел к сараю захватить сенца для лошади. Вижу я — бежит в ворота сторож со станции. Думаю — телеграмма. Прямо бежит к сараю, где урядник седлает лошадь. Подбегает к нему и дает ему пакет. Урядник, читая, идет от сарая к нам и говорит:

— Вот дело какое. Опять эти самые подрались. Вот чтоб их! Опять ехать надо в Петров. Ну, уж теперь я им покажу. Что делать, ну как их утомонишь. Сажать надо. Какие начальству неприятности выходят. Не будь окологочного, пускай хоть убьют друг друга — не поехал бы...

Доктор Иван Иванович смеялся.

— Вам смешно, — сказал урядник, садясь на лошадь. — А попробуйте на моем месте... Что делать?

— Да набейте вы тоже им всем морды, — сказал доктор Иван Иванович, смеясь.

— Вот это верно, — ухмыльнулся урядник. — Я уж и сам думал. Верно... тогда бы скорей в покой пришли. Да нельзя. Знаете ли, полиции никак нельзя драться. Беда... Полиция и так завсегда виновата. Выгонят, на всю жизнь хлеба лишат.

И урядник, козырнув, скрылся в воротах.

Убирая со стола, мой слуга Ленька, вечно заспанный, медленно процедил:

— Не бьют... Это как на кого попадешь. От человека зависит... А вот Василия Княжева летом в Москве... Ночью жарко было, выпить охота. Он и пошел на улицу от вас из мастерской на Садовой. А все заперто, ночь. Он подошел к городовому и говорит:

— Хожалый, где бы здесь пивца достать?..

А тот как развернется да ему по морде: «Вот тебе хожалый...» А потом еще раз: «Вот тебе, — говорит, — пивцо...» Это ему за нарушение тишины и спокойствия попало. Правильно все — не нарушай.

Осенний дождь

В осени есть унылая тоска. Прошло нарядное лето. Сад мой осыпался и победнел. Сарай, колодезь, избушки деревни — все стало как-то бедней и сиротливей.

Синеют дали лесов, и злые тучи неприветливо бегут по тоскливому серому небу. Моросит дождик.

Приятель мой Василий Сергеевич и охотник Караулов ходили утром на реку смотреть поставленные на гужи жерлицы. Мокрые от дождя, они принесли одну пой-

манную щуку. Отряхивают шапки в коридоре. Входят ко мне в деревянную мою мастерскую, говорят:

— Ну и погода! И холодно. Река набухла, свинцовая, рыба не идет, одну поймали только. Какая охота в такую погоду. Скука.

— А я видел, — говорит Караулов, — чирки пролетели. Летят быстро, как пуля.

— Третий день дождь, — вытирая полотенцем мокрые руки, сказал Василий Сергеевич. — Я сегодня ночью во сне Москву видел. Сажу в трактире Егорова, и осетр разварной под белым соусом на стол мне подали. Я только хотел кусок отрезать, а он как защелкает зубами... Такая гадость! К чему такой сон?

— Это тебе, Вася, от жены что-нибудь попадет, — сказал Караулов.

— Вот если до вечера не разгуляется — поедемте в Москву. Там как-то незаметна погода. А что здесь делать — дождь...

— Ты почитай что-нибудь, — говорю я, — вот у меня библиотека кое-какая есть.

— Благодарю вас, — сказал приятель Вася. — Вы знаете, когда я читаю разные эти романы, то, сказать по правде, — все такая ерунда, все эти любовные истории — все неверно. Позвольте вас спросить, очень интересно узнать, на что эти герои разные живут? Ничего не делают, только с бабами хороводятся, а откуда они деньги берут — про это ни слова... Базаров там, Вронский, Литвинов... Откуда у них деньги? А вот я проект сделал, принес заказчику Ежову проект дачи. Месяц работал — я ведь архитектор. А он сидит скучный такой, что-то пишет и на мой проект так вкось посмотрел. Молчит. Пишет и говорит: «Да, проект... А я раздумал дачу строить — дождик идет. Знаете, печень болит...» И опять молчит. Отодвинул проект, да и смотрит на меня. «Вы заказали, — говорю ему, — я вот проект вам сделал». И сам себя чувствую почему-то неловко, вроде как будто я пришел у него выпрашивать деньги.

А он молчит, опять пишет. Я сажу. Чувствую себя омерзительно.

Приходит к нему какой-то полный серьезный человек, как будто невыспавшийся, и подает ему какие-то бумаги. Он говорит мне: «Пойдите, подождите в той комнате, у меня дело». Ушел. Жду. Вышел этот толстый и говорит мне: «Пожалуйста сюда». Садится к столу. «Присядьте, — говорит и подвигает мне бумажку. — Подпишите, что за проект получили сполна». Я написал записку. А он вынимает из стола и кладет передо мной двадцать пять рублей. «Позвольте, как же это, я за пятьсот рублей сговорился». А он говорит: «Не горячитесь, мы и так из бюджета выходим» — и бумажку кладет опять себе в стол. «Позвольте, — говорю, — я пойду с ним объясню».

Пошел — дверь заперта. Идет кто-то. Я спрашиваю: «Где господин Ежов?» — «Они уехали сейчас». Я опять к толстому, говорю: «Так нельзя», а он скучно смотрит на меня. «Берите, — говорит, — двадцать пять...» А сам встает, надевает шляпу и выходит на улицу. Вот ведь как деньги-то получать. А эти все герои романов ничего не делают, и деньги у них у всех всегда есть. Это что ж такое?.. Поэтому, как начинаю книгу читать, перелистываю, ищу — где они деньги получают? Ничего нет — бросаю книгу. Вот вы картины пишете, декорации. Ленька жалованье у вас получает, вот он, — показал он на Караулова, — в тарифе служит — все ясно. А в сочинениях ничего не ясно:

Служив отменно, благородно,
Долгами жил его отец...

А вы знаете, в Литературном кружке я старшина — хотел трешницу в долг достать, так совестно спросить. А спросишь — никто не дает... Как тут долгами проживешь? Знаете, что из-за денег делается? Чертенеют все. Все эти любви, жены, родственники, друзья в тартарары разлетаются.

— Есть отчасти... — засмеялся Караулов.

— Вы знаете, какую я штуку выдумал, — засмеялся приятель Вася. — Ведь у меня друзья все актеры. Некоторые любят займы брать. А я как встречаю кого из них или кто ко мне придет, в передней шляпу снимает, я его и спрашиваю: «Нет ли у тебя до завтра мне четвертной?» Так он посмотрит на меня и опять шляпу надевает. «Куда ты? — говорю. — Чего уходишь, посиди». А он уж сразу скучный делается...

— В деньгах огорчений много есть, — сказал Караулов. — А все-таки большая радость — дать деньги кому нужно. Что-то есть в этом приятное. Видишь: молчит человек, не просит. Нуждается. Я и предложил раз, а он говорит — не нужно. Вот ведь бывают какие.

Тетенька Афросинья принесла пирог с грибами.

— Отведайте, — говорит, — грузди хорошие. Сейчас самый груздь.

— Тетенька Афросинья, — спросил Василий Сергеевич, — ты когда-нибудь брала деньги в долг?

— Чего? Какие деньги? Нет, не брала. Да почто? У нас и денег-то у кого возьмете? Мал-мала. Верно — картошку занимала, муку... Ведь у нас всё так — один одному, другой другому, то-сё — это самое.... Так крутом и идет. Нужду промеж себя делим. Этого-то нет, чтоб кто не дал. Ежели есть — кажинный даст. Господа-то с деньгами, а нам почто? С деньгами-то который тоже мучится, сурьезит. От него подале. Они тоже на бедноте живут. Бедные-то тоже нады. Без бедных-то как жить будешь? Разбогатея-ка. На печи будешь лежать, раздует всего. Работа-то нужна. После и поешь хорошо, и спишь хорошо. И злобы нету. А богатый все серчает, все ему мало, никто угодить не может. Вона Керов Семен разбогатея, дак чего... У его на всей роже волосья зачали расти. Он отрежет, а они пуще. Чисто собака стал. К дохтуру в город ездил, тот ему вывел мазью. А то глядеть чудно... Видать, погода-то разгуливается. Шла к вам — за сараями показывает, что ведро будет, а от вас-то не видно.

Мы живо оделись, взяли ружья и вышли с крыльца.

Сзади дома было светлое ясное небо. Скоро засветило осеннее солнце, и покрылись блеском мокрые ели, луг, мокрые сараи... И как-то сделалось радостно, бодро! Какая красота есть в поздней осени!..

Светлая река несла свои воды. В них отражался опавший лес, и темные огромные ели зеленели при солнце.

Пойнтер мой, Феб, вертелся в осоке. Быстро, с криком, вылетали утки. Все мы залпом выстрелили, и две упали в воду. Быстро плыл Феб и вытащил их к нам на берег. Потом как-то съежился и дрожал, глядя на нас.

Идя по берегу реки, мы увидели вдаль охотника в кустах болота. Он остановился и смотрел на нас.

— А ведь это Герасим, — сказал Караулов.

Видно было, что он переходил из перегороженной реки, перебирая шести яза, и махал нам шапкой. Подойдя по берегу к нему, мы увидели Герасима, всего завешанного утками. Он был мокрый до нитки.

— Вот ведь промок, глядите, — к вам шел. В дождик-то охота настоящая.

— Что ж ты это один охотишься, за нами-то не зашел?.. — говорит обиженно Василий Сергеевич.

— Да где ж... — засмеялся Герасим, — нешто ты пойдешь, Василий Сергеич, в дождик? Барин — у тебя тело нежное... Пойдемте домой. Ух и озяб я! Перцовкой у вас поправлюсь. Вот сейчас чирков пожарим, скусные чирята...

Вечером за ужином были жареные утки, в камине горел хворост, а в окна хлестал осенний дождь. Уютно было в доме, горела лампа, друзья-приятели угощались за столом.

— А что, Герасим, — спросил Василий Сергеевич, — брал ли когда деньги в долг?

— Деньги?.. — засмеялся Герасим — А кто их даст-то?.. Ты дашь?

— А что ж, если нужно — дам, — сказал Василий Сергеевич.

— Ну, полно, — пожалеешь.

— Нет, почему же?

— Ну, так я пожалею — отдавать... В деньгах-то много всего этого — и радость есть, но и слез через их много... Вот что осеннего дождя...

Октябрь

Поредели леса. Сад поседел. Кое-где остались осенние листочки. На сером фоне мелкого осинника, на ветке куста, как сережки, висят волчьи ягодки, черные с белым и красные.

— Какие это ягоды? — спросил меня приятель-охотник, гофмейстер. — Их едят?

— Э... нет, — сказал Герасим. — Ежели съешь — тут и помрешь. В минуту. Это волчьи ягоды.

— Какой вздор, — сказал гофмейстер.

— Нет, уж это верно, — засмеялся Герасим.

— Никогда не слыхал. Тогда бы эти кусты все вырубил. Наконец, я бы где-нибудь об этом прочел — писали бы.

— Ведь у нас все ребяташки знают. Никто не съест.

— Чушь, — сказал Павел Александрович. Сорвал ягоду, стал есть при всех и плюнул.

— Какая гадость. Оттого не едят, что противно. Ну вот, — продолжал он, — первое октября, Покров. Да-с. Все изволило улететь — дупеля, бекасы, турухтан, вальдшнепы, утки. Болота пустые. На что же охотиться у тебя? — смотря на меня, говорит как бы с упреком приятель-охотник Павел Александрович.

— Утки-то еще есть, — сказал Герасим, — только трудно взять. Они скучились сторожкой, не подпустят. Ежели только на перелете вечером...

— Что ж ты, Павел, смотришь? Вытаращил глаза на меня, будто я виноват, что дичь улетела и охотиться не на что. А осталось мало — белые и серые куропатки, тетерева, глухари, зайцы, лисицы, волки, лоси, выдры, росомахи, выхухоль, бобры, куницы, барсуки, турицы рогатые, медведицы косматые, олени благородные и неблагородные, кабаны, вепри...

— Ну постой, постой, что за вздор всегда ты мелешь! — рассердился гофмейстер.

— Нисколько не вздор, — говорю.

— Это какие же, позвольте вас спросить, турицы рогатые? — прищурившись, спросил меня Василий Сергеевич.

— Вот спроси у Герасима.

— Турицей лось зовется, — сказал Герасим. — А вот я видал — молодым был — в Полесье, далече отсюда, за Переславским озером, двух диких коз. Редко увидеть можно, а есть. А под Ивановом бобры были. Мне отец сказывал. Извели. Они ведь в гнездах жили над водой. Там и не пройдешь. Болотино такое берендеево. Туда никто и не ходит. А ежели кто пойдет, то не вернется... А если б вепрей не было, то не называлось бы Вепрево озеро. Так и зовется — Вепрь.

— Ну что... — говорю я Павлу, — слышал? Будь ты настоящий охотник, ты бы нашел, а то тебе бы все вот дупельков около дома в болоте стрелять.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер.

И мы из сада возвратились домой.

В большой комнате деревенского дома на столе шумел самовар. Тетенька Афонья приготовила пирожки, оладьи, грузди, маринованные грибки, жареного тетерева, гуся с капустой — для гостей.

За чаем приятели были в раздумье — куда идти на охоту?

— Да ведь вот под Остеевом, — сказал Герасим, — медведина пудов на восемнадцать ходит. Третьего дня мельник Никон Осипов на телеге в Заозерье ехал с Санькой, с внуком своим, видели они — краем леса шел. Остановился вдали и смотрит на них. Вот испугались да стал безменом об колесо стучать, он на случай с собой железный безмен берет, а медведь поглядел да в лес и ушел. А я, говорит, домой-то гоню лошадь, да про себя все — «Господи, Владыко живота моего», твержу. Натъ-ко, ведь восемнадцать пудов медведина.

— А что, вы его вешали, что ли? — сказал сердито Василий Сергеевич.

— Вешали... ведь это видать.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер.

— Почему же это ты нам ничего не написал, — сказал Павел Александрович, — я бы взял штуцер и разрывные пули.

— Я хотел, — говорю я, — но, согласитесь, такой чертила этот медведь. Во-первых, обязательно сожрет моего друга Василия Сергеевича, его высокопревосходительство, в тебе все кости переломает — не бери штуцера.

— Какой вздор этот Константин всегда несет. Уши вянут...

— Позвольте вас спросить, почему это он непременно меня сожрет?

— Как — почему? Потому, что ты самый опасный, самый храбрый и роста большого. Он по себе и выбирает. Обязательно тебя сожрет... — говорил я приятелю Васе.

— Ну, довольно, — сказал гофмейстер. — Шутки в сторону. Прекрасный серый денек, что же мы предпримем?

— Ну, что скажешь, Герасим? — спрашиваю.

— Чего ж? Чучелов расставили за моховым болотом, к горке в лесу, а я тетерева погоню. С утра бы лучше. Ну и теперь можно. Зимой табуны большие, а теперь еще не скучились.

В лесу, у горки, Герасим вырубил длинные деревца, осинник, обрубил ветки, надел на верхний конец шеста чучело тетерки, поставил рядом с сосенкой. Вышло так, что тетерев как будто сидит на верхушке сосны. Потом подальше поставил другой

шест с чучелом тетерки, потом третий, четвертый, и к каждой сосенке, где были шести, поставил нас по очереди. Надев большие рукавицы, сказал:

— Теперь я уйду и погоню на вас, а вы смотрите в оба. Полетят ведь на вас. Ловчесь не пропуделять, а то он прямо сядет к чучелу на сосну.

Мы стояли и посматривали. Вдали, на горе, послышалось, как Герасим хлопал рукавицами и посвистывал. Надо мной пролетел тетерев.

Вдруг невдалеке раздался выстрел: раз, два, потом дальше еще. Все смолкло.

Послышались шаги Герасима. Подходя ко мне, он крикнул:

— Ну, видали? Хорошо погнал? Только табун мал. Всего десяток.

— Ау! — кричали охотники.

Мы пошли с Герасимом. Павел Александрович держал за ноги убитого черныша.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер, когда мы подошли. — Представьте, какая гадость. Прилетел и сел рядом с чучелом. Сидит наверху. Я отошел от сосны и стреляю, но какой из них чучело — неизвестно. Он улетает, а чучело вот тут лежит...

Действительно, у сосны лежало чучело тетерки, и из него высыпались опилки.

— Надо же как-нибудь отмечать, выкрасить хвост белым или что-нибудь... Нельзя же так.

— Это не шутки, — негодовал гофмейстер. — Вот и на току то же вышло — чучело, нужно метить. Согласитесь, не различишь, кто чучело, кто нет...

— А где же Василий Сергеевич? — спросили охотники.

— Василий Сергеевич! — кричали мы.

Никакого ответа. Пошли, где он стоял, его не было. Чучело валялось на земле, около лежал большой шест. «Что такое», — думали мы и опять кричали. Никакого ответа.

Пошли домой. Выходя из-под горки на тропинку, около мохового болота, увидели далеко Василия Сергеевича, бегущего по дороге к дому.

— Постой, постой! — кричали мы.

Он все бежал. Потом остановился, увидев нас. Когда мы подошли, лицо у него было красное, желтые глаза смотрели в испуге. Рот дудкой. Посмотрев на меня, сказал:

— Благодарю вас покорно. Меня-то с краю поставили. Когда вы изволили стрелять, так слева от меня, к моховому болоту, как зарычит, да по болоту чисто лошадь, а мне не видно... Это, знаете ли, голубчик из Остеева был.

— Да что ты, Вася, — говорю я. — Это лошадь была... Тут же нет медведей.

— Кто знает, — сказал Герасим, — может, лось. Пора осенняя. Лось к болоту держится.

— Нет, не лось, потому что он сопел-то как.

— Как это на тебя, Вася, все обрушивается.

— Герасим, — говорю я тихонько, когда мы пошли по дороге, — скажи, что это медведь остеевский, все-таки интересней охотникам.

— Это верно, — сказал Герасим.

Когда вернулись домой, на столе опять кипел самовар, трещал хворост в камине. Черныша Павла Александровича обнюхала собака Феб, вертя хвостом, а Герасим сказал:

— Пугать тебя не охота, Василий Сергеевич, — а я слышал маленько, как по болоту-то он махал. А ежели бы не стреляли, кто знает, может, он тебя бы и заел.

Василий Сергеевич пристально смотрел на Герасима и сказал:

— Благодарю вас. Вы теперь меня с краю не поставите, и на такую дурацкую охоту я не пойду. Это уж дудки. Не угодно ли. Конечно, он везде шляется.

— А кто его знает? — сказал Герасим. — Может, это другой.

Друзья мои, охотники, решили, и гофмейстер сказал, чтобы не было этого всякого вздора. Мы к вечеру пойдем на болото на перелет уток.

— Только я прошу взять какие-нибудь доски, так как я не желаю стоять по колена в воде.

— Чего ж, — сказал Герасим, — это можно. Я вам, ваше высокопревосходительство, бочку прикачу. Из бочки-то вам будет сподручнее, и уткам вас не видать будет.

— Вот это прекрасно, — сказал гофмейстер.

Я видел, как Герасим под горку к болоту катил бочку. С горы она катилась сама и хлопнулась в воду болота. Бочка была большая и широкая. Герасим стоял в ней с гофмейстером. Охота была удачна, настреляли уток, и генерал записал в свой охотничий дневник:

«1 октября 1906 года, Владимирской губернии, Карашской волости. На болоте, у реки Нерль, стрельба из бочки на перелете по уткам».

Темный бор

Прошло чарующее лето. Нет уже больше ласковых летних зарниц, полей, усыпанных цветами, и колосющейся нивы. Осень. Сумрачно и тоскливо быстро бегут свинцовые тучи с белыми разорванными краями. Стелется дым от черных овинов...

Унылая дорога синее за частоколом сада. Кое-где еще на осинах дрожат неопавшие осенние листья. Холодно.

Дедушка, сторож моего дома, в тулупе, меховой шапке, в большом шарфе, принес хворост и бросил у камина.

— Вот ведь холодина какой сразу наступил. Утром рано я поглядел — едва свет мерещится и... гляжу, белым-бело — морозом покрыло. Ишь, и куры-то не идут из сарая, и корова без охоты пошла в стадо. Ску-у-шная... Мычит, сердится, знает, что лето ушло. Под Ратухином Казаков вчера двух зайцев стрельнул, а Герасима встретили, он ноне хотел к вам зайти. Сейчас Ленька самовар подает. А Иван Иваныч спит, знать.

Несмотря на холод, на печаль осеннего утра, когда я вышел на крыльцо, в свежем воздухе осени была какая-то отрадная бодрость. Из чулана доносился запах из бочек соленых грибов.

Пахло землей и опавшими листьями.

На темных от дождя сараях ярко горел платок тетеньки Афросиньи, которая, вся закутанная, несла крынки молока.

Какая-то особая красота была в красках осенней природы. На самом берегу речки угрюмо стоял стеной Феклин бор, и стальная, злая вода грустно ожидала ледяного покрова зимы.

Ярко горел в камине хворост. В деревенской мастерской моей стало тепло и приветливо. Самовар шумел. Чай со сливками, деревенские лепешки на вытопках, олады горячие...

Когда я вошел, доктор Иван Иванович сказал:

— Ну что, холодно нынче, а хорошо. И что такое, отчего у вас это так хорошо, а вот на даче я жил, в Пупском, ничего такого не было. Неужели это оттого, что дальше от города? Там все какая-то неприятность выйдет. Все виноват: цветы не полили — виноват, на музыку не пошел — виноват, выборгские крендели купили черствые — я виноват. А разве в них влезешь? Ближе к городу — все виноват. Все что-нибудь не так. Ну, еще жена — у ней виноват, это туда-сюда, а то у всех виноват. Кузьмичев, пациент мой, хороший человек, богатый, стекольное дело у него, ну, печень, конечно, говорю, пить нельзя, а он говорит: «Это я сам знаю, эк, — говорит, — доктор, легко сказать. Это всякий дурак понимает, а вы, — говорит, — вылечите меня, чтобы пить можно было и печень чтоб не болела... Постарайтесь, я за платой не постою. Аж постановление сделайте, запретите всем, а нечего над одним издеваться. Скажите, зачем казна водку гонит и вино делает, да ведь что еще — зубровку, травку внутрь пускает, наливку — в золотом песке бутылка, а бенедиктин, на нем крест прямо, а этот, как его, еще ликер, на нем арап черный, а, это что? А шампань! Да ведь бутылки-то какие? Сердце радуется. Нарочно сделаны, чтобы выпить! А вы, господа доктора, помалкивайте. Соблазн какой! Не пей! Попробуй-ка удержишься при капитале да при делах? А заграничные-то ликеры всё монахи делают. Чего же это такое? Не можете, значит, в науке вашей произвести так, чтобы пей, а печень чтоб не играла. А деньги вам плати. Позвольте, за что же? Ваше дело, выходит, только запрещать: не пей, не ешь. Этак-то всякий может! На бедное положение всех поставить хотите».

— Ну вот что вы с таким пациентом делать будете, — сказал доктор Иван Иванович, опустив голову.

— Ничего вам с ним не поделать, — согласился я.

— Это верно, — сказал Иван Иванович. — Но до чего он меня расстраивает. Ну, лечу. «Хорошо бы, — говорю, — вас на бедное положение на время поставить». Да как он взбесится. «Ну, нет, — говорит, — это не пройдет». И что же вы думаете — написал мне письмо. Пишет: «Милостивый государь, через ваши советы я еще больше пить стал. Я не махонький, чтоб меня учить и на бедное положение ставить, а потому, — говорит, — в вашем лечении нужды больше не имею. Я вам тоже могу совет дать — водки не пейте, а я знаю доподлинно, что вы пьете, и даже очень хорошо». Вот что вы скажете? И где он видел, что я водку пью? Не иначе, уже какие-нибудь друзья сказали. Это все там, на даче, каждый день неприятности. Вот у вас приедешь, отдохнешь и все забудешь.

— А вон Герасим Дементьевич идет, — сказал мой слуга Ленька, глядя в окно. — Зайца несет.

Герасим Дементьевич — крестьянин-охотник, приятель мой.

У него всегда смеялись глаза. Он был солдат и участвовал в турецкой войне. Человек мудрый и особенный. Ничто его не удивляло. Он как-то подчинялся жизни и любил природу. Он всегда звал меня на охоту в места, особенно рассказывая про них. Глубокие Ямы, Лисьи Норы, Святой Ключ, Лихая Сеча, Старый Курган, Заозерье, Вепрево озеро, Крупные Горки, Ведьмово болото, Лихое, Девий Луг. И во всех этих названиях был таинственный замок. Незъяснимой красоты русской природы.

Всегда мне представлялись при названиях этих мест картины их, и всегда, когда я приезжал туда, было другое — лучшее, и на этот раз, придя ко мне, Герасим звал поехать на охоту в Темный бор. Сейчас же мне представился ровный сосновый мачтовый бор.

Когда мы приехали, я, Иван Иваныч и Герасим, то совсем оказалось не то, что я себе представлял. Это были пригорки, на которых рос кучами огромный осиновый лес. Между пригорками текли ручьи, спускаясь к болоту. Мрачен был опавший лес.

Краем болота мы шли густой зарослью кустов мелколесья, и, поднимаясь на бугор, собака моя Феб останавливалась и обнюхивала воздух.

— Есть, — сказал мне тихо Герасим, — гляди, гляди, Феб-то, глухари!

Феб тихо и медленно шел вперед, и стал, и опять пошел. Долго мы шли. Феб встал у высокой травы у огромных осин, и с треском вылетел из лесу глухарь, поднимаясь кверху.

Убитый глухарь упал в желтую осеннюю траву. Я убил глухаря. Иван Иванович говорит:

— Это я.

Герасим смеялся.

— Ведь вот вы оба стреляли раз-в-раз, тютелька-в-тютельку.

Иван Иванович смотрел на меня и сказал:

— Я не слышал, как вы стреляли.

— Странно. Я тоже не слышал.

Глухарь был велик, и Феб держал его за крыло во рту и в удовольствии ходил кругом нас с глухарем, растопырив желтые глаза.

Когда мы взяли трех глухарей, в просветах темного леса показалась мутная осенняя заря.

— До сторожки, — сказал Герасим, — три версты, а то и боле, надо подвигаться, а то ночь воробьиная будет. Не заплутать бы...

В лесу маленькая изба-сторожка была пуста и не заперта. Зимой в ней не жил сторож. Было темно. Когда мы вошли, фыркнула кошка, увидев собаку, и бросилась на печку.

— Как быть? — сказал Герасим. — Сейчас пойду, лучины надо нащепать.

И он раскрыл большой нож.

Лучина горела, вставленная в пустую крынку. Освещала стол и вынутые нами закуски: колбасу, оладьи, хлеб, печеные яйца, ветчину, огурцы.

Ночь была темная.

Герасим хотел достать воды, но не нашел.

Шел дождь. Тихий и ровный.

Лучина надымилась дымом в избе, так что щипало глаза.

Мы открыли дверь.

Вдруг Феб зло заворчал под столом и, выскочив, лаял на открытую дверь, в которой было темно.

Никого не было, а Феб все с беспокойством ворчал. Он как будто что-то видел перед собой.

Герасим закрыл дверь. Феб понемногу успокоился.

Вдруг мы услышали где-то вдали протяжный стон, и дружно завыли волки.

— Эвона приятели поют, — сказал Герасим, — это они на всю ночь запели. Спать под их песни хорошо.

Заперев дверь на крючок, выпив коньячку, мы все примостились на лавках и проснулись, когда в дверь стучали.

Было солнечное утро.

Отворив дверь, стояла молодая девушка и в удивлении смотрела на нас.

— А тятенька не пришел еще? — спросила она нас.

— Нет, его не было.

Появился и сторож. Обрадовался нам.

— Эх ведь вот. Сейчас котелок согрею. Дровишки сухие-то есть. Чай сготовлю.

Помню, как душевен был сторож, как он был рад нам, какой был чай — какое гостеприимство, где же есть такой привет? Да, это было там, в темном бору печальной родины моей.

РЫБОЛОВЫ

Как очарователен осенний день. Сегодня ясное солнечное утро. На голубом небе, как кружева, блистают ветви орешника перед окном моей деревенской мастерской. Кое-где еще трепещет неопавший желтый лист, и на ветках, чирикавая, прыгают толстенные дымчатые снегири в красных жилетках, нарядные, веселые. Дали лесные поредели, виден проселок, блестят лужи от дождей. Приятели мои — охотники умываются у колодца и чему-то смеются. Пахнет дымком, трещит можжуха в камине. Слуга мой Ленька принес самовар и медленно проговорил:

— Сегодня тепло, чисто летний день. Утром Афросинья видела, что гуси стаей летели. Наши гуси тоже хотели с ними улететь, только полетели с горы — не могут, и сели на реку. Кричат, а те им отвечают. Василий Сергеевич говорит, что дикие им кричат: «Летите с нами, а то вас зажарят и сожрут».

Приятели, утираясь полотенцами, входят ко мне в мастерскую, рожи такие веселые, красные. Доктор Иван Иванович расчесывает перед зеркалом свои баки и говорит:

— Конечно, человек — общественное животное, он не может жить один.

— Вот у меня хозяин квартиры в Москве действительно животное. Такой черт, — говорит Коля Курин, — только опоздаешь в срок заплатить за квартиру, он уж пишет письмо: «Милостивый государь, напоминаю вам...» А я еще не получил денег — нет. Отвечаю ему: «Милостивый государь», а мне хочется написать — «я лучше тебя знаю, сукин сын, что нужно тебе платить». Пишу ему: «Потрудитесь, милостивый государь, вставить вторые рамы — уж октябрь, холодно. Если я простужусь и захвораю, то я привлеку вас в уголовном порядке к суду». Это меня научил Мишка Шульц — он адвокат, знает... Теперь он молчит. А то я прежде боялся. — И, помолчав, добавил: — Вот он, это верно, животное общественное.

— Не любишь платить-то? — сказал приятель Вася. — Не нравится... Тоже объегорить хозяина хочешь.

— Позвольте, — протестовал Коля Курин, — вообще, как вы думаете, человек — какое его назначение на земле?

— Постой, Коля, — перебиваю я, — что это ты сегодня... Вот ко мне приедут на днях два профессора — философ и метафизик, — ты вот у них спроси, они, брат, все знают.

— Когда они приедут? — мрачно спросил, кушая оладьи, мой приятель-рыболов Вася Кузнецов.

— На днях хотели, на охоту по зайцам.

— Ну вот... благодарю вас, я уеду, я не желаю. От них в голове какой-то бусарь заводится... Ну их к черту! А Кольку надо водой облить — заврался с утра... Человек — какое его назначение на земле...

Приятель Коля смотрел на Василия Сергеевича, мигая, и сказал:

— Странно — водой облить... При тебе нельзя ничего говорить интересного. Мало ли какие вопросы жизнь ставит интеллигентному человеку...

— Сегодня утро светлое, и ты брось эти разговоры. А то из колодца водой оболью... Довольно, в Москве это трепло надоело. Трепло — вся ваша интеллигенция, трепло...

Доктор Иван Иванович, такой розовый, с белыми глазами, гребешком расчесывал баки, смотря в зеркало. Слуга Ленька принес пироги с грибами.

— Что это, — спрашиваю я, — Иван Иванович, у Алексея утри по всей роже? Дайте что-нибудь, присыпку, что ли.

— Женить надо, — ответил Иван Иванович.

Ленька заспанными глазами посмотрел на Ивана Ивановича и, уходя, сказал: «Ну, ну...»

Приятель Вася такой серьезный, лицо красное. Обжигаясь, он ел горячие оладьи — Афросинья напекла. Говорит:

— Хорошо! Воздух какой! Осень. Вода, братцы, холодная. А если ты поговоришь у меня еще, — обратился он к Коле, — честное слово даю — я тебя в колодце испупаю, дождешься. Ты интеллигентчину брось.

— Ничего не интеллигентчина, — обиженно возразил Коля. — Ничего сказать нельзя. Я же мыслю, мало ли какие вопросы в голову входят...

— А я тебя кверху ногами в колодец опущу и головку макать буду, чтоб не входили вопросы дурацкие.

Отворилась дверь, и тетенька Афросинья внесла пирожки в сметане.

— Вот ноне рано я встала, чуть свет, на реку ходила. Что гусей летит к Феклину бору!.. На лугу, знать, сидели. Думаю, разбужу Василь Сергееича, вошла, а он, рот открывши, спит. Вот храпи-ит... Ну, я и пожалела... пуцай спит. Поутру-то самый сладкий сон. Поди, гуси-то знают — спят охотники. А теперь-то они уж где... А то было бы жаркое.

— Вот какая штука, смотрите, — говорит Василий Сергееич, — и гуси разбирают — женщина или мужчина. Нашему брату ведь не подойти к ним. А я завтра переоденусь бабой и пойду чем свет.

— Они узнают, брат, баба, скажут, больно велика, — заметил Коля Хитров.

— Это верно, — сказал Иван Иванович, — они видят, их не обмануть. Инстинкт, а может — и ум, кто знает.

Хорошо пить чай со сливками. Деревенские лепешки тают во рту...

* * *

Среди желтых березок и красных осин пробираемся мы тропой на речку. Зеленеют сосны Феклина бора. Вдали слышен шум колес мельницы в тихом осеннем утре. Как бодро в душе. Как радостно.

Сегодня утро светлое, я иду жерлицу на реку смотреть — щуки попали.

У ольхового куста над речкой висит жерлица на сучке. И вытянулась веревка далеко в реку. Василий Сергееич достает распущенную веревку: большая рыба за-вертелась в осоке.

— Завела, — говорит приятель Вася, — как быть?

— Надо лезть в воду, — говорю я.

— Благодарю вас, у меня ревматизм. Вот Колька, раздевайся, полезай, распутай.

— Ну нет, благодарю вас, я плавать не умею, еще утонешь.

В это время большая щука, сидевшая на крючке, блеснула на поверхности воды и потянула веревку.

— Здорова, — сказал я.

Василий Сергеевич потянул веревку и стал тащить щуку к берегу.

— Подсачек! — кричал он.

А подсачек забыли взять.

— Ну вот, — кричал Василий Сергеевич, — охотники тоже.

— Бери ее руками, — говорю я.

— За жабры лучше, — кричит доктор Иван Иванович.

Щука показалась у берега. Она была огромная. Сразу всплеснула и опять ушла в реку, вытянув веревку.

— Острогу! — кричал Василий Сергеевич.

Ленька побежал за острогой.

Медленно подтянув щуку опять к берегу, Василий Сергеевич изо всех сил метнул острогу. Размах оказался слишком силен, и Василий Сергеевич вместе с острогой ахнул в воду. Схватился за сук — и мы помогли ему вылезти из воды. Карабкаясь, он не выпускал из руки остроги. Огромную щуку выволокли на берег. Во рту щуки была видна другая щука.

— Смотрите, — удивлялись приятели, — ведь это первая щука попала в сеть, а большая ее после взяла.

— Идемте скорей домой, — сказал Иван Иванович, — надо Васю горячей водкой растирать.

* * *

Дома, на тахте, растирали Васю водкой; потом надели на него тулуп. Иван Иванович приготовил для него питье из рома, перца, хинина и еще чего-то...

— Нет, постой, — говорил, щелкая зубами от холода, Василий Сергеевич, — ты сам сначала выпей эту бурду...

Иван Иванович послушно сделал глоток из стакана. Потом пил Василий Сергеевич.

— Теперь делай гимнастику, вот так... — показывал Иван Иванович, разводя руками.

Вошел охотник Герасим, остановился в дверях, посмотрел, как Вася делает гимнастику, и сказал:

— Ишь ты, Господи, помилуй...

— Вот в воду упал, — сказал Вася Герасиму, — а у меня ревматизм. Заболеешь...

— Это щука, знать, тебя купала? Велика, глядел на кухне, около пуда будет. Посчастливилось, добыча хороша. Брось, Василь Сергеевич, на охоте-то нешто простудишься, этого не бывает. Я, когда лед шел, так три часа в воде маялся, челн перевернуло. А ежели и простудишься, Иван Иваныч вылечит. У нас тоже лекарка была, покойница бабушка Анна Захаровна. Так ежели у кого простуда, так она в лес уведет да голого его прямо в муравьину кучу посодит. Муравьи-то его нажгут, и, когда он

заорет, она ему велит: «Беги, — говорит, — домой». Вот он бежи-ит, вот бежи-и-ит... и с собаками не догнать. А дома на всю деревню орет благим матом.

— Ну что же, выздоравливают? — с усмешкой спросил Иван Иванович.

— Как когда, — ответил Герасим. — Бывает, что какой и Богу душу отдаст. А то и выздоровеет. Да ведь и у докторов не все живы остаются.

И он лукаво подмигнул Ивану Ивановичу...

У лесника

Ровной стеной стоит лес Красный Яр. Четко выделяются на темном фоне леса желтые штампы сосен. Внизу гладко, как ковер, стелется серый мох. Извиваясь, из лесу идет дорога.

Около стоит дом лесничего Ельчева. Деревянные ворота и высокий забор окружают двор и сараи при доме.

Вблизи речка и мост, и опять бор.

Сбоку от дома частокол загораживает огород. Огород — большой. Гряды репы, моркови, редьки, огурцов, капусты, крыжовника, черной смородины.

Октябрь. Кое-где за огородами желтеют березки на фоне темного леса.

Когда мы подъехали к воротам, на дворе сердито лаяли собаки. Ворота заперты. У калитки большое железное кольцо. Мы вылезли из экипажа и стали стучать кольцом в калитку. Сначала кто-то посмотрел в окно, потом послышались шаги, стукнул деревянный засов калитки.

— Вот оно, кто приехал, — сказал Михаил Алексеевич Ельчев, — вот рад. Жена и Маша в город уехали, а я один с работником. Пожалуйте.

Любил я приезжать в большой деревянный дом к лесничему Ельчеву. Уж очень был приятен огромный сосновый лес. В нем была приветливая радость. А ночью таинственная тишина. Мало-помалу тишина оживала — лес как бы дышал. Полон был непонятными звуками.

Мы вошли в дом, на столе горела лампа. На тарелке соленые огурцы, грибы, хлеб. Михаил Алексеевич хлопотал, позвал работника поставить самовар.

— Вот что, — сказал он, — вы ведь курите, погодите, не подходите к столу.

И он снял со стола коробку с порохом и какую-то большую черную бомбу с длинным фитилем. Уложив эти вещи в корзинку, он понес их в кухню.

— Что это у вас за бомба такая? — спросил приятель мой, охотник Караулов.

— Да вот, — сказал, улыбаясь, Ельчев, — это верно, бомбу начиняю. Из горшка сделал. Потому никак нельзя. В лесу живу, один, ну, и есть эдакие разные, похаживают... Кто их знает, откуда они. Беглые, просят — пусти ночевать, уж холодно становится. А я не пускаю, убьют ведь. Знают, что деньги у меня есть казенные. Ну и боязно. Ежели что, перелезут через забор, станут в крыльцо ломиться, ну, я бомбу-то подожгу. Она как ахнет, ну, на месяц отучишь. Это очень полезно для эдаких-то личностей.

— Вот, не угодно ли, — сказал Василий Сергеевич. — Кажется, в лес приехали, деревня далеко, а все-таки — разбойники, грабители, беглые, никуда от них не уйдешь. Везде какие-то истории. А все оттого, что деньги хотят свистнуть, и что только придумывают, чтобы деньги свистнуть.

— А как же, — сказал Герасим, — только и норовят, чтобы деньги достать и жить гуляючи. Трудами-то правильными не проживешь в разгул. А ведь у этаких людей первое на уме — любовницу фартовую завести поканалистей, чтобы кубарем ходила. В душе его разбойную сладость чтоб ударяла. Есть такие-то девки удалые, они на разбой кого хошь повернут. Во всех этих делах подводчик есть. Гляди — девка объявится. Только не всегда попадаются они. Эх, хитры. Уходят, притворяются, а ведь в ней сидит самая эта мошенская заводилочка. А когда надо, плачет, молится, где ее распознать? Она и веселит, и поет, и танцует. Прямо завертит кого хошь. Красотой обойдет. У всех воров, мошенников завсегда девка есть. Красивая, нарядная. Не дура.

— Ну да! Какая ерунда, какая пошлость. Что ты, Герасим, откуда ты это знаешь? Живешь в деревне. Я никогда не видал таких женщин, — сказал Павел Сучков, смотря на Герасима. — А ты?

— Э-э-э... — ответил Герасим. — Я много видал господ-охотников, в солдатах служил. Видал. Вы ведь, Павел Александрович, военный были? Гвардия? Вам не видать. А вот денщик ваш помалкивал. Мало ли вас оплетали? А вам неколи. Плевать. Жить ведь охота. Да вы и охотник, что вам на грязь человечью смотреть.

— А я скажу, хотя мы и приехали сюда, а эта бомба и истории с разбойниками мне совсем не нравятся. Ждите теперь, когда она лопнет. Знал бы, не поехал. Волки — это одно, а разбойники — это похуже-с... — с негодованием сказал Василий Сергеевич.

— Волки вчера выли здорово, — сказал лесничий, — голосов восемь. Вот туда, к гнилому мосту, овражек где, болотино, а к дому не подходят — еще снегу-то нет.

Хорошо в доме лесничего, тепло. На столе шумит самовар, крынки с молоком, деревенские лепешки, хлеб, грузди, рыжики, редька, капуста кочанная, огурцы соленые. В графине настойка полынная, варенье малиновое, ежевичное.

В окно виден бор. Все как в сказке. В душу входит какой-то отраднй покой.

— Вот ведь жизнь какая, — говорит Василий Сергеевич, наливая в рюмки полынной, — закуска какая! Лес! Какая красота! И вот тут же эта разная ерунда. Бомба, разбойники. Потом Герасим, это, говорит про девку какую-то. Это все жизнь портит. Если бы я губернатор был, у меня бы не побаловались. Я бы им головки отвернул и девушек бы этих нашел. Завил бы им косы. Они бы плетки попробовали у меня.

— Ну, довольно, — сказал Сучков, — я не выношу, когда про женщин говорят плохо. Женщины — это женщины.

И он приставил руку ко лбу, как бы отдавая честь. Взял рюмку полынной, поднял вверх, глядя в пространство, опрокинул рюмку в рот и поклонился. Видно было, что он выпил за какую-то женщину, которая была мила его сердцу.

— Это ты пьешь, кажется, Павел,

За милых женщин,
Прелестных женщин,
Любивших нас
Хотя б лишь час... —

сказал приятель Вася.

— Довольно. Хотя бы и так. Женщины — это венец создания, и другого мнения не может быть. И прошу о женщинах больше ни звука.

И он опять, подняв рюмку и глядя в пространство, выпил махом за милых женщин. Лесничий Ельчев, облокотясь на подоконник, смотрел в окно. На дворе лаяли собаки. В окнах было темно. Он взял ружье и вышел на крыльцо. Слышно было, как скрипнула калитка.

— Ну и хороши грузди, — сказал Герасим, закусывая водку. — Хозяйка-то мастерица. Маша тоже. Вот замуж-то вышла, в городе живет. В доме-то скучнее стало. Чудная Маша, говорит мне: «Не стреляйте волков-то, они вот в вечер зимой подходят к дому. Веселятся. Я им в подворотню корм бросаю, кости, ну и их боятся. К нам-то тоже не лезут чужие, разные. Покойнее жить через них. Злой человек боится. Говорят: “волки у них у дому держатся”. Человеки есть хуже волка. Живем в лесу. Они вроде как сторожат нас. Не стреляйте». Вот ведь чего, как выходит в жизни...

За воротами раздался выстрел, и в комнату вошел Ельчев с ружьем.

— Это что ж такое? — спросили мы. — Кто стрелял?

— Да я, — сказал Ельчев, ставя в угол ружье. — Так выстрелил, для остратки. Собаки беспокоятся, кто-то ходит, значит.

Закусив после чая, мы вышли за калитку. Была темная ночь. Тихо. В осенней ночи пахло туманом от реки и сосной. Мы сошли к реке, и слышны были шаги наши по грязной дороге.

Далеко за лесом и рекой раздался протяжный гул колокола и замóлк.

— Полночь, — сказал лесничий, — это на Вепре у Спаса сторож ударил.

На полу, на сене, разложились мы. Василий Сергеевич, снимая сапоги, беспокоясь, говорил:

— Знаете, вот что: надо сказать Михаилу Алексеевичу, что когда бомбу в случае поджигать будет, то чтобы разбудил нас. Я терпеть не могу этих бомб. Ведь так жить нельзя.

И, положив около себя заряженное ружье, мою палку с пикой от большого зонтика и топор, он лег на сено.

— Это что же ты так вооружился, Вася? — спросил я.

— Да-с, вооружился. На всякий случай. Посмотрю я, как это они придут грабить. Я за себя постою.

— Ну, а если девушка такая, про которую Герасим рассказывал, ты как тогда в сражение вступишь? — спросил Караулов.

— Довольно. Прошу о женщинах ни слова, — ложась на сено, сказал Павел Сучков, подняв палец, и строго посмотрел на всех нас.

«Монархисты»

Ничего нет лучше на свете, как жить в деревне, на природе.

Несмотря на то что лес уже отряхнул багряный свой покров и сегодня вечером с небес сыпала крупа и стегала в лицо, когда мы шли с охоты, мы все же с радостью пришли в мой деревенский дом.

По-моему, каждому человеку нужен свой дом. Нужно же прийти к себе. Так и говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше».

Большую комнату-мастерскую освещал камин. Зажгли лампу. Приятели-охотники снимали мокрые большие сапоги друг с друга и надевали валенки.

Гофмейстер надел туфли.

— А вот у меня ноги не промокли, — сказал Коля Курин, — я ботики гуттаперчевые с собой прихватил, а то в прошлом году пошел в штиблетах и простудился — флюс получил.

— Хорошо, что ноне не заплутались, — сказал Герасим, — а то бы в стогу пришлось ночевать. У Ратухинского кургана уж всегда заводит. Уж я знаю место, а вот заведет, на силу найдешь.

На столе кипел самовар.

— Что в печи — все на стол мечи, — говорил Василий Сергеевич слуге моему Леньке.

На стол наставили закусок: жареного гуся, глухаря, зайца, рябчиков.

Охотники подливали в чай коньяк и выпили по рюмке перцовки, чтобы не простудиться.

— А какой это курган? — спросил гофмейстер. — Это та гора, на которой нашли рябчиков? Вероятно, это насыпь, исторический курган и там похоронен какой-нибудь витязь или князь.

— Так точно, этот самый, — сказал Герасим. — У нас в деревне говорят, что там царь Горох упокоится.

— Какой вздор, — сказал гофмейстер. — Никогда не было в истории такого царя.

— Ну нет, извините, — запротестовал приятель Вася. — Это, конечно, было. Очень давно. Так и говорят: «Это было при царе Горохе». У нас в Порецком даже говорили, что при царе Горохе хлеба не было, а сажали только горох. Из гороха пекли все: и хлеб, и оладьи, и пироги. Да-с. И оттого что этот самый горох постоянно ели, люди прежде были каждый в сажень, а то и больше. А брюхо было у каждого вот в десять раз больше, чем у Юрия Сергеевича.

— Но это же невозможный вздор, — удивлялся гофмейстер.

— Нет, простите, не вздор, — у приятеля Васи лукаво блестели глаза. — Тогда этого не было разного там: пушек, пороха, снарядов и войн, дрались на кулачках, а сам царь Горох был всех здоровей. Ежели что-нибудь не так — придет и так тебе набьет морду, что больше не сунешься и сразу поймешь, в чем дело.

— Что это, Василий Сергеевич, нарочно, что ли, говоришь такой вздор, — удивлялся гофмейстер.

— Позвольте, это предание исстари. Вы в Петербурге, конечно, этого не слыживали, а я вам скажу: царство царя Гороха было самое счастливое. Теперь эти разные суды, присяжные, прокуроры, адвокаты прямо из черного белое сделают, мошенников оправдывают, а при царе Горохе — нет! — не увернешься. Набьют морду. Кто попадет — Горох не глядел: боярин там или подьячий, купец или дворянин-чиновник. Набьет морду, и никаких.

— Совершенно невероятно, — говорил гофмейстер, удивляясь. — Согласитесь же, ведь были всегда установления, постановления и даже законы, высочайше утвержденные.

— Ну да! — не унимался Вася. — А он позовет к себе и спросит: «Это ты что делаешь?» Тот отвечает: «Законы пишу для вашего величества». А он ему как даст по морде: «Вот тебе законы! Каждый сам знает у меня, в царстве моем гороховом, что можно и чего нельзя. Что твои законы? Плут всегда их обойти может, и меня ты без дела оставить хочешь — тогда кого учить буду? Как править мне, когда вы все без

меня завреться? Уходи, а то дам по уху, так у тебя семеро дома подохнут». Вот оттуда и пошла поговорка.

Гофмейстер смотрел, растопырив глаза, на приятеля Васю и на всех нас, как бы ища разъяснения предания о невероятном царе.

— Но согласитесь... — говорил он, — я ведь, подумайте, придворный чин и даю вам честное слово — я в первый раз слышу такую историю, чтобы так определяли отдаленный ход исторических событий... Неужели правда существует в народном поверье такой вздор? Это же умаляет достоинство державы...

— Ничего не умаляет, — вступился другой мой приятель, Павел Александрович, — хотя, конечно, это сказочная, так сказать мифическая, эра. Но мне кажется, что тут есть и правда. Я сам, судьей, такого мошенника видел. Он так ловок, что, представьте, все по закону мошенничал. Я ищу статью, чтоб его обвинить, — не могу найти. А он мне сам, смеясь, показывает. «Только вы по ней меня обвинять не можете, — говорит, — подходящая, да не совсем». Он и не боится...

— Но какой вздор я слышу! — не унимался гофмейстер.

— А вот со мной, — сказал Коля, закусывая пирожком, — был случай. Я перешел в лицее со второго на третий курс. Экзамены держали при университете. Так как я пропустил много зачетов, меня директор лицея, по постановлению совета, лишил права держать экзамены. А я взял и пошел со всеми лицеистами и выдержал блестяще все экзамены. Директор не знал, что делать, вызвал отца. «Но вы же ошиблись, не допустив его, — доказательство налицо», — сказал отец. Директор сказал: «Ну что ж, победителей не судят. А вот если бы он провалился, то ему бы крепко попало».

— Вот царь Горох прав, — сказал Василий Сергеевич. — Вот кому тут морду бить? А царь-то Горох знал кому.

— Конечно, это все давно было, — сказал Герасим, — не было машины, все далеко, ну и жили проще. Я сам помню, лет до двадцати, как в набор пошел солдатскую повинность отбывать, так не слыхано было у нас в округе, чтоб воровство было. Управляли по царю Гороху. Ежели где кто что свистнул — морду набьют бесприменно. Законов не знали, в суд не ходили. Боялись. Да и неколи. Поучат — и все тут.

— Вот видите ли, — заявил Сучков, — вот вам и голос народа, а в городе не так думают. И конечно, вашему превосходительству, — обратился он к гофмейстеру, — в министерстве Двора не приходилось сталкиваться с вопросом о царе Горохе.

— Непонятно! — фыркнул гофмейстер. — Ну как же вам не стыдно думать, что это история. Это же чистый вздор!

— Как сказать... — не соглашались приятели-охотники.

— Ну, знаете ли... — развел руками гофмейстер, — никто из вас не смеет сомневаться в том, что я монархист. Но таких, как вы, монархистов я... простите... встречаю впервые!..

Гришка-разбойник

Поздно мы возвращались с охоты из берендеевских лесов. Стоял октябрь, и рано заумерело. Был тихий осенний вечер.

Мелколесье, вырубка, кое-где сложены дрова, подпертые шестами, чтоб не развалились.

Идем без дороги. Высокая желтая трава и кусты.

Охотник Герасим посматривает кругом, озабоченно говорит:

— Идем, а место незнамо. Поглядите-ка на машинку, чего она покажет.

Павел Александрович вынимает карту, кладет на нее компас и погружается в задумчивость.

Шли на север, значит, надо брать на юг.

— Ну, когда уж компас смотрите, — значит, дело дрянь. Никогда по компасу никуда не придешь... — сказал Караулов.

— Мы идем на север, — сказал Павел Александрович, — а нужно на юг. Значит, поворачивай назад. Черт бы подрал — заблудились.

— Я так и знал. Благодарю вас — идти назад. Что же, Герасим, делать? Идти назад мало удовольствия — столько прошли! Может быть, какая-нибудь деревня покажется.

— Кто знает, — сказал Герасим, — в этом краю я не бывал. От Святого Ключа-то надо было влево брать. Это глухари нас завели, гонялись за ими — вот и спутались. Похоже, что заплутали. Ночь будет темна, не дойти. Надо к большаку брать, может, на сторожку набредем.

Павел Александрович, сидя на корточках, продолжал смотреть на карту и компас.

— Брось ты этот компас, — сказал Василий Сергеевич. — Вы в нем ни черта не понимаете.

— Довольно глупостей, — сказал Сучков, — надо идти назад.

— Чего «назад»? — спросил Герасим. — Видать, что заплутали. У большака теплее ночью-то.

Впереди стоял ровной стеной сосновый лес. По краю шла канава, и у межевой ямы стоял столб, на котором на белом фоне был напечатан жирно-черный орел.

— Казенник, — сказал Караулов.

— Надо полагать, сторожка лесника есть.

— Поди-ка найди, — сомневался Герасим. — Это берендеевы леса! Постой, дровец соберу, хворосту, костер зажжем ночью. Погреемся, с ним веселей. Чайку попьем, надо до темени воды принести.

— Ну, я на это не согласен, — сказал Василий Сергеевич, — мне эти штучки надоели, я не желаю. Ночевать в лесу — благодарю вас: У меня папирос нет. Нет уж, как хотите, пойдем краем леса, может, жилье найдем.

Глухой сосновый темный бор перемешивался с большими елями. Мрачен и глух был лес в осеннем сумраке.

Мы долго шли. За поворотом в гору шла мрачная порубь, на седой горе печально торчали срубленные пни, слева стоял сарай с гнилой крышей. Ни дороги, ни тропки не было.

— Сарай, — сказал Герасим, — все-таки жилище.

Стены сарая были заплетены плетнем, около росла крапива и лопух. Рыжая солома сгнила на крыше. Внутри сарая, сбоку, лежало старое сено.

— Куда идти? — сказал Герасим. — Чего лучше здесь! Дождик пойдет — спрятаться можно.

Кругом было мрачно. Сбоку шел бесконечный лес, заворачивая за пригорок. Брошенные старые лапти валялись у сарая. Лапти и разбитая крынка дополняли печаль вечера.

Надо было оставаться. Василий Сергеевич приуныл. Сучков посмотрел на часы — шесть часов. Кругом уже потемнела окрестность, и в лесу тоскливо и жутко захохотал филин.

— Вот, — сказал Василий Сергеевич, — начинается... филин орет.

Поодаль от сарая зажгли костер, присели около. Герасим ушел искать воду.

— Терпеть не могу этих штук. Того и жди — какая-нибудь чертовщина выйдет...

Герасим долго не возвращался, и в тишине ночи вдали раздался выстрел.

— Это Герасим, — сказал я, — надо выстрелить, может, заплутал.

И я выстрелил из ружья. Послышались шаги Герасима — он бежал.

— Нет воды, — сказал Герасим. — Вон там, с краю, какие-то трое молодцов увидели меня, остановились. Один свистнул, и они побежали в лес. Думаю: «Постой!», я выстрелил, да и сюда, к вам.

— Чего ж ты струсил? — спросил Караулов.

— Чего? В такую пору!.. У них, видать, топоры. Кто его знает, может, это Гришка.

— Какой Гришка? — спросил Василий Сергеевич.

— Гришка осторожный, он тут по лесу шляется. Пымать не могут.

— Вот, благодарю вас... — сказал Василий Сергеевич. — Вот поспите теперь.

Стемнело. Костер смутно освещал сарай.

— Надо потушить костер, — сказал Василий Сергеевич, — а то ему нас видно, а нам его нет. Он перестреляет нас, как куропаток.

И Василий Сергеевич шестом стал разбрасывать костер и тушить сапогами головешки.

Стало совсем темно. Мы пошли в сарай и прилегли на сено.

Тихо было в ночи. В лесу покрикивали совы. Долго тянулась ночь.

Герасим заснул.

Вдруг Василий Сергеевич мне говорит: «Слышите?..» И стал будить Герасима.

Неподалеку в лесу раздался резкий свист. Потом другой, третий.

Герасим встал и сказал:

— Идем из сарая.

Поднявшись, мы все вышли наружу. Тьма — зги не видать. Спотыкаясь о пни, мы пошли в гору и, отойдя от сарая, сели на землю. Вдали были слышны шаги. Кто-то подходил к сараю.

Собака моя, Польша, заворчала и бросилась с лаем вперед.

— Стреляй... — сказал Герасим.

Мы все выстрелили почти залпом.

— Ишь, стерва! — закричали у сарая. И мы слышали, как несколько человек побежали от сарая.

Вдали послышался свист.

— Идем, — шепотом сказал Герасим.

Мы тихо шли в ночи. Долго и медленно поднимались в гору.

— Стойте, — сказал Герасим, — нет ли кручи. Я пойду вперед.

Ветви елей стегали нам лицо.

— Шабаш, — сказал, вернувшись, Герасим, — ложись.

Мы легли в траву и вскоре, усталые, все заснули.

Я открыл глаза. Было раннее утро. За небольшими елками, опускавшимися по пригорку вниз, были видны бесконечные леса. Блестела речка среди бурых кустов ольхи. Обрадованные, мы спустились к воде. Весело побежала собака по берегу, заросшему чередой.

— Смотриай — утки, ишь, Польшетрон пошел.

Вскоре наши ягдташи наполнились убитой птицей. Разложив костер, мы сварили чай в котелке и изжарили уток.

— Ночью, — говорил Василий Сергеевич, — всегда черт-те что, а вот днем — не страшно. Но только где мы — неизвестно.

Речка вливалась в большое болото. Около, сбоку, шла дорога. Вдали мы увидали телегу. В ней сидел парень. Поравнявшись с нами, он остановился.

— Охотники! Ишь уток настреляли.

— Скажи, любезный, — спрашиваем, — мы заблудились, ночевали в лесу, какое место, не знаем.

— Старая Сеча, — говорит парень. — А вы чьи?

— Из Букова, — говорит Герасим.

— Эк вы откуда. Ведь это верст тридцать отसेлева.

— А ты не подвезешь нас? — спросил Василий Сергеевич. — Махорки достану покурить.

Мы все сели в телегу, лошаденка едва плелась.

— А к нам ночью Гришка приходил, — сказали мы возчику.

— Ишь, он тут, значит, похаживает, разбойник... Пымать его не могут. Зимой-то он по закутам, по деревням прячется, в трактире Фураева всю зиму служил, — не признали, с урядником водку пил. Гришка ежели свистнет — на неделю оглохнешь. Здоров — чисто лошадь.

— Что ж он — убийца? — спросил Караулов.

— Не... какой убивца, лесом торгует.

— Что за ерунда! — удивились мы. — Как — лесом торгует?

— Ловко торгует. Он завсегда с топором, и с ним подрушные, тоже разбойники, все с топорами. Выберет в лесу эту самую двенашину, срубит и с подрушными ее ночью выволочет из лесу в чисто место. Ну, значит, и продает. А на нее всегда нужда есть в деревне, тому-другому нужно: дом, сарай поправлять. Ну и берут, дешево и ладно...

— Так это не разбойник, а вор, — сказал Караулов.

— Э-э... что ты, разбойник. Ежели за ним казенный объездчик погонится, так ежели Гришка свистнет, тот с лошади — чубрик и бегом от его — голову бы не отрубил. Боятся... Но это что: как веревочке ни виться — кончику быть. Гришке острога не миновать. Беспременно пымают, не уйдет...

Первый снег

Какое счастье молодость! Всем восхищается и очаровывается душа — природой и людьми. Все увлекает чувство....

Мы вышли из Школы с вечернего класса, где рисовали голого натурщика, бородатого Петра, и вдруг увидели, что Мясницкая покрыта белым покровом — мостовая, крыши, купола церкви Флора и Лавра.

Первый снег! Зима! Как бодро и радостно!..

Весело освещалась светом огней булочная Севастьянова, и сквозь падающий хлопьями снег сверкали уличные фонари, ехали извозчики на санях, и кучер на паре вороных крикнул: «Берегись!», когда мы переходили улицу.

Повернув по Рождественскому бульвару, мы поравнялись с трактиром «Саратов». Это был двухэтажный дом с ровными подряд окнами.

— Стой, — сказал полный приятель, ученик натурального класса Шаулов. — Зайдемте в «Саратов», съедим расстегаев.

— Прошу, — предложил Шатилов, — мой черед.

У Шатилова был более частый «черед» угощать приятелей, так как он был со средствами. Ордынский, по прозвищу «братичек», стал прощаться.

— Куда же ты? — говорили мы. — Пойдем.

— У меня ни копыя, — сказал мне на ухо Ордынский, — неловко, знаешь.

Мельников, Комаровский тоже стали прощаться. Шатилов не отпускал никого.

Войдя в подъезд, у вешалки мы сняли калоши, пальто, пледы, покрытые снегом, и поднялись по деревянной широкой лестнице в большой зал трактира.

Пахло чаем и селянкой. У большого буфета посетители пили водку, рябиновку, закусывая селедкой, горячей колбасой, балыком, грибами. Бойкие половые разносили на подносах чай, вина.

— Идемте в кабинет, — предложил Шатилов.

Просторный кабинет в пестрых обоях, с зеркалом над диваном. В окна, выходящие на Сретенку, было видно, как часто падал снег.

За горячими расстегаями с рыбой и визигой Шатилов рассказывал о том, что было в Париже и что там, в школе Кармона, рисуют с нагой натурщицы.

— Это гораздо трудней, чем рисовать бородатого банщика Петра. Ну и интересней.

Мы все невольно позавидовали богатому Шатилову — был в Париже!

— Как странно, — скромно сказал Ордынский, — что у нас в Школе нельзя писать натурщицу.

— А я совсем не люблю рисовать тела. Я ведь пейзажист, — сказал Светославский.

— Необходимо, — спорил Шатилов, — иначе нельзя понять форму и выучиться рисовать.

— А почему? — возразил Левитан. — Разве дерево не так же грациозно и красиво, как женщина? Дуб, дубовая роща красивее же этого Петра с бородой.

— Ну нет, — не соглашался Шатилов, махнув рукой, на которой блеснул перстень. — Женщина красивее всего. Красивее моря и неба.

— Ну что вы, цапка, — сказал Левитан, — ничего нет красивее неба.

— Постой, — сказал Светославский, — молодая женщина тоже красива...

— Ну да, красива, но, когда они говорят, что-то разочаровывает! Когда они молчат — лучше.

— Что же они такое тебе наговорили?

— Я не понимаю их. Говорят: зачем вы художник? Я не знаю, что ответить. Они хотят, чтобы их всегда веселили. А я не люблю, когда надо смешить, развлекать. Природу не надо развлекать — она всегда поет, в ней счастье, настроение.

— Ну-ка, поди сейчас, напиши-ка эту природу — метель!

— Это тоже красота, — подхватил Ордынский. — Это все надо, эти контрасты. Такая ночь всех гонит в свое гнездо. Люди становятся дружнее, ближе друг к другу. В окружении мрака, невзгоды, бури сковывается любовь и братство...

В это время в трактире заиграла машина: «Вдоль по Питерской, подруженьки, по Тверской-Ямской с колокольчиком».

— Ах, хорошо, — сказал Мельников.

Яковлев — с большими волосами, с круглым лицом, горло повязано красным платком, — выпив рюмку водки, сказал басом:

— Вот не я буду, а напишу такую ночь: художник сидит в Сокольниках, пишет снежную бурю и замерзает. Вот тогда пускай посмотрят аристократы. Пускай подумают. В картине нужна идея. Эти пейзажики — неинтересны. Мне давно хочется написать утопленника. А где его возьмешь? Надо сюжеты — надо сказать, наконец, кто мы и кто они!.. Репин показал «Бурлаков» — все задумались. А я вот утопленника покажу — пусть подумают.

— Ну что же? — спросил Шатилов. — Ну, утонул человек, утопленник... Это смотреть неприятно, зачем же это писать? Согласитесь, Филипп Петрович, это неприятно.

— Да вы вот как — неприятно? Вам бы все только чтоб приятно. Ну, а если этот утопленник и не утонул, а утопился? И почему утопился? Жизнь довела. Понимаете ли, жизнь доводит. Правды в жизни нет. Вот что надо писать. Правду показать им. Показать им вот, что вы довели, вы... Пробудить надо их. А то пейзажики пишете, картинки, изящную женщину голую подавай. Спорите, что лучше. «Дуб также грациозен, небеса голубые». Стыдно! Понимаете ли, что говорите?

— А есть у этого дурака какая-то своя правда, — сказал неожиданно его приятель Мельников.

— «Дурака»! Я тебе покажу дурака!

Яковлев встал, показал кулак и сказал:

— Воззри на сей — он в гроб кладет!

Здоров был Яковлев, кулачище был огромный.

— Это что, не страшно, — смеялся Мельников, — если бы ты был Рембрандт, — тогда бы...

— Рембрандт? — перебил Яковлев. — У Рембрандта не было идей, а у меня идеи. Вашим Рембрандтом скоро будут горшки покрывать.

— Когда Рембрандтом станут горшки покрывать, то такими дурацкими головами, как твоя, уж будут вымощены мостовые.

Яковлев зло посмотрел на Мельникова и, стукнув кулаком по столу, крикнул:

— Абсур! Филантроп ты, сукин сын!

— Ну зачем же так, зачем ссориться? — волновался Шатилов.

— Это не ссора, — засмеялся Мельников, — это всегда у нас так. Мы вместе живем. Он хорош, когда сердится. Потом слова разные любит — иностранные: «филантроп», «цивилизация», «абсурд», но говорит — «абсур». Думает, что это все равно что дурак. Идеальный парень.

Яковлев молча сел, налил рюмку водки и, выпив, сказал:

— Вот до чего меня доводят!

— Успокойтесь, — говорил Шатилов.

— Верите ли, никто меня не понимает, — сказал Яковлев. — Актер-приятель Задуняев-Вральский мне сказал, что я трагедик. А эти — комедианы, — показал он на всех нас.

— Вали, вали, качай, — сказал Мельников, смеясь.

— Вот, слышите, «качай»! Это что же такое? Что же, я, по-твоему, пожарный или художник?

— Ну, довольно, — сказал, вставая, Ордынский. — Пора. Первый снег. Этот спор надолго.

— Идем, — сказал Светославский. — У меня вот в картине Днепр. Вода не выходит. Это не идеи, попробуй-ка воду написать...

У подъезда приятели прощались. Чудесно пахло зимой! И кругом сыпал и сыпал первый девственный снег.

Жена

Ранее утро перед рассветом. В окно видны темные ели сада. Я и приятели мои проснулись чем свет. Одеваются, умываются. Заспанный мой слуга, Ленька, подает самовар.

— Попьем чаю, закусим и пойдем на реку смотреть поставленные на рыбу сети.

Доктор Иван Иванович, уплетая пирог, смотрит в окно и говорит:

— Светает. Земля к солнцу поворачивает. Вертится. Ишь, медленно вертится.

— Как — медленно? — заметил Коля. — Более ста верст в час, по-нашему.

— Это кто тебе сказал? — спросил Василий Сергеевич. — Тогда бы на ногах не устоять.

— «Кто сказал»... Это, брат, астрономия говорит.

— А Земля наша не очень большая, — продолжал Иван Иванович. — Вращается в пространстве бесконечном. Без начала, без конца. И вот не падает.

— Куда ж ей упасть? — сказал Коля. — Некуда ей упасть, неизвестно, где верх, где низ.

— Вот! Опять с утра начинают завираться! Это как же это, нет ни верху, ни низу? — удивился приятель Вася.

— Очень просто. Ночью мы внизу — вот Москва, а Америка наверху. Ночью кверху ногами ходим, а сейчас вот чуть свет — мы боком. А днем американцы кверху ногами. Ты хотя и старшина, а из кружка ночью кверху ногами идешь...

— Ты это свою астрономию брось. Дурака не ломай. Что я, муха, что ли, чтобы по потолку ходить...

— Вы вашу философию бросьте, — сказал Василий Сергеевич. — Вот взойдет солнце, пойдем к Феклину бору, на Глубокие Ямы сети смотреть. До чего я не люблю, когда завираются. Вот Колька, когда заврется, так я беру ведро воды — брызну на него, он неделю человеком ходит. Сразу начинает понимать что надо... К вам как-то приезжали эти философы, про право все спорили. Чуть не подрались.... Так Муся — ваша натурщица — от них в деревню убежала. И что говорить — уши вянут. Ерунда...

— Вот именно — ерунда! — сказал Коля. — Вроде жены моей Анфисы. Как-то она говорит: «Каракуль искусственный стали делать лучше настоящего, а стоит много дешевле». — «Вот и хорошо, — говорю, — сшей шубу из искусственного». — «Как так? — говорит. — Вот ты всегда скажешь ерунду, — слушать тебя противно! Чтоб я носила подделку, вот ты как! У меня даже голова заболела!» — «Да ведь ты сама

сказала, что лучше». — «Оставь, дурак, я никогда этого не говорила». Никакого резона. Ходишь потом весь день как очумелый — свет не мил. Зайдешь куда-нибудь в кружок — там актеры, жрут, хохочут, а ты какой-то чужой, обалделый...

* * *

Только мы оделись и собрались пойти на Глубокие Ямы, как увидели в окно, что от ворот едет тарантас и в нем сидит дама в шляпе, густо покрытая голубой вуалью.

— Жена! — сказал, побледнев, Коля.

— Спасайся, — крикнул Юрий.

Коля бросился в сени.

— Беги на чердак! — крикнул кто-то.

Слышно было, как приятель Коля бежит вверх по лестнице. В сени вошла дама и сухо сказала:

— Николай Васильевич у вас?

— Николай? Нет, его здесь нету. Он был вчера, а куда делся — неизвестно. Вот мы на реку идем — на Глубокие Ямы, посмотреть: черт его знает, может, он утопился....

— Глупая шутка. Мне нужно его видеть. Послушайте, — обратилась она к слуге моему Леньке, — скажите Николаю Васильевичу, что я приехала. Он, конечно, спит... — добавила она капризно.

— Чего спит, — сказал Ленька, — он ушел.

— Куда ушел?

Ленька смотрел на нас растерянно.

— Вчера еще утром ушел, — сказал Караулов. — Он, должно быть, уехал в Москву...

— Или утонул, — не унимался Юрий.

— Я не шучу, — рассердилась дама, — я вас спрашиваю — где мой муж? Глупо говорить — утонул. Я сейчас велю позвать полицию. Утонул — это не шутки! Это мой муж! Вы можете топить сами, а я не позволю... Он не посмеет! Я покажу ему — топить! Он не смеет забывать, что у него есть жена.

— Простите, сударыня, если б я был женат, то уж наверно бы утопился, — сказал Василий Сергеевич и, зажмурив глаза, расхохотался.

Жена Николая презрительно взглянула на него и крикнула:

— Николай! Где вы?

Ответа не было...

Дама сняла шляпу и села к столу, сердито оглядывая нас. Мы предложили ей чаю, пирога. Она от всего отказалась и опять крикнула:

— Николай Васильевич, я приехала!

На чердаке что-то упало.

— Что это? — спросила дама.

— Это у нас там ручной барсук живет, — процедил Ленька.

— Я пойду посмотрю, — сказала жена Николая.

— Не ходите, он вас кусанет, — сказал Василий Сергеевич. — Я его кормлю, а он так и норовит цапнуть... Не подойдешь!

Пока шел разговор наш с супругой, Коля не ко времени закашлялся — на чердаке было пыльно.

— Да это настоящий комплот!¹ — взвизгнула жена Николая. — Это он кашляет, я узнаю — он.

И она, взяв зонтик, стала стучать в стену, приговаривая:

— Идите сейчас же сюда! Я приехала... Впрочем, я сама подымусь.

Она быстро вышла в сени, и слышно было, как она поднималась по лестнице. Через мгновение мы услышали голос Коли:

— Дорогая! Это ты, приехала наконец!...

— Что это вы на чердаке делаете? — раздраженно перебила его жена.

— Знаешь... поверь... я ушел от них сюда почитать. Так надоело там... Все споры, философия...

— Пойдемте, — строго сказала жена, — сейчас же едем домой.

— Хорошо... Только я прощусь с ними... Неловко же так уехать...

— Ни под каким видом. Это не ваше общество...

Через несколько минут мы видели в окно, как Коля оробело и кротко сажился в тарантас и, выехав за ворота, оглянулся в нашу сторону...

* * *

На Глубоких Ямах, где лес отражался в тихой воде реки, мы вытаскивали на берег сети и выбирали пойманную рыбу — шук, налимов, линей. Вечером тетушка Афросинья сварила дивную жирную уху, и мы за ужином не раз вспоминали приятеля Колку...

* * *

Ночь... Мы ложились спать. Вдруг открылась дверь, и в комнату вошел Коля. Мы удивились:

— Откуда?

— Ух, — вздохнул Коля, — что было! Но на вокзале подвезло: один поезд подошел на Москву, а другой на Ярославль. Остановка пять минут. Я сам не свой, себя не помню, сажусь в вагон, она кричит: «Сюда! сюда!» — а поезд и пошел. Кондуктор подходит, спрашивает: «Вы куда едете-то?» — «В Москву». — «Как — в Москву, поезд-то в Ярославль идет, билет ваш не годится!» Я говорю: «Батюшки, я так расстроен...» А он: «Это нас не касается, вылезайте сейчас же в Петрове, штраф заплатите». Вот я из Петрова опять сюда приехал, телеграмму ей дал: «Дорогая, вспомнил дорогой, уехал по важному делу»...

Надо сказать спасибо!

Вот здесь послушаешь, говорят: тот уехал на ваканс, а другого встретишь — приехал с ваканса.

Пришел в редакцию: где секретарь? — Уехал на ваканс, а редактор приехал с ваканса.

Лицо такое более спокойное. И краска в лице играет. Загорел немножко.

Встретил артиста-певца. Спрашиваю:

— На ваканс были?

¹ От фр. *complot* — заговор.

- Нет, какой ваканс... Что вы спрашиваете! Разве у нас есть вакансии?
— Разве нет? — говорю, — так я спросил, вас не было видно. Я и думал.
— Странно, что вы спрашиваете.
— Почему? — удивился я.
— Да как же. От вас-то это слушать чудно.

Вы забыли, что у нас Большой театр в Москве закрывался в начале мая, а открылся 15 августа. Жалованье шло, а я пел лето по Волге, в Иркутске. Где я только не пел, и на всех курортах был. В Кисловодске, в Ессентуках, в Мариенгофе, в Сестрорецке, а здесь жарница, так в номере лежал целый месяц в тоске. Москву вспоминал.

А сейчас в лавочку иду — надо купить поесть что-нибудь. Эх, помните, по Волге на пароходе летом едете. Берега какие! Стерляжья уха, расстегаи с зернистой икрой, кают-компания. Едем в Саратов давать концерт. Публика встречает на пристани аплодисментами. Дамы записки в руку суют, приглашения на обед. Разбираешь, как куда попасть.

Вы, кажется, все забыли, — сказал он мне сердито и остановился около лавочки, смотря на вялые огурцы, салат, картошку, яблоки.

И, посмотрев на меня сердито, кивнул головой и пошел внутрь лавки.

«А верно ведь», — подумал я. И сразу Москва встала передо мной.

Осенью с вокзала едешь на извозчике. Москва уже вся в сборе. Вернулись с дач.

В театре, на сцене встречаешь съехавшихся артистов. Веселые, загорелые, нарядные, фланируют по Кузнецкому Мосту. Пальто в талию, цилиндры на голове, руки в перчатках, держат палку с набалдашником из слоновой кости.

Раскланиваются с проезжающими знакомыми.

— Это ты с кем здоровался? — спрашиваешь артиста-приятеля.

— Как — с кем? Разве не знаешь Шибнева? Видишь эту у меня булавку, изумруд, — это он мне на бенефис поднес.

Опять оба раскланиваются с проезжающей дамой в коляске.

Из коляски дама с ними так весело раскланялась.

— А Надюша не дура, — смотря на проезжающую, сказал актер, — как его пристроила. По ниточке он ходит. И пить бросил. Вылечила его. Драма ведь у него была. Отец его насильно женил. Ведь я у него месяц жил. Не пускает. «Ты, — говорит, — меня спасешь». Все мне рассказывал про свое горе. Так веришь ли, целый месяц из «Мавритании», «Яра», от Жана не выходили. Там и жили. Домой — не шел. Он мне рассказывает всю-то драму свою, а я ему говорю: «Черт с ней». Не отпускает меня. Ну, я, конечно, петь должен. Он дожидается. Приеду с приятелями из театра к Жану, а уж ужин готов. Ну, начинается пьянство на всю ночь, музыка, хоры... Так, знаешь, я его чем вылечил? «Пляши, — говорю, — пляши до забвения, снимай горе и ругай ее, на чем свет стоит, ругай». И что же, благодарит, целует меня. «Ты, — говорит, — мой лучший друг».

Вот раз из окна от Жана мы увидели эту Надю. На тройке в компании приехала к Жану. Вот я ему говорю: «Смотри, эта актриса недурна, брат. Вот отбей, тогда вылечишься». Он как-то глазами замигал и говорит:

«Да, хороша, но как отобьешь?» — «Дурак ты, — говорю, — почти каждую отбить можно». — «Да как, как познакомиться-то?» — «Да, — говорю ему, — у тебя купонов в кармане сколько, разноцветные они». — «Да, — говорит, — вот купоны разные». Он купоны-то вынул и бросил на стол. «Это, — говорит, — Петр Кузьмич у меня все режет». — «Постой, — говорю я, — мы сейчас гуммиарабик спросим, и я из них ленты

наклею». Ну, наклеили мы ленты. Я ему все на котелок пристроил. Позвали цимбалиста, и я ему говорю: «Я ее тихонько через метрдотеля вызову, а ты котелок надень и будешь вроде как какой-то южный американец, весь в лентах до полу. Как я с ней войду, ты плясать начинай». Ну, я и вызвал ее из кабинета; она там кой с кем, со своей компанией сидела. Она как вошла к нам в кабинет — удивилась. А он танцует и поет:

Олл райт, олл райт!

Ушла она и спрашивает: «Кто это он, весь в купонах? Кто это?» А я говорю ей: «Он — он русский американец. Мы вас круглый месяц с ним ищем. Больше я вам ничего не скажу». И не надо было! Лентами этими всю ее обвили. За цветами ночью к Ноеву посылали. Так из ресторана чуть свет выходили, а лестницу и дорогу до подъезда, в тройку садиться, метрдотели цветами усыпали. Я моему приятелю сказал: «Ты к ней сразу не приставай и молчи». Она ему письмо. Он ответ в стихах. Подбирали подходящее:

Вас стоит только раз увидеть,
Чтобы убедиться и решить,
Что вас возможно ненавидеть,
Но невозможно не любить!

Это все решило. Написала любовное письмо, что «я только и думаю о вас». Ну вот и вылезился. Но немножко странновато. Боятся всех — как бы не отбили. Меня тоже — дурковат малость. Мне-то что, какая корысть? Я ведь ему как человеку помог. Но дурак! Слюни распустил. Я ему больше не нужен. Ошибается. Надоест. Я ее знаю, через год его бросит — опять ко мне придет, — засмеялся артист, — опять лечить придется.

* * *

Блестят магазины Кузнецкого Моста. В витрине Фаберже сверкают драгоценные камни, кольца, ожерелья, жемчуга, бриллианты.

— Не люблю я этих бриллиантовых колец, — говорит артист, — мне их много на бенефисах подносили, мужчины колец не носят, — как-то, знаешь, не идет, а женщина когда видит на руке у тебя бриллиант, то как-то волнуется и начинает говорить не то. Без бриллианта лучше! Искренней.

— Конечно, — подтвердил другой артист, — они бриллиантов не могут видеть равнодушно. Я, помню, молод был, и романчик у меня завернулся. Влюблен был. У меня — ни шиша, у нее — тоже. И все ничего было, хорошо. Гуляя с ней, также вот увидели магазин. Она видит бриллианты, ожерелья. Смотрю, глаза у нее загорелись восторгом. Я ей говорю: «Ну что это, стеклышки, блестят, и только. Что в них? Это интересно дикарям; себе в уши серьги вдевают с бриллиантами. И у нас тоже. Это дикарство». — «Это красиво, — сказала она мне сухо, — я бы с удовольствием носила серьги. Вы, пожалуй, скажете, что надеть вот это жемчужное ожерелье тоже дикарство. По-вашему, пожалуй, и шляпа хорошая для женщины тоже дикарство? Вы, — говорит, — что-то заврались. Не можете мне купить бриллианта, оттого и говорите, это стеклышки ничтожные, в дурах меня держать хотите». — «Позволь, — говорю, — что ты. Эти безделушки могут только утешить именно дуру. В Индии там себе на чалму мужчины нацепляют брилли-

анты, а женщины голые ходят». — «Довольно, милый мой, — сказала она. — Я вижу давно, что вы хотите, чтобы я голая ходила». Повернулась и ушла. Вот ведь что. Встретил ее, она со мной не здоровается, а приятель мне сказал, который видел ее, что она про меня говорит, что дурака такого, как я, никогда не видала.

— Ага, — сказал другой, — ты маху дал. Никогда не говори женщине, когда она видит на другой бриллианты, что это бессмысленные украшения. Скажешь — ты пропал. Говори, что это прекрасно, вот разбогатею и тебе куплю.

— Ну что ты говоришь, — замечает приятель артиста. — Это какое-то низменное наслаждение блеска, мишуры. Я понимаю, хорошая картина, книга, наконец — игра артиста, музыка, пение, театр.

— Да, да, толкуй, — говорит первый, — а посмотри-ка, сколько времени она перед зеркалом себя украшает. Как она завидует той, у которой бриллианты. Она может с тобой и согласиться, но в душе будет думать так же, как и та, которая от тебя ушла. Знаешь ли, она была более искренней, чем другие.

— Ну нет, я с тобой не согласен. Если женщина любит, то она не будет говорить такого вздора. Прости, ты, кажется, не знаешь настоящих женщин.

* * *

В кафе «Трамблэ» сидят все артисты, пьют кофе с ватрушками и шоколад с бисквитом.

— Это был дикий успех, — говорит один.

— Я, брат, на верхнем до филировал!

— Постой, у тебя-то верхнего до и вообще нет.

— То есть как нет?! Да ты что? У меня ми есть!

— Полно врать, Тамань! Рубини!

Маленького роста тенор обиделся.

— А вы слышали меня в «Миньоне»? Хотя все равно, вы не слышите, потому и детонируете.

— Это я-то детонирую? Пускай вон скажут все. Вот маэстро.

— Ну что ссориться, спорить? — говорит маэстро-чех, — кто детонирует, у кого верхнее ми! Все мне это уже давно известно. Здесь, в Охотном ряду, у вас в Москве, чего только нет: поросенок, барашки, утки, гуси, куропатки, пулярки, индюшки, терки, цесарки и потом эти рыбы разные! Вот оркестр какой! У меня руки дергаются дирижировать. Все пост: скушай меня, съешь меня! Я сегодня гуся купил. У нас, в Чехии, гусь — первое блюдо. Приходите ко мне гуся есть. Как хорошо живет Россия! Зачем ссориться, спорить, надо сказать спасибо!

Мороз

Сегодня мороз. Рано утром я увидел в окно, что сад мой весь покрыт узорами инея. Все ветки орешника, берез, елок были покрыты пухлым белым нарядом.

Точно неведомый волшебник нарядил сад. Это было восхитительно, я не мог оторвать глаз от этого чуда природы.

Сороки, садясь на ветки берез, отряхали их и трещали, радостно поднимая хвосты, в тишине утра.

Какая волшебная красота! Странно... Избы, сараи и мой дом будто оделись в заячий мех. И мой ручной заяц, тоже побелевший в одну ночь, с радостью прыгал по первому снегу.

Тетушка Афросинья в желтом платке с узорами, Феоктист в тулупе с красным кушаком, дедушка-сторож, приятели мои, охотники — Павел Александрович, доктор Иван Иванович, Караулов, — елки, березы — все как-то было похоже на забавные игрушки, которые показывает фокусник...

Мы идем по саду к речке. В темной воде опрокинут соседний берег. В белом саване, задумчив, огромный Феклин бор.

— Смотрите-ка, — говорит Василий Сергеевич, — баки-то у Ивана Иванoviча побелели.

Брови, усы у приятелей покрылись инеем; лица изменились.

— Вот пороша — что надо! — сказал охотник Герасим. — Пойдемте по бугорку — видать будет. Эвона следы, глядите, лисица прошла. В кустах держится. К деревне норовит. Хитрая. Куру украсть охота. Воровка.

У самого берега речки, где песчаный бугорок, остановился Герасим и смотрел на маленькие, как бы птичьи, следы.

— Чего это? — спросил Караулов.

— Редкостно, — ответил Герасим, — мышка белая, горноста́й. Летом не увидишь. Два рубля шкурка стоит. К Ивашову озеру есть, у Вепря тоже, а здесь не видано было. В глухих местах держатся.

Проходя по берегу реки, мы дошли до мельницы Ремжи. Весело шумели колеса, брызгая светлой водой. На фоне огромного елового леса маленькая мельница с помольцами и крестьянскими лошадьми радовала глаз.

На мосту мельниковы собаки с лаем прибежали к нам; весело прыгали и виляли хвостами. У мельника в избе было тепло. Большой самовар стоял на столе. Сидели помольцы.

Мельник, приветливо встретив нас, сказал:

— Герасим, вечер вверху боле восьми лосей прошло. Вот тута прямо, в руках. В горку. Я прямо притулился, около прошли. Эх, и здоровы! Думаю, батюшки, увидят — на рога бы не взяли. Вам бы быть. Лосины бы на всю зиму насолили.

— Да-с. Хорошо-с. Рядом лоси, — говорил Павел Александрович, смотря на меня, — а вы только прохладжаетесь. Обеды, ужины, чаепитие, Герасим тоже. А охота рядом!

— Да нешто, Пал Лисандрыч, узнаешь, где ход их и кады? Зря глаза пучить. Кому ведомо? Вот надьсь говорил Захар-угольщик — медведина под Любилками пудов на двадцать прошел, вот рядом. А правду ли сказал?

— Кажинную осень, — сказал мельник, — этот самый ведмедь здесь проходит, это верно. Я след видал. К старому Спасу, на Вепрь, держится след. Там, знать, заляжет на зиму в берлогу. Вепревские говорили: знать, любит слушать колокол спасский, по нем время зимнее коротает. До весны счет держит. Видали его. Эх, велик. Вреда от его нет, тоже живот не обижает. Это не Миколка Кольцов, что у Спаса в алтаре хрест золотой уворовал. Зверь с понятием.

— Чего еще! — сказал помелец. — Он в котелке хотел хрест сплавить, а его огонь не берет. Настька, полюбовница его, в Переславль пошла и начальству сказала. А Кольцов видит — хрест не плавится, спугался да назад, в Вепрь, к Спасу: опять

ночью залез, на алтарь и положил да домой. К нему начальство, обыск. Где крест? Нет креста. Миколка говорит: знать не знаю, ведать не ведаю. Начальство к Спасу. К попу. Поп говорит: «Три дня крест пропадал, а на четвертый на престоле лежит и сияет более прежнего...» А Колька с перепугу сбежал после того, и посейчас нету...

* * *

Возвращаемся с мельницы домой.

Подходя к крыльцу, увидели деда, сторожа дома моего. Он, здороваясь, сказал: — Вот ведь ушли, а поглядите-ка — у помойки за сараем что наслежено — волки были. В ночь приходили.

Все пошли к сараю смотреть следы.

— Верно, — сказал Герасим, — следы волчьи, пара была, вот ведь что. Опять те же ходят.

— Это что ж такое? — удивился Павел Александрович. — Сегодня с вечера сидимся на чердак и оттуда их жиганем.

— В прошлом году сидели, — сказал Герасим, — Иван Иванович помнит, — так нет, хитры. Ружье, себя салом смазали... нет, не идут. Сидели, мучились, а как пошли спать — пришли. Утром следы, как сейчас. Это здешние. Из мохового болота. Хитрые до чего! Они всех знают здесь.

— Капкан надо поставить, — сказал Павел Александрович.

— Ставили. Не идут, не попадают. Вот до чего умственные. Их не проведешь.

— Ага, постойте, нашел! — сказал Павел Александрович за обедом.

Оп скроил и сшил себе белый чехол из простыни и ночью хотел засесть караулить волков.

Но к вечеру снег растаял — потеплело.

— Вот, в жизни всё так, — сказал он, — всё против. Мороз прошел...

— Это верно, — подтвердил Иван Иванович, — пациент солидный, фабрикант, говорит: «В жизни рюмки одной вина не выпил, а все убеждены, что алкоголик». Вот что скажешь...

Директор

В самом начале учебного года в саратовскую классическую гимназию приехал вновь назначенный директор.

Седой, почтенного возраста человек, бритый, со светлыми добрыми глазами. С ним полная старуха, его супруга.

Весь состав гимназии встретил директора на пристани.

Он поздоровался со всеми, никому не подав руки, и скромно сел в поданную коляску.

Напротив сели инспектор гимназии и протоиерей собора — преподаватель Закона Божия.

Новый директор и сопровождавшие его двинулись в гимназию, где он должен был остановиться в казенной квартире. По дороге он все время беспокоился о своем багаже, который везли отдельно.

Преподаватели несколько удивлялись простому виду сереброкудрого нового директора, картузу его, супруге, просто одетой в черный шерстяной платок, в кофту,

которую носили лавочницы, и простые башмаки, у которых видны были ушки. «Надник?» — подумали учителя гимназии.

По приезде на место, в гимназию, директору показали его квартиру из пяти комнат. Посмотрев, директор скромно спросил:

— А где кухня?

Увидав кухню и комнату при ней, он сказал:

— Маловато. Ну так ведь это не Питер.

В кухне он тщательно осмотрел плиту, перебрал кастрюли, покачал головой, сказал:

— С этим не управиться, надо прибавку сделать.

Осматривая комнаты, он живо интересовался, где будет столовая.

— Это уж где вы изволите сами себе выбрать, — отвечали ему.

Прощаясь с новым директором, инспектор, представляя ему каждого преподавателя, пожелал узнать, когда он пожелает осмотреть гимназию, классы и учащихся.

— Так что ж, — сказал директор, — завтра утром зайду, что ли? Когда прикажете.

Вечером собрались у инспектора преподаватели и за чаем обменялись впечатлениями о вновь назначенном директоре.

— Совсем простой человек, — сказал учитель русского языка. — И видно — себе на уме. Кухней почему-то недоволен. Комната для прислуги мала. Должно быть, демократ...

— И мне он показался странным, — сказал учитель истории. — И жена, то ли из простых, то ли в народ ходила... Заметьте, слова не сказала.

— Благословения не приняла, — прибавил протоиерей.

В десять часов утра появился в залах гимназии новый директор, в длинном сюртуке, при белом галстуке. Ему показали классы и в актовом зале предложили сесть в кресло перед столом на возвышении. Новый директор смотрел на всех вопросительно, с недоумением.

Зал наполнился учениками. Директор сидел и молчал. Потом подозвал к себе инспектора и спросил:

— А что, эти ребята фриштикают¹ здесь?

— Здесь, — ответил инспектор, — во время перемены, в двенадцать часов.

— Вот что, пойдемте-ка, я посмотрю, как там, чем их кормят.

И он, встав, пошел с инспектором смотреть кухню.

Но кухни не было. В рекреационном зале стояла буфетная стойка, где Афоня в фартуке продавал пеклеванные с нарезанной колбасой внутри. В миске — пироги с мясом, рисом, плюшки. Молоко и сладкие булочки.

Директор, взяв пирог, откусил, покачал головой и сказал:

— Соли не кладешь. А тесто на холодке надо было подержать, и лук сыроват. В духовой не держишь. Вот я уже скажу тебе, что надо. Зайди ко мне.

Директор, недовольный, вернулся в актовый зал и опять сел в кресло за стол.

— Ученики ждут, чтобы вы им что-нибудь сказали, — прошептал ему инспектор.

Директор налил из графина стакан воды, выпил, откашлялся и сказал:

— Учитесь на здоровье, слушайте наставников и начальников ваших и родителей. А вот пирожки я посмотрю — теперь будут лучше. Мясо-то надо филей брать, а он вам суповую крошит. Вкусу нет.

Встал с кресла и пошел домой.

¹ От нем. Frühstück — завтрак.

Опять преподаватели собрались вечером у инспектора.

— Вы посмотрите, — в раздумье говорил учитель истории, — кого нам прислали. На питание юношества обратил внимание...

— Что ж, *mens sana in corpore sano*¹, — заметил учитель латыни.

— Коротко, да ясно, — добавил священник. — Золото во рту. А то час говорят, да не скажут того, что надо. Святые слова. Умен, и видимо, что моралист. Родителей не забыл. Таких людей поискать надо.

Назначено заседание педагогического совета.

Перед директором лежат дела, просьбы. Тетради бальников. Взыскания за пропуски, поведение учеников. Освобождение от платы.

Сев за стол посреди преподавателей, он все эти бумаги отодвинул к инспектору.

Инспектор, встав, прочел журнал предыдущего заседания и предложил преподавателям высказаться об успехах учеников.

Некоторые предлагали то или другое суждение.

Директор каждому говорил, кивая седой головой:

— Прекрасно изволили сказать. Совершенно с вами согласен.

И другому, который говорил противоположное, тоже кивал головой и соглашался.

По окончании заседания новый директор пригласил весь состав преподавателей на обед к себе.

За обедом говорил:

— Пойдите, вы вот откушайте-ка пирожка. Пирог блинчатый, его высокопревосходительство министр народного просвещения очень одобряли. Благодарили меня. А графинюшка говорила: «У царя-батюшки такого заливного судака не подавали». Откушайте. Дело не зверь, в лес не убежит, а вы скушайте вот. Стерляжка, соус капорцы. Насилу оливки-то в Саратове достал. А без капорца, оливок что? Преснота во рту. Господа с пониманием что скажут?

И все шло прекрасно в саратовской гимназии. Ученики учились успешно. Директор подписывал бумаги: «Федор Царев».

Но вот в один прекрасный день, недели через две по приезду директору Цареву пришла отставка.

Директор собрал свое имущество и скромно простился с сослуживцами, кротко сказав:

— Благодарен вам. Я уж что, я уж на покой.

И уехал.

Однажды в Москве мне княгиня С.П.Г., когда я писал с нее портрет, рассказала во время сеанса, что отец ее, граф Деянов, министр народного просвещения, имел повара, и тот, состарившись, просил его дать ему на старость местечко поспокойнее и дела поменьше.

— Хорошо, — сказал мой отец, — ты ведь, Федор, саратовский, тебе бы покойнее жить на родине, в Саратове.

¹ В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

— Так точно, — ответил повар, — чего лучше. На Волгу родную посмотрю.
— Отец, — продолжала княгиня, — написал что-то на бумажке и, позвав чиновника особых поручений, передал ему.
Тот написал с бумажки заявление попечителю Саратовского учебного округа, а на бумажке отца было кратко написано: «Рекомендую, добросовестный и не пьет».

Котелок

Помню я, давно, в Москве был у меня ученик живописи, Петров, человек талантливый, колорист, хороший художник. И большой франт.

Окончив школу, он работал при драматическом театре. Писал декорации. И как-то, фланируя по Кузнецкому Мосту, зашел в английский магазин «Шанкс» и купил себе котелок.

Внутри котелка было клеймо «Лондон».

У Петрова была довольно большая голова. Надев котелок, он гордо шествовал по тротуару Кузнецкого Моста. Встретил артистов Малого театра.

Артисты — люди веселые, встретив приятеля, решили пойти в кафе «Трамблэ» — пить шоколад. И Петров пошел с ними.

В кафе актеры о чем-то пошептались между собой и стали пристально смотреть на Петрова. А герой-любовник Миша Климов, прищурившись, сказал:

— А знаете ли, котелок у вас мал...

— Да. Совершенно безобразный котелок, — подхватили другие, — не по голове.

— Позвольте, — запротестовал Петров. — Это английский котелок. Такая мода.

— Какой там английский!.. Спросите у кого хотите — засмеются, — не унимался Миша Климов. — Вот артисты-иностранцы сидят.

И он обратился к певцам-артистам, сидевшим за соседним столиком:

— Не правда ли, у этого господина котелок мал?

— Шимиа курьеза¹, — сказал, смеясь, один итальянский певец.

— Это английский котелок, — сняв с головы котелок, сказал Петров.

И, показав пальцем внутрь, добавил:

— Видите — «Лондон»...

— Ерунда! — говорили актеры. — Написать все можно. А котелок мал и, вообще, дрянь.

* * *

На сцене Малого театра, куда вышел из кафе Петров и где шла репетиция, каждый за кулисами, здороваясь с Петровым, пристально смотрел на него, говорил ему:

— А знаете... котелок у вас мал...

Дождавшись конца репетиции, Петров поехал провожать молодую артистку, к которой питал нежные чувства. Так сказать, был влюблен.

Едучи с ней на извозчике, восхищался, как жизненно она играет небольшую роль миловидной горничной Маши в пьесе Островского.

¹ Любопытная обезьяна (*ит.*).

Артистка, рассеянно улыбаясь, слушала его и пристально смотрела на поклонника своего таланта.

Вдруг она сказала:

— А знаете, Петров, котелок у вас мал...

Петров весь вспыхнул, и слезы показались у него на глазах. «Это черт знает что», — подумал он про себя.

— Простите... — сказал он, — это котелок английский...

И он, сняв котелок, показал марку.

Когда подъехали к квартире артистки, прощаясь, она сказала:

— Какой вы странный...

И прибавила сердито:

— Я не люблю капризных людей, а вы еще мужчина!.. Обиделись, верите маркам!.. А котелок у вас мал, мал!.. Глупо обижаться...

И она ушла.

Петров расстроился ужасно. Весь вечер ходил по улицам и зашел в Литературно-художественный кружок.

Снимая пальто, швейцар, улыбнувшись, сказал:

— Господин Петров, а котелок-то у вас маненечко маловат...

Петров побагровел.

За ужином в кружке, где сидели за большим столом артисты Художественного театра, Малого театра, театра Корша, выпивая и закусывая, Миша Климов, посмотрев на Петрова, крикнул:

— Вот человек — верит в марку. Купил котелок — на голову не лезет... Мал!

Петров как бешеный вскочил со стула и убежал из-за стола.

Меня в Москве в ту пору не было. Когда я ранней весной вернулся в Москву, утром ко мне зашел Петров. Он был мрачен и видимо расстроен. Поговорив о театре, он сердито сказал:

— Да, театр — это храм. К сожалению, артисты, призванные к служению высокому началу, — хулиганы.

«Что такое?..» — подумал я.

— Что вы говорите, это милейший народ — веселые и милые люди.

— Да, да, — сказал Петров грустно. — Вы их не знаете, а я узнал довольноно.

Время приближалось к завтраку, и я предложил Петрову поехать в «Эрмитаж».

— Пожалуй, — согласился Петров. — Только я не люблю бывать в обществе, мне люди как-то надоели, ничего в них нет серьезного, все ищут, как бы уязвить, поддразнить, испортить жизнь человеку...

Едучи на извозчике с ним в «Эрмитаж», я дорогой посмотрел на него и, ни о чем не подозревая, сказал:

— А знаете, Сергей Васильевич, котелок у вас мал...

Он ничего не ответил и крикнул извозчику:

— Стой!

Соскочив с извозчика, с перекошенным лицом он посмотрел на меня глазами, полными слез, повернулся и побежал по мостовой.

От неожиданности я не знал, что думать.

«Что за странность? Дикий человек какой-то! Что за ерунда...»

А наутро получил письмо:

«Милостивый государь. Я от вас никогда не ожидал такого к себе отношения. Вам-то я верил, а вы оказались таким же, как и все. Что я сделал вам дурного, что вы присоединяетесь к злостной шайке врагов? Котелок!.. А вы знаете, что этот котелок — английский, и он нисколько не мал, а разбил мне жизнь и разлучил меня с женщиной, которую я любил... Да будет вам стыдно, что вы оказались среди тех, которые доведут меня до могилы...»

* * *

«Вот так история...» — подумал я.

Когда пришли ко мне приятели, то я рассказал им про письмо и про происшествие с Петровым.

Приятели мои ржали как лошади и говорили, что вся Москва только и говорит, что у Петрова мал котелок.

Но доктор Иван Иванович посмотрел на дело иначе. Отыскав Петрова, он пригласил его на обед на свои именины.

На обеде у Ивана Ивановича было уютно и весело. Какой-то фокусник Камниони показывал фокусы.

К концу обеда он взял в передней котелок Петрова, принес его к столу.

Петров искоса на него посмотрел и не сказал ни слова.

Камниони разбивал сырые яйца, выливал их в котелок. Подлил вина, зажег свечку и сказал:

— Вы сейчас будете кушать жареных цыплят.

Закрыв котелок платком, он жарил на свечке содержимое котелка. Котелок коптил и дымил.

Сняв платок, фокусник опрокинул котелок на блюдо. На блюде лежали жареные цыплята...

Котелок фокусник смял, сделал из него маленький комочек, который исчез у него в руках.

Петров смотрел во все глаза, но молчал...

При отъезде котелка Петрова не оказалось, и он принужден был надеть шляпу хозяина.

И что же? С той поры ожил человек, стал вновь весел, помирился с актрисой. Встретив его, она сказала: «Какая у вас прекрасная шляпа. Видно, что вы не такой упрямый и бросили ваш мерзкий котелок...»

Так, блестяще оправдав свою репутацию врача, Иван Иванович вылечил Петрова...

Московская зима

В декабре начались сильные морозы. Говорили: «Ну и морозище, вороны на лету замерзают».

— Вот это уж пустяки, — сказал мой приятель и слуга, рыболов Василий Княжев, — где же им замерзнуть? Они привычны. Ишь, поглядите в окно, вона над площадью — что их летит. Кучами собираются. Потому теперь в Москву на Рожде-

ство Господне и-и... товару что везут, до ужаста. Поросят, свиней мороженных, белужины, севрюжины, гусей, окороков, рябчиков сибирских... Прямо гужи идут. В Охотном ряду, на Смоленском рынке, на Арбате, в Дорогомилове, в Рогожской — все рынки завалены. Судаков одних что!.. Сигов! Разговляться на праздниках. Святки придут — тут самая еда. Гости. Гулянья. А верно — мороз здоров. Вчера в Охотном у купцов бороды белые, в инее. Ходят, рукавицами хлопают. Ну и вот теперь сбитеньщикам лафа. Все купцы сбитень горячий пьют. Греются. А то бы замерзли.

— А вот я никогда сбитень-то и не пил, — сказал мне приятель Коля Курин, — может быть, оттого у меня ноги ужас как забнут. Теплые ботики купил — не помогает.

— Это у тебя от женского пола, — смеясь, сказал приятель-архитектор Николай Васильевич. — Вот я живу, квартиру снимаю у домовладельца Сергеева. Так у него от женской болезни голова распухла.

— Что за ерунда! — сказал приятель мой, доктор Иван Иванович. — Вы университетский человек и такую ерунду говорите.

— Нет, позвольте, извините... У него консилиум из профессоров. Я его после навестил. Лежит — весь ватой обернут. Жалуется, что вино пить запретили. Разные неприятности, говорит, и политика в голову лезет.

— Этак-то на праздниках хворать — не дай Бог! — серьезно покачал головой, потужил Василий Княжев.

— Эх, гимназистам сейчас радость. Бывало, утром спишь — никто не будит. Проснешься — мать говорит: «Сегодня в гимназию тебя не будили — мороз тридцать градусов, на каланче белый флаг выкинут». Лежанка топится, в окнах сад — весь в инее. На столе самовар, горячие калачи, баранки, сушки с тмином, с солью... Весело на душе!

— Вот теперь господа архитекторы больше лежанок не делают. А почему? Это в гигиене имело большое значение.

— Ты, Иван Иванович, про гигиену оставь. Это было запрещено правительством. Строительный устав. Чиновники обленились. Байбаками стали. Обломовщина развилась. На службу не ходят. Как мороз, так на лежанку лезет. Лежит — газеты читает, водку пьет — больше ничего. Его с лежанки не стонишь. Я вот Сафронова знаю. Штатский генерал, чиновник особых поручений, за границу посылали по делам государственным. Так он не едет. Там, говорит, в квартирах лежанок нет. А вот Юрий! — растолстел не в меру, оперу сочинил — закончить не может. А отчего? У него дома лежанка. Закусит, выпьет. А если вы выпьете рюмку водки да залезете на лежанку, знаете, тогда что получается?

— А что же получается? — удивились все приятели.

— А то получается, что женский пол в голову лезет... Гаремы разные такие кажутся...

— Ну, полно врать-то! — рассмеялись приятели. — Ерунда!

— Нет, позвольте, не ерунда. Спросите у Юрия — он подтвердит. Я сам на себе это испытал. Контракт мне надо было составить, на машинке переписать. Машинистка мне пишет. У ней глаза такие — турецкие. Красавица! Написала контракт. Я зашел к Юрию, выпил рюмку водки, сел на лежанку — а пришел с мороза. Контракт читаю, а перед глазами — машинистка... Так меня прямо как заколдовало. Поехал к машинистке, говорю: «В контракте еще надо дописать кое-что...» — и диктую ей разные штуки из строительного устава. А она, вижу, со мной кокетничает. И получилось то, что контракт не хотят подписывать. Адвокаты говорили, что в первый раз такой

контракт видят. Это, говорят, контракт пьяный. Так и называется — пьяный контракт. А построечка была хлебопекарня, на полтора ста тысяч. Да-с! Вот что-с рюмка водки делает на лежанке...

— Все может быть, — сказал доктор Иван Иванович. — В жизни иногда неизвестно от чего все перевертывается...

— От мороза тоже многое происходит, — заметил Василий Княжев. — Вот хоша возьмите, Наполеон. Пришел в Москву, а вдруг мороз, да какой! Не рассчитали. А шуб не взяли. Откуда взять-то? У них там зверья-то нет. Мундирчики — больше ничего. Они все на лежанки залезли, на лежанках-то хорошо. Сидят на лежанках да блины едят. Купцы плутоватые им блины продают — они им платят. Сколько купцы нажили, и-и-их!.. Мороз — воевать нельзя. Как с лежанки сгонишь? Наполеон думает: «Это что ж такое, этак-то на лежанках блины есть не дело — все избалуется». Да и крикнул с Ивана Великого из Кремля: «Шагом марш домой!» А не будь мороза — всю бы Расею завоевали...

— Про блины вспомнили — есть захотелось, — сказал Василий Сергеевич. — Поедемте к Тестову — щи с головизной есть.

Скрипели полозья саней, когда ехали в ресторан Тестова. Мороз щипал и колол щеки. От дыханья воротник шубы сразу побелел.

На улицах было меньше народу, чем обычно. На перекрестках кое-где горели костры.

Из трактиров, когда открывали дверь, валил пар.

В ресторане Тестова половые в белоснежных рубашках, гладко, аккуратно причесанные, приветливо встречали, говоря: «Головизна-с — первый сорт. Из крепких напитков — что прикажете-с?»

В ресторане было тепло. Лица горели с мороза. Особенно уши. Замечательны расстегая с ухой... А головизна — и сказать нельзя.

— Скажи, пожалуйста, Иван Иванович, отчего эти половые причесаны аккуратно, а вот ты и всякие профессора — вот неподалеку в университете — всегда лохматы, а у студентов волосы чуть не до плеч. У художников молодых — тоже.

Иван Иванович, расправляя баки, недоуменно посмотрел на него белыми глазами, не донес до рта ложки и, покачав головой, сказал:

— А ведь правда. Отчего это, в самом деле, насчет волос? Верно это. У ученых внимания к волосам нет. Наука одолевает, ну, тут и не до волос. Заметьте — музыкант тоже. В волосах беспорядок. А в чем тут дело — понять трудно.

— Это остаток схоластики, — сказал Коля.

— Какую чепуху несешь! — возмутился Кузнецов.

— Почему же чепуху? Ученые, схоластики, сидели у себя дома и долбили науку. Теоретики были. Они все носили волосы длинные и не чесались. Не было времени. И до того умные были, что молчали. Спроси о чем-нибудь схоластика — он молчит, потому что ему кажется — что ты ни спросишь, все глупо. Отвечать не стоит. Вот до чего были умны...

— Как накручивает Николай! — зажмурив глаза, засмеялся приятель Вася. — И рожато, рожато... Не улыбается...

Он обернулся к половому и крикнул:

— Бутылку Клико — замороженную!..

За окнами синева. Москва, снег, сквозистые короны деревьев...

Канун праздника

Стояли морозные дни.

Москва стала как будто серебряная. Сады московские, Садовая улица покрыты инеем. К вечеру в окна домов, за палисадниками, загорелись весело огоньки.

Домовладелец Сергеев ехал из Сущева на вороном жеребце в Сандуновские бани париться.

Долго парился купец Сергеев и банщику Петру, который третий раз ему мылил голову, поведаль, весело смеясь, что приглядел себе к празднику обновочку:

— Хороша девчонка. Курносенькая, на щечках ямочки, дурочка, но хороша.

— Чего ж, при капитале можно, на холостом положении ежели...

— А ты что думаешь, дурак я, что ли? Женится буду? Нет, брат, погодишь.

— Это верно. В преудовольствии жисть легче. Вот только не родила бы... А то докажет — пятое-десятое, пойдет, в расстройство вас поставит. Ну, и платить тоже надоть. Вот, я тоже Осьмеркина мою, так тому одна за это самое обличие все расчеряпала. Дралась!.. На такую попал — не приведи Бог.

— Эх ты, я без дурачков, на дом не беру. В гости можно, а жить — нет. Не на такого напали. Понимаем. Не поддудит, знаем — образованные...

— Они тоже разум имеют, — сказал банщик, — надеются. Каждой охота найти счастье свое. Думает: ежели на сердце попадет, ну и обженит...

— Меня не об женишь, — засмеялся купец. — От скуки жизни их менять чаще надо, вернее выходит.

— Это верно, — соглашается банщик и поливает из шайки теплой водой. — С наступающим вас, Иван Петрович. У Володьки ноготочки стричь будете? Я мочалочку высушу, принесу.

И банщик Петр отворяет дверь бани.

Домовладелец выходит в предбанник, закутанный простыней. На диване предбанника Сергеев надевает согретое чистое белье. Володька подставляет к ногам его скамеечку, ставит на нее свечку и стрижет купцу ногти.

— Ишь, Володька, ты уж подросток. Поди жениться хочешь? Завертывает, поди, на ум это самое?.. — говорит Сергеев, допивая холодный баварский квас.

— Что вы... — отвечает Володька, — мне еще только шестнадцатый пошел. Мне ведь в солдаты надо будет идтить.

— Эка, я и в шестнадцать ухарь был, — говорил, ухмыляясь, Сергеев.

Хорош квас после бани. Принято пить шипучий баварский квас.

Приехал из бани домой Сергеев. В передней снимают с него шубу, ботики. В столовой шумит самовар. Купец хотел сказать лакею: «Ну-ка, дай коньяку», но сразу так охрип, что и сказать ничего не может. Голос пропал.

Испугался Сергеев, подумал: «Знать, это от квасу у меня вышло. Как же я теперь на праздники без голосу остался... подумают, от вина, расскажут... Как же я теперь Акулю на праздниках охаживать буду...»

— Иди, Кузьма, — говорит он шепотом слуге, — иди за доктором скорее.

Старая нянька, наливая чай, говорит:

— Грех какой, ишь, охает-то как.

Приехал доктор Голубков.

— Сильно, — говорит, — охрипли вы, Иван Петрович, совсем сказать ничего не можете, голосу нет.

— Верно, — шепчет больной, — мне голос к празднику, сделай милость, а то неловко. Не поверят, что через квас, скажут — запой у его...

Хлопотал доктор Голубев, положил больного в постель. На горло компресс поставил, обернул ватой. А больной дрожит в лихорадке, задыхается, глаза выпучил.

— Доктор, — кричит, — запрягай лошадь.

И сам доктор едет звать профессора Захарьина, его высокопревосходительство.

Сердито встретил Захарьин доктора Голубева. Тот робко докладывал профессору про больного, про баню, про квас баварский. Захарьин молча слушал, потом сказал:

— Довольно, позвать хирурга Сорычева, профессора Попова и Голубева немедленно. В доме остановить все часы. Поднять меня на кресле во второй этаж к больному, чтобы все молчали, и вы тоже. А кто этот болван, который после бани пьет холодный квас?

— Иван Петрович Сергеев, домовладелец из купцов.

— Не то, — сказал резко Захарьин, — кто он, что он делает?

— Ничего не делает, — ответил Голубков, — кажется, жениться хочет.

— Ну довольно, — сказал Захарьин, — я приеду.

Доктора были в сборе, стояли около больного. Захарьин приехал в санях, на паре лошадей, покрытых толстой шелковой сеткой с кистями.

Его подняли в кресле к больному. Сидел, смотрел на больного, молчал. Больной бредил и тяжело вздыхал.

— Посадить его, — сказал Захарьин, показав на больного.

Доктора посадили больного.

— Покажите мне инструменты, — обратился он к хирургу Сорычеву.

Сорычев развернул кожаный сверток, откуда блеснули длинные ножки. Захарьин посмотрел на них.

— Не терять времени, — сказал он хирургу, — с Богом.

Доктора держали больного, что-то ему вставляли в рот. Захарьин, позвав доктора Голубева, вышел с ним из спальни больного. И в столовой, увидав старую няньку Сергеева, сказал:

— Вот что, дорогая, захворал твой питомец. Он холостой? Да?

— Холостой, батюшка, — ответила нянька.

— А есть у него близкие кто?

— Сестра есть замужняя — в Замоскворечье живет, а вот теперь Акуля у его на уме тоже, за ей гоняет.

В спальне послышался крик.

— Ага! — сказал Захарьин. — Хорошо. Его надо оживить, — сказал он доктору Голубеву. — Узнайте, где эта Акуля живет, и привезите ее сюда.

Больной сидел на постели и напуганно посмотрел на Захарьина, когда тот вошел. Захарьин весело говорил:

— Да, любезный Иван Петрович, напугали вы нас. Квас баварский после бани мог наделать вам большого вреда.

В это время в спальню вошла нянька и с ней молоденькая девушка, Акуля, плохо одетая.

— Как ваше имя? — обрадованно спросил ее профессор.

— Акуля... — робко ответила девушка.

— А отчество как?

— Степановна.

— Акулина Степановна, — торжественно сказал профессор, — прошу вас, вот, видите ли, Иван Петрович имел несчастье захворать и мог умереть сегодня же ночью. Но наука, с помощью Господа, спасла его, так что вы пожаловали вовремя, и долг ваш — пробыть здесь час и давать ему вот это полосканье почаще, через каждые десять минут. А завтра с утра навестить его и помочь поухаживать за ним, помочь и врачу.

— Ведь это, кажется, ваша невеста? — спросил Захарьин больного.

— Невеста... да, невеста... — оробев, ответил Сергеев.

Доктора уехали, и Акуля помогала доктору Голубеву ухаживать за Сергеевым. Наутро рано пришла Акуля, дала полосканье больному и сказала доктору Голубеву, что ей нужно на работу, — перед праздниками спешка. И, простившись с больным, ушла.

Когда Акуля ушла, больной стал жаловаться доктору:

— Вот ушла. Все они этакие-то. Гулять хотят. Не жалеют. Что им больной, скушно...

И опять парится в бане домовладелец Сергеев и говорит с досадой банщику:

— Да, брат, этакое дело вышло. Ну-ка, еще окати меня холодненькой.

Банщик поливает из шайки купца.

— Ну-ка, еще! — требует Сергеев.

— И чего это вы нонче, Иван Петрович, в сурьезе таком паритесь? — с хитрой усмешкой говорит банщик. — Узнать вас нельзя... Не от женитьбы ли?

— Н-да... Дело такое вышло...

— Вижу я, что вы не в себе, вроде как огорчились.

— Огорчился? Нет, не огорчился. Даже в радость вроде... А только доктора — черт бы их побрал!.. Этак кого хочешь оженят!..

— Кваску не откушаете? Баварского, — подкатился к Сергееву в предбаннике Володька.

— Я те дам кваску!.. Мне квасок-то твой дорого стал.

Сергеев потрепал Володьку за вихры и сказал:

— Нынче чай пьем, с супругой...

Рождественская ночь

Прятели уговаривали меня на Рождество уехать в деревню. В Москве все то же, всюду сутолока, всем как-то не до тебя, а в деревне — ты сам по себе. Да и верно: зима, снег, ночь вся в звездах.

Уж когда со станции поедешь в розвальнях — радость входит в душу. Приедешь в жарко натопленный дом, бревна пахнут сосной, дедушка Феоктист Андреевич, тетка Афросинья, на столе закуски, пироги, все рады, в камине хворост горит, хорошо!

На Ярославском вокзале приятели мои, охотники, одетые фантастически, сидят за столом в буфете первого класса. Проходящая публика с багажом, несмотря на заботы, останавливается и с интересом посматривает на охотников. У приятелей моих полушубки. У кого зеленый, а то белый, оторочки из мерлушки, на поясе охотничий нож, ложки, ружья, на голове шапки с наушниками.

— Знать, медвежатники, — говорят пассажиры.

На станции Итларь все мы выходим.

Платформа в снегу.

Возчики дожидаются. Встречают. Тащат багаж, кульки. Станция как игрушка. У дверей горят фонари, а за станцией виден лес, задумчивый, покрытый снегом. Хочешь не хочешь, а у буфетчика надо выпить, человек хороший. Радостно встречает:

— Вот, семга хороша. Только что из Архангельска получил.

Достаёт семгу, обернутую в лубки и перевязанную бечевой. Режет ножом бечевку, и большая рыбина блестит серебром. Отрезает кусок и даёт попробовать Павлу Александровичу, тот говорит серьезно:

— Налей!

Наливает рюмку.

— Замечательно, — говорит Павел Александрович.

— Семгу надо взять, — советуют приятели.

— Можно, — соглашается буфетчик, — хоша половинки вам не довольно ли, а то мне тоже надо для буфета.

Отрезает половину нам.

Возчики наши, Батранов, Бабошин, тоже пьют, закусывают.

— Вот, — говорит буфетчик, — вчера в Покрова ездил с супругой к обедне, так вот, верите ли, где Гарусово, к лесу вот лосина прошел! Вот велик!..

Какой-то пассажир, в большом армяке поверх полушубка, солидный, с длинной бородой, слушая буфетчика, сказал, поглядев на нас:

— По лосям надо к нам, в Раево, верст тридцать отсюда. Мы каждый день лосей видим. Место лесное. Приезжайте. Я вас, кстати, лосиной угощу. У меня на всю зиму засол. Лосина хорошая.

Скрипят полозья, розвальни по мерзлой дороге раскатываются. Под Ратухином вывалились в снег.

— Полегче, — крикнул Василий Сергеевич, — я не желаю, у меня ревматизм. Не уютно ли, сколько за шею снегу набилось!

Он, стоя, отряхивался.

— Явный фахт, — сказал Батранов, — ночью-то, Василий Сергеевич, нешто разберешь, где раскатить.

На повороте от леса, на горке, среди темного сада, весело блестели окна моего дома. У крыльца встречал дедушка Феоктист:

— Озябли, поди. Морозы стоят сердитые. Пожалуйте, самовар готов.

Трецит хворост в камине, весело пылая, освещает стены бревен моей деревянной мастерской. Чай с коньяком.

— Ты что все молчишь? — спрашивает приятель Вася, смотря на Колю Курина.

— Чего молчу? — отвечает приятель Коля. — Я, брат, думаю, вот когда ехал, смотрел — звезд-то сколько, а вот какая Вифлеемская — неизвестно.

— Здесь Вифлеемской звезды не увидите, — сказал серьезно Павел Александрович.

— Да, здесь не Вифлеем, там уши не мерзнут. До чего у меня ноги озябли — ужас!

— Сними сапоги, — говорю я, — погрей ноги у камина, а то простудишься опять. С Николаем — беда! Что ты в галошах едешь в деревню?

— «В галошах»! Не могу же я в валенках в Консерваторию прийти? Я ж не знал, что я в деревню поеду. Вы как-то все сразу. Не успеешь собраться. Я даже с Анфисой не простился. Оставил записку. Все-таки неловко. Жена ведь.

— А странно, — сказал Вася, — когда уезжаешь на праздник, жены не говорят: «Останься, зачем уезжаешь?». Моя жена Ольга без меня соберет всех своих знакомых баб, и что они говорят — уму непостижимо, всех передыщут... А при мне — неловко.

— А может быть, — задумчиво сказал Коля, сидя у камина и грея ноги, — может быть, они нам рожки ставят.

Доктор Иван Иванович, кушая пироги и запивая чаем, обернулся и грозно взглянул на Николая Васильевича.

— Об этом вы, дорогой, можете думать про себя, а не вслух говорить. Подобные высказывания в сочельник такого великого праздника — неуместны...

— Довольно ссориться, — сказал Павел Александрович. — Вот завтра придет Герасим, пойдете с ним по лосиному следу. Лыжи новые, вот попробуем, норвежские...

Утром я взглянул в окно — белым-бело.

Весь сад в инее. Косо ложились синеватые тени от сарая, от высоких елей.

Тетенька Афросинья, нарядная, в шелковом платке, поздравляла с праздником и, получив от меня подарок на бархатную кофту и шерстяное платье, зачастила:

— Вот, вот, благодарствуйте. Ну что, чего уж... Не молодость. В молодости-то этакое не было. Уж больно нарядно.

Павел Александрович и доктор Иван Иванович попробовали новые лыжи. Герасим смотрел на них, — глаза его хитро смеялись.

— Ведь это, Павел Александрович, привыкнуть надо. Узки больно лыжи — замучатесь.

У Ивана Ивановича лыжи тоже норвежские, длинные, цеплялись носом друг за дружку. Упав, он сказал:

— Вот крендель выходит. Это верно, привыкнуть надо.

За утренним чаем решили переделать лыжи — укоротить.

Пилили пилой. Отпиливали. Пробовали ходить у дома — ничего не выходило. Расстроились ужасно и ругали Караулова, который посоветовал купить норвежские лыжи.

Простые лыжи нашли в деревне и ушли на них за реку, в Феклин бор.

* * *

Мы с приятелем Колей не пошли на охоту. И Коля, греясь у камина, раздумался. — Вот ведь что, — сказал он, — вот, далеко от Москвы, тишина, и чувствуешь себя как в раю. А в Москве — все другое.

— Только не философствуй, — взмолился я.

Коля пожал плечами и гордо замолчал...

За окном летали легчайшие снежинки. Тишина и безлюдье.

* * *

Вскоре вернулись охотники, в коридоре снимали шубы. Кричали:

— Мало ли кто жить хочет!

— Какова штучка? — войдя, в волнении говорил мне приятель Василий Сергеевич. — Понимаете ли, прямо вот у Ремжи, вижу, за елками лось... Я это присел, жду, как покажется, а Ванька вдруг и говорит: «Не стреляй! Под праздник — Бог с тобой! И зверь тоже жить хочет!» Что под руку говорит охотнику! Лось и ушел...

— Это и не лось был, — сказал доктор Иван Иванович.

— Как — не лось? Слышишь, что он говорит? А кто же?

— Полно расстраиваться, Василь Сергееч, — с обычной своей улыбочкой отозвался Герасим. — Мне сбоку было видать: верно — не лось, мельникова лошадь; она по шерсти схожа, тоже пегая.

— Вот и возьмите их! Я ведь рога видел.

— Ну, так, значит, корова... — некстати засмеялся мой слуга Ленька.

Василий Сергеевич мрачно посмотрел на него и, обернувшись ко мне, сказал:

— Константин Алексеевич! Вы когда-нибудь подтянете этого мальчишку?

Звезда Вифлеемская

Ели, запушенные снегом, сугробы, а в небесах блестят звезды.

Морозная ночь.

В моей деревенской мастерской весело трещит хворост. Пахнет можжевельником.

Приятели сидят за столом.

Уже полночь. Наступило Рождество.

— А в Вифлееме, должно быть, было неплохо, — говорит композитор Юрий Сергеевич, — тепло, постоянное лето. Там везде дом. Положи под голову камень и спи. Ну-ка, у нас поспи-ка снаружи — 30 градусов морозу сейчас. Ну-ка, в хитоне походи. Там идешь — смоковница, на ней бананы висят. Кушаешь банан... задаром.

— А водки, поди, там не было, — перебивает его охотник Герасим Дементьевич.

— Была, — вступился в разговор Василий Княжев, мой приятель, слуга и рыболов.

— Брунда! — заметил Юрий.

— Чего ерунда? Нет, не ерунда, Юрий Сергеевич. Я тоже на праздниках был у Табаса — он из хрещеных евреев. Так он меня пейзаховкой угощал. И вот водка хороша. Его приятель гонит, Кульнеман. Толстый, чисто шар. Тоже хрещеный. Он говорил, пейзаховка пользительна очень. Это, говорит, в Иерусалиме выдуманно. Я, говорит, пью ее завсегда. Потому у вас от вашей белой водки рак в животе заводится. И от купанья еще. Я и пью потому пейзаховку, что рака нипочем не будет. А у нас в реке Иордани раков нет. Так прежде евреи-то были, таких уж тепер нет, прямо пейзаховку из воды Иордани выгоняли. Вот жизнь была. Горы, а на их гранаты растут, виноград, смоковницы, ешь — не хочу! Я ведь сам хотел в Иерусалим пойти, только, это самое, меня с парохода сняли в Одессе и прямо в участок. Пристав, вот жирный, говорит: «Ты куда на пароходе без паспорта сел? Куда тебя несет?» А я ему говорю: «Ваше благородие, у меня жена ушла». — «Какая жена, у тебя в паспорте написано, что ты не женат?» — «Мало ли что, — говорю ему, — я в Иерусалим хотел пробраться». А он: «Мало тебе у нас кабаков, трактиров, так ты еще со своим блудом в Иерусалим едешь, Бога одолевать». У нас вот все так, — обиженно говорил Василий, — душевности этой самой нет. Бедного человека не принимают ни в какое разумение. А может, я хоша и бедный, а на том свете, погодишь, помрешь — уравниют. Еще неизвестно, кто в праведниках будет — я или миллионщик Морозов. А я, если выпить люблю, то на празднике этаком, вот хоша здесь, греха в этом самом не вижу.

— Сознайся, Василий, — говорит охотник Караулов, — ты в Иерусалим-то за пейзаховской поехал?

— Ну вот, вы скажете, выпьешь немного, скажете, пьяница. Вот Березкин тоже, хозяин, я у него удилище правлю, как расчет, завсегда говорит: «Тебе что ни дай, все равно пропьешь». А сам норовит помене дать. А когда работаешь, вот хвалит. То это сделай, то другое, а платить завтра. Завтраками кормит. «Ты, — говорит, — артист в своем деле, не для денег работаешь». А он, видишь, не для денег работает? Хотите знать, я через него и пью с досады.

— В Ерусалиме-то жизнь другая. Это верно, — подтвердил охотник Герасим Деметьевич. — Там пахать не надоть. Все само растет. Земля обетованная, потому. Апельсины, лимоны. Мне один рассказывал, когда я в солдатах служил, так болгарин он, что ли, только когда это у нас война с турками была, так он, после войны, значит, скупил у нас иконы Георгия Победоносца, положил в телегу и поехал к ним. Едет и кричит: «Осман-паша, Осман-паша». А они Осман-пашу вот до чего любили. Он им Георгиев-то и показывает. На коне он. С копьем. Они и верят, что это Осман-паша. Покупали. Дают что хошь. Вот денег набрал. Все продал. Выпряг лошадь да скорей верхом назад. Или их боялся. Убьют. Они за ним погоню. Насилу в Россию из Ерусалима убежал.

— Ну, довольно ерунды, — сказал приятель мой Павел Александрович.

— Вот до чего тихо, и лунная ночь, — входя, говорил приятель Вася. — Чего вы сидите? Пойдемте к Феклину бору. Красота ночь!

— А пойдемте, правда, — согласились все. — Давайте лыжи.

И все мои приятели одевались.

Павел Александрович взял ружье и патронташ.

Быстро шли приятели на лыжах, спускаясь под горку к речке. Большие сугробы освещал месяц. Огромные ели в снегу опускали ветви до самой земли. И таинствен был лес в зимнем саване.

Вдали, в конце леса, мелькал огонек.

— Ишь, — сказал Герасим, — это на мельнице. Ремжа светит. Знать, у мельника гости.

— Пойдемте на Ремжу, — говорят приятели.

Небольшая мельница Ремжа была как игрушка на фоне огромного елового леса. Весело светились окна избы.

Обрадовался нам мельник.

— Эх, — говорит, — гости дорогие, пожалуйста.

А мы видим — у него тоже гости. Чай, наливка, запеканка. Дочь нарядная, в косах алые ленты. Хозяйка угощает.

— Испробуйте, — говорит, — пирог с грибочками, леши жареные.

Сейчас же за стол сели. До звезды ведь нельзя. А вот звезда эвона над омутом за лесом вышла. Видать.

— Какая звезда? — спросил Василий Сергеевич. — Пойдем поглядим.

— Да неужто вы не видали? — сказала дочь мельника, улыбаясь. — Звезда Вифлеемская.

Мы вышли на плотину, и в конце удаляющегося леса, переливаясь голубым и красным, сверкала большая звезда.

— А ты говорил, Вифлеемской звезды нет, — сказал Василий Сергеевич, глядя на Павла Александровича.

Тот искал в жилетном кармане пенсне. Найдя, надел на нос и, подняв высоко брови, смотрел на звезду.

— Да, — сказал, — странно. Я никогда раньше ее не видал.

— Я тоже, — удивлялся доктор Иван Иванович.

— В Москве-то нешто вы увидите! — засмеялся Герасим.

* * *

Придя домой и ложась спать, Василий Сергеевич заметил:

— Вот ведь мельник правильный человек. До звезды не едят. А мы с утра скоромного нажрались. А надо было сейчас только начинать. А теперь полон стол, да глядеть не хочется. Ведь Младенец только сейчас родился. Волхвы-то вот с этой звездой путешествовали. А мы домой спать пришли. А кто виноват — Ванька, а еще доктор. Ты все говоришь, что питаться надо, пора закусить. Нет в тебе ничего возвышенного. Тебе все равно звезда Вифлеемская.

— Чего звезда, ее ведь тут не видать, — обижался доктор Иван Иванович.

— Вот она, гляди, за лесом. Не узнаешь. Если бы я видел ее, я бы вам тогда сказал, а то делать нечего — наставили полон стол. Один говорит, полынную надо сначала, а другой — березовую. Ведь этак запутаешься. Ну, и пойдет разговенье.

* * *

Утро было солнечное. На синем небе, как кружева, в белом покрове инея блеснул сад.

В окно я увидел, как мой ручной заяц, радуясь, прыгал в сугробах снега.

В воротах показалась тетушка Афросинья, нарядная, в бархатной кофте и в зеленом, в цветах, шелковом платке. Она торжественно несла покрытый чистой салфеткой пирог. Придя, поздравляла с праздником.

— Вот отведайте пирожка.

— Тетенька Афросинья, а вот вчера все до звезды наелись. Ты-то небось до звезды не ела.

— До звезды-то нешто можно. Да ведь кто как. Мой Феокист, а уж завсегда как с Гороховым сойдется, то уж до звезды выпивши. Завсегда. И ничем с ним не сладишь. Уж такой уродился.

— Это все предрассудки, — сказал приятель Коля Курин. — Я ведь богословие-то знаю. Там, брат, про еду ничего не говорится. Что ж, Москва-то ничего не должна есть, там звезды не увидишь.

— Ну, вы бросьте вашу «этуаль»¹, вы попробуйте, пирог-то какой. Начинка — не поймешь что, а замечательно, — радовался композитор.

— Рябцы, — сказала тетушка Афросинья, — Герасим Дементьевич вчера принес. Вам говорить не велел. С Феокистом вчера они до утра выпивали. Вот спорили о грехах. Кто грешней, умный аль дурак. До драки было дело дошло. Один говорит, от дурака главный грех, а другой — говорит, — от умного. Вот и пойми их. Выпивши, конечно. А Горохов пошел домой, да вернулся. «Я подошел, — говорит, — к дому, вижу — дом мой, а ворота не мои. Проводите, пожалуйста». Вот до чего догулялись!

Святки

На Третьей Мещанской улице в Москве, в первом этаже деревянного дома с садом, жил мой приятель, архитектор Василий Сергеевич — мужчина высокого роста, лицо красное, на нем следы оспы, глаза желтые. Человек молодой, но серьезный. Солидный. Охотник и рыболов.

В свободное время, сидя у окна, он мастерил удочки: красил поплавки, лакировал и посматривал в окно на проходящих.

Когда к нему приходили клиенты и приятели его — актеры Малого театра и театра Корша, — то играли в карты. А то были обеды, с гитарой и пением.

От него ушла подруга жизни. Прозывалась она Акуля. Он немного задумался и женился на ее родственнице, красавице Ольге.

Женившись, сделался еще положительнее, но не мог жить без друзей, приятелей-актеров... И дома устраивал вечера-ужины.

— Что ты, Вася, — говорит ему актер, — что ты задумался: с пик идешь? Черви козыри...

— Ах ты черт. Верно! Задумался, — согласился Вася.

— Ты брось это! Твоя, брат, Акуля — сказать правду — девица была так себе.

— Это что такое? — вспыхнул Вася. — Какое ты имеешь право так про женщину?

— А ты что с пик идешь? С туза?.. Тоже рыцарь Бириби, черт тебя дери.

— Вот тебе Акулька, — ударяя по столу дамой червей, смеялся актер Миша Клинов.

— А что это вам Акуля далась? — сердился Василий Сергеевич.

— Акулька — ерунда, — говорил другой актер. — Дрянцо!

— Какое вы имеете право: Акулька, Акулька?.. Опять я пошел не с той карты. Ну, сдавай снова. Сбили вы меня...

¹ От фр. étoile — звезда.

— Отчего она от тебя ушла? Серьезен очень. Ну, и рост притом.
— Она хахаля нашла. Ну, это что надо...
— Довольно же, говорю я вам! Сбиваете. Надоело, право.
— А Акуля обиделась до чего, — сказал один приятель.
— На что обиделась? — сдавая карты, спросил Василий Сергеевич.
— Да как же: женился на подруге...
— Ты что же? Опять с шестерки пик идешь?
— Ну вот... Сбили. Все Акулька да Акулька. Что она вам далась?
— Да, — говорит играющий актер. — Акуля твоя — дрянцо, брат.
— Вот что, довольно, — вскочив из-за стола, сказал Василий Сергеевич. — Закусимте лучше. Выпьем. Так играть нельзя. Акулька, Акулька. Ну ее к черту!
Закусывая, его приятель Коля Курочкин говорит:
— Это, брат Вася, так нельзя! Акуля говорила, брат, что «как он смел жениться без спроса?».

— Позвольте, позвольте! У кого же это, позвольте узнать, я спрашивать должен? — удивлялся Василий Сергеевич.
— Она говорила, брат, отчего у нее не спросил?
— Да что вы, сбесились, что ль, все? У нее спрашиваться? Она ушла сама. Что же я спрашивать буду? Да вы с ума сошли, что ли?
Опять сели играть в карты. Сдали. Актер Бакшеев говорит:
— Акуля думала: ты от горя такого, что она тебя бросила, хоть в монахи уйдешь. А тебе как с гуся вода.
— Пускай думает... Ольга, — крикнул Василий Сергеевич, — ты послушай, что говорят они. — Отчего я в монахи не пошел?
Вошла Ольга и сказала, смеясь:
— Это он-то в монахи уйдет? Ну нет! Не на того напали.

* * *

На Святках, поздно вечером, приехали к дому на 3-ю Мещанскую на тройках ряженные. Открыли ворота, въехали во двор. Веселые и шумливые, вошли к Василию Сергеевичу. В масках, вывороченных шубах, с большими носами, с собачьими мордами, чертями, с гитарой и бубном. Привезли с собой вино. И, войдя, пустились в пляс.

Василий Сергеевич и бывшие у него гости никак не могли узнать: кто такие это приехавшие ряженные?.. Один, одетый туркой толстый человек отвел в сторону Василия Сергеевича и передал ему письмо. «От Петруши, — сказал он. — Соловарникова», где тот в письме просит его, и супругу, и гостей приехать в ресторан «Яр» и по делу поговорить.

Соловарникова Василий Сергеевич знал и строил ему в доме, в Замоскворечье, конюшню...

Наскоро собрались и поехали.

Хорошо ехать по снежной дороге на тройках. Набиться кучей в сани. Весело ехали по Тверской-Ямской за город. Лихо мчались тройки в «Яр», в «Стрельну».

Светит месяц серебрястый.
Веселятся москвичи...

Снежная пыль осыпает лицо. Маска «Собачья рожа» говорит дорогой Василию Сергеевичу:

— Вот что, ты, Василий Сергеевич, нас ты не знаешь. Мы, брат, «Земельный Банк», а часть — и «Кредитки» тут есть. И вот уж третью ночь так: пьем-гуляем. Петруша нас угощает. Ну, за тобой послал: любит он тебя... Тебя все любят.

У «Яра» — полно... В «Пушкинском» кабинете Петр Гаврилович Соловарников — пьян. Рядом с ним — друг его, присяжный поверенный Бегемотов. Цыганский хор, цветы, весь стол в бутылках, залит вином.

Увидев приехавших гостей, хор запел:

Хор наш поет припев любимый,
И вина полились рекой:
К нам приехал наш родимый
Вася, Вася дорогой...

Соловарников, увидав Ольгу Александровну, встает на одно колено и, приветствуя, целует ее руку. Но никак не может встать: пьян... Садится на пол. Кричит:

— Вася, дорогой! Вот я рад! Поцелуй меня, дорогой... Построй мне там, во дворе, баню. Вот до чего мне попариться охота. А все некогда: дела! Замучился я до чего. Никто меня не понимает. Нет таких людей. Все только себе каждый норовит. Эх, в баню бы сейчас!..

Его за руку тянет с пола друг его — Бегемотов. Спотыкается и падает рядом. Гости подхватывают и поднимают хозяина. Хор поет:

Что может быть приятней,
Когда, любовь храня,
Тебя встречает песнями
Цыганская семья?

В этом русском разгуле среди морозной зимы, в «заморских» винах, в пении цыган было что-то раздольное, русское, живое, дружное.

Соловарников отвел Василия Сергеевича, что-то ему говорил, доставая толстый бумажник из бокового кармана. Достав, отсчитывал сотни, отдавая их Василию Сергеевичу, серьезно смотрел ему в глаза, деловито. Потом повел его под руку к столу, налил бокалы.

— Ну, — сказал, — Вася, давай дернем на «ты». Дело тогда пойдет, когда на «ты»... На «вы» дело не выходит. Эй, спляшем...

Тула, Тула, Тула, Тула...
Тула, родина моя!

Утром, уж чуть брезжил свет, приехали Василий Сергеевич с женой домой. Раздевшись в передней, Ольга Александровна пошла в спальню, а Василий Сергеевич пошел в столовую выпить водицы. Из окна столовой он увидел: у забора, перед окном, где сад, висит на березе что-то белое, длинное. Кривые березы. Белеет... Он, присматриваясь, видит у березы длинную висячую фигуру удушенника... Голова опущена, длинные волосы, бледное лицо, женская рубашка, черные башмаки, висит на веревке, у березы...

Он выбежал в спальню к жене. Она ложилась спать.

— Ольга! — сказал он в волнении. — У окна столовой на березе висит; кто-то повесился.

— Что ты говоришь? — испугалась жена — Ольга.

И оба пошли смотреть. Ольга стала на подоконник, отворила форточку, посмотрела. Отвернувшись в испуге от форточки, она сказала:

— Это — Акуля...

Оба бледные, испуганные, они смотрели друг на друга.

— Ну уж эта Акулька... Черт бы ее побрал, — сказал архитектор. — Что же делать? Я еду к Салову, — волновался Василий Сергеевич.

— Я не останусь одна. Ни за что, — в испуге сказала Ольга... — Мне страшно. Я поеду к матери... Господи, что же это такое? Поезжай скорее, Вася, — торопила мужа Ольга Александровна. А то увидят, скажут про нас, арестуют... Какой ужас, какой ужас!..

Салова Василий Сергеевич застал дома. У него еще сидели гости. Он, увидав испуганного архитектора, увел его в свой кабинет, предложил ему сесть к столу и, подав ему стакан воды, сел напротив и строго, серьезно глядев на Василия Сергеевича, когда тот ему рассказывал про удавленницу, холодно ему сказал, будучи с ним на «ты»:

— Послушай, вот что. Я вижу все. Понимаю. Сознавайся, это — половина вины.

Василий Сергеевич встал и молча глядел, мигая, на Салова. Потом сказал:

— «Сознавайся»?.. Да? А ты знаешь ли, мне хочется послать тебя к чертовой матери. Да еще подальше... Понял ты?

— Не забудьте, — сказал холодно Салов, — что я — при исполнении служебных обязанностей... Это не поможет вам, — добавил равнодушно Салов. — Я в своей практике еще не такие эффектиры видал.

Он взял телефонную трубку и спросил холодно Василия Сергеевича:

— В каком участке вы живете?

Василий Сергеевич ответил:

— Суццевская часть. Третья Мещанская, дом Фадеева.

Салов, позвонив по телефону, приказывал «немедленно явиться на место преступления» и дать знать судебному следователю.

— К сожалению, должен вас покинуть, — сказал он своим гостям. — Дело странное и серьезное.

Они ехали. Василий Сергеевич молчал. Молчал и Салов.

«Что такое? — думал Василий Сергеевич. — Какой странный человек. Что с ним случилось?..»

На дворе дома на 3-й Мещанской уж ждала полиция: пристав. Трупа не было. Приехал следователь.

— Где же труп? — спрашивают у Василия Сергеевича.

— Я видел, вот он тут висел, на этой березе, — ответил Василий Сергеевич.

Дворник, без шапки, кланяется в перепуте, начальству и говорит:

— Ваше благородие. Ваше благородие, ведь это чего? Святки! Я его в сарай бросил. Вон, он тута. Чучело!.. Это барина ахтеры страшали. Святки, потому. Весело им.

В сарае лежало чучело из соломы: женская рубашка, маска, волосы из пакли.

— Какая глупость, пошлость! — сердился Салов.

Войдя в квартиру Василия Сергеевича, выпивали, закусывали ветчиной, балыком. Полный из себя пристав ржал, закрыв глаза.

— Эх, актеры... Що за народ?.. Ежели бы все были этакие люди?.. Хорошо... Не было бы в жизни такового серьеза. А то що в жизни видишь? Плюнуть хочется... И начальству беспокойство.

Чепуха

Помню, мне один мой знакомый с окраины Москвы, с которым я раньше ловил рыбу на удочку, говорил:

— Мы, — говорит, — живем в такое время, что понять трудно. Будто это освободительное движение, так что, значит, освободиться будем. Выходит так, что ни на что ручаться нельзя. И как-то все стали ссориться. В газетах читаешь — в Полинезии восстание, а в Лиссабоне забастовка, и где это Лиссабон — неизвестно. Встретил недавно Александра Ивановича Глушкова. Трактирщик он с Солянки. Говорит: «Время теперь такое, несмотря на праздники, а веселья этого самого нет. Даже мои посетители жалуются, говорят, как-то не то. Пьешь, а тебя в грусть вдаряет. У меня прежде в трактире на Солянке, ах, — говорит, — гуляли ряженные, пляс идет, песни, веселье. А теперь сидят по столам все, насупившись, серьезные. Смотришь — поругаются, драка. Про политику говорят. В сурьез входят и спорят, спорят. Он, Глушков-то, смекалистый, — так я, говорит, нарочно двух горлотяпов держу. Как вижу, за столом в трактире про политику горячо в спор ударяются, я сейчас горлотяпам и мигну. Ну, они, значит, живо наружу выбегут и уж “караул” орут. Ну, сразу в трактире все к окнам бросаются смотреть — что такое. Помогает, говорит, это самое. И драк меньше бывает. И спору нет».

— Ну и чудно, — рассмеялся мой приятель, художник Винокуров. — Когда «караул»-то кричат, поди, народ собирается.

— А как же, народ глядит, городовые бегут — что такое? Горлотяпы и пятодесятое, орут чепуху разную. Ничего не понять, а все ж всем интересно, вроде как веселее становится. Прежде, бывало, Новый год встречали, рады все, а теперь думают, ну вот, Новый год пришел, а что? Кто говорит — война будет, а с кем, конечно, — неизвестно. А кто говорит — свобода полная начнется. Все всеобщее будет. Каждый должен сам себя обслужить. Сапоги сам шей, воду в колодце сам качай, калачи сам себе пеки.

— Ну, это чепуха, — сказал мой приятель Винокуров.

— Конечно, но только говорят. Извозчиков, половых — не будет.

— Ну, а как же чай пить? Надо чай самому сажать? А он у нас и не растет. Ерунда...

— Мяту будут пить, лист березовый...

— Нет, этого не будет никогда.

— А вот, говорят, будет. Сам граф Толстой говорил и лаптей себе наплел на это самое время. На все семейство наплел, чтобы босому не остаться. Зимнее время, не годится босому-то...

— Позвольте, — заспорил Винокуров. — Толстой босиком ходит, даже Репин его босиком написал, а вот дети его, графья, изнежились. Он, должно быть, лапти для них и плетет.

— Конечно, трудно будет каждому на свое положение становиться. Ох, трудно. Но, говорят, начальство, перед тем как становиться на этокое положение, каждому кобылицу предоставит. И так как все будет всеобщее, то и луга всеобщие. Пускай, значит, каждый кобылицу пасет. Кобылица нажрется досыта травы, и, значит, на ней верхом и айда — поехал, куда хочешь. Дорогой дои ее и молоко пей. Здорово и свободно. Ну и живи себе на свободе.

— Ну, это черт-те что... — сказал мой друг-приятель Коля Курин. — Позвольте, а если я никаких кобылиц доить не желаю и молока не пью, это что же такое? Произвол, насилие. Какая же это свобода?

— Ну уж как хотите, а все-таки это будет. Придет такое время. Я одного этокого-то знаю. Ученый. Он уж на кобыле уехал.

— Чепуха! — повторил Винокуров.

— Ведь вот сегодня канун Нового года, — сказал Коля Курин. — А что-то чепуху говорим. В деревне когда — такая чепуха в голову не лезет. Все ясно. Живешь себе. Новый год, рыжики в сметане, пирог с грибами, капуста кочанная, окорок. Газет не читаешь. Вот жизнь. Сам вроде как корова становишься, и глаза такие делаются, как у коровы.

— Вот у тебя глаза сейчас, — говорю я Коле Курину, — какие-то хитрые, все щуришься, все думаешь — кого бы объегорить...

— То есть как это, позволь?.. Кого же это я объегорить хочу? Это, позволь, что ты, с ума сошел?

— Ну, бабу какую-нибудь... — говорю я.

— Ну, это другое дело. Это вопрос другой. Тут не объегоришь, а сам объегоришься. Это любовь, брат, сам не знаешь, в каком состоянии находишься. Это ведь ни ученый, ни философ разрешить не могут. Женский вопрос — это самая трудная вещь на свете. Науке не поддается.

В коридоре раздался звонок. В енотовой шубе, бобровой шапке вошел доктор Иван Иванович. Усы и баки белые от мороза.

— Ух, холодно... — сказал он. — Крещенские начинаются. А у меня вчера вечером ряженые были. И кто — так я и разобрать не мог. Но откуда они? Не иначе, что пациенты. Как они узнали, что я жену у рыбника Афросимова отбивал? Ведь это в Нижнем было. Запрошлый год, и дело без драки не обошлось. Но только, это самое, в городском саду было весной — в кустах сирени — дрались. И что же? Сознаться надо, здоров Афросимов. Я помирился. Потом выпили тоже на поплавке. И кто видел? Понять невозможно.

— Ну, так, значит, тебе за волокитство попало.

— Попало. Зря и попало. Она сама соблазнительница. И вот соблазнительница до чего... Ну, я, конечно, молодой врач — понравился. А теперь не жалею, что не отбил, потому Афросимов оказался душа-человек и ко мне заезжает, и уж мы и обедаем и ужинаем вместе, и он мне на жену свою до того жалуется, что просто заплачешь. Вот она ему рога ставит, вот ставит... Я ему говорю: дорогой, хорошо, что я между ними не попал в чепуху такую. Как бы я тебе теперь в глаза глядел. И вот до чего у нас дружба в душу вошла, прямо адоремус¹ выходит. И он мне и говорит: «Давай мы с тобой вместе ей рога ставить будем». Я подумал и говорю ему: «Я-то ведь

¹ Здесь: почитание, любовь (лат.).

вроде как ни при чем...» — «Все равно, — говорит, — вали, я за все плачу, я отвечаю. Пускай узнает потом, что и ты. Пускай повертится...» И вот это самое ряженые мне все и рассказывают.

— Эх, Иван Иванович, — сказал Коля, — так ряженая-то — она и была... жена Афросимова.

— Эка я дурак. Верно. Я-то думал — кто, похож голос. Она — верно. Вот ведь. Я-то лошадь. В голову не пришло.

— Может, и он там был... — добавил Коля Курин.

— Но, постой, это уж чепуха... А ведь все может быть. Опять я, выходит, дурак. Я-то говорил ей — ряженой, — что уж вот он жену-то любит, ни на кого не глядит. Вот ведь что. Ряженая-то мне сказала: «Приезжай, — говорит, — в Новый год в 10 часов к “Яру” ужинать. Мы, — говорит, — маскированные будем. Я, — говорит, — в домино, красная роза на груди пришпилена. Приезжай, я все равно найду тебя...»

Вот как быть? Опять бы чепухи не вышло... Все-таки неловко, пациенты у меня. Вот — поедемте вместе.

— Нет, Иван Иванович, поговорка есть: «Повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить»... Поезжай уж один, а то опять выйдет чепуха.

Так, от чепухи к чепухе, в мелких дразгах, то потешном, то грустном, и всегда несурзном, — так в этих пустыках, без конца, без начала, — жила-была Москва, как могла и как умела... И не чуяла, не предчувствовала, что надвигается на всех такая чепуха, такая странная и злая чепуха, которая снесет все ее несурзные жизни.

Под Рождество

В России праздник Рождества Христова был радостен и таинственен.

Среди стужи морозов, среди занесенных снегом селений, долин и лесов, в глубине ночного неба мерцали ярко звезды, — и полный месяц лил таинственный свет на дорогу, по которой мы ехали со станции. С края большого леса, где огромные ели опустили до земли свои ветви под тяжестью снега, мелькнул огонек избушки.

— Стой, зайдем погреться, — крикнули мои друзья с передней подводы.

Возчик обернулся и вопросительно посмотрел на меня.

— Холодно чтой-то, мороз трещит!

В небольшой сторожке лесного сторожа Захара было убого и бедно. Дети Захара с испугом смотрели на нас, когда мы ввалились в сторожку.

Жену Захара освещала топившаяся печка.

— Эх, вот ведь кто, — сказала она. — А Захара-то нету, в Ремешки ушел. Вот рада. Погрейтесь, озябши, поди. Я сейчас самовар поставлю. Стужа большая. Прямо всю ночь мороз в стены стучит — пугает.

Озябшие люди топали ногами об пол, чтобы согреть их.

В углу перед иконой горела восковая свечка и мирно освещала угол темной избы.

— Санька, — сказала мать, — зажги-ка лампочку, а то темно гостям.

Охотники скинули шубы и сели на лавки. А Коля Курин полез на печку.

— Куда ты? — закричал ему Василий Сергеевич.

— Озяб. зуб на зуб не попадает. Хорошо, что заехали в избу, а то я думал: не доехать — замерзну.

Охотники грелись у печки.

Павел Александрович тоже полез на печку.

— Довольно странно, — сказал он, — в первый раз в жизни застыл. А оттого, что заснул. Я ведь ехал и дремал... Может быть, замерзал?

— Надо в чай сейчас коньяку, — посоветовал Иван Иванович.

— Меня тоже дрема одолевала, — сказал Коля. — Я даже сон видел. На елках свечки горят. И девушка такая. В кике такой граненой изо льду. В красной кацавейке. Прехорошенькая блондинка.

Павел Александрович рассмеялся.

— Это приятно. Николай Васильевич живет всегда в окружении прекрасного пола.

— Вот ведь, — сказала сторожиха, ставя на стол самовар, — в лесу-то у нас глухо, по дороге, под горой, где мостик у речки, завсегда кажет. Красавица лесная живет. Я сама видала под праздник.

— Вот, не угодно ли? — поморщился Василий Сергеевич. — Откуда бы ей там взяться?

— Она нешто живая! Так, душа неутешная. А видала я!.. Нарядна, чисто царица. Видали и другие. Говорят, из речки выходит. Вреда от нее нет. Милостива. Я детей с радостью ждала родить. Захар говорит: «Роди мне сына», а я думала — и дочку хорошо, для хозяйства. А мне Бог послал вот их, — показала она на детей, сына и дочь. — Двойню родила. И Захар рад был. Когда родила — так она в окно заглянула разок.

Я посмотрел на ребятшек. Они добро смотрели на мать. И были оба красавцы, с большими ресницами и синими глазами.

В углу, у печки, стукнула и затрещала стена.

— Ишь, стучит Дед Мороз, — сказала сторожиха, наливая чай. — Этак-то прошлый год спали мы, а я слышу — стучит. Бужу-Захара-то и говорю: «Слышь-ка, Захар, это в крыльцо, наружи, кто-то к нам стучит». — «Чего, — говорит, — это мороз». И спит. А я слышу — нет: стучит бесперечь. Встала, пошла к двери, а в крыльце и впрямь стучит. Отперла засов — человек стоит. «Пусти, — говорит, — закостенец. Помираю». Разбудила Захара. Вошел человек. Незнамо кто. Высокий, кудрявый. Бледный как смерть. Закачался и упал на пол. Захар развязал ему кушак, расстегнул полушубок. Растирает ему грудь. «Дай, — говорит мне Захар, — водки скорей». Лоб ему трет, а потом расстегнул ему ворот и грудь растирает, чтобы сердце согреть. Поворачивает, качает, чтобы в себя пришел. А у него-то из карманов деньги сыплются, звенят. Золотые высыпались и серебро рублями. Захар-то говорит: «Господи, не мер бы, в ответе бы не быть».

— Ну, и что же? — спросили приятели.

— Ну, очухался, согрелся. На деньги смотрит. «Эк ты деньги какие с собой носишь, — Захар-то ему говорит. — Почто в лес берешь? Дорогой идешь в мороз этакий. Знать, ты нездешний? Заплутаешь, пропадешь. Купил бы лошадь — денег что у тебя!» А тот говорит: «Нет ли щец теплых похлебать, а то не ел я». Налила я ему щей. Вот он ест — видать, что голодный. Наелся щей — и на печку. Уже день занялся, а он спит и спит, храпит. Уж вечер, а он спит. Захар будит, а он хоть бы что. Захар говорит мне: «Знать, недобрый человек, знать, разбойник. Ишь, левольверт при нем. Побегу-ка я на центр, скажу старосте в деревне». А вдруг он с печки-то и говорит: «Я тебе покажу старосту!» Захар-то думает — чего это? «Что ж, — говорит ему, —

вставай, не жить сюда пришел». Он встал с печки и засмеялся. «Что ж ты гонишь меня в канун-то Рождества?» — «Да ты чей?» — спрашивает Захар. «Ну чей, что тебе “чей”? Я вольный, гусяцкий. Далеко отсюда». Ушел поутру. Детям по рублевке подарил. Прощаясь, Захару сказал: «Ты про меня думаешь, что я разбойник. Не бойся, тебе от меня худа не будет». Сказывают, знать, это разбойник Чуркин был.

— Нет, не разбойник, не Чуркин, — сказал возчик Батранов. — Это гусяцкий сбытчик. Фальшивые деньги сбывает по ярмаркам. Сбудет и далё бежит. Прячется. Где день, где два. А то ведь пымают, ну и бьют до смерти. И ничего за это не бывает. А где же Чуркин? Это ведь барин, он у казначеев деньги берет, у богатеев. Взаимы берет. Ежели не дают, то где на дороге пымает. Тогда уж дают. А то домой придет, то тоже дают. Страшен! Поглядит разок — дашь. Здоров. Он не убивца, а так, тряхнет маленько, ну и смякнешь...

В это время послышался стук в крыльцо. Сторожиха пошла отворять.

— Не отворяй! — закричал Василий Сергеевич. — Не пускай его! Ну его к черту! А то мы его картечью угостим.

Но дверь скрипнула, кто-то вошел в сени.

— Не пускай, — кричал Василий Сергеевич. — Что вы, в самом деле?

Он стал торопливо вынимать ружье из чехла.

На пороге показался Захар.

— Вот радость, Лисеич. Здравствуй, Василий Сергеевич.

— Эх, ты, черт, напугал нас. Жена про разбойника рассказывала.

Раздевшись, Захар присел к столу. Жена поставила перед ним чай, ватрушки, хлеб. Я подлил ему в чай коньяку.

* * *

Наши возчики, напившись чаю, одевались и говорили:

— Ну, ехать пора, отогрелись.

— Ехать? — задумался Василий Сергеевич. — Лугом поедем или лесом?

— Все лесом, — сказал возчик Батранов.

— Лугом бы лучше. Виднее.

— А кого теперь увидишь-то?

— Как — кого? Видите, какие голубчики ходят здесь у вас.

Павел Александрович, слезая с печки, подняв палец, сказал:

— А зачем ехать? Опять мерзнуть! Глупо и пошло! Здесь отлично. Распакуем кульки.

— Белая скатерть есть? — строго обратился он к хозяйке.

— Есть, барин.

И она пошла к сундуку.

— А прав Павел, не дурак, — сказал Василий Сергеевич.

Живо развязали кульки, и на скатерти появились бутылки, окорок, закуски.

— Рюмок нет, — сказал Коля.

— Из чашек пить — это класс. Понять надо. Если хотите знать, из рюмок пить — это пошлость.

Павел Александрович откупорил ром, разлил его по чашкам, разбавил теплой водой из самовара и, взяв в рот кусок сахара, сказал:

— С наступающим. Согреться надо. За хозяйку и хозяина.

Он выпил залпом всю чашку.

— Замечательно. Жизнь. Красота. Пустыня снега. Видения прекрасных дев, разбойники, Захар, прелестные дети. Эта ночь, звезда Вифлеемская... В душе светит радость дружбы. Праздные мечты! Привет тебе, великий праздник!

Все встали, и доктор запел:

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия миру свет Разума.

Стрекулист

Помню я, давно, еще в ранней молодости, когда мы были учениками, гимназистами, то часто слышали от старших, от родственников, знакомых страшное слово «нигилист». И удивлялись. Нигилисты были особые люди — с длинными волосами, нечесаной бородой, на плечах пледы, широкополая шляпа, суковатая палка, карманы набиты книжками, прокламациями...

Вскоре появилось новое слово: «социалист», а затем еще страшнее — «анархист». Этих людей, мы слышали, ловили жандармы. Поймают и везут в Сибирь на поселение. Их доводилось изредка встречать, и они внушали нам страх.

Но было еще прозвище человека, очень странного и неуловимого, которого называли «стрекулист». Те все занимались политикой, у них были партии, они уходили глубоко в подполье, а стрекулист держался на поверхности.

Впрочем, опознать его сразу было трудно. Так, бывало, про молодого человека, как будто серьезного, озабоченного делами, ищущего место службы, вдруг скажут: — Ну что!.. это стрекулист...

Стрекулисты есть и сейчас. Чаще всего — он худ, моложав, брит, одет чисто, ласков, услужлив, знает в городе всех, все дела, всю подноготную каждого. Он — инициатор дел, у него всегда идеи, которыми он поражает. Он может быть всем — адвокатом, врачом, режиссером, антрепренером. Стрекулист всегда обещает и никогда не выполняет данного обещания. Быстр, находчив, нахален, важен и горд. Новатор, всегда в делах. Живет неплохо.

* * *

Однажды летом в деревню ко мне композитор Юрий Сергеевич привез стройного, высокого, средних лет человека, одетого элегантно, с зачесанными назад волосами.

И сразу мне почему-то показалось, что этот человек никогда не был в деревне.

Войдя ко мне в мастерскую, он все глядел по сторонам бегающими глазами.

— А вы мало бывали в деревне? — спросил я.

— Никогда, — ответил он.

— Он, брат, городской, европеец, — сказал Юрий. — Ему деревня не нужна. Он, брат, создает новый театр. Артистов собирает. Я помогаю. Покуда еще ничего нет. Покуда еще пьем, разговариваем. Собрали труппу. Заехали вот к тебе, он тебе расскажет. У него в голове столько сюжетов, что на всех композиторов хватит.

— Простите, — сказал новый знакомый, — я удивляюсь: здесь леса, глушь, безлюдье, как вы можете здесь жить? Ваше место в Европе. Вам нужны дворцы, шум,

лавы, крик, пресса, поклонники, цветы. А здесь?.. Колодезь какой-то, старый сарай, лесная даль, крапива... Я не знаю даже, что сказать...

Тут я почему-то подумал: «А не стрекулист ли он?..»

— Конечно, — продолжал он, — я бывал на дачах в Парголово, Сестрорецке. Там дорожки посыпаны желтым песком, куртины, курзал, музыка... Там не чувствуешь, что живешь в глуши. Потом женщины! Много женщин. Чарующих женщин! В театры я ввожу подбор красавиц, праздник тела. У меня артист один потрясающий, сила: он на одной руке вот так держит женщину.

Он встал и протянул перед собой ладонь, на которой, мне казалось, он видит женщину.

Толстый Юрий, сидя за столом и попивая наливку, умилялся, ловя каждый звук новатора-антрепренера.

Новатор встал из-за стола и вышел на середину комнаты.

— Вот представьте, там вдали, — показал он на окно, — горы Кавказа. Дарьяльское ущелье. Лежат туманы и облака. И в них носится Демон. А здесь, — показал он на пол, — Арагва. Здесь она — Тамара. Увидав ее, Демон несется оттуда, с гор и ущелий. Влетает в это окно и становится здесь как вкопанный: «Я тот, которому внимала...» Я все по-другому ставлю. Не по Рубинштейну. У меня — свой «Демон». Музыка новая — он пищет, — показал он на Сахновского, — а вы будете делать декорации.

— Послушайте, — спросил я, — как же это оттуда, из облаков Дарьяльского ущелья, прямо в окно сюда — на Арагву? Как это сделать технически? По сцене трудно пролететь...

— Пустое!.. Как-нибудь сделаем...

— Ну, тогда другое дело, — сказал я, посмотрев ему в глаза. И заметил, что он отводит глаза в сторону, когда на него смотришь.

— Дело-то ведь в деньгах все, — лениво сказал Юрий.

— Вздор! Вздор! — загорячился новатор. — У Бахрушина возьму сто тысяч, у Морозова — сто, у Вострякова — триста.

— Черт его знает, — засмеялся Юрий, — может быть, и возьмет.

— А Балбошин не даст? — еще более воодушевился новатор. — Он с кем живет? С Зойкой живет!.. А Курдюмов не даст? У него Рая — красавица. Она будет Тамарой, Курдюмов — Демон, Балбошин — Гудал, Зойка...

— Постой, постой, — сказал Юрий. — Это что ж такое? Какие ж это артисты! Я в таком деле не участвую.

— Не надо, — сказал новатор. — Пожалеешь. Я их в одну неделю обучу. Сам ими займись! А дело у меня будет, и мировое.

— Но петь-то они ведь не могут — Курдюмов, Балбошин?..

— Это детали. Надо взять деньги. Без меценатов нельзя. А меценат славы хочет. Пускай поют, черт с ними! Платишь — пой.

* * *

Поздней осенью приехал ко мне Юрий. Расстроенный.

— Помнишь, — говорит, — антрепренера, приезжал со мной? Театр в Каретном Ряду открыл было. Репетиции шли. Деньги были. И вдруг все треснуло... Вот он тебе расскажет.

Он показал на приятеля Колю Курина.

— Ну что же, все очень просто, — сказал Коля. — Сделали буфет, репетиции. Сами репетируют, сами пьют, меценаты между собой. Сами и смотрят. Ужины, шампанское, кутежи. Что ставят — понять нельзя. И пьесы сами сочиняют. А режиссер этот, новатор, и буфет держит. Не знаю, что там между ними произошло, только в один прекрасный день новатор у господ меценатов всех артисток сманил да в Нижний — на пароход. По Волге катает, поют, играют в городах. А меценаты за ним на пароходе гоняют, назад артисток отбить хотят... Догонят пароход, а артистки веселые, в легких платьях, с парохода им носы показывают, меценатам-то! Меценаты — прямо глядеть на них жалко: пьют с горя. «Как я ее люблю! — кричат. — Вернись!» А те хохочут.

— Так и гоняют по Волге. А нам — шиш.

Юрий виновато взглянул мне в глаза и грустно вздохнул.

Мастер

Долго, долго тянется зима. Рано наступают вечера. В четыре часа уже темно.

На улице идет хлопьями снег, и в зимней мгле мелькают фонари.

Укутанные, подняв воротники шуб, идут пешеходы, а кто в санях — на извозчиках. Извозчик понукает убогую лошаденку, дергая возжами.

И думается мне, что все эти встречные люди идут и едут в гости коротать зимние вечера.

Сидят москвичи в гостях и пьют чай. Непременно чай. Везде кипит самовар, и долго сидят за столом. Баранки, сушки с солью и тмином, сухарики ванилевые, варенье.

Разговоры все обыденные: кто помер, кто с кем поссорился. Кто женился или с женой разошелся, кто лошадей завел, у кого запой. «А у Кузьмы Николаевича Ватрушкина дочь с актером убежала. Что было!.. Ее ловили, а она говорит: “люблю”, и более ничего. А отца-то ее, Никиту Ивановича, удар хватил. Я с ним сам шел из Рогожской от адвоката, — как его ударит!.. — он прямо на землю и сел. Я его на извозчика — домой. А он дорогой кричит: “Ох, анафема — адвокат, он его руку держит, лицедея! Что ж это такое? Ох, горе! И чего это она нашла в нем? Жигулястый, завит, чисто баран, видать, что румянами себе морду красит. Соблазнил! И все бы ничего, простил бы... Но ведь женатый он, сукин сын...” Жалко старика. На ноги стать не может. “Прощай, — говорит, — Пенделка, щетинная фабрика...”»

Хозяйка дома мигает дочерям: «Пойдите, в шкафу — бисквитный пирог, принесите» — и говорит гостю: «Вы, — говорит, — при дочерях-то не говорите про дела такие, про актера, — они и так в театре наслушались, как Мазини поет... Так вот у них этот Мазини из головы не выходит. Карточек его накупили, портретов и на туалеты поставили. Я думаю — что за Мазини? Пошла сама в театр с ними, ложу взяла. И вот вижу — выходит на сцену лохматый, нечесаный, но как запоем — сама не знаю... так внутри сладость какая-то... Вот поет! Сердце, как голубь, воркует в груди. Всю ночь не спала, лавровишневые капли принимала. Вот что над женским сердцем делается — все отдашь! Я-то уж что, а девичьему сердцу каково любовность такую переживать. Женихов найти им после этакого-то трудно, — как он ей в душу влезет?.. Мазини — что? Спел, да и уехал. А я с ними мучайся. Где уж им Мазиней достать...»

Повернуло солнце на лето, зима на мороз.

Первого января, в Новый год, прибавилось дня на один час. И правда: чувствовалось, что в солнце, в его лучах, появилась какая-то радость — отдаленный признак весны. Весело освещен сад, покрытый инеем, забор, колодезь на дворе, ворота конюшни. И заголубела даль, когда я проезжал Дорогомиловский мост, где вдали были видны горы Нескучного сада и блестело красивое здание дворца.

Весело, с криком пронеслись стаи галок и спустились на ровную гладь снегов, покрывающих Москва-реку.

— Заеду-ка я в лавку Березкина...

Лавка Березкина была у Бабьегородской плотины. Торговля рыбными принадлежностями.

Тепло в лавке Березкина.

Висят сети, верши из зеленых прутьев. Прилавок, на котором за стеклом видны веселые цветные поплавки, крючки, лески — английский товар. А сбоку, в уголке, сидят приятели Березкина — рыболовы-любители. И на низенькой табуретке, согнувшись, — приятель мой, рыболов Василий Княжев. На спиртовой лампочке правит концы камышовых удилиц.

На носу у него — большие очки. Сбоку у лампочки стоит полбутылки водки и большая селедка — тарань. Черный хлеб.

За прилавком, облокотясь, хозяин Березкин. Здравается. Василий, увидав меня, снял очки.

— Эх, — говорит, — Кинстинтин Лисеич, вот я только что рассказывал... у вас-то, на Нерли, сейчас, в стужу такую, в лунки, в пролубь, эх, хорошо налим идет... Теперь ведь самый его нерест. Бывало, у вас на Новенькой мельнице, в пролубке, я тридцать два налима в ночь пымаю. Ну и уха же была, молоки. А вот они не верят... Это москворецкие рыболовы весны дожидаются. На Новенькой, помню, знать, сом мне попал. Я-то его тяну из пролуби, а он меня — в пролубь. У меня нога-то замotalась в бечеве, а он ее и тянет в пролубку. Я думаю — батюшки, ухватиться-то не за что, кругом снег. Так я валенку-то сбросил, а она в пролубь и ушла. Я домой-то, к Никону Осиповичу в избу, по одной ноге босиком и прибежал... А Никон говорит: «Ты, — говорит, — смотри, это ведь водяной — не иначе... Водяной с тобой играет. Сом-то зимой спит, как медведь в норе. Не слыхано дело, чтобы сом зимой попался. Это, говорит, балуется водяной. Пора ночная, ему охота душу праведную загубить».

— «Душу праведную», — засмеялся хозяин Березкин, — ишь, как Княжев себя меряет...

Приятели засмеялись. Княжев посмотрел на всех, поправил очки и, помолчав, сказал:

— А чего ж «праведная душа»? А чего ж, не праведная, что ль, перед водяным-то! Перед Богом-то другое, конечно, — все в грехах.

— А ты, что ли, праведник, — сказал он Березкину сердито, — водку твою пью? Я ведь мастер, концы вот тебе правлю. Ты сколько на мне наживаешь? А с прошлого года девять с полтиной засчитал. За что засчитал, плутня? Счет ведешь...

Березкин насупился, взял тряпку и стал вытирать в витрине стекло.

— Девять с полтиной — сапоги новые, а я от тебя в опорках по весне ушел. Да детеныш через тебя помер мой...

— «Детеныш»!.. — засмеялся Березкин. — И сколько я этих детенышей знаю, потому каждый раз, как весна, — и баба новая. Чисто хлыст.

— «Хлыст»! — сердился Василий. — А ты православный? К обедне ходишь, свечки ставишь?.. Праведник тоже!..

— Много ты об себе понимаешь! Мастер!.. Ера кабацкая! — сказал Березкин.

— Полноте, — закричали кругом, — чего вы, право?

Василий налил себе водки и разом выпил. Встал, надел пальто, шапку, подошел ко мне близко и сказал на ухо:

— Я вас подожду на углу, я больше не могу с этой стерьвой!..

И ушел из лавки.

Все замолчали.

— Вот ведь, — сказал Березкин, — кормишь, поишь, а вот тебе за хлеб да соль что. Лукавец! Как волка ни корми — все в лес глядит. Пускай походит, брюхо-то подожмет. Какое баловство! Концы править! А ведь, если не поставишь полбутылки, работать не станет. Где это видано? А с весны и не найдешь. Верите ли, самая пора, товар забирают любители, — так втрое ему плачу, сукину сыну, — не идет. Баба сейчас подвернется, и айда по лесам, по река́м. Шляться уйдет.

— Ведь вот к вам, поди, лезет? — обратился он мне. — От вас тоже много порчи ему идет. Балуется. А лукавец он. Вы думаете, вас-то он любит? Никого не любит. Ему что ни дай — виноват остаешься. У него все сплоатары!..

— Не сплоатары, а эксплуатары, — сказал один из посетителей, одетый в подрясник.

Я наскоро купил крючков и, простившись со всеми, вышел из лавки.

Василий угрюмо ходил у угла переулка, засунув руки в карманы пальто.

— Ну что, грех один, — сказал он мне, когда я подошел. — Сердца нет, душа не человечья. Вот что: я к вам в деревню поеду. Там с дедушкой сетей тонких навяжем — по весне раков ловить.

— Ну ладно, Василий, — говорю я.

— Вот мне до чего двенадцать рублей надо! Вот до чего! Дайте, пожалуйста. Вечером я приду.

Я дал Василию деньги. Он медленно сосчитал и ушел.

Вечером Василий не пришел.

На другой день утром Василий пришел пьяный, мрачный, без пальто.

— Что ты, — спрашиваю, — Василий?

Он сморщился и заплакал.

— Правда, правда, — говорил он, вытирая кулаком слезы. — Анафема я. Все деньга вчера кончил у барошника. И пальто. Думал — друг он мой, а он выпивоха, дочиста опил меня!..

— Василий, — говорю я, — тебе, поди, неохота ехать в деревню?

— Нет, — сказал Василий, — это вы бросьте. Я правду говорю. Только вы Ленке скажите, чтобы на вокзал меня проводил и билет купил. В вагон посадит, ну, значит, я и поехал, — и трешницу. Нет, трешницу много, два целковых, больше не давайте. А то бы от Троицы не вернуться!.. — как бы зашипев, засмеялся он. — У Троицы-то буфет!.. Эх, слабость, слабость!..

Был у меня приятель, художник Дровосекин — человек сердитый, небольшого роста, носик красноватый, пуговкой, глаза серые, с блеском. Одет в сюртучок, на плечах всегда перхоть.

Уж с утра, помню, когда Дровосекин гостил у меня в деревне, он поднимал палец и грозился. Настроен был всегда серьезно. Охоты не любил. Говорил, что охота — варварство и доступна только низким инстинктам человека.

Этот мой сердитый гость держал меня в респекте¹.

В каждом вопросе, о чем ни заговори, есть две стороны: можно думать так, а можно и совсем наоборот. Русскому человеку доставляет великое удовольствие — сказать наоборот.

Приятель мой Василий Сергеевич не давал спуску Дровосекину и спорил с ним, что называется, с издевкой.

Я как-то говорю:

— Вот был я на Дальнем Севере, на Новой Земле. Самоеды рыбу едят сырую. Дикари.

— Еще неизвестно, дикари ли, — вскинулся Дровосекин. — Есть сырую рыбу — вовсе не значит быть дикарем. Дикари гораздо цельнее, чем ваша цивилизация с прихотями, утонченностями, поварами, соусами, разносолами, чревоугодием, утерей морали.

Дровосекин, подняв палец, долго распространялся и громил цивилизацию. И договорился до того, что сырую рыбу есть полезней и, наверное, вкусней.

* * *

Пришло время завтрака. А обедом, едой, у меня в деревне распорядился приятель мой, архитектор Василий Сергеевич.

Полдень. На террасе накрывают на стол.

Тетенька Афросинья на кухне, что-то сердитая.

— Это что уж, — говорит, — без ума, что ли!

Ленька, мрачный, прошел мимо меня.

Спрашиваю:

— Что с тобой?

— Да чего же... Василий Сергеевич чисто рехнулся.

Не понимаю — что делается.

Прошел террасой — на столе, на блюде, лежит щука, выпотрошенная, но сырая. В миске тоже плавает сырая рыба. Тут же хлопочет Василий Сергеевич. Положил рыбу на блюдо и говорит:

— Готово.

По лестнице сверху сходят доктор Юрий Сергеевич, Павел Александрович Сучков. Все собираются к столу. Пришел и Дровосекин.

Василий Сергеевич наливает рюмку перцовки и говорит, смеясь, Дровосекину:

¹ От фр. respect — почтение, уважение.

— Пожалуйте, пожалуйста, голубчик. Отведайте самоедской рыбки. Свежая — сырая...

Дровосекин немного побледнел. Но сел за стол, отрезал кусок сырой щуки, разрезал на ломтики, густо посолил, выпил стакан перцовки и стал есть.

— Превосходно.

Все пристально смотрели на него. А Василий Сергеевич закатывался в веселье и, хохоча, говорил:

— Что делается, что делается.

Павел Сучков вдруг озлился и сказал строго:

— Довольно. Дурацкое дело — не хитрость.

И приказал все снять со стола, сварить и изжарить.

Дровосекин искоса молча посмотрел на него и продолжал есть нагло сырую щуку.

— Это уж чересчур! — возмутился и доктор Иван Иванович.

И, чтобы повлиять на Дровосекина, добавил:

— Будьте осторожны: от сырой рыбы заводится солитер. Медицина не позволяет есть сырую рыбу. Предупреждаю.

— Ваша медицина — не наука, — огрызнулся Дровосекин.

— Позвольте, позвольте! — на этот раз уже не на шутку рассердился доктор. — Как — не наука! В городах не позволяют есть сырую рыбу.

— Нет, врете, — упорствовал Дровосекин, — а семга, балык, икра?

— Позвольте, — не слушая, кричал доктор, — мы не дикари, не самоеды.

— Чем самоеды хуже? Города ваши все развращены: соуса, повара. А человек должен есть сырое...

— Довольно, — иступленно заорал Павел Александрович. — Вздор, пошлость! Долой! Что вы, одурили, что ли?

— Раки-то варить али сырые подавать? — спросил серьезно и хитро мой слуга Ленька.

Все сразу как-то замолчали. Дровосекин испуганно посмотрел на Леньку — рако-то сырого есть ему показалось, по-видимому, страшновато.

— Чего выдумали! — негодовала и тетенька Афросинья. — Василь Сергеич придумал. Все на смех. Этак-то по всей округе прославитесь. Никуда глаз не покажешь, засмеют. Да и Бог накажет...

— Что ты все смеешься? — сердито сказал Павел Александрович, глядя на Василия Сергеевича. — Что тут смешного?

А Василий Сергеевич, зажмурив глаз, хохоча, показывал пальцем на Дровосекина:

— Са-мо-ед!..

* * *

Вдруг Дровосекин побледнел и встал из-за стола.

— Странно, — сказал он покорно, — что-то скверно. Организм, должно быть, не тот. Испорчен цивилизацией...

Доктор Иван Иванович взял его за пульс, повел его в коридор к умывальнику и стал мочить ему голову. Тот кашлял и тихо говорил:

— Огня прежде не было, не жарили... Значит, ели сырое.

Когда на столе появились пироги с капустой и щи, Дровосекин явился с доктором опять к столу.

Он все еще не сдавался и, подняв палец, говорил:

— Что ж, испорчен организм, изгажен цивилизацией. Пока не было огня, ели все сырое...

После странного завтрака приятели мои наконец поуспокоились. Кто ушел на охоту, кто на рыбную ловлю, а Дровосекин с доктором Иваном Ивановичем остались у меня в мастерской.

После довольно длительного молчания Дровосекин, как бы невзначай, спросил:

— Скажите, доктор, что, солитер в самом деле заводится от рыбы?

— Как когда... Иногда и заводится.

— Так-так... — рассеянно произнес Дровосекин.

— И очень быстро растет, — серьезно добавил доктор.

Дровосекин как бы поперхнулся и робко спросил:

— И он бывает большой?

— Огромный, — ответил доктор. — В несколько саженой. Человека душит изнутри.

Дровосекин слегка побледнел и пристально посмотрел на доктора.

— Вы видели таких, доктор?

— Видел, — отвечал Иван Иванович, равнодушно смотря в окно.

— Невероятно! — изумился Дровосекин.

— Много есть невероятных вещей в природе.

— А скажите, возможно предупредить развитие болезни?

— Можно, — сказал доктор. — Надо выпить стакана три конопляного масла.

За обедом Дровосекину наливали в уху конопляного масла, и тот кротко пил.

— Что это делаешь, — спросил я потихоньку доктора.

— Пускай. Я ему покажу — «медицина не наука»... Тихонький станет...

И вновь перевел разговор на солитера:

— Был у меня один пациент. Он имел несчастье получить солитер от сырого рубленого мяса. Любил его есть, посыпая солью, луком, перцем. Мучился бедняга страшно. Похудел. Что ни съест — не впрок. Все солитер пожирал...

— Ну и что же? — спросил Дровосекин. — Вы помогли?

— Вылечил, — сказал Иван Иванович, — конопляным маслом. Пять бутылок в день с водкой принимал.

Дровосекин тихо потянулся дрожащей рукой за водкой и сказал слуге Ленке:

— Принесите еще масла...

Я вновь отвел доктора в сторону и сказал:

— Ну что ты с ним делаешь?

— Черт с ним, — отвечал доктор. — Я ему покажу, «медицина не наука»... До новых веников не забудет... Самоед!..

Скучные дни

Зима. Верно — всю, всю Россию снегом замело. «Заметают метели все дороги, все пути — негде к милому пройти». Сугробы глубокие. Морозы трескучие...

Страна родная, как лик твой особенен и изменчив!.. Зимой казалось мне: неужели этот мрачный сад мой сиял весной, покрытый зеленью, был полон пением птиц и дыханием ландышей и жасмина?

Неужели это было? И на темной деревянной моей террасе было веселье и смех друзей моих?..

А теперь? Только воспоминания. И друзей уже нет — умерли. И дом мой взяли у меня люди, искавшие правды, которую сочиняют тоже люди, которые тоже умрут...

И тайной мне кажется земля, на которой я еще жив. И ничего не знаю, почему все так странно и случайно в мире?

Пишу сейчас воспоминания, и пролетает передо мной прежняя жизнь... Россия...

В России мне никогда не приходилось видеть людей, ночующих под мостом реки. У всех был ночлег. Может быть, я ошибаюсь, но, где бы я ни был — на Волге, на Белом море, в Сибири, на юге — я видел больше смеха и веселья, чем уныния и тревоги.

Конечно, везде было и горе, болезни, смерть, преступность. Но русские люди в большинстве были бодры и не были погружены в заботы о доходах. Русский человек редко говорил о деньгах. И я помню, как при этом один рабочий сказал хозяину:

— Ну, давай скорей — наживай. Будя сквальжничать, скучно.

Русский человек мало думал о завтрашнем дне. Он жил сегодняшним днем, а что будет после — все равно. Это черта особенная. Она сложилась под влиянием русского довольства.

У русского человека было много странностей и причуд, совершенно непонятных европейцу.

Я помню, как толстовцы в Рязском уезде сняли дом у помещика и ходили в деревне «помогать народу». Развивать его. Носили воду, топили мужикам печи и до того им надоели, что мужики их за это самое обложили по 3 рубля с человека.

Толстовцы были поражены. Недоумевали. Говорили:

— Боже, какое невежество...

Но пришлось платить, а то не пускали в деревню...

Тетка Наталья жаловалась:

— Этот барин, — говорит, — зачитал нас. Придет в избу и читает...

Милая, сумбурная, невозвратная жизнь.

* * *

Не спится... Бессонница...

На башне чужого города часы пробили четыре. Я все вижу Россию, свой дом в деревне, сад, зиму, метель метет. На окне у меня стоят золотые фарфоровые вазы. В них бумажные цветы. А за окном большие ели, заметенные снегом. И там могила моей собаки Феба, нет уже Феба у меня, не будет. И вижу я его красивую голову и умные глаза — точно живой он стоит передо мной. И глазу его голову, и его добрые глаза с какой-то небесной честью смотрят в мои глаза...

Ах, как многое хотел бы я вернуть! Но мчится жизнь...

А кругом тоска, ссоры, тревога, ненужная, без радости, энергия...
С утренней зарницей придет день. И нужно достать трудные деньги — платить за право жизни.

* * *

Утро... Моя собака Тобик подает мне газету: бегать к газетчику за газетой — его обязанность. Я беру ее у него изо рта и краем сложенной газеты чешу ему спину и похлопываю его — такой уж установился порядок...

Звонок... Тобик бежит к дверям и грозно лает — возвещает о приходе чужого, хотя отлично знает, что пришел приятель. Лай сменяется радостью. Тобик прыгает в восторге, встречая приятеля.

Собаки любят дружбу людей. Не любят ссор. На дворе есть другая собака — враг Тобика, Мике. Но Мике тоже собака. Он обожает детей и детские игры... Но, когда мальчики играют в войну, Мике встревожен и озабочен. Глаза его делаются печальными, и он прыгает, хватая зубами игрушечные пистолеты, грызет их. Переломал себе зубы. Мике знает, что это игрушки смерти. Бедный Мике, он останется без зубов.

— Ну что, — спрашиваю я приятеля, — что нового?

— Да все то же, — отвечает приятель. — То же самое — не платят. Какое туше!¹ Сигара во рту, говорит: «А оркестровка готова?» Я ему говорю: «Мне за комнату платить...» — «Мало, мало в вас жертвенности, патриотизма — все на деньги переводите...» Хорошо, что у меня хозяин терпит, а то ведь пропадать!

* * *

Звонок. Приходит другой приятель — чиновник, человек сосредоточенный, русский, похож на медведя. Говорит, входя:

— Одеваешься?

— Да, одеваюсь.

— Ну вот...

Он садится у окна, достает из кармана сверточек в бумажке. Тобик прыгает вокруг него. Он вынимает сдобный пирог и, говоря «постой, постой», угощает Тобика.

Странно, что Тобик, не лая, бежит в переднюю к двери и дожидается, пока тот поднимается в подъемной машине. Как это Тобик знает, что это именно он? А мы так мало знаем, что будет, и совсем не знаем, что думает человек, который говорит с нами. Не постигаем обманчивых друзей и любви коварной...

— Куда же пойдем завтракать? — говорит пришедший приятель.

— К старику, — отвечаю я.

— Ну, позволь... кувер² — два франка... Это уж на троих шесть франков! Пойдем к Анне Захаровне, — пирожки.

— Ну вот, — с улыбкой говорю я, — всегда это волокитство. Анна Захаровна...

— Это у меня-то волокитство! — вздыхает Медведь. — Вот бургонского бутылку — я понимаю.

¹ От *фр.* *toucher* — трогать, касаться; удар по клавишам фортепьяно, влияющий на силу и окраску звука.

² От *фр.* *couvert* — столовый прибор.

И он замигал глазами.

— Читал, что в России-то делается? — спрашивает другой мой приятель.

— Нет, да я и не интересуюсь, — говорит пришедший. — Вообще, делается все то, что кому-то надо, чтобы делалось, и потом будет переделываться, когда кому-то надо будет, чтобы все переделывалось...

— Ну нет, позвольте! — загорячился мой приятель. — Это я поспорю с вами...

Каждый русский опровергает мнение другого и всегда находится в оппозиции ко всему, кто бы что ни говорил.

— Нет, дорогой, нет, я не спорю. Поедем лучше в Пасси, я знаю ресторанчик. Бургонское — аромат...

* * *

В ресторане, увидав нашего приятеля-чиновника, сидевший за столом посетитель встал и радостно воскликнул:

— Ваше превосходительство, вы правы, бургонское — аромат! Одна беда — сколько ни пьешь, не берет. Слабо вино, что ли? Не берет... Радости в жизни не стало...

На Масленце

На Масленицу решили поехать в деревню.

Как-то наскучило в Москве. Все театр да театр. Конечно, странно писать, что от театра можно соскучиться, но я бывал в нем по обязанности почти каждый день.

А в те времена у Большого театра в Москве нередко стояла очередь с ночи, чтобы утром получить билеты в кассе, — студенты, курсистки, молодежь.

Некоторые брали с собой восковые свечечки, чтобы читать.

На Шаляпина всегда была очередь.

Директор Теляковский удивлялся, что я редко ходил к нему в ложу слушать оперу, но я ему отвечал, что все время ее слушаю, работая декорации в мастерской, куда доносились со сцены голоса певцов и звуки оркестра.

А глушь, деревня, зимняя пустыня, огонек в убогой хижине крестьянина рождали во мне душевное настроение — в тоске и мраке зимней ночи тоже была музыка, какая-то симфония, родная и великая, которая ласкала мне душу.

Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною мечтой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?

Глухо было в деревне, когда мы приехали ночью к дому. Собаки радостно встретили нас. Замечательный народ — собаки! В радости они прыгали на нас, стараясь лизнуть в лицо.

— Вот верно я говорил, — сказал Василий Сергеевич, — что в сапогах надо ехать, а вы говорите, валенки. Ну-ка, вот ступайте в валенках к крыльцу через лужи. Масленица ведь! Ростепель!

— Это верно, — говорит дедушка, — только ноне так, а то все стужа была.

— Натопил дом-то? — спрашиваю я. — Письмо получил?

— Получил, — ответил дед, — как же, натопил, жарко!

Правда, тепло было в доме, когда мы пришли, как в бане. Пахло сосной и можжухой.

Самовар стоял на столе, деревенские лепешки — туболки, топленое в крынке молоко и сливки.

Приятели поставили ружья в угол, а Коля Курин, сняв сапоги, сел у камина греть ноги.

Хорошо в деревне! К себе приехал. Человеку надо приехать к себе. Каждому человеку нужен свой угол. Нужно приехать к себе.

Василий Сергеевич что-то разговорился с тетушкой Афросиньей.

— Вот пугало, вот пугало надьсь, — говорила тетушка Афросинья.

— Я его попугаю! — кричал Василий Сергеевич храбро.

— Чего ж? Он метла и метла, так его и зовут.

За чаем, за закусками, сидя за столом, приятели говорили:

— Жарко натоплено!

Василий Сергеевич разделся весь. Остался в одной «егерской» фуфайке.

— Хороша у тебя фуфайка, — говорил Караулов.

— Да-с, — подтвердил владелец, — у меня ревматизм, фуфаечка-то пятнадцать рубликов стоит — ангорской шести.

— Ангорской шерсти? — прищурившись, спросил доктор Иван Иванович. — А ангорской шерсти и нет. Это из обезьяньей шерсти в Америке делают.

Василий Сергеевич тотчас же вспыхнул:

— Что ты говоришь. Клеймо посмотри — вот видишь: «доктор Егер», не тебе чета... На весь мир работает.

— Да мало ли что... Штемпель-то везде можно поставить. Вот на штемпеле обезьяна и отпечатана.

Василий Сергеевич снял фуфайку и, посмотрев на штемпель, сказал:

— Это не обезьяна, а лев английский.

— Таких не бывает, — сказал Коля Курин.

— А ты чего лезешь? Как — не бывает? Дура!

В это время я и мой слуга Ленька привязали к длинному шесту кольцо. Я ему сказал:

— Полезай на чердак и высунь этот шест в слуховое окно.

Я взял метлу, прикрепил к ней тулуп, повесил валенки, а метлу подвязал к длинному шнурку, конец которого продел через кольцо. Слуга Ленька залез на чердак и из слухового окна продвинул наружу шест и чучело: когда дергали шнурок, оно прыгало и плясало на снегу перед окном.

Выходило неплохо. Прыгал странный человек, голова у которого — метла.

Когда я вернулся в дом, тетушка Афросинья рассказывала:

— Он ведь — метла. Сторож лесной. В сторожке завсегда в лесу живет. Знать, от горя, что ли: жена у него ушла, голова его прутьями обросла. Вестимо — все лес да лес кругом. Ну, и пугает. Девоч, баб, что по грибы аль за ягодами в лес ходят. Он за ними ка-ак пустится бежать!.. Ну они ему и бросают — кто олады, кто краюху хлеба.

Вреда от его нет. Надьсь смерклось, в окно-то и стучат на кухне. Я поглядела — сердце упало. Гляжу, из тулупа-то у него хворост — метла торчит. Ну, дедушка с ружьем вышел. Тот бегом побёг. А мне жалко стало. Я дедушке и говорю: «Поди, дай ему пирога с капустой».

Ну, позвал, дал ему.

«Чего, — говорит, — хозяин третий год за сторожку не платит, с голоду умираю...»

— Смотрите, — закричал, указывая в окно, Василий Сергеевич, — метла!..

И он стал наскоро надевать на себя полушубок, шарф, валенки.

Приятели смотрели на пляшущую при луне фигуру, вытараща глаза.

— Ну вас к черту всех с вашими делами...

Василий Сергеевич схватил свое ружье, хлопнул дверью и пошел в деревню.

Я поднялся на чердак и сказал Леньке:

— Убирай, довольно!

Ленька потянул чучело кверху, но оно оборвалось и упало у окна.

Доктор и Павел Александрович Караулов подошли смотреть.

— Ловко придумали, — сказал Иван Иванович.

* * *

Все пошли в деревню звать не на шутку рассердившегося Василия Сергеевича. Василий Сергеевич стоял у избы крестьянина Феокиста Андреевича, который запрягал лошадь:

— Чего ехать ночью на станцию — дорогой нападет кто... Метла, чего метла?.. Ведь он это так — полоумный. Христа ради просит. Позабавить вас хотел.

Василий Сергеевич стоял молча. Сурово глядел желтыми глазами.

— Не уезжай, — говорила и тетенька Афросинья. — Куда ехать? Блины я заготовила на утро. Рыжики — гриб к грибу. Ну метла — чего напугался?

Василий Сергеевич махнул рукой и пошел с нами домой. Но, остановившись у крыльца дома, подняв палец, он сказал:

— Вот что, знаете, Константин Алексеевич, это в последний раз... Больше моей ноги у вас не будет. Пусть все будут свидетели. А ты чего ржешь, мятные капли? — внезапно накинулся он на Ивана Ивановича.

Приятели рассмеялись.

— Это Ленька пугал, — сказал Феокист. — Повеселить хотел. Масленица...

— Скажите вашему Леньке, что я ему уши оборву!.. Да-с!

* * *

Василий Сергеевич проснулся мрачный. Но, кушая блины с икрой и рыжиками, отошел и стал смеяться.

— Непонятно, почему ночью, когда эта метла плясала под окном, было все же как-то страшно. А днем и не поверишь — чего испугался.

— Это чего... — сказала тетенька Афросинья. — А у нас дьячок напугался: полотенце на кольце висело. Так он всю ночь на брюхе пролежал — взглянуть боялся. Думал — упокойник. В темени ночной все страшнее...

Волшебный стол

В одном московском клубе, в обеденном зале наверху, стоял в уголке у окна столик.

На чистой скатерти — четыре прибора. На приборах лежали винные стаканы.

Это значило, что стол занят, и каждый обед его занимали одни и те же четыре персоны. Персоны являлись всегда в семь часов к обеду, мрачные и скучные.

Их встречал метрдотель, прозванный почему-то «профессор». Он был в очках и похож на интеллигента. И слуга, расторопный, худой и серьезный, — Яшка.

Другие столы в этом зале стояли подальше, потому что столик на четыре персоны был несколько шумлив и назывался «волшебный стол».

За «волшебный стол» приходили обедать всегда: московский художник Пукирев; московский домовладелец, служащий в опекунском совете; Митрошкин — сердитый брюнет с большой проседью и голубыми глазами, кандидат прав Московского университета; блондин с добродушным лицом, из себя полный, и спокойный, высокого роста, неизвестного происхождения; молодой человек по фамилии Всезнаев. Все москвичи.

Метрдотель, во фраке, встречал гостей, кланяясь и почтительно улыбаясь, а сам говорил Яшке:

— Когда закусывают, скорей водку убирай, а то бы драки не вышло. Ежели ругать тебя будут — мне скажи.

Яшка как только нальет по рюмке к закуске, то убирает графин. Его сейчас же начинают ругать.

Метрдотель сам несет к столу тарелки со стерляжьей ухой и ласково говорит:

— Пикеле у Омона-с поет так — всю душу отдашь. Вчера немножко послушать пришлось...

— Пересолили, — кушая уху, сказал всегда сердитый домовладелец, отклонил в сторону ложку и капризно отставил тарелку.

— Маркиза Мантериза де ля Тиза, — обронил в пространство художник.

Домовладелец нервно снова подвинул к себе тарелку и стал ложкой выбирать кусочки стерляди, запивая белым вином.

— Это кто ж такая маркиза? — спросил Всезнаев.

— Да вот вчера иду по Кузнецкому Мосту, а навстречу Николай, и с ним — в большой шляпе женщина лет восемнадцати, красота — прямо ослепляет... Он останавливается, смотрит на меня через пенсне и сюсюкает: «Позволь тебя представить моей невесте».

Домовладелец уронил ложку в тарелку и, обернувшись к художнику и сверкая гневно глазами, резко крикнул:

— Вздор! Опять вздор!

— Нет, не вздор, — сказал спокойно художник. — Это уже которая. И все красавицы. Николай — загадочная личность. Везет. Непонятно, а везет. Недавно была у него Леля, шестнадцати лет, — красавица, потом Анфиса — блондинка, ротик маленький, пунцовый, глаза как васильки, молоденькая...

— Довольно! — уже в совершенном бешенстве закричал домовладелец. — Вздор.

— Нет, не вздор, — спокойно продолжал художник. — Я сам не могу понять, в чем здесь дело. Худой, согнутый, близорук, маленькие черненькие глазки, не брит, сюсюкает, а вот — успех!

— Да, удивительно... — соглашается кандидат прав. — А впрочем, он человек университетский, притом — музыкант, столбовой дворянин.

— «Столбовой дворянин»! — вскочив из-за стола и бросив салфетку, закричал домовладелец. — Кто столбовой дворянин? Он — столбовой дворянин? Не ври, слышишь ли, не ври, в последний раз тебе прощаю! Я отца знаю — разночинец, сухарь, чинуша выгнанный... И откуда ты все это берешь?

Не в меру огорченный домовладелец снова сел за стол и выпил с досады залпом стакан вина.

Метрдотель подал гуся и, улыбаясь, сказал:

— Пикеле, мамзель, очень хороша. За ужином за ней вертел Николай Василич. И чего в нем? Я за столом служил, так он с ней по-французски «ля-ля-ля-ля...». Провожать ее поехал.

— Что такое? — взвизгнул домовладелец. — Молчать! Тебя не спрашивают! Что это такое, право? Распущенность!..

— Ну вот, — говорит художник, — вот вы сами видите, каков Николай. Непонятно. А денег у него ни гроша.

— Непонятно, — сказал Всезнаев. — Метрдотель врет. Пикеле приехала — завтра две недели. В среду мы ужинали у «Яра» с фабрикантом Петрушиным, так на ней каратики... вот каратики, вам не поддудить.

— И тебе! — обернулся он к домовладельцу.

— А Николай, — сказал художник, — тут как тут! провожает...

— Врет! врет! все врет! — заорал домовладелец и, уронив на пол тарелку с гусем, торопливо направился к выходу.

* * *

На другой день приятели снова собрались за «волшебным столом».

— К весне идет. Погода хороша... — сказал круглолицый кандидат прав. — Утром за Тверской заставой ехал я на извозчике от Корзинкина. Обгоняет меня пара в коляске. Смотрю — Николай Василич, и с ним брюнеточка — шляпка — элганс... Думаю — Пикеле. Не иначе, что Пикеле.

— Значит, маркизу бросил, — серьезно заметил художник. — Ах этот Колька.

Домовладелец молчал, взял в руки бутылку, налил себе вина и выпил.

И вдруг ни с того ни с сего, сверкая глазами, сказал:

— Дураки. Не верю. Музыкантишка. Кто он? Фанфарон!.. Разночинец!

— Вот то-то и дело, — сказал спокойно художник, — в чем тут тайна? Особая психология или природный Дон-Жуан? Он и похож немножко на испанца — нос крючком.

— «На испанца»! «Дон-Жуан»! — качая головой, презрительно сказал домовладелец. — А еще художник. Приказчик он из ножовой линии. Вчера я справлялся — университета не кончил. Никакой не дворянин — самозванец. Пятьдесят лет ему. Чахоточный.

Он вдруг вскочил и в исступлении крикнул:

— И вообще, довольно. Встречу — морду ему набыю. Этим кончится...

И расшиб об пол свой стакан.

«Опять шумит волшебный стол», — говорили другие посетители за соседними столами.

К столу подошел старшина и укоризненно обратился к обедающим:

— Простите, посетители просят не так громко беседовать. Оркестр играет — дирижер пугается...

Опять сидели приятели за столом, обедали, выпивали.

Когда подали утку с груздями, художник, отпив из бокала бургонского, как бы в пространство, сказал:

— Баронесса фон дер Шпецберг...

— Это что еще? — спросили приятели.

— Да вот, — сказал художник, вынимая из кармана большой конверт, — меня шафером приглашают.

— Как, к кому? — заинтересовались приятели.

— Николай женится. Венская графиня. Знаменитость. Писательница. Он познакомил меня. Красавица. Порода... Глаз с него не спускает, влюблена как кошка. В глаза смотрит, волосы ему на голове все поправляет. Мне говорила: «Только он один меня понял...» Богатая женщина.

— Дай сюда, — сказал домовладелец.

Он вырвал конверт из рук художника, вынул из конверта блестящую бумажку с золотой каймой, прочел и с бешенством бросил на стол:

— Безобразия! Позор! Не позволю!

— Как не позволишь? — спросил художник. — Сердит, да не силен. Да чего ты все седишься, тебе-то что?

— Не позволю! — кричал в исступлении домовладелец. — Я донесу. Он женат, опеку наложим...

— Ну, это еще неизвестно, — сказал спокойно художник. — Он за границей женится, где-нибудь в Монте-Карло. Там ведь церковный брак не признается. Да я видел его паспорт — там написано «холостой».

— Врешь, — кричал домовладелец. — Уголовщина. Я разберу. Не позволю. Опека...

И, выскочив из-за стола, — загрохотала вся посуда, — ни на кого не глядя, пустился к дверям...

Утром художник лежал в постели в своей мастерской. Напротив сидел его приятель — кандидат прав.

Художник, смеясь, говорил:

— А хорошо я его поддел?.. Немножко дорогонько только: приглашение на свадьбу шафером к баронессе стоило двадцать пять рублей!

Ребяческая, дурашливая жизнь...

Да были ли в самом деле когда-нибудь эти четыре московские чудака и их поставленный в отдалении «волшебный стол»?

Недоразумение

Я долго хворал и не выходил. Доктор говорит:

— С правой стороны у вас уплотненьице в легком, выходить нельзя. Небольшая температура.

Тоска. Ночью не спится. Почитаешь газету — еще хуже. Получил письмо. Читает его мне мой приятель Коля Петушков:

Многоуважаемый и дорогой. Я еще из Москвы помню вас. Помню, восхищался картинами, и была у меня ваша картина “Розы в Крыму” — синее море и розы. А по морю несется парус одинокий. Мятежный, ищет бури. Ну, я в самую бурю и уехал. А теперь — ура — вы писатель. И мы все читаем — как вы описываете природу, охоту, тетушку Афросинью... А я охотник. И вот что — если у вас в воскресенье есть свободный денек, приходите ко мне отдохнуть. Буду рад; расскажу вам про охоту, и я уверен, что вы все опишете. В убытке не будете. Все мы — я, жена и две дочери мои взрослые, будем вам рады. Посажу вас на диване, дочери мои музыкантши: одна на рояле, другая на скрипке. Послушаете — утешитесь. Забудем, что мы в изгнании, и будете себя чувствовать как в Москве.

Прочитав мне это письмо, мой приятель Коля Петушков, тоже москвич, сказал: — Вот хороший человек тебе пишет. Видно, что москвич. Широкая душа. Надо, знаешь, ответить. Живет как раз на той же улице, где и я. Здесь, у Порт Сен-Клу.

— Ну что писать, — говорю я, — раз поблизости, зайди. Скажи, что я болен, а если к весне поправлюсь — зайду.

— Ну что ж, хорошо, — согласился приятель, — зайду. Пойду, дочери-то у него здесь кончили консерваторию. Я-то ведь музыкант. Может быть, послушаю, как играют.

— Вот и хорошо, — соглашаюсь я.

* * *

Через неделю пришел опять меня навестить мой приятель Коля Петушков, и между прочим поведал мне, что был он у этого москвича, и вышла такая история, что он и не знает, как мне ее объяснить:

— Иду это я и вижу — № 31... Постой. Тридцать первый — это тот самый, где живет этот москвич, который писал тебе письмо. Думаю — дай зайду. Скажу, что ты болен. Неловко как-то — уж половина восьмого — обед.

Поднялся по лифту — звоню. Отворяет дверь полный человек. Говорю:

— Вот письмо ваше, вы писали Коровину...

— Дорогой! — закричал полный человек. — Дети! Вот он!

Показались девицы, жена, гости.

— Вот он!

И, схватив меня за шею, стал обнимать и целовать, говоря:

— Вот пришел, вот утеха, вот он — двойной талант. Россия дышит. Читаем, дорогой, читаем. Рады, пришел. Раздевайте его.

Дочери, ласково улыбаясь, стягивали с меня пальто.

— Вот, позвольте, должен вам сказать, объяснить, что болен...

— Раздевайтесь, раздевайтесь, мы вас вылечим, — кричат кругом.

И какой-то веселый гость тащит меня за руку в столовую.

— У нас разговоры короткие... Алексей Константинович сейчас специальную достанет бутылку. Секретная. Вино первый сорт. Реймс. Старая бутылка. Покоряйтесь, дорогой, а то обидите.

Полон стол. Чего только нет: пироги, пулярки, икра. И гости за столом.

— Вот приехал, — грохочет хозяин, — вот он!

— А вот и бутылка, — показывает он, — берег...

— Позвольте вам объяснить... — пытаюсь вставить слово.

— После, после. Вот он написал — была у него собака Феб. У меня тоже: был Феб. От Томов — английские собаки. Так когда я читал, как хоронили собаку, Наташа плакала, — он показал на жену.

Наташа встала и подала мне руку. Очень почтенная особа. Я поцеловал у нее руку.

Выпив рюмку водки, хозяин мне налил другую и возгласил:

— Надо равняться, потому Наташа именинница, и как хорошо, что пришли.

Хлопнув пробкой из бутылки, он налил всем вина и сказал гостям:

— Должен сказать, что не только он художник и писатель русский, но еще человек, который уважает москвичей. Знает календарь. Наталья именинница, вот чем уважил — пришел.

И опять хлопнула пробка, и опять полилось вино.

— Говорили — старик. Совсем не старик, — он показал на меня гостям, — моих лет.

— Позвольте, — говорю, — дело в том...

— Бросьте, — говорит хозяин, — вам шестьдесят есть?

— Мне пятьдесят четыре...

— А мне шестьдесят стукнет, — говорит хозяин, — разница небольшая. Вы садитесь к ней и кушайте, — показал он на жену. — Вот, попробуйте, карп замечательный. Версальский. Знай, Наташа, ведь он рыболов. Мы с вами поедем ловить карпов. Хотя я не рыболов, я охотник. Когда читаю про охоту — плачу. И она плачет.

— Правда, — сказала хозяйка, — хоть вы и веселое пишете, а я плачу. Вспоминаешь нашу Россию.

Ем я карпа, а сам думаю: как быть? За тебя принимают. А они все подливают. Говорю ему:

— Вот я попал в неопределенное положение.

— Наплевать, — говорит хозяин, наливая. — Мы все в неопределенном положении. Вы пейте. День прошел, и хорошо. Чувство, чувство надо. А вы-то кто? Вы человек чувства. Выпьем за чувство.

— И я пью за чувство, — воскликнула хозяйка, и на глазах ее показались слезы.

...И каждый гость нам послан Богом... —

запел какой-то брюнет. Все подхватили.

— «Чарочку!» — закричали кругом.

Запели «Чарочку», а дочери и их подружки подносили каждому чарочку. И мне. Пели:

Выпьем мы за Костю. Костю дорого...

— Позвольте, — сказал я растерянно, выпивая чарочку.

Пей до дна, пей до дна... —

пели вокруг меня.

И тут я почувствовал, что я «ура-авнялся», и подумал, что теперь уж ничего не объяснишь. Уж надо держаться до конца. Хорошо, что никто не знает. Все больше молодежь. Раздались звуки рояля и скрипки.

— Позвольте, — говорю я, — ведь это в миноре, а не в мажоре, дизезов не надо, — и я, забыв свою роль, сел за рояль.

— Что за черт! — крикнул хозяин, — он еще и музыкант!

Вдруг я слышу, сзади меня кто-то говорит:

— Это не Коровин! Коровин — старик. Это не Коровин.

— Как — не Коровин? Ты всегда делаешь истории. Всегда все портишь. Надое-ло! — отмахнулся хозяин...

— Скандал, — подумал я, — скандал. Пора домой.

Встал из-за рояля, отозвал хозяина в другую комнату и говорю ему:

— Я ведь нездоров. Мне пить нельзя. Я должен уходить, а то буду завтра болен.

— Вздор! Ничего не будет, потому — радость. Начало всех болезней — тоска. Это мне сказал великий Потэн. Вино необходимо здесь. Климат! Понимаете? Климат! Разлагает сталь. А вино — иммунитет. Понимаете?

Он потащил меня опять к столу пить.

— Доведем, — говорит хозяин, — не бойся. Понимаешь, дорогой, ты не думай. Тут брат, есть такие... — и он как-то мигнул глазом, — которые против тебя. Вот он, — показал он в сторону. — Он такой, знаешь, сомневается.

Я, прощаясь, одевался в прихожей. Уже светало. Все провожали.

Спускаясь по лестнице, я остановился и крикнул, что я не Коровин, что ты лежишь больной и выбежал на улицу.

— Вот попал в какой переплет, и все из-за тебя, — закончил приятель, — положение мое ведь было пиковое, подумай!

— Пиковое? Почему пиковое? Тебя угощали, пил хорошее вино, веселился...

— Да, вино. Ну, а если б узнали? Неизвестно, что бы было. Хорошо веселье! Тебе что! Пишешь разную ерунду, а я должен страдать.

Масленица

И на Волге, и в захолустных деревнях, и городишках провинции, где я бывал, — везде я видел Масленицу — широкую русскую Масленицу. И прекрасно пел своим поразительным тембром Шаляпин во «Вражьей силе»:

Широкая масленица...

Все на Масленице ели блины со сметками, рыбой соленой, балыком, тешкой, семгой, белорыбницей, икрой паюсной, салфеточной, зернистой, осетровой и белужьей.

Помню, ел я блины в Боголюбове Владимирской губернии, в маленькой избе у деда Игната, добродушного старика, — такие блины, из гречневой муки, со щучьей свежей икрой — в нее накрошен зеленый лук и посолена она щепотью. А щуки икорные нами же с ним пойманы. Таких блинов никто и не ел.

Московский торговый люд пек, ел блины на Масленной до отвалу. К долгому посту готовился.

Посылали блины и в тюрьмы несчастеньким — вора, разбойникам, их жалеючи.

Василий Макарыч объелся блинами.

— Положите меня, — стонет, — к окошку на весеннее солнышко, может, получится. Вот вы не менее меня, — говорит больной гостям, — блинами напихались, видать, здоровье во мне малое. Ох, как неможется. Пошлите за отцом Аполлиналирием. Брюхо стало чисто деревянное...

Свекровь растирает ему живот теплым маслом из лампы, а гости-приятели говорят:

— Потому захворал, что ешь неправильно, ты прямо зря на них накинудся. Блин надо водкой, квасом прокладывать. А ты говоришь — «я пью мало смолоду...». Блин без водки тоскует, потому, говорит, едят меня не по-русски, без разума. Был у нас такой механик на заводе терочном, кто его знает, — веры не здешней он, — так на двенадцатом блине что с ним доктора ни делали, — взял и очокурился...

Пришел отец Аполлиналирий, и позвали фельдшера. Фельдшер пришел навеселе.

— Не бойся, — говорит, — Василий Макарович.

— Подайте мне валец и скалку, пожалуйста. Сейчас вылечу.

И начал он Василию Макарычу брюхо скалкой укатывать, валиком похлопывать и перцовой водочкой потчевать. Василий Макарыч заводил глаза на небо и орал благим матом. А тот все катает да катает без устали. Пьет водку и больного подбадривает.

— Отхожу... — говорит больной. — Помилуйте, лучше помереть, чем мучение этакое...

— Ну, теперь, — говорит фельдшер, отваливаясь, — поправишься. Дай, — говорит, — маслица из лампадочки, свекровьюшка. Надо ему в нутро дать для облегчения.

Как выпил Василий Макарыч маслица лампадного, так откуда сила взялась: чисто заяц в окно выпрыгнул.

Все гости растерялись и пустились бежать за ним вдогон. Но поймать его не удалось.

Пришел домой Василий Макарыч, когда солнце закатилось, и, смеясь, говорит гостям:

— Эко дело со мной случилось. Ну и фельдшер — умственный доктор. Скалкой катал... И в таком нахожусь я облегчении, есть опять хочется и опять все до невозможности на блины тянет...

Москва. К вечеру в окно видно, как на потухающей заре темнеет вдали силуэт Сухаревой башни. И стаи галок с криком носятся в воздухе, то поднимаясь, то опускаясь, кучей садятся на кресты и купола церкви Троицы на Капельке.

Сидят приятели за столом. А из кухни Василий Князев приносит горячие блины. В коридоре звонок, и Василий бежит отворять дверь. Радость: пришел Василий Сергеевич. Лицо красное, серьезное.

— Садись, — говорим, — блины горячие...

— Ну нет... довольно. Я и так насилу приехал. Меня и так изжога мучает. Василий, нет ли порошку соды?

— Ну садись, — увещеваем, — полно, съешь блиночек.

— Знаешь, я просто не могу смотреть на блины. Объялся. Я и сюда ушел, думаю — про охоту поговорим, а тут опять блины! Смотреть противно. Обжорство! У меня до самого горла, — показал он на живот, — как огонь горит, будто расплавленного олова налили...

Он с ненавистью посмотрел на доктора, Ивана Ивановича.

— Смотрите, я жалею, а Иван Иванович — доктор, а молчит. Хорош приятель. Молчит. Потому он — клинический врач. Важность наводит. Не скажет: Василий, сходи в аптеку, принеси лекарства и выпей. Нет! Расспрашивай его, кланяйся ему, проси! Он выслушивать будет, стучать по животу молоточком. А нет того — Масленица, ясно, тысячи народа объедаются блинами. Лекарство должно быть готово — бери и принимай. Нет, значит, лекарства такого не существует, наука не доехала...

— А может, лекарство есть, да за визиты тянуть хочет? — сказал Юрий Сергеевич. Иван Иванович продолжал невозмутимо есть блины с зернистой икрой и, посмотрев на меня, сказал:

— Как у вас Люция блины-то делает!.. Объединение!

Василий принес в коробке соду.

Василий Сергеевич, искоса поглядывая на Ивана Ивановича, взял соду, зачерпнул чайной ложкой и высыпал в стакан.

Иван Иванович делал вид, что не замечает его приготовлений.

— Сколько надо соды-то класть? — спросил Василий Сергеевич.

Иван Иванович молчал.

— Хорош господинчик... Видите, молчит... Доктор! А ты знаешь, что по закону не имеешь права молчать?

— А ты знаешь, — в тон ему ответил Иван Иванович, — что закон-то с дураками сам не знает, что делать?

— Слышите? — сердился Василий Сергеевич.

— Иван Иванович, — говорю я, — что же ты, помоги ему.

Иван Иванович нехотя встал из-за стола и, проходя в другую комнату, презрительно бросил, посмотрев на Василия Сергеевича:

— Идем!

* * *

В соседней комнате, положив на диван Василия Сергеевича, Иван Иванович велел ему расстегнуться. Стучал по животу, мял. Достали у меня в дорожной аптечке какое-то лекарство. Иван Иванович вылил весь пузырек в рюмку с водкой и велел выпить.

Василий Сергеевич выпил залпом. И глаза у него завертелись, как колеса.

— Ух, черт! — ахнул он. — Что это такое?

— Возьми-ка сахару, а то это действительно неприятно...

— А ведь знаете что, — через несколько времени сказал Василий Сергеевич, — и впрямь прошло. Хоть опять за блины принимайся.

— Ну нет, этого нельзя, — сказал Иван Иванович. — Ты наливку, наверно, пил?

— Да, вишневку, — сознался Вася.

— Ну, ты это брось.

— Эх, в деревню поехали бы, — сказал Василий Княжев, — там слева от моста, под горой, где ольшаник опускается, омутина глубокая. И сомина там живет здоров.

Живет в этакой стуже подо льдом. Я его летом видал разок. В Ильин день. Гроза была. Так он поверху плавал. Грозу любит. Более сажени. Черт чертом. Толстый. Усищи. И по хвосту черная лента. Он так и качает ею, хвостом вертит. Блинов он не ест. А вот ежели ему этого поросенка на крюке в прурубь пустить, так наш будет.

— Это верно, — согласился охотник Караулов. — В деревне хорошо. Интересно. Василий прав.

— Я бы дня в городе не жил, — сказал Василий, — ежели бы при капитале был.

— Вот как река тронется, как вы хотите, а я поеду к вам, — сказал Василий Сергеевич.

— Полно, Вася, полно, — сказал Караулов. — Вспомни, как ты давал честное слово, что твоей ноги не будет там. Забыл ты «метлу», «монашину», «водяного». Забыл ты, сколько чертовы-то там...

— Чертова! — сказал Василий Княжев. — А здесь ни чертовы, до чего, ни радости — кружение одно...

Масленица

Помню, в молодости у нас в Владимирской губернии называлась Масленица — «блинница с гор вода». Масленица-мокрохвостка.

Помню, вечером, когда я строил себе дом и жил в деревне, пришли ко мне девушки, полные, румяные.

— Пойдем, — говорят, — Лисеич, Масленицу жечь. Пойдем гнать ее со двора.

С края леса, на оттаившей луговине, у берега речки, был сложен огромный стог сена, хвороста, и около стояла толпа молодежи, крестьян, парней и девушек. Когда мы подошли, парни поджигали стог, и вскоре его охватило пламя.

В пламя бросили чучело, лицо которого было сделано из березовой коры. Борода из мочала, надета старая шапка, рваный грязный тулуп с растопыренными рукавами.

Когда бросили в костер чучело, то парни взяли за руки девушек. Образовался хоровод вокруг горевшего стога. Хоровод кружился вокруг пламени, и запевала пел:

Прощай, прощай,
Прощай, Масленица.
Масленица-мокрохвостка, —

подхватил хор, —

Поезжай в Ростов.
Гони, гони, гони Масленицу.

Так какое-то языческое сказание прогоняло Масленицу на юг.

Придет лето ясное
В дни повадные
И игры раздольные.
Весна-красна, гони Масленицу!

«Вот откуда, — думал я, — Островский взял свою “Снегурочку”».

И далеко на горе было видно в синем вечернем сумраке, как на бугре, в деревне Любинской, тоже горело пламя Масленицы.

А какая красота была разлита в весенней ночи! Пахло лесом, рекой. И таинственно в прозрачном, весеннем небе блестел острый рог месяца. Веселые лица крестьян и кружевные ветви деревьев ярко светились на глубине зеленого неба. Какая несказанная симфония русского края! Таинственностью входило в меня, восторгая мою душу.

Силуэты деревни на горе уходили во мрак ночи. И в лужах около леса отражался огонь. В канавах и оврагах у леса лежали еще снега.

Когда я вернулся в избу крестьянина Елычева, он, смеясь, сказал:

— Ну, прогнали, знать, Масленицу?

— Да, прогнали. Скажи, — говорю, — Димитрий Петрович, зачем это Масленицу-то гоните?

— А как же, кажинная деревня гонит, ежели не гнать, заметно исстари, мороз держаться будет. Осими захватят. Замет: прогонят — завтра теплота начнется. И лето урожайное будет.

— А у нас под Москвой нет, не жгут Масленицу.

— Ведь там у вас нешто крестьянство? Голь! Городские. Пригороды работишкой живут. Шмандруют.

— Что такое? — удивился я.

— Да что пропойцы. На шермака живут. Машина вот прошла, тоже и у нас крепости меньше стало. Тоже пьют, папиросы курят. Я помню молодым-то себя. Строго было. Помню, парнишкой я был, вот как ты, охотник к нам приехал да папирос-то мне и дал. Я и закурил в холодной, да закашлялся, отец-то увидал, хворостину-то и вырезал. Так вот драл меня, вот драл: «Вот тебе папироса, вот тебе табак!» И мать драла. Так что же, и младшая сестра драла. Охотник-то заступился за меня: «Как вы смеете, живодеры», — говорит. Ругает отца-то. А тот-то и его повалил да драть. Все дерут, и мне велели. Тот орет. Кричит: «Я вас всех в Сибирь сошлю», а оно верно, что начальник какой-то был. К старшине поехал. Отец, помню, напугался. К старшине пошел узнать. А старшина-то смеется.

— Он верно, — говорит, — что начальник, только ему жалиться нельзя, что его пороли, потому странно.

К столу подавали блины масляные. Грузди, рыжики в сметане. Икру щучью. В первый раз, я помню, ел щучью икру. И нет лучше щучьей икры. А блины гречневые со свежей сметаной!

Наутро был солнечный день. Светились серые, оголенные леса. И, как сторожа среди седого мелколесья, стояли темно-зеленые ели.

И на ветвях оголенного леса сидели черными пятнами тетерева.

Я схватил ружье и побежал к реке. Не было места.

А по ту сторону в лесу тетерева всё сидели. Сбоку у бережка я увидал челнок.

Только я прыгнул в челн, как он ушел в воду. Окунулся я. Холодно. Весь мокрый, я пробежал в избу. Переодеваясь, жаловался:

— Тетерева-то сидят, — говорю, — на той стороне. Подойти нельзя.

Надел тулуп и залез на печку греться. А дочь Елычева говорит:

— Тетеревь к вечеру, к лесу, здесь на озимые прилетает. И много.

— Я пойду, — говорю.

— Не боишься? — говорит Анна.

— А чего бояться?

— Дом ты строишь прямо в лесу. Мы думаем, как ты жить-то будешь?

— А что же? — говорю я.

— Как — что? Лесовик тебя одолеет. Неужто один жить будешь?

— Нет, — говорю я, — Анка, женюсь.

— Ишь ты! На ком?

— Да на тебе, — сказал я.

Анка, покраснев, встала из за стола.

— Куда ты? Не пойдешь за меня замуж? Блины будешь мне печь. Умеешь блины-то печь?

— Умею, — сказала тихо Анка, — только за тебя не пойду.

— Отчего?

— Да кто тебя знает, в лесу жить хочешь пошто? Может быть, ты на разбойное дело идешь?

— Что ты, — говорю, — Анка, что ты!

— Не стану в лесу с тобой жить нипочем. Страшно. Ты меня в лесу-то загубишь. Тоска съест. К тебе в лес-то никто и не придет. Гости не приедут. Никто за тебя не пойдет. Родные не отдадут. Жил бы на горе, а то тебя в лес тянет, чисто волк. У нас по зиме-то волки воют, а ты там дом строишь. Живи на горе. Не пойду за тебя.

И Анка ушла.

Я подумал — вот так история... А правда, что это меня с детства в лес тянет? Действительно, верно, никто за меня не пойдет. Нет такой женщины, которая стала бы жить со мной в лесу здесь. Не любят они. Правда, глухое место. «Ну и шут с ними», — подумал я про себя.

И правда, вышло так, как говорила Анка. Когда выстроил дом, приезжали ко мне друзья-охотники, а женщинам не нравилось. И стали они мне казаться чужими.

Приехал ко мне приятель с женой на охоту. Жена была недовольна.

— Что это, — говорила, — за дача? Картины вы пишете, болото, туман, скучная дорога, сарай разваленный. Кому это нужно? Жили бы в Пушкине, там круг, музыка играет, танцы, дачи, веселье, картины, цветы... А у вас? Седые ели кругом, тоска. И что здесь хорошего, — удивлялась жена приятеля, — мужичье неотесанное. Я за-снуть здесь не могу от тоски.

Мой приятель, супруг, вздумал заступиться за меня. Жена строго на него посмотрела, сказала мужу:

— Ну нет, ты еще что! Я не могу дышать здесь. Смотри, дождик идет. Ну что делать здесь? Тут завоешь у вас. В какую даль уехали. Никто же не живет так. Вы особенный человек. Вам нравится все дикое.

И она, наскоро собрав чемодан, заказала в деревне подводу и увезла приятеля-мужа. Уехала в большом гневе на меня.

— Понимаешь ли, — говорил мне муж в Москве, — жена терпеть тебя не может. Ей дачи нравятся — Тарасовка, Пушкино, круг, музыка, танцы, знакомства разные. Она не любит этой нашей охоты, рыбной ловли. Не понимает этой красоты природы. Она говорит, что у тебя дорожки песком не посыпаны и соседей нет. И ехать к тебе меня не пускает: «Ты с ним не знайся, дурак дураком сделаешься».

И другой приехал ко мне приятель, тоже с женой, так та уехала через полчаса.
«Вот так история, — подумал я, — что за чертовщина. В какой красоте живу я, что я, другой человек, что ли?»

А в Москве эти жены говорили:

— У него в банках шиповник на столе, и он доволен. Подумаешь, какие розы. Я ему говорила, в Баден-Бадене дивные розы, а он, представьте, «я не люблю ваших Баден-Баденов, у меня лучше. Река, — говорит, — у меня какая, вода кристальная». Подумаешь — речонка. А я его спросила: «А вы были на Эльбе, видели Рейн?» — «Видел, — говорит, — видел, только у меня лучше». И что всего возмутительней, муж ему поддакивает. Но я ему покажу. Я за границу зову мужа, а он отлынивает, едет к нему на охоту. Вот встретишь такого господина — несчастье! Семейную жизнь разбивает. Мне говорили, что он тонул там, — жаль, что вытащили, откачали. А мой дурак опять норовит к нему поехать, «тяга» какая-то у них там. Пичужек стреляют. «Купи, — говорю, — в Охотном ряду», так нет — сам едет мучиться. Приезжает с охоты, язык высуня, устал. Просто наваждение какое-то...

В Великом посту

Ровно и протяжно гудит колокол на колокольне в Кремле:

К нам, к нам, к нам...

Покаянный звон.

Пост Великий.

На Балчуге, у Москворецкого моста, — Грибной рынок.

Огромная толпа, серая и пестрая, — деревенские торговцы. Лохматые лошаденки привезли из деревни на санках бочки с грибами, капусту, огурцы. Мужики, бабы, тулупы, цветные платки отражаются в лужах мостовой.

Москва-река набухла, в полыньях. Горит на весеннем солнце пестрая толпа.

Пахнет весной, кислой капустой, квасом, пряниками медовыми. Пьют сбитень с имбирем. Грешники горячие в масле, а за «шпитательным» домом видна голубая даль.

Весна, весна! Солнце радостью светит! И блещут церкви московские золотыми маковками.

И так радостно в душе.

А на столе — черный хлеб, грузди, рыжики, волвянки, кочанная капуста с постным маслом хрустит на зубах.

— Ешь потише — пост держишь.

А колокол медленно звонит:

К нам, к нам...

— Берегись!.. — кричит толстый кучер, — и проезжает на вороных.

— Бахрушин говеть поехал... — говорит кто-то. — Миллионщик!

— Чего «миллионщик», все равно помрет. На кой? С собой туды не возьмешь...

Весна! Как-то не думаешь про «туда». В весне — жизнь живая. Не думаешь о смерти.

А Василий Княжев, рыболов — мой слуга и приятель, — показывает мне бамбуковые удилища и говорит:

— Гляньте-ка, погиб-то какой. Эх, водить-то рыбину хорошо. Недели через две на Сенеже жор щучий будет. В пуд щучину сдержит.

И видится мне озеро Сенеж, Олений Остров, зеленые камыши, просохшая дорога. Озеро большое. Радостное, весеннее утро, приятель Андрей Иванович Бартенев, поплавки из лебединых перьев, ровная поверхность озера. И так хочется уйти из Москвы в ту даль весеннюю, голубую, на простор — на озеро.

— Василий, где у меня охотничьи сапоги?

— Сейчас погляжу.

Василий из чулана вытаскивает рыжие грязные сапоги.

— Ишь ты, — говорю, — грязные, сухие... Эх, Ленька не вычистил. Высохли все.

— Ему неколи, — говорит Княжев, недолюбливающий Леньку. — Он ведь на гитаре все «Пташечку» учит. Всю зиму с гитарой занимается, а не может одолеть. И-и...их, когда вас дома нет, все время на гитаре, поет: «Спрятался месяц за тучку, дайте же мне вашу ручку...» Молодой, в охоте, девье в глазах-то вертится. Помню, без вас: звонок, а пришел Федор Иванович. Ведь это кто? Царь прямо. Спрашивает:

— Василий, это кто там поет?

— Ленька.

— Ах, сукин сын, — говорит, — и ушел.

— Василий, у Боголюбова, где река Нерль в Клязьму входит, — место хорошо. Вот лед пройдет — поедем туда. Сомы там в восемь пудов есть. Вот бы поймать.

— Что же, можно. На жареного воробья надо ставить али утку. Только одно опасно: этакий-то чертила утопит, ежели с лодки. Меня на Новенькой мельнице этакий-то топил... За ногу ухватил, так я за ольшину, за сучья ухватился, а то бы... А мельник, Николай Осипович, говорил: «Это не сом, а водяной. Он у меня здесь житель, под кожухом». Вот я этому не верю, а хоша видал разок, на Голубихе, ночью... Помните, там, у кожуха, где судаков пымали. В камышах девку я видел ночью. Хороша! Месяц светит, а она плещется. Я напугался. Один ведь! Сказал: «Свят, свят» — она и пропала.

— На кой ты черт ей нужен, подумаешь, красавец какой! — сказал приятель мой Василий Сергеевич. — А ты говеешь?

— Говею, — ответил Василий.

— А водяных вспоминаешь. У тебя в голове-то нечисть. Скажи-ка попу — водяного видел, так он тебе покажет...

— Чего покажет? — отвечает Василий. — Ничего не покажет. Шел я исповедаться; ну, значит, дожидаясь, черед ведь на Страстной. Много нас. Ну, как пришел, он, значит, голову-то накрыл, спрашивает: «Пьешь, ударяешься в пьянство?» Я думаю: «Ишь ты, знает... Сказал, знать, кто». Боле ничего не спрашивал. «Ступай», — говорит.

— Что же ему говорить? Ведь и так видно каждому, что ты пьешь.

— Что ж, пью! Велик грех, что ли? И курица пьет. Вы тоже пьете.

— Ну нет, в посту-то я хочу бросить пить, — сказал Василий Сергеевич.

— Я всегда в Боголюбове, на родине, говею. В монастыре. Ох, строги монахи. Помню, попал на одного. Он меня по требнику... «Блудишь?» — спрашивает. «Ниче-

го подобного», — отвечаю. «Любостязатель?» — «Ничего подобного». — «Завиствуйешь?» — «Никому не завидую». — «Чревоугодник?» — «Ничего подобного», — говорю. Что ни спросит — не согласен. Он смотрит на меня: «Ты, знать, не праведник ли, — говорит, — будешь? Ну, говори, в чем грешен». А я растерялся и не знаю, что сказать. «Ну ладно, ступай, праведник, а то у меня черед большой».

Вот теперь тоже поеду. Каждый день думаю о грехах, никак придумать не могу. Говорю жене: «Ольга, напомни грехи, что сказать попу — не знаю». А она: «Колбасу-то копченую ты ел в посту, в «Яр» ездил к Соловальникову?» — «А я ездил деньги с него получать». — «Пьян приехал?» А как вы от него трезвый придете... Не пей — он денег не заплатит. Я тут ни при чем... «А к Матрене приставал?» — «Ничего подобного, она сама ко мне приставала».

В прошлом посту тоже ездил в Боголюбово говеть. Монастырь. Страстная неделя. Я-то говею, а уж река Нерля прошла, весна, удочки расставил. Со мной пристав отставной тоже ловит. Ну, и Ольга со мной. Смотрю, монах идет тоже на мост рыбу ловить. Лицо хмурое, брови вниз, глаза черные, смотрят так серьезно... У меня поплавок ушел. Я это подсек, смотрю — здорова попалась — налима поймал. Ольга схватила подсачком. Налим — фунтов на шесть. Вот радость! А Ольга-то и говорит: «Уху сделаю». И старика-пристава зовет: «Приходите к нам уху есть». Половили еще немного — пристав леща поймал. Ольга говорит: «Вот и жареное с кашей, хорош лещ — язык проглотишь...» Ну, значит, у меня уха, лещ. Пристав-то вдовый старик, тоже говеет. Так это выпили по рюмочке, по другой. Спрашиваю: «Собираетесь ко всенощной? У кого завтра в грехах каяться будете?» — «Да вот, — отвечает, — у этого, у Варфолома, что на мост приходил рыбу ловить. Строг очень».

И я к нему попал. Он прямо меня насчет женского пола:

— Говеешь? — спрашивает. — Это кто с тобой на мосту была, веселая такая, на Страстной-то неделе уху хлебать спешит да леща с кашей?.. Чревоугодие!.. В Страстной Четверг?..

Я говорю:

— Жена моя.

— Жена ли? — спрашивает.

— Не жена еще, — говорю, — а венчаться будем на Красной горке.

— То-то... Говеешь ты не всерьезе. И на уху бросается. Сладостоежки! В четверг Страстной росины маковой во рту быть не должно — хлеб да вода. Вот что.

А я и скажи:

— Вы сами рыбу-то ловили...

— Ловил. Так на розговенье. А ежели невеста твоя, то не называется жена. Не жена она тебе. Женой-то не называют невесту. В голове-то у тебя — путаница греховная...

— Вот пробирал — строгий! Потом обошелся, бросил пугать.

Василий усмехнулся и продолжал:

— Приходи, — говорит, — к вечеру на праздник, там за мостом, на Клязьме-реке, — яма глубокая. С бережку, где Нерль-то в Клязьму входит, — там мы с тобой и поудим. Судачков возьмем. Хороши судачки. Ты и невесту захвати. Я пристава позову. Разварного судака сделаем. Ну, и разовеемся! Правильно. А в Четверг-то чревоугодить уху налимым да леща с кашей не надо бы... Ну да Бог простит!..

Красная горка

В Москве, в Сущеве, мой мезонин во дворе полон света весеннего солнца. Радостно зеленеет сад за деревянной конюшней. А в тени, у забора, лежит еще снег. Бузина густо покрылась почками.

Мостовые уж высохли, и стучат колеса проезжающих извозчиков.

На дворе толстый кучер Игнат моет пролетку у конюшни, а дворник Федор лениво смотрит, как тот моет.

— Чего, — говорит Игнат, — каждый день самого в город на Ильинку вожу, а теперь с Ильинки повадился он в Грузины ездить. И там есеныт до полночи сидит, а я не жрамши дожидайся. Понимай, что кралю завел. Видал я ее — хороша. Челка на лбу кудрявая, глаза — чисто площадки горят, а в ушах серьги кольцами, золотые. Провожала его в калитку. Я инда засмеялся. А он сел в пролетку и спрашивает: «Ты чего смеешься?» Я говорю: «Барыня хороша!» Он молчит. А как привез домой, говорит: «Постой». И сам бумажник достал и десятку мне дает. «Справь, — говорит, — себе, Игнат, рубаху голубую». Подобрел. А то, бывало, трешницы месяц не напросишься.

И Игнат смеялся.

— Постой, есеныт, — думаю. Опять заехали в Грузины. Опять дожидаясь не жрамши. Околодочный ко мне подошел.

— Кого, — говорит, — ждешь?

— Никиту Иваныча Сергеева, в Сущеве дом свой.

— Э... — говорит. — Хозяин твой за Фросей шьет. Хороша. Я за ней так и эдак. Вижу, не поддудит. У него капитал есть.

Ну, значит, опять вышел. Садится. Опять меня смех взял.

— Ты чего, — говорит, — смеешься?

— Да вот, — говорю, — околодочный подходил, говорит — хороша барыня здесь живет. Я хотел, говорит, за ней попытать, но куда... Строга больно. А вот твое-то, пожалуй, жалует. Я говорю — куда вам до него... Привез. Он говорит: «Постой!» Вынул бумажник — 25 рублей дает.

— Вот, — говорит, — Игнат, пошли в деревню на праздник... Мою сейчас пролетку и все думаю, как ему это есеныт, еще угодить насчет барыни-то?

— Так чего же, — говорит дворник, — вот пошли Миколку, купи просфору о здравии Никиты да и подавай каждый день. Спросит — от кого это ты? А ты не сразу сказывай, говори — не велено говорить, а потом скажи, что, мол, таить, барин, все от ее — за здравие ваше.

— Умственно придумал, — согласился Игнат. — Пойдем попьем чайку. У меня постный сахар хорош — чисто мармелад.

Выходя от красавицы, садится Никита Иваныч в пролетку и говорит:

— Что ты это мне просфоры-то, нянька говорила, подаешь, Игнат, от кого это?

— Увольте, — говорю, — как сказать, не знаю...

— Чего «увольте», говори, кто о здравии моем радеет так?

— Да ведь от барыни этой, что в Грузинах вас провожает. Только говорить не велено.

— Да что ты? — удивился Никита Иванович. — Понять невозможно, ведь она... не православная. А вот душа-то какая! Вот душа! Игнат, дело у меня на большой сурьез становится — понять надо. Раз обо мне о здравии поминает, так дело к Красной горке подходит. Понял?

— Как не понять! Чего ж еще? — отвечает серьезно Игнат.

Привез Игнат Сергеева домой в три часа утра. Не жрамши был. Вынимает Никита Иванович из бумажника деньги, говорит:

— Пытал, — говорит, — Игнат, о просфорах — не сознается. Вот душа! Знать, к Красной горке приехал.

Четвертную дает кучеру.

— Пошли, — говорит, — детям в деревню.

* * *

Моем Игнат пролетку. Дворник стоит напротив, лениво глядит, как тот моем.

Игнат помоем, положит мочалку и глядит на дворника, а кругом на голубом небе весны блестят, как бисер, весенние листочки берез. Сверкают маковки церкви Утоли моя печали.

Игнат говорит дворнику:

— Чего теперь скажешь, как ему угодить? Ум раскорячился, не знаю, что ему в угодю сказать...

— Эх ты... — смеялся дворник. — Скажи ему, когда дожидаться будешь в Грузинах, что околоточный опять подходил, плакал. «Одно, — говорит околоточный, — пойду я к Афросинье и прямо на колени паду и скажу — не откажите со мной в супружество вступить...» Вот он тут на стену полезет, что хошь с ним делай. А ты скажи: беда у меня, пожар, дом сгорел, да вроде как заплачь. Гляди, полсотни отвалит, а то и боле.

Рассердился Никита Иванович, когда рассказал Игнат про околоточного.

— Я, — говорит, — с ним слажу. Покажу ему.

Очень сильно задумался. А Игнату на постройку дома двести целковых дал.

Купец Сергеев на праздник светлый к обеду позвал околоточного из Грузин. Тот удивился, но приехал в Сущево к домовладельцу. После обеда позвал околоточного в кабинет. А за занавеской у окна приятелей своих поставил, так ловко, чтобы не видно было. Свидетели чтоб были. Ну и говорит в кабинете околоточному:

— Дельце у меня к вам есть щекотливое. В Грузинах живет у вас в вашем околотке Афросинья Леонардовна. Прямо позвольте вам сказать — оставьте ее без внимания, так как я серьезные на нее имею намерения. И вот, позвольте предложить...

И кладет три тысячи прямо перед околоточным на стол.

Околоточный удивился и молчит. На деньги смотрит.

— Вы ведь с ней знакомы?

— Нет, — говорит околоточный. — По книгам, конечно, значится в участке у нас. «Вот, — думает про себя Никита Иванович, — штучка, крючок полицейский... Мало дал...» И из бумажника вынимает еще две тысячи. «Не устоит», — думает, и на стол кладет.

Полицейский смотрит в недоумении на него и на деньги. И в душе околоточного сразу с быстротой проходит его жизнь.

«Вот взять деньги, Володичку в гимназию помещу. Надя подрастает — приданое, за офицера отдам. А Ефремова встречу, так погодит один мадеру пить, я ему покажу, как мадеру да херес пить... Пускай поглядит. И службу брошу, на Дон уеду к себе...»

И говорит Никите Ивановичу:
— Приходится присматривать. Разные есть. Туды студенты ходят. Тоже то-сё...
По должности приглядывать должен...
Взял деньги и положил в карман.
— Не извольте беспокоиться...
И в коридоре, прощаясь, сказал:
— В ваши дела входить мне не приходится, человек вы еще молодой. То-сё... Не мое дело. А я при службе, забота, дети. Проводите-ка меня до портерной.
А в портерной околоточный взял расписку с Никиты Ивановича, что получил на бедных невест, — и все тут...

Сидят приятели Никиты Ивановича и обсуждают.
— Смотри, Никита Иваныч, слышал — к ней студенты ходят... Сам знаешь, какой народ... Отступись...
— Так ведь я пять тыщ на это дело отмахнул. Деньги-то, неужто зря?
— Ну что, — говорят приятели, — наживешь, не обеднеешь...

В Грузинах, мрачнее тучи, сажился в пролетку к Игнату Сергеев. Кучер Игнат, улыбаясь, сказал:
— И... свадеб теперь что! Самая Красная горка...
— Довольно! — закричал Сергеев. — «Хороша! Хороша!» Все пели, «хороша», а у ней под кроватью сегодня, слышу, кто-то икает... поглядел, а там студент пьяней вина. На меня бросился... За ворот схватил... Ну, я тоже дал сдачи... А она за него! Правда, околоточный говорил: «Приглядывать надо». Да ты говорил мне — околоточный жениться хочет. Все враки — она со студентами путается... Дурак!
— Да вить... да вить... Никита Иваныч... Вить у вас околочный-то не тот был!..
— Вот те и Красная горка! — вздыхал Сергеев, качая головой.

У Харитония в Огородниках

Была весна, и жил я у Харитония в Огородниках, в Москве, поблизости от церковного двора, в небольшом одноэтажном деревянном доме. При доме был большой двор. Забор отделял другой двор. У забора росла бузина, березы. На дворе был деревянный погреб, сарай, и крылечко у дома, тоже деревянное. Когда входили в крылечко, то разноцветные стекла окошек освещали лицо вошедшего то розовым, то зеленым цветом.

Через улицу был виден за забором большой сад высоких лип, и у церкви Харитония были тоже большие липы. На церковном дворе стояли лужи тающего снега, и я мальчиком услышал крик прилетевших грачей.

Они летали над липами садов у больших гнезд, которые выделялись темными пятнами на весеннем небе. Что-то было несказанно отрадное в этом крике прилетающих грачей.

Весна. Солнце.

Какою радостью жила она в моем детском сердце!

И я, уча уроки, с отвращением смотрел на тетрадки, учебники и часто выбегал на двор к забору, где стояла старая беседка. А за забором жил мой приятель Лева Хорват, у которого мать была Мария Тихоновна, которая так хорошо пела с гитарой цыганские романсы.

Скучно было дома в комнате. Я перетащил свои учебники, пенал, чернила, маленький стол в беседку.

В беседке — свежо, зелено. Как неприятно заглядывать в учебник и долбить, долбить...

«Зачем это нужно? — думал я. — Я совсем не хочу быть архитектором, инженером. У меня — одноствольное ружье. Я уж застрелил двух уток, дупеля, бекасов и пойду опять в Перерву, когда куплю пистонницу и пистоны. Жаль — денег нет... Буду я охотником, а потом — что будет, то будет».

Вот когда растает снег, я уйду в Медведково к Игнашке. Там у него собака. Замечательная собака. Вроде как настоящая охотничья. Называется Дианка.

Но почему я должен быть архитектором — не понимаю!

Мне совсем не нравятся дома и Кузнецкий Мост. А в деревне мне все нравится. Бревчатые избы, отец и мать Игнашки. Они такие добрые. Лучше их нет.

Как приду, мать Игнашки мне рада. Касатиком меня зовет. «Что ты похудел так, касатик, поешь, садись». И сейчас мне хлеб и молоко в крынке ставит, меду дает, кашу с маслом...

Похудеешь от долбежки — не знаешь ты мучителя Добрынского! Зверь!..

А брат мой, Сережа, — художник, «мучится» у Саврасова. Не бросить ли и мне архитектуру и не пойти ли тоже к Саврасову? Я тоже тихонько рисовал. Как красками хорошо пахнет! Буду художником...

До чего хорошо в Перерве! Москва-река разлилась, чайки летают. Там бы и остаться, никогда бы в Москву не вернулся. Отчего нельзя поступить в крестьяне? Самое лучшее быть крестьянином. Пашня, лошадь, огороды. Сажать горох. В телеге ехать — вот радость! Васильки во ржи, колокольчики голубые у дороги и поля, поля...

А лес. До чего в лесу хорошо! Трава, мох. Ночью жутко. Так и кажется, что кто-то на тебя глядит, подстерегает... Почему жутко?..

Я спрашивал у учителя Петра Афанасьевича, а он говорит: «Неизвестно. Люди, — говорит, — ничего не знают...»

А Игнашка говорил — люди вперед ничего не знают. Не знают, что будет впереди. А отец Игнашки говорил: «А крысы знают все, сам, — говорит, — я видел в молодые годы раз, как крысы гуртом из деревни ушли! И — их ты, так и бегут. Я думаю — чего это? А мне кузнец Семен говорит: “Крысы бегут, и тараканы черные ушли... пропали! Нехорошо это, не к добру”. Верно, глядь, через неделю вся деревня ночью в один час сгорела. И старуха Марфа сгорела, и детей двое».

* * *

Отворилась дверь беседки, и ко мне вошла соседка Тата.

— Пойдемте к нам, Костю, — сказала она весело. — Вас мама зовет.

— Тата, знаете, — говорю я, — мне не хочется учиться, я не хочу быть архитектором. Я пойду в крестьяне. Мне не нравится город.

Тата смотрит на меня.

— Зачем, Костю, в крестьяне? Они все грубо так говорят. Какой же вы крестьянин, вам тринадцать лет? Как же вы будете косить? Вас не возьмут в крестьяне.

— Ну, тогда я пойду в художники.

Когда я пришел от Хорват домой, то сказал своей матери, что я хочу быть художником, как Сережа.

Мать пристально и добро посмотрела на меня.

— Как хочешь, Костя, — сказала она, — только это трудно и одиноко. Художник мало кому нужен, и тернист его путь. Но я все же рада, что ты хочешь быть художником.

Растаяли снега, и позеленели леса. Я на большом холсте писал красками дом у Харитония в Огородниках, кусты сирени у крыльца, капельную бочку, в которую мы оба с Татой любили смотреть на свои отражения.

И какие красивые, живые, веселые были лица наши с Татой! И как мы смеялись.

Приятель отца моего Латышев, смотря на нас, сказал:

— Все весело, все смешно. Мальчишеский возраст.

И, подняв палец, сказал:

— Ну, смешно?!

Мы расхохотались.

— Михаил Петрович, — сказал я Латышеву, — ау, я больше не архитектор, а художник.

— Ну и обалдуй... — сказал с постным лицом бледный и болезненный Латышев. — Будешь не жравши ходить и сопьешься...

* * *

Этюды свои — дома с сиренью и бочкой, сад с забором — я выставил на третьей экзамен в Училище живописи на Мясницкой, где учился и мой старший брат Сережа.

Преподаватели на этюдах моих написали мелом:

«Похвала и благодарность преподавателей. И награда — 25 рублей, на краски».

Это удивило меня и обрадовало мать. Сколько, я помню, купил красок, кистей в магазине Дациаро на Кузнецком Мосту.

Гостя летом у своей бабушки в Вышнем Волочке, я целые дни писал этюды. Уходил очень далеко, потому что в самом Вышнем Волочке, мне казалось, писать нечего.

Соборы, каменные дома — неинтересно.

Уходил в леса, на реку Тверцу — там природа. Писал избушку в лесу, сломанное дерево, дорогу с верстовым столбом, пойманного налима, охотника Дубинина с ружьем.

Все это нравилось...

А осенью так не хотелось ехать в Москву, так не нравилась Москва после деревни!..

Когда я ехал с вокзала на извозчике, то, помню, загоразживал ладонями глаза и смотрел в спину извозчика, так мне были неприятны улицы Москвы...

А приехав домой — даже заплакал...

Счастлирое, райское время...

Калейдоскоп

Поворачивается калейдоскоп моей памяти, и сменяются в нем картины былой жизни.

Помню, в Москве жили москвичи без больших забот. Время спокойное и безмятежное. Конечно, бывали обычные неприятности, невзгоды, несчастные случаи — ну, пожар в Суцневской части... И бегут граждане на огонь смотреть. На каланче шары вывешены, — занятно посмотреть обывателю: как пожар тушат...

* * *

Еще событие. Постом в Большом театре сезон итальянской оперы. Певцы замечательные. Жамет, Уйган, Котоньи, Падила, Мазини.

Помню, идет опера «Лукреция Борджиа». Мрачная госпожа. Злодейский характер. Пришел я на сцену за кулисы. Хор поет:

Мать свою в кофею отравила,
Тетку же в гондоле утопила.

Подумаешь, какой ужас!

Публика слушает. Театр полон. Ложи, нарядные дамы, кавалеры... Серьги, ожерелья, бриллианты сверкают.

И с замиранием сердца слушают они злодейку, которая заливается в пении...

Конечно, это все было давно, в старину. Теперь другое время — просвещенное, иные дела, иные события...

* * *

...На Передвижной выставке, тоже в Великом посту, у подъезда на Мясницкой, у нас, в Школе живописи, ваяния и зодчества, черным-черно от карет. Народу — не пробраться. На выставке — сенсация. Репин! — картина «Иоанн Грозный, убивший сына». Царь, убив сына, из виска которого струится кровь, целует, в раскаянии, своего наследника.

Жуткая картина, сильно написанная мастером. Зрители содрогаются. Какое жестокое было время. Теперь — иная эпоха, просвещенная. Нет уж этих страстей и царей жестоких...

* * *

Я видел орудия пыток в Испании. Чугунную деву, которая раскрывалась, и там внутри были гвозди. Приговоренного сажали внутрь и закрывали. И гвозди входили в тело. И жертву оставляли там. Это делали люди. Инквизиция помещалась в подвалах под прекрасным храмом.

И помню, я тогда подумал: «Теперь этого не может быть, теперь таких жестоких людей нет...»

* * *

Летом в деревне. Гости — приятели-охотники, гофмейстер. И артист, приехал с писателем Алексеем Максимовичем Горьким.

Картузы чесучовые, рубашки шелковые, поддевки тонкого сукна, сапоги высокие с блеском.

В гостях у меня Серов. Ловили рыбу на реке на удочку. Алексей Максимович не ловит, потому — занятие варварское.

Взял Горький корзинку и пошел со мной собирать грибы.

— Люблю, — говорил Горький, — грибы. Рвешь — и никому не обидно. Не живые. Не могу видеть, как рыбу жарят, а грибы ничего. Нервов у них нет...

Идя по лесу и беседуя с Горьким, я удивлялся твердому восхищению Алексея Максимовича собой.

Оно выражалось в оглядке после каждого слова и улыбке как бы в самом себе. Улыбка для себя. И в то же время во всем, что говорил Горький, был намек на какого-то врага, все казалось, что он сердится на кого-то.

Досадно было мне видеть такую странную черту в столь талантливом человеке.

И я вдруг вспомнил Антона Павловича Чехова — я был у него в Аутке, в Крыму, незадолго до его смерти.

— Горький, — сказал мне тогда А.П., — имеет капризное свойство, которым обладают многие студенты, юноши, — совершенно не считать за людей — людей, одетых в крахмальный воротничок и галстук.

Это замечание было характерно и верно.

— А сложна, — сказал я Алексею Максимовичу, — совесть человеческая.

— А черт его знает, есть у него совесть или нет. Он же прячется. Не узнаешь, он одно кажется, а сам другой...

— Караул! — закричал кто-то на опушке леса у реки.

Горький остановился, как-то вытянулся и тревожно посмотрел в ту сторону.

— Это свои, — сказал я ему. — По-настоящему «караул» не так кричат.

Грибов мы набрали порядочно, и Горький ножичком чистил корешки, ровно укладывая гриб к грибу.

— Вот люблю я грибы собирать, — снова сказал он, — и птиц еще люблю, певчих. Хорошо поют с весны, а теперь — нет, к осени дело. Листочки желтеют...

— Эх, отчего я не татарин! — вдруг сказал Горький.

— А зачем татарин? — удивился я.

— Люблю татар. Халат, тубетейка, буза, жена послушная. Чего еще! Мало одной жены — бери другую. Хорошо!..

А вечером вышел спор.

Горький говорил, что если б он был царь, то запретил бы есть рыбу, гусей, дичь. Вообще — многое запретил бы...

Не слышал я всего, о чем спорили, — бегал на кухню готовить ужин: там варили уху, жарили рыбу, цыплят, гуся.

Артист что-то говорил, что, будь он царем, у него все бы знали иностранные языки. Но говорить — не смей, говори только по-русски и знай русский язык. Он всех богаче. Всякую штуку объяснить можно только по-русски.

— И ты бы у меня не такой бы веселый был! — строго сказал мне артист, когда я вошел в комнату.

Долго спорили гости. Серов лежал на тахте, в стороне, и слушал.

Когда подали ужин, гости сели за стол и забыли, что жареную рыбу есть нельзя, — жестоко, а ели всё — и рыбу, и грибы, и цыплят, и гуся.

И как-то повеселели.

Серов, всегда мало говоривший, вдруг сказал:

— Алексей Максимович, вот когда бы вы были царем, то при вас все-таки с неделю кое-как прожить было бы можно, а вот когда бы вы маэстро — то минуту б не продышать...

— Да, шибко строги, — сказал Василий Княжев, мой слуга, приятель-рыболов, и пошел к дверям.

— Куда ты? — крикнули мы.

— Да вот пойду, сеть на ночь поставлю. Завтра к утру раки попадут. Господин артист раков любит.

— И я пойду, и я пойду, — закричали гости и стали поспешно вставать из-за стола.

* * *

Начало сентября. Ночное небо все в звездах. Тишина. Река темная, тихая.

В деревне, на горе, горел один огонек в избе. В нем был приют, надежда и покой.

— Бедное селение, — сказал Горький, — огонек горит, а давно бы, если б не было эксплуататоров, был бы здесь каменный дом у каждого.

— Ну и тощища... — сказал Серов.

— Может, и не скучали бы, — сказал Василий Княжев, залезая в воду ставить сеть, — ну, раков, уж верно, не было бы...

* * *

Все прошло, улетело. Уж нет гостей моих. А калейдоскоп поворачивается, и смеются картины жизни. Картины не новые, порой страшные и ненужные...

Памяти друга

На всей нашей тайной земле во многих глазах блеснут ныне слезы и смутится душа. Умер мировой артист, певец, художник русский, Федор Иванович Шаляпин.

Какое горе!

И скажем мы: мы жили, слышали и видели гения земли Русской. Это ли не гордость была наша, не наша слава?

Умер Шаляпин... Зачем, и как рано?..

* * *

Я вижу его юношей. Какое веселье! Как будто этот юный богатырь наполнен солнцем счастья, неудержимым смехом, радостью жизни. Не умолкая, говорил Шаляпин всякую ерунду, анекдоты, остроумно передразнивая окружающих, кстати, и себя, и друзей.

Помню и первую встречу его с Саввой Ивановичем Мамонтовым на 25-м году в Петербурге у Донона за ужином, рассказы о том, как надо петь, как учат режиссеры, — рассказы, полные юмора и таланта.

Мамонтов был восхищен молодым Шаляпиным. Дирижер его театра Труффи любовно и дружелюбно отнесся к молодому Феде, чуя и понимая его исключительную музыкальность и красоту его восхитительного тембра. Судьба Шаляпина была решена. Мамонтов отошел от итальянских опер и для Шаляпина поставил в Частной московской опере все русские оперы, где были для него партии.

Меня удивляло, что Федор Иванович, почти все время проводивший с нами, со мной, Серовым, Врубелем, Мамонтовым, никогда как будто ничего не учил, — я не видал в руках его клавира. Только однажды как-то пробежал глазами ноты перед репетицией, на которую, кстати, и опоздал. А смотришь — на генеральной репетиции поет не только свою партию, но и за хор, и за других певцов. Прочитав один раз партитуру, он запоминал все...

Я видел, как его любил и восхищался им всегда Труффи. Он говорил Мамонтову: «Это особенная человека, это настоящая таланта».

...На сцене стоял камень, вечный камень. Он был сделан вроде как изголовье. Этот камень ставили во всех операх. На нем сидели, пели дуэты, на камне лежала Тамара, в «Русалке» — Наташа, и в «Борисе Годунове» ставили камень.

Как-то раз Шаляпин пришел ко мне и, смеясь, сказал:

— Слушай, да ведь это черт знает что — режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовешь ломового, мы его увезем на Москва-реку и бросим с моста.

Но камень утащить Шаляпину режиссеры не дали.

— Не один, — говорили, — Федор Иванович, вы поете, камень необходим для других...

Трезвинский даже сказал ему:

— Вы, декаденты!

Сколько было радости и жизни в этом русском богатыре. Среди забав и смеха, помню, много раз в поездках на телеге, на рыбную ловлю, на охоту, на мельницу Федор Иванович всегда немного пел.

Однажды он сказал мне:

— Руслана я бы пел. Но есть место там, которого я боюсь.

— А какое? — спросил я.

Шаляпин запел:

Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем!..

— Вот это как-то трудно мне по голосу.

Милый Федя, всегда будет о тебе петь Баяны, и никогда не умрет твоя русская слава.

Как-то, помню, у меня в деревенском доме Шаляпин сказал:

— Я купил имение на Волге, близ Ярославля. Понимаешь ли — гора, а с нее видна раздольная Волга, заворачивает и пропадает вдаль. Ты мне сделай проект дома. Когда я отпою, я буду жить там, и завещаю похоронить меня там, на холме...

И вот не пришлось ему лечь в родной земле, у Волги, посреди вольной красоты нашей России...

Поросенок

Светлый весенний день. Завтра Вербное воскресенье.

У сарая и конюшни распустились белые пуховки вербы на розовых ветках и горят весело бисером на синем весеннем небе.

Свинья с поросятами вышла на солнышко из закуты сарая. Хрюкая, рыла носом в корыте.

Приятель Юрия Сергеевича смотрел пристально на поросят.

— Посмотрите, — сказал он, — а у Юрия-то глаза совершенно как у свиньи, вот ведь что...

— Довольно, — поморщился Юрий. — Завтра Вербное воскресенье, в последний раз сделать заговены, а потом ау, всю Страстную. Ни рыбы, ни мяса. Тюря, редька, капуста, грибные щи, и больше ничего. Согласны.

— И водки ни-ни, — сказал Коля Курин.

— А ты еще что лезешь? — рассердился Юрий Сергеевич. — Я дело говорю. Все равно поста не держали. Или так, приблизительно. Я предлагаю вам поросенка одного тихонько как-нибудь заманить в сторону, чтобы мать не видала, и потом его отдать Феокисту. Тот в деревне его зарежет, чтобы мать не слышала. Понимаете? Я изжарю. Потому что и Афросинья тоже будет против. Она не понимает, что Вербное — тоже праздник большой.

— Нет, уж я поросенка своего вам не дам. Достаньте на деревне — там и жарьте, — сказал я решительно.

— Это верно, — сказал доктор Иван Иванович. — Неудобно как-то своего-то.

— Скупость, — сказал Юрий Сергеевич и засмеялся. — А показываешь себя жалостливым.

— Василий, — говорю я, — достань поросенка, съезди на станцию к Князеву — там поросята есть, купи.

— Я сам съезжу, — сказал Юрий.

— Как ты на лодке-то переедешь, ведь река разлилась, — сказал Иван Иванович. — В тебе восемь пудов весу. Лодка не выдержит, утонешь.

— Беспременно утонете, теперь вода-то быстра. Где ж переехать? Да и боязно.

Приятель Юрия Сергеевича и доктор Иван Иванович пропали. Ходили искать поросенка в деревню. Не нашли. Ходили в Никольское, в Любники. Нет нигде. Через реку увидели поросят на мельнице Ремжи. У мельницы бегают. Но как достать? Перевозу нет, река разлилась. Видит око, да зуб неймет.

Кричали через реку, сторговались, купили поросенка. А взять-то как? С того берега кричали:

— К празднику-то вода спадет. Не сейчас жарить будете, не басурмане ведь. А к празднику доставим.

Но приятели мои не утомонились и занялись изобретением. На берегу перед мельницей они что-то разделявали, кричали, спорили. Василий Княжев прибежал в дом, доставал бечевки, кулек, острогу и бегом обратно к ним на берег. Бросали камень, привязанный к тонкой бечевке, на ту сторону реки. Не добросили.

Но Василий Княжев как-то изловчился. Поросенка, должно быть, достали: я писал этюд с природы и слышал, как поросенок неистово визжит вдали, под Ремжей. Оказалось, привязали поросенка на той стороне, — он был довольно крупный, — и приятели тянули его через реку. Тот орал и посреди реки развязался и поплыл по течению.

Приятели бежали по берегу. Василий Сергеевич прибежал, с красным лицом, в волнении, ничего не сказал и, схватив ружье, опрометью кинулся назад к двум.

— Что это? Куда ты?

— Оставь, пожалуйста. Потом!

И он помчался к реке.

* * *

Через час я увидел возвращающихся приятелей. Все по пояс мокрые. Сердитые. Поросенка не было.

Подходя к крыльцу, я услышал зычный голос Василия Сергеевича, который кричал:

— Болван, а еще доктор!!

— В руках был, — кричал и Юрий Сергеевич. — За ноги брать надо было. За ноги бы брал! А ты за морду тянешь!..

У доктора Ивана Ивановича кисть была обмотана платком, и он быстро шел впереди. Войдя ко мне в мастерскую, он нашел аптечку и быстро развел в воде марганцевый калий.

Повернувшись ко мне, он сказал:

— А йоду-то у вас, конечно, нет?

«Что такое случилось?» — думал я.

Василий Сергеевич сел на террасе и, закрыв глаза, хохотал. Оказалось, поросенка на берегу поймал Иван Иванович. Поросенок его укусил. Случай исключительный.

— В самый пульс укусил, — заливался Василий Сергеевич. — Что делается, что делается!..

— А если он бешеный? — медленно процедил Коля Курин.

— А поросенок-то где же? — поинтересовался я.

— В лес убежал, — ответил Иван Иванович серьезно. — Ведь он здоровый, вроде небольшого кабана! Посмотрите, как хватил!

Иван Иванович и приятели снимали с себя сапоги и панталоны. Промокли, попав в полынью, в погоне за поросенком.

Грелись на кухне у печки. Пили, чтобы не простудиться, зубровку и, кстати, с досады ели ветчину, приготовленную на праздник к розговинам.

Подали самовар.

— Чай с коньяком обязательно, — сказал Иван Иванович, — а то лихорадку схватим.

Наутро в Вербное воскресенье на стол у окна тетушка Афросинья поставила в вазу вербу.

За чаем были просфоры. Василий Сергеевич умывался у колодца ключевой водой. Лицо красное, веселое. А Иван Иванович мрачно перевязывал руку и говорил:

— Полакомились поросенком. И кто знал, что поросенок кусается. Редкий слу- чай, неслыханный в зоологии.

— А я читал, — сказал Коля Курин, — укус поросенка может быть смертельным.

— Это где же вы читали, позвольте вас спросить? — ехидно полюбопытствовал доктор Иван Иванович.

— В естественной истории, — кротко ответил Коля Курин.

— И читали, что укус смертелен?

— Не смертелен, но опасен...

— А вы бы поменьше говорили, Николай Васильевич, — великая польза для вас от этого проистекла бы...

— Колька, всем в Москве известно, всегда накликает беду, — смеялся Юрий Сергеевич. — В кружке, когда в карты играют, как Николай подойдет смотреть, так его нарочно уводят, чтобы не смотрел.

— Это кто же меня уводит? — спросил Коля серьезно. — И куда это уводят? Эх, чушь ты всегда несешь, Юрий. Меня не очень уведешь, я ведь действительный член кружка.

— Скажите! — удивился Вася. — Но когда же тебя в действительные провели? Я старшина. Что-то не помню.

— Э, брат, ты старшиной-то без году неделя. А я еще при Сумбатове прошел. Все, брат, беленькие получил.

— Это я узнаю, как это — все беленькие. У меня и то три черных было.

У крыльца раздался визг поросенка.

— Слышите! — сказал Иван Иванович. — Поросенок!

Все выбежали па крыльцо. Перед крыльцом стоял Игнашка — сын мельника с Ремжи. Говорил, что переехал в челне у деревни, поймал поросенка и вот явился.

Перед ним в мешке барахтался виновник всей кутерьмы. Стояли дедушка, сто- рож дома моего, и тетенька Афросинья. Дедушка говорил:

— Куда его? Ведь к нашей свинье в закуту не пустишь. В коровник надо.

— Никак нельзя, — сказала тетенька Афросинья. — Не пуцу в коровник.

— Зарезать его, — сказал Юрий.

Поросенок пробился и высунул голову из мешка. Он имел вид напуганный и жалкий.

— Ведь вот, Юрий Сергеевич, резать... Ведь время-то какое! Страстная неделя. Кто резать-то станет? Говеют, — сказала Афросинья.

— Тащи назад, — крикнул доктор. — Верно, жалко резать. Поросенок удалой, кусается. Прощаются грехи сейчас всем. Бери назад. Корми, пои, свинья выйдет. Я заплачу. И поросята потом у меня будут свои.

Игнашка взвалил на плечо мешок с поросенком и, уходя, засмеялся и сказал:

— Поросята будут... так ведь он боров!..

На Пасхе

До самого вечера в канун великого праздника Москва суетливо, озабоченно спешила и готовилась к празднику.

Сновал народ по всем улицам, лавкам, магазинам. В Охотном Ряду — суতোлка, едут на извозчиках во все стороны. Везут кульки, свертки, корзинки с покупками — все для розговен.

Кучера, проезжая, кричат: «Берегись!»

К вечеру магазины на Тверской, Петровке горят огнями. Битком набиты покупателями. Булочные Филиппова, Севастьянова, кондитерские — полны.

Потом вдруг, к восьми часам вечера, все улицы пустеют. Торговля закрывается. Во всех домах московских окна горят огнями.

Ночь, и блистают звезды в весеннем небе.

К полночи идут и идут москвичи к пасхальной заутрене. Несут святить куличи и пасхи.

Дворники ставят плошки на тумбах тротуаров. Тишина.

Вдруг среди ночи раздается по всей Москве звон колоколов. Всех сорока сороков.

И гудит Кремль красным звоном Светлого Праздника.

Христос Воскрес!

Как торжественна и восхитительна Пасхальная ночь!

* * *

Утро ясное, весеннее...

Светлое Христово Воскресение...

И торжественно, не смолкая, несется колокольный звон по всей Москве...

Красный пасхальный звон.

На улицах народу мало.

Дома встречают праздник.

Простой народ ходит кучками. Картузы новые, сапоги бутылками с набором, начищенные, блестят. При часах и галошах. Идут поздравлять и христосоваться к хозяевам. В карманах крашенные яйца.

Встречают знакомых, молча снимают картузы и три раза целуются.

Женщины в новых шелковых платках.

Проедет извозчик, на нем ранний визитер в перчатках, с тросточкой с набалдашником.

Дворники и кучера сидят на скамейке у ворот и лузгают подсолнухи. Мостовая сухая. За забором, в саду, воркуют голуби и весело выглядывает зеленый бисер распускающейся бузины.

— Ишь, поглядите-ка, — говорит дворник, — Ильюшка-то пьяней вина. Ишь, как разговелся...

Ильюшка ковылял по улице, останавливался, вздыхал, покачиваясь, шел, представляя нетвердые ноги. И, сонными глазами глядя на дворников, сказал:

— Ух ты, и куда иттить? В Рогожскую иттить, ведь это что. А надо. Самому Никите Иваньчу. Чижало.

— Ишь, рано разговелся, — сказал дворник, — куда пойдешь. Видать ведь, пьян, скажут, страмота...

— Чего... ничего. Ему без меня закрывай кондитерскую. Ему без меня бисквиты не взойдут. Первый мастер я. Вот что.

— Ну и набискитился ты, — говорит нарядная жена кучера.

— Ничего. Я вот полежу здесь, у лавочки, вздремну малость...

И Ильюшка ложится у скамейки на тротуаре.

Нарядный, в форме, идет толстый околоточный. Останавливается и смотрит на Ильюшку.

— Чего?

Дворник встает, говорит:

— Это свой — отдыхает.

— Хучь и свой, а в калитку его на двор затащи. А то я за вас отвечать должен.

Дворник тянет за ноги пьяного Ильюшку, а тот слабым голосом говорит:

— Ну чего... Жил по 22 — положь по 25... Без меня бисквит не взойдет. Кондитер я. Пусти, куда тянете.

И Ильюшка, встав, плюнул.

— Эх, народ... Понятие иметь не может, что я главный мастер. И-и-их! Гуляньице мое! До чего меня гулянье довело... — завел Ильюшка и пошел, шатаясь, у забора.

* * *

Блестит белая скатерть. Весеннее солнышко освещает стол, уставленный графинами. Окорок ветчины, поросенок заливной, жареный гусь, пахси и куличичи.

Приятель мои — охотники — как будто переменились.

В скюртуках, при белых галстуках, лица серьезные, торжественные. Как-то скромно наливают из графина березовую, полынную, английскую горькую, рябиновую. И пьют, закусывают как-то модно, учтиво.

И разговора пустого нет.

— У меня, — говорит Коля Курин, — еще семнадцать визитов.

— Это к кому же у тебя семнадцать визитов? Что-то много... Я не что-нибудь, а архитектор, — говорит приятель Вася, — и то у меня только три. А ты что! Семнадцать визитов!

— У меня, брат, ученицы, директора. У меня знакомых побольше твоего...

— Ну ладно, — говорит Вася, — ты меня в праздник не расстраивай. Эх, хорошо, знаете, третьего дня в Перервах, под Москвой, на Москва-реке. Березкин говорил, сбоку у плотины, где тихо, вода натаскала лещей — все по шести фунтов... Сегодня же еду на ночь, а вы как хотите. Если бы это вот все, что на столе, — в корзинку, да туда...

Я заметил, что у всех моих приятелей-охотников загорелись глаза.

— Ну, Вася, ты просто гений. Ведь верно, — сказал Караулов. — У меня тоже визиты. Один обязательно нужно. Сейчас поеду. А когда ты на Курском вокзале будешь? Поеду с тобой.

«Действительно верно, — подумал я, — не поехать ли? День ясный, весна, кстати, у меня и визитов никаких нет».

— И я поеду, — сказал доктор Иван Иванович. — Съезжу к пациенту — и на вокзал...

— Ну, если так, то и я поеду, — мрачно сказал Коля, — сделаю два визита — и ну их, правда. Хоть на воле побуду.

Со станции ночью шли пешком. Несли кульки, удочки.

— Вот что, — сказал Василий Княжев. — В утро пойдем к плотине, а сейчас пойдемте в Кусково, рядом, на пруд. Тихо, скромно на бережку и закусим, а глядишь, как зазвонят бубенчики на донной — значит, линь попал.

— Верно, — сказал Василий, — правильно.

На пруду, где сквозь весенние деревья проглядывал дворец Шереметева, около высокого парка с ацетиленовым фонарем, закусывали приятели.

— Чу! — сказал Василий.

Тихонько мы подошли к расставленным удочкам. На одной качался бубенчик и потом задрожал и зазвонил. Василий быстро схватил короткое удилище и стал тянуть, перебирая леску, большого линя. Он кружился в темной воде у берега. Приятель Вася ловко подхватил его подсачком.

Большой линь бился на берегу и открывал рот.

— Не хотел я ехать, — с досадой сказал, глядя на пойманную рыбу, Иван Иванович. — В такую-то ночь! Я возвращаюсь на станцию.

Все как-то смущенно замолчали.

— Тогда вот что, — предложил доктор. — Пойдемте на станцию, там поспим, а утром сюда же, наловим живцов и закинем на шук. Шук не жалко. Ведь на морду щучью посмотреть — жалеть не станешь.

Он взял леща и бросил в воду.

А наутро подошел поезд, и все мы поехали дальше, в Царицыно. Там, на царьцинских прудах, был клуб рыболовов, стоял дом на самом берегу пруда.

Когда мы приехали, в нем было полным-полно, и пошли такие розговены, разговоры охотничьи, что застряли мы в клубе на три дня. Не могу не упомянуть о том, что когда приятель Вася, поймав судака, рассказал за ужином о том, что судак его смеялся, то все рыболовы замолчали...

Пасха

Хороша весна и Пасха в деревне. Канун великого праздника. Приятели мои достают из парника свежие огурчики, нарезают вдоль ножом, солят и едят с черным хлебом у парника.

Тетушка Афросинья, серьезная такая, молча вынимает из деревянной формы большую пасху. На ней узоры. Кругом пасхи на блюдо кладет красные яйца. А на другом блюде кулич. С вечера поедут к Покрову святить пасху. Замазанный тестом окорок сажают в печку. Завтра светлое Христово Воскресение.

Приятели мои на лужке перед домом глядят кверху, и в синеве неба летят треугольником журавли и поют жаворонки. Уже немножечко зеленеет сад мой, а в низине, у реки, под горой, лежат тающие снега. Блистают среди серого ольшаника.

Широко разлилась река. Лес отражается в воде. Весеннее солнце ярко светит. На душе какая-то лень, и голубая даль весенняя несказанно ласкает душу.

Василий Сергеевич качает в ведро воду у колодца и умывается холодной водой, вытирает красную физиономию мохнатым полотенцем и говорит Коле Курину:

— И все ты врешь. Никогда ты журавля не ел. Журавлей не едят.

— Мало ли, что не едят, а я, брат, ел.

— Это когда же ты ел?

— Когда в гимназии учился.

— Что же ты, в гимназии там ел?

— Да, в гимназии. Там экономом был, так он нас журавлями кормил.

— Ну, ерунда, — сказал охотник Караулов. — Журавель жесткий, как дерево, — не прожует. Да он и лягушками пахнет, оттого его и не едят.

— Замечательный ты человек, Коля, — сказал Василий Сергеевич. — Все врет, и ведь задаром врет.

— Позвольте, позвольте, — обиделся Коля, — позвольте. В Париже я в лучших ресторанах ел лягушек.

— Это верно, — подтвердил доктор Иван Иванович. — Я читал про это. Лягушек там едят. Это верно.

— Да неужто вправду, — засмеялся Герасим Дементьевич, охотник-крестьянин, мой приятель.

Ленька с ведром подошел за водой к колодцу и так медленно и серьезно сказал:

— Афросинья просит не ходить сквозь кухню, а то, говорит, «мешают мне стряпать».

У Леньки руки ярко-пунцовые, и на лбу у него тоже пунцовые пятна.

Василий Сергеевич пристально смотрит на него.

— Это яйца, — говорит Ленька, качая воду, — надо лимоном, а то не отмоешь, а Варвара Петровна лимон заперла. Не дает. А мне в церковь ехать. Все глядеть будут.

Мимо идет из деревни Феоктист, что-то несет в горшке. Проходит мимо нас молча, серьезно на кухню. И с крыльца кухни вытаскивает моего ручного барана, привязанного за рога веревкой. Тащит к сараю. Конец веревки привязывает к березе.

Смотрит на него и, как бы про себя, говорит:

— Сладу с ним нет.

В ворота въезжает тарантас. Едет сестрица моя двоюродная. За сахаром ездила и за разной мелочью к станции в лавку. Едет мимо нас. Сердито так смотрит на нас черными глазами.

Уже пожилая девица. Я говорю ей:

— Не бойшься одна-то ездить, как бы чего не вышло. Не сохранишь, — говорю, — себя.

— Какой ты был дурак, такой и остался, — говорит сердито сестра, вылезая из тарантаса.

С крыльца из кухни Ленька кричит:

— Иван Иванович, идите смотреть, поспел ли окорок.

Доктор Иван Иванович быстро пошел на кухню.

Мы тоже хотим посмотреть, поспел ли окорок. Так нас и не пустили.

На кухне тетенька Афросинья кричит на Леньку:

— Уходи! Неча зря лясы точить.

И до чего все серьезно готовится к светлому дню праздника. И ничего не подали к чаю. Один черный хлеб. Больше ничего.

— Правильно, — говорит доктор Иван Иванович, — надо пост соблюдать.

— Вам-то хорошо. Вы уж, поди, там попробовали ветчинки, — сказал ядовито Караулов.

— Так ведь невозможно — целый день хлеб один, — сердился Коля Курин.

В белых салфетках, на подносе, выносили пасху и кулич. В тарантас садился Ленька в новом картузе. В голубом галстуке бабочкой. И сестрица моя. Феоктист тоже в новом картузе залез на облучок. Поехали в Покров святить пасху и кулич.

Тетушка Афросинья ушла к себе в деревню рядом.

Коля, жалея барана, освободил его от веревки. Пустил гулять. А тот в благодарность боднул его в ноги.

— Ты что бодаешься, сукин сын, — кричал ему Коля.

Василий Сергеевич, засмеявшись, сказал:

— Университет кончил. Баран не может быть сукиным сыном. Естественную историю не знаешь.

— До чего глупо, до чего глупо, — говорил Коля.

Из деревни пришла Дарья — высокая и серьезная. С ней дочь Анна. С вениками. Подметать горницы.

— Уходите, — сказала нам Дарья.

Мы пошли на речку.

Разлилась речка Нерль в широкую реку. Залила луга. Кое-где выглядывали кусты ивняка, и быстро неслись осенние воды туда, туда, в голубую даль.

Утки вереницей летят над водой.

Сегодня охотники, мои друзья, не стреляют дичь и не идут на тягу.

— Потому под праздник этакий, — говорит Герасим, — не годится — грех.

Наутро из деревни пришли мальчишки и девочки, принесли крашеные яйца — христосоваться.

Пили мед, ели пасху и кулич. Тетенька Афросинья нарядилась, как павлин, — в шелковый платок, бархатную кацавейку, темное платье в голубых цветочках. Сестрица Варя в кружевной накидке, на руках митенки.

На столе пасхи, куличи, ветчина, индейка, крашеные яйца, пироги с грибочками, с капустой, с мясом, творожники.

— Вы объедитесь яиц, Николай Васильевич, — говорит доктор Иван Иванович.

— От крутых яиц в желудке образуется янтарь, — сказал Василий Сергеевич и стукнул Колю по руке. Яйцо упало на пол.

— Что ты, взбесился, что ли, черт, — второй десяток ешь. Покойник будешь. С живым с тобой не сговоришь, чертова оппозиция.

— В чем дело, — говорит Коля, — яйца-то не вредны, а питательны.

— Нельзя, нельзя, — сказал доктор Иван Иванович и погрозил пальцем.

В гости ко мне пришли мельник, лесничий с объездником из казенного бора.

— Ночью сегодня, слышу, рубят. Эка, думаю, под праздник. Ну, думаю, пускай, нужда, знать, велика. А все ж пошел посмотреть. Смотрю, Горохов рубит. Пьяней вина. Думаю, повалит сосну — убьет себя. Подошел к нему, говорю: «Брось, дам тебе лесу», а он говорит: «Побожись, скажи: ей-ей». Ну ладно, я сказал: «Ей-ей». Снял шапку и кланялся, говорил: «С праздником тебя. Эх, — говорит, — выпил я, да ведь как нешто на такое дело тверезый пойдешь — лес воровать». Он хороший мужик, да ведь десять детей у него. Бедность заела.

А вечером мы пошли на тягу.

Розовой весенней мглой покрылись леса и постепенно синели.

Коркая, пролетали вальдшнепы, и изредка, таинственно, в мелколесье свистел дрозд.

Я стоял у небольшой ели, и собака Польшон ласкалась около ног, смотря на меня, как бы говоря: «Ну пойдем, чего ты стоишь».

Весна. Россия. Какая красота!

Арманьяк

Вспоминая весну в России, я вижу себя в деревне — там, где у меня был мой деревянный дом у леса и у речки. Помню, весной на Пасхе, когда к вечеру заря розовела и дали лесов синели в вечерней мгле, я брал ружье и уходил на тягу.

Собака моя Феб в радости прыгала около меня.

Пройдя старый мостик через канаву, я шел около мохового болота. С краю, у мелколесья, у ивняка, блестели весенние лужи и отражали свет дальней вечерней зари.

Подойдя к серому осиновому лесу, где, как часовые, стояли темные ели, я поднялся в горку. Седые кусты орешника спускались к весеннему ручью. Глухое место. Передо мной на большое пространство тянулись холмы, покрытые мелколесьем.

Тут на неровном пригорке я становился на тягу.

Тишина. Слышно лишь пение птиц. Заря постепенно потухает, и с ней замолкает пение.

Только изредка таинственно и печально щелкал дрозд, и в его щелканье была печаль разлуки. И в самом лесу, в заре вечерней, была грусть. Неразгаданная, несказанная.

А там далеко, за лесом, за этими холмами, там, где Москва, где шла жизнь моя, как будто вся прошедшая, ненужная, — все не то, что так ждало сердце.

Какая пустыня кругом! Я чувствовал, что слезы родятся в глазах и тоска в душе о чем-то дорогом, отрадном, не сбывшемся в жизни...

* * *

Тишина. Стемнела земля...

Вдруг я слышу: «Хра-хра-хра, тсс, тсс...» Ближе, ближе, и большая птица летит прямо на меня на сумрачном небе. «Хра-а, хра-а...»

Феб приносит убитого вальдшнепа и с восторгом ходит кругом меня, держа птицу во рту.

Опять вдали, в кустах, защелкал дрозд. И опять печаль.

«Умрешь, умрешь... И нет того, что ждала душа. Была надежда. Мелькала любовь, и пропадала... Что-то обманное, болтливое, скучное, жадное. Все не то, чего ждало сердце...»

* * *

Потухла заря. Засинели небеса. Среди ветвей оголенного леса блестит вечерняя звезда. По потемневшей земле я возвращаюсь с тяги. Феб бежит впереди, возвращается ко мне и опять убегает.

Иду я тропкой у края болота. Пахнет сыростью и землей. Туман густой, длинной пеленой покрыл болото. А за ним, во мгле ночи, среди деревьев сада, темнеет силуэт моего дома, и в окнах мерцает огонек.

Поднимаясь от болота, иду по пашне прямо к дому. Сапоги вязнут в тонкой земле. В темноте слышу у дома моего зычный голос:

— Арманьяк-то ты, чертова кукла, на станции забыл.

Подумал: «Это кричит приятель Вася».

— Посылай верхового, скотина...

— Верхов! Что вы, идиоты! А реку-то забыли?

— Посылай — найдет брод...

Идя через аллею к дому, я увидел на ступеньках крыльца Колю — в пенсне и котелке. Опустив голову, он говорил:

— Ну я сторож, что ли, ваш?

А сверху, с площадки, Василий Сергеевич кричал:

— Тебе дали арманьяк! Растяпа.

— Забыл...

— Арманьяк от простуды верное средство, — сурово заметил доктор Иван Иванович.

— Вот видишь, — зудил Василий Сергеевич, — вот теперь простудишься и сдохнешь!..

Коля молчал.

— Это верно, — сказал доктор.

Приятели мои так увлечены были спором, что на мой приход и на меня не обратили никакого внимания.

Я стал подниматься к себе в дом, в мастерскую.

У крыльца все слышались раздраженные голоса:

— Сардинки дорогой сожрал, а арманьяк забыл! Потому что не пьет!.. И все так... Эгоист!..

— Я, брат, алкоголиком не буду, уж это вы подождете! — цедил медленно Коля, входя за мной в мастерскую.

Странно: когда я вошел в свою мастерскую — в ней горела лампа, а за столом сидел совершенно посторонний человек, грузный и большой.

Он смотрел на меня и мигал черными глазами. У него был большой рот и наголо остриженная седая голова.

— Вот он тоже приехал, — сказал вошедший вслед за нами Василий Сергеевич, — тоже охотник. Арманьяк — его. Он из-за границы привез. Да, кстати...

Василий Сергеевич, взяв меня за руку, увел в коридор:

— Он хороший парень. Зовут его Николаем Васильевичем. Мой знакомый. Я ему в Томилине дачу строил.

— А все-таки, кто же он такой? — спросил я.

— Чиновник, опекун какой-то. Не дурак выпить. И гурман: пельмени делает по-сибирски — объедение. Я его нарочно взял, чтобы пельмени нам сделал. Вообще, ученый парень. Историю знает и по-татарски говорит...

Тетушка Афросинья и сторож дома, дедушка, ставили на стол ужин.

Я сказал новому знакомому:

— Очень рад, — говорю я, — вы ведь охотник, а здесь у нас охота хорошая.

— Ничего подобного, — ответил мне новый знакомый.

— Охотник! — побагровев, сказал Василий Сергеевич.

— Что ты! С чего ты взял? Я ни разу в жизни из ружья-то не выстрелил и ужасно боюсь стрельбы.

Он налил рюмку водки и залпом выпил, посмотрев на меня томными глазами.

Василий Сергеевич залился смехом и, закрыв глаза, сказал:

— Верно, ведь я его с Веревкиным смешал, тот — охотник. Похожи, и смешал.

Оба на утюги похожи.

Знакомый посмотрел на меня и недоуменно спросил:

— Какие утюги? Что он говорит?

В коридоре послышался стук в дверь. Кто-то, войдя в кухню, сказал:

— Нашел, нашел...

Отворилась дверь в комнату, и в ней показался Герасим Дементьич, крестьянин-охотник. Глаза его лукаво смеялись.

— Шурка на станции вот велел отдать. В Петрове нашли в вагоне бутылку. Вы забыли.

Он поставил на стол большую темную бутылку с иностранным ярлыком.

Новый знакомый встал из-за стола, взял бутылку и, смеясь, сказал:

— Магнус. Это лекарственная вещь. К пельменям хороша.

Когда откупорили бутылку, то Коля первый попросил:

— Налейте-ка мне, а то что-то у меня зубы ноют.

И, выпив рюмку, сказал:

— Вот замечательно, всю боль как рукой сняло...

— Да ведь вы знаете, я его из Парижа вез, утешительное средство.

— Ну и винишко, — сказал Юрий, — аромат-то какой.

— Ох, и крепко же! — выпив, крикнул Герасим.

Вошел сторож-дедушка.

— Простите, господа хорошие. Выйдите, послушайте, соловей в первый раз у нас в черемухе запел. И-их, голосистый.

Среди тишины весенней ночи, над рекой в черемухе, заливался соловей. И в песне его была несказанная хвала чему-то настоящему, чистому, глубокому, какому-то счастью... Настоящему счастью...

Умер Шаляпин...

Умер Шаляпин. Как горько и как неожиданно! Умер посланный на землю любимец Аполлона. Великий артист, певец и художник. Слава России! Солнечное озарение, которое было в театре.

Мы все помним дивные образы, которые создавал талант этого гениального артиста. Создавал в недостижимом совершенстве.

Я помню его юным богатырем. Какой силы жизни был этот человек!

При мне зрела быстро его творческая сила.

Я никогда не видал более веселого и жизнерадостного человека.

С самого начала его артистической карьеры мне пришлось быть с ним почти неразлучным, как в театре, так и в жизни.

Он сделался приятелем и моих друзей-художников — Серова, Врубеля, Поленова — и моих друзей-охотников, которых я часто описывал в моих рассказах.

Шаляпин часто гостил у меня в деревне во Владимирской губернии.

Веселое было время!

Мы ездили с ним на мельницу, на озеро, по реке, жгли костры ночью в лесу, ловили рыбу, и художник Серов часто бывал с нами.

Шаляпин любил купаться и великолепно плавал. Мельник Никон Осипович, тоже огромного роста и богатырского сложения, добрый старик, очень любил Шаляпина.

Мельница была бедная, а Никон Осипович ранее был старшиной в селе и пел на клиросе.

Приезжая на мельницу, я ставил палатку на лужке у реки.

Слуга у меня был Василий Княжев — серьезный человек, рыболов и бродяга. Вот в этой палатке мы и жили.

Серов не был охотником, но любил ездить в моей компании и любил Шаляпина. Серов был большой юморист и часто переходил с Шаляпиным на «вы», когда Ф.И. увлекался в рассказах.

У столика на столбиках, где ольха отражалась в кристальной воде, стоял самовар, закуски, где поднималась насыпь, на которой высился огромный, как гребень, еловый лес, где шумели колеса мельницы, летали стрижи, бороздя тихую, как зеркало, воду крылышками, Шаляпин, поймав большого шереспера, весь бледный, дрожащими от волнения руками хотел посадить его в сажалку. Но шереспер, выскользнув из рук, ушел в воду; Шаляпин бросился за ним в омут и, вынырнув, кричал, глядя на меня:

— Это что же у тебя какие сажалки. Черт его теперь поймает.

— Трудно вам его будет поймать, — сказал Серов, смеясь.

Шаляпин вылезал на берег расстроенный, весь в тине.

— Ну и горяч ты, парень, — говорил Никон Осипович.

Шаляпин снимал мокрое платье, а Василий Княжев стаскивал с него сапоги.

Никон Осипович принес новую рубаху, портки, валенки. Шаляпин все-таки был не в духе и продолжал повторять:

— Как он у меня выскочил. У тебя же дыра мала в сажалке.

— Успокойтесь, Федор Иванович, — говорил Серов.

— Да чего же, — сказал Княжев, — еще пымаете.

Шаляпин понемножку пришел в себя. Пил чай у столика с Никоном Осиповичем. Закусывал и все же немножко негодовал, как будто мы были виноваты, что у него выскочил шереспер.

На другой стороне реки, против палатки и столика, я и Серов писали с природы на холсте. А Шаляпин с Никоном Осиповичем потчевались за столиком. Пили водочку, и Никон Осипович пел Шаляпину «Лучинушку», и Шаляпин ему подпевал. А потом ушел в палатку и спал до вечера.

Никон Осипович подошел к нам.

— Эх, — сказал, — ну и парень хороший Шаляпин, только горяч больно. Казовой парень. Выпили с ним, конечно, он меня и спрашивает: «Спой-ка, — говорит, — песню, каку знаешь, старую». Я ему «Лучинушку» и пою, а он тоже поет.

— А как же, ведь он певчий, — сказал я.

— Э!.. То-то втору-то он ловко держит. Ну и голос у него хорош, мать честная, вот хорош. До чего есть, так вот прямо в нутро идет; так пою я, не сдержался, плачу.. Смотрю-ка, гляжу, и он плачет. Вот и пели. Ишь чего, певчий! Где же он поет-то?

— В театре, — говорю.

— А жалованья-то сколько получает?

— Сто целковых за песню получает!..

Никон Осипович пристально посмотрел на нас с Серовым и сказал, рассмеявшись:

— Ну, полно врать.

Шаляпин показался у палатки и смотрел, как Василий Княжев варил уху и говорил:

— Чего тужить, Федор Иванович. Ведь шереспер — рыба дрянь, скуса нет. У нас здесь налимы, окуни, — это уха.

— Шереспер-то не дурак, — сказал Серов.

— Ты знаешь ли, Константин Алексеич, — кричал Шаляпин через реку. — Вот здесь вот, у леса, я построю себе дом.

— Это казенный лес, тебе не дадут здесь построить.

— То есть почему же это, позвольте вас спросить?

— Потому что не дадут, казенную землю купить нельзя.

— Слышишь, Никон Осипыч, ведь это жить так нельзя!

— Позвольте, — обратился опять к нам Шаляпин, — я подам на Высочайшее имя прошение.

— Царь не имеет права поступить не по закону.

— Антон! — крикнул он Серову. — Ты слышишь, что Константин говорит?

— Константин прав, — сказал Серов.

— Ведь это черт знает что такое. В этой стране жить нельзя.

— Арендовать можно, — сказал Василий Княжев.

— Арендовать я не желаю. Потом отберут.

И Федор Иваныч опять сердился, скинул валенки, портки, рубашку и полез купаться.

— Вы опять за шереспером? — спросил Серов.

Переплыв реку, Шаляпин вылез и подошел к нам. Смотрел, что мы написали.

Освещенный заходящим солнцем на фоне зеленой ольхи, он был торжественно-прекрасен.

Могучая фигура, дивной красоты сложения!

И он умер. Умер.

Где найти слезы, чтобы выплакать горе...

Бочка с водой

Весь сад мой покрылся, как пухом, зеленью. Утреннее майское солнце весело и раздольно освещало розовыми лучами долины и леса.

От дома моего в деревне ложилась тень, и блестел зеленым бисером малиновый сад. А на углу, в тени дома, стояла большая бочка, полная дождевой воды. В бочке вода отражала синее небо.

Прятели мои, проходя мимо бочки, остановились.

— Посмотрите, какая вода, — совсем синяя.

— Чистая, дождевая.

Коля Курин наклонился над полной бочкой, вытянул губы, напился воды и, вытирая рукой рот, сказал:

— Замечательно. Ведь это небесная вода. От дождя.

За Колей выпили и другие.

— Дождевой водой умыться хорошо, от веснушек помогает, — сказал доктор Иван Иванович.

Прятели решили, кстати, и умыться из бочки. Взяли полотенце, мыло. Весело умывались. Доктор Иван Иванович вскрикивал:

— Хорошо!

И белые глаза его закатывались от удовольствия.

— Скажи, отчего это у тебя, — спросил приятель Вася, — один глаз смотрит на нас, а другой в Арзамас?

— Это с детства у меня, после скарлатины, — ответил доктор.

Прятели весело собирали на грядках парника свежие огурчики, салат, укроп, редиску, приготавливая к завтраку.

Ах, как хорошо в мае на террасе у сада пить чай с деревенскими лепешками, огурцами, редиской, белорыбицей...

* * *

Хорошо закусив, приятели ходили у дома, посмеиваясь, и уж солнышко было к полудню. Вдруг Коля Курин, смотря в бочку и уж вытянув губы, чтоб напиться воды, крикнул:

— Посмотрите-ка, какие бациллы...

Бочка уже не была в тени, а освещалась солнцем, и, когда мы подошли, мы действительно увидели, что вода в ней кишмя кишит мельчайшими какими-то насекомыми. В ней плавало, быстро прыгая, бесконечное количество каких-то белых блох... Вертелись тончайшие змейки и извивались отвратительные личинки...

— Что же ты ничего не сказал? — кричал приятель Ивану Ивановичу. — А еще доктор... Ведь это черт знает что. Может быть, это зародыши солитеров или пиявки.

Иван Иванович, прищурившись, посмотрел в бочку и сказал:

— Гм... вода-то застоялась, при солнце и видно всякую дрянь.

— «Всякую дрянь»... — передразнил Василий Сергеевич. — Может быть, она ядовитая — ничего не знаешь.

Прятели разволновались.

— Ты хвалил воду! — кричал ему Василий Сергеевич. — Вот теперь что будет — неизвестно. Получишь какой-нибудь вертыш, или перитонит, или рак...

— Дурака получишь, — сказал кто-то.

— Бросьте шутить, — кричал Василий Сергеевич, — дошутитесь, погодите... И всякий раз, когда к вам, Константин Алексеевич, ни приедешь, всегда черт знает что выходит!..

— Волосатик тоже попадает, — сказал Константин — рыбак, принесший мне в корзинке налимов. — Волосатик — это беда... Горохов до чего мучился, он у него, волосатик-то, ушами пошел. Кричал до чего!.. Ну и, конечно, помер...

— Благодарю вас, — кричал Василий Сергеевич, — благодарю.

— Ведь не видно в тени-то было, — говорил медленно Коля Курин, — я бы не пил. А сейчас у меня, Иван Иванович, как муравьи внутри ползают...

— Что ж ты молчишь? — бесновался Василий Сергеевич, глядя на Ивана Ивановича.

— Где у вас аптека-то? — невозмутимо спросил Иван Иванович.

Все пошли в дом.

Иван Иванович стал перебирать лекарства — пузырьки, порошки — и спросил у меня:

— Где же у вас касторовое масло?

— Касторовое масло было, — процедил мой слуга Ленька, — только ручной барсук его все съел.

Послали Леньку верхом в Караш за касторовым маслом.

Иван Иванович насыпал в графин с водкой перцу, еще какие-то порошки, накапал мятных капель и чуть ли не глазных.

— Что же ты, черт, глазные капли наливаешь? — сердился Василий Сергеевич.

— Безвредные... — ответил доктор.

Бурда вышла невероятная, но все пили ее серьезно и внимательно.

А кстати, «перед смертью» закусывали балыком.

Иван Иванович подходил к каждому, подводил к окну, отворачивал пальцем веко и говорил: «Зрачки хороши, сужения нет, значит, отравления нет».

А Василий Сергеевич, когда доктор исследовал его глаза, сказал Ивану Ивановичу:

— Отчего у тебя, Ванька, самого один зрачок маленький, а другой — большой?

Иван Иванович снял со стены зеркало и долго и озабоченно разглядывал у окна свои глаза.

Привезли касторовое масло, целую бутылку. Приятели, решив, что пить его так невозможно, мешали касторку с ромом и коньяком. А Василий Сергеевич — с вишневой наливкой.

Выпили порядочно. Так что в «предсмертные часы» довольно-таки развеселились и пошли посмотреть в бочку с «инфузориями». И нашли их не такими уж отвратительными.

Изловив их, смотрели на них в лупу и вновь ужасались.

— Смотрите-ка, — говорил кто-то, — у этого клещи, а морда до чего противная.

— Где ты морду видишь? — оборвал его другой. — У него ни морды, ни головы нет.

Коля Курин подошел ко мне и сказал:

— Какая гадость. И зачем все это сотворено? Понимаешь, брат, у меня внутри все ползает что-то. Это, брат, бациллы.

— Это не «что-то», а личинки комаров или мух. Меры все приняты, и ничего не будет, — внушительно сказал доктор.

Тетушка Афросинья, стряпая обед на кухне, услышала о беде приятелей и, смеясь, говорила:

— Эх, Господи, и чего это Павел Лександрыч. Конечно, ваше дело барское, а мыто по грибы ходим, взопреешь, и рада луже. Напьешься, и все тут. Я из этой-то бочки каждый день пью, и хранит Бог. Вода и вода. С молоком, гляжу — чего это, думала, пенки, а чего-то во рту шевелится. Гляжу — улитка большая, скользкая. Вот о которой говорят: «Улитка, улитка, высунь рога — дам тебе пирога». Вот ее-то я и съела. Да ведь попадает. Не дай Бог, мыша в молоко-то. Ну уж глядишь, чтобы мышь не попала. А доктор, Феоктист хворал когда, — так доктор ему есть ничего не велели. Феоктист два дня не ел и говорит: «Этак-то я не жравши совсем помру». И пошел к объездчику лесничему — меду к чаю попросить, а у того минины. Дочь-мининница.

Он и забыл, что доктор-то велел, да домой-то пришел выпивши шибко — наиме-нинился досыта. Болеть-то как рукой сняло. Вот ты и скажи тут что!

На другой день приятели стали забывать тревогу. И только доктор Иван Иванович с утра все разглядывал у окна свои глаза в зеркало. А за завтраком не прикоснул-ся к настойкам и даже к настойке из березовых почек...

Песочек

Жили мы с приятелем моим Абрашей Барановым во Владимирской губернии у леса и речки. Деревня в шесть дворов называлась Грезино.

И приехал к нам как-то вечером крестьянин Савинов. Был он из Порецкого. Привез нам огурцов, капусты, моркови со своего огорода, ну из убоины кое-что: свинины, баранины, кур, яиц. Любил Абрашу и меня.

— Вот ведь что, — сказал Савинов, — когда лесом, бором монастырским ехали, все ж жуть брала.

Боялся Савинов разбойников.

— Какие теперь разбойники? Это допреж были, — сказал дедушка Гаврила Иванович, у которого мы жили в доме.

— Как! А Чуркин-то ходит? Это не разбойник вам?

— Так это не здесь ходит, а далеко за Владимиром, в мурманских лесах.

— Не говори, есть разбойники. Досаживали меня. От них я натерпелся. Поотстали. Я и во Владимир-то перестал ездить через лес.

Странно: среди лесов владимирских, деревень часто приходилось слышать о разбойниках, о злодеях, убийцах.

Ни мне, ни приятелю моему Абраше не приходилось с ними встречаться. Но почему-то нам — возвращались ли мы с охоты или ехали в телеге лесом ночью — всегда бывало как-то боязно, жутко.

И почему — неизвестно.

За вечерним чаем и закуской Савинов сказал нам, что он останется у нас ночевать: видно было, что ему очень не хотелось возвращаться ночью к себе домой.

Я попросил его:

— Расскажи-ка, как это разбойнички тебя одолевали.

— Да ведь как?.. Вот как, — начал рассказ Савинов. — Ездят от нас, соберется кто-нибудь во Владимир на базар. Ехать приходится в ночь, чтобы к утру попасть к базару. Ну и едут — кто с чем. Кто с капустой, с хлебом. Кто баранину везет, а кто гусей, курей, теленка. Ну, и послал меня однава отец тоже. Был я парень лет шестнадцати. Давно то было. В те поры этих самых левольвертов не было. Да и теперь их не берем: еще убьешь кого!.. Хоша и разбойник, ну, засудят — отвечай. Да и у разбойничков-то тоже их нет. Где ж ему купить левольверт — двадцать рублей отдать? У него ежели рубль есть, он слабый человек — пропьет. И говорит мне отец:

«Ты, — говорит, — возьми в карман песочку сухого, насыпь в карман. Ежели к тебе какой дорогой подойдет, будет просить — “подвези”, а то табаку попросит вскурнуть, ты, значит, ничего не говори, возьми в кармане горсть песочку да прямо ему в глаза песком-то и брось. Вот он и отстанет. А ты лошадь хлещи и утекай».

Да еще в песок-то отец мне нюхательного табаку подсыпал.

Ну, собрался я ехать в ночь в Володимир и, подумав, взял веревку и сделал петлю, вроде как аркан. Ну, значит, еду... Ночь. Один. Месяц сбоку светит, лесок частенький. Значит, на мостик въехал. Через канавку мостик-то, а из-под мостика и вышел паренек, такой лохматый. «Э, — думаю я, — это разбойник». Прямо на меня идет, лошадь за узду взял.

— Постой, — говорит молодец. — Нет ли у тебя папиросочки, покурить охота мне давно...

— Во, — говорю, — на, табак есть.

Он подходит ко мне, а я ему хлясь в морду песочком-то. Он сейчас же за глаза руками ухватился. Эх!.. Да и завыл. А я лошадь кнутом, кнутом да от него.

Он орет:

— Ну, погоди... Не уйти тебе, убью...

А глядеть не может — в глазах песок, да и табак глаза ест. И вот ругается, вот ругается... А я еду дале и еду. Ну, думаю, отстал!.. Далеко отъехал. Лошадь-то поустила, вскачь неслась. Месяц за тучку ушел... Чу! Вдруг слышу, бежит кто-то за мной. Я опять вскачь... Догоняет... Он!.. Я взял веревку да на него петлю и набросил. Он споткнулся. Бежит. А я тяну веревку, а сам еду, да к колесам его. Он о колеса-то бьется, да упал. А я к колесам, мордой-то его в колеса... Вот он воет!.. И замолчал... Остановился, смотрю, вроде он помер. Морду-то всю разворотило. Я бросил его и веревку, а сам айда, гоню лошадь.

С базара днем вернулся домой. Дорогой его не было. Рассказал отцу. Тот говорит: «Эх, паря, он тебя заметил, как тебе теперь ехать?» — «Ничего, — говорю отцу, — бабой оденусь». Ну, и что ж? Выдумал: сколотил из досок гроб, туда и клал товар. А сам что ни на есть бедной старушкой одевался, а лошадь брал клячу, не свою. Ну, так и ездил. Никто и не приставал. Кому покойник нужен?.. Да еще и бедный? Только вышло раз дело во какое...

Еду я это, гроб у меня, а напротив едут двое в тарантасе и говорят: «Стой!» А я согнулся, рожу в повязку опустил. «Стой!» Один-то, видать, городской, а другой не то начальник в мундире, чиновник, на шапке кокарда.

— Что это ты, — говорит, — гроб-то везешь? Открой, — говорит.

Я взял да им обоим в морду-то песочком запустил — и айда. Проехал версты две. Слышу — знать, они за мной едут. Я с дороги в сторону, в лес, лошадь и телегу спрятал за елками. Они-то по дороге мимо и проехали... Ну, с тех пор полно на базар ездить.

— Ну как же это ты с гробом из деревни выезжал? — спросил я. — Поди, все дивились?

— Так я его в деревне-то рогожей, сеном покрывал. И вот, — продолжал он, — как еду теперь лесом ночью, вот хоша бы к вам, — песок беру. Молодости нет, удалости-то мало стало. Боязно стало лесом ездить. И попал однаво тоже. Вот у Лемешков четверо ко мне подошли. Один за узду лошадь взял. Трое подошли ко мне:

«Давай, — говорят, — покурим».

А я думаю, что делать? Взял, вынул кошель, раскрыл, да и говорю: «Давай ладонь!» — а у меня все медяки. Считаю — пять, десять, двадцать. Всего трешнину насчитал. Говорю: «Вот, бери. Тут и на вино будет».

А они:

«Вот спасибо, — да прямо в землю кланяются. — Вот, — говорят, — выручил, дай Бог здоровья. Эх человек какой! От злого дела нас спас. А мы-то, — говорят, — беглые, из тюрьмы убежали».

— Ну, теперь-то уж не поездишь с песочком... Стара штука, надо револьвер брать, — посоветовал Абраша.

— Как — револьвер? — сказал дедушка. — А убьешь... хоша и вора, всю жисть мучиться будешь. Нет, песок все ж лучше. Тяжкое дело убить — как жить опосля? Пропадет и смех, и веселье, — радости в жисти не будет.

— Ну, вот вы послушайте-ка, что вышло, — продолжал Савинов. — Значит, и в Володимире, и у нас в селе, и по округе только и разговору, что, говорят, живой покойник в гробу сидит на телеге и на тройке по дорогам катается и всем, кого ни встретит, песочком могильным в морду сигаает и слепит всех. Так сам губернатор володимирский казаков с саблями по всем дорогам послал. Приказал, значит, казакам изловить этого самого живого упокойника и представить в город. А ежели не будет даваться, то сабелью зарубить — не настоящего, значит, упокойника, чтоб не озорничал.

Много времени прошло с тех пор, так этот самый упокойник я самый и был. Ну и полно, — с тех пор и в Володимире не был, и базар забыл.

— А кто же, не узнал ты, — кто эти двое были, которых ты песком-то угостил? — спросили мы.

— То-то, что говорили — земские будто они. Это от них все и пошло, от земских, значит. Уж очень осерчали на меня... Так ведь и правильно: никому песочек-то эдакий не понравится!..

«Петушок»

Сегодня погожее утро. Радостно светит из-за елок майское солнце. Тепло.

Встал я с постели и шел неодетый на террасу.

Утренняя свежесть льется внутрь, как нектар душистый. В саду большие тени лежат по траве и дорожкам, а птицы так и заливаются. Малиновый сад за частоколом горит свежей зеленью.

Тетушка Афросинья выпускает корову из сарая. Впереди стада бегут овцы краем дороги. Стадо спускается вниз, к речке.

Как восхитительно майское утро. Господи, до чего хорошо жить на свете.

Вдруг слышу зычный голос Василия Сергеевича:

— Я тебя когда-нибудь умою. С вечера, скотина, берут сапоги чистить, а не утром.

Спозаранку будишь, скотина.

Ленька, мрачный, заспанный, несет мимо меня сапоги приятелей.

— Ленька, — говорю я, — дай сюда самоварную трубу.

— Сейчас, — отвечает Ленька и приносит самоварную трубу. Держит ее в руках передо мной в недоумении.

— Ну, что смотришь? — говорю я. — Вот отсюда бросай ее в стену: раз, потом опять — два, три. Ну что ты, ну давай сюда.

И я бросаю трубу в стену.

Все приятели сразу просыпаются. Гофмейстер с испугу выходит первый на стеклянную террасу.

— Скажи, пожалуйста, — говорит он, — что это за звон такой?



Дом К.А. Коровина
в Охотине.
Построен в 1915 г.
по проекту самого
художника.
Фотография
первой половины
XX в.

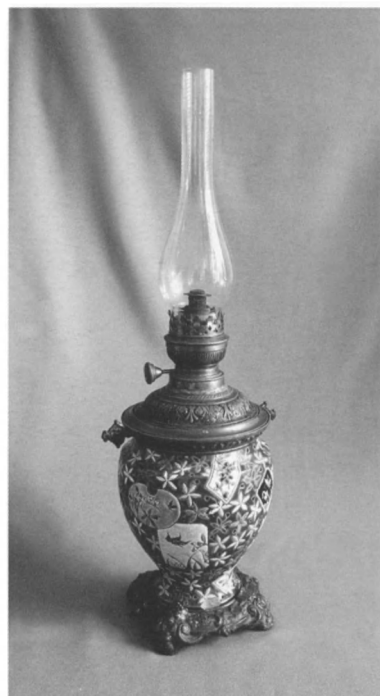


Дом К.А. Коровина
в Охотине.
Современная
фотография



С.А. Виноградов. Охотино. Интерьер

К.А. Коровин, П.А. Суворов с женой.
Охотино. 1921



Керосиновая лампа
из дома К.А. Коровина в Охотине



К.А. Коровин за работой.
Справа стоит П.А. Суворов.
Охотино. 1921



К.А. Коровин.
За чайным столом.
1888





Охотино. 1921



Окрестности Охотина. 1921





Дача Ф.И. Шаляпина (недалеко от станции Итларь).
Фотография начала XX в.



У костра. На переднем плане: в центре — стоит К.А. Коровин, слева — сидит Н.А. Соколов, справа (с ложкой) — Ф.И. Шаляпин. 1905



После охоты. В центре: К.А. Коровин; слева от него: Ф.И. Шаляпин;
справа: учителя со станции Итларь — Рябов и Казинов Ратухино. 1911



Мельница Новенькая на реке Нерли.
Фотография начала XX в.

КОНСТАНТИНЪ КОРОВИНЪ

ШАЛЯПИНЪ

ВСТРѢЧИ И СОВМѢСТНАЯ
ЖИЗНЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВОЗРОЖДЕНИЕ“ — „LA RENAISSANCE“
73, avenue des Champs-Élysées, Paris-8^{ème}
1939

Титульный лист книги К.А. Коровина
«Шаяпин. Встречи и совместная жизнь».
Париж. 1939

Приезд в деревню. Слева: возчик Батранов;
справа: художник С.А. Виноградов и Ф.И. Шаяпин



К.А. Коровин
с художником Гиппелем. 1922



Вставай скорей,
Довольно спать... —

пою я как бы для себя.

— Что это делается? — кричит Василий Сергеевич, выбегая на террасу.

— Это Ленька, — говорю я. — Сами вы купаться хотели. Павел Александрович приказал будить.

— Ну послушай, ты, знаешь, брось эти пошлости, — рассердился Павел Александрович.

— Вы так распустили вашего Леньку, я ему ужо уши оборву, — закричал Василий Сергеевич.

— Ну посмотрите, утро какое. Ведь это майское утро. Посмотрите. Ну что дрыхнуть? Такое утро проспять — значит, в Бога не верить... — убеждаю я приятелей.

— А ведь он прав, — подняв высоко брови и смотря на всех рачьими глазами, сказал Павел Александрович.

Приятели мои были хорошие, покладистые люди. Только Коля Курин спал крепко — трудно было разбудить. Говорил, что это у него вследствие переутомления, и будить его помогал «петушок». Это просто перышко из крыла петуха. Если пустить его в нос спящему, то тот сразу просыпается. И безо всякого вреда для себя.

«Петушка» этого Коля терпеть не мог. Но ничего не поделаешь.

«Петушка» ему в нос пускал Ленька. Николай Васильевич вскакивал и кричал:

— Как ты смеешь?

А Ленька отвечал:

— Приказали будить.

— Тьфу!..

И Николай Васильевич, что-то сердито бормоча себе под нос, начинал одеваться.

* * *

Кстати, не всякого из нас можно было будить «петушком».

Меня, Колю Курина, Юрия Сергеевича, охотника Караулова, доктора Ивана Ивановича будили таким способом, не стесняясь. А вот гофмейстера как-то не решались. Чин, что ли, тут мешал, годы ли, только «петушком» не будили.

Или Павла Александровича. Чего, уже, кажется, приятель, а нельзя было: до невозможности обидится и уедет.

Был у меня еще приятель. Тоже большого чина — хороший человек. Того можно было «петушком», но нужно было на столе перед ним заранее ставить бутылку удельного красного вина. Когда ему перо в нос воткнут — он проснется и в гневе безмерном орет. А увидит бутылку — отходит. Нальет и выпьет натошак.

А вот, Царство ему Небесное, когда гостил у меня деревне Ф.И. Шаляпин, будить его никто не решался. Говорили:

— Сейчас рукой ищет он сапог, чтобы в тебя пустить, или бутылку: что под руку попадет. Еще убьет.

А будить самоварной трубой для коллективного пробуждения — научил крестьянин-охотник, Герасим Дементьевич.

Войдите в мое положение: приятели, конечно, друзья, но один встает в семь часов утра, другой в десять, а третий — в полдень. Каждому самовар подогревай. Да и яичница стынет, и олады тоже.

Гостили у меня еще и родственники — люди молодые, студенты. Наговорятся за день, наспорятся и дрыхнут.

Тех «петушком» не будили — не связывались. Те утром кто как просыпались. И сейчас же в спор вступали со всеми, на все лады социализм склоняли. Им все равно — что есть и что пить. В них с утра одержимость идеями играет. Они не были охотники. П.А. Сучков, бывало, скажет им:

— Идите спорить на реку, в купальню.

Ну и хорошо. Они там, в купальне, и спорят.

* * *

В прекрасное майское утро чай всегда на террасе. Сливки, оладьи горячие, творожники, баранки, сушки с солью, просфоры от Троице-Сергия.

Приятели откупают чай, ну, а потом начинается жизнь. Кто — что. Принимаются за дела. Кто берет корзинку, идет собирать грибы. Василий Сергеевич приспособляет рыболовные снасти...

Но не все ровно выходит в жизни. Бывают неожиданности. В то майское утро, только подали чай, сторож со станции телеграмму принес.

Сторожу поднес стаканчик водки и закусить.

Раскрыл, читаю телеграмму. «Что такое?» — думаю.

«Целую, приеду — Нана. “Фифи”».

«Что за черт», — думаю. Показываю Павлу Александровичу. Тот читает и говорит:

— Какие пошлости!

— Вздор! Все у тебя какой-то вздор.

Коля Курин читает и пугается. Говорит:

— Знаешь... Я, брат, знаю ее. Ну ее к черту. Это, брат, несомненно, мне телеграмма.

— Нет, позвольте, — говорит Вася Кузнецов, — это телеграмма мне. Только, знаете, странно: я ей, помню, адреса не давал... Это из «Золотого якоря» певица. Да... кажется, Фифи. Это Ванька знает.

Доктор Иван Иванович озабоченно осмотрел телеграмму. Перевернул, посмотрел адрес и сказал:

— Это мне телеграмма. Пациентка, истеричка. Любит, чтобы ее осматривали доктора. Она себя называет Фифи, Нана. Годы у ней уж такие — любит лечиться. Однажды жена подслушала. Что было! Я ей говорю: «Истеричка», а она говорит: «Врешь. Ты за ней волочишься». Ну что тут скажешь!..

Доктор вконец огорчился: день-то какой майский, а всякое удовольствие испортят! Ах, эти женщины!..

— Да нет же! — раздраженно прервал его Василий Сергеевич. — Это Нана из «Золотого якоря». Я же знаю. Косища — вот!.. — показал он ширину косы.

— Ну, таких, брат, не бывает кос, — сказал Коля. — Это, брат, не та. Это Фифи Приставала. Она тоже певица. Уроки все берет. Голосу никакого...

— Это, значит, ты адрес-то дал? — спрашиваю я.

— Нет, брат, я только сказал, что еду к тебе. Адрес, должно быть, Анфиса сказала.

— Ведь она «целую» пишет, — говорит приятель Вася.

— Да ведь это так. Она артистка. Они часто пишут «целую», чтобы нежней выходило.

— Кинстин Лисеич, — слышу, кричит тетенька Афросинья, — выйдите-ка. Я вышел в коридор.

— Я пошла на речку, — говорит Афросинья, — самовар песочком почистить. В купальне-то вот дерутся, вот ругаются. И чего это? Прямо до ужаси. Чего бы не было, сохрани Бог...

— Ничего, — говорю, — пускай. Молодой народ.

...А приятели мои послали для верности три телеграммы и Фифи, и Нана: получив, мол, телеграмму, уехали в Москву...

Колодезь

Годы, что ли, уж такие преклонные, что все вспоминается, как жили прежде, и кажется, что все прежде было хорошо, или душа не хочет помнить все горе, которое переживалось, только рад вспомнить всегда то, что любил, что радовало жизнь и давало веселье — эту живую награду неба.

И все вспоминаю я свой дом в деревне. Место было глухое, на горке, большой сад, огромные ели, березы, липовая аллея, клен, малиновый сад, огород и гряды с ягодами.

У меня была лошадь, корова, свиньи, баран, козел, ручной заяц и много кур, индеек, гусей, уток и три десятины земли.

Горка была песчаная. Когда стали рыть колодезь — рыли долго. Все был мелкий песок, и только на двадцать четвертом аршине показали вода.

Вода кристальная, ключевая. Прекрасная. Но колодезь имел и еще одно свойство. Бывало, приятели смеются, умываясь у колодца, а в колодце на дне кто-то тоже смеется.

В колодце было эхо.

Скажешь, бывало, в колодезь:

«Эй, ты, что ты там делаешь?»

А эхо отвечает:

«Что ты там делаешь...»

И голос эха был такой ласковый, чистый, юный, молодой.

Даже Ф.И. Шаляпин, гостя у меня и умываясь утром у колодца, пел в колодезь и потом говорил:

«Какое красивое эхо».

От постройки дома остались у меня водопроводные трубки. И пришло мне в голову подшутить над приятелями.

Взял я, около колодца прорыл пониже песок и провел глубокую канавку к сараю, который был неподалеку.

Часть трубки спустил аршин на пять в глубь колодца, а другой конец по канавке провел в сарай.

Приятели приехали. Юрий Сергеевич Сахновский, доктор Иван Иванович, Арсений Корещенко, Василий Сергеевич, Коля Курин и Павел Александрович Сучков с Шаляпиным — два приятеля, хотя и совершенно противоположных взглядов на все.

Уж тетюшка Афросинья и наготовила пирогов, нажарила индюшек и кур!

Рыбак Константин поставил мелкую сеть и наловил сотни раков, которые любил очень Федор Иванович Шаляпин.

Для раков было специальное пильзенское пиво.

Вообще, было неплохо, что и говорить. В беседке у меня пили чай, ели ягоду — клубнику со сливками, землянику. На реке ловили рыбу.

Угощая приятелей, забыл я про колодезь. Только утром, смотрю, после умывания у колодца, идут приятели к чаю в недоумении и кричат в коридор:

— Но что же непонятно. Это же не эхо.

И Шаляпин, входя, говорит мне:

— В чем дело, что у вас с колодцем, Константин Алексеевич? Это же черт знает что такое...

— Это всегда что-нибудь у него. Каждый раз... — говорит, негодуя, Павел Александрович. — Всегда вздор и пошлости...

Приятель Вася Кузнецов хохотал, зажмурив глаза, и все повторял: «Ну и колодезь!..»

Тут я вспомнил, что я наказал слуге Леньке и охотнику Герасиму, что когда придут приятели и будут у колодца пытаться эхо, чтобы те из сарая в трубку отвечали, что на язык взбредет, но только посердитесь.

«Ладно», — согласился тогда Герасим, посмеиваясь.

— Какое же это эхо? Это не иначе, как туда посажен кто-нибудь насмех... — обижался Иван Иванович. — Я не кто-нибудь, я оставлен при университете приват-доцентом, а он меня из колодца так и этак. Это уж, я скажу, не шутки, это уже чересчур...

«Что такое? — подумал я. — Что-нибудь Ленька надерзил».

— Пустяки, — говорю, — ерунда. Может быть, кто и залез в колодезь.

— Ну-ка, пойдем, — сказал Павел Александрович. — Интересно, что он будет тебе говорить.

— Ленька, — позвал Павел Александрович.

Вошли Ленька и Герасим.

— Дай-ка якорь и веревку, — сказал Шаляпин, — мы посмотрим, в чем дело, какого сукина сына туда, в колодезь, посадили.

Взяли якорь и веревки и пошли к колодцу.

Василий Сергеевич так и заливался смехом.

— Такого колодца нигде нет. Что делается! Колодезь пустой — и кто говорит, неизвестно.

Подошли к колодцу. Сначала долго смотрели на воду, потом друг на друга. Потом доктор Иван Иванович, наклоняясь в колодезь, громко сказал:

— Послушай, любезный, что ты там?.. — и закашлялся.

Слышно было, как эхо ответило кашлем. Вдруг громким басом кто-то сказал из колодца:

— Доктор, а кашель-то у тебя акцизный, с перепоею...

— Слышите?! — обернувшись к нам, сказал Иван Иванович. — Какой голубчик там сидит...

— Постой, — перебил Павел Александрович и, подойдя к колодцу, крикнул в него:

— Вылезай, в последний раз тебя кличу, не то...

— Вот я тебя покличу, — ответил колодезь басом. — Вот постой, вылезу да морду тебе натычу...

— Что? Слышите? — сердился Павел Александрович. — Какой хам, какое наглое животное! Слышите?

— Ну, Юрий, спроси-ка ты чего-нибудь, что зря стоишь, — сказал, смеясь, Василий Сергеевич. — Или ты, Николай.

— Ну его к черту... Надоело...

А Коля, нагнувшись, спросил в колодезь:

— Любезный, скажи-ка...

— Что говорить, — ответил ему голос из колодца, — вы бы, Николай Васильич, хоть бы гульфик застегнули...

Приятель Коля, отойдя от колодца, стал осматривать себя и застегнул гульфик.

— Ну и ловко устроено, — удивлялся Шаляпин. — Знаешь, я не могу догадаться, как это сделано.

Он засмеялся, посмотрев на меня.

— И, Господи, что это вам колодезь дался? — сказал, подойдя, сторож дома моего, дедушка Трифон. — Афросинья тужит — пироги остынут. «Пойди, — говорит, — позови господ, а то чего они от колодца одурели вовсе...»

Корощенко опять чего-то крикнул в колодезь, но колодезь замолк, и только позднее эхо ласково повторило звук.

За столом, выпивая и закусывая расстегаями с рыбой, Шаляпин весело говорил:

— А ловко колодезь придуман. Ты знаешь, Константин, у меня в Москве, в доме, колодезь у гаража, надо это там устроить. Я репортеров буду посылать с колодцем разговаривать. Я такого сукина сына найду и посажу туда, что не обрадуются. Обухов и дирижеры тоже узнают колодезь. Что газеты писать будут!

Федору Ивановичу явно понравился мой колодезь, хотя поначалу он и рассердился, когда колодезь ему сказал, что на чай не любит давать.

* * *

Вечером я писал с природы недалеко, с краю сада. Вдруг вижу, как Шаляпин направляется ко мне. Подходя, говорит смеясь:

— Понимаешь ли, хорошо ты колодезь устроил! Подошел я сейчас к колодцу и слышу, как в нем свинья хрюкает. Думаю: что такое — боров-то в сарае? Я — туда. Вижу — около борова трубка из стены выглядывает. Это непременно у меня надо сделать!..

Колдун

И казалось мне, когда я приезжал в деревню, в свой деревянный дом с террасой, которая выходила в сад, — за садом блестела речка Нерль, — что я приезжал в рай.

За речкой Нерлью шел огромный сосновый лес на сто четыре версты. Назывался Феклин бор.

Какой воздух был от этого бора! Пахло сосной, смолой. А вечером над речкой ложился туман. Здесь стоял запах водяных лилий и желтых кувшинок. Кричал коростель, и заливались соловьи. Конечно, это и был рай.

Земли-то у меня было три десятины всего. А что только на ней не росло! И малина, красная и черная смородина, и клубника, крыжовник, земляника, черника, костяника, ландыши, фиалки, розовая дрема.

В саду жила иволга. Поутру трещали веселые сороки, влетали в кухонное окно на стол, растопыривали крылья, поднимали хвосты, клевали мне руки и тетушке Афросинье. Больно клевали. Кричали: «Давай есть». Так обнагтели. Скоро привыкали птицы в саду моем. На террасе горлянка свила гнездо и ворковала по вечерам.

— Это у тебя оттого, — сказал Герасим, — стрелять в саду не велишь.

Конец мая — охоты никакой, зато рыбная ловля есть. Василий Сергеевич — главный рыболов — так на реке и пропадал с Василием Княжевым, моим слугой, и приятелями.

Ловили рыбу чуть свет. Возвращались в дом к утреннему чаю.

— Из-под самого берега, под Феклиным бором, смотрю, — говорит Василий Сергеевич, — что-то туда-сюда плавает. Чудно! — так воду и вертит. Я-то на нашем берегу, а это по ту сторону. Я взял большого живца, с большим поплавком, да и забросил. Там как хватит — да под берег. А там, гляжу, норы. Зверина-то — во! — показал он рукой аршина полтора от полу.

— Это что же такое? — удивился я.

— Господи, помилуй, — смеясь, сказал Караулов.

— Чего «Господи, помилуй», я сам видел, и ничего смешного тут нет. Лес на двести верст! Мало ли какое зверье здесь живет.

— Это верно, — встрял в разговор Василий Княжев, — тута всего есть. Помните, налимов-то ловили ночью на Глубоких Ямах. Как орал-то, зверина, чисто бык. И что такое — не поймешь. Володя-то убежал со страху домой.

— Герасим говорит, что это волк так весной орет, пугает.

— Где же волку? Может, лось... А кто знает, может, и леший.

— Ну что же, Вася, — не унимался Караулов, — как это у тебя? Схватил живца зверь этакий, и что же?

— Схватил — и прямо в нору. Ну, значит, леску-то перекусил, и прощай.

— Это выдра, — сказал Княжев. — Она здесь есть.

— Постой, — перебил Павел Александрович, — этим надо заняться. Я иду с острой туда и с того берега бросаю рыбу к норам. Как он выскочит, я его острой р-раз!.. Вообще, терять времени нечего. Идемте на ту сторону, в Феклин бор, и обследуем местность. За мельницей большой обрыв, где речка Ремжа.

— Я был, — сказал Княжев, — круча велика. Там до самых омутов ельник, и что навалило — не пройдешь. Там в омутах и рыба есть. Только не подойдешь — заросло.

«Вот, — подумал я, — я живу здесь, а омутов этих и не видал».

* * *

После чаю приятели собирались идти за речку. Захватили удилица, острогу и ружья, на всякий случай.

Поближе к реке, вниз с горки, где по берегу росла сочная ольха и блестела на солнце осока, была такая красота, что я раздумал идти с приятелями и вернулся домой — захватить холст и краски, писать с природы.

Приятели, переплыв реку на лодке, ушли в лес, оставив лодку на берегу.

Транспарант просвечивающих листьев горел на солнце, и ветви отражались в воде.

Я долго писал с природы, а мой ручной заяц поднимал мордочку, нюхал воздух.

Вернувшись домой, я посмотрел на свой большой написанный этюд. Не было той силы, яркости, которая была в натуре. Не дописал. А солнце скоро уходит, меняет свет по листьям! До чего трудно писать!.. И лес соседний темно-лиловый. Как сделать этот воздух?

Я взял другой холст и отправился опять туда же — писать уже при другом свете. Ольхи на берегу были уже все в тени, а лес, по ту сторону, горел. Я клал на холст кадмий, киноварь, кобальт, и все было слабо перед раскаленным на солнце лесом.

Вдруг заяц, прыгнувший около меня, заволновался. Присел, вытянувшись, поднял уши и смотрел в лес.

С бугорка, из леса, на том берегу показались приятели. Садясь в лодку и увидав меня, Василий Сергеевич крикнул:

— Хороши у вас здесь штучки.

А переплыв реку и вылезая, Василий Сергеевич в совершенном возбуждении подбежал ко мне.

— Вы знаете, что мы видели? Нет, вы не знаете, что мы видели?

— Да, действительно, история странная, — сказал Павел Александрович.

— Это верно, — мрачно подтвердил Княжев, — ведь Кинстинтин Ликсеич ничему не верит.

— Да что же вы видели?

— Колдуна видели, — сказал Княжев.

— Ерунда, — ответил я.

— Вот, не поверит, я говорил.

— Постой, постой, — сказал Павел Александрович.

— Вы понимаете ли, идем по самой круче, где омота на Ремже. Ель седая, валежник, иван-чай. И вдруг видим, так — вроде как пещера. Сеть висит на колышках, крынка и миска стоит, хворост, огонек теплится. На нем котелок. Мы заглянули внутрь — а там сидит старичок, борода седая, козлиная. Сидит в очках и книжку читает. Каков старичок-то?

— Да что же, — говорю, — может, рыбак какой.

— Я и говорю — рыбак, — сказал Коля Курин, — а они говорят, нешто рыбак читает книжки когда? Ну его к черту. Это колдун.

— Не иначе, что колдун, — сказал Княжев, — где ж в такой чапыге жить? Кто пойдет? Нашел место книжки читать. Читало, подумаешь, какой... Видать, что он самый...

— К тому же, заметьте, он на нас взглянул сердито — и ни звука! Продолжает читать.

— Монахом одет, — сказал, подмигивая, доктор Иван Иванович, — а шляпа чудная, соломенная.

— Вася, чего ж ты испугался среди бела дня?..

— Благодарю вас. Он книгу читает, а сам шепчет. Посмотрел на нас и опять в книжку, и опять шепчет. Черт его разберет, что он вам нашептать может.

— Так ведь и видать, что колдун, — сказал Княжев.

— А может быть, это святой, пещерник? — спросил Коля Курин.

— Это откуда же? Здесь монастырей нет, — сказал Иван Иванович. — Святой бы молился, налой, лампадку засветил бы.

И долго спорили о колдуне, которого встретили...

К вечеру, после ужина, приятели пошли на глубокую яму в лесу, ловить на донные удочки, на ночь. Взяли фонарь, топор — рубить валежник для костра, мелкую сеть на раков. Взяли ружье. Я взял холст, фонарь, краски — любил я писать ночь — и пошел на реку.

Уже вечерело. Огромные темные сосны отражались в глубоком омуте, и он казался бездонным. На поверхности тихой воды всплеснула рыба. Заря догорала с краю леса. Но еще было светло. Фонарь не зажигали.

Приятели в отдалении закидывали лески с наживкой. Насаживали на крючки мелкую рыбу, раковые шейки, червей и круглые комочки хлеба, втыкая короткие удилища в отвес берега.

Вдруг на соседнем берегу из лесу к бугорку спустился к реке старичок в соломенной шляпе, в подряснике, неся на плечах сверток удочек.

— Смотри, — подбежал ко мне Василий Сергеевич, — идет. Этот самый.

Подойдя к реке, старик положил удочки на землю, снял шапку, вынул красный платок из кармана и вытер лысину. Потом помахал платочком и сказал нам с того берега:

— Ночью-то хорошо берет язь крупный, только комарье одолевает вот.

— А вы откуда сами-то будете? — спросил Василий Сергеевич.

— Я-то из-под Вепрева, на требу приезжал к мельнику, соборовать тещу. Ну да охоч до рыбы. Тут язь крупный, сейчас на выползня берет.

— Вот так колдун! — сказал Коля.

Приятели молчали.

— Ленька, — говорю я слуге своему, — беги домой, захвати закусочки и выпить, балыка захвати, прыгай в лодку и гони сюда — «колдуна» перевезти и угостить.

— Гм! Странно, — сказал Павел Александрович, — оказывается, священник. А вы все говорите — «колдун, колдун».

— Это Ванька все, — смущенно заметил Василий Сергеевич.

— «Ванька, Ванька»... Да ведь пещера! Сидит, читает да шепчет! Ошибиться можно, — лукаво ответил доктор.

Штрихи из прошлого

Главная из особенностей многочисленных русских городов, раскинутых по бесконечной России, описанных многими даровитыми писателями, была скука жизни и быта. Но особенность, о которой я хочу сказать, несколько иная. В городах этих были театры.

Театры были потребностью жизни. И если в этих театрах не всегда были гастролеры и приезжающие труппы оперного или драматического состава, то находились в этих городах любители, которые справлялись с трудными задачами исполнения, и проходили прекрасные любительские спектакли.

Это не так просто. Значит, находились люди, относившиеся с любовью к искусству, что говорит о душевных намерениях высшего порядка.

Великий Гоголь родился в украинской глухой провинции и восхищенно написал свои чудные произведения.

А вот Ф.И. Шаляпин — величайший русский артист из города Вятки — провел свою юность в Казани, в суконной слободе, и сохранил в себе сердце с великой любовью к искусству.

Не потому ли, что у нас в каждом городе был театр? Не будь его — не было бы Шаляпина. И остался бы он типом суконной слободы.

Какое надо иметь постижение и какими законами воли или чуда артист этот в совершенстве овладел созданием образов, подаренных нам великими композиторами земли русской!

Русский народ любил театр и восхищался исполнениями произведений иностранных и своих авторов. «Кина», «Кориолана» смотрели в Иркутске и в Ростове.

«Лес» Островского знали во всех городах. Аркашку и монолог Несчастливцева: «Я говорю и думаю, как Шиллер, а не как подьячий» — знали все и восхищались.

Театр воспитывал и возвышал душу. Встречая артистов смолоду, я всегда восхищался ими, почитая этих особенных людей. Часто чудаков, но большей частью незаурядных.

Странно — они были как бы вне жизни, и странно, что они почти всегда подсмеивались над собой. Были невзыскательны в жизни. Мирились со всякими обстоятельствами и не роптали.

Романы этих людей были особенными и не всегда удачными. В душе их было какое-то одиночество.

Их любили слушать в театре, восхищались талантом, а в жизни они были непонимаемы и осуждаемы.

Было время, когда артисты были все же простаком не понимаемы, но все же они были.

Нужны, но с ними поступали строго. За пустяшный проступок сажали в карцер. А вот Волкова похоронили с почетом на Волковом кладбище. Может быть, и кладбище названо его именем.

Любили в России артистов, и у них всегда было много друзей. И у Шаляпина были друзья и поклонники. Шаляпина любили за прекрасное исполнение и за голос. Но характер Ф.И. имел своенравный. Московский театрал Бахрушин, страстный поклонник артисток и артистов, создавший в своем доме в Москве театральный музей, огорчился и плакал, говоря:

— Что же это такое! Мне, когда бенефис Ленского, Садовского, Барцала, Южина, сами билет-то на дом привозят, а Шаляпин! Что же это такое! У кассы в хвосте стоять должен. Послал в кассу, так не дают. Не записан, говорят. Что это такое! Так ведь и не дали. У барышника ложу-то насилу достали. А ведь в гостях у меня был. На «ты» выпили! Вот он какой. Невиданное дело. Всех под себя гнет. Уж всегда я ужинаю после бенефиса, «Эрмитажный» зал берем или «Яр» забираем. А тут и знать не знает. Заважничал — «кто я!».

Именитые купцы недолюбливали Шаляпина.

— В Сандуновских встретили его, здорово парится, — говорит Бахрушин. — Слез с полки, ну, его банщик из шайки обливает. Рядом сел. Не узнает. Голову ему мылят, поливают из шайки. Смотрит на меня. А я виду не даю, что знаю. Он на меня смотрит.

— Ты что ж, Бахрушин, — говорит, — меня голого не узнаешь? (Значит, обиделся, что я первый ему не поклонился.)

— Не узнал, — говорю.

— Врешь, — говорит, — нельзя меня не узнать.

И ушел в предбанник.

Значит, я тоже сажусь на диван в предбаннике ногти стричь. Ему тоже стригут. Банщик ему веник принес.

— С легким паром, — говорит, — Федор Иваныч.

— Видишь, меня банщик знает, а ты меня не узнаешь.

— Постой, — сказал он банщику, — ты меня в театре-то не слышал?

— Где ж, — говорит, — Федор Иваныч нам слышать вас.

— Да вот эти-то слушают меня, — показал он на Бахрушина.

И Федор Иваныч из своего сюртука вынул книжечку и написал: «Выдать в кассе театра ложу Макару Васильеву. Ложу 3-го яруса».

— Вот тебе — послушаешь.

— Э... — думает Бахрушин, — к народу подвертывается.

И говорит Шаляпину:

— Зря это ты, Федор Иваныч, чего он поймет. Дал бы лучше трешницу.

После бани Шаляпин ехал домой. Заезжал к Филиппову и покупал баранки, калачи, а у Белова два фунта икры салфеточной. Сидел за чаем в халате. Калачи, баранки клал на конфорку самовара, пил чай, выпивал весь самовар и съедал всю икру.

Мы с Серовым удивлялись, как это он мог съесть один два фунта икры.

— Знаешь ли что, люблю я баню. Ты бы, Константин, сделал бы мне проект бани. Я бы здесь построил в саду. Полоч нужно высокий. В Сандуновских банях не жарко. В Казани были бани, у Веревкина. Деревянные, понимаешь. Там, бывало, как поддашь, так пар-то во всю баню, так прямо жжет. А здесь и пару нет. Люблю я баню. Замечательная штука. Все из тебя выходит. И вино, и всякая тяжесть. Ведь как себя чувствуешь легко. Во всем какая-то лень отрадная. Если б я не пел, то пошел бы в банщики.

Шаляпин и здесь, в Париже, говорил мне:

— Вот хочу у себя в доме здесь, на дворе, баню сделать. Да как? Здесь ведь бревен-то нету, а надо деревянную. Каменная — это не баня. Нет сосны-то нашей.

— Можно из Латвии привезти, — сказал я.

— Привезти, а что это будет стоить? Нет уж, должно быть, без бани придется жить, а баня ведь необходима. Здесь ведь вино очень хорошо. Постой, вот сейчас попробуй.

И Федор Иванович вынул из кармана ключик и принес две бутылки красного вина. Бутылки были старые, покрытые пылью времени.

— Вот постой, узнаешь ли.

И он откупорил бутылку, налил мне стакан. Откупорив другую — налил другой стакан. Налил и себе.

— Пей это сначала.

Я попробовал вино — вино было замечательное.

— Попробуй второе.

А второе было тоже замечательное.

И он, выпив вино, как-то задумался и озабоченно сказал:

— Постой, я что-то перепутал.

Встал из-за стола и ушел.

Вернулся он с каким-то солидным человеком средних лет, с большими карими глазами, бритым, с торчащими вперед усами.

Шаляпин сел, поставил перед ним стакан и налил немного вина. Человек с усами поднял стакан и, попробовав, сказал:

— Бордо 1883 года, Шато Лароз.

Шаляпин, вынув из кармана бумажку, следил по ней и сказал:

— Верно. Это же черт знает что такое. Я понимаешь ли, вот уж второй месяц, как его хочу поймать на вине. Я покупаю в разных магазинах самые дорогие бутылки. С паспортами. А вот он взял каплю в рот и сразу определяет год и землю. Вот и возьми его. Ты пил вино — какое лучше?

— По-моему, вторая бутылка лучше, — говорю.

— Вот и неверно. Первая стоит 400, а вторая 250 франков. Я, брат, себе погреб составил. Погоди, через два года брошу петь и буду на удочку с тобой ловить рыбу, где-нибудь река, и вот винцо это захватывать с собой.

А вот и не пришлось.

Шутик

Конечно, в июне месяце никакой охоты нет и в помине, и рыбная ловля тоже плоха. Так и говорят:

— Июнь — на рыбу плюнь...

Что делать?

Друзья мои — охотники — скучают, ходят собирать грибы — сыроежки, березовые, подосинники, — да и грибов мало.

Зато лето было дивное. Солнечные дни, зарницы, грозы, теплый дождик польет полчаса землю, и опять ясно. Цвела земляника, малина, благоухали поля цветами, и еще зеленела и колосилась рожь.

* * *

Друг мой Василий Сергеевич приехал ко мне утром, одетый в зеленоватую охотничью тужурку. У пояса висела новая кожаная плетка, на цепочке легавая собака по кличке Шутик.

Входя в дом, он спустил Шутика с цепочки. Шутик — здоровый кобель, веселый, вбежал в комнату и сразу бросился к моей собаке Фебу.

Шутик обнюхал Фебу всего, а Феб не обратил на него никакого внимания и вышел в коридор. А ручной мой заяц, как только Василий Сергеевич подъехал, уже залез, распластавшись, под тахту.

«Удивительно, — подумал я, — как это заяц знает, что человек приехал с собакой? Через стену, что ли, видать? Особенное чутье».

— Откуда это у тебя, Вася, — говорю я, — собака такая взялась?

— Откуда? С выставки купил.

— Ну, молодец! — вмешался охотник Караулов, ударив ладонью по столу.

— А в чем дело? — обернулся Василий Сергеевич. — Пойнтера с выставки привели ко мне — я и купил. Молодой еще, надо натаскивать.

— Так-то так, да у него хвост крючком... — медленно сказал мой слуга Ленька, унося со стола самовар.

— «Хвост крючком»! — рассердился Василий Сергеевич. — Не твое дело! Что это такое? Вы так распустили Леньку, что он не в свое дело лезет. «Хвост крючком»!.. Он еще молодой, всего год с небольшим. Не сформировался еще.

— У него, поди, с выставки аттестат зрелости собачий есть, — процедил Курин.

— Какой аттестат зрелости? — засмеялся доктор Иван Иванович, бывший тут же. — Это не гимназия... А по собаке правда видать, что помесь... Ты уже, Вася, не сердись...

— Вот видите... только что приехал, а уж начинается: хвост крючком, помесь... Да что это такое?

— Не обращай внимания, Вася, — говорю я. — Может быть, Шутик еще покажет себя на охоте. Раздевайся, иди умываться, вот полотенце. Не расстраивайся...

— Уж будьте покойны, — серьезно ответил Вася.

Он взял полотенце, посмотрел на всех и ушел в коридор умываться.

Подали самовар, горячие оладьи. Приотворилась дверь. Еще с намыленным лицом выглянул Василий Сергеевич и сказал:

— Отец похвальный отзыв имеет, а мать, это верно, неизвестно. Просто сука была. А тебе тоже нечего лезть — ты доктор, что ты в собаках понимаешь...

И Вася скрылся.

— Чудно! — сказал Караулов. — С морды он легаш, но только на выставку такого не примут, ерунда...

Василий Сергеевич вошел, вытирая лицо мохнатым полотенцем.

— Я сам вижу, что у него «прут» загибается, но что ж из того? У собаки главное — чутье. А у него вот до чего чутье: у меня на кухне в шкафу, на верхней полке, колбаса копченая лежала, забыли там колбасу. А когда его привели, он прямо бросился за колбасой. Голодный, должно быть, на выставке-то не кормили. Ну, колбасу жрет. Отнять хотели, куда тут. Я и думаю: ну и чутье... И купил, да-с.

Василий Сергеевич уже снял с себя охотничью тужурку, он был теперь в русской рубашке. Он сел за стол пить чай.

Вдруг с кухни послышался крик:

— Ой, ой! Пошел ты, пошел! Ай, беда!

Что такое? Мы бросились на кухню.

— Смотрите-ка, — кричит Афросинья. — Собака-то ваша, что же это... телячью ногу стащила... Я жарила... Вот беда! Ах ты! Вон она, у малинника.

Все выбежали на крыльцо. У малинника Шутик быстро пожирал телячий окорок. Когда к нему подошел хозяин, он зарычал.

— Ленька! — крикнул Василий Сергеевич. — Скорей плетку!

Ленька побежал за плеткой, но не мог найти.

— Болван! — крикнул Василий Сергеевич и сам бросился за плеткой.

Вернувшись, он вытянул Шутика. Но Шутик с костью убежал в глубь сада, Василий Сергеевич за ним. Шутик погрызет кость и отбежит дальше.

Долго продолжалась эта охота за собакой. Василий Сергеевич вернулся расстроенный, сел за стол.

Все приятели молчали.

Василий Сергеевич первый нарушил тишину:

— Собака не натаскана, — сказал он. — Что ж, молодая... Я тоже себя помню: у матери сахар воровал. Ну что ж из этого? Разве из меня вор вышел? Вот по первому полю и она образумится.

— Ведь порода-то, когда есть, передается, как у человека... Этот с колыбели начал. Вот у Феба медаль золотая за породу, все уйдите, он со стола ничего не возьмет, — сказал Караулов. — А этот что...

Василий Сергеевич ушел мрачный, и слышно было, как он драл Шутика у сарая...

Вечером, возвращаясь с работы с холстом и красками, я увидел у дома Шутика. Он смотрел на меня, виляя хвостом. Я подошел к нему. Он обрадовался, бросился ко мне. Я погладил ему голову, он печально смотрел на меня желтыми глазами и был такой же, как все собаки: добрый и хороший. Я его спустил с веревки, и Шутик пошел за мной.

— На место, спать, — сказал я.

Шутик полез под постель Василия Сергеевича и там улегся.

Выпив молока с хлебом, я взял холст и краски и опять пошел писать в деревню. Через час, вижу, ко мне идет Василий Сергеевич с приятелями.

— Убежал Шутик-то, — сказал Иван Иванович. — Тетенька Афросинья говорит, что, знать, веревку перегрыз и убежал.

— Надо было такую собаку на цепь посадить, а что же веревка, он ее перекусил и айда, — сказал Коля.

— Ну и черт с ним, — с сердцем сказал Василий Сергеевич. — А вы ко мне все: собака, собака, хвост, порода, тоже, как собаки, привязались...

— Не может быть, — говорю я. — Шутик не убежит. Собака знает, когда ее купили, понимает...

— Это верно, — сказал Коля. — Какой хозяин ни будь, все равно он будет слушать.

— «Какой ни будь?..» Это, позвольте вас спросить, что же значит? «Какой ни будь» — это вы, значит, про меня?

— Что про тебя. Сказать хочу: собаке все равно, умный хозяин или дурак, архитектор или доктор.

— Это вы, кажется, мне дурака сулите?

— Шутика купить ума никакого не надо, — прибавил Караулов.

— Вы ваши шутки бросьте...

— Ну, довольно, надоело, — сказал я. — Пойдемте-ка ужинать.

Мы все направились к дому. Войдя в коридор, мы услышали, как в моей мастерской залаляли собаки.

— Что такое? — остановился Василий Сергеевич.

Отворив дверь, мы увидели лающего Шутика, за ним немножко подлаивал и Феб. Шутик бросился ко мне, виляя хвостом и прыгая от радости.

— Хорошая собака, — сказал я. — Видишь, дом стережет. Ласковая собака.

Василий Сергеевич взял плетку.

— Постой! — остановил я. — Что ты?

— А зачем убежал?

— Да он не убежал, он здесь спал. Нельзя бить собаку — испортишь.

— Я прочел в охотничьем календаре, что перед натаской собаку кормить надо.

— Ну так вот в чем дело, — удивились приятели. — Она с голоду одурела...

Когда я спал, то Феб всегда ложился у меня в ногах. На этот раз и Шутик примостился там. И было мне почему-то приятно, что две собаки лежат со мной. И странно, что заяц тоже подошел к постели. Я его за уши поднял к себе. Удивило меня, что Шутик не обратил на него никакого внимания. Что же за тайна? Больше заяц не боялся Шутика...

Все мои приятели удивлялись и не могли объяснить этого их сговора...
— Да... тайна, тайна... — сказал Иван Иванович. — И нет этого у людей.

Озабоченные люди

Много мне в жизни приходилось встречать людей разных положений, сословий, многих знать и говорить с ними — крестьян, купцов, вельмож, министров...

И сколько было среди них людей недовольных, озабоченных. Перед этими русскими людьми все другие были всегда виноваты. Они как бы сочиняли эту виновность. А зачем это было им нужно — никому не известно.

Они возводили и сплетали друг на друга всяческие небылицы. Но больше всего они жаловались со скорбью и негодованием на тяготы русской жизни.

Я всегда удивлялся этой особенной черте их характера и не мог уяснить — почему они находили удовольствие в постоянном брюзжании.

Русскую жизнь они представляли такой, какой она никогда не была. И людей не было таких уж плохих, какими их воображали.

Эти вечно недовольные люди знали про вас то, чего вы никогда и не знали. Никто им не мог угодить. Все всегда перед ними были в долгу...

Знал я одного богатого человека в Москве. Лицо серьезное, мрачное, озабоченное. «Фабрика, что ли, его одолевает? — думал я. — Нет. Встретите вы его, едет он на своем рысаке. Остановится поговорить с вами, а на лице скорбь».

— Что вы такой грустный? — спросишь его.

— Поневоле, поневоле... — заговорит он часто, поводя глазами в стороны. — Вот, был на выставке... да, был. Видел ваши картины. Конечно, розы, все розы... Да, розы... Вам бы побольше оканчивать, лепестки-то оканчивать. Балуетесь все... А-ах! — вздохнет он со скорбью. — Отделки нет. Прежде отделка-то была какая! А теперь отделку-то забыли. А жаль. Способности у вас есть...

— Вижу, — говорю я, — вы меня жалеете.

— Как же, как же... Работаете мало. Мы от вас все картины большой ждем. А ее нет...

«Что за черт! — думаю я. — Неужели он и вправду скорбит обо мне? Миллионер. Холостяк. Домашний доктор его осматривает и утром, и на ночь. Что за обедом кушать — предписывает...»

И спросил однажды мой один приятель, веселый парень, этого скорбного богача — отчего он не женится.

Тот замигал от страху:

— Поневоле, поневоле. Скучно, один. Ну как это вы говорите — «отчего»? А поверить-то как? Как в душу войти, узнать? Боишься. На тебя она смотрит или на деньги твои? Как узнать-то?

Тут мой веселый приятель возьми и скажи:

— По-моему, вы повеселели бы, если бы у вас деньги отнять.

— Что это вы говорите, пустяки какие! К вам это не идет. Как это — деньги отнять? Взбредет же такая чепуха на ум!..

— А вы бы попробовали бедняком прикинуться, помните, как в оперетке «Нищий студент»; притворился, чтобы найти бескорыстную любовь.

— Было, дорогой, всего было. И меня доктор к артисткам возил. Притворялся. Узнавали. На такую раз попал — беда. Насилу распутался... Я ей деньги какие отвалил, чтобы развязаться... Вернула! Вот ведь как в душу-то лезут. Вот как себя показывала. Женить хотела. Давно уж это было, давно.

— А не думаете ли вы, — сказал мой приятель, — что это была единственная женщина, которая вас любила?

— Да полноте, — обиделся фабрикант, — где же! Женить хотела. Потом, знаете, что ни скажешь, она все смеется, как терпеть-то? Все несерьезно.

— Трудно на вас угодить, Петр Иванович. Все не по вас. И никогда вы не знаете, кто перед вами.

— Да ведь обманывают, дорогой, все обманывают. Как верить?..

И лицо у фабриканта делалось грустное, скучное...

* * *

Сановники были. Патриоты. Лица какие серьезные. Казалось, они никогда и не улыбались. И водку даже пили деловито и серьезно, как будто лекарство принимали. Да и, конечно, человек всегда в делах. Спросишь его:

— Чем вы, Федор Владимирович, озабочены так?

— Да как же, мне сегодня для чиновников министерства обед надо устраивать. Пельмени, тысячу штук, заказал. Вино выбрать надо, закуску. Надо сообразить, из бюджета не выйти. Тоже разный народ есть. Закусывает — кильки накладывает, сардинки тоже. Ест, как кашу. Ну, сделаешь замечание — так недоволен, обижается. Вольнодумства много. Послушания нет.

— Ну, кильки-то, — говорю, — какое же вольнодумство тут? Просто по вкусу пришлись. Понравилось — закуска хороша.

— Не говорите! Всюду вольнодумство. Особенно молодежь наша отличается... Время такое ужасное. Сочинители пишут... Художники тоже... Выставки эти разные. Все вкривь да в сторону. Мужичков пишут обиженных, бурлаков, ссыльных. Что такое? К чему это клонить? Всю выставку обойдешь, а августейших особ на картинах и не видно. Как будто их и нет. «Свадьба в Малороссии» — картина называется. А кто женится — в каталоге ни звука... Разночинец одолевает.

Он помолчал и с большим уже жаром продолжал:

— И как-то не понять у нас ничего. Ехал я в Крым с его высокопревосходительством. Видели из вагона — мужики идут и бабы босиком. А на палках сзади, на плече, сапоги несут новые, а бабы — башмаки. «Что такое? — спрашивает его высокопревосходительство. — В чем дело? Понять невозможно. Сапоги есть, а босиком ходят». И так расстроился, что в Симферополе за обедом губернатора даже смутил.

— Да ведь для ног вольготно, — сказал я, — летом по сухой дорожке босиком пройти. Я вот на рыбной ловле на песочке, на берегу, всегда босиком хожу.

— Да неужели? — удивился сановник.

— А вы никогда и не ходили? — спросил я.

— Нет, — отмахнулся мой собеседник. — Я и в деревне как-то мало бывал. Скука одолевает. Леса, поля... Едешь, едешь — все одно и то же. Привычку надо иметь в деревне жить. Помещиком быть — это не приведи Бог! Я от загородного ресторана не могу удалиться. Да и помещик — приедет в столицу, так его из ресторана не выгонишь. Видать, какова жизнь его в поместье... В ресторане пальмы на столе. Хоть на станциях возьмите: пальма в буфете обязательна, глаз веселит, Иерусалимом отдает. Пьешь, а божественное настроение в душу льется. Что бы было, если бы березу поставили или осину? В какое бы волнение публика пришла...

— А я люблю березу и наши леса, — сказал я. — Поэтично. И жизнь в деревне для меня отрада.

— Не верю, — резко сказал мой собеседник. — Не верю я вам. Все это вы сочинили.

— Воля в деревне. Простор. Свобода.

— А вот это-то и есть самое вредное. Распускается человек. Сдерживающих начал нет. И что вы делаете в деревне?

— Вот, пишу красивые места природы. Мельницу, избышки, леса, картины пишу.

— Тощица! — сказал сановник. — Кому нужно? Солома, крыши из соломы, мосты кривые, сараи. В чем же красота-то? Вот все у вас так. А как же вы, — удивлялся сановник, — для балета работаете? С такими понятиями о прекрасном?.. Удивляюсь.

Он вдруг спохватился, взглянул на часы и заторопился:

— Заговорился я с вами. На службу ехать надо. Дела по горло. Это не то, что вам, — кисточкой-то туды-сюды... Прощайте...

Намурщица

В Москве жарщица. Скучно. Праздник, все уехали на дачу.

В Рогожской, в своем доме, Никита Иваныч Ершов лежит в постели. По случаю того, что нездоров.

После подведения годового баланса всю ночь проужинал с компаньонами в «Стрельне». Крепко выпили.

Никита Иваныч жалуется сидящему против него доктору и говорит:

— Степан Иваныч, это, конечно, печень, все это верно, а вот почему Фрунсон старше меня и из себя subtilный, а пьет и коньяк, и водку, и шампанское почем зря. И заметьте, ни в одном глазу. А я вот, верите ли, две рюмки водки выпил, рюмку коньяку и шампанского не более бокальчика. И нынче — никуда. Тоска ест, и в голову все неприятности одни лезут. Думаю я, что все это у меня через дело. Щетинная мойка в Пеньделке виновата. Забота это — шерсть мыть. Хочу я это дело переменить.

— Не оттого вы нездоровы, — говорит доктор, — Никита Иваныч, а двигается мало. Моциону нет. Все на лошадке ездите, в клубы, в карты играете, кушаете много. У вас давление на сердце получается.

— Да, так-то так, — говорит Никита Иванович, — но не совсем. Фрунсон тоже всегда из пролетки не вылезает, картежник первый. Всю ночь жарит у нас в Купечес-

ком и ужинает — за троих ест. Веселый, как вьюн живой. Заметил я другое, и вот что: он ювелир. Вот у него дело какое. Кругом его всегда они вертятся. И такие, и этикие, и артистки, и танцовщицы. И такие крали — красота. И он среди них — чисто мед. Вот дело настоящее. И глядят они на него ласково. А он показывает. Вынет из кармана в пакетиках жемчуг, изумруды, бриллианты, рубины. У них глаза, как звезды, загораются. Я подглядел это самое, думаю — дай-ка попробую. Купил пакетик с товаром и поехал в «Стрельну». Двух приятелей захватил. Нарочно постарше взял. Ну, конечно, цыганки поют. Матреша там — прямо пава! Я ей и показываю. Смотрю — глаза горят. А приятели, конечно, выпили. Один-то и говорит:

— Чтó этот камушек стоит?

Я говорю цену, а он, недолго думая:

— Купил.

И другой говорит:

— А это чтó стоит, рубинчик?

Я опять говорю цену. И тот:

— Купил.

Я спрашиваю:

— Зачем вам?

А они:

— Постой, — говорят, — Матреше это не в коня корм. Цыгане не понимают.

Позвали венгерский хор, посадили с собой солисток, камни мои им показывают. А те-то рады. Дальше — больше, пятое, десятое, домой ехать пора. Выходим. Они прямо на лихачей, с этими-то солистками, да айда. А я за ними тоже на лихаче, один. Они заворачивают в парк, гонят туды, сюды... и из глаз пропали. Я на другой день к ним. Они веселые.

Я им говорю:

— Что же вы меня оставили одного?

— А ты сам прозевал. Мы-то подарили камни, а они про тебя спрашивают. Мы и говорим: «Это ювелир». Ну они и думают: с ювелира не возьмешь. Ювелир-то сам из ужей — подешевле купить норовит...

Вот, Степан Иваныч; я на том и расстроился, и жара такая сегодня! За тобой и послал. Женский пол в голову лезет. Я вот камни-то перебираю и разделяю: который какой дать. Пропиши-ка мне капель, что ли, чтобы это самое отошло.

— Можно, — сказал доктор. — Пустяки, выпитесь, а потом покупаться хорошо.

— Лекарство-то лекарством, покупаться можно, а вот как Фрунсон-то с ими управляется, скажи? Ведь ювелир!

— Для них Фрунсон первый человек. Он им показывает, на кого им глазами-то стрелять. Всю Москву знает. Это дело для вас неподходящее, — сказал доктор. — Ювелиром вам любви не найти.

— Думаешь? Я ведь вдовый, сам посуди, мне ведь сорока нет... Я с одной поговорю, с другой поговорю, а им скучно. Чисто как рыба дохлая на меня смотрят. Вот я на ювелира-то и пошел. Думал, через камни подойти. А вот не вышло...

Расстроился Никита Иваныч, и Пеньделку забыл. Ювелир не вышел, так он адвокатом притворяться стал. Потому, у тех успех есть. Тоже не вышло. Наконец, ему кто-то посоветовал художником стать.

Снял Никита Иваныч комнату в стороне, чтобы приказчики не видали, как он художником заделался, — смеяться, боялся, будут, да ведь и чудно.

Трудно было Никите Иванычу сначала. Но он себе волосы, как у художника, отпустил и достал себе художника. Тот его скоро научил картины писать. Говорил:

— Смелей, — говорит. — Вали. Красок больше, ну и жарь. Это нетрудно.

Никита Иваныч и жарил картину за картиной, ландшафты сначала писал, потом натурщицу нашли, художник ему поставил. И — пошло. Попишет с нее, а потом в ресторан обедать приглашает. А она рестораны-то все попроще выбирает, в богатый не идет. К «Яру» позвал. А она говорит:

— Что с вами, ведь это дорого. Где же художнику у «Яра» кутить.

— Ишь какая, — думает Никита Иваныч. — Подарю-ка я ей камни, серьги сделать. Погляжу, что будет.

Удивилась модель и спросила:

— Настоящие эти камни?

— Да что вы, — обиделся Никита Иваныч. — За кого вы меня принимаете. Неужто я вам фальшивые дарить стану.

— Не слыхала я что-то, чтобы художник натурщице бриллианты дарил.

Камни не взяла и на сеанс не пришла.

Совсем расстроился Никита Иваныч, ничего не понимает. Опять захворал и позвал доктора. Доктор Степан Иваныч прописал капли и сказал:

— Никита Иваныч, вы теперь художником пребываете. Вы бы на веселье с ней бы пошли, в Сокольники на круг позвали бы, там музыка, танцы, вода ланинская вишневая. Она бы и увидела, что художник как художник. А вы ей бриллианты дарите. Она, естественно, напугалась: «Жулик, думает, попадешься с ним, беды не оберешься».

— Да что ты, Степан Иваныч. Что говоришь-то. И в голову не придет.

— Подумайте, не надо было дарить, — сказал доктор. — Ну где такой художник есть — натурщице бриллианты дарить? Что ей думать?

Пришел художник-учитель и спрашивает:

— Хвораешь, Никита Иваныч?

— Да как сказать — отдыхаю. Куликова-то, натурщица, не приходит. Расстроился я.

— Да, не ходит. Боится.

— Чего боится-то?

— Вот и я говорю, что боится, — сказал доктор.

— Да что вы все, с ума сошли? Приведите ко мне ее, пожалуйста, — сказал Никита Иваныч художнику. — Что случилось, чего боится?

— Ну, примешь капелек, Никита Иваныч, вот этих, — сказал доктор. — Успокойсь, а я завтра зайду.

И доктор ушел.

Никита Иваныч хмурился, поохивал и как-то сказал художнику:

— Поедем-ка с тобой на круг в Сокольники, там музыка играет, к вечеру танцы, сделай милость — привези ее туда.

— Ладно, привезу, — согласился художник.

В Сокольниках выпил с горя Никита Иваныч. Вдруг видит, идет Куликова.

— Здравствуйте, Никита Иваныч, — ласково позвала она его. — Как поживаете?

— Эх, не спрашивайте. Тяжело. Пойдемте, по аллейке пройдемся.

— Мы сейчас с ней вернемся, а ты, друг, закажи вот столик подальше, — сказал он художнику. — Мы там поужинаем. Бутылочку шипучего закажи...

— Какая ночь прекрасная, — говорит Никита Иваныч, идя с Куликовой по аллее. — Вот вы не пришли ко мне. Напугались серег-то. Не мазурик ли? Правильно. Я что ни на есть червонный валет, вор и мошенник. Для вас ворую, потому нравитесь вы мне. Люблю вас. Вот видите, — вынул из кармана и развернул пакетик. — Изумруды и бриллианты блестели таинственно в лунной ночи. — Все это для вас я украл.

— Зачем же, — испугалась Куликова. — Неужели вы это для меня сделали? Господи! Да как же мне вас спасти. Несчастный вы человек... Это ужасно!

— Иди. Заказано! — услышали они сзади голос художника.

Бледная Куликова смотрела во все глаза на Никиту Иваныча.

— Не художник я, — сказал Никита Иваныч за столом, наливая натурщице шампанское, — и не вор, и не мошенник, а фабрикант и человек богатый. Надоело мне все. Души я искал и вот нашел. И уж теперь не отпущу... Нет...

— Друг мой, — обратился он к художнику, — подними бокал, и выпьем за невесту мою...

На природе

Конец июня. Самое лето. Трава высокая, луга покрыты цветами. Сад зелен. Попевает клубника. Плывут облака в синеве неба.

Под большим зонтиком, недалеко от леса, сижу и пишу красками с природы — лес, дорогу и голубые колокольчики, которые прячутся в тени и блестят на солнце.

Недалеко от меня в траве лежит рыбовод, мой слуга и приятель Василий Княжев. Лежит, смотрит в траву и говорит:

— И чего это только делается на свете. Вот поглядите в траву, и чего только ни на есть в ее разной твари. Мухи синие — вот блестят, как огонь, жучки... Вот как до него дотронешься травинкой — он сейчас в покойники поступает, притворяется, что помер. Паук на высоких ногах бегаёт, ловко до чего! Ноги-то тонкие, как он их себе не сломает... Божья коровка красненькая ползет, растопырится, подымет крылышки и полетела... А вот нахальные до чего кузнецы зеленые, да здоровые какие! Сиганет прямо на два аршина. Дурак! Прыгает незнамо куда. Мне чуть в рот на папиросу не попал. Чего только нет! И червячок маленький, лохматый — тоже живет, полозит. Глазки маленькие... Муравьи... А если бы этот кузнец зеленый да с лошадь был. Вот страсть! У него ведь на морде клещи здоровые. Так если бы он большой-то был, с лошадь, — тогда прощай. Всех люде́в бы перегрызли начисто. Значит, и не велено ему вырасти. Люде́в, значит, бережет Господь... И вот муравей ежели бы в корову был. Что было бы! Значит, не велено. Этой твари мелкой до ужастии много. Мало которая кусается, хотя комарье одолевает. Овода вот еще. Ух, жгут, когда купаешься. Слепень тоже. И заметьте, какая хитрость. Садится — вы не слышите, потом как жиганет — беда... У нас-то хорошо, этакого-то мало всего.

А вот я читал, что страны есть — крокодилы там, так фараоны их детьми человеческими кормят. Ну, те прямо жрут детёв почему зря. И жалости в крокодиле никакой нет. Как хошь сожрет.

— Да, — говорю я, — крокодил зверь серьезный. Тоже, Василий, льву или тигру в лапы попасть неприятно. Пиши — пропало.

— Да... — соглашается Василий. — Эх! А вот у людёв не знаешь, кому попадешь. Другой, видишь, ласковый такой, он тебе и то и это обещает. Ты и веришь. А потом, глядишь, — ты в лапы-то к нему и попал. Он с тебя все стянет, да еще ты у него виноват окажешься. Народу много такого. А вот эти козявки разные в траве — чего они понимают. Сотворено — и живут...

Подошел другой мой приятель — охотник, крестьянин Герасим Дементьевич, посмотрел на картину, которую я писал, и сел на траву рядом с Василием Княжевым.

— Вот, — говорю я, — Герасим Дементьевич, Василий смотрит в траву, и там букашки разные. Если бы они каждая с лошадь величиной были, то жить от них было бы невозможно. Они бы всех съели.

— Это верно, — ответил Герасим. — Только это неммысленно. Земля не вместит. Где же? Летом этих одних мух — что! Все в меру устроено.

— Чего в меру? Мух-то что, комарье, слепни, блохи, — тужил Василий.

— Надо знать, — ответил Герасим, — потому надо, чтобы в чистоте жили. А то ежели дом у тебя не в чистоте, то и заводится дрянь всякая. В чистоте живи, береги дом, а то не то что блохи или тараканы заведутся, а и хуже бывает. Гостя позовешь, гость придет что ни на есть прохвост. Так он тебя хуже клопа заест. С женой поссорит, обманет, обокрадет. Тоже надо знать, кого в дом пускаешь. Он тебе покажет за твое угощение такое, что закачаешься.

— Как сказать — с женой поссорит... Нешто с настоящей женщиной поссорить можно... А ежели дура попала, то все равно — ссорь, не ссорь — она тебя заест.

— Да... бывает, — согласился Герасим. — Но больше всего эти ссоры и нескладехи в жисти от бедности выходят.

— А вот ежели каждому, — сказал Василий, — дать по миллиону, вот жисть пойдет. Их ты!

— Нешто возможно? — усомнился Герасим. — Тады прямо беда. Прежде всего — все вино выпьют сразу. Потом драка пойдет. И что только будет!.. Работать никто не станет. Ну, значит, и голод начнется. Прямо за ломоть хлеба платить надо будет этот самый миллион. Ну, болести зачнутся, мор. Вошь одолеет...

— Все может быть, — сказал, покачав головой, Василий Княжев, — а вот у этих самых букашек, таракашек и денег нет, а живут.

— Чего у букашек, — удивился <Герасим>, — и у слона денег нет. Деньги это только у людёв. Без денег никуда двинуться невозможно, и прямо без них пропал, потому траву человек не ест. Все ему надо купить. А что дарма — только вода. Воды сколько хошь лакай — не жалко.

— А деньги, ведь их не съешь, — заметил Василий. — Хлеб вернее денег, осетрина тоже, еда разная.

— Без денег чего тут, — не сдавался Герасим. — Никак нельзя. Вот хоша картину Кистинтин Лисеич списывают и, значит, деньги за нее норовит взять. А ежели денег нет — шабаш. Хлеба не дадут, скажут: на кой она нам, картина. А осетрины-то уж и не видать. Скажут: лучше осетрину-то с хреном есть, чем картину-то глядеть...

— Да еще стаканчик водки, — засмеялся Василий Княжев.

Мне от этих разговоров есть захотелось.

— Василий, — сказал я, — довольно, пойдем домой.

И стал собирать краски, складывать мольберт, зонтик.

— Тащи! Пойдемте поесть. Договорились вы до дела...

* * *

Когда походили к дому, приятель Василий Сергеевич с террасы кричит:

— Где вы пропали, ведь третий час. Мы и пирог-то весь съели. Я хотел послать за вами, а вот доктор Ванька говорит — пускай работает. Натощак каждый лучше стареется.

Василий Княжев нес из кухни на большом блюде карасей в сметане.

— Молодец, Вася, — говорю. — Это где же ты карасей-то поймал? Крупные какие...

— С краю, в заводи, у Глубокой Ямы, наметкой зацепил. Вы-то картину писали, а у меня дело вернее вышло. Я наметку поставил вниз, а Ванька загоняет. Они дуром лезут в наметку. Только вот ведь мы гольем ловили, так слепни одолели. Прямо всего облепили. «Как быть, — думаешь, — не то рыбу ловить, не то слепней отгонять». А доктор хоть и доктор, а не знает от слепней лекарства. В книжечку смотрел. «Нет, — говорит, — не указано».

— Так еще бы, — сказал Княжев, — кто же голый с наметкой ловит? Нешто возможно?.. Все ловят в портках, в рубахе.

У приятелей моих тела к вечеру распухли и чесались.

— Что такое, — огорчался Василий Сергеевич, — лето, радость, караси, а тут черт-те что — слепни!.. Зуд во всем теле. И откуда они берутся и зачем? Жизнь отравляют...

— Пустяки, — сказал доктор Иван Иванович. — Это что за зуд, — пустяки... Терпеть можно. Пройдет. А вот у меня теща с женой возмутятся, так вот это зуд. Тоже лекарства не найдено. Одно спасение — уедешь, они и остывают... Некого зудить. Слепни-то летом, в жару, а там круглый год терпишь...

В деревне

Помню прекрасное лето. Я поехал на Петров день по Брестской дороге из Москвы на станцию Тучково, к приятелю моему Павлу Александровичу, в его имение, где был старый липовый сад.

Застал я Павла Александровича в унынии и раздумье.

— Какой у тебя прекрасный старинный дом, — сказал я. — Какой сад чудный. Я б никуда отсюда не поехал.

— Едва ли, — сказал он.

— То есть как это «едва ли»? Я бы писал здесь каждый кусок. Эти окна с большими ставнями, липы, крыльцо...

— Едва ли, — повторил Павел. — Надоело бы через неделю. Вот свалит полдень, пойдем за двенадцать верст отсюда, в Михайловку, там река есть, и по ней заводины, утиные выводки. Но только рано, Петров день. Выводки еще не летные. Охоты еще настоящей нет...

Проселками на тройке мы ехали с Павлом Александровичем вырубкой леса. Пни старых елей, из-под которых вились корни, светились, оголенные. Около — пучками горела на солнце розовая дрема.

— Это бы я написал, — сказал я. — Какая красота!

— Тощица, — отмахнулся Павел Александрович. — Какая красота? Это мой лес. Восемь лет назад срубили. За грош продал. А теперь бы он втрое стоил.

Имение Михайловка показалось на возвышении. Дом с колоннами. Прекрасный сад, и внизу река. Заворачивая и поднимаясь в горку, среди березовой аллеи мы подъехали к дому.

С крыльца выбежал лакей, одетый в серую тужурку с металлическими пуговицами.

— Дома-с, пожалуйте. Только у барыни мигрень-с.

Когда мы вошли в гостиную, увешанную старинными портретами, с мебелью красного дерева, с фарфоровыми вазами, с большим столом, на котором стояли в хрустале букеты свежих роз, — к нам вышел хозяин. Человек молодой, тщательно причесанный, очень высокого роста, одетый в кавалерийский китель. Его скучное лицо оживилось. Он радостно нас приветствовал.

— Какая досада, — сказал он, — у жены мигрень. Не знаю, что делать. Через месяц только мы едем в Баден-Баден. Надо ее пожалеть, она замучилась здесь. И с меня довольно. Тоска. Дожди. Подумай, она говорит: «В саду здесь дорожки сырые, вечером на реке — туман». Удивляется, как могли здесь жить мои родители. Она без границы не может. Я совершенно с ней согласен. Довольно, батюшка, довольно.

«Что за черт, — подумал я. — Какая красота, какой сад и дом. Ведь это же настоящий ампир. Дворец. Река какая. Непонятно...»

В столовой был накрыт обед, и хозяйка спустилась сверху из своих комнат. Она была высокая красавица, бледная. Голова у нее была туго повязана кружевным шарфом.

— Ужасно... — сказала она. — У меня мигрень. И ничего не помогает. Жду, когда сяду в вагон, — ехать. Дождусь ли...

— А не может с вами случиться, — спросил, — что вы за границей будете с восторгом вспоминать эти прекрасные места, где мы сейчас находимся?

— Я много жила за границей и никогда не вспоминала эти места. Когда возвращалась, то всегда думала: будет дождь, тоскливые вечера, зимняя стужа...

«Что же это такое...» — подумал я...

— А скажите, вы родились в этом доме?..

— Нет, я родилась в Петербурге, а имение наше было в Орловской губернии, но там было невозможно — поля, поля... Скука безысходная... Я окна нарочно завешивала цветным тюлем, чтобы не видеть этих ровных полей.

— Павел, — сказал моему приятелю ее муж, — а ты знаешь ли, я додумался наконец, и система моя верна. Надо играть на дожины и страховать себя, ставя на зеро. Я рулетку изучил, я ведь целые дни верчу и веду запись. Конечно, я приобрел не такую, которая там. У меня поменьше. On peut quand même se rendre compte¹. Вот ей

¹ Можно все-таки дать себе отчет (фр.).

играть нельзя, — показал он на жену. — Она нервна, нет выдержки, и сучает... Гвоздинович четыре миллиона взял!

— Позволь, — сказал Павел Александрович. — Да ведь он же без гроша.

— Это другой вопрос, но четыре миллиона он взял шутя.

* * *

После обеда хозяин поставил на стол рулетку, дал нам разноцветные жетоны и сказал:

— Ставьте.

Ставил и сам и вертел рулетку.

— Видишь, — сказал. — Проиграл. Дублирую.

Опять завертелась рулетка.

— Проиграл, — сказал хозяин. — Но это ничего не значит. Дублирую. Вот и выиграл. Теперь сначала.

— Послушайте, — сказал я, — Павел Александрович. Ведь мы же на охоту приехали. Скоро уж вечер.

— Ну какая охота, — ответил хозяин. — Застрелишь какого-нибудь коростеля. Я тоже ходил на охоту. Тоска. У Тургенева очень хорошо описана охота. Но ходить в жару по этим колдобинам, по болоту, воля ваша, это утомительно и скучно...

— А должно быть, у вас на реке хорошая рыбная ловля на удочку? — спросил я.

— Позвольте, что за развлечение... Так и говорят: с одной стороны червяк, а с другой — дурак. Этим занимаются пустые люди.

— Нет, острой хорошо, — сказал Павел. — Я люблю.

— Но это варварство!

Вошел лакей и сказал:

— Вас барыня изволят просить.

— Мигрень — это мучительно, — сказал он, уходя.

— Павел, поедем, — предложил я. — Где-нибудь у речки слезем и походим по берегу.

Когда хозяин вернулся к нам, мы стали с ним прощаться.

Пожимая руку Павла Александровича, он сказал:

— Ты не понял. Моя система верна. Увидишь...

* * *

Садясь на тройку у подъезда, я почувствовал, что с меня скатилась какая-то гора. И как радостно было ехать по проселку. В вечерней синеве небес клубились розовые облака. Пахло сеном. Вечерними лучами освещало мелкоколье. Показалась голубая вода реки.

— Стой, — сказал Павел Александрович.

Мы вынули из кобур ружья и пошли берегом реки.

Было тихо.

Над чередой и осокой летали зеленые стрекозы. Павел Александрович остановился и смотрел, подняв брови, пристально на меня.

— Что ты смотришь? — спросил я.

— Глупо, до чего глупо, — ответил Павел.

— Что глупо?

— Собаки-то нет. Что ты без собаки сделаешь?

— Да просто пройдемся по речке, — ответил я. — Послушай, Павел, скажи, почему эти молодые люди, у которых мы были, так скучно живут? И почему им не нравится этот рай, в котором они живут?

— Ты не понимаешь? Мало ли чего ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. А они понимают.

— Да... Действительно смешно. Трудно понять.

— Вот что, — сказал Павел. — Поедем-ка мы на станцию и в Москву. Тут делать нечего. У тебя в деревне лучше. Какая-то ерунда есть. Веселье. В чем дело — не пойму. Народ, что ли, такой подбираешь... Глупо, а весело... Я каждый раз закаиваюсь ездить к тебе. А потом опять к тебе в Охотино тянет. Возьми хоть историю с бобрами, потом этот вепрь! Ведь два дня ездили на это озеро. «Вепрь». А там и вепря-то никакого не было. Вот ведь что...

Прошло много времени...

Как-то по приезде Павла Александровича ко мне в деревню, где приятель мой, деревенский охотник Герасим Дементьевич, сказал, что неподалеку от меня, в лесу, прошел медведь «более восемнадцати пудов», я почему-то вспомнил нашу поездку с Павлом Александровичем в Михайловское, к его приятелю, и спросил:

— Что же твой приятель, вернулся из-за границы?

— Нет, — ответил Павел Александрович. — Имение он продал. Слышал я, что система оказалась неверна, вроде здешнего медведя.

В это время, подавая на стол жареных тетеревов, тетенька Афросинья, смеясь, сказала:

— Чего выдумают, «ведмедь здесь прошел»... А ведь это чего? Горохов пьяный в лесу заблудился, ночью орал... От лесника шел пьяней вина... А все говорят — ведмедь...

Лечение

В конце мая поехал я из Петербурга через Рыбинск к себе в деревню.

В Петербурге задержался и узнал, что приятели мои, гостившие в деревне, меня дожидаются.

Чуть свет я вылез из вагона на станцию. Сосед Феоктист выехал за мной на станцию.

Как хорошо и радостно было ехать проселком, весенними нивами. К восходу солнца птицы заливались пением. Феоктист обернулся ко мне и так серьезно сказал:

— Ждут вас, говорили, что долго не едет. Только чудно, со скуки, что ль, только выдумали ваши гости все утро без порток ходить.

— Как — без порток? — удивился я.

— Да так. У нас в деревне все диву даются: «Чего, — говорят, — это с ними стало. Господа были веселые, а вот...»

«Что такое?», — думаю.

— Феоктист, — говорю, — отчего бы это?

— Да кто их знает. Смотреть зазорно. Сам доктор Иван Иванович, тоже без порток, водит их по траве. Потом парное молоко пьют и спать ложатся.

— Отчего бы это? — говорю.

— Кто знает, только срамота глядеть. Как вот скоро приедем — сами увидите. Утро раннее. Они теперь на самом ходу.

«Что такое?», — думаю.

Проехали деревню; подъезжая к воротам усадьбы, вижу, действительно, по луку перед домом к большим березам ходят приятели. Смотрю — верно, без штанов. Доктор Иван Иванович впереди, а дед в полушубке, ноги голые, без штанов. За ним ходят другие в куртках, а ноги голые.

Проезжаю мимо к подъезду дома. На меня не обращают никакого внимания.

— Что с вами случилось? — кричу я приятелям.

Молчат — не отвечают. Вошел на крыльцо и прошел на кухню.

Тетенька Афросинья готовила самовар.

— С приездом вас, — говорит тетенька Афросинья. — Господи, помилуй, поглядите-ка, что делается без вас.

— А Ленька где? — спросил я.

— Да тоже с ними без порток бегают.

— И давно это?

— Да вот как приехал Иван Иванович. Так их и уводит кажинное утро. Без штанов чтоб гуляли, для здоровья, значит. Так Павел Александрыч уехали, простудившись, в Москву и с Иван Иванычем шибко поругались.

В моей деревенской мастерской увидел я приятеля Колю. Лежит на тахте. Увидав меня, говорит:

— Как рад, что ты приехал, а то Иван Иваныч здесь лечит всех по способу доктора фон Кнейпа. Я, брат, в крапиву попал. Ужас что такое. Света невзвидел. Картофельной мукой посыпали. Целый день как в огне, понимаешь ли, горел. Пенсне-то не надел и попал в крапиву. А им смешно.

В комнату вошли Иван Иваныч и приятели и быстро принялись мохнатыми полотенцами вытирать голые ноги.

— Это вам необходимо, — сказал, посмотрев на меня, доктор, — для кровообращения.

— Хорошу штучку придумал Ванька, — сказал Василий Сергеевич. — Прежде у меня ноги ныли от ревматизма, а теперь, знаете, как рукой сняло. Это английский пастор выдумал.

— Вот и врешь, — перебил его Иван Иваныч. — Это доктор Кнейп. Вот брошюра висит на стене.

Действительно, на стене висела брошюра.

— По утренней росе надо ходить босиком.

— Так босиком, — говорю я, — отчего же вы без штанов все!

— Без штанов! Ведь трава высокая, хлещет, придешь в мокрых штанах. Без штанов удобней.

— Что ж, у нас дорога-то за частоколом идет, народ ездит — увидят, говорить что будет?

— А черт с ними, — сказал Юрий Сергеевич, — пусть говорят. Знаешь, хорошо, что ноги после как иголочками колет — так приятно. Истома какая-то в ногах. Это аппетит подымает.

— Что же, — говорю я, — вы так и будете без штанов ходить?

— Нет, оденемся, — говорит Караулов, — вот чаю только выпить.

— Ленька! — кричу я.

Ленька входит, тоже без штанов.

— Да что ты, сейчас надень штаны!

— Лечение, — говорю, — может быть, и хорошее, но чудновато, да вообще, Иван Иваныч, скажите, от чего вы, собственно, лечитесь-то все?

— От неправильной циркуляции. Вот, прочтите брошюру.

Ленька, уже в штанах, подавал самовар.

Коля Курин встал с тахты, оделся, сказал:

— Все-таки, Иван Иванович, у меня ноги-то горят.

— Вот Кольку, — смеялся Василий Сергеевич, — угораздило в крапиву попасть.

Весь день выл.

— Там, где лечит профессор Кнейп, крапивы-то, поди, нету. Потом, в брошюре-то написано — в жаркое время, в июле месяце, а теперь май.

— Надо водки с перцем выпить и закусить, — сказал Юрий.

— Этого в брошюре нет, — медленно процедил приятель Коля.

— А тебе какое дело, — огрызнулся на него Юрий, — тоже в лечение лезет. Спроси Ивана Иваныча.

— Обязательно, — сказал важно Иван Иваныч.

— Павел-то Александрович уехал, — говорю я.

— Так ведь он барин, — сказал доктор. — «Не хочу, — говорит, — без штанов ходить». Это пошлости.

— Уехал, — сказал Караулов. — На тягу ходил, а вальдшнепы-то в мае высоко летят. Он и пуделял. А потом, Иван Иваныч рано будил на лечение. Поругались.

— Бр-р-р... — рывкнул Иван Иваныч, выпивая рюмку перцовки. — Сегодня холдно было.

Я пошел к себе в комнату и лег с дороги отдохнуть после бессонной ночи.

Засыпая, слышал, как Иван Иваныч распространялся о чудодейственном Кнейпе.

Проснулся к обеду.

Тетенька Афросинья подавала пироги с капустой и сказала:

— Лечение-то Иван Иваныча, может, и правильно, только срамно глядеть. А вот моему мужу, Феоктисту, обязательно надо. Он ходит-то как, ведь он отроду кривоногий. Нет уж, он в этакую срамоту не пойдет.

Смотрю, Иван Иваныч пошел к моей аптечке, достал аспирин и сыпал в водку. Сказал, что забьется. «Бр-р-р» — и выпил водку с аспирином. А к вечеру достал градусник и поставил себе под мышку. Вынул градусник и сказал, как бы про себя: «Лихорадочка». Стучал зубами и пил липовый цвет.

Василий Сергеич говорил:

— Доктор захворал. У меня тоже, кажется, насморк. Вот же твой Кнейп! Еще воспаление легких получишь. Не можешь выдумать своего лечения, все у чужих воруюшь, а еще клинический врач! Кто я!

Василий Сергеич доедал доктора и тоже с водкой принимал аспирин.

— А я вот слышал, что от этого Кнейпа очочуриться можно, — сказал медленно Коля.

Иван Иваныч приуныл. К ночи была температура 40 градусов. Рыбак Константин растирал ему ноги скипидаром, приговаривая:

— Чего, ничего. Я по весне с челна в воду упал, а лед идет кругом. Их... Насилу-то вылез. Иззяб до чего, зуб на зуб не попадает. Знахарка, Царство ей небесное, Прасковья Афанасьевна, богатая, прямо в водку ложку пороху развела, да луку туда накрошила, да масла деревянного подлила. Ух ты, мать честная, пить — просто беда. «Пей, — говорит, — все». Да вывела меня на лужок, с краю деревни. «Бегай, — говорит, — кругом, до поту». Ну, я и бегал. Бегаю, а лихорадка треплет. Потом лег, двумя тулупами одела. А наутро как и не было болезни.

Иван Иванович слушал внимательно. Встал, налил большой стакан водки, спросил пороху, насыпал его, положил в водку луку и выпил. Потом надел тулуп, шапку, валенки и бегал по лугу до изнеможения. И удивление: утром доктор был здоров.

Слуховая галлюцинация

Накануне Петрова дня мои приятели-охотники решили с вечера ехать на Иваново озеро, которое расстилалось среди обширного болота.

Деревенский охотник Герасим Дементыч отговаривал охотников ехать, так как к Иванову озеру-де подступа нет: трясина, ходить нельзя — провалишься. Но приятелям моим хотелось на новые места, где еще не бывали. И решили ехать по совету Герасима — в Ловцы. Там тоже озеро есть, и место раздольное.

Но лучше ехать с раннего утра, а на ночь не стоит, ночью там «попуговат», сказал Герасим.

— Это кто же попугивает? — спросил Василий Сергеевич.

— Какой вздор, — сказал Павел Александрович. — И чему ты веришь, Герасим!

— Как — чему веришь? Был я там. Речки такие зарослые. Настрелял я утей изрядно, ну и повернул от болотины по лесному овражку, а уж сумерело. Иду это я и вдруг слышу, сзади кто-то говорит: «Вот сукин сын...» Я обернулся — никого. Присел на бугорке у елочки закусить и выпить малость. Устал. Налил стаканчик, выпил, ничком закусываю. А за елкой кто-то и говорит: «Ну и сукин сын». Думаю — чего это; чудно больно. Собака со мной — не лает. Я пошел за елку поглядеть. Гляжу кругом — никого нет. Вернулся, опять сел. Налил второй стаканчик. Выпил. Пирогом закусываю. Слышу, опять за елкой кто-то говорит: «Вот сукин сын».

«Что такое?» — думаю. Прямо вскочил, за елку, гляжу — опять никого. «Что за диво?» Собрался, пошел. «Чего это, — думаю, — пугает, знать, кто». Вышел из овражка и вижу: с края, у леска, стоит избушка. Бедная. В одно окно. А у крыльца старичок сидит, лысый, и щучицу здоровую ножом чистит. Я говорю ему:

— Бог на помощь. Щука-то гожа.

Он чистит рыбину, смотрит на меня, молчит. Я спрашиваю:

— Нет ли кваску испить?

Он как воды в рот набрал.

Думаю — глухой, знать, — и пошел. А сзади меня опять кто-то сказал: «Вот сукин сын».

«Батюшки, чего это? — думаю. — Дай дознаюсь».

Вернулся. Нет избушки! Хожу — ищу, нет! Вот меня страх взял... Вот вы что скажете, Павел Лександрыч, чего это?

Доктор Иван Иванович, серьезно выпив рюмку водки и закусив беловской колбасой, сказал:

— Слуховая галлюцинация.

— Да ведь чего хочешь, Иван Иваныч, — сказал Герасим, — а этакое есть. Потом рассказывали, что там, в Ловцах, бывает, и заводит тоже. Допрежь там деревня была, скопцы жили, так начальство на них рассерчалось, и сожгли: и деревню, и народ этакий, чтобы его боле вовсе не было.

Приятели не обратили внимания на рассказ Герасима, думали только об охоте. Конечно, Петров день. И с вечера двинулись на подводах из моего дома.

В одиннадцать часов ночи ехали большим еловым лесом. Дорога была колдобистая. Стучали колеса о корни деревьев. Тарантас кренило то на одну, то на другую сторону. Я ехал с доктором, который кряхтел, жалуясь на дорогу.

Вдруг сзади кто-то ясно сказал: «Вот дураки — поехали ночью, сукины дети».

— Слышите, Иван Иванович? — спросил я.

— Да, слышал.

И мы оба обернулись назад.

Сзади ехали Василий Княжев и Караулов.

— Слышали? — крикнул им Иван Иваныч.

— Чего слышали? — смеялся Караулов. — Ничего не слышали.

Дорога спускалась вниз. Справа на краю леса показался огонек.

— К леснику приехали, — сказал Герасим. — Отселева до охоты полверсты. Здесь станем...

Подъезжая к дому лесника, мы услышали лай собак.

У крыльца нас встретил лесник с большой бородой, лохматый, и приветливо сказал, что охота есть тут понизу, в болоте, — «Утей масса...».

— Павел, — спросил я, — ты слышал, дорогой, в лесу, кто-то сказал: «Вот сукины дети»?

— Какой вздор, — закричал Павел. — Довольно пошлостей.

Жена лесника и дочь хлопотали, ставя самовар. На столе появились ватрушки, вареные яйца, сливки. А Василий Княжев и Герасим разбирали нашу закуску, вино и ставили на стол.

Лесничиха, разливая чай, говорила:

— Прошлым летом тоже охотники приезжали. Так долгоносиков настреляли что... И вот привередные! Говорили: «Мы утей не стреляем». А какая в этих долгоносиках еда? Нет же — нравятся.

— Скажите, пожалуйста, вот вы — лесник здесь, — сказал Иван Иванович. — Вот Герасим говорит, что здесь у вас пугает кто-то.

— Это бывает, — ответил лесничий. — Я сам диву давался. Понять невозможно. Вот как перехожу овражину здесь, к речке, — язы посмотреть, не попало ли в вершу, рыбки взять, — так каждый раз кто-то меня матерно ругает. Гляжу — а кто ругает, не видно. Ну, думаю, конечно, я ведь лесной объездчик, не больно нравлюсь тому, кто лесину украсть хочет. Но все же чудно. Ругает — а не видать кто...

— Ну, и что же? — спросил Иван Иванович. — Кто же это лается-то?

— А вот, — ответил лесник, — с краю оврага живет, здесь, в замойке малой, рыбак-старик, глухой — а зоркий. Он из избушки-то видит, кто идет, — охотник ли аль по рыбе кто. Ругается, а по оврагу отдает. Вот чисто рядом ругают тебя.

У него, знать, характер такой. Да ведь и правда — один живет, ну и сердает на всех...

Стлали нам в горницу сено на ночлег. Юрий Сергеевич вышел на крыльцо. Ночь была темная. Скоро вернулся. Лицо у него было испуганное.

— Это черт знает что! Только вышел, а у крыльца мне кто-то говорит: «Ты это куда, сукин сын?..» Что за безобразие! Я в первый раз в жизни встречаю такое место. Это возмутительно и непонятно.

Юрий Сергеевич сел за стол и сердито водил глазами во все стороны.

— Постой, постой, это действительно странно, — сказал Павел Александрович.

Он налил Юрию Сергеевичу рюмку коньяку для успокоения, кстати выпил и сам, и встал из-за стола.

— Постой, я узнаю, в чем дело. И всегда эти истории выходят! Места, что ли, здесь такие! Я узнаю.

И Павел Александрович вышел в дверь на крыльцо.

Не успел он выйти, как до нас донесся его гневный крик.

— Молчать, негодяй! Под суд тебя, каналья, молчать!

Лесник сказал:

— Батюшки, что такое?..

Вошел Павел Александрович, рассерженный.

— Барин, — говорит лесник, — чего сердать, мало ли что бывает...

— Довольно, — сказал Павел Александрович, — все вздор, твои выдумки.

И он поглядел на меня.

— Я-то при чем тут? Что ты, Павел?

— А на кого ты, Павел, кричал там, на крыльце? — спросил Василий Сергеевич.

— Как — на кого? На этого скота! Но только темно — никого не видно...

— Чего, барин, сердать, — успокаивал его лесник. — Человек он старый, да говорят, скопец, чего еще. Тут допрежь деревня их была. Ну, батюшка-царь Петр Великий деревню и их всех сжег огнем за дело такое. А вот он-то остался, знать... Теперь всех и поругивает через это самое. Какая жисть скопцу?..

Тут в боковую дверь вошел Караулов с огромной охапкой сена. Бросив ее на пол, он захохотал.

— Вижу я из сенника, что Юрий с крыльца вышел прогуляться, я и скажи: «Ты куда, сукин сын?» Он и пустился бегом домой.

— Вот смотрите, какая скотина... — сказал Юрий. — Так слагаются легенды.

— Нет, постой, а как ты побежал, еле дверь нашел... — смеялся Караулов...

Приятели мои все успокоились и заснули, а рано утром мы уже шли к речке и болоту.

Проходя таинственный лесной овраг, Герасим остановил нас и сказал:

— Вот это самое место. Тут ругает, послушаем.

Мы все остановились и слушали... Тишина, ни звука.

Когда мы проходили у бедной избушки старика-рыбака, дверь в нее была открыта.

Василий Княжев зашел в избу и, вернувшись, сказал:

— Никого нет. Ругатель-то ушел по рыбу, знать.

Из-за леса выглянуло солнце. Мы увидели летящую стаю уток. Собаки радостно побежали к болоту.

Охотники

Я получил письмо в деревне, что охотники собираются ко мне к концу июля. Просили сообщить — подросли ли выводки тетеревины. В июле — охота по тетеревам.

Я не любил эту охоту — казалась однообразной. Деревенский охотник Герасим Дементьевич сказал мне: лето жаркое, выводков много, и держатся с краю в лесу, больше к болотине и высокой траве.

Вскоре я получил от охотников телеграмму: «Едем 21-го в ночь».

— Приятели, значит, утром, рань раня, — сказал мой слуга-приятель, рыболлов Василий Княжев.

— Да. Надо сказать Герасиму Дементьевичу, чтоб встретил их на станции. Приедут гофмейстер, Павел Александрович и Караулов. Пускай возьмет две подводы — собаки с ними. А меня не буди: я заработался, устал, лягу спать в сарае на сене. Ты встретишь их на террасе, Ленька подаст чай, они сразу утром поедут на охоту. Понял?

— Чего не понять? — ответил Василий, проведя пальцем под носом и хрюкнув.

— Ты чего смеешься?

— Леньку-то в этакую рань разбудить немисливо. Мертво спит. До полуночи в беседке на гитаре зудит. И чего? «Пташечку» учит. А потом «Спрятался месяц за тучку»... Беда!.. Все у него девье на уме. Через это самое вся морда утрянми пошла.

Василий не очень любил Леньку.

— А кроме того, сегодня днем, — сказал я, — приедет Василий Сергеевич.

Василий опять засмеялся:

— Ведь вот, по рыбной части Василий Сергеевич туды-сюды. Ловить может и снасть стал понимать. А ведь тоже в охоту ударился. Совсем зря. Говорит мне: «Василий, какое дело со мной случается: как наведу ружье, стрелять — а у меня глаза сами собой жмурятся. Шут его знает отчего! Выстрела, что ли, они боятся? Только по сидячей я еще могу, а вот влет — не выходит Ты только не говори Константин Алексеичу, а то на смех подымет. Знаю, — говорит, — его».

В полдень приехал Василий Сергеевич. Радостный, шумный. Говорил: «В Москве жарища, пыль, вечером никого, все на дачу уезжают. Хотел к вам приехать Иван Иваныч, мы с ним на Москва-реку, в Каменном мосту купаться ходили. Вода теплая, только в купальне пробки всё плавают. И откуда эти пробки — понять нельзя. Иван Иванович говорит, что от Крынкина, из ресторана, с Воробьевых гор относит. Это верно — там здорово пьют».

Двадцать первого приехали чуть свет охотники. Я спал в сарае на свежем сене и слышал сквозь сон, как охотники, уходя из дому, свистели собак. Проснулся. Спать уже не мог. И пошел в дом, к себе в мастерскую,

Василий Княжев сказал:

— Приехали. Вон, глядите-ка в окно. Вона они идут по краю мохового болота. К леску пробираются.

Я посмотрел в окно и спросил:

— Это впереди-то, должно быть, Василий Сергеевич?

— Он, — ответил Княжев, — дуром прет, на силу надеется, сидячую ищет. А в сторонке Герасим — он сторожится: Василий Сергеич горяч — не подстрелил бы! А вот с Шаляпиным Герасим, что ни давай, не пойдет. Убьет почем зря. Вот горяч. Чуть уток увидит, такой стрел подымет — беда! Где ни летят — стреляет. Дым кругом его, ругается!.. Да где уж ему утку убить, на триста шагов палит! Ружье бросает, ружье не годится. Ведь это он, помните, ваше ружье дорогое сломал.

— А кто это сзади-то, отстал, Герасим? — спрашиваю я, показывая на окно.

— Это генерал за им ердалычит. Тоже охотник! Одежа на ём заграничная, — зеленые обшлага. Фуражка тоже зеленая, свистками обвешан, нагайка. Перчатки кожаные, толстые. В перчатках стреляет. И все мимо да мимо.

Василий засмеялся. Провел пальцем под носом и хрюкнул.

— Чего смеешься?

— Да как же! Только уж им не сказывайте, Константин Алексеич. Ведь это смех, что делается! Эх, Герасим, плут, вам говорить не велел нипочем. Чего он с генералом-то ходит? Его высокопревосходительство, понять надо, барин как есть сердитый. С вами-то он обходительный, а мы знаем, сердитый. Так вот он, генерал, пуделей пускает, как хочешь, а Герасим смекает: ежели он пустой с охоты придет, генерал, значит, в расстройство поступает. Огорчение. Кому радость? Так что вы думаете, он с собой под куртку за пазуху, в портки, в ягдташ, в тряпку набивает тетеревья, рябчиков. Значит, как вылетит — генерал что ни стреляет — все мимо. А Герасим бежит за куст, кричит: «Есть» — и подает. Не то собаке в рот даст — та несет. Генерал-то и рад. Кладет в ягдташ себе, добыча, значит. А Герасиму красненькую, а то и четвертную — для крестьянина деньги. Утром-то сегодня четырех тетеревят прихватил да еще черныша. Вот ведь плут какой!

— Ну, и не ожидал. Неужто это Герасим разделявает? Хитрый мужик!

— А вы что думаете — он понимает!.. Вот Пал Лександрыч и Караулов — это охотники настоящие. Настреляют. А Василий Сергеич пустой придет.

* * *

К обеду вернулись охотники. Усталые. Снимали сапоги.

Павел Александрович и Караулов вынимали из ягдташей на кухне молодых тетеревей. Василий Сергеевич застрелил утку. Гофмейстер был доволен.

— Представь, — сказал он мне. — На шум стрелял. Вылетело за деревьями, я «раз!». Черныш. Пять молодых взял.

— Что же ты, Вася, одну только утку убил? — спросил я.

— Знаете, я ушел из лесу на реку, собаки не было. Кругом стрел идет. В лесу не видно. Благодарю вас, еще подстрелят. Караулов так и лупит. Тетереенок прямо около пролетел. Чуть я его не схватил. А он стреляет. Ведь этак заденет меня. Генерал тоже выстрелит, я присяду. Думаю, черт с ними, и ушел на реку. Утка! Кряковая утка. Я ее на двести шагов ахнул, влет. Она в воду брякнулась. Так я раздевался, доставал, собаки-то нет! А в реке, знаете, когда я одевался, рыбина проплыла, вот, — показал Вася, растопырив руки.

— Какая же это рыба? — спросил я.

— Вот в том-то и дело — неизвестно. Пойду туда ловить. Знаете, какую я штуку придумал? Возьму я у вас художественный ваш зонтик, — вам все равно? — сверху

выкрашу его зеленой краской и буду с зонтиком к уткам подходить по берегу. Дырочку проверчу — смотреть. Вот вы тогда увидите, что будет!..

Дичь приказали отнести в погреб. Охотники были довольны.

* * *

Обед проходил весело, на террасе. Подали малиновый пирог.

— Это не раз со мной так бывало, — выпивая рюмку, похвалялся гофмейстер, — стрелять на шум. «Фр-р-р!..» Вылетает, что — неизвестно. За деревьями не видно. Я с дулетом на шум «раз, раз», и вот сегодня — черныш. А ты помнишь, Герасим, глухарь?

— Ошибаться изволите, ваше высокопревосходительство. Глухаря с сосны взять изволили. Я вас подвел тогда, а он сидит. Сосна-то небольшая.

— Да, да, верно, помню.

— Можно на шум-то, — сказал Караулов, — только редко удается. Вперед надо брать.

— А лес когда шумит? Что же, куда стрелять тогда? — спросил Вася.

— Какой вздор, — фыркнул гофмейстер.

— Не говорите, ваше высокопревосходительство, — ответил Герасим, — я под Ивановом стоял на осеннем перелете. Темно стало, ненастье. Домой двинулся. А из-за лесу как зашумит над деревьями. Я «р-раз!..» Гляжу, прямо передо мной упало. Чего? Гусь, да ведь какой здоровый! Верно говорю.

— А я знал охотника, — сказал я, — тот тоже домой по лесу шел, так на шум медведя ахнул — двадцать восемь пудов, да бекасинником.

— Довольно, начинается, — сказал Павел Александрович. — Благодарю. Я иду спать, пора... До свидания...

У стога

Далеко тянулись леса и синели, пропадая вдаль. В пересохшем ручье, который мы переходили, лежали разноцветные камушки.

— Ну-ка, Ленька, — сказал я своему слуге, — надо набрать камушек.

Круглые гольши — серые, розоватые, белые — я набрал в руку. Они были теплые от солнца.

— Я и себе наберу, — сказал Василий Сергеевич.

— Что же вы, глядите-ка, какой чертов палец, — поднимая длинный камень, кричал охотник Караулов.

— Ну-ка, покажите, какой чертов палец? Ведь вот действительно на палец похож. Значит, черти-то окаменелые были прежде.

Приятели мои рассматривали чертов палец.

— А вот ученые ничего не знают. Говорят, чертей не было.

— Чего не было, — сказал деревенский охотник Герасим Дементьевич, — и сейчас есть.

— Вздор, — поморщился Павел Александрович.

Отходя от ручья, мы стали подниматься в гору. Показалась возвышенная поляна, окруженная лесом. У края леса стоял огромный стог сена.

— Вот хорошо-то, — крикнул Караулов, — у стога и отдохнем.

У стога было сухо, приветливо, и мы, усталые, расположились под ним. Сняли высокие сапоги, достали из ягдташей закуску: колбасу, пирожки, печеные яйца, пеклеваный хлеб.

Кругом, куда ни посмотри, все шли лесные дали.

— Раз здесь стог стоит, значит, деревня недалеко? — обратился Павел Александрович к Герасиму.

— Кто ее знает, — ответил Герасим, — это сено на зимнее время припасают. Зимой берут, на саях за ним приезжают. Деревня может быть и далече.

— А в какой стороне дом-то наш будет? — спросил я.

— Как сказать, — ответил Герасим, — ведь мы много кружили по лесу, приглядеться надо, в какой он стороне. Эх, мы вышли-то в пять часов утра, а сейчас сколько?

— Шесть часов, — посмотрев на часы, сказал Павел Александрович.

— Она сколько ходили. Да ведь как не пойдешь? Заметил я, а за Никольским уж обязательно заблудишься.

— Разве мы заблудились, Герасим? — спросил я.

— Заблудились?! Вестимо, заблудились. Нуте-ка, скажите, в какой стороне дом наш?

Все стали смотреть в разные стороны. Павел Александрович надел пенсне, встал, пристально огляделся и сказал:

— Непонятно. Действительно, где дом?

— По солнцу надо, — сказал Ленька. — Когда пошли, солнце-то всходило сзади нас, а теперь солнце-то впереди.

— Ну пойди по солнцу, пойди, — отгрызнулся Герасим. — Куда придешь?

— Восход там, а тут будет закат. Так вот закусим и пойдем на восход.

Герасим взял котелок.

— Пойду, — сказал, — водицы достану. В сторонке чайку вскипятим. Неча говорить, у стога до утра оставаться. А то зайдешь в Берендево болото, и ах! Вот что. Оттуда выхода нет. Мало ли народу там пропало.

— Благодарю вас, — сказал мне Василий Сергеевич, — это все вы. «Новые места, новые места». Тоже место — чертовы пальцы валяются! Ни реки, ни воды, ни дороги. Вася с горя откупорил бутылку рябиновой водки и сразу повеселел.

— А в сущности, хорошо. Давайте выпьем водочки, разведем костер, тетеревов нажарим...

Показался Герасим, в котелке у него была вода, и он тащил за собой большую длинную сухую осину для костра...

Так хорошо было у стога; мягкое сено, белые ночи... И все были довольны, говорили:

— Спасибо, Герасим, правильно, что мы остались здесь на ночь.

Герасим подошел и спросил Леньку:

— Ну-ка, давай чай.

Ленька достал чай. Герасим, подойдя к стогу сзади, вырвал клоч сена для растопки и крикнул:

— Поглядите-ка, чего это!

За рукой Герасима вместе с сеном тянулась красная рубаха.

Герасим опять залез рукой в стог.

— Глядите: одежина, армяк. Эка! еще бутылка с водой. Эвона! еще рубаха! Сапоги! Ишь ты, житель, знать, какой здесь был.

Из кармана армяка Герасим достал кожаный кошель. Кошель был набит серебром.

— Вот ведь что, — сказал Герасим, — знать, здесь прятался. Тоже спал. Теперь надо ждать, что придет.

— Это не очень мне нравится, — опечалился Василий Сергеевич. — Это, наверное, молодчик! Не из разбойников ли?

— Не иначе, — мрачно подтвердил Караулов.

— Ну, придет ночью — так я его и ахну!.. Пусть приходит! — разгорячился Василий Сергееч.

Замечательно: чай с малиновым вареньем! И никогда он не был так восхитителен, как у стога, среди июльского вечера моей прекрасной родины.

Наступил вечер.

Показался месяц. И таинственна была лесная пустыня.

Мы растянулись под стогом, но Василий Сергееч грозно заявил нам, чтобы мы и не думали спать: «Придет этот разбойник и всех нас сонных зарежет».

— Да, спать уже не придется, — согласился Караулов.

Только он это сказал, как собаки наши залаяли. Из леса вышел парень высокого роста, и с ним девушка. Оба они остановились и глядели на нас.

— Чего стал? — крикнул Герасим. — Подь сюда. Здесь православные, не бойсь.

Парень и девушка смело подошли к нам.

— Скажи, любезный, — сказал Павел Александрыч, — вот мы, охотники, заблудились, какое это место?

— «Лихое» зовется, — ответил парень, — а вы-то чьи?

— Буковские, — сказал Герасим.

— Буковских не знаю.

— Станцию Рязанцево — знаешь?

— Нет, не бывал. Я сам-то нездешний. Я в работниках, в Дубровицах был, от хозяина ушел, и вот она ушла. На Переяславь пробираемся, к попу. Под венец пойдем. Я в стогу-то здесь жил с неделю.

Он подошел к стогу и засунул руку в сено.

— Постой, — сказал Герасим, — мы нашли твою одежину.

Герасим пошел к костру и позвал парня. Тот, обрадованный, вернулся к нам и сказал:

— Благодарствуйте, ведь вот другие бы взяли деньги-то. Всю бы жизнь погубили. Только вот, господа, вчера, когда я здесь в стогу спал, так вот напугался. Сюда подходили какие-то — кто их знает. Тоже спали здесь, но я притулился. А они говорили: того поджечь надо, а того и убить. А всего их восемь... Ну, так я, как они ушли-то, и ушел. Не пришли бы теперь.

— Я уйду отсюда, — решительно сказал Василий Сергеевич, — а вам как угодно.

— Они тебя, Вася, дорогой-то и поймают, — с улыбкой заговорил Караулов.

— Нет, я не остаюсь: стрелять придется, потом дело, суд, а мне некогда.

— Правильно, — сказал парень, — они беглые, поднадзорные, что ни на есть разбойники.

— Ежели поднадзорные, — отозвался Герасим, — беда, уходить надо.

— И впрямь, пойдёмте, — сказал парень, — от греха. Я знаю место здесь, под горой, — песочек у речки, елочки, очень привольно. Там пастушья закута есть, от дождя спрятаться можно.

Парень пошел впереди с Герасимом. В лесу была сенная дорожка, по которой ездили косари. Вдруг недалеко, впереди, из лесу показались какие-то люди и остановились.

Павел Александрович вдруг бросился вперед и закричал по-военному:

— Вот они! Держи! За мной!

Те бросились врассыпную, и слышно было, как они в темноте бежали по лесу.

Павел Александрович, обернувшись, выстрелил перед нами в воздух и крикнул:

— Пли!

Василий Сергеевич и Караулов тоже стреляли.

— Это, знать, не те, — сказал парень, — одежина крестьянская, а те бродяги городские.

Пастушья халупа оказалась просто навесом, покрытым соломой. Внизу лежало сено, на котором мы легли и скоро заснули.

Собаки поместились с нами...

Утром пастух гнал стадо, залаяли собаки, и мы проснулись.

Увидав нас, старик-пастух сказал:

— Эва, охотники, вот чего: сейчас понизу, в моховом болоте, что тетеревьев, кукуры!..

Потягиваясь, приятели говорили:

— Хорошо бы котелок заварить.

— Ну, прощай тады, все улетят в лес, — сказал старик.

— Идем, — решил Павел Александрыч.

И мы все пошли в лес, к моховому болоту.

— А парень-то не остался с нами, — прищурился глазом, сказал Караулов, — видел, как Павел Александрович на его невесту глаза пялил.

— Довольно, — возмутился Павел Александрович, — с утра эти пошлости начнутся.

* * *

— Спасибо старику, — говорили охотники, набивая ягдташи выводками глухарей и куропаток.

Когда мы вернулись в халупу, он спал у тепленки, и мальчишка-подпасок объяснил нам, как пройти в деревню Светлый Ключ.

В деревне наняли подводы до дому. Дорогой возчик говорил нам:

— Вот хорошо охотникам-то — ружья есть, а у нас тут место, Лихое зовется. Опять разбойники завелись. Вчера, ввечеру, пошли бабы с ребятами к Спасу на праздник, а их чуть дочиста не перебили, стреляли в их. Насилу убегли.

Павел Александрыч, ехавший со мной, упорно смотрел в сторону и молчал.

В жару

Стояла жара. С утра еще как-то, в тени больших елей моего сада в деревне, было прохладно, но ближе к полудню солнце стало печь нестерпимо. Ходили купаться. Вода теплая. Приятели ходили в русских рубашках с открытым воротом. В небе — ни облачка. Вороны сидят на сарае с открытым ртом.

Доктор Иван Иванович намочил свой картуз колодезной водой. Все ходили как сонные мухи. Одолевала лень. К обеду подали крошку.

Доктор Иван Иваныч ни с того ни с сего сказал:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

— Это почему это вам в такую жару в голову лезут такие штучки? — спросил Василий Сергеевич.

— А вот если такая жара будет продолжаться месяц или два, то в жизни произойдут многие изменения.

— Отчего это, скажи, пожалуйста, вот ты блондин, а на груди у тебя волосы какие длинные? — спросил композитор Юрий Сергеевич доктора. — Ясно, что ты производишь от обезьяны, а говорил, что ты духовного звания...

— Ничего подобного, — ответил доктор Иван Иваныч, — человек отнюдь не происходит от обезьяны, но человек может быть поставлен в такие условия разной ерундой — климатическими изменениями или сумасбродными идеями того же человеческого общества, — что обростешь шерстью. Да-с!

— Опять заврался, — сказал Павел Александрович.

— Нет, не заврался. Вот отчего у тебя всегда подняты брови высоко на лбу и глаза выпучены? Оттого, что деда твоего допрашивал Наполеон. Вот от того у тебя глаза всегда и выпучены.

— Скажи, Павел, Наполеон вправду допрашивал твоего деда? — заинтересовался Юрий Сергеевич.

— Да. Он был генерал. Его привели раненного к Наполеону. Под Бородином. Император сидит, а дед перед ним стоит. Наполеон его спрашивает, кто он, а дед мой его спрашивает тоже: «А вы француз?» Наполеон удивился и ответил: «Да, я француз». — «Нет, — сказал дед, — не может быть. Вы видите перед собой раненого генерала, — мне трудно стоять...» Наполеон встал и быстро подал ему свое кресло...

— Этот анекдот я где-то слышал, — меланхолически заметил Василий Сергеевич. — А вот у Ваньки глаза спокойные, белые, плавают, как в масле. Потому что — из духовного звания. Ему все равно. Хоронят себе его покойничков и хоронят. Вот тебе и приспособляемость организмов к условиям жизни.

— Это шутки, — сказал я, — но вот когда я был в Архангельске, то губернатор Энгельгард показал фотографии двух пойнтеров, оставленных на Новой Земле каким-то иностранным охотником. И что же? Короткошерстные пойнтеры обросли длинной шерстью, так что гладкий хвост сделался лохматым, как у сеттера, и, вообще, стали напоминать лаек, которым мороз 50–60 градусов нипочем.

Иван Иваныч налил себе рюмку водки и выпил.

— Что же ты водку-то пьешь в такую жару, а еще доктор? — спросил Караулов.

— Не учи. Мало ты понимаешь. В Библии говорится: «Мал бех и пасох стада отца своего Валаама». Водка понижает температуру крови. Понял?

Ленька, подав окрошку, стоял у лестницы на террасе, слушал наши дурацкие разговоры и медленно процедил:

— Тридцать восемь градусов в тени. А в купальне купаться нельзя. Пиявок что развелось. Купаться противно.

Подали к столу малину с молоком. Посыпали мелким сахаром и ели, отмахиваясь салфеткой от ос.

— Опасная штука оса, — сказал Иван Иваныч. — Укусит в губу, так шишка в пол-аршина вырастет, длинная, как сосиска.

— Довольно, — рассердился Павел Александрович. — Что это, от жары, что ли, всё чепуху такую несете?

Вошел охотник Герасим Дементьевич.

— Ух, и жарко, — сказал он, входя на террасу. — А на Глубоких Ямах что леца! Наверху — кучей стоит. Я как подошел, они увидели, все вниз пошли. Вглубь. А перед сечей что мошек летает. В глаза, в рот лезут. Надь-ка, две недели жара этакая. А на Святом Ключе вода чисто лед холодна. Попил я.

— Герасим, что ж теперь делать? — спросил Павел Александрович.

— Делать неча. Спать вот на сене. На охоту не поедешь, собака не причует.

Тут на террасу вбежал Ленька и сказал:

— Николай Васильевич едет, на мосту застрял.

Тарантас подъехал к крыльцу. Коля, вылезая из тарантаса, кряхтел и хромал.

— Что с тобой? — спросили мы.

— Да, брат, погреться приехал. От мороженого спасаюсь. Целый день у Анфисы гости. До того я замучился. Мороженицу вертел целый день. До того иззяб! Довертелся — прострел в спине. Не разогнешься. Бросил все и уехал сюда погреться. Иван Иваныч, может быть, поможет.

— Верно я говорил, — сказал Иван Иваныч, — что климатические изменения действуют на организм.

Коля оробело смотрел на доктора. Иван Иваныч увел Колю в мою мастерскую. Ленька снял пальто Николая Васильевича, сюртук, сапоги, панталоны. Иван Иваныч велел Коле лечь на кушетку навзничь.

Коля послушно все исполнял. Кругом все приятели смотрели. Доктор мямл Коле спину. Тот вскрикивал.

— Люмбаго! — сказал доктор.

И приказал Леньке:

— Разогрейте хорошенько утюг.

Ленька принес горячий утюг. Коля сел на тахту, наскоро стал натягивать панталоны и с испугом смотрел на доктора, державшего в руке утюг.

— Чего же вы? Ложитесь, я по вас сейчас утюгом пройду.

— Надо его накрахмалить сначала, — сказал Караулов.

— Ну нет, это уж извините, — сказал Коля. — Я вам не белье — утюгом проходить.

— То есть как это — не белье? Я клинический врач. Я хочу вам помочь, — рассердился Иван Иваныч.

— Нет уж, благодарю вас.

Коля, одевшись, пошел на солнышко на террасу, потом — в сад. С ним пошел Герасим.

— Почто утюг? Сгорит кожа, жди, когда новая вырастет. А вот наше деревенское средство — лучше нет. Пощиплет мал-мала, и как рукой снимет.

И Герасим повел Колю на край сада к муравьиной куче.

— Вот, Николай Василич, снимай штаны и садись. Как зачнет жечь — слезай.

Коля послушно сел на муравейник. Потом вдруг вскочил и побежал к дому. Герасим — за ним.

Дома Николай Васильевич стал сдирать с себя платье. Герасим улыбался.

— Ничего. Ничего... Вы прилягте, я вас маслицем потру — молодцом будете.

Он налил из лампадки масла и стал мазать Коле спину.

Коля кряхтел и охал.

— Что только у вас делается! Что делается, — смеялся, зажмурив глаза, Василий Сергеич.

— Пускай, — говорил сердито Иван Иванович. — Не хотел утюгом — пускай поешится!

Мы вышли в сад. Герасим стал отряхивать у крыльца Колины панталоны от муравьев.

А вскоре появился на террасе и Коля, веселый, и сказал:

— А ведь прошло! Жгло — будто в аду на раскаленную сковороду сел! А прошло!

Август

Чудный август месяц. Поля покрыты сложенными снопами ржи. И воздух прозрачней.

На больших березах моего сада уж видны кое-где желтые листочки. Малиновый сад покрыт ягодами. Полные корзины стоят на столе террасы, и двоюродная сестрица моя серьезно смотрит черными глазами и вытирает платочком слезы. Это не девичьи слезы горя, а от жаровни, на которой кипит и пенится в медных тазах розовой пеной малиновое варенье.

Когда варят варенье, то почему-то все женщины сердиты. Приятели мои любят пенки от варенья, но им их не дают. Недостойны.

Двоюродная сестрица про моих приятелей сказала:

— Пустоплясы.

Это мне рассказал мой слуга Ленька.

Сестрице не нравились мои приятели-охотники, несмотря на то что они были очень учтивы с ней. Сестрица моя была в годах, а потому была всегда сердита и в разговорах коротка. Подавая к утреннему чаю пенки от варенья, говорила:

— Вот вам к чаю, а безо времени приставать нечего.

Варенье было малиновое и крыжовенное. Василий Сергеевич догадался в горлышко четверти из-под водки напихивать варенье и взял ее с собой на рыбную ловлю. Поставил в реку, чтобы наполнилась водой. Говорил:

— Делаю малиновую воду для питья.

А в бутылку с водой из реки попал жук — плавает в бутылке очертя голову.

Василий Сергеич ужасно рассердился. А Павел Александрыч сказал:

— Тебе жука пустил кто-нибудь нарочно.

После расспросов и выяснений пришли к выводу, что виновник — композитор Юрий Сергеич Сахновский, который варенья терпеть не мог, а предпочитал всему легкие вина. Но он упорно отмалчивался и не сознавался.

Василий Сергеич, несмотря на жажду, после того как вытащили жука, все же пить из бутылки малиновую воду не решался.

А приятель Коля говорил:

— Что такое жук? Он всегда живет в воде. Самый чистый зверь. Его когда вытащили — он опять в реку улетел...

* * *

Хорошо было в августе на берегу речки. Денек был серенький, и на реке было тихо. Василий Сергеич сидел на берегу, расставив против себя удочки с поплавками и пристально глядя на поплавки. Схватит удочку — и говорит:

— Попала!

Тащит окуня. И кладет его в сажалку перед собой. После полотенцем вытирает руки и опять закидывает удочку.

Наверху, на пригорке, послышался в саду звук гитары. Это мой слуга Ленька упражнялся в беседке. И слышно было, как он запел:

Подари мне поцелуйчик...

Ко мне обернулся Василий Сергеич и сказал:

— Как это вы Леньку не можете обуздать! Поет, сукин сын, поет! Ловить рыбу мешает.

А голос Леньки так и звенел по реке:

Чувирь, мой чувирь,
Чувирь на вирь, вирь, вирь, вирь...

— Слышите, что делает, — сердился Василий Сергеич. — Я бы показал ему «чувирь». Необузданное животное. Ловить так нельзя. Настроение портит. Мешает.

Василий Сергеич встал, поднялся по дорожке на бугор и зычно закричал:

— Замолчи ты, конопатый черт, дурак!

Ленька сразу замолчал.

Я тоже двинулся к дому — не вздумал бы Ленька снова орать.

С Ленькой в беседке сидел сосед мой, крестьянин Феокист Андрееч. Он любил слушать, как пел Ленька, и сказал огорченно:

— Ишь ты, петь тебе не велят.

— Больно нужно его слушать. Если бы не Константин Алексеич, я б не слушал его. Тоже об себе думает; архитектор, баню построил!

— А чего? Поди, жалованье получает хорошее? — спросил Феокист.

— Все получают. Ни за что получают. Он меня один только тут и ругает. Окрошку ел, так в окрошку пивка попала. На меня говорил, что я пустил.

— А чего, — сказал Феокист, — пивка-то не вредно. На охоте ездили, я дожидался. Пить захотелось. Под кустами лужу нашел. Картузом захватил воду-то и пью.

А темно было. Напился, слышу, у меня в брюхе чего-то елозит. Напугался. Нагнулся и смотрю в лужу-то. А там пиявок!.. Вреда от них нет. А вот, по весне, Дарья, что за околицей живет, с ней было этакое-то. Тоже по весне из лужи пила. Лен мочить ходила. А в луже-то головастики эдакие заводятся.

— Это лягушата выходят из головастиков, — сказал Ленька.

— Вот-вот. У ней лягушата и завелись. Брюхо растет и растет. Все глядят, молчат. Думают, Дарья, это самое, попала. Наверное, к леснику — эдакий приезжал, гвардейский солдат. Дарья его видала. Ну, конечно, смеются в деревне. Она к бабушке-знахарке ходит. Александрой Васильевной знахарку звали. Богатая. Лавку в Покрове держала. Ну, чего ж? Зря про девку говорили. Смотрят, живота боле нет. А по избе прямо лягушки прыгают, туды-суды. Вот ведь дело-то какое!

— Вот если волосатик попадет, — сказал Ленька медленно, — тогда беда.

— Да, — согласился Феокист. — У Горохова попал, так он его вином выгонял. Вот пил! До чего пил! Так и помер...

У беседки показался Василий Сергеич. Нес удочки и пойманную рыбу. Остановился.

— Погоди, ты у меня попоешь, — сказал он Леньке. — Я из-за тебя леща упустил, в пятнадцать фунтов! Понимаешь? Нет, ничего не понимаешь. А сколько у Баранова стоит лещ копченый в пятнадцать фунтов?.. Да еще не всегда найдешь! Вот Константин Алексеич, помнишь, леща-то Баранову такого отдал коптить. Помнишь?

— Помню, — сказал робко Ленька. — Я его сам отвозил от Баранова Шаляпину в подарок. Так тот не верил, что поймали такого. «Наверное, в Охотном купили». Божиться меня заставил. И потом сам ловить поехал.

Василий Сергеич велел Леньке отнести рыбу на погреб.

— Вот что, Феокист Андреич, — сказал Ленька. — Возьми-ка гитару к себе домой. Я буду приходить к тебе петь.

— Ладно, разлюбозное дело.

— Здесь-то петь не велят, то рыбу мешаю ловить, картину когда пишут — тоже не пой. Шаляпину попробовали бы запретить! На мельницу когда с ним ездили рыбу ловить, так он на весь омут орал: «Серый селезень плывет». Все небось молчали.

— Говорят, велико жалованье получает, — сказал Феокист.

— Так ему сам царь платит.

— Да неужто? — удивился Феокист.

— А как же! Он придет в казну, его к сундуку подведут, он и берет золото обеими руками, что руки захватить могут. Потом к серебру подводят. Тоже берет. А потом к медным. Медные-то, говорят, не берет.

— Их ты! — качая головой, вздохнул Феокист. Взял гитару и пошел с Ленькой.

За обедом, когда ели уху из Васиной рыбы, Василий Сергеич все сердился:

— Верно же говорю: у меня лещ сорвался. К самому берегу я его подвел. Так фунтов на двадцать.

— Постой, — сказал я, — у нас в реке нет на двадцать фунтов. Больше трех фунтов не бывало. Это на омуте, на мельнице, бывают.

— Что вы мне говорите! Я сам видел, какой попал. А Ленька запел. Ночью поет — будит, спать не дает. Днем поет. Этому соловью вашему я хвост выдерну, как хотите.

— Что ты так, Вася, на Леньку-то напал? — сказал Коля. — У него, может быть, талант откроется.

— У него откроется! — пробурчал композитор Юрий Сергеич. — Слуха никакого. Я, как только он запоет, втыкаю ему в рот папиросу. Действует — умолкает, негодяй. Опять запоет — я опять папиросу. Только тем и спасаюсь.

В ту же минуту от сада донеслось пение Леньки.

Юрий Сергеич с невозмутимым видом вынул из портсигара Василия Сергеевича единственную оставшуюся у него сигару и медленным шагом отправился в сад...

В Черемушках

На даче в Черемушках лежат желтые опавшие листья на дорожках.

За палисадником стоит ломовик. Из дачи выносят мебель, корзины с посудой, железные кровати, матрацы, корыто. Все навьючивают на полок.

Коля и Саша — оба гимназисты, — грустные. Завтра начало ученья. Надевать ранец с книгами и идти в гимназию.

Оба разбирают шалаш, где они прятали монте-кристо, фонарь, котелок, компас, воздушного змея с трещоткой, банку с водой, где помещался вьюн, головной убор из ястребиных перьев индейца, и книжку Фенимора Купера «Орлиный Глаз».

Все лето они боролись с враждебным индейским племенем, расположившимся за Лидиным прудом, тоже в шалаше дачи, и состоящим из одного первоклассника и двух приготовишек.

Отец Коли и Саше служил бухгалтером в конторе театров. А отец другого племени был смотрителем Екатерининской больницы. Оба племени немало досаждали своим родителям. Обьедались дикими растениями — щавелем, гурлюной, ягодами черемухи, — отчего у них болели животы.

Родители ахали.

— Уж это лето. Забот с детьми не оберешься. Опять у Кольки температура, — говорила Колина мать.

И посылала отца за доктором.

Дачники были знакомы друг с другом. Собирались к вечеру на террасе дачи и играли при свечах в преферанс.

А Коля, выздоравливая, писал записку приготовишке другого племени:

«Покинь вигвам отца своего и издай крик совы. Буду ждать...»

И вот — все кончено. Опять надевать ранец с книгами и идти в 5-ю гимназию.

Мальчики собирали в коробку из-под шляпы своей сестры Нади кленовые листья, сухой гриб с коры дерева, раковины от улиток, подкову, которую нашли на дороге.

В последний раз, пока увязывали возы, они пошли на пруд, набрали в коробку песку, сняли сапоги и ходили по воде. Захватив три папиросы, которые стащили из портсигара отца, оба враждующих племени выкурили трубку мира.

Затягиваясь, кашляли до слез.

— Алашай, алашай, — сказал торжественно Коля, — мы покидаем наши вигвамы. Мы не сдаемся бледнолицым врагам.

Тут одного из этих милых мальчиков, сына смотрителя больницы, догадало стациить у отца банку йода, и он кисточкой раскрасил физиономии всем другим мальчикам желтыми индейскими узорами.

— Что же это делается? — вскричал бухгалтер.

— Надя! — позвал он старшую дочь. — Нам после завтрака ехать, а посмотри на их рожи. Как ты их повезешь в Москву? Ну, Колька, погоди!

И отец достал ремень. Колька кинулся наутек.

Смотритель больницы тоже расстроился и жестоко порол старшего сына — столь жестоко, что матери пришлось его отнять, и вышла домашняя ссора.

Отец кричал матери:

— Вот вы, Федотовы, все такие! В тебя вышли все!

* * *

Меж тем время шло. Бухгалтер вне себя ходил по террасе и кричал:

— Надя, поищи же Кольку. Скоро ехать. Где он спрятался?

Надя, стоя у березы, вырезывала ножичком на коре: «Твоя» — и уже начала вырезать «навек», когда раздался голос матери:

— Ступай, Надежда, сейчас же поищи. Он, наверное, у смотрителя. Чтоб сейчас шел, ехать надо, а то отец выпорет.

Надя вскоре пошла искать брата, но нигде Колю не могла найти. Впрочем, на березе она все же успела вырезать «навек».

В семействе бухгалтера все волновались: Коля не появлялся.

Наконец решили все ехать в Москву, кроме Нади. Она осталась дожидаться Колю...

Наступил вечер — Коля не шел. Надя исходила всю округу и вернулась, не найдя Коли.

Дача стояла темная и пустая. Надя вставила в пустую бутылку свечу, которую купила в лавке, и зажгла.

Ей было грустно одной. Она задумалась.

«Страшный человек этот Виктор», — подумала она.

Виктор был студент-медик 4-го курса. Он гостил на соседней даче у своего дяди — старика-доктора. Виктор говорил, что, когда окончит курс, уедет к камчадалам, лечить их, а главное — объяснить им, что их обманывают. Они — дети. Он их просветит и поднимает восстание против их угнетателей. Он спрашивал Надю, поедет ли она с ним.

Она не знала, что ответить, и он вырезал на березе слово «террор».

Совсем стемнело, Надя вспоминала, как было хорошо по вечерам в Москве, когда играли в жмурки и в «свои соседи».

Как хорошо жить в Москве и на даче! А Виктор все говорит, что нельзя жить так больше. Ругал каких-то педелей, городских, министра Кассо. Она ничего не понимала. Он так много говорил, багровея от запала, махал руками, поворачивал плечами во все стороны... Она боялась его, когда он так горячился.

Вдруг она услышала шаги на деревянной террасе дачи. Подумала, что вернулся брат. Вышла на террасу и увидела широкоплечего человека. И в темноте тотчас узнала Виктора.

— Здравствуйте, — сказал он, — приехал искать вашего дурака-Николая. Вместе они пошли к Лидину пруду искать брата.

* * *

А Коля засел в старой купальне на пруду и мечтал, как он утром пойдет пешком все прямо, прямо, на юг. Подойдет к Черному морю, там поступит в матросы и уедет к настоящим индейцам. Он делается у них вождем — Орлиный Глаз — и покорит белых.

Мечту его прервал голос Виктора:

— Николай, где ты, олух, иди домой, тебя полиция ищет!

Коля выбежал из купальни и, узнав по платью Надю, убегая, крикнул:

— Я не вернусь, убегу к индейцам, тогда вы узнаете, кто я. Так и скажи папе.

* * *

Надя и студент Виктор вернулись на дачу. Надя зажгла в своей комнате свечу и села на скамейку, которую принесла из кухни.

Студент вынул из бокового кармана какие-то печатные листки:

— Вот... — показал он ей у свечки.

Надя прочла: «Земля и воля».

— Вот я вам почитаю, — сказал студент, — тогда вы поймете, что отец, мать, братья — все это ерунда.

И он ей читал полушепотом, отчеканивая каждое слово и все подвигаясь к ней ближе и ближе.

Она слышала его взволнованное дыхание. Иногда он взглядывал на нее светлыми, как бы стеклянными глазами. Плечи его ходили ходуном, лицо лоснилось.

Надя подумала:

— Какой страшный человек! И он мне нравится. Как от него вином и потом пахнет!

Прочитав все листки, Виктор вдруг схватил ее, крепко поцеловал в самые губы и сказал:

— Вот вам!

Надя отшатнулась и, встав у окна, крикнула:

— Уйдите!

— Как — уйдите? — возмутился студент. — Что вы, кисейная дура? Вы сами меня звали, сами заманивали: «Приходите!»

— Вон! — крикнула Надя.

— Не орите!

Виктор бросился к ней и попытался вновь обхватить ее за талию. Надя схватила бутылку и ударила ею Виктора по голове.

Он вскрикнул, бросил Надю на пол и убежал...

К утру пришел на дачу Коля. Увидав сестру, заплакал.

— Надя, чем бы мне отмыть лицо?.. А то за мной бежали белые, хотели меня убить... Я насилу убежал... У меня нет еще ядовитых стрел компрачикосов.

Похудевшая и побледневшая за ночь Надя повезла «комирачикоса» в Москву.

А в Москве отец и мать, сидя перед ним за столом, поили его чаем с бисквитными пирожками...

Тата

Под Москвой было много фруктовых садов. И в самой Москве — в Замоскворечье, у купеческих особняков, в садах — за деревянными заборами — виднелись яблони.

К Спасу, 6 августа, поспели скороспелые сорта — белый налив, грушевка, рязанка и коричневые. Попозже — апорт и антоновка.

Поближе к Спасу начинали караулить сады от мальчишек — любителей яблок.

До чего хорошо пахло яблоко, сорванное с яблони! Особенно вкусна была «па-даль» — спелое яблоко, внутри тронутое червячком.

У Харитония в Огородниках, по соседству с забором, где жила Тата, я глядел со двора в щель забора и видел, как Тата, в белом кисейном платьице, стояла под яблоней. Потрясет ветку, упадет яблочко, она подымет и ест. Вот посмотрит на небо, и видно, как блестят ее зубы на солнце.

— Тата! — кричу я.

Тогда Тата нарвет с веток яблок, подбегает и бросает их мне через забор.

Хочется мне перелезть через забор к Тате, но ее мама запретила лазать к ней через забор.

Тогда мы с Татой уходили в конец сада, где по обе стороны забора росла густая бузина. В бузине нас не было видно. Там в гнилом деревянном заборе была большая щель.

Тата подойдет к щелочке забора, и я вижу ее темные глаза и ресницы.

И выдумали мы с Татой протягивать в щелочку губы и целоваться. Но забор мешал.

Когда же я в калитку приходил к Тате, то как будто этого и не было — никакой радости.

Тата мне показывала альбом, мать угощала нас пирожными и шеколадом. Тата садилась за рояль, пела:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю...

Была мила, серьезна, но насчет поцелуев в щелку забора ни гу-гу. Так что мне казалось, что это другая Тата. За забором одна — а тут, дома, другая.

Когда я уходил, прощаясь, говорила мне:

— Завтра в четыре часа вы придите, Костя, меня встретить у гимназии.

Как была мила Тата в маленькой черной шляпке, повязанной внизу черными лентами, в коричневом платьице с черным передником.

Тата давала мне нести свои учебные книги, перетянутые ремнем. Я был счастлив, что несу Татины книги, и старался говорить с ней, понижая голос, как взрослый.

«Господи! — горевал я, — когда же у меня вырастут усы!»

Смотрел в зеркало — никакого признака.

Я женился бы на Тате, если бы у меня были усы. Купил бы беседку с цветными стеклами, перенес бы ее в сад в Медведково и жил бы в ней с Татой. Ходил бы на речку Чермянку и бегал бы босиком с Татой по песку к речке.

А мне только четырнадцать, а Тате двенадцать...

* * *

В тот год в жизни Таты случилось большое горе. Татина мать узнала из письма, что муж ее, полковник, убит на войне с турками. Она горько плакала, и Тата плакала... Я тоже хотел заплакать, но не плакал — не выходило...

Тогда же в Медведково приехал ее брат, морской кадет, из Петербурга. Он был старше меня и уговаривал меня поступить в моряки.

Я уже начинал рисовать — писал красками деревню. А брат Таты говорил, что гораздо лучше писать море, жить на военном корабле и стрелять в корабли врагов. При этом он вскрикивал:

— Паф, паф. Они летят вверх тормашками. Такую картину стоит написать!

Я узнал у него программу вступительных экзаменов и решил поступить в моряки. Но отец мне запретил.

* * *

Осенью в Москве, из Харитония в Огородниках, я ходил в школу на Мясницкую, в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Однажды мы решили с Татой утром в субботу — был чудный осенний день — пойти в Медведково на речку Чермянку и бегать у кривой сосны по лугу босиком.

От Крестовской заставы мы пошли с Татой пешком. У Таты был сверточек с хлебом и сыром, колбасой, ватрушками, плитками шеколада.

Зайдя за Ростокино в лес, где березки пожелтевшие блестели на солнце, как цветной бисер, мы сели на траву в тени зеленой елки и съели разом всю закуску. До чего было хорошо и весело на душе.

Я ходил со своими товарищами из школы — с Курчевским, Добрынским, Лавдовским, за город — писать этюды с природы. Но мне не было так весело, как с Татой.

Одно огорчало: когда мы бежали радостные по лесу, Тата не попевала за мной в платье.

Я ей сказал:

— Тата, как я вас люблю, но как жалко, что вы не мальчик, а девочка.

— Я не виновата, — сказала она, — когда я вырасту большая, а вы будете военным, я выйду за вас замуж...

* * *

В Медведкове мы с Татой пошли к приятелю моему Игнашке Ельчеву, у отца которого снимали дачу. Игнашка обрадовался мне. На терраске пустой дачи пили чай со сливками, молоко с ватрушками и пошли к кривой сосне на речку Чермянку, где ходили по мелкой речке босиком по песочку. Вода была уже холодна.

— Вот здесь бы поставить беседку, — говорила Тата, — но только как же, придет зима, и нельзя будет жить в беседке?

Мы ходили по тем местам, где летом гуляли с Татой. Ходили на старую большую мельницу, где огромные колеса ворочались и шумели...

И только стал наступать вечер, мы с Татой пошли в Москву.

Перейдя речку, мы простились с деревней, Игнашкой и с кривой сосной, которая была видна далеко. Скоро мы шли по лесу и вышли на большую шоссеиную дорогу.

Подходя к Крестовской заставе, увидели трактиры, извозчиков, ломовых. Пахло рогожей, квасом, Москвой. И нам с Татой так не понравился город. Дома с зелеными крышами, темные окна, толпа встречных людей, и люди эти нам казались страшными.

А как хорошо в Медведкове!

Мы сели на извозчика и поехали к Харитонию в Огородниках.

Как грустен показался нам сад, двор, крыльцо! Как показалось все бедно и тесно!

Я зашел к Тате. Мать Таты сидела за столом с каким-то чиновником и говорила с ним о пенсии. Я заметил, что в зале уже не было роаяля.

На другой день к Тате приехал брат — моряк из Петербурга. Он был грустен и уже не звал меня поступать в Морской корпус.

А вечером Тата пришла к нам и сказала, что мама решила переехать в Петербург...

Я, должно быть, простудился в Медведкове, ходя босиком по холодной воде в речке Чермянке. У меня заболело горло. Сделался жар.

Приходил доктор Голубков.

Я все полоскал горло.

А когда выздоровел и вышел, то прочел на воротах дома, где жила Тата: «Отдается квартира».

Тата уехала. Ее не пустили проститься со мной.

Как давно это было!.. Жива ли Тата?.. Я хочу вспомнить, как была фамилия ее, — и не могу. Забыл...

Кудесник

Прекрасные осины в саду, а рядом желтый клен. Сад мой изменился. Сделался как золотой.

— Ишь, — сказал дед — сторож дома моего, — в ночь мороз хватил. Как осинник зарумянился. Паутина стелется. Ранняя осень... В ночь сегодня я выходил, корова что-то непутем в сарае мычала. Слышу, что в небе шум какой. Птицы что летало, и-их... Много. Знать, рано зима настанет. Принес я молоко, ставлю на стол, на террасу, слышу — батюшки, чего это, чисто зверь какой-то рычит под терраской. Не барсук ли вернулся? Нет — Юрий Сергеич храпит. Ну и храпит!

— Ленька-то спит? — спросил я.

— Вестимо, спит. Да все спят. Вчерась-то они за полночь от лесника-то пришли. Наугощались, знать. Воздвижение ведь, праздник. Лесник-то тоже стесняется. Ну, на праздники норовит. Готовит разный настой: гонобобелеву, полынную, анисовку.

Придешь к нему за медом, а он уж тебе стаканчик наливает. Хороший человек. Всегда у него кто-нибудь находится. Любит он странников.

На террасе появляется Ленька, заспанный, озабоченный. Щека у него перевязана шерстяным платком.

— Что с тобой? — спрашиваю. — Откуда ты явился?

— У Феоктиста ночевал, — медленно процедил Ленька, — всю ночь не спал. Зубы болят. Вчера меня Павел Александрович с Герасимом чисто собаку по болоту гоняли. «Заводи!» — кричат. Я забегал на лужи, в болото, на заводины, вода выше колена, в ладоши хлопал, уток на них гонял. Знать, простудился. А теперь опять ругать будут. Их в пять часов утра будить, а я проспал.

— Теперь уж девять, — сказал дедушка.

— Ленька, — сказал я, — ступай разбуди Павла Александровича и всех и скажи: «Пять часов, гуси летят» — и уходи.

На террасу Дарья подает самовар, горячие оладьи. Тетушка Афросинья несет большой пирог с груздями, завернутый в салфетку.

Осенью воздух прозрачен, свежо. Дышишь, как будто в тебя что-то льется. Пахнет осенним листом. И так бодро чувствуешь себя.

Павел Александрович первый выходит на террасу. Выпучив глаза, смотрит на нас. Проходит мимо, идет в коридор, умывается. Умываясь, слышит — на кухне часы бьют десять. Возвращается на террасу и, вытирая лицо полотенцем, говорит:

— Благодарю вас: десять часов. Гуси летят!..

Он оборачивается к Леньке и брезгливо говорит:

— Что с вами? Вы, кажется, того — нездоровы?

— Постой, Павел Александрович, — вступаюсь я. — Что же это вы с Герасимом вздумали гонять Леньку по болоту? Вот он простудился.

— Кто его гонял? Сам лезет. Вперед норовит с ружьем. Собаки-то нет, так в ладоши хлопает. Выгоняет. А они на нас летят. Сам выдумал.

Я сказал Леньке, чтобы заварил шалфей и полоскал зубы.

На террасе показался Юрий Сергеевич, лицо, как шар, сердитое. Открыв круглый ротик, он пробурчал:

— С какой стати в такую рань будите? Обалдели с вашими охотами! Я теперь буду спать один.

Юрий тоже пошел умываться.

Василий Сергеевич прошел террасой, не сказав ни слова.

А умываясь, зычно кричал:

— Какие пять часов! Протри бельмы! Десять часов!

* * *

Выпив чаю с оладьями, приятели успокоились. Но Василий Сергеевич был мрачен и задумчив.

— Что такое? — вопросительно сказал он. — Вчера у лесника, знаете, непонятно... Какие-то у него всегда люди особенные. Этот странник, такой маленький. Глазки черные, вчера позвал меня на крыльцо и говорит, грозя пальцем:

— Вот что, молодец, на силу свою не надейся, весел больно — все пустое, но жить надо так, чтобы быть готовым к оному.

— Вот какой сукин сын — я всю ночь не спал. Что это значит: «быть готовым к оному»? Я его хотел спросить, к чему «оному», а он ушел. Я спрашиваю лесника, а он

говорит: «Ушел». — «Куда ушел?» — «А кто его знает — совсем ушел». — «А кто он такой?» — спрашиваю. «Просто странник прохожий. Он спрашивал про тебя — кто этот ражий парень, богат, знать». Вот, не угодно ли? Вот теперь подите один, половите рыбку на Глубоких Ямах.

— Это верно, — сказал Павел Александрович, — этот чернявый странник мне тоже сказал: «Черный глаз — веселит душу, смирение имай, не гляди на оных». Что это значит? Я спрашивал его: «На кого не гляди?» — «Чего, — говорит, — спрашиваешь — сам знаешь». Я тоже думал ночью — что такое?

— Станный человек, — сказал, в свою очередь, и Юрий, — выпили с ним по рюмке анисовки, закусываем маринованными грибочками, а он мне на ухо говорит: «В семействе расщелина, а в животе — трещина». Что это за ерунда? Какая же у меня трещина в животе?

И Юрий щупал свой огромный живот.

— Неприятный человек. Ерунда, а вносит какое-то сомнение.

* * *

Приятель Вася собирал удочки, чтобы идти на Глубокие Ямы, спрашивал у Ленки, где пузыри, которые были у меня раньше, когда Колю учили плавать.

Ленька нашел пузыри в сарае. Василий Сергеевич взял с собой револьвер, палку мою с копьём от художественного зонтика, топор, ружье и пошел ловить рыбу. Я пошел с ним.

— Зачем ты, Вася, пузыри взял? Купаться уж теперь холодно.

— Зачем взял? Затем. Я на лодке встану посредине омута. «Будь всегда готов к оному». Черт его знает, может, он и вправду прорицатель. Сделается течь в лодке, не заметишь — и пошел ко дну. Я ведь в высоких сапогах — не выплывешь.

Вася пристраивался на лодке посреди омута — привязал себе веревками сзади пузыри, как крылья. Закидывая удочки, крючком задел за пузырь. Пузырь выпустил воздух.

— Вот видите, начинается! — побледнев, закричал он и повернул лодку к берегу.

* * *

В октябре месяце, в Москве, пришел я на Трубную площадь, где жил Василий Сергеевич. Снаружи у подъезда стоял извозчик, в котором сидела, в голубой шляпе, дама с красным лицом.

Извозчик вынес из подъезда корзину и поставил на козлы.

Я прошел в подъезд и увидел, как с лестницы второго этажа летела корзинка, картонка с шляпой, чемодан. А наверху, на площадке, стоял бедный Василий Сергеевич. Рот у него был дудкой.

Я обошел корзинку и поднялся к нему. Он, взволнованный, вошел со мной в свою квартиру.

— Вот видите, что делается, — кричал Вася. — Благодарю вас. Хороша. Приезжаю-с — письмецо. Вот оно, — он вынул из кармана письмо и положил опять. — Лечиться в Крым ездила, с любовником, а я плати. И кто мог знать!

— Как кто? А помнишь ты того — у лесника сказал тебе: «Все сие пустота, но надо жить так, чтобы всегда быть готовым к оному».

Вася глядел на меня, открыв рот, и сказал:

— Кудесник!

Буживаль

Были два приятеля, два беженца из России. Один был чиновником в генеральском чине, другой — тоже чиновник, но не в генеральском чине. Были они ровесники, служили в Петербурге, но там друг друга не знали.

За границей, в Париже, их свела судьба. Пословица говорит: «Судьба индейка, а жизнь копейка». И эта судьба связала их дружбой. Оба они были в огорчении: одновременно потеряли жен — те от них убежали. И нашли эти милые жены себе других мужей.

Оба наши чиновника сначала пришли в недоумение, но потом посмотрели на дело мудро. Посидели оба в бистро, выпили изрядно аперитивов и решили:

— Что ж делать. Ушли и ушли. Не от одних нас уходят. Любят — уходят, такой уж народ. В них чувство играет. А чувство прежде всего.

Вот это самое горе и сдружило обоих бывших чиновников, Петра Васильевича с Василием Петровичем.

— Да, — говорит Василий Петрович другому чиновнику, Петру Васильевичу, — моя жена Анна Григорьевна была несколько толстовка... И я это чувствовал. Прекрасная женщина, ничего не могу сказать. Но поглядывала в сторону, с самого начала поглядывала.

— Да-с! — вздыхает Петр Васильевич. — И моя Наталья Ивановна была, ваше превосходительство, прекрасная женщина, но понять ее тоже трудно. Больше в молчании проводила время. Молчаливица была. Придешь, бывало, со службы, поговорить охота, а она отмалчивается.

— Не было у нас в жизни чего-то, что нужно. Молодыми женились. Надо было искать нам, дорогой, тургеневских женщин. Наши жены были женщины, просто женщины. А надо было искать женщину для разговора, сердечной беседы, душевного идеала. Тургеневская женщина нам была нужна. А то что же? В страстях тонули. А от страстей остается уныние одно. Разговоры какие! Платья, чулки шелковые, портнихи. Да мне совсем неинтересны эти портнихи, знай сама, не приставай! Вот ведь я пятнадцать лет с женой прожил, а вот что она говорила — хоть убей, не помню.

— Нет, я-то помню, — сказал другой. — Помню, мало говорила, а если что и скажет — все мимо.

* * *

Оба приятеля часто сходились вместе.

Как-то Петр Васильевич днем перед завтраком зашел в гостиницу к Василию Петровичу и застал генерала со щеткой, тряпкой и бензином в руках — тот очищал запачканный вином и табаком жилет.

Посмотрев на вошедшего, генерал, вздохнув, сказал:

— «Как хороши, как свежи были розы...» Да, батенька, розы... Как сказано! Как прекрасно сказано!.. А вот они — розы, — показал он на жилетку, — бензин не берет. Не знаю, чем и отчистить.

— Салфеточкой, ваше превосходительство, завешиваться надо, потому мули кушаете — с них капает.

— А салфеточка-то, дорогой, полтора франка стоит. А за три франка бутылка вина неплохая. Хотя и ординер¹, но рассчитывать надо. И главное, все оттого, что не встретили мы женщины тургеневской.

— Правду, сущую правду говорите. Все оттого... А вот, ваше превосходительство, какой денек сегодня ясный. Идти завтракать к старичку, сидеть в ресторане на народе — как-то скучно. Я смею предложить: недалеко от Парижа находится Буживаль — прекрасное место, леса, сады, а главное, что там жил сам Иван Сергеевич Тургенев — у мадам Виардо. Поедем-ка туда — там ресторан на острове и памятник Ивану Сергеевичу.

— Блестящая мысль, — сказал генерал. — Прекрасная.
И стал поспешно одеваться.

* * *

Ресторана на острове в Буживале не оказалось. Спрашивали, где памятник Тургеневу, — никто не знал. Приятели решили подкрепиться и, найдя небольшой ресторанчик на набережной Сены, расположились завтракать.

Прислуживала молодая девушка. Хозяин подал бутылку красного вина и прибавил:

— Вино у меня славится.

Завтракая, приятели восхищались прекрасным видом. Перед ними проходили барки. У моста стоял полицейский, мчались автомобили.

Приятели на ломаном французском языке пытались узнать, где здесь дом мадам Виардо, в котором жил знаменитый экривэн² Тургенев.

Хозяин подумал и сказал:

— Адреса не знаю, но такой русский экривэн иногда приходит сюда завтракать, один.

Генерал фыркнул и пошел справиться у полицейского, который стоял у моста. Долго говорил с ним и вернулся к столу расстроенный. Спросил, махнув рукой, бутылку вина и грустно сказал:

— Забыли и Тургенева, и мадам Виардо. Ужасно, ужасно: никто ничего не знает...

* * *

Захватив с собой еще бутылку вина, приятели через мост перебрались на другой берег и пошли по дорожке вдоль берега Сены к большим деревьям.

Огромные серебристые тополя отбрасывали широкую тень на берег.

Приятели расположились на травке. На реке длинной вереницей проходили барки. Гудели пароходы.

По дорожке проходили дамы с детьми, молодые люди. Проезжали велосипедисты. Один из них слез с велосипеда и тоже прилег отдохнуть на траву.

Василий Петрович любезно спросил у велосипедиста, не знает ли он, где вилла мадам Виардо, у которой жил Тургенев.

Молодой человек оказался разговорчивым и, показав на противоположную сторону пальцем, сказал:

¹ От *фр.* ordinaire — ординарное.

² От *фр.* écrivain — писатель.

— Вон светлый домик с красной крышей, на горе. Там и жил этот русский писатель. Только в настоящее время он уехал, дом заперт, и никого не пускают.

— Позвольте, — сказал Василий Петрович, — он давно умер.

— Может быть, — невозмутимо ответил молодой человек. — Значит, это тот, который похоронен рядом с моей теткой. Так это вон там, — показал он в сторону.

Генерал встрепенулся:

— Ну, слава Богу, нашли, — шепнул он приятелю. — Пойдем, поклонимся праху.

* * *

Долго шли приятели по горам. Заходили подкрепляться в бистро.

Но вот и кладбище. Насилу нашли сторожа. Он привел их к богатой могиле.

На тяжелом мраморном памятнике было высечено: «Repose en paix»¹.

Приятели опустились на колени и с трудом поднялись. Обойдя памятник, прошли на другой стороне:

«Colonel Touraine², 48 лет. Умер в бою смертью храбрых».

— Все перепутали, — с огорчением сказал генерал. — Мечта, брат, мечта... Пойдем, помянем, выпьем. Я рад, хоть памятник-то видел. Хорош памятник.

— Верно. Только смущает меня, ваше превосходительство: «Погиб смертью храбрых».

— Ну, батенька, это не важно — перепутали... Не в этом дело... Важно — настроение, мечта. «Как хороши, как свежи были розы...»

Пассивная оборона

Марья Петровна Остоушкина после обедни зашла к своей приятельнице, Пелагее Васильевне Утюговой. Обе они были москвички и вместе кончили гимназию.

Марья Петровна жаловалась на мужа:

— Что только у нас делается, дорогая. Такая паника в квартире. Борис Абрамович всех напугал. И откуда деньги взялись? Тысячу кило сахару купил! Полну комнату набил. А в середине сахара место себе оставил, сомье поставил посредине. Бомбы когда полетят, говорит, сахар и не пропустит. А мой Илья Семеныч ему во всем верит. Постель поставил посреди комнаты, на постель навалил комод, все белье высыпал из ящиков, раскидал. На комод сверху — ванну жестяную. Окна все черной бумагой заклеил. Мокрые одеяла на двери повесил. А потолок голубой краской раскрасили. Тьма такая в комнате, клеем пахнет, дышать нельзя. В рот ничего не возьмешь. Что делается, что делается!.. А в третьей комнате у нас Гребенщиков мешки таскает — с мукой, крупой, сухарями, запасы делает...

— Ну что же, голубушка, — говорит Пелагея Васильевна. — Это умные люди. А мой Владимир Федорович ни о чем не заботится. Пьет красное вино без передышки. Анжу сухое выдумал. Бутылки домой натаскал. Сердится, говорит: «Не учи меня, я химию-то проходил, меня газы не возьмут, плевать я на газы хотел!» Окна не завешивает, а вид у нас и правда из окон хороший — в парк окна выходят и Эйфеле-

¹ «Покойся с миром» (фр.).

² Полковник Турэн (фр.).

ва башня видна. Что говорить, нет, милая, у вас умно поступают. А мой знать ничего не хочет, говорит, войны никакой не будет. Обедаями занят в своем обществе, пельмени покупает и ночью домой приходит. Газету по утрам, когда проснется, поглядит минуту, бросит и скажет: «Все не то». В тунике сидит. Давай кофе — и туда рюмку коньяку с утра льет. Серьезный человек, только беспечный. Когда замуж за него выходила, то у меня был другой жених, атташе был где-то. Так он про меня сказал, что я за утюга замуж вышла. Он его «утюгом» звал. Вот что, милая, я к вам поеду — хоть посмотреть, что люди делают. «Я, — говорит, — дипломатический корпус прошел». У него в голове все другое.

И обе подруги приехали к Марье Петровне смотреть, как проводится пассивная оборона своими средствами, по совету Бориса Абрамыча.

Квартира Марьи Петровны помещалась в третьем этаже большого дома. Позволили.

Отворила дверь старушка, которую звали Валенька. Марья Петровна спросила:

— Валенька, дома ли Илья Семеныч?

— Дома, — кротко ответила Валенька и всплакнула.

В квартире было темно. Марья Петровна зажгла электричество. В коридоре пахло клеем, валялись куски бумаги, лежали большие малярные кисти, беспорядок.

Когда же вошли в комнату к Марье Петровне и зажгли электричество, то увидели невероятное сооружение, окна заклеены черной бумагой, постель — посреди комнаты. И пятнами высыхающий потолок, выкрашенный бледно-синей краской.

— Господи, что же это? — вскрикнула Марья Петровна. — Зачем потолок-то синей краской красить?

— А затем, сударыня, — раздался голос Ильи Семеныча из-под постели, — что, может быть, целый год вам не придется высунуть голову за окошко, чтобы взглянуть на небо, на свет Божий. А высунете голову, бомбовоз вас по голове бомбой — жиг! А здесь будете отсиживаться, посматривать на потолок — все-таки вроде неба. Душа-то ведь требует тоже пищи духовной. Без неба не проживешь.

— Илья Семеныч, — сказала Пелагея Васильевна, — неужто уж так и выйти будет нельзя? Ну, пусть бы к портнихе или на рынок?

— Эх вы, ну какие рынки! Какие, сударыня, рынки в Мадриде? А ведь вот уж год сидят так.

— Да что же вы-то, дорогой, залезли под кровать? Ведь ничего еще нет.

— «Нет! Нет!» Каждую минуту может быть. Нужно убежище устроить! Бомба пробьет потолок вот здесь, около, пробьет пол, летит ниже — ничего. А вот здесь, надо мной, прямо попадет в ванну, пробьет ванну, мраморную доску на комод... А в комод — крепости.

— Да что вы, Илья Семеныч, что с вами! — вскрикнула жена. — Какие крепости?

— Купчие крепости, сударыня, купчие. От усадьбы, от имений. И портреты всех знакомых, родственников. Бумага толстая, пергаменты. Вот их-то, пожалуй, бомба и не прошибет, застрянет, голубушка. А потом, в нижних ящиках, письма ваши ко мне, когда вы девицей переписывались со мной. Их три ящика, всё любовные письма — ах, и жизнь была в России!.. Нет, у меня все рассчитано. Щели заклеены — газ не проникнет. Сода запасена. Кстати, ее от изжоги принимаю. Все предусмотрено, не беспокойтесь.

— Уж, по-моему, лучше умереть, чем так жить, — сказала жена.

— Да-с, а вы забыли, как в Мариуполе три недели в погребке сидели? А потом двенадцать верст на животе под тальником ползли, при большевиках? Забыли? Тогда жить хотелось? А у нас и есть нечего было. А теперь Гребенщиков запас на полгода делает. Рис, пшенная крупа, сухари, сухой компот. А вы все недовольны.

— Так лучше бы уехать куда-нибудь, подальше от города, в деревню, — сказала кротко супруга.

— Ну нет-с. Борис Абрамыч в Библии прочел: «Не выходи из осажденного города». Надо чувство иметь. Я чувствую и во сне видел, что будто я вышел и только подумал — зайду-ка в кафе, выпью кальвадосу, вдруг слышу: «трах!» — и чувствую, что я сразу — вдребезги. И по воздуху полетел. Нельзя сказать, что состояние приятное... Вы, женщины, вообще знать ничего не хотите, а потом жалуетесь.

— Господи, — сказала Пелагея Васильевна, — как бы мне уговорить Владимира Федоровича изоляцию сделать. А у него вино на уме. «Анжу, — говорит, — сухое — прекрасное средство против газов». А я пить не могу — у меня печень. И потом — невралгия...

В комнату вошел Гребенщиков, поздоровался с дамами и спросил:

— А где же Илья Семенович?

— Убежище устраиваю, — послышался из-под кровати голос Ильи Семеновича.

— Неплохо устроились, только все зря. Войны никакой не будет. Я чувствую. А во-вторых, мой фокстерьер Бобик — веселый и все с мячиком прыгает, сует мне в руку — играй с ним. Собаки знают вперед. В России, помню, при большевиках все собаки убежали и не шли к хозяевам на зов. Были несчастные, скучные. Они чувствовали ужас смуты, да-с. Войны не будет.

— Здравствуйте, — сказал, входя, Борис Абрамович и держа в руках газету. — А где Илья Семеныч?

— Я здесь, — ответил Остоушкин.

— Вылезайте, мир подписан...

Остоушкин как-то странно охнул и стал выбираться из-под кровати. Ванна зашаталась и вдруг рухнула наземь. Марья Петровна закричала:

— Что же это, мои новые туфли! Как глупо! Илья Семеныч, это просто безобразия — каблук отскочил! Что вы наделали? Голубушка, подумайте, туфли-то я только купила, сто пятьдесят франков, подумайте!..

Майор Ушаков

Конец октября. Лес обнажился. В прозрачном воздухе осени, среди синеватой дали лесов, светлой точкой блестит церковка Нечаянной радости...

Теперь здесь, вдали от родины, не знаю почему, в эти дни я все вспоминаю эту маленькую каменную церковь, стоявшую отдельно от селений, окруженную погостом. Березы, липы, и среди них — могилы, деревянные ветхие кресты. Полуразвалившаяся загородка погоста. Протоптаные дорожки среди травы, по которым я проходил с охоты и всегда останавливался отдохнуть. Садился на бугор у кустов ивняка.

Помню, как летом в высокой траве трещали кузнечики. И какой мир и покой входили в душу.

С краю погоста была большая каменная плита. Старая, покрытая мхом.
Я с трудом разобрал надпись:

Здесь покоится прах
ПЕТРА ЛАВРЕНТЬЕВИЧА
УШАКОВА,
убиенного в чине майора
в бою при Бородине.
Упокой, Господи, душу раба Твоего.

Все так просто, так мирно кругом...

И вот как-то, проходя с охоты и отдыхая на буторке, я увидел на дорожке высоко-го старика в полинявшем картузе с кокардой.

Он остановился у могилы майора и долго стоял, наклонив голову. Потом опустился на колени, творя молитву. Помолвившись, старик с трудом поднялся с колен. Сел на плиту. Вынул из кармана узелок. Из узелка достал черный хлеб, яичко, вареную картошку, соль и стал есть.

Потом опять встал на колени, помолился и пошел к выходу.

У калитки старик остановился, посмотрел на меня и спросил:

— Ну, как охота ваша?

— Плохо.

Он подошел ко мне, поздоровался и сел рядом.

Я спросил:

— Вы, должно быть, здешний?

— Да, здешний. Позвольте представиться — майор Ушаков.

Я с удивлением посмотрел на него.

— Вот здесь, внизу, за церковью, дом был, да давно сгорел. Пристройка-сторожка осталась в саду. Я тут и проживаю.

— Ваша фамилия здешняя. Я прочел здесь на могильной плите — «Ушаков», тоже майор. Он вам, верно, родственником приходится?

— Отец мой. А я тоже до майора дослужился. Провел Севастопольскую кампанию, да и в отставку. Вот и живу один. Никого у меня не осталось. Сестры были — всё прожили, и земли не осталось. В Питере кто-то есть — не знаю.

— Как же вы живете-то? Лета ваши немолодые...

— Как живу? — задумался майор. — Да так вот... Столярничаю кое-что. Табуретку, скамейку сделаю. Хорошо живу. Место хорошее. И вот, сколько я был на службе, — ссоры, волнения, война тоже. Жена была — разошелся. И приехал сюда в печали. И вдруг, проходя церковку эту нашу, ее прадед мой строил, сказал: «Нечаянная радость, сними печаль с меня». И в тот же миг... как ничего не было... Ни горя, ни забот, ни душевного страдания. Все улетело. И сделалось мне так хорошо, и слезы сами потекли из глаз. И так мне показалось кругом прекрасно, и березы, и липы, и кладбище, и небеса. Такая радость вошла в мою душу, что я сказал: «Господи, что же это?.. Я не испытывал никогда такого счастья». И это чувство восхищения всем, что меня окружает, всегда со мной. Все, что кругом я слышу, — огорчения, заботы, ссоры, — мне кажется такой суетой, которая не стоит внимания.

— Постоите, дорогой, — сказал я. — Ну, а как же нужда-то, когда есть нечего, как же тогда быть? Или болезнь?.. Какая же может быть тут радость?

— Да, да, да... — ответил он задумчиво, — это все верно вы говорите. Да, верно — ничего не скажешь. Мятежный мир... В нем все по-другому. Как из него душой выйти?.. Вот церковка эта помогает. А как — не поймешь. Зайдемте ко мне, если охота, — я вам покажу, какие я цветочки вывел.

Когда я пришел в заросший сад, то увидел деревянный дом, крашенный и полинялый. Окна были большие, как в барских усадьбах. Покосившееся крыльцо и около небольшого этого странного дома — темный пруд, кругом заросший плакучими ивами, которые густо опустили ветки в самую воду.

Весь дом состоял из одной комнаты. У одной из стен была печь с лежанкой... У окна, на скамейке, стояли горшки с цветами. Они были пышны и прекрасны.

— Верно — хороши цветы, — сказал я. — Это полевые?

— Да, хороши. Я их пересаживал в новую землю... Вот земля, — показал он мне на горшок с землей, — просто земля, а какую радость, красоту дает... И нас, людей, земля дает и в землю превращает. Скажу вам: за долгую жизнь свою мало красоты от людей видал. Все больше злобу. Теперь-то я беден, не нужен никому. А прежде имел средства. Всегда виноват был. Цвет-то человеческий, в короткой жизни нашей, проходит скоро. Разве для мучительства родит земля человека? Для нужды, злобы, войн, ненависти? Нет, неправда, нет. Не для того. И солнце светит не для того!..

Майор Ушаков остановился у окна, посмотрел на церковь и наклонил голову. Потом, как бы очнувшись, взял графин со стола и предложил мне выпить малинового квасу...

— А ведь скучно вам одному-то жить? — спросил я.

Он вынул из кринки размоченный хлеб и, открыв окно, бросил курам.

— Что вы, нет, хорошо. Тихо. У меня есть и приятели в округе, кой-кто заходит. Зимой больше. Ну и поговорим, кто что. А сколько мне лет? — неожиданно спросил он. — Как вы думаете?

— Лет семьдесят, — ответил я.

— Нет, много больше. Мне под сто лет. В 1812 году отец был убит, что вы!

Я удивился.

— А вы из Москвы?

— Нет. Я живу от вас верст двадцать. В Охотине. Поселился недавно. Построил дом.

— Знаю, — сказал он, — знаю. Полубояринов жил там раньше. Давно то было.

— Приезжайте, — говорю, — ко мне. Я художник.

— Да что вы, — удивился он. — Вот никогда не видал художника. Я ведь, знаете, в Москве был назад лет сорок... нет, больше. Я не люблю городов. Приехал, да и думал, как бы уехать скорей. Всякому зверю своя нора дороже.

— А что это у вас за сабля висит?

— Это за храбрость. Я был четыре раза ранен.

Старик проводил меня версты три по лесу в мою сторону.

И вот, в этот октябрьский светлый осенний день, когда я смотрел на далекую церковь Нечаянной радости, пришел ко мне охотник — приятель мой из Букова, Герасим Дементьевич.

— Герасим, — сказал я, — вон лес обнажился, церковка-то Нечаянной радости и стала видна.

— Как же, — ответил Герасим, — ты там бывал?

— Не только бывал, а со стариком майором Ушаковым познакомился. К нему заходил.

— Да что ты. Он ведь лекарь был. Этой весной помер. И-и-и... какой человек. Его вся округа хоронила. Священники приехали из Ростова. Ведь он наследство получил и все роздал. Столярничал. А главное — лечил. Ежели кто больной, вот какой больной, — позовут его.

— А он чем лечил?

— Цветочков принесет и настойки, поставит у больного рядом. «Гляди, — говорит, — на цвет радости. Забудь, сними горе, возлюби жизнь и настоечки попей. Будь здоров...» — и уйдет. А больной-то после того выздоравливал. Вот какой был лекарь!

Телеграмма

Осень. Короче день. Снег выпадал и скоро стаивал.

Утро. Я только проснулся, посмотрел в окно. Вдали — крыши изб, мокрые, темные, дорога грязная, синяя. Облетели осины. Трава на лугу пожелтела, скучная. Слуга мой Ленька несет охотничьи сапоги и ставит около меня.

Леньке не нравится осенью в деревне. Хочется в Москву — и он сочиняет разные штучки.

— Ну что, — спрашиваю его, — как погода сегодня?

— Да моросит... — отвечает медленно Ленька. — Говорят, что оспу надо прививать, а то в Любилках черной оспой заболели трое, а к нам Василий заходит оттуда — мед носит.

Я молчу, на меня не действует.

Тогда Ленька идет к моему приятелю Василию Сергеевичу, — тот верит.

— Знаете, — говорит мне Василий Сергеевич, — надо уезжать. Здесь, говорят, эпидемия черной оспы, и ящур на язык садится.

— Что такое? — удивился я. — Какой ящур?

— От молока. Молока нельзя пить. Язык как ящерица делается. Во все стороны вертится, пухнет и душит вас. Не угодно ли? Хороша штучка!

— Это кто же тебе сказал, Вася?

— Да вот все говорят... и Ленька. Молока ни под каким видом! Уезжать надо, а как жалко. На реке щука берет, прямо жор. Я вчера двенадцать штук взял.

— Постой, — говорю, — дадим телеграмму доктору Ивану Ивановичу.

— Верно, — соглашается Вася.

* * *

Тетушка Афросинья вносит самовар, крынку молока к чаю и олады.

— Вот, — говорит Вася, — молока-то нельзя — ящур... на язык садится...

— Чего это вы только, Василий Сергеевич, выдумаете? — говорит тетушка Афросинья. — У людей ящур никады не бывает. Это у коров; и то летом — от травы речной заводится.

Пряатель Вася наливает в свой стакан и, прихлебывая чай, карандашом составляет доктору телеграмму: «Приезжай немедленно — черная оспа, ящур. Захвати лекарства».

— Так хорошо?

— Чего ж еще? Хорошо.

Но Вася не удовлетворен. Он исправляет текст: «Приезжай ящур, черная оспа».

— Так лучше, сильнее?

— Пожалуй, сильнее... Только он подумает, что ты его ругаешь.

— Ах, черт, пожалуй, верно, — засмеялся Вася. — Он, чертова кукла, сразу не разберет.

Вася отхлебнул чай и, медленно прожевывая оладьи, сказал:

— Надо вставить «не ты».

Выходило: «Приезжай, не ты черная оспа».

— Что-то не того... — с досадой сказал Вася. — Надо обдумать.

Он встал из-за стола, сел к окну, долго хмурился, писал и, наконец, сказал:

— Вот: «Приезжай скорей лечить ящур черную оспу».

— Не годится, — говорю я, — не поймет. Он не ветеринар.

— Это оттого не выходит, — резонно сказал Вася, — что телеграмму надо всегда писать сокращенно. Сократишь, а оно черт знает что получается.

— Это верно, — сказал я, — экономия заедает.

Вася вновь погрузился в размышления и написал:

«Приезжай немедленно, захвати лекарства против черной оспы, ящюра на языке».

— Вот теперь ясно, — с удовлетворением сказал он. — А то эта чертова кукла не поймет ничего. — Дай, Ленька, новый лист — начисто переписать. Я, знаете, тоже устал от напряжения мысли.

Взяв новую бумагу, Вася переписал телеграмму начисто и отдал Леньке. Тот повез депешу на станцию.

— Не забудь, — кричал вдогонку Василий Сергеевич, — пошли срочной.

Василий Сергеевич оделся, взял ружье, сажалку и пошел смотреть жерлицы, которые поставил на ночь на щук.

* * *

Возвратился Ленька.

— Ну что? — спросил я. — Отправил телеграмму?

— Да, — ответил Ленька, — отправил.

— Что же ты смеешься?

— Да ведь как же... уж очень телеграфисты смеялись, когда принимали.

— Почему? Что там смешного?

— На «чертову куклу» смеялись все.

— Разве Василий Сергеевич написал «чертову куклу»?..

— А как же! Да и как написали... «Захвати лекарство чертова кукла против черной оспы, ящур на языке». Ничего не поймешь... Смешно...

Телеграмму послали по адресу университетской клиники. Ивана Ивановича в клинике не оказалось. Ассистент по телефону сообщил ему о телеграмме. Иван Иванович попросил ассистента прочесть ему текст по телефону.

Ассистент прочел и засмеялся.

Иван Иванович ужасно обиделся. И к вечеру мы получили ответ на имя Василия Сергеевича.

Василий Сергеич, прочтя телеграмму, покраснел и сказал:

— Ну, это ему так не пройдет. Так телеграммы не пишут. Ну, голубчик, он меня теперь узнает. Это я так не оставлю.

— Что такое? Дай-ка телеграмму, — сказал я.

— Уходи отсюда, — раздраженно завопил Василий Сергеич на Леньку.

Тот опрометью кинулся к дверям.

По уходе Леньки Василий Сергеевич дал мне телеграмму.

В ней было написано:

«Хотя вы и архитектор, но дурак. Приват-доцент Красовский».

— Ты что же сердисься? — сказал я. — Ты же сам ему написал «чертова кукла».

— Позвольте, я написал второпях, нечаянно. И «чертова кукла» не может быть обидна, это шутка. А писать «архитектор», и на «вы», и «дурак» — это совсем другое дело. Я ему покажу. Он жену-то отбил у купца Испатова под гипнозом. Вы знаете это чем пахнет? Это Сибирью пахнет. Тот с женой лечиться из Костромы приехал, а он под гипнозом сначала ее взял, а потом, когда тот объясняться пришел, — и его усыпил. Тот спит, непробудно, а он с женой амуры разводит. За это знаете что полагается? Бессрочные каторжные работы. Да-с. Вы знаете? Вы ничего не знаете. Вот вы дом строили, хорошо, что в деревне, а в Москве бы строили, так в остроге бы сидели-с. Да-с. Строительного устава не знаете. Доски кладете куда попало. Вам ничего. А в Москве за дощечку — положите около или краешком на чужую землю — восемь месяцев тюрьмы.

Вася рассердился и заврался до невозможности.

Телеграмма привела его в такое бешенство, что он и про щук забыл. До позднего вечера сочинял ответ и все рвал.

— Замучился ты, Вася, — сказал я.

— Я без ответа не оставлю! — кричал Василий Сергеевич, запыхавшись. — Вот, посылаю на клинику в Университет:

«Хотя вы и приват-доцент, но дурак».

— Ну, Вася, это одно и то же, — заметил я. — Скучно. Напиши ему одно слово: «болван». Это все-таки не так обидно и понятнее. Только опять не спутай.

— Это верно, — согласился Вася.

Написал телеграмму и опять послал Леньку на станцию.

— Вот ведь что со мной делают! Нигде нет покою. Куда деваться от разных этих? Ведь вот все удовольствие испортил. А вы говорите — в раю живем! Хорош рай. Жерлицы сутки стоят. Жор, наверно, шуки попали. Потом эта оспа. Надо в Москву ехать.

У крыльца послышался колокольчик. По коридору кто-то грузно шел. Открылась дверь, и, закутанный шарфом, в дождевом пальто, промокший, вошел доктор Иван Иваныч, сказав:

— Ну и орысина, ну и дурак! Что пишет, что телеграфирует, да еще на клинику, дурак. Ведь там профессора все прочли. Ящур! Что я — ветеринар, что ли, тебе? Болван!

Вася покраснел, часто мигал ресницами:

— Позвольте... Ящур на язык садится. Все говорят. Ленка говорит. А вы какое имеете право писать мне «архитектор дурак»?

— Я тебе в деревню телеграфирую, а ты мне на службу, в Университет, где профессора Захарьин, Ломоносов.

— Ну, братцы, довольно, — сказал я. — Жерлицы поставлены, там щуки сидят. Какие же вы рыболовы?

— А правда здесь эпидемия черной оспы? — спросил доктор. — Я прививку привез. Сейчас же надо привить, не теряя времени.

Он достал сыворотку и сказал:

— Ну, ты, дура, раздевайся.

Васа послушно разделся. Иван Иваныч, сбросив пальто, сделал ему прививку.

— Умней ты, впрочем, от этого не станешь...

Закусив пирогом с грибами, мы взяли фонарь и ночью пошли смотреть жерлицы — нет ли щук...

Моховое болото

Хороша была осень в России! Утром, в солнечный день, в небесах голубая прозрачность. Солнце как-то смотрит вбок, — от берез и елей ложатся длинные тени. Далеко видны дали лесов. И несмотря на то что уж улетели дупеля, бекасы, утки, все-таки мои приятели-охотники стремятся на охоту.

— Вон, — говорит Герасиму Дементьевичу Василий Сергеич, — вон вдали, погляди-ка, Герасим, — что это блестит на самом горизонте?

— Это далече? — отвечает Герасим. — Это на Шахе, а полевой-то блестит Заозерье. Это самое-то озеро и блестит.

— Так вот двинемте туда, — предлагают охотники.

— Далече, — говорит Герасим, — верст двадцать. Да и чего? Утки-то улетели. Гуси садятся в утро раннее. Да где же — их ведь не возьмешь...

— А ведь мы там не бывали, — говорит Караулов.

— Места-то много, — говорит Герасим, — во многих местах не бывали. Нешто все обойдешь. Вепрево озеро ближе, а вот за Вепревым и не бывали. И я не бывал, места не знаю. Далее там есть Свято озеро. И-и-х... глубоко. Говорят, дна нет. Вода чистая, голубая.

— А сколько в России этих разных мест, — сказал доктор Иван Иванович, — никто не знает.

— Недалече отсюда Берендеево болото — зашел, и прощай, домой не придешь, шабаш... Пропал без вести....

— Какая ерунда, — сказал Павел Александрович. — Есть такие места на севере, в тундре, в тайге сибирской, а здесь нет — нечего врать-то.

— Постой, Павел, — сказал я, — постой. Вот видишь в окно, книзу — это моховое болото. Ближе, а никто его не проходил.

Павел Александрович встал из-за стола, надел пенсне и посмотрел внимательно в окно. За ним и другие встали из-за стола и стали смотреть в окно с таким видом, как будто в первый раз видели это болото.

Потом опять все сели, молча, за стол и продолжали пить чай.

— Это верно, — продолжал Герасим, — нипочем его не пройти. Там завсегда журавли выводятся, и волки тоже. Вот и теперь в ночь послушаем — выть будут.

Павел Александрович опять встал из-за стола, достал бинокль из чемодана и снова стал смотреть на болото.

— Вздор. Не может быть. Но странно, отчего же мы туда не ходили? Верно, что кочки, трясина, седой лесочек. Странно.

— А там самое тетеревьё и белые куропатки. Поди-ка, возьми, — сказал Герасим.

— Удивленьё, — глядя на всех, говорил Караулов. — Рядом, а не были... Чисто кто глаза отводит.

— Это в жизни бывает, и часто, — сказал я. — Я одного знал профессора, за границу ездил каждый год. Швейцарию всю пешком прошел. В Италии все достопримечательности осмотрел: собор Петра, Миланский собор, в Венеции жил, все записывал и всю жизнь только и рассказывал о путешествии за границу. Москвич, родился на Разгуляе, в доме отца. А я его спросил: «В Успенском соборе были?» Оказывается — не был.

— А я одного богатого москвича знаю, — сказал Сахновский, — фабриканта. У него в квартире фотографии всех знаменитых иностранных артисток. Сейчас он старый холостяк, миллионер. Все тужит, все мрачный. Мне говорил раз: «Теперь я вижу, какого я маху дал, кругом меня какие девушки русские были, — и начал считать такую-то и такую-то. — Все они замуж вышли. А я гонялся за этими далекими, — показал он на фотографии. — Какие колье дарил! А они на меня ноль внимания. За улыбки дарил. А те вот около были — не видел. Вот сиюж один...»

После завтрака Павел Александрович надел высокие охотничьи сапоги и, никому не говоря, собрался один в моховое болото.

Тетушка Афросинья сказала ему, что «чиво-ничиво, болото и болото». Она туда ходит клюкву собирать, и показала ему клюкву в решете.

— И-и... — говорила, — клюквы там много, и волки есть, — она сама видала. — Только они здешние, смирные, никого не обижают. Пастух их часто видит. Они свои, боятся. Ежели они овцу нашу тронут, то вся деревня с вилами пойдёт. Они знают. Изведут их.

Павел Александрович снарядился — взял с собой картечь, бинокль — и ушел один. Я у края сада стал писать этюд, а приятели отправились на реку ловить рыбу.

* * *

Через некоторое время я услышал на моховом болоте выстрел. Потом другой.

«Ишь ты, — подумал я, — должно быть, нашел что-нибудь».

А еще через несколько минут с болота донесся крик.

Я вскочил, побежал на край луга и увидел, как от стада бежал к болоту подпасок и что-то кричал.

— Ленька, — позвал я своего слугу, — поди-ка узнай, чего он кричит. Не Павел ли Александрович увяз?

Ленька побежал вниз через пашню к болоту.

Василий Сергеевич, возвращавшийся с рыбной ловли, показывая мне издали здорового налима, кричал:

— Вот уха-то какая...

— Вася, — крикнул я, — там, на болоте, Павел Александрович — не увяз ли?..

— Постой, я сейчас, — сказал Вася и пошел в дом.

С болота опять донесся крик.

— Вот они идут, — сказал Вася, подходя ко мне. — Вон, по озими... трое. Должно быть, Павел Александрович.

Тяжело поднявшись к нам на бугор, в калитке сада показался Павел — весь в грязи и тине. Ленька нес две куропатки.

— А ведь верно — не пройдешь, невозможно, — сказал Павел. — Не брось он мне кнутовища, и сейчас бы сидел. Выше пояса застрял. Вылезти самому никакой возможности.

Краснорожий подпасок ухмылялся.

— Я говорил — барин, не ходи, утопнешь... а потом, слышу, кричит.

— Хуже всего — пенсне потерял... — горевал Павел.

— Идем скорее, ведь ты простудишься. Надо Ивана Ивановича позвать. Растереть тебя водкой теплой.

С Павла стаскивали сапоги, поили горячим чаем с коньяком.

Доктор Иван Иванович из домашней аптечки достал порошок, всыпал в коньяк, добавил перцу и заставил Павла Александровича выпить эту бурду. После такого лекарства глаза у Павла завертелись колесом.

— Огонь! — кричал он. — Все горло сожгло. Что же ты, доктор?

— Не лезь в моховое болото. Давно надо понять, что такое Россия...

Герасим Дементьевич лукаво поглядел на меня и добавил:

— Без понятий, это верно, пропасть можно...

Крик в ночи

Темная октябрьская ночь. Приятели мои все вышли на крыльцо моего деревянного дома. Тишина. Пахнет землей, сыростью и опавшими листьями.

— Ну и темь, — сказал приятель Вася. — Вот только там, далеко, в избе огонек отраднo светит.

— Как Ленька теперь со станции поедет?.. И поделом, сам виноват. Керосину в доме ни капли, лампу нельзя зажечь. Хорошо, что камин горит, а то сиди в темноте — жуть берет!..

— Ну и обалдуй же у вас этот Ленька, — сказал Караулов. — Я б его умыл как надо.

— Вот кто-то с фонарем идет, — заметил Юрий Сахновский.

Огонек приближался от ворот к дому и вдруг потух. Слышно было, как кто-то сказал в темноте: «Тьфу, мать честная, потухла...»

— Это, должно быть, Ленька, — сказал Караулов.

И опять наступила тишина. Слышно было, как чиркали вдали спичкой, и опять засветился огонек.

— Кто идет? — крикнул Василий Сергеевич.

— Я-то кто?

— Ты-то.

— Уа-а-а... — ответил воем идущий.

«Это не Ленька, — Герасим», — подумал я.

И вдруг сразу, в ответ на его вой, далеко, за моховым болотом, волки подхватили его звук и дружно завыли, все повышая и повышая, и сразу оборвали. Это было таинственно и жутко.

И опять потух огонек. Человек уже подходил к дому, — сапоги хлюпали по лужам. У самого крыльца человек опять завыл, и дружно вдали ответили ему волки.

— Герасим, это ты? — позвал я.

Герасим подошел к нам, смеясь.

— Слыхали, молодые-то, как подвоешь, сразу отзываются. А ведь далече.

— Герасим, это ты, значит, огонек-то зажигал?

— Да как же. У Афросиньи лампочку взял. Говорят — вы без свету сидите.

— Что делать, сидим без света. Керосин вышел, — все Ленька.

— Постой, я сейчас самовар подбодрю. Как теперь Ленька-то с Феоктистом придут, в этакую-то ночь? Афросинья сказала, что не поедут до утра. Воробьиная ночь. Беда ведь, как застанет ночь такая, — заблудишься... Да ежели еще ненастье, так прямо пропадай.

Вошли в дом. В камине трещал хворост. Освещал потолок и стены моей большой деревенской мастерской.

— Верно говорят, — сказал Сахновский, — с волками жить — по-волчьи выть.

— Неверно, вздор, — не соглашался Павел Александрович. — Прекрасно, душевно. Живем мы неплохо.

— Слышите-ка, — сказал, входя, Герасим. — Чу! В кухне слышно в окно — кто-то у Некрасихи, знать, кричит. Это не Ленька ли?..

Опять мы вышли на крыльцо. Тишина, и вдруг вдали, под Ратужином, кто-то закричал... Протяжно и громко...

— Надо помочь... — заволновался Павел Александрович.

— А как помочь-то? — сказал Герасим. — Хорошо у вас тут — самовар поспел, лампочка есть. А поди-ка наружу, до деревни не дойдешь... Как тут поможешь?

Вдали опять раздался крик.

— Это, должно быть, Леньку режут... — меланхолически сказал приятель Коля и пошел в дом.

Сели пить чай. А Коля Курин встал из-за стола и с необычайной серьезностью начал говорить:

— Знаете, мы не сознаем, в какой стихии мы живем: среди непроглядной ночи, без керосину. А попав этим волкам в зубы, мы можем быть разорваны в клочки. Мы не сознаем, а это ведь вот здесь. Это нас окружает. Мы как бы брошены в первобытный мир для борьбы с окружающей стихией. И мы не знаем, не чувствуем, кто победит, — ночь без керосину или волки.

Василий Сергеевич встал из-за стола, пристально смотрел на приятеля Колю Курина, потом на нас и сказал:

— Слышите, Николай до чего разговорился. Хорошо говорит. Ну, вали, вали дальше.

— Что «вали, вали»... — обиделся Коля. — Что же вам говорить, вы как будто в каменном веке — без керосину, ничего не сознаете, не чувствуете...

— Чего это ты, правда, так разговорился, — спросил Юрий Сергеевич. — С чего вдруг?

— Я констатирую момент жизни.

— Умно говорит! — сказал Караулов.
— А к чему вы все это говорите? — спросил Павел Александрович.
— Как — к чему? К тому, что ведь это не то, что певица поет в театре арию или еще что-нибудь такое... А ведь это волки воют...
— Это верно, — согласился я, — волки — это совсем другое...
— Я ведь не сравниваю, — продолжал Коля, — я говорю лишь о том, что нас окружают стихии...
— Слышите, — войдя к нам, сказал Герасим. — Тетка Афросинья пришла, говорит — там, у Некрасихи, непутем кричат.
— Позови-ка ее.
Вошла тетушка Афросинья, вытирая ладонью рот и качая головой.
— У Некрасихи вот кричат, вот кричат!.. Думаю — Господи, знать, в реку свалились в темь такую — топятся, знать... Не Феоктист ли мой? Только он смирный, никады не кричит...
— А что же они кричат? — спросил Василий Сергеевич.
— Все матерно кричат, далече — не разберешь.
— Может, разбойники напали?.. — сказал Коля.
— Кто знает... Ночь-то эта неподходящая. Разбойникам-то не видать. Грабить-то несподручно.
— Надо пойти, — решительно заявил Павел Александрович.
— Как пойдешь-то, Павел Александрыч? — сомневался Герасим. — В фонаре-то один огарочек остался, не дойдешь.
Павел Александрович молча положил спички в карман — одну, другую коробку — и сказал:
— Довольно странно с вашей стороны. Вы как хотите, а я, как офицер, обязан. Он взял ружье, фонарь, зажег в нем огарок и вышел.

* * *

Вскоре к кухне подъехала телега. Ленька и Феоктист.
— Это вы орали, что ли, на Некрасихе?
— Нет, какой тут орали, мы на Некрасиху не поехали, а вот у моста нам кричит кто-то: «Стой!» — и из ружья — раз! раз!.. Мы, Господи спаси, лошадь-то хлестнули — она дорогу знает, да прямо целиной к дому. Добрый человек не выстрелит. Не иначе, как Левка Кольцов.
— Какой Левка! — сказала Афросинья. — Он давно в остроге помер.

* * *

Не дождавшись Павла Александровича, мы легли спать.
Он явился на рассвете, весь в грязи.
— Хороша местность здесь у вас! — сказал он, раздеваясь и ставя ружье в угол. — Тут пошаливают.
— Что ты, Павел, кто тут пошаливает? — удивился я.
— Постой, постой... Иду в темноте, фонарь потух, чиркнул спичкой — по мосту кто-то едет. Я крикнул: «Стой, кто едет?» Они молчат, да как хлестнут лошадь, да вскачь. Я им вдогонку ахнул дуплетом. Не остановились. А ты говоришь... Конечно, жулье!.. Кто-то ведь кричал! Кого-то ограбили. Грабители и ехали.

— Ну, брат, это же Феокист с Ленькой ехали. Они тоже теперь рассказывают, что на мосту в них разбойники стреляли.

Павел Александрович только с досады махнул рукой.

И сколько Феокист и Ленька ни объясняли ему, как было дело, — разубедить его было невозможно. Он упорно твердил:

— А кого же грабили, кто кричал?.. Что же, я зря ходил?.. Вы-то все струсили, а я-то пошел... Нет, бросьте ваши штучки. Довольно.

* * *

Утро было серое. Моросил мелкий дождь.

За чаем приятели мои были угрюмы. Помалкивали. Недоумевали, кто же это кричал вчера в темной ночи.

— Заблудился кто-нибудь, — сказал Ленька, — и орал от страха.

— Чего от страха, совсем другое, — засмеялся вошедший Герасим Дементьевич. — Мне лесник говорил: ежели в лесу орет кто лесовым чертом — знай, что дерево пият, чтоб не слышно было. Воруют. Эх, нужда все велит... Бедность-то изловчается... Да в темь такую тоже и черт работает...

Осенней порой

Уже конец октября. Грустное время — осень. Небо покрыто мрачными тучами, день стал короче, облетели клены и липы, поседел сад.

Гостил у меня приятель — архитектор Василий Сергеевич и художник С.А. Виноградов. Оба они ходили на реку ловить рыбу. Оба одеты в одинаковые меховые куртки из суслика.

Я получил телеграмму из Петербурга, и мне надо было экстренно уезжать из деревни.

Приятелям предстояло остаться одним в глуши.

Перед отъездом они спрашивали меня:

— К кому здесь, в случае чего, обратиться?.. Герасим — человек хороший, кажется, — говорил Василий Сергеевич, — но только всегда зубоскалит, а с Ленькой сладу нет. Спрашиваешь одно — он делает другое.

— Сосед же, Феокист, всегда к вашим услугам, — ответил я. — Хороший человек. Да и дедушка-сторож.

— Дедушка стар, — сказал Виноградов.

— Да в чем дело? — спросил я.

— А в том, что вы уезжаете — все будут знать. Место здесь глухое — лес и лес, и кругом — до станции семь верст — дорога — проселок, деревня не рядом, надо знать, в случае чего....

По моем отъезде, как рассказывал мне впоследствии Ленька, Василий Сергеевич осмотрел запоры у дверей и сказал Виноградову, что надо зарядить ружья и окна завесить.

— А то к нам все видно, а на улице ничего не видно.

Ленька к вечеру, с гвоздями во рту, с молотком, приставляя лесенку, закрывал окна летними одеялами, пледами...

— Чего... — говорил дедушка, — зря это. Тута никогда ничего не бывает. Вон на террасе оставят на всю ночь самовар, ложки серебряные. Воров-то нет. А ежели Ступишин, барин прежний, — верно, выходит из могилки. Я и сам его видал тут. Идет в халате, пройдет мимо, тихо, смирно. Да ведь он неживой, через его все видно. Он чисто как дым. Вреда от его нет — поугивает, более ничего. Скажет, ругнет: «Мать вашу, неверное отродье...» — и более ничего.

Василий Сергеевич и Виноградов смотрели пристально на дедушку.

Окна завесили.

— «И более ничего»... — сказал Виноградов, посмотрев многозначительно на Василия Сергеевича и на Леньку.

— Благодарю, — сказал приятель Вася.

— Ступишина-то часто тут видют... — процедил Ленька, — да от него не завесишься... Феоктист говорил — он сквозь стены проходит. Я летом в беседке сидел один — тоже все уехали, — вот как сейчас сумерки были, а он в маленькое окошко на меня и глядит... Рожу-то к стеклу притиснул — есть противная!.. Глаза закрыты, и лысый... Я сказал: «Сгинь, рассыпья...» Он и пропал. Он ведь ничего... Вот если разбойники — это хуже. В прошлом-то году пастуха зарезали...

— Вот за то, что ты рассказываешь, будешь всю ночь ходить с штуцером вокруг дома.

Из деревни пришла тетенька Афросинья. Поставила на стол ужин.

— Уехали Кинстинтин Лисеич, вам, поди, скушно, время-то не летнее, ночи долгие... Герасим-то хотел прийти, вам повадней будет, и по охоте он мастак. Хитрый мужик, умственный. Привык с господами-охотниками...

— Тетушка Афросинья, — спросил художник Виноградов, — что, ты видала когда Ступишина?

— Нет, где ж, он ведь давно помер. И-и-их, рассказывают, ну и барин же был! Сердит и здоров драться. Могила-то его тута, в саду, — вон, на краю. Вон Дарья по лету чернику собирала, а он из могилки-то ее рукой за юбку-то и ухвати!.. Вот она голосила!.. Насилу вырвалась. Он когда и живой-то был, так говорят — ни одну девку не пропустил. А я неча не видала. Слыхала в ночи, шла отселе, как он ругался: «Всех вас на конюшне запорю...» А не видала...

Наступила ночь.

Далеко за моховым болотом взошел мутный месяц.

Ленька у террасы надел на колья мокрые охотничьи сапоги Василия Сергеевича, чтобы проветрились.

— Днем, — говорил Василий Сергеевич, — заметьте, никогда этих рассказов не рассказывают, а всегда к ночи... И веришь! Вот сейчас до реки дойти не очень приятно.

— За рекой-то лес на сто четыре версты идет. Тут все есть, — сказал Ленька. — На Ремжу я ходил ночью-то — вот где правда страшно... Там омут и лес еловый по буграм. Там и днем-то ты идешь, а будто за тобой кто гонится. Оглянешься — никого нет...

В завешанное окно кто-то постучал снаружи.

— Слышите? — сказал Виноградов. — Стучит...

Ленька отодвинул на окне занавеску, и приятели увидели, что кто-то прижался лбом к стеклу.

Оба взяли ружья.

Рожа исчезла. И почти тотчас же раздался стук в кухонную дверь.

— Вот смотрите — что делается!.. — закричал Василий Сергеевич.

— Кто тут? — спросил Василий Сергеевич.

— Сенька Поп.

— Не отворяйте, — сказал Виноградов.

Опять послышался стук, но снова в окно.

Художник Виноградов, приоткрыв занавеску, посмотрел вбок, в окно, и, побледнев, сказал:

— Посмотри-ка, Вася, — вон там, у террасы, кто-то кверху ногами ходит...

— Вот... Он уехал... Смотрите — что начинается...

Василий Сергеевич взял ружье и крикнул в коридоре:

— Я вот стрелять стану, тогда узнаете, какой Сенька Поп.

— Полно, Василий Сергеевич, ведь это, может, Герасим пришел. Он всегда смеется.

— Нет, это не Герасим, — сказал мрачно Виноградов. — Может быть, это Ступишин. Ну его к черту, не надо отворять...

— Эй, кто дома-то, отворяй! — послышалось у крыльца.

— Да чего вы — ведь это Герасим! — уговаривала тетушка Афросинья и отодвинула засов на двери.

На пороге стоял, весело улыбаясь, Герасим и держал зайца в руках. Он лукаво посмотрел на стоящих с ружьями приятелей.

— Герасим, — обрадовался Василий Сергеевич. — А мы думали, кто...

— Чужой бы, так ведь Феб бы залаял, — сказал Герасим.

— На Ступишина-то собаки не лают... — глубокомысленно заметил Ленька.

— А Кинстинтина-то Лисеича нету?

— Уехал в Петербург, — сказали приятели.

— Герасим, а это вы смотрели и стучали в это окно? — спросил серьезно художник Виноградов.

— Нет, что вы, Сергей Арсентьич, — как же стучать-то? Ведь тут от земли высоко — не достанешь...

Оба приятеля, побледнев, посмотрели друг на друга.

— Вот чудно-то... — удивился Ленька.

— Вам показалось, — сказал Герасим.

Приятели оделись — идти смотреть на улицу — как это человек мог заглянуть в окно с земли и постучаться.

Сбоку окна, у желоба, стояла бочка. Ленька, вскочив на нее, посмотрел в окно и постучал.

— Разгадали... — засмеялся Герасим, — а вы что ж, и впрямь испугались?

— Вот какой Ступишин, — сказала тетушка Афросинья.

— Смотрите-ка, это кто? — закричал Василий Сергеевич.

Он прицелился, выстрелил и сказал:

— Не ходи вверх ногами!

Кол с сапогом упал.

— Что вы, Василий Сергеич, ведь это я ваши сапоги проветрить надел... — крикнул Ленька.

— Черт с вами, — ворчал Василий Сергеевич. — Ступишин... не поймешь, что у вас тут делается...

Шутки

Проснулся утром, сразу в окно увидел — белым-бело. Крыши соседних домов покрыты снегом. Сухарева башня выделяется на сером, мутном небе.

Извозчики уж едут на санях по первопутку. Снегу выпало много.

Был 1917 год. Душа жила в тревоге. Тот уют, который был в России, уют теплого дома, друзей, семьи, вечеров — веселых, зимних — ушел из жизни. Мы все как-то сразу постарели и устали от речей, митингов и назойливости навязчивых глашатаев новой жизни. В счастье человека огромную роль играет чувство природы и ее поэзии. В российской смуте мы как-то потеряли это прекрасное чувство. Подумалось: «Хорошо должно быть теперь в деревне».

И я, вставая и одеваясь, все смотрел в окно на снег.

Кто-то позвонил. Пришел приятель-рыболов Василий Княжев.

— С зимой вас.

— Василий, — сказал я, — вот я послал письмо в деревню, чтобы истопили дом.

Проедем туда.

— А я и пришел сказать вам, что хорошо в деревне. В Москве-то что! Солдаты наперло. Подсолнушки грызут. Народ-то озлился, скушный....

Опять послышался звонок. Вошел приятель Павел Александрович. Входя, сказал:

— Едем. Пороша какая!

— Ну что, Павел? Давно тебя не видал.

— Ну что? Ерунда идет. Дурацкое дело — не хитрость. Едем. Там все-таки, в деревне, мерзости этой меньше. Зашел в Охотный к Громову — селедок нет, к Суворову — хотел белуги взять, а там только бутылочки с английской соей — больше ничего. Вчера по соседству со мной квартиру разграбили...

— Ах, до чего хорошо, снегу сколько навалило. Сразу зима стала. И до чего хорошо пахнет! — сказал, входя, Василий Сергеич. — Сады все инеем покрыло. Я ночью сегодня от Марьиной Рожи шел домой, от приятеля. Снег валил.

— А ты не боялся, Вася, ведь могли ограбить?

— Представь — не боялся. У меня рост такой. Меня как увидят — на другую сторону переходят. Опасаются — вдруг по башке хватит! А вот утром сегодня дворник говорит мне: «Товарищ Кузнецов, велели жильцов в доме описать, которая, значит, белая кость, а которая черная. А я что, конечно, смекаю — у кого какая кость. Только вот одно: писать я не умею».

— Это есть, — сказал Василий Княжев, — спрашивают, потому — черная кость на белую осерчала.

— А у тебя, Василий, какая кость? — спросил Василий Сергеич.

— Да ведь кто ее знает, я ведь из духовного звания. Отец дьячок был, от вина помер. Какая кость? Ведь это все одурь вошла. Кость и кость. У всех ровная. Вот я к вам надьсь Константин Лисеич, в Школу на Мясницкую заходил. У вас там в классе шкелет стоит — так у его кость белая. А кто его знает, кто он был. Пашпорта, поди, у него нет, он ему ни к чему, шкелет и шкелет. Ему все едино. Вот что зима али лето — ничего, сердяга, не чувствует.

Василий был человек умственный и любил поговорить.

Все приятели мои собрались. И доктор Иван Иванович, и художник Виноградов. Виноградов был человек серьезный и сердитый, шуток не любил. Он был очень взволнован. Очень рассердился на полового в «Эрмитаже». Тот ему сказал «товарищ».

— Какое он имеет право меня «товарищем» называть?..

В вагоне, когда кондуктор пришел брать билеты, Василий Сергеевич спросил:

— Товарищ кондуктор, скоро станция Сергия-Троице?

В буфете тоже:

— Товарищ буфетчик, дайте стакан чаю.

Виноградов негодовал.

— Если будет продолжаться «товарищ», я сойду на ближайшей станции.

Когда приехали на станцию, все стали садиться в розвальни — ехать ко мне.

На первые розвальни уселись Василий Сергеевич, доктор Иван Иванович и Виноградов, на другие — Павел Александрович, я, Караулов. Потом — Василий Княжев, Коля Курин и Юрий Сергеевич.

Была лунная ночь. Полозья скрипели по снегу. И так отраднo было видеть зиму. Впереди слышно было, кто-то вдруг закричал:

— Стой.

Из передней подводы соскочил Сергей Арсентьевич Виноградов и быстро шел к нам.

— Я больше не могу. Он и Феоктисту говорит: «Товарищ извозчик!..»

— Садись, — умиротворенно сказал я, — Сережа, к нам.

— Я не понимаю, что с ним. Что за мерзость!..

Когда приехали ко мне, в доме горел камин, как было уютно в доме и мирно кругом.

Тетенька Афросинья подавала на стол маринованные грибы, соленые грузди. Герасим Дементьевич говорил:

— Вот пороша-то. А завтра рано приготовим лыжи, пойдем по свежему снегу на зайцев.

Но угораздило Василия Сергеевича тетушку Афросинью назвать «товарищ Афросинья».

Тетушка Афросинья, ставя на стол пироги с груздями, только на него искоса посмотрела. А Сергей Арсентьевич выскочил из-за стола в коридор, наскоро надел шубу, шапку, ботинки и выбежал на крыльцо.

Василий Сергеевич ржал как лошадь.

— Ну что за свинство! — сказал Иван Иванович. — Ну что ты его дразнишь?

Василий Сергеевич выбежал на крыльцо и закричал:

— Товарищ Виноградов, куда ты?

Мы все вышли наружу. Кричали:

— Сережа, что с тобой, ведь Вася все нарочно. Он шутит.

Доктор пошел вдогонку уходящему к воротам. Догнав Виноградова, что-то долго говорил с ним. Наконец Виноградов сдался.

— Чего сердаете, — сказал возвратившемуся Виноградову охотник Герасим Дементьевич. — Чего тут? Василий Сергеич так, для смеху. А вот у нас надясь, в Букове, товарища поджигателя пымали. Вот били. Ну и били. Житницу поджег. Только товарищ поджигатель и говорит мужикам-то: «Товарищи убийцы, позовите товарища попа, а то я, кажись, помираю...»

Осенний вечер

Ну и скучное же время ноябрь месяц. Вчера выпал снег, как-то обновил землю. Вроде как повеселела природа. А когда растаял — опять темно, серые тучи нависли, скучная осенняя заря догорает с краю леса. Дорога грязная, у крыльца лужи. Тоскливо мычит корова у сарая. Потемнели сырые крыши. Вороны летают стаями, каркая, садятся на березы.

Прятели мои заскучали дома. Пошли на реку. Она такая полная, мутно отражаются ольховые кусты в воде. И на реке — неприветливо.

Неужели сад мой и все кругом было еще недавно покрыто свежей зеленью? Как-то и не веришь. Осенняя мгла. Дома-то хорошо — горит лампа с красным абажуром, теплится камин.

Доктор Иван Иванович сидит у камина и, подбрасывая сырой хворост, говорит:

— Вот наука. Конечно, наука многое объясняет. В науке есть несомненная истина, но определить всего не может. Хотя бы вот, к чему это нелады в жизни разные — то так, то этак. Погода тоже не веселит... Заметьте — вот в окружающей нас жизни, у всех приятелей наших, все как-то боком выходит. Вот хотя бы с женщинами. Вначале, конечно, все казалась в розовом свете. Женился. Доктор я. Ну, вижу, нравлюсь. Во мне участие принимает, рада. Черт меня дернул в театр поехать. А она раньше актрисой была. Что ни скажу, похвалю: «Вот хорошо играет “Бесприданницу”», а она: «Ужас, что с вами, вы ничего не понимаете. Нравится она вам, потому что смазлива...»

— Нет, — говорю, — позвольте, я-то понимаю. Я сам в любительских спектаклях, когда студентом был, так в Вологде, хотите знать, Чацкого играл...

А она как расхохочется:

— Вы, — говорит, — утюг! Какой вы Чацкий!..

Не угодно ли? Вот что я ни скажу — все не так. Ну и пошла ерунда. Вышло так, года через полтора, что рад был, когда из дому уходил. Получалось так, что я как бы враг ее, что ни на есть злейший враг. И каково же ей жить приходится со мной!

— Вот это верно, — сказал Коля, — до чего верно. Я тоже чувствую с утра, чувствую, что я самый последний человек. И Анфиса тоже страдает. Все от меня, и почему от меня — я не понимаю.

— Постой, — сказал приятель Вася, — что же тут непонятного? Страдает. Вероятно, от глупости твоей страдает.

— То есть как это, от глупости? — удивился приятель Коля. — От какой же это моей глупости, позвольте?

— Да, — вступился доктор Иван Иванович, — по-вашему, и моя жена тоже от моей глупости страдает? Как это вы легко, господин архитектор, дурачков раздаете. А вы тоже ведь, кажется, изволили с супругой вашей разойтись? Это, должно быть, от ума большого.

— Довольно, — вдруг сказал Павел Александрович. — Что же это такое за разговор начинается. Про женщин вообще так говорить нельзя. Женщина — существо прекрасное, нежное и хрупкое. Да-с. Вы, конечно, люди штатские. Не понимаете. А вот когда ехал наш 6-й драгунский кавалерийский эскадрон и заехал в Зарайск, так там знаете что с женщинами случилось? Нет, вы не знаете, что случилось...

— Что же такое случилось? — спрашивали все.

— Не поймете... Что вам ни говори — не поймете. Это понять надо, а вам трудно.

— Что же такое? — удивлялись приятели.

— А такое — рыдали, понимаете, рыдали. Женщины рыдали... Город Зарайск рыдал...

— Постой, Павел Александрович, почему же рыдали, город рыдал?

— Станный вопрос. Эскадрон ушел.

Коля Курин смотрел, мигая, на Павла Александровича, высоко подняв брови, а у доктора Ивана Ивановича как-то сам собой открылся рот, и выражение лица у него было удивленное и виноватое.

— Это у вас, — продолжал серьезно и строго Павел Александрович, — у штафи-рок, разные там анализы, переживания, извращенные чувства, разные вообще пошлости, а у нас — нет-с. Женщин вообще понять надо и поклоняться. Поклоняться, и никаких.

Павел Александрович сердился и говорил резко.

А охотник Герасим Дементьевич, который раньше был солдатом и был на войне, сказал:

— Все правильно. У штатских в голове завсегда бусырь заводится. Ну, их в тоску и вгоняет. И где ж, в походе, с лошастью, да в службе, в слабость вдаваться...

— Константин Лисеич, — сказал, входя, Ленька, — тетенька Афросинья гуся резать не хочет. «Это мне, — говорит, — не подходит, и гуся жалко».

— Ну вот, — встрепенулся Юрий Сергеевич, — а обещали гуся с капустой. Значит, ау!..

— Так ты ступай и режь гуся, — сказал Василий Сергеевич.

— Ну нет, увольте.

— Иван Иванович, ты ведь тоже и хирург, ты и займись, — сказал Сахновский.

— Хирург. Вот я твое толстое брюхо, в случае болезни, разрежу не моргнув, а гуся резать отказываюсь.

— Ну, Павел Александрович, покажи нам свою храбрость, — сказал Юрий Сахновский.

— Вот если бы ты не был штафиркой, то за слова такие стоял бы передо мной у барьера.

Все приятели наотрез отказались резать гуся.

А Ленька сказал:

— Жалко гуся-то домашнего резать. Вот застрелить ежели...

Но и стрелять домашнего гуся никто не хотел.

Пошли смотреть на гуся.

— Тега, тега, — позвал гуся Ленька.

Большой жирный белый гусь шел по лужам от сарая, переваливаясь на желтых лапах.

— Хорош был бы с капустой... — задумчиво сказал Сахновский.

Гусь боком, подняв голову, осматривал приятеля. Потом, опустив голову, зашипел, когда Юрий хотел его погладить.

— Вот и охотники... — сказала тетенька Афросинья.

— Ш-ш... ш-ш... — махнула она фартуком на гуся. — Иди, а то и впрямь бы не съели.

— Его, конечно, зарезать можно, — сказал Герасим, — только такого гуся лучше на племя оставить. Ведь у нас зайцы на жаркое есть, чего еще...

— Заяц-то лучше гуся, — согласился Василий Сергеевич.

— И ладно, — сказал Герасим, неся из погреба зайца. — На войне человек человека не жалеет, а вот перед гусем все штафирками сделались. Куда! На баб жалуются! — засмеялся Герасим. — С бабой сладить не могут. А от бабы тоже польза и радость бывает. У нас угольщик Серега ослеп. Ну, значит, уголь жжет, смолье, — знать, от дыму-то и ослеп. В больнице полгода был. Ослеп — шабаш. Домой отправили. И вот сердит он стал. Цельный день ругается с женой, делать-то нечего. И то не так, и это не так, а в драку лезет. Авдотья-то, жена, не выдержала, его по башке вальком-то и ахнула. А он, как она его по башке-то ударила, сразу и прозрел. Вот ведь что. Вот, доктор Иван Иванович, вы слепых-то лечите ли так?

— Ну и лекарство... — засмеялся Василий Сергеевич.

— Таким средством радикальным вас бы попользовать не мешало, — сказал Иван Иванович. — Дурь-то из головы у вас бы повышибло.

— Эх, — вздохнул сторож моего дома, дедушка, покачав головой. — Все это через ненастье. Время скушное — дождь и дождь...

Случай

Многое в жизни зависит от случая.

Как сказать, счастье, что ли? Одному везет, другому — никак.

Так и говорят: «его величество случай».

Вот какой случай рассказал мне в моей молодости мой знакомый — дирижер частной оперы.

— Был я в Киеве, — начал он, — служил вторым дирижером в оперном театре. Был молод, только что окончил консерваторию.

Как-то рано утром, в девять часов, сам не зная почему, пошел в театр. Никого нет. Прошел в библиотеку. Разбираю ноты, партитуры. Приходит сторож и говорит мне:

— Приехали каких-то двое — директора спрашивают. Я говорю — его нет. Так кто ж тут есть, спрашивают. А я говорю, что пришел музыкант, что палочкой милитирует. Нам, говорят, очень нужно с ним переговорить.

Сошел я вниз. Посетители очень любезно со мной заговорили: о репертуаре и чем я дирижирую.

— Мы приехали из Москвы певцов послушать. Что же вы так рано здесь делаете?

— Да вот просматриваю оркестровые партии в библиотеке, смотрю, нет ли ошибок.

— Очень приятно познакомиться и поговорить с вами. Скажу откровенно, — сказал один, постарше, — нам нужен дирижер, и притом — человек серьезный. Дирижер у нас есть, но мы им не очень довольны. Сказать откровенно — человек легкомысленный, хотя и немолодой. Проходу артисткам не дает. Волокита. Не едет артистка с ним ужинать — он ей все мимо аккомпанирует или заглушает. Постоянные жалобы, слезы, сцены. Вообще, я того принципа, что ни режиссеры, ни дирижеры не должны иметь в театре личных симпатий... А то что же получается... Дайте нам, пожалуйста, ваш адрес, мы вам напишем.

Пришел я домой и думаю: «Неужто в Москву попаду?.. “Не ухаживай за артистками!” Чудно...»

Через неделю получаю письмо с приглашением и условия контракта. Отвечаю согласно. Долго писал. А во сне видел: артистка мне глазки делает и ручкой поцелуй посылает. А я ей и кричу: «Оставьте меня в покое, убирайтесь к черту...» Неприятный сон, а директор руку мне жмет.

Приехал в Москву. Знакомлюсь с артистками. Одна — контральты, красивая, мне и говорит:

— Не можете ли приехать ко мне и пройти со мной партию?

— Неудобно, — сказал я, — на сцене можно утром, до репетиции.

— Ах, я не встаю так рано. Отчего же вы не можете ко мне приехать? В чем дело?

— Не могу.

— Как это странно...

Другая — сопрано, прехорошенькая.

— Не можете ли, — говорит, — маэстро, приехать ко мне утром или после спектакля?

— Не могу, — отвечаю. — Приезжайте утром в театр, на сцене пройдем.

— Это мне неудобно, — смеясь, сказала она.

А сама такая симпатичная...

Я подумал и говорю:

— Вот что. В ресторане «Континенталь», в отдельном кабинете, есть хорошее пианино. После спектакля приезжайте туда ужинать, я с вами там и займусь. Захватите клавир.

Сижу в «Континентале». Не знаю почему — но в сердце у меня: тик, тик, тик... Приходит. Заказал ужин. Очаровательна. Я с ней прохожу места ее партии. Все идет хорошо.

Вдруг слышу: в соседнем кабинете кто-то кашляет и говорит:

— Да, да... Вот что...

Голос директора. Я весь похолодел: «Ведь это черт знает что выйдет!..»

Моя гостья меня спрашивает:

— Что с вами?

— Подождите...

А сам смотрю в щелочку. Директор! Меня прямо в ноги ударило. Пропал!

А она поет...

— Замолчите, — шепчу, — директор!

Слышу — встали, уходят. «Слава Богу».

Приотворил дверь кабинета, смотрю — остановились у лестницы и смотрят на дверь нашего кабинета. Думаю: что делать?.. Позвонил. Пришел половой.

— Поддай бутылку пива.

Принес откупоренную.

— Что это вы пиво? — спросила меня удивленно мое сопрано.

— Умоляю — помолчите...

— Принеси-ка, любезный, неоткупоренную бутылку.

Половой принес. Я сам откупорил пиво и стал жечь пробку на свече.

Моя гостья смотрела на меня с изумлением.

Я был бритый. Стал мазать черные усы и эспаньолку. Брови сделал широкие, черные.

— Что вы делаете! — всплеснула руками сопрано.

— Молчите, — говорю, — а то я пропал. И отвернитесь. Я спасаю честь женщины. Я перевернул фрак — подкладка атласная — и надел наизнанку. Фалды фрака зачихал в брюки. Красненьким шарфиком сопрано перевязал себе шею. Волосы разлохматил.

— Посидите, я сейчас вернусь...

Я смело вышел из кабинета и на пороге крикнул в дверь своей гостье по-итальянски:

— Порка Мадонна!¹

И прошел мимо директора.

Он удивленно посмотрел на меня и сказал приятелю:

— Это не он. Футурист какой-то пьяный.

«Спасен...» — подумал я.

* * *

Да самого утра мы ужинали с сопрано. Она меня укоряла в трусости. Да, не все женщины понимают... А все же директор спрашивал ее потом, не знает ли она «футуриста-итальянца» — «я фамилию его не помню, но брови у него очень черные...».

А я с той поры в таких случаях стал бороду подвешивать, синие очки надевать и цилиндр, которого терпеть не мог. Да и холодно голове зимой было. Что поделаешь... Зато на хорошем счету у директора.

И все же снова — случай. На этот раз — роковой. Через семь лет попался. Парикмахер театральный предал. Я-то сдуру бородку ему заказал, а он, негодяй, в счет-то ее директору и поставь. А тот, дотошный, меня и спроси:

— Какая это для вас бородка понадобилась...

Я растерялся.

— Бородка? Я никакой бородки не заказывал, — говорю.

Он только головой покачал — парикмахер про меня ему сказал:

— Он двойную жизнь ведет. По ночам гримируется и за артистками шьет. У Ленцовского в «Альказаре» кутит.

Вот опять пришлось в провинцию уехать.

— А с артисткой этой — сопрано — вы, значит, расстались? — спросил я.

— Расстался! Она замуж за этого директора вышла.

Вот так случай!

— Да... приходится сознаться — в жизни все случай и все — по случаю...

¹ От *ит.* «Porca Madonna!» — здесь: «Черт возьми».

В лесу

Декабрь уже, зима, морозы. Снежный наст. Ходить можно только в валенках. Звездные декабрьские ночи. Воздух прозрачный.

Любил я ездить декабрьскими ночами. Теплый полушубок, меховая шапка. Еще надо шарфом закутаться да поверх надеть армяк.

Едем в розвальнях за двенадцать верст в гости к лесничему. Едем по лесу, а с словых веток снег сыплется. Проезжаем место, где ходили летом. Переехали реку. Большой сосновый лес. В лунном свете искрится снег. Таинственен и даже страшен лес в своей тишине.

— А ты знаешь ли, Яшка, дорогу-то? — спросил Василий Сергеевич возчика.

— Знаю, — отвечает Яшка, — только надо бы брать от реки-то поправее, а Феокист влево взял.

— Ну вот опять напутаете. «Правей, левой». Черт вас возьми.

— Стой, Феокист! — кричит Василий Сергеевич.

Феокист остановился.

— Ты чего от реки-то влево взял?

— А что? — кричит Феокист.

— А то, что дороги не знаешь.

— А кто ее знает, дорогу-то занесло.

— Занесло!.. черти путаные! — надрывается Василий Сергеевич.

— Вернемся лучше... — робко предлагает Коля Курин, — а то замерзнем, у меня ноги застыли... и шапка стала примерзать ко лбу.

— Что стали? — закричал с первой подводы Павел Александрович.

Подошел Феокист.

— А кто говорит «влево взял»?

— Яшка говорит.

— Ты чего еще, молоко на губах не обсохло, а еще учишь. Казенником надо. Межевую проедем и спускаться будем опять к реке, где дорога. Дорога-то не езжена. Зимой-то не ездят туда.

И Феокист, опять сев на первую подводу, крикнул:

— Трогай, грех неровный...

— До чего есть хочется!.. — вздохнул сидевший сзади меня Юрий Сергеевич.

— Подождем, — сказал Василий Сергеевич, — это ты выдумал к леснику-то ехать.

Вот заблудимся еще, замерзнешь, тогда узнаешь...

— Вот и межевая, — закричал Феокист.

Четко выделялся освещенный луной столб, на котором чернел орел.

Быстро скользили розвальни, раскатываясь под гору от края леса.

— Что-то долго едем, — сказал Василий Сергеевич.

— Вот Большая Медведица-то, — заметил Коля, — кверху ногами стоит.

— Это совсем не Медведица, — сказал Юрий.

— А что же?

— Колька-то, астроном! Все знает... Это созвездие Близнецов.

— Эвона видать, — закричал впереди Феокист, — огонек.

Переехав реку по мосту, мы подъехали к дому лесничего.

Во дворе собаки лаяли непутем. Огня в доме не было.

Мы вылезли из розвален и постучали в калитку. Но никто не отвечал.

— Чего это? — удивлялся возчик Феоктист. — Знать, дома, что ли, нет? Огонек-то светил в окне.

Опять стучали в калитку и ворота. Никого. Собаки неистовствовали.

Вдруг внутри двора резкий голос крикнул:

— Чего надоть? Эх безобразно стучите! Чего вам?

— Елычев дома? — крикнул зычно Василий Сергеевич.

— Елычев боле не находится в должности.

— Откройте, мы охотники здешние, надо погреться.

— Ночь, есеныт, какая охота. Место казенное, пускать не велено. Кто вас знает! — отвечал голос со двора.

— Ишь, уперся, — кричал Феоктист, — я старовский, свои люди. Ишь, дурака ломает — кто я, подумаешь...

Сердитый человек подошел к воротам и, сопя, отодвинул засов. Ворота отворились.

Возчики провели лошадей в ворота. В доме зажглась лампочка; мы вошли во-внутрь.

Перед нами, хмуро оглядывая нас, стоял небольшого роста сторож.

— Мы ведь не разбойники, дорогой, — казал Коля Курин. — Хорошо бы самовар поставить.

— Елычев уехал, все увез, а я-то тут — покуда новый лесничий приедет. Ежели в котелке, воду согреть можно, — сказал сторож. — Тоже вот это самое, в прошлый вторник к Елычеву также днем пришли охотники, да его за ноги да за руки связали, да револьвером по голове. Молчи, говорят, а то убьем. Ну, это самое, конечно, деньги взяли. Казенные деньги. Охотники — говорили, а оно вона что вышло. Елычев-то опосля говорил:

— Я боле здесь не останусь. Их четверо было. Ну, в Переславе и пымали их. Парнишки молодые, с завода, вот ведь что.

— Пускай-ка теперь придут, — расхрабрился Василий Сергеевич, — мы им покажем.

— С меня чего возьмешь? — сказал сторож. — Шиш с маслом.

Раскладывая из корзины на стол закуски, ставя бутылки, Павел Александрович спросил у сторожа рюмки или чашки.

— Нет ничего, — сказал сторож. — Вот постой, сейчас мисочку достану, да кружка есть.

В единственный нашедшийся у нас стакан Павел Александрович наливал каждому водки. Пили по очереди. А сторожу налил в кружку.

Сторож, выпив и вытирая рот рукой, сказал:

— Опасно, лес... Я думаю — отпереть ворота, а вдруг опять это самое. У меня семитки нет денег-то, а уж беспременно бить будут: «Давай деньги!» А вот вы приехали, я думаю, батюшки, опять разбойники. Перед вами-то тут тоже поглядывал какой-то. Морда такая бабья, противная. А тут вы, значит, стучать начали.

Приятель Вася тотчас же зарядил ружье и крикнул:

— Только вот пускай он в окно посмотрит, как я его по морде картечью умою.

— Постой, — сказал Юрий Сергеевич, — когда вы стучали в ворота, это я смотрел в окно...

— И я смотрел, — сказал Павел Александрович.

— То-то и дело, что здесь дорога в лес, эти самые-то лезут, — невпопад сказал сторож.

На всякий случай Василий Сергеевич завесил все же окна шубами. Тогда поставили стол посреди комнаты и в котелке заварили чай.

После ужина все расположились на ночлег на разложенном на полу сене.

Вдруг в ворота раздался стук. Сторож, слушая, мигал. Что-то было жуткое в доме лесника.

— Слышите?.. — с беспокойством спросил Василий Сергеевич.

Опять раздался стук.

— Пушай стучат, — сказал сторож.

Павел Александрович поднялся, взял ружье и вышел на крыльцо.

Раздался выстрел.

— А собаки-то не лают, — тихо сказал приятель Коля. — Странно...

— Колька прав, — заволновался Василий Сергеевич, надевая валенки. — Да... приехали, здесь не поспишь...

— Да ведь это-то всегда тута, — сказал сторож.

— Да, странно... — заметил, входя, Павел Александрович. — Выстрелил — кто-то от ворот убежал.

— Ежели стрелять, есенить, конечно, убегут, — успокаивал сторож.

Вскоре мы все заснули.

* * *

Утром радостно освещало солнце огромный лес.

— Вот что, — входя и ставя крынку молока на стол, — сказал сторож. — Ведь ночью Анка, дочь моя, стучала в ворота. Из деревни крынку принесла да хлебушка. А мы-то думали, и что... Потому место такое — лес и лес. Всего ждать надоть.

Бабушка

Сегодня большой мороз. Садовая улица в Москве как серебряная. За инеем садов — цветные домики. Долго еду на извозчике на Рогожскую улицу. Впереди, на широких полозьях, ломовые везут дрова, сено. Морды у лошадей в инее, из ноздрей пар.

Блестят на солнце вывески трактиров. Стекла в окнах в узорах мороза.

Над колокольной кучей летают галки и садятся на кресты.

Городовые в башлыках переступают с ноги на ногу и хлопают себя руками в рукавицах, чтобы согреться.

Пара воронных, покрытых синей сеткой, везет барыню в меховой шубе, с большой собольей муфтой.

— Поторапливайся, — говорю я извозчику.

Старик-извозчик задергал вожжами.

После промчавшейся пары воронных мне кажется, что извозчики на своих жалких лошаденках топчутся на месте.

Медленно еду на Рогожскую.

Наконец — дом моей бабушки Екатерины Ивановны.

У бабушки в доме так уютно, чисто. Стоят пузатые комоды красного дерева. На столах вязаные салфетки. Старинные часы под стеклянным колпаком. Рядом поповские вазы с фальшивыми цветами. У окна корзины на подставках. В горшках — фикусы, аравийские цветы, которые, по-моему, никогда не цветут, художочные пальмы.

Бабушка, высокая, худая, в темном шелковом платье, рада мне. Я целую ее в желтые худые щеки.

— Озяб, Костя? — спрашивает бабушка.

— Озяб немножко, — отвечаю, — из Сущева-то далеко к вам.

Она сейчас же велит дать мне чаю и приносит сама постный сахар и изюм в вазочке — бабушка соблюдает все посты.

Так тихо и уютно у бабушки. Это совсем другой мир по сравнению с тем, в котором живу я.

В большой круглой раме на стене висит портрет Пушкина, потом вышитый шерстями разносчик — в синей бумажной раме с золотом. Всё — под стеклом. Рядом — Иоанн Креститель — прекрасное лицо с большими волосами и тоненьким деревянным крестом в руках.

Я смотрю и думаю: «Это не с натуры. Какое темное нагое тело...»

— Чего ты теперь рисуешь? — спрашивает бабушка.

— Да вот, — говорю, — теперь в натурном классе. Пишу и рисую голых натурщиков.

Бабушка Екатерина Ивановна, единственная из моих родных, не против того, что я и брат мой, Сергей, — художники. Все остальные — против. Считают занятие пустым.

Однажды бабушка моя поразила меня, сказав, что у писателя, художника и музыканта должно быть вдохновение и что его создает муза.

— А ты, Костя, никогда не чувствовал, что есть муза, которая тебя вдохновляет? Ты ведь знаешь Пушкина. Вот он говорил:

Там я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал...

Помню, что я не сразу понял бабушку. Я всегда задумывался над тем, что мне говорила Екатерина Ивановна.

— Умей выбирать себе друзей, — говорила мне бабушка. — Друзей своей профессии. Другие ведь тебе будут чужие.

Прощаясь и уходя от бабушки, я получил конвертик, она положила его мне сама в боковой карман.

Уходя, я поцеловал бабушку в желтую щеку, а едучи на извозчике, вынул конверт. В нем лежали свернутые двадцать пять рублей.

Какая радость!

Мне сейчас же представился магазин Дациаро на Кузнецком Мосту, колонковые кисти, цветная гуашь, краски и горячие пироги с рисом и рыбой у Севостьянова.

И по пути в Сущево я заехал к Севостьянову, наелся пирогов и захватил домой.

Проезжая близко от Мясницкой, я подумал: найду-ка я в Училище. Училище живописи, ваяния и зодчества.

В большой комнате, где был буфет, ученики, дожидаясь вечернего класса, пели:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь...

Пройдя курилку, я поднялся по лестнице и направился в мастерскую профессора Саврасова.

Идя коридором, я увидел за стеклянными дверями битком набитый класс. Дожидались лекции Быковского по истории искусств. Там был и Левитан. Я зашел в класс, и мы встали с Левитаном у двери.

Вскоре вошел Быковский и поднялся на кафедру. Сторож из солдат, Плаксин, принес большие книги и положил их на стол перед партами учеников.

Быковский, встав, сказал:

— В географическом положении Египта мы встречаем две особенности.

— Уйдем, Цапка, — сказал Левитан, — все то же...

Мы вышли из класса.

— Ну зачем это опять Египет? — говорил Левитан. — Я был вчера в Останкине, какой иней на дубовой роще... Это невозможно написать...

В мастерской мы застали А.К. Саврасова. Он завертывал в газеты свою небольшую картину в дорогой раме.

— Где вы были? — спросил Саврасов.

— Сдавали рождественский зачет по наукам, — ответил Левитан.

— А я был у бабушки, — сказал я.

— Да, да, да... — зачавкал Саврасов, — у Екатерины Ивановны. Увидишь — кланяйся, ведь она Пушкина помнит. У нее есть хорошая копия Иоанна Крестителя — это вариант Леонардо да Винчи.

— А бабушка Екатерина Ивановна мне сказала, что у поэтов и художников есть муза.

— Конечно, есть и муза, и лира, но есть еще и суета, — сказал Саврасов. — Вот иду продать картину.

И он, надев на плечи плед, взял под мышку картину и пошел из мастерской.

— Послушай, Исаак, — сказал я, — как красива Садовая в инее. Блестят вывески, зеленые заборы у садов.

— Ну что ты, Цапка, говоришь! Я не могу видеть города. Желтые казармы, скучные окна подряд... Ты посмотри — какое Останкино! Какой парк. Панин Луг... Я видел недавно Малые Мытищи, избы в снегу. Вечер, тоска. Я зарисовал силуэт, хочу написать под впечатлением вечер, и сбоку волк сидит и воет. Волка я попрошу писать Сережу. Он умеет хорошо рисовать лошадей и зверей. А я не люблю рисовать в пейзаж ни людей, ни лошадей, а волка — хорошо.

Прежде это было принято. Пейзажист не умел поставить фигуру в пейзаж. Так, например, замечательному жанристу, профессору В.Г. Перову, в его картинах «Птицелов» и «Охотники на привале» — пейзаж писал Саврасов.

* * *

Поздно вечером вернулся я домой в Сущево. Мать приготовила мне ужин. Я заметил, что у нее глаза были красны. Она молилась и плакала о покойном отце.

Я сказал матери, что был у бабушки и что она приедет к ней в воскресенье. Бабушка дала мне двадцать пять рублей. Я отдал оставшиеся деньги матери, сказал: «Спрячь». Отдал и пироги от Севастьянова.

— Ну что ты все плачешь? Ну съешь же пирог.

Мать послушно села у стола и ела пирог.

Сбоку на столе лежала вынутая просфора.

Когда мать подала мне чай, я взял просфору. Снизу было написано чернилами: «За упокой».

Я ел просфору с чаем; перелистывая Пушкина, искал стихи о музе.

Ложась спать и засыпая, я, как и раньше, видел в темноте ночи, прямо перед собой, лицо невообразимой красоты. Оно было матовое, как в тумане. Глаза постепенно открывались и были такой красоты и такого добра, что я таких никогда не встречал на земле. Потом глаза медленно закрывались, и образ пропадал. Мне было приятно видеть это лицо.

На этот раз я подумал: не муза ли это?..

В воскресенье бабушка приехала к моей матери. И обе они поехали на кладбище к отцу.

Вернувшись, бабушка привезла к чаю бисквитный пирог. Она была в черном шелковом платье.

— Бабушка... — спросил я ее, — когда я засыпаю, я вижу иногда вот так близко перед собой прекрасное лицо, как бы в тумане, и такие прекрасные глаза, немножко похожие на того Иоанна Крестителя, который у вас...

— Как это хорошо и возвышенно, — сказала бабушка.

— А не муза ли это?.. — спросил я.

— Нет, Костя, это твой ангел-хранитель...

Перед праздником

Кому как, а вот пороссятам и свиньям приходилось перед праздниками плохо.

На Курском вокзале, у товарной станции, на путях товарные вагоны были битком набиты морожеными пороссятами.

Будь хоть беден, хоть богат, а жареный поросенок должен был быть на Рождестве у каждого на столе — уж обязательно.

А у меня в деревенском доме, в сарае, — свинья и шесть поросят.

Я и приятели приехали в деревню на праздник, за неделю до Рождества. Василий Сергеевич пришел ко мне рано и, разбудив, сказал серьезно:

— А пороссята-то ваши ни к черту!..

Я спросил:

— Почему, Вася?

— А потому, что переросли. Что же вы глядите-то? Это не поросята, а свиньи. Я уж когда к сараю подходил, услышал, как хрюкают. «Эге, — думаю, — это дело дрянь. Большие». И Юрий тоже говорит — из них холодный поросенок не выйдет.

* * *

Хорошо в деревне зимой. Утро, снега, снега...

Крыши на избах деревни — белые. Тихо. Ровно идет дымок из труб. Блестят на солнце, в инее, огромные березы. Небо сине. Сад как серебряный, весь покрыт инеем.

Похрустывает снег под валенками.

Феоктист, в новом тулупе, в красном кушаке, стоит у сарая с моими приятелями. Смотрят в закуту, где свиньи.

Я вижу, действительно, поросята велики, а сама мамаша сердито смотрит на приятелей и, хрюкая, что-то вроде как говорит поросьятам.

— У ней ежели одного украсть незаметно, а то зла свинья — искушает.

— Вот этот-то помене, — сказал Герасим и схватил поросенка за задние ноги.

Поросенок неистово завизжал. Свинья бросилась на Герасима. Ужас какой раздался визг.

Все приятели отскочили от закуты и сказали:

— Ну ее к черту.

— Но нельзя же без поросят к празднику, — резонно заметил Павел Александрович.

И строго сказал Леньке:

— Потрудитесь как-нибудь незаметно его отделить от свиньи.

* * *

Василий Сергеевич, вернувшись в дом, приспособлял здоровое удилице. Призывал к нему бечевку. Работая, смотрел на нас сердито.

А приятели, сидя за чайным столом, тоже на него с любопытством посматривали.

Привязав к бечевке большой крючок, Василий Сергеевич крикнул:

— Ленька, давай скорей!

Ленька вошел, держа в руках морковь. Василий Сергеевич насадил на крюк морковь и, надев тулуп и шапку, пошел ловить поросенка.

Охотник Караулов рассмеялся.

Василий Сергеевич остановился в дверях и обиженно сказал:

— Точить лясы-то легко, а вот вы подите-ка поймайте...

Все приятели засмеялись и, одевшись, пошли смотреть, как Вася будет ловить поросенка.

Василий Сергеевич, спрятавшись за косяк у хлева, дожидался, когда поросенок схватит морковь, показывая нам рукой, чтобы уходили и не мешали.

* * *

Вскоре Василий Сергеевич вернулся. Поставил удилице в угол и, смеясь, сказал:

— Хитрые, бестии, морковь съедят и не попадают.

Решили взять поросенка на станции в лавке у Козакова, потому что мамаша поросьяча настолько оказалась сердита, что никто не решался взять у ней поросенка.

Быстро наступали декабрьские сумерки. Посинел пышный иней сада на фоне зимней розовой заре. Задумчиво дремал в отдалении покрытый снегами огромный Феклин бор.

Зимняя пустыня...

И среди наступающей ночи вдали послышался протяжный звон колокола.

— Это на Вепря, у Спаса, — сказал Герасим.

Как был приятен и чем-то значителен для души этот отдаленный звон.

Покой и надежды были в нем.

Тетенька Афросинья пришла с бутылкой, взяла табуретку, поставила ее в угол.

Сказала Леньке, давая бутылку:

— Подлей и зажги лампаду. А то — чисто басурмане. Пятница-то какая, всенощная у Спаса идет.

Затеплив лампаду, тетенька Афросинья и Ленька молча выпили.

— А вот скажите-ка... — спросил доктор Иван Иванович, — что прежде всего у человека — чувство или что? Прежде всего — чувство. Да-с. Вот колокол звонит, и лампаду зажигают. Значит, что-то эдакое в душе-то есть. Нужное душе-то. Это не поросенка на удочку ловить. Это повыше будет.

— Чья бы мычала, а твоя бы молчала, — сказал, обидевшись, Вася. — Ты знаешь, что поросенок будет, а вот без поросенка ты бы другое запел. Что говорить? Чувство! А когда трешницы за визиты берешь — тоже чувство?

— Постой. Ты куда это клонишь? Деньги-то деньгами, а чувства чувствами. А ты когда баню Солодовникову построил, он тебе деньги не заплатил за что? Ты полки-то в бане поставил высоко — он было испекся. И я тоже в картофельной муке сидел из-за тебя.

— Ну говори, говори... — рассердился архитектор Вася. — Вы приехали-то с Солодовниковым париться на каком взводе? Пьяней вина. Запарились. Разве я виноват? У вас тоже тогда чувства играли, а в голове-то гандибобер. Не будь меня, сварились бы!.. У него тоже чувства хороши: придирается и не платит. С кем вы разговариваете? Я триста соборов построил, а вы говорите — баня...

— Триста соборов что-то много... — сказал безразлично Юрий.

— Триста — много, — согласился и я.

— Ну, не триста, а тридцать построил. В Подольске — один, в Покровском — два.

— А сам постов не держишь: вчера ветчину жрал, — сказал кротко Коля Курин.

— Позвольте, это я нечаянно. Буфетчик на станции дает, я машинально и съел. И потом, это к профессии архитектора отношения никакого не имеет.

— Это верно, но чувств все-таки нет возвышенных. Когда колокола твоих соборов на молитву зовут, ты ветчину жрешь...

— Я архитектор, а колокола — другая специальность. Хотите, их вешайте, хотите, нет — мне все равно.

— Но ты же атеист, Вася, — сказал Караулов.

— «Атеист»... А куда бы вы без архитектора к обедне ходили?

— Это верно, — сказал Герасим.

— Спасибо, Герасим. Что, ловко он вас срезал? Поняли, что такое архитектор?

«Чванство»

— Ну что же, — входя ко мне, сказал мой приятель-москвич, — морозы, как в Москве. Рождественские морозы. Зуб на зуб не попадает. Здесь еще как-то холоднее. Сегодня двенадцать градусов — и пропадай! А у нас в Москве тридцать градусов — и ничего. Не пронизывает так. И никто ничего не понимает. Я им говорю: «Это потому, что снегу нет». А на меня обижаются: «Вот еще, вы снегу захотели. А ботики где купите? Ботики-то нет! Это ведь не Москва!» — «Господи, — говорит моя Марья Петровна, — всё вы сами, русские, на себя накликаете. Вот снегу нет вам. Знаю, только и вспоминаете вы тройки ваши. На тройках летали. В “Яр”, в “Стрельну”, к “Жану”. Икра во льду, балыки, водка холодная. На всю ночь закатывались. А жена сиди дома. А теперь ты, Сергей Петрович, дома сидишь, ждешь, когда я макароны сделаю. Докатались, голубчики!..»

— Знаешь, куда ни зайдешь, — продолжал приятель, — все вот так. Говорю: я ведь ни при чем. Ах, и правда, жизнь была в Москве! Дни радости, веселости московской — прямо рай. Театры полны, рестораны полны. Тройки мчатся, летят лихачи за город, вина лились рекой. А студенческие времена. В ресторанах и в столовых, бывало, держишь на вилке огурец, выпьешь рюмку водки и чувствуешь, как расцветает в душе дружба. Сколько истин приходило в голову! А вечером в театр, на галерку. Театр воспитывал нас. Ермолова, Федотова, Южин-Сумбатов, Островский, Шекспир. А опера — Фигнер, Шаляпин, Собинов. А балет! А студий сколько было! А там босоножки какие! Ада, Лиза, Вера Начевкина. Глаза тургеневской Лизы, Грушеньки Достоевского — на каждом шагу. Из объятий одной бросаешься к другой...

— Ваше превосходительство, — говорю я другому приятелю — петербургскому чиновнику. — Вы, кажется, озябли?

— Озяб, холод собачий. Сознаюсь, заходил зуб полечить. Зуб у меня ноет. Ром подержал во рту — прошло. Конечно, глотал его, не выплевывать же. Сознаюсь, глотал.

— Видно, что зуб лечили, — сказал мой приятель-москвич.

— Ну, батенька, если в такой холод не пить, то когда же пить? Вы вашу мораль оставьте. Уж если мы не страдаем, то кто же страдает? Нам и терять-то нечего. Все потеряно. Все в тартарах.

— Послушайте-ка, — сказал москвич, — тут я недалеко ресторанчик подсмотрел. Пельмени там по вторникам. Хозяин — боевой полковник, сам пельмени делает.

Ресторан оказался небольшим, всего четыре столика. Хозяин — прямо душа.

Русские закуски: огурцы, грибы маринованные, селедка. Водку пьют большими рюмками, молча. За пельменями перешли на ординер.

— Пельмени у меня сибирские, — сказал, подойдя к нам, хозяин. — Кстати, сейчас мороз. А в Сибири-то — 45 градусов! Скомандуешь роте: «Правые плечи вперед — шагом марш!» Идешь и греешься.

— Не «плечи», а «плечо», — поправил кто-то за столиком.

— Да ведь забудешь между котлетами и всей этой мурой.

— Позвольте вам сказать, — вмешался какой-то бледный молодой человек. — Я тоже на войне был. Шесть раз насквозь прострелен. А вот и сейчас готов за Россию умереть. А вы готовы или нет?.. Думаю, что нет. Вот что.

— Садись, — потянул его за рукав другой. — Выпил рюмку, а на сто франков показываешь.

— Эх, эта вся Содом и Гоморра уж надоела, — сказал кто-то за столиком. — Хотя бы одним глазом Россию посмотреть. Посмотрел бы я на свою землю, а ее восемь тысяч десятин было. Реки, горы. Осетры, караси в сметане. Не жизнь была, а фата моргана. Ну-ка, дай, хозяин, еще шопин¹.

— А я, — заметил другой, с одним глазом, — легчиком был, а теперь массажистом стал. Владимира имею с мечами. А вы говорите — «правыми плечами вперед». Военный ли вы были, позвольте вас спросить. Пельмени хороши, нечего говорить, а вот...

— Позвольте, — сказал хозяин, — давно дело было. У плиты целый день. Кому что. Меню-то вон какое. Все забудешь. Тоже Владимира имею, а забыл, когда получил.

— Это что, а у меня приятель, Чичелев, так тот, когда из России бежали, забыл дорогой, как жену звать. И уже в Польше, когда в ворота въезжал под Варшавой, припомнилась ему вдруг почему-то песня:

Ах, Настасья, ах, Настасья,
Отворяй-ка ворота —

и тут только он и вспомнил, что и жену-то Настасьей звали. Вот до чего это самое все доводит.

* * *

Приятель мой — петербургский чиновник — молчал и пил вино. Потом наклонился к нам и сказал шепотом:

— Пойдем-ка лучше в кафе кофе пить.

Пошли.

В большом кафе петербургский чиновник сказал нам:

— Русские натуры очень сложны. Душа, знаете, такая, глубины необыкновенной. Я по себе знаю. Сложно у нас там где-то. Вот что со мной случилось. Командирован я был на выставку 1900 года в Париж. А со мной и помощник мой. Приехали в Париж, завтракать пошли к Паяру, деньги были тогда. Ну, подают нам омара по-американски. А помощник мой и говорит: «Ну что омар! У нас стерлядь лучше». Утку подали. А он: «А у нас лучше, что ж, груздей нет? Какая же утка без груздей! Шампиньоны — ерунда. У нас они у сараев растут — поганками считаются». Десерт — земляника со сливками. «Невидаль какая!» Шампанское Клико — неплохо. «Только оно у нас как-то веселее пьется». — «Вот, — думаю, — какого мне помощника навязали — жить не дает». — «Такого здесь в Париже и ресторана нет, как у нас Кюба, на Морской». Что ж это такое, подумайте!

Вернулись в Петербург, встречаю его у Кюба. За завтраком подали разварную стерлядь. Он позвал самого Кюба и говорит ему:

— Это что же такое — стерлядь! Надоела! А вот омара по-американски у вас нет? Подали утку с груздями, а он опять:

¹ От фр. *chopine* — бутылка.

— Грузди не ем — надоели. Шампиньонов-то нет, что ли?

Вот до чего он меня довел — видеть его не мог! Грешен: добился-таки я — перевели его в другой департамент. Так что бы вы думали — он меня по службе перегнал!.. Я-то действительным статским остался, а он тайным советником умер. Каково?..

Рождественская ночь

В деревенском моем доме, в углу, у старинной иконы Спаса Нерукотворного, горит лампада.

Рядом — большое окно. За тюлевой занавеской — синяя ночь, темными силуэтами выделяются высокие ели. На небесах блестят звезды, и месяц ясный освещает лес, покрытый, как узорами, снегом. Глушь, тишина и мороз.

Снаружи у окна градусник замерз.

Мой слуга Ленька, — он все делал несколько мимо, по случаю того, что ему нравилось встречать праздник в Москве, а тут, в деревне, не очень, — полил градусник горячей водой. Градусник лопнул, за что Василий Сергеевич назвал его лопоухим чертом и лошадю.

Приятеля мои на реке, пробив лед ломом, ставили поставушки с насаженными на крючок кусочками рыбы и наловили кучу больших черных налимов, которые тут же, когда из вытаскивали из воды, замерзали, как камни.

Когда вернулись домой с реки, у всех приятелей моих уши были белые.

— Скорей! — кричали им Герасим, Феоктист и тетушка Афросинья. — Скорей наружу. Снегом, снегом...

И усердно снегом терли им уши.

— А то открошутся, без ухов останетесь...

Приятеля выли. Особенно жалостно повизгивал Коля Курин, потому что он был столбовой дворянин и нежнее других.

* * *

В моем доме — праздник: лампадки, чистота, теплынь.

Хотя уши и здорово щиплет, приятели греются у печки, а в печке окорок запекается в тесте, поросенок и гусь.

А в большой комнате на столе доктор Иван Иванович приготовляет наливку. Кладет в спирт сухую малину, чернику, землянику, весеннюю мяту, жженный сахар. Наливки две четвертные бутылки — всех надо угощать, кто придет. В четверть вставлены воронки.

Постоянно переливая и процеживая, Иван Иванович добивается прозрачности. Процедит, попробует и говорит:

— Еще мутна.

— Смотрите, а Ванька-то пьян, — говорит, смеясь, приятель Василий Сергеевич. — Напробовался...

— Ничего не пьян, — отвечает доктор Иван Иванович. — Конечно, я натошак... Я ведь до звезды-то не ем, так несколько, конечно, действует. А ты сделай-ка, приготовь полведра-то. Надо аромат найти. Того, другого прибавить. Тебе бы только зубы скалить, а я с утра с ней, с наливкой, мучаюсь...

* * *

На стол кладут большую скатерть.

Графины с настойками ставят посередине. Горячий окорок. Гусь с капустой. Поросенок с кашей. Из кухни — запах налимьей ухи с молоками.

Ждем гостей — лесничего, объездчика, охотника Казакова, возчика Патронова, рыбака Константина, Павла, которому отстрелили палец. Все настоящие люди, душевные и благородные.

Сам Павел Александрович взялся за приготовление матлота из налимов. Приходит и говорит:

— Вот такая история — мерзлых налимов положили в воду, а один ожил, плавает как ни в чем не бывало. Я его не варю, потому свинство — в такой-то день. Пускай живет...

Павел Александрович идет с ведром к реке, пускает налима в прорубь и говорит:

— Живи себе.

* * *

Но с Колей Куриным опять неприятности. Во-первых, ухо распухло, а потом — насморк. Чихает. Доктор Иван Иванович говорит:

— Возьмите в верхнем ящике тюбик ментола, подавите в нос и потом потяните этот крем — он как клей.

Коля послушно исполнил совет и вдруг стал отплевываться:

— Какая гадость!

— Ты что же это делаешь? — спросил Василий Сергеевич, взглянув на тюбик, — ведь это синдетикон...

— Ну вот то-то, что скверно. Ведь это мне Ленька дал. Клей это.

— Что же это у вас делается, Константин Алексеевич? — возмутился доктор Иван Иванович. — Надо теперь теплой водой нос промывать. Подите к умывальнику и втягивайте в нос воду — клей разойдется. Выплевывайте только, не глотайте.

— Какая все ерунда выходит! — досадливо поморщился Павел Александрович. — И под такой праздник!

* * *

Пришли гости, все в обновках, чистые суконные поддевки, сапоги начищены. Головы припомажены. Все говорят:

— Ну и мороз. На Рождество всегда морозы. А там и крещенские.

Хорошие гости всегда начинают разговор с погоды.

— В этикие-то морозы, ежели выпивши, опасно бывает в дороге — замерзнуть можно.

— Да ведь это кому как, — сказал охотник Казаков. — Вот у меня знакомый камчадал был, так ему наши морозы нипочем. Ему жарко. На нем кожа с вершок толщиной, рожа красная, жирный, чисто кубарь. У них, на Камчатке, мороз боле ста градусов. Натэ-ка.

— А зачем приезжал-то он с Камчатки? — спросили гости.

— В карты учиться приезжал — играть в тринку, в стуколку, в свои козыри, в дурака. Потому на Камчатке ночь длинная, камчадалы от тоски воют, — ну и послан он был за этим самым, чтобы камчадалов обучить в карты играть. Губернатор так распорядился.

— Ко мне вот тоже, — сказал лесничий, — зимой, в волчью охоту, чиновник приезжал из Питера. Так вот чудно: любитель сосулек был. Вот что в мороз у крыш, у колодца. Наберет этих сосулек, макает в коньяк и сосет... «Верное средство, — говорит, — от тоски и женских измен. Сосулька состоит из воды, из снега талого, а снег-то с небес идет. Насосешься, — говорит, — так все горе как рукой снимает».

Время к полночи. Сядут за стол. Закуска — маринованная щука в монастырском засоле и кочанная капуста.

Двенадцать часов.

Все встали и, обернувшись в угол, где горела лампада, спели: «Рождество Твое, Христе Боже наш». Вдруг во всю стену по бревнам дома раздался треск. Еще и еще...

— Ишь, — сказал рыбак Константин, — не нравится праздник-то нечистому. Ишь балует...

— Это мороз трещит. Здоровый! — сказал Герасим Дементьевич.

— Какой там мороз. Это он. Не нравится ему молитва-то...

— Ну, с праздником, дай Бог, — чокались гости и чинно пили настойку.

— А вот в Иерусалиме-то, поди, теперь тепло, — сказал лесничий. — Поди, там настоек-то этих негу и браги тоже... Ни к чему. От холодов-то принимать не надоть. Там тепло.

— Нет, позвольте-с... — сказал Павел Александрович, — там всегда вино было. Там винограду сколько хочешь. Эта наука из Иерусалима идет — вино пить на праздниках. Если бы не они — мы бы и не пили...

НОВЫЙ ГОД

В Петербурге всегда торжественно встречали Новый год. В Новом году Петербург принимал праздничный вид. На Новый год чиновники получали награды, ордена, назначения и повышения по службе. С утра мчались по улицам сани с визитерами, браво ехали военные и кареты с ливрейными лакеями.

В сумрачном свете падал снег, и часто уличные фонари не гасились, — была какая-то особая прелесть в зимнем утре Северной столицы.

Чиновник особых поручений Федор Петрович Утюгов, проснувшись рано, посмотрел на себя в зеркало. Высунул язык и сказал:

— Ого! Язык обложен. Корюшка-то вчера была хороша, да и сига много съел. Нет, с сегодняшнего дня бросаю пить.

Одеваясь, он смотрел в окно на падающий снег. Зевнул и задумался.

— Иван! — крикнул он. — Дай содовой воды. Всегда чувствуешь себя тяжело после встречи Нового года. Где это список-то забельшился? — говорил он, разбирая бумаги. — Визиты делать надо... Ах, вот он.

Федор Петрович, одевшись, сел в кресло и, попивая глотками содовую воду, стал просматривать список. Потянулся к столу за пером...

— Нет-с... это надо сократить. С какой стати Еропкин? Нет, душечка, я к тебе не поеду, вычеркну... Хотя ты и лезешь, любезничаешь, уж так рад, так рад, когда меня видишь, а на стороне я слышал другое: говоришь, что я пью! Говоришь, да — говоришь! Вот я тебя и вычеркну и не поеду с визитом, хотя ты и действительный. И тебя тоже, Владимир Михайлович, вычеркну. Показываешь себя вегетарианцем: «Я вина не пью, немножко с водой...» А я-то вижу — тихоня, шуткарь. И этого Павла Степановича вычеркну тоже. Себе на уме — из себя музыканта делает, петь учится, артист. Я же не говорю про себя ничего — чиновник, и только, а я тоже почти все оперы знаю. Конечно, главные мотивы. Не говорю... В любительских спектаклях не участвую. Не завиваюсь. Не показываю себя артистом, не подлаживаюсь к разным барынькам нужным... Я не карьерист, я служу. В девять часов утра я в департаменте.

Павел Павлович Сафронов. А! Ваше превосходительство, вам-то уж визит я должен сделать — вы начальник. Пойду, карточку оставлю, — думаю, что вы сейчас нездоровы, Новый год встречали. Вы теперь, наверное, огуречный рассол пьете, и доктор у вас сидит. Придете в департамент — у вас лицо пудрой засыпано будет. Целый месяц после праздников докладов принимать не будете. От вас только и услышишь: «Потом, потом...» Все же вы человек хороший, не осуждаете — кто выпил. И вино у вас Анжу сек¹ — приятное винцо — аромат.

Ну, следующий: Чихачев. Жена красавица. Одет с иголки, лорнетку носит. Франт, эстет. Большую карьеру делает. В концертах, спектаклях — в первом ряду. Благотворительные базары. А я, дудки, к вам не поеду — вы выскочка и карьерист.

И Федор Петрович вычеркнул всех своих сослуживцев, кроме Сафронова.

— Пойду-ка я пройду по Мойке, а то как-то тяжело после вчерашнего. Мне Голощапов советовал — хороший он доктор — после такой встречи Нового года утром выпить коньяку. Но не могу — противно. Больше никогда пить не буду...

— Иван! Заверни бутылку коньяку.

Уходя, в коридоре, Федор Петрович положил в карман шинели завернутую бутылку.

Иван подал шинель.

* * *

Медленно шел Федор Петрович в ботиках по снегу. Был сумрачный петербургский день. Кое-где горели фонари. Пройдя на Карочную, он зашел в подъезд, где жил Сафронов, оставить карточку. Но хозяин сам отворил ему дверь:

— Вот рад. Пожалуйста, Федор Петрович.

В комнате было много народу. Посередине стоял большой стол с винами и закусками.

— Дорогой! У нас все еще встреча Нового года идет. Вот когда все допьем, то и спать. Позвольте вам коньячку для начала?

Хозяин взял в руки бутылку.

Взглянув на гостей, Федор Петрович увидел, что все, кого он вычеркнул, были у Сафронова. Выйдя в прихожую, он вынул из шинели бутылку коньяку, незаметно принес и поставил на стол.

¹ От фр. sec — сухое.

— Ну вот, — сказал хозяин, — мы очень рады, что пришел с визитом наш милейший Федор Петрович, человек долга и службы. Мы здесь все сейчас в своей семье.

— А я-то как рад! Список составил, вышел всех поздравить, и вдруг такой slučaj — все здесь. Это и есть счастье Нового года.

— Знаете, мы теперь здесь все свои, друзья, — продолжал Сафронов. — Мы и спеть можем, и выпить. Никто не осудит. А вот если бы Сергей Юльевич пришел — благодарю... Хорошо, что не пришел.

— Позвольте, — сказал один из гостей, — а я вись Худаков, что бы с нами было?.. Весь Петербург завтра бы знал, что мы еще спать не ложились.

— Выпьемте за счастливый год. Да минут невзгоды, недоразумения, ссоры, — поднял бокал хозяин.

— Я не пью, — неожиданно сказал Федор Петрович.

Все как-то замолчали.

— Как — не пьете? — удивился хозяин. — Давно ли?

— С сегодняшнего утра.

— Почему же это вы так решили, дорогой? Ведь Новый год...

— А потому, что говорят про меня некоторые: «пьет».

— Ну, что выдумал, — заговорили сослуживцы, — это зря. Про всех говорят.

— Не советую бросать, — строго сказал хозяин.

— А почему? — почтительно спросил Федор Петрович.

— А потому, спросите вот всех, — плохо будет. Знаете, говорить начнут: хочет выделиться, себя показывает, себе на уме... Мало ли какие неприятности скажут.

— Верно, верно, — повторили кругом.

— Святоша, скажут. Пить бросил? Почему бросил? Когда бросил? И пойдет разговор...

— Скажут, врет, лицемер, — крикнул кто-то. — Карьерист, скажут...

— Почему же карьерист? — удивился Утюгов.

— Скажут: Утюгову-то пить запретили... скажут: вот до чего допился, какая-то девчонка и запретила...

— Верно, верно, — подтвердил его превосходительство.

Федор Петрович в недоумении переводил глаза с одного на другого.

— Отчего же не бросить пить? Можно, — сказал Еропкин. — Но надо постепенно. Нельзя же бросить пить в самый Новый год. Это просто огорченье и себе, и друзьям. Это тень бросает, согласитесь, дорогой Федор Петрович. Мало ли что могут подумать...

— Зря это вы, Федор Петрович, — уже вовсе огорченно сказал начальник Сафронов. — Вот вы принесли мне эту бутылку коньяку, — показал он на стол. — А сами пить бросили, хорошим таким сделались. А мы пить должны! Согласитесь, Федор Петрович, никакое учреждение допустить не может, уже не говоря о дружбе. Да-с. В Новый год рюмки не выпить!

Федор Петрович побледнел, ослабил и, налив себе в стакан коньяку, сказал:

— Голова!.. Кудесник!.. Убедил!.. С Новым годом, ваше превосходительство!..

Новое счастье

Москва. Визитеры. Поздравляют: «С Новым годом, с новым счастьем».

Василий Сергеевич, когда к нему пришел его приятель, актер Ракшеев, и сказал обычное: «С Новым годом, с новым счастьем», спросил:

— А какое это такое новое счастье? Как попугаи заладили одно и то же — новое счастье! Ведь это глупо! Скажи, что это за счастье такое? И потом, почему оно каждый год все новое? В чем дело?

— То есть как — в чем дело? Не понимаю...

— Вот ведь говоришь, а сам не понимаешь. Ну что такое новое счастье?

— Ну, это так говорится, так, вообще. Счастье разное, их много, разных счастливых...

— А я, скажем, счастье для своей жены?

— А черт тебя знает. Скорее — нет.

— Нет, ты позволь, позволь... Вот ты и моей Ольге сказал: «С новым счастьем». Это что ж такое? Как я понимать должен? Выходит так, что я-то ее старое счастье, а ты ей новое желаешь. Значит — любовника?

— Постой, Вася, это же глупо.

— Как — глупо? А вот желать порядочной женщине нового счастья действительно глупо. Конечно, не все обращают внимание, а настоящий муж может и скандал устроить! Особенно — актеру.

— Да ты что? Взбесился? Почему же актеру?

— А как же? Вы привыкли любовников играть! Первый любовник! Второй любовник! Тридцать пятый любовник! Только головы женщинам кружите, черт бы вас всех подрал!..

— Что ты, Вася, совсем одурел для Нового года!

— Одурел? Нет-с, не одурел. Вы-то все одурели. Да будь я губернатор какой-нибудь, я бы вашего брата спросил: «Вы любовник? Да? А в каторжные работы хотите?» Тогда бы вы не очень глаза закатывали. Да-с!..

— Ну, брат Вася, ты заврался. Тогда бы вся жизнь кончилась.

* * *

К вечеру, в Новый год, Василий Сергеевич пришел ко мне. У меня были приятели — доктор Иван Иванович, адвокат Петров, Коля Курин и рыболов Василий Княжев.

В прихожей верный слуга мой Ленька, снимая шубу с Василия Сергеевича, сказал:

— С Новым годом, с новым счастьем.

Василий Сергеевич мрачно посмотрел на него и сказал:

— Пошел бы, братец, к чертям!..

Мы сидели за столом и ели кулебяку.

— Черт знает что! — сказал, входя, Вася. — Целый день сегодня покою не дают: «С новым счастьем!» И ни один урод не может объяснить, что это за новое счастье!

— Что же тут мудреного, — сказал я. — Вот видишь — мне сегодня Сафронов принес. Попробуй-ка, какая замечательная. Это счастье. А Александра Михайловна папирос любимых мне прислала. Внимание друзей — счастье. Ты пришел — счастье. Только ты, Вася, что-то сердит очень, я вижу.

— Конечно же! Ведь вы не дипломат! А я вам скажу, когда вашей жене говорят: «С новым счастьем», это значит — ей желают любовника. Да-с. И не иначе!

— Это есть отчасти, — сказал рыболов Василий Княжев и, шипя, засмеялся.

— Ну, Василий Сергеевич, — сказал доктор Иван Иваныч, — сегодня что-то в дуровом настроении, какую ерунду несет.

— Нет, не ерунду! Вот, Колька, скажи, когда тебе говорят: «С новым счастьем», ты что думаешь о счастье? Что молчишь-то?

— Да ведь, конечно, — сказал Коля Курин, — когда это и говорят, женщину видишь, новую какую-нибудь, хорошенькую такую, веселую, без разных историй и сцен...

— А когда жене вашей говорят, — ответил Вася, — она что видит?

Княжев опять, шипя, засмеялся.

— Да ты отпоумел, Вася! — удивился доктор Иван Иваныч. — Разве моей жене, Авдотье Михайловне, может прийти в голову, что ей любовника на Новый год сулят? Опомнись, право...

— М-да. Авдотье твоей, Михайловне, любовничка найти довольно-таки трудно-вато. Это верно, — сказал Вася.

— Это еще что? — обиделся Иван Иваныч. — Да ты в своем уме? Конечно, она полновата, но и полная женщина может нравиться. У ней коса-то какая!.. С косы-то и началось. Я на ней и женился.

— Ну какая там коса! Огрызок.

Иван Иваныч гневно посмотрел на Васю, налил рюмку водки, выпил и внушительно сказал:

— Так вот что! Когда я был земским врачом в Вологде, там один гласный из городской думы, человек весьма солидный, так к моей жене лез! Цветы, конфеты посылал. Она, конечно, женщина твердая, не уступит и себя запачкать не позволит...

— Ну полно врать. Кому нужна этакая толстуха. Бегемот!

Доктор Иван Иваныч, услышав такую реплику о своей жене, побледнел и, не помня себя, возопил:

— Да что он, в Новый год белены, что ли, объелся! Новое счастье — это у него любовники! Все основы жизни разрушает. Если бы это так было, то пол-Москвы бы сегодня с разбитыми харями ходило. И тебе морду бы за это починили!.. Разве можно про женщину сказать — бегемот? Совсем взбесился!..

— Чего сердать, — примирительно сказал Василий Княжев. — Конечно, Авдотья Михайловна несколько полна. Ну где же ей до бегемота! Эдаких женщин не бывает.

— И правда, что за охота спорить, — сказал и адвокат Петров. — У всякого свой вкус. Кому какая нравится. Вот гласный в Вологде волочился за Авдотьей Михайловной. Понравилась. Не добился? Может быть, дурак был. А может, и не понравился. Кто знает.

— Это еще что! — вспылил Иван Иваныч. — «Не понравился!» А может быть, и понравился? Но женщина крепка. Вот что. Говорить — говорите, но дело надо говорить! А у вас в голове — чепуха одна!..

Под Крещение

Утро. Еще приятели мои спят. Поздно легли. Спорили. Мой слуга Ленька затопил камин и сказал мне, что снегу за ночь навалило столько, что пройти в деревню невозможно. По пояс проваливаешься. На лыжах тоже трудно. Лыжи тонут.

Одевшись, я вышел на крыльцо. Белым-бело. Все в инее: березы, сад, даже сарай побелел. Тишина. Ворона села на крышу сарая и заорала во все горло.

Так пахнет снегом, зимой, деревней. В душу входит мир и покой.

Русская зима. Россия...

Вижу, от ворот идет Дарья, несет две крынки сливок. Подходит к крыльцу, говорит, смеясь:

— Насилу пришла. Ишь за валенки набилось снегу. Сливки-то хороши. Мерзлые.

Доктор Иван Иванович умывается в коридоре у умывальника и покрикивает:

— Ух ты, вода холодна... Так и щиплет.

Самовар на столе поет. Деревенские ржаные лепешки, оладьи, просфоры большие из Ростова, за здоровье и упокой. Все так просто и ясно. Лица у приятелей такие красные, спокойные. Все собрались к чаю в моей деревенской мастерской. Пьют чай молча, едят оладьи и смотрят на камин, где трещит хворост.

Ленька наливает чай и медленно говорит:

— Вот Дарья сказывала — вчера в ночь, в самую метель, ехал Горохов со станции лесом. Вот, говорит, разбойники по лесу шли и орали песни. Горохов напугался и стал за елку. Прошли поодаль, не видали, а то бы наверняка зарезали его. Вона, Герасим идет, — сказал Ленька, посмотрев в окно.

Герасим шел на лыжах. В руках тащил двух застреленных зайцев.

— Ну, чего еще! — сказал Герасим, раздеваясь в передней. — Вот у камина погреешься. Сто раз падал. Обындевел весь. Внутри-то вроде ледышка засела — иззяб...

— Ну вот, пей чай скорей, Герасим.

— Коньяку ему, — вскинулся Юрий Сергеевич.

И, наливая коньяку Герасиму, выпил и сам.

— А ты что ж пьешь с утра? — спросил Василий Сергеевич.

— Что-то лихорадит, — ответил мрачно Юрий Сергеевич.

— Охоты никакой? — спросил охотник Караулов.

— Какая охота. Нешто пройдешь куда. Замело все дороги, все пути — негде к милому пройти. Правильно песню поют.

— А вот Горохов, — сказал Василий Сергеевич, — вчера, ночью, в метель самую, в лесу разбойников видел...

— Ерунда, — сказал я, — какие разбойники. Тут их и нет, просто пьяные шли.

— Ведь это так говорят, — разбойники в лесу завсегда, — сказал Герасим. — Пустое. Где же им в лесу прожить в такую пору! Да и что взять? Разбойники в городах или по тюрьмам прячутся до весны. Допрежь были здесь разбойники. Жили они под кручей, у заводины, что у мельницы Поповки. Там у них в земле и дом был. Давно еще, когда машины не было. Пастушонок, подпасок, подгляддел, как они женщину голую закапывали у свово жилища... Ну и рассказал. Их ночью и окружили солдаты. Они отбивались — их всех и кончили. А атамана взяли живым. А атаман-то — не атаман, а девка была, одета парнем. Волосы стрижены в скобку. Красавица. Так начальник ее себе в полюбовницы взял... А Горохов-то видал ночью не разбойников, а

парней молодых и девок. Они в полночь из деревни шли туда, в Поповку, в дом-то разбойничий, — гадать. Женщина-то, которая зарыта была там разбойниками, из земли шепчет — что кому. Гадать ходят туда, значит, под Крещение. Ну, парни, девки станут на горе, а вниз-то туда ходят поодиночке. Ну, и слушают, что нашепчет...

— Верно, — сказал Феоктист. — Моя Афросинья, когда сватался я, тоже туда ходила слушать. Куда там — зрящее дело, мало ль, что скажет. Да и врут — сами выдумывают.

— А знаете что, пойдете-ка, послушаем сами, — предложил доктор Иван Иванович.

Все приятели собрались идти. В деревне достали лыжи, захватили длинную веревку. Была светлая лунная ночь.

Впереди шел Герасим. Мы медленно брели за ним по снежной пустыне, опираясь на шесты. Шли лесом и подошли к Поповке, к самому обрыву, который спускался к реке. Но спуститься под обрыв, где было когда-то гнездо разбойников, не было возможности.

Решили привязать веревку к сосне и по веревке спускаться вниз.

— Ну, Вася, иди, — сказал Караулов.

— Благодарю вас, — ответил Вася. — Пускай доктор идет. Он выдумал, пусть первый и лезет.

— Что ж, дай-ка мне, Герасим, рукавицы, а то еще руки об веревку обрежешь.

Взявшись за веревку, Иван Иванович тихонько спускался вниз. Потом быстро покатился под гору и закричал:

— Ух ты, черт!

И пропал внизу за частыми высокими елями.

Была тишина. Мы ждали долго.

— Ванька, — крикнул Василий Сергеевич.

Иван Иванович молчал.

— Что же он молчит? — удивились мы. — Не провалился ли в снег?

— Чудно, — сказал Герасим.

— Полезай-ка, Вася, — сказал я.

— Благодарю вас, попробуйте сами.

— Постой, — сказал Герасим.

— Дайте-ка ваши рукавицы, — обратился он ко мне. — Надо поглядеть, не убились ли.

И Герасим, взяв у корня сосны веревку, медленно стал опускаться в овраг.

Опять тишина, молчание.

— Герасим! — крикнул Василий Сергеевич.

Никакого ответа.

Мы глядели друг на друга, не понимая, в чем дело. Смотрели вниз, где пропали Герасим и доктор.

Вдруг видим — внизу зажглась спичка.

— Видите, они там закуривают и молчат, — негодовал Василий Сергеевич. — В чем же дело?..

И Василий Сергеевич опять крикнул:

— Что вы, онемели, что ли? Вылезайте!

— Ты чего орешь-то, леший! Помолчи! — послышался снизу голос доктора. — Все испортил. Только стала шептать — и замолчала...

Мы все сели в снег на краю обрыва.

Снег был мягкий, и таинственно освещала луна соседний лес под обрывом. Веревка натянулась, и слышно было, как кто-то лез кверху.

И вдруг веревка у сосны развязалась, и Иван Иванович благим матом заорал:

— Держи!

Веревка исчезла внизу...

— Что делается... — захохотал Караулов.

Слышно было, как Иван Иванович ругался.

— Пойдем понизу, — говорил внизу Герасим.

— Пойдемте и мы, — предложил Юрий Сергеевич.

* * *

Когда мы вернулись домой, то увидели, что Герасим и Иван Иванович сидели раздетые у камина и грелись.

— Ну что, — спросили мы, — слышали, как шептала?

— Вы же не давали слушать. Орете зря. Что она стала шептать — я слышал, а вот что — не понял. Слышал — «предаешься»... а чему предаешься — неизвестно, — вздохнул доктор.

— Ну конечно, пьянству, — сказал Василий Сергеевич.

— Она этого не сказала, ты не выдумывай.

— Ну что, наслушались, — спросила, входя, тетушка Афросинья, — на Кусковке-то, в разбойном гнезде? Надо туда одному ходить, а то не услышишь. Я-то одна в полночь ходила под самое Крещение. Так явственно слышала: «За козла замуж выйдешь...» Ух, напужалась я. Вся тряслась — домой шла. Вот и вышла за него замуж, — показала она на Феоктиста, — хорошо жили и посеячас живем хорошо. И что же — неча греха таить: маленько на козла-то он смахивает...

Феоктист, опустив голову, тряся бородой, смеялся.

И, посмотрев на него, мы вдруг увидели, что он действительно на козла похож.

Татьянин день

Все меньше и меньше остается нас, москвичей, которые помнят праздник Московского университета. Я всегда был рад и счастлив, встречая в Москве Татьянин день, праздник учащейся юности. Когда я проходил или проезжал мимо Московского университета, я испытывал особое чувство веры в жизнь и восхищенно смотрел на большой газон во дворе университета, на котором стоял пьедестал с бюстом Ломоносова, основателя университета, по желанию императрицы Екатерины II.

Я помню домовую церковь при университете и старые часы в одной из зал, на которых было написано «искупите время».

Проезжая, я часто видел толпы студентов, входящих и выходящих в кованые ворота университета.

Я видел в них счастливых юношей. Я всегда верил в науку как человеческое благо, вернее, в просвещение и в возвышение человека.

Святую Татьяну, покровительницу университета, я видел в образе русской женщины.

В юности у меня было много друзей-студентов. Я хорошо помню студентом Антона Павловича Чехова. Помню его с третьего курса медицинского факультета. Помню его в Москве, живущего на углу Садовой улицы и Уланского переулка. Это был двухэтажный угловой дом. Там была гостиница. Называлась «Восточные номера».

За палисадником с Садовой был вход — грязное крыльцо с железным навесом. Туто отворялась дверь. На веревке блока, у дверей, висели четыре кирпича. Когда отворяли дверь, кирпичи поднимались, и потом дверь за вами плотно затворялась под их тяжестью.

В коридоре, при входе, была вешалка. У вешалки стоял коридорный, всегда заspanный, одутловатый. Его звали Петр.

На голове его была круглая, ямщицкая шапка, со вставленными по краям павлиньими перьями.

У вешалки пришедшие снимали пальто и ставили галоши, а зимой ботики.

— Эх! — вздыхал Петр.

— Ты чего?

— Чего? Ничего. Галоши-то у вас новые, не сперли бы — переменят.

И он бережно ставил их в сторонку, к себе.

В номерах справа по коридору, третья дверь от входа, на первом этаже, жил Антон Павлович Чехов.

От дверей налево была деревянная перегородка, выкрашенная желтой краской под орех — это была спальня. Потом два окна на улицу, в которые видны были палисадник перед тротуаром по Садовой улице. В палисаднике — жалкие кусты акации; зимой — огромная куча грязного снега: дворники лопатами бросали снег с мостовой в палисадник. Летом акации были серые от пыли.

В номере стоял диванчик, обитый материей в цветочках. Перед ним — круглый стол с белой скатертью, два кресла и венские стулья. В простенке висело зеркало.

У окон, для шика, были драпировки из шерстяной материи.

За номер Чехов платил 12 рублей в месяц.

Утром подавался самовар, калач и колбаса на пятачок. Это называлось «до пятачка».

У нас в Школе живописи и в университете всегда говорили «до пятачка». А потом, после утреннего чаю, пешедралом в университет.

В то время в университете не было обязательной формы. И студенты одевались кто как. Но поверх пальто зимой обязательно носили плед на плечах — для тепла. Была мода — широкополая шляпа, длинные волосы, и у самых матерых студентов, которые назывались «вечные», в руках была здоровая суковатая палка.

Любимая песня в то время была:

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницы студентов шатаются...

С какой радостью я вспоминаю этих студентов! Как были очаровательны они для меня в моей юности. Некоторые из них учились до сорока лет и проходили чуть не все факультеты.

Студенчество было бедно, редко кто получал из дому, а большинство пробавлялось уроками.

Десять рублей были для нас большие деньги.

Чехов уже писал в «Развлечении» под псевдонимом Чехонте.

Мы, ученики Школы живописи, мастерской Саврасова — я, мой брат Сергей, Левитан, Мельников, Поярков, Святославский, давали уроки рисования и продавали свои этюды с натуры любителям живописи.

* * *

В Татьянин день мы собрались у Чехова и решили ехать в трактир «Саратов» завтракать.

Это — роскошь.

Там была кулебяка с ухой, ветчина с горошком и пиво. Водку редко кто пил.

Время проходило весело в рассказах. Каждый вспоминал смешные случаи из своей жизни.

Среди нас был хорошо одетый студент Щуровский — красивый и статный. Впоследствии он стал знаменитым врачом в Москве.

В то время я жил на 3-й Мещанской, в квартире Татьяны Федоровны Хорунжиной. Она снимала большую квартиру и отдавала комнаты студентам. Зал и столовая были общими.

Мы, жившие у ней, и мои друзья-студенты: Новичков, Лавдовский, Дубровин, Щербиновский, удивлялись Татьяне Федоровне. Получая с нас гроши, она кормила нас прекрасными обедами, держала прислугу и сама была изысканно одета по моде. Ее красивые руки были в дорогих кольцах, которые она иногда закладывала, чтобы выручить кого-нибудь из студентов.

Татьяна Федоровна была красивая женщина. И мы перед ней преклонялись.

* * *

Я, Левитан и Чехов поехали вечером к ней на именины.

На извозчике, проезжая Спасские казармы, из ворот которых выходили с ружьями солдаты, я сказал Антону Павловичу:

— Какая разница — студенты и солдаты.

— В солдате с ружьем есть что-то жуткое, — ответил А.П.

Татьяна Федоровна была в белом платье и в высокой прическе. В черных волосах горела алая роза.

За большим столом сидело много гостей.

Татьяна Федоровна, встретив нас любезно, сказала гостям:

— Потеснитесь, пожалуйста.

Мы сели за стол. Чехов сел рядом с хозяйкой. За столом было шумно. Высокого роста, красивый человек, бывший студент, ранее живший у Татьяны Федоровны, встав и подняв бокал с шампанским, сказал:

— Силянс¹. Позвольте сказать. Я приехал в Москву из Оренбурга. Восемь лет, как я не видал Татьяну Федоровну. Служу в Оренбурге в суде. Я судебный следователь. Я всегда думал о Татьяне Федоровне. Поклоняюсь. Каждый Татьянин день я писал поздравление Татьяне Федоровне. И поверьте, когда я вам писал, Татьяна Федоровна, то я думал, что пишу настоящей Татьяне, день которой мы сейчас празднуем.

Татьяна Федоровна, встав, сказала:

— Да, да, я получила от вас одно письмо. Вы и на конверте написали: «Святой Татьяне Хорунжевой».

¹ От фр. Silence — Тише.

— Да что вы? — удивился судебный следователь. — Не может быть.

— Кстати, ваше письмо мне доставило огорчение: меня вызвали к полицеймейстеру и спросили, кто этот кощун, что пишет вам такие обращения.

Чехов, опустив голову, смеялся. Судебный следователь клялся и божился, что слова «святой» он не писал.

— Не может быть, не писал.

Татьяна Федоровна вышла в другую комнату и, вернувшись, показала письмо.

Судебный следователь пристально посмотрел на конверт у самых свеч канделябра и задумчиво сказал:

— Это приписано.

— Позвольте, — говорили другие, — может быть... Татьянин день, ну, выпили лишнее...

— Но я не писал «святой», — протестовал судебный следователь, — это приписано.

— А кто же мог приписать? — спросили гости.

— Сознаю: одна женщина. Я ей много рассказывал о вас, Татьяна Федоровна.

— Кто же эта женщина?

— Да моя жена, — грустно ответил судебный следователь.

Антон Павлович смеялся.

— Но вы уж больше так не пишите, — сказала Татьяна Федоровна, — а то может выйти скверная история.

Судебный следователь встал, попросил чернила и перо, задумался и сразу написал на конверте:

«Слово “святой” приписано Розалией Викентьевной Шрам, с которой я уже с 1878 года в брачном сожителстве не состою. И. д. судебного следователя Виктор Надумов».

Возвращая письмо Татьяне Федоровне, он сказал:

— Теперь все в порядке.

— Да, теперь уж по форме, — сказал Антон Павлович. — Теперь уж вам, Татьяна Федоровна, тревожиться нечего...

И в добрых глазах его светилась улыбка.

Необыкновенный сон

Долго тянется зима в Москве. Все холода, снега, короткие дни. Как-то надоедает надевать шубу, меховую шапку, ботинки...

В феврале все же является надежда, что придет весна. День становится длинней.

А там, за вокзалами, приятно синеют Сокольники. Веселее кричат галки, носясь стаями по вечерам над московскими церквами и домами.

Гляжу утром в окно и вижу — солнце веселее и ярче освещает овощную лавку в соседнем доме, блестит вывеска: «Чай, сахар». И лавочник в белом фартуке стоит в дверях уже в пальто — шубу снял, значит, стало теплей.

Приходит ко мне приятель и слуга — рыболов Василий Княжев — и говорит:

— Вчера был в Царицыне — пруды по краям оттаяли, вот наметкой линей поймал.

И показывает ведро, где вертятся два желтых линя.

— Что же, — говорю, — только двух и поймал?

К.А. Коровин.
У балкона.
Испанки Ленора и Ампара.
1888-1889



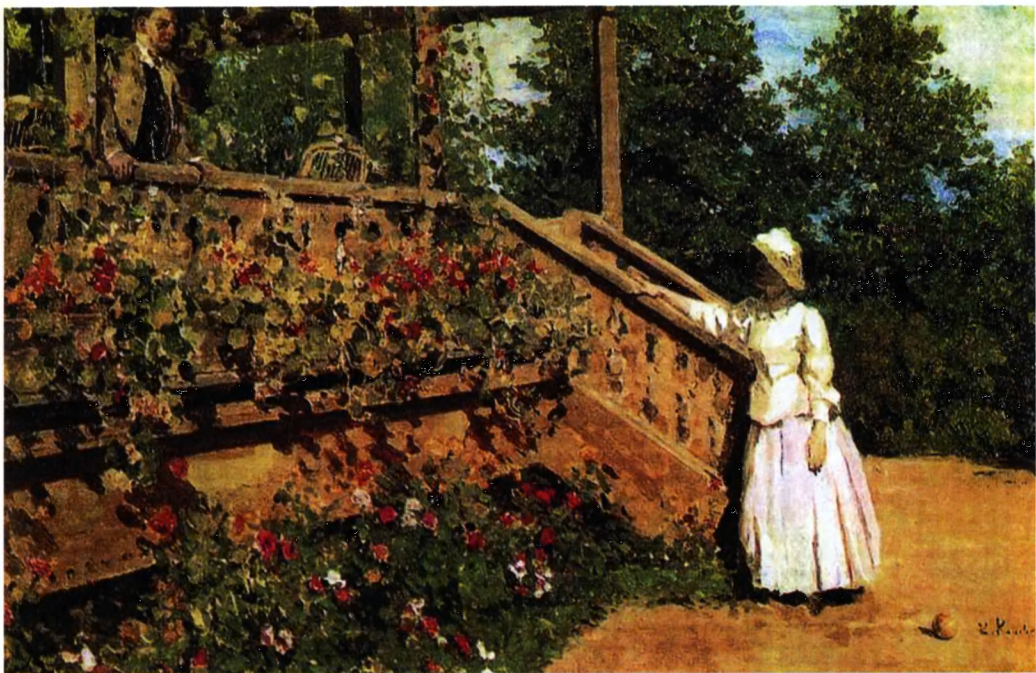
К.А. Коровин.
Бумажные фонари.
Портрет А.Я. Фидлер, жены художника.
1898



К.А. Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894



А.К. Коровин. Зимой. 1894



К.А. Коровин. Настурции. 1888



К.А. Коровин. Интерьер Охотина. 1913



К.А. Коровин. Дочери Шаляпина. 1910-е



К.А. Коровин. Рыбы, вино и фрукты. 1916



К.А. Коровин. Сцена из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Эскиз. 1917



К.А. Коровин. Эскиз костюма к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Ярославна. 1922



К.А. Коровин. Эскиз костюма к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Подруга Кончаковны. 1928



К.А. Коровин.
Эскиз театрального костюма. Бабочка



К.А. Коровин.
Эскиз театрального костюма. Испанец



К.А. Коровин. Сцена из оперы П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Эскиз



К.А. Корвин. Сцена из оперы Дж. Верди «Корсар». Эскиз



К.А. Корвин. Эскиз костюма к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок». Старик-отец. 1938



К.А. Корвин. Эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Генерал Полкан



Berendeys



Jeune Fille



Bobytska



Bermiare

К.А. Коровин.
Эскизы костюмов к опере
Н.А. Римского-Корсакова
«Снегурочка».
Русская частная опера
М. Кузнецовой-Массне.
Париж, сезон 1928/29



К.А. Коровин.
Ночной Париж (старый
водяной замок). 1937.
Собрание Российского
Фонда Культуры

— Нет, еще двух отдал доктору Ивану Ивановичу. Заходил к нему вчера прямо со станции. Кстати, ухо у меня что-то кололо. Ну, он мне в ухо масла, что ли, пустил — лучше стало. Доктор-то он важнейший, хороший доктор. Я у его до ночи пробыл. Линей чистил — заливное делали. За рябцами в Охотный послал. Ну и рябцев навезли в Охотный — прямо завалили!.. Пятиалтынный пара. Знать, из Сибири пришли. Ну, обед важнейший. Пелагея Петровна в гости пришла. За обедом Анна Николаевна, жена Ивана Ивановича, сон свой рассказывала. «А вот он, — сказала она, — обращаясь к Пелагее Петровне, — никогда мне не расскажет, что во сне видел. Все молчит, целый день молчит. А потом уйдет». Ну, заметно было, что Иван Иванович обиделся. «Я, — говорит, — редко сны вижу. Сегодня видел. Что, бишь, я видел?.. Вспомнил: пуговицы видел. Вот простые пуговицы, оловянные, что к штанам пришивают. А на днях видел огурец. Лежит огурец на тарелке, а водка в графине на комодке стоит». Анна Николаевна и говорит: «Видишь, Пелагея, какой он!» А он говорит мне: «Вот видишь, Василий, мою жизнь. Вот все так. Все ссоры из ничего. Терпение, терпение надо. Неделю теперь со мной говорить не будет...» Ну, значит, мы с им выпили. Про охоту поговорили, про вас. Он от жены-то отдельно спит. Он к вам хотел сегодня к завтраку прийти... Линей-то очистить? — спросил меня Василий.

— Что ты, зачем?.. Тащи свежей воды, пустим их в аквариум.

Так хорошо, солидно плавали лини в аквариуме. А золотые рыбки никакого на них внимания — как будто так и надо.

— Они ведь из одной породы, — сказал Василий, — привыкши.

К завтраку приехали приятели: Василий Сергеевич, Николай Васильевич Курин и доктор Иван Иванович.

За завтраком — разварная белуга с хреном и солонина.

— Иван Иванович, — спросил я, — говорят, вы во сне сегодня пуговицы видели?

— Да! Вам смешно, а вот мне не очень — жена сердится. Непонятно. Это у нее Пелагея Петровна в гостях. Все сны друг другу рассказывают. Обе они во сне какого-то Рауля видят. Должно быть, оттого, что часто в оперу ездят. А я и скажи, правду сказал, — не вижу я этих снов, а пуговицы видел. Вот жена и обиделась. Теперь целую неделю дуться будет. Тяжело, надоело. Жду — как весна придет, я к вам в деревню, а ее в Крым...

— Вот женщины всегда так, тоже их понять надо, — сказал Василий. — Им правду говорить вредно. Вот Николай Васильевич, он у их как ни на есть первый. Все им то и сё говорит без остановки, и все врет. И самый у их милый.

— Да ты что, Василий, с ума, что ли, сошел? — обиделся Николай Васильевич. — Какое ты имеешь право?..

— Да что вы, я ведь не со зла. Потому — вы правильно с ими. Вы сами говорили, когда студентом-то были.

— Так мало ли что студентом! — сердился Николай Васильевич.

— А знаете что, Василий-то прав, — засмеялся Василий Сергеевич. — Один человек додумался. Он в Америке месяца два был, так там, что ли, выучился. Сказал жене: «Скоро наследство получаю от дяди из Америки. Золотом получаю. В банк нельзя положить, потому банки лопаются. Надо снять дачу и там спрятать — как ты думаешь куда?» Вот она думает и придумывает, и занята. Но потом с ним совещается, да шепотом — боится днем, чтобы не услышали. Советы дает, куда запрятать деньги.

А он покуда что оперетку сочинил, собирает артисток, обещает им роли и вертит ими как хочет...

— Но позвольте, — вступился Коля Курин, — тогда поэты тоже, по-вашему, все врут:

Приди ко мне; с утра до ночи
Я буду около сидеть,
Тебе смотреть я буду в очи,
Ты будешь мне в глаза глядеть.

Хорошо ведь? Им и нравится. Не может не нравиться. «С утра до ночи около буду сидеть» — ведь это надо уметь сказать. Нельзя же женщине: во сне пуговицы видел — неприлично!

— Это верно, — сказал, смеясь, Василий Сергееч, — доктор, профессия такая. Микстуры разные, капли, живот болит, пальпация, холера, — красоты нет. Ну, выходят, конечно, за них замуж кое-кто, а потом каются.

Иван Иваныч сердито смотрел и молчал.

— Ты женский сон сочини, такой, чтоб необычно было...

— Ну ладно...

Доктор Иван Иваныч взял бумагу, карандаш, сел к столу и стал писать. Потом прочел:

«Сплю это я и вижу, бутылка с квасом стоит около, на столике. И гляжу, а пробка сама собой все выше и выше поднимается. И вдруг как выскочит — всего меня квасом окатило...»

— Не годится, — расхохотались приятели. — Нет, уж ты, Иван Иваныч, брось, не сочиняй снов... Да и черт с ними! Скоро весна, поедem в Новый Иерусалим. Там речка хороша, рыбу половим.

— Я там бывал, — сказал Василий и весело вдруг засмеялся, шипя, — вот делов-то наделал... беда!.. У монаха я в чулане жил. Рыбу на речке с ним ловили. Ему про сны не расскажешь — вот строг! Увидел раз у меня в посту на столе копченую колбасу. Что было! «Как ты мог в монастырь с колбасой явиться? Да ты что, в своем уме?» Я ему и так и этак. «На разговенье, — говорю, — захватил». — «Врешь, — говорит, — тебя лукавый вертит! Уноси свою колбасу вон отсель». Ну, я унес. И повесил на дерево, на бечевку. А настоятель, как на грех, и приметь ее, для всех монахов на ночное бдение и поставь. Ну, меня вон и выгнали... Вот какая история вышла...

Блины

Как это было давно, там, у нас в России!.. Мясопуст. Мяса не ели. Блины. Везде блины.

Все рынки, Охотный ряд в Москве, завалены снетками, икрой в бочках. Рыба навалена — осетрина, семга, севрюга, белуга, навага. В Петербурге — корюшка, сига копченые, копчушки разные, селедка, тарань, миноги, белорыбицы, балыки, судаки. Рыба живая.

Масло бочками, сметана в больших глиняных горшках.

Везде блины.

Из трактиров чад идет. С утра и до вечера пекут блины, пахнет горячим тестом. Ну и хороши были блины в Москве! С зернистой икрой. А при блинах уж обязательно настойки. Да какие. Всех и не перечесть. И Шаляпин пел в опере «Вражья сила»: «Широкая Масленица». Перед Великим постом — последняя неделя.

Мясопуст. Веселая Масленица. Катанье на Масленице. Вечером — ряженые. Надевали страшные маски, ездили в гости друг к другу. И было весело.

А в последние три дня — широкая-то Масленица, как говорили, — шел дым коромыслом.

А в воздухе отраднo пахло весной. Розовели дали лесов, дни становились длиннее.

В садах, у заборов, таяли снега, и в проталинах весело блестели на солнце лужи. Какая радость входила в душу! Как свежи и ласковы были лица встречных женщин!

* * *

В розвальнях мы, охотники, едем от станции ранним утром ко мне в деревню. Уже на кустах мелколесья набухли почки. Оттепель. На грязной дороге — лужи. За полями — голубые леса. И деревня как-то ожила. У изб куры кудахчут. Впереди возчик остановился, и Василий Сергеевич кричит: — Заедем к леснику.

Заворачиваем. Возчики медленно спускаются к реке.

По ту сторону ровной стеной высятся сосновый бор, освещенный утренним солнцем.

У крыльца лесника Елычева собаки с лаем бросились на нас и, узнав, завиляли хвостами.

Лесник Елычев в новой поддевке, нарядный, припомаженный. Сестра его, Ольга, коса ее перевита голубой и алой лентой, — радостно встречает гостей.

— Сейчас блинков, — говорит жена Елычева.

На столе в миске — щучья икра; свежий лук, караси в сметане.

Хорошо в доме у лесника!

В окна виден лес. На стене часы с кукушкой. В доме тепло. Самовар блестит на столе. Чайник, чашки с цветочками.

И все как-то — и дом лесника, и он сам — похоже на какую-то русскую игрушку.

Прятели все разделись и сели за стол.

— Глухари постукивают и зачали токовать, но мало. Но снегу много, и колдобины — в яму угодишь, подход труден, — сказал лесник.

— Щучья-то икра с зеленым луком — это понять надо, — радовался Павел Александрович. — Гречневые блины — настоящие.

— А щучья-то икра получше нашей зернистой будет, — сказал доктор Иван Иванович, накладывая икру ложкой на блин.

— А ведь это верно, — согласился Павел Александрович.

Вообще, приятелям казалось все лучше в деревенской обстановке.

Говорили: и сметана лучше, и икры такой никогда не ели, и настойки такой не пили. Травяная, анисовая.

— Это все оттого, и аппетит, и все нравится, что кислоту хватили от леса. Окисляется организм, — сказал Иван Иванович.

— То есть как это, окисляется организм? — спросил Василий Сергеевич. — Вот Николай сидит, молчит, так похоже, что прокис. А я не чувствую никакой кислоты.

— Ничего я не прокис, — хмуро отвечает Коля. — Эти блины кого хочешь доедят. Закрою глаза, так везде все блины кажутся. Я больше видеть их не могу.

* * *

Садясь в розвальни у крыльца, прощались с лесником, звали в гости.

Дорогой, сидя рядом со мной, Коля Курин все говорил:

— Господи, Господи...

— Что ты? — спросил я его. — Нездоров, что ли?

— Нет, ничего, — ответил Коля, — только как приедем к тебе, опять блины...

И действительно. Подъехали к дому, встречают Феокист, тетенька Афросинья, Ленька и двоюродная сестрица моя. Обрадовались.

— Ну вот, прямо к блинам.

И Юрий Сергеевич все молчит, только мигает.

Не успели мы раздеться, как из кухни уже Ленька несет целую стопку горячих блинов. Первые — со сметками, вторые — с груздями.

— Знаете что, — сказал мне тихо Василий Сергеевич, — смотрите, Константин Алексеевич, все это кончится плохо... У Юрия глаз уж куда-то в сторону ушел, и у Ваньки, у доктора — тоже.

— Да, — согласился я, — это верно... Ну как же быть? Не станем есть — обидятся — сестра и Афросинья, да ведь как обидятся! На целый год. От блинов отказаться!..

Нарочно Леньку отсылали под разными предложениями — то за холодной водой к колодцу, то в беседку смотреть градусник — а блины прятали в шкаф.

Ни сестрица, ни тетенька Афросинья ничего не заметили и были рады, что гости так усердно едят.

К вечеру все повеселее стали и разговорчивее.

Рано легли спать.

* * *

Утром пришел Герасим Дементьевич. Все пошли на охоту в лес к Никольскому, где вылетают черныши. Но никаких чернышей не видали. Еще не вылетали. Видели — пролетел один вдаль, но трудно идти, проваливаешься в талые ямы.

Вернулись домой.

— Ну что это... — встретила нас тетенька Афросинья, качая головой. — Что же блины-то спрятали на сегодня? Скупость какая! Нешто б я не напекла? Вот, пожалуйста, сейчас напеку с пылу-жару, самые горячие. А Казаков вам настойку прислал.

— Господи, помилуй... — тихо сказал Коля.

— Начинается... — вздохнул Юрий Сергеевич.

Капустник

В Москве, после шумной и веселой Масленицы, блинов, катаний на тройках, ряженных, — сразу все изменилось.

Первый день Великого поста. Чистый понедельник. Лица у всех серьезные. Один колокол в церквах звонит однообразно и уныло. Старушки в платках идут в церковь. Гимназисты — в гимназию.

Притихла Москва.

Только у артистов по-другому. У них — праздник. На Масленице — театры полны, спектакли и утром и вечером. Лишь теперь можно вздохнуть. Всюду — капустники.

Артисты Бакшеев, Климов и другие устраивали капустник у моего приятеля, архитектора Васи Кузнецова. Его очень любили все артисты за твердый и общительный нрав.

За повара был Миша Климов. Он с утра возился в рубашке у плиты, приготавливая всякие необыкновенные яства — все постные.

На завтрак приходили гости — друзья артистов.

На загроможденном закусками столе стояли графины с разноцветными настояками. Была даже чесноковая пейсаховка, которую когда кто выпивал, то долго не мог перевести дух и, выпуча глаза, говорил:

— Н-невозможно...

Один только Юрий Сахновский презрительно пожимал плечами — «вы ничего не понимаете...» — и пододвигал бутылку к себе.

Жареный осетр на вертеле, разварной судак с капорцами и оливами. Расстегая с бульоном из курицы, который называли ухой...

Актеры любили поесть и выпить.

Миша Климов торжествовал:

— Все постное, все законное...

* * *

Я в деревне встретил Чистый понедельник. Хорошо. У больших берез показались проталины, желтая трава. Оттепель. С крыши дома и сараев капает.

Уж теплыми лучами светит солнце. Ворота сарая открыты. Видна моя лодка, которую на зиму поставили в сарай.

Куры кудахчут, утки барахтаются в лужах, опускают в воду голову и купаются — рады солнцу.

Павел пришел из Любилки, принес свежей рыбы — линей. Сказал:

— С гор вода, знать, ранняя весна будет. Приметно песочная гора очистилась. Снега тают.

В веянии весны есть какая-то тайна, непонятная, охватывающая вас радостью. И больше всего мне нравилось в жизни начало весны. Я забывал все и всех. Меня охватывала лень, все казалось ненужным — только хотелось надеть сапоги, меховую куртку и бродить.

Приятеlem бродяжничества моего был Василий Княжев.

— Глядите, как верба-то покраснела, а боярышник-то желтый!

Черный дятел стучит. Василий Княжев останавливается.

— Чего, — говорит, — лишь голова-то у него красная, сам-то он синий.

У орешника еще орехи остались кое-где. Василий собирает их, гнет кусты.

— Вот их на плиту — каленые будут. Ну и хороши.

Погост у церкви Утоли моя печали повеселел. Видны проталины и лужи. Резко выделяются на солнце старые деревянные кресты на могилах, и воркуют голуби на оттаявшей крыше деревянной церкви...

* * *

Вернувшись домой, я застал у себя приятелей. Приехали из Москвы.

— Москва надоела, — заявили они, — приехали к тебе спасаться.

— Заметь: наступил пост, — сказал Василий Сергеевич, — а тут капустаники!.. И никакой капусты! А все то же самое. Расстеган с рыбой — постные, да рыба-то с рябчиком. Уха к ним — куриная. Не угодно ли?.. А потом поехали на тройках в Всесвятское, в трактир к извозчикам капусту есть. Со мной — Софья от Керша, — я ведь ее два года знаю. Дорогой она мне говорит: «Петр Иванович, поедemте лучше с вами к Жану». — «Позвольте, — даже обиделся я, — я ведь не Петр Иванович». — «Ну Петр Сергеевич!» Уговорила. Поехали к Жану. Она омара с ветчиной заказывает! Не угодно ли? Вот и поживи-ка в Москве! Нет уж, довольно, сыт.

И Вася провел пальцем по горлу.

— Верно, — сказал Коля, — на капусту надо садиться, а то пропадем.

Василий Сергеевич с недоверием покосился на него и заявил решительно:

— Я, знаете ли, на неделю приехал, говеть буду.

Тетушка Афросинья подала на стол кислую капусту и конопляное масло.

— Вот это закуска! — восхитился Юрий Сергеевич.

Подали грузди, рыжики.

Ленька поставил в горшке сметану.

— Это ты убери, — мрачно сказал Василий Сергеевич.

— Постой, постой, — запротестовал Юрий, — как же рыжики без сметаны?

Василий Сергеевич не удостоил его ответом.

— Убирай, говорю. И скажи Афросинье, чтобы огуречного рассолу графин дала. А то я вижу, к чему дело клонит. Если так пойдет, я в монастырь, в Ростов, уеду. Там говеть буду.

— Не сердись, Вася, — сказал я.

— «Не сердись». Надо же понять. Каждый человек имеет право прийти в себя.

— Это верно, — сказал Ленька.

— Хотя и верно, но не твое дело. Не с тобой говорю. Как вы Леньку распустили. Во все лезет!..

Ленька ушел.

— Вот это хорошо, — говорил Василий Сергеевич, попивая огуречный рассол и кушая капусту, политую конопляным маслом.

— Греха нет, ежели одну рюмку выпить и грибом закусить, — сказал Василий Княжев.

— Тирания какая-то! — вскинулся Юрий Сергеевич. — Я тоже должен выпить рюмку, рыжики!..

— Говею! Подумаешь! Не пьет!..

— В Новом-то Иерусалиме я говел, — сказал Василий Княжев. — Там строго. Вот до чего строго. Рыбы ни-ни. Хлеб да вода в этикие дни, как сейчас. А вино сам игумен разрешал, потому на Афоне разрешалось.

Ленька принес на блюде жареную утку и поставил на стол.

Василий Сергеевич молча посмотрел на нее, оделся, надел шапку и ушел.

— Ну и ну!.. — сказал доктор Иван Иванович. — Не пропадать же утке. Бог простит.

И все бессловесно принялись за утку.

* * *

Василий Сергеевич не возвращался. Вечерело.

Вошел Феоктист.

— К вечерне пошел Василий Сергеевич, ведь далеко Пречистое. Где реку-то перейдет? В полынью не попал бы. Тяжел ведь — провалится. Не поехать ли за ним?

— Поезжай, — сказал я.

* * *

Совсем стемнело. Месяц молодой показался за темными елями.

В передней послышался шум, в комнату вошел мрачный Василий Сергеевич и стал быстро раздеваться. Кричал: «Ленька, скорей тащи сапоги! Попал в полынью...»

— Где же, Василий Сергеевич, здесь говеть-то трудно, — сочувственно сказал Феоктист. — Далече ходить. Да в такую ростепель.

Василий Сергеевич молчал.

— Ленька, разогрей-ка в кастрюльке водки! — крикнул доктор. — Надо его растереть, а то он праздник нам устроит, захворает сдуру. И на вот, выпей.

Он протянул Василию Сергеевичу стакан рому.

Василий Сергеевич мрачно взглянул на него, но покорно выпил.

Юрий Сергеевич посмотрел на него пустыми осоловелыми глазами и, мигая, сказал:

— Вот ведь как бывает. Как скоро-то Вася отговел...

Грибной рынок

Моя мастерская была у Замоскворецкого моста в Москве, на Балчуге.

Утром, в начале Великого поста, я услышал шум и говор. Взглянул в окно и увидел по берегу Москва-реки тьму народа.

Подряд стояли сани с деревенскими лошаденками, на которых были большие бочки. Мужики в тулупах покрикивали:

— Грибы, грибы! Капуста, огурцы солены!

Пестрая толпа освещалась весенним солнцем.

На Москва-реке были проталины и лужи. А вдали, за Воспитательным домом, виднелась голубая даль.

* * *

Ко мне пришел приятель-рыболов Василий Княжев. Веселый.

— Их, — сказал, — и рынок грибной. Чего-чего нет. Собаку один продает — хороша, гончая вроде. За зайцами хорошо гонит.

Василий, рассказывая, ел румяную баранку.

— Что это за баранка у тебя? — спросил я.
— Деревенская баранка. Эдаких-то у Филиппова нет.
— Василий, — говорю, — собаку-то надо купить.
— Чего же, вставайте, пойдёмте, там, на рынке, чего только нет. Голуби — турманá, есть гладкие.
Я живо оделся.

* * *

Пестрая толпа на солнце была оживлена. Пахло тулупами, грибами, капустой. Огромные бочки с огурцами, грибами, груздями, рьжиками, волвянками, белянками. Мы едва проталкивались с Василием в толпе.
— Она собака-то, — сказал Василий.
— Гречники! — кричал разносчик. — Сбитень с имбирем. Рыба живая. Собаку держал на веревке старик низенького роста.
— Гончая, — сказал он. — Робенскова порода. Зайца — не упустит. Сторговались. За пять рублей. Вернулись домой и накормили собаку. Меня обуяла жажда приобретения.
— Ступай, Василий, — сказал я, — купи голубей, что еще попадет, купи, возьмем в деревню.

* * *

Василий принес в корзинке голубей и под мышкой большого белого петуха. Я голубям крошил хлеб — они яро клевали, и петух не уступал. Петух хорош.

* * *

Василий опять ушел и, вернувшись, принес зайца ручного, ежа, дрозда в клетке и белку.
— Молодец, Василий, повезем в деревню.
— Погодите-ка, еще сбегать надо. Там баранки хороши мужик носит. Самопек. Вся шея баранками обернута. Грибы сухие тоже.

* * *

На этот раз Василий вернулся с моими приятелями-рыболовами: А.И. Бартельсом и И.И. Поплавским. Принесли кочанную капусту, и опять в банке. Василий сказал мне тихо на ухо:
— Надо за бутылочкой сбегать.
— Через неделю лед тронется, — сказал Поплавский, — не дожدهшься. В Перевы надо будет ехать. Там, у плотины, крупный язь берет в самый разлив.
— Вот я каждый раз думала, — сказал немец Бартельс, — доживу до весны? И вот дожила.
Василий наливал водочку, и мои гости закусывали кочанной капустой с черным хлебом и опятами.
— Пойдите, вот у меня в сумочке хороша закуска. Нигде такая закуска нет. Нет ли молоточек?
И Бартельс, достав из кармана воблу, стал колотить ее молотком на подоконнике.

Какая-то особенная жизнь была в этом деревенском торжище. Живая, веселая радость. Я с приятелями ходил по Грибному рынку, и он мне казался живым праздником — весенним праздником глаз. Я купил в клетке снегирей. Думал: «Все это я повезу в деревню». Купил скворечник, сделанный в виде домика.

Василий тоже старался и купил корзинку для петуха и ошейник для собаки...

Наконец поехали на станцию. Поезд туда отходил в 11 часов вечера. Я взял купе — собаку иначе не разрешали взять; тут же — еж в коробке и клетки с птицами.

А петуха и голубей сдали в багаж.

Приехали в деревню. Ясное утро. Снегу много — еще зима. Кое-где проталинки. У крыльца — лужа.

Стали распределять животных на жительство — кого куда.

Голубей выпустили на чердаке сарая, где жили мои деревенские голуби. Турманя посмотрели на моих голубей и вылетели в слуховое окно. Взвились кверху в голубые небеса и пропали с глаз.

Белого купленного петуха выпустили в сарае. Мой старый петух мигом в него вцепился. И вот началась драка! только перья летели.

Феоктист поливал петухов водой из лейки. Ничего не помогало.

Наконец оттащили за хвост белого петуха и посадили в корзинку. Но мой петух не утомился и стал бросаться на корзинку.

— Безобразие, что делается, — говорила, сердясь, моя двоюродная сестрица. — Зачем ты купил петуха?

Я ей сказал:

— Ты девица, так вот и помалкивай. Ты в петухах ничего не понимаешь...

Она, сверкнув черными глазами, сказала:

— Дурак!

И ушла в свою комнату.

Вот, не угодно ли?

Купленного дрозда выпустили из клетки, и он вылетел и сел прямо на сук у террасы. Чирикнул раз и опять вернулся в клетку.

Ежа выпустили с крыльца, а он назад в кухню убежал.

А заяц грыз в кухне капусту. Выносили его в сад — и он назад, домой.

— К слободе не привыкши, — говорил дедушка Захар.

Снегири, когда открыли клетку, — улетели.

Белка уйти на волю не пожелала.

Моя собака — пойнтер Феб — не обратила никакого внимания на новую собаку, которая его обнюхала и успокоилась. За чаем новая собака положила мне лапы на колени. У нее была такая хорошая морда с желтыми добрыми глазами.

Я давал ей баранки — и она их мгновенно съедала. И на всех — кто бы ни вошел в комнату — дуром лаяла.

В комнате — зверинец.

Заяц сидит и грызет хворост у камина.

Белка вышла из клетки и ходит по столу. Потом залезла ко мне в карман. Ночью собака стала проситься на улицу, не пожелала оставаться в комнатах — видимо, раньше не жила в доме.

Только выпустили — стала лаять на луну, — невозможно спать.

Взяли ее опять в комнату. Она опять стала проситься на улицу. Выла.

Отвели ее к Горохову в деревню.

Только все успокоилось — слышу, ёж стучит, бегает по комнате, — невозможно спать.

Поймали ежа. Унесли.

Стал засыпать — белка забегала по мне. Я ее гоню — она со мной играет.

Заперли белку в клетку.

Утром, чем свет, распелся дрозд...

Я встал, посмотрел в окно — новый петух дерется с моим старым петухом. Посмотрят друг на друга — и в драку...

О Господи!..

* * *

Вошел Василий, принес сапоги, а с ним — гончая. Радостно подбежала ко мне и лизнула в лицо.

— Вот чудно, — сказал Василий, — к вам ишь как ластится, а нам погладить не дается — ворчит. Что за собака! Правду сказать, зря на Грибном деньги рассорили. Купить бы поросенка — на дело было бы похоже, — свинья бы выросла. Пословица говорит: век живи, век учись...

— А все дураком помрешь... — сказал я.

— Тоже верно...

И Василий, шипя, рассмеялся.

В лавке у Березкина

Чем дальше идет время, тем ярче передо мной проходят воспоминания моей жизни в России.

Великий пост.

Крыши московских домов очистились от снега. Кое-где высохла и мостовая.

Извозчики выехали на колесах, ярко светит весеннее солнышко.

Еду я на извозчике к Бабьегородской плотине, где находится лавка рыболовных принадлежностей Березкина. Москва-река набухла, покрылась водой, но еще лед не тронулся.

Хорошо в лавке Березкина!

Висят мережи, верши, сети. Сидит компания рыболовов. За прилавком, облокотясь, Березкин. Сбоку, на низенькой скамеечке, сидит приятель мой — рыболов Василий Княжев. Перед ним, на табуретке, спиртовая лампочка. Он правит бамбуковые удилища. Держит концы над лампочкой. Они делаются ровные, как стрела. Выправит, попробует, как гнется, скажет:

— Эх, хороша! — и положит в сторону.

На табурете перед ним, у лампочки, стоит мерзавчик с водкой и лежит на газете большая тарань (копченая селедка) и черный хлеб. Это значит — завтрак.

— В прошлом году, — говорит с виду купец, — была весна позже. Вот тут, — показал он в окно, — под самой плотиной — лещей Поплавский наудил более сотни. У него берет, а у других — ничего. На что ловит — не узнаешь. Изо рта чего-то вытаскивает и на крючок надевает.

— Чего вытаскивает, — сказал Василий. — Где-то раздобыл червей красных маленьких и во рту греет. А то иззябнут.

— Все может быть... — сказал другой рыболов.

— Кто червей в рот возьмет? — заметил третий.

— А чего же! А китайцы? Они только червей и едят, более ничего. А народ как народ — у нас мылом торгуют. Кажинный косу себе отпускает. Вырастет — продает. Наши барыни покупают. Деньги, да... деньги, — вздохнул Василий. — Деньги не бог, а полбога есть.

Серьезно говорил о деньгах Василий, у которого больше пятерки никогда не было. И то ненадолго.

— Вот ты говоришь — деньги не бог, а полбога есть. Это верно, но не совсем, — сказал дьячок прихода Троицы на Капельках. — Верно — на деньги купишь все, но отца, мать — не купишь. А если правду сказать — любовь купить невозможно. И друга купить нельзя. Купишь собутыльника, а друга нет. Купишь любовь, да все не то. Любовь этакая-то протухает скоро. Этакая-то, настоящая — не покупается. Эта — самая-то жизни отрада — не продается...

— Чего говоришь Василий, — сказал Березкин, — деньги не бог, а полбога есть. А у его более часа в кармане трешница не жила никогда, потому никак не возможно. Без денег он, может, и человек. А дай ему пятерку — прощай. Не выдержать ему нипочем. Что делать зачинает. И «кто я», и «вот я какой!» — беда... Обязательно к вечеру в участке. Без сапог остается. Рубаха и портки одни. Морда бита, фонари под глазами уж обязательно. Ну, придет, кается, молится — надо все справлять; и пиджачишко, и штаны, и сапоги, картуз, пальтишко тоже. Ведь это денег стоит. Вот ведь что в удивление берет: зима, а в одном белье придет ко мне, босой — и не простудится... Спит цельный день. Утром опохмелится и говорит: «За правду пострадал».

— Это верно, — шипя, смеялся Василий, — правду люблю. Говоришь им правду — не любят. Конечно, выпивши говоришь. Когда выпьешь, правда-то сама из тебя лезет. А ежели деньги когда, то хошь час — да мой. Всем и скажешь, что хочется, ну и драка, конечно, зачинается.

— Этак-то нельзя, — сказал купец-рыболов с проседью. — Я-то с двенадцати лет в сиротское положение попал. Дядя у меня портной был, ну, то-сё, пуговицы ему покупаешь, за пивом в портерную бегаешь, пол метешь, самовар ставишь — кормит меня. Сплю в чулане. Ну, значит, на праздник рублевку дал. Так я ее в подкладку куртки и зашил, чтоб не истратить. Еще пятерку дал мне на белье, рубашку. А я только чистый воротничок у знакомого выпросил, а пятерку зашил в куртку. Там сработаю, тут послужу. За год во всю подкладку денег позашивал. Распорол, сосчитал, а у меня за сто перевалило. Я тогда у Морозова на фабрике, у фабричных, с рук ситцу купил да в деревню. Нажил — в подкладку зашил...

— А как же, — спросил Василий, — все в подкладку, а что ж ты жрал-то?

— Эко — жрал! Как придется. Дядя покормит, в деревне тоже — в гостях. Всегда найдешь — покормят. Деньги тратить? Не-ет, не стану. Водку, папиросы курить?

Не-ет уж, брось. Женился. За женой тыщу взял. А теперь у меня амбар да две лавки с красным товаром — вот что.

И купец засмеялся, погладив бороду.

И все рассмеялись.

— Как же это вы все о деньгах, а сами любители на реке сидеть... пустое дело этакое — рыбу удите? — спросил Василий.

— Эх ты. Только это самое, деньги-то, и забываешь, когда рыбу удишь. Всю работу бросаешь, — сказал купец.

— Чего деньги, а я так за рыбной ловлей жену забыл... Ей, ей... — сказал высокий молодой человек.

— Верно, может быть, — засмеялся Василий Княжев.

— Чего верно, — продолжал молодой человек. — Она у меня, жена-то моя, терпеть не может этой самой ловли с удочкой. У ней гости, то-сё — судачат, а я на реку — прощай, все забыл. А она тогда — хахаля завела. А я и его на рыбную ловлю взял. Вот он ударился в рыбу, с реки не стонишь, — ловит день и ночь... Вот она на меня злится. Тоже к нам на реку пришла. Но где же: скучно ей — ушла. А он говорит: «Вот что... — про жену-то мою говорит, — я ей не попаду — ты не бойся, не поддамся...»

— Ну, и что же? — спросил Березкин.

— Да то, — говорю ему, — как хочешь...

— То есть как это, «как хочешь»? — удивились все.

— А так... Черта ли стоит такая жена, на что она мне? И он мне говорит то же — «на кой она мне ляд».

— Вот верно, до чего верно... — шипя, смеялся Василий Княжев.

— Ну, это как понять, — сказал купец, — женское ли дело рыбу удить. Моя жена рада, когда я на реку еду. Все соберет, глядит, платком в окно машет. Прощается.

— Ну, значит, она тебе рога ставит, — сказал Василий.

Все засмеялись.

— Эх ты, чего говоришь! Озорно и зря! Я ей верю.

— Зря веришь. Ты когда пойдешь на ловлю, тихонько вернись да под кровать и залезь, и жди.

— Чего ждать-то?

Василий Княжев смеялся.

— Пустой ты человек, бродяга!..

И купец, надев картуз, вышел из лавки, ни с кем не простясь.

Из ранних лет

Да неужели это было! Да, было давно. Может быть, я умер, и это все, что теперь, — наказание?

Тата зашла к нам из гимназии. На ней синее пальто с пелеринкой и весенняя темная шляпа. Руки в перчатках держат стянутые ремнем книжки.

Я ее встретил в коридоре деревянного дома у Харитония в Огородниках. Она жила по соседству.

— Костю, — сказала мне Тата, — на Чистых прудах вода, и кататься на коньках больше нельзя.

До чего прекрасна Тата. Ресницы у ней все отдельно. Большие ресницы. В крыльце, через цветные окошечки стекол, лицо Таты освещается — то все розовое, то голубое.

— Тата, как я вас рад видеть. Можно вас поцеловать?

— Нет, — сказала Тата, — я сначала спрошу у мамы.

— Тата, ведь вы уже спрашивали, и мама сказала, что если у него усы еще не выросли, то можно поцеловать...

И я целую Тату в щеку.

Непонятно, но как замечательно. И отчего это? Какая красивая Тата. Когда я ее целую — она так часто, часто мигает.

Слышу голос отца — он говорит выходящему от него высокого роста человеку, вроде купца: «Это нечестно...»

— Эх, — отвечает выходящий, — так-то оно так, дак не обманешь — не продашь... Верно, Алексей Михайлович, верно — да по закону ходить, навоз топтать...

Грузный и большой, купец прошел мимо нас, посмотрев на меня и на Тату. Мы оробели.

Тата вышла и крикнула:

— Костю, приходите вечером пить шоколад.

Я вернулся домой, в свою комнату, и принялся со съемкой «точить» темный фон с нарисованной на большой бумаге головы Аполлона.

Я был в головном классе Училища живописи, ваяния и зодчества. Надо было фон, сзади головы, делать ровно, поэтому, за недостатком времени в классе, брал на дом. Это и называлось «точить фон».

Точу фон, а сам думаю:

«Какие у Таты ресницы...»

Беру другую бумагу и рисую Тату тушевальным карандашом. Не выходит Тата. У ней такое матовое лицо — как это сделать?..

Вошел отец и стал смотреть на мой рисунок.

— Кто это, — говорю я отцу, — был у тебя, «не обманешь — не продашь»?

— Лабазник. Плут — ну и попался, пришел у меня просить юридического совета. Смотри, Костя, весна, солнце, иди гулять, что в доме все сидишь.

Я надеваю пальтишко, шапку и иду гулять.

На дворе ростепель, весна. У забора соседнего дома — кусты бузины. И я вижу едва распустившиеся зеленые почки. Как бисером, покрыта ими бузина. Все блестит на солнце.

За забором красная железная крыша дома, где живет Тата. Беседка, в которой я учил уроки, и бочка под желобом, полная воды, в которую я любил смотреть с Татой, как в зеркало.

Рядом с церковью Св. Харитония — большие березы, на которых, у гнезда, кричали кучами грачи.

С большой папкой под мышкой я иду на Мясницкую, в Школу, на вечеровой класс.

В передней, у буфета, на лестнице, ученики поют:

Хас-Булат удалой!

Бедна сакля твоя...

Солдат Плаксин отворяет дверь. Толпой бежим в класс. Садимся за высокие парты. Голова Аполлона перед нами освещена ярким светом.

Рядом со мной архитектор Мазырин, по прозвищу Анчутка — за свой женственный вид.

Слева от меня — Курчевский. Здоровенный парень, гимназист, с толстой круглой рожей, — смеется и говорит:

— Смотри-ка, Анчутка какую Сандракунию из Аполлона делает...

— Ступай к черту! — отвечает Анчутка.

Он достает тихонько из кармана отвес — гирьку на веревке — и держит рукой между собой и Аполлоном, чтобы не нарисовать косо.

— Дай-ка отвес, — просит Курчевский.

— Постой, успеешь, — отвечает Анчутка.

Входит профессор Е.С. Сорокин. Худой, лысый, с длинной ровной бородой.

В классе наступает тишина.

Он идет к нам. Анчутка подвигается ко мне, Сорокин кладет себе на колени его папку с рисунками и говорит, вздохнув:

— О Господи, Господи...

Встает. Я отодвигаюсь. Он берет мою папку и, смотря рисунок, говорит:

— Фон-то, что такой грязный?

— Не успел, — отвечаю я.

— Да, все некогда вам, должно быть...

Е.С. Сорокин передвигается к Курчевскому.

— Табачищем-то от вас несет — не продохнешь... Там-то гипс, а у вас-то Аполлон кожаный. Эх-ма... вам бы чемоданы шить...

И профессор продвигается по очереди дальше, к каждому ученику.

И все время слышны его вздохи. Никого никогда не похвалит. Строго держит нас.

* * *

До чего хорошо вечером у Таты. Мать ее, вдова, и брат-студент. Тата играет на рояле и поет:

Для тебя б я пела
Под твоим окошком,
На крыльчке,
Но не для леса,
Но не для речки.

— Тата, — сказал я, — в воскресенье я пойду в Перервы на охоту. Там разлив Москва-реки. В роще уже поют птицы.

— И я пойду с вами. Только пустит ли мама?..

И тихо:

— Вы скажите маме.

Прощаясь, я сказал ее матери:

— Я пойду на охоту, отпустите Тату со мной.

Мать Таты так добро посмотрела на меня и сказала:

— Костя, разве это можно?..

— Отчего же нельзя?

— Нет, нельзя. Как же девочка может ходить на охоту. И какой же ты охотник? Ты же еще мальчик, тебе всего пятнадцать лет. Я не понимаю, как тебе позволяют родители ходить на охоту...

Дома я все не спал и думал: «Как же не охотник?.. Я уже одиннадцати лет убил сразу в Мытищах трех уток. Я же под Перервой стрелял бекасов... Вот не верят... Как это несправедливо».

Пришло лето.

Я жил с матерью в Медведкове под Москвой. А в Останкине, у Панина Луга, жил Левитан. Он приходил ко мне. Подолгу смотрел мои этюды и говорил:

— Отчего ты избегаешь зелени? Отчего у тебя нет зеленой краски? А может быть, ты и прав... она очень трудна и груба.

Левитан, видя, что я хожу на охоту, тоже завел себе одностволку.

Однажды приехал отец и сказал, что брата Таты, студента, арестовали. Мать его говорила, что его запутали в какое-то политическое дело.

На меня это произвело ужасное впечатление.

Через две недели я пошел в Москву из Медведкова. Тата и мать ее из квартиры уехали. Я спросил хозяина дома — где они. Он, пристально посмотрев на меня, ответил:

— Ничего не знаю-с!

А в августе, в Медведкове, когда я вернулся с охоты, — неожиданная радость: я увидел Тату с братом у нас, на террасе деревенской дачи. Мать угощала их. Брат Таты рассказал мне, что его подвела одна женщина на студенческом балу, сунув ему, при выходе, в карман прокламацию. Потом все выяснилось. Он просидел только две недели.

«Как странно... и зачем это делается на свете?..» — подумал я.

И в первый раз ощутил, что в человеческой жизни что-то неблагополучно.

Плевако

Из декоративной мастерской Малого театра, после работы, я ходил завтракать напротив, в «Метрополь».

Как-то однажды, зимой, ко мне зашел в мастерскую Шляпин, и мы вместе пошли в ресторан. В вестибюле встретили Ф.Н. Плевако.

— Я один, — сказал он нам, — давайте соединимся, только возьмем наверху кабинет, а то смотреть будут.

За завтраком, помню, Плевако заговорил о выдающихся людях. Им верят и считают их исполненными всяческих качеств, ума. Они внушают почтение. Но как часто такое почтение — ошибочно. На поверку люди эти оказываются вовсе не умны, и это заблуждение дорого стоит стране и народу.

Эти слова, сказанные Плевако, я всегда вспоминал в последующие страшные годы России.

Федор Никифорович был коренаст, широкоплеч, роста среднего, широкоскулый. Длинные волосы причесаны на пробор, на сторону. Говоря, он встряхивал головой. Похож был на калмыка. Глаза — чуть раскосые. Зоркий и быстрый взгляд их не все выносили. Как-то разделял по особенному духовную сферу человека. Говорил: ум сердца, ум чести. Любил говорить о монастырях, настоятелях обитателей и монахах. У него было много друзей среди них, и он ездил гостить к ним в монастыри.

Был старостой Храма Христа Спасителя.

Любимыми писателями его были Пушкин и Гоголь. Он не был человеком новых исканий.

Очень любил живопись и посещал все выставки.

Встретив у меня в мастерской Врубеля, сразу же с ним подружился и стал ездить с Врубелем за Крестовскую заставу в Ростокино, в простой трактир пить чай, есть растегай с рыбой и беседовать.

С Врубелем Ф.Н. вел разговоры часами. Он говорил, что Врубель восхищает его совершенным знанием латыни и римского права. (Врубель окончил Петербургский университет — по юридическому и филологическому факультету и имел золотую медаль.)

Я запомнил фразу, оброненную Плевако в разговоре с Врубелем: «Классическое образование и понимание римского права — это крепости против грядущего хама».

В то время нередко слышались в обществе разговоры о грядущем хаме.

Я как-то был далек тогда от жизни и не верил в грядущие беды. Врубель однажды сказал мне, что в городах России «нарастает злая воля». Эта злая воля и есть грядущий хам.

Беседуя, Плевако закидывал высоко ногу на ногу и, обхватив руками колено, чуть покачивался в ритм речи. Он говорил горячо, человечно, от сердца, в то же время очень ясно и четко излагая свою мысль. Он никогда не бывал гневен, и я поражался его кротости.

Я видел в нем совершенного человека — человека чести и достоинства.

На одной свадьбе, после больших речей и пожеланий счастья молодым, все с нетерпением ждали, что скажет Плевако.

И Плевако сказал:

— В семейной жизни мужчина — глава. Приняв его, по арифметической терминологии, за единицу, я определю женщину как нуль. Теперь вопрос, в каком порядке стоят эти цифры. Если единица стоит впереди нуля, то получается десять, но если нуль стоит впереди, то получается — величина весьма уменьшенная.

Сначала все как-то смутились, а потом заплодировали.

Он как-то мне сказал, что наибольшей быстротой ума отличаются преступники. И кстати, рассказал об одном из «дел» знаменитого червонного валета Шнейера.

В Москве к крупному ювелирному магазину, торговавшему ценными принадлежностями религиозного культа, подъехал в карете солидный, элегантный господин. Зашел в магазин и попросил вызвать хозяина.

— Мне нужно богатое облачение для архиерея.

Ему подали облачение и митру.

— Митра бедна. Ее бы нужно украсить бриллиантами и драгоценными камнями.

На белой материи, на вате, перед Шнейером разложили драгоценные камни.

— Наш архиерей такого же роста, как вы, — сказал он, взглянув на хозяина. — Померьте, пожалуйста, облачение.

Приказчики облачили хозяина, надели на него митру и дали в руки посох.

Покупатель попросил хозяина пройти по магазину.

И когда тот сделал несколько шагов, быстро свернул платок с драгоценными камнями, сунул его в карман, вышел из магазина, сел в карету и поехал.

Все растерялись. Потом, спохватившись, выбежали на улицу.

Хозяин, в полном архиерейском облачении, бежал за каретой, махая посохом и крича:

— Держи его!

Народ и городовые в недоумении бежали за архиереем и схватили прежде всего приказчиков, бежавших впереди.

* * *

Шляпину Плевако как-то сказал, что гений и вдохновение его — от русского христианства, от тайного воздействия его, образующего душу.

Шляпин серьезно и пристально смотрел на Федора Никифоровича.

Тут Плевако как бы неожиданно вдруг добавил:

— Особенно опасен писатель, которого считают умным, а он не умен сердцем.

Когда мы расстались с Плевако, Шляпин спросил меня:

— Как ты думаешь, Константин, не про Алексея ли Максимовича он сказал?

— Не знаю, — ответил я.

* * *

Еще — черточка:

Федор Никифорович не выносил распущенности. При нем избегали рассказывать скабрзные анекдоты.

Ф.Н. знал быт старообрядцев и имел много среди них друзей и доверителей.

Однажды он рассказал любопытный случай:

Один из богатейших старообрядцев, не имея родственников, завещал все свое состояние старообрядческой общине. Но незадолго до смерти стал креститься трехперстным крестом, а не двухперстным, как старообрядцы. Приятели его и старообрядческое духовенство это заметили и посмертный дар от него принять отказались.

Старик уговаривал Плевако:

— Чего они мне перечат? Уговори их. Крещусь, как хочу.

Но и Плевако нечего не мог поделать, наследство поступило в казну по смерти старика.

К слову: говорили, что это происшествие косвенно послужило темой для картины В.И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Пирог

Крестопоклонная. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим». Как это все было красиво и как чисто и радостно! Была вера.

Великий пост. Конец марта. Весна. Уж жаворонки прилетели. А на кухне няня Таня напекла сдобных лепешек с крестами, а в одну из них запекла серебряный гривенник. Кому попадет — счастье.

В богатых домах такие лепешки с крестами, с запеченными в них гривенниками, посылали бедным в ночлежные дома, на Хитровку и в тюрьмы арестантам. В России ведь было много добрых людей.

На Долгоруковской улице, в Москве, в доме Червенко, где в саду была моя и Серова мастерская, утром вошел к нам дворник Петр и подал картонку из кондитерской.

Открыв картонку, мы увидели слоеный пирог с крестом из теста.

— Это приказали вам передать, — сказал дворник. — Подъезжал к воротам какой-то. Боле ничего не сказал.

Разрезая пирог за чаем, Серов удивился.

— Смотри, что-то твердое под ножом.

Очистив тесто, мы увидели большую старинную золотую монету с портретом Екатерины Великой.

Мы недоумевали — кто бы это мог нам прислать пирог с сюрпризом?

— А не Софья ли Андреевна Толстая прислала тебе этот пирог за портрет ее, который ты написал? — спросил я Серова.

— Ну, вряд ли, — ответил он. — Как-то непохоже.

— Может быть, Кушнерев прислал нам за иллюстрации к Пушкину? Он ведь купец — похоже.

Вернулся опять дворник Петр.

— Вот письмо-то вам, я ведь замешкался... Этот самый, что привез-то вам, письмо дал.

Смотрим на письмо, написано: Петру Алексеевичу Королеву.

— Петр... да что же это? — сказал я. — Ведь это не нам...

— Да ну?.. — удивился Петр.

— Это Королеву.

— Это рядом, — сказал Петр. — Он каретник.

— Что же сделал, ведь мы пирог-то уже ели... Какой ужас.

Петр рассмеялся:

— Ну что ж, и на здоровье. Чего ж он не в те ворота дает. Сам виноват.

— Ну, Константин, — сказал Серов, — пойдем к Королеву, расскажем, какая история вышла. Вот гадость.

Оделись, взяли остатки пирога и пошли к Королеву.

Веселый, кудрявый, молодой, Королев, слушая наши объяснения, хохотал, и щеки у него были как яблоки. Увидал золотой, сказал:

— Ишь ты. Ну и пирожок... ну и баба! И-их, баба-красавица... Санями ей угодил. Сани продал. Полог на лисьем меху — говеть ездит в Алексеевский монастырь. Вот это от ее-то мне пирог на счастье — Крестопоклонная идет. Богомольная женщина. Я ведь холостой. Поглядишь на нее, она покраснеет и так глазами водит. Я с ей сани-то объезжал. Вот и пирог.

— Ну-ка, Маша, — крикнул Королев, — подбери-ка закусочки и поставь графинчик.

Мы с вами пирожок-то кончим. Ошибка вышла — чего вы конфузитесь? Соседи... Вот выпьем по-соседски. Вы при каком деле-то будете?

— Мы художники.

— Да неужто?.. Художники — ведь это, говорят, самый веселый народ. Только, говорят, дело-то недоходное... Я знал одного — Воронкова — серьезный был человек, волосья длинные, ну и пил здорово. С отца портрет писал, так целый год писал... И вот они спорили... Отец-то от него, мне сдается, и помер. Через это самое, через вино. А Воронков и посейчас жив. А вы можете ли портреты писать?

— Вот он может, — показал я на Серова.

— Так вот спишите меня, пожалуйста, как есть. Посерьезней только, а то в контору надо повесить. А то если веселый выйдет, как-то не подходит, я ведь хозяин — веселый не годится...

И Королев закатился смехом.

— А цена-то за портрет какая будет?

— Тысяча рублей, — подумав, ответил Серов.

— Не много ли?

Королев налил коньяку.

— Вот что, — сказал он, — выпьем сначала для знакомства, закусим икоркой. Итак — люблю половину — пятьсот, и конец. А прибавка — вот этот самый золотой. Чего, старинный... куда он мне? Получайте задаток.

На третий день, когда я пришел в мастерскую, Серов писал портрет. Уже много написал, и портрет был похож.

Королев радовался и говорил:

— Ведь вот — рядом жил, а не знал... Как списал Валентин Александрыч — прямо живой. Как скоро. Ну, куда Воронкову... Вот что, Валентин Александрыч, — я вам пролеточку устрою, а вы лошадку прикупите. У меня конюшня рядом — поставьте у меня. Слушайте меня — на собственной ездить будете, так за портреты эдакие деньги будете брать настоящие. Слушайте меня. Доктор приедет — я спрашиваю: он на своей? На своей — одна цена, а пешком или на извозчике — другая. Да... К Морозову зовут меня. Я какую пролетку беру? Самую лучшую. Подъехал к нему, а он видит пролетку-то. У него-то такой нет. Так давай ему мою пролетку. А я говорю — не могу, приезжайте, посмотрите другие. А он говорит — отдавай твою. Ну и торгуемся. Не уступаю, а сам знаю, что дуром беру. Ну и нажил... Я ведь нарочно на пролетке-то приехал — она новая, шины дутые...

Через неделю в моей мастерской Серов писал портрет с какого-то человека, похожего на утюг. Лицо длинное, серьезное. Он мрачно водил серыми глазами, а сзади Серова стоял Королев и говорил, смеясь:

— Черт-те что... Как живой. Ну и носина...

«Утюг» всгас, обеспокоенный.

— Постой, какой носина?

Посмотрев на портрет, сказал:

— Где же носина? Нос как нос. Ты вот что... ты живописцу не мешай. Чего вы на него глядите, Валентин Александрыч? Ведь он чисто балалайка заведенная... Вот обженится, так узнает жизнь. А то ветер в голове...

На Красную горку мы получили от Королева, в больших конвертах, приглашение на свадьбу. Он женился на той красавице, от которой мы по ошибке получили пирог.

Серов писал ее портрет и сказал мне:

— А знаешь, какой это особенный народ... Как это у них все просто и ясно. Королев сказал мне: «Мы ведь купцы — мы-то художника любим, потому как-то жить с ним веселей...»

Светлое Христово Воскресение

Долго тянулся Великий пост. Страстная неделя. Все серьезные, хорошие, уж не болтают зря, попримолкли. В споры не ударяются.

— За пост-то я пришел в себя, — сознался мне один приятель.

А Василий Княжев сказал:

— Тронулась Москва-река. Поглядишь, народ-то в посту больше в разум входит, совестится. Березкин мне пальто подарил. Глядите-ка, новое.

Василий, расстегнув пальто, показал подкладку и опять застегнулся.

— Подобрел.

Василий зашипел, смеясь.

— Ведь как сказать, пост всех на точку ставит, так сказать, на прицел берет. Заметно пьют менее. Я, верите ли, можно сказать, за весь пост трех бутылок не выпил. Малость какая! И к весне деньжонки собрал. Березкину отдал спрятать.

— А он на праздник тебе отдаст?

— Даст. Не все. Я его просил, чтобы все не давал. Кажинный хозяин ведь зверь. Так уж в них сызмальства заложено. Другой хозяином никак быть не может, потому — в ём-то это — простота, угощенье, разговоры, друзья, приятели, ну, в кармане-то и пустеет. А хозяин — другое. Ты у него просить, а он с тебя тянет, а его не перетянуть. У его логика... Глядите-ка, Константин Лисеич, эвона над вокзалами, где Сокольники, журавли летят, — показал в окно Василий. — Их, вольно летят.

— Это, знаешь, шут знает что такое, — сказал, входя, приятель Коля Курин.

— Здравствуй. А что такое? — спросил я.

— Зашел к Васе, непонятно, он говеет, и, понимаешь, ничего ему сказать нельзя. Говорю: «Вот теперь бы в деревню к Косте поехать хорошо. Вербное воскресенье, верба, как бисер, блестит у него у колодца». А он мне говорит: «Довольно разговаривать». — «Почему? — спрашиваю. — Что такое?» — «А то такое, — говорит, — что дни такие». — «А что же я сказал-то?» — «А то, что грех, весна, верба блестит, скорбеть душой надо...»

Что может быть лучше весны в России. Леса и рощи заливаются пением птиц. Зеленым бисером покрыты кружева деревьев.

Шумят ручьи, и голубые дали манят туда, туда... Там, в этих даях, все то, чего ищет душа твоя, чему радостно бьется сердце, там счастье, там она, которую ты видишь в воображении, прекрасную, как сама весна... Юность, счастье...

В весне есть таинство обновления. Она беззаботна, весела. В ней — все жизнь и сила жизни. Весна гонит горе и не хочет его знать. Весна всегда молода.

И какая красота — праздник Светлого Христова Воскресения весной. Так он был радостен в России. Разливаются колокола красным звоном церковей московских.

Все нарядились, кто как мог. Христосуются, целуются.

В каждом доме кулич, пасха. Радостно встречают гостей, угощают без конца.

Я помню — это все было. И все пропало, как не было. Осталась какая-то волшебная сказка в воспоминании. Все пропало. Сгнуло и потонуло в ненужном ужасе, в голоде, искании куска хлеба, щепотки соли, в тифу и мраке бреда, в злейшей взаимной ненависти...

А может быть, просто это наше видение? А может быть, это тоже только страшная сказка. Может быть, в истории человеческой жизни свершаются сказки, мешается счастье с несчастьем... Может быть, вновь воссияет солнце и весна вновь чудом оживит сердца человеческие светом разума?..

Исцеление

Богатый купец Верхотуров, московский домовладелец, поехал в первый раз за границу и остановился в южном курорте полечить печень, которая расстроилась от домашних обстоятельств.

Никита Никитич Верхотуров, человек серьезный и несколько сердитый, стал все больше покрикивать. Поморщится и скажет приятелю:

— Дурак!

Ну, и всем приятелям стало ясно, что печень пошаливает, а доктора московские посоветовали ехать на воды.

Остановился Верхотуров в хорошей гостинице. В окно виден сад, казино и киоски. С утра нарядная толпа пьет из стаканчиков воду. Потом прогуливается по аллее.

Пришел доктор, выслушал Никиту Никитича и написал на бумаге все распределение дня, что можно есть, чего нельзя, а вставать в шесть часов утра.

Хотел спросить Никита Никитич насчет картишек — слышал он, что в казино в карты перекидываются, — но переводчик был такой серьезный, что не решился.

Пьет воды Верхотуров, встает рано, однажды повернул к казино — там и музыка играет, — а переводчик — стоп:

— Вам режим держать надо. В казино пойдете, когда поправитесь.

Рассердился Никита Никитич, хотел ему сказать:

«Дурак!»

Но не сказал.

За табльдотом¹ — народ чужой. Есть которые и вино пьют, а ему ничего — по записке доктора поступают.

— Этакое дело! — огорчался Никита Никитич. — Ешь суп да картошку без хлеба. Трудно. А сосед вроде как водку пьет да еще кильками закусывает.

Зашел он, прогуливаясь после принятия вод, в кафе, а там в стаканы наливают посетителям и розовый ликер, и зеленый ликер водой добавляют, лимон кладут.

¹ От фр. table d'hôte — общий стол.

Переводчика, по счастью, поблизости не оказалось, и тут Никита Никитич себе волю дал: выпил и зеленого и розового, — дьявол с ним.

Выпил — и ничего.

«И чего я боялся?»

Взглянул на бутылки на полках: на одной арап, на другой верблюд, на третьей — монах. Он все перепробовал. Хорошо.

«И чего я боялся!..»

Зашел в казино — народу там! И картеж идет — баккара. Деньги раздают почем зря.

Посмотрел Никита Никитич, как другие ставят, — сам поставил. И — выиграл.

«Нет! Чего я боялся!»

* * *

А наутро посмотрел Никита Никитич на себя в зеркало и видит — нос покраснел, а на носу — пупырь.

«Что за неприятность! Как это не к лицу. Надо свести».

Говорит переводчику:

— Не нравится мне пупырь этот, надо доктора позвать.

Доктор посмотрел на пупырь и сказал, что надо нос просветить и профессора позвать, специалиста.

Просвечивали нос и снимали фотографию в отдельной камере. Влетело в копеечку. Верхотуров только крикнул.

Приезжал профессор, посмотрел фотографию, нос и приказал позвать другого профессора, хирурга. Тот тоже смотрел.

Еще дороже заплатит Верхотуров.

Нос ему заткнули тампонами, приказали лежать в постели и прислали сестру милосердия.

Наутро опять приехали профессора, нос заморозили и надели машинку, надавили кнопку и разрежали нос.

Верхотуров света невзвидел, белугой заорал.

* * *

Прошло два дня. Нос непутем раздуло. Профессора говорят через переводчика, что надо выписать самого большого светилу по части пупырей.

«Вот в какой я переплет попал, — думает Никита Никитич. — И понес меня черт за границу! В Москве бы мне нянька примочила бы свинцовой примочкой, и все бы прошло, а тут — плати».

Наутро приехало светило, а с ним еще двое. Переводчик Верхотурову тихо говорит:

— Слышно, что все ж-таки нос вам оставят. Но повторная операция будет в специальной лечебнице.

Гонорар светилы оказался таков, что денег не хватило, — пришлось телеграфировать в Москву.

Наутро Верхотурова вымыли каким-то составом, надели на него новое белье и перенесли в лечебницу. Голого положили на стеклянный стол. Десяток докторов, светило и кругом сестры. На лицо надели колпак.

Без памяти был Верхотуров.

Проснулся в комнате. Около — доктора. Хотел себя за нос взять — цел ли нос? — нельзя, руки связаны.

Скучно и страх берет.

С сестрой милосердия не поговоришь, не идет и переводчик.

Лежит Верхотуров. Придут доктора, посмотрят на нос, переменят повязку и уйдут.

Один доктор сжалился. За едой, когда сестра кормила Никиту Никитича супом, принес бутылку, налил большую рюмку портвейна и с любезной улыбкой положил на столик счет. Что-то говорил, но Никита Никитич ничего не понял и только кланялся.

Пришел переводчик. Как объяснил счет — Никиту Никитича оторопь взяла. «Батюшки, — подумал, — дом-то в Москве заложить надо... Этакие деньги».

Переводчик говорит:

— Через два дня выпустят вас. У вас смертельный карбункул на носу образовался.

— Ну, а ежели бы у меня таких-то денег не было, тогда как?

— Да ведь знают, а то бы так пристально не лечили. Помечено у вас: «Домовладелец из Москвы».

На другой день сняли повязки, поднесли Верхотурову зеркало. Посмотрел:

— Нос как нос.

Надел платье, и опять счет лежит... «Господи!»

Приехал в гостиницу — на столе снова счет: от доктора, что печень лечил.

Получил Верхотуров деньги из Москвы, расплатился.

«Ну, — думает Верхотуров, — плати и плати. Черт с ней, с печенкой, чего бояться». И прямо направился в казино. Бакара. Как ни поставит — берут, берут. Он больше — берут.

Последнюю ставку, все, что было в кармане, — поставил. Проиграл.

Вернулся домой. Всю ночь не спал. Утром послал телеграмму в Москву. Заплатили в отеле. Пошел Верхотуров воды пить, хотел зайти в кафе — копейки нет. Спросил займы до завтра у переводчика. Тот сказал:

— Что вы... у меня и денег таких нет. И притом вы всем платили, а мне еще нет...

Ждет денег Никита Никитич из Москвы — не присылают. Что такое? Сидит на лавочке в парке целый день. Войдет в отель — нет ответа. Пошел обедать. Сел, а ему говорят:

— Счет не изволили заплатить, — обеда нет.

Ходит с досады Никита Никитич от киоска к киоску и пьет задаром минеральные воды, не разбирая какие.

Проснулся утром, и доктор не идет. В гостинице просят очистить помещение.

Пошел в раздумье Верхотуров. Идет, видит речка. Лето, тепло, кусты на бережку, травка зелена. Зашел в кусты и прилег... Проснулся — месяц светит. А к утру посвежей стало — дрожь колотит.

Поднялся Никита Никитич, пошел по берегу, а напротив двое в мундирах едут. Остановили Верхотурова: что-то говорят, а ему невдомек. Надели на него наручники и повели.

Так попал за решетку купец Верхотуров.

И лишь через три дня пришла телеграмма: «Супруга уехала в Эссенуки лечиться. Деньги выслал. Управляющий».

— Ну, каково-то за границей? — спрашивали в Москве приятеля Верхотурова. — Исцелился?..

— Исцелился... — со вздохом ответил Никита Никитич. — Совсем здоровый стал... Дороговато, правда, — зато всю болезнь начисто выгнали... Вода помогла... Исцелился...

И вдруг заревел.

— А вам-то что? Шляетесь тут! Людей от дела отрываете... Чума!..

В былые времена

Весна там, у нас, в России. Покой. Тишина. Обилие. Ни волнений, ни войн. Малые огорчения, впрочем воспринимавшиеся моей теткой как некие бедствия. Серый день, идет дождь — и уж тетка моя, Василиса Михайловна, покачивает головой и со слезою в голосе говорит:

— Ну, что уж... Дождик!.. А я-то хотела сегодня в Кусково съездить, дачу проветрить... Да настурции надо сажать, куртины обравнять. Все заботы, заботы... Ох-хо-хо.

У тетки моей, Василисы Михайловны, были черные сердитые глазки. И были глазки эти у нее на мокром месте. Бывало, как что не по ней — то она и в слезы. Ну, тогда все кругом приходят в волнение — Василиса Михайловна не в духах... В доме все оробело, притихло. Говорят шепотом...

А какое горе? Узнала Василиса Михайловна, что племянник Миша в карты играл. В трюнку! И где это он выучился?!

А тут еще Дуняшка забыла Василисе Михайловне вату подать. А нынче Сергей Тимофеич должен приехать, а когда он приезжает — Василиса Михайловна уши ватой затыкает, чтоб его не слушать. Потому что Сергей Тимофеич, хотя и миллионер, но говорит слишком много. Сядет перед ней и начнет: «ту-ту-ту-ту...» без остановки. И то не так, и это не так — голова кругом идет. А сам всех невест прогулял — дурак! Хоть и богач, но никчемушный.

А то приедут дочери. Василиса Михайловна их без памяти любит, и потому они ее тоже всегда до слез доводят. Вот внучат не привезли. А Василиса Михайловна внучат любит еще больше, чем дочерей... А когда привезут — снова нагоняй выходит: и почему одеты внучата не так, и обуты не так, и почему Коля в носу пальцем ковыряет — платка нет... И снова слезы.

А муж дочери Александры, инспектор гимназии, — «высокий, на козла похож», как явится к Василисе Михайловне, так за портсигар, и закурит. Это что же такое! А у ней во всем доме пепельницы нет!.. И так папиросу за папиросой курит, ничего не говоря. А папиросу тушит в горшке с геранями и окурки торчком ставит... Ну как тут не заплакать! Тетка тоже молчит — только слезы на глазах. А как уйдет — истерика. Отворяются форточки, курятся «монашки», в висках стучит, и голова разламывается от этого противного табачища...

В доме у Василисы Михайловны — чисто. Пузатые комодики красного дерева, кресла, у окон цветы, на подставках в корзинах, ковры. На стене портреты супруга ее, Никиты Иваныча. Большой портрет — Никита Иванович в сюртуке, большой па-

лец правой руки на пуговице держит. Лицо серьезное, несколько испуганное, — художник глаза подчернул слишком.

Никита Иванович — не кто-нибудь был, а потомственный почетный гражданин! И в Пенделке имел шерстомойку и щетинное заведение. На людях никогда Никита Иванович рюмки не выпил. Но в конторе дома его на Рогожской улице — у него был шкапик. А в шкапике бутылки разные — вино и прочие напитки — от простуды, для здоровья...

* * *

И дядя, Никита Иванович, и тетка Василиса Михайловна меня любили. И уж на праздниках я обязательно бывал у них утром.

Впрочем, когда речь заходила о моей живописи, они помалкивали. Вроде как бы не слышали. Это меня обижало, и разговор у нас не клеился. Но спасибо приятелю по школе мастерской Саврасова, Мельникову, сыну писателя, — он меня надоумил: «Скажи им, что ты на архитектуру перешел».

Я и сказал. Сказал на Пасхе, когда христосовался. Тетка пристально посмотрела на меня и расцвела.

— Вот это дело!

И спросила:

— А мать-то согласна?

— Согласна, — говорю я.

— То-то, — одобрила тетка. — А то она все музыку любит и рисование. Несерьезное все...

* * *

Боже! Какое покойное бытие.

Помню — разразилась война болгар с турками. Какой она казалась мне далекой.

Правда, газеты писали — жаркие бои, победы, Осман-паша, а в Школе преподаватель истории говорил про турецкие зверства; мы ужасалась, но тотчас же как-то забывали — горе как-то не овладевало тогда нашими юными душами...

Разумеется, тетка Василиса Михайловна не могла читать газет! И уж если попадется ей — то уж глаза у нее на целый день от слез красные, распухшие.

* * *

И вдруг брат мой, Сергей, уехал, никому не сказав, на войну волонтером. Вот взбудоражились все родные и тетка!

Сергею было восемнадцать лет — он купил пистолет, патроны и уехал.

Все же у матери разрешения спросил; она ответила, как всегда: «Как хочешь».

* * *

Впрочем, повоевать Сергею не удалось. Ген. Рейенг¹ в солдаты его не взял и просил рисовать в альбом войну. Сергей рисовал кавалерию, выступающую в бой, погребение убитых, солдат — пехотинцев в кепках, а впереди — песенники.

¹ Правильно: Рейсиг.

И вернулся с войны, получив за свое художество сто рублей и привезя с собой много альбомов с рисунками карандашом...

Куда девались эти альбомы с прекрасными рисунками — я не помню.

Удивил меня несколько брат тем, что сказал как-то, что на войне гораздо лучше, чем здесь, среди нас. Я этому удивился и понять не мог.

* * *

А как хороша была природа наша!

Летом я часто уезжал из Москвы и бродил по окрестным лесам. Какие утра и зори вечерние, реки, ручьи, холмы!.. Мне казалось, что я нахожусь в раю.

И люди, которых я встречал, крестьяне, — были простые, добрые и гостеприимные... Было — или мнилось?

* * *

Все мы, ученики Школы живописи, ваяния и зодчества мастерской профессора Саврасова, нуждались. Денег было мало. Но, помню, это не огорчало нас, хоть мы почему-то и стремились писать тогда грустные места. А наши приятели-жанристы — Волохов, Яковлев, Мельников, Янов — картины на мрачные сюжеты...

Один только я пробовал писать свет солнца, сильные краски, бодрые сюжеты природы. Да и то уже перед окончанием Школы, т.е. девятнадцати лет. А раньше — тоже писал печальные картины.

С братом Сергеем случилась даже неприятность: он написал крестьянина — просто мужика в тулупе. Мужик в волостном правлении раздевается, снимает тулуп. А сбоку двое режут прутья. Картина называлась — «Перед поркой»...

Жандармский полковник вызывал Сергея к себе и сказал: «Хорошо пишете, молодой человек, но полегче, а то вам попадет...»

После того — стоило Сергею показаться у тетки, чтобы у нее тотчас же появились на глазах слезы.

Неуживчивый человек

Май. Ясное утро. Приятели мои в моей большой деревенской мастерской расположились за столом. Пьют чай. На столе кулич и пасха. Окна открыты. Цветет сирень. Птицы заливаются. Голубая река. Весна. Радость. Рай.

— ...А в душе какая-то ерунда, что-то нелепое, — сказал актер Бакшеев. — Все Сергей Зазыкин. Хороший парень, а всегда настроение испортит. Ну чего он не поехал с нами? Все у него не по-людски. Даровитый юрист. Поступил помощником к известному присяжному поверенному. Тот поручает ему дело о растрате. А он на суде, вместо того чтобы защищать подсудимого, сказал блестящую обвинительную речь.

— Просто — дурак! — сказал приятель Вася.

— Дурак-то дурак, — заметил охотник Караулов. — Но жить ему, конечно, трудно. И черт его дергает — всем правду режет. Востякову ни с того ни с сего пальнул: «И чего это вашу жену угораздило в Одессу с тенором уехать?» Тот прямо — на стену! Я Сергею говорю, а он: «Ступай к черту, все вы рабы, у всех у вас рабья совесть...» Неуживчивый человек.

— А позвольте-ка вас спросить, что такое неуживчивый человек? — с какой-то обидой в голосе спросил Коля Курин.

— Ясно, — ответил доктор Иван Иванович. — Неуживчивый человек — тот, который ни с кем не может ужиться.

— Действительно ясно.

Все захохотали.

Иван Иванович невозмутимо продолжал:

— Неуживчивый человек никому не скажет приятного слова. Вот здесь — сколько сирени. Уживчивый человек, когда поедет в Москву, — нарвет охапку, разошлет приятелям, друзьям. Всем — приятно. А неуживчивый — и не подумает.

— Позвольте, позвольте. Хорошо-с. Я вот уживчивый человек, — вступился Василий Сергеевич. — Допустим, еду в Москву, нарезал воз сирени, забрал в вагон, еду, а в следующем купе едет прехорошенький сюжет. Я ей букет с кондуктором посылаю. А у ней муж. Знаете, что может получиться?..

— Что ты, Вася, тебе дело говорят, а ты ерунду какую-то порешь.

Иван Иванович с презрением посмотрел на Василия Сергеевича и с прежней невозмутимостью продолжал:

— Уживчивый человек ничего прямо не говорит. Он все норовит обиняком сказать.

— То есть как это, «обиняком»? — раздраженно спросил Вася.

— Ну вот еще, это ведь и так ясно.

— Позвольте, то есть — как это ясно? Вот мне одному господину давно хочется сказать: «Какой вы сукин сын и подлец». Ну-ка, скажи обиняком?

— «Сукин сын» сказать обиняком трудно, — сказал доктор Иван Иванович, — вот «дурака» можно. Например: вы недостаточно обдумали вопрос...

— Позвольте, это нисколько не определяет. А я бы сказал дуракам: закон не писан. И неопределенно, и правильно...

— Там какой-то человек пришел, — входя, сказал дедушка, сторож моего дома. — Устал до чего. Воды — прямо полведра выпил.

Мы вышли на крыльцо. На лестнице увидели человека, покрытого пылью. Он с плеч снимал мешок — Сергей Зазыкин.

Посмотрев на нас, он рассмеялся.

— Что ж ты не взял возчика со станции?

— Возчика? — смеялся он, снимая с себя пыльное пальто. — Я из Москвы пешком.

— Как — из Москвы? — удивились мы. — Ведь это сто семьдесят верст! Мы же тебя звали ехать с нами.

— Я надумал пешком. И притом — денег у меня нет, а благотворить себя я не позволю. До этого я не охотник.

— Пойдем, пойдем в дом. Тащи с него сапоги.

Зазыкин сел у стола. Ему налили чаю, поставили кулич и пасху.

— По дороге к Троице-Сергию шел я с богомольцами. Они шли из Рязани. Замечательный народ. Какая вера и какая возвышенная любовь к святому Сергию. Тут я вспомнил свой предмет — богомолицу Наташу. Шел дорогой и смотрел на этих немудрящих рязанок и подумал: «Ханжа!» И так ей и написал из Александровска: «До свидания, вы ханжа». А вернее — вышло «прощай».

Наутро Сережа едва поднялся с постели. Болели ноги. Из своей дорожной сумки он бережно достал иголку и нитки и стал пришивать пуговицу к куртке.

— Сережа, — сказал я, — дай я отдам Дарье, она тебе пришьет пуговицу.

— Нет, с какой стати. Я привык сам все делать.

Во всей фигуре Сережи была какая-то скромность, и в больших серых глазах его была глубокая печаль.

— Сережа, — спросил я, — отчего ты ушел от Остроглавова?

— Станный вопрос, — ответил Сережа, — значит, ты совсем меня не знаешь, иначе ты бы не мог мне задать этот вопрос.

— Не совсем понимаю, — сказал я.

— Видишь ли, ему я не гожусь. Ему холуй нужен. А мне приказывать нельзя: «Сделать то-то да исполнить то-то». Подождет!

Когда к дому моему утром пришли крестьяне — поздравить с приездом, с праздником, Зазыкин нахмурился.

Крестьяне сняли шапки, поднесли в корзинке яйца в подарок, говорили:

— Барина пришли поздравить, господ — с праздником.

Зазыкин мгновенно вскипел:

— «Барина»? Никакого барина нет. А пришли мужики просто получить на водку. Это есть насильственный налог. И он не позволит мне дать ни копейки, так как я не вправе спаивать народ.

Мужики говорили:

— Что чего — ничего. Уж так заведено исстари... «Спаивать»!.. Эдак-то ежели — шесть ведер мало... Бабы, парни, не хватит... А мы для веселья — по стаканчику. Чего барин сердчает?

— Идиоты! — кричал Зазыкин. — Крепостного права больше нет! Какие господа, какие бары?

— Это верно... Но ежели по стакану выпить — греха большого нет. А ежели спаивать — то это не менее ведер шести. А на четверть даст Лисеич от души — выпить по стакану, да и конец...

— Не позволю! — кричал Зазыкин.

Мужики глядели на него и смеялись.

— Ну, — сказал один, — и сердитый барин... Эдаких-то редко видать.

В ворота сада шли девки с песнями, принесли лукошко сухой черники. Пришли тоже поздравить с приездом. Этим надо было дать на пряники и орехи.

Зазыкин ужасно сердился, кричал, что это развращение народа, что он не позволит. Василий Сергеевич смотрел на мужиков, девок и на Зазыкина и ржал как лошадь. А девушки смотрели во все глаза на Сергея Зазыкина и молчали.

В конце концов Зазыкин побледнел, крикнул: «Ну вас всех к черту, дикари!» — и ушел в дом.

Тетушка Афросинья из черники сварила варенье и испекла пирожки с черникой и подала к вечернему чаю.

Зазыкин мрачно посмотрел на них и стал молча есть.

— Вот черника, хороша ягода, — говорила Афросинья. — Чего сердать... А девки-то думают, что на чернику барин рассердился, чего чернику принесли.

Зыбкин хмуро посмотрел на нее и сказал:

— От черники губы синие бывают. Что хорошего?..

Весенние дни

Бесконечные дальние леса розовеют на утренней весенней заре. Журавли спускаются над моховым болотом.

До чего полно, радостно, отрадно на душе. В ворота сада идет Дарья, несет в руках крынки с парным молоком.

По кустам боярышника звенят малиновки. Приятели спят. С вечера были на тяге. В Феклином бору, в ночи, кто-то орал непутем, прямо как леший. Герасим говорил, что это лось орет.

Мой слуга Ленька угрюмо ставит на стол самовар.

Говорю ему:

— Пора будить, довольно им спать.

— Как будить? — отвечает медленно Ленька. — Ругаться будут.

— Ступай к окошку, возьми гитару и пой «Пташечку».

— Что вы, Кинстинтин Лисеич, — убьют. Павел Александрович уж какой господин, и то не любит, да и генерал тоже рассердится.

— Ну ничего.

— Так что ж, самовар уж подали. Ежели не будить их, так до полдня проканителются, а мне когда тады пироги печь? — беспокоилась Афросинья.

— Разбудить можно, — сказал Герасим. — Надо кверху в светелку идти — там и постучать.

Я прошел коридор и поднялся по лестнице в светелку.

Герасим шел со мной.

Светелка служила складом ненужных вещей. Там были навалены банки, бутылки, сломанная мебель, жаровня и медные тазы для варенья.

— Вот чем хорошо будить, — сказал Герасим, показав на тазы.

— Это верно, — согласился я.

Эти тазы мы побросали на пол, вышло замечательно. Приятели проснулись, и началась невероятная ругань.

Василий Сергеевич выскочил на террасу в нижнем белье, кричал:

— Ленька! Ну, погоди, будет тебе за это, попадись только.

И, увидав крынку молока на столе, залпом выпил ее.

— Так жить нельзя, — говорили другие.

Гофмейстер, который спал отдельно, тоже вышел в халате и, морщась, сказал:

— Что за звон. Впрочем, хорошо, что разбудили. Кажется, погода прекрасная.

Вскоре все успокоились.

Кипел самовар. Жареные сморчки в сметане, горячие оладьи, а главное, радостное весеннее утро. Приятели пришли в благодушное настроение, но доктор Иван Иванович, расчесывая перед зеркалом баки, говорил:

— Все ж таки так нельзя. К утру самый крепкий сон. Приехали отдохнуть. А тут над самой головой такой звон, что не знаешь, что и думать. Надо нервы гостей ща-

доть. Это варварство. Кто это выдумал? Нельзя позволять Ленке будить так. В Москве переутомишься с пациентами, а тут...

— А какая это пациентка баки тебе поубавила? — спросил Вася.

— Ну вот. Опять, с самого утра дурь начинается... — сердился Иван Иванович.

— Да уж — вздор! — добродушно, впрочем, сказал гофмейстер, который был в хорошем настроении, потому что убил трех вальдшнепов на тяге. — А трудно было стрелять. Перед маем они летят, как бешеные, высоко, притом темно, плохо видишь.

— Да, ловко вы, ваше превосходительство, исхитрились, — сказал Герасим, улыбаясь.

— Вот как бы их там, в погребе, крысы не съели... — забеспокоился гофмейстер. — Надо их в ящик с травой поставить в погребе.

— А я вот семь раз промазал, — сказал Караулов. — Трудно.

— Наверно, о жене думал, — сказал Вася.

— Опять вздор, — поморщился гофмейстер.

— Вздор-то вздор, да сам он каялся, что дуром женился.

— Это верно, — согласился Караулов. — В Москве кого хочешь опутают. Да как сказать... если бы вышло складней, может быть, охоту бы бросил. А уж лучше пускай меня бросают, чем я охоту брошу.

— Ну еще вопрос, можно ли променять женщину на охоту! — сказал Павел Александрович.

— А вот женщины терпеть не могут охоты, — сказал Коля Курин.

— Ну это какая женщина, — сказал Павел Александрович. — Моя жена убила медведя в восемнадцать пудов. Да-с.

— Да неужели? — удивился гофмейстер.

— Охота — не женское дело, — сказал Герасим. — Да ведь и то сказать, ведь ежели какая на охоту будет ездить, по болотам ходить — ведь засмеют. В деревне у нас глядеть на нее будут, выпуча глаза.

В это время тетушка Афросинья и Дарья собирали со стола посуду.

— Вот постойте, — сказал доктор Иван Иванович. — Вот Дарья женщина молодая, спросим-ка ее.

— Дарья, где у тебя сейчас муж? Дома?

— Да, дома, — ответила Дарья.

— А что он делает?

— Да что делает? Теперь дела-то нет, не летнее время. Чего делает? Поди, спит на печи.

— Ну если б он охотником был, на охоту ходил, ты рада бы была?

— Чего ж, вестимо рада.

— А почему?

— Да ведь как сказать, все же ежели б на охоту пошел, то в глазах бы не вертелся, а то в избе — то это ему подай, то это. Без дела чай целый день пьет.

— Вот видите, а вы говорите! — обрадовался Иван Иваныч. — Женщины рады одни побыть.

— Это другие женщины, — сказал приятель Вася, — а наши, когда мы уезжаем, не иначе, как рожищи нам ставят.

— И почему-то всегда у тебя такие разговоры, — возмутился гофмейстер. — Это даже неприлично.

— Это верно. Он может говорить лично о себе, — волновался Иван Иванович, — но не про всех же. Я не позволю делать такие намеки на мою жену, Анну Петровну.

— Тетенька Афросинья, а у тебя Феоктист-то раньше на охоту не ходил? — спросил Коля Курин.

— На охоту? Да что вы! Это дело господское. Вот ученые к Кистинтин Лисеичу приезжали — ходят, ходят, сердешные, целый день и одного носатика принесут. Чего тут? Хорошо, что Герасим с собой запасаает, а то бы часто пустые приходили. Вот вечер носатиков на погреб положили, а они из нашего погреба и были. Герасим, в утешение господам, им подкинул. Их, заговорила с вами, как бы тесто не ушло.

И тетенька Афросинья поспешила на кухню.

— Вот, телеграмма вам, — сказал сторож Петр, подавая в окно телеграмму.

— Кому это «вам»?

— Это вам, Николай Петрович, — сказал Вася, передавая телеграмму гофмейстеру.

— Прекрасно. Жена уезжает, и я остаюсь здесь до первого мая. Отлично...

Он нервно закусил губу. И вдруг, повернувшись к приятелю Васе, с бешенством сказал:

— А вас, Василий Сергеевич, я попрошу раз и навсегда: в моем присутствии дурно о женщинах не говорить!

На большой дороге

Май месяц. Зеленеют московские сады. Так хотелось уйти за город, в природу, где зеленым бисером покрылись березы и над лугами громоздятся веселые весенние облака. А луга засыпаны цветами. Голубые тени ложатся от дубрав, и в розовых лучах солнца разливается песня жаворонка.

В рощах, в оврагах, еще кое-где — остатки талого снега. И в лужах не смолкая кричат лягушки.

Соловьи заливаются в кустах черемухи по берегам речки.

Весна, май, солнце...

Даже в Москве, по Садовой улице, палисадники у домов веселят душу — цветы, акации.

В Сокольниках первого мая — чаепитие. Праздник. Столы покрыты скатертью. Блестят самовары. Пахнет сосной и дымом.

Пестрая толпа москвичей среди леса распивает чай. Хлеб, булки, бисквиты, кренделя, колбаса копченая.

Разносчики продают белорыбицу, балык осетровый, семгу, сига копченых, огурчики свежие, редиску.

Уже обязательно мы ходили в Сокольники с А.П. Чеховым, с его братом Николаем. Он был художник, наш приятель.

Радушные самоварщицы угощали каким-то особенным хлебцем, вроде пеклеванного. Этот хлеб был внутри как будто пустой. Хорош он был с колбасой. Запивали чаем. А чай был обязательно со сливками, которые подавались в крынках.

Мы шли большим лосиноостровским лесом до Больших Мытищ, где на Яузе ловили на удочку рыбу. А уху варили в Мытищах, с краю села Дом, у тетеньки Прасковьи, — сын ее Игнашка был мой приятель, и там жила моя охотничья собака — сука Дианка.

Антон Павлович был в то время студентом и большим любителем рыбной ловли на удочку.

Ловили на червяка. А.П. любил ловить пескарей, которые шли подряд. Но иногда попадались и окуни, язи и голавли.

К вечеру хотели идти в Москву пешком, но Игнашка советовал не ходить, так как на большой дороге объявились разбойники. По дороге грабят богомольцев, идущих к Сергию Троице. Грабят и даже убивают, потому теперь конные жандармы ездят.

— Как бы вас не забрали. Тады наканителишься в волостном правлении, пока отпустят.

Некоторые из нас — Поярков, брат Николай и Мельников — советовали лучше ехать по железной дороге.

— Замечательно! — засмеялся Антон Павлович. — Пойдемте пешком, может быть, попадем в разбойники — это будет недурно.

Некоторые отправились на станцию, а мы — Антон Павлович, я, Ордынский, Мельников и Несслер — пошли пешком в Москву.

Прошли Малые Мытищи. Сумерело. Последние лучи солнца освещали верхушки леса.

На дороге ни души. Только на повороте, у леса, видим мостик, а на мостике сидят какие-то люди. В форме. Как солдаты.

Несслер, человек веселый, высокого роста, шедший впереди, запел:

Я не гость пришел,
Не гоститесь,
Пришел милый друг
Поженитесь...

Когда подошел к мосту, один солдат встал с краю и сказал:

— Стой! Ты, запеваля, кто будешь?

Мы тоже остановились.

— Я? Живописец, — ответил Несслер, — мы все художники.

— А по какому делу? — спросил уже полицейский.

— Ни по какому делу, — ответили мы. — Первого мая ходили гулять к приятелю Игнашке Елычеву; чай пили, уху ели, рыбу ловили.

— А оружие у вас какое есть?

— Никакого оружия нет.

— А ножи финские?

— Никаких ножей тоже нет.

Полицейский подошел к каждому из нас, прощупал карманы. Ничего не нашел. Посмотрел на нас пристально и сказал:

— Пошаливают здесь, вот что. Позавчера у этого самого моста, вот это самое место в кустах, женщину зарезали. Документы при вас есть какие?

— Есть, — ответили я и Антон Павлович.

— Так вот. В Мытищах пожалуйста к приставу удостоверить личность. Вот вас туды солдаты проводят. Не моя воля, сказать вам правду, — но служба велит.

В каменном одноэтажном доме, с краю села, у заставы, при тусклой лампе, за столом сидел грузный старик, весь седой, и ел яичницу. Стояла водка. В стороне на лавке сидел человек и дремал.

Когда нас привели, старик скучно посмотрел на нас и сказал солдату:

— Это чего еще привели?

И вопросительно посмотрел на нас.

— Ну-с, — сказал он, — чего вам надо?

— Нам ничего не надо. А вот задержали, — ответили мы.

— Так, — сказал пристав, глядя на нас. — Студенты будете или как?

— Да, мы учимся живописи, а вот он студент, — показали мы на Антона Павловича.

— Садитесь.

Мы сели на лавку.

— Гвоздев, запиши фамилии. Ишь, черт его дергает. Не по уму усердие. Убийцы... Вот, поверите ли, — обратился пристав к нам, — третью ночь не сплю. Все убийцев ко мне пригоняют. Прямо берет каждого с большой дороги. А убийца нешто так и пойдет прямо на заставу, по дороге-то. А он сейчас надо мной — старший. Тут какой-то сумасшедший озорничает, ножом работает. Шесть человек на дороге загубил. Позвольте документы.

Мы показали документы. У меня — свидетельство на право писать красками с натуры и просьба оказывать мне содействие. У Ордынского и Несслера тоже.

— Ну вот, и впрямь художники будете, — обрадовался пристав, — я ведь тоже баловался немножко этим самым. Вот что я скажу: побудьте здесь, самоварчик Гвоздев подбодрит, яичница хорошая. А я вам скажу — больше всего я люблю картины глядеть. И сам занимался — пописывал прежде красками ландшафты. Уроки брал у Белоусова. Знаете ли такого?

— Нет, не знаем.

— Хороший человек, лес хорошо пишет, а воду не может. Я ведь Алексея Кондратьевича Саврасова знаю. Это вот человек...

— Да ведь это наш профессор, — обрадовались мы.

— Да что вы! Очень приятно. Эх, крутая жизнь у него. Мало людей, которые это самое художество понимают. Одинок живописец, и это самое — на утеху зовет, — показал старик на бутылку водки. — Ах, если б это дело хлеб бы давало, я бы на этойкой службе не состоял!..

Пристав встал, позвал писаря Гвоздева и, вынимая из кошелька деньги, что-то с ним шушукался.

Писарь вернулся с какой-то женщиной. На стол поставили тарелки, селедки, тарань, хлеб, баранки, яйца. Появился самовар.

— Эх, и рад я до чего вам! Поговорим про картины. Мало у нас кто может даль написать. Пожалуйста, выпьем за Алексея Кондратьевича, человек правильный, художник настоящий. А я вам вот что скажу: рассветет, и поедете на станцию, лучше я и подводу дам. Кто знает, на большой дороге пошаливают, убивают — кому надо богомольцев губить? Не иначе — это сумасшедший работает... Не ровен час...

Доктор

В Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве товарищами моими были: Светославский, Левитан, Несслер, Мельников, Поярков, Комаровский. При переходе в натурный класс мы попали в мастерскую профессора А.К. Саврасова и назывались — пейзажисты. Ученики других профессоров нашей школы — Перова, Сорокина, Прянишникова, — в отличие от нас, назывались — жанристы. Впрочем, мы, пейзажисты, тоже были обязаны в натурном классе рисовать и писать красками нагих натурщиков.

Помимо многих научных предметов в Школе преподавались еще специальные науки: история искусств, анатомия и перспектива. Экзамены проходили в мае месяце. Не ужасно ли? Весна, солнце, дневное время, а мы должны сдавать экзамены по наукам!..

— И зачем нам анатомия? — негодовал Светославский.

— А зачем нам писать голого банщика? — вторил ему Левитан.

В то время, в дни нашей юности, нам всего отраднее было чувство созерцания природы, особенно — печальной. Пленяли сердце и грустные сумерки с потухающей зарей, и серый, ненастный день поздней осени, с опавшими листьями, и зимние дали. Нам почему-то всегда хотелось уйти из города, который мы не любили; именно — уйти пешком. Поэтому мы всегда ходили, как и многие другие ученики, в высоких яловочных сапогах. Точно нам предстояло бродить по болоту.

Некоторые встречные из простых людей, мрачно покосившись на нас, говорили: «Студенты прут».

К тому же на нас были широкополые шляпы — тоже влияние моды.

В мастерской Саврасова мы писали картины с маленьких этюдов, сделанных с натуры, и темы этих картин были тоже всегда грустные, как и привлекавшие нас виды: избушка разваливающаяся, с выбитыми стеклами; кладбище с деревянными крестами; сарай, заросший крапивой; лужи на грязной осенней дороге или поздняя заря с летящей стаей галок. Мы были как-то отчуждены от людей, нам не нравились весельчаки. Равно не нравились нарядные и богатые — мы их не понимали. Мы никогда не могли писать город, он казался нам некрасивым, а изба сторожа в Лосином Острове так нравилась, что мы часто ходили к сторожу, который зимой кормил лосей.

Впрочем, пленяли нас и его рассказы про то, как лесовик кричит в лесу, или — как ночью к избушке подходили разбойники, а лоси их напугали.

Мы не могли готовиться к экзаменам в Москве — нас влекло на природу. Мы брали тетради лекций, хлеб, колбасу, печеные яйца и уходили за город, в Останкино, Медведково, Кунцево.

Как только выйдем из Москвы за заставу — вот радость, вот счастье, вот восторг. И чем дальше идешь из скучного города, тем отраднее.

Мы были дружны, и нас связывало трудное искусство живописи.

Найдя красивое место в лесу или у речки, мы устраивались; клали на траву салфетку, выкладывали на нее еду, располагались кругом. Развертывали тетради с лекциями. Атлас анатомии портил все настроение: кости, красные, без кожи, мускулы, печенька — как это не шло к окружающей прелести весенней природы.

— Посмотри, как это ужасно! — говорил Левитан. — Люди вообще так себе, но очень красивы. Но еще когда содрать кожу, то это отвратительно. Зачем мне анатомия, когда я пишу даль и небо?

— А эта греческая пустыня? — говорил Святославский, показывая на книгу истории искусств. — Черт ли в ней! У нас Днепр в Киеве много лучше.

Один из нас начинал читать лениво и скучно, некоторые записывали для памяти в тетрадку.

* * *

И вот однажды, уйдя из Москвы в Медведково, мы расположились у мельницы. Хороша большая старая мельница, шумят колеса, брызжет вода на солнце и, пенясь, бежит из-под колес в реку. Бодро и приветливо на мельнице. В зеленых кустах ольхи стоит деревянный стол и скамейки — тут, за столом, мы и расположились.

Попросили у мельника молока. Какая-то тетка принесла нам две крынки. Поставила на стол. А на столе был открыт атлас анатомии, и тетка боязливо поглядела на нас, увидав в атласе череп.

Ушла.

Пришел молодой парень, весь осыпанный мукой, посмотрел на череп. Ушел.

Пришел старик-мельник в муке. Посмотрел на атлас, увидел череп и спросил:

— А это чего?

— Да вот, — говорим, — череп.

— А пошто он вам нужен?

Он перелистал атлас, покачал головой и спросил:

— А пошто это вы с собой носите?

— Да вот, — говорим, — учимся.

Мельник пристально посмотрел на нас и ушел.

Вскоре опять пришел с отцом дьяконом, и все семейство мельника.

Дьякон поздоровался с нами и сказал:

— Мельник рассказывает: пришли, говорит, могильщики, что ль, какие и книгу упокойников читают.

Посмотрев на атлас, дьякон рассмеялся.

— Оно и впрямь... — сказал он, смеясь, — смотреть довольно страшно.

И, обернувшись к мельнику, добавил:

— Студенты. Доктора из них будут потом.

— Так, так, — согласился мельник. — Только пошто здесь они у меня читают за столом?

Мы объяснили дьякону, что готовимся к экзамену, — на воле лучше запоминается, а в Москве скучно.

— Так, так, — соглашался мельник. — Только у меня тут не надо, потому все мое семейство пугается...

— Пойдемте ко мне, — смеялся дьякон, — у меня в саду вольготно, и чайку попьем.

Близ церкви, в саду у дьякона, была беседка, и там стол. Цвела черемуха.

Подали самовар, творожники, сливки. Дьякон обратился к старшему из нас — Несслеру — и пожаловался: одно ухо у него закладывает, и в голове шумит; как бы это насчет лекарства, какое помогает?

И Несслер, не смущаясь, ему сказал:

— Очень просто: налей себе из лампы в ухо деревянного масла, и все как рукой снимет.

— Я пробовал маслом, — ответил дьякон, — но только от его стало хуже — совсем ухо не слышит.

— Ну, тогда надо горячей водкой. Ложку горячей водки в ухо, как рукой снимет, — посоветовал Несслер.

Он пошел в дом к отцу дьякону, там согрел водку и налил в ухо больному.

Когда вернулись в беседку — дьякон был в восторге: болезнь как рукой сняло. На столе появилось угощение: пирог, жареная рыба, рябиновка. Пришла дьяконица с дочерью — рады гостям и доктору. Дьяконица жаловалась, что у нее на плече опухоль, и нарывает. Несслер, не смущаясь, отвел ее в сторону из беседки и осмотрел больное плечо.

— Необходимо операцию сделать, — озабоченно сказал он. — Это не страшно: раз, и готово.

И Несслер увел дьяконицу в дом.

«Ну, — думаем мы, — что же это будет?»

— Надо уходить скорее... — сказал Поярков.

Из дому донесся крик дьяконицы: «Ой, ой, ой...»

— Пойдемте, пора, — решительно поднялся Поярков.

Но тут из дома вышли дьякон и Несслер и направились к нам. Дьякон благодарил Несслера. Нам сказал:

— Видать, что на последнем факультете состоит...

Однако мы не стали больше задерживаться и, простившись и поблагодарив дьякона, ушли.

Дорогой все напропалую ругали Несслера, он шел впереди, молчал и улыбался.

Через две недели в мастерскую Саврасова пришел отец дьякон, принес в подарок Несслеру яйца, рыбу, курицу — у дьяконицы тоже болезнь как рукой сняло...

Впрочем, надо думать, что нарыв прорвался бы в тот же день и без медицинского вмешательства нашего друга...

Ночь

В Москве уже стало пыльно. Ночь и день громыхают ломовые извозчики по бульжной мостовой. Живу я на Мясницкой, а по ней самый проезд в Москву со станций железных дорог.

— Не спится, — говорю я доктору Ивану Ивановичу, — летом трескотня по мостовой.

— Я вам шарики принесу, в уши вставлять.

— Знаю, — говорю я, — эти шарики, вы гофмейстеру давали, помните? А он их вынуть-то и позабыл и пошел на тягу. Вальдшнеп летит, а он не слышит. Потом только, когда с тяги пришел, — вспомнил.

— Да, — смеялся доктор, — он эти шарики и тогда вставлял, когда эти ученые у вас гостили и племянники ваши тоже, чтобы не слышать их споров. Да ведь и правда — наговорят, тошнота берет. Эх, хорошо бы в деревню. Только у нас в университете — самая работа: зачеты сдают. Не могу поехать к вам.

* * *

Середина мая. Решил я с приятелями поехать в деревню. К десяти часам вечера собрались на Ярославском вокзале. В вагоне третьего класса было много пассажиров. Рядом сели люди торговые, простые, в поддевах. Едут в Ростов. Народ, видимо, все — ярославцы. На полках — кульки, мешки, корзинки, перевязанные веревками. Под лавками — тоже багаж.

Поезд тронулся. В окнах мелькнули убегающие огоньки московского пригорода и пропали. Показались темные силуэты лесов, в весенней ночи блистали звезды. Тускло горел в вагоне фонарь. Один солидный пассажир, в новом картузе, с шейей, повязанной шарфом, говорит медленно другому:

— Чего ты служишь? Знаем, кому служишь. Кто не знает Афросимова... Знают, конечно, — помалкивают. Богатей. А правду сказать — пройда. И вот жох — беда. Он теперь и напоролся тоже на сквалу. Вот напоролся! Тот сквалыга да сутяга, и этот. Вот и пошло у них. Назначут суд — отложут. Судьи никак разобраться не могут, потому что и свидетели все, и сами — такая сволоча, выжиги, нагревалы, что у судей прямо ум раскорячился. Правды-то ни в ком не видать.

— Ну, Мякитин-то тут ни при чем, — говорит другой.

— Эх, хватил — Мякитин. Об ём острог давно плачет. Мякитин проныра, кого хошь нажмет, ну и прохвост! Тоже говоришь — Мякитин... Ему попадись, он тебя живо вытрясет всего.

— Да уж, ему не попадайся, — говорит с другой лавки молодой парень. — Он из себя добрягу показывает: «Я то — я это». Благодетель, ласковый такой. А морда-то волчья, хвост собачий — подлипала.

Наступило молчание. Вошли с фонарем контролер и кондуктор. Брали и прощелкивали билеты. Когда обошли вагон, опять из пассажиров кто-то сказал:

— А вот у Малашкина жена — что надо!.. А он помалкивает. Видать, что он с ей заодно работает. Она все с Андриюшкой Зиновьевым вертит, у его деньги завсегда. Отец балует.

— Что ж, Малашкин терпит — потому она все в дом несет.

— Ханжа, — сказал кто-то в стороне, — богомольница, шито-крыто...

— А всех у нас в городе жулей — Еропкин. Такой стрюцкий — беда! Откуда у его деньги взялись? Говорят, от упокойников. Он завсегда при похоронах — первый. Сейчас подлизалой ко вдове лезет. Ну, а та, при простоте и при горе, верит. А он притворяется, жалеет, плачет-заливается... Ну, значит, вдова думает — хороший человек. А он, притвора, и нагреет.

— Но ведь теперь верить кому можно? Сам себе не веришь... — сказал кто-то.

— Это верно, — согласился сосед. — Он себя хорошим показывает, а сам он — ера...

Уж поздно. Поговорят пассажиры и замолчат. И вдруг кто-нибудь опять скажет:

— Ну, а Смирнов кренделя тоже крутит. Докрутится...

Мой приятель, охотник Караулов, рассмеялся, слушая разговоры пассажиров, и спросил, обратившись к ним:

— Вы что же, в Ростов едете?

— Да, в Ростов, а что?

— Да так. Вот вы всю дорогу говорите бесперечь, что у вас в Ростове одна плутня.

— Есть отчасти, — ответил ему солидный пассажир.

— А вы-то — московские будете? — спросил Караулова другой пассажир.

— Да, мы — московские, — ответил Караулов.

— А у вас в Москве тоже, поди, плутня есть?

— Ну, как сказать... — засмеялся Караулов, — как-то у нас все же не так. Вы всю дорогу только и слышно: «пройда, притвора, нажигала...».

— И у вас не лучше. Только у вас в Москве народу-то много. А у нас друг дружку знают. Наши-то голубчики нам видней.

— В Москве-то тоже не зевай... — сказал другой пассажир. — Есть такие молодчики, прямо на ходу подметки режут...

— Есть такие, что и печати негде ставить, — сказал другой.

— Вот что, — вдруг вспыхнул мой приятель Павел Сучков, — надоело, пора спать. А тут все разговоры — пошлости... Я уйду в другой вагон, во второй класс.

— И правда, — поддержал его гофмейстер. — Там и сиденья мягкие, поспим дорогой.

Решили все перейти во второй класс.

* * *

На остановке у станции Троице-Сергия мы взяли чемоданы, ружья. Вышли на платформу и остановились: от молодых тополей и акации в ночи разливался неизъяснимый запах, аромат весенней ночи. Монахи с кружкой стояли у палисадника станции и пели:

Преподобный Отче Сергия,
Моли Бога за нас,
Во имя Отца и Сына
И Святаго Духа — Аминь...

В душу вливалась какая-то особая красота, которая была только там, в России. В ней был особый мир. Мир надежды, радости. И верилось душе, что есть чистая совесть, правда и честь, которая в скорби молит Бога за нас...

* * *

Во втором классе народа было меньше. Мы расположились и уже решили вздремнуть, как кто-то по соседству сбоку вдруг сказал:

— Хорошо, что спохватились. А он все же успел хапнуть триста тысяч. Сидел, восемь месяцев сидел. Под манифест попал. Наследник родился. За триста тысяч можно и побольше посидеть...

— Что ж это такое... и тут опять! — возмущенно сказал, глядя на меня, Павел Сучков. — Я уйду в первый класс.

Павел взял чемодан, чехол с ружьем и ушел.

* * *

Прошло около получаса, мы стали уже засыпать, — как вдруг он вернулся. Наверху спали пассажиры. Оказывается — и в первом классе то же: он пришел, расположился, скинул с себя пальто, лег, и пожалуйста — один из верхних пассажиров говорит другому:

— Он, конечно, как барин и граф, — ей верил, и был рад, что она беременна. Понимаете — беременна. А она-то была раньше актрисой и только ловко разыгрывала роль беременной... Родит сына. Граф очарован, рад. И вдруг, подумайте, узнает, что ребенок-то был куплен, да — куплен!.. Ну, конечно, суд...

Павел Сучков молча встал, надел пальто, взял опять чемодан, чехол с ружьем и вернулся к нам. Он смотрел на нас, выпуча глаза.

— Невозможно... — заключил он. — Пойду лягу в коридоре.

* * *

Снова прошло около часу. Вдруг слышим в коридоре шум.

Что такое? Оказывается, кондуктор, проходя по коридору и увидя спящего человека, на остановке позвал жандарма. Тот посмотрел на спящего и потряс его за плечо рукой.

— Господин, а господин, ежели вы нездоровы, — Павел Сучков был очень бледен, — у нас аптека и фельдшер есть при станции...

— Дайте же мне уснуть наконец! — истерически крикнул Павел Александрович.

Но тут в окнах мелькнули знакомые места — наша станция. Мы высыпали наружу — в буфете нас уже ждала свежая семга... Солнце уже всходило...

В майские дни

Хороша была весна в России!

Половина мая. Москвичи все уже переехали на дачи. И как много было этих дач в окрестностях Москвы: от крестьянских деревенских избушек — до роскошных особняков.

Впрочем, я и приятели мои, охотники, московским дачам предпочитали мой деревенский дом, большой и просторный, в глуши Владимирской губернии, среди лесов.

* * *

Благодатные дни. Жаркая, звенящая тишина. Недвижность. Зеленый сад, березы и ели — в палящем солнце. Таинственно и протяжно свистит иволга, — делает лето. В душе — лень и истома...

Мои приятели одеты в рубахах, повязаны по животу поясочками. Один Василий Сергеевич в чесучовом «спинжаке», как говорил Ленька. И племянник мой — в студенческой тужурке, невероятно короткой, по моде.

Никто из приятелей ничего не делает. Кто бродит по саду, кто лежит на лавочке, кто под березами в тени. Собираются только к завтраку, к обеду. Завтрак — на террасе. Бриться лень — все обросли бородкой.

— Хорошо! — говорит охотник Караулов за чаем на террасе. — Вот именно — опрощение, тишь, отрада. Ни городских забот, ни назойливых мыслей — вся «интеллигентщина» выветривается. Газет нет, ходим в рубахах, в туфлях, щетинка отрастает! Все — на одно лицо. Всеобщее поравнение.

— Позвольте, — заспорил мой племянник-студент, — как это вы говорите: «интеллигентщина» выветривается. Бриты или небриты, в рубашках или в пиджаках — не все ли равно. По лицу интеллигента видно.

— Не согласен, — сказал Караулов. — Если так проживем еще с месяц — черта с два вы нас за интеллигентов примете. Вот посмотрите, как уже оброс бородой Юрий Сергеевич. Всякий, кто посмотрит, скажет — кучер.

— А знаете что, — засмеялся приятель Вася, — если так жить до августа, то и вправду мы все на кучеров похожими сделаемся. Вон Колька, уж на что у него интеллигентная физиономия, а за месяц и у него будет рожа, как у беглого каторжника.

Коля Курин быстро надел пенсне и пристально посмотрел на приятеля Васю.

— Позвольте, позвольте, почему я это в августе буду похож на беглого каторжника? Это кто же вам дал право делать такие выводы?

Не слушая Колю, Василий Сергеевич продолжал:

— А доктор Иван Иванович — всего две недели, как не стрижет баки, и опять похож на раскольника. Никто не скажет, что интеллигент, доктор...

Иван Иванович насупился:

— Едва ли. Я все-таки дворянин.

— А я — столбовой дворянин! — оживился Коля. — Я во второй книге дворянства.

— Вздор! — вскинулся вдруг Павел Александрович. — Вздор! И в четвертой книге не можете быть, тут столбовым и не пахнет.

— Почему? — возмутился Коля.

— Ясно почему: фамилия слабая, куриная, не дадут столбовому.

— Почему? А Курочкин есть? Уткин есть? Галкин есть? Воробьев есть? Петухов есть? Голубятников есть? Всё птичьи фамилии. Орловых сколько!

— Но орел и курица — большая разница. И как ни странно, почему-то весь этот вздор, эти споры всегда начинаются с него, — показал Павел Александрович на меня. — Нигде этого нет, только здесь, у него. И в чем дело?.. Люди, конечно, меняются, но что бы ни было — видно происхождение. Дворянин виден.

— Ни черта не виден! — сказал ни с того ни с сего Юрий Сергеевич.

— Но порода же видна?

— Порода и в собаках есть, — кротко заметил Караулов.

— В лошадях еще, — прибавил Ленька, убирая со стола посуду.

— Молчать! — взвизгнул Павел Александрович. — Это невозможно; Ленька тоже лезет в разговор.

— Я его как-нибудь умою, — сказал Василий Сергеевич, обращаясь ко мне.

Тетенька Афросинья принесла к столу вареники и сказала:

— Вот господам вареники из свежего творогу со сметаной.

— Скажи, Афросинья, — спросил я, — кто из нас больше всего на кучера похож?

— Выдумаете тоже! Какие кучера! Видать, что господа.

— Ну, а кто больше всех на барина похож? — спросил Караулов.

Афросинья в недоумении посмотрела на всех и сказала:

— Юрий Сергеевич более всего похож.

— А почему? — спросили приятели.

— А как же... Из себя полный, щеки с румянцем, кушает кротко. Кушая, молчит, только глазами водит благородно — туды-сюды. Пьет скромно, не морщится, видеть, что барин.

— Вот и ошиблась, — сказал Василий Сергеевич. — У нас столбовой дворянин — Николай Васильевич.

— Да кто знает... Только жигуляст, стана нет. У Юрия-то Сергеича — стан... У нас столбовой-то дворянин недалече тут жил. Ему ничего не скажи, а то, и-их, ругаться начнет! И вот кричит, на всех кричит!.. На попа кричит, на жену, на земского. Видать, что столбовой... Так на праздники ему гости пели, а он зачинал:

Эхма! поди прочь,
Поди прочь, берегись...
Скинь-ка шапку,
Скинь-ка шапку,
Скинь-ка шапку
Да пониже,
Да пониже поклонись...

* * *

Вдруг потемнело. По крыше террасы забарабанил дождь, блеснула молния, за ней раскаты грома.

— Вот оно что! — сказал доктор Иван Иванович, — гроза... Оттого-то все глупости и говорят. Действие стихии...

РЫБОЛОВЫ

Что может быть лучше лета в России!..

— Понять надо, — говорил мне мой приятель, слуга и рыболов Василий Княжев. — Только чтобы правильно жить и самую отраду получить, то надо не иначе, как на бродяжное положение перейти. Потому вы всегда около дома в саду вертитесь — чай, варенье, всех ваших знакомых с террасы не сгонишь. Ягоды едят со сливками. Ну не то... А вот забрать корзинку, то-сё, бутылочку от простуды, удилище, значит, снасть разную, и пошел куда глаза глядят. Иди и иди. Ну, чего наглядишься — отдохни. Ночь застанет — ночуй. Лесок, тепленку разведи, чайку в котелке согрей, хлебца съешь, колбаски и иди дальше...

Так вот, иду я этак-то, деревня, — ну, я обхожу... Так тропкой иду и гляжу, речка, круча песчаная. Никого нет. Думаю, знать, Москва-река. Нет — много поуже. У кручи — осыпь. Деревья — елочки осыпались. Сухие. Иван-чай растет. Вечереет. Эх, место хорошо. Дух какой от купавок идет. Думаю, дай искупаюсь. Дно — чистый песок, и вода чистая. Залез и воду пил. После ўстали — вода-то чисто мед. После купанья истома берет. Останусь тут, думаю. Чего еще — рай! Развернул я снасти, поставил удилища на выползня. Так хорошо бубенчики на леске висят. Сам сижу, притулился, и дремлется. Устал. Слышу: бубенчик позванивает. Я изловчился и подсек. Ну, чую, и рыбина попала. Бойко водит, крутит, не идет. Вожу, к берегу-то ее подтаскиваю, а подсадчик-то не отвязал... Как быть? Прямо подвел к берегу — оборвет, так я в воду-то, по леске,

прямо рукой ей в рот да на берег выхватил. Судачища фунтов на двенадцать! Эх, думаю, судак, есть хочется. Ну, значит, вычистил, разрезал да в котелок. Соли, перцу. Ну и разварное было!.. Жалел, что один, — велик судак, на пятерых бы хватило. А пока ел — трех еще поймал. Да ночь не спал — так к утру у меня двадцать семь таких судаков. Забрал я рыбу да в путь — по бережку у реки-то. Пришел к запруде. Видать селение, а сбоку — фабрика. Вижу, встречный паренек идет. Я его спрашиваю: «Что за место здесь?» А он мне: «Река Сиверка. А ты не здешний, что ли? Это фабрика Милютина. На фабрику наниматься идешь?» — «Нет, — говорю, — до трактира добираться». — «Не ходи, — говорит, — а то фабричные озорные — шею намылят, видать, что ты бродяжный рыболов. Ишь рыбы-то сколько набрал!» — «Да, — говорю, — продать хочу». — «Пойдем со мной. Я на станцию иду — шесть верст. Я тебе скажу, кому продать, ты мне дашь одного судачка».

Пришли на станцию. Я судаков-то буфетчику и продал. Все удивляются: где поймал? Судак хорош. Чудно, река этакая недалеко — никто не ловит.

— Постой, Василий, — сказал я, — это надо поехать.

— Хорошо, — ответил Василий, — место и-их хорошо, вам бы срисовывать.

Бывший у меня в то время В.А. Серов сказал:

— Поедем туда. Это, должно быть, хорошо — обрыв-то. Я возьму халат, напишу там.

И приятелей моих — рыболовов увлек рассказ о судаках: с нами поехали Бартельс и Поплавский.

На станции, когда приехали нанимать подводку, — а Княжев не знает названия места, куда ехать. Фабрика, а какая фабрика, — «черт бы ее взял».

Возчик сказал:

— Здесь три фабрики — одна по эту сторону, а по другую сторону — две.

— Велика ли фабрика? — спросил Василий.

— А кто ее знает, — сказал возчик.

Поехали туда, где была одна фабрика. Верно приехали. Видна фабрика. Плотина. Мост через реку. Место ровное, луга кругом.

— Тощица, — сказал Серов.

— Пойдемте по берегу сверху, вроде как там должно быть.

Едем по берегу. Лесок. Остановились. Вылезли закусить. Сели на травку.

Немец Бартельс достал колбасу.

— Попробуйте моя колбаса, — сказал он нам. — Сам я делал. Когда я свинья резал, вот она кричал. Прямо я бросить хотел. Думаю: колбаса делать надо. Насилу зарезал.

Колбаса действительно была замечательная.

Едем — неизвестно. Забыл Княжев то место.

— Нишево, — сказал Бартельс, — когда рюмошка выпьешь, то в России везде хорошо. Лучше России нет страна.

И опять мы ехали проселком по берегу реки, то удаляясь, то приближаясь.

— Эвона, это самое место! — закричал Княжев.

Подъехав, возчики остановились.

С возчиками уговорились, чтобы утром за нами приехали.

— Ладно, — согласились возчики, — место это Лисьи Норы зовется. Какая здесь рыба? Это надо было с плотины ловить, на фабрике, там щучину бы поймали.

Приятели расположились под обрывом реки. Расставили снасти, закинули удочки, а кстати, для бодрости, время от времени прикладывались к бутылке.

* * *

Весело смотрели цветные полавки на воде. Но рыба не шла.

— Вот, — сказал я Василию, — видишь — рыба не берет.

— Может, напугана али что; сыта, знать...

— Напугана? — улыбнувшись, переспросил Поплавский. — А какое дело третьего дня вышло! Обедал я у Егорова, попросту, с охотнорядцами-хозяевами. А один-то — Громов, селедками торгует на всю Москву, миллионщик. Выходим от Егорова, у вешалок одеваемся, а он картуз в руках держит. Тут еще кто-то вышел, чужой, взял свое платье и в картуз двугривенный на чай бросил. А Громов — хоть бы что! Двугривенный взял из картуза и положил в карман. Мы ему и говорим: «Что ж ты двугривенный взял? на кой тебе? он ведь думал, что ты при вешалке работаешь».

Засмеялся Громов:

— Деньги, что рыба, когда к тебе идет — не пужай...

Бартельс, сидя на корточках у удочек, толстый, трясся от смеху.

— До чего умна русская голова...

— Так-то так, — сказал Василий, — да вот что: река-то не та. Похожа, да не та. Вспомнил я. Тут по ту сторону лес, а там-то, я помню, луг был. Вот оно что...

— Ах ты, чертова кукла! — крикнул вдруг Бартельс и, вскочив, схватил удочку: большой налим вертелся на берегу.

— Вот и уха.

Писавший с нас Серов сказал:

— Ну вот, как я был рад, что рыба не шла. Сядьте, Бартельс, а то я не успел написать, как вы на корточках сидели.

— Очень рада, — ответил Бартельс и, кряхтя, снова присел на корточки.

«Поэтесса»

В июне стояла несносная жара — деться некуда. На небе ни облачка. У сарая петухи и куры сидят с открытыми ртами. Кто-то сказал, что чай помогает от жары. Пили с вареньем и коньяком. Еще хуже.

Жара делает человека злым — ни к кому не приступись, как собаки огрызаются. Вода в речке теплая. Купаемся часто. Залезаем в воду по горло.

Доктор Иван Иванович разделся на берегу, — тело такое белое, — подошел к воде, наклонился, голову мочит.

Осторожно входит в реку, потом бросается и плывет.

— У Ваньки, когда купается, лицо такое серьезное, глаза белые. Он на какого-то угодника похож, — сказал толстый Юрий, влезая в реку.

— Богоносец, — сказал Василий Сергеич. — Ух ты, черт, до чего меня слепень жиганул.

К реке подбежал Ленька:

— Со станции какая-то барыня приехала. Спрашивает Николая Васильевича.

Приятель Коля, услышав о приезде дамы, наскоро надел штаны, схватил пиджак, сапоги и побежал по берегу в сторону к лесу.

— Постой, постой, куда ты? — кричали из реки.

Но Коля уже пропал в кустах.

— Молодая барыня-то? — спросил Василий Сергеич, окунувшись с головой.

— А кто ее знает, она вуалью завернута.

— Молодая? — раздраженно переспросил Василий Сергеич.

— Я ведь говорю, что не видать какая.

— Что ты мямлишь? Какая?! Молодая?!..

— Чего ж, — лениво ответил Ленька, — я ведь говорю, а вы все окунаетесь.

Василий Сергеевич уничтожающе посмотрел на меня и сказал:

— Слуги у вас!..

— Только его спрашивала? — спросил доктор.

— Нет, еще спрашивала: «А доктор Иван Иванович здесь?» Я сказал — здесь.

— Ах, черт!

Доктор Иван Иванович живо выскочил из реки, схватил на берегу одежду, простыню, надел шляпу и пустился в сторону леса...

— Хороша гостя! — смеялся толстый Юрий, окунаясь и отдуваясь.

— Чего же смотришь, поди скажи ей, что их нет. Пошли в лес за грибами. А мы сейчас придем.

Ленька повернулся и пошел.

— Постой! — крикнул ему Павел Александрович, — ты поди, скажи ей, а потом возвращайся, да разгляди, какая она.

— Да я же глядел, — с сердцем сказал Ленька, — ведь ее не видать, вуалью вся голова завернута! Видать только, что толстая.

Покуда одевались, Ленька вернулся и сказал:

— Барыня на террасе сидят, квас пьют и велели, чтобы Николай Васильич или Иван Иванович сейчас же пришли.

— И больше ничего? — спросили приятели.

— Нет, спрашивала, есть ли лодка. Очень, говорит, люблю на лодке кататься... Я сказал, что лодка есть.

Мы стали подниматься по тропинке к саду. Василий Сергеич, шедший впереди, вдруг остановился.

— А почему все-таки они убежали оба? Нет, ну ее к черту. И я не пойду. Еще влипнешь в историю!..

* * *

Когда мы подошли к террасе, незнакомка поднялась к нам навстречу. Она была полная, с темными глазами, серьезная и лет сорока. Очень любезно сказала:

— Какой у вас прекрасный сад.

И, вздохнув и отведя глаза в сторону, добавила:

— А фиалок уж нет...

И опять вздохнула.

— А где же Николай Васильич?

— Утонул, — сказал неожиданно Караулов.

— Как — утонул?! — удивилась незнакомка.

— Он грибы собирать пошел, — мрачно сказал Юрий.

— Собирать грибы — какая проза! Гораздо лучше кататься на лодке и рвать лилии. Они так пахнут...

— Тинной, — неожиданно сказал Ленька.

— Не твое дело! что лезешь?! — крикнул сердито Павел Александрович.

— Я так люблю цветы! — вздохнула незнакомка.

* * *

Павел Александрович предложил незнакомке свою комнату — отдохнуть. Она томно взглянула на него и сказала:

— Благодарю... Вы — милый.

А в дверях обернулась, вновь подарила Павла Александровича томным взглядом и вздохнула.

— Что же это такое, — вдруг возмутился Павел Александрович. — Куда же они пропали? Это странно и пошло. Такая милая особа. Решила оживить наше одиночество... С какой стати убежали! И что это значит?!

* * *

Незнакомка вскоре вышла на террасу без шляпы и, восторженно протянув руки Павлу Александровичу, воскликнула:

Я за тобой пойду повсюду,
Тень любви твоей и ласки
Жгут меня, как стрелы, сказки...

Павел Александрович несколько опешил.

— Как странно! — продолжала незнакомка. — Доктор — это мой Лоэнгрин, а Коко — сама грация, мой папийон, и оба ушли по грибы. Какая тоска!

Тетушка Афросинья накрыла стол на террасе. Ленька принес и поставил на стол водку, балык и миску с окрошкой.

Незнакомка бодро выпила рюмку водки и закусила балыком.

После завтрака она сказала:

— Я еду. Здесь лес и глушь. Меня ждут мои друзья — поэты. Пусть соберут мне полевых цветов. Больше. Как можно больше, чтобы я могла все лицо погрузить в них!..

Ленька хмыкнул и опротясь бросился в сад. Павел Александрович злыми выпученными глазами посмотрел ему вслед.

— Болван!..

Сядясь на тарантас, незнакомка оглянулась на Павла Александровича и капризно сказала:

— Ну, что же вы? Садитесь, мой Рауль...

Павел Александрович расцвел и сел в тарантас. Незнакомка помахала нам кистью руки. Тарантас выехал за ворота...

* * *

— Это номер! Доктор — Лоэнгрин. Николай — папийон! Что же это такое? — хохотал Юрий Сахновский.

— Это она самая, — сказал Караулов.

— Кто — она? — спросили приятели.

— Вот то-то, что никто не знает... Поэтесса!..

— Уехала? — входя на террасу, спросил Василий Сергеевич. — Она ко мне в Москве заходила. Все около артистов, писателей, поэтов вертится...

* * *

Павел Александрович вернулся и, входя, мрачно сказал:

— Она меня называет Раулем. Милейшая особа, но странно — на станции ее дожидались какие-то два молодых человека. Она на Ярославль поехала. А все-таки, — подняв палец кверху, продолжал Павел Александрович, — она захотела пойти за мной. Пойти! Это понять надо.

— И за мной, — сказал Василий Сергеевич.

— И за мной, — промычал Иван Иванович.

— Какие пошлости! — поморщился Павел Александрович. — Рауль!.. Хм!.. Странная особа...

Веселье...

Ясное утро. Должно быть, будет яркий день.

В открытое окно виднеются зеленые, красные, желтые крыши московских домов. Вдали Сухарева башня.

Опустела Москва. Кое-где по Садовой пройдет извозчик — и вновь безлюдье.

* * *

Большинство москвичей живет на даче. А оставшиеся в Москве — из тех, кто побогаче, — ужинают в загородных ресторанах и садах.

В Петровском парке — роскошные рестораны — «Стрельна», «Яр», «Мавритания». Киоски, отдельные кабинеты. Цыганские, венгерские и русские хоры. Знаменитые солистки. Цыганка Варя Панина.

К вечеру у Страстного монастыря, на площади, стоят лихачи-извозчики. Рысаки. И по Тверской улице летят с седоками, обгоняя друг друга, за город: проветриться, выслушать хор — тоску развеять.

Именитое купечество, деловые люди любили прокатиться на лихаче.

Москва к ночи в летние дни как-то замирала в сукле!

— Эх, дернем в «Мавританию», — говорили приятели, — подышать воздухом. Послушаем хор. Проветриться необходимо. А то что-то тоска в нутро лезет. Я свою Марию Петровну в Крым отправил. Сидишь все в конторе один, делов не оберешься.

* * *

Я тоже сижу в Москве. Душная мастерская под крышей Большого театра. На полу — огромные холсты.

Пишу длинной кистью декорацию к «Руслану» Глинки. Сперой открывается сезон. Мокрым полотенцем обертываю голову: невозможная жара от раскаленной крыши театра.

Ко мне в мастерскую приходит приятель, художник С.А. Виноградов. Франтовато одет. В петлицу пиджака вдега увядшая роза. Лицо унылое, красное.

— Как к тебе высоко лезть! — говорит он. — Лестницы, лестницы, насилу добрался. И как ты можешь писать в такую жару?.. Хорошо бы поехать в деревню.

— Не говори... — отвечаю я. — Что делать, приходится. Большая работа. Что это у тебя роза-то завяла так?

Он посмотрел на розу и вынул ее из петлицы.

— Да вот... со вчерашнего дня застряла. Вчера в «Мавритании» были до утра. Что Вася разделявал... Все удивились. Что-то на него нашло... Понимаешь, собралась компания. Ну, думали, куда деться, и решили поехать в «Мавританию». Полно! Нам отвели небольшой кабинет. Уютный. Цветные обои. Хор цыган. Темные прически, смуглые лица, красные платки, пестрые шали. В открытые окна видна летняя ночь. Луна освещает ветви деревьев Петровского парка. Канделябры со свечами и бокалы искристого шампанского...

Он мечтательно закинул голову и смотрел куда-то поверх меня.

— Цыгане поют. И в пении их есть что-то общее с этой темной ночью. Какой-то заман в иную жизнь, жизнь чувства, любви и неизбежного разочарования. Чего-то хочет душа, ищет, содрогается. И там, в глубине этой ночи, где-то там — есть ответ. Он будет, не может не быть — найдет душа счастье.

Сброшу с себя я оковы любви
И постараюсь забыться...
Налейте, налейте бокалы полной,
Дайте вином мне упиться... —

пела молодая цыганка.

Вася уж выпил и говорит мне:

— Это все верно... — И в глазах у него слезы.

— Что верно?

— А то, что... Эх, да что говорить!.. Вот я с Ольгой живу, а она меня не любит.

— А ты почему знаешь?

— То есть как же это, почему? Станный вопрос. Во-первых: вот когда поют, то мне все в голову другая баба лезет, и черт ее знает какая, но другая, не Ольга. Это что же значит? Ольга тоже поет с гитарой. Мне она не поет. А вот когда приходят гости, она оживляется, поет кому-то другому. Тоже другого видит. И все у нас так... Ты

знаешь, что у нас в России дружбы нет. А если и есть, то грош цена этой дружбе. Одни собутыльники — то не друзья...

— Ну как же, Вася, ведь я же твой друг... Коровин, Куров, Иван Иванович, — отвечаю я.

— Да. Я люблю гостить у Коровина. Хорошо у него в деревне. Всегда ерунда такая веселая. Но ему нельзя открыть свою душу — я бы давно открыл. Нельзя. Вам душу откроешь, а вы насмех подымаете. Вот мы все и живем с закрытой душой, как печка — вьюшками. Нет этих чувств настоящих, которые в пении. Слушаешь и чувствуешь, что они есть. А в жизни все другое, все не то, не полно. Страсти-то горят, а любви нет...

Тут Варя Панина запела:

Ты скоро меня позабудешь,
Но я не забуду тебя...
Ты в жизни разлюбишь — полюбишь...

Тут Васька как вскочит, как закричит:

— Слышите, какова штучка: «Полюбишь — разлюбишь, а я никогда никогда...» Что же это такое?! В чем дело?!

Ему все кричат: «Постой, чего ты взбесился, петь не даешь». А он в такой раж пришел — себя не помнит.

— Нет, — кричит, — позвольте!..

Потом встал перед Варей на колени и говорит:

— Дорогая, божественная Варя, ты гений, скажи мне, скажи правду. В чем тут дело? Ты поешь — я плачу... «Полюбишь — разлюбишь, новых друзей избереешь...» Что же это такое?..

Рыдает, слезами разливается.

Ну, понимаешь ли, Костя, скандал. Черт знает что.

А он не унимается:

— Ни дружбы, ни любви, ни черта вы не понимаете! Все живете во лжи и обмане. Рогатые черти!..

А Варя Панина посмотрела на него так грустно и серьезно, она привыкла к пьяным-то, — подошла к нему и сказала:

— Чего ты, Василий Сергеич, в характер входишь. Парень ты ражий, красавец. Сила в тебе. Песню чувствуешь, видать, что она тебе в душу входит. Отчего ты огорчаешься? Смирись. Это всегда так... Песня правду вскрывает. В песне — правда. Что делать — жизнь такая...

Ну, все стали кричать:

— Довольно!

А Гедиминов наливал Васе вина и говорил:

— Я только тебя понимаю. Я один. Вот видишь, здесь у меня, в груди, столько горя от женщины, что вино не берет... И я ли ее не любил? Я ей говорил: я твой и все твое. И она другого завела... И черт его знает, кто он такой... И вдвоем они меня били... Вот били!.. Пойми...

С.А. Виноградов замолчал.

— А дальше что же? — спросил я.

— Не помню.

С.А. Виноградов лукаво посмотрел на меня и добавил:

— Кажется, и я рыдал...

Княгиня

Лето в разгаре. Жаркие дни. Поспели ягоды.

Все приятели мои на грядках. Собирают клубнику. Бросают в решета. Отборные едят сами.

Ленька относит решета на террасу. У террасы варят варенье.

Все серьезные. Двоюродная сестрица моя, Варя, озабоченно сердита.

Блестят медные тазы на жаровнях, и пенится розовый сок.

Леньке дают пенки. У него розовые губы.

На нас никакого внимания. Мы, как рабы, на грядках собираем ягоду.

Жарко. Солнце стоит высоко...

— Довольно, — говорит доктор Иван Иванович, — пойдете купаться. Довольно набрали...

* * *

У реки тянет свежестью. Пахнет водой... Благодать...

Медленно раздеваются приятели на зеленой травке берега. Винокуров, раздетый, похож на краснокожего. Лицо и весь — красный.

Один из приятелей сильно расстроен — обманула его женщина, про которую он говорил, что очень ее любил. Сидит — не раздевается и томно смотрит вдаль.

Василий Сергеевич морщится и лениво тянет:

— Врешь, никого ты не любил... И тебе, вообще, любить еще рано. Раздевайся...

— То есть как это, рано? — возмущается разочарованный. — Двадцать-то шесть лет...

— Конечно, рано, — говорит приятель Коля Курин. — Я тебя старше. И я еще не знаю, была ли у меня настоящая любовь... Влюбляешься часто, ну, а не выйдет, и пускай...

— Да! — мечтательно подхватывает Винокуров. — Влюбляешься часто... Я вот до чего был влюблен! В брюнетку с Кавказа, княгиню грузинскую или имеретинскую, — хорошо не помню... До того был влюблен, до того, что туфлю ее целовал!..

— Да она не княгиня была! — сказал другой приятель. — Она у «Яра» пела в хоре. Княгиня петь не станет.

— Позвольте, — заспорил Винокуров, — ее все звали княгиней, и у «Яра». Ее княгиней звали все.

— Мало ли что!

— А почему не княгиня?

— А потому, что она говорит — «очинно вам благодарна». Княгиня так не скажет. Говорит, как горничная.

— На княгиню она как-то не похожа, — поддержали другие.

— «Не похожа, не похожа...» А вы когда-нибудь видали ли княгиню-то настоящую?

— Еще бы, — сказал приятель Вася. — Я в Перловке княгине при даче баню строил. Так вот, когда построил я, значит, ей говорю: «Надо вам баню посмотреть, ваше сиятельство, — готова». Она пошла с монахиней смотреть. А меня и управляющего не пустили. Сказала, что с мужчиной смотреть женщине баню как-то неприлично. Вот сразу видно, что княгиня...

Приятели до того разговорились о своих аристократических знакомствах, что поссорились. Особенно после того как Юрий Сахновский сказал:

— Вы никаких людей светского общества не видали и не знаете. И говорить с ними не можете. Если вас и переносит гофмейстер, который приезжает на охоту к Константину, то только потому, что он — охотник. Вы же ничего не можете сказать ни умного, ни возвышенного...

Приятели мои, вылупив глаза, смотрели на Юрия.

— Что это такое? Что же ты разумеешь под «возвышенным»?

— Как — что? Музыка, например, литература, поэзия.

— То есть как это так? — возмутился доктор Иван Иванович. — Что ты говоришь! Мы побольше тебя в университете-то учились и побольше гофмейстера.

— Да, Юрий, что-то ты заврался, — сказали все. — Литературу-то мы, брат, знаем. Мы и классиков знаем. Латынь и греческий учили.

— Знаете! — презрительно сказал Сахновский. — Вот доктор Ванька только и поет:

Я собаку на цепочку привяжу,

Ай, вяжу, вяжу, вяжу, вяжу, вяжу...

— Только это и знает...

— Так я и не певец, — сказал доктор Иван Иванович. — Вы это бросьте. Полезай-те-ка в воду. Вода-то от этой разной ерунды хорошо вылечивает...

После купанья приятели как-то ожили, стали веселее, кроме разочарованного...

Тот не сдавался, принял мрачный вид и вдруг сказал:

— Хорошо бы утопиться!

— Если наверняка, — равнодушно заметил Караулов, — то вон там, у обрыва, глубже.

— Топиться можете, — сказали другие, — только откачивать не будем. Жарко...

У террасы дома двоюродная сестрица Варя встретила нас строго. Бранилась и говорила, что ягоды набрали зеленые, а хорошие все сами съели.

— Это Ленька сказал, не иначе, — заметил приятель Вася.

Вечером, слышим, кто-то подъехал.

— Барыня приехала, — запыхавшись, говорил Ленька. — Велели сказать — «княгиня».

Вам велели сказать, — обратился он к Винокурову.

Винокуров задохнулся, вскочил. Бросился встречать.

В коридоре слышно было:
— Дурак! Какая дача? Говорил — фонтаны, а тут и клумбов нету! Ехала, ехала, бутлыхалась, бутлыхалась, совсем расхлябалась...
— Место прекрасное, река кристальная, — уговаривал Винокуров.
Вошла княгиня, оглянула нас и комнату. Сказала:
— Ну вот, а говорил, каменный дом с колоннами. Врешь, как сивый мерин.
— Голубушка, ангел мой, позволь тебе представить: вот архитектор.
Княгиня, смеясь, сказала:
— Васька? Я его знаю.
— А вот — композитор...
Княгиня отмахнулась и, смеясь, обратилась к Сахновскому:
— Здравствуй, брюхо!
Взгляд ее упал на Колю Курина.
— Коленька! Ты еще жив? Это что ж такое; какой ужас, а где же вино?
— Ты, конопатый, — крикнула она Леньке, — тащи сейчас вина, у меня под ложечкой сосет, жрать хочется. И — водки!.. Ну, живо, веселей двигайтесь! Чисто мухи дохлые...
Юрка, играй, где же рояль?.. «Эх, деревня Сосновка. Деревенские мужики, они просто дураки...» — запела княгиня. — Мерзавцы, калина...
Винокуров в умилении целовал ей руки...

В Петров день

Петров день. Начало охоты.
Полное лето.
У меня собрались приятели, идти с утра на охоту. Одни советовали идти по речке Ремже до Вепревого озера, другие — ехать на Иваново озеро в топкое болото. Кто советовал — в Ловцы на Вашутино озеро.
Не любил я охоту в Петров день. Жара, слепни, да и как-то рано — охота в Петров день. Выводки мелкие, а утки еще не летные.
Решали идти прямо от дома по речке Нерли, которая протекала по болоту.
Кто был рад охоте — это собаки. Когда охотники нарядились, надели ягдташи и взяли ружья, собаки от радости прыгали кругом нас, урчали и лаяли. Замечательный народ собаки!
Только вышли из дому, прошли сад и спустились к речке, Василий Сергеевич говорит, что надо искупаться — легче будет идти после купанья.
Решили купаться. Перенесли платье на другую сторону реки, оделись и пошли по реке.
Началось болото.
В ивняке собаки причуяли. Делали стойку, но ничего не вылетало...
— Коростень или курочка водит, — сказал Герасим.
Наконец вылетел коростель. Стреляли все.
— Ну, — сказал кто-то, — коростель — это не охота.
Красавцы-чибисы летали над нами. Чибисов никто не стрелял, — это не дичь.

С криком вылетела кряковая утка. Среди камыша собаки плавали — должно быть, утята ныряли. Было глубоко, и мы с трудом вытягивали ноги из жидкой тины болота.

Гофмейстер шел по краю, около леса. Перед ним вылетела тетерка. Кудахтала.

— Знать, выводок, — сказал Герасим, — но где же тетеревята — малы.

Гофмейстер выстрелил в тетерку, но промазал и рассердился.

— Хорошо, что промазали, тетерку нельзя стрелять, у ней выводок здесь, но малы, не летные.

— Да, но в чем же дело, почему же они не летают? Утки тоже не летают!

Решили идти по краю большого леса — искать выводок глухарей.

Становилось знойно.

По бугру большого леса собаки старались, но ничего не находили. У родничка внизу расположились отдохнуть.

Пышные зеленые листья ольхи закрыли ветвями родник. Лучи солнца освещали песчаное дно родничка. И видно было, как в кристальной воде его бил сквозь песок ключ. Вода была холодна.

Все прилегли на травке около.

— Это не охота, — сказал Павел Александрович, — надо было на Ремжу.

— Да ведь и на Ремже то же, — сказал Герасим, — где же, выводки не летные. Ежели в моховое пойти — на носатиков попадем.

Пошли через лес. Сосны в какой-то жаркой мгле. Собаки лениво ищут, а больше идут с нами, около ног.

— Это шпоры чистят нам собаки, — сказал Караулов, — около ног идут, это еще Тургенев сказал.

В моховом болоте было сухо и трудно было ходить по кочкам.

Вдруг поднялся невдалеке черныш и полетел над низкорослыми сосенками. Стреляли все. Но черныш все летел и вдруг снизился.

Пошли за ним. Долго шли. Вдруг видим, моя собака Польша несет во рту черныша ко мне.

— Позвольте, — сказал Василий Сергеич, — это неизвестно, кто убил. Конечно, ваша собака несет вам, а мой бы Шутик мне принес. А кто убил — неизвестно.

— «Мой Шутик», — передразнил Караулов, — он бы его сожрал в кустах, если бы нашел.

— «Сожрал в кустах!» — ведь это оттого, что в книжке охотничьей сказано, чтобы не кормить перед охотой. С голоду-то всякий съест. А когда кормить стал — он ничего не ест.

— Какая жара, — сказал гофмейстер, — весь рот высох.

— А у вас фляжка с коньяком, — заметил Караулов.

— Я пробовал — не помогает. Пойдемте отсюда. Это невыносимо — ходить по кочкам.

— Да вот, перейдем болото, речка будет.

Долго молча шли охотники. Показался лесок повыше, березы. И мы подошли к небольшой речке.

Сбоку на речке увидели мост, гнилой, старый. На нем, свесив ноги, сидел парень с перевязанной шарфом шеей, ловил на удочку рыбу.

Мы подошли к мосту, парень глядел на нас, лицо у него было бледное, больное, но очень красивое. Он, улыбнувшись, поздоровался с нами, сказал:

— Здравствуйте, Павел Александрыч.

Павел Александрыч посмотрел на него и на всех нас и сказал:

— Ты почему же меня знаешь?

— Вас? Да я всех вас знаю. Василия Сергеича, его высокопревосходительство. Изменила меня болезнь. Вы-то меня не узнаете.

— Странно, — сказал Павел Александрыч.

И пристально посмотрел на парня.

— Помните, в Москве, в «Эрмитаже», Кураш звали меня, — служил вам. Знать, изменился, не признаете. Знаю, все знаю. Мы, половые, все знаем, только говорить не велено. Одного пожалели раз купца. Хороший человек был, обедал с женой-то, а у него приятель. Я и сказал ему про приятеля-то правду, что жена его у нас в номерах, при «Эрмитаже», с этим приятелем-то путается. А он-то, дурак, на меня самому Егору Ивановичу Мочалову пожаловался. Тот меня ругал, да и рассчитал. Вот ведь что. Не говори правды, значит. А купец все же запил прямо мертвую... Помните, Василий Сергеич, черную косу? — засмеялся парень.

— Никакой черной косы не помню, — ответил сердито Василий Сергеич.

— Все, может быть, и не помните, только она тоже вас обманывала и частенько приезжала с ерниками разными. Это ведь чудно глядеть, этикие есть — обедают вместе, видать, что влюбившись, верит ей, а она ему, — и друг дружку дурят. И с чего бы это, не поймешь.

— А ты что же, здесь живешь? — спросили его.

— Да, живу, живу, хвораю. Помирать буду, знать, по осени. Фершал сказал. Прямо — что у тебя, говорит, чахотка. Поезжай помирать к себе. Тебя в больнице держать более не хотят.

— Что же, Кудряш, простудился ты, что ли? — спросил я.

— Нет, тоже через это самое я болезнь получил. Нагляделся я на все такое и думал — ну, я-то не поддамся. Очень это видеть — обман-то и еру эту — противно. Я молодой, непорченный, девятнадцати лет был. Так одна стерва часто таково обедала у нас в «Эрмитаже», за моим столом, с мужем. Придет одна, сядет ко мне за столик, его дожидается, а сама со мной разговаривает, то-сё. А красива, вот прямо как краля. Вот тоже летом говорит мне: «Вот, — говорит, — приезжай в Замоскворечье вечером и ходи у дома нашего в переулочке, я из сада через забор на тебя погляжу. Никого ежели в переулке не будет, то ко мне через забор махнешь. Там у меня беседка в саду. Мне с тобой поговорить надо». Думал я — пойти, не пойти? Всю ночь думал. Пошел. Живо через забор сиганул, в беседку и попал. Ну, она меня и то и сё, и соблазнила. А я как пришел домой; прямо сам не свой. А она меня опять зовет. «Эх ты, — говорит, — какой робкий». Пошел. Только я через забор-то перемахнул, гляжу — муж-то в окно глядит. Говорю ей: «Муж глядит». А она бегом из беседки да кричит: «Вор, вор!» Тут дворники, приказчики — все на меня, бить. Вот били, сапогами топтали. Ну и в участок, в больницу положили. У меня кровь горлом. Вот и все.

— Это другая охота, — сказал Караулов.

Философия

Жаркий июльский день. Делать ничего не хочется — лень одолевает. Приятели мои ходят только купаться. Зной, на охоту никто не идет. Стенают.

— Хоть бы дождичек пошел, невмоготу.

К вечеру по небу поплыли длинные перистые облака. Солнце садилось в дымку. Герасим сказал:

— Завтра, видать, будет ненастье, серый день.

Вдали, у мохового болота, по дороге неслась пыль — золотая в лучах заходящего солнца.

Стадо возвращалось в деревню. Блеяли овцы, и медленно шли коровы.

На реку лег туман, и потянуло прохладой.

Приятели обрадовались, повеселели. Умывались у колодца холодной водой. Говорили:

— Хорошо. Полегче стало. Так надоела жара.

Медленно наступал вечер. А за далекими лесами показался серп месяца.

Неумолчно стрекотали в траве кузнечики, и на склоне от сада, по дороге, трещал козодой.

Приятели собрались на деревянной террасе у дома. Все одеты легко, босиком. Зажгли лампу.

На террасе готовили ужин. Подали окрошку.

Толстый Юрий сел за стол, растопырил руки и мигал.

— Юрий-то совсем скис, — сказал архитектор Вася. — С таким брюхом в жару трудно...

Юрий Сергеевич вздохнул и принялся резать ножом огурец, кладя его себе в окрошку.

— Все стерпеть можно, все — полбеды, а вот комары заедают. Беда!

И он крикнул:

— Ленька, сделай милость, дай валенки, а то ноги едят непутем.

— А вот меня комары не кусают, — сказал кротко Коля Курин.

— Они не дураки, очень им нужно... Они тоже понимают... — сказал приятель Вася.

— Ты что же этим хочешь сказать? — спросил Коля.

— А то, что они хотя и мушки, а понимают. Им не очень-то хочется получить разные там стрептококки, стерванокки и кокки...

— Позвольте... — обиженно сказал Коля, — что значит «стерванокки»? Что это за разговор?

— Ну, а если правду сказать, столько это в текущей жизни всякой всячины есть, — ни с того ни с сего заметил доктор Иван Иванович. — Сколько борется человек!.. Помимо разных этих бактерий разные такие вражества, интриги, недоброжелательство, зависть, — черт его знает, чего только нет!.. И все же, среди всего ненужного, — жизнь есть радость. Жизнь! Есть в ней какая-то тайна... Да-с, тайна — и неразгаданная. Каждому хочется и нравится жить...

— Какая же тайна? — заспорил мой племянник, студент Володя. — Никаких, вообще, тайн нет. Рождаются, умирают...

— А забыли Софью Павловну? — сказал ему охотник Караулов.

— Позвольте... — быстро ответил Володя, — позвольте... Софья Павловна полюбила другого, вот и все.

— Сразу так, в вагоне, через полчаса, полюбила севшего в вагон коммивояжера и слезла с ним в Ростове, оставя вас с носом? Ну, ну!..

— Какая тут тайна, — сказал доктор, — у того деньги были, а у Володи — ничего.

— В обсуждение таких вопросов я не вхожу, — взволнованно сказал Володя и ушел из комнаты...

— Философия это или не философия, а вот есть такая странность... — сказал серьезно приятель Вася. — Вот, видите ли, Земля наша — шар довольно-таки тяжелый, и висит он в воздухе и вертится. Но в том-то и дело, что ни на чем не висит и не падает... Находится эта Земля наша в некоем пространстве, и нет ему, пространству этому, ни начала, ни конца. И на этой самой Земле живем мы — люди. И понять этого самого — как все это устроено — не можем... И также не можем ничего знать вперед, что будет. Живем себе на этой земле, поживаем, а потом умираем. И этого тоже понять не можем. И живем мы на этой самой нашей земле, которая прекрасна и обильна, живем хорошо, но не очень... Ибо — ничем не довольны. Всегда ссоримся друг с другом и вступаем в драку, то есть воюем. Отнимаем друг у друга эту самую землю...

— Это верно, — согласились все, — это правильно.

— И сидим мы летом чуть не в рубашках... — перебил Юрий, — и едим в жару крошку. А следовало бы выпить сейчас, когда спала жара, и закусить маринованным грибом рюмку водки. Только надо ее похолодить на погребце...

— Вот... с вами ни о чем дельном говорить нельзя, ни о чем возвышенном! Все профанируете! — рассердился приятель Вася.

— Чего вы, Вася правду говорит, истину. Правда, что никто и никогда этой тайны не узнает, — вступился за приятеля доктор Иван Иванович. — Скажите-ка, а кто создал-то все, ну-ка? А кто все сотворил?

— Ну, это уж ерунда, Иван Иванович, вернемся к Адаму!..

— А камень кто родит и землю? — не сдавался архитектор Вася. — Камень?.. А вы знаете, что камень растет?

— Ну, уж это ты врешь, — сказали все.

— Позвольте... но ведь это же доказано учеными...

— Вот тоже, — вдруг сказал Герасим, — ко мне барин из Москвы приезжал на охоту. Давно его что-то нет, не помер ли? Тоже был ученый, знать. Так вот грибы любил есть. Наберет, бывало, белых и сам жарит. Тоже любил рюмочку-другую выпить и грибом закусить. И говорил он мне: «Вот что такое, Герасим, гриб, никто из ученых не знает. Ягоды, репа, огурец — все известно. А вот гриб — никто не знает, как он растет, неизвестно, никто не видал. И понять нельзя — и не дерево он, и не капуста. Мы, — сказал барин, — ученые, агрономы, а не знаем. Да чего еще, он и на человеке растет. Много этого всего на свете, чего никто не знает. Вот что». А я ему и сказал: «А зачем, барин, все это надо знать?» Пословица говорит: «Будешь много знать — скоро состаришься». Заметьте, каждое новое место, на котором не был на охоте, тебе много заманчивей. Оттого — что не знаешь. Однажды меня отец в Переяслав с собой взял. Так вот я рад был — озеро увидал. Хорошо озеро. А после того я часто там бывал по торговой части. Ну и привык — озеро и озеро. Я на него и не

гляжу... Узнать хотят, все узнать. Много таких-то. Охота им узнать — как и что. И про соседа все узнать, и как ты живешь, — все ему интересно. А когда тебе плохо, то пожалеет малость. А вот когда хорошо, то расстроится. К нам в Буково человек такой пришел, ну и жить стал. Такой человек — ласковый, услужливый, хороший, тихий. В гости ходит, все про духовное говорит. А потом-то вышло так — он все выглядывал, укладку смотрел, куда деньги люди прячут, в какую кубышку, одежина у кого какая, где. Узнавал, выглядывал. А потом и обокрал всех. Видать, что самоучка был. Но все же в овраге его кончили...

В дни революции

Все чаще я вспоминаю Россию — вспоминаю не о трудах, огорчениях, неприятностях и несправедливостях, а все только о хорошем.

Больше всего возвращается память к природе, настроениям души среди этой природы и еще ко многому, что было в окружении жизни.

Вспоминаю также, как сразу там изменились жизнь при Временном правительстве.

Все так много говорили, спорили; притом — стуча почему-то рукой по столу или по плечу собеседника!.. И глаза у спорщиков вертелись, как колеса...

Говорили столько везде — на митингах и дома, что, мне кажется, все человечество, за все века, не сказало того, что одна Москва сказывала в те времена за час.

И только мои приятели-охотники, — потому ли, что они были не политики, — молчали. Будто их и не касалось все, что делалось кругом. И все они хотели уехать куда-нибудь поглубже в лес, на реку, к леснику на глухой хутор...

Императорский Малый театр объявил вечер «освобожденной России».

Это я и приятели мои пошли посмотреть.

Оркестр гремит «Марсельезу». Артистов — полна сцена. Во фраках... Артистки — в белых платьях. Поют на музыку «Марсельезы»:

Вы, граждане, на бой,
Вы, граждане, вперед,
Впе, впе, впе... ред...

Драматические артисты — Сумбатов, Головин. На сцене — пьедестал. Наверху Яблочкина, одетая боярышней, в кокошнике. На руках разорванные цепи. В одной руке серп, а в другой сноп ржи. В ногах почему-то лежит солдат.

Публика вся стоит.

— Пойдемте... — сказал мне на ухо приятель.

И мы вышли на улицу.

На улице народу было мало, и в окнах московских домов кое-где редко мерцал огонек.

— Доехала Москва... — сказал Сахновский.

— Да уж, — подхватил приятель Клодт.

Мы остановились в раздумье у фонаря на Кузнецком Мосту. Магазины давно заперты. Извозчиков нет. Забастовка.

Мы пошли к Василию Сергеевичу на Трубную площадь.

— А знаете ли что, — предложил я, — поедемте-ка в деревню.

Время было к весне. Таяли снега. Когда мы пришли к Василию Сергеевичу, как-то показалось скучно в его квартире.

— И впрямь, — сказал он, — едемте. Я буду собираться. Надо позвонить Павлу. Заеду к вам, собирайтесь, поедем на станцию, а там хоть — на товарный поезд. Надо-ело до чего в Москве, ужас!..

В три часа ночи мы уже ехали в теплушке по Ярославской дороге.

Когда отъехали от Москвы, как-то так радостно было, точно свалилась угнетавшая душу тяжесть...

Полная луна освещала весеннюю ночь. Прекрасны и таинственно отрадны были поля и леса, кое-где покрытые тающими сугробами снега.

Уже было утро, когда мы приехали к себе на станцию.

Солнце освещало верхушки большого соснового леса.

У буфетчика был чай с «ландрином».

— А сахару что же, нет? — спросили мы.

— Посылал за сахаром в Ростов — не достали.

Подвод у станции не было. Идти пешком до дому далеко, да и реку как перейдем — неизвестно.

— Кое-где лед-то тронулся, — говорил буфетчик.

— Пойдем в Буково, к Герасиму. Здесь всего три версты.

Шли проселком. У большого леса — грязная дорога. Трудно идти. Корни деревьев, изрытая колея. Шли лесом, в стороне от дороги.

Наконец лес поредел, на холме показались освещенные лесом омшаники.

И внизу, крайний у ручья, дом охотника Герасима.

Неизъяснимо родное душе было в этих омшаниках и доме Герасима.

Радостно встретил нас Герасим. Глаза его смеялись.

— Вот хорошо. Прямо на ток приехали. Глухарей пока много. Вчера петушину срезал. И-их, жаркое будет.

За столом, где стоял самовар, сидел какой-то нестарый человек с красным лицом. Одет по-городски.

— Вот, — сказал Герасим, — вчерась приехал Федор Петрович, тоже по охоте, так говорит, что жить у тебя, Герасим, останусь, потому — Москва наша с ума сошла.

Федор Петрович, смеясь, представился всем нам и просто говорил:

— Уехал. Что же это такое? Ей-богу, не знаю, как вы, а у меня прямо от Москвы скука берет такая, прямо блевантин.

И он, покраснев, засмеялся.

— И правда, чудно! Жена тоже. Конечно, я год только женат. Чего говорить, оторопь берет. И что с ей случилось — понять не могу. Народу к ней ходит разного, и все говорят. Так верите ли, узнать ее не могу. Глаза у ней переменялись. Были глаза голубые, а теперь черные стали и горят — как фонари. Мы рогожские. У меня свой дом и фабрика небольшая паркетная. Ну, значит, все порешил. Никто не работает, только разговор. Она с ними — отдай, говорит, фабрику, потому ты эксплуататор. Надоела мне. Плюнул я и уехал, потому — я охотник. И вот живу у Герасима. Скажу вам правду — нашел себя. Скажу правду — здесь жить и останусь. Она пускай как хочет. Избу построю у Покрова. Э-эх, хорошо. Плевать мне на деньги. И здесь прокормлюсь. Трезора мне привезут — собака у меня. Хороша...

В полдень мы наняли подводы и поехали ко мне. Поехал и Федор Петрович.

— Вот правильная жизнь, — говорил у меня наш новый знакомый, — только и здесь, пожалуй, покоя не дадут. Я-то думаю — совсем на новое положение встать. Бросаю все. Отец мой и я — вот мучались с делами! А что толку? Кто ценит фабриканта? Прямо как враг какой-то, эксплуататор! А все зависть! Вот теперь душа во мне до точки дошла. Решил бросить эту муку. Пускай другие работают. Не эксплуататоры. Мы старались, культуру вводили, в заботе жизни не видали... Чего еще — жене голову взбесили!..

Новый знакомый Федор Петрович ушел от меня на охоту. К вечеру не пришел. И не ночевал. Мы думали, что случилось.

Через два дня подучили от него письмо. Ленька сказал, что принесла какая-то старуха глухая, отдала письмо, а откуда — неизвестно.

«Простите за беспокойство, — писал он, — вы подумали, наверно, — не заблудился ли я. Нет, нашел место прямо по душе. Как рай. Покуда не скажу где, — жена бы не узнала. Увидимся скоро...»

Мы уехали в Москву. Но и летом не слыхали ничего о Федоре Петровиче. И не был он больше у Герасима.

Так и сгинул человек! И где-то он теперь?

И сколько их — сорванных, как листья с дерева, и закруженных вихрем по необъятным просторам российским!

Война

В июле месяце 1914 года, находясь у себя в деревне во Владимирской губернии, утром услышал я зычный голос гостившего у меня приятеля, Василия Сергеевича, — умываясь в коридоре, он говорил Леньке:

— Что ты, конопатый черт, врешь! Какая война?

— Чего — «врешь»?.. — отвечал Ленька. — За карасином ездил на станцию — там все говорят, что война вот уже три дня идет.

Я наскоро оделся и вышел в коридор.

Василий Сергеевич вытирал лицо полотенцем.

— Какая война? — спросил я.

— Да вот Ленька говорит, что на станции узнал.

— Ленька, — кричу я на террасу, — какая война?

Ленька не откликнулся и продолжал накрывать на террасе стол к чаю.

— Какая война, что же ты молчишь? — крикнул я еще раз.

— Да вот на станции говорят — солдаты уж едут с товарным. Я и сам видал.

— С кем война-то?

— С турками, говорят. У нас завсегда война с турками...

На террасе собрались приятели. Дарья принесла самовар.

— Дарья, — спросил я, — у вас в деревне говорят про то, что война объявилась?

— Нет, не слыхала, — ответила Дарья. — Сторож Семен говорил, что война началась, а где — кто ее знает.

— А вчерась, когда вы ушли, уже темнело, — перебил ее Караулов, — на Глубоких Ямах у меня донное удилище прямо гнет. Так вот линь прямо у самого берега сорвался, фунтов на двенадцать... Вы подсачек-то унесли, а руками нешто его возьмешь...

— Двенадцать фунтов! ну, это ты врешь, — оборвал его Василий Сергеевич, — я ведь видел: с фунт был, не больше.

Караулов обиделся и замолчал.

— До чего все охотники врать любят, — сказал Юрий Сахновский. — Ни один не может, чтобы не соврать... Двенадцать фунтов и фунт — разница!

— А вот Ленька говорит, что на станции слышал, что война. Это посерьезнее, — сказал я.

— Да, — забеспокоились приятели, — это, должно быть, не врут.

— Ленька! — крикнул я. — Поди-ка сюда.

Заспанный Ленька появился в дверях.

— Вот что, — сказал я, — поезжай-ка на станцию, сошлись на меня и спроси у начальника станции, у жандарма и у Казакова в трактире — с кем война и где. И правда ли, что везут солдат в товарных вагонах?

— Чего же... — ответил лениво Ленька, — я сам видел, как солдат и лошадей провезли в товарном. Солдаты песни поют, у их бубен с собой — веселые...

— А вы знаете, должно быть, правда война, — сказал Юрий. — Ведь мы сидим здесь, глушь, — ничего, конечно, не знаем.

В окно своей мастерской я увидел, как Ленька, стегая лошадь, выезжал из ворот сада.

За ним стлался проселок, пропадая в лесу. А за лесом, справа, голубела даль. И сразу что-то тяжелое вошло в душу... Какой покой!.. И неужели война?.. Зачем?

Слышу сзади голос Василия Сергеевича:

— Если правда, что война началась, то вам это все равно, а мне-то не очень. Придется идти. Хотя, конечно, у меня ревматизм, но все равно заберут — не посмотрят.

— И на твое брюхо не посмотрят, — обратился он к Юрию, — тебя возьмут. Ты еще молод. И Кольку — обязательно.

— Из-под пушек гонять лягушек, — засмеялся Караулов.

— Нет, извините-с... я бы сам пошел, только я вот близорук, ничего не вижу, а в очках нельзя — не пустят.

— «Пошел бы сам...» — передразнил его Василий Сергеевич, — какой волонтер, подумаешь!

Вскоре вернулся Ленька, и с ним Герасим Дементьевич.

— Ну что? — спросили мы.

— Уж пятый день война идет, — сказал Ленька, — на станции опять солдаты проехали,

— Да, это верно, — сказал Герасим.

— А с кем война-то?

— Да говорят — с немцами, а кто говорит — с австрийцами, а кто говорит — с венгерцами. А Казаков в трактире говорил, что мобилизация идет. Всех возьмут. Кольку Кольцова из Никольска забрали и Уткина из Любилок тоже. Помните, печника? Он печку у вас клал. Нарочно так сделал, чтобы в трубе-то выло. Потому, сказал, на чай мало дали.

Это правда, в трубе у меня зимой здорово выло.

— Если с немцами война, — сказал Василий Сергеевич, — то это благодарю вас. Это серьезная штука. Это заберут.

— Вот недавно, у Ремжи, — сказал Герасим, — распилочный завод ставил немец, а недавно бросил. Так и недостроил. Уехал к себе в неметчину. Знать, знал раньше. У нас и начальник станции из немцев. Его Карл Иваныч зовут. Толстый. И пить здоров. Вот пьет, а незаметно. Мне буфетчик говорил — хороший человек Карл Иваныч — все жалованье у меня пропивает. Жена у него тоже немка — Эмма Августовна. Бьет его. Только где же: женщина — а он чисто гора! Не чувствует ничего. Вот к вам Пеге-то приезжал на охоту, он со мной ходил, так в деревне свинью увидит, остановится, долго смотрит. Любил резать свиней, колбасы делал. Меня угощал. У него уж всегда в ягдташе колбаса. И верно, хороша колбаса. А здоров ходить был. Сядем отдохнуть, прямо вынет бутылку водки и прямо мне дает — пей, Герасим. Прямо из бутылки, и сейчас же закуска — колбаса, а потом сам бутылку оканчивает, залпом. Три бутылки за охоту выпьет. Это, говорит, на охоте все переганивается — полезно. По-русски-то он говорил нескладно... А вот, гляди-ка, войну затеяли. А пошто?

* * *

Приехали в Москву. Ехали с вокзала, видели — ведут огромное количество лошадей солдаты. Мобилизация лошадей. В Москве все говорят о войне.

Ко мне пришел барон Коля Клодт.

— Ты же, — сказал я ему, — барон Клодт фон Ингенсбург, ты же немец.

— Что ты, Костя, — сказал мне Клодт, — я по-немецки ни слова не знаю.

Напротив меня вывеска — «Портной Ламм», у которого я шил платье. Пришел к нему. Он мне сказал:

— Я ведь немец. Возраст мой призывной. Боюсь, что меня вышлют из Москвы. Вот ведь выдумали войну.

И он, опечаленный, качал головой.

Вскоре запретили в Москве спиртные напитки и вино.

Помню, в ресторанах, кое-где, давали водку в чайниках с большой осмотрительностью. Появились лазареты и раненые.

Все женщины Москвы сделались сестрами милосердия. Раненых обильно кормили. Москвичи посещали лазареты, приносили солдатам еду, конфеты. Образовался лазарет Императорских театров на средства артистов. Лазарет театральный посетила Государыня императрица с дочерьми. Из коробки великие княжны вынимали золотые кресты с цепочками и надевали на шеи раненых...

Я присел на постель к одному кавалеристу. У него было очень славное лицо, и был он сильно ранен. Я спросил его, хорошо ли за ним ходят и лечат.

— Хорошо, — ответил он. — Закормили меня.

И вдруг приблизил голову ко мне и зашептал:

— Вот что, все хорошо здесь, и чувствую я себя лучше, только вот одно — барыня ко мне приходит, актерка, говорят, вот она меня зачитала! Похлопочи, чтобы она мне книги не читала. А то — прямо беда!..

Двадцать пять лет... Чего только не довелось увидеть моим глазам с тех пор! И мог ли кто-нибудь думать тогда — тогда, когда мы на третий только день узнали в мирной нашей России о войне, — каким страшным бедствием окончится она для моей многострадальной родины.

Спорщику

В былое время в России у меня было много встреч с разными людьми, и огромное число их были — спорщики.

Эти люди — по большей части с высшим образованием — были всегда в приподнятом настроении. И стоило завести при них разговор, как они тотчас же вступали в спор — они никогда ни с чем и ни в чем не были согласны.

Новая пьеса, музыка, литература, картина — все вызывало в них отклик, все волновало. Волновало так, будто от этого зависела вся их жизнь и вся их судьба. Они негодовали, таращили глаза, кричали, надрывались...

С раннего утра они были в беспокойстве — скорбели, бежали к знакомому приятелю жаловаться. Жены их — по большей части несчастные — тоже скорбели.

Спорщик любил, чтобы его выслушивали и непременно соглашались. Тогда он несколько успокаивался и снисходил, прощал... Эти люди тонули в заботах и беспокойстве: артист не так играет в театре, музыка не та — не годится; художник не так пишет картины — всё декаденты; политика — не та, правительство куда не годится, все не так...

У этих людей от споров рты делались с годами как ящички — губастые.

У приятеля моего Коли выдвинулась нижняя губа вперед, у другого знакомого — тоже Коли, профессора, — к сорока годам рот сделался дудкой: в разговоре он как бы гудел из дудки.

Возвышенные, ищущие женщины льнули к ним и любили слушать их горячие речи, а курсистки в восторге визжали, — и роман в их жизни сменялся романом...

Романы были короткие, бурные... Про такого спорщика можно было сказать — пожар! Но их почему-то называли — «горящими»...

Мои друзья-охотники хоть и были тоже спорщиками, но другого толка. И когда приехал ко мне на охоту профессор Николай Петрович, у которого рот был похож на дудку, то приятели сговорились его подразнить и всё говорили — наперекор. Что он ни скажет — в ответ какая-нибудь чушь.

— А что нужней, — спросил во время завтрака на террасе Василий Сергеевич, — университет или Охотный Ряд? По-моему — Охотный Ряд.

— Еще бы, конечно, нужней! — подтвердил охотник Караулов.

Профессор сразу подавился крошкой, уронил ложку, вскочил из-за стола и закричал:

— Это возмутительно! Такое невежество я слышу в первый раз.

Он водил глазами, ища сочувствия у доктора Ивана Ивановича и у других. Но все молчали.

— Ведь вы же интеллигентный человек, вы архитектор! — кричал он Кузнецову.

— А крошка? — невозмутимо сказал Кузнецов. — Окрошку кушаете, любите крошку кушать? Сами сказали: замечательная крошка! В крошке — телятина, сметана, квас, огурцы, укроп, где вы достанете? В университете? Нет-с... в университете не достанете-с... Охотный ряд, выходит, нужней.

— Постой! — сказал доктор, чтобы поддержать жар. — Окрошка! А вот когда вы обожретесь, университет-то и нужен. Доктор нужен. Я нужен. Впрочем, конечно, медицина это — наука... Это не какие-нибудь там филологи или юристы...

— Как!.. — закричал профессор. — Что значит «какие-то филологи»? Я — филолог! Медицина-то еще не наука, а историю надо было бы знать всему народу.

— Ну, это ерунда, — заговорил Сахновский, — в истории было столько хорошенького, что стоило бы и забыть, а не только изучать.

— Безобразие! — кричал профессор. — По-вашему, об Нероне, следовательно, надо забыть, о Торквемеде забыть?..

— Конечно, забыть! — кричали все. — На кой черт их помнить?

— В на-зи-да-ние! И они же все-таки, они были...

— Очень жаль, лучше бы не были...

Профессор задохнулся, выпучил глаза и вдруг жалостным голосом сказал:

— Нет, с вами разговаривать невозможно. Это жалкий спор. У вас в головах никогда и не жило даже смутное понятие о цивилизации.

— Как! — вскинулся Василий Сергеевич. — Как — не жило? Я строю дома — это цивилизация, в доме прекрасный клозет — это прогресс.

— Клозет? — растерялся профессор.

— Конечно, это прогресс, — сказали все.

— Нет, довольно. Я прекращаю спор. Теперь я вижу, с кем имею дело...

Профессор был вне себя. Мне стало жаль его, я вышел из-за стола и сказал Леньке:

— Алексей, подавай скорей жареных цыплят и скажи им, что утки дикие летят и все на реку садятся, недалеко, в болото... Не то они профессора уходят.

— А оно и верно, — ответил Ленька, — утки-то летят.

И, подавая к столу цыплят, сказал:

— Во уток-то сколько летит, на болото садятся...

Охотники сразу замолчали и посмотрели в сторону болота. Профессор глубоко вздохнул, достал бинокль и, тоже хмурясь и досадливо поводя плечами, стал смотреть вдаль...

* * *

После завтрака пошли на реку.

— Странная у вас компания, — говорил профессор, идя со мною рядом на охоту.

— Да ведь они нарочно говорят.

— Нарочно? Это возмутительно! У меня после этих споров все дрожит, и руки дрожат.

На болоте охотники разделились, и каждый пошел со своей собакой.

Профессор стрелял в вылетающих из осоки уток, и все мимо. Подошел ко мне, развел руками и сказал:

— Пуделяю. Это все они. Я не могу говорить с такими людьми...

Больше в этот день споров не было: с охоты все вернулись усталые и, молча поужинав, легли спать.

* * *

Наутро небо было дождливое. Чай приготовили в моей деревенской мастерской. За чаем были горячие оладьи, которые необычайно понравились профессору, и он продудел:

— Прекрасные оладьи! Феноменально...

— Оладьи — это вам не социализм... — сказал композитор Юрий Сахновский.

И пошло!..

Охотник Герасим слушал, молчал, мигая глазами, и потом спросил меня:

— Чего это? Чудно больно! Почто барин этот, профессор, что ли, на оладьи так сердчает?..

В дождливый день

— Рано, должно быть, наступит осень, — говорил слуга и приятель мой, Василий Княжев, глядя в окно моего деревенского дома на сад. — Ишь как березы пожелтели, а ведь только август идет. Ненастного много времени было. И сейчас все дождь.

— Эпоха такая, — сказал Коля Курин.

— Позвольте, — заметил охотник Караулов, — эпоха к погоде не относится.

— Скажет Колька! — промычал, кушая яйцо всмятку, Василий Сергеич. — «Эпоха»! А еще университет кончил! Вообще, мы живем во время, когда никакой эпохи нет. И очень хорошо, что нет. Жить гораздо лучше и приятней.

— То есть как это — эпохи нет, — заспорил Коля. — Эпоха есть всегда. Вот министра Плеве убили — значит, мы живем в эпоху, когда его убили. Эпоху делает человек какой-нибудь выдающийся. Так и вся история делится и на эпохи...

— А я тебе говорю, никакой эпохи нет! И очень хорошо. А то явится какой-нибудь сорвиголова, вот и живи при этом милостивом государе. Явится этакий Алек-

сандр Македонский и начнет создавать эпоху... Война, тревога, разная чертоколесица... Вот тогда узнаешь!..

— Ну, заврался, Вася, опять, — сказал медленно Коля. — Эпоха-то Петра Велико-го была какая! Петербург выстроил! Окно в Европу прорубил, бороды у всех пообре-зал.

— А вот при Иване Грозном борода была почет. Попробовал бы он тогда бороду отрезать. Грозный бы тогда ему показал.

— А ведь, правду сказать, бородатый-то благообразней. Солидной много, — ска-зал Василий Княжев. — У нас в Москве, в Замоскворечье, купцы-то все бородатые. Важные. Пустого разговора нет. Жены тоже у них богомольные. В доме чистота, ни соринки. А помните, Константин Лисеич, мы в Архангельске были. По Белому морю-то ехали оттуда в Сароку Пундугу, семгу ловили на удочку, там поморы-то тоже все бородатые. Тоже в доме чисто. Ну, и жены у них красивые, большие, дебелие. Вот если бы Николай Василч посмотрел. И-х, бабы хороши. Поглядели бы, так слюна бы пошла.

— Это с какой стати ты смеешь со мной так разговаривать? «Слюна бы пошла!» У меня никогда слюна не шла, что это такое?..

— Вы не обижайтесь, Николай Васильевич. Вот вы бороду не отпускаете. У бри-тых у всех нрав один: всё с бабами... А бородатые как-то не так. В них смиренномудрие есть. Совсем другой народ.

— Заметьте, — продолжал Княжев, — бритые вдвое более говорят, чем борода-тые. Бородатый голову опустит, молчит и что-то думает. Заметьте, бородатые и ме-нее ругаются. Я на Волге был, так очень это заметно. У бородатых завсегда деньги есть, а у бритых верно, что нет.

— А ведь правда, — засмеялся Василий Сергеевич, — я заметил, что вот борода-тые рыбу на удочку не ловят.

— Это верно, бородатого не увидишь на реке, чтобы рыбу удил.

— А Петр-то Великий, — поморщившись, сказал приятель Коля Курин, — боро-ды брил, потому что неприятно смотреть на бородатых солдат. Каша застрянет в бороде — неопратно. Вот в кружке профессор Лопатин ужинал, так всегда в бороде яичница застревала. А уж какой знаменитый философ был.

— Что это вы с утра чушь несете? — спросил Василий Сергеевич.

— Чушь-то чушь, да не очень, — отозвался доктор Иван Иванович. — Вот я кончил медицинский факультет, значит, на парадной двери написал: «Доктор меди-цины, внутренние болезни, прием от такого-то до такого-то часа». Жду. Два-три пациента, и то беднота. Бритый я. А мне жена-то и говорит: «Вот что, ты, Ваня, отпу-сти баки, к тебе солиднее пациенты пойдут». И что же? Отпустил я баки — совсем другое дело вышло. Прямо полна приемная. Жена и говорит: «Вот видишь, хотя на баки твои мне смотреть противно, но зато у тебя пациентов много». Я подумал: что же это такое — ей на баки смотреть противно!.. Взял да обрил. И что же?.. Пациен-тов все меньше и меньше. Что вы по этому поводу скажете?

— Это эпоха такая... — процедил Коля.

— Действительно, у тебя баки на мочалу похожи, — сказал Вася Кузнецов.

— То есть как — на мочалу? — обиделся Иван Иванович и посмотрел на себя в зеркало. — Ничего подобного!.. А у меня лучшие пациенты. Отбою нет. Живу на Тверской, квартира в шесть комнат, лошадь своя. Вот вам и мочала!..

Прятели мои все рассмеялись.

— А жена-то как же? Примирилась с баками?

— Вот тут-то и история. Ничего не говорит. Только раньше у нас спальня была общая, а потом, когда отсюда приехал прошлым летом, так постель в отдельную комнату мне поставила... Я сразу подумал — это, должно быть, баки... Но врешь, думаю, я больше не обреюсь. Она молчит — и я молчу. Смотрю: стала меня заедать. Что я ни сделаю — все не так. А мне хоть бы что! Не обреюсь! Нипочем! Вот и все...

— Вот, Вася, ты архитектор, — сказал Коля Курин, — тебе бы бороду отпустить, ты бы соборы строил, дома бы доходные. Деньги бы наживал.

— Чепуха! — засмеялся Василий Сергеевич. — У меня наоборот: Ольга недовольна — говорит: «Невозможно колется у тебя борода, брешьшься плохо!..» А когда отпустишь бороду — смеются и бегут...

— Чудно до чего! — зашипел Василий Княжев. — Каждому — свое... А у меня когда борода была, так ни одна девка не глядела. «Старый черт», говорили. А как обрился, так полезли... Солдатом зовут, а то мужик и мужик — боле ничего. Обрился, картуз надел — сразу другой разговор. Заметьте, и водку бритому легче пить, как-то идет, и пьяницей не зовут. А с бородой сразу пьяницей выходишь. Оно хоша и солидней — а жить труднее. У нас в деревне парни тоже бреются, у которых борода показывается. За бородатого девки замуж не идут. А как женился — бороду отпускает, солидность наводит.

— Ведь это верно. В деревне-то так, а в городе плохо. До чего бабы там избаловались. В случае чего — ссора, прямо тебя за бороду. Я ведь и с женой из-за этого разошелся... — вздохнул Караулов.

— Борода тут ни при чем, — с мрачным упорством сказал Коля. — Это эпоха такая.

На Северной Двине

Помню, в августе месяце вздумали мы с художником В.А. Серовым поехать на Северную Двину. По железной дороге — на Вологду, а там на небольшом пароходе до самого Архангельска.

О том, что мы едем на Северную Двину, узнали другие приятели — вечером пришел Павел Александрович Сучков и обиженно сказал:

— Я еду с вами.

На другой день — Василий Сергеевич Кузнецов. И тоже с обидой сказал:

— Я тоже еду с вами, мне Павел сказал.

И мрачно добавил:

— Только никому больше не говорите, и гофмейстеру — он очень нежный, а места там дикие, глухие, — еще заблудится, потом отвечай за него...

Начались приготовления к отъезду. Надо брать холсты, краски. Ружье лучше не брать, так как будет отвлекать от живописи.

— Ну как же без ружья? — говорили друзья. — Мало ли что может случиться. Вы пишете картину, вдруг появляется медведь, идет на вас — посмотреть, что вы дела-

ете, — а у вас ружья нет! Обязательно штуцер берите — пули разрывные. Будем останавливаться на берегу, дождик — палатку надо взять обязательно.

Собирались целую неделю. Багаж образовался невероятный. Особенно мешали остроги на длинных палках, которые взял Павел Александрович.

* * *

В Вологду приехали вечером. Остановились в гостинице «Золотой якорь». Хорошая гостиница, с рестораном и буфетом. Буфет особенный — стерлядь двинская — маринованная, нельма, сметки белозерские жареные, сига копченые маленькие — словом, чего только не было... А буфетчик — такого друга редко где встретишь. Угощал на славу.

Отчалили на пароходе утром. Плыли между плотами с лесом по реке Вологде. Берега красивые, большие постройки северных деревень. Подряд окна, рамы выкрашены белым, голубым. Чистота в домах. Показалась широкая Северная Двина, с песчаными осыпями крутых берегов, покрытыми лесами.

Ехали целый день.

С палубы приятели стреляли уток. Пароход останавливался, садились в лодочку и доставали уток.

Все пассажиры принимали участие.

— Эвона, эвона еще утки! — кричали они.

Уток настреляли много, жарили, — и все пассажиры угощались.

Пассажиры, по большей части, ехали на Архангельск и в Великий Устюг.

Утром рано на другой день Кузнецов сказал:

— Куда еще ехать? Вот какие замечательные места! Остановимся у крутого берега — тут и охота, и рыбу будем ловить. И писать можно — ишь какие берега! Ели ползут по песку вниз. Вон сколько их упало!

* * *

Медленно шел пароход. Впереди, на носу, два парня-матроса опускали в воду длинный шест и говорили:

— Семь, восемь не маячит, четыре, два. Стоп.

Пароход остановился.

— На мель сесть можно.

Пассажиры сошли на берег. Сошли и мы. Пароход продвинулся на глубокие места.

Пассажиры отправились на лодках на пароход, а мы решили остаться на берегу.

— Чего же, — говорил один из матросов, — вам, охотникам, самое место. На прошлой неделе здесь медведина лез по песку вверх. Лезет, лезет, да и скатится. Посмотрит на пароход и порычит.

— Вот, не угодно ли, — сказал Василий Сергеевич, — ночью остаться здесь? Он придет и всех сожрет. Благодарю вас...

— Брось! — прервал сердито Павел Александрович. — Довольно пошлостей. Именно здесь надо остаться.

— Я остаюсь при своем мнении, — нахмурившись и не глядя на Павла Александровича, сказал Кузнецов.

— Да ведь мы будем в палатке и костер будем жечь, — сказал Серов.

— Вон, вдали, челн на берегу, тут, наверно, деревня недалеко.

Решили остаться. Поставили палатку. Топорами рубили сушняк с упавших елей для костра. Тащили на край песчаного берега. Много белых чаек пролетали и, увидев нас, протяжно покрикивали.

Василий Княжев, бывший с нами, приспособился ловить живцов. Зашел в воду по колена и беспрестанно вытаскивал пескарей. Пескари были большие. Таких у нас нет под Москвой.

Наловил с полведра. На костре делали жаркое. И поставили донные удочки на ночь...

Костер потух. В палатке горела лампочка. Была тихая темная ночь.

Павел Александрович пристраивал острогу и собирался с Василием Княжевным идти доставать челн. Взяли сухую ветку, полили керосином, зажгли и пошли от палатки.

Слышны были шаги уходящих, и опять тишина. На донной удочке зазвонил бубенчик. Василий Сергеевич побежал к берегу.

В чаще у обрыва затрещали сучья, раздался рев, и Василий Сергеевич вбежал в палатку.

— Ну вот, дождались!.. — крикнул он.

Дрожащими руками он вынул штуцер из чехла и не мог найти патроны. Я зарядил дробовое ружье, вышел из палатки и выстрелил два раза. Слышно было после выстрелов, как затрещал валежник, и треск стал удаляться. Потом вдали, наверху, у леса, опять раздался рев.

— Это, вероятно, медведь, — сказал Серов. — Должно быть, пугает — зачем пришли в его царство.

— Благодарю вас, — сказал Кузнецов, — вот теперь попробуйте-ка выйти. Павел с Василием ушли... А где они? Может, он и рычал оттого, что на них напал.

Послышался всплеск воды, и берег осветился огнем. Василий и Павел Александрович подъехали к берегу.

Через мгновение огонь на челне погас, и Павел Александрович вошел в палатку, неся в руках двух больших стерлядей.

— Павел, — спросили мы, — ты слышал, как ревел медведь?

— Нет, не слышал, какой медведь. Ерунда. Я на той стороне, в заводине, острогой убил двух стерлядей, а там сколько их... Надо будет запастись смольем. Ну и место! Я отсюда никуда не поеду. Красота какая! Стерляди двинские, леса, природа.

— Да... все это хорошо, — сказал Василий Сергеевич, — но только спать не придется... Где у вас патроны от штуцера?

Прятели решили — одним спать, а другим сторожить и жечь костер, но Василий Княжев вызвался один сторожить до утра.

Прятели вольно вздохнули и все легли спать. Я же решил с Василием ловить рыбу.

Показались большие налимы и щуки. Чуть брезжил свет. Над Двиной лег туман, и в нем показались трое людей на лодке.

Увидев палатку, причалили к берегу. Вышли из лодки и поздоровались с нами.
— Вы, знать, нездешние? — спросили.
— А вы-то чьи?
— Мы-то — из деревни недалече, за рыбой ездили.
— Вот, — сказал я, — ночью-то вот здесь, в чапыге, медведь нас пугал.
— Да, у нас ведмедя много, только он людей не трогает. Коров ломает — беда. Ружей-то у нас нет. Осемь коров за это лето задрал. Отбиваем, а то и не отобьешь... Здоровы есть — чисто гора. Ежели ведмедя встретишь, скажи ему: «еретик». Он и уйдет. Понимает...

Медиум

Летом ко мне в деревню часто приезжали мои друзья. Мой дом стоял у большого леса, внизу протекала речка Нерля. И вот однажды вечером, когда у меня гостили Федор Иванович Шаляпин, художник Валентин Александрович Серов, композитор Корещенко, архитектор Мазырин и архитектор Кузнецов, Мазырин как-то обмолвился за вечерним чаем, что он спирит. Мы все очень заинтересовались.

— Послушайте-ка, Анчутка-то, оказывается, спирит...

Мазырина прозвище было Анчутка. Еще с давних пор его прозвали так в Школе живописи, ваяния и зодчества, где он проходил курс вместе со мной. Был он небольшого роста, румянький. Имел круглые черные глазки, и если бы на него надеть платок, то был бы просто вылитая девица.

— И ты веришь, — спросил я его, — что спиритизм — это не ерунда?

— Не только верю, — сказал Анчутка, — но совершенно убежден. Последние явления в сеансах в Москве, где присутствовали и иностранцы, совершенно убедили меня.

— Что же там происходило? — спросили его.

— Это трудно объяснить, — ответил он. — К тому же вы смеетесь, а смешного здесь мало.

— Ну что же, ну что же было? — спрашиваем.

— А вот что. Когда мы сели за стол и положили руки, то стол постепенно начал двигаться, потом прыгать, так что мы за ним все бегали, не отнимая рук, а потом поднялся на воздух и стучал по полу. И по азбуке выходило «Аделаида». А Аделаидой звали тетку покойной хозяйки дома.

— Аделаида? — сказал Шаляпин. — Это, черт его знает, какое-то иностранное имя. Ну, и что же?

— А гитара, которая стояла в углу комнаты далеко, поднялась, полетела по воздуху и надо мной прозвенела: «Трам-трам-трам».

Мы ахали.

— Прямо пролетала по воздуху без веревки?.. Замечательно! И «трам-трам-трам»?.. Это ловко.

— Ты, значит, медиум? — спросил Шаляпин.

— Я-то не медиум, — сказал Анчутка, — но там был один из Швейцарии, так тот — медиум! У него из рук, когда мы сомкнулись, искры сыпались.

— А вот тут у нас, — говорю я, — в лесу, есть курган, древний курган, должно быть. Весь зарос густым ельником, высокий. И там — ночью огонь показывается и ходит. И видение в белом. Много раз видели. Вот сейчас я позову, у меня здесь два приятеля-охотника — пришли узнать, пойдём ли завтра на охоту, — так вот они вам расскажут, какая здесь штука кажется.

Я позвал охотников. Один из них был Павел Груздев, а другой — Герасим Дементьевич Тараканов. Охотники — народ смышленный. Пошел я к ним и сказал:

— Вот что. Сегодня пойдём к кургану, где огонь кажется. Так вот возьми, Герасим, у меня банку — знаешь, сухой спирт, который я беру на ночь рыбу ловить? — пойдешь туда, по дорожке-то, направо от кургана, да возьми с собой простыню... Когда мы покажемся, ты зажги в кустах спирт, встань перед ним сам да простыню над собой вот так руками высоко подними. Да немножко качайся. А когда я крикну: «Идет», ты вперед так перед огнем-то прыгни да и брось ее. А потом опять, когда мы подходить будем, стой на месте. Когда Шаляпин к тебе близко подойдет, ты кинься на него. А ты, Груздев, затуши спирт. Поняли?

Они смеются.

* * *

За чаем только и разговоров было, что о кургане.

Герасим говорит:

— Шел я как-то, запоздал, ночью, а там огонь горит. Так — мигает. Я сробел. Обернулся — он ко мне ближе. Я думаю: что такое? Уж боюсь глядеть. Только меня сзади как схватит за плечи, и вот зачало трясти, прямо душу вытрясает. Я говорю: «Господи! Да расточатся врази...» — да бегом!.. Слышу — за мной бежит... Я упал. Смотрю, бежит. Я вскочил опять. Так насили-то прибежал вот сюда, к кухне... Ну, отстало. Вот сейчас-то шел другой дорогой, боязно той-то идти.

— Да, верно, — подтверждает Груздев, — чего еще... место тут такое... Днем идешь к кургану, за рыжиками — рыжиков там много, — так и то оторопь берет. Говорят, в старину-то в кургане этом воеводу закопали, а он, знать, колдун был. Так это вот его штуки.

— Вот интересно! — говорит Анчутка. — Надо сделать цепь, сомкнуться и его вызвать. Это-то и есть подлинная материализация духа...

— Вот какая штука, — говорит Шаляпин. — Вот это вещь. Но что гитара над тобой летала и над тобой прозвучала «дзын-брын», — ты это врешь.

— Как хотите, — обиделся Анчутка.

— Ну дай честное слово, — попросил приятель Вася Кузнецов.

— Ну честное слово...

— В таком случае, — говорю я, — не иначе, что ему открыто. У него свойство такое, натура, так сказать. Медиум... И поэтому надо будет идти к кургану сегодня жё.

— Это надо в двенадцать часов — в полночь это завсегда больше кажет-то, — сказал Герасим. — У нас в округе знают. Вот тут, в Охотине, так часто видят. Старый барин жил. Полубояринов. Росту-то вот с вас, Федор Иванович. Ну и сердит!.. Так он и посейчас в халате там по ночам ходит. Старики-то помнят еще, когда было право господское. Идет Полубояринов, старый уж, как увидит мужика, подзовет, спросит: «Ты что?» Тот говорит: «Ничего, барин». Ну, даст ему по морде и пойдет. Такой уж

нрав был. Нынче-то уж, конечно, этого нет. А то в Хозарева, в овраге, дом стоял. Он и сейчас еще разваленный остался. Там по ночи всегда русалка поет. Днем-то в реку уходит, а по ночам в доме песни поет:

Не ходи ко мне, мой милый,
Нет крови во мне живой...

* * *

Приближалось уж позднее время. Охотники пошли спать, а я рассказал всем, кроме Анчутки, что будет видение.

В половине двенадцатого ночи мы всеходим с террасы. Темень. Тишина. Большой сосновый и еловый лес темнеет кучами среди мелкого леса. Мы тихо идем дорожкой. Поворачиваем по тропинке в сторону кургана. Вдруг...

— Смотрите, смотрите! — закричал Анчутка.

Среди кустов, таинственно мелькая беглым пламенем, горит сухой спирт в банке, как бы движется синий огонь.

— Сомкнемся скорее, сомкнемся, — кричит Анчутка. — Явление чрезвычайное. Это я сейчас же сообщу...

Он заставляет нас соединить руки. В тот же миг перед огнем, как из земли, вырастает высокая, таинственно освещенная фигура. Было действительно фантастично и неожиданно. Шаляпин задумчиво молчал, скрестив руки и опустив голову.

— Идет! — крикнул я и побежал к дому.

Все бросились за мной. Впереди всех бежал Анчутка. А Шаляпин остался.

— Стойте! — кричу я. — Анчутка, это позор! Шаляпин один остался...

Мы вернулись. Фигура светилась. Шаляпин шел к ней.

— Не ходите! — кричал Анчутка. — Не ходите! Задушит! Непременно задушит!..

Шаляпин медленно шел к видению. И вдруг упал. Упал так, как умел падать Шаляпин! К нему бросился призрак, и все погасло. Настала тьма.

Анчутка закричал:

— Он погиб!

Мы бросились к Шаляпину. Он лежал у дорожки на траве и загадочно молчал. Мы подняли его. Анчутка держал его под руку и, волнуясь, говорил:

— Успокойся, успокойся, пожалуйста. Это ничего... успокойся...

— В чем дело? — спросил Шаляпин. — Чего ты дрожишь?..

— Да ведь как же, ты упал... Я испугался.

— Когда упал? Да ты что бредишь?..

Анчутка испуганно посмотрел на него.

— Ты не волнуйся, Федя, это ничего.

* * *

Пришли домой, сели у меня в большой комнате за стол. У Шаляпина на шее темнели два красных пятна. Анчутка отозвал меня в коридор и, блестя испуганными черненькими глазами, говорил:

— Посмотри... Ты видел? Он его душил... Хорошо, что мы подбежали вовремя... Я сейчас еду... Я сегодня же к утру все доложу нашему спиритическому обществу. Мы все сюда приедем...

Как ни уговаривали мы Анчутку остаться, он не мог успокоиться и утром, когда мы спали, уехал в Москву...

Через три дня, утром, во всех газетах появились сообщения: «Видение Шаяпина», «Шаяпин — медиум»...

Через несколько дней какой-то ловкий предприниматель выпустил брошюрку «Видение Шаяпина», и она успешно продавалась во всех книжных магазинах, и вся Москва гудела.

— Слышали, Шаяпин-то, медиум? Ведь это что такое? Сколько одному отпущено... А я вот хоть тресни... ничего не видал.

Ловкий предприниматель, автор книжки, руки потирал...

А когда вся история разъяснилась и его стали осаждать возмущенные читатели, — пожимая плечами, с лукавой усмешкой говорил:

— Не я выдумал... Мне говорил не кто-нибудь, а тоже медиум, архитектор Мазырин, человек почтенный. Я тут ни при чем...

А Мазырин с той поры, — если при нем заходила речь о спиритизме, — обиженно поднимался и безмолвно удалялся из комнаты.

День в природе

Заехал ко мне на днях петербургский знакомый и пригласил поехать в деревню, километров шестьдесят от Парижа. Приглашение соблазнительное. Я все время жил безвыездно в Париже и дальше Сен-Клу нигде не был.

Кроме того, знакомец мой рассказал мне, что мы будем гостить в маленькой усадьбе с большим деревенским домом. Около, на горе, лес березовый и сосновый, сад с фруктовыми деревьями, а перед домом — большой луг, кончающийся далями лесов. И добавил:

— На Россию похоже.

«Не может быть», — подумал я.

— Встретит вас ваша знакомая с мужем. Он американец. Вы, когда увидите его, удивитесь — он точь-в-точь Шаяпин, и роста такого же...

* * *

Два часа ехали по железной дороге. На станции встретила нас моя знакомая, а около нее, вижу, и впрямь стоит Шаяпин.

Я не поверил своим глазам. Сходство было действительно поразительным, особенно — когда он засмеялся.

Я с ним заговорил по-русски, но он ничего не понял, любезным жестом пригласил нас садиться в автомобиль и сам сел за руль.

Мы помчались по ровной дороге.

Крутом поля, и на них были разбросаны снопы скошенного овса.

«Что же это такое? — подумал я. — И вправду, точно в России, березовый лес, наш березовый лес, такие же канавки, трава, голубые колокольчики, срубленные дрова так же сложены, сосны. Такой же вид, как когда я ехал к себе в деревню со станции Итларь Ярославской железной дороги». И мне казалось, что вот-вот покажется возвышенность, где был сад мой и деревенский дом.

Когда выехали из леса, показались дальние леса за большими лугами, такими же, какие были за моим домом. И розовая дрема около мелкой еловой заросли — такая же, как была около моего сада.

Я попросил остановиться и вышел из автомобиля.

У края дороги шли протоптанные дорожки. Около — розовые цветочки, кашка клевера. Я подошел к сложенным дровам. Около дров, сбоку, сидели двое крестьян. У одного была плетеная сумка, другой был подпоясанный, в рубашке и в армячке. Оба — в картузах.

Один из них сказал другому по-русски:

— Надо дать народу то, что он хочет. Обязательно надо дать.

— Ну, как сказать, — ответил другой, — а если он хочет грабить, кто побогаче?

— Вот и надо дать.

— Ну что же, вот у нас и дали, что же получилось?

— А вот теперь он узнал, что получилось. Вышла дорожка-то кривая. Выгучился, теперь уж он понял, что из этого ничего не вышло. И остался ни при чем. Он не знал, что его тоже ограбят.

— Да, забыли закон и правду, — сказал другой.

И оба встали и прошли мимо, посмотрев на меня пристально.

— Едем, — крикнул мне «Шалапин».

«До чего все это странно, — подумал я, — природа русская, и надо было мне еще и встретить русских...»

Когда мы проезжали деревню — впечатление изменилось. Пропала Россия.

Каменные большие дома, скучные и серые. Кое-где окошки со ставенками, в окошках герань. Совсем непохоже на русскую деревню.

А потом опять огромный луг и русская даль лесов, с клубящимися розовыми облаками.

— Вот слева наш сад и домик, — показала мне моя знакомая.

Когда мы вылезали из автомобиля, у калитки нас радостно встретила собака и ручной большой заяц.

Сад был похож на русский. Перед окнами росли большие груши, обильно покрытые плодами.

Как уютно было в доме. Тишина, отреченность... В небольшие окна виднелся зеленый луг: какой-то волшебный русский край, казалось мне, который будто я когда-то видал. Самовар стоял на столе, и я не мог оторваться от окна, смотря на этот дальний лес...

Муж моей знакомой переоделся в рубашку с короткими рукавами, надел соломенную шляпу и еще больше стал похож на Шалапина.

После чая он повел меня посмотреть огород, разведенный им самим. Часток, как был у меня, огурцы, клубника, около — кусты ольхи, сосновый лес, такой же, как у моего дома в деревне, обрыв... И я подумал, вот увижу реку, но реки моей не было...

По дорожке внизу прошли французские крестьяне и крикнули, здороваясь:

— Хотите слив для варенья? Большой урожай, девать некуда.

И через несколько минут принесли к дому большие корзины мелкой сливы.

— Что это стоит? — спросил я хозяйку.

— Как — что стоит, это подарок, — ответила она.

* * *

Сладко спалось под кровлей милых моих хозяев.

Проснувшись рано, я отворил окно, и какой красоты был зеленый луг! Какой-то особенный румянец лежал на кустах ивняка. Вдали белели коровы, и, как снопы огня, пролетели несколько фазанов.

В окно я увидел «Шаляпина». Он был одет по-городскому.

Увидав меня в окно, он подошел и сказал:

— Одевайтесь, надо ехать в Париж.

Я удивился. Потом в дом вошла моя знакомая, — лицо у нее было расстроенное. Она огорченно сказала:

— Надо ехать в Париж. Простите...

— Что такое? — встревоженно спросил я. — Что-нибудь случилось у меня?

— Нет.

— Скажите мне правду, — настаивал я.

— Нет, ничего, успокойтесь, даю вам слово, но мой сын хотел приехать и не может.

— Он болен?

— Нет, нет, совсем другое...

И она вышла расстроенная.

* * *

Живо выносили мой чемодан, краски, холсты в автомобиль.

Муж озабоченно что-то говорил моей знакомой по-английски и повторял: «Spirit»¹.

— Достанем ли мы бензину доехать? — сказала она мне.

* * *

По дороге автомобиль перегнал шедшего пешком старика, одетого по-городскому.

Муж знакомой моей остановился, посмотрел назад, вышел и позвал прохожего старика. Тот сел в автомобиль рядом с нами, поздоровался и сказал:

— Неужели война?

* * *

Мы ехали до Парижа молча. Было два часа дня. Серое небо, огромные темные дома Парижа. Шел дождь, а я думал: «Там, в деревне, в этой мирной тишине красивых полей и лесов, мне казалось: неужели есть Париж? Какая тишина и мир были кругом, и иволга свистела, как в моем саду, в России!..»

Мрачно было в моей комнате, когда я вернулся из этого прекрасного рая. Грустно встретила меня моя собака Тобик. Тихо ворчал. Сердился на меня, что я его оставил. Он давно, как и я, не видел природы. Я хоть один день видел лес и луга, а Тобик не видел и этого...

¹ Здесь: бензин (англ.).

Чертополох

Помню, давно я слышал, в какой-то оперетке пели:

Что посеешь, что посеешь,
То пожнешь.
И по той дорожке смело
Ты до цели добредешь.

Это верно. Крестьяне сеяли хлеб. Долгое время сеяли, и много. Хлеб этот ели и мы. И не одни мы, а и иные страны. А вот у забора, изгороди деревни, у моего сарая, у крыльца, сам по себе, несаяный, рос такой большелистый лопух-чертополох. Цвел он такими колючими шишками, и приятели мои в ночное время к августу попадали в чертополох, который застревал на штанах своими колючками. Трудно было отделиться, так сильно вцеплялся чертополох.

Сердились приятели.

— За каким чертом растет этот чертополох? И кто его посеял?

А Василий Сергеич в теплую звездную ночь вышел с террасы моего деревенского дома, хотел полежать на травке, помечтать, посчитать звезды — и попал в чертополох, который ему вцепился в бороду и в голову.

Рассердился он ужасно на всех и почему-то даже на правительство.

Хорошо, что доктор, Иван Иванович, надев очки, вытаскивал пинцетом впившиеся в голову колючки чертополоха.

А Василий Сергеич несмолкаемо бранился и говорил:

— Вот все так у нас. Чертополох. И никто не обращает внимания. А он все разрастается. И никто не смотрит. Урядники не смотрят, скажут — не их дело, а надо косить его, уничтожать, а то вся Россия чертополохом зарастет.

— Да, это верно, — сказал Коля Куриный. — Это скверная штука. Черт его знает, как он впивается, не отдерешь.

— Хорошо, что в ухо не попало еще, — сказал доктор Иван Иванович, — а то в мозг проникнет, тогда уж верно, что завираться начнешь.

— Мне-то раз попало в ухо, — скромно сказал Коля Куриный.

— Вот непременно Кольке попало, — подхватил охотник Караулов. — Особенно в политике завирается. Должно быть, у него застряло в мозгах.

— Ну уж извините, ничего не застряло. Я, брат, университет кончил. Я-то побольше вас понимаю. Оттого-то мы называемся интеллигенцией.

— Скажи, голубчик Коля, — спросил я, — ты сказал, что тебе попало. Ведь эта зацепка в чертополохе такая привязчивая. Вон к штанам пристанет — насилу отцепишь. Как попало тебе? Да еще в ухо?

— Помню, вот в такой августовский вечер, — говорил Коля, — пробирался я на дачи в Кунцеве. Уж было поздно и темно. Пробирался к хорошенькой такой говорливой брюнеточке. Помню, был я в нее влюблен. Шел у частокола загородочками и добрался. Вижу, лампа светится на терраске. Так интимно, хорошо. Зашел на деревянную террасу дачи к ней. Она сидит за столом у лампы и книжку читает, Тургенева. Как увидела она меня, встала и руками всплеснула.

— Что с вами, посмотрите на панталоны. Вы весь в чертополохе.

Я посмотрел, действительно, вижу — как же я так попал?

И так мне сделалось неприятно, но говорю:

— Пустяки это.

А она говорит:

— Нет, нет. Я боюсь, не подходите ко мне. Они и в меня вцепятся. Это чертополох.

И все чудное свидание на даче в тихую ночь полетело в тартарары.

— Ничего, — говорил я ей.

А она говорила:

— Нет, чего. Вы в чертополох попали.

Простите, любезный читатель мой, что я пишу такие несерьезные вещи. А все же скажу, что так мало нужно, чтобы расстроились чувства и разлучились сердца, потухла любовь. Поэты наши воспевали природу, весну, песнь соловьиною, а про чертополох — ни гугу. Не нравился. А он в жизни нашей приносил и принес большие неприятности.

— Постой, Коля, ведь ты сказал, в ухо тебе попал чертополох-то?

— Попал, — сказал Коля, — долго болело. Шум ужасный в голове, только я спичкой вытащил, выковырял его из уха.

— Еще осталось, должно быть, — сказал со стороны Караулов.

— Осталось, — подтвердил Сахновский.

— Это почему же, позвольте вас спросить?

— Забираешься часто, — ответил хладнокровно Юрий.

— А если попадет в ухо, то это может кончиться скверно, — сказал Иван Иваныч.

— Ну, полно пугать-то, — сердился Василий Сергеич. — Ты лучше выпей вот коньяку.

И все так шло ничего. Благополучно. Но ночью Василий Сергеич разбудил всех и говорил, мигая, что у него что-то в голове такое начинается, что не попал ли ему чертополох в уши.

— Все политика в голову лезет, просто как у всех в Москве моих знакомых. Те все про освободительное движение говорят. И оно мне тоже в голову лезет. У меня этого прежде не было.

— Ванька, — сказал он доктору, — посмотри, пожалуйста, в правое ухо. Что-то у меня свербит.

Доктор Иван Иваныч поставил к лицу Василия Сергеича лампу, вынул из ручного чемодана круглое зеркало, пристроил его к себе на глаза. Долго смотрел в ухо Василия Сергеича и сказал:

— Есть!

Взял пинцет и вытащил из уха соринку чертополоха. Потом прочищал ухо ватой.

Василий Сергеич был расстроен, говорил:

— Что это у вас, Константин Алексеич, этакая дрянь разрослась? Черт меня угодил лечь на траву.

Друзья успокаивали Василия Сергеича. Говорили:

— Обойдется.

Для бодрости выпили коньячку с чаем.

Утром Василий Сергеич проснулся рано.

Иван Иваныч сел около.

— Ну что, — слышу я из соседней комнаты, — как себя чувствуете? Спали?

- Да, спал, — отвечал приятель Вася.
- Ну, а освободительное движение в голову не лезет?
- Нет, — говорит, — ничего не лезет.
- Это хорошо. Это, значит, не попало. Я вытащил.

Утром пошли на охоту. Устали. Хотели присесть. Смотрю, Василий Сергеич осматривает место и, видимо, побаивается, нет ли чертополоха. А Иван Иванович говорит:

— Даже пыль от него, когда он осыпается, — зловредна. Попадает в нос и в уши и отражается на мозгах.

— А все может быть, — сказал Караулов. — Много его у нас на дачах растет. Не попадает ли он в голову нашей интеллигенции? Все они бредят освободительным движением. А от чего освобождения хотят — объяснить не могут.

— Не попал ли в голову им чертополох?

С той поры, как кто-нибудь из моих приятелей начинал заговаривать о политике, другие приятели говорили:

— Ну, опять чертополох.

И оратор всегда обижался. Говорил:

— Ничего с вами серьезного сказать нельзя!

— Чертополох начинается, довольно! — кричали приятели.

Первое знакомство

Помню, зимой, в Петербурге, жил я на квартире при правлении заводов и железных дорог С.И. Мамонтова. И в своей комнате делал эскизы к постановке Частной русской оперы Саввы Мамонтова, опере «Аленький цветочек» Кроткова.

К вечеру я приходил в ресторан Лейнера на Невском обедать с приятелем своим, дирижером оперы, Труффи. Однажды я увидел Труффи в обществе молодого человека очень высокого роста, блондина со светлыми ресницами и серыми глазами.

Я подсел к ним за стол.

Молодой человек посмотрел на меня и, улыбнувшись, спросил:

— *Parlato italiano?*¹

Я был жгучим брюнетом.

— Тебя все принимают за итальянца, — сказал Труффи, — да ты и похож.

Молодой человек, одетый в поддевку и русскую рубашку, показался мне инородцем — он походил на торговца-финна, который носит по улицам мышеловки, сита и жестяную посуду.

Молодой человек был озабочен и жаловался, что в панаевском театре платят меньше, чем в Тифлисе.

— Пошло-ка я их к черту и уеду в Тифлис. Что в Петербурге? Вот не могу второй месяц за комнату заплатить. А там тепло, шашлыки, майдан. Бани такие. И Усатов. У него всегда можно пятерку перехватить. Я ведь здесь никого не знаю.

Молодой человек был так худ, что, когда он ел, видно было, как проглоченный кусок проходит по длинной шее.

— Вот когда придет Мамонтов, — сказал Труффи, — я поговорю с ним о тебе.

После обеда, уходя от Лейнера, я видел, как у подъезда Труффи дал молодому человеку три рубля. И тот быстро пошел к Невскому.

Расставаясь с Труффи, я сказал ему:

— Постой, я сейчас зайду на Морскую, рядом, к Кюба, там наверное обедает Кривошеин, и узнаю у него, когда придет Мамонтов. Да скажи, кто этот молодой человек?

— Это хороший голос, — ответил Труффи, — но несерьезный человек. Приходи в панаевский театр, он там поет. Голос настоящий.

На другой день я зашел в панаевский театр за кулисы, где увидел этого молодого человека, одетого Мефистофелем.

¹ Вы говорите по-итальянски? (*ит.*).

Костюм был ему не в пору. Движения резкие, угловатые и малоестественные. Он не знал, куда деть руки, но тембр его голоса был необычайной красоты. И какой-то грозной мощи.

Уходя, я взглянул на афишу у входа в театр и прочел: «Мефистофель — Шаляпин».

Вскоре приехал Мамонтов. Утром он зашел ко мне. Смотрел эскизы.

— Костенька, — сказал он, — я теперь занят, а вы поезжайте к Кюба. Я туда приеду завтракать. Сейчас мне не до театра, важное заседание.

Проходя мимо конторы, я увидел сидящих за столами каких-то серьезных, хмурых людей. Сбоку на столах лежали большие бухгалтерские книги, счета. Хмурые люди усердно что-то писали.

И я подумал: «Как это все непохоже на то, что я делаю с Мамонтовым. На театр, оперу. Как это он все совмещает!»

К завтраку у Кюба пришли и Труффи, баритон Малинин, Чернов. В разговоре Труффи сказал:

— Этот трудный человек Шаляпин подписал контракт в Мариинский театр. Раньше я искал его на квартире, но его там уже две недели нет. Я давно хотел, чтобы вы его послушали. Вот он слышал его, — сказал он, показывая на меня.

— Вы слышали? — спросил С.И. Мамонтов.

— Да, — ответил я, — голос особенный, необычайный. Я никогда не слышал такого. А сам худой, длинный, похож не то на финна, не то на семинариста. А глаза светлые, сердитые. Хороша фигура для костюма. Но костюм Мефистофеля на нем был ужасный.

Через три дня я услышал из своей комнаты, что в дальнем покое, за конторой, кто-то запел. «Шаляпин!» — подумал я.

Я пошел туда. За роялем сидел Труффи, и Мамонтов смотрел на Шаляпина внимательно и пристально.

Я остановился у двери, против певца. У юноши как-то особенно был открыт рот, — я видел, как во рту у него дрожал язык, и звук летел с силой и уверенностью, побеждая красотой тембра.

Вечером Мамонтов, перед отъездом в Москву, говорил мне:

— А Шаляпин — это настоящая сила. Какой голос! Репертуара, говорит, нет. Но поет!.. В консерватории не был, хорист, певчий. А кто знает: не сам ли он консерватория? Вы заметили, Костенька, какая свобода, когда поет? Вот, все поздно, мне говорят. Контракт подписал с Императорской оперой. Как его оттуда возьмешь? Да мне и неудобно. Одно, что ему, пожалуй, там петь не дадут. Ведь он, говорят, с норовом. Ссорится со всеми. Говорят, гуляка. Мы бы с вами поставили для него «Вражью силу» и «Юдифь» Серова, «Псковитянку» Римского-Корсакова, «Князя Игоря» Бородина. Хорош бы Галицкий был.

И Савва Иванович размечтался. Так размечтался, что на поезд опоздал.

— Надо послать за Труффи и Малининым.

Приехали Труффи и Малинин. Поехали все искать Шаляпина. Он жил на Охте, снимая комнату в деревянном двухэтажном доме, во втором этаже, у какого-то печатника. Когда мы постучали в дверь, otvorил сам печатник. Рыжий, сердитый человек. Он осмотрел нас подозрительно и сказал:

— Дома нет.

— А где же он, не знаете ли вы? — спросил Мамонтов.

— Да его уж больше недели нет. Черт его знает, где он шляется. Второй месяц не платит. Дает рублевку. Тоже жилец! Приедет — орет. Тоже приятели у него. Пьяницы все, актеры. Не заплатит — к мировому подам и вышибу. Может, служба у вас какая ему есть? Так оставьте записку.

Помню, в коридоре горела коптящая лампочка на стене. Комната Шаляпина была открыта.

— Вот здесь он живет, — показал хозяин.

Я увидел узкую небубранную кровать со смятой подушкой. Стол. На нем в беспорядке лежали ноты. Листки нот валялись и на полу, стояли пустые пивные бутылки.

Мамонтов, приложив клочок бумаги к стене, писал записку. Спросил, повернувшись к Труффи:

— Как его зовут?

Труффи засмеялся и сказал:

— Как зовут? Федя Шаляпин.

Записку оставили на столе и уехали ужинать к Пивато.

У Пивато Труффи заказал итальянские макароны и все время разговаривал по-итальянски с Мамонтовым о Мазини.

* * *

Прошло больше года. Ничего не было слышно о Шаляпине. Но Савва Иванович не забыл Шаляпина. И сказал мне раз:

— А я был прав, Костенька, Шаляпину-то петь не дают. И неустойка его всего двенадцать тысяч. Я думаю, его уступят мне без огорчения, кажется, его терпеть там не могут. Скандалист, говорят. Я поручил Труффи поговорить с ним. Одна беда: он больше, кажется, поет в хоре у Тertia Филиппова, а ведь Тertia мой кнут — государственный контролер. Он может со мной сделать, что хочет. Уступит ли он? Тут ведь дипломатия нужна. Неустойка — пустяки, я заплачу. Но я чувствую, что Шаляпин — уника. Это талант. Как он музыкален! Он будет отличный Олоферн. Вы костюм сделаете. Надо поставить, как мы поставили «Русалку». Это ничего, что он молод. Начинайте делать эскизы к «Юдифи».

Я удивлялся С.И. Мамонтову: как он любит оперу, искусство, как сразу понимает набросок, эскиз, хоть и не совсем чувствует, что я ищущий, какое значение имеет в постановке сочетание красок.

А все его осуждали: «Большой человек — не делом занимается, театром». Всем как-то это было неприятно: и родственникам, и директорам железной дороги, и инженерам заводов.

В Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде достраивалась Всероссийская выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон Крайнего Севера, построенный по моему проекту.

Павильон Крайнего Севера, названный «двенадцатым отделом», был совершенно особенный и отличался от всех. Проходящие останавливались и долго смотрели. Подрядчик Бабушкин, который его строил, говорил:

— Эдакое дело, ведь это што, сколько дач я построил, у меня дело паркетное, а тут все топором... Велит красить, так, верите ли, краску целый день составляли и составили — прямо дым. Какая тут красота? А кантик по краям чуть шире я сделал. «Нельзя, — говорит, — переделывай». И найдет же этаких Савва Иванович, прямо ушел бы... только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотреть чудно — канаты, бочки, сырье... Человека привез с собой, так рыбу прямо живую жрет. Ведь до-стать эдакого тоже где!

— Ну, что, — сказал он Савве Ивановичу, — сарай и сарай. Дали бы мне, я бы вам павильончик отдал в петушках, потом бы на дачу переделали, поставили бы в Пушкине.

На днях выставка открывается. Стараюсь создать в просторном павильоне Северного Отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал там, на Севере.

Вешаю необделанные меха белых медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди морских канатов, снастей — чудовищные шкуры белух, челюсти кита.

Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, помогает мне, старается, меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас живой милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой.

Самоед Василий кормит его живой плотвой и сам, потихоньку выпив водки, тоже закусывает живой рыбешкой. Учит тюленя, показывая ему рыбку, кричать «ур..а!...».

— Ур-р..а, ур..а-а-а...

Тюлень так чудно подражает и тоже кричит:

— Ур-р..а...

— Можно посмотреть? — спросил вошедший в павильон худой и очень высокий молодой человек в длинном сюртуке, блондин, со светлыми ресницами серых глаз.

— Смотри, — ответил самоед Василий.

Тюлень Васька высунулся из квадратного чана с водой, темными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул: «Ур..а...» — и, блеснув ластами, пропал в воде.

— Это же черт знает что такое! — крикнул, отскочив, высокий молодой человек, отряхая брызги, попавшие ему в лицо от всплеска тюленя.

«Где это я видел этого молодого человека?» — подумал я.

Василий, не обращая внимания на его присутствие, выпил рюмку водки и съел живую плотицу. Молодой человек в удивленье смотрел прямо ему в рот.

И вдруг я вспомнил: «Это Шаляпин!»

Но он меня не узнал. И, обратившись ко мне, спросил:

— Что же это у вас тут делается? А? Едят живую рыбу! Здравствуйте, где это я вас видел? У Лейнера, в Петербурге, или где? Что это такое у вас? Какая замечательная зверюга!

Тюлень снова высунулся из воды. Шаляпин в упор смотрел на него и, смеясь, говорил:

— Ты же замечательный человек! Глаза какие! Можно его погладить?

— Можно, — говорю я.

Но тюлень блеснул ластами и окатил всего Шаляпина водой.

— Дозвольте просить на открытие, — сказал подрядчик Бабушкин, — вот сбоку открылся ресторанс-с. Буфет и все прочее. Чем богаты, тем и рады.

— Пойдемте, — сказал я Шаляпину.

— Куда?

— Да в ресторан, вот открылся.

— Отлично. Мое место у буфета. — И он засмеялся.

Сбоку павильона, когда мы спускались с лестницы, штукатурки оканчивали большой чан. Я сказал:

— Этот чан будет наполнен водой, и здесь будут плавать большие морские чайки и альбатросы, которых я привез с Дальнего Севера.

На террасе ресторана, когда мы сели за стол, хозяин подошел к нам и спросил:

— Что прикажете для начала?

Бабушкин распорядился. Подавали балык, икру, водку, зеленый лук, расстегаи со стерлядью.

— Удивление — этот ваш павильон. Все глаза плят. Интересно. А в чану-то что будет, позвольте узнать? — обратился ко мне хозяин.

Я хотел ответить, но Шаляпин перебил меня:

— По указу Его Императорского Величества будет наполнено водкой для всеобщего пользования даром.

Хозяин и буфетчик вылупили глаза.

— Господи! — воскликнул хозяин. — Конечно, ежели, но это никак не возможно!.. Ведь это что ж будет... народ обопьется весь.

— Ну вот, — сказал Шаляпин, — давно пора, а то...

Бабушкин, закрыв глаза, смеялся.

Весело завтракал Шаляпин и рассказывал какой-то новый еврейский анекдот.

От буфета, улыбаясь, подошел к нам бравый полицейский пристав.

— Простите, — сказал, смеясь, — чего это вы говорите? Что из этого бассейна Государь император поить народ водкой будет? Чего выдумаете! Невозможное положение. Говорите зря. Да ведь что в этом самом вредное — поверят! Ведь это пол-Нижнего придет. Не говорите, пожалуйста.

— Садитесь, — предложил Шаляпин. — Это я верно говорю. Но больше одного стакана не дадут. И только тому, кто живую плотницу съест. Вот как тот самоед.

Он стал звать рукой самоеда Василия.

Василий живо подбежал к нам. Шаляпин, наклонясь, что-то ему шепнул. Василий убежал в павильон и вернулся, держа в руках живую плотницу.

— Вот, посмотрите!

Шаляпин налил в стакан водку, Василий махом выпил ее и закусил плотницей.

— Видели? — сказал Шаляпин. — А теперь попробуй-ка нашей закуски...

Он еще налил стакан Василию и пододвинул к нему балык и икру.

Самоед выпил водку и стал оробело закусывать.

— Ну, что, какая закуска лучше? — спросил Шаляпин.

— Наша, — ответил самоед.

— Поняли? — спросил пристав Шаляпин.

Бабушкин и пристав только переглядывались друг с другом:

— Какой народ, и откуда такой?

— А вот, — сказал Шаляпин, — настоящий народ. А вам подавай все жареное да копченое!..

— Невиданное дело, — смеялся Бабушкин.

К павильону подошел С.И. Мамонтов с товарищем министра В.И. Ковалевским. Шаляпин, увидав их, крикнул:

— Савва Иванович, идите сюда!

Услыхав голос Шаляпина, С.И. направился к нам на террасу и познакомил Шаляпина с Ковалевским.

— Что делается! — хохотал Шаляпин. — Ваш павильон — волшебный. Я в первый раз в жизни вижу такие истории. Он и меня заставляет, — показал он на меня, — есть живого осетра. Как это у вас этот иностранец?

Шаляпин хохотал так весело, что невольно и мы все тоже смеялись. А пристав даже вытирал слезы от смеху: «Что только выдумают!..»

* * *

На открытие Всероссийской выставки в Нижний Новгород приехало из Петербурга много знати, министры — Витте и другие, деятели финансов и промышленных отделов, вице-президент Академии художеств граф И.И. Толстой, профессора академии.

На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу — купцов, фабрикантов (по приглашению).

Когда молебен кончился, Мамонтов, Витте в мундире, в орденах и многие с ним, тоже в мундирах и орденах, направились в павильон Крайнего Севера.

Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон.

— Вот это он делал, — сказал Мамонтов, показав на меня Витте, а также представил и Шаляпина.

Когда я объяснял экспонаты Витте, то увидел в лице его усталость. Он сказал мне: — Я был на Мурмане. Его мало кто знает. Богатый край.

Окружающие его беспрестанно спрашивали меня то или другое про экспонаты и удивлялись. Я подумал: «Странно — они ничего не знают об огромной области России, малую часть которой мне удалось представить».

— Идите с Коровиным ко мне, — сказал, уходя, Мамонтов Шаляпину. — Вы ведь сегодня поете. Я скоро приеду.

Выйдя за ограду выставки, мы с Шаляпиным сели на извозчика. Дорогой он, смеясь, говорил:

— Эх, хорошо! Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!

Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах. Пестрая толпа народа. Ломовые, везущие мешки с овсом, хлебом. Товары. Блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками. Пестрые цветные платки женщин. А вдаль — Волга. И за ней, громоздясь в гору, город Нижний Новгород. Горят купола церквей. На Волге — пароходы, барки... Какая бодрость и сила!

— Стой! — крикнул вдруг Шаляпин извозчику.

Он позвал разносчика. Тот подошел к нам и поднял с лотка ватную покрывку. Там лежали горячие пирожки.

— Вот, попробуй-ка, — сказал мне на «ты» Шаляпин. — У нас в Казани такие же. Пирог были с рыбой и вязигой. Шаляпин их ел один за другим.

— У нас-то, брат, на Волге жрать умеют! У бурлаков я ел стерляжью уху в два навара. Ты не ел?

— Нет, не ел, — ответил я.

— Так вот, Витте и все, которые с ним, в орденах, лентах, такой, брат, ухи не едали! Хорошо здесь. Зайдем в трактир — съедим уху. А потом я спать поеду. Ведь я сегодня «Жизнь за Царя» пою.

В трактире мы сели за стол у окна.

— Посмотри на мою Волгу, — говорил Шаляпин, показывая в окно. — Люблю Волгу. Народ другой на Волге. Не сквалыжники. Везде как-то жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни.

Было явно: этому высокому, размашистому юноше радостно — есть уху с калачом и вольно сидеть в трактире...

Там я его и оставил...

* * *

Когда я приехал к Мамонтову, тот обеспокоился, что Шаляпина нет со мной:

— Знаете, ведь он сегодня поет! Театр будет полон... Поедем к нему...

Однако в гостинице, где жил Шаляпин, мы его не застали. Нам сказали, что он поехал с барышнями кататься по Волге...

* * *

В театре, за кулисами, я увидел Труффи. Он был во фраке, завит. В зрительный зал уже собиралась публика, но Шаляпина на сцене не было. Мамонтов и Труффи волновались.

И вдруг Шаляпин появился. Он живо разделся в уборной донага и стал надевать на себя ватные толщинки.

Труффи и Мамонтов были в уборной. Быстро одеваясь и гримируясь, Шаляпин говорил, смеясь, Труффи:

— Ви, маэстро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные фермато.

Потом, положив ему руку на плечо, сказал серьезно:

— Труффочка, помнишь, там не четыре, а пять. Помни паузу.

И острыми глазами Шаляпин строго посмотрел на дирижера.

Публика наполнила театр.

Труффи сел за пульт. Раздавались нетерпеливые хлопки публики.

Началась увертюра.

После арии Сусанина «Чуют правду» публика была ошеломлена. Шаляпина вызывали без конца.

И я увидел, как Ковалевский, со слезами на глазах, говорил Мамонтову:

— Кто этот Шаляпин? Я никогда не слышал такого певца!

К Мамонтову в ложу пришли Витте и другие и выражали свой восторг. Мамонтов привел Шаляпина со сцены в ложу. Все удивлялись его молодости.

За ужином, после спектакля, на котором собрались артисты и друзья, Шаляпин сидел, окруженный артистками, и там шел несмолкаемый хохот. После ужина Шаляпин поехал с ними кататься по Волге.

— Эта такая особенная человека! — говорил Труффи. — Но такой таланта я вижу в первый раз.

В Москве

В начале театрального сезона в Москве в Частной опере Мамонтова мной были приготовлены к постановке оперы: «Рогнеда» Серова, «Опричник» Чайковского и «Русалка» Даргомыжского.

В мою мастерскую на Долгоруковской улице, которую мы занимали вместе с В.А. Серовым, часто приходил Шаляпин. Если засиживался поздно, оставался ночевать.

Шаляпин был всегда весел и остроумно передразнивал певцов русских и итальянских, изображая их движения, походку на сцене. Он совершенно точно подражал их пению. Эта тонкая карикатура была смешна.

Своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний — веселье, кутежи, ссоры — он так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов, и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения.

Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же — он все знал, и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел.

Когда он бывал серьезно расстроен или о чем-нибудь скорбел, то делался молчалив и угрюм. Ничто не могло рассеять его дурного настроения. Он стоял у окна и стучал пальцем по стеклу или как-то рассеянно стряхивал с себя пыль или крошки со стола, которых не было.

Сначала я не понимал, что с ним, и спросил его однажды:

— Что с тобой?

— Как тебе сказать, — ответил он, — ты не поймешь. Я, в сущности, и объяснить как-то не могу. Понимаешь ли, как бы тебе сказать... в искусстве есть... Постой, как это назвать... есть «чуть-чуть». Если это «чуть-чуть» не сделать, то нет искусства. Выходит около. Дирижеры не понимают этого, а потому у меня не выходит то, что я хочу... А если я хочу и не выходит, то как же? У них все верно, но не в этом дело. Машина какая-то. Вот многие артисты поют верно, стараются, на дирижера смотрят, считают такты — и сука!.. А ты знаешь ли, что есть дирижеры, которые не знают, что такое музыка. Мне скажут: сумасшедший, а я говорю истину. Труффи следит за мной, но сделать то, что я хочу, — трудно. Ведь оркестр, музыканты играют каждый день — даже по два спектакля в воскресенье, — нельзя с них и спрашивать, играют, как на балах. Опера-то и скучна. «Если, Федя, все делать, что ты хочешь, — говорит мне Труффи, — то хотя это и верно, но это требует такого напряжения, что после спектакля придется лечь в больницу». В опере есть места, где нужен эффект, его ждут — возьмет ли тенор верхнее до, а остальное так, вообще. А вот это неверно.

Стараясь мне объяснить причину своей неудовлетворенности, Шаляпин много говорил и, в конце концов, сказал:

— Знаешь, я все-таки не могу объяснить. Верно я тебе говорю, а, в сущности, не то. Все не то. Это надо чувствовать. Понимаешь, все хорошо, но запаха цветка нет. Ты сам часто говоришь, когда смотришь картину: не то. Все сделано, все выписано, нарисовано — а не то. Цветок-то отсутствует. Можно уважать работу, удивляться труду, а любить нельзя. Работать, говорят, нужно. Верно. Но вот и бык и вол трудит-

ся, работает двенадцать часов, а он не артист. Артист думает всю жизнь, а работает иной раз полчаса. И выходит — если он артист. А как — неизвестно.

На репетиции Шаляпин пел вполголоса, часто останавливал дирижера, прося повторить, и, повторяя, пел полным голосом. Отбивал громко такт ногой, даже своему другу Труффи. Труффи не обижался и делал так, как хотел Шаляпин. Но говорил мне, смеясь:

— Этот Черт Иваныч Шаляпин — таланта огромная. Но он постоянно меняет, и всегда хорошо. Другая дирижер палочка бросит и уйдет. Но я его люблю, понимаю, какая это артист. Он чувствует музыку и понимает, что хотел композитор. Как он поет Лепорелло Моцарта. А Даргомьжского. Я, когда дирижирую, — плачу, удивляюсь и наслаждаюсь. Но я так устаю. Он требует особого внимания. Это такая великая артист...

В первый же сезон Частной оперы, когда выступал Шаляпин, вся Москва говорила уже о нем, и когда мы с ним обедали в ресторане «Эрмитаж» или «Континенталь», то вся обедающая публика смотрела на Шаляпина.

Шаляпин не любил многолюдных мест и когда попадал в большие рестораны, то старался сесть в сторонке, чтобы не возбуждать внимания.

При большом ресторане «Эрмитаж» был сад. И в этот сад от ресторана шла большая терраса. Как-то летом мы пришли туда с Шаляпиным. Шаляпин на террасе сидеть не хотел. Мы прошли внутрь ресторана и сели сбоку от буфета, за небольшой ширмой.

Посетители заметили Шаляпина и стали передвигать столы так, чтобы им было видно за ширмой Шаляпина. Нас было трое. Третий был приятель Шаляпина — Лодыженский. Одет он был странно. На голове — котелок, поддевка, повязанная серебряным кавказским поясом. И был он похож на человека, торгующего лошадыми. Таких бывало много на скачках. Шаляпин вдруг подозвал полового и приказал ему принести пяток яиц и спиртовку.

Я подумал, что он хочет глотать сырые яйца — для голоса, что он иногда и делал. Нет. Он зажег спиртовку, попросил у Лодыженского его котелок и, держа его над огнем, вылил в него яйца.

— Что ты делаешь? — возмущался Лодыженский. — Пропал котелок.

— Черт с ним! — отвечал Шаляпин.

Котелок дымит, а Шаляпин накладывает из котелка к себе на тарелку яичницу.

Публика возмутилась. Особенно сердился какой-то лицеист:

— Это вызов! Какой хам!

Все посетители ресторана, услышав, как Шаляпин готовит яичницу, подходили к буфету, будто выпить, а на самом деле — посмотреть вбок за ширму.

Возвращаясь к своим столам, они громко выражали негодование. Доносились слова:

— Босяк! Невежа!..

А Шаляпин оставался серьезен и продолжал с нами разговаривать как ни в чем не бывало. Конечно, яичницу он не ел, но ловко делал вид, что ест.

Таких озорных проделок за ним было немало.

Впрочем, были и люди, не прощавшие Шаляпину его больших гонораров.

Как-то весной в ресторане Крынкина на Воробьевых горах мы сидели на террасе за столиком. Был солнечный день. Мы ели окрошку. Из окон террасы была видна Москва-река, горы в садах, и я писал маленький этюд.

Шалыпин пошел погулять.

Неподалеку от меня за столом сидели какие-то посетители. Один был в форме телеграфиста. Он взглянул в окно на Шалыпина, который стоял у изгороди, и, вздохнув, сказал приятелям:

— Хорошо ему, легко живется, сплет — и пожалуйста деньги. Шутка нехитрая. Правды-то нет! Голос и голос! Другое дело, может, нужней. Молчит и работает. А этот орет на всю Москву: «Кто я?!»

— Послушайте, — сказал я, — вы, я вижу, люди почтенные. За что вы не любите Шалыпина? Поет он для вас. Можете взять билеты, послушать его — получите большое удовольствие.

— «Поет»! Мы знаем, что поет. А сколько он получают?

— И вы тоже получаете.

— Нет, сколько он получают? Это разница. Я вот здесь вот эти горы Воробьевы и дворец Его Императорского Высочества обслуживаю. Понять надо! Серьезное дело! Сколько он получают и сколько я? Разница! Вот что!

Человек был в большом гневе, и я не знал, что ответить.

Когда вернулся Шалыпин и сел со мной за стол, сердитые люди поднялись и стали одеваться. Уходя, они зло посмотрели в нашу сторону.

У Шалыпина образовалось много знакомств в Москве, и летом он часто гостил в деревне Путятино, у певицы Частной оперы Т.С. Любатович.

Однажды он заехал ко мне и просил меня поехать с ним к Любатович.

— Поедем. Возьми ружье, ты ведь охотник. Там дичи, наверно, много. Глушь, место замечательное. Татьяна — баба хорошая. Ты знаешь, ведь я женюсь.

— Как — женишься? На ком? — удивился я.

— На Иоле Торнаги. Ну, балерину у нас знаешь? Она, брат, баба хорошая, серьезная. Ты шафером будешь. Там поблизости в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труффи приедет, Малинин, Рахманинов, Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки разные, потом шляпы. Каргуз же — умней, лучше. Козырек — он солнце загораживает, и ветром не сносит. В вагоне еду — я люблю смотреть в окошко. В Пушкино, к Карзинкиным, недавно ехал, высунулся в окошко, у меня панамы и улетела. Двадцать пять рублей заплатил..

Свадьба

У подъезда одноэтажного домика в три окошка стояли подводы. Возчики долго дожидались и говорили:

— Пора ехать, поп дожидается.

— Федор, — говорили Шалыпину, — пора ехать.

Но Шалыпин замешкался. Встал поздно.

— Постой, сейчас, — говорил он, — только папирос набыю.

Невеста, уже одетая в белое платье, и все мы, гости, уже сели на подводы. Наконец выбежал Шалыпин и сел со мной на подводу. Он был одет в поддевку, на голове — белый чесучовый каргуз.

Мы проехали мост, перекинутый через пруд. Здесь в крайней избе я жил с приятелем своим, охотником Колей Хитровым. Он выбежал из избы, подбежал к нам и сел на облучок рядом с возчиком.

— Господи, до чего я напугался! — обернувшись к нам, стал он рассказывать. — Говорят, здесь каторжник бегаёт. А меня вчера заставили сад сторожить — там ягоды воруют, клубнику. Вдруг слышу: по мосту кто-то бежит и звякает кандалами. Мост пробежал и — ко мне! Я скорей домой, схватил ружье и стал палить из окна. Мужики сбежались, ругаются: «Что ты из дому стреляешь, деревню зажжешь!» А я им: «Каторжник сейчас пробежал в кандалах к саду Татьяны Спиридоновны». Мужики — кто за косы, кто за вилы — ловить его. Мы все побежали к саду. Слышим: кандалами звякает за садом. «Вон он где!» — кричу я. Подбежали и вдруг видим... лошадь, и ноги у ней спутаны цепью. Вот меня мужики ругали!..

— Замечательный парень у тебя этот Коля, — смеясь, сказал мне Шаляпин. — Откуда достаеть таких?

* * *

Ехали лесами и полями. Вдали, за лесом, послышался удар грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния, и нас окатил проливной дождь. Кое у кого были зонтики, но у нас зонтиков не было, и мы приехали в церковь мокрехоньки. Начался обряд венчания. Я держал большой металлический венец, очень тяжелый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина:

— Ничего, если я на тебя корону надену?

— Вали, — ответил он.

Венец был велик и опустился Шаляпину прямо на уши...

* * *

По окончании венчания мы пошли к священнику — на улице все еще лил дождь. В небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка и дочь священника хлопотали, приготавливая чай. Мы с Шаляпиным пошли на кухню, разделись и положили на печку сушить платье.

— Нельзя ли, — спросил Шаляпин священника, — достать вина или водки?

— Водки нет, а кагор для церкви есть.

И мы, чтобы согреться, усердно наливали в чай кагору. Когда двинулись в обратный путь, священник наделил нас зонтиками...

* * *

У Путятина нам загородили дорогу крестьяне, протянув поперек колеи ленту. Ее держали в руках девушки и визгливо пели какую-то песню, славя жениха и невесту. В песне этой были странные слова, которые я запомнил:

Мы видели, мы встречали

Бродягу в сюртуке, в сюртуке, в сюртуке...

Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул рублевку и дал. Бабы говорили: — Мало! А нам-то на пряники?

Другие тоже дали крестьянам денег. Лепту собрали, и мы поехали.

Вернувшись к Татьяне Спиридоновне, мы увидели столы, обильно уставленные винами и едой.

Поздравляя молодых, все целовались с ними. Кричали «горько».

К вечеру Коле Хитрову опять выпал жребий сторожить сад. И когда я, распростившись, уходил к себе на деревню, Шаляпин вышел со мной:

— Пойдем посмотрим, как твой приятель караулит...

В глубине сада, огороженного канавой с разваленным частоколом, мы увидели огонек фонаря.

Шаляпин сделал мне знак, мы легли в траву и тихо поползли к канаве. Фонарь, горевший в шалашике, покрытом рогожей, освещал испуганное лицо Коли. Вытащив глаза, он смотрел в темную ночь.

— А этого сторожа надо резать! — не своим голосом сказал Шаляпин.

— Кто такой? — завопил неистово Коля. — Буду стрелять!

И, выскочив из шалаша, пустился бежать из сада.

— Держи его! — кричал Шаляпин. — Не уйдешь!..

Коля кинулся к дому Татьяны Спиридоновны. Прибежав туда, он крикнул:

— Разбойники!..

Все переполошились. Высыпали на улицу.

Подходя к дому, мы увидели Иолу Игнатъевну, молодую. В беспокойстве она говорила, картавя, по-русски:

— Господи! Где Федя, что с ним?..

Шаляпин был в восторге.

Частная опера

Сезон в Частной опере в Москве в театре Мамонтова открылся оперой «Псковитянка» Римского-Корсакова.

Я, помню, измерил рост Шаляпина и сделал дверь в декорации нарочно меньше его роста, чтобы он вошел в палату наклоненный и здесь выпрямился с фразой: «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи-псковичи, присесть позвольте?»

Так он казался еще огромнее, чем был на самом деле. На нем была длинная и тяжелая кольчуга из кованого серебра. Эту кольчугу, очень древнюю, я купил на Кавказе у старшины хевсур. Она плотно облегла богатырские плечи и грудь Шаляпина. И костюм Грозного сделал Шаляпину я.

Шаляпин в Грозном был изумителен. Как бы вполне обрел себя в образе сурового русского царя, как бы принял в себя его беспокойную душу. Шаляпина не было на сцене, был оживший Грозный.

В публике говорили: «Жуткий образ...»

Таков же он был и в «Борисе Годунове»...

Помню первое впечатление.

Я слушал, как Шаляпин пел Бориса, из ложи Теляковского. Это было совершенно и восхитительно.

В антракте я пошел за кулисы. Шаляпин стоял в бармах Бориса. Я подошел к нему и сказал:

— Ну, знаешь ли, сегодня ты в ударе.

— Сегодня, — сказал Шаляпин, — понимаешь ли, я почувствовал, что я в самом деле Борис. Ей-Богу! Не с ума ли я сошел?

— Не знаю, — ответил я. — Но только сходи с ума почаще...

Публика была потрясена. Вызовам, крикам и аплодисментам не было конца. Артисты это называют «войти в роль». Но Шаляпин больше, чем входил в роль, — он поистине перевоплощался. В этом была тайна его души, его гения.

Когда я в ложе рассказал Теляковскому, что Шаляпин сегодня вообразил себя подлинным Борисом, тот ответил:

— Да, он изумителен сегодня. Но причина, кажется, другая. Сегодня он поссорился с Купером, с парикмахером, с хором, а после ссор он поет всегда, как бы утверждая свое величие... Во многом он прав. Ведь он в понимании музыки выше всех здесь.

* * *

Состав артистов Частной оперы в Москве был удивительный. В «Фаусте», например, Маргариту пела Ван-Зандт, Фауста — Анжело Мазини, Мефистофеля — Шаляпин.

Шаляпин тогда впервые выступал с Мазини и на репетиции, помню, все посматривал на него. Мазини не пел, а только условливался с дирижером и проходил места на сцене.

По окончании репетиции Шаляпин мне сказал:

— Послушай, а Мазини какой-то особенный. Барин. Что за штука? В трио мне говорит: «Пой так», — и мы с Ван-Зандт, представь, три раза повторили. Обращается ко всем на «ты». Бевиньяни его слушается. Иола говорила, что замечательный певец. Я еще не слышал...

Ван-Зандт, Мазини, Шаляпин... Вряд ли «Фауст» шел в таком составе где-нибудь в Европе...

Шаляпин был в восторге от Мазини. Говорил: «У него особенное горло», «Вот он умеет петь».

За ужином после спектакля, на котором Ван-Зандт не присутствовала, рядом сидели Мазини, Девойд, молодой тенор Пиццорни, Дюран и многие другие артисты, все говорили по-итальянски.

К концу ужина Мазини, не пивший шампанского, налил себе красного вина и протянул стакан к Шаляпину.

— Ты замечательный артист! — сказал он. — Приезжай ко мне в Милан гостить. Я тебе покажу кое-что в нашем ремесле. Ты будешь хорошо петь.

И, встав, подошел к Шаляпину, взял его за щеки и поцеловал в лоб...

* * *

Шаляпин не забыл приглашения Мазини и весной поехал в Милан.

Вернувшись летом в Москву, он был полон Италией и в восторге от Мазини.

Одет был в плаще, как итальянец. Курил длинные сигары, из которых перед тем вытаскивал соломинку. А выкурив сигару, бросал окурки через плечо.

В сезоне в «Дон-Жуане» с Падилла Шаляпин пел Лепорелло уже по-итальянски, с поразительным совершенством. Да и говорил по-итальянски, как итальянец. А в голосе его появился лиризм и *mezza voce*¹.

¹ Вполголоса (ит.).

Однажды в Париже, не так давно, когда Шаляпин еще не был болен, за обедом в его доме его старший сын Борис, после того как мы говорили с Шаляпиным о Мазини, спросил отца:

— А что, папа, Мазини был хороший певец?

Шаляпин, посмотрев на сына, сказал:

— Да, Мазини не был певец, это вот я, ваш отец, — певец, а Мазини был Серафим от Бога.

Вот как Шаляпин умел ценить настоящее искусство.

Мы продолжали в тот вечер говорить о Мазини.

— Помнишь, — сказал я, — Мазини на сцене мало играл, почти не гримировался, а вот стоит перед глазами образ, который он создал в «Фаворитке», в «Севильском цирюльнике». Какая мера!.. Какое обаяние!

— Еще бы! Ведь он умен... Он мне, брат, сказал: «Бери больше, покуда поешь, а то пошлют к черту, и никому не будешь нужен!» Мазини ведь пел сначала на улицах. Знал жизнь...

— А вот я встретил как-то в Венеции Мазини, он меня позвал в какой-то кабачок пить красное вино, там был какой-то старик, гитарист, он взял у него гитару и долго пел со стариком. Помню, я себя чувствовал не на земле: Мазини замечательно аккомпанировал на гитаре. В окна светила луна, и черные гондолы качались на Canale Grande¹. Это было так красиво: мне мнилось, будто я улетел в другой век — поэзии и счастья. Никогда не забуду этого вечера.

— А я не слышал, как он поет с гитарой. Должно быть, хорошо... А вот скажи, что это стбит — эта ночь, когда Мазини пел с гитарой? Сколько франков?

— Ну, не знаю, — ответил я, — ничего не стоит!..

— Вот и глупо, — сказал Шаляпин.

— Почему? Он же сам жил в это время, он же артист. Он восторгался ночью.

— Да, может быть. Он был странный человек... В Милане, в Галерее, — знаешь, там бывают артисты, певцы, кофе пьют, — он мне однажды сказал: «Все они не умеют петь».

— Как же, постой... Когда я писал портрет с Мазини, отдыхая, он обычно пел с гитарой и, помню, однажды сказал мне: «Я вижу, тебе нравится, как я пою». — «Я не слышал ничего лучше», — ответил я. «Это что! — сказал мне Мазини. — У меня был учитель, которому я недостоин застегнуть сапоги. Это был Рубини. Он умер». И Мазини перекрестился всей рукой. «А я слышал Рубини», — сказал я. «Ты слышал Рубини?» — «Да, четырнадцати лет, мальчиком, я слышал Рубини. Может быть, я не понял, но, по-моему, вы, Анжело, вы поете лучше». — «Неужели?» — Мазини радостно засмеялся...

— Какая несправедливость, — сказал вдруг Шаляпин, — Мазини чуть не до восьмидесяти лет пил красное вино, а я не могу. У меня же сахар нашли. И черт его знает, откуда он взялся!.. А ты знаешь, что Мазини на старости сделался антикваром?.. Я тоже, брат, хожу по магазинам и всякие вещи покупаю. Вот, фонари купил. Может быть, придется торговать. Вот, видишь ли, я дошел до понимания Тициана. Вот это, видишь, у меня Тициан, — показал он на большую картину с нагими женщинами.

¹ Большой канал (ит.).

И, встав из-за стола, повел меня смотреть полотно.

— Вот видишь, подписи нет, а холст Тициана. Но я отдам реставрировать, так, вероятно, найдут и подпись. Что ж ты молчишь? Это же Тициан? — тревожился Шаляпин.

— Не знаю, Федя, — сказал я. — Может быть, молодой. Но что-то мне не особенно нравится.

— Ну вот, значит, меня опять надули.

Шаляпин расстроился до невозможности.

Шаляпин и Врубель

На Долгоруковской улице в Москве, в доме архитектора Червенко, была у меня мастерская.

Для Серова Червенко построил мастерскую рядом с моей. Ход был один.

Приехав из Киева, Врубель поселился у меня в мастерской.

Врубель был отрешенный от жизни человек — он весь был поглощен искусством. Часто по вечерам приходил к нам Шаляпин, иногда и после спектакля. Тогда я посылал дворника Петра в трактир за пивом, горячей колбасой, калачами.

На мольберте стоял холст Врубеля. Большая странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом. Все было сделано резкими линиями, и начало волос уходило к самому верху холста. В лице было страдание. Оно было почти белое.

Придя ко мне, Шаляпин остановился и долго смотрел на полотно:

— Это что ж такое? Я ничего подобного не видал. Это же не живопись Я не видал такого человека.

Он вопросительно смотрел на меня.

— Это кто же?

— Это вот Михаил Александрович Врубель пишет.

— Нет. Этого я не понимаю. Какой же это человек?

— А нарисовано как! — сказал Серов. — Глаза. Это, он говорит, «Неизвестный».

— Ну, знаешь, этукую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведешь глаза, а он все в глазах стоит... А где же Врубель?

— Должно быть, еще в театре, а может быть, ужинает с Мамонтовым.

Шаляпин повернул мольберт к стене, чтобы не видеть головы Неизвестного.

— Станный человек этот Врубель. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: «Вы читали Горького?», а он: «Кто это такой?» Я говорю: «Алексей Максимович Горький, писатель». — «Не знаю». Не угодно ли? В чем же дело? Даже не знает, что есть такой писатель, и спрашивает меня: «А вы читали Гомера?» Я говорю: «Нет». — «Почитайте, неплохо... Я всегда читаю его на ночь».

— Это верно, — говорю я, — он всегда на ночь читает. Вон, видишь, под подушкой у него книга. Это Гомер.

Я вынул изящный небольшой томик и дал Шаляпину.

Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал:

— Это же не по-русски.

— Врубель знает восемь иностранных языков. Я его спрашивал, отчего он читает именно Гомера. «За день, — ответил он, — устанешь, слушаешься всякой мерзо-

сти и скуки, а Гомер уводит...» Врубель очень хороший человек, но со странностями. Он, например, приходит в совершенное расстройство, когда манжеты его рубашки испачкаются или промнутя. Он уже не может жить спокойно. И если нет свежей под рукою, бросит работу и поедет покупать рубашку. Он час причесывается у зеркала и тщательно отделяет ногти. А в газетах утром читает только отдел спорта и скачки. Скачки он обожает, но не играет. Обожает лошадей. Ездит верхом, как жockey. Приятели у него все — спортсмены, цирковые атлеты, наездницы. Он ведь с цирком и из Киева приехал.

Отворилась дверь, и вошел М.А. Врубель.

— Как странно, — сказал он, — вот здесь, по соседству, зал отдается под свадьбы и балы. Когда я подъехал и платил извозчику, я увидел, что в доме бал. А у подъезда лежит контрабас, а за ним — музыкант на тротуаре. И разыгрывается какой-то скандал. В этом было что-то невероятно смешное. Бегут городовые, драка.

— Люблю скандалы, — вскинулся Шаляпин, — пойдем посмотрим.

— Все кончилось, — сказал Врубель, — повезли всех в полицию.

— Послушайте, Михаил Александрович, вот вы образованный человек, а вот здесь стояла картина ваша, такая жуткая, что это за человек, Неизвестный?

— А это из лермонтовского «Маскарада», вы же знаете, читали.

— Не помню... — сказал Шаляпин.

— Ну, забыть трудно, — ответил Врубель.

— Я бы не повесил такую картину у себя.

— Бойтесь, что к вам придет такой господин? А может прийти...

— А все-таки какой же это человек — Неизвестный, в чем тут дело?

— А это друг ваш, которого вы обманули.

— Это все ерунда. Дружба. Обман. Все только и думают, как бы тебя обойти. Вот я делаю полные сборы, а спектакли без моего участия проходят чуть не при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо. А говорят, Мамонтов меня любит! Если любишь, плати. Вот вы Горького не знаете, а он правду говорит: «Тебя эксплуатируют». Вообще в России не любят платить... Я сказал третьего дня Мамонтову, что хочу получать не помесечно, а по спектаклям, как гастролер. Он и скис. Молчит, и я молчу.

— Да, но ведь Мамонтов зато для вас поставил все оперы, в которых вы создали себя и свою славу, он имеет тоже право на признательность.

— А каменщикам, плотникам, архитекторам, которые строили театр, я тоже должен быть признателен? И может быть, даже им платить? В чем дело? «Псковитянка!» Я же Грозный, я делаю сборы. Трезвинский не сделает. Это вы господские разговоры ведете.

— Да, я веду господские разговоры, а вот вы-то не совсем...

— Что вы мне говорите «господские»! — закричал, побледнев, Шаляпин. — Что за господа! Пороли народ и этим жили. А вы знаете, что я по паспорту крестьянин и меня могут выпороть на конюшне?

— Это неправда, — сказал Врубель. — После реформ Александра II никого, к сожалению, не порют.

— Как «к сожалению»? — крикнул Шаляпин. — Что это он говорит, какого барина разделяет из себя!

— Довольно, — сказал Врубель.

Что-то неприятное и тяжелое прошло в душе. Шаляпин крикнул:

— И впрямь, к черту все и эту тему!

— Мы разные люди.

Врубель оделся и ушел.

— Кто он такой, этот Врубель, что он говорит? — продолжал в гневе Шаляпин. —

Гнилая правда.

— Да, Федор Иванович, когда разговор зайдет о деньгах, всегда какая-нибудь гадость выходит, — сказал Серов и замигал глазами. — Но Мамонтову театр тоже, кажется, много стоит. Его ведь за театр ругают. Только вы не бойтесь, Федор Иванович, вы получите...

— Есть что-то хочется, — сказал несколько погодя Шаляпин. — Поехать в «Гурзуф», что ли, или к «Яру»? Константин, у тебя деньги есть, а то у меня только три рубля.

И он вынул из кармана свернутый трешник.

— Рублей пятнадцать... Нет — двенадцать. Этого мало.

Я обратился к Серову:

— Антон, у тебя нет денег?

— Мало, — сказал Серов и полез в карман. У него оказалось семь рублей. — Я ведь не поеду, вот возьмите пять рублей.

— Куда же ехать, — сказал я, — этих денег не хватит.

Поездка не состоялась, и Шаляпин ушел домой.

Конец Частной оперы

В характере Шаляпина произошла некоторая перемена. По утрам, просыпаясь поздно, он долго оставался в постели. Перед ним лежали все выходящие газеты, и первое, что он читал, была театральная хроника, к которой он всегда относился с большим раздражением.

— Когда ругают, — говорил он, — то неверно, а когда хвалят, то тоже неверно, потому что ничего не понимают. Кашкин еще куда ни шло, ну, а Кругликов — это что ж? Станный человек. Вообще у нас критика бутербродная...

Утром приезжали знакомые, поклонники. Шаляпин принимал их, лежа в постели. В это время нянька приносила к нему родившегося сына Игоря. Ребенок был со светлыми кудрями, и Шаляпин играл с ним, несчетно целуя и радуясь.

Когда его спрашивали, что он намерен петь новое, он нехотя отвечал, что не знает; не знает, будет ли и вообще-то петь еще.

А мне всегда говорил серьезно и наедине:

— Ты скажи, Константин, Мамонтову, что я хочу жить лучше, что у меня, видишь ли, сын и я хочу купить дом. В сущности, в чем же дело? У всех же есть дома. Я тоже хочу иметь свой дом. Отчего мне не иметь своего дома?

Шаляпин был озабочен материальным благополучием, а Мамонтов говорил, что он требует такой оплаты, какой частный театр дать не может. Нет таких сборов. Гастроли Мазини не могут проходить целый год, так как публика не может оплатить такого сезона. Тамань не мог сделать десять полных сборов по таким повышенным ценам.

Из-за денежных расчетов между Шаляпиным и Мамонтовым происходили частые недоразумения.

— Есть богатые люди, почему же я не могу быть богатым человеком? — говорил Шаляпин. — Надо сделать театр на десять тысяч человек, и тогда места будут дешевле.

Мамонтов был совершенно с ним согласен, но построить такого театра не мог.

Постоянная забота о деньгах, получениях принимала у Шаляпина болезненный характер. Как-то случилось так, что он никогда не имел при себе денег — всегда три рубля и мелочь. За завтраком ли, в поезде с друзьями, он растерянно говорил:

— У меня же с собой только три рубля...

Это было всегда забавно.

Летом Шаляпин где-нибудь гостил у богатых людей или у друзей; у Козновых, Ушковых. И более всего у меня.

Когда мы приезжали ко мне в деревню на охоту или на рыбную ловлю, мужички приходили поздравить нас с приездом. Им надо было дать на водку, на четверть, и я давал 1 рубль 20 копеек.

Шаляпин возмущался и ругательски меня ругал:

— Я же здесь хочу построить дом, а ты развращаешь народ! Здесь жить будет нельзя из-за тебя.

— Федя, да ведь это же охотничий обычай. Мы настреляли тетеревов в их лесу сколько, а ты сердисься, что я даю на чай. Ведь это их лес, их тетерева.

Серов, мигая, говорил:

— Ну, довольно, надоело.

И Шаляпин умолкал.

Государственный контролер Третий Иванович Филиппов обратился как-то к Шаляпину, чтобы тот приехал в Петербург для участия в его хоре.

Шаляпин спросил Мамонтова, как в данном случае поступить.

— Как же, Феденька, — ответил Мамонтов, — вы же заняты в театре у меня, билеты проданы. Это невозможно.

И Мамонтов написал Филиппову письмо, что не может отпустить Шаляпина.

В это время уже заканчивалась постройка Архангельской железной дороги.

— Какая странность, — говорил мне Мамонтов, — ведь ему же известно, что Шаляпин находится у меня в труппе. Ему надо было прежде всего обратиться ко мне...

В конце концов Шаляпин уехал все же в Петербург петь в хор. Между Филипповым и Мамонтовым вышла ссора...

В это время (1899 год) я был привлечен к сотрудничеству князем Тенишевым, назначенным комиссаром русского отдела на Парижской выставке 1900 года. Великая княгиня Елизавета Федоровна также поручила мне сделать проект кустарного отдела и помочь ей в устройстве его.

И вдруг в Париже я узнал, что Мамонтов разорен и арестован.

Вернувшись в Москву, я с художниками Васнецовым и Серовым навестили Мамонтова в тюрьме.

Савва Иванович был совершенно покоен и тверд и не мог нам объяснить, почему над ним стряслась беда.

Я поехал к Витте. Он принял меня в мрачном настроении. Сказал мне:

— Что ж, у них сердца мало.

«У кого “у них”?» — подумал я. И спросил:

— Скажите мне, Сергей Юльевич, в чем вина Мамонтова?

— Не знаю, — ответил он резко. — Вы не думайте, я сам удивляюсь, почему это случилось.

Серов, написавший в это время не один портрет императора Николая II, надумал поехать к Государю.

Государь ему сказал:

— Да, жалко старика. Я сейчас же прикажу, чтобы его перевели в его дом. Там, у себя, он будет ждать, куда разберут его дело и что скажет закон.

Но дома у Мамонтова уже не было. Все быстро продали с аукциона — и заводы, и дома.

Я сейчас же навестил Савву Ивановича в доме его сына, куда его перевели под домашний арест. Савва Иванович держал себя так, будто с ним ничего не случилось. Его прекрасные глаза, как всегда, смеялись. И он только грустно сказал мне:

— А Феденьке Шаляпину я написал, но он что-то меня не навестил.

* * *

Частная опера продолжалась под управлением Винтер — сестры артистки Любович. Я не был в театре под ее управлением. Там делал постановки М.А. Врубель, с которым Шаляпин поссорился окончательно. А потом, кажется, и со всеми в театре.

Обед у кн. Тенишевой

Я вернулся в Париж и занимался устройством русского отдела выставки. Однажды утром, как сейчас помню, приехал Шаляпин в гостиницу на рю Коперник и поселился со мной. Была весна, апрель. Я торопился с работами. Первого мая открывалась выставка. В русском отделе все было готово. Во время работ по размещению экспонатов Шаляпин был всегда со мной — на выставке. Для этого даже получил отдельный пропуск. Но скучал и говорил:

— Ну, довольно, кончай, пойдем завтракать. Ты посмотри на мой Париж, — говорил он с акцентом, подражая какому-то антрепренеру.

Шаляпин был весел. Говорил:

— Я здесь буду петь.

Княгиня Тенишева приглашала Шаляпина к себе, и князь усердно угощал его роскошными обедами и розовым шампанским, приговаривая:

— Пейте. Все вздор.

И оба усердно выпивали.

Но вышло недоразумение. Княгиня позвала Шаляпина на большой обед в их особняке на рю Бассано. Было приглашено много народу.

В конце обеда княгиня просила Шаляпина спеть. Шаляпин отказывался, говоря, что у него нет с собой нот. Но оказалось, что уже был приглашен пианист и приобретены ноты его репертуара.

Пришлось согласиться.

Шаляпин пел. Приглашенные гости-иностранцы были в восхищении от замечательного артиста. Он пел много и был в ударе.

Утром на другой день Тенишев прислал Шаляпину в подарок булавку с бриллиантом.

А Федор Иванович как раз в это время сидел у меня и писал счет за исполненный концерт. Счет был внушительный, и тут же был послан князю Тенишеву с его же посланным.

В полдень, отправляясь завтракать на выставку, мы встретили у подъезда того же посланного. Он принес большой пакет с деньгами от князя Тенишева и попросил Шаляпина дать расписку в получении.

В ресторане за завтраком я сказал, смеясь:

— Что ж ты, Федя, получил и булавку, и деньги?

— А как же, булавка — это подарок, а я за подарок не пою. Это же был концерт. Я пел почти три часа. Какие же тут булавки!

— Ты так перед отъездом и не повидал Савву Ивановича? — спросил я.

— Нет, я же не понимаю, в чем дело. Арест. А ты думаешь, что он виноват?

— Нет, я не думаю, что он виноват. Этого не может быть, — сказал я убежденно.

— Это, должно быть, Третий ему устроил праздник. Он же контролер. У него все виноваты.

— А вот ты Третью за концерт счета не напишешь.

— Ну нет! Я тоже ему счетик написал! Заплатил. Но уж больше меня в хор петь не зовет.

И Шаляпин засмеялся.

На выставке мы завтракали в ресторане «Бояр», где стены были из одного стекла. Весеннее солнце весело играло по столам. Недалеко, в стороне, сидел какой-то господин и все посматривал на нас.

— Это русский, — сказал Шаляпин.

Рядом с ним сидели двое иностранцев. Разбавляя абсент, они лили в длинные бокалы, поверх которых лежали кусочки сахара, воду. Русский позвал гарсона и заказал ему тот же напиток, что пили иностранцы, но щелчком сшиб сахар с бокала и велел налить его дополна абсентом. Гарсон вопросительно посмотрел на чудака. Русский, встав, сказал:

— Федор Иванович, ваше здоровье! — и одним духом выпил весь стакан абсента.

— Постой, — сказал Шаляпин.

И, поднявшись, подошел к русскому:

— Что это вы пьете?

— Без воды надо это пить, они не понимают.

— Ну-ка, налей.

И Шаляпин тоже выпил абсент без воды.

— А крепкая штука, в первый раз пью. Водка-то наша — просто вода...

Возвращение в Императорские театры

По открытии Парижской выставки в мае 1900 года я получил письмо от управляющего московскими Императорскими театрами В.А. Теляковского, в котором он мне предлагал принять на себя ведение художественной части московских Императорских театров и сообщить о времени моего приезда в Москву.

Я сказал об этом Шаляпину.

— Придется и тебе петь в Императорском театре.

— Вряд ли, — ответил мне Федор Иванович, — они меня там терпеть не могут. Да к тому же считают революционером.

— Какой ты революционер? Где ж ты будешь петь? Мамонтов ведь разорен.

На этом разговор наш оборвался.

По приезде моем в Москву на другой же день утром ко мне приехал очень скромного вида человек, одетый в серую военную тужурку. Он был немножко похож лицом на простого русского солдата. В светло-серых глазах его я прочел внимание и ум.

Он просто сказал мне:

— Я бы хотел, чтобы вы вошли в состав управления театрами. Страдает у нас художественная сторона. Невозможно видеть невежественность постановок. Я видел ваши работы у Мамонтова, и мне хотелось бы, чтобы вы работали в театре. Жалею, что нельзя привлечь Мамонтова, с ним такое несчастье.

— А как же с оперой? — сказал я. — Ведь опера — это Шаляпин. Какая же русская опера без Шаляпина?

— Да, это правда, — согласился Теляковский, — но это очень трудно провести. Хотя я об этом всегда думал.

В тот же день я приехал к Теляковскому, и мы с ним проговорили до шести часов утра.

Через два дня состоялось мое назначение, и я познакомил Теляковского с талантливым художником А.Я. Головиным.

После первых наших постановок — балетов «Дон Кихот» и «Волшебное зеркало» — все газеты разразились неслыханной бранью. Артисты отказались надевать мои костюмы. Декорации Головина повешены были машинистами вкривь и вкось.

Грингмут в передовой статье писал в «Московских Ведомостях»: «Декадентство и невежество на образцовой сцене».

На генеральной репетиции «Дон Кихота» в Большом театре на Теляковского, который сидел в первом ряду, бросилась с истерическими рыданиями какая-то полная женщина, видимо, желая нанести ему оскорбление действием...

Теляковский схватил ее за руки и спросил:

— Кто это такая?

Оказалось — супруга декоратора Гельцера.

Любопытно, что еще до происшествия из конторы Императорских театров в тот день было сообщено по телефону в Петербург, что управляющему нанесено оскорбление за проведение невежества и декадентства. Московские газеты всех направлений и оттенков прямо сошли с ума.

И странно: театр, обычно пустовавший в дни балетных спектаклей, на представлениях балетов «Дон Кихот» и «Волшебное зеркало» был полон.

Шаляпин тем временем вел ежедневно переговоры с Теляковским. И Теляковский говорил мне, смеясь:

— Ну и особенный человек ваш Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например: постоянная годовая ложа бенеуара для его друга Горького. Потом еще три ложи для его друзей, которых, оказывается, он даже и поименно не знает. Потом плата, невиданная в Императорских театрах, — полторы и две тысячи за спектакль. Притом он уже несколько раз терял подписанные мной с ним контракты. Наконец, знаете, что я сделал? Я подписал ему чистый бланк, чтобы он вставил сам пункты, какие ему нравятся. Все равно, кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например: у его уборной должны находиться, по его требованию, два вооруженных солдата с саблями наголо...

Я не мог слушать эти рассказы без смеха.

— Зачем же это ему нужно?

Теляковский тоже отвечал, смеясь:

— А как же! Для устрашения репортеров...

Через некоторое время Теляковский вновь мне сказал:

— Шаляпин-то ваш опять контракт потерял. Жена его положила в шкаф, а шкаф переменял мебельщик. Все ищет, пока поет без контракта. Чтоб удовлетворить его требования, пришлось повысить цены на его спектакли. Что делать? Великий артист. Явление исключительное... Я лично рассказал Государю о Шаляпине, контрактах, декадентах. Государь смеялся и сказал, что ему все только и говорят, что о декадентах в Императорском театре.

Вскоре по уходе Волконского Теляковский был назначен директором Императорских театров в Петербург.

Императорские театры — опера и балет, делали с тех пор полные сборы, и казенные субсидии театрам уменьшились благодаря этому более чем вдвое.

Газеты долго еще продолжали писать о декадентстве. И вдруг — тон изменился. Про меня начали писать: «наш маститый», «превзошел себя». Уже привыкнув к ругани, я даже испугался: уж не постарел ли я?..

Шаляпин был в полном расцвете сил и своей славы.

Спектакль в честь Лубэ

В Петербург приехал президент Французской республики Лубэ.

Весной в китайском театре в Царском Селе был назначен парадный спектакль. Я делал декорации для акта балета «Фонтаны» из «Конька Горбунка», оперы «Фауст» — «Сад Маргариты», а также для сцены «Смерть Бориса», в которой участвовал Шаляпин.

Подошел вечер спектакля. Шаляпин одевался и гримировался Борисом. Режиссеры волновались, как бы не опоздать.

— Начинайте, начинайте, — говорил Шаляпин.

В это время в уборную к нему зашел великий князь Владимир Александрович.

Сев против гримировавшегося Шаляпина, он спросил его:

— Ну как? Что-нибудь новое учите?

— Некогда, Ваше Императорское Высочество, — ответил Шаляпин. — Некогда.

— А что же?

— У меня французенка, Ваше Высочество, и какая! Что учить? Когда учить? Все равно все забудешь... Какая французенка! Вы поймете...

— А-а! — засмеялся басом великий князь. — Что же, все может быть. И давно это с вами случилось?

— На днях.

— Федор Иванович, — говорил оробелый режиссер, — увертюра кончается, ваш выход.

— Я слышу, — сказал Шаляпин и быстро поднялся. Я вышел с ним на сцену. У входной двери сзади декораций боярской думы режиссер, державший дверь, чтобы выпустить в нужный момент Шаляпина, следил по клавиру.

Шаляпин, стоя около меня, разговаривал с балетной танцовщицей:

— Господи, если бы я не был женат... Вы так прекрасны! Но это все равно, моя дорогая...

Тут режиссер открыл дверь, и Шаляпин, мгновенно приняв облик обреченного царя, шагнул в дверь со словами:

— «Чур, чур, дитя, не я твой лиходей...»

В голосе его звучала трагедия.

Я удивился его опыту и этой невероятной уверенности в себе.

Он был поразителен.

Государь и президент, а также и весь зал без конца аплодировали ему.

На другой день Теляковский поднес ему в подарок от Государя большие золотые часы, сплошь покрытые бриллиантами.

Скандал

После спектакля Лубэ уехал. Все артисты были приглашены к ужину. Мы с Шаляпиным уехали в ресторан «Медведь». К нам присоединился основатель великорусского оркестра Андреев.

В зале ресторана к нам подошел какой-то человек высокого роста, поздоровался с Андреевым и обратился к Шаляпину:

— Я никак не могу достать билет на ваш спектакль. Вы теперь знаменитость, а я вас помню, когда вы еще ею не были. Дайте-ка мне два билета.

— Я же не ношу с собой билетов, — ответил Шаляпин. — Обратитесь в кассу театра.

— Не надо, — сказал пришедший.

И, обратившись к Андрееву, добавил:

— Загордился не в меру! Забыл, как в Казани пятерку у меня выклянчил.

Шаляпин побледнел. Я схватил его за руку и сказал:

— Он же пьян.

Но Шаляпин, вскочив, как тигр, сразу перевернул обидчика в воздухе.

Все сидевшие кругом бросились на Шаляпина, повисли на нем... Но он в одно мгновение всех раскидал и вышел в раздевальню.

— Едем!

Он весь трясся...

И мы уехали на Стрелку.

— Вот видишь, — сказал Шаляпин, — я нигде не могу бывать. Ни в ресторане, нигде. Вечные скандалы.

Протянув руку, он налил себе вина.

— Смотри, — сказал я, — что это, рука у тебя в крови?

— Да, — ответил он, — что-то этот палец не двигается, распух что-то. Должно быть, я ему здорово дал.

И спросил у Андреева:

— Кто он такой?

— Да ювелир один, я его знаю. Он парень хороший. Ты ведь это зря, Федя, он спьяну.

— Что такое — хороший? Какие же я могу ему дать билеты! Я ж их в кармане не ношу. Вообще у меня никаких билетов нет. Я оговорил в контракте, что буду распределять часть билетов в публике, но контракт, понимаешь, Иола потеряла. А из-за этого черт знает что выходит... Не верит ведь никто, что у меня билетов нет. Будто я дать не хочу. Придется кассу сделать у меня в доме.

— Ерунда, — говорю я. — Что же, у твоих ворот будет всю ночь стоять народ в очереди?

— Ну, так тогда пускай мне дадут полицию, я буду разгонять. Я же говорю, что в этой стране жить нельзя.

Шаляпин опять расстроился.

* * *

В это время метрдотель на серебряном подносе подал Шаляпину и нам бокалы с шампанским. Там же лежала карточка. Метрдотель показал нам дальний стол:

— Это оттуда вам приказали подать.

Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там зааплодировали, и весь зал подхватил.

Аплодируя, кричали:

— Спойте, Шаляпин, спойте.

— Вот видишь, я прав — жить нельзя. — Шаляпин вновь побледнел. — Уйдем, а то будет скандал...

Дорогой Шаляпин говорил:

— Я же есть хочу. Поедем к Лейнеру, там сядем в отдельный кабинет.

У Лейнера кабинета не оказалось. Пришлось пойти в «Малый Ярославец».

В «Малом Ярославце» — о, радость — мы встретили Глазунова с виолончелистом Вержбиловичем.

Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк.

Глазунов заказал яблоко. Вержбилович сказал:

— Мы блины с ним ели. Сидим, поминаем Петра Ильича Чайковского.

Он обратился ко мне:

— Помните, как мы здесь часто обедали?

И к Шаляпину:

— Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то б он написал для вас. Вот Николай Андреевич верхним чутьем взял. Учужал, что Шаляпин будет.

— Верно, — подтвердил Глазунов. — Действительно, почужал, что будет артист.

Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон. Бывал чрезвычайно любезен и ласков.

— Коньяк хорош, — сказал Глазунов. — И приятно после блинов. Советую с яблоком.

Шалапин рассказывал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят.

Глазунов и Вержбилович слушали молча и рассеянно.

Весна

Слышу, в коридоре звонок. Отворяю — Федор Иванович Шалапин. Раздеваясь, говорит:

— Весна, оттепель!

Смотрит на меня вопросительно:

— Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга.

В коридоре опять звонок. Отворяю — Павел Александрович Сучков в пенсне, в котелке, лицо веселое. Раздеваясь, говорит:

— Весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь ли, тянет. Понять надо, да, да...

— Куда тебя тянет? — спрашивает его Федор Иванович, закуривая папиросу.

— На природу тянет. Вальдшнепы тянут, жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везет по теневой стороне. Я говорю: «Возьми налево, где солнце». А он говорит: «Никак не возможно». — «Держи лево», — говорю ему. А он: «Чего? Мне из-за вас городской морду побьет». Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму и сажусь на кряковую утку. На реке, у леса.

— Если ты едешь один, — говорю я, — то возьми паспорт. А то может нагрязнеть урядник, лицо у тебя такое серьезное, подумает: что это за человек такой сердитый живет, взять его под сомнение. А ты камергер...

— Постой.

Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман, поискал и достал паспорт.

— Ну-ка дай.

Федор Иванович взял у него из рук паспорт.

— Что же это такое? При-чи-слен-ный... Какая гадость!

Федор Иванович захохотал.

— Постой. Дай сюда, — рассердился Павел Александрович.

Он взял паспорт у Шалапина и мрачно спросил:

— Где это?

— Да вот тут, — показал Шалапин. — Ну, «состоящий», «утвержденный», а то «причисленный» — ерунда. Какой-то мелкий чинуша.

— Постой, — уже совсем в сердцах сказал Сучков. — Дай чернила.

И, сев за стол, вычеркнул из паспорта обидное слово.

— Причисленный — непричисленный, все это вздор, пошлости. Но весна — и я еду. Сажусь на кряковую утку там на реке, у леса...

— Позволь, в чем дело? То есть как же ты на утку сядешь? — спросил Шалапин.

— Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь, и все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что

значит до весны дожить? Дожить до весны — счастье! А вам все равно, у вас там, — он показал на грудь, — пусто. Я еду.

— И я, Павел, еду с тобой, — сказал серьезно Шалапин. — Но только в чем же все-таки дело? Что значит «сесть на утку»? Надо же ясно говорить.

— Все равно не поймешь, — сказал Павел Александрович. — Не охотник — и молчи.

— Постой, — вступился я. — Все очень просто. Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит. А селезни летят на зов утки, и их с берега стреляют.

— А когда же на нее садятся? — серьезно спросил Федор Иванович.

— Довольно пошлостей, — рассердился Павел Александрович. — Вздор. Не то. Утка домашняя не годится. На нее не сядешь. Понимаешь? У ней селезень около всегда свой, а уток Герасим приготовил — ручных диких, помесь с кряквой. Эти утки орут. Зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства. Понимаешь? Женихи летят. А ты сидишь на берегу в кустах и стреляешь — одного, другого, десятого.

— Вот какая история... — сказал Шалапин. — Бабы вообще бессердечны. Убивают любовника, а ей все равно. Теперь понимаю, в чем дело, и тоже еду...

На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Федора Ивановича, одетого охотником, в высоких новых сапогах.

Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении.

В весенней ночи горели звезды. К утру приехали на станцию, сели в розвальни, покатили по талой дороге, объезжая большие лужи.

В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц.

О молодость! О весна! Россия!

Федор Иванович потерял папиросы и рассердился.

В моем доме, в лесу, у самой речки, пахло сосной. В большой комнате — мастерской — шипел самовар, деревенские лепешки, ватрушки, пирожки. А в окна видны были горящие на солнце сосны, проталины и лужи у сарая. Куры кудахтали — весна, весна...

Герасим принес в корзине уток. Объяснял Федору Ивановичу, что утки эти не домашние, а помесь дикой с домашней. Эта орет, а на домашнюю сегодня не возьмешь...

К вечеру на берегу разлившейся реки в кустах расселись охотники. А в воде недалеко от берега поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орали во все горло.

Селезни дурум летели на утиный призыв. Их тут и стреляли.

Наутро они были поданы к завтраку. Федор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, простудился. Насморк. Вероятно, потому что оделся очень тепло в ангорские кофты.

На отдыхе

Это лето Шаляпин и Серов проводили со мной в деревне близ станции Итларь. Я построился в лесу поблизости речки Нерли. У меня был чудесный новый дом из соснового леса.

Моими друзьями были охотники-крестьяне из соседних деревень, милейшие люди. Мне казалось, что Шаляпин впервые видит крестьян: он не умел как-то с ними говорить, немножко их побаивался. А если и говорил, то всегда какую-то ерунду, которую они выслушивали с каким-то недоверием.

Он точно роль играл — человека душа нараспашку; все на кого-то жаловался, намекал на горькую участь крестьян, на их тяжелый труд, на их бедность. Часто вздыхал и подпирал щеку кулаком.

Друзья мои, охотники, слушали про все эти тяжкие невзгоды народа, но отвечали как-то невпопад и, видимо, сучали.

Почему взял на себя Шаляпин обязанность радетеля о народе — было непонятно. Да и он сам чувствовал, что роль не удастся, и часто выдумывал вещи уже вовсе несуразные: про каких-то помещиков, будто бы ездивших на тройке, запряженной голыми девками, бивших их кнутами, и прочее в том же роде.

— Этого у нас не бывает, — говаривал ему, усмехаясь, охотник Герасим Дементьевич.

А однажды, когда Шаляпин сказал, что народ нарочно спаивают водкой, чтобы он не сознавал своего положения, заметил:

— Федор Иванович, и ты выпить не дурак. С Никоном-то Осипычем на мельнице, на-кось, гуся зажарили, так полведра вы вдвоем-то кончили. Тебя на сене на телеге везли, а ты мертво спал. Кто вас неволил?..

* * *

Был полдень. Шаляпин встал и медленно одевался. Умываться ему подавал у террасы дома расторопный Василий Харитонов Белов, маляр, старший мастер декоративной мастерской. Он служил у меня с десятилетнего возраста, когда я впервые охотился в этих местах, — отец его уприсил меня взять его: «Детёв больно много — прямо одолели».

От меня Василий Белов ушел в солдаты. Служил где-то в Польше и опять вернулся ко мне. Человек он был серьезный и положительный. Лицо имел круглое, сплошь покрытое веснушками, глаза, как оловянные пуговицы, роста небольшого, выправка солдатская. Говорил отчетливо: «Так точно, никак нет». Федор Иванович его очень любил. Любил с ним поговорить.

Разговоры были особенные и очень потешали Шаляпина. Он говорил, что Василий замечательный человек, и хохотал от души. А Василий хмурился и говорил потом на кухне, что у Шаляпина только смехун в голове, сурьеза никакого: хи-хи да ха-ха, а жалованье получает здоровое...

Василий имел особое свойство — все путать. На этот раз, подавая умываться Шаляпину из ковша, рассказал, что студенты — народ самый что ни есть отчаянный — в Москве, на Садовой, в доме Соловейчика, где находится декоративная мастерская, женщину третьего дня зарезали, и в карете скорой медицинской помощи ее отправили в больницу. Он сам видел.

— До чего кричала! Вот какой народ эти студенты — хуже нет.

— Что же, — спросил Шаляпин, — красива, что ли, она была или богата?
— Чего красива! — с неудовольствием ответил Василий. — Толстая, лет под шестьдесят. Сапожникова жена, бедные, в подвале жили.
— Ты что-то врешь, Василий, — сказал Шаляпин.
— Вот у вас с Кинстинтин Ликсеичем Василий все врет. Веры нету.
— Так зачем же студентам резать какую-то толстую старую бабу, жену бедного сапожника, ты подумай?
— Так ведь студенты!.. народ такой!..

Шаляпин, умывшись, пришел в мою большую мастерскую. Там уж кипел самовар. Подали оладьи горячие, пирожки с вязигой, сдобные лепешки, выборгские крендели.

Василий вошел и подал Шаляпину «Московский Листок», который он привез с собой, и сказал:

— Вот, сами прочтите, а то все говорите: «Василий врет».

И ушел. Шаляпин прочел:

— «Студенты Московского университета, в количестве семи человек, исключаются за невзнос платы».

Далее следовало: «В Тверском участке по Садовой улице, в доме Соловейчика, мещанка Пелагея Митрохина, 62 лет, в припадке острого алкоголизма поранила себе сапожным ножом горло и в карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание».

— Ловко Василий читает, — смеялся Шаляпин. — Замечательный человек.

Однажды они с Серовым выдумали забаву.

При входе ко мне в мастерскую был у двери вбит сбоку гвоздь. Василий всегда браво входил на зов, вешал на гвоздь картуз, вытягивался и слушал приказания.

И вот однажды Серов вынул гвоздь и вместо него написал гвоздь краской на пустом месте и тень от него.

— Василий! — крикнул Шаляпин.

Василий, войдя, по привычке хотел повесить картуз на гвоздь. Картуз упал. Он быстро поднял картуз и вновь его повесил. Картуз опять упал.

Шаляпин захохотал.

Василий посмотрел на Шаляпина, на гвоздь, сообразил, в чем дело, молча повернулся и ушел.

Придя на кухню, говорил, обидевшись:

— В голове у их мало. Одно вредное. С утра все хи-хи да ха-ха. А жалованье все получают во какое!

— Василий, ну-ка скажи, — помню, спросил у него в другой раз Шаляпин, — видал ты русалку водяную или лесового черта?

— Лесового не видал и русалку не видал, а есть. У нас прапорщик в полку был — Усачев... Красив до чего, ловок. Ну, и за полячками бегал. Оне, конечно, с ним то-сё. Пошел на пруд купаться. Ну, и шабаш — утопили.

— Так, может, он сам утонул?

— Ну, нет. Почто ему топиться-то? Оне утопили. Все говорили. А лесовиков много по ночи. Здесь место такое, что лесовые заводят. Вот Феоктист надьсь рассказы-вал, что с ним было. Здесь вот, у кургана, ночью шел, так огонь за ним бежал. Он от него, а ему кто-то по морде как даст! Так он, сердешный, до чего бежал — задохся весь. Видит, идет пастушонок, да как его кнутовищем вытянет! А время было позднее, насилиу дома-то отдышался.

— Ну и врешь, — сказал Шаляпин, — Феоктисту по морде дали в трактире на станции. Приятеля встретил, пили вместе. А как платить — Феоктист отказался: «Ты меня звал». Вот и получил.

— Ну вот, — огорчился Василий. — А мне говорит: «Это меня лесовик попотчевал ночью здесь, к Кинстинтину Ликсеичу шел».

И такие разговоры были у Шаляпина с Василием постоянно.

К вечеру ко мне приехали гости: гофмейстер Н., архитектор Мазырин — мой школьный товарищ, человек девического облика, по прозвищу Анчутка.

Мазырин по моему поручению привез мне лекарства для деревни. Между прочим, целую бутылъ касторowego масла.

— Это зачем же столько касторowego масла? — спросил Шаляпин.

Я сказал:

— Я его люблю принимать с черным хлебом.

— Ну, это врешь. Это невозможно любить.

Я молча взял стакан, налил касторowego масла, обмакнул хлеб и съел.

Шаляпин в удивлении смотрел на меня и сказал Серову:

— Антон! Ты посмотри, что Константин делает. Я же запаха слышать не могу.

— Очень вкусно, — сказал я. — У тебя просто нет силы воли преодолеть внушение.

— Это верно, — встрял в разговор Анчутка, — характера нет.

— Не угодно ли, характера нет! А ты сам попробуй...

Мазырин сказал:

— Налей мне.

Я налил в стакан. Он выпил с улыбкой и вытер губы платком.

— В чем же дело? — удивился Шаляпин. — Налей и мне.

Я налил ему полстакана. Шаляпин, закрыв глаза, выпил залпом.

— Приятное препровождение времени у вас тут! — сказал гофмейстер.

Шаляпин побледнел и бросился вон из комнаты...

— Что делается, — засмеялся Серов и вышел вслед за Шаляпиным.

Шаляпин лежал у сосны, а Василий Белов поил его водой.

Отлежавшись, Шаляпин сосал лимон и обвязал голову мокрым полотенцем.

Мрачнее ночи вернулся он к нам:

— Благодарю. Угостили. А вот Анчутка — ничего. Странное дело...

Он взглянул на бутылъ и крикнул:

— Убери скорей, я же видеть ее не могу...

И снова опрометью кинулся вон.

Приезд Горького

Утром рано, чем свет, когда мы все спали, отворилась дверь, и в комнату вошел Горький.

В руках у него была длинная палка. Он был одет в белое непромокаемое пальто. На голове — большая серая шляпа. Черная блуза, подпоясанная простым ремнем. Большие начищенные сапоги на высоких каблуках.

— Спать изволят? — спросил Горький.

— Раздевайтесь, Алексей Максимович, — ответил я. — Сейчас я распоряжусь — чай будем пить.

Федор Иванович спал как убитый после всех тревог. С ним спала моя собака Фёб, которая его очень любила. Гофмейстер и Серов спали наверху в светелке.

— Здесь у вас, должно быть, грибов много, — говорил Горький за чаем. — Люблю собирать грибы. Мне Федор говорил, что вы страстный охотник. Я бы не мог убивать птиц. Люблю я певчих птиц.

— Вы кур не едите? — спросил я.

— Как сказать... Ем, конечно... Яйца люблю есть. Но курицу ведь режут... Неприятно... Я, к счастью, этого не видал и смотреть не могу.

— А телятину едите?

— Да как же, ем. Окрошку люблю. Конечно, это все несправедливо.

— Ну, а ветчину?

— Свинья все-таки животное эгоистическое. Ну, конечно, тоже бы не следовало.

— Свинья по четыре раза в год плодится, — сказал Мазырин. — Если их не есть, то они так расплодятся, что сожрут всех людей.

— Да, в природе нет высшей справедливости, — сказал Горький. — Мне, в сущности, жалко птиц и коров тоже. Молоко у них отнимают, детей едят. А корова ведь сама мать. Человек — скотина порядочная. Если бы меньше было людей, было бы гораздо лучше жить.

— Не хотите ли, Алексей Максимович, поспать с дороги? — предложил я.

— Да, пожалуй, — сказал Горький. — У вас ведь сарай есть. Я бы хотел на сене поспать, давно на сене не спал.

— У меня свежее сено. Только там, в сарае, барсук ручной живет. Вы не испугаетесь? Он не кусается.

— Не кусается — это хорошо. Может быть, он только вас не кусает?

— Пойдите, я пойду, его выгоню.

— Ну пойдёмте, я посмотрю, что за зверюга.

Я выгнал из сарая барсука. Он выскочил на свет, сел на травку и стал гладить себя лапами.

— Все время себя охорашивает, — сказал я, — чистый зверь.

— А морда-то у него свиная.

Барсук как-то захрюкал и опять проскочил в сарай. Горький проводил его взглядом и сказал:

— Стоит ли ложиться?

Видно было, что он боялся барсука, и я устроил ему постель в комнате моего сына, который остался в Москве.

К обеду я заказал изжарить кур и гуся; уху из рыбы, пойманной нами, раков, которых любил Шаляпин; жареные грибы, пирог с капустой, слоеные пирожки, ягоды со сливками.

За едой гофмейстер рассказал о том, как ездил на открытие мощей преподобного Серафима Саровского, где был и Государь, говорил, что сам видел исцеления больных: человек, который не ходил шестнадцать лет, — встал и пошел.

— Исцеление! — засмеялся Горький. — Это бывает и в клиниках. Вот во время пожара параличные сразу выздоравливают и начинают ходить. При чем здесь все эти угодники?

— Вы не верите, что есть угодники? — спросил гофмейстер.

— Нет, я не верю ни в каких святых.

— А как же? — сказал гофмейстер. — Россия-то создана честными людьми веры и праведной жизни.

— Ну нет. Тунеядцы ничего не могут создать. Россия создавалась трудом народа.

— Пугачевыми, — сказал Серов.

— Ну, неизвестно, что было бы, если бы Пугачев победил.

— Вряд ли все же, Алексей Максимович, от Пугачева можно было ожидать свободы, — сказал гофмейстер. — А сейчас, вы находите, народ не свободен?

— Да как сказать... в деревнях посвободнее, а в городах скверно. Вообще города не так построены. Если бы я строил, то прежде всего построил бы огромный театр для народа, где бы пел Федор. Театр на двадцать пять тысяч человек. Ведь церковью же настроено на десятки тысяч народу.

— Как же строить театр, когда дома еще не построены? — спросил Мазырин.

— Вы бы, конечно, сначала построили храм? — сказал Горький гофмейстеру.

— Да, пожалуй.

— Позвольте, господа, — сказал Мазырин. — Никогда не надо начинать с театра, храма, домов, а первое, что надо строить, — это остроги.

Горький, побледнев, вскочил из-за стола и закричал:

— Что он говорит? Ты слышишь, Федор? Кто это такой?

— Я — кто такой? Я — архитектор, — сказал спокойно Мазырин. — Я знаю, я строю, и каждый подрядчик, каждый рабочий хочет вас надуть, поставить вам плохие материалы, кирпич ставит на песке, цемент уворовать, бетон, железо. Не будь острога, они бы вам показали. Вот я и говорю — город с острога надо начинать строить.

Горький нахмурился:

— Неумно.

— Я-то дело говорю, я-то строил, а вы сочиняете... и говорите глупости, — неожиданно выпалил Мазырин.

Все сразу замолчали.

— Постойте, что вы, в чем дело? — вдруг спохватился Шаляпин. — Алексей Максимыч, ты на него не обижайся, это Анчутка сдуру...

Мазырин встал из-за стола и вышел из комнаты.

Через несколько минут в большое окно моей мастерской я увидел, как он пошел по дороге с чемоданчиком в руке.

Я вышел на крыльцо и спросил Василия:

— Куда пошел Мазырин?

— На станцию, — ответил Василий. — Они в Москву поехали.

От всего этого разговора осталось неприятное впечатление. Горький все время молчал.

* * *

После завтрака Шаляпин и Горький взяли корзинки и пошли в лес за грибами.

— А каков Мазырин-то! — сказал, смеясь, Серов. — Анчутка-то!.. А похож на девицу...

— Горький — романтик, — сказал гофмейстер. — Странно, почему он все ссорится. Талантливый писатель, а тон у него, точно у обиженной прислуги. Все не так, все во всем виноваты, конечно, кроме него...

Вернувшись, Шаляпин и Горький за обедом ни к кому не обращались и разговаривали только между собой. Прочие молчали. Анчутка еще висел в воздухе.

К вечеру Горький уехал.

На рыбной ловле

Был дождливый день. Мы сидели дома.

— Вот дождик перестанет, — сказал я, — пойдем ловить рыбу на удочку. После дождя рыба хорошо берет.

Шаляпин, скучая, пел:

Вдоль да по речке,
Речке по Казанке
Серый селезень плывет...

Одно и то же, бесконечно.

А Серов сидел и писал из окна этюд: сарай, пни, колодезь, корову.

Скучно в деревне в ненастную пору.

— Федя, брось ты этого «Селезня» тянуть. Надоело.

— Ты слышишь, Антон, — сказал Шаляпин Серову (имя Серова — Валентин. Мы звали его Валентошей, Антошей, Антоном), — Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто же, позвольте вас спросить, поет лучше меня, Константин Алексеевич?

— А вот есть. Цыганка одна поет лучше тебя.

— Слышишь, Антон, Коська-то ведь с ума сошел. Какая цыганка?

— Варя Панина. Поет замечательно. И голос дивный.

— Ты слышишь, Антон, Коську пора в больницу отправить. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина?

— В «Стрельне» поет. За пятерку песню поет. И поет как надо... Ну, погода разгулялась, пойдем-ка лучше ловить рыбу...

Я захватил удочки, сажалку и лесы. Мы пошли мокрым лесом, спускаясь под горку, и вышли на луг.

Над соседним бугром над крышами мокрых сараев в небесах полукругом светилась радуга. Было тихо, тепло и пахло дождем, сеном и рекой.

На берегу мы сели в лодку и, опираясь деревянным колом, поплыли вниз по течению. Показался желтый песчаный обрыв по ту сторону реки. Я остановился у берега, воткнул кол, привязал веревку и, распустив ее, переплыл на другую сторону берега.

На той стороне я тоже вбил кол в землю и привязал к нему туго второй конец веревки. А потом, держа веревку руками, переправился назад, где стоял Шаляпин:

— Садись, здесь хорошее место.

С Шаляпиным вместе я, вновь перебирая веревку, доплыл до середины реки и закрепил лодку:

— Вот здесь будем ловить.

Отмерив грузом глубину реки, я на удочках установил поплавок, чтобы наживка едва касалась дна, и набросал с лодки прикормки — пареной ржи.

— Вот смотри: на этот маленький крючок надо надеть три зернышка, и опускай в воду. Видишь маленький груз на леске? Смотри, как идет поплавок по течению. Он чуть-чуть виден. Я нарочно так сделал. Как только его окунет — ты тихонько подсекай концом удилища. И поймаешь.

— Нет, брат, этак я никогда не ловил. Я просто сажаю червяка и сажу, покуда рыба клюнет. Тогда и тащу.

Мой поплавок медленно шел по течению реки и вдруг пропал. Я дернул кончик удочки — рыба медленно шла, подергивая конец. У лодки я ее подхватил подсачком.

— Что поймал? — спросил Шаляпин. — Какая здоровая!

— Язь.

Шаляпин тоже внимательно следил за поплавком и вдруг изо всех сил дернул удочку. Леска оборвалась.

— Что ж ты так, наотмашь? Обрадовался сдуру. Леска-то тонкая, а рыба большая попала.

— Да что ты мне рассказываешь, леска у тебя ни к черту не годится!

Покуда я переделывал Шаляпину снасть, он запел:

Вдоль да по речке...

— На рыбной ловле не поют, — сказал я.

Шаляпин, закидывая удочку, еще громче стал петь:

Серый селезень плывет...

Я, как был одетый, встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул:

— Лови один.

И ушел домой.

* * *

К вечеру пришел Шаляпин. Он наловил много крупной рыбы. Весело говорил:

— Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить. Антон, ведь это черт знает какое удовольствие! Ты-то не ловишь!

— Нет. Я люблю смотреть, а сам не люблю ловить.

Шаляпин велел разбудить себя рано утром на рыбную ловлю. Но, когда его будил Василий Белов, раздался крик:

— Чего же, сами приказали, а теперь швыряетесь.

— Пстой, Василий, — сказал я, — давай ведро с водой. Залезай на чердак, поливай сюда, через потолок пройдет.

— Что же вы, сукины дети, делаете со мной! — орал неистово Шаляпин.

Мы продолжали поливать. Шаляпин озлился и выбежал в рубашке — достать нас с чердака. Но на крутой лесенке его встретили ведром холодной воды. Он сдался и хохотал...

— Ну что здесь за рыба, — говорил Герасим Дементьевич. — Надо ехать на Новенькую мельницу. Там рыба крупная. К Никону Осиповичу.

На Новенькую мельницу мы взяли с собой походную палатку, закуски, краски и холсты. Все это — на отдельной телеге. А сами ехали на долгуше, и с нами приятель мой, рыболов и слуга Василий Княжев, человек замечательный.

Ехали проселком, то полями ржаными, то частым ельником, то строевым сосновым лесом. Заезжали в Буково к охотнику и другу моему, крестьянину Герасиму Дементьевичу, который угощал нас рыжиками в сметане, наливал водочки.

Проезжали мимо погоста, заросшего березами, где на деревянной церкви синели купола и где Шаляпин в овощной лавке накупил баранок, маковых лепешек, мятных пряников, орехов. Набил орехами карманы поддевки и всю дорогу с Серовым их грыз.

Новенькая мельница стояла у большого леса. По песчаному огромному бутру мы спустились к ней. Весело шумели, блистая брызгами воды, колеса.

Мельник Никон Осипович, большой, крепкий, кудрявый старик, весь осыпанный мукой, радостно встретил нас.

На бережку, у светлой воды и зеленой ольхи, поставили палатку, приволокли из избы мельника большой стол. На столе поставили большой самовар, чашки. Развернули закуску, вино, водку. А вечером разожгли костер, и в котелке кипела уха из налимов.

Никон Осипович был ранее старшиной в селе Заозерье и смолоду певал на клиросе. Он полюбил Федора Ивановича. Говорил:

— Эх, парень казбвый! Ловок.

А Шаляпин все у него расспрашивал про старинные песни. Никон Осипович ему напевал:

Дедушка, девицы
Раз мне говорили:
«Нет ли небылицы
Иль старинной были?»

Разные песни вспоминал Никон Осипович:

Едут с товарами
В путь из Касимова
Муромским лесом купцы...

И «Лучину» выучил петь Шаляпина Никон Осипович.

Мы сидели с Серовым и писали вечер и мельницу красками на холсте. А Никон Осипович с Шаляпиным сидели за столом у палатки, пили водку и пели «Лучинушку». Крутом стояли помольцы...

Никон Осипович пел с Шаляпиным «Лучину», и оба плакали. Кстати, плакали и помолвцы.

— Вот бы царь-то послушал, — сказал Никон Осипович, — «Лучина»-то за душу берет. Тоже, может, поплакал бы. Узнал бы жисть крестьянскую.

— Я смотрю — здорово они выпили: четверть-то водки пустая стоит.

Никон Осипович сказал мне потом:

— А здоров петь-то Шаляпин. Эх и парень золотой! Да чего — он при деле, что ль, каком?

— Нет, певчий, — ответил я.

— Вона что, да... То-то он втору-то ловко держит. Он, поди, при приходе каком в Москве?

— Нет, в театре поет.

— Ишь ты, в театре. Жалованье, поди, получает?

— Еще бы. Спойет песню — сто целковых.

— Да полно врать-то. Этакія деньги за песни.

Шаляпин просил меня не говорить, что он солист Его Величества, а то из деревень сбегутся смотреть на него, жить не дадут...

Фабрикант

В это лето Шаляпин долго гостил у меня. Он затеял строить дом поблизости и купил у крестьянина Глушкова восемьдесят десятин лесу.

Проект дачи он попросил сделать меня. Архитектором пригласил Мазырина.

Осматривая свои владения, он увидел по берегам речки Нерли забавные постройки, вроде больших сараев, где к осени ходила по кругам лошадь и большим колесом разминала картофель, — маленькие фабрики крестьян. Процеживая размятый картофель, они делали муку, которая шла на крахмал. А назывался этот продукт что-то вроде «леком дикстрин»¹. Я, в сущности, и сейчас не знаю, что это такое.

Шаляпин познакомился с крестьянами-фабрикантами. Один из них, Василий Макаров, был столь же высокого роста, как и Шаляпин, — мы прозвали его Руслан. А другой, Глушков, — маленького роста, сердитый и вдумчивый.

К моему ремеслу художника они относились с явным неодобрением. И однажды Василий Макаров спросил меня:

— И чего это вы делаете — понять невозможно. Вот Левантин Ликсандрович Серов лошадь опоенную, которую живодеду продали, в телегу велел запретить и у леса ее кажинный день списывает. И вот старается. Чего это? Я ему говорю: «Левантин Ликсандрыч, скажи, пожалуйста, чего ты эту клячу безногую списываешь? Ты бы посмотрел жеребца-то глушковского вороного, двухлетний. Вот жеребец — чисто зверь, красота конь! Его бы списывал. А ты что? Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно. Где такого дурака найдешь, чтобы такую картину купил?» А он говорит: «Нет, эта лошадь опоенная мне больше вашего жеребца вороного нравится». Вот ты и возьми. Чего у его в голове — понять нельзя. Вот Шаляпин, мы ему рассказываем, а он тоже смеется, говорит: «Они без понятий». А он, видно, парень башковатый.

¹ От фр. *le comme dixtrin* — крахмал.

Все у нас выпытывает — почем крахмал, леком дикстрин... Намекает, как бы ему фабрику здесь поставить. Значит, у него капитал есть, ежели его на фабриканта заворачивает. Видать, что не зря ляды точит. Тоже, знать, пустяки бросать хочет. Ну, чего тут песенником в киастре горло драть? Знать, надоело. Тоже говорим ему: «Ежели на положение фабриканта встанете, то петь тебе бросать надо, а то всуерьз никто тебя не возьмет. Настоящие люди дела с тобой делать не станут... нипочем...»

Вскоре мы с Серовым заметили, что Шалапин все чаще с Глушковым и Василием Макаровым беседует. И все — по секрету от нас. Вечерами у них время проводит.

Я спросил его однажды:

— Что, Федя, ты, кажется, здесь фабрику строить хочешь?

Шалапин деловито посмотрел на меня:

— Видишь ли, Константин, у меня есть деньги, и я думаю: почему, скажи, пожалуйста, вот хотя бы Морозов или Бахрушин — они деньги не держат в банке из четырех процентов, а строят фабрики? Они не поют, а наживают миллионы... А я все пой и пой. Почему же я не могу быть фабрикантом? Что же, я глупее их? Вот и я хочу построить фабрику.

— С трубой? — спросил я.

— Что это значит — «с трубой»? Вероятно, с трубой.

— Так ты здесь воздух испортишь. Дым из трубы пойдет. Я терпеть не могу фабрик. Я тебе ее сожгу, если построишь.

— Вот, нельзя говорить с тобой серьезно. Все у тебя ерунда в голове.

Сидим мы с Серовым недалеко от дома и пишем с натуры красками. В калитку идет Шалапин, Василий Макаров, и около вприпрыжку еле поспевают маленького роста Глушков. Идут, одетые в поддевки, и серьезно о чем-то совещаются...

Когда Шалапин поравнялся с нами, мы оба почтительно встали и, сняв шапки, поклонились как бы хозяину.

Шалапин презрительно обронил в нашу сторону:

— Просмеетесь.

И сердито посмотрел на нас...

Шалапин сердился, когда мы при нем заговаривали о фабрике.

— Глупо! Леком дикстрин дает сорок процентов на капитал. Понимаете?

— А что вам скажет Горький, когда вы фабрику постройте и начнете рабочих эксплуатировать? — спросил однажды Серов.

— Позвольте, я не капиталист, у меня деньги трудовые. Я пою. Это мои деньги.

— Они не посмотрят, — сказал я. — Придешь на фабрику, а там бунт. Что тогда?

— Я же сначала сделаю небольшую фабрику. Почему же бунт? Я же буду платить.

И потом, я сам управлять не буду. Возьму Василия Макарова. Крахмал ведь необходим. Рубашки же все крахмалят в городах. Ведь это сколько же нужно крахмалу!.. В сущности, что я вам объясняю. Ведь вы же в этом ничего не понимаете.

— Это верно, — сказал Серов.

И почти все время, пока Шалапин гостил у меня, у него в голове сидел «леком дикстрин».

Кончилась эта затея вдруг.

Однажды, в прекрасный июльский день, на широком озере Вашутине, когда мы ловили на удочки больших щук и у костра ели уху из котелка, Василий Княжев сказал: — Эх, Федор Иванович, когда вы фабрику-то постройте, веселье это самое у вас пройдет. Вот как вас обделают, за милую душу. До нитки разденут. Плутни много.

И странно, этот простой совет рыболова и бродяги так подействовал на Шалапина, что с тех пор он больше не говорил о фабрике и забыл о «леком дикстрине».

На охоте

К вечеру мы прошли к краю озера, где были болота, — Герасим сказал, что здесь будет перелет уток.

Место поросло кустами ивняка, осокой. Небольшие плесы.

Герасим шепнул мне:

— Шалапина надо подале поставить. Горяч больно, не подстрелил бы. Не приведи Бог. Я с ним нипочем на охоту не пойду. Очинно опасно.

Вечерело. Потухла дальняя заря. Вдали с озера показалась стая уток. Летели высоко, в стороне от нас. Вдруг раздались выстрелы: один, другой...

— Ишь что делает, — сказал стоявший рядом со мной Герасим. — Где же они от него летят! Боле двухсот шагов, а он лупит! Горяч.

Утки стаями летели от озера через болото над нами, но все — вне выстрелов.

А Шалапин беспрерывно стрелял — по всему болоту расстился синий дым.

В быстром полете показались чирки.

— Береги! — крикнул вдруг Герасим.

Я выстрелил вдогонку чиркам. Выстрелил и Герасим. Видно было, как чирок упал. Низко над нами пролетели кряковые утки. Герасим выстрелил дублетом, и утка упала. Был самый перелет.

Пальба шла, как на войне...

Когда стемнело, Герасим, вставив в рот пальцы, громко свистнул.

Мы собрались.

— Ну, ружьецо ваше, — сказал мне Шалапин, — ни к черту не годится.

— То есть как же это? Это ружье Берде. Лучше нет.

— Им же стрелять надо только в упор. Погодите, вот когда я здесь построюсь, вы увидите, какое у меня ружьецо будет!

— Дайте-ка я понесу Федору Иванычу ружье, — лукаво сказал Герасим.

И, взяв ружье у Шалапина, его разрядил:

— Горяч очень!

Убитых кряковых уток и чирка мы на берегу озера распотрошили, посыпали внутрь соли, перцу и зарыли неглубоко в песок.

Василий Княжев и Герасим нарубили сушняка по соседству в мелколесье и развели на этом месте большой костер.

Была тихая светлая ночь. Дым и искры от костра неслись ввысь.

— А неплохо ты живешь, Константин, я бы всю жизнь так жил.

— Да, Константин понимает, — сказал Серов.

Разгребая колом костер, Герасим вытащил уток и на салфетке снял с них перья, которые отвалились сами собой.

Из фляжки налили по стакану коньяку. Герасим сказал:

— Федор Иванович, попробуйте жаркое наше охотничье.

И протянул ему за лапу чирка. Шалапин, выпив коньяк, стал есть чирка.

— Замечательно!

— Чирок — первая утка, — сказал Герасим. — Скусна-а!..

В котелке сварился чай. Ели просфоры ростовские. А Василий Княжев расставлял донные удочки, насаживая на крючки мелкую рыбешку. Короткие удилица он вставлял в песок и далеко закидывал лески с наживкой. Сверху удилиц на леске висели бубенчики.

— Надо расставлять палатку, — сказал я.

— Слышишь, звонит? — вскинулся Шалапин и побежал к берегу.

— Подсачек! — закричал он с реки.

Большая рыба кружила у берега. Василий подхватил ее подсачком и выкинул на берег.

— Шелеспер.

— Ну и рыбина, это что же такое? Я понимаю. Спасибо, Константин. Я даже никогда не слышал, чтобы ночью ловили рыбу.

Шалапину нравилось жить в деревне, нравились деревенские утехы — рыбная ловля и охота.

Но только, надо правду сказать, рыболов Василий Княжев не очень долюбивал ловить с ним рыбу:

— Упустит рыбину, а я виноват. Вот ругается, — прямо деться некуда!

И деревенский охотник, Герасим Дементьич, тоже отлынивал ходить с ним на охоту. Говорил:

— Что я?.. Собака Феб и тот уходит от его с охоты. Гонит его на каждую лужу: «Ищи!» А у собаки-то чутье, она ведь чувствует, что ничего нет, и не ищет. Ну и собака, значит, виновата. Я говорю: «Федор Иваныч, ведь видать, что она не прихватывает — нету на этой луже ничего. Кабы было, она сама прихватывать зачнет. Видать ведь». — «Нет, — говорит, — здесь обязательно в кустах утки должны сидеть». Попали раз на уток-то, ну, Феб и выгоняет. Так чисто войну открыл. Мы с Иван Васильевичем на землю легли. А он прямо в осоку сам за утками бросился. Чуть не утоп. Раненую утку ловил. А та ныряет. Кричит: «Держи ее!» Ведь это что — горяч больно.

Герасим лукаво посмотрел на меня и продолжал:

— А незадача — бранится... Ишь мы с тобой прошли одна Николаевское, Мелоча и Порубь — восемь верст прошли, и — ничего, ты не сердись. Закусить сели, выпили, это самое, коньячку, а с Шалапиным трудно. Подошли с ним у Николаевского — всего полторы версты, говорю: «Завернем, здесь ямка есть болотная в низинке — чирки бывают». Обошли — нет ничего. Он говорит: «Ты что меня гоняешь так-то, зря? Где чирки? Что ж говорил? Зря нечего ходить». Идет и сердится. Устали, сели закусить. Он, значит, колбасу ест, ножом режет, из фляжки зеленой пьет. Мне

ничего не поднесет — сердится: «Попусту водишь!» А ведь птицу за ногу не привяжешь. Птица летуча. Сейчас нет, а глядишь, к вечеру и прилетела...

Впрочем, Герасим любил Шалапина. Однажды он мне рассказывал:

— Помните, когда на Новенькую ехали, ко мне в Буково заехали, у нас там на горке омшайники большие. Шалапин спрашивает: «Что за дома — окошек нет?» Говорю: «Омшайники, в стороне стоят, туда прячем одежду и зерно — овес и рожь, горох, гречу. Оттого в стороне держим — на пожарный случай, деревня сгореть может, а одежина и хлеб — останется». — «Покажи, — говорит, — пойдём в омшайник». Ну, пошли, отпер я ему дверь — понравился омшайник Федору Иванычу. «Хорош, — говорит, — омшайник, высокий, мне здесь поспать охота». Ну, снял я ему тулуп, положил на пол, подушку принес. «Вот, — говорит, — тебе папиросы и спички, не бойся, я курить не буду». Так чего! До другого дня спал. В полдень вышел. «Хорошо, — говорит, — спать в омшайнике. Мух нет и лесом пахнет...» Потом на Новенькую мельницу, кады к Никон Осиповичу ехали, так говорил мне, на лес показывал: «Я вот этот лес куплю себе и построю дом, буду жить. Хорошо тут у вас. Хлебom пахнет. Я ведь сам мужик. Вот рожь когда вижу, глаз отвести не могу. Нравится. Есть сейчас же мне хочется»... Ну, значит, проезжая село Пречистое, в лавочку заехали. А в лавочке что: баранки, орехи, мятные пряники, колбаса. Он и говорит Семенулавочнику: «Раздобудь мне рюмочку водки». Тот: «С удовольствием. У меня есть своя». Вот он выпил, меня угостил. Таранью закусывали и колбасой копченой. Так заметьте: он все баранки, что в лавке были, съел и колбасу копченую. Вот здоров! Чисто богатырь какой. «Герасим, — говорит, — скажу тебе по правде, я делом занят совсем другим, но как деньги хорошие наживу, вот так жить буду, как сейчас. Здесь жить буду, у вас. Как вы живете». — «Ну, — говорю, — Федор Иваныч, крестьянская-то жисть нелегка. С капиталом можно». А видать ведь, Кинстинтин Лисеич, что душа у него русская. Вот с Никон Осипычем, мельником, как выпили они, и «Лучину» пели. Я слушал, не утерпеть — слеза прошибает... А гляжу — и он сам поет и плачет...

* * *

В тишине ночи до нас донеслись голоса — по дороге к деревне Кубино кто-то ехал.

— Эвона! Знать, они там. Костер жгут.

Кто-то крикнул во тьме:

— Кинстинтин Лисеич!

— Это, должно быть, Белов кричит, — сказал Серов.

— Василий, — кричали мы, — заворачивай сюда.

Из-за кустов показалась лошадь. Возчик Феоктист и Василий, спрыгнув с тарантаса, побежали к нам:

— Федор Иваныч, к вам из Москвы приехали. Велели, чтоб непременно сейчас приезжали.

— Кто приехал?

— Велели сказать, что приехал Еврей Федорыч, он, говорит, знает, так ему и скажи.

Шалапин нахмурился:

— А нынче какое число-то?

— Двадцать первое июля.

— Да разве двадцать первое? Ах, черт, а я думал восемнадцатое. Мне завтра петь надо в Москве. Обещал Щукину. В «Эрмитаже» в Каретном ряду. А я и забыл.

— Вот и Еврей Федорыч говорил: «Он, знать, забыл». По комнате ходит и за голову держится. Воду все пьет. Смотреть — жалость берет. «Шаляпин, — говорит, — меня до самоубийства доведет. Скажите ему, что я деньги привез, три тыщи».

— А что же он сам сюда не приехал? — спросил Шаляпин.

— Хотел, да потом говорит: «Неохота ехать, у вас все леса тут, глухота, еще зарежут разбойники».

— Что же, — в раздумье сказал Шаляпин, — ехать, что ли?

И он смотрел на нас.

— Поезжай, Федя, — сказал я. — А что петь будешь?

— Сальери. Я один не поеду.

Доехав до деревни, наняли подводу. Дорогой я спросил Шаляпина:

— А кто этот Еврей Федорович?

— У Щукина служит. Не знаю.

Когда мы приехали ко мне, приезжий бросился к Шаляпину на шею:

— Федя, что ты со мной делаешь. Я же умираю! Щукин меня ругает. Все билеты уже проданы. Вот я тебе и деньги привез. Едем, пожалуйста, — поезд в три часа из Ярославля на Москву. Утром приедем, репетиция будет.

— Ну какая там репетиция. Едем утром в десять часов — в шесть вечера будем в Москве.

— Ой, умоляю, едем в три. Умоляю!..

— Ну нет, брат, я есть хочу. Поезжай в три и скажи, что я приеду.

— Как же я без тебя приеду? Мне же голову оторвут! Пожалей меня! У меня порок сердца. Курить нельзя, вина пить нельзя. Икота начинается. Тебе кланяются Рафаэлли и Лева. Они так тебя любят, так любят, говорят: «Ах, Шаляпин, это же артист!!!»

— Ну-ка, давай деньги.

— Деньги вот. И расписку вот подпиши.

Шаляпин внимательно пересчитал деньги, положил в карман и долго читал расписку.

— Это что же за идиот у вас там такую расписку писал? Что это значит: «Сим солист Его Величества обязуется...»?

— Ой, — сказал приезжий, — не угробливай меня, Федя, у меня порок сердца.

Шаляпин усмехнулся, взял лист бумаги и написал другую расписку...

Купанье

Гостя у меня в деревне, Шаляпин, встав, шел купаться на реку.

Перед тем как войти в воду, Шаляпин долго сидел в купальне, завернувшись в мохнатую простыню.

С ним ходили архитектор Мазырин и мой слуга Василий Белов.

Мазырин был маленького роста, тщедушный. Пройдя в купальню, быстро раздевался, бросался в воду и нырял.

Шаляпин говорил мне:

— Черт его знает, Анчутка прямо морской конек. А я не могу. Должен попробовать, холодна ли вода. И нырять не могу. Да и купальня у тебя мала.

Случившийся тут Василий Белов посоветовал Шаляпину купаться прямо в реке:

— Где ж вам там нырять? Не по росту!

Шаляпин послушался Василия и на другой день полез прямо в реку.

Хотел нырнуть, но запутался в водорослях и бодяге. И — рассердился ужасно:

— Что же это у вас делается, Константин Алексеевич? Бодяга! Купаться нельзя.

Это же не река.

— Как — не река? Вода кристальная. Дивная река!

— Вот что, — прервал Шаляпин, — позови мужиков и вели им, чтобы они скосили эту траву в реке. Когда я здесь куплю землю и построю дом, я всю реку велю скосить.

На другой день я попросил соседей, и они косили водоросли в реке. Шаляпин смотрел:

— Я бы тоже косил, да не умею.

— Как — не умеете? — изумился Мазырин. — Вы же говорили, что крестьянином были?

— Да, но никогда не косил и не пахал. Отец пахал.

Я ничего не сказал. Отец Шаляпина, когда бывал у него в Москве, часто приходил и ко мне на Долгоруковскую улицу. Он говорил о себе, что никогда не занимался крестьянством. Был волостным писарем при вятской слободке, а также служил в городской управе, тоже писарем.

— А Федор говорит, что он крестьянин. Ну, нет. С ранних лет ничего не делал. Из дому все убежал и пропадал. Жив аль нет — не знаешь. Сапожником не был никогда. Нужды не видал. Где же! Я же всегда ему деньги давал. И тогда-то он жаден до денег был, и сейчас такой же. С певчими убежал. Ну и с тех пор не возвращался. Не проходи мимо певчие на Пасхе, не позови я их к себе в дом на угощение, он бы не пел теперь. Дишкант они у него нашли. Ну и сманили...

На следующий день Шаляпин купался уже в реке спокойно и плавал, как огромная рыбина, часа два подряд.

1905 год

Наступил 1905 год.

Была всеобщая забастовка.

В ресторане «Метрополь» в Москве Шаляпин пел «Дубинушку». Появились красные знамена. Улицы были не освещены, электричество не горело. Все сидели по домам. Никто ничего не делал, и никто не знал, что будет.

Утром ко мне пришел Шаляпин, обеспокоенный. Разделся в передней, вошел ко мне в спальню, посмотрел на дверь соседней комнаты, затворил ее и, подойдя ко мне близко, сказал шепотом:

— Ты знаешь ли, меня хотят убить.

Я удивленно спросил:

— Кто тебя хочет убить? Что ты говоришь? За что?

— Ах черт их знает. За «Дубинушку», должно быть.

— Постой, но ведь ее всегда все студенты пели. Я помню с пятнадцати лет. То ли еще пели!

— Ну вот, поедem сейчас ко мне. Я тебе покажу кое-что.

Дорогой, на извозчике, Шаляпин говорил:

— Понимаешь, у меня фигура такая, все же меня узнают. Загримироваться, что ли?

— Ты не бойся.

— Как — не бойся? Есть же сумасшедшая сволочь. Кого хочешь убьет.

Когда приехали, Шаляпин позвал меня в кабинет и показал на большой письменный стол. На столе лежали две большие кучи писем.

— Прочти.

Я вынул одно письмо и прочел. Там была грубая ругань: письмо кончалось угрозой: «Если ты будешь петь “Жизнь за Царя”, тебе не жить».

— А возьми-ка отсюда, — показал он на другую кучу. Я взял письмо. Тоже безобразная ругань: «Если вы не будете петь, Шаляпин, “Жизнь за Царя”, то будете убиты».

— Вот видишь, — сказал Шаляпин, — как же мне быть? Я же певец. Это же Глинка! В чем дело? Эти же сукины дети кричат «свобода», а не понимают, что такое свобода. Знаешь ли что? Я уезжаю!

— Куда?

— За границу. Беда — денег нельзя взять. Поезда не ходят... Поедем на лошадях в деревню.

— Простудишься, осень. Ехать далеко. Да и не надо. В Библии сказано: «Не беги из осажденного города».

— Ну да, но что делается! Горький сидит дома и, понимаешь ли, забаррикадировался. Насилу к нему добился. Он говорит: «Революция начинается. Ты не выходи, а если что — прячься в подвал или погреб». Хороша жизнь. Какие-то вчера сукины дети подходили к воротам.

— Поедем ко мне, Федя. У нас там, на Мясницкой, тихо. А то возьмем ружья и пойдем в Мытищи на охоту. Я Бурмистра возьму. Он зайцев хорошо гоняет.

И Шаляпин поехал ко мне...

Впрочем, на другой день пошли поезда, и мы уехали в Петербург.

Моя квартира помещалась над квартирой Теляковского, на Театральной улице. Мы приехали утром и в десять часов спустились к Теляковскому.

Он встретил Шаляпина радостно:

— Вот приехали — отлично. А я только что говорил с Москвой по телефону, чтоб вы ехали. Вам надо остаться в Петербурге.

Шаляпин стал рассказывать Теляковскому об анонимных письмах, угрозах.

— Я тоже получаю много анонимных писем. Ведь вы, Федор Иванович, человек выдающийся. Что же делать? В Петербурге будет вам спокойнее. Я уж составил репертуар. Вы поете Гремину в «Онегине», Варяжского гостя в «Садко», «Фауста», Фарлафа в «Руслане». Покуда никаких царей не поете. «Дубинушку» пока петь тоже пождите.

— Я остановлюсь в номерах Мухина, — сказал Шаляпин.

— Да зачем? У Константина Алексеевича наверху большая квартира.

— Отлично, — согласился Шаляпин.

Я ждал Шаляпина до вечера, но он как ушел с утра, так и не возвращался.

Когда стемнело, я ушел работать в мастерскую и вернулся к себе поздно ночью. В моей комнате на постели сладко спал Шаляпин. Я лег в соседней комнате. Утром Шаляпин продолжал спать.

Я ушел и вернулся в четыре часа дня — Шаляпин все спал. Спал до вечера.

Вечером мы пошли к Лейнеру.

— Знаешь ли, — рассказывал Шаляпин, — куда ни попадешь, просто разливанное море. Пьют. Встретил, помнишь, того ювелира — уйти нельзя, не пускает; все объяснял, как он, после скандала, в клинике лежал. Я ведь руку ему вывихнул. Оказался хороший парень. «Нет, уж теперь я тебя не отпускаю, убийцу моего». Напились.

* * *

После обеда мы поехали в Мариинский театр и со сцены прошли в ложу к Теляковскому.

Шел балет.

Шаляпин сказал Теляковскому, что хотел бы поехать за границу.

— А что же, поезжайте, — одобрил Теляковский. — В Москву ехать не стоит, там беспокойно.

— А мне надо ехать, — сказал я.

— Зачем? Поезжайте в Париж. Кстати, соберете там материалы для «Спящей красавицы»...

Я послушался совета, Шаляпин остался в России.

Слава

Будучи в Париже, я как-то встретил чиновника посольства Никифорова. Он сказал мне: «В Москве-то нехорошо, а ваш приятель Шаляпин — революционер, погиб на баррикадах» — и показал какую-то иллюстрацию, на которой были изображены Горький, Шаляпин, Телешев и еще кто-то как главные революционеры. Я подумал: «Что за странность? Неужели и Телешев? Женился на богатейшей женщине. А Шаляпин? Неужели и он революционер, — так любит копить деньги! Горький — тот, по крайней мере, всегда был в оппозиции ко всякой власти. И неужели Шаляпин погиб на баррикадах?..» Что-то не верилось...

* * *

Я вернулся в Москву вскоре после восстания.

Я жил в Каретном Ряду, во втором этаже. Поднявшись к себе, увидел свою квартиру в разрушении. Окна выбиты. Стены кабинета разбиты артиллерийскими снарядами. Стол и мебель засыпаны штукатуркой. Ящики из стола выворочены, бумаги на полу. Соседняя квартира Тесленко была тоже разрушена.

Вскоре в кухонную дверь вошла оставшаяся при квартире горничная. На цепочке она держала мою собаку Феба, — он обрадовался мне, урчал носом и как бы хотел что-то сказать.

— Вон, барин, — сказала горничная, — дело-то какое вышло. Окна велели ведь завешивать — по всей Москве стрел шел. Я подошла к окну — рыбкам в аквариуме воду менять, а оттелева вон, со двора жандармского управления, как ахнут в соседнюю квартиру! Я взяла Феба да и убежала к родным... А когда прошло это самое, опять переехала на кухню. А то убили бы здесь.

Шалапина не было в Москве, ни на каких баррикадах он не сражался...

* * *

Жизнь в Москве потекла нормально. Слова «товарищ» не было слышно на улице... Вскоре приехал из Петербурга и Шалапин. Помню его выступление в Большом театре в опере «Жизнь за Царя».

После окончания спектакля он долго сидел в уборной и говорил встревоженно: — Надо подождать. Пойдем через ход со сцены. Не люблю встречаться после спектакля с почитателями. Выйдешь на улицу — аплодисменты, студенты, курсистки...

И он был прав. Мы вышли на улицу со сцены — проходом, где выходили рабочие и хористы. И все же, когда мы подходили к карете, несмотря на густой снег, слепивший глаза, толпа каких-то людей бросилась к нам. Кто-то крикнул:

— Шалапина качать!

Двое, подбежав, схватили Шалапина — один поперек, другой за ноги. Шалапин увернулся, сгреб какого-то подбежавшего к нему парня и, подняв его кверху, бросил в толпу. Парень крикнул, ударившись о мостовую. Толпа растерялась. Шалапин и я быстро сели в карету и уехали.

— Что? Говорил я тебе, видишь!

Дома мы увидели, что кисть правой руки Шалапина распухла. Наутро он не мог двинуть пальцами.

Я был поражен силой Шалапина — с какой легкостью он поднял над собой и бросил человека в толпу.

Шалапин уже совсем перестал посещать рестораны. И когда надо было куда-нибудь ехать, всегда задумывался:

— Нельзя мне нигде бывать. Я стараюсь себя сдерживать, но иногда — не могу. То мне предлагают выпить, то ехать еще куда-то ужинать, и когда я отказываюсь, то вижу злые глаза. «Господин Шалапин, не желаете вступить со мной в знакомство, презираете? Я тоже пою...» и прочее. Ну, как ты будешь тут? Одолевают. Ведь он не то что любит меня. Нет. Он себя показывает. Он не прощает мне, что я пою, что я на сцене имею успех. Он хочет владеть мной, проводить со мной время. И как иногда хочется дать в морду этакому господину!.. Отчего я не встречал этого за границей? Никогда не встречал...

— Ничего не поделаешь, Федя, — сказал я, — ведь это слава. Ты великий артист.

— Поверь мне, я терпеть не могу славы. Я даже не знаю, как мне говорить с разными встречными людьми. С трудом придумываю — что сказать. Вот ты можешь. Я удивляюсь. В деревне с мужиками, с охотниками любишь жить, разговаривать. Я же не могу. И как устаешь от этой всей ерунды! Им кажется, что очень легко петь, раз есть голос. Спел — и Шалапин. А я беру за это большие деньги. Это не нравится... И каждый раз, когда я пою, я точно держу экзамен. Иду как бы на штурм, на врагов. И нелегко мне даются эти победы... Они и я — разные люди. Они любят

слушать пение, смотреть картины, но артиста у нас не любят, как не любят и поэтов. Пушкина дали убить. А ведь это был Пушкин!.. В ресторане выпил рюмку водки, возмущаются: «Пьет. Певец пить не должен». В чем дело? Ты всегда не такой, как им хочется. Получает много. А я за концерт назначил вдвое — бранились, но пришли. На «Демона» в бенефис еще поднял цены — и жалею, что не вдвое, ошибся. Все равно было бы полно...

Когда мы подъехали к дому, Шаляпин сказал мне:

— Что-то не хочется спать. Поедем куда-нибудь ужинать. У тебя деньги есть?

— Есть.

— У меня же только три рубля... Поедем, там на Тверской, говорили мне, кавказский погребок есть в подвале. Там армянин шашлык делает. Хорошие шашлыки, по-кавказски.

— Знаю, — говорю, — но там всегда много артистов ужинает.

— Это там «Шалтырь», что ли?

— Какой «Шалтырь»? — удивился я. — Ты хочешь сказать «Алатр»?

— Ну да, «Алатр». Я туда побаиваюсь ехать.

И мы поехали с Ф.И. за город.

У Страстного монастыря отпустили карету и взяли лихача.

— Ты что же с ним не торговался? — спросил дорогой меня Шаляпин.

— Ведь цена известна, пятерку надо дать. В «Гурзуф» — это далеко.

— «Пятерка!» Да ведь пятерка — это огромные деньги.

— Не расстраивайся, — говорю, — Федя.

* * *

В «Гурзуфе», поднимаясь по деревянной лестнице во второй этаж, мы встретили выходящую навеселе компанию. Одна из женщин закричала:

— Шаляпин! Вернемся, он нам споет.

Шаляпин быстро прошел мимо и, не раздеваясь, прошел в кабинет.

— Заприте дверь и никого не пускайте, — сказал он метрдотелю.

Метрдотель посмотрел на дверь и увидел, что в ней нет замка. Шаляпин выпустил метрдотеля, захлопнул дверь и держал ручку. В дверь послышался стук, хотели отворить. Но Шаляпин уперся ногой в притолоку и не пускал:

— Жить же нельзя в этой стране!

Наконец послышался голос метрдотеля:

— Готово-с, отворите...

Все же с метрдотелем в кабинет ворвалась компания. Женщины, весело смеясь, подбежали к Шаляпину, протягивали к нему руки, кричали:

— Не сердитесь, не сердитесь! Несравненный, дивный, мы любим вас, Шаляпин. Обожаем.

Шаляпин рассмеялся. Женщины усадили его на диван, окружили. Обнимали и шептали ему что-то на ухо.

Мужчины, стоявшие в стороне, держали поднос с налитыми бокалами шампанского.

— Прошу прощения, — вставая, сказал Шаляпин, — вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист, и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления.

— Федор Иванович, — сказал один из мужчин, — но согласитесь, мы тоже любим вас. Что же делать? Вот дамы наши, как слышали, что вы приехали, всех нас бросили. Вы сами видите, в какое печальное положение мы попали. Взвять можно. Пожалейте и нас и позвольте вам предложить выпить с нами шампанского. Мы ведь с горя пьем.

Федор Иванович развеселился. Выпил со всеми на «ты», сел за пианино и запел, сам себе аккомпанируя:

Ах ты, Ванька, разудала голова...

Лишь к утру компания москвичей довезла Шаляпина, окруженного дамами, домой...

На репетициях

В Москве, на Балчуге, у Каменного моста, я лежал, больной тифом, в моей мастерской.

Однажды утром пришел ко мне Шаляпин. Разделся в передней и, войдя ко мне, сказал:

— Ты сильно болел, мне говорили. Что же это с тобой? Похудел, одни кости.

Шаляпин сел около меня у столика:

— Видишь ли, я пришел к тебе посоветоваться. Я уйду из Императорских театров. Все дирижеры мне бойкот объявили. Все обижены. Они же ничего не понимают. Я им говорю: «Может быть, вы лучше меня, любите ваших жен, детей, но дирижеры вы никакие...» Представь, все обиделись. И я больше не пою, уйду из театра. Я же могу всегда получать больше, чем мне платят. Где хочешь, за границей, в Америке... Ты знаешь, твой Теляковский закатил мне в контракте какую неустойку — двести тысяч! Ты как думаешь, он возьмет?

— Что такое, — ответил я, — «возьмет Теляковский»?.. Теляковский ничего не может ни взять, ни отдать. На это есть государственный контроль, который возьмет, конечно.

— Ну, я так и знал, в этой стране жить нельзя.

И Шаляпин ушел.

Дирижировал Коутс. Шаляпин пел Грозного, Галицкого, Бориса. Все — в совершенстве.

Театр, как говорят, ломился от публики. И в каждом облике Шаляпин предстал по-новому. И всякое новое воплощение его было столь убедительно, что вы не могли представить себе другой образ.

Это были именно те люди, те характеры, какими показывал их Шаляпин.

На репетициях Шаляпин бывал всегда гневен. Часто делал замечания дирижеру. Отношение Шаляпина к искусству было серьезно и строго. Если что-нибудь не выходило, он приходил в бешенство и настаивал на точном исполнении его замыслов.

При появлении Шаляпина на сцене во время репетиции наступала полная тишина, и все во все глаза смотрели на Шаляпина. Чиновники в вицмундирах при виде Шаляпина уходили со сцены.

Шляпин был ко всем и ко всему придиричив.

Однажды на генеральной репетиции «Хованщины» Мусоргского, которую он режиссировал, Шляпин, выйдя в сцене «Стрелецкое гнездо», сказал:

— Где Коровин?

Театр был полон посторонних — родственников и знакомых артистов.

Я вышел из средних рядов партера и подошел к оркестру. Обратившись ко мне, Шляпин сказал:

— Константин Алексеевич, я понимаю, что вы не читали историю Петра, но вы должны были прочесть хотя бы либретто. Что же вы сделали день, когда на сцене должна быть ночь? Тут же говорится: «Спит стрелецкое гнездо».

— Федор Иванович, — ответил я, — конечно, я не могу похвастаться столь глубоким знанием истории Петра, как вы, но все же должен вам сказать, что это день, и не иначе. Хотя и «спит стрелецкое гнездо». И это ясно должен знать тот, кто знает «Хованщину».

В это время из-за кулис выбежал режиссер Мельников. В руках у него был клавиш. Он показал его Шляпину и сказал:

— Здесь написано: «Полдень».

Шляпин никогда не мог забыть мне этого.

Камень

...На сцене стоял камень, вечный камень. Он был сделан вроде как изголовье. Этот камень ставили во всех операх. На нем сидели, пели дуэты, на камне лежала Тамара, в «Русалке» — Наташа, и в «Борисе Годунове» ставили камень.

Как-то раз Шляпин пришел ко мне и, смеясь, сказал:

— Слушай, да ведь этот черт знает что — режиссеры наши все ставят этот камень на сцену. Давай после спектакля этот камень вытащим вон. Ты позовешь ломового, мы его увезем на Москва-реку и бросим с моста.

Но камень утащить Шляпину режиссеры не дали.

— Не один, — говорили, — Федор Иванович, вы поете, камень необходим для других...

Трезвинский даже сказал ему:

— Вы декаденты!..

Антрепренерша из Баку

Шляпин любил ссориться, издеваться над людьми, завидовал богатству — страсти стихийно владели его послушной душой. Он часто мне говорил, что в молодости своей никогда не испытал доброго к нему внимания — его всегда ругали, поносили:

— Трудно давался мне пятак. Волга, бродяжные ночлеги, трактирчики, крючки, работа у пароходных пристаней, голодная жизнь... Я получаю теперь очень много денег, но когда у меня хотят взять рубль или двугривенный — мне жалко. Это

какие-то мои деньги. Я ведь в них, в грошах, прожил свою юность. Помню, как одна антрепренерша в Баку не хотела мне заплатить, — я был еще на выходах, — и я поругался с ней. Она кричала: «В шею! Гоните эту сволочь! Чтоб духу его здесь не было!» На меня бросились ее служащие, прихвостни. Вышла драка. Меня здорово помяли. И я ушел пешком в Тифлис. А через десять лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть: «Скажите ему, что он у меня пел в Баку и что я хочу его повидать». Я вспомнил ее и крикнул: «Гоните в шею эту сволочь!» И ее выгнали из передней.

— Ты мог бы поступить и по-другому, — сказал я.

— Брось, я не люблю прощать. Пускай и она знает. Так лучше. А то бы считала меня дураком. Ты не знаешь, что такое антрепренер. А ты думаешь, даже Мамонтов или Дягилев, если бы я дался, не стали бы меня эксплуатировать? Брось, я, брат, знаю. Понял...

Деньги

Сколько ни вспоминаю Федора Шаляпина в его прежней жизни, когда он часто гасивал у меня в деревне и в Крыму, в Гурзуфе, не проходило дня, чтобы не было какой-либо вспышки. В особенности когда вопрос касался искусства и... денег.

Когда кто-нибудь упомянет о каком-нибудь артисте, Шаляпин сначала молча слушает, а потом его вдруг прорвет:

— Вот вы говорите «хороший голос», но он же идиот, он же не понимает, что он поет. И даже объяснить не может, кого изображает.

И начинается... Из-за денег та же история. С шоферами, с извозчиками, в ресторане... Ему всегда казалось, что с него берут лишнее.

В магазине Шанкс на Кузнецком Мосту он увидел как-то в окне палку.

Палка понравилась.

Шаляпин зашел в магазин. Приказчик, узнав его, с поклоном подал ему палку.

Шаляпин долго ее примерял, осматривал, ходил по магазину.

— А ручка эта металлическая?

— Серебряная.

— Что ж стоит эта палка?

— Пятьдесят рублей.

— Что-то очень дорого.

— Что же для вас-то, Федор Иванович, пятьдесят рублей? — имел неосторожность сказать приказчик.

— То есть что это значит — для вас? Что я, на улице, что ли, деньги нахожу?..

И пошло...

Собрались приказчики, пришел заведующий.

— Как он смеет мне говорить «для вас»?..

И Шаляпин в гневе ушел из магазина, не купив палки...

В ресторане, потребовав счет, Шаляпин тщательно его проверял, потом подписывал и говорил:

— Пришлите домой.

Помню, мы с Серовым однажды сыграли с ним шутку.

Шаляпин пригласил меня и Серова завтракать в «Эрмитаж».

Я упросил директора, Егора Ивановича Мочалова, поставить в счет холодного поросенка, которого не подавали.

Егор Иванович подал счет Шаляпину. Тот внимательно просмотрел его и сказал:

— Поросенка же не было.

— Как — не было? — сказал я. — Ты же ел!

— Антон, — обратился Шаляпин к Серову, — ты же видел — поросенка не было.

— Как — не было? — изумился Серов. — Ты же ел!

Шаляпин посмотрел на меня и на Серова и, задыхнувшись, сказал:

— В чем же дело? Никакого поросенка я не ел.

Егор Иванович стоял молча, понурился головой.

— Я не понимаю... Ведь это же мошенничество.

Шаляпин, как всегда в минуты сильного волнения, водил рукой по скатерти, как бы сметая сор, которого не было.

— Отличный поросенок, — сказал я, — ты съел скоро, не заметил в разговоре.

Шаляпин тяжело дышал, ни на кого не смотря.

Тут Егор Иванович не выдержал:

— Это они шутить изволят. Велели в счет поросенка поставить...

Шаляпин готов был вспылить, но, посмотрев на Серова, рассмеялся.

* * *

Приятель знал эту слабую струнку Шаляпина.

Раз он позвал после концерта приятелей — композитора Юрия Сахновского, Корещенко и Курова, который писал музыкальные рецензии в газетах, — поужинать в «Метрополе» в Москве.

Шаляпин сам заказал ужин. Подали холодное мясо и водку.

Тут Сахновский сказал:

— Я мяса не ем, а закуски нет.

Позвал полового и приказал:

— Расстегаи с осетриной и икры.

Шаляпин помрачнел.

Когда расстегаи были съедены, Сахновский сказал:

— Федор, Корещенко скажет тебе слово. Мне самому неудобно — ты пел мой романс.

Корещенко поднял рюмку.

— Что ты, с ума сошел! — воскликнул Сахновский. — Надо шампанского!

Шаляпин поморщился и велел подать бутылку шампанского. Вино разлили по бокалам, но всем не хватило.

Когда Корещенко начал свою речь, Сахновский знаком подозвал полового и что-то шепнул ему.

Через несколько мгновений половой принес на подносе шесть бутылок шампанского и стал методически откупоривать.

Шаляпин перестал слушать Корещенко и с беспокойством поглядел на бутылки:

— В чем дело?

— Не беспокойся, Федя, куда ты все торопишься? Не допил я... Не беспокойся. Хорошо посидится — еще выпьем.

— Но я не могу сидеть, я устал, — сказал с раздражением Федор Иванович. — Ты ведь концерта не пел.

— А ты выпей и отдохни, — невозмутимо продолжал Сахновский. — Не допил я!.. Куда торопиться?..

Шаляпин с каждым словом все более хмурился.

— А о вине не беспокойся, Федя, — все тем же невозмутимым голосом пел Сахновский. — За вино я заплачу.

— Не в этом дело! — вспыхнул Шаляпин. — Припишите там в мой счет. Устал я! И уехал домой мрачный.

Избалованный заслуженным успехом, Шаляпин не терпел неудач ни в чем.

Однажды, играя на бильярде у себя с приятелем моим — архитектором Кузнецовым, он проиграл ему все партии. Замучился, но выиграть не мог. Кузнецов играл много лучше.

В конце концов Шаляпин молча, ни с кем не простясь, ушел спать.

А много времени спустя, собираясь ко мне в деревню, как бы невзначай спросил:

— А этот твой Кузнецов будет у тебя?

— А что? — в свою очередь спросил я.

— Грубое животное! Я бы не хотел его видеть.

«Бильярд», — подумал я.

Шаляпин и Серов

Часто достаточно было пустяка, чтобы Шаляпин пришел в неистовый гнев, и эта раздражительность с годами все возрастала. С Врубелем он поссорился давно и навсегда. Да и с Серовым.

Узнав однажды, что у меня будет Шаляпин, Серов не поехал ко мне в деревню. Меня это удивило. И каждый раз, когда впоследствии я приглашал его к себе одновременно с Шаляпиным, отмалчивался и не приезжал.

Я спросил как-то Серова:

— Почему ты избегаешь Шаляпина?

Он хмуро ответил:

— Нет. Довольно с меня.

И до самой смерти не виделся больше с Шаляпиным.

Раз Шаляпин спросил меня:

— Не понимаю, за что Антон на меня обиделся.

— Ну что вам друзья, Федор Иванович? — ответил я. — «Было бы вино, да вот и оно», как ты сам говоришь в роли Варлаама.

В сущности, когда кто-нибудь нужен был — Серов ли, Васнецов, — то он был «Антоша дорогой» либо «дорогой Виктор Михалыч». А когда нужды не было, слава и разгулы с услужливыми друзьями заполняли ему жизнь...

Странные люди окружали Шаляпина. Он мог над ними вдоволь издеваться, и из этих людей образовалась его свита, с которой он расправлялся круто.

Шаляпин сказал, и плохо бывало тому, кто не соглашался с каким-либо его мнением. Отрицая самовластие, он сам был одержим самовластием.

Когда он обедал дома, что случалось довольно редко, то семья его молчала за обедом, как набрав в рот воды.

Когда Шаляпин не пел

Шаляпин довольно часто отказывался петь, и иногда в самый последний момент, когда уже собиралась публика.

Его заменял в таких случаях по большей части Власов.

В связи с этими частыми заменами по Москве ходил анекдот. Шаляпин ехал на извозчике из гостей навеселе. «Скажи-ка, — спросил он извозчика, — ты поешь?» — «Где же мне, барин, петь? С чаво? Вот когда крепко выпьешь, то, бывает, вспомнишь и запоешь». — «Ишь ты, — сказал Шаляпин, — а вот я, когда пьян, так за меня Власов поет...»

Не было дома в Москве, где бы не говорили о Шаляпине. Ему приписывали самые невероятные скандалы, которых не было, и выставляли его в неприглядном виде.

Но стоило ему показаться на сцене — он побеждал. Восторгу и вызовам не было конца.

В бенефис оркестра, когда впервые должен был идти «Дон Карлос» Верди, знатоки и теоретики говорили: «Шаляпин провалится».

В частности — и у Юрия Сахновского, когда он говорил о предстоящем спектакле, злой огонек светился в глазах.

А когда я встретил его в буфете театра после второго акта и спросил:

— Ну, что же вы, как критики, скажете? — он ответил:

— Ну, что скажешь... Ничего не скажешь... Силища!..

В чем была тайна шаляпинского обаяния?

Соединение музыкальности, искусства пения с чудесным постижением творимого образа.

Цыганский романс

На второй день Рождества я справлял мои именины. Собирались мои приятели, артисты, художники, охотники. И всегда приезжал Шаляпин.

На этот раз он приехал прямо после спектакля из театра, в костюме Галицкого. Все обрадовались Федору Ивановичу.

Он сел за стол рядом с нашим общим приятелем Павлом Тучковым. В руках у того была гитара — он пел, хорошо подражая цыганам, и превосходно играл на гитаре.

К концу ужина Павел Александрович сказал Шаляпину:

— Вторь.

Шаляпин оробело послушался.

Павел Александрович запел:

Задремал тихий сад...
Ночь повеяла...

Павел Александрович остановился и искоса посмотрел на Шаляпина.
— Врешь. Сначала:

Задремал тихий...

Снова — многозначительная пауза: Шаляпин фальшивил.
Высоко подняв брови и выпучив глаза, Павел молча смотрел на Шаляпина:
— Еще раз. Сначала...

Шаляпин все не попадал в тон — выходило невероятно скверно. Шаляпин смотрел растерянно и виновато.

— Скажите, пожалуйста, — спросил наконец Тучков Шаляпина, — вы, кажется, солист Его Величества? Странно! И даже очень странно...

— А что? — спросил робко Шаляпин.

— Как — что? Врешь, слуху нет — фальшиво...

— Разве? — изумился Шаляпин. — Что такое?..

— Сначала:

Задремал тихий сад...

Ничего не выходит! Да, это вам не опера. Орать-то можно, но петь надо уметь. Не можете спеть цыганского романса. Не дано. Уха нет.

Шаляпин был столь комичен в этой новой неожиданной роли, что нельзя было удержаться от смеха. Кругом приятели мои ржали как лошади.

И один только Павел Александрович никак не мог сообразить, что происходит:

— Совершенно непонятно: оперу петь умеет, а цыганский романс не может. Слуха не хватает. Ясно...

«Демон»

К бенефису Шаляпина готовили «Демона» Рубинштейна в моей постановке. Костюм, равно как и парик и грим, делал Шаляпину я. Спектакль как-то не ладился. Шаляпин очень негодовал. Говорил мне:

— Не знаю, буду ли еще петь.

Мы жили в это время вместе. Вернувшись как-то с репетиции, он сказал.

— Я решил отказаться. Выйдет скандал, билеты все проданы. Не так все, понимаешь, дирижируют вяло, а завтра генеральная репетиция. На-ка, напишу я письмо.

— Скажи, — спросил я, — вот ты все время со мной, на репетиции был не больше получаса, а то и совсем не ходишь, значит, ты знаешь «Демона»?

— Ну конечно, знаю, — ответил Шаляпин, — каждый студент его в номерах поет. Не выходит у меня с Альтани¹. Пойду вызову по телефону Корещенко.

¹ Дирижер. — Прим. К.А. Коровина.

Шаляпин встал с постели и пошел говорить по телефону. Вскоре приехал Корещенко с клавиром. Шаляпин, полуодетый, у пианино показал Корещенке место, которое не выходило у него с оркестром. Корещенко сел за пианино. Шаляпин запел:

Клянусь я первым днем творенья...

И сразу остановился.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он Корещенко, — ты ведь, кажется, профессор консерватории?

— Да, Федя, а что?

— Да как «что», а что же ты играешь?

— Как — что? Вот что, — он показал на ноты.

— Так ведь это ноты, — сказал сердито Шаляпин, — ведь еще не музыка. Что за темпы! Начинай сначала.

И Шаляпин щелкал пальцем, отбивая такт, сам ударял по клавишам, постоянно останавливая Корещенко и заставлял повторять.

За завтраком в «Эрмитаже» Шаляпин говорил:

— Невозможно. Ведь Рубинштейн был умный человек, а вы все ноты играете, как метрономы. Смысла в вашей музыке нет. Конечно, мелодия выходит, но всего нотами не изобразишь!..

Корещенко был скромный и тихий человек. Он покорно слушал Шаляпина и сказал:

— Но я же верно играю, Федя.

— Вот и возьми их! — сказал Шаляпин. — Что из того, что верно. Ноты — это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор. Ну вас всех к черту!

На другой день утром мы поехали на генеральную репетицию. Шаляпин был молчалив и расстроен.

Когда мы приехали в театр, репетиция уже шла. Как всегда, Альтани, увидав Шаляпина в кулисе, остановил оркестр и показал ему вступление палочкой:

Дитя, в объятиях твоих... —

запел Шаляпин и остановился.

Сняв шарф и шубу, он подошел к дирижеру и обратился к оркестру:

— Господа, вы, музыканты, вы, все профессора, и вы, дорогой маэстро, — обратился он к Альтани, — прошу вас, дайте мне возможность продирижировать мои места в опере.

Альтани отдал палочку концертмейстеру Крейну, который, встав, передал ее на сцену Шаляпину. Шаляпин поднял палочку.

— Ариозо «Клянусь».

И запел полным голосом.

Когда он дошел до фразы: «Волною шелковых кудрей», оркестр встал, музыканты закричали «браво» и сыграли Шаляпину туш.

Шаляпин продирижировал всю свою партию. Альтани что-то отмечал карандашом в партитуре. Шаляпин пел и за себя, и за хор и сразу повеселел. Благодарил Альтани и музыкантов, всех артистов и хор.

Когда мы с Шаляпиным вышли из театра, он сказал:

— Видишь, какая история, теперь все ладится. Я же боялся сказать: «Дайте мне продирижировать». Черт его знает — Альтани обидится. Положит палочку, уйдет, и опять забастовка дирижеров. Они думают, что я их учу, а они все ученые. Я же прошу понять меня, и только. Теперь споем... А знаешь ли, дешево я назначил за билеты. Надо было вдвое. Поедем куда-нибудь завтракать. В «Эрмитаже» народу много, пойдем к Тестову, здесь близко. Съедем головизну. Нет! Головизна тяжело, закажем уху из ершей и расстегаи. Надо выпить коньяку...

Бенефис прошел с огромным успехом. Но гордая московская пресса холодно отозвалась о бенефисе Шаляпина. Вообще Шаляпин был с прессой не в ладах.

* * *

Впрочем, после своего бенефиса в Петербурге он больше «Демона» не пел. Говорил, что партия для него все же высока, хотя он ее и транспонировал.

Вскоре после бенефиса Шаляпин, Горький, Серов, я и Сахновский поехали вечером ужинать. Подъехали к Страстному монастырю, остановились и стали обсуждать, куда ехать, — Горький и Шаляпин не хотели встречаться с толпой. Решили ехать за город, в «Стрельну». Шаляпин отдельно с Горьким. А Сахновский с нами на паре, которую взяли на площади. Дорогой Сахновский, как обычно, говорил, что бросил пить:

— Нельзя, полнею. А вот в «Стрельне» придется.

В «Стрельне» заняли отдельный кабинет. Принесли закуски, вино, холодного поросенка.

Соседний кабинет был полон кутящими гостями. Там было шумно. Пел венгерский хор.

Вдруг наступила тишина, и мужской голос неожиданно запел на мотив «Мефистофеля»:

Сто рублей на бенефис
Я за вход себе назначил,
Москвичей я одурачил,
Деньги все ко мне стеклись.

В соседнем кабинете раздался хохот и аплодисменты.

Мой великий друг Максим
Заседал в отдельной ложе,
Полугорьких двое тоже
Заседали вместе с ним.
Мы дождались этой чести,
Потому что мы друзья,
Это все — одна семья.
Мы снимались даже вместе,
Чтоб москвич увидеть мог
Восемь пар смазных сапог,
Смазных сапог,
Восемь пар смазных сапог,
Смазных сапог, да!

— Что за черт! — сказал Шаляпин. — А ведь ловко. Позвали метрдотеля. Шаляпин спросил:

— Кто это там?

— Да ведь как сказать... Гости веселятся. Уж вы не выдайте, Федор Иванович. Только вам скажу: Алексей Александрович Бахрушин с артистами веселятся. Они хотели вас видеть, только вы не пустите.

Горький вдруг нахмурился и встал:

— Довольно. Едем.

Мы все поднялись.

Обратно Горький и Шаляпин снова ехали вместе, мы — на паре.

— Чего он вскинулся? — удивлялся Серов. — Люди забавляются. Неужели обиделся? Глупо!

На Волге

От директора Императорских театров, Теляковского, я получил телеграмму. Он просил меня приехать к нему в имение Отрадное близ Рыбинска, на Волге.

— Поедем, Федя, — предложил я.

— Ладно, — ответил Шаляпин, — я люблю Волгу. Поедем из Ярославля на пароходе «Самолет». Будем есть стерлядь кольчиком.

— Ты что, так в поддевке и поедешь?

— А почему же? Конечно, в поддевке.

— Узнают тебя на пароходе, будут смотреть.

— А черт с ними. Пускай.

Когда приехали в Ярославль, узнали, что пароход «Самолет» отходит через три часа. Куда деться? Пошли в городской сад и сели у ресторана снаружи. Нам была видна дорога, которая спускалась к Волге. По ней ехали ломовики, везли рогожные кули с овсом, огромные мешки с хлебом, в корзинах из прутьев — белугу, осетрину, севрюгу. Возы тянулись бесконечно по дороге. Слышалось: «Ы-ы... ы-ы...» Ломовые понукали лошадей. Ехали бабы на возах, в цветных платках, загорелые и дородные.

— Посмотри, как Россия богата, — сказал Шаляпин.

— А как же Некрасов говорил: «Выдь на Волгу, чей стон раздается...»?

— А был ли он на Волге-то?..

К обеду нам подали белугу с хреном и икру зернистую, на коробке было написано: «Колганов. Москва».

— Ты посмотри, что написано, — сказал Шаляпин, — в чем дело?

Он рассердился, позвал человека и приказал:

— Убери.

Только мы стали есть белугу, как за соседний столик сели два чиновника в фуражках с кокардами. Один молодой, другой постарше. Молодой посмотрел на Шаляпина и сказал что-то другому. Старший тоже посмотрел на Шаляпина.

«Узнали», — подумал я.

Чиновники встали и подошли к нам. Старший сказал:

— Здравствуйте, Федор Иванович. Позвольте вас приветствовать в нашем городе.

— Очень рад, — ответил Шаляпин, — но я вас не знаю.

— Нас много, — ответил, улыбаясь, старший. — Мы чиновники у губернатора. Нас много и губерний много. А вы один — великий артист. Позвольте вас приветствовать.

— Садитесь, — сказал Шаляпин.

Один из чиновников позвал человека и заказал бутылку шампанского.

Когда подали шампанское, оба чиновника встали и подняли бокалы.

— Мы ездили в Москву вас слушать, Федор Иванович, и каждый день вспоминаем о вашем спектакле с восторгом. Но, простите, Федор Иванович, мы слышали, что вы друг Горького. Друг этого лжеца и клеветника России. Неужели это правда?

Шаляпин побледнел:

— Мы, очевидно, с вами разные люди. Мне неприятно слышать про Алексея Максимовича, что он лжец и клеветник. Вам, вероятно, не нравится та правда, которую он говорит.

Шаляпин отвернулся от чиновников, позвал человека и коротко сказал мне:

— Заплати.

Я расплатился по счету. Шаляпин молчал, ждал.

— Пойдем.

И мы ушли, не дотронувшись до шампанского.

— Вот видишь, — сказал мне дорогой Шаляпин, — жить же нельзя в этой стране.

Мы шли, спускаясь к Волге. Шаляпин вел меня по берегу мимо бесконечных пристаней. Потом вдруг сказал:

— Зайдем сюда.

Проходя мимо бочек и всюду наваленного товара, мы подошли к рыбной лавке. Лавочник по приказанию Шаляпина взял ножик, вытер о фартук и вытянул осетра изо льда. Осетр открывал рот. Лавочник бросил его на стол и полоснул ножом по животу. Показалась икра. Лавочник выгреб ее ложкой в миску, поставил миску и соль в бураке перед Шаляпиным и подал калачи. Шаляпин щепотью посолил икру в миске и сказал:

— Ешь, вот это настоящая.

Мы ели зернистую икру с калачом.

— Это еще не белужья, — говорил Шаляпин, откусывая калач. — Настоящая-то ведь белужья, зернистая.

— Белужьей нет, — сказал рыбак. — Белужья боле за границу идет. Белужья дорога. У нас в Ярославле белужьей не достать. В Питере, Москве еще можно.

Всю дорогу до Теляковского Шаляпин проспал в каюте.

Теляковский обрадовался Шаляпину. За обедом был священник соседнего села и две гувернантки — англичанка и француженка. Видно было, что Шаляпин им понравился. С англичанкой он заговорил на английском языке. Та рассмеялась. Шаляпин не знал по-английски и нес чепуху, подражая произношению англичан.

Через два дня мы уехали. Возвращались опять на пароходе «Самолет».

Стоял ясный летний день. Далеко расстилалась Волга, заворачивая за лесные берега, по которым были разбросаны деревни, села и блестели купола церквей.

Мы с Шаляпиным сели за стол в салоне первого класса. Шаляпин заказал чай. Снял картуз и салфетку бросил себе через плечо на поддевку. Налил чай из стакана в блюдце, взял его всей пятерней и, мелко откусывая сахар и дуя в блюдце, говорил:

— Швырок-то ноне в цене. Три сорок, не приступись. У Гаврюхина швырку досыта собака наестся. Не проворотишь. Да ведь кому как. Хоть в лепешку расстелись, а Семену крышка.

Я подумал: «Чего это Федор разделявает? Купца волжского — дровяника?»

Все пассажиры смотрели на нас. Входили в салон дамы и с удивлением оглядывали Шалапина.

Я вышел из салона на палубу. Прошла какая-то женщина в нарядной шляпе. За ней — муж, держа за руку мальчика. Муж, догоняя жену, говорил:

— Это не он. Не он, уверяю тебя.

— Нет, он, — отвечала жена. — Он. Я его узнала.

— Да не он же! Что ты!

— Перестань, я знаю.

Они обошли кругом по палубе. И когда приблизились опять к салону, где сидел и пил чай Шалапин, женщина вновь бросила взгляд в окно и с уверенностью сказала:

— Он.

Муж, поравнявшись со мной, приостановился и робко спросил:

— Извините, вот вы в рубке сидели с этим высоким, чай пили, — что это — Шалапин?

— Нет, — ответил я. — Купец. Дрова по Волге скупает...

Когда я вошел в салон, Шалапин продолжал пить чай из блюдца и салфеткой вытирать пот с лица и со лба. Я опять подсел к нему. Он тотчас же стал снова дурить.

— Неча гнаться. Швырок-от погодит. Не волок, в лес не уйдет. Пымаем. Наш будет. В Нижнем скажу, так узнает Афросимова. Он еще поплачет. Погоди.

— Довольно, Федя, — шепнул я. — Тебя же узнали.

— А куда ему есенить до Блудова? Блудовский капитал не перешибет, он теперь на торф переходит. Он-те им покажет. В ногах поваляются. Возьми швырок, возьми. Вот тогда-то за два двадцать отдадут. А то без порток пустит. Блудова-то я знаю.

— Довольно же! — вновь тихо сказал я.

— Черт с ними!

Пароход подходил к пристани. Показался большой монастырь. Черными пятнами на фоне светлых стен казались монахи. На пристани шел молебен.

Пароход причалил к пристани. На берегу остановили молебен, произошло какое-то движение. На пристань вышли священник, дьякон с кадилом, столпились монахи. Все смотрели во все глаза на пароход. В толпе слышалось: «Шалапин, Шалапин! Где он?»

Федор Иванович ушел и заперся в каюте.

Пароход подошел к Ярославлю.

Я постучался в каюту к Шалапину:

— Выходи, приехали.

— Погоди, — ответил мне из-за двери Шалапин, — пускай разойдутся. Ну их к черту. После второго свистка я выйду...

Шалапин, когда сходил с парохода, взял мою шляпу, а мне дал свой чесучовый картуз. На берегу быстро прошел к лодочнику, взял лодку, крикнул: «Садись!» — и навалился на весла.

Лодка быстро проскользнула мимо всяких суденышек и барок на волжский простор. Шаляпин расхохотался:

— Вот катавасия!.. Покою нет! И что я им дался?

Он ловко управлял лодкой. Светлые ресницы его блестели на солнце.

— Вот мы сейчас приедем, Константин. Я покажу тебе знакомый трактир. Поэдим настоящих расстегаев с севрюгой.

Шаляпин быстро вытащил лодку на отлогий берег, и мы пошли по тропинке к дороге. Шаляпин взял у меня картуз и отдал мне шляпу. Справа от дороги была навалена масса бревен. Шаляпин шагал широко и ловко. Глядя на него, я подумал: «А страшновато, должно быть, не зная — кто он, встретиться в глухом месте с таким молодцом со светлыми ресницами». В его огромном росте, сильных движениях была некая разбойничья удаль.

— Вот он, трактир, за бугром, — сказал Шаляпин.

* * *

Мы подошли к двухэтажному деревянному дому. Сбоку у входа на большой вывеске вкривь и вкось было написано: «Трактир».

По деревянной лестнице поднялись во второй этаж. Пахло чаем и квасом. В трактире было мало народу.

Сели у окна, за столиком. Подошел половой. Шаляпин заказал расстегаи. Из-за стойки смотрел на нас краснорожий, с черной бородой трактирщик. Пробор посередине, кудрявые волосы блестели от помады.

— Это сын, должно быть, — сказал мне Шаляпин. — А трактирщик-старик, видно, помер.

Расстегаи — горячие, масляные, с рыбой — были действительно замечательные. Половой подал водку.

— Может, вам анисовой аль березовой? — крикнул нам из-за стойки трактирщик.

— Давай березовой, — в тон ему отозвался Шаляпин. — А ты не сын ли будешь Петра Гаврилова?

— Сын. А вы что — отца знали?

Трактирщик, выйдя из-за стойки, подошел к нам.

— Присядь, — сказал Шаляпин.

— Илюшка! — крикнул хозяин. — Ну-ка, подай тешку балыковую. Гости хорошие. А вы ярославские али как?

— Был ярославский, а теперь в Москве живу, — ответил Шаляпин.

— А при каком деле? — спросил трактирщик.

— Дровами торгую.

— Так, так. Чего ж, дело хорошее. Бывали, значит, при отце?..

Трактирщик как-то хитро и испытующе посмотрел на нас.

— Так, так... У меня третьеводни какое дело вышло. Тоже пришли молодцы этикие, одеты по-богатому. Пили — вот пили! Такой разгул завели. Вдруг полиция; да сколько! — прямо на пароходе причалили, — и всех их забрали. Самые что ни на есть мошенники. Вот которые в карты по пароходам обыгрывают. Один все-таки убежал. Говорят, главный... Вот, покушайте-ка тешечки, — сказал трактирщик, — первый сорт.

В трактир ввалилась толпа здоровых, загорелых, в белых рубахах и лаптях людей.
— Бурлачье, — презрительно сказал хозяин. — Илюшка, отвори окошки, а то воздух испортят.

Бурлаки, шумно смеясь и бранясь, заняли столы и скамейки. Кричали:

— Давай щипки жирнищи, поглядывай! Сморчищи не дай, а то на голову выльем!

Бурлаков все прибывало. Толпой у стойки они пили водку. Половые подавали щипки в больших деревянных мисках. Появился с завязанным глазом гармонист и сел в сторонке.

Наступила тишина: бурлаки хлебали щипки молча. Никто из них на нас не обратил никакого внимания. Из кувшинов разливали квас. Некоторые пили водку.

Похлебава щей, сразу все заговорили. И опять замолчали, когда подали белужину.

— Ну, что ж ты, играй, в рот-те ноги! Запузыривай!

Гармонист запел, подыгрывая на гармонии:

Вот и барин в шляпе ходит,
У кобылы чего просит.

Песня была непристойная до невозможности. Шаляпин встал, подошел к стойке и спросил у хозяина карандаш и бумагу. Вернувшись к столу, сказал:

— Надо, брат, это записать, больно здорово.

Вытащив кошель, бурлаки бросали деньги в шапку — собирал один. Сосчитав деньги, он пошел к стойке платить хозяину и дал несколько медяков гармонисту.

Бурлаки все разом поднялись и вышли. Было видно из окна, как они бегом бежали по дороге и завернули за бугор к Волге.

Гармонист подошел к нам и протянул картуз:

— Ну-ка, дай ему двугривенный, — сказал Шаляпин.

Я дал гармонисту полтинник и спросил:

— Отчего песни всё похабные такие поете?

— Э... — покачав головой, ответил гармонист, — других-то слушать не будут. Это бурлаки, тверские, самый озорной народ. Барки тянут. А вот лес которые гонят — архангельские, с поморья, — те старoverы, тем не споешь этаких песен, морду набьют. Тем духовные подавай.

Мы пошли обратно по дороге к лодке. У самой воды нас догнал полицейский и сказал хриплым голосом:

— Простите за беспокойство, — не я прошу, а служба велит, — позвольте узнать ваше звание.

Ни у меня, ни у Шаляпина паспортов с собой не было. У меня была в кармане только бумага на право писания с натуры. Я дал ее полицейскому.

— Очень хорошо-с.

— А он, — показал я на Шаляпина, — артист Императорских театров Федор Иванович Шаляпин.

— Как-с? Да неужели? Господин Шаляпин! Вот ведь что, Господи! В Нижнем-то вы пели, я был при театре тогда в наряде. Эх, ведь я в пяти верстах живу отсюда.

Сейчас пару достану. Ежели бы ко мне, судаком отварным, с капорцами соус, угостили бы вас.

— Давайте адрес, мы как-нибудь приедем, — сказал Шаляпин.

— Сделайте радость, господин Шаляпин, и карточку вашу захватите, пожалуйста. Он вырвал из книжечки бумажку и записал адрес.

— Ежели милость будет, черкните дня за два. Я всегда по берегу здесь. Мы ведь береговая полиция.

— А каких это вы жуликов третьего дня поймали здесь? — спросил Шаляпин.

— Шулера это. На пароходах обыгрывают. Главный-то из рук ушел. Прямо в землю провалился. Привели на пароход, он и пропал. А у него все деньги. А тех тоже выпустили. Знаем, а доказать нельзя...

* * *

Вернувшись в Ярославль, мы поехали на вокзал. До поезда оставалось полтора часа. На вокзале было пусто. Мы сели за большой стол, спросили чаю. Вскоре вошел какой-то господин, низенького роста, в пальто, в котелке, с зонтиком. На носу у него было золотое пенсне. Тщательно расчесанная борода. Сзади него шли двое опрятно одетых рабочих. Несли доброй кожи чемоданы, пестрый плед. Незнакомец, блеснув стеклами, внимательно посмотрел на Шаляпина, сел за стол напротив нас и тоже спросил чаю. Рабочие поставили около него чемоданы и, поклонившись, ушли. Видно было, что это какой-то богатый фабрикант.

Шаляпин, попивая чай, пристально поглядывал на него. Тот, видимо, несколько смутился.

Вдруг Шаляпин спросил:

— Яшка, ты что же, не узнаешь меня?

Сосед, испуганно взглянув на Шаляпина, быстро ответил:

— Я не Яшка, и я вас не знаю.

— Смотри, — обратившись ко мне, сказал Шаляпин, — не узнает. А вместе со мной в остроге сидел, в Нижнем.

— Вы ошибаетесь. Я вас не понимаю. Какое вы имеете право оскорблять меня?

— Вот сукин сын! — не унимался Шаляпин. — Не узнает! И имя, наверное, переменял.

— Милостивый государь, я вас прошу оставить меня в покое. Я буду на вас жаловаться жандарму.

— Не будешь! От воинской повинности бегал, сам мне сознавался.

Сосед вскочил из-за стола, бросил монету и, схватив чемоданы и плед, быстро вышел из буфета. В окно мы видели, как он взял у станции извозчика и уехал.

— Что такое, Федя, — спросил я, — ты его знаешь?

— Нет, — смеясь, ответил Шаляпин. — В глаза никогда не видел.

— Что же это такое?

Шаляпин смеялся.

* * *

Шаляпин лежал в купе против меня. Дверь купе отворилась. Вошел контролер с кондуктором. Шаляпин, закрыв глаза, похрапывал.

— Ваш билет, — спросил контролер.

Я дал ему билет и толкнул Шаляпина. Он не пошевелился. Я покачал его за плечо. Он сонными глазами, точно не вполне проснувшись, взглянул на контролера и стал искать билет по карманам.

Контролер нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Шаляпин, глядя на него сонными глазами, спросил:

— А Киев скоро?

— Какой Киев? На Москву едете.

— Да неужели? — удивился Шаляпин.

Контролер ушел, обидевшись.

На следующей станции к нам в купе вошли: контролер, кондуктор и жандарм.

— Ваш билет, — потребовал кондуктор.

Шаляпин стал снова шарить по карманам.

— Вы куда едете? — спросил жандарм.

— А вам что?

— Пожалуйста на станцию.

— Чего бы я туда стал ходить? Мне и здесь хорошо...

Все ушли.

Мы проехали еще несколько станций. У Троице-Сергия к нам в купе явились: контролер и с ним уже два жандарма и кондуктор.

— Ваш билет, — спросил жандарм.

Шаляпин небрежно вынул из жилетного кармана билет и дал.

— Позвольте ваш вид и ваше местожительство.

— У меня нет с собой паспорта, а местожительство в Москве. На Новинском бульваре свой дом.

— Пожалуйста на станцию, подписать протокол.

Шаляпин с важным видом поднялся с места и пошел к дверям. На станции он спросил жалобную книгу и написал в ней, что не понимает, почему напрасно пассажиров будят в купе таком-то, номер вагона такой-то, и путают толпой полиции и жандармов. Он просил господина министра, князя Хилкова, обратить внимание на это безобразие.

Мы опять сели в вагон и поехали. Перед Москвой в купе пришел обер-кондуктор. Он был испуган и огорченно и заискивающе сказал Шаляпину:

— Ведь это, конечно, беспокойство причиняют, но я тут, верьте слову, ни при чем...

Шаляпин милостиво кивнул головой и записал его фамилию и адрес:

— Знаю, знаю, любезный... Не беспокойся, ничего не будет...

В Крыму

В Крыму, в Гурзуфе, у моря, я построил себе дом в четырнадцать комнат. Дом был хороший. Когда вы просыпались, то видели розы с балкона и синее море.

Впрочем, как ни прекрасен был Гурзуф, но я все же любил больше мой деревенский дом, среди высоких елей моей прекрасной родины.

Шаляпин приезжал ко мне в Крым. И не один. С ним были: Скиталец, Горький и еще кто-то.

Я пригласил специального повара, так как Шаляпин сказал:

— Я хотел бы съесть шашлык настоящий и люли-кебаб.

Из окон моей столовой было видно, как громоздились пригорки Гурзуфа, с одинокой виллой наверху. За завтраком Шаляпин серьезно сказал:

— Вот эту гору я покупаю и буду здесь жить.

И после завтрака пошел смотреть понравившиеся ему места. Его сопровождал грек Месалиди, который поставлял мне камень для постройки дома.

Вернувшись, Шаляпин прошел на террасу, — она была очень просторна и выходила к самому морю; над ней был трельяж, покрытый виноградом. За Шаляпиным следовала целая толпа людей.

Когда я вышел на террасу — Шаляпин лежал в качалке. Кругом него стояли Месалиди, какие-то татары и околоточный Романов с заспанным круглым лицом и охрипшим голосом: шло совещание.

С террасы были видны Одалары — две большие скалы, выступающие из моря, — «пустынные скалы».

На скалах этих никто не жил. Только со свистом летали стрижи. Там не было ни воды, ни растительности.

— Решено. Эти скалы я покупаю, — сказал Шаляпин.

— На что они вам? — возразил околоточный Романов. — Ведь они налетные. Там воды нет.

Шаляпин досадливо поморщился.

Я ушел, не желая мешать обсуждению серьезных дел.

С этого дня Шаляпин забыл и Горького, и друзей, каждый день ездил на лодке на эти скалы и только об них и говорил.

Приятель его, Скиталец, целые дни проводил в моей комнате. Сказал, что ему нравится мой стол, — писать удобно. Он сидел и писал. Писал и пел.

Сбоку на столе стояло пиво, красное вино и лимонад. Когда я зачем-нибудь входил в комнату — он бывал не очень доволен...

Раз я его увидал спящим на моей постели. Тогда я перетащил свой большой стол в комнату, которую отвел ему...

Вскоре Горький и другие приятели Шаляпина уехали, а он отправился в Ялту, узнавать, как ему получить от казны Одалары.

Перед отъездом он сказал мне:

— В чем дело? Я же хочу приобрести эти Одалары.

— Но на них ведь нельзя жить. Это же голые скалы.

— Я их взорву и сделаю площадки. Воду проведу. Разведу сады.

— На камне-то?

— Нет-с, привезу чернозем, — не беспокойтесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я у Сухомлинова попрошу старые пушки.

— Зачем же пушки? — удивился я.

— А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные корреспонденты, репортеры. Я хочу жить один, понимаешь ли, один.

— Но ведь в бурю, Федя, ты неделями будешь лишен возможности приехать сюда, на берег.

— Ну нет-с. Проеду. Я велю прорыть под проливом туннель на берег.

— Как же ты можешь пробить туннель? Берег-то чужой! Ты станешь вылезать из туннеля, а хозяин земли тебя по макушке: куда лезешь, земля моя!..

Шаляпин рассердился.

— То есть как же это, позволь?

— Да так же! Он с тебя возьмет за кусок земли, куда выйдет твой туннель, тысяч сто в год.

— Ну вот, я так и знал! В этой же стране жить нельзя!.. Тогда я сделаю бассейн, привезу воду.

— Бассейн? — усомнился я. — Вода протухнет.

Шаляпин с досадой махнул рукой и велел позвать околоточного Романова, — в последнее время тот стал его закадычным приятелем.

Они чуть не каждый день ездили на лодке на Одалары. С Одалар Романов возвращался еле можаху и шел спать в лодку, которых много на берегу моря.

Встретив меня на улице, Романов однажды сказал мне охрипшим голосом:

— Федор Иваныч, ведь это что — бог! Прямо бог! Вот какой человек. Погодите. Увидите, кем Романов будет. У Ялты ловят. Кто ловит? Жандармы ловят. Кого ловят? Политического ловят. А Федор Иваныч мне говорит: «Погоди, Романов, я тебе покажу настоящего политического». Поняли? Покажет. А я его без жандармов за жабры. Кто поймал? Романов поймал. Околоточный поймал. Поняли? До самого дойдет, тогда кто Романов будет?

Я улыбнулся:

— А отчего это у вас голос хриплый, Романов?

— Как — отчего? Кто день и ночь работает? Романов. В трактире, в распивочной, всюду чертом надо орать. Смотрите-ка, у меня на шее какая царапина. Все — озорство. В кордегардию сажать надо. Мученье!.. Ну, конечно, и выпьешь, без этого нельзя.

* * *

— Какого ты политического преступника хочешь показать Романову? — спросил я Шаляпина.

Шаляпин расхохотался:

— Жаловался мне Романов, что повышения нет по службе: «Двадцать лет мучаюсь, а вот шиш. А мундир надо шить. Государь скоро в Ливадию приезжает. Встречать надо. Жандармы понаехали, политических ловят. Вот бы мне!» Я ему и сказал: «Я покажу тебе, Романов, политического». Хочу показать ему одного известного приятельного поверенного. Тот его вздрючит.

И Шаляпин весело смеялся...

* * *

В те же дни из Суук-Су в коляске приехала дама. Высокая, нарядная. Поднесла Шаляпину великолепную корзину цветов и другую — с персиками и абрикосами. Просила его приехать к ней в Суук-Су к обеду.

Шаляпин, узнав, что она владелица Суук-Су, поехал.

Было много гостей. Шаляпин много пел и очаровал дам.

Ночью на возвышенном берегу моря около Суук-Су был зажжен фейерверк и устроен большой пикник. Лилось шампанское, гости бросали бокалы со скалы в море, ездили на лодке при факелах показывать Шаляпину грот Пушкина.

Хозяйка Суук-Су сказала:

— Эту землю над гротом великого поэта я прошу вас принять от меня в дар, Федор Иванович. Это ваше место. Вы постройте здесь себе виллу.

Шаляпин был в восхищении и остался в Суук-Су.

На другой день утром у него уже был нотариус и писал дарственную. Одалары были забыты.

Шаляпин говорил:

— Надо торопиться. Я остаюсь здесь жить.

Позвал Месалиди и сейчас же велел строить стену, ограждающую его землю.

И всю ночь до утра просидел со мной над бумагой, объясняя, какой он хочет построить себе дом. А я слушал и рисовал.

— Нарисуй мне и подземный ход к морю. Там постоянно будет стоять яхта, чтобы я мог уехать, когда хочу...

Странная вещь: Шаляпин всегда точно кого-то боялся...

Нужно ли говорить, что шаляпинская вилла так-таки никогда не была построена. Во время Керенского я был в Гурзуфе. Месалиди жаловался мне, что на письма его Шаляпин ничего не отвечает. И стал разбирать стену...

«Мир Искусства». Шаляпин за границей

В 1898 году в Петербурге в квартиру Мамонтова, где я останавливался, пришел молодой человек, элегантно одетый. Волосы его были тщательно расчесаны; впереди белела прядь седых волос.

— Я был в Москве, — сказал он, — познакомился с Серовым, и он мне дал ваш петербургский адрес. Видите ли: я хочу издавать художественный журнал, и мне нужно ваше участие. В журнале будет также отдел иностранной живописи. В русском искусстве начинается новая эра, представителями которой являетесь вы, Врубель, Левитан, Серов — московское течение в искусстве.

В это время в комнату вошел С.И. Мамонтов.

— Вот какая интересная мысль, — сказал я, — издавать художественный журнал. Савва Иванович протянул руку молодому человеку. Тот назвал себя: Дягилев. С.И. Мамонтов повел нас завтракать к Кюба. От Кюба я поехал к Дягилеву.

Дягилев занимал со своим отцом небольшую квартиру. Отец его был добродушного вида уже пожилой военный генерал. Дягилев показал мне небольшие картины: этюд Шишкина, рисунок Левитана, Клевера. И сказал мне, что денег для издания журнала у него нет. Но все, что он говорил про журнал, который он хотел издавать, было очень интересно.

На следующий день Мамонтов сказал:

— А этот молодой барин очень энергичный человек. Денег, вероятно, у него нет?

— Нет, — ответил я. — Он мне это сказал.

При следующей встрече Мамонтов позвал Дягилева в Москву. Там, у Саввы Ивановича, он познакомился с Васнецовым, Врубелем, Шаляпиным. Все нашли его образованным и интересным человеком.

Мамонтов дал Дягилеву деньги для издания, и я сделал ему первую обложку для журнала и декоративные иллюстрации в красках.

Редакция нового журнала помещалась в одной из небольших комнат скромной квартиры Дягилева. Тут я познакомился с его приятелями: Нувель, его братом, Розановым, Мережковскими.

Вскоре вышел и первый номер журнала «Мир Искусства»...

* * *

В 1899 году я, как уже знает читатель, получил приглашение от князя Тенишева — сделать проект русского отдела «Окраины России на Всемирной парижской выставке 1900 года» — и весной уехал в Среднюю Азию, а потом на Крайний Север, чтобы сделать на местах большие панно.

В то же время (несколько позже) Дягилев познакомил Париж с Шаляпиным, который имел колоссальный успех в «Борисе Годунове».

С этого времени Европа узнала Шаляпина и оценила его. Он пел в разных странах.

* * *

Я поехал лечиться в Виши, и Шаляпин, узнав, что я там, тоже приехал в Виши.

Дирекция городского театра, осведомившись о приезде Шаляпина, предложила ему спеть в театре Виши оперу «Дон Кихот» Массне.

Я присутствовал в театре. Появление Шаляпина на сцене вызвало восторженные аплодисменты. Я заметил, что Шаляпин побледнел: оказалось, в эту минуту он увидел, что в будке нет суфлера, а спектакль шел по-французски.

И Шаляпин спел весь спектакль на французском языке без суфлера.

Он говорил мне после спектакля:

— Ты не можешь представить, какой ужас охватил меня, когда я увидел, что нет суфлера. Я сам удивляюсь, как я мог ничего не спутать и петь. В первый раз пришлось пережить такое испытание...

В Виши я написал с Шаляпина портрет.

* * *

Однажды ко мне в комнату забрался сверчок, да такой голосистый, что я не знал, как от него избавиться. Неизвестно было, где он стрекочет. Не давал спать. Я жаловался Шаляпину. Тот долго слушал сверчка и сказал:

— Вот, он тут, в углу, — Шаляпин показал на пол. — Давай воду.

Шаляпин взял графин и стал поливать пол. Но сверчок не унимался.

Тогда Шаляпин решил, что ошибся, взял с умывальника кувшин и стал поливать пол в другом месте. Сверчок как ни в чем не бывало продолжал петь.

— Что такое! — изумился Федор Иванович и поднял глаза к потолку. — Слышишь? Ведь он на потолке!

— Ну, брось, Федя, — сказал я.

— Нет, постой, я его найду...

Я ушел пить воды.

Когда я вернулся и вошел в комнату, то увидел, что Шаляпин мирно спит на моей постели, а сверчок сидит на его согнутом колене и стрекочет.

Я поймал сверчка в платок. Это был небольшой серый кузнечик. Шаляпин попросил, чтобы я отдал сверчка ему.

— Я его возьму к себе в Россию. Я люблю, когда кричит сверчок. Пущу его на печку или в баню. У нас нет таких голосистых.

Шаляпин взял коробку, наложил травы, сделал дырочки для воздуха и унес.

В России я его как-то спросил:

— А как же сверчок-то из Виши?

— Представь, я его в гостинице забыл. Какая досада!

Дом в деревне

В России Шаляпин купил лесное имение на речке Нерли.

Сначала просил меня, чтобы я уступил ему мой дом. Хотел жить, как я, в деревне. И я по просьбе Теляковского уже готов был согласиться, но оказалось, что дом мой мал.

Тогда я сделал для Шаляпина проект большого дома. Серов, взглянув на него, с улыбкой сказал:

— Строить хотите терем высокий?

— Да, — ответил я, — наверху крутой горы знаменитый жил боярин по прозванию Карачун.

Место, где строился дом Шаляпина по моему проекту, называлось Ратухино. Строил его архитектор Мазырин по прозвищу Анчутка. Шаляпин принимал горячее участие в постройке, и они с Мазыриным сочинили без меня конюшни, коровники, сенной сарай — огромные скучные строения, которые Серов назвал «слоновники». Потом прорубали лес, чтобы открыть вид.

Над рекой построили помост для рыбной ловли, огромную купальню. Походную палатку заказали вдвое больше, чем у меня, и в день открытия дачи позвали московских гостей-друзей.

Новый дом пахнул сосной.

Приятель Федора Ивановича, Петруша Кознов, здороваясь ласково с гостями, каждому на ухо говорил:

— Не пью.

За обедом были пельмени, но не удались. Федор Иванович огорчился и стукнул по столу кулаком. Вся посуда на большом столе подпрыгнула кверху и, брякнувшись обратно на стол, разбилась.

Шаляпин приказал выкатить бочки с пивом для собравшихся на праздник крестьян окрестных деревень. Пили водку, пиво, была колбаса, пироги, копченая тарань.

Федор Иванович стал говорить мужикам речь. Те кричали «ура!», но речь не слушали — было пьяным-пьяно.

Вдобавок набежали тучи, разразилась гроза, проливной дождь, и с потолка дачи в столовой протекла вода.

Архитектор Анчутка, не проложивший деревянную крышу толем, захватил чемодан и убежал от греха на станцию. Федор Иванович в сердцах послал за ним вдогонку верховых, но тот где-то спрятался.

Шаляпин так рассердился, что сказал мне и Серову:

— Едем в Москву.
— А как же гости-то?
— Едем!
И мы уехали в Москву.

* * *

С тех пор Шаляпин не приезжал в деревню более года.

Кстати, когда уехали из деревни его супруга и дети, дачу обокрали. Выкрали медную посуду, одеяла. И украл все сторож дачи.

— Вот видишь, — говорил мне Федор Иванович, — в этой же стране нельзя жить!..

На даче остались собаки, огромные водолазы, которых Шаляпин купил специально для того, чтобы никто не осмеливался ходить через его двор. Собаки, которых управляющий кормил кониной, за год одичали одни в лесу, и в лес по грибы показаться нельзя было...

* * *

Шла война. Федор Иванович устроил в своем московском доме лазарет. Жена и его дочери были сестрами милосердия. Доктором он взял Ивана Ивановича Красовского.

Шаляпин любил свой лазарет. Беседовал с ранеными солдатами и приказывал их кормить хорошо. Велел делать пельмени по-сибирски и часто ел с ними вместе, участь у них песням, которые они пели в деревне. И сам пел им деревенские песни. Когда пел:

Ах ты, Ванька, разудала голова,
На кого ты меня, Ванька, покидаешь,
На злого свекора... —

то я видел, как раненые солдаты плакали.

Октябрь

Государь отрекся. В управление страной вступило Временное правительство. Начались выборы в Учредительное собрание. Вся Россия волновалась. Везде были митинги, говорили без конца.

Шаляпин пришел ко мне взволнованный:

— Ерунда какая-то идет. Никто же ничего не делает. Теляковского уже нет. Почему, в сущности, он уволен? Управляющий — Собинов! Меня удивляет, зачем он пошел. Он артист. Управление театрами! Это не наше дело. Хора поет половина. В чем дело вообще? Я не понимаю. Революция. Это улучшение, а выходит, ухудшение. Молока нельзя достать. Почему я должен петь матросам, конным матросам? Разве где-нибудь есть конные матросы? Вообще, знаешь ли, обалдение.

— Ты же раньше жаловался, Федя, что «в этой стране жить нельзя», а теперь недоволен.

— То есть, позволь, но ведь это не то, что нужно.

— Вот-вот, каждый теперь говорит, что все не так, как бы он хотел. Как же всех удовлетворить?

Вспыхнуло Октябрьское восстание. Шаляпин был в Москве и приходил ко мне ночевать. Был растерян, говорил:

— Это грабеж, у меня все вино украли. Равенство, понимаешь ли! Я должен получать, как решил какой-то Всерабис, 50 рублей в день. Как же? Папиросы стоят две пачки 50 рублей. Никто не может получать больше другого. Да что они, с ума сошли, что ли, сукины дети? Этот Васька Белов пришел ко мне поздравлять с революцией. Я говорю: «Что ты делаешь?» — «Заборы, — говорит, — разбираю». — «Зачем?» — «Топить». — «Сколько ты получаешь?» — «Как придется, — говорит. — Я-то разбираю да продаю. Вот прошлый месяц 85 тысяч взял». Я к Луначарскому, а он мне: «Я постараюсь вам прибавить, вы только пойте на заводах, тогда будете получать паек». Да что они, одурели, что ли?

— А что же Горький-то, Алексей Максимыч? Ты бы с ним поговорил.

— Я и хочу ехать в Петербург. Там лучше. У Алексей Максимыча, говорят, в комнатах поросята бегают, гуси, куры. Здесь же жрать нечего. Собачину едят, да и то достать негде. Я вообще уеду за границу.

— Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не ходят.

— То есть как — не пустят? Я просто вот так пойду, пешком.

— Трудновато пешком-то... да и убьют.

— Ну пускай убивают, ведь так же жить нельзя!.. Это откуда у тебя баранки?

На столе у меня лежали сухие баранки.

— Вчера с юга приехал Ангарский. Я делал ему иллюстрации к русским поэтам, так вот дал мне кусок сала и баранки.

Шаляпин взял со стола баранку, отрезал сала и стал есть.

— А знаешь — сало хорошее, малороссийское.

В это время пришел доктор Иван Иванович. На шинели доктора были нашиты для застежек большие крючки. На застежках привешены были грязные мешки. В одном — картошка, в другом — мука, морковь. А мясо — ребра конины — висело тоже на крючке — грязное, завернутое в рваную тряпку.

— Откуда ты? — спросил Шаляпин.

— Да вот, в Лихоборах был, под Москвой. Достал кое-что, а то есть нечего. В кармане масло растаяло.

Иван Иванович стал бережно вынимать пальцами из кармана кусочки масла и раскладывать по бумаге.

— Все потихоньку покупаешь, торопишься. Боятся продавать, запрещено, убьют. В овраге, в кустах дали, на виду нельзя.

— Это что же такое? — сказал Шаляпин, смотря вопросительно на меня и Ивана Ивановича.

— Что же, Федор Иванович, ведь вы же радовались.

— Да ведь радовался! Это же все не то. А сколько же ты заплатил за это?

— Что заплатил? Пальто женино отдал да платье шерстяное. Что заплатил? Мужики уже не берут денег. За полпуда муки да две щепотки соли золотой браслет женин отдал третьего дня.

На другой день Шаляпин уехал в Петербург.

Вскоре я получил от него письмо. Он звал меня в Петербург и прислал мандат на проезд, подписанный Зиновьевым.

Но в Петербург я не поехал, а, спасаясь от голода, прожил зиму в Тверской губернии, где был хлеб.

В это время объявили нэп, то есть новую экономическую политику, и я вновь переехал в Москву.

Сразу открылись магазины и торговля. На рынке появилось все.

Шаляпин тоже был в Москве. У него жил актер Мамонт Дальский.

Однажды утром Дальский явился ко мне на квартиру. На пороге крикнул:

— Вот он!

С ним ввалилась целая толпа вооруженных людей в шляпах, в пиджаках, опоясанных португезами, на которых висели сабли разных видов, с винтовками в руках.

Перед этой невероятной толпой Мамонт Дальский, встав на одно колено, с пафосом кричал:

— Вот он! Мы приехали к нему. Он наш. Если он хочет пить шампанское, то мы разрешаем ему пить шампанское. Мы анархисты. Мы не запрещаем личной жизни человека. Он свободен, но мы его арестуем сегодня... Вы должны ехать с нами к одному миллионеру, который устроил в своем доме музей. Желает укрыться. Мы просим вас поехать и осмотреть картины — имеют ли они какую-нибудь художественную ценность или нет.

Меня окружили анархисты. Повели по лестнице вниз, усадили в автомобиль. Дальский сел со мной, его странные спутники — в другие машины.

Меня привезли на Москва-реку, в дом Харитоненко.

Картины были развешаны во втором этаже особняка.

Дальский спросил:

— Ну что?

— Это картины французской школы барбизонцев, — ответил я. — Это Коро, это Добиньи.

Один из анархистов, по фамилии Ге, кажется, тоже артист, подошел вплотную к картинам, прочитал подпись и сказал:

— Верно.

В это время внизу на дворе раздались крики, звон разбиваемых бутылок. Анархисты разбивали погреб и пили вино.

Вдруг со стороны набережной раздался треск пулеметов. Дальский бросился на террасу сада и бежал. За ним — все другие. Я остался один.

На улице некоторое время слышался топот бегущих людей. Потом все смолкло.

Я вышел — вокруг уже не было ни души.

Дома я застал Шаляпина. Он весело хохотал, когда я ему рассказывал о происшествии.

— Я не знал, что выйдет такая история. Ведь это я сказал Дальскому, что ты можешь определить ценность картин.

Мне показалось, что я живу в каком-то огромном сумасшедшем доме.

Отъезд

Вскоре меня вызвал Луначарский:

— Вы устали от революции, я понимаю. Вам следует уехать за границу. Конечно, мы не можем предоставить вам для этого средства.

— Но у меня ничего нет, — ответил я. — Деньги сейчас ничего не стоят. Да у меня их и взяли. А что было из ценных вещей, того мало...

Он пожал плечами.

Через некоторое время я получил через контору государственных театров паспорт, но решил все же оставаться в России. Мне трудно было расстаться с моим деревенским домом и садом, хотя многое в нем уже было разграблено.

Федор Иванович все время пребывал в полном недоумении. Часто ездил в Кремль, к Каменеву, Луначарскому, Демьяну Бедному. И, приходя ко мне, всегда начинал речь словами:

— В чем же дело? Я же им говорю: я имею право любить мой дом. В нем же моя семья. А мне говорят: теперь нет собственности — дом ваш принадлежит государству. Да и вы сами тоже. В чем же дело? Значит, я сам себе не принадлежу. Представь, я теперь, когда ем, думаю, что кормлю какого-то постороннего человека. Это что же такое? Что же, они с ума сошли, что ли? Горького спрашиваю, а тот мне говорит: «Погоди, погоди, народ тебе все вернет». Какой народ? Крестьяне, полотеры, дворники, извозчики? Какой народ? Кто? Непонятно. Но ведь и я народ.

— Едва ли, — сказал я, — ты помнишь, Горький как-то говорил у меня вечером: кто носит крахмальные воротники и галстуки — не люди. И ты соглашался.

— Ну, это так, несерьезно...

Он помолчал и заговорил вновь:

— Пришли ко мне какие-то неизвестные люди и заняли половину дома. Пол сломали, чтобы топить печку. В чем же дело?.. Если мне не нужны эти портки, — показал он на свои панталоны, — то что же будут делать портные? Если я буду жить в пещере и буду прикрывать себя травой, то что будут делать рабочие? Трезвинский говорит в Всерабисе: «Дайте-ка мне две тысячи рублей в вечер, как получает Шаляпин, я буду петь лучше его». Вино у меня из подвала украли, выпили и в трактир соседний продали...

— Посмотри, пожалуйста, — Шаляпин показал в окно, — пустые бочки везут в одну сторону, а другие ломовые везут такие же бочки в другую сторону. Смотри: глобус, парты школьные — это школа переезжает. Вообще все переезжают с одного места на другое. Точно кто-то издевается. Луначарский говорит, что весь город будет покрыт садами. Лекции по воспитанию детей и их гигиены будут читать... А в городе бутылки молока достать нельзя... Вообще каждый день говорит речи, все обещает, а ему кто-то крикнул: «Товарищ Луначарский, вы хоша бы трамвай пустили...» По-едем, послушай, на Дмитровку, Маяковский мне сказал, там А. какая-то, у нее на квартире ресторан. Там все есть. У ней чекисты едят.

Действительно, столы в зале у А. были накрыты белыми скатертями; великолепный фарфор, изысканный завтрак; коньяк и вина. За столами сидели люди в галифэ и тужурках, ранее никогда не виданные. Хозяйка, красивая женщина, села с нами и сама стала потчевать Шаляпина.

Выходя, Шаляпин сказал:

— Как это странно. Рестораны закрыты, а ей разрешается.

По улице шли люди, неряшливо одетые, мрачные, растерянные. У некоторых были мешки за плечами. Шли, пытливо оглядывая встречных, как бы желая что-то узнать. В глазах — какой-то испуг и недоумение. Солдаты шли мрачные и уже не лущили подсолнухов. Вывески магазинов были сорваны. Москва имела вид разгромленный. Ни одного знакомого лица. Большие дома были все с разбитыми стеклами, булочные — пусты.

Какая-то интеллигентная женщина, с бледным лицом, с ребенком на руках, умоляюще просила, держа в руках баранку из черного хлеба:

— Купите бубличек...

И все оглядывалась кругом, боясь полицейского.

На углу дома большой плакат-воззвание: «Жертвуйте на больных туберкулезом детей».

На площади — толпа солдат. Один из них держал речь:

— Когда мы с вами братались, то хорим: «Мы свою Миколая убрали, когда же вы, хорим, свою Вильгельма уберете?» А они нам хорят: «Как так, — хорят, — его убе-решь, он нам всем головы поотвертает».

— Здорово! — сказал Шаляпин и рассмеялся.

На стенах висели печатные плакаты, большие портреты Троцкого, Карла Маркса, Ленина. У Театральной площади валялся распухший труп лошади. Охотный ряд был пуст.

Вернувшись ко мне на Мясницкую, мы увидели, что вход с улицы забит досками. Ко мне подошел в военной фуражке комендант дома Ильин. Шинель его была опоясана ремнем, на котором висел большой наган. Он посмотрел на нас серыми пьяными глазами и сказал осипшим голосом:

— Всё, всё к чертовой матери! К матери, к матери, к матери!.. Вот, товарищ Коровин, пришлось дверь забить, со двора ход. Ей-ей, воры, все воры, ей-ей! Дома денег держать нельзя. Куда деться? Веришь ли, прячу под камень, а то — в помойку... У жены шубу украли, а сегодня самовар. Куда деться? В воротах конвой поставлен. Нет — ушли, сволочи, с девками в дровах прячутся...

Когда мы пришли к себе, то увидели, что пол покрыт водой.

Вошедший следом за нами Ильин сказал:

— Видите — что делают, сволочи! Кран не закрыли, трубы полопались, вода-то и прет. Инженера расстреляли, а Дьячков, сволочь, — куда ему! Он инженеру гаечки подавал. «А я, — говорит, — я — все!» Вот и возьми его! Морду пойдешь набью.

— А вы кто будете? — спросил он Шаляпина.

— Это Шаляпин, певец, — ответил я.

— Шаляпин? Ишь ты! Ах, товарищ Коровин, ежели бы сейчас свисток на фабрике у Эйнема. Все бы бросил — ушел. Я ведь бисквиты заваривал. Вот он меня любил, Эйнем-то. В праздник сто целковых золотом. Первый мастер я был. Ну-ка, где теперь бисквиты. Собачину ем. Хочешь, я вам самогону принесу? Давай деньги. Достану.

— Доставай, — сказал Шаляпин.

— Смотри только не скажи, а то к стенке поставят.

— В чем же дело? — по привычке спросил Шаляпин. — Что за чепуха идет?..

— А ты не пей, Федя, самогону, — сказал я, — ослепнуть можно.

— Почему же он пьет и не слепнет?

Ильин вернулся. В руках он держал большую миску с зернистой икрой, а из-за пазухи вынул бутылку с самогоном.

Шаляпин выпил и сказал:

— Это настоящий самогон. Не денатурат.

И жадно стал есть ложкой зернистую икру из миски.

Шаляпин ночевал у меня. Постель его была почти рядом с моей. Нас разделял ночной столик, на котором стояла лампа. Было темно. Я проснулся ночью от крика:

— Они! Они! А-ах! Они!

И почувствовал, что по ногам моим кто-то бьет кулаками. В темноте я ничего не мог разобрать и стал шарить под подушкой револьвер. Он все не попадался под руку. Тогда, защищаясь, я стал отмахиваться кулаками и наконец по ком-то попал.

— А-ах! — крикнул около меня Шаляпин.

Я нащупал лампу и повернул выключатель. В комнате никого не было.

Шаляпин стоял около моей постели и, задыхаясь, говорил:

— О-ох! Что такое? Рабочие напали... и впереди он с палкой. Это тот, которого я убил на Кавказе.

— Что с тобой, Федя? — спросил я. — Я думал, что на нас напали. Хорошо, что я не нашел револьвера...

Я уже не тушил электричества и перешел спать на диван в другую комнату.

Утром я еле ходил, так болели у меня ноги. А у Шаляпина затек один глаз. Это я, защищаясь, нечаянно задел его.

На другой день ночью повторилось то же самое. Шаляпин буйствовал во сне и кричал:

— Они! Они! Бей их!

В этом кошмарном видении, защищаясь от мнимых врагов, Шаляпин расшиб себе руку.

Я не пострадал, так как на этот раз предусмотрительно лег в другой комнате.

Однажды утром к моему дому на Мясницкой подъехал грузовик. В нем были солдаты. Молодой человек в военной форме позвонил, спросил Шаляпина. Оба о чем-то долго говорили.

Шаляпин пошел одеваться и сказал мне:

— Едем!

— Куда? — спросил я.

— В банк на Никольскую.

На Никольской Шаляпин, молодой человек и я вошли в банк.

Вскоре молодой человек крикнул солдатам:

— Сюда!

И солдаты стали выносить на грузовик небольшие, но тяжелые ящики, держа их четвером.

Погрузка длилась довольно долго. Мне надоело ждать Шаляпина, и я ушел...

Он не пришел в тот день ко мне. А через день я узнал, что он уехал в Петербург, и я долго ничего о нем не слышал.

А через некоторое время жена его, навестив меня, сказала, что он уехал на немецком пароходе из Петербурга за границу...

* * *

Каждую ночь ко мне приходили с обыском какие-то люди. Одни говорили, что они печатники, другие — от Всерабиса. Увидав как-то на комоду у меня бронзовые часы «Ампир», деловито унесли в другую комнату. А заодно — и бронзовые фигуры буддийских богов. Художник Горбатов что-то записывал и авторитетно разъяснял мне, что это музейные ценности и что они принадлежат народу.

* * *

Однажды архитектор Василий Сергеевич Кузнецов, засидевшись поздно у меня и боясь возвращаться домой, — на улицах грабили, — остался ночевать.

Ночью, в четыре часа, раздался звонок. Кузнецов, одетый в егерскую фуфайку и кальсоны, отворил дверь.

Ввалилась толпа матросов с винтовками. Один из них спросил:

— Золото у вас есть, товарищ?

— Золото, — рассмеялся Кузнецов, — есть... в нужнике.

Я тоже вышел к матросам. Один из них сказал:

— У вас, говорят, товарищ Коровин, Шаляпин был. Мы его петь к нам хотели позвать... Вот видать, что вы нас не боитесь. А то куда ни придем, все с катушек падают, особливо барыни.

— Бзура, — обратился он к другому матросу, — съезди, подбодри-ка белужки с хренком, да балычка захвати, да смирновки не забудь. Угостим товарища Коровина.

Он пристально посмотрел на Кузнецова и, обернувшись ко мне, сказал:

— Да ты врешь... Ведь это Шаляпин...

Кузнецов, который был огромного роста, от души смеялся.

Матросы нашли стаканы, налили водки и пили.

— Вот это, товарищи, это народ. Артисты потому.

Потом пустились в пляс, припевая:

Чики, чики,
Щикатурчики...

Вдруг — переполох.

— Едем! — вскричал вбежавший матрос. — Едем скорей, Петровский дворец грабят.

— Ах, сволочи! Прощай...

На ходу один приостановился перед Кузнецовым и погрозил кулаком:

— А врешь, ты — Шаляпин! Погоди, попадешься на узкой дорожке. Царю пел, а матросам не хочешь!..

И побежал вслед за остальными.

Месяца через два после отъезда Шаляпина ко мне пришел какой-то красивый человек с наганом за поясом и, затворив двери, тихо сказал:

— Я вас знаю, а вы меня не знаете. И не надо. Поезжайте за границу, и скорей. А то не выпустят. Послезавтра выезжайте. Я вас в вагоне увижу.

Я поехал к Малиновской, которая управляла государственными театрами. Она мне сказала:

— Поезжайте. Вам давно советовал Луначарский уехать.

На Виндавском вокзале меня, сына и жену посадили в вагон с иностранцами.

Проехав несколько станций, я увидел того человека, который у меня был утром. Он не показал вида, что меня знает.

Наступила ночь. Мой неизвестный благодетель подошел ко мне и, наклонившись, тихо сказал:

— Какие у вас бумаги?

Я отдал ему бумаги, которые у меня были.

— Не выходите никуда из вагона.

Недалеко от границы он позвал кондуктора, и тот взял наши чемоданы.

Поезд шел медленно, и я заснул.

Когда я проснулся, чемоданы были снова на месте. Поезд подходил к Риге.

Я вышел на вокзал. Было раннее утро. Ноябрь. Я был в валенках.

Носильщик проводил нас пешком до гостиницы.

Своего благодетеля я больше никогда не видал.

А бумаги, взятые им у меня, нашел в Берлине, разбирая чемодан, под вещами, на дне.

Первая встреча в Париже

Мой сын простудился и заболел сильным плевритом.

Я писал небольшие эскизы для балета и театральных постановок. Их у меня быстро приобретали.

Как-то утром я получил письмо от Шаляпина следующего содержания:

«Костя! дорогой Костя!

Как ты меня обрадовал, мой дорогой друг, твоим письмишком. Тоже, братик, скитаюсь. Одинок ведь, даже в 35-тиэтажном Американском Hôtel'e, набитом телами, — одинок.

Как бы хотел тебя повидать, подурачиться, спеть тебе что-нибудь отвратительное и отвратительным голосом (в интонации). Знаю и вижу, как бы это тебя раздражило, а я бы хохотал и радовался. Идиот! — ведь я бываю иногда несносный идиот — не правда ли?

Оно, конечно, хорошо — есть и фунты, и доллары, и франки, а нет моей дорогой России и моих несравненных друзей. Эх-ма! — Сейчас опять еду на «золотые прииски», в Америку, а... толку-то!

А ты? что же ты сидишь в Германии? Нужно ехать в Париж! Нью-Йорк! Лондон! Эй, встряхнись! Целую тебя, друже, и люблю, как всегда.

Твой Федор Шаляпин».

Я не мог поехать в Париж, так как сын был сильно болен.

Приехав в Гейдельберг, остановился в гостинице в лесу, неподалеку от Брокена. А вечером, идя по коридору гостиницы, увидел перед собой Горького.

Он тотчас же попросил меня зайти к нему.

— Вот — пишу здесь воспоминания, — сказал он, — хотел бы их вам прочитать.

Я пришел вечером к Горькому. С ним был сын его Максим, жена сына и его секретарь. Горький читал свой рассказ «Мыловар», потом «Человек с пауком» и еще «Отшельник».

Горький был в халате, с тубетейкой на голове.

— А где Федор? — спросил он.

— В Париже. Я получил от него письмо.

Когда я выходил гулять с сыном по лесу, к нам присоединился Горький. Но нам не давали остаться наедине: тотчас же как из-под земли появлялись жена Максима и секретарь Горького.

Осенью доктора посоветовали мне увезти сына на юг Франции или Италии. И я, приехав в Париж, увидел Федора Ивановича. У него был свой дом на авеню д'Эйло.

Шаляпин был мрачно настроен. Показывал мне гобелены, которые вывез из России, несколько моих картин, старинное елизаветинское серебро. Он собирался ехать в Америку, в которой ранее провел уже почти год.

Я рассказал ему, что встретил Горького в Гейдельберге. Шаляпин, помолчав, сказал:

— Странно, отчего же он уехал из советского рая?

И, рассмеявшись, запел:

Россия ты, Россия,
Советска сторона...
Э-эх..
Жена моя Маланья
Глядит туда-сюда,
Связалась с комиссаром,
Детей мне родила...
Э-эх...

Шаляпин угощал меня дорогим вином. Он был нервен, легко раздражался.

— Понимаешь ли, русские говорят, будто я тоже участвовал в революции. Какая же это революция? Я же певец. Мне все равно, кто меня слушает. Плати. В Америке мне платят, здесь тоже. В чем дело? И пусть знают, что им не придется проливать надо мною лицемерных слез... Они любят рассказывать, что такой-то художник, или такой-то великий артист, или писатель умер с голоду под забором. Я не доставлю им этого удовольствия. Я умру миллионером. Я уже миллионер. Они меня не вставят в иконостас своим святым. Нет. Погодят. И петь в пользу разных там обществ я не буду. Революция! Какая же это революция? Это бунт рабов. А Горький — дурак. И ты дурак! Какие на тебе штаны? Не можешь сделаться богатым — пропадай. Серов пропал. Врубель — пропал. А я — погоди!.. Я попою еще лет десять... В Скандинавии озеро куплю и рыбу буду ловить. А вы вот половите ли?.. Посмотрю... Христиане! Непротивленцы! Надо быть сопротивленцем.

— Федя, — сказал я, — что это ты так осмелел? А то ты ведь не очень...

— Что ты мне говоришь! Я Дзержинскому говорил: «Вы не смеете меня не отпустить!»

Федор Иванович разошелся.

Настроение было тяжелое. Я никогда не видал Шаляпина и в России в столь мрачном настроении.

Что-то непонятное было в его душе. Это так не сочеталось с обстановкой, роскошью, которой он был окружен. Сидевшие ранее за столом его дети все молча ушли.

— Да, подождут! Я еще покажу... Ты знаешь женщин? Женщин же нельзя любить! Детей я люблю...

И Шаляпин, вдруг наклонив голову и закрыв лицо руками, заплакал.

— Как я люблю детей!..

— Иди, Федя, спать. Пора, поздно. Я иду домой.

— Оставайся у меня ночевать, куда тебе идти?..

— Мне утром надо по делу...

Странное впечатление произвел на меня Шаляпин за границей. В нем не осталось и следа бывшего веселья.

Дегустатор

Болезнь моего сына заставила меня уехать на юг. Я почти год жил на берегу моря — в Вильфранш.

По приезде моем в Париж Шаляпин приехал ко мне на рю де Риволи и позвал меня к себе обедать.

За обедом, когда все ушли, вынул из кармана ключик, куда-то вышел и вернулся с пыльными бутылками старого вина.

— Вот, видишь ли, вино. Хорошее вино. Мы сейчас выпьем. Я покупаю эти бутылки в разных местах. Эта вот — четыреста пятьдесят франков, а эта — двести пятьдесят, а эта — триста. Посмотри, какая история.

Он приказал слуге позвать кого-то. Через мгновение в комнату вошел небольшого роста француз, плотный, с черными усами. Бутылки откупорили. Шаляпин налил ему из одной бутылки немного вина в стакан. Тот взял, пригубил вино и сказал:

— Бордо 1902 года, «Шато Лароз».

Шаляпин вынул из кармана бумагу и посмотрел на нее под столом.

— Верно.

То же повторилось и с другими винами. Шаляпин удивлялся. И, налив мне и себе по три стакана вина из разных бутылок, сказал:

— Пей.

Когда я выпил одно, другое, то он спросил:

— Какое лучше?

Все вина были прекрасны.

— Как будто это лучше всех, — сказал я, показав на бутылку.

— Вот и неверно. Это самое дешевое. Постой, я сам, кажется, спутал.

Он опять налил вина француз-дегустатору, и тот определил цену каждой бутылки.

— Это черт знает что такое! — кипятился Шаляпин. — В чем дело, не могу понять! Я ведь тихонько покупаю в разных местах. Как же он узнаёт? Смотри по списку — ведь верно! Понимаешь, я до этого дойти не могу...

Когда мы, закусывая сыром, кончили вино, Шаляпин повеселел.

— Послушай, еще не поздно, — сказал он, — пойдем куда-нибудь.

Мы захватили с собой дегустатора и поехали.

Дегустатор привез нас в небольшой ресторан и что-то сказал хозяину.

Подали старый шартрез. Бутылку откупили, точно священнодействуя. Пристывали и хозяин, и гарсоны, супруга хозяина и дочь.

Первому налили Шаляпину. Попробовав, он посидел некоторое время с открытым ртом и сказал:

— Да, это шартрез.

Видно было, что он желал показать себя знатоком, богатым человеком. Шартрез стоил дорого.

— Федя, — сказала я, — ты, должно быть, очень богат. Прежде ты не тратил деньги.

— А ты знаешь, я действительно богат. Я, в сущности, хорошо не знаю, сколько у меня всего. Но много. Ты знаешь ли, если продать картины из моего дома, дадут огромную цену...

Странный концерт

Разговорившись, Шаляпин поведал мне о своем блистательном турне по Америке, где заработал большие деньги.

Мне запомнился его рассказ о южноамериканских нравах.

— Мне предложили петь у какого-то короля цирков на званом обеде. Я согласился и спросил десять тысяч долларов. Меня привезли на яхте к пустынному берегу. Была страшная жара. На берегу, недалеко от моря, дом каменный стоял с белой крышей — скучный дом, вроде фабрики. Кругом дома росли ровные пальмы. Какие-то неестественные, ярко-зеленые. Меня встретили на пароходе четверо слуг и два негра, которые несли мои вещи. Дом был пустой. Мне отвели комнату в верхнем этаже. Я умылся с дороги, принял ванну. Пил какой-то мусс. Вышел на балкон и достал рукой ветку пальмы. Представь себе — она была сделана из железа и выкрашена зеленой краской. Через час подошел пароход с хозяином и гостями. Обед был сервирован в нижнем огромном зале. Суетилась приехавшая на пароходе прислуга; с пароходом доставили весь обед. Я смотрел с балкона на всю эту суету. Меня ни с кем не познакомили. Через несколько мгновений ко мне пришел человек во фраке, вроде негра, и сказал: «Пожалуйста петь». Я пошел за ним. В зале меня уже ждал великолепный пианист. Он знал мой репертуар. Я встал около рояля. Люди в зале обедали, громко беседуя и не обращая на меня внимания. Пианист мне сказал: «Начинаем». В эту минуту ко мне подошел какой-то человек. В руках у него был поднос, на котором лежали доллары. Я их взял. Он просил сосчитать деньги и расписаться в получении. Я положил деньги в карман, пианист снова сказал: «Начинаем». И я стал петь. Никаких аплодисментов. Когда я спел почти весь репертуар, намеченный мной, гости встали из-за стола, вышли из зала и отправились на пароход. Так я и не видел того, кто меня пригласил. И никто со мною не простился. Даже пианист не зашел ко мне в комнату и не пожал мне руку на прощанье. Он уехал с ними. Негры собрали мои вещи, взяли чемоданы и проводили до яхты. Я один возвращался обратно. Как это не похоже на Россию... Удивительный народ! Пригласил меня какой-то богач на охоту. У него огромные земли и заповедники, где содержатся звери. «Вы можете убить носорога», — написано было в приглашении. «Ну, — подумал я, — с носорогом лучше не связываться. И не поехал. И представь, мне пришлось встретиться в одном американском доме именно с владельцем этих

заповедников. Очень милый человек. Худой, невзрачный, но богатый. Я напомнил ему о его приглашении на охоту. Он очень смутился и сказал мне: «Я сам не охотник и никогда там не бывал. Меня представляет там один из моих друзей. Мне только представляют список известных людей, и я отправляю приглашения. Вероятно, вас считали любителем охоты. Носорог, говорите вы?.. Да разве они есть, носороги, а я и не знал...» Как тебе это нравится?..

Телеграмма

В 1932 году исполнилось пятидесятилетие моей художественной деятельности. Русская колония пожелала отметить мой юбилей концертом. Образовался комитет. И в зале Гаво был дан концерт.

Во время концерта меня вывели на сцену как юбиляра. А.Н. Бенуа читал мне адрес. В это время подошел ко мне А.В. Жуковский и сказал мне на ухо: «Шаляпин прислал телеграмму. Но телеграмма неприличная. Я не знаю, можно ли ее прочесть». Я не знал, что ответить. Подумал: «Что же это он написал?» Телеграмма была следующего содержания:

«SIJOU SEITCHAS DOUCHOY S TOBOIU RIADOM NO TROUDNO SEST DOUCHOY A VSIO J SIJOU NE ZADOM NO VDALEKE V PROVINZII V TOULOUZE BEZ DROUGA TCHOUVSTVOUIOU SEBIA KAK CHAR BILLARRDNY V LOUZE SPASENIE LICH ODNO ZA ZDRAVIE TVOIE TCHETVIORTOUIOU BOUTYL BORDOSKAGO VINA OIJ POMESTCHAIU V POUZE LOUBLIU TEBIA TZELOUIU JELAIU ZDOROVIA CHALIAPINE»¹.

Когда Шаляпин узнал, что не прочли его телеграмму, он ужасно рассердился и сказал:

— Ничего не понимают. Это обидно.

«Русалка»

В театре Елисейских Полей готовили «Русалку» Даргомыжского. На репетиции Шаляпин был раздражен, постоянно делал замечания дирижеру.

Подошел день спектакля. На сцене я увидел большую перемену в Шаляпине. В его исполнении была какая-то настойчивость, как бы приказание себя слушать и нескрываемое неудовольствие окружением. Он пел, подчеркивая свое великое мастерство. Это нервировало слушателя. Он как бы подчеркивал свое значение публике. И в игре его не было меры: он плакал в сцене «Какой я мельник, я ворон».

Как-то придя к нему утром, я увидел, что он греет над свечкой какую-то жидкость в пробирке:

— Вот видишь — мутная. Это сахар.

¹ Текст читается так:

«Сижу сейчас душой с тобою рядом, но трудно сесть душой, а все ж сижу не задом. Но вдалеке, в провинции, в Тулузе, без друга чувствую себя как шар бильярдный в лузе. Спасенье лишь одно: за здоровье твое четвертую бутылку бордоского вина уж помещаю в пузе. Люблю тебя, целую, желаю здоровья. Шаляпин».

Ноги у него были худые, глаза углубились, лицо покрыто морщинами. Он казался стариком. Внутри морщин была краснота.

Исполняя часто партии Грозного, Галицкого, Бориса Годунова и переживая волнения и страсти своих героев, Шаляпин в последние годы жизни и сам стал походить на них. Был гневен, как Грозный, разгулен, как Галицкий, и трагичен, как Борис.

Впрочем, с встречными людьми он никогда не был прост — всегда играл. Никогда я не видел его со знакомыми таким, каким он был, когда приезжал ко мне в деревню.

Вспышка гнева

Когда наступила старость и болезнь и когда стал потухать огонь небесного вдохновения, Шаляпин забеспокоился и стал еще более раздражителен, чем прежде.

Он много работал и пел все с большим мастерством, стараясь заменить недостаток голоса совершенством исполнения.

Но уже не было того изумительного тембра, которым он поражал всех.

Знавшим его ранее тяжело было на него смотреть.

Как-то после спектакля у Шаляпина был ужин. Приехало много гостей, русских артистов и иностранцев. Много дам. В прекрасной столовой блестели люстры и наряды дам. Шаляпин сидел посередине. Был молчалив и хмур.

Один из молодых людей, сидевший поодаль в элегантном фраке около дам-иностранок, спросил его:

— А как вы думаете, Мусоргский был гений?

— Да, — ответил Шаляпин, — Мусоргский большой человек. Гений?.. Может быть, и гений.

— А почему, — перебил его молодой человек, — в корчме Варлаам поет «Едет он»? Эта песня целиком заимствована у народа.

Шаляпин пристально посмотрел на молодого человека и ничего не ответил.

— А скажите, Федор Иванович, — опять спросил молодой человек, — Кузевицкий гений?

Шаляпин долго смотрел на молодого человека во фраке и вдруг взревел:

— Да ты кто такой?

Все мгновенно стихли. Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей — гнев захлестнул его:

— Откуда он взялся? Да ты с кем разговариваешь? Кто ты такой? Что со мной делают!..

Молодой человек испуганно вскочил из-за стола. Дамы бросились к выходу.

— Что такое? — бушевал Шаляпин. — Кто эти люди?

К нему подошли другие гости, стали его уговаривать.

— Что вы мне говорите? — грохотал Шаляпин. — Кто этот мальчишка? «Мусоргский заимствует». Это же жить нельзя. Куда уйти от этих людей?

Я попытался успокоить его:

— Что же ты на всякую ерунду раздражаешься?

— Не могу! Меня это бесит. Он же с Шаляпиным говорит, стерва!.. Боже, как я несчастен.

Шаляпин сел и закрыл лицо руками.

— Конечно, не стоило ему отвечать, но я не могу. Я не хочу этого. Себя показывают! Ничего не понимают, ничего не чувствуют. Стрелять, жечь, топить всю эту сволочь... Шаляпин был бледен и весь трясся от волнения.

* * *

Наутро он позвал меня к себе.

— Как это глупо я вчера озлился. Мне худо. Я себя чувствую отвратительно. «На всякое чиханье не наздравствуешься». И за что они меня мучают!.. И откуда они понабрались?

— Как — откуда, Федя? Что ты!

— Гости!.. Откуда взялись они?..

Антиквар

— Ты помнишь, я говорил тебе, что Мазини, когда перестал петь, сделался антикваром, — сказал мне как-то раз, когда я был у него, Шаляпин. — Я еще не бросаю петь, но хожу по антикварам. Поедем с тобой посмотрим мебель. Дорога! Вот я купил столик — триста тысяч. Понимаешь? Небольшой столик!

Шаляпин повез меня на рю де ля Пэ, около пляс Вандом, в магазин старой мебели в несколько этажей.

Там были прекрасные вещи. Шаляпин спрашивал цены комодам, столам, секретерам. Цены были большие. Один стол стоил восемьсот тысяч. Шаляпин предложил шестьсот. Не отдали.

Шаляпин рассердился, и мы поехали в другой магазин. Там он увидел стол, похожий на приглянувшийся ему в первом магазине. С него спросили двадцать тысяч. Он удивился. Осмотрел стол снизу и кругом. И спросил меня:

— В чем же дело?

— Это имитация, Федя.

— Постой, как имитация? Ты видишь здесь дырочки. Это черви съели дерево.

— Вот это-то и есть имитация.

— А вот тот секретер?

— Тоже имитация.

— А этот комод?

— Настоящий.

— Почему ты знаешь?

— Да ведь видно.

— Что за черт! Постой...

Шаляпин позвал заведующего.

Тот сказал:

— Да, это старая имитация, но хорошая, а комод настоящий.

— Пойдем, — сказал Шаляпин. — Я, брат, покупаю и старое вино, коньяк. Только, понимаешь ли ты, у меня сахар — диабет. Понимаешь ли, вино пить нельзя. Я люблю хорошее вино. Зайдем-ка в кафе, выпьем виски.

— Виски — вредно. Помнишь доктора Лазарева, он говорил, что с диабетом жить можно долго, необходимо только воздержание.

— Но я же не обжора...

— Как — не обжора? Ты же съел два фунта икры салфеточной при мне сразу.

— Кстати: тут есть салфеточная икра. Поедем к Прюнье.

У Прюнье Шаляпин попробовал икру:

— Хороша.

И приказал завернуть изрядное количество.

— В чем дело? Виски пить нельзя, икры нельзя, водки нельзя. Вот эскарго, ты ешь эскарго?

— Эскарго-то эскарго, а помнишь, раки в речке Нерли какие были!

— Да, замечательные. А как это рыбка-то? Ельцы копченые. Помню. Я раз целую корзину у тебя съел... Как у тебя там было весело. Такой жизни не будет уже никогда. Все эти гофмейстеры, охотники, доктор Лазарев, Василий Княжев, Белов, Герасим, Кузнецов, Анчутка, шутки, озорство — неповторимо. Это было счастье русской жизни. Нигде не найти мельника Никона Осиповича. Нигде нет этой простой доброты... Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал, они не составляли сути жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпрашивать у жизни деньги. Я знаю, что с деньгами я буду свободен и не унижен. Ты вспомни, этот Василий Княжев или Герасим — какая чистота души! Ведь там совестились говорить о деньгах... А этот лес, Новенькая мельница, водяной. Какая красота! А хижину рыбака в одно окно, убогую, у елового леса, помнишь? А рыбака Константина, который лечил твоему приятелю флюс, привязывая к щеке живого котенка? А эта монашенка, которая бегала по лесу и которой мы все боялись?..

— А разбойнички, которых не было, помнишь?.. А как ты с револьвером ездил? А воробьиною ночью, когда не было видно своей руки? Когда заблудились и нельзя было идти, и эхо, когда ты пел, и кругом, в разных местах повторялось твое пение близко и далеко?

— Да, — сказал Шаляпин задумчиво, — это было действительно замечательно. Какая-то особенная симфония.

— А как голос-то снизу крикнул: «Что ты, леший, орешь?» Это уж было не эхо, помнишь?

— Помню. Там был бугор — и внизу ехали рыбаки.

— А как обиделся Павел Александрович?

— Павел! Ведь нигде нет такого: умер ведь он. Ведь это ты объяснил и Павла, и Герасима, и Кузнецова, а ведь я их не понимал и даже сначала немножко сторонился. А оказывается, это были презабавные и прекрасные люди.

— Все уж умерли, — сказал я. — Правда, больше такой жизни уж не будет. Вот оттого я и пишу страницы этой нашей жизни.

— Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь. Черт тебя знает, кто ты такой. Откуда это взялось? Отчего ты про меня не пишешь?

— Ты же обидишься. Ты же стал Ваше Высочество. А я пишу простые, смешные вещи.

Шаляпин вдруг задумался:

— А ведь правда, Россия была хороша. Теперь это кошмар, страшный и долгий. И я в нем, к сожалению, участвовал. Ошибался. Но я не упорствую в своей глупости...

Домье

Через несколько дней я встретил Шаляпина на Шан-з-Элизе. Он опять направился к антиквару.

— Пойдем со мной, пожалуйста, — предложил он мне.

Я согласился.

На улице Боэси мы остановились у антикварного магазина, и я сказал:

— Федор, вот здесь выставка большого художника Домье. Ты знаешь Домье?

— Нет, не знаю.

— Это великий француз. С чисто французским юмором он писал адвокатов, суд. Здесь есть небольшая картина, изображающая адвоката, который разрывается, доказывая невиновность своего подсудимого, а секретарь, разбирая бумаги, остановился и смотрит на него. Но как смотрит! Этого нельзя рассказать. Надо видеть. До чего смешно! Это какой-то Мольер в живописи.

— Зайдем посмотрим, — сказал Шаляпин.

Мы зашли в магазин.

Хозяин, почтенный человек, вежливо сказал нам, что вчера выставку закрыли. Я попросил его, если можно, показать картину Домье, рассказав приблизительно ее содержание. Он любезно согласился, отпер шкаф в другой комнате, достал бронзовый ящик и, бережно вынув из него картину, поставил ее перед нами на мольберт.

Шаляпин долго смотрел на картину и, обернувшись ко мне, сказал:

— Это действительно смешно. В чем дело? Смешно. И зло смешно.

Он спросил у хозяина:

— Она продается?

— Да, мосье. Это редкий Домье.

— Я хочу приобрести. Что она стоит?

— Миллион двести тысяч.

— Ага, — задумался Шаляпин. — Это дорого. В чем дело? Картина небольшая. Нет, я не могу ее купить...

Поблагодарив любезного хозяина, мы вышли из магазина. Шаляпин остановился на мостовой. Он был рассержен. Ударяя палкой по мостовой и серьезно, подняв голову и смотря в сторону, говорил:

— Константин Алексеич, вы представляете себе, сколько я должен за эти деньги спеть? Вот вам художники! Может быть, он теперь написал новую в неделю. А я плати миллион. В чем дело?

— Постой, Федя, да ведь Домье давно умер. Ты тогда и не родился еще. При жизни его ты бы, вероятно, купил эту картину дешево. Это бессмертный художник.

Стуча тростью по мостовой, Шаляпин расколот ее пополам. Он поднял обломок и окончательно разгневался:

— Да, художник! Картинка-то небольшая!

— Велика Федора, да дура! — засмеялся я.

— Ты что? Не про меня ли?

— Смешно, Федя.

— Тебе все смешно. Миллион двести тысяч. А ты знаешь ли, мне предложили Тициана — огромную картину — в Англии, за двести тысяч, и я ее купил.

— Молодец! Не верится только. За двести тысяч Тициана едва ли купишь.

— Увидишь.

Федор Иванович продолжал сердиться на Домье:

— Тициан, знаешь, темный фон, по одну сторону лежат две голые женщины, а по другую сторону — одна. Вот только физиономии у них одинаковые.

— На чем лежат-то? — спросил я.

— То есть как — на чем? Там просто написан темный фон. Я, в сущности, еще не взгляделся, на чем они лежат. Старинная картина. Ты что смеешься?

— Вот, Федя, если бы я написал рассказ «Тициан», ты бы и обиделся.

Шаляпин хмуро посмотрел на меня и сказал:

— Я тоже буду писать мемуары...

* * *

Федор Иванович продолжал увлекаться скупкой старинных произведений искусства. Я встретил его как-то на авеню Ваграм. Он шел один и, увидав меня, сказал:

— Пойдем.

Мы зашли в большое кафе. В нем было много народу. Шаляпин поморщился:

— Пойдем отсюда.

Мы пошли в другое кафе, небольшое. Сели за столик. Шаляпин сказал гарсону:

— Сода, виски.

— Тебе же нельзя, Федя, виски.

— Все равно. Видишь ли, я был у антиквара. Он мне такую штуку показывал. Уника мировая. Дорогая штука. Знаешь ли ты, я могу нажать шутя миллионы. Жаль — он никому не показывает, кроме меня, ты бы поглядел... Я не знаю, рискнуть, что ли? Ты что скажешь?

— Я ничего не могу сказать. Зачем ты в антикварию ударился?

— Надо же что-нибудь делать. Ведь пойми ты, что я только пою, а другие дело делают. Вот один в Аргентине купил реку и не пускает пароходы — плати. Так он в год нажил черт знает сколько... Я теперь меньше пою, а деньги идут. У меня дети. Положим, зачем я с тобой говорю, ты ничего в этом не понимаешь... А ты не пьешь сода-виски? У тебя-то ведь сахара нет!..

Он вдруг стал грустен:

— Вот ты подумай, в какое положение я в жизни поставлен. Диабет, говорят, неизлечим.

Молебен

В это время Шаляпин перестраивал мастерскую в своем прекрасном доме на авеню д'Эйло. Там были гипсовые украшения — какие-то амурсы, раскрашенные в голубые с золотом цвета. Это было приторно. Внутри была лестница, которую он велел переделать.

Когда комната была готова, он повесил гобелены, рисунки русских художников, над камином свой портрет работы Кустодиева и позвал священника освятить дом.

Не забуду тот день. Во время молебна Шаляпин пел сам. Пел столь вдохновенно, что казалось, что сам Господь был перед ним в этой комнате. То было не пение — а подлинное славословие и молитва.

Служил отец Г. Спаский, который сказал за трапезой Шаляпину:

— Ваше вдохновение от благословения Господа.

Болезнь

Федор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит ее во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил.

— Еду я с тобой на телеге, везет нас Феокист. Едет с нами Василий Княжев, и удивляемся мы, как сразу все кончилось, весь этот кошмар. Приехали на Новенькую мельницу. Подъехали к избе мельника Никона Осиповича. А из избы выходят чекисты с погонами и хватают Феокиста: «Вот он, вот он попался!» На нас же не обращают никакого внимания. Но все это до того страшно, так нелепо, что я бегу по какому-то пустому городу и все проваливаюсь в ямы...

...Сплю на сеновале у тебя, и подходят какие-то люди, тихо подходят и поджигают сеновал. Я вскакиваю, окруженный огнем. Не вырваться — вокруг ничего, кроме огня. Я, брат, бром принимал — не помогает.

Шаляпин все худел. Когда я к нему пришел, он лежал в постели. Потом сел и стал одеваться, напевая из «Бориса Годунова». Меня поразила худоба его ног.

— Хотят устроить мой юбилей — пятидесятилетие моей артистической деятельности. Хотели устроить теперь. Но я не согласился ускорить празднество, так как по-настоящему остался еще год. И я всегда был честным артистом. Понимаешь — честным артистом! Голоса у меня еще хватит.

В глазах его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Была в них и какая-то мольба, и скупость старика.

Он хотел шутить, но тут же впал в уныние:

— Вот ты не боялся, Константин, народа, а я боялся всегда... «Восторженных похвал пройдет минутный шум...» Ничего — вот отпою, тогда начну жить. Ты особенный человек, Константин, я всегда удивлялся твоей расточительности... Хорошо мы жили у тебя в деревне.

— Да, — согласился я.

— И вот — минулось... И я как-то не заметил, как все это прошло. Всегда думал: вот перестану петь — начну жить и с тобой поеду на озеро ловить рыбу. В Эстонии хотел купить озеро. И куплю. Еще года два попою, и шабаш! Это вот грипп мне помешал. У меня после него какой-то камень лег на грудь. Что-то тут несвободно...

— Это, наверное, нервное у тебя.

Шаляпин пристально посмотрел на меня:

— Ты как находишь, я изменился?

— Нисколько, — солгал я. — Как был, так и есть.

— Разве? А я похудел. Это хорошо для сцены. Помнишь, вы дразнили меня с Серовым, что у меня живот растет? Я приходил в отчаяние. А теперь, смотри — никакого живота.

И он встал передо мной, вытянувшись. Его могучий костяк был как бы обтянут кожей. Это был больной человек.

— Мне бы хотелось выпить рюмку водки и закусить селедкой. Просто — селедкой с луком. Не дают. Кури, что ты не куришь? Мне нельзя. Задыхаюсь. Ты знаешь ли, я жалею, что нет твоего доктора, как его, — Лазарева. Вот был здоровенный человек. Помнишь, как он крикнул на меня: «Молчать, я магистр наук, если я вам говорю, что не болит у вас горло, то, значит, не болит». И ведь верно. «Я по звуку слышу».

Все-таки были у нас хорошие доктора. Но ведь был чудак. Помнишь, любил тебя. На тебя не кричал... Савву Иваныча я вспоминаю. Не будь Саввы, пожалуй, я бы не сделал того, что я сделал. Он ведь понимал. Самую тютельку понимал. Ты знаешь ли, я любил только одного артиста — Мазини. Меня поражало — какое чувство в нем, голос! Небесный голос. И сам он был, брат, парень хороший. Восьмидесяти лет женился. И какая женщина! Молодая, красавица. Я ее видал. Любила его. А ты знаешь, в жизни он, кажется, был бабник.

— А ты, Федя, никогда бабником не был?

В его глазах вдруг показалось веселье — прежний Федя взглянул на меня. Он рассмеялся. И так же внезапно лицо его омрачилось. Он глубоко о чем-то задумался, как бы отряхивая рукой несуществующие крошки со скатерти.

— Скажи мне, — спросил он после паузы, — Юрий Сахновский жив или нет?

— Нет, давно умер. Я от кого-то слышал, уж не помню. Во время московского голода похудел, как спичка, а потом, как разрешили торговлю и вино, его в неделю опять всего раздуло.

— А отчего он умер?

— Я слышал — от ожирения сердца.

— Какие всё болезни — сахар, ожирение сердца... А твой Кузнецов жив?

— Нет, тоже умер.

— Этот отчего? Он же был здоровенный парень!

— На рыбной ловле, говорят, простудился...

— Я, в сущности, не знаю, за что на меня Серов обиделся. Ты не знаешь?

— Нет, не знаю. Я спрашивал — он молчал.

— Непонятно. Как-то на меня все обижаются. Должно быть, характер у меня скверный. Дирижеры все обижаются, режиссеры тоже. Их ведь прежде не было, а потом вдруг столько появилось! И все ерунду делают... Постановки!.. Они же ничего не понимают. Вот ставили фильм «Дон Кихот». Я в этом деле не понимаю... Я послушно делал все, что мне говорили. Я бы сделал все по-другому. Помнишь, когда я пел Олоферна, ты мне показал фотографии с ассирийских фресок, как там пьет из чашки какой-то ассирийский воин. Я так и сделал. Надо, чтобы артист был — нутро артиста! А теперь артистов делают... Ну-ка, пускай закажут нового Шаляпина. Пускай заплатят. Не сделать! Да и денег не хватит. Говорят, что дорого я беру. А что это стоит — никто не знает. В сущности, ведь меня всегда эксплуатировали. Дурак был. «Императорские театры, — говорил Теляковский, — не преследуют материальных целей». Но деньги все-таки брали. А я ему говорил: «Вы мне платите шесть тысяч, а у вас, когда я пою, повышенные сборы. А почему не шестьдесят?» — «Не найдется публики заплатить столько». — «А тридцать? Может быть, найдется?» Значит, двадцать четыре-то у меня мимо рук проходили. Ты подумай, какой бы я был богатый человек. Я, конечно, теперь тоже не беден, но все же сколько же с меня содрали! Есть, брат, отчего задуматься. Ты говоришь, что я мрачен, — будешь мрачен.

Федор Иваныч сердился и все водил рукой по скатерти, как бы стряхивая невидимые крошки.

Прожив полжизни с Федором Ивановичем Шаляпиным и видя его часто, я всегда поражался его удивительному постижению каждого создаваемого образа... Он никогда не говорил заранее даже друзьям, как он будет петь и играть ту или иную

роль. На репетициях никогда не играл, пел вполголоса, а иногда и пропускал отдельные места. И уже только на сцене потрясал зрителя новым гениальным воплощением и мощным тембром своего единственного голоса.

С каким удивлением смотрели на него иностранные певцы! Сальвини слушал Шаляпина, и на лице его было восторженное внимание. Его смотрели и слушали с удивлением, как чудо. И он был и впрямь чудо-артист.

Однажды, когда я удивлялся его исполнению, он мне сказал:

— Я не знаю, в чем дело. Просто, когда пою Варлаама, я ощущаю, что я Варлаам, когда Фарлафа, что я Фарлаф, когда Дон Кихота, что я Дон Кихот. Я просто забываю себя. Вот и все. И владею собой на сцене. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, как она льется. Я никогда не смотрю на дирижера, никогда не жду режиссера, чтобы меня выпустил. Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слышу. Весь оркестр слышу — замечаю, как отстал фагот или альт... Музыку надо чувствовать!.. Когда я пою, то я сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось самому. И если я себе нравлюсь — значит, пел хорошо. Ты знаешь ли, я даже забываю, что пою перед публикой. Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, некоторая и есть: нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство... Я не был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по селам. Узнавали, где приходской праздник, туда и шли петь. Усатов мне помог. Он учил меня ритму. Я совру, а он меня по башке нотами! — отбивает такт. Задаром учил. Я ему за это самовар ставил, чистил сапоги, в лавочку бегал за папиросами. Рахманинов тоже мне помог. Он серьезный музыкант. Понимает. Завраться не дает... И вы, художники, мне тоже помогли. Только эти все знания надо в кармане иметь, а петь надо любя, как художник, — по наитию. В сущности, объяснить точно, отчего у меня выходит как-то по другому, чем у всех, я не могу. Артиста сделать нельзя — он сам делается. Я никогда и не думал, что буду артистом. Это как-то само собой вышло. Не зайти певчие, с которыми я убежал, к отцу на праздник, то я никогда бы и не пел...

Робость

Несмотря на большую самоуверенность, в Шаляпине, как во многих русских людях, была боязнь и даже трусость. Он робел и боялся несправедливости. Был осторожен со властью имущими и избегал знакомства с ними.

В Петербурге мы однажды пришли в ресторан Кюба. Там было много офицеров. Шаляпин изменился в лице и сказал мне:

— Уйдем.

Я удивился и спросил его потом, отчего он ушел.

— Отчего? Оттого, — ответил он.

Однажды Шаляпина вызвали при мне к телефону. С кем он говорил, я не знал, но видел, что он взволновался и побледнел. Я слышал, как он говорил:

— Видите ли, ваше превосходительство...

Потом остановился и сказал:

— Ваше высокопревосходительство. Еще вчера один знакомый офицер мне объяснял, что я, как ратник второго ополчения 1892 года, еще по мобилизации не призван.

Он отошел от телефона расстроенный и сказал:

— Оказывается, со мной говорил командующий войсками. Я ему говорю: «Ваше превосходительство», а он мне орет: «Высокопревосходительство! Вы уклоняетесь, а еще интеллигентный человек, артист. Какой же вы верноподданный?» В чем же дело? Я же никакого извещения не получал. Может быть, это Исайка потерял? Что же мне делать? Надо дать телеграмму Теляковскому. Я же не уклоняюсь.

— Вряд ли Теляковский тебе может помочь.

— Я, должно быть, что-то пропустил. Надо вызвать из штаба Семена Аверьино...

А к вечеру выяснилось, что над ним подшутил тот же Аверьино, говоривший с ним под видом командующего войсками.

* * *

Шаляпин побаивался мужиков. Идя ко мне в Охотино из своего имения, он никогда не проходил деревней. Старался обходить задворками. Когда доводилось ему беседовать с крестьянами, говорил:

— Послушай, миляга, ну что — как уродило? Да, труды ваши трудные.

Мужички русские отвечали хитро:

— Что, Федор Иваныч, неча пенять, живем ничего. А вот винца-то в праздник не хватает...

Шаляпин делал вид, что не понимает намека, и на винцо не давал.

На Марне

Как-то летом мы поехали с Шаляпиным на Марну. Остановились на берегу около маленького кафе. Кругом высились большие деревья. Шаляпин разговорился:

— Послушай, вот мы сейчас сидим с тобой у этих деревьев, поют птицы, весна. Пьем кофе. Почему-то мы не в России? Это все так сложно — я ничего не понимаю. Сколько раз ни спрашивал себя — в чем же дело, мне никто не мог объяснить. Горький! Что-то говорит, а объяснить ничего не может. Хотя и делает вид, что он что-то знает. И мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает. Это движение Интернационала может охватить всех. Я купил в разных местах дома. Может быть, придется опять бежать.

Шаляпин говорил озабоченно, лицо его было как пергамент — желтое, и мне казалось, что со мной говорит какой-то другой человек, — так он изменился и внешне.

— Я скоро еду в Америку петь концерты, — продолжал он. — Юрок зовет... Надо лечиться скорей. Тоска... Вино у меня отобрали.

Он вдруг улыбнулся:

— А я две бутылки все же спрятал в часы. Знаешь у меня большие часы? Вот у меня ключ.

Он вынул из жилетного кармана медный ключик и показал мне.

— Я рюмку пью только. Какой коньяк! Я раньше и не знал, что есть такой коньяк. И водка смирновская — белая головка. Я нашел здесь, в Париже, на рю де ля Пэ. Старая бутылка. Одну нашел только. Эту успел выпить. А что, ты не знаешь, жив ли Борис Красин?

— Нет, не слышал, не знаю.

— А я слышал, что он умер. Кто это мне сказал — не помню.

— А Обухов?

Шаляпин вдруг рассмеялся:

— Ты помнишь, как я над ним подшутил?..

Обухов был управляющим конторой московских Императорских театров. Однажды Шаляпин, придя ко мне в Москве, принес с собой арбуз, взял у меня краски (темпера) и выкрасил его в темный цвет. Арбуз обрел вид черного шара. Шаляпин принес с собой еще и коробочку, в которой были так называемые «монашки», их зажигали, и они долго курились, распространяя приятный запах. Такую «монашку» Шаляпин вставил в верх арбуза.

Когда «грим» был готов, Шаляпин отправился в контору Императорских театров, положил арбуз в кабинете Обухова на письменный стол и зажег «монашку». А сам уселся в приемной, как проситель.

Явившись на службу и найдя в своем кабинете дымящуюся «бомбу», Обухов опророметью бросился вон. Вся контора всполошилась, все выбежали вон. Вызвали полицию...

В разгар переполоха Шаляпин разрезал «бомбу»... Все смеялись.

Обухов старался скрыть недовольство и с упреком сказал Шаляпину:

— Вам, Федор Иванович, все допустимо...

А Шаляпин всю неделю хохотал.

— А знаешь ли, — сказал, помолчав, Шаляпин, — живи я сейчас во Владимирской губернии, в Ратухине, где ты мне построил дом, где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом, — я бы выздоровел. Теперь, наверное, дом весь раскраден и разрушен. Как странно, что грабеж называется революцией. Как я был здоров! Я бы все бросил и жил бы там не выезжая. Помню, когда проснешься утром, пойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Разденешься на плоту и купаешься. Какая вода — все дно видно! Рыбешки кругом плавают. А потом пьешь чай со сливками. Какие сливки, баранки! Ты, помню, всегда говорил, что это рай. Да, это был рай. А помнишь, ты Горькому сказал, что это рай. Как он рассердился! Герасим жив?

— Нет, Федя, Герасим умер, еще когда я был в Охотине.

— Посчитать, значит, нас мало осталось в живых. Какая это странная штука — смерть. Неприятная штука. И тайная. Вот и я все пел. Слава была. Что такое слава? Меня, в сущности, никто не понимает. Дирижеры — первые. В опере есть музыка и голос певца, но еще есть фраза и ее смысл. Для меня фраза — главное. Я ее окрыляю музыкой. Я придаю значение словам, которые пою, а другим все равно. Поют точно на неизвестном языке. Показывают, видите ли, голос. Дирижер доволен. Ему все равно тоже, какие слова. В чем же дело? Получается скука. А они не хотят понять. Надоело... Вот Рахманинов — это дирижер. Он это понимает. Вот я выстукиваю иногда такт. Ты думаешь, что это мне приятно? Я вынужден. Иначе ничего не выходит. А говорят — я придираюсь. Я пою и страдаю. В искусстве — нет места скуке. А оперу часто слушают и скучают. Жуют конфеты в ложе, разговаривают. Небось, когда я пою, перестают конфеты жрать, слушают меня. Ты знаешь, кто еще понимал искусство — Савва Мамонтов. Это был замечательный человек. Он ведь и пел хорошо. И ты помнишь — как его? Врубель был такой.

— А ты с милым Мишей Врубелем поссорился.

— Он же был этакий барин, капризный. Все, что ни скажу, — все ему не нравилось. Он мне сказал: «Вы же не певец, а передвижная выставка, вас заела тенденция. Поете “Блоху”, “Как король шел на войну” — кому-то нравится хотите. В искусстве не надо пропаганды». Вообще, сказать тебе должен, что я его не понимал и картины его не понимал. Хотя иллюстрация к «Демону» — замечательная. Странно, я раз сказал ему, что мне нравится его «Демон», которого он писал у Мамонтова, такой, с рьжыми крыльями. А он мне ответил: «Вам нравится — значит, плохо». Вот, не уютно ли? Савва Мамонтов его тоже не понимал... А за обедом: после рыбы я налил красного вина. Врубель сидел рядом... У Мамонтова был обед, еще Витте тогда был за столом. Он вдруг отнял у меня красное вино и налил мне белого. И сказал: «В Англии вас бы никогда не сделали лордом. Надо уметь есть и пить, а не быть коровой. С вами сидеть неприятно рядом». Ведь это что ж такое? Но он был прав, я теперь только это понял. Да, Врубель был барин...

— Да ведь ты сам сейчас барин стал. Украшаешь себя и вина любишь дорогие.

— Нет, я не барин. Скажу тебе правду: в России я бы бросил петь и уехал бы в Ратухино, ходил бы косить и жил бы мужиком. Ведь я до сих пор по паспорту крестьянин — податное сословие. И все дети мои крестьяне, а я был солист Его Величества. Теляковский недоумевал: у меня не было чина, а он хотел, чтобы я получил Владимира... Когда я пел Бориса в Берлине, в ложе был Вильгельм. В антракте мне сказали: «Кайзер вас просит в ложу». Вильгельм меня встретил любезно и попросил сесть. Я сел. Он сказал: «Когда в России талант — это мировой талант. Скажите, Шаляпин, какой вы имели высший орден в России?» — «Бухарская звезда», — ответил я. «Странно, — сказал Вильгельм и, протянув руку в стоявшему сзади генералу (вероятно, это было заранее условлено), отцепил у него орден и пришил мне на грудь. — Позвольте вас поздравить, теперь вы — фон Шаляпин, вы дворянин Германии». А здесь я получил «командора»...

В уголке губ Федора Ивановича была грустная усмешка.

Последняя встреча

В Париже Шаляпин, прощаясь со мной, сказал:

— Ну, прощай. Ты где живешь? На Балчуге? Ах, я и забыл, что мы не в Москве, как чудно! Когда я вижу тебя, я всегда живу душой в России. Я к тебе зайду. Это у Порт Сен-Клу...

Кажется, в конце февраля, выходя из дому, я увидел на дворе, возле консьержа, Шаляпина.

— Ах, вот ты! — сказал он. — Пойдем в кафе.

Он шел усталой походкой.

— Я что-то захворал, — сказал он. — Как-то здесь тяжело, — показал он на грудь, — вроде как камень лежит. Это началось там, в Китае. Я ведь в Китай ездил. В сущности, зачем я ездил — не знаю.

Вид у Шаляпина был очень больной. И он все вздыхал.

— Борис и Федор в Америке, — сказал он про сыновей. — Тебе они не пишут?

— Борис не пишет, а Федя — молодец. Ты знаешь, он играл в пьесе «Товарищ» главную роль, этого князя, который поступил лакеем. Играл на английском языке, и о нем превосходно написали.

— Да что ты? А я и не знал. Я все удивляюсь, отчего они все хотят быть артистами. Дочери мои. Отчего не просто так, людьми, как все? Ведь в жизни артиста много горя. Он вздохнул.

— Ты знаешь ли, мне не очень хорошо здесь, — он вновь показал на грудь. — Я пойду.

Мы вышли из кафе и пошли к спуску в метро.

— Возьми автомобиль, — сказал я.

— Зачем автомобиль? Ведь это огромные деньги.

И он спустился в метро. Во всей фигуре его был какой-то надлом.

Я долго не мог уснуть в эту ночь. Образ больного Шаляпина стоял передо мной.

Проходила в воспоминаниях прошлая жизнь. Я видел его там, в России, когда он спал в моей деревенской мастерской на широкой тахте. Около него спал Феб — моя собака, которая нежно любила Шаляпина. Собаки вообще любят веселых друзей. Их радует дружба людей. Помню, как, глядя на спящего Шаляпина, я подумал: «А ведь это гений...» Так сладко спал этот русский парень — Федор Шаляпин.

Живя много в России в деревнях, я встречал не раз парней деревенских. В их смехе, удали, веселье, разгуле было то же, что в Шаляпине.

Помню, когда я строил дом, один из плотников, молодой парень высокого роста, вечером после работы сорвал ветку березы и ходил взад и вперед около сарая, отмахиваясь веткой от комаров. Ходил и пел. И лицо было задумчиво, так же, как у Шаляпина. Он пел про Дунай, про сад, про горе-горюшко. И видно было, что он где-то там, где Дунай и где горе-горюшко...

Я долго смотрел на него. У него был дивный голос — тенор. И я подумал: «Говорят, что больше не будет такого артиста, как Шаляпин. Но так ли это?.. Может быть, и родится. Но будет ли та среда, которая поможет любовью и вниманием создаться артисту?»

Помню, когда пришел В.А. Серов, я сказал ему:

— Посмотри, как спит Федор, лицо какое серьезное. И во сне даже Грозный. Лицо гения, посмотри.

— Пожалуй, — ответил Серов, — есть в нем дар и полет, но все это перемешано со всячинкой... Давеча: пишу я здесь, с краю у леса, где сарайчик. И он подошел ко мне и сел. И вдруг говорит: «Вот здесь все леса и леса, есть крупный лес. Я хочу скупить леса и торговать. Ты как думаешь, Антон?» — «Что ж, — говорю, — как вашей милости угодно. Торгуйте». — «Да ты не смейся. На лесе-то побольше наживешь, чем на пении». Вот ты и возьми! Как это у него все вместе перепутывается.

Помню — в эту минуту отворилась дверь, и чей-то голос крикнул:

— Господин барин, к вам Глушков приехали.

Шаляпин проснулся и сел на тахте, кулаком протирая глаза.

— Господин барин, — повторил Серов, — к вам Глушков приехали.

Шаляпин расхохотался.

— Разбудили! Глушков? Что ему надо? Ну, зови сюда. А я какой сон видел: будто я в Питере, в номерах Мухина. И так рад, что один. Самовар у меня на столе, баранки положил на конфорку, чтобы согреть, пью чай и ем баранки с икрой, а потом иду спать. Гляжу на постель и вижу — кто-то под одеялом шевелится. Думаю: что такое? Хотел уйти. Вернулся. Посмотрел — под одеялом женщина. А тут этот орет: «Глуш-

ноя приехал!..» Разбудил меня. Теперь я и не знаю — кто эта женщина: лежала спиной ко мне, лица-то я и не видел.

Глушков, сняв картуз, остановился перед Шаляпиным. В глазах у него была мольба.

— Вот что, Глушков, — сказал Шаляпин, — лес, что же мне лес, зачем? Грибы собирать? Я ведь не промышленник. Торговать не собираюсь. Мне, в сущности, не надо. Так куплю. Я сказал тебе цену. Как хочешь. Ты не соглашаешься. О чем говорить? Надоело.

— Как согласиться, Федор Иванович, — неммысленно. Каждый раз — вот уж год — торгуешься. Все менее и менее даете. Это дровяники мне более давали.

— Так отдай дровяникам.

— Так вы же сами говорили: «Не отдавай, Глушков, барышникам». Я теперь отказал всем, а вы в неохоту вошли. И мне теперь с ними назад подаваться надо. Они тоже в каприз войдут. Беда! Я скину, Федор Иванович, ежели на чистые деньги только.

— Денег у меня нет — векселя дам.

— Помилуйте, куда ж я с ними денусь? На учет уйдет. Вот ведь этакое дело вышло, сами говорили...

Вспомнилось и другое.

Мы часто ездили с Шаляпиным по окрестностям. Как-то приехали на Вашутино озеро. Шаляпин пришел в восторг и с присущим ему ребячеством решил: надо жить на озере.

— Здесь я яхту построю, на парусах буду кататься по озеру. Говорят, озеро-то монастырское. Продадут ли монахи?

Он забыл о доме, который строил как раз в ту пору в Ратухине, и поехал к настоятелю монастыря покупать озеро.

Вернулся расстроенный: настоятель согласен продать, но не властен — надо запросить Синод.

— Ты подумай, — возмущался Шаляпин, — Синод! Как все трудно у нас. Жить нельзя.

Федор Иванович впал в мрачность, не ездил больше на постройку дома:

— Река там мала.

Говорил Серову:

— Озеро, знаешь, плывешь — пространство большое.

— Лоэнгрином на лебедях будете ездить, Федор Иванович? — смеялся Серов.

Федор Иванович недолюбливал шутки Серова, но смеялся. И Серова немножко побаивался.

Каюсь, мне тоже хотелось жить на Вашутином озере — построить себе на берегу избушку и завести лодку с парусом.

И мы с Федором Ивановичем осенью однажды поехали туда. Эта поездка нас образумила: было ветрено и дождливо, серые волны озера шумели неприветливо. Тоска! Мы промокли и рады были, что вернулись в теплый дом ко мне, где горел камин и был уют. С той поры Федор Иванович больше об озере не заикался и стал снова ходить на постройку дома в Ратухине.

И еще вспомнилось.

Постройкой шаляпинского дома ведал подрядчик Чесноков. У него было два взрослых сына. Оба плотники и оба работали на постройке.

Шалапин заметил, что время от времени они бегали к стогу на край леса и, достав из стога бутылку с водкой, выпивали по глотку.

И вот Шалапин тихонько пробрался к стогу, вылил почти всю водку из бутылки, долил водой и, спрятавшись в лесу, стал ждать. Вскоре сыновья подрядчика подбежали к стогу. Сначала хлебнул из бутылки один, потом — другой. Выпив, с недоумением посмотрели друг на друга... Опять хлебнули. И опять изумленно посмотрели друг на друга. Потом — на бутылку.

Шалапин хохотал целый день.

— Если бы ты видел, — говорил он Серову, — как они на бутылку смотрели!

И так, вспоминая нашу совместную жизнь там, далеко, в России, я еще резче ощутил, как печальна была наша теперешняя встреча с Шалапиным. Все слышалось, как он сказал: «У меня здесь камень» — и показал на грудь.

Вскоре я простудился и захворал. Ко мне пришел мой приятель Н.Н. Куров и сказал мне, что Шалапин очень болен и что мало надежды на его выздоровление.

Я огорчился. Не хотел верить:

— Что ты! Это ведь богатырь. Ему теперь, должно быть, всего 64 года, не больше. Правда, он кажется больным. Но здесь ведь хорошие доктора.

В газетах ничего о болезни Шалапина не писали. Я хворал и не выходил на улицу.

Через несколько дней опять навестил меня мой приятель и сказал:

— А Шалапину очень плохо. Ему делали переливание крови. У него, говорят, белокровие.

— Что это за белокровие? — спросил я. — Это у Вяльцевой было. Что же это такое?

— Кровь делается белая, возрастает количество белых шариков. Точно не знаю... — сказал Н.Н. Куров. — Дочь, говорят, кровь дала для переливания.

Мне вспомнилось, как часто при последних моих встречах с Шалапиным он заговаривал о смерти, с каким интересом расспрашивал меня — кто из наших прежних знакомых жив, кто умер, как однажды сказал:

— Как странно, ведь никто не знает, что такое смерть. Тот, другой умер, а мне кажется, что я не умру. Как это устроено в душе все странно. Если бы человек сознавал смерть, то он бы не покупал землю, не строил бы домов. Я же вот хочу купить имение под Парижем, — мне советуют, — и поеду туда отдыхать. Мне еще надо в Америку ехать петь, только стал я скоро уставать.

Дурной сон

Ко мне пришел доктор и сказал:

— Что же, температура нормальная. В солнечный день можете выйти ненадолго. После его ухода я заснул.

И видел во сне, как пришел ко мне Шалапин, голый, и встал около моей постели, огромный. Глаза у него были закрыты, высокая грудь колыхалась. Он сказал, держа себя за грудь:

— Костя. Сними с меня камень...

Я протянул руки к его груди — на ней лежал холодный камень. Я взял его, но камень не поддавался — он прирос к груди...

Я проснулся в волнении и рассказал окружающим и Н.Н. Курову, который ко мне пришел, про этот странный сон.

— Нехороший сон, — сказал Н.Н. Куров. — Голый — это плохо...

А утром я прочел в газете, что Шаляпин умер.

Я встал, оделся, хотел куда-то идти. Лил дождь. Пришло письмо из редакции с просьбой поскорей написать о Шаляпине.

Я поехал в редакцию. Трудно было писать. Слезы подступали...

Вернувшись домой, я застал у себя П.Н. Владимирова — артиста балета.

— Вот беда, — сказал он, — Федор Иванович умер. Борис приехал из Америки. Я его видел. Он спрашивал о вас. Я был в доме. Там не протолкаешься. Масса народу. Он умер в забытии.

* * *

На другой день я поехал к Шаляпину в дом. Было множество народу, было трудно протиснуться. Я вызвал Бориса. Он пошел со мной и Владимировым в кафе. Боря любил отца, и глаза его были полны слез.

— Брат Федя завтра приезжает, а маму и Ирину не выпустили из России. Папа сам говорил с ней за три дня до смерти по телефону.

* * *

На другой день днем, в передней, я услышал голос, который живо напомнил мне Шаляпина.

Ко мне вошел Федор, его сын. Он был точь-в-точь Шаляпин, когда я в первый раз его увидел с Труффи; только одет по-другому — элегантно.

Я всегда любил Федю. Он был живой отец. Увидав мою собаку Тобика, который в радости прыгал около него, держа в зубах мячик, Федя тут же стал играть с ним. Бегал, вертелся. Как он был похож на отца! В некоторых поворотах лица, в жестах...

Мы разговорились о его отце...

— Когда я уезжал в Америку, — сказал, между прочим, он, — отец мне говорил, что он бросит петь и выступит в драматических спектаклях, в пьесах Шекспира «Макбет» и «Король Лир».

— Твой отец был редчайший артист. Его влекли все области искусства. Он не мог видеть карандаша, чтобы сейчас же не начать рисовать. Где попало — на скатертях в ресторанах, на меню, карикатуры, меня рисовал, Павла Тучкова.

— Декламировал и даже выступил в одном из симфонических концертов филармонии в Москве, в «Манфреде» Шумана...

— Восхищался Сальвини. Любил клоунов в цирке, и в особенности Анатолия Дурова... Как-то раз позвал меня на сцену Большого театра и читал мне со сцены «Скупого рыцаря». Увлекался скульптурой и целые дни лепил себя, смотря в зеркало. Брал краски и писал чертей, как-то особенно заворачивая у них хвосты. Причем бывал всецело поглощен своей работой: во время писания чертей держал язык высунутым в сторону. Ужасно старался. Показывал Серову. Тот говорил: «А черта-то нету». Когда приходил ко мне в декоративную мастерскую, то просил меня: «Дай мне

хоть собаку пописать». Брал большую кисть и мазал, набирая много краски... Какой был веселый человек твой отец и как изменился его характер к концу жизни...

— Это началось еще в России... Отец не мог примириться с новыми порядками, — сказал Федор. — В деревне отнимают дом, в Москве отняли вино... Приходили разные люди, обыскивали. Велят петь за муку, за соль. Деньги отнимают. Приходят в гости какие-то люди, которых он не знал. Есть нечего, а он есть любил. Достал поросят — те по комнате бегают, гуси тоже. Распоряжаются им, как хотят. Хочет уехать — не пускают... Сколько образовалось властей! Все говорили разное и заставляли петь банщикам, фабричным, матросам. Вызывали на заседания, обижались, что не ходит, сделали народным артистом. Он поет, а слушатели подсолнухи лузгают. Кричат: «Дубинушку!» Надоело ему все это и утомило. А за границей он чувствовал себя оторванным от родной страны, которую он очень любил.

* * *

Федя ушел. Я остался один и все думал об ушедшем моем друге.

Вспомнилось — однажды он мне сказал:

— Руслана я бы пел. Но есть место, которого я боюсь.

— А какое? — спросил я.

Шляпин запел:

Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем!..

Вот это как-то трудно мне по голосу. Милый Федя, всегда будут о тебе петь Баяны, и никогда не умрет твоя русская слава.

И еще вспомнилось.

Как-то в деревенском доме у меня Шляпин сказал:

— Я куплю имение на Волге, близ Ярославля. Понимаешь ли, гора, а с нее видна раздольная Волга, заворачивает и пропадает вдали. Ты мне сделай проект дома. Когда я отпою, я буду жить там и завещаю похоронить меня там, на холме...

И вот не пришлось ему лечь в родной земле, у Волги, посреди вольной красоты нашей России...



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО



Охота... рыбная ловля... Коля Куров

Три подводы у крыльца маленького моего дома стояли с утра. День был июль-ский, серенький. Сосны и ели кругом дома и весь сад не колышутся, ветра нет. Он таинственно сине-зеленый, малина за изгородью повисла тяжело, вся в ягодах. Со-роки сидят и трещат без умолку у сарая и на помойке. Как хорошо летом. Мы собира-емся ехать на рыбную ловлю на мельницу реки Нерли. Палатку, удочки, ружье, за-куску, водку — все записывают на телегу. Я — краски и холсты для живописи.

— Захватите ведро! — кричит приятель Василий Сергеевич. — Прикормку.

— Прикормку куры съели.

— Как?

— Да нет, да врет он все.

— Без прикормки я не еду, — говорит Василий Сергеевич, — ловить лещей еду.

— Не поймашь ты лещей.

— Не надо чепуху кричать, ей.

Мы поехали. Впереди в телеге ехали трое. Юрий Сахновский, толстый, с круглым лицом, композитор, музыкант, лицо сердитое, широкое, большое, очень маленький ротик. Человек определенный, смеется редко и говорит редко, и коротко, и цинично. С ним молодой дирижер театра Багряновский, стрижен котиком, лицо толковое <?>, ушки, и все благообразно. Третий — худенький, по прозвищу Фокстерьер, журна-лист, музыкальный критик, выражение постоянного удивления или защиты — как бы оправдывается, бровки черненькие, всегда подняты кверху, и черненькие глаз-ки, надо ртом усики, и кругленький рот, говорит сюсюкая: «цорт» вместо «черт», «стука» вместо «штука». Вообще, он всегда находился в какой-то истории скверной, в какую будто попал, и все старается выяснить.

— Мне жена, — говорил он совершенно искренне, — на второй день после свадь-бы стала говорить «дурак» и «дурак». Я говорю ей: «Голубушка, постой, зачем же ты за меня замуж вышла?» Не понимаю, Костя, — говорит он мне, — не понимаю жен-щин, и цорт их поймет. Я же ей говорю, я же университет кончил. А она только одно: «дурак».

Средняя телега нагружена всевозможными вещами — нашим багажом. Везет крестьянин Батранов, называется Явный Факт — фраза, которую он говорит посто-янно.

— Что, Батранов, как думаешь, дождик будет?

— Явный факт, — отвечает он.

— Намочит он нас дорогой?

— Явный факт, — считает Батранов, так ему понравился этот «явный факт».

На третьей телеге едем мы — я, архитектор В.С. Кузнецов и литератор, прозванный Собачий Пистолет.

Василий Сергеевич Кузнецов — человек колоссального роста, похож на матроса — лицо скользкое <?>, красное, с карими глазами, 32-х лет. Ужасно широкий зад. Голова сверху уже, книзу все шире. Все волосы ровные, как у благообразного мальчика, причесаны на пробор, слева направо. Зовут его Вася. Третий — литератор. Что он писал, не знаю, интеллигент. Почему Собачий Пистолет — неизвестно. Но когда он узнал свое прозвище впервые, то сказал: «В России нет культуры».

Едем. Едем деревней. Спускаемся к ручейку. В горку, лесок, отдельные по бугру березки, сосенки, трава по <нрзб.>, гумно с черной от дыма соломенной крышей. Направо моховое болото, вдали впереди рожь, слева лес, рожь кончается. Останавливаемся, первые что-то кричат, слышно:

— Вы подлец, подлец!

— Что вы встали? — кричим мы.

К нам бежит Коля Фокстерьер. Я вылезая, и Собачий Пистолет. Коля говорит:

— Цорт-те што, это Юрий, вот цорт. Знаешь ли, он так оскорбил Мишу. Батюски.

— Да ерунда, едемте.

— Нет, не ерунда, Миша хочет идти прямо на станцию.

Действительно, когда мы подходим, то в первой телеге грузно сидит только Юрий. Весь бледный, взволнованный, ходит Миша Багряновский по краю ржи. Обернувшись к Юрию, кричит:

— Подлец!

А Юрий:

— Что такое?

— Он смел сказать, что моя жена Наталья Петровна оттого меня любит, что дура. Я не позволю так <?> говорить, не позволю! Такому скоту — не позволю!

— Это его отдельное мнение, — сказал Коля, — цорт с ним.

— Началось с того, что я беспокоился, что в Москве я забыл запереть свои рукописи в стол и что боюсь, как бы Наталья Петровна не стала ими разжигать железку-печку. А он говорит, что непременно она сожжет, и отлично сделает, сказал он, т<ак> к<ак> меньше будет чуши. Я не могу быть с ним больше знаком.

— Воля зла — враг прогресса! — сказал, как выпалив, Собачий Пистолет.

Подумал я: «Верно, пистолет».

— Я поеду с ним, — сказал Вася и ушел.

Поезд наш тронулся.

— С чего это Юрий, право, и чего это он Мишу так, Вася?

— Нет, позвольте, — горячился Собачий Пистолет, — почему он берет право? Жена, говорит, дура. Культура и невежество, хамство — вещи несовместимые. Цицерон сказал, что наука <нрзб.>.

— Послушайте, неужели правда она сожжет рукописи? — перебил Коля Куров.

— Не знаю, боюсь.

— Что же тогда делать? — допытывался Коля.

— Надо будет восстанавливать сначала.

— А что вы пишете-то?

— Роман.

— Как? — спросил я.

— «Голубиные песни». Я, может быть, дам другое название. «Расплетенный узел» или «Рассеченный узел».

— Это хорошо, — сказал Николай Куров, — а лучше «Узел в жизни».

— Нет, это невозможно, так как эллины были правы в том.

— Стой! — кричали впереди. Остановились. Василий Сергеевич бежал к нам с выпученными глазами, рот был дужкой.

— А вспомнили, что мы забыли?

— А <нрзб.> мы взяли?

— Нет, — ответил я. — Я их взял из бочки.

— А опарыш?

— И опарыш взял. <Нрзб.>, а Юрий пьян и велел спросить у вас, Константин Алексеевич, что, взяли ли вы Собачий Пистолет?..

Надо заметить, что с Собачьим Пистолетом мы не были знакомы, кроме Юрия, с которым он и приехал ко мне. Я его только видел в Петербурге раз.

Василий Сергеевич не знал, что его, нашего гостя, такое прозвище. Я ответил, что ружье взял, а Собачий Пистолет загорячился и стал кричать:

— Довольно некультурных негодяев. Я не позволю, кончится затрещиной, — и так разгорячился, что мы насилу его усадили.

* * *

Поехали, лес. Ветви елок стали хлестать по лицу. Приходилось вперед выстав-лять руки, где гуще, чтобы не ударили в глаза. Но скоро лес кончился, и мы спуска-емся по луку к мосту через речку, и стадо отдыхало на ровном лужке. Коромысла лежали около нас, пахло сеном и теплой водой. Стали поить лошадей. Юрий не слез с телеги и сидел, как Будда. Я старался, чтобы не разругались опять.

Опять поехали. Коля Фокстерьер начал:

— Что случилось? Знаешь, цорт-те што. Миша, он добрый, хороший парень. Ты знаешь, Вася, он хороший. Говорит: «Поймаем рыбку, я Лилечке отвезу». А Юрий передразнивал его, говорит:

— «Лилечке, Лилечке!» А Лилечка-то твоя с Ленькой Бахрушкиным путалась год, а теперь ее Купер. Я, — говорит, — сам видал, как она с Купером из бани выходила. Миша весь побледнел сразу. Я думаю: «Батюски!» Юрий, что мало ли, — говорю ему, — что ты видел? Разве можно так!

А тот ему на «вы»:

— Вы подлец. Это неправда!

А тот ему:

— Дурак! Ты! Нет, правда, я тебе, — говорит, — то говорил оттого, что тебя люблю.

Миша в гневе соскочил с телеги, кричит:

— Подлец, ты пьян!

— Ну, черт-те што.

В это время впереди опять остановились. Собачий Пистолет бежит к нам и нерв-но, визгливо кричит:

— Я не могу ехать и больше не знаком.

А Юрий спокойно кушал, более жевал маленьким ртом — должно быть, хорошо уже выпил за короткую дорогу.

— До свидания, прощайте, Константин Алексеевич, — сказал мне Миша Багряновский. — Я иду на станцию. Я не могу быть больше с этим, — показал он на Юрия.

— Дурак, — отвечал Юрий, — садись, едем.

— Извините, я не могу больше, — обращаясь ко мне, говорил Миша Багряновский взволнованным голосом.

— Ссоры и месть есть <?> меч, — сказал около меня литератор.

Тут я подумал: «А верно, что-то есть в нем пистолетное. Но почему собачий? Ах! быстро в нас бегут мысли».

— А ну вас к черту, — кричал противно <?> Василий Сергеевич.

— Постой, ну что, ехать, так ехать.

— Да постой.

Все опять стоят.

— Миша, — уговаривает Николай Куров, — послушай. Если, ну что тебе, он, Юрий, сдуру тебе <сказал>, а если правда она тебе изменяет, то — ах! поздно, брат, что ты? Поедем. Все равно. Что изменишь? Только трудно <?> будет, если изменяет. Цорт ней! А Костя — неловко, в гости приехали.

Миша Багряновский стоял опустив голову.

— Послушай, Миша. Бабы, брат, теперь, сам знаешь! Они, цорт их знает, они все такие. Цто ты будешь делать? Вот Раиса моя, ты знаешь? Я ухожу из дому, все мне «дурак» да «дурак».

— Ты подумай, Юрий, разве так можно? Он тебе прямо так, ты и рассердился. Можно объяснить, а то это глупо. Вот ведь надо же ему. Пойдем, потом поговорим, разберемся...

— Поедьте, Миша. Вы и дороги здесь до станции не найдете. Да и [не] стоит обращать внимания на Юрия, он, должно быть, выпил изрядно, — уговаривал я.

— Измена — метла любви, — сказал ни к чему Собачий Пистолет.

Миша Багряновский сел на среднюю подводу с багажом. Собачий Пистолет пошел к Юрию, а Коля — ко мне и Василию Сергеевичу. Поехали.

— Последний раз я еду с вами, — сказал Василий Сергеевич, — довольно этих штук.

— Вот смотрите, ежевика.

Действительно, у края леса, на бугре, по речке была заросль ежевики. Я стал собирать в ладонь большие черные ягоды и слышу опять:

— Вы не смеете, милостивый государь, мою жену называть «дура»!

И я подумал: «Почему “государь”, да еще “милостивый”? Как глупо. Почему “милостивый”?» И собирал ягоды. И вижу, как сбоку от меня Коля Куров плюет и сделал кислую рожу. Я говорю:

— Что ты, Коля?

— Да клоп, — отвечает он, — какая гадость, древесный клоп. Понимаешь ли, я его раскусил.

— Ой, как? Боже мой!

— Черт-те что. Дай закурить. Ой, как это, вот мерзость!

— К черту, я с вами не знаком! — кричали у моста. — Я не позволю, — и прочее. Ко мне подошел Миша Багряновский. Я предложил ему ягод. Он сказал:

— Ах, как я страдаю.

— Вот я страдаю. Я клопа, кажется, проглотил, лесного. Оставьте, Миша.

В это время у моста стоял голый Сахновский, и Кузнецов, и странно замолчавший Собачий Пистолет, все голые. Собирались купаться.

— Собачий Пистолет, полезай первый, — кричал Юрий.

Литератор не обращал внимания, как <на> не относящееся к нему. Это было заметно, он был горд.

Голый Юрий был ужасен. Тело Рубенса, живот имел носорожий и щеки, висевшие складками. Василий Сергеевич был в норме и здоров же, а литератор — грудь впалая, худой и сине-белый, с желтыми волосами, как какой-то голодный дервиш.

Василий Сергеевич кричал:

— Черт! Гляди-ка, какая шишка еловая у него, — показывая на Собачий Пистолет.

— Ха, ха, ха, — горланил Коля.

— Мишка, — кричал Юрий, — вот смотри, вот бабы его любят, ей.

— Ну что за глупости. Все бабы, брат, такие.

— Что ты?

— Да, но у меня сын.

— Что же, сын? Мало ли еще баб? Много. Еще сыновья будут.

Полезли купаться. Собачий Пистолет гордо выдержал их смех и в стороне влезал в речку, мочил голову и тихонько шел на тоненьких ножках в воду, тихо вступая, поднимая то одну, то другую ногу почему-то высоко. Обращаясь ко мне, сказал:

— Гениум акватикус¹. [Я подумал: «Собачий Пистолет, ну верно».]

Юрий сидел в реке, недалеко от берега, на песочке, и говорил:

— Вот где водку пить хорошо, достань-ка.

Достали, выпили все, и возчики.

— Ах, жрать хочется.

— Юрий, — говорил В<асилий> С<ергеевич>, — скажи, как это ты с таким брюхом с бабой управляешься?

— Ха, ха, ха.

Литератор, в сторонке, войдя в воду немного выше колен, приседал и вскрикивал:

— Ух, ух, ух.

— А верно, Константин Алексеевич, — обращался Василий Сергеевич, — ловко рюмка в воде идет.

Я смотрел с моста в воду. Куча пескарей ходила, и улейки собрались <в> целые стайки. Как хорошо летом.

* * *

Юрия и Василия Сергеевича доедали слепни и оводы. Их было множество. Недалеко, к стogu <?>, было стадо, а Собачий Пистолет не кусали. Он это и сказал, обращаясь ко мне:

— Меня ни слепни, ни комары — никогда.

Услыхал это Юрий.

— Еще бы, — говорит, — сифилис-то и мухе не нравится.

Действительно, началось черт-те что! Такая ругань, будто в порох бросили горящую головешку. Слышно было:

¹ Водяной дух (лат. Genius aquaticus).

— Хам... бездарность... культура... Сократ... ответственность, Трепов... «Русское слово»... Скандинавия... Соболев переулок... Анна Каренина...

Сахновский сидел в воде и, вылезая из воды, сказал:

— Рукописи твои жена сожгла.

И, посмотрев на него, который уж [на]половину оделся, обратился к нам, стоящим на мосту:

— Ну посмотрите на него — сифилитик, ясно. Видите, синий, ведь это гидрат сублимат.

— А действительно, Костя, — тихо говорил, подойдя близко ко мне, Куров, — что это он такой синий? Юра прав — неестественно.

— Ну, пойдёмте. Что ж это вы все ругаетесь?

Стали садиться, поехали, дорога по лугу до Покрова. Вот и Покров виден. А там в гору ельником справа обрыв большой, и Новенькая мельница скоро.

— Вы знаете давно Юрия Сахновского? — спросил меня Собачий Пистолет.

— Давно, — ответил я.

— [Я тоже давно, но] я не ожидал от него.

— Да он пьян.

— Что вы, пьян.

— Ну да.

— И все-таки я должен... третьейский суд... Литературный кружок... я его оттуда так, — и он показал рукой, как сшибают пробку, — так, он увидит. Пари.

— Да ведь это все вздор, — говорю я.

— Нет, не вздор. Как — вздор? [Оттого, что рукопись сожгла жена. Творчество — не пепел. Фить, — он показал рукой по воздуху, — фить...] Жену душой ругать — не вздор. Нет, не вздор. Извините, поспорим.

Едем селом Пречистым. Опять остановились.

— Вот ефту-то надесь церковь-то обобрали, — сказал возница Иван Васильевич. — Сторожа убили.

Василий Сергеевич идет и хохочет:

— [Юрий] штаны надел сначала, а потом кальсоны. Я ему так дал, а теперь удивляется, что белые. Ха-ха.

Девушки встретились, корзины полны земляники. «Продайте — какая земляника!» Ели горстями.

Ах, родина, милая ты моя, как огромна ты!

— Тише, черти, обрыв.

Да, огромный обрыв. Пречистым едем краем, а внизу река Нерль, луга и лес — порубка, и въезжаем в как сделанный мелкий ельник, зеленый, и мох, и выскочил заяц.

— Ружье, где ружье? — кричат совершенно зря. Заяц мелькнул.

Вот и Новенькая видна. Вот она, вот, внизу, уж слышен шум колес.

Новенькая мельница, стоит на небольшой полянке. Окружена большим, с одной стороны, строевым лесом, с другой — овражками и осыпавшимися берегами песчаными, идущими к реке отвесно, покрытыми сверху ельником. По речке — ольховая

заросль, как будто загородка реки, и чудные зеленые бархатные лужки. Плотины загородила реку и сделала ее широкой, а внизу омут, где бегут быстрые струи воды в два разветвления реки, и оба пропадают в ольховых кустах. Выглянуло солнце и осветило этот восхитительный интимный пейзаж, на котором причудливо возвышались крыши и срубы мельницы. Около — домик мельника, с веселыми резными окошками со ставнями, крашенными белым и голубым. Если б я хотел написать картину «Рай», то я бы написал его таким, как в эту пору и при солнце, — Новенькую мельницу. Как хорошо на мельнице, как весело шумит она, тархтят колеса! Ровно стелется ее двор, и на дворе, около нее, стружки. Выбитая травка, куры, голуби, какие-то чурбаки, бревна. Светлый кристалл бегущей воды у плотины в колесах, сухой помост плотины и края речки, песок, и на нем цветные камушки, чистые, маленькие. Стаи рыбок бегают в бесчисленном разнообразии около бережка на ярком песке в прозрачной воде. Все дно видно, а тут же, рядом, густые, зеленые пряди сочной ольхи с фиолетовыми султанами у самой воды. Сухие, чистые берега манят залечь на их бугорках на солнышке. Входит нега и беспечность. Как это не похоже на кабинеты и ломберные столы. Как не похоже на лицо усталого города. Как это тихо, далеко и как светло и беззаботно. Утки плывут в заводи, и кулички летают над водой, садясь на песок, остро обрезающий край воды, в котором синее небо и облака, белые, пышные. Большие рыбы плещутся на поверхности и делают круг, который расходится по зеркалу воды.

— Здравствуй, Никон Осипович.

— Кискинкин Лисеич, добро пожаловать! — Мельник-старик, сажень в плечах, весь, и кудри его, большой картуз, — все напудрено мукой, на бровях, бороде, ресницах — пыль белая. Добро смотрят глаза старика. — Давненько не были.

— Ты что ж, здоров ли? Как вы тут живете?

— Вот гости, здравствуйте. Все тут, жена-старуха, дочери, внучата, Санька и Колька.

Губастые, широко глядят во все глаза. Все рады.

— Вот пряники, леденцы.

— Ух, хорошо. Кискинкин Лисеич, вот сопка ево-то тут, вот что тетерь! Ягоду брали, что куры, — так возьми.

* * *

Телеги наши стали около крыльца. Странны были люди — мы то есть — на фоне этой картины, в шляпах. Тащили мешки, палатки. Где ставить палатку? Вот у бугорка, у речки, вот тут. Василий Сергеевич развязывал удочки на мосту плотины. Мальчики смотрели больше на Юрия. Станный костюм и его толстота больше нравились им.

— Санька, эй, полови скорей пескарей.

Санька бежал к Василию Сергеевичу.

— Самоварчик поставим аль потом?

— Вали.

Палатка росла. Поставили перед ней большой стол, стул, скамейки.

— Не надо, на лужке лучше.

— Нет, Кискинкин Лисеича куры одолеют.

— Ставь стол, закуски тащи.

Все живо бегали, весело. Василий Сергеевич закидывал с плотины в нижний омут. Я устраивал удочки Мише Багряновскому. Взял одну и тоже бросил с плотины. Собачий Пистолет, Коля Куров ходили, ничего не делая. Юрий сел за стол и стал угощать Никона Осиповича, и Батранова, и Ивана Васильевича.

— Дай удочку, — спросил Коля Куров.

— Вот, возьми.

Ребятишки двое бежали с кувшином к Василию Сергеевичу с пескарями. Я взял одного и поставил на живца с большим поплавком. Он упал на воду и немножко заходил. Красив был поплавок из большого белого пера с ярко-суриковой верхушкой окраски на синем фоне глубокого неба и воды.

— Костя, надень мне цирвячка, я не умею.

— Колька ничего не умеет. Вот что <нрзб.>.

— Он вертится, братец ты мой, ничего не поделаешь.

Я надел ему червя. Смотрю, поплавка-то нет. Я схватил удочку — тянет и ведет вправо, к самой плотине. Я дернул.

— Попало, подсачек, — кричу я.

— Подсачек, — кричит Василий Сергеевич.

Иван Васильевич бежит.

— Иди к Василию Сергеевичу.

У меня потянуло опять и завело.

Василий Сергеевич выбросил на плотину большого окуня. Он, как чудная брошка на всей природе окружающего, играл на солнце пестрыми красками.

— Вот так стука! Какой карась-то! Костя, смотри, Вася молодчина.

— Что ж ты, сволочь, какой же это карась? — ответил басом Василий Сергеевич. — А еще университет кончил. Недаром жена дураком тебя угощает.

— А сто ж, это, по-моему, карась.

— Уйди, не мешай.

Собачий Пистолет тоже смотрел:

— У меня так завело и задело, и я оборвал лесу.

Вдруг Миша Багряновский кричит:

— Попала, попала!

И видно было, как в дугугнуло его удилище.

— Стой, — побежал к нему Василий Сергеевич и взял удилище. — Подсачек!

Удилищегнулось, и большая рыба делала круги по поверхности воды. Огромный голавль лежал на помосте в подсачке.

— Вот Миша молодчина, — говорил Куров, — вот так рыбина!

Миша вынул голавля, взял его и спросил, куда его класть.

— В большую саженку, вот она, с краю.

Он пошел по мосту плотины. Голавль очнулся и моментально, как уж, из рук нырнул в воду, тут же, в край верхнего омута. Только и видали.

— На что трудиться с дураками рыбу ловить, — сердился Василий Сергеевич.

На этот грех, Собачий Пистолет стоял сзади Василия Сергеевича и смотрел, и Василий Сергеевич дернул удочку и задел того.

— Вы тут не стойте, а то я глаз выстегну <?>. Вы мешаєте.

— Я с наслаждением ухожу от этой варварской работы.

— Ну и уходи к... а то я, брат, тебе не Юрий, за ножки, и в воду...

Он быстро пошел по плотине, но, выйдя на землю бугорка, визгливо кричал: — Вы, Кузнецов, не смеете мне говорить «ты» — это первое. Второе — я не позволю. Я подошел к нему и стал ему говорить:

— Послушайте, вы же человек интеллигентный, образованный, охота вам с ними. Они же грубы. Вас не понимают. Они очень милые люди, здесь это — отдых, они рыболовы, они никогда не поймут вас, этой, т<ак> с<казать>, высоты.

Он меня схватил за руку:

— Я, я, я, знаете, я так жаждал с вами познакомиться. Вы тонкий художник. Вы наш... Ваша картина, помните, на передвижной, «Проводим» <?> (я никогда не писал такой картины) меня заставила писать и писать. Вы только тут среди этих один меня понимаете. Эти хамы, что им мысль, верней, история мысли?

Он взял меня под руку и повел.

Я иду и слышу, кричат: «Подсачек!»

— Я вам скажу, все скажу. Я родился в Полтавской губ<ернии>, в родовом имении моего отчима Н.Н. Чернобородко. Тетка моя... Но прежде чем перейти к их родословной, я скажу, что я и брат мой, который был старше меня тремя годами, и, может быть, разница лет или, вернее, воспитание, которое он получил в доме моей свекрови, и ее личный характер, который я вам опишу потом и который отразился главным образом не на брате моем, а если взять всю эту семью, состоящую из двух ее пасынков, сестры отца и <ее> свекрови, характеристики которых я вам все, все объясню подробно.

«Господи!» — думал я.

— Когда еще мальчиком я ходил, задумчивый и угрюмый, по улицам родного города...

«Господи, спаси. Как мне от него отделаться?»

— Я уже тогда, — продолжал он, — тогда готовился стать писателем, сокрытым во мне там, глубоко. Но свекровь моей тетки Анны Филиповны, историю жизни которой...

«Ой, — думал я, — спасите! Со-ба-чий Пистолет. Ой...»

— Европа с ее прогрессом, бегущим в изысканиях далеких путей, проявляет индивидуальность, разбрасывая на путях своих достижений...

— Знаете что, — сказал я сразу.

— А что? — удивился он.

— Я вижу, что вы замечательный мыслитель и ум, а западные умы никогда не теряют время, когда у них, полных запасов энергии, должны вырваться наружу <мысли> для света и прогресса (они записывают свои драгоценнейшие сокровища). И вы должны тоже. Ваш рассказ лишь пропадет, растает, и лучшее пропало. Берите перо, бумагу. Эта природа вам даст много, и немедля выберите поэтичное место и спешите изложить ваши светлые мысли. Не медлите, не всегда приходит вдохновение.

Он взял значительно мою руку, кадык ходил по его шее снизу вверх, как будто он что-то глотал жесткое.

— Бумагу, перо, идемте.

В избе у мельника, у иконы, достали пачку бумаги и карандаш.

— Я пойду туда, наверх.

— Идите, идите!

Я был рад отделаться, но что-то жалкое подымалось во мне. Мне почему-то было жаль его. Кадык, его худобу и это прозвище.

На плотине Коля глядел неустанно на поплавки.

— Ну что, берет?

— Нет что-то.

— А Вася щучищу выгасил, и Миша двух лещей поймал. Кто это, Коля, Пистолет, Юрий привез?

— Ну, брат, он такой жулик и ёрник — его все знают. Он говорить может год без передышки.

— Как же, он женат ведь?

— Да, женат. Жена, рожа старая, его бьет. Он в «Русском Слове» справочник.

— Почему же он ёрник?

— Ну, три дела, брат, в суде было, курсистки. Он заговорит их и потом — ау.

— Да что-то непохоже. Что ж это у тебя не берет?

Выгасили, червя не было.

— Что ж тыловишь еще? Где ж червяки?

— Должно быть, съели.

Я стал вновь ловить и увидел, обернувшись, как литератор сидел наверху песочного обрыва и отмахивался от комаров. А Юрий дрых в тени палатки, и моя собака Феб, пойнтер, тоже спала у его живота. Около ходили коровы, мирно щипали траву. Было пять часов дня, надо заказать варить уху и жарить лещей. Я взял ружье, крикнул Феба и через час принес двух тетеревят. Они были большие. Обед будет настоящий. Когда я возвратился, стол уж был накрыт. Собачий Пистолет все сидел на бугре. Юрий за столом. Вася поймал еще окуней и щуку. Куров что-то говорил, подняв брови, Мише Багряновскому. Иван Васильевич и Батранов ставили на стол закуску и самовар. Самовар был огромный. Он был вычищен и отливал на солнце среди этой природы как необходимый член компании.

— Все готово! Обедать! — кричал Юрий.

Пошли понемногу, но и никто не подходил, чувствовалась ссора утра. Я упрасивал:

— Идите!

Все пошли — я ведь ни с кем не поссорился.

Все сели и молчали. Налили водки.

— С началом, — сказал Василий Сергеевич, — а я-то вас, Константин Алексеевич, обловил.

— Верно.

Я поднял рюмку и просил слова.

— Вот что, друзья мои. Вы здесь все переругались, и я прошу вас выпить, закусь, протянуть руку и помириться.

— Верно говорит Костя, — сказал Куров, — а то это черт-те што. Вот Миша — ты его, Юрий, обидел, а он ничего [он знает, брат, что жена-то его того], ну что тут — надо помириться.

Все стали говорить, что нисколько не сердятся. Только Собачий Пистолет встал и сказал:

— Так как всякий культурный человек своего века, как и Европа...

— Сядь ты, довольно, — закричал Юрий. — Это ведь не контора. Знаем, что ты Пистолет.

Он умолк, а я ему сказал на ухо: «Говорите другое, попроще. Мы здесь отдыхаем, вас не поймут».

— Замечательная уха! О, замечательная!

— А говорил — «варварство».

И.В. Блохин говорил:

— А что здесь ягоды в лесу.

— А волки здесь есть?

— Еще бы.

Василий Сергеевич прислушался:

— Неужто на мельницу приходят?

— Да вот на той неделе в Заозерье телку задрали.

За обедом водки оказалось мало, и вина не было. Юрий загрустил. Но все оживилось, когда Собачий Пистолет рассказал, отчего у него белая кожа. Оказалось, оттого, что он дворянин.

— Позвольте, позвольте, я столбовой дворянин, — заспорил Куров.

— Ты столбовой [дурак], но не дворянин, — ответил Юрий.

— То есть как же это? Нет, позвольте! Я докажу, мой папаса...

— Твой папаса, — перебил его Юрий, — служит на железной дороге по тарифу или черт его знает по чему, ты сам говорил мне, что он из кантонистов, то есть его дед. Он же отдавал тебя в филармонию. Я видел, брат, документы. Ну что, почему ты столбовой?

— Позвольте, позвольте, я дворянин столбовой не по папаса, а по мамаса, вот что. Вы извините, постойте, моя мамаса была игуменья Успенского собора, то есть не собора, монастыря.

Все хохотали.

— Что вы смеетесь?

— Что ты, леший, ты от игуменьи родился?

— То есть как так, от игуменьи? Это была бабушка, она пошла потом в монастырь, урожденная, — сказал <Куров>, грозно и значительно сдвинув брови, — Сверчкова-Попчипузова.

Все хохотали. Он был доволен и замолчал.

— А ты, — сказал Юрий литератору, — никакой не дворянин, так как фамилия твоя Жучкин. Из дворовых людей, прозвище собачье. [Может быть, потомок псарей, и это еще хорошо, псари, а вероятней, из лакеев.]

Собачий Пистолет вскочил, глаза бегали во все стороны.

— Да, я не имею удовольствия быть незаконным сыном князя Голицына. Но отец мой статский советник Христофор Викторович Жучкин.

Опять все — «ха, ха, ха».

— Ну, прощайте. Когда приезжать? — говорили Иван Васильевич и Батранов.

— Да мы здесь останемся завтра целый день. Приезжайте к семи вечера.

— Я не могу остаться, — сказал Собачий Пистолет. — Мне в Москву надо утром.

— У вас есть оружие? — спросил он у Ивана Васильевича.

— Чего? Оружия? Нету.

— А как же стада волков?

— Чего тут, явный факт! Они нешто нас съедят? Не, им ты худой. Вот его бы, — показал Батранов на Юрия, — а в тебе есть-то што?

Все смеялись. Выпили на прощанье. Положили яиц, ватрушки в дорогу.

— Ну прощай, законный сын, — говорил Юрий, уж изрядно выпив. — Мне совершенно плевать, чей я сын — Голицына или еще хуже. Мне все равно, но я твердо знаю, что я еще не сукин сын, а это много. Ну, прощай.

Собачий Пистолет сунул мне бумагу, сказав:

— Прочтите. Я вас увижу и [доскажу потом], когда не будет этих...

Миша Багряновский:

— Я тоже поеду, мне необходимо завтра к Зимину — дела.

— Ну, прощай, Мишка, не сердись.

— Я не сержусь нисколько. И потом, она ведь и не жена мне, то есть по закону.

И мне все же неловко как-то.

— Уехал, слава Тебе, Господи. Мишу жалко. Дурак ты, Юрий.

— Ты за каким лешим привез этого болвана к Константину Алексеевичу?

Юрий глядел и молчал.

— Да, но вот что, я в редакции сказал, еду к Коровину, а он: «Поедьте вместе».

Я его хорошо знаю и вижу, что он меня надул. Зачем он приезжал, неизвестно.

— Да ты знаешь его хорошо?

— Нет, очень мало.

— А разве ты его не знаешь? — обратился ко мне Юрий.

— Совершенно не знаю. Я даю тебе честное слово.

— Странная штука!

Кузнецов хохотал, и глаза закрывались сами по себе.

— Я его, — сказал Куров, — знаю. Такая балда, жулик. Он же справочник в редакции. Ну, вот что-нибудь в библиотеке отыскать, вырезки прошлого года. Его посылают, а жена дурочек держит.

— Да я знаю. Я думал, что это Юрий — кого к Косте привез, зачем это? Он подловит девчонку, а жена потом сводничает.

Вся ржал, Юрий мигал.

— А почему Собачий Пистолет кличка?

— Он говорит, так похоже. Его в кружке Мишка Климов прозвал, я знаю.

— И ты совсем его не знаешь, Юрий?

— Не знаю. Ха-ха-ха!

— Пойдите, он тут мне оставил рукопись, на бутре что-то писал. Вот она, читай,

Юрий.

— Где очки?

— Дай я прочту, — сказал Куров.

— Читай, читай.

РУКОПИСЬ

«Природа и культура»

Если европейский глаз возмог бы проникнуть в ту чудовищную природу вещей, которая окружает меня в настоящую минуту и тоже моего собрата и единомышленника, страдающего окружающим невежеством и варварством среды, из которой нет выхода.

Добрейший друг мой, Константин Алексеевич, я жму Вашу счастливую руку и говорю, да, брат, судьба нас связала, но они, они, эти убийцы энергии и вдохновения, задушили своим началом это наше с Вами начало близкого, истинного знакомства. Если б я не стал купаться, то ход событий получил бы обратную сторону. Но я спасу Вас во что бы то ни стало. Я приду один и спасу Вас. Я вырву Вас из когтей некультурных людей. Конечно, не лишая Вас знакомства с умнейшим — это Н.Н. Куровым. А остальные?! А эти берега, которые поросли глухими кустами, и эта мельница. Ах, они ждут Вас, Ваших рук. И рук европейцев — железа и бетона — и дорожек, посыпанных песком. Эта река тоже неровна и разнуданна, как Ваши пошлейшие друзья (кроме Н.Н. Курова), глупые. Жилище мельников — что это? Разве они поймут Ваши идейные картины «Учитель» и «Проводим» (я никогда и не писал таких) — никогда. Им дорожке печной горшок. Мы разрушим с Вами этот мир. Это место будет ровно — реку введем в берега и оместим края камнем, где не будет зарослей и сору. И поставим купальню для безопасного употребления. Да, я это хочу, я отныне буду влиять на Вас, страдающий друг и брат мой. Это Ваше имение я возьму отныне в свои руки, и жена моя Л.Н. будет им распоряжаться. Она насадит цветы и сделает клумбы, и Ваши картины будут покупать иностранные меценаты и говорить о них, как и у нас. Культура.

Юрий хлопал глазами. Василий Сергеевич хохотал до упаду.

— Цорт-те што, — сказал Коля Куров.

Василий Сергеевич показывал на Курова пальцем и не мог сказать ни слова, только два выговаривал с расстановкой:

— Самый умный! — и опять без удержу ржал. — Самый умный... — и опять...

— Ну что ты, это уж глупо, ну что тут такого?

Я не мог терпеть, задыхался от смеху:

— Юрий, ну что?

И Юрий захохотал.

— Имение-то это мое, — хохотал я, — реку камнем мостить, — ха-ха-ха.

— Ну сволочь же. Колька самый умный. Ой, ха-ха-ха.

— Да что вы, черти, — сказал Колька, — ведь написано не очень уж глупо.

— Ха-ха-ха.

Это было трудно терпеть. Подошедшая мельничиха тоже смеялась. Юрий катался на животе. Коля Куров смотрел в недоумении, и это было всего смешней.

— Послушайте, надо этого Пистолета, [сукина сына], воротить, — сказал я. — Такого не найдешь. Откуда ты его взял, Юрий?

Юрий и Василий Сергеевич давились от смеху.

— Я не понимаю, в чем дело, — сказал Куров.

— Откуда у него взялось в голове, что это мое имение? Почему мое? Кто это ему сказал, вообще, что у него в голове сложилось, попав в нашу компанию? Что он думает? Он будет влиять на меня? Ведь это оттого, чтобы уладить это надутое настроение этой ругатни, я ему сказал, что «они вас не понимают. Вы культурнейший, исключительный ум». Он увидел и сразу сообразил, что я глуп, раз считаю его таковым, и, значит, я тот, которому можно втирать очки Собачьим Пистолетством, и, как жулик, сообразил и выгоду: только вот убрать этих. И он со мной и с его женой начнет

культивировать имения мои. Что, как это всегда у жуликов нет догадки, что их видят тогда, когда они выходят из пределов их привычной среды? И вот почему Кольку он счел умным. Он увидел, что Кольку-то он как хочет обработает.

— То есть как это, позвольте? То есть как это он меня обработает? Но нет, брат, это погоди, это ты, Костя, зря, брат!

— Он и на вас на всех как смотрит? Вот, мол, Коровин, знаменитый художник. Имение, у него в голове шут знает что. Коровин богач, вздор — вино, икра, балык, вздор, по его мнению, праздно проводит время [и в самом деле может казаться]. Вы его обираете, пользуетесь и держите в руках, живя на его счет, и, видя вас впервые — весь тон, и наши глупости, и этот вздор, — он счел за ужас общества. По скудоумию он забрал себе в голову спасать меня от этого скверного общества — к себе, к жене — сажать цветы, клумбы, как в Пушкине на даче.

И почему-то это у него в голове Европа? Но ему не понравилось, что Вася сказал: «Уйди, я не Юрий — за ножки и в воду». Он быстро ушел с плотины. Верно говорит Колька, что он курсисток обдeldывает. У него ход — влиять, заговаривать, идейщик. Таких жуликов я видел много. Курсистки любят и считают его идейным работником. А он потом торгует ими ради денег. Это верно говорит Колька, что он жулик. Только как он не видел, что я, говоря ему «высокий ум ваш», смеялся. Как и почему я угадал, что он не примет это за ложь, а примет за чистую монету, вот странно. Как он сел на бугор писать «вдохновение» свое, не терять часы дара небес? Как это? Потому что он привык работать там, где верят его идейной болтовне, и женщины любят искать духовной пищи ради каких-то благ и даров своего спасения — влиять, но, по глупости своей, попадают в руки подобных котов и жуликов. И вот Колька — «умнейший человек». Почему он ничего против него не имеет? Ясно, он его заговорит. Колька будет спорить с ним, не будет согласен, ну, это ему только и надо — с ним говорить, это уже все...

— То есть, позвольте, как это он меня заговорит?

— Поймай, он, чтоб казаться, объявляет себя литератором. И что он пишет? Он и придумал, что рукописи его нечаянно сожгла жена, чтоб ты, Юрий, пожалел, сказал: «Как это вы так неосторожно?» И вот ты был бы тоже умный, и тебя можно было бы оставить при мне. А ты, по рассказу же, что жена сожгла рукописи мужа-писателя, сказал: «Ну и жена дура у вас», т<ак> к<ак> ведь самым рассказом он уж сказал, что жена дура... А разве то, что на его вопрос «в Охотине ваше имение больше Шаляпинского?» — я нарочно ответил: «У меня огромное. Шаляпин — что». — «Я думал, он твой друг. Вы картины и пишете здесь?» — спросил он. — «Это мастерская?» — «Нет, — ответил я, — это охотничий домик. Мастерская моя там», — показал я в окно (то есть хотел сказать — в природе). Он и вывел из этого, что и эта мельница мое имение. Вот теперь я догадываюсь. А это желание казаться культурным — у него это слово на каждом шагу. Его рыцарская речь с пафосом в защиту женщин и жены — это совсем не очень-то простой преступник, но очень вредная тварь. Вот вы увидите, что он будет говорить дорогой Ивану Васильевичу. Но ведь мужичок-то хитер. Иван Васильевич сразу его разгадает. Ну — я пойду писать — вечер будет замечательный. Поди-ка, возьми эти тона на темных ольхах. Они и черные, а и светлые.

И я решил собирать инструменты и, выбрав место, начал этюд. Коля сел около.

— Знаешь, Костя, — начал он, — я не знаю, брат, что мне с Раисой (женой) делать. Вот Миша, он не женат, брат, а я ведь женат. Приду домой, есть хочется — ничего нет. Она ушла или спит. Это не жизнь. У меня ведь дочь. А то я ее бы бросил.

— Но отчего же, Коля, если она тебя не любит, а это ясно, она тебя не бросит?
— А кто ее знает, я бы рад был. Я ей говорил: «Разойдемся, пожалуйста». А она — «Нет».

— Ведь ты даешь деньги или у ней есть?

— Я, у ней ничего нет.

— Дак ты ей скажи: «Вот вам столько-то».

— Говорил. Нет, брат.

— Но ведь она может выйти замуж?

— Не хочет — дураков-то нынче мало стало. Вот этот Пистолет — это ее знакомый. У них там какие-то заседания литературные. Этот еще из кружка, как его? Его «Женское тело» прозвали — он издает журнал «Женское дело». Тоже парень ловкий насчет баб.

— А может быть, она живет с кем-нибудь?

— Кто ее знает. Может быть. Дочь мою жалко. Она способная такая, пианистка, первая ученица, брат. Отец мой дочь любит мою. «Терпи, — говорит мне, — Коля. Я тебе не советовал на ней жениться. Характер скверный у ней, говорят, был...» Она при нем совсем по-другому со мной, такая любезная. Так ловко притворяется. Ну, бабы, такие они, ну! Отец говорит: «Ты сам, — говорит, — виноват. У тебя такая прекрасная жена». А я ведь, муж-то, я знаю, прекрасная или не прекрасная. Что же это он говорит?

* * *

А солнце вечерними лучами заливало берега и лес, кладя голубые, фиолетовые тени далеко, длинными коврами, пересекая овраги, обрывы и выступы бугров. Ярко, пышно, бархатом ложились его желтые лучи, весенние, насыщенные на стволах деревьев и обрывах песков, опрокидывая все в зеркале вод. Как хорошо! Как хороша ты, природа! Как прекрасна жизнь!

И зачем так много горя в сердце человека и так много зла? Неужели это все только по глупости его? Да, по глупости. Зачем нужен ему, человеку, этот ад? Зачем он делает его здесь, на земле, так как ведь живет-то он в раю? Ведь это, вот это — рай. Да, рай. А внутри голос говорит мне: «А рыбу-то ловишь, ей — рай? Ешь ее, ей — рай?»

Кончив этюд, я пошел его укладывать в ящик. Шел плотиной. Слева, сбоку, в воде до половины стояла большая корзина, которая употребляется для сена, а в ней плавают пойманные рыбы. Я посмотрел кругом и вижу, что никого нет. Опрокинул корзину. Рыбы было много. Как стрелы, разлетелись они в быстрой воде и пропали в глубине. Но, дурак или умный, лец не выходил. Он думал, еще какая-нибудь ловушка приготовлена, лучше, мол, в корзине сидеть. Но я его вытолкнул муштабелем, и он пошел, тихо и важно. Они, лецци-то, такие важные, как столбовые купцы. Из людей больше всего похожи на леццей немцы. Ведь если посмотреть, то есть кое-какое сходство в природе. Например, Коля Куров похож на плотву <?> или уклейку, а Юрий — на линя. Вася не похож на рыбу, он похож на собаку дога. Собачий Пистолет — на ерша, а я — на черныша тетерева. Шаляпин — на мандриля — есть что-то общее.

* * *

В этих раздумьях я зашел в палатку. Юрий спал. Коровы возвращались на ночь, их было четыре. Они подошли к речке и, по привычке пить свежую струю, опустили головы к воде, и одна — в самую корзину, поставленную на рыбу и глубоко уходя-

щую в воду. Василий Сергеевич и Коля возвращались. Так как коровы были у самого моста плотины, заподозрив, что они бодаются, он и Коля остановились. Я крикнул им из палатки:

— Эй, смотрите-ка, коровы-то рыбу сожрут!

Коровы долго пили и тихо пошли, повернув от реки в стойла сарая. Вася посмотрел в корзину — рыбы нет! Я лег в палатке и вроде как заснул. Василий Сергеевич убежал в палатку:

— Слушайте, какая штука, рыбы нет!

Я проснулся, и Юрий.

— Рыбу коровы съели, смотрите!

Я пошел посмотреть — рыбы нет?! Коля дивился, мельник тоже.

— Коровы ваши съели.

Мельник смеялся.

— Я сам видел, как ели, — говорил Василий Сергеевич.

— Нешто корова рыбу ест, что ты, паря?

— А куда ж она делась?

— Конечно, выпрыгнула. Ей што? Вот язи на сажень сигают.

— Вот так штука, — я говорил.

Горячился Вася, что прикалывать ее надо:

— У меня и кинжал, нарочно купил. Теперь кончены шутки, я им головы прочь, голову все равно не едят.

— Она и без головы выскочит, — сказал Коля, — она, брат, хитрая. Нет, надо покрышку или сетку.

Пока шел разговор, как коровы рыбу съели, я поставил семь донных удочек справа от плотины, снизу. Лески бросил далеко в омут. На выползка — три, на хлеб — одну, две на пескаря и еще одну на лягушку. Вечерело. Покрылись тенью леса и доли, синие таинственные покровы близкой ночи, а вот за дальним лесом над елями встает, как щит, полный месяц. На лаковой пелене неба он загадочно показался красным красавцем, как какой-то странный сторож ночи. Говорит: «Я иду смотреть. Ну что тут, вы как?» А мы отвечаем: «Ничего, помаленьку, не так, чтобы очень». Месяц — выше и светлей, переодевается в желтый цвет и начинает все превращать в тишину, в сладостное тихое замирание, зачем-то сладкое и живое. Как хорошо, как восхитителен дозор твой, милый месяц!

А Санька говорит:

— Кискинкин Лисеич, разве можно месяц матерью ругать?

Я удивился:

— А кто его ругает?

— А Василий Сергеич.

— За что?

— А кто его знает. Ведь он тоже Божья тварь, небось грех.

— Конечно, — говорю я, — нешто можно? Санька, — говорю я, — давай готовить костер у палатки. Я буду костер писать.

Санька побежал за хворостом. Опять самовар тащат. Приятели сидят у палатки. Вася больше не ловит, так как днем он — храбрый лев, ночью — ну, заяц, трусо-

ват, видений боится и разных домовых, дворовых омшайников, лесовых, а их тут несчетно, все они не очень ядовитые, а все же попутывают, русалки, вот эти дрянь — просто топят.

— Вася, посмотри донные. Вася?

— Нет, брат, ночь стала. Что вы, Константин Алексеевич, идите сами, я устал, надо закусить. Это не ловля, ночью ничего не попадет. Видите, месяц полный, рыба не берет.

— Я посмотрю пойду, — вызвался Коля.

Пошел. Слышно было его шаги на плотине, за которой уже не было видно ничего. Огонь делал ночь темней. Кричит:

— Идите, идите!

Я побежал.

— Смотри, что это я вытащил, я боюсь!

На песке лежал сом, фунтов в десять.

— Вот так ловко! — Коля был в восторге. — Знаешь, я его — смотрю, погоди, а он дергает. Я как дерну и тащу и побежал с удочкой по берегу что есть сил. Смотрю, задело, а он уж по берегу за куст задел. Ловко. Васе не поймать.

Мы понесли сома к палатке.

— Вот те и месяц.

Василий Сергеевич расхрабрился и пошел позвать Саньку ставить донные слева от мельницы.

— Не ставь сюда, — говорил Санька, — тут в омут, с этого краю, в старину мельница ушла с мельником, дедушка говорил. Он теперь водяной, его матрос видел. Ён там сидит, ночью выходит, смеется, все слышали.

Василий Сергеевич сделал рот дудкой и спросил:

— И ты слышал?

— И я вот слышал. Посиди тут ночью, и ты услышишь.

Ночью омут принимал другую форму, он был темен и мрачен. Стены старой мельницы глядели глубоко в его воды. Крысы бегали по краям бревен, и мрачно и жутко было в его тихом молчании. Колеса останавливались, и только ровно и методично, тихо, как тайный шепот, бегут струи вод с плотины. Это не нарушает таинственной тишины окружающего. Весело горит костер, искры ровно идут, рассыпаются в темном и ровном куполе ночи. Месяц поднялся высоко. Фонарь освещает холст, и какая красота красок. Какая тайна и радость <?> в этих тенях, в пропадающих контурах. Каждый кусок поет гимн красоты поэзии — чистой поэзии созерцания. Какое значение этой дивной ночи, какой покой и мир здесь. Здесь рай. Да, правду говорю я. И ад здесь. Собачий Пистолет — это ад, а мельник-старик и его душа — это рай.

* * *

Никон Осипович сидел у костра, Санька и еще двое помольцев. Они сильно освещались, и как было прекрасно лицо Никона Осиповича. Большой лоб и глаза, с орлиным носом — классический тип русского красавца Великороссии.

— Когда старшиной я был, едал я одна этаку-то рыбку в Москве, купцы угощали. Был такой Громов, он наш, заозерский, селедкой торговал. Теперь богатейший, говорят, стал, — говорил Никон Осипович, закусывая балыком стаканчик водки.

— Наша рыба что, трава и трава, я ее и не ем. Окунь еще ничто, а то труха, никакого скусу нет. Вот вы охоту имеете ловить. Это, можно сказать, время проводить. Тут

ведь ее масса. Неводом пробовали заозерские. Да ну невод-то оставили. Матрос из Остеева тут, парень ловок ловить. Он ныряет, и руками в норы — из норы берет. Вот налимов в аршин таскал. Но и попал. Нырнул вот тут-то, слева, у кожуха, да и выскочил сам не свой.

— Спасите! — кричит. — Чур меня!

— Чего? што?

А он нырнул, а тут место нечисто, мельница там стоит старая, на дне-то, ушла, ее видать в утро, когда солнце вбок. Кричит:

— Батюшки!

— Что ты?

— Я, — говорит, — нырнул, а там колеса, все в бодяге, как подушки, а посередь мельник сидит — гора, толстенный, белый, и глазищами на меня глядит этак страшно.

— Ты, брат, шабаш боле ловить.

— Нипочем, — и сам на службу уехал. Прощай, и дом забыт.

— Неужто правда? — спросил Василий Сергеевич.

— Вот-вот, истинно. Лодку я ставил, челн. Уж ты што, утопил. Так его хозяином и зовем. А ночью, когда ненастье, — смеяться зачнет, помольцев пугает. Вреда нет, а пугает только, все знают. А в темные ночи вот купаться зачнет — весь омут ходит.

[«Сом большой», — подумал я.]

— Сом, я думаю, — сказал я.

— Кто его знает. Сомы тут есть огромные. Чего уток жрут. Туда и не ходят, в нижний-то омут.

Василий Сергеевич, слушая рассказ, ротик сделал дудочкой и выразил сожаление, что донные туда поставил, и что мельник тот сидит там, в колесах, — штука странная, и что его надо острогой дернуть.

— Нешто острогой его возьмешь, — вступил в разговор помолец, — там глубина-то и никакого шеста не хватит. А я ведь его разок видал. Приехал это я к ночи в праздник на буднях, чтоб с утра первым молот. Уж поздняя пора — Покров. Никого нет, и в дому никого, все в гостях, что ли? Я отпрягать стал свою бурку, отпряг, сена дал, гляжу в мельницу-то, батюшки! А в оконце-то над жерновом он и глядит. Огромный, ручищами держится за косяк-то. Я: «Да воскреснет...», а он и упал в воду, меж колес-то.

— А каков он из себя? — задал вопрос Василий Сергеевич.

— Да как сказать, ведь рожь-то, и ее нету, а ровно как колено. Только волосатый. Белый как снег.

— Константин Алексеевич, вот так штучки, вот местечко, полови-ка тут! А я донные туда поставил на ночь! — тараторил Василий Сергеевич, испугавшись.

— А как бы камнем ему в морду? — сказал Коля.

— Камнем? А он тя утащит. Нет, его камнем нельзя, ведь он ничего, вреда от его нет, он пугает только. Жилец здешний, так горе ему положено — в воде жить. Он, слышно, колдун был, у ево и мельница через эфто в воду вся ушла. На Остеевской на шахте <?> мельник жил, помер он. Колдун был, и жулик такой. Вот при тебе мужику меру муки сыпет. Полный мешок, туго завязывает. Привез домой, ан полмешка и завязано. Глаза отводить умел. А одна — вез до дому муку, а привез картошки — на поди!

— Слышали, слышали? звонит — ишь! ишь!

Донная звонила, и ясно было слышно в тиши ночи мелкий звоночек — звонило постоянно.

— Поди, Вася, это у тебя.

— Благодарю покорно, там свалишься.

— Вот фонарь.

— Это не у меня звонит. Пойдем вместе.

Пошли все [фонарь освещает]. Отошли от костра, стало светлей. Луна светит. Прошли мельницу, и тут же, за ней, был крутой спуск. Внизу поставлены донные. Но уж не звонило. Подошли, но донной нет.

— Вот так штучка, хозяин, его дело.

В сторону от нас заколыхалась вода, и раздался вздох и храп.

— Что это? Да воскреснет!..

Что-то затряслось. Василий Сергеевич бросился бежать. Коля и я:

— Что это? Вот дак штучки! Санька, беги за нами!

А Никон Осипович:

— Чево вы, это лошадь.

— Ты знаешь, какая штука? Где же удочка? Больше сюда я не еду, — сказал определенно Василий Сергеевич. — Удочки — прощай. Хозяин, что он, рыбу, что ли, ловит?

Опять вдали тихонько зазвенело.

— Пойдемте.

— Ну нет.

— Санька, бери фонарь. Пойдем.

— И я, Костя, пойду. Пойдем, Коля.

Мы пошли плотиной к моим, и я увидел, что из семи удочек осталось две. Крадут. Только при свете фонаря я увидел, что две плавали в воде не очень далеко от берега. Я пошел в сапогах. Надо глубоко, не достать. Взял с берега шест и изловчился, тяну одну. Она выскочила и быстро пошла от меня по воде.

— О, да там рыба сидит, их выдернули из песка.

Я стал ловить вторую и схватил — тянет. Попало. Ой, задел. Подождал — отпустило. Тяну — пусто. Вдруг опять тянет. Я на песок вытаскиваю большого голавля. Мы несем к палатке. Юрий пошел опять в сарай на сено. Вася сидел с Никоном Осиповичем, и он говорил:

— Хозяин?! Неужели это правда? Здесь жить нельзя, нельзя.

— Живем. Да что говорить, болтают больше. Я что здесь живу, ничего евдокого не видал! Разок было, давно этому делу. Ну, напугался я шибко.

— А что такое?

— Да вот иду я этак лесом из Заозерья, вот туточко, по дороге в Козельники <?> вот недалече, и мостик тут, и тихим голоском из-под мостика: «Берегись, дедушка Никон». Явственно так, да так жалостливо. «Господи, — думаю, — что это он под мостиком?» Посмотрел и оробел — никого нету. Мостик-то и овражек — махонькой. Робь меня взяла. Иду. Вдруг как грохнет передо мной, затрещит. Огромная сосна прямо в шаг от меня упала. Ну, задавила бы. Я заробел. Домой прямо бегом. А боле ничего и не было. Ангел, знать, это был. Пошто жисти моей хотел <нрзб.> знать.

— Бывает. Это-то хорошо, а вот хозяин...

— Не понравился хозяин, что в омуте сидит, Вася? — сказал я.

— А кому может понравиться, Константин Алексеевич, такая гадость? Морды у него нет, и, если это правда, это ведь жить тут нельзя.

Нам клали сено в палатку, так как спать в сарае не хотел ни за что Василий Сергеевич и нас не пускал. Да и уж весело быть вместе! В палатке горел фонарь. Я лег справа, Василий Сергеевич посреди, Коля — слева. Василий Сергеевич взял от <2 нрзб.> ружье и топор и положил около себя.

— Что ты, Вася, вооружился? — смеялся Куров.

— Чего ты смеешься? Вот посмеешься, здесь, брат, местечко глухое, вот оно что.

— Что ты? Дом рядом, помольцы.

— Вот помольцы, они-то и зарежут. Нет, со мной шутки плохи.

Легли.

— А зачем это Юрий Мише сказал про жену, нехорошо.

— Чего нехорошо? Нет, хорошо. А что ж, лучше, что он дураком ходит? Друг должен сказать. Что ж, он не видит сам, дурак? Так сказать должны.

— Пожалуй, верно. Женщина — это очаг, а какой уж тут очаг? Смотри, вот что это у сарая-то? Что? Что?

У сарая ходит белая фигура, толстая, остановилась, села.

— Вот ты, черт, хозяин! — Василий Сергеевич смотрел, приподнявшись, с выпученными глазами. На луне фигура белела.

— Идите сюда спать, на сене хоро-о-ошо, — кричала фигура.

Хорошие рыбы — лец большой. Посадили в сажалку, закрыли.

— Ну, чай, самовар, есть хочется. — Василий Сергеевич забыл хозяина. — Надо Юрия будить.

Колька пошел за ним. Идет назад:

— Юрки там нет.

— Как — нет?

— Нету.

Пошли все. Сарай открыт, сено. Ищем — нет его, ушел, куда ушел?

— Санька, где Юрий Сергеевич?

— В сарае.

— Нет его там. Никто не видал.

— Пойдем ловить.

Я устроил спиннинг и стал бросать. На третьем забросе села рыба, шереспер. Как он кружит, сильно бьет воду, гнется спиннинг. Серебряный красавец попал.

Одиннадцать часов, Юрия Сергеевича нет. Коля забеспокоился:

— Не утоп ли Юрий?

— Утащил его хозяин.

— Нет, купаться стал? не утонул ли?

— А где ж платье?

— Да, верно; куда ж он делся?

[— Я поглядел. Смотрю — сотня. Не ошибся ли он?

— Чево это? За красную <?> две лошади купить можно.

— Бери, Иван Васильевич, это он всегда — не сумлевайся.

«Трах! Трах! Трах! — раздавалось в заводи. — Трах!»

И стаи уток, вытянув полные <?> шеи, летели кучками.

«Трах! Трах!» — опять.]

— Иди сюда, Костя, слушай-ка, что Иван-то Васильич говорит.

Я подошел к палатке.

— Слушай, я ему морду набью в кружке, — кричал Василий Сергеевич.

— Да чего говорю. Этот-то господин, что поехал с Батрановым, ко мне пересел и очень стал бранить Василия Сергеича и всех. «Я, — говорит, — приеду в Москву и к прокурору всех, всех, кроме Константина Алексеича и Николая Курова. Всех, — говорит, — за решетку. Вы, — говорит, — не знаете, какое у вас тут дело затевается. Против Государя вы все, которые возле Кузнецова, все попадете. Я, — говорит, — Константина Алексеича спасу, а другие — ау, — быть всем в Сибири». Я говорю: «От них ничего этакого не видывали». А он: «Нешто они вам покажут что». «Ты, — говорит, — до поры до времени никому этого не говори. А я, — говорит, — сам сюда с жандармами нагряну. Вас выручу, а уж им будет жарко!» Вот ты, Юрка, какую ты сволочь к Косте привозишь. Он Батранову говорил сначала, а потом ко мне перелез, и мне начал. А я ему говорю: «Неправда, — говорю, — господин». А он сердится: «Как — неправда? А вот другой-то возчик говорит, что правда». А ведь Батранов на все говорит «Явный фахт». «Я, — говорит, — вас могу защитить. А то и вы ответите». Я ему: «Да ведь они охотой веселятся, что Константин Алексеич боле нашего картины работает». — «Что вы говорите, это они глаза отводят, они там динамиту готовят, и мельник с ними заодно».

Мы все смотрели, выпуча глаза.

— А я только ему сказал: «Что вы это, господин, все зря, с досады. А потому, что брат мой здесь на станции служит, и его жандарм старший очень хорошо знает, и меня, то позвольте вас им представить взапременно, чтоб на нас этакую ябеду не вили. А там дело разберут».

— Ну что же он?

— Ну, что и говорить, грех. «Я тебе и то, и это, и десять рублей, и плед подарю», — и так, что смотреть на него противно. Ну, поехал. Так ласково прощается. «Вы, — говорит, — это забудьте».

— Ну что, Юрка, кого это ты привез?

Юрка мигает.

— Я не вы, я ему буду морду бить в кружке, — кричит Василий Сергеевич.

— Я тоже, Костя, в морду дам ему.

— Позвольте, эдакая скотина, ведь эдакая же сволочь.

— Нет, Юрий, брат, так нельзя.

— Да ну его к шуту. Жаль, что он был здесь, воздух испортил. Отвратительное воспоминание.

[— Вот охотники идут. Не говорите им этих мерзостей.]

— А Батранов-то не приедет. Тут я с двумя подводами. У его праздник, к родным поехал. Он ведь чуден больно. Он мне сказал, что этого барина-то ведь В<асилий> С<ергеич> утопить хотел и он в суд на его подаст. Я вот приехал. Почто, думаю, дома сидеть, дела нет. А тут, у вас-то, веселей жисть. Да и дорога <2 нрзб.> не сломать бы что. Лучше бы завтра поутру аль теперь.

— Верно, Иван Васильич, завтра поутру и поедем.

— Ну что, Николай Николаевич, как дела, вы без охоты?

— Ну нет, как же. Я сома вот какого, — показал он больше вдвое, — вытащил.

— Ишь ты, посмотрю пойду.

— Ну, жара, а Вася опять ловит. Пойду-ка я с ружьем, а то Феб на меня сердится. Только взял ружье, Феб затанцевал и стал лаять.

— Пойдем, Феб, в заводь.

— И я пойду, — сказал Юрий, — и я.

Заводь недалеко. Вошли в бор, солнце пятнами бросало щедро блеск через ветви строевого леса. Пряный воздух сосны.

— Смотри, грибы.

— Что же мы не догадались, грибы наберем. Это поганка, а это тоже вот подосинник.

— Куда же их?

— В шапку.

— Вот белый, — говорит Коля.

— Нет, какой белый.

— Что ж, но это хороший моховик. Едят.

— Пойдем туда, мельче лес. Смотри-ка, какой, вот другой, — Юрий нашел.

— Это белые, это верно. Еще — во мху они.

Феб вправо забирает.

— Я пойду, а вы тут грибы берите.

Феб ведет. Странно — долго я все иду, край леса, рядом — мелкий, дрова. Феб стал. Опять ведет. Я выхожу в мелкий. Где Феб? Смотрю — нет Феба. «Тр, тр», — взлетел шум с резким треском, и прямо посреди неба из большого леса показывается глухарь — почти подо мной падает. Феб выбегает и несет, поднял его, гордо и медленно несет.

— Фебушка, молодчина, дай-ка, дай.

Феб с глухарем ходит вокруг меня. Желтые глаза его весело смотрят.

— Ну молодец!

Отдав, он вспрыгнул ко мне и вновь пошел в мелкий лес.

Ягдташа не взял, как тащить? <Нрзб.> хоть привязать и повесить на плечо. Неудобно.

— Феб, Феб, — кричу я.

Феб, слышу, идет. Я повернул.

— Пойдем, Феб, на заводь (Феб понимает слова).

Прямо взял по краю леса. Вот белый, огромный, уж скис, другой, еще, а вот поменьше. Червивый. Куда я их положу, если и хорошие попадут? Лес кончается, вправо заводь внизу. Я взял лесом, вдруг Феб сразу встал мертво. Я подошел:

— Возьми!

Феб сделал шаг.

— Возьми!

Еще шаг, другой, и треск. Мы видим, на меня прямо вылетела точка. Вправо мимо меня — два. Я выстрелил и ближнего убил. Феб стоит.

— Возьми.

Вылетел еще, и этого убил. Я взял, а второго не найду. Сзади вылетает еще.

— Феб, сюда, ищи.

Феб встал.

— Пиль!

Нес места. Вдруг хватает первого. Слышу:

— Ау, ау!

— Ау, — ответил я.

И кто-то бежит:

— Костя, Костя!

Иду. Феб опять встал и ведет. Стал.

— Пиль!

Опять ведет и... стал.

— Пиль!

Вылетает черныш. «Бац! Бац!» Черныш падает на ровное место. Феб несет. Слева стоит Коля:

— Костя, голубчик, Юрий пропал, не заблудился ли?

— Найдется.

— Я ему «ау, ау», а он ни гу-гу. Смотри, Феб-то, что это у него во рту, какая-то птица?

— Тетерев.

— Ну, брат, я первый раз охоту вижу. Вот хорошо.

Феб положил тетерева и опять взял, и стал ходить кругом около Николая Николаевича.

— Ну дай, дай, Фебушка.

Феб положил.

— Костя, голубчик, это не тетерев, тот серый.

— Но это петух, черныш, а то — тетерка.

— Вот что! Какой здоровый.

— Вот здоровый, — обернулся я.

— Батюшки, что это? Я никогда не видал таких. Вот так птица! Матушки! Да ты весь в птицах, в карманах торчат. Вот ты, Костя, охотник. Мне говорили раньше: «Костя такой охотник».

И он прищурился:

— Какая же это-то птица? Большая очень.

— Это глухарь, тетерев.

Я бы не отвечал, если бы немного подумал, что он притворяется. Но нет, верно, он не знал. Он был без шляпы и ее держал в руках, всю полную до краев грибами, но большие белый и подосиновик сверху, а внизу — мелкие поганки.

— Что же ты поганок набрал?

— Ну нет, уж извини. Это в уксусе — язык проглотишь. У нас в Пушкине мамаша...

— Да поганки же, Коля.

— Нет, это опята. Я-то уж грибы знаю, не спорь.

— Пойдем домой, тащи черныша.

— Ну и ловко ты стреляешь. Часа два — сколько дичи.

— Скажу тебе, это случай, не всегда так, я сам удивляюсь. Тут много, а у нас уже не то.

— Постой, куда мы идем? Я что-то запутался.

— Постой, по-моему, туда надо. Ты откуда пришел?

— Вот оттуда. Пойдем туда, а то я всегда путаю.

Опять грибы.

— Вот это какой, Коля?

— Ну, брат, это березовик.

— Верно.

— Где же мы?

— Да надо прямо.

— Так ли?

— А лес-то какой!

— Костя, что это сидит?

— Где?

— Да вон.

— Да где?

— Вон, видишь?

— Да где, на ветке или на земле? Что ты видишь?

— Нет, это мне так показалось. Я думал, заяц.

— Что ты, собака здесь. Заяц убежит.

Мы говорим.

— А бывает, притулится Феб, стойку делает, шельма, но не бежит — знает, что не догонит.

— А зачем он стойку делает?

— Это уж в природе их, как бы готовится поймать, замирает.

— Да что ты? А я ведь думал, он бегаёт — просто пугает, и, думаю тоже, как он пугает, а не ловит? Я думал, он и ловит.

— Да ты не был никогда на охоте?

— Нет, брат.

— Когда летит, то трудно стрелять, когда сядет — вот хорошо.

— Постой, куда же мы идем?

— На мельницу.

— Я знаю, но туда ли?

— Да как же, вот лес большой, и вот мельница там. Так ли, Коля?

— Смотри, Феб повел.

— Стой, иди сзади.

Ведет влево, стал. «Тр-р!» Вылетел тетеревенок. «Бац-бац!»

— Мимо, не попал, — сказал Коля. — Как интересно о Фебе-то. Как стоит — хвост вытянул.

— Постой, ведь это из первого выводка, значит, ушли недалеко и прошли большим лесом.

— Что ж, это мы ведь заблудились.

— Как же, вот там мельница.

— Что же ты показываешь в другую теперь сторону?

— Коля, ты не знаешь, и я не приметил.

— Я всегда путаю, у меня нет понимания места, а у других оно всегда есть. Ведь мы уйдем куда, тут ведь леса на восемьдесят верст, без жилья.

— Да что ты, вот так штука!

— Давай кричать тогда.

— Что ты, Коля, что, зачем кричать?

— Придет кто-нибудь, а мне пить очень хочется.

— Постой, вот что, пойдем назад.

— Что ты, Костя? Столько шли, и назад. Ну, куда, по-твоему?

— Туда вон.

— Это и есть назад.

— Как же так? Пойдем.

Опять шли.

— А тяжелый, чертыш-то.

— Не чертыш, а черныш. Где Феб? Феб!

Феба нет. Феб горячился и усиленно искал. Вдруг сразу стал у большого леса. Я подошел, он бросил и пошел в сторону.

«Тр-р, тр-р!» — раздалось справа.

По ельнику в чаще — рябчики. Я побежал и стал смотреть. «Тр-р!» — перелетел один. Я выстрелил — мимо.

«Тр-р!» — другой переместился. «Тр-р!» — третий. И опять я выстрелил в то место. С ели, где я стоял, полетел от меня ровно. «Бац!» Рябчик упал. Феб бегал зря и горячился, но рябчика поймал и несет. Я стал брать рябчика, как опять с ели затрещал еще. Я выстрелил зря, не видя, но случилось и так убивать... Пошли опять, и Феб тут же мертво стоит. Подошел:

— Пиль!

Стоит.

— Пиль!

Ни шагу. Я глажу Феба. Он — как мрамор и ведет глазом. Я смотрю вперед:

— Феб, возьми.

Ничего. Место ровное, игольник, и на игольнике, вижу, рябчик лежит. А сначала не видал, смотрел долго, куда <и Феб>.

— Феб! — закричал я громко. — Пиль!

Феб взял рябчика. Это я убил, стрелял по месту, куда <нрзб.>. Но куда же идти — неизвестно.

— Вот как мне охота нравится. Я бы сам стрелял. Непременно куплю ружье и пойду на охоту. Тетерок-то сколько!

— Это рябчики.

— Да что ты? Рябчики ведь в Сибири водятся. Постой, куда же мы пойдем?

— Да вот туда.

— Ты же опять показываешь в другое место...

— Все равно, пойдем. Положи в карман рябчиков. Погоди, головки под крыло — запачкают.

— Постой, у меня в кармане газета — расписание поездов.

— Завертывай, покурим.

— Какие хорошенькие. Ну, я никогда не видал охоты. Феб молодчина. Как он рябчика-то поймал! Отчего он не ест и <3 нрзб.>, а ловит?

— Он не то что их не ест сырыми — и жареными тоже.

— Да что ты?

— Что это значит, неизвестно.

Феб подошел ко мне и обнюхал глухаря, потом к Коле и тоже понюхал черныша. Потом к самому моему лицу стал мордой. Я его гладил. «Куда идти, Фебушка, домой?» — «Зачем домой? Охотиться хоть год я не устану».

Вдруг он стал ловить слепня у спины.

Встали, пошли. Справа лес пореже, и в нем поляну пересекает наезженная дорога.

— Вот она, пойдем, Коля, вот дорога, куда-нибудь выведет.

— Ау-у-у, — слышался женский голос.

— Ау-у-у, — откликнулся другой.

— Пойдем на голос, спросим.

Пошли скоро, но никого нет. Пошли к дороге — слева у леска две женщины с корзинами. Пошли к ним. Они — в лес.

— Пойдите, мы охотники.

Они остановились.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Скажите, где, в какой стороне Новенькая мельница?

— Эвона, это ж туда, на Остеево надо.

— А дорога эта куда?

— На Захарово, а эта — на Святое.

— Так как же нам идти?

— Вам туды, край леса забирай, Нова мельница там. Как на Нерль выйдешь, она тут-тко, вправо, и есть. А вы откелева охотники-то?

— Мы московские, только на мельнице стоим.

— Вы к нам в Святое приходите. У нас там волки шесть овец задрали. Волчиха-то в болоте. Злющая, я ее сама видала. Так зубами стучит — ужаси.

— Эта молодуха-то, дочь твоя?

— Дочь.

Обе засмеялись.

— Что ж, много грибов-то набрали?

— Во, все белые.

— Скажи, голубушка, вот ему, что это у него в шапке, что за грибы?

Коля обрадовался.

— Да вот, — и стал показывать.

— Да что это? Этакие-то и незнаемо что — поганки.

— Ну что?

— Нет, позвольте. Это опята.

— Да что ты!

Они смеялись.

— Нешто опёнки такие? Ты, родимый, не ешь их, а то помрешь совсем.

— Бросай их, Коля.

— Нет уж, извините, я знаю.

Бабы смеялись:

— Охотники вы правильные, ишь, тетёр что.

Дорогой ехала телега в ту сторону, куда нам идти. Сидел парень молодой.

— Вот остеевский едет — маленько дольше, езжайте с ним. Прощайте.

— Спасибо вам, тетеньки, — позвольте вам на гостинцы...

Обе законфузились.

— Почто ты, труда нет!

— Ну, возьмите полтину.

— Что ты, спасибо, вот право. Натё грибов-то.

Она взяла полтинник и захопотала, куда нам положить грибы, выложила на траву и отобрала живо лучшие, все белые.

— Коля, бросай поганки.

— Но нет уж, извините.

Я увидел, что с ним ничего не поделаешь, подставил свою шляпу. Она положила грибы и засмеялась, весело и радушно, показывая рукой на Кольку:

— Прощайте.

— Прощайте, благодарствуем.

— Чего ты смеешься?

Она еще больше засмеялась и пропала с дочерью в лесу.

— Пойдем скорей, догоним телегу. Эй, постой, молодец!

Молодец хлопнул лошадь и помчался, потом сразу стал.

— Подвези нас к Остееву.

— Садитесь.

[— Далеко до него?

— Верст десять будет.

— Что же это? Мы, заметь, шли в другую сторону — хорошо, вышли на дорогу.

— А вы чьи будете?

— Нам на Новенькую.

— Да ты Коровин, Кискикин Лесеич?

— Я самый.

— Я тебя узнал — сначала думал, не ты. Я сапожник, помнишь?] Да ты это, Кискикин Лесеич?

— Я самый. Да как ты вырос, я тебя и не узнал, какой ты парень-то стал. Сережка, ты ли?

— Чего, я женат. Сын уж у меня.

— Да что ты! Ну, хорошо живешь?

— Живем хорошо, а сапоги-то тебе, что текли, подметовал, они на тебе — что, не текут?

— Нет. А ведь четыре, нет, пять лет прошло.

— Важный товар. На охоту приехали к Никону Осипычу?

— Да, у вас хорошо, весело на мельнице.

— А нам по вас чудно, у нас говорят: «Коровин рыбу удит, а то планты сымает. Чево сидит, неводом бы хоша поймал што, а то пймает и зачнет пускать назад». Чудак, я сам видел — три дня ловил, а потом назад всю пустил.

— Мне рыба-то, что охота, — я брал, что нужно на уху, а то стухнет.

— А где барин-то, вот что леших боится?

— Тут, на мельнице.

— Ну, паря веселый он, ну и чудак же.

— А что?

— «Чево, — нам говорит, — волки есть тут?» Мы говорим: «Есть». — «И где?» — спрашивает. А мы ему: «Вот в овраге, вечер, два сидели». А он у оврага сидит, рыбу удит, тут, недалече от мельницы. А он нам: «Врете вы». — «Чего врать, спроси вот Сережку», — на меня показывают, а я уж старше их. А он опять. «Сереге, — говорит, — видал волков?» А я ему: «Вечер видал двух». — «Где?» — «В овраге, вот тут». Он — удила, и домой. Я гоню в ночное белую лошадь нашу, а сам «у-у», он как побежит, ну чудак же.

— Сереге, ты нынче приди, когда стемнеет, прошу тебя, встань за мельницей, амбаром, и начни «ха-ха-ха», пострашней, — смеется это хозяин, значит.

— Ладно. Чудно. А знаешь что? Я трубу возьму от самовара, в ее <буду> — вот страшно будет.

— Вот, вот.

— А потом я утром приду — завтра Ильин день, слободно. Пискарей вам ловить. Вон оно, Остеево-то. Вам идти вон, вправо, ближе, а хочешь, довезу до мельницы.

— Нет, не надо, мы дойдем. А ты, Сергей, не веришь, что там, в омуте, «хозяин»?

— Кто знает, вот на Шахе — там есть.

— Что же есть?

— Человек там по ночи бегаёт и кричит все: «убили, убили». Это верно, я сам слышал.

— Ну что ты!

— Ей, ей.

— Ну, кто пьяный, может, а то — тоже пугал.

— Нет. И мельник от его помер, а как помер, шабаш, перестало.

— Да ведь он колдун был.

— Да, колдун.

— А ты веришь?

— Чего же, все знают.

— Ерунда это все.

— Вестимо, ерунда.

— Что ж ты говорил — десять верст, а тут и пяти не ехали.

— Да кто считал-то? Так кто ее знает сколько.

Дорога пошла книзу и шире, показались перила и мост деревянный горбом, потом <?> без перил, а за ним — крыши Остеева. Впереди моста луг. За зарослями — кустами ольхи — бело-розовые облака большими шапками клубами поднимались ввысь. У края дороги, по краям леса голубели, синели колокольчики. Как весело — как хорошо на душе.

— Колька, что ты скучный?

— Я ничего. Я теперь, брат, приеду в Москву, покажу Раисе, кто я такой. Вот она посмотрит.

— Да брось ты, посмотри кругом, посмотри, какая радость.

— [Я вижу.] Природа-то хороша, но бабы, Костя, вот сволочи, и что, и черт-те што им надо, не поймешь.

— Стой, Серега, вот Новенькая.

— Ну, прощайте, — Новая.

— Да ну что, благодарствуй, кланяйся.

Он стегнул лошадь:

— Эх, грех неровный, — и засмеялся. «Эх вы, белы рукавицы, сине зарево», — запел удало Серега и помчался в деревню. Слышно было, как тархтела телега, проезжая по мосту.

— Вот он к жене поехал, веселый, а я куда поеду? — сказал Коля. — Смотри, вот он, Юрка-то, <нрзб.>, он не заблудился. Юрка напугал нас. А вот что, я бы на месте Мишки жену эту — шван-дребен, и все тут. [Она ведь не жена.] Я так — шван-дребен, и в тот же день другую — я уж знаю их, я так и приласкаю.

— Да у тебя почти что такая, а Миша верил.

— Вот Раиса зачем за меня замуж вышла — неизвестно. Я до сих пор не знаю.

В глазах поплавки опустились в воду; не тот тон, внизу беру <нрзб.>. Имение — <нрзб.>.

Проснулся утром — Вася ушел, Колька спал. [Я его разбудил.] Солнце было над лесом, часов пять. Какое утро! Вышел, тут рядом свежая вода. Как ее много. Как отрадно плескать ее в свое лицо, как хочется есть. Куры кудахчут, брызги в тени мелкой росы, воздух — слышишь, как проходит в тебя, а солнце золотит, кричит: «Начинай, живи, веселей, ешь, пей, работай, гуляй! Эй, воля! Река-то, ишь, веселая».

Я пошел искать Василия Сергеевича. Он ловил, закидывая леску с камнем, свои донные — их древки плавали. Две лежали на воде, а одна — как большой поплавок. Он бросил камень перехватить леску — древко пропало, а другая поехала по воде.

— Да там рыба.

— Я знаю, что рыба, никак не перехватить.

Я побежал к своим — тоже плавают. Я разделся, залез в воду и схватил две ближние. Одна была посредине омута, а две пропали вовсе. Чувствую в руке, что сидит на одной. Ташу на берег, идет, поверху идет — какой лещ! Другая тоже — налим. Остальные две вытащил, бросая с плотины, спиннингом. Две не взяло, а одна пропала совсем. На двух были голавли. И у Василия Сергеевича голавли и один шереспер — он оборвал у самого берега.

Двенадцати часов нет, стало жарко, ловить бросили. Варили на костре уху. Из лесу казенного показывается телега, на ней — Юрий.

— Где, откуда? Тебя ищем.

Оказывается, с помольцами уехал. Привез пряников, баранки и бутылки.

— На погреб, на погреб, — говорил он. — Не могу в такую жару пить теплую водку. — Как будто было необходимо пить. — Холодненькую! Смотрите, что я привез. Малосольные огурцы, грузди и рыжики. Рыжики со сметаной — нельзя не выпить.

— Верно, — говорит Никон Осипыч. — Закуска-то какова, понять надо. Ильдorado это, а не мельница. Угостим и помольцев.

Василий Сергеевич развеселился:

— Садись уху есть, закусывай, это икра. А то грузди, верно. Ну и грузди — устрицы.

— Ну, какая баба их отпускала, во, — показал он, выставив руки впереди себя, — есть за что подержаться.

— Вот не понимаю, что тут — «во какая». Вот вкус у тебя, Юрка. Я люблю субтиленьких, маленьких. А это — коровица.

— Что ты понимаешь? В бабе сок должен быть.

— Верно он говорит, — вмешался Никон Осипыч. — В бабе сок — первое дело. Я хоша старик, а скажу по памяти — я два раза женат был, на стороне один не баловал, а жен брал ядреных, в теле — четырнадцать детёв было. Трое сыновей живы, да девок пять, все выданы. Что у меня внучат, это вот сам не помню. Девки три — от Сергея, одного сироты, он в Питере в пьянствия вдарился и помер. Вино пей — меру знай, а то... Нам в крестьянстве махоньких нельзя. Баба большая, что печка, — пар идет, есть что глядеть.

— Скажи, Никон Осипович, что такое? Я вот женился, а она меня на другой день стала дураком звать. Я ей говорю: «Зачем же ты за меня выходила?»

Никон Осипович засмеялся и сказал:

— Это ведь у вас по-господски, а ведь у нас этак редко случается. Этакого дела и в голову прийти не может. У нас поругаются, подерутся, ну и помирятся. А на другой день свадьбы — не бывает. Где же, она девица, она робеет! На другой день — не слыживал.

Вася и Юрий опять ржали, а Коля задумался.

— Колька, — сказал Юрий, — вот что говорит дед-то. Она не девица была. Вот дураком-то тебя и честила.

Дед и мы все смеялись:

— Не девица, не девица!

— Что вы ржете-то? Маленький, что ль, я?

— Конечно, это всем странно, что такое — на другой день этакая штука. Миколай Миколаич, ты ведь ученый барин. Подумай, что ей? Ежели девица, все и страшно, и сладостно, и тяжело, и болезнь, и робость. Где же тут ругаться? Она ведь игуменья первое-то время. Она ведь глаз не отводит. Все будто чего спрашивает. Ведь любовное дело сильнее всего. Человек от его зачинается. Где тут дурака мужу сулить, будь он и не умный. Тут она ни за что не скажет. Вот ежели сбалует, тут она первое дело мужу дурака и все сулит.

Колька задумался и сгорбился <?>:

— Вот я и не понял, в чем тут штука.

— Просто на словах моих, и я, Миколай Миколаич, не понимаю, ума не приложу.

— А для меня все ясно, — сказал В<асилий> С<ерегеевич>.

— Ну что ты врешь, что тебе ясно? Ерунду какую-нибудь скажешь.

— Нет, постой. Ты был невинный или нет?

— То есть как это, невинный, позвольте. Это с какой стати? Это же ерунда, вот так все ясно, скажем...

Я упал на траву. [Юрий тоже.] Никон Осипович улыбался доброй улыбкой.

— Ну, вы опять, вот дураки-то, чего опять начали. Вопрос ведь серьезный, а вы опять... Ну, поехали...

— Ты эти штучки брось, я тебе не дурак из себя, недоумка, я — архитектор. Я спрашиваю его строго: так отвечай!

— Ну, положим, невинный.

— Нет, не «положим», а какой был?

— Невинный.

— Вот оттого-то она тебя дураком и звала.

— То есть позвольте. Извините, почему же? Я ей не сказал, что я вот невинный.

— А что ж ты сказал?

— Не помню. Я ей что-то сказал, а она рассердилась. [Сказала: «Дурак!»]

— Что ты сказал?

— Помню, сказал: «Какой у тебя, душка, завиток на шейке, глазки — как две пуговики, как у меня на жилетке».

[— Ха-ха-ха.]

— Довольно штучек.

Эффект нашего прихода был полный. Коля рассказывал <про> охоту.

— Ну Костя, ну стрелок! Как только увидит, готово. А Феб — рябчика он сам поймал, а стойку так делает: встанет и стоит долго.

— А сколько стоит? — спросил Вася. — Часа два?

— Нет, ну что ты, так, минут двадцать.
— На задних лапах стоит?
— Нет, каких задних лапах?
— Я видел собаку, на задние лапы становится.
— Ну, что врать опять.
— Нет, не врать, а я так. Феб не выучен, а я видел ученую.
— Да где же ты видел? — спросил я.
— Я не видел, а такие есть. Ей сахар на нос кладут. «Пиль!»), и сахар — раз, и поймает.
— Ну так это совсем другое дело. Это болонки разные. Я сам это видел.
— Прав Васька, что ты все это не возьмешь, ну право. Водолаза я видел — он в воду уйдет часа на три, смотришь — утопленника тащит.

* * *

— Грибы жарить! Посмотрите, Коля каких опят набрал.
— Вот когда я их состряпаю, тогда посмотрите, пальчики оближете.
И он пошел в дом к мельнику.
Покуда я писал мой начатый этюд, ко мне подошел Санька и сообщил, что Николай Николаевич поганки варит. На мельницу бегал мальчишка и смеется.
— Куда ты?
— К Никону Осипычу.
— Что смеешься?
— Дядя Семен больно смешно помирает.
Василий Сергеевич подошел ко мне:
— Рыба бросила брать, значит, дождь или гроза.
Действительно, на горизонте синело, и собирались вдали грозовые тучи, и скоро спряталось солнце за большим облаком. Они клубились и громоздились, освещая края и закрывая больше и больше [друг друга]. Будет гроза.
— Готово обедать.
— А Юрка как ужился у палатки, никуда не идет.
— Толст очень, трудно.
Коля подал свои грибы.
— Да что ты, смотри, Николай, ты отравишься.
— Помрет непременно, — говорила мельничиха, ставя на стол на сковороде наши белые.
— Не давайте ему. Что ты, сумасшедший? Не ешь.
— Нет уж, извините.
И он тащил в рот ложку слизлых грибов, пожевал и поднял глаза, как бы ища ответа у небес, — и выплюнул.
— Ну, простите, что-то подложили. [Совсем не то.] Что же это такое?
[На это все смеялись.]
Белые грибы ужарились, и их было очень мало.
— Ведь это ужин, а не обед.

* * *

Сверкнула молния, и спустя немного загрохотал торжественно гром. Кругом все потемнело, и голуби полетели быстро, изменив цвет свой в белый. Показалась пыль на плотине. Скорей несем стол в палатку, и, покуда мы собирали, ровный дождь

сразу полил, покрывая воду сплошь пузырями, сильнее и сильнее. Мы спрятались в палатку. Дождь сразу кончился, и через минуту еще сильнее грянул на землю. Осветила молния, и ударил резко — «тр...р...» — гром.

— Вот так грозища, — сказал Коля.

Феб, мокрый, спрятался в палатку. Потемнело больше.

— К<онстантин> А<лексеевич>, возьмите отсюда ружье, в грозу это шутки плохие.

— Куда же я его возьму?

Опять сильно блеснула молния, и резкий удар — близко.

— Я уйду к Никону Осиповичу.

— Там хуже, там печка. Вася, не ходи. Гроза всегда в трубу бьет.

— Ложитесь, — говорит Василий Сергеевич.

— Я и так лежу. Ух, хорошо, — сказал Юрий.

Свежий ветер и запах дождя наполнили палатку.

— Прогоните Феба, — говорил Вася. — Собака притягивает грозу.

— Почему?

— У ней шерсть такая.

— У тебя шелковый картуз, тебя-то не убьет, чего ты?

«Тры-ты-ты...» Удар был действительно сильный. Василий Сергеевич побежал в дом к мельнику.

— Юрий, ты боишься грозы?

— Нет, нисколько, но я терпеть не могу дождь.

— А я тоже не боюсь нисколько.

— А ведь хорошо мы пришли из лесу, а там с ружьем — ну, прощай, убило бы.

— Почему с ружьем убило бы?

— Как же, железо.

— А посмотрите, Феб как калачом свернулся.

— Он не любит.

Василий Сергеевич опять бежит к нам.

— Там труба не закрыта. Я говорю: «Закрой трубу». А никто ничего не понимает. «Чем, — говорят, — батюшка, закрыть?» А я архитектор, понимаю, чем закрыть. «Вьюшкой», — говорю. «А что вьюшка такое?» Вот поди поговори с дураками.

Ударил опять гром, уже вдали, и дождик тише, тише, и солнце выглянуло у самого пригорка. Все осветилось ярко-желтым, и уходящая туча была как синяя заслонка из железа. Лес, пунцовый, горел, и весело светились мокрые сараи ярким пламенем заката. Как пахнет землей, водой, травой, елью и навозом. Вся мокрая, стоит у стойла корова и мычит, подняв голову.

[Россия, милая Россия, как красота твоя тайная захватывает всего меня и всю душу мою мужижскую.] И богато и бедно кругом, и тихо и мирно. Закат потухает, и вот опять месяц, но уже в тучах. Как прекрасны ковры глаз <?> наших.

[— Вася, и напугался ты давеча грозы. Давайте в палатке чай пить. Иван Васильевич, самовар давайте. Никона Осипыча зови вечерять, погутарим <?>.]

— Я грозы испугался, Юрий, это верно. А ты не боишься? Нет, каждый, и в каждом есть чего он боится. Я боюсь одиночества. Когда я один, я себя плохо чувствую.]

— Но это философия.

— Нет, а вот что, ты попробуй-ка один ночью в Охотино к Константину Алексевичу пройти, вот узнаешь.

— А я, брат, баб больше всего боюсь. Когда они долбить начнут — злей бабы ничего нет.

— Самовар сюда, фонарь. Ах, как в палатке уютно. Мы вроде цыган, «по Бессарабии кочуем».

— Садись, Иван Васильевич, все сядем, баранки давай на самовар. Они теплые будут.

— Никон Осипыч, иди-ка, с Юрием садитесь.

— К чаю-то коньяку хорошо.

— Мастак-то Киститин Алексеич — чего тетеревов пострелял. Что рыба? Это дело.

— Правда, посчастливилось, не всегда так.

— Где вы глухаря-то нашли?

— Вот сверху к заводу шел прямо. Мы прошлым летом с Иваном Васильевичем пару взяли тут же.

— Что вы, Киститин Алексеич, — это вот там.

— Да, правда.

[— Вот у нас о чем разговор шел, — сказал Юрий. — Что каждый больше всего боится. Вы, Иван Васильевич, чего больше боитесь?

— Я смекаю, боле всего, знаю, человека надо бояться. От его все. И пожар, и разорение, и наговор, подвохи. А вот землетрясения, голода, жара от него нет. Холеры, чумы — тоже.

— Верно — ваша правда.

— А вы, Никон Осипович?

— А я-то? Да гнева Господня боле всего.

— Да наказание Божье можно принять за милость, за испытание.

— Это верно, это тоже правда.

Я сказал:

— Я больше всего боюсь несправедливости, непонимания, измены дружбы и обольщения.

— А, брат, бабы...

— А ты, Вася? Ну, мы знаем, «хозяина».

— Что за разговоры? Кому вы говорите, чего я боюсь?]

«Хо, хо, хо, хо», — слышалось за мельницей. Странно и таинственно в ночи.

Все замолчали.

«Хо, хо, хо, хо», — опять.

— Константин Алексеевич, где ружье?

— Вот оно.

— Шуточки-то, слышите?

«Хо, хо, хо, хо...»

— Чего это впрямь, чудно, право.

— Это странно, — сказал Юрий.

Василий Сергеевич, красный, с открытым ртом, смотрел в распахнутый полог палатки, где была ночь.

— Договорились, голубчики, я сюда больше не еду. Благодарю вас, хорошо местечко. Что это у вас на мельнице-то?

«Хо, хо, хо, хо», — раздавалось протяжно.

— Непонятно, — говорю я. — Что скажешь, Коля?

— Что скажу, «хозяин» или сом кричит.

Я смеялся.

— Чего вы смеетесь, Константин Алексеевич? Веселитесь вот, смешного мало.

— Чего, Вася, ты волнуешься? Пусть смеется.

— Чего «пусть смеется». Местечко-то каково, приехали...

— Неизвестно, что будет. Константин Алексеевич, стреляйте, стреляйте, где ружье?

«Хо, хо, хо».

— Стреляйте же.

— Да зачем, Вася, нешто можно стрелять? Его больше озлишь, он топить начнет.

— Нет, вот что. Иван Васильевич, запрягайте лошадей, едемте.

— Чего ты, Василий Сергеич, это кто нешто пугает, — сказал Никон Осипович. — Я схожу вот, погляжу, никогда не бывало такой страсти.

— А странно это, довольно странно, — сказал Юрий, — это не голос человека.

— А вот Константин Алексеевич смеется, этот еще.

— Ты-то чего, ну что тебе смешно? — обращается Василий Сергеевич к Коле. —

Никакая не шутка.

— Я думал, не Санька ли?

— Нет, он спит.

— Чудно дело, право што.

— Налей, Юрий, рюмку — хороша штучка.

— Какая штучка — просто сом кричит.

— А ведь это верно, может быть, что большой. Коля прав — просто сом хохочет после грозы, они грозу любят.

— Мне тоже кажется, что Николай говорит верно, — сказал Юрий.

— Да, конечно, верно. Я ведь учил естественные истории, там написано: «сомовый смех после грозы», и больше ничего.

— Что ж ты раньше не говорил, если знаешь? — успокаивался Василий Сергеевич.

— Вам говори не говори, все равно, а вот теперь видите — кто прав.

«Молодец Коля», — думал я.

— Я тоже помню, что-то читал, — сказал Юрий, — только, кажется, про белугу.

— Ну, здоров, должно быть, дядя, вот попал бы.

— Сомы есть здесь большие — вот на Голубихе сома поймали, восемь пудов, пачка <?>. Он и орет — ясно.

«Хо, хо, хо, хо», — раздалось вдали.

Василий Сергеевич опять насторожился.

— Это ясно, это на шахте, на Остеевской, другой орет.

— Верно, Костя, они как петухи перекликаются.

— А это, может быть, прав Николай, — сказал Юрий.

— Выпей-ка, Василий Сергеич. Ишь, сердешный. Перепутался индо, вспотел весь.

— Вспотеешь тут. Никон Осипович, что такое?

— Да неведомо дело, я сам дивлюсь.

Вася с горя и страха усиленно пил рюмку за рюмкой.

— Константин Алексеевич, оно жутковато, но интересно.

— Какой же, Вася, интерес? Ничего интересного нет, — говорил Коля Куров.

— Интересу тут мало, мы жители здесь, а этого [дела] впервые, смеху-то. Лешим гогочет, думаю, нарочно пугает кто.

— Я то же говорю. Чего смешного тут? Говорите, сом кричит, а отчего в саженке-то твоей, поймали которого, молчит?

— Сам посуди, Вася. Как ему кричать, он боится. Крикнет, а его возьмут и жарить потащат.

— Позвольте, ведь сом не один в омуте. Они бы вместе, все бы хором. [Юрий, право, нет, это не сом.]

— Это самый старый орет, — успокаивал Иван Васильевич.

— Я уж охтеологию-то знаю назубок, я учил ботанику.

— Севрюжку по-русски, стерлядку кольчиком хорошо, — сказал Юрий. — Навага тоже.

— А ты вот, охтеолог карасевый, скажи, где навага ловится?

— Навага? Постой, постой, где она ловится? [В реке, кажется.]

— А сардинки где?

— Ну, конечно, в Сардинии.

— А балык?

— На Волге. Я ведь не учил, где ловится, — это к охтеологии не относится.

— А из чего делается...]

— Где же навага, в самом деле, ловится?

— А копчущики?

Коля растерялся и глядел виновато.

— А миноги?

Стол вытащили. Иван Васильевич:

— Не уходите, давайте тут, вместе. Пойдем, Юрий Сергеич, к нам в дом, в сарае что.

Мы протянулись на сене в палатке, фонарь висел над нами. Василий Сергеевич лежал посередке, вздыхал, засмеялся и сказал:

— Ну и глухие же здесь места. [Как подумашь,] что делается.

— Что такое?

— Да ведь попугивает. Завсегда в эдаких местах удивительного нет — глушь.

— Явный факт, — сказал я.

— Я знаю, я, брат, кончил естественные науки, я и не боюсь ничего.

— Ехать собрался Василий Сергеич, а ведь в лесу-то, обрывом-то ехать, мне не мене вашего страшно, там такой хозяин.

— Какой хозяин, там тоже хозяин?

— Нет, Василий Сергеич, с обрыва, говорю, [не приведи], да в нем костей не собрать, да и лесом-то, верно, жутко, чего-ничего, а есть. Вот позапрошло <лето> я от Киститина Алексеича с Охотина иду Ратухином, мост перешел, гляжу, идет кто-то. А пора была осень, час ночи, он стал, и я. Я думаю: «Кому тут идти?» Тропой я иду короче. Я шибко оробел. Он стоит, и я стою, ни гу-гу. «Что, — думаю, — ночевать, что ли». Слышу, он тихонько пошел взад. Я постоял, потом я обгляделся, ольшину выбрал, стал выдирать-то поздорова — у меня ведь нет ничего — она затрещала. Слышу, он бежит дале. Ну, я пошел. Иду в горку, там у деревни, у терочной Глушковской, стоит человек. Я ближе — сторож. Он из Охотина носил дежурство. Идет. «Ах, — говорит, — Иван Васильич, — ты уж не говори Василию Сергеичу, а то он сюда и не придет».

Какая таинственность ночи, и в душе какая-то мечта тоскует и ждет какой-то далеко ожидаемой радости, чего-то другого, что должно было бы быть, но не будет. В чем это там, спрятанное глубоко, эта печальная надежда, где она? Далеко, далеко стелются ее лучи от меня туда, — и вот звезда передо мной впереди яркая, мерцает — тайно, а над ней — темный таинственный край нашей доли лежит пеленой, и там, за ним, — что-то, куда я шел и чего искал, там блестит Париж, и я — какие-то стремления, и спор, и надежды, труд, медали, радости, успехи. И зачем? Небо, и опять под чудеснейшей звездой та темно-бурая даль, край земли, а там опять [жажда увидеть]. Там — там, уйдет печаль, там светит — что? А кругом поля, и во мраке заснувшие леса, и даль в таинственной тишине.

Лес был молчалив, тарантас кренился то в один, то <в> другой бок, стукали колеса о корни и рытвины лесной дороги. Тихо, ветви лезли в лицо. Проехали овраг, пожар потух. Вот и Пречистое, деревня Спаса. Огонек и в глухом, грязном окошке что-то говорил душе далекое, старое, детское, родное. И Москва, и <Рогожская> застава почему-то вспомнились мне, и вечерний стол у нас в доме, и светло в комнате. Мать, ее комод с вязаной салфеткой. [И едем спящей деревней.] Тихо и молчливо [глядят] выступы церкви с папертью, в тени железные двери, и спит дом священника. И розовой точкой горит лампада — видно сквозь занавеску окна. И опять едем большим, ночью кажется невероятно огромным, лесом.

— Тут похаживают, — кричит Василий Сергеевич.

— В этом лесу, наверно, медведи живут? — спросил Коля.

— Явный факт, — ответил Батранов.

— Нет, здесь нет медведей.

— Чево «нет», видали медведя-то <за> Заозерьем надысь, на станции говорили.

— Что долго-то так?

— А сена там што.

— Велели, чтоб приезжали несприменно.

— А слово-то какое сказал?

— В гости, говорит, зовет, а сам уехал.

— Я его звал, поедем, — говорил В<алентин> А<лександрович>, — к ним, у них там все и жисть.

— А он говорит — далеко.

— А слово-то какое?

— Да вот хрюкает-то.

— Давайте собираться, поедемте. Сейчас десять только часов, приедем около двенадцати.

Все согласились сразу, кроме Васи.

Т<от> говорил:

— Нас много, ружье позвольте мне, тогда еду, и с вами, Константин Алексеевич, не поеду, зовите Юрия.

Живо сложились и тронулись в путь. Василий Сергеевич и Юрий ехали впереди с Иваном Васильевичем и багажом. Батранов с нами. На бугре Василий Сергеевич и Юрий шли пешком. Поравнявшись с нами, <Василий Сергеевич> сказал:

— А жуткое место здесь, только и жди, что леший выскочит.

* * *

— Вот уж место, где не глядел бы, такое скучное. И мне так не по себе стало. Я от него бегом, почитай, что и устал и малину рассыпал. Смотрю — выше пойду, хоть наверх, ноги цепляет, опять липняк да елки пустые. Скучное место — порубь старая. Я сел на пень. Устал, думаю, покурю. А уж ночь, едва что видно. Так сумрачно, куда пойду? Смотрю кругом и вижу — далече как огонек, вижу, не в дому, а тепленка. «Далеко, — думаю, — а пойду». Иду вниз с горы-то, что-то сереет. И слышу, кто-то как плачет, и так жалостно. Вот что-то неловко мне стало. Я поближе — плачет, слышу. Я еще поближе — перестал. Я подошел и гляжу — человек в нем, и что же — тот глухой старичок-то. Смотрю, сарай-то тот, что ране видел. Ну, вижу, меня водит. Сарай-то — только навес, с одного боку свалился, старый.

* * *

К нашей палатке кто-то подошел.

— Эй, голубчики, спите? — голос Никона Осиповича.

— Спим, Никон Осипович, а что?

— Вы гляньте-ка, какое зарево-то. Пожар.

Иван Васильевич выскочил. Колька уж спал и проснулся. Василий Сергеич — тоже.

— Чего еще там? Надоело. Что еще?

Зарево было большое, ровное, в одном месте над долиной реки за Пречистым с нашей стороны. Иван Васильевич озабоченно смотрел.

— Так будут Любилки.

— Как — Любилки, напротив меня?

— Покров, Старово — тоже. Я тебя-то и побудил, слышу, не спите. Греха никакого нету.

Вышел Василий Сергеевич и Николай Николаевич.

— Где пожар?

— Вот, видишь?

— Постой, я пенсне надену.

— Любилки — левой это, — сказал Иван Васильевич серьезно. — Ведь это далеко, чего вы боитесь?

С горки слышно было, кто-то едет, ближе, подъезжает.

— Что, Батранов?

— Валентин Алесандрыч послали, запременно чтоб приезжали, а то, говорят, уедут назад. «Скажите Коровину», говорит... — слово сказать неохота.

— Батранов, пожар-то где, видишь?

— Вижу.

— Нестерово это?

— Явный факт, сарай на Кусковке.

Кузница у ручья, мостик, и на бугре сарай, омшайники рядом друг к другу. Холодок внизу, у ручья, и пахнет сеном. Мимо, рядом, едем с сараями. Они высокие и, как заколдованные, стоят друг к другу. Молчат, и в них еще больше ночи и русского духа.

— Коля, — кричит Юрий, — спички есть у тебя?

— Есть, — отвечает.

Я и слез, побежал к ним.

[Вася все учит Ивана Васильевича, как и куда ехать.]

— Константин Алексеевич, скажите, прав ли я, я говорю, что другой дорогой мы едем, а Иван Васильевич и Юрий говорят, той же.

— Да, Вася, я сам вижу, что-то не то.

— Иван Васильевич дорогу-то не знает.

Иван Васильевич смеется.

— Василий-то Сергеич говорит, лесом-то довольно ехать. Ну, теперь мы поедем на Старово лугами — только лесом немного придется все же.

— Да ведь волки-то и по лугам бегают, боле еще. Ха-ха-ха! Пачками.

Влево от нас видна была, едва освещена, Кусковка. Пожар уж потух.

Спать что-то не хотелось. Серов рассказал, что в вагоне, когда он ехал ко мне, сел против него купец и смотрел на сложенный его мольберт.

— «Спросил:

— На воду едете?

Я ответил:

— На воду.

— Как приедете, сразу пить воду будете иль погода?

Я сказал:

— Погодя.

— Я ведь к пароходу — на Архангельск ехать. В Вологде-то побыть два дня. В “Якоре” остановитесь?

— В “Якоре”, — говорю.

— И я в “Якоре”. Ну вот. Выпьем с механиком-то, — и он меня хлопнул по коленке. — Фамилия-то ваша как?

— Антон Зингер, — ответил я.

— Немец, перец, колбаса. Очень приятно познакомиться.

А на станции глупей вышло. Спрашиваю лошадь, доехать до Охотина, к Коровину.

— Ладно, — говорит один молодой парнишка, — давай отвезу. Я надюсь вез двоих.

Я сел с ним и поехал. Он засмеялся.

— Чего ты?

А он и говорит:

— Двоих к Коровину вез, дураки какие, ну, смешно!

— Почему «дураки»?

— Да как же не дураки? Всё говорят: “Вот посмотри, как хорошо. Какой платок-то и березы”. А Авдотья ехала впереди, платок на ей рваный, цена ему грош. “Смотри, — говорят, — какой сарай хороший, какая красота”. А [сарай] амбар жилой —

его бросили. Дом Андрея-рыбака увидели. “Стой”, — говорят. Смотрели, смотрели, поехали. А дом-то ево — что ни есть хуже. Я им говорю: “Вот дом-то хорош. <Нрзб.> и железом крыт”.

А они мне: “Нет, это, — говорят, — что — гадость”.

А про Константина Алексеича чудно, много говорят. Ему что ни покажи, все покупает. Охоту продают — вот захочется выпить, и сочиняют пустошь, верст за тридцать, ее и <нрзб.> покупает. Красенькая есть, как же. Вашутино озеро продавали, а оно монастырское, там никому ловить-то рыбу не воспрещается. Кур, петухов старых тащат, собак, кошку — кто что! Голову лошадиную, шкелет, — покупает. “Неси, — говорит, — еще”. А то кусты крыжовника по весне в сад сажали. Ведь это не крыжовник, он и засох. Из болота <нрзб.> нарыли. А то смородину лесную».

Все смеялись.

— Ну, это свинство, — сказал я.

<Серов продолжал:>

— «А когда картину пишут, и пойдут дале проходить — кто мешок красный и цепь наденет, и идут, будто в церковь или за делом каким. Константин Алексеич кричит: “Постойте, пожалуйста”. — “Нет, — говорят, — некогда нам”. — “Постойте, я сейчас напишу. Постойте немного” — ну, уговорит их. И дале — “Ну, готово”. Те идут, смотрят, что написал. “Ну, по рублевке, значит», — а они <нрзб.> домой. Смех им».

— Ну, мне кажется, здесь всех за дураков считают.

— А <про> меня тоже что-нибудь? — спросил Коля.

— Про вас нече. Он, говорят, в ученье у Коровина находится.

— Что за ерунда, в каком ученье?

— Ну, говорит, дураки! У нас эдаких-то на деревне нету.

— Да ведь это он <нрзб.> и Виноградова привозил.

— А впрямь, — смеялся Иван Васильевич, — ведь тут что чудного говорят. Валентин Александрыч заметил. И при вас-то, Валентин Александрыч, помните, вы-то картину у нас писали — лошадь-то с телегой и еще на телеге-то хворост и черный мужик. Семен-то, он ведь самый беднеющий, и лошадь-то у него — пяти рублей не дадут, хромая. Все дивились, а вы еще Константину-то Алексеичу говорите: «Лошадь у него хороша». А он-то слышал. Потом получил с вас два рубля. Говорит нам: «Этого, — говорит, — народу не видывал. Лошадь, — говорит, — моя понравилась, на смех они, что ль, али в разуме ничего нет?»

— А про меня что-нибудь говорили? — спросил Василий Сергеевич.

— Да про вас говорят — нешто перескажешь.

— Скажи, Иван Васильевич, прошу я, про меня тоже.

— Василия Сергеича сердитым считают. Его, говорят, Киститин Алексеич-то, когда рыбу ловит, на веревке держит. Привяжет за ногу, и к дереву, чтоб не потоп. Жалеет его [а то он до одури удит]. А потом домой ведет, а то его с реки ничем не сгонить.

— Ха-ха-ха!

— Вот олухи. Когда это было? Дураки, что я, лошадь, что ль?

Видим, впереди нас, поскрипывая, едет телега нам навстречу. Василий Сергеич спросил:

— Кто едет?

— Буковские, а тебе что?

— Надо, если спрашиваю.

[— А мы из Киева — вот откель.

— Да здесь нет <?>.

— Мы бездомные. Цыгане мы бездомные. Лошадей воровать едем. Твою не скрадем.

— Подло, «не скрадем». <Нрзб.> боитесь. <Нрзб.> — что вам <3 нрзб.> воровать-то тут?]

— А вам что, пугаете?

[— Церковь воровать? Жулье разное. Купцы лесные.]

— Погорланьте еще.

— Конокрады, жулики!

— Неизвестно почему встретились и поругались, а все Василий Сергеич. Охранял он что-то.

— Явный факт, — подхватил Батранов.

— А что тебе, Батранов, говорил-то этот барин, что от нас и Новенькой уехал с тобой сам?

— Чего говорил? «Утопятся, — говорил, — они там, и Василь Сергеич, — говорил, — их утопит». Явный факт. А Николай Николаича хвалил. А после говорит — только пьет, и пользы от ево Киститин Алексеичу никакой нет, и зря их держит он. «Я, — говорит, — в управляющие пройду и к порядку всех приведу, и мельнику расчет выйдет». Явный факт. «А тебя, — говорит, — на мельницу поставлю». Я ему говорю: «Я не мельник, несподручно мне». Он и ушел с Иваном Васильевичем.

Знакомые места. От Старова было видно Охотино и мой домик, и в нем светит огонь.

— А вот Раиса, — говорил Коля, — она со мной не поедет. Ей нужно дачу. Она скажет: «Ну что тут, такая дичь». А у нас на даче все, брат, выкрасили желтой краской, и голубой обведено. И бочку для воды выкрасили. А здесь и жутковато.

— Это верно, но зато интересно, настоящая природа.

Завернули в ворота — большие березы. И Феб бежит вперед опрометью.

В большой комнате светло. Лампа сильно освещает стол. Валентин Серов лежал на тахте.

— Что же ты к нам с Батрановым не поехал на мельницу?

— Ночью я не очень люблю. Как-то жутко здесь, мельницы-то ваши.

Показываем дичь и рыбу — трофеи охоты.

Серов говорил:

— Купили, должно быть. Сома бы написать хорошо. Какой водяной, леший.

— Знаете, Валентин Александрович, он как кричит. Спросите-ка, что было.

Ну, простились с Батрановым. Иван Васильевич остался. «Ну, спать, что ли». Я здесь, на тахте, Юрий в передней комнате спал, где Коля. Еще постель принесли, улеглись все вместе. Феб ко всем подходил и был рад, что все мы вместе, и почему-то стал лаять от восторга. Я заметил, что собаки любят дружную компанию.

Рассказы. 1936-1939

Праздник в Москве — Впервые: Возрождение (Париж). 1936. 1 января. Печатается по газетному тексту.

С. 8

пробирная палатка — *здесь и далее*: см. прим. к с. 416 кн. 1 наст. изд.

Хвостики — Впервые: Иллюстрированная Россия (Париж). 1936. 4 января. Печатается по журнальному тексту.

С. 12

примочка Распайля — Распайль Франсуа Винсент (F.V. Raspail; 1794–1878), французский фармацевт, ботаник и микроскопист, основатель ботанической гистохимии. Известен также как активный политический деятель, последователь якобинцев. За свои крайние взгляды приговаривался к тюремному заключению, затем к пожизненному изгнанию (1853). В 1869 г. возвратился во Францию и был избран в законодательное собрание, в 1876 г. стал членом палаты депутатов.

Примочка готовилась из соляного раствора с добавлением нашатырного и камфарного спирта; относилась к разряду народной медицины. Применялась в качестве сосудорасширяющего средства при головной боли, болях в суставах и при ушибах.

Новый год — Впервые: Возрождение. 1936. 5 января. Печатается по газетному тексту.

С. 15

Михаил Провыч — Садовский Михаил Провович (1847–1910), артист Малого театра, первый исполнитель ряда ролей в пьесах А.Н. Островского.

С. 16

благотворительные аллегри — от *ит. allegri* — общедоступная лотерея во время маскарадов, гуляний и тому подобных мероприятий.

С. 17

пикон — род алкогольного напитка, а также эссенция, добавляемая в алкогольный напиток.

ситрон а л-о — (*фр. citron a l'eau*) — лимонная вода.

Рождество Христово — Впервые: Возрождение. 1936. 7 января. Печатается по газетному тексту.

Омшайник — Впервые: Возрождение. 1936. 12 января. Печатается по газетному тексту.

Охота на волков — Впервые: Возрождение. 1936. 19 января. Печатается по газетному тексту.

С. 24

...выпили коньяку «три звездочки» Шустова — Шустов Николай Леонтьевич (?–1898) — российский предприниматель, основавший в 1863 г. товарищество, ставшее к началу XX в.

одним из крупнейших производителей алкогольной продукции. Самым крупным был коньячный завод, купленный Шустовым в Эривани. Развитие коньячного завода Шустовых шло весьма быстрыми темпами. В 1907 г. на шустовском заводе было выкурено 80% всех армянских коньяков.

Михаил Александрович Врубель — Впервые: Возрождение. 1936. 26 января, 2 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 27

цирк Саламонского — Саламонский Альберт Иванович (1843–1913) основатель цирка (1880) на Цветном бульваре в Москве.

С. 30

бутылка «Мума» — Мум — шампанское, произведенное в имении князя Л.С. Голицына «Новый Свет». Было представлено на конкурсе вин 1900 г. под французской маркой Мум и получило высшую оценку экспертов.

С. 31

статуя Антокольского «Христос» — статуя М.М. Антокольского «Христос перед судом народа» (бронза, 1874; мрамор, 1876).

Деюрни — итальянский певец (тенор) в Частной опере С.И. Мамонтова. Других сведений обнаружить не удалось.

С. 33

Врубель... исполнил для издания Кушнера иллюстрации к Лермонтову, к «Демону» — см. прим. к с. 99 кн. 1 наст. изд.

С лучом — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1936. 8 февраля. Печатается по журнальному тексту.

Володя — Впервые: Возрождение. 1936. 9 февраля. Печатается по газетному тексту.

Кавказ — Впервые: Возрождение. 1936. 16, 23 февраля, 1 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 43

В той башне высокой и тесной... — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Тамара» (1841).

С. 48

...по ним мелькая... — из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1832) (часть 1: V).

С. 49

Он поднял взор: ее окно... — из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (часть 2: VII).

«Демон» — Впервые: Возрождение. 1936. 8 марта. Рассказ имеет подзаголовок: *Постановка оперы Рубинштейна на Императорской сцене в Петербурге*. Печатается по газетному тексту.

С. 53

гурийцы — жители Гурии (историческая область в Западной Грузии).

Постом — Впервые: Возрождение. 1936. 15, 22, 29 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 55

...иляпку... заказала у Ламановой — Ламанова Надежда Петровна (1861–1941), знаменитый модельер. Получила признание не только в России, но и в Европе. Много работала для театра и кино. Ее коллекция костюмов XVII–XX вв. хранится в Государственном Эрмитаже.

...напекли жаворонков... — см. прим. к с. 548 кн. 1 наст. изд.

...в кружке... — см. прим. к с. 183 кн. 1 наст. изд.

С. 59

архитектор Шпехтель — имеется в виду архитектор Франц (Федор) Осипович Шпехтель (1859–1926), представитель стиля «модерн». Осуществил перестройку Московского

Художественного театра (1902), построил дом Рябушинского на Малой Никитской улице (1900) и здание Ярославского вокзала (1902).

... в гласные баллотируюсь... — гласный — до революции 1917 г. член городской думы, земского собрания (уездного или губернского).

«...Москва, как Галтимор, первая к старту прет» — имеется в виду орловский рысак Галтимор, победитель в скачках Большого Всероссийского приза 1903 г. Дерби проводилось на московском Ипподроме.

Вербное воскресенье — Впервые: Возрождение. 1936. 5 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 62

У... памятника «Минина Пожарного»... — памятник народным героям — гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, организаторам национального ополчения в борьбе с польской интервенцией начала XVII в. Скульптор И.П. Мартос. Работа продолжалась с 1804 по 1818 г. На создание памятника шли народные пожертвования. Торжественно открыт на Красной площади 20 февраля 1818 г. Первоначально установлен лицом к Кремлю, в 1931 г. памятник был передвинут к собору Василия Блаженного.

С. 63

У Егорова ты был! — Егоров — владелец трактира в Москве.

Опять с этим саратовским актером! — имеется в виду актер Михаил Ершов.

С. 65

Сам родил — сам убью! — см. прим. к с. 151 кн. 1 наст. изд.

Светлый день — Впервые: Возрождение. 1936. 12 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 65

кондитерская Флей — см. прим. к с. 266 кн. 1 наст. изд.

трухтан — имеется в виду турухтан — кулик средней величины.

манок — здесь и далее: приспособление для приманивания зверей или птиц, имитирующее своим звучанием их голоса.

Вечер весны — Впервые: Возрождение. 1936. 19 апреля. Печатается по газетному тексту.

Чужая жена — Впервые: Возрождение. 1936. 26 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 72

яз — здесь и далее: см. прим. к с. 357 кн. 1 наст. изд.

верша — см. прим. к с. 192 кн. 1 наст. изд.

На рыбной ловле — Впервые: Возрождение. 1936. 3 мая. — Печатается по газетному тексту.

С. 77

...бокальчик... Вдовы Клико... — Вдова Клико — здесь и далее: знаменитая марка французского шампанского. Дом Клико был основан в 1772 г. г-ном Клико. Чуть позже к делу подключился его сын Франсуа, который женился на баронессе Николь Барбе Понсарден, однако брак был недолгим. После смерти мужа молодая вдова взяла на себя управление Домом Клико. Для этого у нее были все необходимые качества: ум, амбиции, талант продавца. Всю прибыль она вкладывала в покупку лучших виноградников в Шампани. В архивах Дома Клико сохранились записи, согласно которым еще в 1780 г., когда фирмой управлял свекор мадам Понсарден, несколько бутылок шампанского были отправлены в Москву. В 1805 г. г-н Бонэ, доверенное лицо мадам Клико, отправился в Россию с целью наладить поставки этого напитка. Однако приход к власти Наполеона разрушил эти планы. С 1814 г. поставки шампанского в Россию были возобновлены.

Май — Впервые: Возрождение. 1936. 10 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 77

тарлатан — легкая хлопчатобумажная ткань.

Катюша Маслова — см. прим. к с. 448 кн. 1 наст. изд.

Вера из «Обрыва» — см. прим. к с. 140 кн. 1 наст. изд.

С. 79

кекуок — танец американских негров, был в моде в довоенной Европе и Америке.

В отставке — Впервые: Возрождение. 1936. 17 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 81

сардинка Кано — сардины в прованском масле французской фирмы «Филипп и Кано».

На реке — Впервые: Возрождение. 1936. 24 мая. Печатается по газетному тексту.

Мушки — Впервые: Возрождение. 1936. 25 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 89

...из «Гугенот»... — «Гугеноты» (1835) — опера Дж. Мейербера.

фуфайка Егера — *здесь и далее*: см. прим. к с. 649 кн. 1 наст. изд.

Львы — Впервые: Возрождение. 1936. 31 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 92

...в саду у *Лентовского* — см. прим. к с. 583 кн. 1 наст. изд.

Мимикрия — Впервые: Возрождение. 1936. 7 июня. Печатается по газетному тексту.

Собачий Пистолет — Впервые: Возрождение. 1936. 14 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 99

...перепоясан пояском от *Троице-Сергия* — богомольцы покупали в Троице-Сергиевом монастыре крестики, образки и пояски с молитвой Преподобному Сергию Радонежскому, которые прикладывали для освящения к его мощам.

С. 100

Бестужевские курсы — женское высшее учебное заведение; учреждено в Петербурге в 1878 г. кружком прогрессивной интеллигенции во главе с ученым и общественным деятелем А.Н. Бекетовым. Получили название по фамилии их основателя, профессора русской истории К.Н. Бестужева-Рюмина, который был их официальным учредителем и возглавлял курсы в 1878–1882 гг.

«*Златая цепь на дубе том...*» — строка из поэмы А.С. Пушкина «*Руслан и Людмила*» (1820).

Саввинская слобода — Впервые: Возрождение. 1936. 18 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 102

монастырь Св. Саввы Звенигородского — см. прим. к с. 368 кн. 1 наст. изд.

На мельнице — Иллюстрированная Россия. 1936. 25 июля. В конце рассказа есть дата: *Написано 11 июля 1936*. Печатается по журнальному тексту.

С. 106

кукелеван — кукельван, растение, горькие, ядовитые плоды которого применялись для придания горечи пиву и для одурманивания рыбы при ловле.

С. 107

кожух — *здесь и далее*: мельничный ящик воронкой для засыпки зерна.

Споры — Впервые: Возрождение. 1936. 1 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 110

Прудон — имеется в виду Прудон, Пьер Жозеф (1809–1865), французский публицист, экономист и социолог, один из основоположников анархизма.

Благодетель — Впервые: Возрождение. 1936. 8 августа. Печатается по газетному тексту.

На охоте — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1936. 15 августа. Печатается по журнальному тексту.

Семейные недоразумения — Впервые: Возрождение. 1936. 22 августа. Печатается по газетному тексту.

Подкидыш — Впервые: Возрождение. 1936. 29 августа. Печатается по газетному тексту.

Любовное недоразумение — Впервые: Возрождение. 1936. 8 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 127

...она «деми», а приятели — «кар» — видимо, имеются в виду марки пива.

Женщины — Впервые: Возрождение. 1936. 12 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 129

«Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус...» — см. прим. к с. 173 кн. 1 наст. изд.

Водяница — Впервые: Возрождение. 1936. 19 сентября. Печатается по газетному тексту.

Разбойники — Впервые: Возрождение. 1936. 26 сентября. — Печатается по газетному тексту.

Волки — Впервые: Возрождение. 1936. 3 октября. Рассказ имеет подзаголовок: *Охотничий рассказ*. Печатается по газетному тексту.

Английские рябчики — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1936. 3 октября. Печатается по журнальному тексту.

С. 144

«Виндзор-Ньютон, артист колормануфактур» — лондонская фабрика красок.

«Италиен-Ринг-Ализарин», «Пурпур мадер», «Роз мадер» — названия красок.

Гуниади Янус — см. прим. к с. 263 кн. 1 наст. изд.

С. 147

жерлица — здесь и далее: см. прим. к с. 488 кн. 1 наст. изд.

Первый снег — Впервые: Возрождение. 1936. 10 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 149

чепура (местн.) — чащоба осинника.

двенашина — см. прим. к с. 197 кн. 1 наст. изд.

исенат (есеныт, ессеныт) (местн.) — значение не найдено.

В дождичек — Впервые: Возрождение. 1936. 17 октября. Печатается по газетному тексту.

В деревенской глуши — Впервые: Возрождение. 1936. 24 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 156

эра кабацкая — см. прим. к с. 702 кн. 1 наст изд.

Шарик — Впервые: Возрождение. 1936. 31 октября. Печатается по газетному тексту.

Утенок — Впервые: Возрождение. 1936. 7 ноября. Рассказ имеет подзаголовок: *М.П. Садовский*. Печатается по газетному тексту.

С. 161

...рисую костюмы для оперы «Садко» и к балету «Спящая красавица» — опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко» по эскизам К.А. Коровина была поставлена в Большом театре в 1906 г. Балет П.И. Чайковского «Спящая красавица» в декорациях К.А. Коровина был возобновлен там же в 1914 г.

Испания — Впервые: Возрождение. 1936. 14 ноября, 21 ноября, 28 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 165

Мамонтов затеял ставить «Кармен» — опера Ж. Бизе «Кармен» (1874) в оформлении К.А. Коровина была поставлена в Частной опере С.И. Мамонтова в 1885 г.

Тонзура — выстриженное место на макушке у католического духовенства, символ отречения их от мирских интересов.

С. 166

Железная дева — орудие смертной казни или пыток эпохи средневековья, представляющее собой сделанный из железа шкаф в виде женщины, одетой в костюм горожанки XVI в. Поставив туда осужденного, шкаф закрывали, причем острые длинные гвозди, которыми была усажена внутренняя поверхность груди и рук «железной девы», вонзались в его тело. Гвозди внутри «железной девы» были расположены таким образом, что жертва умирала не сразу, а через довольно продолжительное время, в течение которого судьи имели возможность продолжать допрос. После гибели жертвы подвижное дно шкафа опускалось, а тело сбрасывалось в воду и уносилось течением.

С. 167

«Арагонская охота» — симфоническое произведение М.И. Глинки (1845).

С. 168

Сапатер — возможно, имеется в виду Мартин Сапатер (?–1801), друг юности испанского художника Ф. Гойи. (В издании «Константин Коровин вспоминает...» — Запатэр Хуан Хозе.)

Леонард Жюль — испанский художник; других сведений обнаружить не удалось.

С. 169

Достал краски и начал писать — такова история создания одной из лучших жанровых картин К.А. Коровина «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1889).

С. 170

...особенный танец... вроде румбы — речь, видимо, идет о народном испанском танце фламенко.

С. 172

Костя Шиловский — возможно, имеется в виду Константин Степанович Шиловский (1849–1893), музыкант, художник и актер; написал либретто для оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

С. 173

Мог ли я думать... что... каждый день буду читать об ужасе и горе этого прекрасного, доброго народа... — имеется в виду гражданская война в Испании 1936–1939 гг.

«Чертова» — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1936. 28 ноября. Печатается по журнальному тексту.

С. 176

рушница — здесь: мука самого грубого помола.

Старый этюд — Впервые: Возрождение. 1936. 5 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 177

...«отчизны дальней»... — из стихотворения А.С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней...» (1830).

С. 178

Дягилев... «Ежегодник» издает — «Ежегодник Императорских театров» — периодическое издание, выпускавшееся в Санкт-Петербурге в 1892–1915 гг. С.П. Дягилеву, назначенному на должность чиновника особых поручений Дирекции Императорских театров, было поручено реформировать «Ежегодник», который под его редакцией стал respectable и высокохудожественным изданием.

...когда шла «Спящая красавица» в Петербурге — премьера балета П.И. Чайковского прошла в Санкт-Петербурге в 1890 г.

...купить у Савостьянова... — Савостьянов Иван Тимофеевич, известный кондитер. Его булочные славились своей выпечкой.

пешня — см. прим к с. 210 кн. 1 наст. изд.

кобылка — короткое удилище в виде коромысла для ловли рыбы зимой.

Мадьяры — Впервые: Возрождение. 1936. 12 декабря. Печатается по газетному тексту.

Верка — Впервые: Возрождение. 1936. 19 декабря. Печатается по газетному тексту.

В сочельник — Впервые: Возрождение. 1936. 25 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 187

двоюродная сестра — здесь и далее: см. прим. к с. 127 кн. 1 наст. изд.

Новый год — Впервые: Возрождение. 1937. 1 января. Печатается по газетному тексту.

С. 189

Алатр... — московский артистический клуб «Алатр» размещался в доме Перцова в Саймоновском проезде; там собирался избранный круг деятелей культуры, объединившихся вокруг великого русского певца Л.В. Собинова. Функционировал с 1893 по 1914 г. При нем существовал и Литературный кружок.

кружок — см. прим. к с. 183 кн. 1 наст. изд.

бусарь — глупость, придурь.

С. 192

...монах его выдумал... — как говорится в одной французской песенке, «весельем мир обязан монаху и вдове». Имеется в виду монах Дом Периньон, который выделил мутный дрожжевой осадок в шипучем виноградном вине и определил, что именно он портит вкус этого замечательного напитка. Вдова винодела Франсуа Клико — Николь Клико-Понсарден (см. прим. к с. 77) пошла дальше и придумала способ, позволяющий избавиться от дрожжей в бутылке и получить прозрачное вино. Эта технология используется до настоящего времени: бутылки хранятся горлышком вниз, таким образом, чтобы дрожжевой осадок весь скопился в горлышке, после чего бутылка охлаждается так, чтобы дрожжи замерзли, и затем бутылка открывается, а льдинка с дрожжами под давлением вылетает из бутылки с частью вина.

Зимняя сказка — Впервые: Возрождение. 1937. 9 января. Печатается по газетному тексту.

- Ссоры** — Впервые: Возрождение. 1937. 16 января. Печатается по газетному тексту.
С. 195
«Дунай» Штрауса — вальс И. Штрауса «Голубой Дунай» (полн. назв. «На прекрасном голубом Дунае», 1867).
С. 198
Уж вечер... облаков померкнули края... — из элегии В.А. Жуковского «Вечер» (1806).
- Тихий человек** — Впервые: Возрождение. 1937. 23 января. Печатается по газетному тексту.
- Естественная история** — Впервые: Возрождение. 1937. 30 января. Печатается по газетному тексту.
С. 201
фиксатуар — см. прим. к с. 205 кн. 1 наст. изд.
- Воспоминания детства** — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 6 февраля. Рассказ имеет подзаголовок: *О Пушкине*. Печатается по журнальному тексту.
С. 205
По дороге зимней, скучной... — из стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» (1826).
Буря мглою небо кроет... — из стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер» (1825).
С. 206
Птичка божия не знает... — из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» (1824).
- Встречи с А.А. Пушкиным** — Впервые: Возрождение. 1937. 6 февраля. Печатается по газетному тексту.
- Деньги** — Впервые: Возрождение. 1937. 13 февраля. Печатается по газетному тексту.
С. 209
Оба ствола — чок — непонятно, что имеется в виду.
«ланкастер» — см. прим. к с. 664 кн. 1 наст. изд.
ружье Пэрдэ — см. прим. к с. 664 кн. 1 наст. изд.
- В снегах** — Впервые: Возрождение. 1937. 20 февраля. Печатается по газетному тексту.
- В детстве** — Впервые: Возрождение. 1937. 27 февраля. Печатается по газетному тексту.
- Дуновение весны** — Впервые: Возрождение. 1937. 12 марта. Печатается по газетному тексту.
С. 221
Ярило — бог весны, любви, плодородия у древних славян; культ его сопровождался играми и плясками.
- Масленица** — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 13 марта. Печатается по журнальному тексту.
С. 222
салфеточная икра — *здесь и далее*: см. прим. к с. 668 кн. 1 наст. изд.
Хитровским ночлежникам, бездомным — см. прим. к с. 201 кн. 1 наст. изд.
С. 223
таюс — возможно, имеется в виду туес — небольшой берестяной короб с крышкой.
- Глухариный ток** — Впервые: Возрождение. 1937. 20 марта. Печатается по газетному тексту.
С. 226
беловская колбаса — см. прим. к с. 403 кн. 1 наст. изд.

казенник — см. прим. к с. 153 кн. 1 наст. изд.

Помещик — Впервые: Возрождение. 1937. 27 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 230

К Николаю Угрешу — монастырь основан в 1380 г. Дмитрием Донским неподалеку от Москвы (ныне город Дзержинский). Согласно легенде, на этом месте великому князю, который вместе с войском остановился на отдых на пути к Куликову полю, явилась икона Святителя Николая Чудотворца. Этот знак вселил в князя надежду на победу, и он воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое». С тех пор это место стало называться Угреша, а монастырь — Николо-Угрешским. Начиная с государя Михаила Федоровича сюда совершались регулярные царские выезды на богомолье («Угрешские походы»). В 1920 г. в здании монастыря была организована детская трудовая колония, позже преобразованная по инициативе Ф.Э. Дзержинского в трудовую коммуну. В 1925 г. монастырь полностью закрыли. В 1940 г. древнейший храм обители — Никольский собор (XVI в.) был уничтожен. В 1991 г. весь комплекс возвращен Русской Православной Церкви, в последующие годы осуществлена реставрация многих строений, возведены новые храмы.

Геркулесовы столпы — Впервые: Возрождение. 1937. 3 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 232

...время освободительного движения в Москве — имеются в виду революционные события 1905 года.

Философы — Впервые: Возрождение. 1937. 10 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 236

Коперник целый век трудился... — см. прим. к с. 412 кн. 1 наст. изд.

Душа томится... — Впервые: Возрождение. 1937. 17 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 239

Даргомилово — старое название Дорогомиловского района на западе Москвы. Местность получила название в XIII в. по имени владельца вотчины Ивана Дорогомилова.

Рязанский вокзал — с 1862 по 1894 г. название Казанского вокзала в Москве.

Весной — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 17 апреля. Рассказ имеет подзаголовок: *Охотничий рассказ*. Печатается по журнальному тексту.

Повара — Впервые: Возрождение. 1937. 24 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 244

книга Молоховец — Молоховец Елена Ивановна (1831–1918), автор кулинарной книги «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (1861), выдержавшей 29 изданий общим тиражом 300 000 экземпляров.

Пасхальная ночь — Впервые: Возрождение. 1937. 1 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 246

Заехал к Попову на Никитскую — чайная торговля... — имеется в виду «Товарищество чайной торговли и складов К. и С. Поповых», крупнейший поставщик чая в России. Братья Поповы имели свои магазины в Москве и Петербурге.

На Пасху — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 1 мая. Печатается по журнальному тексту.

На Клязьме — Впервые: Возрождение. 1937. 8 мая. Печатается по газетному тексту.

Тобик — Впервые: Возрождение. 1937. 15 мая. Печатается по газетному тексту.

В палатке — Впервые: Возрождение. 1937. 22 мая, 11 июня. Печатается по газетному тексту.

Московские чудаки — Впервые: Возрождение. 1937. 28 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 263

Паяр — *здесь и далее*: ресторатор в Париже.

Зазуля — Впервые: Возрождение. 1937. 4 июня. Печатается по газетному тексту.

Дачи — Впервые: Возрождение. 1937. 18 июня. Печатается по газетному тексту.

Пугало — Впервые: Возрождение. 1937. 25 июня. Печатается по газетному тексту.

Лето — Впервые: Возрождение. 1937. 2 июля. Печатается по газетному тексту.

Скорбь — Впервые: Возрождение. 1937. 9 июля. Печатается по газетному тексту.

К Белому морю... — Впервые: Возрождение. 1937. 16 июля. Печатается по газетному тексту.

Склероз — Впервые: Возрождение. 1937. 23 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 279

милитировать — *здесь и далее*: см. прим. к с. 372 кн. 1 наст. изд.

Куриная Слепота — Впервые: Возрождение. 1937. 30 июля. Печатается по газетному тексту.

Русское лето — Впервые: Возрождение. 1937. 6 августа. Печатается по газетному тексту.

На Волге — Впервые: Возрождение. 1937. 13 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 292

шаматон — см. прим. к с. 193 кн. 1 наст. изд.

Жара — Впервые: Возрождение. 1937. 20 августа. Печатается по газетному тексту.

Мораль — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 21 августа. Печатается по журнальному тексту.

«Ихтиолух» — Впервые: Возрождение. 1937. 27 августа. Рассказ имеет подзаголовок: *Охотничий рассказ*. Печатается по газетному тексту.

Осенняя грусть — Впервые: Возрождение. 1937. 3 сентября. Печатается по газетному тексту.

С.303

В одной знакомой улице... — из стихотворения Я.П. Полонского «Затворница» (1846).

Грезино — Впервые: Возрождение. 1937. 10 сентября. Печатается по газетному тексту.

Мордобой — Впервые: Возрождение. 1937. 17 сентября. Печатается по газетному тексту.

Осенний дождь — Впервые: Возрождение. 1937. 26 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 310

Служив отменно, благородно... — у А.С. Пушкина: «Служив отлично-благородно...» («Евгений Онегин», глава первая, III).

Октябрь — Впервые: Возрождение. 1937. 1 октября. Печатается по газетному тексту.

Темный бор — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 2 октября. Печатается по журнальному тексту.

Рыболовы — Впервые: Возрождение. 1937. 8 октября. Печатается по газетному тексту.

У лесника — Впервые: Возрождение. 1937. 15 октября. Печатается по газетному тексту.

«Монархисты» — Впервые: Возрождение. 1937. 22 октября. Печатается по газетному тексту.

Гришка-разбойник — Впервые: Возрождение. 1937. 29 октября. Печатается по газетному тексту.

Первый снег — Впервые: Возрождение. 1937. 5 ноября. Печатается по газетному тексту.
С. 329

«Бурлаки» — картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» (1873).

Жена — Впервые: Возрождение. 1937. 12 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 340

капорцы — см. прим. к с. 419 кн. 1 наст. изд.

Надо сказать спасибо! — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 13 ноября. Печатается по журнальному тексту.

Мороз — Впервые: Возрождение. 1937. 19 ноября. Печатается по газетному тексту.

Директор — Впервые: Возрождение. 1937. 26 ноября. Печатается по газетному тексту.

Котелок — Впервые: Возрождение. 1937. 3 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 342

роль горничной Маши в пьесе Островского — имеется в виду горничная Атрыгиной Маша из пьесы А.Н. Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1861) (из трилогии о Бальзамине).

Московская зима — Впервые: Возрождение. 1937. 10 декабря. Печатается по газетному тексту.

Канун праздника — Впервые: Возрождение. 1937. 17 декабря. Печатается по газетному тексту.

Рождественская ночь — Впервые: Возрождение. 1937. 24 декабря. Печатается по газетному тексту.

Звезда Вифлеемская — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 25 декабря. Печатается по журнальному тексту.

С. 352

Осман-паша — Нури-Гази Осман-паша (1837–1900), турецкий генерал и военный министр. Участвовал в Крымской войне 1853–1856 гг., в подавлении национально-освободительного движения на Крите, командовал корпусом во время сербо-турецкой войны 1876 г. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. прославился искусной и упорной обороной Плевны. Отразил три штурма русских войск и надолго сковал их главные силы. Сдался лишь после неудачной попытки прорыва блокады.

Святки — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1937. 26 декабря. Печатается по журнальному тексту.

Чепуха — Впервые: Возрождение. 1937. 31 декабря. Печатается по газетному тексту.

Под Рождество — Впервые: Возрождение. 1938. 7 января. Печатается по газетному тексту.

С. 361

В кике... изо льду — кика — праздничный головной убор замужних женщин, разновидность кокошника.

Стрекулист — Впервые: Возрождение. 1938. 14 января. Печатается по газетному тексту.

С. 364

«Я тот, которому внимала...» — ария Демона из оперы А.Г. Рубинштейна «Демон» (1871).

Мастер — Впервые: Возрождение. 1938. 21 января. Печатается по газетному тексту.

С. 366

...блестело красивое здание дворца — сведений обнаружить не удалось.

Бабьегородская плотина — *здесь и далее*: см. прим. к с. 550 кн. 1 наст. изд.

С. 367

барошник — возможно, имеется в виду барышник — перекупщик.

Самоед — Впервые: Возрождение. 1938. 28 января. Печатается по газетному тексту.

Скучные дни — Впервые: Возрождение. 1938. 4 февраля. Печатается по газетному тексту.

На Масленице — Впервые: Возрождение. 1938. 11 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 373

Друзья! не всё ль одно и то же... — из стихотворения А.С. Пушкина «Калмычке» (1829).

У Пушкина во второй строке вместо слова «мечтой» написано «душой».

С. 374

...в... «егерской» фуфайке — см. прим. к с. 649 кн. 1 наст. изд.

Волшебный стол — Впервые: Возрождение. 1938. 18 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 376

Пукирев Василий Владимирович (1832–1890) — автор картины «Неравный брак» (1862).

у Омона-с поет — см. прим. к с. 149 кн. 1 наст. изд.

Недоразумение — Впервые: Возрождение. 1938. 25 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 381

великий Потэн — Потэн, Пьер Карл Эдуар (1825–1901) — французский терапевт, доктор медицины.

Масленица — Впервые: Возрождение. 1938. 4 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 381

...Шаляпин во «Вражьей силе»... — «Вражья сила» — опера А.Н. Серова по драме А.Н. Островского «Не так живи, как хочется». Завершена после смерти композитора В. Серовой и Н. Соловьевым. Премьера состоялась в Мариинском театре 19 апреля 1871 г. Опера была возобновлена там же 14 ноября 1879 г. В Москве премьера прошла в Большом театре 15 ноября 1881 г. Впервые выступив в партии Ерёмки в Частной опере С.И. Мамонтова (тогда исполнялось только II действие), Ф.И. Шаляпин не раз возвращался к данному образу. В 1902 г. он исполнил эту роль в Большом театре, после революции 1917 г. заново поставил оперу в Петрограде. Партия Ерёмки принадлежит к высшим музыкально-сценическим завоеваниям артиста.

Масленица — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1938. 5 марта. Печатается по журнальному тексту.

В Великом посту — Впервые: Возрождение. 1938. 11 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 387

«шпитательный» дом — см. прим. к с. 679 кн. 1 наст. изд.

Красная горка — Впервые: Возрождение. 1938. 25 марта. Печатается по газетному тексту.

У Харитония в Огородниках — Впервые: Возрождение. 1938. 1 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 393

...не знаешь ты мучителя Добрынского — Добрынский — товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества.

С. 394

третьей экзамен — см. прим. к с. 516 кн. 1 наст. изд.

магазин Дациаро — *здесь и далее*: фирма Дациаро существовала в Москве и Петербурге с 1830 г. Основана итальянцем Джузеппе Дациаро (в Москве он звался Иосифом Христовичем, 1806–1865). Прославилась изданиями видовой графики. Фирма выпускала преимущественно литографированные виды двух российских столиц, уже в начале своего существования стала лучшей в России благодаря высочайшему качеству литографии и печати. Такой она оставалась и в последующие годы, приобретя высший коммерческий статус Поставщиков Двора Его Императорского Величества. В Москве художественный магазин Дациаро располагался на Кузнецком Мосту. После смерти основателя дело возглавил его сын Иосиф Иосифович. Фирма Дациаро активно использовала новые технологии; в частности, она одной из первых начала печатать серии видовых фотографий Санкт-Петербурга и Москвы.

Калейдоскоп — Впервые: Возрождение. 1938. 8 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 395

Жамет, Уйган, Котоньи, Падилла, Мазини — итальянские певцы.

«Лукреция Борджиа» — опера Г. Доницетти (1833).

...картина «Иоанн Грозный, убивший сына» — имеется в виду картина И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1885).

Памяти друга — Впервые: Возрождение. 1938. 15 апреля. Рассказ имеет подзаголовок: *На смерть Шалапина*. Печатается по газетному тексту.

Поросенок — Впервые: Возрождение. 1938. 15 апреля. Печатается по газетному тексту.
С. 397

Донон — см. прим. к с. 394 кн. 1 наст. изд.

С. 399

Заговены — скоромная пища, которую разрешается есть верующим в последний день перед постом.

С. 400

Розовины — скоромная пища (молочная, мясная), употребляемая верующими в первый день по окончании поста.

С. 401

Все... беленькие получил... три черных было — речь идет о шарах при голосовании на выборах: «беленькие» — голоса в поддержку кандидата, «черные» — против.

На Пасхе — Впервые: Возрождение. 1938. 22 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 402

Булочные Филиппова... — *здесь и далее*: см. прим. к с. 224 кн. 1 наст. изд.

...Савостьянова — см. выше, прим. к с. 178.

Пасха — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1938. 23 апреля. Печатается по журнальному тексту.

С. 406

митенки — см. прим. к с. 644 кн. 1 наст. изд.

Арманьяк — Впервые: Возрождение. 1938. 29 апреля. Печатается по газетному тексту.

Умер Шалапин... — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1938. 30 апреля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по журнальному тексту.

Бочка с водой — Впервые: Возрождение. 1938. 6 мая. Печатается по газетному тексту.

Песочек — Впервые: Возрождение. 1938. 13 мая. Печатается по газетному тексту.

«Петушок» — Впервые: Возрождение. 1938. 20 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 418

«Золотой якорь» — ресторан в Москве.

Колодезь — Впервые: Возрождение. 1938. 27 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 420

пльзенское пиво — знаменитое пльзенское пиво. Производится с середины XIX в. в городе Пльзень (Западная Чехия) местными пивоварами по рецепту баварских мастеров.

С. 421

Обухов — Обухов Сергей Трофимович (1856–1929), певец, управляющий московской конторой Императорских театров (1910–1917).

Колдун — Впервые: Возрождение. 1938. 3 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 423

чапыга (местн.) — *здесь и далее*: частый, непроходимый кустарник.

налой — употребляемый при богослужении высокий четырехугольный столик с покатым верхом, род пюпитра, на который возлагаются Евангелие, крест и иконы; обычно покрыт облачением из той же материи, из какой сделаны ризы священнослужителей.

Штрихи из прошлого — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1938. 4 июня. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Рассказ имеет подзаголовок: *О Шляпине*. Печатается по журнальному тексту.

С. 424

...Гоголь родился в украинской... провинции... — Н.В. Гоголь (1809–1852) родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии.

С. 425

«Лес» — драма А.Н. Островского (1870).

«Я говорю и думаю, как Шиллер, а не как подьячий» — фраза из монолога Несчастливцева (пьеса «Лес») звучит иначе: «Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты — как подьячий».

...Волкова похоронили с почетом на Волковом кладбище — актер, театральный деятель и основатель первого русского театра Федор Григорьевич Волков (1729–1763) на самом деле был похоронен не на Волковом кладбище в Петербурге, а в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве.

Шутик — Впервые: Возрождение. 1938. 10 июня. Печатается по газетному тексту.

Озабоченные люди — Впервые: Возрождение. 1938. 17 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 431

«Нищий студент» — оперетта К. Миллёкера (1882).

Натурщица — Впервые: Возрождение. 1938. 24 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 434

...вода ланинская... — см. прим. к с. 161 кн. 1 наст. изд.

На природе — Впервые: Возрождение. 1938. 1 июля. Печатается по газетному тексту.

В деревне — Впервые: Возрождение. 1938. 8 июля. Печатается по газетному тексту.

Лечение — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1938. 9 июля. Печатается по журнальному тексту.

С. 441

...лечить по способу доктора фон Кнейпа — метод лечения холодной водой изложен в книге немецкого епископа-целителя Себастьяна Кнейпа «Мое водолечение».

Слуховая галлюцинация — Впервые: Возрождение. 1938. 15 июля. Печатается по газетному тексту.

Охотники — Впервые: Возрождение. 1938. 22 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 446

«Пташечка» — имеется в виду романс А.И. Дюбюка на слова В.П. Чуевского «Птичка» (1846).

«Спрятался месяц за тучку» — романс (1871?) А.И. Дюбюка на слова В.П. Чуевского.

У стога — Впервые: Возрождение. 1938. 29 июля. Печатается по газетному тексту.
С. 451

кукуры — возможно, местное название куропаток.

В жару — Впервые: Возрождение. 1938. 5 августа. Печатается по газетному тексту.
С. 452

Река времен в своем стремлении... — первые строки стихотворения Г.Р. Державина (1816).

Август — Впервые: Возрождение. 1938. 12 августа. Печатается по газетному тексту.

В Черемушках — Впервые: Возрождение. 1938. 19 августа. Печатается по газетному тексту.
С. 457

монте-кристо — легкое ружье для упражнения в стрельбе в цель.

Екатерининская больница — была учреждена в 1775 г. указом императрицы Екатерины II вместе с Екатерининским богадельным домом. Открыта в 1776 г. в здании бывшего Карантинного двора на Третьей Мещанской улице. С 1840 г. называлась Старо-Екатерининской больницей в отличие от Ново-Екатерининской больницы, куда в 1833 г. были переведены больные из-за ветхости здания. С 1844 г. стала первой в Москве больницей для «чернорабочего класса людей».

гурлюна — сведений обнаружить не удалось.

С. 458

Педели — см. прим. к с. 694 кн. 1 наст. изд.

министр Кассо — Кассо Лев Аристович (1865–1914) — министр народного просвещения (1911–1914), проводивший жесткую политику в отношении студенческого движения.

С. 459

«Земля и воля» — см. прим. к с. 316 кн. 1 наст. изд.

компрачкос (от исп. *comprachicos* — скупщики детей) — так назывались сообщества бродяг в Испании, Англии, Франции и Германии, торгующие детьми. У индейцев известны как «чейлас» — охотники за детьми.

Тата — Впервые: Возрождение. 1938. 26 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 460

Сти, младенец мой прекрасный... — слова из песни на стихи М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1837–1838). Первый мотив написал сам поэт, современники слышали ее в авторском исполнении. В дальнейшем музыку писали более пятидесяти композиторов: А.Е. Варламов (1852), Полина Виардо (1865), А.Т. Гречанинов (1894), А.С. Танеев (1899) и др. Наиболее известный мотив принадлежит Варламову.

Кудесник — Впервые: Возрождение. 1938. 2 сентября. Печатается по газетному тексту.
С. 462

Воздвижение — Воздвижение Креста Господня, церковный праздник, ежегодно совершаемый 14 сентября в честь обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос.

гонобобелевая — см. прим. к с. 119 кн. 1 наст. изд.

Буживаль — Впервые: Возрождение. 1938. 30 сентября. Печатается по газетному тексту.
С. 465

Как хороши, как свежи были розы... — строка из стихотворения И.С. Тургенева (1879).

Пассивная оборона — Впервые: Возрождение. 1938. 7 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 467

сомье — мягкая, широкая кушетка.

Анжу сухое — розовое полусухое французское вино.

Майор Ушаков — Впервые: Возрождение. 1938. 14 октября. Печатается по газетному тексту.

Телеграмма — Впервые: Возрождение. 1938. 21 октября. Печатается по газетному тексту.

Моховое болото — Впервые: Возрождение. 1938. 28 октября. Печатается по газетному тексту.

Крик в ночи — Впервые: Возрождение. 1938. 4 ноября. Печатается по газетному тексту.

Осенней порой — Впервые: Возрождение. 1938. 11 ноября. Печатается по газетному тексту.

Шутки — Впервые: Возрождение. 1938. 18 ноября. Печатается по газетному тексту.

Осенний вечер — Впервые: Возрождение. 1938. 25 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 486

штафирка — подкладка или борт подкладки в ботинках, обшлагах рукавов, юбках и т.п., а также презрительное прозвище штатского человека.

бусырь — то же, что *бусарь*; см. прим. к с. 189 кн. 2 наст. изд.

Случай — Впервые: Возрождение. 1938. 2 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 489

«*Альказар*» — летний театр-варьете М.В. Лентовского в Петровском парке в Москве (1890-е гг.).

В лесу — Впервые: Возрождение. 1938. 9 декабря. Печатается по газетному тексту.

Бабушка — Впервые: Возрождение. 1938. 12 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 493

пововские вазы — см. прим к с. 69 кн. 1 наст. изд.

Там я на пир воображенья... — имеется в виду стихотворение А.С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1829). У Пушкина первая строка звучит так: «Где я на пир воображенья...».

...пирогии... у Савостьянова — см. выше, прим. к с. 178.

С. 494

Быстры, как волны, дни нашей жизни... — см. прим. к с. 410 кн. 1 наст. изд.

С. 495

А.К. Саврасов написал пейзаж в картинах В.Г. Перова «Птицелов» (1870) и «Охотники на привале» (1871).

Перед праздником — Впервые: Возрождение. 1938. 23 декабря. Печатается по газетному тексту.

«**Чванство**» — Впервые: Возрождение. 1938. 30 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 498

ординер — ординарное вино, срок выдержки которого не превышает один год.

С.499

Владимира имею с мечами — имеется в виду знак Ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами; жаловался за военные или гражданские заслуги.

Ах, Настасья, ах, Настасья... — русская народная песня.

Кюба — здесь и далее: ресторатор в Петербурге.

Рождественская ночь — Впервые: Возрождение. 1939. 6 января. Печатается по газетному тексту.

С. 501

матлот — кушанье в виде кусочков речной рыбы в соусе из красного вина и разных приправ.

синдетикон — жидкий клей для склеивания бумаги и картона.

трынка, стуколка — карточные игры.

Новый год — Впервые: Возрождение. 1939. 13 января. Печатается по газетному тексту.

С. 503

...хотя ты и действительный — действительный статский советник, гражданский чин 4-го класса в дореволюционной России; давал потомственное дворянство. Лица, его имевшие, занимали высокие должности (директор департамента, губернатор).

штукарь — ловкач и выдумщик.

Новое счастье — Впервые: Возрождение. 1939. 20 января. Печатается по газетному тексту.

Под Крещение — Впервые: Возрождение. 1939. 27 января. Печатается по газетному тексту.

Татьянин день — Впервые: Возрождение. 1939. 3 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 509

«искупуйте время» — «Искупуйте (т.е. берегите. — *Сост.*) время, яко дни лукави суть» (из «Приветствия поклонникам Святого Гроба после приобщения Святых Тайн». Иерусалим. 28 февраля 1870 г.). Так пишет составитель «Приветствия» о. Антонин о тех быстротекущих днях и неделях, которые отпущены паломникам на Святой Земле.

С. 510

От зари до зари... — см. прим. к с. 115 кн. 1 наст. изд.

С. 511

«Развлечение» — см. прим. к с. 273 кн. 1 наст. изд.

Необыкновенный сон — Впервые: Возрождение. 1939. 10 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 512

...наметкой... поймал — см. прим. к с. 634 кн. 1 наст. изд.

Блины — Впервые: Возрождение. 1939. 17 февраля. Печатается по газетному тексту.

Капустник — Впервые: Возрождение. 1939. 24 февраля. Печатается по газетному тексту.

Грибной рынок — Впервые: Возрождение. 1939. 3 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 519

Воспитательный дом — см. прим. к с. 679 кн. 1 наст. изд.

С. 520

турмана — турманы, порода голубей.

В лавке у Березкина — Впервые: Возрождение. 1939. 10 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 522

Мережа — рыболовная снасть в виде суживающейся мешкообразной сети, натянутой на обручи.

Из ранних лет — Впервые: Возрождение. 1939. 17 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 525

Хас-Булат удалой!.. — слова из песни О.Х. Агреновой-Славянской на основе стихотворения А.Н. Аммосова «Элегия» (1858).

Плевако — Впервые: Возрождение. 1939. 24 марта. Рассказ имеет подзаголовок: *Из воспоминаний*. Печатается по газетному тексту.

С. 529

Картина В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» (1887).

Пирог — Впервые: Возрождение. 1939. 31 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 530

...Кушнерев прислал нам за иллюстрации к Пушкину — см. прим. к с. 99 кн. 1 наст. изд.

Светлое Христово Воскресение — Впервые: Возрождение. 1939. 1 апреля. Печатается по газетному тексту.

Исцеление — Впервые: Возрождение. 1939. 14 апреля. Печатается по газетному тексту.

В былые времена — Впервые: Возрождение. 1939. 21 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 537

...разразилась война болгар с турками — болгары, сербы, румыны, черногорцы и македонские греки издавна находились под турецким владычеством. В 1876 г. болгары, сербы и черногорцы восстали против турок. Возмущение было жестоко подавлено. На помощь братьям-славянам пришла Россия. 12 апреля 1877 г., после неудачных переговоров с турецким султаном, император Александр II объявил войну Турции.

Осман-паша — см. выше, прим. к с. 352.

Генерал Рейенг — имеется в виду генерал Рейсиг А.К.

Неуживчивый человек — Впервые: Возрождение. 1939. 28 апреля. Печатается по газетному тексту.

Весенние дни — Впервые: Возрождение. 1939. 5 мая. Печатается по газетному тексту.

На большой дороге — Впервые: Возрождение. 1939. 12 мая. Печатается по газетному тексту.

Доктор — Впервые: Возрождение. 1939. 19 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 546

яловочные сапоги — яловые сапоги, выделанные из шкуры молодой коровы или теленка.

Ночь — Впервые: Возрождение. 1939. 26 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 549

стрицкий — см. прим. к с. 335 кн. 1 наст. изд.

В майские дни — Впервые: Возрождение. 1939. 2 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 552

Я во второй книге дворянства — имеется в виду «История родов русского дворянства»: В 2 т. (сост. П.Н. Петров, СПб., 1886).

Рыболовы — Впервые: Возрождение. 1939. 9 июня. Печатается по газетному тексту.

«Поэтесса» — Впервые: Возрождение. 1939. 16 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 557

папийон — декоративная порода комнатных собачек.

Веселье... — Впервые: Возрождение. 1939. 23 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 559

Пишу... декорацию к «Руслану» Глинки — опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

Княгиня — Впервые: Возрождение. 1939. 30 июня. Печатается по газетному тексту.

В Петров день — Впервые: Возрождение. 1939. 1 июля. Печатается по газетному тексту.

Философия — Впервые: Возрождение. 1939. 14 июля. Печатается по газетному тексту.

В дни революции — Впервые: Возрождение. 1939. 21 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 569

ландрин — фруктовое монпансье.

Война — Впервые: Возрождение. 1939. 28 июля. Печатается по газетному тексту.

Спорщики — Впервые: Возрождение. 1939. 4 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 574

Нерон — Нерон (37–68) римский император (с 54), прославившийся своей жестокостью. В 59 г. повелел убить собственную мать.

Торквемада — Торквемада, Томас (ок. 1420–1498), с 80-х годов XV в. глава испанской инквизиции (Великий инквизитор).

В дождливый день — Впервые: Возрождение. 1939. 11 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 575

...министра Плева убили... — Плева Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел (с 1902) и шеф отдельного корпуса жандармов. Активный сторонник русско-японской войны (1904–1905). Убит эсером Е.С. Созоновым.

С. 576

По Белому морю-то ехали оттуда в Сароку Пундузу... — Пандога — ныне поселок в Тюменской области, в Ямало-Ненецком автономном округе.

На Северной Двине — Впервые: Возрождение. 1939. 18 августа. Печатается по газетному тексту.

Медиум — Впервые: Возрождение. 1939. 25 августа. Печатается по газетному тексту.

День в природе — Впервые: Возрождение. 1939. 1 сентября. Печатается по газетному тексту.

Чертополох — Впервые: Возрождение. 1939. 15 сентября. Печатается по газетному тексту.

Шаляпин.

Встречи и совместная жизнь

Впервые: Париж. Возрождение, 1939 г. Обстоятельства, вызвавшие появление книги, подробно изложены во вступительной статье (см. с. 14, 20 кн. 1 наст. изд.). Вошла в издание «Константин Коровин вспоминает...». Перепечатана также в: *Хабаров И.П.* Шаляпин. Встречи и совместная жизнь. Рассказы о Шаляпине. М., 1993.

С. 591

«*Аленький цветочек*» *Кроткова* — имеется в виду опера «Алая Роза», поставленная в Частной опере С.И. Мамонтова в 1886 г.

Панаевский театр — см. прим. к с. 395 кн. 1 наст. изд.

С. 593

Пивато — ресторатор в Петербурге.

С. 602

хевсуры — этнографическая группа грузин.

С. 635

«*Алатр*» — см. прим. к с. 189 кн. 2 наст. изд.

С. 638

Магазин Шанкс — магазин Д.С. Шанкса был открыт на Кузнецком Мосту в 1880 г. (с 1961 по 2008 г. в нем располагался магазин женской одежды «Светлана»).

С. 652

трельяж — здесь: тонкая решетка для вьющихся растений.

С. 653

кордегардия — см. прим. к с. 600 кн. 1 наст. изд.

С. 655

театр Виши — имеется в виду Оперный театр в г. Виши (Франция).

С. 660

Всерабис — см. прим. к с. 84 кн. 1 наст. изд.

С. 665

«*Мыловар*» — правильное название «Сторож» (1923); «*Человек с пауком*» — правильное название «Паук» (1923); «*Отшельник*» (1923).

С. 671

эскарго — см. прим. к с. 188 кн. 1 наст. изд.

С. 674

«*Восторженных похвал пройдет минутный шум...*» — из стихотворения А.С. Пушкина «Поэту» (1830).

Из неопубликованного

Охота... рыбная ловля... Коля Куров

Рукопись была приобретена Т.С. Ермолаевой, составителем настоящего сборника, в 1971 г. у издателя газеты «Новое Русское Слово» Марка Вейнбаума. Тот в свою очередь купил ее у вдовы С.Ф. Дорожинского С.Б. Дорожинской-Курилло в 1970 г., которая в то

время крайне нуждалась. Дата написания, указанная на левом поле первой страницы рукописи, сделана рукой К.А. Коровина: «от 1894 до 1905» и, скорее всего, указывает на описываемое время, а не на период создания рассказа. Рукопись представляет собой разрозненные листы из блокнота в клетку, плотно исписанные карандашом неразборчивым почерком, и в ней практически отсутствуют знаки препинания. Особую трудность составляет то обстоятельство, что рукопись была пронумерована произвольно, очевидно, с целью подсчета общего количества листов. Поэтому при публикации пришлось подбирать последовательность текста по смыслу и для удобства чтения разбивать его на отрывки, помеченные звездочками.

Уже в этом первом литературном опыте К.А. Коровина появляются темы и персонажи, которые закрепятся в его многочисленных рассказах об охоте и рыбной ловле. Здесь же обозначился круг его друзей и близких знакомых: Василий Сергеевич Кузнецов (архитектор), Юрий Сергеевич Сахновский (композитор), Николай Николаевич Куров (музыкальный критик), Валентин Александрович Серов (художник), возчик Батранов, мельник Никон Осипович (в оригинале Коровин называет его то Никоном, то Николаем — при публикации это разночтение устранено), его сын Санька и др.

Публикуется впервые¹.

Печатается по правилам современной орфографии и пунктуации. Для удобства чтения устранили очевидные опiski автора. Сохранены отдельные слова и выражения, передающие своеобразие крестьянской речи.

При подготовке рукописи была принята следующая система обозначений:

— в квадратные скобки [...] заключен текст, вычеркнутый автором, в результате чего оставшаяся фраза теряет смысл или который представляет интерес для читателя;

— в угловые скобки <...> заключены буквы и слова, пропущенные автором и дополненные по смыслу; в случаях, когда такое дополнение сомнительно, использовано обозначение <?>;

— слова, которые не удалось расшифровать, обозначены сокращенно: <нрзб.>.

¹ В 2006 г. рукопись была передана Т.С. Ермолаевой в дар Архиву Библиотеки-Фонда «Русское зарубежье» (ныне Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына).



ПИСЬМА



НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
(из последних поступлений в Отдел рукописей
Государственной Третьяковской галереи)

В настоящем издании впервые публикуется часть эпистолярного наследия великого русского художника Константина Алексеевича Коровина (1861–1939), состоящая из его писем к И.К. Крайтору и С.Ф. Дорожинскому. Они были написаны в переломные, трагические моменты жизни Коровина: периоды Первой мировой войны и последующих революционных потрясений (1915–1921), а также в последние годы эмиграции (1932–1939). Кто они, адресаты Коровина, и какую роль они сыграли в жизни художника?

Письма Коровина к Крайтору поступили в Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (ОР ГТГ) в 2003 г. и составляют часть фонда И.К. Крайтора, приобретенного Галереей в 2005 г. (ОР ГТГ. Ф. 230. 161 ед. хр., 1896–1969). К сожалению, фонд содержит незначительное количество биографических документов самого фондообразователя, и его жизненный путь удалось проследить лишь отчасти. Иван Кондратьевич Крайтор (1880–1957) — коллекционер, художник-реставратор, посредник по продаже картин и устроитель выставок. Родился в Бессарабской губернии в мещанской семье. В 1896 г., после окончания Кишиневского уездного училища, не имея возможности продолжить обучение, работал у городского архитектора чертежником, занимался самообразованием. В 1902 г., переехав в Москву, посещал архитектурные курсы, осваивал фотографию, занимался живописью. Тогда же начал серьезно интересоваться проблемами реставрации картин, изучал специальную литературу, проводил химические эксперименты. Самый известный опыт в этой области, вызвавший неоднозначные отклики в научной среде, — реставрация фрагмента картины Д.Г. Левицкого «Портрет Ф.П. Макуровского в маскарадном костюме» (1789). Крайтор даже был вынужден издать брошюру «По поводу портрета “Ф.П. Макуровский” в Третьяковской галерее» с объяснением своего метода (М., 1916). Одновременно он стал заниматься коллекционированием картин, а также устройством и организацией выставок русских и иностранных художников, являясь руководителем Галереи К. Лемерсье. По-видимому, именно тогда он сблизился со многими известными художниками и искусствоведами. Крайтора рисовал И.Е. Репин, прислушивался к мнению профессионального реставратора И.Э. Грабарь; сестра Крайтора Анна Кондратьевна (тоже реставратор) на долгое время стала другом и соратником Игоря Эммануиловича.

Мы не располагаем точными сведениями о дате знакомства Коровина с Крайтором. Возможно, оно произошло в то же время. По воспоминаниям известного искусствоведа и коллекционера С.А. Белица, в этот период в окружении художника находился художник К., который «...часто покупал у К.А. (Константина Алексеевича. — *Сост.*) картины и их перепродавал с большими барышами, в особенности когда К.А. нуждался в деньгах. <...> Иногда К.А. прибегал к хитростям. По Москве разносился слух, что у К.А. был сердечный припадок, это доходило до художника К., он прибегал; К.А. лежал в кровати и стонал. Художник К. начинал ходить по квартире и со всех углов вытаскивать картины, этюды, подносить к кровати К.А., и начиналась торговля. Наконец договаривались, и художник К. расплачивался и увозил с собой картины» (ОР ГТГ. Ф. 216. Ед. хр. 39. Лл. 1 об.–2). Дальнейшее развитие событий с учетом того, что

Крайтор являлся обладателем богатого собрания произведений Коровина, дает основания предположить, что художник К. и И.К. Крайтор — одно и то же лицо.

Письма знаменитого художника к коллекционеру, позднее к ответственному работнику Наркомпроса Ивану Кондратьевичу Крайтору, с обращениями: «дорогой Иван Кондратьевич», «голубчик Кондратьевич», «милый Кондратьевич», «Кондратьевич», носят открытый, доверительный характер. Таким образом, в то время К.А. Коровин считал его не только своим посредником в продаже картин и помощником в устранении бытовых неурядиц, но и близким человеком.

Коллекция писем (1915–1921) относится к последним годам жизни К.А. Коровина в России. Три первых письма (18.11.1915, 07.07.1916, 18.07.1916) содержат информацию о продаже картин, о новых творческих замыслах, о его поездках в Крым и южных впечатлениях, о предполагаемой поездке на фронт.

Все остальные письма ([1917–1918]–1921) относятся к сложному периоду в жизни России, наступившему после Октябрьской революции. За исключением нескольких писем из Охотины, где находилась его старая дача с любимой мастерской, все они были отправлены Коровиным из имения Островно станции Удомля Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, куда семья художника вынуждена была переехать. В 1919 г., во времена военного коммунизма, жить в Москве с женой и больным сыном, не имея твердого государственного пайка, было практически невозможно. Многие москвичи стремились перебраться в сельскую местность. В Охотине жить было небезопасно, так как оно уже подвергалось нападением окрестных жителей и, несмотря на охранную грамоту, находилось под постоянной угрозой реквизиции. Новое местожительство было выбрано неслучайно. Художник В.В. Рождественский вспоминал: «...Абрам Ефимович Архипов, Константин Алексеевич Коровин и я остановились на Тверской губернии. [...] мы, посовещавшись, решили ехать на станцию Удомля. [...] привлекало еще то, что здесь до революции жили художники Левитан, Жуковский, Богданов-Бельский, Бялыницкий-Бируля, Степанов и др., а потому население привыкло к художникам. Архипов прекрасно устроился на берегу озера Удомля, в усадьбе покойного врача Якубовича. Мы с Коровиным и профессором эстетики Вышеславцевым поселились в небольшой усадьбе, скорее даче, верстах в пяти от Удомли. Дача была недалеко от имения Островно, где когда-то жил и работал Левитан, а во время нашего приезда находился художник Богданов-Бельский с женой. В имении Островно от старинного дома шла дорожка к озеру, заросшему кугой и камышом; в нем водились крупные щуки. Все это сманило Коровина в Островно, и мы расстались» (*Рождественский В.В. Из воспоминаний художника. М., 1958. С. 119–123*).

Необходимо отметить, что именно период пребывания художника в Тверской губернии изучен менее всего из-за небольшого количества сохранившихся документов. Из представленных писем вырисовывается суровая картина его жизни в это время. Коровина и его близких преследуют бесконечные болезни. У него прогрессирует болезнь сердца, и — что особенно трагично для художника — временами отказывает правая рука. Часто болеет жена. В доме голодно, не хватает хлеба, молока, «сахар снится во сне». Нет спичек и свечей. Нет денег, вся надежда на продажу картин. Самое страшное при таком положении дел — постепенное исчезновение художественных материалов: красок, холста и др., однако Коровин, несмотря ни на что, продолжает работать. Почти в каждом его письме есть упоминания о новых произведениях. Он интересуется художественной жизнью Москвы, мечтает о персональной выставке. Последняя была организована в 1921 г. при активном содействии Крайтора, которому Коровин передает все свои произведения, отобранные для показа.

В 1923 г. Крайтор получает заграничный паспорт и уезжает в командировку во Францию с бесценным багажом — картинами Коровина, доверенными «милому Кондратьевичу» для устройства выставки. За границу уезжает с семьей и Коровин. Их взаимоотношения за рубежом складывались непросто. «Крайтора я не видел два года. И где картины мои, что у него,

не знаю», — пишет Коровин в 1927 г. их общему приятелю П.И. Суворову (ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 2. Л. 1). В том же году, отвечая на присланные вопросы сотрудника Третьяковской галереи А.С. Галушкиной, составляющей биографию художника, он сообщает: «Последние работы мои в Москве были представлены на выставке в 1920 г. (1921. — *Сост.*) [...] Картины этой выставки находятся у И.К. Крайтора [...], а Крайтор где находится — не знаю» (ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 114. Л. 8. См. также: *Хвойник И.* Константин Коровин. К выставке работ / Под ред. И.К. Крайтора. М., 1921). В середине 20-х — начале 30-х годов Крайтор обосновался в Голландии, и, по-видимому, связь его с Коровиным была прервана. В выявленных нами документах сведений об их общении и о местонахождении картин Коровина после возвращения Крайтора во Францию не обнаружено. В этой связи значительный интерес представляют воспоминания художника-графика И.И. Мозалевского, в которых описаны его встречи с Коровиным и Крайтором и приводится версия о присвоении Крайтором «коровинского наследства» (*Мозалевский И.И.* Моя жизнь в Париже. ОР ГТГ. Ф. 60. Ед. хр. 729). В Париже Крайтор жил на улице Сольнье (rue Saulnier), 20, в трехкомнатной квартире, где размещалась и его коллекция картин. Он был одинок, а из-за частых болезней, особенно после Второй мировой войны, редко бывал в обществе. «Работоспособность моя сильно понижена. В 10–20 раз медленнее приходится все делать, да притом одному [...]. Печь, уборка, кухня и проч., проч. Единственная надежда, что кто-либо из моих придет и захватит часть лучших собранных вещей, иначе все пропадет» (из письма И.К. Крайтора к И.Э. Грабарю от 17 марта 1951 г. — См.: ОР ГТГ. Ф. 106. Ед. хр. 6518. Л. 5 об.). В 50-х годах при содействии И.Э. Грабаря его смогла навестить сестра — А.К. Крайтор. После смерти Крайтора 19 декабря 1957 г. «...квартира была опечатана [...], что случилось с его картинами, этюдами, записками, мы ничего не знаем» (из письма сотрудника парижской газеты «Русские Новости» Могилевского к журналисту В.А. Курилову. — См.: ОР ГТГ. Ф. 60. Ед. хр. 133. Л. 2). В России Иван Кондратьевич был женат на Софье Ивановне Дока. По-видимому, часть коллекции осталась у нее в Москве; об этом свидетельствуют документы государственных учреждений, присланные И.К. Крайтору и С.И. Дока в 1929 и 1931 гг., несмотря на то что Крайтор уже давно жил за границей, на их московский адрес, регламентирующие права и обязанности обладателей частных коллекций (ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 32, 33). Кроме того, на Выставке русского искусства из частных коллекций в Минске 1965–1966 гг. были представлены семь полотен Коровина, принадлежащих С.И. Дока-Крайтор и А.К. Крайтор (см.: Выставка русского искусства из частных собраний / Государственный художественный музей БССР. Минск, 1966. С. 13).

К сожалению, пока остается неизвестной судьба так называемого коровинского наследства. И мы не будем останавливаться на какой-либо версии отношений Коровина и Крайтора за границей; упомянем лишь о том, что ни своих картин, ни денег, вырученных от их продажи, художник не получил (об этом подробно говорилось во вступительной статье к настоящему изданию).

Если комплекс документов о жизни Коровина в 1919–1920 гг. явился сенсацией для его биографов, то о письмах к С.Ф. Дорожинскому было известно давно. Еще в 1966 г. завязалась переписка его вдовы, С.Б. Дорожинской, проживающей во Франции, с советскими чиновниками Министерства культуры и Главного архивного управления о продаже материалов великого русского художника, оставшихся у нее после смерти мужа. В обсуждении целесообразности приобретения этих документов участвовали директор ГТГ П.И. Лебедев, первый секретарь Правления Союза художников СССР Б.В. Иогансон, начальник Главного архивного управления при Совете министров СССР Т.Г. Белов и другие ответственные лица. Сохранилась копия письма С.Б. Дорожинской директору Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) Н.Б. Волковой. «Я вынуждена очень торопиться с этой продажей, т.к. мое здоровье все хуже и хуже — должники многочисленные, видимо, опасаясь моей скорой смерти, осаждают меня с уплатами и, зная, что,

увы — я без денег, подсылают всяких перекупщиков-спекулянтов — желая заставить меня продать им архивы К.А. Коровина, — но мое желание [...], чтобы все досталось Родине, всегда и неизменно нами горячо любимой, о чем и говорит Коровин в своих грустных письмах к моему мужу — его большому другу. Бурные, политические волны разогнали нас в разные стороны, не изменив нашей любви к Родине...» (ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 121. Лл. 1–5). Но письма Коровина Дорожинскому, проделав долгий путь из Европы в Америку и обратно, были переданы в дар К. Тейлором Государственной Третьяковской галерее только в 2006 г., и мы теперь имеем возможность довольствоваться не только подчас очень субъективными воспоминаниями современников о проживании Коровина в эмиграции, но и услышать все из уст самого художника.

Станислав Фаддеевич Дорожинский (1879–1960) — один из первых авиаторов России. В 1901 г. окончил Морской кадетский корпус. В 1909 г. был командирован во Францию для учебы в авиашколе, в 1911-м — первым из представителей России осуществил взлет на гидроплане с водной поверхности. Участник Первой мировой войны, в 1916 г. был произведен в капитаны второго ранга. В годы Гражданской войны находился на службе в Белой армии. В 1920 г. вместе с женой эмигрировал во Францию. За границей подолгу жил и работал на своей ферме на юге Франции, в Париже занимался живописью, издательским делом, собирал коллекцию картин. У нас нет сведений, когда и как произошло знакомство летчика с художником, но благодаря ему Константин Алексеевич Коровин смог опубликовать мемуары «Моя жизнь» (1935) и книгу «Шаяпин. Встречи и совместная жизнь» (1939). Подробно об этом см. с. 17 и 20 кн. 1 наст. изд.

Во многих мемуарах о жизни художника в эмиграции красной нитью проходит тема бедности и беспросветности. К сожалению, это часто соответствовало действительности. В данной публикации читатель найдет подтверждение этому; в то же время он заметит, что нельзя окрашивать семнадцатилетний период жизни Коровина во Франции только в темные, траурные тона.

Публикация писем К.А. Коровина к И.К. Крайтору подготовлена научными сотрудниками музея ОР ГТГ Н.В. Ильиной и Т.И. Кафтаковой. Публикация писем К.А. Коровина к С.Ф. Дорожинскому, С.Ф. Дорожинского к К.А. Коровину, а также писем Н.Н. Курова к С.Я. Дорожинскому подготовила Н.В. Ильина.

Часть писем К.А. Коровина написана под диктовку. Почерк Коровина выделен другим шрифтом.

Составители выражают искреннюю признательность Т.С. Ермолаевой за содействие в передаче выявленных ею материалов из архива С.Ф. Дорожинского в ОР ГТГ.

1 [1]

18 ноября 1915 г., Москва

Дорогой Иван Кондратьевич!

Утром получил телеграмму от графа Дмитрия Ивановича¹, где предлагает уступить «Костер», «Сирень». Я ответил, что уступаю. Не имея от Вас письма, я не знал, что делать. Какое же было мое удивление, когда теперь, вечером я получил Вашу депешу. Но что уже сделано, то сделано. Только жалко Леонида Витальевича², он подумает, что я не хотел ему уступить. Он и так ко мне всегда как бы предубежден. Но я прошу Вас и Василия Сергеевича Кузнецова³ успокоить его и сказать ему, что я не виноват. Это ясно, и что, в сущности, лучшую вещь (Пушкинскую ноту) — ночь, сумерки, костер и «Разбойнички»⁴, я уступаю ему.

Вы и Василий Сергеевич ее знают. Прошу Вас, пожалуйста, передайте мой поклон Петру Ивановичу Нерадовскому⁵ и передайте ему, что, в сущности, я очень рад, что музей взял «Ночь» и что только невольно, конечно, я Вас поставил в неловкое положение. И Леониду Витальевичу мой низкий поклон.

Знайте, я уезжаю в это воскресенье в Крым⁶ и жду Вас в Москве в эту субботу — ехать вместе.

Вас уважающий и преданный Вам

Коровин

Москва, 18 ноября 1915 г.

Уступил «Ночь» за 1200

«Сирень» — 700

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 37. Лл. 1–2. Автограф



«Где Маша да!!!»

7 июля 1916 г., Гурзуф, вилла Саламбо

Дорогой Иван Кондратьевич!

Еду, еду в чистом поле двое суток, какая мерзость ехать летом! Баба торговала пирожками, покупатель спрашивает: «Почем пирог? — Пятачок. — Давай все. — Ишь ловкий, а чем же я торговать-то буду?»

Еду я местами ровными, поля. Право, я не знал бы, что здесь написать, железно-дорожные будки делают разнообразие. Вот дальше будет степь, там прекрасно — особенно вечера. Я все же рад, что поехал в Крым, увижу море, оно прекрасно всегда, жалею, что болен. Я люблю юг, во мне есть арапская кровь. Вот что, когда я скоро умру, а Вы будете миллионщик, будете кушать бананы и финики, не забудьте, пожалуйста, приказать посадить косточки от финика на мою могилу, вырастет пальма, хотя спросите у Челнокова⁷ и Грабаря⁸, вырастет ли. Они знают, хотя и не арапы. Вот Бенуа⁹ Вам сказал бы, наверное, он венецианский мавр, он в Петрограде с семейством любит качаться на пальмах, вися на хвосте. Передайте Жуковскому¹⁰ от меня привет. Скажите, чтобы не забывал рецепта, а то с ним будет, что со мной, — захворает. Я забыл рецепт и захворал. Чертите мне в Крым.

Полдень 7 июля 1916 г.
Гурзуф Вилла Саламбо

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 39. Лл. 1–1 об. Подлинник

18 июля 1916 г. [Гурзуф, вилла Саламбо]

Дорогой Иван Кондратьевич!

Письмо Ваше получил. Мрачного письма Вам не посылал, а послал шутливое, ей-Богу! Но, должно быть, не вышло. Надеюсь приехать в конце июля. Леня¹¹ пишет Вам это письмо, а я сижу, пишу картину «Вечер». Написал четыре картины роз лучше прежних. «Розы» и «Персики», уж очень хороши «Персики». Жалею, что Вам не приходится приехать ко мне. Скажу по правде, писать очень трудно, т.к. очень жарко, все какое-то расплавленное. В теплых рефlekсах и вообще Крым летом зеленый, как «циноббер»¹², и очень скучно. Ездил на лодке писать, лодка качается, никак не попадешь в то место, куда надо. Когда Вы поступите на службу, то, вероятно, останетесь в Москве. Насчет своего дела — поездки на войну, я еще ничего не знаю. Розы, и довольно плохие, здесь продаются по 30 коп. штука. Газеты у Вас пишут, что здесь все переполнено, а на самом деле в Ялте совсем пусто; вероятно, боязнь «Гебена»¹³. Деньги, высланные Вами за картины проданные, получил. Я бы так был рад Вас видеть, купил Вам в подарок три портретика миниатюр.

18 июля 1916 г.

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 40. Л. 1. Подлинник

[Лето 1917 г., Охотино].

Дорогой Иван Кондратьевич!

Я не знаю, как сделать с картиной «Бугорок с соснами весной» — ту, о которой Вы пишете и которую я продал г. Каплуну (Коплуну?)¹⁴. Это очень трудно. Вам эта картина не нравилась, и Вы сами сказали, чтоб я ее продал — тоже «Цветы утром» и «Ночь, луна и терраса».

Теперь я написал:

- 1) большую — «Сумерки, цветы, окно, фигура»*¹⁵
- 2) «Лес при солние, фигуры»
- 3) «Облака»
- 4) «Старый челн, две фигуры»
- 5) «Река, лодка, фигура»
- 6) «Река — отражение, кусты»
- 7) «Костер, группа, луг»*
- 8) «Река, парк, сумерки»
- 9) «Ночь, фигура уходит»
- 10) «Ночь, луна, березы»
- 11) «Фонарики, внутри столовой, фигуры»
- 12) «Вечер, последний луч»*
- 13) «Лес»*
- 14) «Даль»

На этих днях окончу фигуры Ваши старые и окончу другие.

У меня нет подрамников, я заказал двадцать штук Иванову. Хорошо было бы сделать разного размера, т.к. меньшего я скорей пишу и лучше для многих мотивов.

Жду Вашего приезда. Миша¹⁶ очень мил, привез мне сахарку, и надо отдать ему одну тысячу рублей. За сахар, консервы, скипидар, масло, проезда — 249 р. 40 к.

Он рассказал мне о том, как подделки под меня имеют поклонников. Я так удивляюсь простодушию знатоков. Но, однако, сколько жуликов развелось, куда их деть бедной России — какая поганая штука — подделка.

Поедете, захватите для меня картону, так как мне нужно делать иллюстрацию к поэтам. И кстати, возьмите в школе красок, темпера для этой работы. Захватите с собой, если есть, керенок.

Ваш Коровин

Не знаю, что делать, т.к. жить так дорого, что берет ужас — денег не удержишь, бегут как река. Как буду жить все хуже.

Нужны краски, прошу В.Г. Гиннет¹⁷, не может ли выписать от себя через посольство рублей на тысячу хотя бы.

К. Коровин

Приезжайте. Как картины?

Большая картина, которую пишу, поэтична и особенна. Также и она уходит.

Август 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Посылаю с этим письмом к Вам нашего ученика Бельского¹⁸, который тут живет, где и я, т.е. в Тверской губернии. Место очень красивое, но совершенно голодное, хлеба нет, и вообще достать еду трудно чрезвычайно, т[ак] ч[то] я напрасно поехал. Говорят, хлеб новый достать будет можно, не знаю, но, во всяком случае, дожить думаю до осени, т.к. начал писать. Но вот тут имею к Вам просьбу:

1) Прошу Вас ко мне приехать, т.к. есть работы, которые хотел бы Вам показать.

2) Привезите мне, пожалуйста, спичек, табаку, чайку, соли, табаку — махорки или папирос, сахару.

3) Возможно, нужно достать краски, белил, зеленой, желтой, цинковой, лимонной и других. Возможно больше.

4) Холста, хотя не грунтованного, — и один фунт клею, два фунта гипсу и скипидару необходимо. Писать хочется, и здесь много нового. Что взял с собой, уже все вышло. Может быть, есть в Школе.

5) Необходимо достать два женских костюма 30-х годов для натуры. Здесь я живу в замечательном старом доме, и есть подходящий фон и колорит.

Надеюсь, что Вы не удивитесь моей просьбе, т.к. трудное время меня заставляет для дела обратиться к Вам. Но у Вас тоже, наверное, много хлопот, все же посодействуйте мне и, что возможно, устройте. Костюмы мог бы достать Дьячков¹⁹, адреса не знаю, он работает в конторе театров, можно узнать там же у Леонида Львовича Исаева²⁰. Он попросит Елену Константиновну Малиновскую²¹ дать мне два старых костюма из Онегина — цвета безразличны.

Прошу прощения за беспокойство, но обращаюсь к Вам как желающий добиться толку из дела.

Пожалуйста, приезжайте, насчет питания — скоро можно будет новый хлеб. Кланяюсь [Помню].

Уважающий Вас

Конст[антин] Коровин

Адрес скажет ученик.

Станция Удомля — Островно, где живу.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 42. Лл. 1–2 об. Автограф

[До 15 октября 1919 г.], ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Тщетно ждал Вас. Я понимаю, что теперь трудно приехать. Я думаю дожить, если Бог приведет, здесь до 15 октября, а потому все жду Вас. Может

быть, приедете с Лене́й²². За посылку благодарю Вас очень — за краски, которые от Вас привез Соколов²³. Вандик²⁴ и твердые охры разведу своей слезой и, когда приедете, выкрашу Вас за то, что хотите изорвать мои картины. Я работаю, но горе — нет свету, свечей, керосину. Я же пишу, люблю писать сумерки. Это поэзия, и вот — пришлите, привезите, если найдете. Написал несколько, более конченных, вещей — теперь пошло хуже — дожди, нет модели. В общем, жалею, что не поехал в Итларь²⁵.

Кто всех удивил — это Леша²⁶; он так написал, что куда угодно — в Париж, никому не подражает, рисует замечательно.

Вот еще горе — столько Коровиных развелось похоже на меня, что такой, как я, рад, что Леша сам по себе.

Прошу Вас, дайте Анне Станиславне Барановской²⁷ под расписку от Вас за мой счет три тысячи рублей — на дрова и жизнь. Знаете ли, что мне нужен Ваш серьезный совет — где мне жить: здесь, в Москве или Итлари.

Я чувствую, что болезнь сердца ухудшается. Ведь я уже старик — мне нужен покой; я потому и не поехал в Петерб[ург], где же я могу работать столько, ходить по таким лестницам и оплата, на которую не смогу купить даже хлеба для семьи. Я не поехал, а как хотелось пописать хорошо. [...] ²⁸

Пред[анный] Вам Коровин

Спасибо за присланное.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 43. Лл. 1–2. Автограф

7 [7]

[Осень 1919 г.], ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

В Москву поехал Лева [и]²⁹. Прошу выдать ему краски — двадцать флаконов белил, т.к. он поедет ко мне.

По Вашем отъезде я опять сильнее захворал — боль руки и бока.

Пришлите что-нибудь, [мыльца,] холстика и скипидар.

Ваш Коровин

Осень — пишу хорошо. Пейзажи с водой.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 44. Л. 1. Автограф

18 ноября 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Я слышал, Вы больны? Когда черт болен, тогда он святой, так что мы с Вами оба святые, т.к. я тоже болен. Но главное дело, знаете ли, прескверно. Сглазили меня окаянные художники — не могу работать. Будто бы какая-то от меня непроизвольная, независящая штука перебирает мне ребра и руку, как будто какие-то крысы развелись и гложут меня. Отвратительное, небывалое ощущение. Доктор говорит — воспаление нерв, пройдет только на юге — грязи и электричество. Ощущение до того отвратительно, что я всегда ищу места, как сесть и как лечь. Надо электрическую машину для лечения, но как и где достать. Нет ли у Ваших докторов знакомых? Пробовал писать левой рукой, но она не умеет (и рука требует обучения). Нельзя ли поехать на юг, например в Ташкент? Утром встаю — здесь холод. Соли нет. Вы хотели ехать в Итларь, или кого послать — у меня там есть лак. Годится ли для картин лак спиртовой, которым я покрывал и лакировал панель из дерева? Его бутылки две. Если прибавить канифоли, то будет картинный лак. Вы это, конечно, лучше меня знаете. Указание насчет грунта холста я принял к сведению. Картина дерева утром потемнела при покрытии лаком оттого, что грунт был очень жидок, за отсутствием гипса. Теперь у меня есть несколько подрамников, но всего семь. Не посылаю Вам семь картин, из которых есть хорошие, а всех их больше. Жду Вашего приезда. Скажу Вам прямо, здесь скука смертная. Леша стал отлично писать, к сожалению, когда уже красок нет!

Пришлите мне карточки непременно для миниатюр. Попробую их делать, так как это может быть легче, хотя писать даже письмо самому мне очень трудно. Ужасно, что не имею соли, а сахар вижу во сне! Пришли, голубчик Кондратьевич, мне, пожалуйста, если поправился и если можешь. Привет всем друзьям и доброжелателям и Вашим сестрам.

А зима есть — одна хороша, даже сам говорю.

Вам преданный и уважающий

Конст. Коровин

А костюмы-то так я и не получил! Каково! Может быть, возможно что-либо прислать из костюмов — каких-нибудь, вроде 30-х годов, платки тоже хорошо. Может быть, Броуантова³⁰, главная мастерица Больш[ого] театра, могла бы сделать из каких-нибудь старых лоскутков или тарлатана. Напишите, будут ли выставки и когда.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 45. Лл. 1–2 об. Подлинник

[Ноябрь-декабрь 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Писал Вам три письма, но никакого ответа — стороной узнал, что Вы еще больны и находитесь в лечебнице. Я вам вторю, болею опять сердцем, те же припадки, что и раньше. Может быть, Вы теперь выходите, то прошу Вас дружески, приезжайте на юг.

Я ничего не делаю, работа не идет, т.к. болею.

Деньги мои в «Лионском кредите»³¹, около двадцати тысяч. Прошу их получить, посылаю за ними Леню³² и Всеволода³³ и прошу совет Игоря Александровича³⁴ и Вас помочь мне в этом. Я к Вам посылаю Леню. Я продал за Вашу болезнь четыре вещи Вашему другу П.И. Суворову³⁵. Конечно, т.к. это Ваш покупатель, мне рекомендованный, то я со своей стороны считаю эту продажу как бы сделанную Вами. У меня осталось пять вещей, которые именно «счег»³⁶, я считаю хорошими, и хотел бы их продать, не знаю — время, которое мы переживаем, позволит ли это сделать. Сижу здесь без денег, т.к. взял с собой немного, расходы ужасны.

Напишите мне о здоровье и приедете ли — я так был бы рад. Пожалуйста, приезжайте — здесь чудные виды и тона. Вы приедете, я буду писать много, нет — не буду писать. Так и знайте. Прошу, приезжайте не один, а с кем хотите, буду рад.

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 46. Лл. 1–2. Автограф

8 декабря 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Все болят правые ребра и рука. Принимаю хинин, салицил, ничего не помогает. Я не работаю месяц, но улучшения нет. Похудел я ужасно, сахару нет, масла тоже, а это необходимо, за деньги достать нельзя, мена, и только на соль. Начинаются московские цены. Вы с Ушаковым не прислали мне письма, а я ждал. Картины спрашивают какие-то музеи, саратовский прислал письмо, другие понаслышке, передал Моравов³⁷, но я лично его не видел, потому что не выезжаю. Картины пришли, хотя и плохие, интересно бы написать со свечами замечательные мотивы с этим страшным домом³⁸, но нужны керосин и свечи, прошу достать через отдел, вечера большие. «На бедного Макара шишки валятся», — Анна Яковлевна³⁹ свалилась, деньги с меня тянут, хороши родственники (бедные), надели на меня хомут, особенно Всеволод Вяземский. Я Вам послал письмо через Анну Станиславовну⁴⁰ (заказное), адрес Ваш забыл, напишите. Ключ нашел. Л[ионский] К[редит]⁴¹ продавать не надо, может быть, привезете сами или пришлете нарочного. Ушакову не доверяю, так как растерекает по старости, не могу никому поручить отвезти Вам картины. В Лион[с-

ком] К[редите] помечено два портсигара, освобожденные ранее от реквизиции, после осмотра я положил еще два, боюсь держать дома, из которых один не золотой — амальгама. Секрет несгораемого ящика таков:

х = 2 поворот верхний

х = 3 поворот средний

х = 4 поворот нижний

На квартире есть две картины: одна «Париж ночью, кафе (Америкен)» в раме и вторая повторение — «Луна, снег, куски его, весна в Охотине» принадлежат г. Черкесу, его сын учится у нас в школе⁴². Адреса его не знаю, может быть, знает Анна Станиславовна или в школе. Прошу Вас послать их в рамках с артельщиком ему, передайте мой поклон и попросите у него для меня немножко табачку, он (караим) милый человек и ранее дал мне табачку. *Теперь тепло, можно ко мне приехать*. Картины приобрел давно и деньги уплатил давно. Собирался ко мне Кузнецов⁴³, буду очень рад, но только надо ему захватить с собой керосин или свечей, сахару, соли, подушки, белье. Рыба на озерах все время клюет и сейчас на блесну в прорубь, и на кобылке крючок, посадка — червь и мотыль, которые надо ему захватить с собой, налим идет хорошо на кусочки рыбы, слава Богу, у нас в доме тепло. Я Вас одолел поручениями, приношу Вам извинения, но что делать, главное, я не могу послать картины, жду Вас. Вещи в Л[ионском] К[редите] — все мое состояние, и я на них очень рассчитываю. Средств, финансов у меня очень мало осталось. Рамы в московской квартире, три или четыре больших, пятая для картины «Луна» Черкеса или отдать ему тоненькую золотую и еще *свободные подходят к натюрморту*, и еще четыре ампир квадратные, *которые для картин Терешкевич⁴⁴*. За большие я платил 1914 г. — 40 руб., маленькие в прошлом году по 250 руб. (ампир). Соразмерно Вы уплатите Анне Станиславовне из этих денег, матери Анны Яковлевны 3000 руб., а также часть на расходы по отправке картин Черкеса. *Остальные — Анне Станиславовне*.

Милый Кондратьевич! Вы ведете мое дело, сами понимаете, что мне трудно, меня одолевают со всех сторон, просят картины, обижаются, что не даю, и Вы можете поддержать меня по совести. Доверяю Вам, я прошу Вас соблюсти мои интересы, дабы я мог работать. Леша⁴⁵ работает и посылает Вам несколько небольших вещей, по-моему не уступающих в разрешении художественных задач Врубелю⁴⁶. Моя нравственная задача и других, которые имеют душу человека, поддержать его, особенно декоративно и звонко «Ночь в Марселе», акварель на черной бумаге, концепция которой говорит о большой талантливости и силе ритма. Прошу вас показать эти вещи Штембергу⁴⁷ и написать мне его мнение и совет. Жду от Вас письма и решений, как поступить мне с картинами и дальнейшим ходом работы. Вы знаете, что на воде озера, на полянах снега писать невозможно, а потому мне нужны материалы: краски, холст, свет, скипидар, — и потому в этом я надеюсь на Вас, а также и на средства насущной столь трудной жизни.

Кланяюсь всем Вашим.

8 декабря 1919

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 48. Лл. 1–4 об. Подлинник

8 декабря 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Уважаемый Иван Кондратьевич!

Посылаю Вам по выбору отца четыре натюрморта моей работы. Надеюсь, они Вам понравятся, и если подойдут, то попрошу Вас прислать мне за них, с кем-либо едущих на Удомлю, красок — поярче, каких будет возможно. Привет и благодарность за добрые пожелания.

Прошу передать Анне Кондратьевне⁴⁸ спасибо ей за доброе слово.

Будьте здоровы, поклон всем Вашим.

Ал. Коровин

(Далее следует приписка К.А. Коровина.)

Нельзя ли Леше из Отдела изобразительного искусства прислать грамоту на работы и мастерскую Охотина и также на Тверскую губ., Удомлю, Островно (Вышневолоцкий уезд) на право работы и содействие как художнику.

Адрес: ст. Удомля Виндаво-Рыбинской ж.д.

Островно, дом б. Ушакова.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 47. Лл. 1–1 об. Автографы

[До 18 декабря 1919 г.], ст. Удомля, им. Островно

Нельзя ли сделать так: из Отдела изобразительных искусств прислать заявление Охотинскому обществу крестьян, в лице его председателя, что мастерская, на основании таких-то и таких декретов, не подлежит ни уплотнению, ни реквизиции, никаким занятиям, собраниям, обучению, на что у меня уже есть охранные грамоты за подписью Луначарского⁴⁹, а также подтвердить это и Всеволоду Вяземскому⁵⁰. Итак: «мастерская Главного мастера Своб. Госуд. Маст. (Государственные свободные художественные мастерские. — *Сост.*)». Не подвергать никаким уплотнениям и не производить никаких занятий, так как она находится во владении Коровина, только для его работ, работ его сына, художника Ал. К. Коровина, и жизни его и его семьи. И также обязать Вяземского к точному исполнению как декретов, так и предначертанного, чтобы мастерская была свободна в любой момент для производства работ Коровина. Картин имею 17, высылать или как поступать? Может быть, приедете сами? Что же Вы молчите, я о Вас ничего не знаю.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 50. Лл. 1–1 об. Подлинник

[До 18 декабря 1919 г.], ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Ушаков⁵¹ привез мне холста очень хорошего девять аршин — мало. К сожалению, я все хвораю, болит ужасно бок между ребрами и руки. Лекарство, от которого было лучше, — все вышло, а именно перимедон и салициловый натр с кофеином, — может быть, тот молодой доктор — большой, высокий, кажется фамилия Романов, и достанет мне этого лекарства.

Ужасное со мной проделывается. Соколов⁵² взял у Бориса Николаевича⁵³ костюмы, которые я уже давно бы получил, и задержал их у себя. И ни в ус не дует, милый такой юноша — Бог с ним.

Если ко мне поедет Б.Н. или Ушаков, то надо у него отнять костюмы во что бы то ни стало. Я все же мог бы написать нечто хорошее, т.к. я могу только что-либо делать теперь у окна.

Имею к Вам просьбу — будьте так добры, внесите за меня налог в две тысячи рублей. Анна Станиславовна⁵⁴ и Борис Адольфович⁵⁵ знают, как его послать. Если можно, также надо дать Анне Станиславовне на дрова.

Картины, которых у меня есть не много — 8, не посылаю, т.к. думаю сделать еще, и буду ждать Вас самих. Я хотел бы Вас повидать. Если получите мои вещи в К[редите] Л[ионском], то прошу Вас, их не продавайте, так как они необходимы здесь мне.

Столь плохо с едой, купить плохо — все хотят обмена! А где я возьму, у меня здесь одни штаны, шапки теплой нет, сапог тоже. Летний картуз и шляпа. Ушаков потерял шапку и мою книжку сберегательной кассы Госуд. Банка во время крушения поезда.

Леша⁵⁶ написал две хороших вещи, но жаль, не оканчивает, а начинает другие. Красок у меня мало — нужно белил и других. Лаки Вам послал, остальные в Итлари, есть здесь Лаванда и Мортен? Я и не знал, что это?

Напишите, что семь картин Терешкевичу⁵⁷ понравились ли.

Кланяюсь Вашим.

Преданный Коровин Конст.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 49. Лл. 1–2. Подлинник

18 декабря 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Получил Ваши письма. Приехал В.С. Кузнецов⁵⁸ с моделью. С Вашей стороны очень мило доброе отношение ко многим и веселый тон ко мне в письмах.

В.С. пришел ко мне с Ольгой Алекс.⁵⁹, и я попросил ее немного постоять у окна и начал дописывать, вернее, переписывать начатый этюд с очень неинтересной модели. В.С. вошел в комнату и сказал: «Вы уже пишете с Ольги, знайте, Вам будет это стоить копейчку!» Он мил в своей откровенной простоте, но все же может бросить камень в воду, и десятеро не смогут вытащить. Он поселился

в 15 минутах ходу от нас, в лесу очень красивом, большом, но вечером боится выходить, так как похаживает, оказывается, медведь и т.д.

Здесь стало дорого и трудно что-либо купить за деньги — все только меня — деньги же и цены почти московские, даже совсем нельзя достать хлеба, масла, молока; выдали мне паек — овес. Но все же деньги тают безумно. И вот потому я хотел поехать в Москву, думал, главное — поправить боль руки и бока — что это за болезнь ко мне привязалась, я так похудел, что Вы меня не узнаете, когда увидите — что бы я очень хотел. Еще у меня горе — вот уже три недели у Анны Яковлевны⁶⁰ жар, она свалилась, ходить не может, похудела, как мертвец, — болит сердце, грудь, левая рука. Был доктор, сказал, что она себя замучила, нервы и в легких не совсем в порядке, но лекарств никаких нет и нет достаточно молока. Я страшно о ней печалюсь, мне так ее жаль, ее волнующую и чистую душу — я не могу ее видеть без слез, — но себя замучила, все работала на кухне, все сердится, волнуется, не спит ночи. Я никуда не выхожу — писал картину «Иней», 7 градусов мороза и трудно: пальцы в перчатках мерзнут. Я написал:

- 1) «Небольшую зимку»,
- 2) «Комнату в сумерки, фигуры»,
- 3) «Розы на фоне инея»,
- 4) «Зиму, иней, снег, лошадь, фигуры»

и — еще есть 16 вещей, более ранних. Послать их не решаюсь — думаю послать Вам и для Коллегии и музея⁶¹ с В.В. Рождественским⁶², он через шесть дней едет, свернув в трубку. Лучше было бы на подрамниках.

Ушаков⁶³ привез мне фунт в тряпке сырого мыла, как творог, два фунта соли, так как у меня ничего нет, — ее, и все. Я ему сказал, что Вы взяли у Ив. Кондр. три [тысячи] для меня, — он ответил, что он с Вами сочтется??? т.к. я ему дал еще своих, и он ничего мне не купил.

Краски свои я дописываю, это трагедия. Было бы хорошо, если бы Вы прислали специального человека — с ящиком холстов, большой, который у меня с подрамниками на квартире, их там три, мой большой холст тоже там же, предварительно его разрезав согласно размеру подрамников. Нужно скипидару — краски надо купить, больше белил, цвета яркие. Надо нарезать картону для миниатюр штук 50. Для них краски есть. Лаку для миниатюр нужно. Может быть, придет Б.Н. Заходер⁶⁴.

Прошу, передайте мой привет Федору Ивановичу⁶⁵ и Иоле Игнатъевне⁶⁶. Может быть, он отпустит Ерину Федоровну⁶⁷. Я ее душевно люблю и рад был бы, если она у нас погостила и отдохнула; только пусть захватит соли, сахару, свечей — оденется потеплее, на ноги валенки, плед и подушку. В Москву уехал Абрам Ефимович⁶⁸. Благодарю Вас за письма и сахар. Хотя Вы меня утешаете с Охотиным, но Вяземский⁶⁹ что-то не то...

Итак, я слушаюсь Вас — в Москву не еду, но меня пугает невозможность расходов и отсутствие материалов для работ, т.к. я именно хотел начать писать большие вещи, мне легче держать руку выше, так как на одном размере чувствую сильную боль. Напишу еще, тороплюсь отправить — почта едет завтра в шесть утра.

Кланяюсь всем, сестрам Вашим и Вам.

18 декабря 1919 г.

Ваш Коровин

21 декабря 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Сима — племянник А[нны] Яков[левны]⁷⁰ хочет ехать к нам. С ним можно послать мне: холст от меня с квартиры, белил надо купить, мыло, скипидару. Ушаков⁷¹ привез мне один фунт мыла — мокрую грязь, — я вымыл им кисти. Хватило на один раз, итого 400 руб. Может быть, поедет также Александра Тимофеевна Балакирева⁷², ей тоже можно поручить привезти кой-что.

Богданов-Бельский⁷³ ездил в Петербург и продал свои старые этюды за хорошие деньги — очень хорошие. Спрашивали и мои вещи, но у меня нет лишних.

Думаю с Серафимом Ивановичем, т.е. Симой, послать Вам свои вещи. Знаете, я побаиваюсь, чтобы не пропали, — с Ушаковым решительно не могу послать. Есть вещи еще не совсем сухие.

Может быть, Вы уступите хорошую вещь, из своих, для Коллегии, а у меня возьмете заменить, или как находите лучше. Хотя есть сейчас кой-что, что можно и обменять.

Цены здесь повышаются каждый день, и на деньги трудно купить в то же время, и деньги выходят с бешеной быстротой. Много у меня оказалось знакомых по фамилии «Займов» и любезных родственников, но что делать, такова жизнь.

Если Александра Тимофеевна поедет, дайте ей, пожалуйста, две или три тысячи руб. Ушаков сказал, что взятые им у Вас три тысячи составляют его с Вами счет, и он послал Вам отсюда посылку и расписку с письмами.

Вас уважающий и преданный

Коровин Конст.

21 дек. 1919

Островно

P.S. (на полях). Также хотел поехать Леня⁷⁴. Вот он мог бы все мне привезти: холсты, скипидары, масло для живописи и проч. Он молодец, я получил от него письмо, что он хочет к празднику приехать.

Симу можно послать, и может Вам услужить в покупке красок и проч.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 52. Лл. 1–1 об. Подлинник

[Декабрь 1919 г.], ст. Удомля, им. Островно

Модели не позируют — хотят не деньгами получать, а картинами.

Трудно здесь становится жить, да и много же у меня расходов, очень много ртов, которые хотят кушать, что я прежде всегда рад был помочь, но теперь трудновато.

Вы пишете расходы рам, стекла, монтировки, лака и проч. Но подумайте тоже, что картина больше уже стоит одними красками, чем я получу, и с ужасом думаю, как краски уже выходят все. Я купил краски в первый год войны

и заплатил за них 8000 руб. Краски [М... ле Фрон Блеке]⁷⁵ у меня в начале лета была их пятая часть, я их потрачу скоро, но разве я продам за такую сумму картины? Почему же Богданов-Бельский⁷⁶ продал старые этюды не менее, как он сказал, по 12 000. Ужели, скажите правду, я дорого продал картины? Я всю жизнь работал за гроши и никогда и никого не огорчил ценой.

Как же мне жить, когда подрамок здесь уже напросился, чтобы сделали за сто руб. маленький.

У меня нет совсем клею и гипсу, необходимо, чтобы Сима⁷⁷ или кто мне привезли.

Мне нечем загрунтовать новые холсты, а потому я пишу новые вещи, переписывая другие, которые мне меньше по душе. Неужели же нельзя достать в Москве красок, особенно белил и еще ярких цветов, я избегаю, должен избегать сильных цветов, т.к. у меня нет краски их «взять». Другие умеют достать красок и все имеют; пишут, я видел огромные куски красок на палитре — я даже содрогнулся, и так сделалось завидно, вот думаю — счастье.

Будьте здоровы,

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 54. Лл. 1–1 об. Автограф

17 [17]

26 декабря 1919 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

В Москву поехали Моравов⁷⁸, Рождественский⁷⁹, Кузнецов⁸⁰. Картины некоторые сыры, так как пишу сразу несколько в зависимости от освещения и прихода природы, начнешь сегодня, а свет такой только через неделю, а модель не пришла. Три с большими фигурами, только последние окончил сегодня. Жду Кабанова Ал.⁸¹ или Бору Лева⁸², чтоб послать их. Есть вещи лучше летних; писано долго и окончено совсем. Есть два букета роз, одни бравурные, другие гобеленовые, на фоне инея. Мне нужны кофточки, платки, куски колорита, нужно кумачу на кофту. Дабы написать в сумерках с окном, которое прекрасно зимой, таинственно и романтично, фигуру с гитарой; нужны свечи, нужен гипс для грунта, клей, и холст, и белил, а они на исходе. У меня есть 22 вещи, холст есть в квартире, подрамники заказываю уже 100 руб., цены растут на все. С Вашего отъезда увеличилось вчетверо. Писать, к сожалению, очень много не могу, так как болит рука и бок, принимал хинин, было лучше. Во сне вижу сладкое, сахар, который прислали, за что Вам очень благодарен, жаль, не куском, съел несколько ложек сразу, очевидно, мне нужен фосфор, я так похудел, что вы меня не узнаете. Не имею мыла простого, чтоб мыть кисти, нет скипидару, керосину, чтоб писать. Ушаков⁸³ лежит, болен тифом, да и он мне ничего не привез. Морозы сильные. Ходят волки, поглядывают на архитектора и его даму. Когда поедут обратно, дайте им для меня что-нибудь, если соберетесь сами, то оденьтесь тепло, ноги и осыпьте нафталином шею, манишки и рукав, края сапог и сделайте ладанку, дабы не лезла вошь, и посоветуйте другим. Посылка идет больше месяца, и картины я по-

слать не решаюсь. Был рад, если бы Вы уступили Коллегии мою вещь, а взамен взяли б у меня, так как у меня есть вещи не хуже Ваших.

Будьте здоровы, милый Кондратьевич, дайте знать, как мне поступить.

Островно 26 декабря 1919 г.

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 53. Лл. 1–2 об. Подлинник

18 [18]

[Начало 1920 г.], ст. Удомля, им. Островно

Итак, жду Вашего решения насчет картин, кого Вы пришлете. Может быть, может приехать Борис Леве⁸⁴ — это порядочный человек и исправный. Стоимость их такова, на сколько поднялась стоимость с тех пор, т.е. с сентября. Миниатюры по пяти, шести, трем и двум [тысячам]. Я устал, рука и бок болит, глаза от миниатюр хуже видят, я их больше теперь работать не буду. У меня нет холста, белил, лаку, цинковой желтой, нет гипсу, клею, подрамники освобожу — сниму с них поименные. Холст есть дома, краски тоже, надо послать с посланным. Я порываюсь все приехать в Москву, но боюсь заболеть. Пришлите, пожалуйста, с кем-либо. Анне Станиславовне⁸⁵ скажите спасибо; получил папирсы, мыло. Скажите ей, чтобы лечилась у доктора-старичка, — пусть продаст что-нибудь, что не опасно. Поеду на юг, ее возьму. Несколько миниатюр надо дать приятелям. Ах, как Вы нужны, поговорить с Вами.

Относительно картин и миниатюр не могу решить, с кем послать. Пришлите кого-нибудь Вы. Не приедет ли Петр Иванович Суворов⁸⁶? Согласитесь, по почте послать боюсь, Вы не получили посылки. Что касается стоимости, нужно ли говорить сейчас об этом. Разве я когда-нибудь был тягостен? Да и вообще со мной просто и легко. Миниатюры другие, чем картины, другая концепция: «Афганистан, торговый рынок»; «Мефистофель»; «У Яра» (между прочим, нарисованы Вы с гитарой); «Крым»; «Пасха»; «Весна» и проч.

Тороплюсь писать, список посылаю точный, с маленькими изображениями следующей почтой. Беспокоит меня болезнь Анны Станиславовны, отсутствие красок, их можно прислать, и моя квартира. Помогите, пожалуйста. На деньги трудно. Жду вещей Лионова⁸⁷. Помогите продать, если можно, в квартире лишние вещи и мебель, кроме платья.

Жму Вашу руку, буду писать Вам часто.

Ваш Коровин

Поклон мой Вашим.

P.S. (на полях). Поверьте, что картины все же меньше будут, чем стоимость моих красок. Я здесь прожил все, соль — ужасные цены.

Без холста не напишешь.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 55. Лл. 1–1 об. Подлинник

[Начало марта 1920 г.], ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Сейчас только пришли переводы из Котлована⁸⁸, там не было меновых знаков, т.е. денег, — хотел просить поехать [в] воскресенье, но у нас тут трудно найти подводу, так как все уехали в город на повинность. Спасибо Вам за хлопоты. Знайте, конечно, что я их принимаю во внимание и хорошо понимаю, что Вы трудитесь. Какая досада, как послать картины мои и миниатюры. Список их посылаю — они лучше значительно исполнены, чем раньше. Много фигур размера 5"×2" — 6"×2", есть две в лист этой бумаги, хотя «Фауст» и меньше.

Где Ф.И. Шалапин, хотелось бы ему написать.

Самое трудное и тяжелое: это квартира и бедная Анна Станиславовна⁸⁹. Ведь у меня ничего нет, я все проживаю, здесь цены растут каждый час, дешевле Москвы на $\frac{1}{3}$. Мой труд я ценю сравнительно с тем, как прожить. Только уж не считая нисколько материалы. Может быть, ко мне отнесутся и милосерднее. Прошу Вас, старайтесь не захворать, тут много больных в соседних деревнях. Жалею, очень жалею, что не жил в Охотине. Работать на улице очень холодно. Миниатюры больше похожи на масляную живопись, чем на темпера, их надо покрыть [п(w)ебер или ретуше]. Они компактны и Барбизонской школы, работал — их больше, чем картины, очень затруднен неимением холста и белил. Дома все есть, но как послать. Нельзя ли ко мне на квартиру поместить кого-нибудь из знакомых, попросить Бориса⁹⁰ заходить, но кто будет жить в холоде. Если бы знали Вы, как мне здесь надоело, как бы хотелось быть на юге. Я есть старик больной, а Анна⁹¹, Господи, как мне ее жаль и Лешу⁹². Поедемте, пожалуйста, на юг, Кондратьевич! Я устал болеть, болят руки — глаза уже не видят без пенсне. Надеюсь я на получение от Лионского Кредита, все мое сбережение, на это я мог бы прожить и купить красок, холста.

Миниатюры сделаны совершенно из головы, т.е. не с натуры, так же работаны, как и эскизы декораций. Но и там я брал фотографии, а здесь у меня ничего нет, я просто заставил себя выполнить, но не мог, детали забыл. Жаль мне, если разорят мои мольберты и мою муру, ведь оно давало мне как художнику пищу для театра. Я делал всю гамму, весь [...] красок — праздник для глаз, а моих маленьких грошовых фарфоров, тряпочек, греческого стекла колечек — так от себя не наберешь колоритов. Неужели и это время так же забывает художника, как и прежде. Художника интересует полет, и дарит только добро, радость, жизнь. Кому нужен мой хлам, ведь в сущности, правду говоря, я нищий старик, и если и теплится жизнь, то ведь только для труда и искусства, а театру я дал немало.

Ваш Коровин

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 56. Лл. 1–2. Автограф

14 марта 1920 г., ст. Удомля, им. Островно

Дорогой Иван Кондратьевич!

Совершенно невысказимо послать мои миниатюры и картины с посылкой, и нет лица, с кем бы я мог послать их. Жизнь здесь усложняется тем, что достать продукты питания на деньги очень трудно и жить дорого. Потом я зазяб зимой, мне и по здоровью следовало бы жить на юге. Нельзя ли просить Вас сделать выставку моих картин. Вопрос о жизни в Киеве или Одессе.

Я получил письмо от С.С. Голоушева⁹³, который пишет, что ему поручено выпустить книгой с картинами мою монографию⁹⁴. Я не знаю, что ему ответить, так как Вы хотели тоже выпустить мою книгу или, вернее, монографию обо мне. Голоушев просил, чтобы назначить время его приезда сюда ко мне. Я думаю, что он мог бы с Вами на месте это сделать, — но словом, что Вы на это мне ответите. Посланные Вами переводы на мое имя, а также Богданова-Бельского⁹⁵ получил, кроме архиповского⁹⁶. Там нет денег.

Нельзя ли или не приобретет ли у меня еще две вещи Комиссия отделения искусства для Петрограда. Рассчитываю на приезд Бориса Леве⁹⁷, которому передам картины и миниатюры. Очень Вам благодарен за хлопоты. Тридцать лучших миниатюр оставляю в Ваше распоряжение. И думаю, что между нами не будет недоразумений. Ушаков⁹⁸ со мной рассчитался. Теперь все забывается по старости. Очень мне нужен холст, краски, белила, в особенности — клей, гипс, терпентин — у меня в доме есть холст и подрамники... С Соколовым⁹⁹ я послал маленькую миниатюру, смешную и неважную, где хотел изобразить и Вас, но, кажется, не вышло.

Я уже давно ничего не писал, кроме миниатюр, но теперь начинается весна, и опять хочется начать писать, горе то, что бережешь каждую краску, — так нельзя.

Беспокоюсь за свою квартиру. Думаю приехать в конце апреля — я очень рассчитываю на Лионск[ий] Кред[ит], на вещи и думаю, что я буду тогда в состоянии достать себе красок или проработать лето. Так как все уже стало невозможно дорого.

Если приедет Б.П.В.¹⁰⁰, то пришлю часть картин с ним. Вам желаю от всей души здоровья, его беречь. Прошу передать мой поклон всем Вашим и друзьям. Анну Станиславовну¹⁰¹ вспоминаю — горюю о ее болезни. Анна Яковл.¹⁰² что-то плоха, и вот когда понимаешь горе. Как бы было хорошо, если бы мы были здоровы. Леша¹⁰³ что-то все грустит, но работает, и очень хорошо.

Островно
14 марта 1920 г.

Ваш Корвин

Если на юг поехать не удастся, то буду жить в Охотино. Поместите ко мне на квартиру кого-нибудь, верного человека, чтобы походил за больной А[нной] С[таниславовной].

ОР ГТГ. Ф. 23. Ед. хр. 57. Лл. 1–2 об. Автограф

[Весна 1920 г. (после 14 марта)], ст. Удомля, им. Островно

Друг мой Кондратьевич!

Вы понимаете, что среди порядочных людей мало бывает недоразумений насчет оплаты труда и услуг, — я хорошо понимаю и ценю Ваши часы работы. Надеюсь, что мои работы не заставят Вас печалиться, тридцать хороших миниатюр я оставил Вам — но, может быть, они не нужны, тогда Вы прямо напишите мне. Я прошу Вас для Анны Станиславовны просить ее позвать Щуровского¹⁰⁴, т.е. пусть ей поможет Ир. Ник.¹⁰⁵ или кто? Продать вещи, заплатить доктору и посмотреть за ней сестру милосердия. Попытаться ее, если, конечно, это в Москве возможно. Дайте мне совет, когда мне приехать, — может быть, теперь, говорят, что квартиру все же возьмут, куда я денусь? Надо просить Петра Ивановича¹⁰⁶ взять часть вещей, хороший мольберт есть, ведь кой-что необходимое для обихода художнику, — может быть, могут отсрочить до первого июля. Прошу Вас сообщить мне об этом.

Я так жалею, что не жил в Москве или под Москвой, но Вам лучше знать — напишите.

Ваш Коровин

Надежда моя на вещи Лионова¹⁰⁷ — все же я буду в состоянии прожить малую толику. Все еще хочу жить и работать. Живопись! Как я люблю живопись!

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 58. Лл. 1–1 об. Автограф

1921 г., Охотино

Дорогой Иван Кондратьевич!

Как я устал это время болезни, тиф Анны Яковлевны¹⁰⁸ и это житие мое во время болезни. Кажется, начинаю приходить в себя, но, увы, писать без модели плохо, уже не то — все равно все зелено — не мое это, а где модель? Моя к Вам просьба. Скажите Федору Ивановичу Шаляпину, что портрет его я убрал и по возвращении тотчас же ему пришлю на Садовую в его дом. Я не мог этого раньше сделать, т.к. было трудно и дома тиф был. А Вы его не берите, т.к. я его спрятал. Вторая просьба к Вам лично — прошу Вас ко мне приехать, и привезите Наталью Николаевну¹⁰⁹ и Бориса Петровича¹¹⁰. Они все стесняются нас стеснить, а они ведь мне позировали, и с ними мне интересней и веселей работать. Они милые люди, и я не знаю, в чем дело, что Леша¹¹¹ и А.Я. их не очень-то долюбивают, хотя А.Я. им очень рада.

Третья просьба: скажите Ирине Николаевне¹¹², чтобы зорко смотрела за квартирой и никого не пускала без моего письменного разрешения, т.к. много красок у меня пропало из ящика письменного стола.

Четвертая просьба: захватите с собой три, четыре, пять подрамников более малого размера, т.к. я намерен писать ночи.

Итак, я Вас прошу, как приятеля, приезжайте.

Феде передайте мой поклон, скажите, что у меня в Охотине, в дом, ночью проникли бандиты, молодые парни, и обокрали — одеяла, ножи, вилки, платье, шубы, хватала Варю¹³, которая их назвала ворами, за горло, приставили наган к голове, обещали, если будет кричать, сжечь ее вместе с домом. Словом, народ-Богоносцы, и, конечно, никого не поймали и не нашли.

Наталья Николаевна живет по Курск. ж.д., станция Салтыковка, в даче Бориса Петровича Вышеславцева, а в Москве у храма Спасителя, Обыденный пер., 3, кв. 4. Мне нужно работать, и Вы можете помочь мне в этом — приезжайте и привезите писать мне Н.Н., так как я захватил с собой отличные костюмы.

Вас любящий и уважающий

Коровин Конст.

Охотино

1921

Если Вас я затрудняю, то напишите Бор. Петр., что я прошу его приехать с Н.Н.

ОР ГТГ. Ф. 230. Ед. хр. 59. Лл. 1–2 об. Автограф

К.А. Коровин — С.Ф. Дорожинскому

1 [23]

8 сентября 1932 г., Париж

Дорогой Станислав Фаддеевич.

Хотел бы Вас увидеть по делу реставрации картин. Оно может заинтересовать Вас. Дело кропотливое, но не трудное. Много есть учебников. Я кое-что в этом понимаю. До 12 ч. утра всегда дома.

Вас любящий

Константин Коровин

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 125. Л. 1. Автограф

13 января 1934 г., Париж

Глубокоуважаемый Станислав Фаддеевич.

Я еще не выхожу из дому... Вчера принесли ко мне заказанные Вами рамы. Не знаю, сделали ли они верный тон, мне кажется, что — похоже.

Приходите, пожалуйста, посмотрите. Если Вы найдете, что они однообразны, то можно переменить внутренний тон.

За это время я написал одну русскую картину — Зиму — несколько другого характера. Желаю Вам всякого благополучия и здоровья.

Вас уважающий и признательный

Константин Коровин

Если пожелаете, захватите с собой две картины, на которые эти рамы сделаны, чтобы видеть, найден ли тон.

122 Vol. Murat
en trée 102
Paris (16)

Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 127. Л. 1. Подлинник

16 апреля 1934 г.¹¹⁴, Париж

Я поехал писать на «Авеню Версаль» около моста Мирабо — где быстро и милый домик, про который говорил [В. Леву¹¹⁵] вчера.

Коровин¹¹⁶

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 128. Л. 1. Автограф

14 июля 1934 г., Париж

Многоуважаемый друг мой Станислав Фаддеевич!

Долгое время, не видав Вас, я предполагал, что Вы или уехали, или заболели ли, и сейчас не пойму — отчего же Вы не зашли ко мне. В любезном письме Вашем я получил пятьсот франков. Благодарю Вас за милое письмо и за франки и жду Вас к себе повидаться и посмотреть то, что я за это время написал с натуры красками. Я бы хотел посмотреть, какие этюды написали Вы. Не решаюсь прийти к Вам, не желая Вас беспокоить. Очень грустно то, что Вы пишете о неудачах и затруднениях, к сожалению, наша жизнь ими переполнена, и просветы радости редки. Одно утешение в искусстве, о котором мы много беседовали с Вами.

Рецепт подготовки холстов для живописи я Вам дам, кстати, у меня остался Ваш холст, и клей, и составы для грунта, а также и картинки. В последние жаркие дни я не мог писать, так как от палящего солнца заболела голова, и стучало в висках. Несмотря на желание, я побаивался. Буду очень рад Вас видеть. Надеюсь, что причиной Вашего отсутствия есть Ваши личные затруднения и заботы, а не мое к Вам искреннее и сердечное внимание. Я всегда в серый день до 12 часов утра дома, не хотел бы, чтобы Вы меня не застали, а потому черкните, когда придете, буду очень рад Вас видеть.

Любящий Вас и благодарный

Константин Коровин

P.S. Сын и жена кланяются Вам.

Париж

14 июля 1934 г.

122 Bd Murat

P.P.S. Благодарю Вас за внимание к моим рассказам.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 129. Лл. 1–2. Подлинник

5 [27]

12 ноября 1934 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!¹¹⁷

Хотел Вас повидать по делу «Аполона»¹¹⁸, т.е. искусства.

Придите, пожалуйста, утром — дома до 12.

Уважающий и признательный

Константин Коровин

Париж

12 ноября 1934 г.

По делу «Аполона»? Хотя это несколько чудно, но все же и верно.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 130. Л. 1. Автограф

6 [28]

5 декабря 1934 г. – 8 июля 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич

Сделанное Вами мне предложение написать мои мемуары¹¹⁹, так сказать, мою жизнь, в форме изложения, мне угодной, я принимаю.

Эту мою работу передаю Вам в полную собственность, т.е. право печатанья будет принадлежать исключительно Вам или лицам, Вами указанным.

Париж

1934 г. 5 декабря

Константин Коровин

Пятьсот франков получил 16 декабря 1934 *Константин Коровин*¹²⁰
Пятьсот франков получил 2 февраля 1935 *Константин Коровин*
Получил тысячу 25 франков за 9 рукописей *Константин Коровин 31 марта 1935 г.*

Передал одиннадцать штук мемуаров своей жизни в 75 с половиной страниц — получил тысячу семьсот франков 6 июля 1935 г. *Константин Коровин*

Передал еще тридцать страниц воспоминаний 1917 г. И за эту еще работу всего полный расчет тысячу [...] франков получил

1300 франков *Константин Коровин 1935 — 8 июля Париж*

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 133. Л. 1. Фотокопия

7 [29]

11 декабря 1934 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Я кой-что написал, хотел бы увидеть Вас и поговорить о характере формы, найденной для «Мемуар». Как она Вам покажется? Надо решить.

Искренне уважающий признательный

Ваш Константин Коровин

11 декабря 1934 г.

Париж

ОР ГТГ. Ф. 97 Ед. хр. 134. Л. 1. Автограф

8 [30]

4 марта 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич

Здоровы ли Вы, ждал Вас вчера в воскресенье и подумал, когда Вы не пришли, что не случилось ли что, не заболели ли.

Я работаю эскизы, но всё затруднения, обещания, а выходят трудные горки, а я уже сивка старая, и не те силы, и нет здоровья, и не та надежда, а потому Вы поймете, я всегда был рад видеть Вас, рассказать об намерениях, что бы я хотел делать в любимом мной деле — живописи, — всегда живущем во мне чувстве утешения души среди непосильных, крутых горок жизни.

Прошу, ответьте, здоровы ли Вы.

Вас искренне уважающий

Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 135. Л. 1. Подлинник

25 марта 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Я ждал Вас последнее воскресенье. Покуда написал «Мемуары» числом 8, с копиями и рукописями, которые хотел передать Вам.

Идут весенние дни...

Искренне уважающий Вас и признательный

Константин Коровин

Paris

25 марта 1935 г.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 136. Л. 1. Автограф

8 апреля 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Я был у Вас сегодня [...] очень мне нужно увидеть Вас. Буду ждать сегодня от 5 до 7 вечера или завтра утром — дело не столь серьезно, как необходимо.

Ваш Конст. Коровин

900 фр. на уплату за квартиру¹²¹.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 137. Л. 1. Автографы К.А. Коровина и С.Ф. Дорожинского

8 июня 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Давно не видал Вас. Началось хорошее лето, но я вряд ли могу двинуться из Парижа куда-либо, может быть, будет чудо, но едва ли, чудеса, кажется, вышли все, кланяемся Вам все и Тобик¹²².

Может быть, Вы найдете время поехать из Парижа в окрестности, чтоб написать что-либо на холсте красивое, — я бы с Вами. Дела мои едва-едва идут также; некто Леви¹²³ пишет, что переслал мне переводы из Праги за картины, но я не получил их.

Вас искренне уважающий и любящий

Константин Коровин

Париж

8 июня 1935

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 138. Л. 1. Подлинник

7 сентября 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Был рад получить от Вас письмо, рад, что все благополучно и что Вы все же немного писали с натуры.

А у меня дела и вещи лучше не говорить.

Жена Лешу и Леша разводятся¹²⁴, и я так жалею внука — что только происходит в жизни! Она нашла жениха!?? Пишет, чтобы дали развод, т.к. у нас нет средств — и вообще нет счастья... Леша не знает, где его сын, — мучается ужасно.

При тяжелых днях жизни — все больше и больше горя — куда деться от всего этого, что валится на голову, — я не имею сил, весь я уже [сгорел] — что делать, как работать? Как говорить, думать, чувствовать, что жизнь прекрасна, когда в душе неизлечимая, душевная забота, нужда, ерунда окружения, что делать, и не знаешь. Так отражаются на работе моей все эти истории, и притом мне так жаль их — жаль мне мальчика, я так люблю его.

Вот я Вам пишу ненужные слова моего горя — у Вас и своего довольно, простите меня за это. А в журналы просят меня написать артикл¹²⁵ — что-нибудь повеселей, — и я пишу.

В делах покуда меня все обманули, и только Вы один отнеслись сердечно, и благодарю Вас за дружественное сердце Ваше.

Сейчас иду к адвокату — т.к. Леша, боюсь, наделает что-нибудь — он расстроен, и я уже раньше испытал его горячность.

Вас уважающий и любящий

Константин Коровин

Paris 1935 г.

7 сентября

Чудная погода — кругом красота, какое небо, а я ничего не пишу.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 140. Лл. 1–1 об. Автограф

8 декабря 1935 г. Париж

Воскресенье

Дорогой Станислав Фадеевич!

Прошу Вас, не сетуйте на меня — я не был дома в назначенное Вами время: я не был виновен, т.к. причина была не в моей воле. Модель оказалась больна, но не это причина, что я не мог быть дома. Я не мог предупредить Вас, было поздно.

Жизнь такова, что не знаешь и как, и что будет, и за что так, не знаю.

Поверьте мне, что я не мог бы быть так невежлив пред Вами, который имел ко мне столько добра и дружеского внимания.

Вас почитающий и любящий

Константин Коровин

8 декабря 1935 г.

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 141. Л. 1. Автограф

14 [36]

15 декабря 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Выставка на rue Royale открылась. Конечно, это не выставка картин — там одни каталоги, в которые помещены картины, где я выставил много своих картин.

Также сделал 2 панно, рекламу, — зиму — наскоро. Анна Яковлевна¹²⁶ все больше не выходит. Все дальше и дальше убежден — все то, что я должен делать, — т.е. писать с натуры, что я больше всего люблю. В этом и есть все сушее горе. Все это еще хорошо переносить в молодости, но по старости лет, сознаюсь, не думал, не предполагал — [не дома жить, но еще в нужде-то?].

Очень грустно, что Вы меня покинули, — посылаю билет и афишку выставки, хотя там вход свободный.

Увидел я при устройстве этой небольшой выставки одну странную особенность, которая была и там, у нас, далеко в России¹²⁷.

Желаю Вам здоровья и бодрости и не забывать живописи. А модель та, которую я¹²⁸, неизлечимо больна — я получил от нее письмо, которое покажу Вам при свидании.

Вас любящий и почитающий

Константин Коровин

Воскресенье 15 декабря 1935 г.

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 139. Лл. 1–1 об. Автограф

15 [37]

28 декабря 1935 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич

После всех мытарств с устройством выставки на rue Royale, что, конечно, принесло только одни огорчения, что я и предполагал, хотя и верил все же. Я — в бесконечных хлопотах и разъездах, в уговорах дать на эту выставку произведения, от многих

получил отказ. Эти люди были благоразумнее меня и отказались, а мне принесло это большое огорчение, материальную затрату и хворь, так как я лежу и болею. Хотел видеть Вас и рассказать подробно все те козни, которые я получаю незаслуженно от окружающего. Но Вы ни разу не зашли ко мне, вероятно оттого, что Вы очень заняты. Натурщицу, которую я пригласил, чтоб заняться живописью, выбрать время, чтоб уйти в живописи, хотя ненадолго, от окружающего кошмара, встретил очень печальную картину, оказалось, что дама эта, очень хорошая, сильно больна, и при мне с ней был припадок, в тот день, когда расстался с Вами в последний раз, и уговорился на среду. Анна Яковлевна¹²⁹ заболела, а я и сейчас не выхожу.

Посылаю Вам книгу «Ренуар» на русском языке, там есть в этом переводе места, касающиеся самой сути живописи, анализы и теоретические подходы, которые Вам будут интересны.

Ваше последнее письмо, как всегда с намерением сделать для меня доброе, то есть о Вашем приятеле, который хотел приобрести две мои картинки, конечно, не могло меня не обрадовать в моей тяжелой жизни, но может это и не выйти, то все же я хотел бы благодарить Вас за всегда ко мне доброе внимание и хотел бы увидеть Вас, так как трудно написать все то, чтобы дало оживление понурой жизни в свете и радость, именно заняться искусством живописи, на что приглашаю Вас, имея другую концепцию, как это сделать

Вас искренне уважающий и благодарный

Константин Коровин

*Paris
Avenue Porte du Pont
du Jour¹*

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 143. Лл. 1–2. Подлинник

16 [38]

28 января 1936 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Давно Вас не видел. Как Ваше здоровье? Хотел бы Вас видеть не по делу, а просто так поговорить о живописи, т.к. все собираюсь писать что-либо новое с натуры. Черкните мне о своем здоровье, т.к. я беспокоюсь, уходя последний раз, вы сказали, что Вы простудились.

Третий день я стал выходить после кашля и гриппа.

Очень бы надо было поехать на один месяц на юг — но это никогда не возможно.

Вас почитающий и любящий

Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 144. Л. 1. Автограф

¹ Днем (фр.).

25 июня 1936 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Если Вы можете, то приходите ко мне сегодня до 3-х дня или завтра до часу. Хочу начать работу картины большого размера — так много время уходит на всякую трудность жизни, отнимает от работы, а я раньше всегда уже с утра был в живописи, а теперь странно все должен думать: «день — ночь, завтра, на днях». И получается ерунда — я и сделан для того, чтобы работать, в чем только и видел жизнь.

Ваш Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 145. Лл. 1–1 об. Автограф

10 августа 1936 г., Париж

Буду дома в ½ 5-го. Пошел в редакцию.

(Далее запись рукой Дорожинского.)

Нередкий случай — на сегодня условились, что я приду до 1-го дня. Пришел и застал эту записку на дверях. Вернулся в 4½, предварительно узнав около 2-х, что К.А.К.¹³⁰ в редакции, и нашел ту же записку... Пошел посидеть в садике в ожидании; вскоре пришла А.Я.¹³¹, с которой побеседовали до 8-и вечера; сидели в садике, Тобик смирно устроился тут же, а маленький Леша¹³² резвился по всем дворам с приятелями (ему 8 лет); в 8 пришел А.К.К.¹³³ и сказал, что не видел отца и не знает, где он... Немного побеседовал с А.К. и затем пошел домой.

10 августа 1936 г.
Париж

Дорожинский

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 146. Лл. 1–2. Автограф

12 августа 1936 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич!

Сожалею я, очень, что Вы не застали меня, — всегда я до 1-го [часу] дня дома, но Вам, должно быть, это время неудобно, и если бы черкнули мне записку, то я бы ждал Вас.

Если Вы еще надумаете, то прошу, дайте мне знать, когда могу Вас увидеть, мне необходимо поговорить с Вами о живописи. О Сезанне и красоте.

У меня дело что-то не очень идет, и живопись, которую я хочу, требует только время и труд.

Вас почитающий

Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 147. Л. 1. Автограф

20 [42]

7 сентября 1936 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич

Перед Вашим отъездом из Парижа¹³⁴ у меня начались неприятности: жена моего сына Алексея сообщила ему, что она уезжает за границу и увозит маленького Лешу, т.е. моего внука.

Началось Бог знает что, я и Алексей ходили по адвокатам — сын был не в себе — он, отец, отвечает за него, т.к. внук — французский гражданин. Отец подал всюду заявление о запрещении его увоза за границу — ответ еще не известен. Я так замучился со всем этим делом — кошмаром — оно отнимало время, работу, средства, здоровье, покой. Работать я был не в состоянии. Сердце болело, с утра начинались беспокойства, истории. Этот кошмар продолжался до вчерашнего дня. Только вчера она прислала мальчика.

А были в августе и сентябре такие красивые дни — и я купил английские краски [...] и так мне хотелось писать. Я вырывался из горя — писал немного с натуры.

Какое унижение — как это все тяжело — стыдно и [...] и зачем все это так?

Как страшно жить в непонимании. Какая же может быть ценность жизни, когда нет ценности возвышенной, когда нет у нее основ любви, дружбы, творчества, [...], чести, что же тогда?

Адрес мой, по которому мне больше пишут, — это: 182 BA — Murat cetrée 102. Paris.

Не пишете, что Вас влекло ко мне сердце, а не голова, т.к. Вы забыли адрес, — это хорошо. Так как я Вам сознаюсь, что я не знаю, что на уме или на сердце? Теперь кругом так умно, что хочется немножко души и сердечности. Да и как-то мало его в наше время, а вот в картинах Сезанна чего больше — головы или сердца? Буду рад Вас видеть — когда Вы приедете?

Одни картины написаны среди ужаса и тревоги — неплохо. Это улицы у [P.S. Clent] при солнце.

Много бы я писал, если бы моя жизнь не была так растерзана. Желаю Вам всего доброго.

Уважающий Вас

Константин Коровин

Paris

7 сентября 1936 г.

ОР ГТГ. Ф.97. Ед. хр. 148. Лл. 1-1 об. Автограф

16 декабря 1936 г., Париж

Дорогой и уважаемый Станислав Фадеевич.

Получил Ваше приветствие моей старости¹³⁵. Ваше письмо и Ваше доброе ко мне внимание принесли мне радостное чувство братства. Вы уехали, не оставили мне адреса, и в душе моей — больше стало одиночества. Меня больше никто не кормит устрицами и не спорит со мной о Сезанне, и мне некого больше обижать. Ведь такого не найдешь больше человека, который бы кратко выслушивал мою ерунду.

Куда Вы девались? Я — враг Вашего уныния. Вы были светлый друг мой среди большого сумасшедшего дома, в котором я живу. Письмо посылаю на адрес Вашей квартиры в Париже.

Всегда уважающий Вас и преданный Вам

Константин Коровин

Привет Вашей семье.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 149. Л. 1. Подлинник

9 мая 1937 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Получил Ваше письмо и был очень рад ему. Я после болезни начал выходить, пропустил весну, не работал с натуры, да если бы и здоров был, нельзя было работать — сплошной холод и дождь.

Письмо Ваше было печально в том, что Вы говорите, что Вы занимаетесь трудом, к которому Вы приспособлены не были, и, по-моему, это мучительно, хотя, может быть, и здорово. А к чему Вы имеете призвание и что любите живопись[ю] заниматься, не можете из-за отсутствия денег. К сожалению, такая ерунда бывает часто, и здесь это чаще, чем у нас в России было.

Так как я был преподавателем 23 года¹³⁶, то половина учеников не имела никаких средств, и некоторые были пятидесятилетнего возраста, так как поздно начинали учиться живописи, и преуспевали [лучше], чем 15-тилетние. Такого возраста был выдающийся Денисов¹³⁷, жанрист Орлов¹³⁸, Верхогуров¹³⁹. Но странно, что они находили в России в скором времени, по поступлении в Академию, добрых людей, которые давали им на жизнь и учение. Но это была Россия. Здесь-то потруднее. Здесь и прекрасные художники путешествуют к праотцам с голоду, о которых после весьма жалеют и наживают большие деньги на непризнанных их произведениях, — Милле¹⁴⁰, Сизлэ¹⁴¹ и композитор Бизе¹⁴². И недавно мне рассказывали, забыл я имя художника, после смерти купили, кажется, [...] за гроши, а продали за сотни тысяч. Черт на земле — это есть непонимание, что же с этим поделаешь! Маленькая странность: вот я в промежутках живописи, так как не охотник [до] праздности, пишу рассказы — это ведь искусство, литература. Пишу наитием, будто для каких-то несуществующих друзей. Пишу от любви к людям, не идейно, не поучая никого, а как художник. Так, за все десятилетия этого труда я не встретил ни одного печатного отзыва. Ни похвалы, ни брани. Не-

многожко странно. А один мне прямо сказал, что Ваши писания — это просто так наитие, так всякий может, а это был писатель. Знаете, я был очень этому рад и сказал ему, что Вы правы, и узнал от него же, что он все читает, что я пишу, и я должен был сознаться, что прочел его один рассказ и не стал читать больше, так как это была скучная, условная литературщина. Недавно видел написанную Сегонзаком¹⁴³ картину — цветы, замечательно, верный рисунок цветов грубо раскрашен верным тоном краски. А краска цветов верна в контрастах, и это делает все. Желая Вам доброго здоровья, а Леша¹⁴⁴ и Анна Яковлевна¹⁴⁵ Вам кланяются. Мой привет семье Вашей.

Любящий и уважающий Вас

Константин Коровин

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 150. Лл. 1–2 об. Подлинник

23 [45]

6 октября 1937 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Долгое время не имел от Вас ответа на мое письмо. Думаю, что вот, вот Вы приедете на выставку в Париже. Вы и раньше мне говорили, что благодаря отсутствию средств [не можете] заниматься живописью, которую Вы любите, вынуждены жизнью заниматься трудом на земле. Меня несколько это удивляло, так как это Вам раньше не приходилось делать, и притом Вам это было и не по душе. Ваше письмо мне говорит о деловом предложении, т.е. о снятии мастерской, в которой Вы предлагали мне давать уроки живописи. В этой же мастерской хотели Вы и жить, и также заниматься живописью. В смысле материальном надо предвидеть худшее, т.е. что <у> русских, желающих заниматься живописью, которых будет много, вряд ли есть средства для оплаты уроков. Может быть, будут и иностранцы. В вопросе такого рода нужно переговорить с Вами лично, на какую сумму можно Вам рисковать. По-моему, вообще рисковать нельзя. Такого рода начинания должны быть вполне обдуманны, так как я противник того, чтобы Вы зря затратили Ваши средства.

Все это зависит от характера [и] энергии. А еще есть обязательства — именно — оплата мастерской, которую можно найти за 6 тысяч в год, но плюс государственные налоги. Преподаватель могу быть не только я, но и французский художник — maître¹⁴⁶.

Если Вы решите в себе начать это дело и приедете в Париж, то в переговорах со мной, я думаю, Вы выясните все подробности, и Вам тогда будет ясно на месте — возможность осуществить открытие мастерской для преподавания живописи.

Если поедете, захватите Ваши этюды, которые Вы написали с натуры.

Я хорошо понимаю Вашу неуверенность в трудном деле искусства живописи, но видел много меньше Вас одаренных людей в своей долгой жизни, которые преуспевали.

Рад буду Вас видеть после долгого Вашего отсутствия.

Всегда Вас любящий

Константин Коровин

P.S. Прошу передать мой сердечный привет семье Вашей.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 151. Лл. 1–2. Подлинник

6 декабря 1937 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Давно Вас не видел. Здоровы ли Вы или огорчились? Я тоже огорчаюсь. И меня огорчают — но никогда не Вы. Опять я получил письмо о желании брать у меня уроки живописи.

Последний раз, когда Вы были у меня, говорили, что не выходят материальные дела. Ну и черт с ними. Но что потому хотите делать — это огорчительно. Я думал, что Вы будете заниматься живописью в свободное время.

Я огорчен и все думаю, отчего не идет Станислав Фадеевич. Не по поступкам поступаете, дорогой. Желаю Вам здоровья, и хотел бы Вас видеть.

Глубоко Вас уважающий

Константин Коровин

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 153. Лл. 1–2. Автограф

10 января 1938 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Поздравляю Вас с Новым Годом, желаю Вам всякого благополучия.

Оказалось, то, что я написал по литературе свои рассказы, которые были напечатаны, составляют 176 рассказов, по размеру страницы. Они не представляют собой одну книгу, как я думал, не рассчитав, а оказывается, они составляют 5 книг, каждая около 300 страниц.

Мне предлагают издавать, но я побаиваюсь, что меня обманут и по выпуске издания трудно будет получить свою часть. Тем более, что сам я заниматься этим не могу и не умею. Ведь издание 5 книг по 1000 экземпляров составляют расход в 40 тысяч. Как странно: издается так много книг, а я издать не могу. А есть на свете черт, который называется — непонимание. Русское наше общество живет в кармане у этого черта. Такой закон, или, вернее, норев обществу. Мне всегда казалось и в России, что, несмотря на любовь к театру, у нас не любили искусства, а увлекались всегда тенденциозностью. Странно, что в богатейшей России великий Мусоргский был никому не нужен и продал «Хованщину» за 25 руб. Третью Филлипову¹⁴⁷. А гениальный Врубель отдавал дивные рисунки в Киеве за плохой завтрак в ресторане. И то хорошо. Хозяин ресторана был еврей. А в русском ресторане хозяин долго смотрел акварель его «Персидская сказка» и не дал позавтракать, найдя, что не стоит. После смерти Врубеля кто-то продал эту акварель Терещенко¹⁴⁸ за 12 000 руб.¹⁴⁹, а Бодлер не имел средств напечатать один стих, а Шуберт! Тоже была веселенькая жизнь.

Ну, будьте здоровы. Через два месяца наступит весна, будет радостно светить солнце, и милые люди будут видеть прекрасное небо.

Вас уважающий

Константин Коровин

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 154. Лл. 1–1 об. Подлинник

26 [48]

23 февраля 1938 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Давно уже Вы уехали¹⁵⁰. Я вспоминаю, что последний раз Вы меня не застали дома. Как поживаете. Наверное, у Вас чувствуется весна и хорошо в природе. Я не могу никуда поехать, в каждодневных заботах и в ненужной ерунде проходят короткие дни. Работаю, а то и нет. Вспоминается Россия — божественная русская весна. А знаете, мне кажется, что люди ни черта не ценят. Ни природы, ни красоты ее. И кажется мне, что я давно живу в какой-то кассе ссуд, где приносят в нужде шубу, часы, кольцо обручальное, и все как-то просто, деловито, и чувствуешь себя виноватым — не добытчиком. Единственный утешитель мой — Тобик. Недоволен, что Вы не приходите. Пирожных нет. Тобик приносит все 3 мячика на постель и ложится спать, чтобы было все в порядке, чтобы с утра играть в мячик. Все ему остальное, что я делаю, не нравится. Все суета сует. А вот что мячики — это дело.

А.Я.¹⁵¹, Леша¹⁵², Тобик Вам кланяются. Напишите строчку, как Вы здоровы. Кланяюсь Вашим домашним.

Ваш

Константин Коровин

Paris

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 155. Л. 1. Подлинник

27 [49]

25 мая 1938 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич

По Вашем отъезде из Парижа я прихворнул. Весь май до сих пор стоит как осень. Холодище, дождь. Умер Шаляпин¹⁵³, я очень огорчился. В России ведь он прожил со мной жизнь, и я вздумал написать 150 книжных страниц о моих встречах и жизни с ним. И теперь пишу книгу о нем. Надо будет перевод по-английски для Америки и несколько иллюстраций. У меня, кстати, есть фотографии многих мест, где проводили с ним время в деревне. Тут я пожалел, что Вы уехали, так как с Вами можно было эту книгу издать в 2000 экземплярах только, а может быть, потребовалось бы и больше. Мне предложили 7 тысяч франков за русский текст, но попросили и прав

перевода — вот на это я не согласился, так как безобразно дешево. Подумайте, в Нью-Йорке 500 тысяч говорящих по-русски, а Голливуд — там все знают Шалаяпина. А Англия! Думаю, что книжка разойдется. А на издание надо всего 15 тысяч франков. Мне кажется, что это похоже на дело. Как Вы поживаете? Когда думаете приехать? Желаю Вам здоровья и благополучия.

Вас уважающий и любящий

Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 156. Л. 1. Подлинник

28 [50]

8 сентября 1938 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

Получил от Вас письмо. Насчет ребер — это плохо. Даже совсем ни к чему такие оксиданты¹⁵⁴. Конечно, в жизни бывают всякие горя.

Книжку о Шалаяпине¹⁵⁵ я написал и, к сожалению, уже продал. Но книга, 35 охотничьих рассказов под названием «На охоте и на рыбной ловле», еще цела. Может иметь успех. Напечатать надо довольно крупным шрифтом, на совсем простой бумаге. У меня есть фотографии иллюстраций России, которыми можно снабдить книгу.

Сытин в России издавал небольшие книги¹⁵⁶ — рассказы на простой, дешевой бумаге и в оборот пускал очень дешево и получал большие деньги.

Если ее выпустить дешево и отборные рассказы, то такую книжку купят 50% эмигранции. А может пойти в Россию. Я так думаю. У меня есть предложения, но я боюсь, что меня надуют. Мне ведь некогда заниматься этим.

А открытки в 3-х красках могли бы пойти тоже. Но мне некогда заниматься. Я совершенно не могу этим заниматься. Я могу писать картины от 12 до 25 figure¹⁵⁷ по 500 франков. И они все продались, которые я писал не меньше 2000 франков, тем же Леви¹⁵⁸ и Вюртом¹⁵⁹. И теперь они просили сделать мою выставку в Англии и Италии, но у меня нет картин. Я могу делать свободно 10 картин в месяц и 10 миниатюр. Но я не люблю, ненавижу продавать картины сам. Это меня угнетает, и делать этого совершенно не умею и терпеть не могу, что делали всегда другие. Но я боюсь обманщиков. У меня пропадали картины. Не в состоянии же я судиться. Тогда я плюю — сижу дома, и иногда ко мне приходят и покупают картины, если застанут. Какое же это дело. Я же никакой коммерсант.

В этом-то вся ерунда и есть. Сегодня я получил приглашение участия в Салон d'Automne¹⁶⁰ и много получаю приглашений, но я не имею ни сил, ни желаний даже пойти приобрести раму — вот какой я делец. Поверьте, что мне неприятно даже слушать, когда меня хвалят. Я чувствую во рту какие-то кислые слюны. Если я могу говорить о делах-то только в своей области, так как видел, что делали со мной и кругом меня. Знаю, что Леви, торгующий картинами, после месяца или двух, по действию выставок, приезжает в Париж, и всегда с большими деньгами. Желаю Вам здоровья и благополучия, кланяюсь Вашей семье.

Всегда Вас Уважающий и любящий

Константин Коровин

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 157. Л. 1. Подлинник

[20 ноября 1938 г.], Париж

У него был 2½ года туберкулез — он очень слабый человек и больной — нервно¹⁶¹.

Эту записку написал мне (глухому) К.А.К.¹⁶² как объяснение резкого способа разговора его сына Алексея К.К.

приблизительно 5½ пополудни
20 ноября 1938 года.

Дорожинский»¹⁶³

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 158. Л. 1. Автографы К.А. Коровина и С.Ф. Дорожинского

22 декабря 1938 г., Париж

Дорогой Станислав Фадеевич.

У нас в России была поговорка: с глаз долой — из сердца вон. Даже не знаю, в Париже Вы или нет. Может быть, Вы от французской зимы уехали в Ниццу, как предполагали. Черкните слово — здоровы ли Вы?

Вас искренно уважающий

Константин Коровин

Тобик вспоминает Вас. Все мы кланяемся и желаем благополучия.

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 159. Л. 1. Подлинник

С.Ф. Дорожинский — К.А. Коровину¹⁶⁴

5 декабря 1934 г., [Париж]

Многоуважаемый дорогой Константин Алексеевич¹⁶⁵

Я предлагаю Вам написать для меня Ваши мемуары, так сказать, Вашу жизнь, в угодной Вам форме, причем Вы, конечно, изложите Ваши встречи с известными художниками, артистами, Ваши театральные деятельности и коснетесь, как художник, живописи.

Мемуары эти должны составить шесть тысяч печатных строк в размере строк таких же, как Вы печатаете в газете «Возрождение».

Я Вам предлагаю за каждую строку семьдесят пять сантимов, считая и неполные строки, так сказать, в разговорной форме. Исполненная Вами эта работа составит мою полную собственность и не может нигде быть напечатана, на что Вы даете право только мне или тем, кого я найду нужным для ее издания.

Этот труд Ваш прошу исполнить за четыре месяца, с 7 сего декабря 1934 года, если обстоятельства Вам не помешают.

Оплата за него будет производиться мной каждый раз по получении от Вас рукописи и также напечатанной на машинке в двух экземплярах в количестве каждый раз трехсот строк, оплачиваемых 325-ю франками. На мой счет также относится оплата машинистки по 12 франков за 300 строк, а также и бумага.

Ваши рукописи по этому труду Вы предоставляете в мою собственность.

5 декабря 1934 г.

Ст. Дорожинский

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 132. Л. 1. Фотокопия с копии

2 [54]

8 декабря 1935 г., Париж

Дорогой Константин Алексеевич

Получил только что Ваше письмо, очень жалею, что не будет Вас. По письму Вашему я вижу, что Вы или не получили моего пневматина¹⁶⁶, посланного Вам 4 декабря, или же я плохо написал и Вы не поняли... Я, разумеется, нисколько не сетую на Вас, да и имею ли хоть малейшее право сетовать на Вас, которому я обязан столькими радостными и светлыми воспоминаниями о мире искусства! Но дело в том, что я запустил свои работы и вдобавок обменялся некоторыми числами и часами на декабрь, чтобы воспользоваться Вашим добрым приглашением — писать с Вами с природы. Это мне опять так радостно думать об этом и готовиться... Но когда Ваша супруга мне детально объяснила, как весь декабрь будет занят [...] М-м Кlover¹⁶⁷, я ясно понял, что теперь Вам не до писания с природы, и, т.к. это стало бесполезным, решил не запускать своей работы¹⁶⁸, и теперь я усиленно занимаюсь, в надежде быть свободным позже. Вот и все, и, как видите, очень просто! Ничего, кроме глубокой благодарности Вам, у меня нет и, надеюсь еще быть Вам полезным в жизни...

Преданный Вам

Дорожинский

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 142. Лл. 1-1 об. Автограф

18 сентября 1939 г., Париж

Дорогой господин Дорожинский¹⁷⁰

С сожалением сообщаю Вам о смерти метра Коровина от паралича.

Примите мои соболезнования

Н. Куров

ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 160. Л. 1. Автограф (фр.).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Толстой Дмитрий Иванович (1860–1940) — граф, директор Эрмитажа (1909–1918), в 1915 г. — товарищ управляющего Русским музеем Александра III.

² Собинов Леонид Витальевич (1872–1934) — выдающийся певец (лирический тенор), артист Большого театра.

³ Кузнецов Василий Сергеевич (1878–1929) — архитектор, выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) и Императорской Академии художеств, Санкт-Петербург (ИАХ). Друг Коровина, частый персонаж его рассказов и воспоминаний.

⁴ Далее в тексте — рисунок и под ним надпись: «Где тьма ма!!!»

⁵ Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) — живописец, известный деятель науки и культуры, в 1915 г. хранитель художественного отдела Русского музея.

⁶ Во время Первой мировой войны (1914–1918) Коровин был несколько раз командирован в действующую армию для обеспечения маскировки на боевых позициях, за что был отмечен приказом командующего 11-й армией генерала от кавалерии В.В. Сахарова от 14 октября 1916 г. (Российский государственный исторический архив; в дальнейшем — РГИА. Ф. 497. Оп. 5. Ед. хр. 1496. Лл. 104–105). Но перенесенные испытания — болезнь сына и связанные с этим переживания подорвали здоровье художника, и в ноябре 1915 г., получив отпуск, он уезжает с семьей в Крым, где проводит почти два года.

⁷ Челноков — художник-реставратор, сотрудник Русского музея.

⁸ Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) — живописец, художник-реставратор, историк и теоретик искусства.

⁹ Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — живописец, график, художественный критик, известный мемуарист.

¹⁰ Жуковский Станислав Юлианович (1875–1944) — пейзажист, писал интерьеры и натюрморты.

¹¹ Лена — выезд в Крым, вместе с семьей Коровиных, был разрешен и Алексею Ивановичу Кабанову, их старому другу и домочадцу. Коровины звали его Леной. Возможно, потому, чтобы не путать его с сыном Коровиных Алексеем, юношей примерно того же возраста. Предположительно, это письмо было написано под его диктовку.

¹² Имеется в виду герой сказки Э.-Т.-А. Гофмана «Крошка Цахес по прозвищу Циноббер».

¹³ Имеется в виду немецкий линейный крейсер «Гебен», принимавший участие в сражениях на Черном море в период Первой мировой войны.

¹⁴ Каплун И.М., коллекционер.

¹⁵ Знаком «*» Коровин отметил неоконченные картины.

¹⁶ *Миша* — возможно, имеется в виду Яковлев Михаил Николаевич (1880–1942) — живописец, график, художник-декоратор, помощник Коровина по постановочной работе в Большом театре.

¹⁷ *Гиннет Вальтер Густавович* — «...отличный рисовальный художник, мой приятель...» (из письма К.А. Коровина к Ф.И. Шаляпину от 17 июня 1918 г. // Константин Коровин. Жизнь и творчество, письма, документы, воспоминания. М., 1963).

¹⁸ *Богданов-Бельский Николай Петрович (1850–1945)* — живописец, график. В 1919 г. сосед Коровина по Островну.

Можно предположить, что речь идет об учениках Островенской начальной школы, часто позировавших художнику. Также можно предположить, что имеется в виду кто-то из учащихся Государственных художественных мастерских, созданных в 1918–1919 гг. на базе творческой колонии, размещавшейся с 1900-х годов на даче художника В.К. Бялиницкого-Бирули «Чайка» и в близлежащих усадьбах на берегу озера Удомля.

¹⁹ *Дьячков Василий Васильевич (?–1920)* — театральный художник, ближайший помощник Коровина.

²⁰ *Исаев Леонид Львович (1883–1941)* — заведующий постановочной частью Большого театра в 1917–1941 гг.

²¹ *Малиновская Елена Константиновна (1875–1942)* — театральный деятель, в 1918–1919 гг. — управляющий московскими государственными театрами, директор Большого театра (1920–1924, 1930–1941).

²² См. прим. 11.

²³ *Соколов Николай Афанасьевич* — коллекционер, писатель; под псевдонимом Diabolo публиковался в периодической печати.

²⁴ *Вандик* — пигмент темно-коричневого цвета, используется для изготовления красок.

²⁵ В 1897 г. Коровин купил у С.И. Мамонтова землю недалеко от Переславля-Залесского (ст. Итларь) и построил там дом — знаменитое Охотино.

²⁶ *Коровин Алексей Константинович (1897–1950)* — художник, сын К.А. Коровина, его ученик. В 18 лет получил серьезную травму ноги (оступился и упал с подножки трамвая). Подробно о его судьбе см. во вступительной статье к настоящему изданию, а также в публикации писем Коровина С.Ф. Дорожинскому.

²⁷ *Барановская Анна Станиславовна* — друг семьи Коровиных.

²⁸ Здесь и далее в квадратных скобках отмечены пропуски в тексте, связанные с невозможностью его прочтения, а также указаны слова, предположительно расшифрованные составителями.

²⁹ *Леви(e)* — Возможно, имеется в виду Борис Леви.

³⁰ *Бриллиантова Варвара Николаевна (1860–?)* — служащая Большого театра (1898–1928). С 1919 г. — заведующая женской костюмной мастерской и гардеробом. Сведения предоставлены артисткой хора Большого театра И.Н. Парфеновой.

³¹ «*Лионский кредит*» (*Credit Lyonnais*) — коммерческий банк Франции. Основан в 1863 г. в Лионе. В начале своей деятельности функционировал главным образом как депозитный банк. Имел отделения в России. В этом же банке Коровин арендовал на свое имя сейф для бывшего директора Императорских театров В.А. Теляковского, в котором хранились рукописи последнего.

³² См. прим. 11.

³³ *Вяземский* — родственники родителей Коровина, персонажи его детских воспоминаний. *Вяземский Всеволод Николаевич* и его жена Варвара выполняли поручения Коровина, связанные с недвижимостью Коровиных — квартира в Москве (Мясницкая, 48, кв. 10) и имение Охотино.

³⁴ Лицо не установлено.

³⁵ *Суворов Петр Иванович* — живописец, коллекционер.

³⁶ *Дороги (фр.)*.

³⁷ *Моравов Александр Викторович (1878–1951)* — портретист, жанрист, в 1919 г. преподавал в художественных учреждениях Тверской губернии.

³⁸ Владельцами усадьбы Верхнее Островно, где поселился Коровин, была семья Ушаковых: Николай Владимирович Ушаков и его сестры — Софья и Варвара. Семьи Коровиных и Ушаковых находились в приятельских отношениях. «Старинный деревянный дом... терраса в сторону озера, заросший старый парк, много сирени. Судьба Островно сложилась печально. В революцию сестры Ушаковы умерли, Николай Владимирович остался один. Он переселился в маленькую избушку, стоявшую через дорогу от дома, был почтмейстером, вскоре лишился этого места и тоже умер. Дом обветшал и был разобран в конце 20-х гг.» (*Моравов А.А. Озеро Удомля // Удомельская старина. Краеведческий альманах. 2002. № 8*).

³⁹ *Коровина (урожд. Фидлер) Анна Яковлевна (1873–1947)* — жена Коровина, в молодые годы хористка в частной опере своего отца Я. Фидлера; затем артистка Частной оперы С.И. Мамонтова.

⁴⁰ См. прим. 27.

⁴¹ См. прим. 31.

⁴² Возможно, имеется в виду отец *Черкеса Даниила Яковлевича (1899–1971)* — живописца, графика и коллекционера, одного из первых художников-мультипликаторов.

⁴³ См. прим. 3.

⁴⁴ Лицо не установлено.

⁴⁵ См. прим. 26.

⁴⁶ *Врубель Михаил Александрович (1856–1910)* — великий русский живописец и график, мастер декоративной скульптуры, друг К.А. Коровина.

⁴⁷ Вероятно, имеется в виду *Штеренберг Давид Петрович (1881–1948)* — живописец. В 1918 г. состоял правительственным комиссаром по делам искусств в Петрограде. Позднее — заведующий Отделом изобразительного искусства Народного комиссариата по просвещению (ИЗО Наркомпроса) в Москве, где служил и И.К. Крайтор, а не живописец Штемберг Виктор Карлович (1863–?).

⁴⁸ *Крайтор Анна Кондратьевна (1902–1967)* — сестра И.К. Крайтора.

⁴⁹ *Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933)* — советский государственный деятель, публицист и драматург, в 1917–1929 гг. — нарком просвещения РСФСР.

⁵⁰ См. прим. 33.

⁵¹ См. прим. 38.

⁵² См. прим. 23.

⁵³ Возможно, имеется в виду *Заходер Борис Николаевич*, служащий в конторе государственных театров.

⁵⁴ См. прим. 27.

⁵⁵ Лицо не установлено.

⁵⁶ См. прим. 26.

⁵⁷ Лицо не установлено (см. прим. 44).

⁵⁸ См. прим. 3.

⁵⁹ *Ольга Алекс.* — имеется в виду жена В.С. Кузнецова Ольга Александровна.

⁶⁰ См. прим. 39.

⁶¹ Возможно, речь идет о планах организации выставки К.А. Коровина при содействии Всероссийской коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, где работал И.К. Крайтор. Выставка была устроена по поручению Художественного отдела Главполитпросвета (Главного политико-просветительского комитета Наркомпроса РСФСР).

⁶² *Рождественский Василий Васильевич (1884–1963)* — живописец, педагог. В 1919 г. — «главный мастер», профессор ГСХМ (бывш. МУЖВЗ), сосед Коровина по Островну.

⁶³ См. прим. 38.

⁶⁴ См. прим. 53.

⁶⁵ *Шалютин Федор Иванович (1873–1938)* — великий русский певец, друг К.А. Коровина.

- ⁶⁶ Торнаги Иола Игнатьевна (1873–1965) — первая жена Ф.И. Шалапина.
- ⁶⁷ Ерина Федоровна — Ирина Федоровна Шалапина (1900–1978) — дочь певца.
- ⁶⁸ Архипов Абрам Ефимович (1862–1930) — живописец, педагог, в 1919 г. преподавал во 2-м ГСХМ, сосед Коровина по Островну.
- ⁶⁹ См. прим. 33.
- ⁷⁰ См. прим. 39.
- ⁷¹ См. прим. 38.
- ⁷² Лицо не установлено.
- ⁷³ См. прим. 18.
- ⁷⁴ См. прим. 11.
- ⁷⁵ Возможно, название фирмы, выпускающей товары для художников.
- ⁷⁶ См. прим. 18.
- ⁷⁷ Серафим Иванович — племянник Анны Яковлевны, жены К.А. Коровина.
- ⁷⁸ См. прим. 37.
- ⁷⁹ См. прим. 62.
- ⁸⁰ См. прим. 3.
- ⁸¹ Кабанов Алексей Иванович — давний знакомый семьи Коровиных, в 50-х годах написал воспоминания о С.А. Коровине (ОР ГТГ. Ф. 97. Ед. хр. 110, 111); см. также прим. 11.
- ⁸² Лицо не установлено (Леве, см. прим. 29).
- ⁸³ См. прим. 38.
- ⁸⁴ Лицо не установлено (Леве, см. прим. 29).
- ⁸⁵ См. прим. 27.
- ⁸⁶ См. прим. 35.
- ⁸⁷ Имеется в виду банк «Лионский кредит».
- ⁸⁸ Котлован — село Вышневолоцкого уезда.
- ⁸⁹ См. прим. 27.
- ⁹⁰ Лицо не установлено (возможно, Борис Вышеславцев или Боря Леве).
- ⁹¹ См. прим. 39.
- ⁹² См. прим. 26.
- ⁹³ Голоушев Сергей Сергеевич (Сергей Глаголь) (1855–1920) — журналист, художественный и театральный критик.
- ⁹⁴ Издание не состоялось. Вероятно, одна из причин — смерть в том же году С.С. Голоушева. В 1921 г. к персональной выставке художника вышла брошюра под редакцией И.К. Крайтора, где был помещен перечень работ Коровина, представленных на выставке, и очерк И. Хвойника «Константин Коровин. Профиль» (М., 1921).
- ⁹⁵ См. прим. 18.
- ⁹⁶ См. прим. 68.
- ⁹⁷ Лицо не установлено (возможно, Леве, см. прим. 29).
- ⁹⁸ См. прим. 38.
- ⁹⁹ См. прим. 23.
- ¹⁰⁰ Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) — выдающийся русский философ, с 1922 г. — в эмиграции; в 1920 г. — сосед Коровина по Островну. Автор воспоминаний о художнике (см.: Вышеславцев Б.П. Мои дни с Коровиным // Новый Журнал. 1955. Кн. 40. С. 153–167).
- ¹⁰¹ См. прим. 27.
- ¹⁰² См. прим. 39.
- ¹⁰³ См. прим. 26.
- ¹⁰⁴ Возможно, имеется в виду известный московский терапевт Щуровский Владимир Андреевич.
- ¹⁰⁵ Возможно, имеется в виду Коровина Ирина Николаевна (?–1929) — вдова С.А. Коровина.
- ¹⁰⁶ Имеется в виду Петр Иванович Нерадовский (см. прим. 5).
- ¹⁰⁷ Имеется в виду банк «Лионский кредит».
- ¹⁰⁸ См. прим. 39.

- ¹⁰⁹ *Вышеславцева Наталья Николаевна* — жена Б.П. Вышеславцева.
- ¹¹⁰ См. прим. 100.
- ¹¹¹ См. прим. 26.
- ¹¹² См. прим. 105.
- ¹¹³ Имеется в виду жена В.Н. Вяземского (см. прим. 33).
- ¹¹⁴ Дата в письме проставлена Дорожинским.
- ¹¹⁵ *Леви Василий Филиппович (1878–1953)* — юрист и художник. Долгое время жил в Терриоках, входил в близкое окружение И.Е. Репина. Занимался посредничеством при продаже картин и устройством выставок.
- ¹¹⁶ Записка карандашом, по-видимому, оставлена Коровиным для Дорожинского в двери.
- ¹¹⁷ Здесь и далее отчество Дорожинского, как правило, пишется с одной буквой «д».
- ¹¹⁸ Так в тексте.
- ¹¹⁹ Письмо С.Ф. Дорожинского см. на с. 791.
- ¹²⁰ Здесь и далее следуют расписки Коровина в получении денег за работу.
- ¹²¹ Прим. С.Ф. Дорожинского.
- ¹²² *Тобик* — любимый фокстерьер Коровина.
- ¹²³ См. прим. 115.
- ¹²⁴ Факт женитьбы и развода А.К. Коровина установить не удалось.
- ¹²⁵ Статья (*фр. article*).
- ¹²⁶ См. прим. 39.
- ¹²⁷ К.А. Коровин не раскрывает в письме, что он имел в виду.
- ¹²⁸ Так в тексте.
- ¹²⁹ См. прим. 39.
- ¹³⁰ К.А.К. — Константин Алексеевич Коровин.
- ¹³¹ А.Я. — Анна Яковлевна, жена К.А. Коровина.
- ¹³² *Маленький Леша* — внук К.А. Коровина.
- ¹³³ А.К.К. — Алексей Константинович Коровин.
- ¹³⁴ Это лето С.Ф. Дорожинский жил на своей ферме на юго-западе Франции (департамент Верхние Пиренеи).
- ¹³⁵ 5 декабря 1936 г. К.А. Коровину исполнилось 75 лет.
- ¹³⁶ С середины 1880-х гг. по 1890 г. К.А. Коровин возглавлял живописную мастерскую Строгановского училища. В 1901–1918 гг. преподавал в МУЖВЗ в портретно-жанровой мастерской (до 1909 г. вместе с В.А. Серовым), в 1918–1919 гг. — во 2-х ГСХМ (бывш. МУЖВЗ).
- ¹³⁷ *Денисов Василий Иванович (1862–1922)* — живописец, график, художник театра; в 1897–1898 гг. учился в частной мастерской К.А. Коровина.
- ¹³⁸ *Орлов Пимен Никитич (1812–1865)* — живописец, ученик К.П. Брюллова.
- ¹³⁹ *Верхотуров (Кондаков) Николай Иванович (1863–1944)* — живописец, ученик И.Е. Репина.
- ¹⁴⁰ *Милле, Жан Франсуа (1814–1875)* — французский живописец, график. Жил с семьей в Барбизоне, очень бедствовал. Известность пришла к нему в конце жизни.
- ¹⁴¹ *Сислей (Сизлэ), Альфред (1839–1899)* — французский живописец, картины которого обрели признание только после его смерти.
- ¹⁴² *Бизе, Жорж (1838–1875)* — французский композитор, неудача первого представления оперы «Кармен» 3 марта 1875 г. так подействовала на него, что спустя ровно три месяца Бизе скончался.
- ¹⁴³ *Сегонзак, Андре Дюнуайе де (1884–1974)* — французский живописец и график.
- ¹⁴⁴ См. прим. 26.
- ¹⁴⁵ См. прим. 39.
- ¹⁴⁶ Мэтр (*фр.*). Здесь: учитель, мастер.
- ¹⁴⁷ *Описка. Филиппов Третий Иванович (1825–1899)* — государственный и общественный деятель; принимал активное участие в издании журналов «Москвитянин» и «Русская беседа». Автор «филипповского» сборника русских народных песен. Душеприказчик М.П. Мусоргского. Инициатор посмертного издания его произведений.

¹⁴⁸ Имеется в виду *Терещенко Михаил Иванович (1886–1956)* — крупный общественный деятель, коллекционер, продолжатель дела известнейшего собирателя И.Н. Терещенко (1854–1903), владельца выдающегося собрания картин.

¹⁴⁹ В своих воспоминаниях о Врубеле Коровин несколько иначе описывает эту историю, цитируя рассказ самого Врубеля. «...В Киеве я недавно зашел в маленький ресторан, спросил обед, но знал, что денег у меня нет. Вы понимаете, скандал. “Вот возьмите мою акварель” (которая была при мне в свертке). Они не стали смотреть и требовали денег. Но дочь хозяйина посмотрела и сказала: “Это стоит все же рубля. Хотя ничего нельзя понять, но красиво”... Ну вот, свою акварель “Восточная сказка” (Коровин в письме называет ее «Персидской сказкой». — *Сост.*) я принес просто закладчику в Киеве, он мне дал 10 рублей без рамки. 10 рублей — это ведь тысячи, если мне дал просто закладчик. Значит, он понял, потому что 10 рублей он только даст или за самовар, или за шубу» (Константин Коровин вспоминает... М., 1990. С. 118).

¹⁵⁰ С.Ф. Дорожинский в это время все чаще проживал на ферме Барт де Неста на юго-западе Франции.

¹⁵¹ См. прим. 130.

¹⁵² См. прим. 26.

¹⁵³ Ф.И. Шалапин скончался 12 апреля 1938 г. в Париже.

¹⁵⁴ Аксидант (*фр. incident*) — происшествие.

¹⁵⁵ См.: *Коровин К. Шалапин. Встречи и совместная жизнь. Париж, 1939.*

¹⁵⁶ *Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934)* — книгоиздатель, книготорговец. Издавал газету «Русское Слово», журнал «Вокруг света»; принимал самое деятельное участие в публикации дешевых изящных книг с рисунками В.И. Сурикова, И.Е. Репина и других известных русских художников. Осуществленное им издание многотомной «Военной энциклопедии» и по сей день является лучшим российским справочником по данной теме.

¹⁵⁷ Фигура, изображение (*фр.*).

¹⁵⁸ См. прим. 115.

¹⁵⁹ См. о нем записки А.К. Крайтор: «Французский коллекционер Юлий Вюрт специально приезжал в Россию за полотнами Коровина» (ОР ГТГ. Ф. 230).

¹⁶⁰ Осенняя ежегодная художественная выставка в Париже. Проводится Обществом французских художников с 1903 г.

¹⁶¹ Слово «нервно» подчеркнуто четыре раза.

¹⁶² См. прим. 129.

¹⁶³ Приписка С.Ф. Дорожинского.

¹⁶⁴ Подлинники этого письма С.Ф. Дорожинского и ответа К.А. Коровина на 1965 г. находились у вдовы Дорожинского — С.Б. Дорожинской. Она цитирует их в письме к князю П. Ишееву от 13 января 1965 г. И далее: «По духовному завещанию моего мужа все, оставшееся после него, принадлежит мне, о чем я сделала соответствующее объявление о моих правах на издательство в газете “Русская Мысль” № 1726, 26 августа 1961 г.» (ОР ГТГ. Ф. 216. Ед. хр. 47. Л. 55. Копия).

¹⁶⁵ Выделены жирным шрифтом дополнения, сделанные С.Ф. Дорожинским в машинописном тексте договора.

¹⁶⁶ Дорожинский имеет в виду пневматическую почту, переписка по которой пользовалась большой популярностью в Париже в 30-х годах прошлого века.

¹⁶⁷ Лицо не установлено.

¹⁶⁸ «Тем более, что я опять сижу на мели...» — прим. С.Ф. Дорожинского.

¹⁶⁹ Возможно, имеется в виду *Курлов Николай Николаевич* — музыкальный критик, приятель Коровина в России и эмиграции.

¹⁷⁰ В момент смерти Коровина С.Ф. Дорожинский находился на ферме Барт де Неста на юго-западе Франции.

- А.Я. Головин** — I: 102
Август — II: 454
Английские рябчики — II: 143
Антиквар — II: 670
Антонов огонь — I: 661
Антрепренерша из Баку — II: 637
Аня — I: 578
Апельсины — I: 115
Арестанты — I: 106
Арманьяк — II: 407
- Баба Яга** — I: 509
Бабушка — II: 492
Белка — I: 437
Благодетель — II: 112
Блины — II: 514
Болезнь — II: 674
Болото — I: 465
Бочка с водой — II: 411
Буживаль — II: 465
Белая Москва — I: 521
- Васина супруга** — I: 127
В былые времена — II: 536
В Великом посту — II: 387
В деревенской глуши — II: 154
В деревне — I: 352
В деревне — II: 437
В деревне Грезино — I: 638
В детстве — II: 214
В дни революции — II: 568
В дни юности (Чехов) — I: 516
В дождичек — II: 151
В дождливый день — II: 575
В дороге. 18-й год. — I: 278
Велес — I: 249
- Вербное воскресенье** — II: 62
Верка — II: 183
Верни-Ретушэ. Лефран — I: 189
«Вернись!» — I: 670
Веселье... — II: 558
Весенние дни — II: 541
Весна — II: 615
Весной — II: 239
Вечер весны — II: 69
В жару — I: 619
В жару — II: 452
В Крыму — I: 600
В Крыму — II: 651
В лавке у Березкина — II: 552
В лесной сторожке — I: 256
В лесу — II: 490
В майские дни — II: 551
В Москве — II: 598
В Нижнем Новгороде — II: 593
Водяница — II: 132
Возвращение в Императорские театры — II: 611
Война — II: 570
Волки (Охотничий рассказ) — II: 139
Володя — I: 596
Володя — II: 37
Волшебный стол — II: 376
Вор — I: 192
Воспоминания детства (О Пушкине) — II: 205
В отставке — II: 81
В палатке — II: 256
В Петров день — II: 563
Врубель — I: 95
В светлый канун — I: 431
В снегах — II: 211
В сочельник — II: 186

Вспышка гнева — II: 669
Встреча — I: 143
Встреча — I: 574
Встречи с А.А. Пушкиным — II: 206
В Училище — I: 222
В Черемушках — II: 457
Выдра — I: 468
Вышитое сердце — I: 140

Герасим мудрый — I: 180
Геркулесовы столпы — II: 232
Глухариный ток — II: 225
Грезино — II: 305
Грибной рынок — II: 519
Гришка-разбойник — II: 325
Гусиная охота — I: 642

Дачи — II: 267
Две Татьяны — I: 311
Дегустатор — II: 666
«Демон» — II: 51
«Демон» — II: 642
День в природе — II: 583
Деньги — II: 208
Деньги — II: 638
Детство — I: 215
Директор — II: 338
Доктор — II: 546
Дом в деревне — II: 656
Дом честной — I: 109
Домье — II: 672
Дуновение весны — II: 219
Дурак — I: 676
Дураки и умные — I: 156
Дурной сон — II: 682
Душа томится... — II: 237
Дядя Го-го — I: 461

Ералаш — I: 501
Еретики — I: 656
Естественная история — II: 201

Ёж — I: 587

Жара — II: 293
Железнодорожный случай — I: 685
Жена — II: 331
Женщины — II: 129

Живая тень — I: 287
Жик — I: 571

Зазуля — II: 264
Заря — I: 695
Звезда Вифлеемская — II: 351
Звери — I: 440
Звериные тайны — I: 493
Зверь — I: 178
Зимняя сказка — II: 192
Зинаидка — I: 349

Из моих встреч с А.П. Чеховым — I: 89
Из ранних лет — II: 524
Испания — II: 164
Исцеление — II: 553
Италия — I: 652
«Ихтиолух» — II: 299

Кавказ — II: 40
Как я выбирал «Мисс Европу» — I: 94
Калейдоскоп — II: 395
Камень — II: 636
Канун праздника — II: 346
Капустник — II: 517
Карла Маркса — I: 163
К Белому морю... — II: 278
Княгиня — II: 561
Когда Шалапин не пел — II: 641
Кокоша — I: 345
Колдова — I: 403
Колдун — II: 421
Колодезь — II: 419
Колька — I: 506
Компас — I: 625
Конец Частной оперы — II: 607
Копченое небо (*На рыбной ловле*) — I: 134
Котелок — II: 341
Красная горка — II: 390
Крик в ночи — II: 477
Крыша Мира — I: 259
Кудесник — II: 462
Купанье — II: 630
Куриная Слепота — II: 283

Лебеди — I: 370
Левитан — I: 359
Лесничий — I: 196

- Лето — II: 273
 Лечение — II: 440
 Листвянский мертвец — I: 266
 Лоботрясы — I: 606
 Лошадиная голова — I: 290
 Луна — I: 173
 Лучинушка — I: 318
 Львы — II: 89
 Любители живописи — I: 434
 Любовное недоразумение — II: 126
- Мадьяры** — II: 180
Мажордом — I: 149
Май — I: 584
Май — II: 77
Майор Ушаков — II: 469
Масленица — II: 222
Масленица — II: 381
Масленица — II: 384
Мастер — II: 365
Медиум — I: 490
Медиум — II: 580
Мельник — I: 112
Мертвецкая — I: 314
Месяц ясный — I: 342
Метелица — I: 413
Метель — I: 683
Меценат — I: 548
Мимикрия — II: 92
«Мир Искусства». Шалапин за границей — II: 654
Михаил Александрович Врубель — II: 27
Мои ранние годы — I: 211
Мой Феб — I: 475
Молебен — II: 673
Молодость (*Далекий быт*) — I: 230
«Монархисты» — II: 323
Мораль — II: 297
Мордобой — II: 307
Мороз — I: 689
Мороз — II: 336
Московская весна — I: 429
Московская жара — I: 262
Московская зима — II: 343
Московская канитель — I: 458
Московские особняки — I: 545
Московские чудачки — I: 416
- Московские чудачки** — II: 262
Московский звон — I: 327
Московский полицмейстер — I: 308
Моховое болото — II: 475
Моя жизнь — I: 27
Мурман — I: 524
Мушки — II: 103
- На большой дороге** — II: 543
На Волге — II: 290
На Волге — II: 645
Надо сказать спасибо! — II: 333
На Клязьме — II: 251
На Марне — II: 677
На Масленице — II: 373
На мельнице — II: 106
На отдыхе — II: 617
На охоте — I: 454
На охоте — II: 115
На охоте — II: 627
На охоту — I: 609
На Пасхе — II: 402
На Пасху — II: 247
На природе — II: 435
На реке — I: 628
На реке — II: 85
На репетициях — II: 636
На рыбной ловле — II: 74
На рыбной ловле — II: 622
На Севере диком — I: 238
На Северной Двине — II: 577
На смерть Репина — I: 124
Натурщица — II: 432
Недоразумение — II: 379
Необыкновенный сон — II: 512
Неуживчивый человек — II: 538
Новая Земля (*На Севере диком*) — I: 281
Новогодний волк — I: 208
Новое счастье — II: 505
Новый год — I: 538
Новый год — II: 14
Новый год — II: 189
Новый год — II: 502
Ночь — I: 373
Ночь — II: 548
Ночь и день — I: 635

- Обед у кн. Тенишевой — II: 609
 Овражки — I: 622
 Озабоченные люди — II: 430
 Октябрь — II: 312
 Октябрь — II: 657
 Октябрь в деревне — I: 151
 Омшайник — II: 19
 Осенней порой — I: 377
 Осенней порой — I: 480
 Осенней порой — I: 664
 Осенней порой — II: 480
 Осенний вечер — II: 485
 Осенний дождь — II: 309
 Осенняя грусть — II: 303
 Осень — I: 356
 Отрада земная — I: 274
 Отъезд — II: 660
 Охота на волков — II: 23
 Охотники — I: 649
 Охотники — II: 446
- Павильон Крайнего Севера — I: 397
 Памяти друга (*На смерть Шаляпина*) — II: 397
 Пассивная оборона — II: 467
 Пасха — II: 404
 Пасхальная ночь — II: 245
 Первая встреча в Париже — II: 664
 Первая любовь — I: 447
 Первая любовь — I: 551
 Первое знакомство — II: 591
 Первый снег — I: 673
 Первый снег — II: 147
 Первый снег — II: 328
 Перед праздником — II: 495
 Песочек — II: 414
 «Петушок» — II: 416
 Печной горшок — I: 170
 Пещера — I: 167
 Пирог — II: 530
 Плевако (*Из воспоминаний*) — II: 527
 Племянница — I: 443
 Плясавица — I: 199
 По небу полуночи — I: 204
 Повара — II: 243
 Подкидыш — II: 121
 Под Крещение — II: 507
- Подмосковная дача — I: 450
 Под праздник — I: 692
 Под Рождество — II: 360
 Помещик — II: 228
 По первой пороше — I: 406
 Поросянок — II: 399
 Последние годы Мамонтова — I: 400
 Последняя встреча — II: 679
 Постом — II: 54
 Похороны мумии — I: 271
 «Поэтесса» — II: 555
 Правда — I: 333
 Праздник в Москве — II: 7
 Приезд Горького — II: 620
 Приятели — I: 612
 Пугало — II: 270
 Пума американская — I: 201
- Разбойники — II: 136
 Рассказ старого монаха — I: 104
 Репин, Врубель, Серов — I: 187
 Робость — II: 676
 Рождественская ночь — II: 349
 Рождественская ночь — II: 500
 Рождество Христово — II: 17
 Русалка — I: 131
 «Русалка» — II: 668
 Русские художники-пейзажисты — I: 558
 Русское лето — II: 287
 Рыболовы — II: 318
 Рыболовы — II: 553
- Савва Иванович Мамонтов — I: 385
 Саввинская слобода — II: 99
 Садовский и Огарев — I: 581
 Самоед — II: 368
 Свадьба — II: 600
 Светлое Христово Воскресение — II: 532
 Светлый день — II: 65
 Свое — I: 535
 Святая простота — I: 183
 Святая Русь — I: 228
 Святки — II: 354
 Святочный рассказ — I: 304
 Северный край — I: 680
 Семейные недоразумения — II: 118
 Семен-каторжник — I: 646

Сенежское озеро — I: 590
Сирень и шкаф — I: 324
Сказка — I: 667
Скандал — II: 613
Склероз — II: 281
Скорбь — II: 275
Скучные дни — II: 371
Слава — II: 633
Слуховая галлюцинация — II: 443
Случай — II: 487
Случай с Аполлоном — I: 176
С лучом — II: 34
Смерть отца — I: 234
Собаки и барсук — I: 380
Собачий Пистолет — II: 96
Собачья душа — I: 527
Соловьи — I: 146
Сом — I: 632
Спектакль в честь Лубэ — II: 612
Спорщики — II: 573
Споры — II: 109
Ссоры — II: 195
Старый Спас — I: 615
Старый этюд — II: 177
Странный концерт — II: 667
«Страшный» огород — I: 339
Стрекулист — II: 363
Стриж — I: 336

Тайна — I: 541
Тата — II: 460
Татьяна московская — I: 409
Татьянин день — II: 509
Телеграмма — II: 472
Телеграмма — II: 668
Телеграммы — I: 530
Темный бор — II: 315
Тетеревиный ток — I: 330
Тихий человек — II: 198
Тобик — II: 254
Толстовцы — I: 121
То — незнамо что — I: 593
Трагик — I: 125

У колодца — I: 555
У лесника — II: 321
Умер Шаляпин... — II: 409
У стога — II: 448
Утенок (*М.П. Садовский*) — II: 161
Утеха — I: 284
Утопленник — I: 136
У Харитония в Огородниках — II: 392

Фабрикант — II: 625
Философия — II: 566
Философы — II: 234
Фонарь — I: 472

Цыганский романс — II: 641

Хвостики — II: 11
Хозяин мой — I: 252

Частная опера — II: 602
«Чванство» — II: 498
Человек со змеей — I: 321
Человечек за забором — I: 159
Чепуха — II: 358
«Чертовб» — II: 173
Чертополох — II: 586
Чужая жена — II: 72
Чуркин — I: 293

Шаляпин и Врубель — II: 605
Шаляпин и Серов — II: 640
Шарик — II: 157
Штрихи из прошлого (*О Шаляпине*) — II:
424
Шутик — II: 427
Шутки — II: 483

«Этот самый Пушкин...» — I: 698

Ямщик — I: 701

1905 год — II: 631

- Аблетт, Уильям (1877–1937), английский художник **I: 95**
- Абрамович, фабрикант **I: 84**
- Абраша — *см.*: Баранов А.Е.
- Авдотья **I: 463, 506, 508; II: 100**
- Авдотья, Куриная Слепота **II: 287**
- Авдотья, жена Г.Д. Тараканова (*см.*) **I: 180**
- Авдотья, жена крестьянина Глушкова А.И. (*см.*) **II: 22**
- Авдотья, кухарка **II: 57, 77, 78, 81**
- Авдотья, вдова **II: 181**
- Аверьино Семен Константинович, московский адвокат **II: 677**
- Агренив-Славянский (наст. фам. Агренив) Дмитрий Александрович (1836?–1908), певец (тенор), хоровой и оркестровый дирижер, создатель Капеллы Славянского **I: 164, 720**
- Агренева-Славянская (наст. фам. Агренева) Ольга Христофоровна (1847–1920), жена Д.А. Агренева-Славянского (*см.*), собирательница и обработчик народных песен **I: 720; II: 745**
- Адамович Георгий Викторович (1894–1972), поэт и критик **I: 24**
- Адлер, Фридрих (1879–1960), австрийский политик и революционер **I: 727**
- Азарев — *см.*: Лазарев Н.А.
- Айвазовский Иван Константинович (1817–1900), живописец-маринист **I: 420, 422; II: 99, 122**
- Аким, дедушка-сторож дома К.А. Коровина в Охотине **I: 377**
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель и литературный критик **I: 187, 389, 733**
- Акулина, Акуля **II: 282, 354, 355, 357**
- Акулина, крестьянка **I: 414, 416**
- Акулина, прислуга Комаровского Н.Н. (*см.*) **II: 230**
- Акулина Петровна **II: 281**
- Акулина Степановна **II: 346–348, 354, 355, 357**
- Александр I (1877–1825), российский император (с 1801) **II: 206**
- Александр II (1818–1881), российский император (с 1855) **I: 234, 707, 720; II: 606, 745**

¹ Многие рассказы К.А. Коровина построены таким образом, что художественный вымысел и действительные события в них переплетены столь тесно, что порой бывает трудно отделить вымышленных персонажей, кочующих из рассказа в рассказ, от реальных лиц, поэтому в настоящий указатель включены все имена, встречающиеся в тексте. Еще одна особенность заключается в том, что автор порой наделял литературных героев фамилиями, шутивными производными от фамилий известных людей, а близких ему лиц другими, созвучными фамилиями. Например: Бахрушин — Бахрушкин, Батрушин; Батранов — Тараканов; Голубев — Голубков; Глусков — Глушков; Елычев — Быльчов, Илычев, Ялычев; Кузнецов — Кузнеков; Лазарев — Азарев; Любатович — Любарович, Тучков — Сучков; Салина — Савина; Сахновский — Сатковский, Сосновский; Шибаев — Шербает, Шибнев и т.п. Неверное написание некоторых других фамилий (типа Ванзанд, Ван-занд — Ван-Зандт; Клод — Клодт; Святославский — Светославский) может объясняться тем, что Коровин либо не знал, либо забыл, как правильно они пишутся, или обычными опечатками; такие случаи помечены в тексте постраничными примечаниями.

Указатель составлен Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной при участии сотрудников Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына: А.В. Котенко, М.А. Котенко, Т.И. Семиной, Т.Ф. Соколовой, Д.П. Шергина, А.В. Черных.

- Александр III (1845–1894), российский император (с 1881) I: 733, 740
- Александр, работник I: 147, 318
- Александр Григорьевич I: 147, 443
- Александр Македонский (356–323 до н.э.), царь Македонии (с 336 до н.э.), великий полководец II: 575–576
- Александр Петрович, хозяин дома, где жил К.А. Коровин I: 252
- Александра, двоюродная сестра К.А. Коровина I: 227, 228
- Александра, дочь Василисы Михайловны (см.) II: 536
- Александра Васильевна, знахарка II: 456
- Александра Михайловна II: 505
- Александра Федоровна (наст. имя Алиса Гессен-Дармштадтская; 1872–1918), российская императрица, жена Николая II (с 1894) I: 710, 743
- Алексеев — см.: Станиславский К.С.
- Алексеев, купец II: 8
- Алексеев Николай Александрович (1852–1893), московский городской голова (1881–1893) II: 246, 247
- Алексеев Николай Николаевич (1879–1964), философ, правовед, активный участник евразийского движения I: 145, 717, 718
- Алексеева Анна, тетка К.А. Коровина I: 37, 38, 43; II: 12
- Алексеева Наталья, артистка театра А.А. Злобина (см.) I: 10, 13, 15
- Алексеевы, родственники К.А. Коровина I: 34, 707
- Алексей, цесаревич (он же: Наследник; 1904–1918), сын Николая II (см.) I: 229, 393; II: 229
- Алексей Захарович II: 192
- Алексей Михайлович I: 338, 625
- Алексей Петрович, лесничий II: 223–225
- Алма-Тадема, Лоуренс (1836–1912), английский живописец I: 94–95
- Альтани Ипполит Карлович (1846–1919), дирижер II: 642–644
- Аммосов Александр Николаевич (1823–1866), поэт II: 745
- Ампара, испанка, натурщица II: 169, 172, 173
- Анатолий II: 198, 200
- Анатолий Павлович, домовладелец I: 421, 422
- Ангарский — см.: Клестов Н.С.
- Андреев Василий Васильевич (1861–1918), балалаечник-виртуоз, организатор первого оркестра народных инструментов II: 613, 614
- Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель I: 520, 716
- Андрей I: 506
- Андрей, рыбак II: 725
- Андрей Боголюбский (ок. 1111–1174), князь владимиристо-суздальский I: 339–341, 618, 731
- Андрей Иванович, лесничий, приятель К.А. Коровина I: 481–484, 486–489, 497, 678, 679, 696, 697
- Андрюша, половой в ресторане «Эрмитаж», по прозвищу Герой I: 308–310
- Анисфельд Борис Израилевич (наст. имя Бер Срулевич) (1878–1973), художник, декоратор, график I: 104
- Анка, сестра крестьянина Сергея (Сереги, см.) I: 355
- Анна I: 111, 112
- Анна I: 703
- Анна, дочь Г.Д. Тараканова (см.) I: 180, 182, 250
- Анна, дочь Дарьи (см.) II: 406
- Анна, дочь крестьянина Ельгчева (см.) II: 386
- Анна Васильевна I: 139
- Анна Григорьевна, жена Василия Петровича (см.) II: 465
- Анна Захаровна II: 320, 371, 372
- Анна Петровна, жена Красовского И.И. (см.) I: 268; II: 543
- Аннушка II: 283
- Аннушка, горничная у Алексеевых (см.) I: 37
- Аннушка, горничная у С.П. Сергеева (см.) II: 122, 123
- Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902), скульптор II: 31, 728
- Антон — см.: Серов В.А.
- Антоний, митрополит (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936), первоиерарх Русской Зарубежной Церкви (Синодальной) I: 145, 717, 718
- Анфиса I: 652, 696; II: 273, 376, 418, 453, 454
- Анфиса (она же Раиса), жена Н.Н. Курова (см.) II: 331–333, 350
- Анфиса Карловна I: 535
- Анфиса Никитишна, приятельница В.С. Кузнецова (см.) I: 91, 518

- Анфиса Петровна II: 54
 Анчутка — см.: Мазырин В.А.
 Аня I: 132
 Аня, барышня I: 640
 Аня, сестра Таты (см.) I: 551, 552
 Аня, тетя — см.: Алексеева А.
 Аполлинарий Михайлович, дьякон II: 281–283, 382
 Апухтин Алексей Николаевич (1840/41–1893), русский поэт I: 736
 Арапов Петр Семенович (1897–1937?), племянник ген. П.Н. Врангеля, корнет царской армии, штабс-ротмистр Белой армии, участник евразийского движения I: 718
 Арас, цыган I: 260–262
 Арбинский — см.: Ордынский М.
 Архипов (наст. фам. Пыриков) Абрам Ефимович (1862–1930), художник II: 114, 752, 765, 792
 Арцыбушева I: 569
 Асан, слуга в доме купца В.А. Хлудова (см.) I: 220, 221
 Асан, татарин в Гурзуфе I: 537, 538, 601–603
 Афанасий, буфетчик в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 54
 Афанасий, дедушка-сторож в Охотине I: 133, 441, 470, 480–484, 486, 495–497, 499, 507, 508, 533, 538–540, 555, 584, 630, 646, 664, 673, 674, 690, 692, 695; II: 19, 180, 315, 337, 338, 373, 374
 Афанасий, крестьянин II: 305
 Афанасий, крестьянин, сосед Г.Д. Тараканова (см.) II: 191
 Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871), русский литературовед, фольклорист I: 743
 Афоня II: 339
 Афросимов, купец, рыбный торговец II: 359, 549
 Афросинья, крестьянка, соседка К.А. Коровина в Охотине I: 77, 155, 196, 201, 208–210, 288, 305, 325, 343, 377, 413, 440, 468–471, 479–482, 484, 496, 533, 534, 538–540, 555, 619, 629, 631, 632, 639–643, 652, 662–665, 685, 689, 690, 695, 696; II: 18, 19, 39, 86, 87, 97, 99, 121, 132, 147, 150, 155, 182, 183, 190–192, 223, 225, 240, 243–245, 250, 251, 267, 270–273, 277, 308, 310, 311, 313, 315, 318, 319, 333, 337, 349, 350, 353, 354, 368, 369, 374, 375, 379, 391, 399, 401, 404–406, 408, 413, 416, 419, 421, 422, 428, 429, 440, 441, 463, 472, 476, 478, 479, 481, 482, 484, 486, 487, 497, 500, 508, 509, 516, 518, 540–543, 552
 Афросинья Леонардовна II: 391
 Ахвертино I: 461
 Ахмед, слуга-чеченец К.А. Коровина на Кавказе II: 44–51, 53, 54
 Бабенский Алексей Иванович, помещик II: 126–128
 Бабошин, извозчик II: 349
 Бабушкин, подрядчик I: 398; II: 593, 595, 596
 Багровский (Багряновский, Багрян Миша) Михаил, капельмейстер I: 335; II: 687–690, 694, 706, 714
 Бажанов Григорий, крестьянин II: 100
 Баженов Николай Николаевич (1857–1923), психиатр, заведующий Преображенской больницей в Москве I: 126
 Бакшеев Петр Алексеевич (1886–1929), артист МХТ I: 457, 697; II: 38, 238, 239, 355, 517, 538
 Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924), театральный художник, график, живописец I: 714
 Балакирева Александра Тимофеевна II: 766
 Балбошина II: 364
 Балдушин I: 503, 504
 Бальчер II: 57
 Баранов, торговец II: 456
 Баранов (Барашев) Абрам Ефимович (Абраша) (?–1899), товарищ Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества; помощник декоратора в Малом театре I: 297, 299–301, 461–464, 606, 638–642, 704; II: 209, 251, 252, 305, 306, 414, 416
 Барановская Анна Станиславовна, друг семьи Коровиных II: 759, 761, 762, 764, 768–771, 790
 Баркальс — см.: Бартельс А.И.
 Бартельс (Баркальс) Андрей Иванович, товарищ К.А. Коровина по охоте и рыбной ловле I: 322, 493, 494, 500, 501, 629, 631, 632; II: 57, 520, 554, 555

- Бартельс Иоганн Карл (Иван), владелец булочных и кондитерских в Москве I: 151, 719
- Бартнев Андрей Иванович, приятель К.А. Коровина II: 388
- Барцал Антон Иванович (1847–1927), певец (тенор), солист (1878–1902), главный режиссер Большого театра (1882–1903), профессор Московской консерватории II: 425
- Барченков, крестьянин I: 375
- Барштейн, хозяин лавки рыболовных принадлежностей II: 251
- Барятинский Александр Иванович (1815–1879), князь, генерал-фельдмаршал; наместник на Кавказе (с 1856 г.), главнокомандующий Кавказской армией (с 1857 г.) I: 731
- Басин Петр Васильевич (1793–1877), художник, профессор религиозной, исторической и портретной живописи I: 70, 136, 711
- Басыров А.Я., исследователь творчества К.А. Коровина I: 22, 24
- Батолин, рыбак, деревенский сосед К.А. Коровина I: 155
- Баторин И.В., крестьянин I: 110, 111, 167
- Баторин Семен, крестьянин II: 36
- Баторин Сергей, возчик I: 334, 379, 407, 415; II: 192, 193
- Баторина Екатерина, крестьянка I: 112
- Батранов II: 132, 288
- Батранов Василий Иванович, крестьянин I: 250, 251
- Батранов Герасим Дементьевич (см.: Тараканов Г.Д.)
- Батранов Павел, возчик I: 194, 195, 509, 510, 513; II: 67, 106, 109, 142, 192–195, 249, 267, 288, 362, 349, 687, 707, 722, 723, 726, 748
- Батрушин I: 430
- Батьянов (Ботьянов) Михаил Иванович (1835–1916), генерал-майор свиты Его Величества, командующий 3-й Маньчжурской армией во время русско-японской войны 1904–1905 гг. I: 444, 736
- Бах, Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор и органист I: 215, 389
- Бахрушин Алексей Александрович (1865–1929), купец, меценат, основатель частного литературно-театрального музея; в 1913 г. музей был передан Академии наук и получил впоследствии его имя. Ныне — Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина I: 521, 539; II: 364, 387, 425, 426, 626, 645
- Бахрушина II: 364
- Бахрушкин Ленька II: 11, 12, 689
- Бахрушкина Татьяна Васильевна, жена Бахрушкина II: 11–13
- Бахрушкины II: 11, 12, 14
- Башмаков Василий Григорьевич, фабрикант I: 388
- Башмакова, родственница С.И. Мамонтова, жена В.Г. Башмакова (см.) I: 388
- Базс, Эмиль (1879–1954), бельгийский художник I: 95
- Бевиньяни, Энрико (1841–1903), итальянский дирижер, работал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 384; II: 32, 603
- Бегемотов, присяжный поверенный II: 356
- Бедлевич Антон Казимирович (1859–1917), певец (бас), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 59, 387
- Бедный Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945), поэт II: 660
- Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902), ботаник, профессор и ректор Петербургского университета, учредитель Высших женских курсов (Бестужевских — см.: Бестужев К.Н.) II: 730
- Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920), скульптор, ректор Высшего художественного училища Академии художеств I: 100; II: 34
- Белиц С.А., коллекционер II: 751
- Белов А.Д., купец, владелец гастрономического магазина в Москве I: 403, 734, 735; II: 226, 734
- Белов Василий Харитонович, старший в декоративной мастерской Императорских театров I: 164–166, 183, 264, 327, 328, 357, 358, 377, 386, 536, 537, 629–631, 692, 693, 700, 701, 720; II: 51, 53, 89, 92, 237, 238, 275, 617–619, 621–624, 630, 631, 658, 671

- Белов Т.Г., начальник Главного архивного управления при Совете Министров СССР II: 753
- Бельбасов, юнкер I: 578–581
- Беляев, доктор I: 370, 681
- Бенар, Поль Альбер (1849–1936), французский живописец I: 95
- Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, мемуарист, историк искусства I: 8, 10, 11, 19, 710, 714; II: 668, 756, 789
- Бенуа Анна Александровна (1895–1984), старшая дочь А.Н. Бенуа (см.) I: 10
- Березин, лавочник I: 575
- Березкин, владелец лавки рыболовных принадлежностей II: 253, 259, 352, 366, 367, 403, 522–524, 532
- Беренс, главный бухгалтер Общества взаимного кредита II: 200
- Беренс Николай, приятель К.А. Коровина II: 145
- Беренс Эдуард II: 145
- Берн-Джонс, Эдвард (1833–1898), английский художник I: 95
- Бершов Георгий Маркович (1851–?), георгиевский кавалер, отставной гвардии капитан, заведующий монтировочной частью Большого театра в 1887–1901 гг. I: 160, 161
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), русский историк, основатель высшего женского учебного заведения в Петербурге, получившего название Бестужевские курсы (1878) II: 730
- Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826), подпоручик, член Южного общества, один из руководителей восстания 14 декабря 1825 г., сын П.Н. Бестужева-Рюмина (см.) I: 27, 725
- Бестужев-Рюмин Павел Николаевич (1760–1826), московский помещик, отец декабриста Бестужева-Рюмина М.П.; возможно, прадед К.А. Коровина I: 27, 33, 221, 706, 707, 724
- Бецкий Иван Иванович (1704–1795), государственный деятель, основатель Смольного института для благородных девиц I: 723, 746
- Бузра, матрос II: 106, 663
- Бизе Жорж (1835–1875), французский композитор II: 165, 732, 782, 793
- Билибин Иван Яковлевич (1876–1942), график и театральный художник I: 8
- Блохин Василий Иванович, деревенский приятель К.А. Коровина I: 141, 170–173
- Блуднов, купец I: 257, 258
- Блюменталь-Тамарина М., актриса театра Корша I: 716
- Бове Осип (Иосиф) Иванович (1784–1834), архитектор I: 715
- Богданов-Бельский Николай Петрович (1868/50–1945), художник II: 752, 758, 766, 767, 770, 790
- Бодлер, Шарль (1821–1867), французский поэт II: 784
- Боккаччо, Джованни (1313–1375), итальянский писатель эпохи Возрождения I: 356, 732
- Болженев, присяжный поверенный I: 267, 269
- Бономе, Сантьяго (1901–1995), испанский скульптор I: 95
- Борис II: 636
- Борис Абрамович, фабрикант I: 369, II: 467–469
- Борис Адольфович II: 764
- Борис Николаевич I: 353
- Борисов (наст. фам. Гурович) Борис Самойлович (1872–1940), драматический и эстрадный артист; выступал в Театре Корша I: 126
- Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825), художник, академик живописи I: 69
- Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887), композитор, врач, ученый-химик I: 729; II: 592
- Боткин Дмитрий Петрович (1829–1889), именитый московский купец, председатель Московского общества любителей художеств I: 213, 214; II: 198
- Боулт, Э. Джон, директор Института современной русской культуры при Университете Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США), искусствовед, специалист по русскому авангарду I: 8, 24
- Бочаров Михаил Ильич (1831–1895), пейзажист и декоратор I: 396
- Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934), одна из организаторов партии эсеров I: 74, 712

- Бриллиантова Варвара Николаевна (1860–?), заведующая женской костюмной мастерской и гардеробом Большого театра II: 760, 790
- Броджи А., итальянский певец (баритон), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 61, 400
- Бродский Виктор Петрович (1826–1904), скульптор, друг К.А. Коровина, профессор Петербургской академии искусств I: 380
- Бродский И.А. I: 10
- Брукс, Дж. I: 24
- Бруни Федор Антонович (1799–1875), русский художник итальянского происхождения, академик; расписывал Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге I: 56, 70, 711
- Брюллов Карл Павлович (1799–1852), живописец и рисовальщик I: 56, 69, 70
- Брюс Яков Вилимович (1670–1735), по происхождению шотландец, в 1683 г. зачислен в «потешные» Петра I; участник Крымских (1687, 1689) и Азовских (1695, 1696) походов, один из организаторов русской артиллерии; граф (1721), генерал-фельдмаршал (1726), ученый, коллекционер древностей I: 711
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт-символист, переводчик, критик I: 69, 459, 710; II: 793
- Брюханов, отставной полковник I: 612–615; II: 16
- Будяев, торговец II: 235
- Бузинов Петр Иванович, лавочник, торговец рыболовными принадлежностями I: 321, 322, 324
- Буланже, Жорж (1837–1891), французский генерал и политический деятель I: 436, 736
- Булгаков Валентин Федорович (1886–1966), последний секретарь Л.Н. Толстого, культурный деятель I: 19, 20
- Булычев Егор, друг детства К.А. Коровина II: 215–219
- Буханов I: 693
- Бушнев — см.: Басин П.В.
- Быковский Константин Михайлович (1841–1906), архитектор, профессор истории искусств в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве II: 494
- Быльгоч, крестьянин, приятель К.А. Коровина I: 359
- Былыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872–1957), белорусский живописец II: 752, 790
- Вагнер, Рихард (1813–1883), немецкий композитор I: 61, 95, 726, 738
- Валенька, старушка II: 468
- Вальц Карл Федорович (1846–1929), машинист сцены и декоратор Большого театра I: 162, 710
- Ван-Донген, Киис (1877–1968), датский художник-портретист I: 95
- Ван-Зандт (Ванзанд, Ван Занд) Мария Яковлевна (1861–1919), американская оперная певица, в 1880-х выступала в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 61, 368, 385, 397, 400; II: 30, 238, 603
- Варвара (Варя), двоюродная сестра К.А. Коровина — см.: Вяземская В.П.
- Варвара Андреевна II: 122
- Варвара Никитишна, сестра Ершова М.Н. (см.) II: 200, 201
- Варвара Петровна — см.: Вяземская В.П.
- Варварина Анна Григорьевна, жена И.В. Варвинского (см.) II: 12–14
- Варвинский Иосиф Васильевич (1811–1878), врач, профессор Московского университета I: 425; II: 11–14
- Варгин Константин Константинович (1876–1912), композитор I: 603
- Варламов Александр Егорович (1801–1848), композитор I: 735, 742
- о. Варфалуил, священник II: 222, 223
- о. Варфоломей, священник II: 54, 389
- Василий — см.: Княжев В.
- Василий, самоед I: 398–400; II: 594, 595
- о. Василий, священник I: 189–192
- Василий Алексеевич I: 515
- Василий Иванович, мельник I: 462
- Василий Иванович, урядник I: 246, 247, 291, 525–527
- Василий Макарыч II: 382
- Василий Никитич, сын Никиты Ивановича (см.) II: 62–65
- Василий Петрович, чиновник II: 465

- Василиса Михайловна, жена Ивана Панкратьевича (см.) II: 536, 537
- Василиса Михайловна, жена Никиты Ивановича (см.) I: 131, 372
- Васильев Федор Александрович (1850–1873), художник-пейзажист I: 212, 562; II: 110, 304
- Васильчиковы, князья I: 559, 560
- Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856–1933), живописец и график, археолог, брат Васнецова В.М. I: 708, 713, 714
- Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), русский живописец I: 6, 59, 60, 62, 99, 187, 368, 385–389, 397, 398, 566, 708, 709, 734; II: 30, 609, 640, 654
- Ватрушкин Кузьма Николаевич II: 365
- Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922), основатель Третьей студии МХТ (переименована позднее в Театр им. Евг. Вахтангова) I: 447, 736
- Вегенер, Герда (1886–1940), датская художница-график I: 95
- Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979), литературовед, культуролог, либеральный мыслитель, историк культуры русской эмиграции I: 24
- Вейнбаум Марк Ефимович (1890–?), публицист и журналист, редактор эмигрантской газеты «Новое Русское Слово», общественный деятель I: 7, 17, 22, 705; II: 747
- Веласкес, Диего Родригес (1599–1660), испанский живописец I: 214, 570
- Верди, Джузеппе (1813–1901), итальянский композитор I: 61, 709, 719, 720
- Вережкин Костя, банщик I: 139; II: 425
- Вережкин, купец-«миллионщик» II: 131, 132, 186, 187
- Вережкин II: 409
- Вержилович Александр Валерьянович (1849/50–1911), виолончелист, профессор Петербургской консерватории II: 614
- Веронезе (наст. фам. Кальяри) Паоло (1528–1588), итальянский живописец I: 97
- Верстовский Алексей Николаевич (1799–1862), композитор I: 734
- Вертес, Марсель (1895–1961), венгерский живописец I: 95
- Верхотуров Никита Никитыч, купец II: 533–536
- Верхотуров (наст. фам. Кондаков) Николай Иванович (1863–1944), живописец, ученик И.Е. Репина (см.) II: 782, 793
- Виардо-Гарсиа Полина (1821–1910), певица, исполнительница и сочинительница романсов, близкий друг И.С. Тургенева II: 466, 742
- Видиминов, присяжный поверенный I: 184
- Виктор II: 220, 221
- Виктор, студент II: 458, 459
- Виктор Александрович, инспектор II: 116–118
- Виктор Эммануилович (Собачий Пистолет) II: 98, 688–692, 694–699, 701, 703
- Виктория (1819–1901), королева Англии (с 1837) II: 147
- Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) I: 77; II: 661, 679
- Виноградов Сергей Арсеньевич (1869–1938), живописец, жанрист и пейзажист II: 480–482, 484, 485, 559, 560, 561, 725
- Винокуров II: 561–563
- Винокуров, начальник пробирной палаты I: 416; II: 8, 79–81
- Винокуров Павел Петрович (1887–?), художник-пейзажист II: 358, 359
- Винтер Клавдия Спиридоновна (1860–1924), антрепренер (1896–1899) Частной оперы С.И. Мамонтова II: 609
- Виппер (Випнер, Грипнер) Юрий Францевич (1824–1891), инспектор (1881–1884) Училища живописи, ваяния и зодчества I: 176, 721
- Висковатый (Висковатов) Павел Александрович (1842–1905), историк литературы I: 719
- Витте Сергей Юльевич, граф (1849–1915), государственный деятель, министр путей сообщения (1892) и министр финансов (1892–1903), председатель Комитета министров (I: 60, 63, 100, 159, 397, 399, 401, 402; II: 33, 596, 597, 609, 679
- Вишевский, актер II: 291

- Владимир Александрович, вел. кн. (1847–1909), третий сын Александра II (*см.*); президент Академии художеств I: 101; II: 34, 612, 613
- Владимир Аркадьевич — *см.*: Теляковский В.А.
- Владимир Григорьевич I: 435, 436
- Владимир Михайлович II: 503
- Владимиров (Николаев) Петр Николаевич (1893–1970), первый танцовщик Мариинского театра, педагог II: 683
- Власов Степан Григорьевич (1858–1919), певец (бас), артист Большого театра (с 1887) II: 641
- Власова Р.И., исследовательница творчества К.А. Коровина I: 24
- Вовка, актер I: 126
- Воксель, Луи (1870–1945), влиятельный французский художественный критик I: 9
- Волков, ученик А.К. Саврасова (*см.*) I: 212, 223, 234
- Волков Ефим Ефимович (1844–1920), художник-пейзажист I: 436, 561
- Волков Иван Васильевич, московский купец II: 281–283
- Волков Иван Иванович, дядя К.А. Коровина, брат матери I: 46, 48, 49
- Волков Иосиф Петрович (1850–1897), русский художник, ученик В.Г. Перова (*см.*) в МУЖВЗ II: 436, 736
- Волков Осип Григорьевич I: 521–524
- Волков Федор Григорьевич (1729–1763), актер, создатель первого русского театра II: 425, 741
- Волкова Екатерина Ивановна, бабушка К.А. Коровина по линии матери I: 34–37, 43, 46–48, 50, 108, 112, 212, 214, 216–219, 236, 290; II: 205, 493–495
- Волкова Наталья Борисовна, директор Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) II: 753
- Волковы, родственники со стороны матери I: 34, 707
- Волконский Сергей Михайлович, кн. (1860–1937), директор Императорских театров (1899–1901) I: 65; II: 612
- Володька II: 346, 348
- Володя II: 269, 270
- Володя, вольноопределяющийся I: 324, 325
- Володя, кадет I: 219
- Володя, студент, племянник К.А. Коровина I: 350, 351, 597, 598; II: 37–40, 129, 130, 269, 270, 551, 552, 566, 567
- Володя, телеграфист I: 344
- Волоков, художник-жанрист II: 538
- Вольдемар, барин II: 306
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778), французский писатель и философ-просветитель I: 731
- Вольф Маврикий Осипович (1825–1883), петербургский издатель и книгопродавец I: 727
- Воронков II: 531
- Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф (1837–1916), министр Двора (1881–1897), царский наместник на Кавказе (1905–1915), член Государственного совета I: 394
- Воскресенский (преподаватель в Училище живописи, ваяния и зодчества?) II: 60
- Востряков Родион Дмитриевич (?–ок. 1906), купец, член Московского общества любителей художеств I: 364; II: 364
- Вральский — *см.*: Задунаев-Вральский
- Врубель Михаил Александрович (1856–1910), живописец и график I: 15, 17, 19, 64, 66–70, 95–102, 104, 187–189, 398, 399, 401, 402, 409, 528, 699, 700, 708, 710, 713, 714; II: 27–34, 398, 409, 605–607, 609, 640, 654, 665, 678, 679, 727, 762, 784, 791, 794
- Всеволожский Иван Александрович (1835–1909), директор Императорских театров (1881–1899), впоследствии директор Эрмитажа I: 64, 392, 396
- Всезнаев, молодой человек II: 376, 377
- Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954), философ, с 1922 г. в эмиграции; в 1920 г. сосед Коровина по Островну II: 752, 769–772, 792
- Вышеславцева Наталья Николаевна, жена Б.П. Вышеславцева (*см.*) II: 771, 772, 793
- Вюрт Юрий, французский коллекционер II: 786, 794
- Вяземская Варвара Петровна, двоюродная сестра К.А. Коровина, жена В.Н. Вязем-

- ского (см.) I: 30, 127, 130, 716; II: 187, 223, 405, 406, 516, 521, 561, 562, 733, 772, 790, 793
- Вяземские, родственники родителей Коровина, персонажи его детских воспоминаний II: 790
- Вяземский Всеволод Николаевич, родственник К.А. Коровина II: 761, 763, 765, 790, 793
- Вяземский Петр Андреевич, кн. (1792–1878), поэт и литературный критик I: 724
- Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1873–1913), певица, известная исполнительница романсов II: 682
- Гаврила, будочник I: 419
- Гаврила Иванович I: 298–302, 639–642; II: 414, 416
- Гаврила Иванович, повар II: 305, 307
- Гавриловы II: 57
- Гагарин Иван Алексеевич (1771–1832), сенатор, меценат, один из основателей Общества поощрения художеств I: 741
- Галанис, Дмитрий (1882–1966), греческий график I: 95
- Галицкий II: 636
- Галушкина А.С., сотрудница ГТГ II: 753
- Ганнибалы, предки А.С. Пушкина II: 208
- Гарднер Франц Яковлевич (Френсис Гарднер: ?–1813)? обрусевший английский купец, основавший фарфоровую фабрику в селе Вербилки I: 69, 710
- Гарин-Михайловский (псевд. Гарин) Николай Георгиевич (1852–1906), писатель I: 93, 520
- Гармаш Виктор Иванович, исследователь творчества Ф.И. Шаляпина I: 24
- Гартман Фома Александрович (1885–1956), композитор и дирижер I: 221, 724
- Гаснер Карл Иванович, владелец паноптикума в Москве I: 202, 203, 322, 723, 742
- Гвоздев (он же: Гвоздович, Гвоздинович, Хвостов, Хвостович) Василий Иванович, урядник в Ялте I: 601–603, 743; II: 37
- Гвоздев Павел, крестьянин II: 20, 22
- Гвоздев, писарь II: 545
- Ге Григорий Григорьевич (1868–1942), артист и драматург, племянник художника Николая Николаевича Ге (1831–1894) II: 659
- Гедиминов Алексей Казимирович, присяжный поверенный (адвокат?) I: 312–314, 460; II: 8, 560
- Гейне, Генрих (1797–1856), немецкий поэт, публицист и критик I: 730
- Гельцер Анатолий Федорович (1852–1918), декоратор II: 611
- Генриетта Ивановна I: 436
- Георгиев, Борис (1888–1962), болгарский художник I: 95
- Герасим (Герасим Дементыч) — см.: Тараканов Г.Д.
- Герасимов Сергей Васильевич (1885–1964), живописец, ученик К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 6
- Герра, Рене (род. 1946), французский филолог-славист, знаток искусства и литературы русского зарубежья, коллекционер I: 24
- Гёте, Вольфганг фон (1749–1832), немецкий поэт, прозаик, драматург и мыслитель I: 717
- Гиляровский Владимир Александрович (1853–1935), писатель, автор очерков о дореволюционной России и обычаях старой Москвы I: 24
- Гиннет Вальтер Густавович, художник, приятель К.А. Коровина II: 757, 790
- Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, жена Д.С. Мережковского (см.) II: 655
- Глазунов Александр Константинович (1865–1936), композитор, профессор и директор Петербургской консерватории I: 11, 729, 730; II: 614, 615
- Глаша, горничная в доме деда К.А. Коровина II: 11, 12
- Глебов Дмитрий Петрович (1789–1843), переводчик, поэт I: 735
- Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор I: 719, 734, 738, 747; II: 167, 559, 732, 746
- Глусков, крестьянин II: 133
- Глушков, промышленник II: 680–681
- Глушков Александр Иванович, крестьянин I: 171; II: 20–23, 625

- Глушков Александр Иванович, трактирщик с Солянки II: 358, 626
- Глюк, Кристоф Виллибальд (1714–1787), немецкий композитор, оперный реформатор II: 30
- Гоген, Поль (1848–1903), французский художник II: 262–264
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель и драматург I: 238, 241, 706, 719, 725; II: 424, 528, 741
- Гойя, Франсиско Хосе де (1746–1828), испанский живописец, гравер II: 732
- Голицын Владимир Михайлович, кн. (1847–1932), московский губернатор (1887–1891) I: 742
- Голицын Сергей Михайлович, кн. I: 570
- Голицына С.Н., кн., жена Долгорукого В.А. (см.) I: 178, 721
- Головин Александр Яковлевич (1863–1930), портретист, пейзажист, театральный декоратор I: 64, 66, 83, 102–104, 159, 164, 183, 563, 565, 567, 568, 710, 714, 747; II: 196, 568, 611
- Голоушев Сергей Сергеевич (псевд. Сергей Глаголь) (1855–1920), журналист, художественный и театральный критик II: 462, 770, 792
- Голубков (Голубев) Сергей Семенович (Федорович, Николаевич, он же Степан Иванович), врач I: 217, 219, 220, 271, 687, 689; II: 282, 346, 347, 348
- Гомер, древнегреческий поэт II: 605, 606
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891), писатель I: 140, 241, 706, 717
- Горбатов Константин Иванович (1876–1945), художник I: 223; II: 663
- Горбачев Сергей I: 301; II: 212–214, 354, 406, 412, 507, 522
- Горохов, крестьянин II: 101, 212–214
- Горохов Илья, крестьянин II: 132
- Горохов Семен, крестьянин I: 353, 416, 486
- Горохова Авдотья, крестьянка II: 102
- Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936), писатель и драматург I: 717; II: 395–397, 605, 606, 612, 620–622, 626, 632, 633, 644–646, 651, 652, 658, 660, 665, 678
- Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель-романтик, композитор, художник II: 789
- Гофмейстер — см.: Жедринский Н.А.
- Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, художник-реставратор, историк и теоретик искусства II: 751, 753, 756, 789
- Гребенщиков II: 467, 469
- Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956), композитор II: 742
- Грибов Федор Дмитриевич, фабрикант, любитель охоты I: 378–380
- Грибовы II: 280
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829), русский драматург I: 716–718, 730
- Григорий, крестьянин I: 112
- о. Григорий, священник I: 283, 284
- Григорьев Лука, пастух I: 501
- Грингмут (Гринвуд) Владимир Андреевич (1851–1907), редактор-издатель консервативной газеты «Московские ведомости» I: 65, 160, 163, 710, 719; II: 611
- Грингмут, Карл-Амалия I: 160
- Гришка, сын мельника II: 37, 328
- Гришка, разбойник II: 327, 328
- Громов Петр Сергеевич, купец, торговец рыбой в Охотном ряду I: 319, 320; II: 483, 555, 703
- Груздев Павел, крестьянин-охотник I: 403, 491; II: 581
- Груша, цыганка I: 211
- Губер, Эдуард Иванович (1814–1847), поэт, переводчик, друг А.С. Пушкина I: 729
- Гукасов Абрам Осипович (1872–1969), издатель парижской газеты «Возрождение», нефтяной магнат I: 18, 20
- Гуно, Шарль (1818–1893), французский композитор I: 717, 719
- Гусарова А.П., исследовательница творчества К.А. Коровина I: 13, 24
- Гюбнер, знакомая К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 368
- Гюго, Виктор (1802–1885), французский писатель I: 129
- Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов; 1849–1925), русский актер I: 716
- Дальский (наст. фам. Неелов) Мамонт Викторович (1865–1918), актер II: 659

- Д'Андрале, Франческо (1859–1921) и Антонио (1854–1942), братья, родом из Португалии, входили в состав итальянской труппы певцов в Частной опере С.И. Мамонтова I: 59, 384
- Даргомьжский Александр Сергеевич (1813–1869), композитор I: 708; II: 598, 599, 668
- Дарзанс, владелец модного дамского салона на Кузнецком Мосту I: 98, 713; II: 11
- Дарья I: 665; II: 196, 223, 406, 456, 463, 506, 540–542, 571
- Дарья, крестьянка I: 73
- Дарья Петровна, мать Маши II: 193, 195
- Дациаро, Джузеппе (Иосиф Христофорович; 1806–1865), основатель фирмы по выпуску видовых литографий, владелец художественного магазина в Москве II: 394, 493, 73
- Дациаро Иосиф Иосифович (1835–?), сын Дациаро И.Х. (см.), продолжатель его дела II: 739
- Дацук, солдат II: 202
- Дворищин Исай Григорьевич (1876–1942), певец, секретарь Ф.И. Шаляпина (см.) II: 677
- Дворченков Серега, крестьянин-охотник I: 403–405
- Девойод, Жюль (1842–1901), французский певец (баритон), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 400
- Дедушка, дедушка-сторож — см.: Афанасий, дедушка-сторож в Охотине
- Делиб, Клеман Филибер Лео (1836–1891), французский композитор I: 61, 320, 368, 385, 709, 730
- Делянов Иван Давидович, граф (1818–1897), министр народного просвещения (1887–1897) II: 340
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), поэт, друг А.С. Пушкина (см.) I: 738
- Демосфен (384–322 до н.э.), древнегреческий оратор и государственный деятель II: 59
- Денисов Василий Иванович (1862–1922), живописец, график, художник театра II: 782, 793
- Дережинский, адвокат II: 263, 264
- Державин Гаврила (Гавриил) Романович (1743–1816), поэт II: 742
- Децорни, итальянский певец (тенор) II: 31, 32, 728
- Джамет (Жамет), итальянский певец II: 395, 739
- Джованни, старик-итальянец, певец в ресторане I: 656
- Джонсон, Сэмюэл (1709–1784), английский лексикограф, писатель, поэт I: 707
- Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337), итальянский живописец I: 97
- Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), руководитель ЧК-ВЧК-ОГПУ II: 665, 735
- Димитрий Петрович, приятель К.А. Коровина II: 385
- Дионисий I Старший (ок. 432–367 до н.э.), тиран Сиракуз (с 406) II: 247
- Дмитриев-Мамонов А.И., меценат, один из инициаторов создания Общества поощрения художеств I: 741
- Дмитрий Донской (1350–1389), великий князь московский (1359) и владимирский (с 1362), сын Ивана II I: 741; II: 735
- Дмитрий Павлович, вл. кн. (1891–1942), соучастник убийства Г. Распутина (см.) I: 725
- Добиньи, Шарль Франсуа (1817–1878), французский художник II: 659
- Добрушина, барышня I: 578–581
- Добрынский, товарищ К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества II: 393, 461, 739
- Дока Софья Ивановна, жена И.И. Крайтора (см.) II: 753
- Долгорукий (Долгоруков) Владимир Андреевич, кн. (1810–1891), московский генерал-губернатор (1865–1891) I: 119, 177, 178, 721, 727, 728
- Долгоруковы, князья II: 230
- Домерщиков (Померщиков) Платон Павлович, заведующий монтировочной частью Мариинского театра (1882–1897) I: 215, 392, 395, 396, 734
- Домье, Оноре (1808–1879), французский художник II: 672, 673

- Донауров Сергей Иванович (1839–1897), русский композитор-дилегант I: 736
- Доницетти, Гаэтано (1797–1848), итальянский композитор II: 739
- Донон, владелец ресторана в Петербурге I: 394, 733; II: 397, 740
- Дорогомиллов Иван, новгородский боярин, соратник Александра Невского II: 735
- Дорожинская-Курилло София Борисовна (1891–1973), жена С.Ф. Дорожинского (см.) I: 16, 17; II: 747, 753, 794
- Дорожинский Станислав Фаддеевич (1879–1960), один из первых авиаторов России, участник Первой мировой войны, капитан второго ранга, коллекционер, учился живописи у К.А. Коровина, его меценат и издатель I: 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 705; II: 747, 751, 753, 754, 772–789, 790, 793, 794
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель I: 52, 217, 241, 717; II: 110
- Дровосекин, приятель К.А. Коровина II: 368–370
- Дубинин (Дубин), охотник I: 46–50, 53, 229, 292, 293, 381–383; II: 115–118, 394
- Дубровин Константин Павлович, ученик Училища живописи, ваяния и зодчества в 1880-е гг. I: 409, 578; II: 511
- Думбадзе Иван Антонович (1851–1916), градоначальник Ялты, свитский генерал-майор I: 601
- Дункан, Алэн (1894–1943), ирландский художественный критик I: 95
- Дуныша II: 536
- Дурвенд, Ада I: 138
- Дуров Анатолий Леонидович (1864–1916), клоун-дрессировщик II: 683
- Дьячков Василий Васильевич (?–1920), театральный художник, ближайший помощник К.А. Коровина II: 758, 790
- Дюбюк Александр Иванович (1812–1897), пианист и композитор II: 741
- Дюгамель, французская певица II: 123
- Дюма, Александр (1802–1870), французский писатель (Дюма-отец) I: 735
- Дюран, Мария, французская певица, выступала в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 384, 386; II: 32, 603
- Дягилев Павел Павлович (1848–1914), кадровый военный, генерал-майор (с 1894), отец С.П. Дягилева (см.) II: 654
- Дягилев Сергей Павлович (1872–1929), балетный импресарио, основатель «Русских сезонов», создатель журнала «Мир Искусства» I: 61, 101, 709, 714; II: 34, 178, 638, 654, 655, 733
- Евлогий, митрополит (в миру Василий Семенович Георгиевский; 1868–1946) экзарх Константинопольского Патриархата, ректор Свято-Сергиевского богословского института в Париже, один из основателей евразийства I: 145, 717, 718
- Еврей Федорыч, слуга Я.В. Щукина (см.) II: 629, 630
- Егер Отто — см.: Йегер О.
- Егор, слуга у помещика С.П. Сергеева (см.) II: 122
- Егор Васильевич, лесничий II: 193, 195
- Егорка, половой в «Яре» II: 59, 204
- Егоров, трактирщик I: 697, 239, 726; II: 63, 64, 238, 252, 310, 555, 729
- Егоров Алексей Егорович (1776–1851), специалист по академическому рисунку; профессор Академии художеств I: 56, 70, 239
- Ежов Николай Михайлович (1862–1941), беллетрист и журналист I: 336, 731; II: 310
- Екатерина II Великая (1729–1796), российская императрица (с 1762) I: 60, 70, 149, 297, 478, 539, 715, 723; II: 509, 530, 742
- Елизавета, жена Гаврилы Ивановича (см.) I: 298
- Елизавета Петровна (1709–1762), российская императрица (с 1741) I: 478, 729; II: 188
- Елизавета Федоровна, вел. кн. (1864–1918), жена вел. кн. Сергея Александровича (см.) II: 608
- Ельчев Дмитрий Петрович (крестьянин) II: 385, 491, 515
- Ельчев Игнашка, товарищ детских лет К.А. Коровина II: 461, 462, 544
- Ельчев Михаил Алексеевич, лесничий, приятель К.А. Коровина I: 415, 703; II: 288, 321–323

- Ельчева, жена Ельчева М.А. (см.) II: 515
 Ельчева Матреша, крестьянка II: 99, 100, 102, 103; II: 385
 Ельчева Прасковья Герасимовна, крестьянка II: 102, 103
 Ермаков, городской голова I: 571, 572
 Ермилов II: 269
 Ермолай I: 383
 Ермолкин, фабрикант II: 82, 84
 Ермолова Мария Николаевна (1853–1928), драматическая актриса I: 387, 722; II: 498
 Еропкин II: 503, 504, 549
 Ершов, дядя К.А. Коровина, муж М.М. Ершовой (см.) I: 227
 Ершов Михаил Никитич, купец I: 524; II: 199–201
 Ершов Миша, двоюродный брат К.А. Коровина, сын М.М. Ершовой (см.) I: 589
 Ершов Миша, «саратовский актер» II: 63–65, 122, 729
 Ершов Никита Иваныч II: 432
 Ершова Варвара Никитична, сестра М.Н. Ершова (см.) II: 200, 201
 Ершова Мария Михайловна, тетка К.А. Коровина со стороны отца I: 227, 236, 587, 589
 Есенин Сергей Александрович (1895–1925), русский поэт I: 711
 Ечкин, управляющий в доме Коровиных I: 31, 33, 34, 37, 215, 216, 236, 237
 Ефремов II: 391
 Ефремов Иван Николаевич (1866–?), российский политический и государственный деятель I: 739
 Жадовская Юлия Валериановна (1824–1883), поэтесса и писательница
 Жамет — см.: Джамет II: 395, 739
 Жан, ресторатор II: 334
 Жедринский Николай Александрович (1852–1930), гофмейстер, секретарь вел. кн. Елизаветы Федоровны (см.), приятель К.А. Коровина I: 330, 332, 408, 465–467, 470, 475, 510–512, 514, 609, 610, 612, 685; II: 103, 104, 110, 112, 147, 208–210, 226–228, 247–250, 274, 312–315, 324, 325, 416, 417, 446, 448, 542, 543, 548, 550, 562, 564, 577, 619–622
 Женя Крошка, цыганка из хора ресторана «Яр» I: 546, 547; II: 9, 321
 Жеребков I: 443–446
 Жильсон, Этьен (1884–1978), французский религиозный философ I: 340
 Жуйкин, театральный машинист I: 384
 Жуковский А.В. II: 668
 Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), переводчик, критик II: 734
 Жуковский Станислав Юлианович (1875–1944), художник-пейзажист, писал интерьеры и натюрморты II: 752, 756
 Журавлев Коля II: 280
 Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель I: 734
 Задунаев-Вральский (Козельский), трагик I: 126, 127; II: 291, 330
 Зазуля II: 264–267
 Зазыкин Сергей II: 538–541
 Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель I: 13, 20
 Замков Петр, купец II: 62, 63, 308, 309
 Замкова Софья Петровна, дочь П. Замкова (см.) II: 63–65
 Замоиский, Август, граф (1892–1970), польский скульптор I: 95
 Занегины, родственники К.А. Коровина со стороны матери I: 30
 Захар, дедушка II: 521
 Захар, колдун I: 345, II: 152
 Захар, крестьянин II: 141, 142, 361–363
 Захар, лесной сторож II: 210, 278, 279, 360–362
 Захар, помолец на мельнице II: 175
 Захар, угольщик I: 457; II: 337
 Захаров, кровельщик I: 426
 Захаров, переплетчик, рыболов, приятель К.А. Коровина I: 77
 Захарьин Григорий Антонович (1829–1897), доктор медицины, профессор Московского университета I: 149, 271–273, 388, 422, 504, 727; II: 262–264, 347, 348, 475
 Заходер Борис Николаевич, служащий в конторе Государственных театров I: 81; II: 764, 765, 791
 Зацепин Михайло, крестьянин II: 152
 Збук Ксенофонт Абрамович (1825–1904), купец, владелец пуговичной фабрики I: 37, 38, 231, 725; II: 123

Зверев А. И: 24
Зверевы, купцы I: 105
Зеелер Владимир Феофилович (1874–1954), секретарь Союза писателей и журналистов в Париже I: 6, 9, 10
Зильберштейн Илья Самойлович (1905–1988), сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького, редактор «Литературного Наследства», искусствовед, коллекционер I: 7, 14, 18, 21, 22, 24, 705
Зимин Сергей Иванович (1875–1942), театральный деятель, меценат, преемник Частной оперы С.И. Мамонтова (см.) I: 429, 735, 743
Зиновьев Андрюшка, сын купца II: 549
Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фам.: Овсей-Гершен Аронович Радомысльский (Апфельбаум); 1883–1936), революционер, член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Петросовета II: 659
Зиновьева Катерина I: 146
Злобин Адриан Алексеевич и его сын Александр, создатели (1897) театра А.А. Злобина в Козлове (ныне Мичуринск) I: 10
Зоя Андреевна II: 220, 221
Иван Васильевич, охотник I: 143; II: 628
Иван Васильевич, возчик — см.: Баторин И.В.
Иван Захарович I: 433
Иван Иванович, дачник I: 270
Иван Иванович, доктор — см.: Красовский И.И.
Иван Панкратьевич, купец I: 372
Иванов, изготовитель подрамников II: 757
Иванов Александр Андреевич (1806–1858), живописец I: 68, 69
Иванов Гаврила I: 131
Иванов Егорушка, ученик Школы живописи, ваяния и зодчества II: 112–115
Иванов-Козельский (наст. фам. Иванов) Митрофан Трофимович (1850–1898), актер I: 716
Игнат, дедушка, крестьянин в Боголюбове II: 381
Игнат, сторож II: 82
Игнат, кучер у С.П. Сергеева (см.) II: 122, 124, 390–292

Игнат, ямщик II: 205, 206
Игнатъев, крестьянин II: 101
Игнашка (Игнатка), друг детства К.А. Коровина I: 39–41, 43–47; II: 393
Игнашка, сын мельника II: 393, 401
Игоркина II: 128
Измаил-паша (наст. имя Георгий Кмети; 1810–1865), турецкий главнокомандующий венгерского происхождения I: 721
Ильгчев Павел, крестьянин II: 151
Ильин, комендант дома I: 78, 80, 81, 107; II: 661, 662
Ильина Н.В., научный сотрудник ГТГ II: 754
Ильюшка II: 402, 403
Илья Васильевич — см.: Пронин И.В.
Илья Петрович, приказчик у П. Замкова (см.) II: 65
Ильюшка-беглый — см.: Пронин И.В.
Илюшка, возчик у Н.Н. Комаровского (см.) II: 231
Инезилья, испанка в ресторане в Валенсии II: 171, 172
Иоанн IV Васильевич Грозный (1530–1584), великий князь всея Руси (с 1533), русский царь (с 1547) I: 616, 618, 681; II: 576, 602, 606, 636
Иогансон Борис Владимирович (1893–1973), живописец, педагог, первый секретарь Правления Союза художников СССР II: 753
о. Ионафан, настоятель Печенгского монастыря Св. Трифона I: 114, 248
Ипполит, столяр у К.А. Коровина I: 358
Иропкин, солдат II: 203
Исаев Леонид Львович (1883–1941), заведующий постановочной частью Большого театра (1917–1941) II: 758, 790
Исайка — см.: Дворищин И.Г.
Итларь Половецкий, хан I: 249
Ишеев П., князь II: 794
Йегер (Егер) Отто (1828–1912), немецкий педагог, теоретик гимнастики I: 649, 745; II: 97, 730, 738
Кабанов Алексей И. (Леня), близкий друг семьи Коровиных II: 759, 761, 766, 767, 789, 792

- Казakov Матвей Федорович (1738–1812), архитектор, один из основоположников русского классицизма I: 715, 729
- Казakov I: 352, 678; II: 106, 212–214, 315
- Казakov, лавочник II: 153
- Казakov, охотник II: 501, 572
- Казанли Николай Иванович (1869–1916), русский композитор I: 725
- Казнаков Петр, друг К.А. Коровина II: 188
- Калам, Александр (1810–1864), швейцарский живописец-пейзажист I: 361
- Калбанов — см.: Коборев А.
- Каменев Лев Львович (1833–1886), художник-пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок I: 29, 34, 217, 558–560; II: 99, 100, 660
- Камниони, фокусник II: 343
- Каморова I: 480
- Камчадалов, профессор I: 540
- Кант, Иммануил (1724–1804), немецкий философ I: 174, 175
- Кант Зинаида, «племянница» И. Канта (см.) I: 174, 175
- Каплун И.М., коллекционер II: 757, 789
- Капута, метрдотель в «Метрополе» II: 122, 123
- Каразин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк I: 54, 708
- Караулов Василий Васильевич, приятель К.А. Коровина, охотник, персонаж рассказов о рыбной ловле и охоте I: 531, 533, 534, 555, 599, 609–611, 626, 627, 664–666; II: 24, 34, 55, 57, 65–67, 130, 147, 152, 153, 188–191, 209, 223, 226, 228, 247, 266, 267, 271, 285, 286, 298–302, 309–311, 321, 323, 326–328, 332, 337, 351, 352, 374, 375, 384, 403, 405, 417, 422, 428, 429, 442, 444–448, 450, 451, 453, 475–477, 479, 484, 496, 497, 507–509, 538, 542, 550–552, 557, 558, 562, 563, 565, 566, 571, 574, 575, 577, 586–588
- Карзинкины, купцы II: 600
- Карл Евгеньевич, доктор I: 300
- Карл Иванович I: 172, 329
- Карл Иванович, начальник станции II: 572
- Карл Федорович, декоратор I: 264
- Карлушка, машинист сцены I: 161
- Кармон II: 329
- Карсавин Лев Платонович (1882–1952), русский религиозный философ, историк-медиевист, поэт I: 718
- Карягин Ульян Тимофеевич, долгожитель, пациент доктора Н.А. Лазарева (см.) I: 426–429
- Кассо Лев Аристидович (1865–1914), российский юрист, министр народного просвещения (1910–1914) II: 458, 742
- Катерина, купеческая дочь I: 143, 145
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887), русский общественный деятель, консервативный мыслитель I: 739
- Кафтанова Т.И., сотрудник ГТТ II: 754
- Кашкин Николай Дмитриевич (1839–1920), музыкальный критик, профессор Московской консерватории II: 181, 607
- Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875–1948), актер МХТ II: 291
- Кебнер (1849–?), немецкий художник и издатель I: 95
- Кепке, продавец II: 256
- Керенский Александр Федорович (1881–1970), политический деятель, глава Временного правительства (1917) II: 654
- Керн Анна Петровна (урожд. Полторацкая; 1800–1879), дворянка; ей посвятил А.С. Пушкин свое стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» (1825) I: 741
- Керов Семен, купец, владелец парохода II: 292, 311
- Кикин Петр Андреевич (1775–1834), меценат, один из основателей Общества поощрения художеств I: 741
- Кин, Эдмунд (1787–1833), английский актер, легендарный исполнитель шекспировских ролей I: 430, 735
- Кирюшка, друг детства К.А. Коровина I: 43
- Киселев Александр Александрович (1838–1911), художник-пейзажист, член Товарищества передвижников I: 100; II: 34
- Киселев Павел, слуга К.А. Коровина в деревне I: 193–195; II: 213
- Клевер Юлий Юльевич (1850–1924), художник-пейзажист II: 654
- Клем О. де, французский журналист I: 11
- Клестов (псевд. Ангарский) Николай Семенович (1873–1943), профессиональный

- революционер, мемуарист, литературный критик II: 658
- Клико-Понсарден, Николь-Барб (вдова Клико) (1777–1866), владелица знаменитой компании по производству шампанских вин II: 729, 733
- Климов Михаил Михайлович (1880–1942), актер I: 328, 329, 452, 458, 716; II: 37, 55, 341, 342, 354
- Клинов Миша — см.: Климов М.М.
- Кlover, мадам II: 788
- Клодт (Клод) Николай Александрович (1865–1918), барон Юргенсбург фон, художник-пейзажист I: 201, 370, 371, 598, 601, 602; II: 569, 572
- Ключевский П. I: 16
- Кнейп (Кнейпп), Себастьян (1821–1897), немецкий епископ-целитель; изобрел метод лечения холодной водой II: 441, 442, 741
- Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса МХТ, жена А.П. Чехова (см.) I: 93, 713, 739
- Княжев (Князев) Василий (Василий), «поэт, бродяга, рыбовлов»; один из основных персонажей рассказов К.А. Коровина об охоте и рыбной ловле I: 201–204, 305, 306, 321–324, 334–339, 349–352, 431, 443, 500, 543, 575, 591–593, 619–621, 728; II: 57–59, 75–77, 85, 87, 108, 109, 119–121, 141, 147, 178, 179, 186–188, 243, 245, 253, 256–261, 276–279–281, 293–296, 309, 343–345, 351, 352, 366, 367, 382–385, 388, 389, 397, 399, 400, 404, 410–412, 422, 423, 435–437, 444, 445, 472, 483, 484, 505, 506, 514, 517–519, 522, 523, 532, 553–555, 575–577, 579, 624, 626, 628, 671, 674
- Коборев (Кобарев, Калбанов) Леонид (Ленька), слуга К.А. Коровина I: 79, 102, 173, 208, 287–289, 324–326, 331, 333, 335, 336, 359, 430, 468–470, 472, 480, 538–540, 555, 556, 609–612, 635–638, 642–646, 665, 677–679, 689, 690, 696, 712; II: 18, 19, 93, 96, 98, 99, 132, 133, 187, 190, 223, 224, 240, 242, 243, 248, 250, 251, 266, 270–272, 298, 308–310, 315, 316, 318–320, 324, 331, 332, 351, 367–370, 374, 375, 388, 405, 406, 413, 416, 417, 420, 424, 441, 443, 446, 449, 453–456, 462–464, 472–481, 486, 487, 496, 500, 505, 507, 516, 518, 519, 541, 542, 551, 552, 556, 562, 563, 566, 570–572, 574
- Кобыло-Ковалов, барон I: 505
- Ковалевский Владимир Иванович (1848–1934), директор Департамента торговли и мануфактур (1892–1902), вице-председатель Комиссии по устройству выставки в Нижнем Новгороде в 1894–1896 гг. II: 596, 597
- Коган Д., исследователь творчества К.А. Коровина I: 21, 24
- Коджиа, Жером Э., французский астроном I: 706
- Козаков I: 194; II: 24, 25, 39
- Козельский — см.: Задунаев-Вральский
- Кознов Петр Петрович (?–1937), состоятельный москвич I: 246; II: 656
- Козновы (Петр Петрович и его жена Наталья Степановна) II: 608
- Козырь I: 378
- Кокорев Василий Александрович (1817–1889), предприниматель, видный общественный деятель, публицист, благотворитель и меценат, почетный член Академии художеств I: 31, 706
- Колганов II: 282
- Колганов, владелец рыбного магазина II: 645
- Кольцов Колька (Миколка) II: 337, 338, 572
- Кольцов I: 272–274, 690; II: 337
- Кольцов Сергей (Сергея) II: 211, 212
- Колька, сирота I: 506–509
- Колька-вор I: 192–195
- Колька, внук Никона Осиповича (см.) II: 693
- Коля II: 273, 274
- Комаров, охотник I: 349, 350
- Комаровская Надежда Ивановна (1885–1967), актриса, гражданская жена К.А. Коровина до его женитьбы на А.Я. Фидлер (см.) I: 21, 24, 734
- Комаровский Николай Николаевич, друг И.И. Левитана (см.) I: 121, 123, 189, 190, 360; II: 228–232, 329, 546
- Кондратьев Геннадий Петрович (1834–1905), певец (бас-баритон), солист (1864–1900), главный режиссер (с 1872) Мариинского театра I: 396
- Коновалов Александр Иванович (1875–1949), крупный российский предприни-

- мать, общественный и политический деятель I: 739
- Константин, рыбак I: 287, 288, 357, 358; II: 35, 155, 412, 420, 422, 501, 502, 671
- Кончак, половецкий князь I: 308
- Кончаловский Петр Петрович (1876–1956), живописец I: 75, 713, 714
- Коперник Николай (1473–1543), польский астроном I: 745; II: 735
- Корещенко Арсений Николаевич (1870–1921), композитор, пианист и дирижер I: 104, 714; II: 419, 421, 580, 639, 642, 643
- Корзинкин II: 377
- Корзинкина Вера Петровна II: 75, 76
- Корзинкины II: 75
- Корзинкин Иван Иванович, обыватель I: 84
- Коро, Жан Батист Камиль (1796–1875), французский пейзажист I: 213, 214, 559; II: 262, 659
- Коровина Алексей (Леша), внук К.А. Коровина I: 14, 23; II: 780, 781, 793
- Коровин Алексей Константинович (1902–1950), художник, сын К.А. Коровина I: 5–9, 14, 23; II: 752, 759, 760, 762–764, 769–771, 774, 777, 780, 781, 783, 785, 787, 790, 793
- Коровин Алексей Михайлович (?–1881), отец Сергея и Константина Коровиных I: 28–40, 42–46, 52, 53, 56, 108, 109, 156, 157, 215, 216, 218–221, 225, 227, 232, 235, 236, 552–554, 558, 559, 587; 183–185, 214–217, 706; II: 183–185, 214, 215, 217, 525, 527
- Коровин Емельян Васильевич, прадед К.А. Коровина I: 27, 221, 549, 707, 724
- Коровин Михаил Емельянович (1776–1866), дед К.А. Коровина I: 27–29, 31, 33, 37, 44, 215, 218, 221, 389, 558, 559, 706, 707; II: 11, 205, 206
- Коровин Сергей Алексеевич (1858–1908), живописец и график, брат К.А. Коровина I: 28, 29, 31, 34, 35, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 215–219, 221, 224, 236–238, 359–364, 367, 423, 550, 552, 558–560, 724; II: 40, 183, 217, 219, 393, 394, 493, 511, 527, 528, 537, 538, 792
- Коровина (урожд. Фидлер) Анна Яковлевна (1872 или 1873–1947), жена К.А. Коровина, хористка в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 5–7, 13, 14, 23; II: 752, 761, 762, 765, 766, 769–771, 774, 778–780, 783, 785, 790, 792, 793
- Коровина (урожд. Волкова) Аполлиария Ивановна, мать Сергея и Константина Коровиных I: 28–32, 34, 36–38, 40, 45–47, 52, 53, 55, 56, 156, 157, 216–219, 222, 225, 227, 230, 232, 235, 236, 238, 359, 423, 475, 549, 550, 552–554, 558; II: 11, 184, 185, 495, 527
- Коровина Елизавета Владимировна, жена А.К. Коровина (см.) I: 14, 23
- Коровина Ирина Николаевна (?–1929), вдова С.А. Коровина (см.) II: 771, 792
- Коровина Соня, сестра К.А. Коровина I: 29–30, 3
- Коровины I: 707
- Королев Петр Алексеевич, купец II: 530–532
- Корреджио, Антонио (1494–1534), итальянский художник II: 262
- Корш Евгений Федорович (1809–1897), журналист, переводчик, издатель I: 739
- Корш Федор Адамович (1852–1923), основатель Частного театра в Москве в 1882 г. I: 125, 266, 716, 727
- Коршунов I: 119–121
- Косович Дмитрий Васильевич I: 266, 268
- Костя, сын садовника, друг детства К.А. Коровина I: 45
- Коти, Франсуа (наст. имя и фам. Жозеф Мария Франсуа Спотюрно; 1874–1934), основатель фирмы по производству парфюмерии и косметики I: 711
- Котляревский, полицмейстер во Владикавказе II: 40, 41
- Котляров Юрий Федорович, исследователь творчества Ф.И. Шаляпина I: 24
- Котюны, Антонио (1831–1918), итальянский певец (баритон), один из выдающихся певцов XIX в.; после того как оставил сцену (1894), преподавал в Петербургской консерватории (до 1898 г.) II: 395, 739
- Коутс, Альберт (1882–1953), английский композитор и дирижер II: 636
- Кочетов, московский журналист I: 232
- Крайтор Анна Кондратьевна (1902–1967), реставратор, сестра И.К. Крайтора (см.) II: 751, 753, 763, 791, 794
- Крайтор Иван Кондратьевич (1880–1957), портретист, реставратор, коллекционер,

- посредник по продаже картин, организатор выставок I: 6, 8, 12, 13, 15, 19, 705; II: 751–771, 791, 792
- Краковский, доктор I: 77
- Кралин Михаил Михайлович, исследователь творчества А.А. Ахматовой, а также составитель сборника рассказов «Константин Коровин. Краски России» I: 22, 24
- Крапивин — см.: Тропинин В.А.
- Красин Борис Борисович (1884–1936), композитор, директора Института музыкальной науки, близкий знакомый К.А. Коровина I: 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19; II: 677
- Красин Леонид Борисович (1870–1826), участник социал-демократического движения в России с 1890 г., советский государственный и партийный деятель I: 727
- Краскин Борька II: 120
- Краснов Николай Петрович (1864–1939), архитектор I: 605, 743
- Красовский Иван Иванович, друг К.А. Коровина, один из основных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле I: 265, 266, 341, 410, 447, 448, 450, 540, 642–644, 658, 659, 661–663, 690, 691, 697; II: 8, 18, 19, 97, 98, 104, 110, 111, 118–121, 141, 155, 174–176, 189, 190, 196, 197, 208, 211, 223–225, 227, 232–237, 240, 241, 245, 246, 271, 272, 297, 298, 299, 308, 309, 315–321, 331, 337, 338, 343–345, 350, 351, 353, 359, 360, 361, 368–370, 374, 375, 379, 383, 399–401, 403–406, 408, 412–414, 417–420, 423, 428–430, 433, 437, 440–444, 446, 452–454, 472–475, 477, 484–487, 497, 500, 501, 505–509, 514–516, 519, 539, 542, 548, 549, 552, 553, 556–558, 560–562, 566, 567, 574, 576, 586–588, 657, 658
- Крейн Давид Сергеевич (1869–1926), концертмейстер Большого театра (с 1898) II: 643
- Крёз, последний царь Лидии (595–546 до н.э.); в годы своего царствования считался одним из богатейших людей I: 113, 715
- Крибов, купец I: 271
- Кривошеин Александр Васильевич (1858–1923), юрист Ярославской железной дороги I: 62, 187, 230; II: 591
- Кривцов Алексей Михайлович, корнет I: 624, 625
- Кротков Николай Сергеевич (1849–?), композитор и дирижер, антрепренер (1885–1891) Частной оперы С.И. Мамонтова (см.) I: 386; II: 591
- Крутликов Семен Николаевич (1851–1910), музыкальный критик II: 607
- Круглов Владимир Федорович, исследователь творчества К.А. Коровина I: 7, 22, 24
- Крымов Николай Петрович (1884–1958), художник-пейзажист, декоратор и педагог I: 61
- Крынкин, владелец ресторана II: 599
- Кторов (наст. фам. Виктор) Анатолий Петрович (1898–1980), артист театра и кино I: 716
- Кузнецов Василий Васильевич II: 55
- Кузнецов Василий Сергеевич (1878–1929), архитектор, выпускник МУЖВЗ и ИАХ, друг К.А. Коровина; один из основных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле I: 127–129, 131, 134, 169, 170, 173–175, 200, 201, 205–211, 238, 239, 254, 263–266, 276, 277, 287–289, 293, 295, 297, 298, 306–308, 326, 329–333, 335, 343, 344, 361, 362, 368, 377, 379, 380, 382, 383, 403–408, 431–433, 440, 447, 449, 458–461, 465–467, 470, 471, 490, 492, 497, 501, 509–515, 530–534, 540, 541, 576, 584, 585, 609–611, 621, 625–628, 642–646, 649–651, 665, 666, 670, 672, 673, 683, 685, 689–691, 696, 697, 716, 727, 737; II: 23, 25, 26, 34–37, 56, 65–67, 75–77, 85–88, 93, 94, 96–99, 103, 104, 106–111, 119–121, 130, 136–143, 145, 147–150, 174–176, 178, 182, 183, 188–191, 196, 208–210, 220, 221, 224–228, 236, 238, 240–253, 264–266, 270–275, 279–281, 284–289, 284–289, 297–302, 309–315, 318–328, 331, 332, 337, 345, 349–358, 360–363, 368, 369, 373–375, 382–384, 388, 400, 401, 403–406, 408, 409, 412, 413, 416–424, 427–429, 437, 441–443, 445–452, 454–457, 463, 464, 472–487, 490–492, 495–497, 500, 501, 505–509, 513–519, 532, 538–543, 551–553, 556, 558–567, 569–572, 574–581, 586–588, 640, 663, 671, 675, 687–698, 699, 702–708, 715–716, 718–726, 748, 755, 762, 764, 767, 789

- Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878–1968), художник и декоратор, основатель группы художников «Голубая роза» (1905); ученик Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества (1897–1907) I: 6, 61, 75
- Кузнецова-Массне Мария Николаевна (1880–1960), дочь художника Н.Д. Кузнецова (1850–1929), в первом браке жена Альберта Николаевича Бенуа (Кузнецова-Бенуа), певица, солистка Мариинского театра, создатель Русской частной оперы в Париже I: 8, 9, 11
- Кузьма, крестьянин I: 677–679
- Кузьма, слуга II: 346
- Кузьма Николаевич, хозяин гостиницы для рыбаков и владелец лодок I: 590–593
- Кузьмичев, владелец стекольного дела II: 316
- Кузьмичев, пациент И.И. Красовского (см.) II: 316
- Кузьмичев И., исследователь творчества К.А. Коровина I: 21
- Куинджи Архип Иванович (1842–1910), художник I: 176, 721
- Куликова, модель II: 298, 435
- Кулишов I: 153–155
- Кульков, трактирщик II: 102
- Кульнеман II: 352
- Купер, женский портной II: 108, 109
- Купер, Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель II: 457
- Купер Эмиль Альбертович (1877–1960), дирижер Большого и Мариинского театров II: 609, 689
- Куперник, приятель полицмейстера Н.И. Огарева (см.) I: 311
- Купка Франтишек (1871–1957), чехословацкий художник I: 95
- Куплер I: 335
- Куприн Александр Васильевич (1880–1960), художник, ученик К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества (1906–1910) I: 75
- Курбатов I: 296
- Курбатовы I: 296
- Курдюмов II: 364
- Курилов В.А., журналист II: 753
- Курлов Николай Николаевич (1882–после 1939) (он же: Николай Васильевич Курин; Коля Курицын, Коля Куркин, Николай Николаевич Куров, Коля Куропаткин, Коля Курочкин, Коля Петушков, Николай Васильевич Хитров), профессор, музыкальный критик, друг К.А. Коровина; один из основных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле I: 134–136, 171, 172, 204–211, 287–290, 297, 304–307, 318–320, 325, 329–331, 333, 335, 336, 343, 345, 381, 382, 432–434, 459, 460, 531–535, 548, 603, 606, 609, 613–615, 649–652, 685, 696, 697, 717, 747; II: 14–16, 18, 19, 23–25, 66–68, 85–88, 96–98, 103, 104, 107–109, 126–130, 131, 141, 147, 150, 182, 183, 188–191, 208, 209, 220, 221, 226, 227, 232, 235–237, 240, 241, 243–246, 248–250, 255, 266, 267, 273, 274, 288–290, 293, 294–302, 318–320, 324, 325, 331–333, 344, 345, 350, 351, 354, 355, 359, 360–362, 364, 365, 374, 376–379, 399–401, 403–406, 408, 409, 411–413, 417–419, 421, 423, 424, 428, 429, 441, 442, 453–457, 464, 478, 484, 485, 490–492, 497, 501, 505, 506, 512, 516, 518, 532, 538, 542, 543, 552, 553, 556–558, 560, 561, 563, 566, 573–577, 586, 587, 601, 602, 639, 682, 683, 687–692, 694, 696–718, 720–722, 724–726, 748, 789, 794
- Курлов Павел Григорьевич (1860–1923), государственный деятель, товарищ министра внутренних дел I: 63, 401
- Курочкин, солдат-крестьянин I: 73
- Курчевский Василий, товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 55, 56, 222, 225–227, 527, 693; II: 461, 526
- Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951), музыкант-контрабасист, дирижер II: 659
- Кусов Владимир Алексеевич, заведующий монтажной частью Мариинского театра (с 1896 г.) II: 52
- Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), художник I: 104
- Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), полководец, генерал-фельдмаршал (1812) II: 229
- Кушнерев Иван Николаевич (1827–1896), владелец книгоиздательской фирмы:

- Т-во И.Н. Кушнерева и К° I: 99, 713; II: 33, 530, 728, 745
- Кюба Ж.П., ресторатор в Петербурге II: 499, 591, 592, 654, 676, 744
- Лавдовский Феодосий Александрович (1858–?), товарищ К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества, художник, декоратор Большого театра II: 461, 511
- Лаврушка, помощник режиссера I: 327, 430; II: 78, 79, 81
- Лазарев (Азарев) Николай Александрович, доктор медицины, друг К.А. Коровина I: 237, 238, 425–428, 725; II: 670, 671, 674
- Ламанова Надежда Петровна (1861–1941), знаменитый модельер II: 55, 728
- Ланин Николай Петрович (1832–1895), московский купец, владелец завода минеральных и фруктовых вод, а также шампанских вин; публицист, владелец газеты «Русский курьер» (начало 1880-х) I: 164, 719
- Ланкастер, Чарльз Уильям (1820–1878), английский оружейник I: 664, 745, 746; II: 209, 734
- Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946), график и живописец I: 714
- Ларош Герман Августович (1845–1904), музыкальный и литературный критик, профессор Московской и Петербургской консерваторий I: 215, 395, 396
- Латышев Михаил Петрович, друг отца К.А. Коровина I: 29, 32, 34, 706; II: 394
- Лебедев Поликарп Иванович (1904–1981), директор ГТГ II: 753
- Лева II: 630
- Леватович — см.: Любатович Т.С.
- Леве Борис, знакомый К.А. Коровина II: 759, 767–770, 790, 792
- Леви Василий Филиппович (1878–1953), юрист и художник; входил в близкое окружение И.Е. Репина (см.) II: 773, 776, 786, 793
- Левитан Исаак Ильич (1860–1900), художник, друг А.П. Чехова и К.А. Коровина I: 5, 16, 53, 59, 69, 89–93, 116, 119, 159, 178, 212–214, 224, 225, 232–234, 237, 359–370, 516–519, 561, 566–568, 638, 708–709, 713, 714, 722, 725, 739; II: 100, 103, 110, 217, 219, 303, 304, 329, 494, 522, 527, 546, 547, 654, 752
- Левицкий Дмитрий Григорьевич (1735–1822), художник, академик I: 69; II: 751
- Левушка, товарищ детства К.А. Коровина I: 38
- Лейден, Эрнст (1832–1910), немецкий врач-терапевт II: 264
- Лейнер, владелец ресторана II: 301, 591, 594, 614, 633
- Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924), лидер большевистской революции, глава советского правительства (1917–1924) I: 80, 712; II: 661
- Ленский (наст. фам. Вервициотти) Александр Павлович (1847–1908), актер, режиссер и педагог I: 65, 162, 163, 710; II: 425
- Лентовский Михаил Валентинович (1843–1906), артист драматического театра и оперетты, куплетист, режиссер и антрепренер I: 583, 708, 742; II: 89, 92, 489, 730, 743
- Ленька, слуга К.А. Коровина — см.: Коборев Л.
- Ленька, сын Никиты Ивановича (см.) II: 60–62
- Ленька, товарищ детства К.А. Коровина I: 158, 159, 219, 610, 611
- Леонард, Жюль, испанский художник II: 168, 169, 171–173
- Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер, представитель Высокого Возрождения II: 494
- Леонидов (наст. фам. Вольфензон) Леонид Миронович (1873–1941), актер и режиссер, артист МХТ (с 1903), народный артист СССР (1936) I: 716
- Леонора, испанка, натурщица II: 169, 172, 173
- Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), журналист и филолог, принадлежал к реакционному кружку, образовавшемуся вокруг «Русского вестника», «Московских ведомостей» и М.Н. Каткова (см.) I: 739

- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт **I**: 60, 99, 100, 161, 176, 206, 211, 212, 709, 713, 714, 716, 719, 721, 723, 724, 726; **II**: 33, 42, 53, 728, 742
- Лесков Николай Семенович (1836–1895), писатель **I**: 241
- Ливен Андрей Александрович, св. кн. (1839–1913), русский государственный деятель **I**: 718
- Лидия Васильевна, жена доктора Лазарева Н.А. (см.) **I**: 428
- Лиза, возлюбленная В.С. Кузнецова (см.) **I**: 175, 587
- Лилечка, возлюбленная В.С. Кузнецова (см.) **II**: 689
- Линевич **I**: 127
- Лип-Филипп или Филипп Лип 546
- Листократов, художник **I**: 403–405
- Лихачев **I**: 148
- Лобачев Сергей, лесничий **II**: 68
- Лодий Петр Андреевич (1855–1920), певец (тенор), режиссер и педагог; выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) **I**: 59, 387
- Лодзьенский Петр Викторович, приятель Ф.И. Шаляпина (см.) **II**: 599
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), поэт и ученый **I**: 583; **II**: 475
- Лубэ, Франсуа Эмиль (1838–1929), президент Французской Республики (1899–1906) **II**: 612, 613
- Лужков **I**: 167
- Лукаш Иван Сазонтович (1892–1940), журналист, сотрудник парижской газеты «Возрождение» **I**: 17, **II**: 754
- Луначарский (наст. фам. Чарнолуцкий) Анатолий Васильевич (1875–1933), писатель, критик, искусствовед, политический и государственный деятель, нарком просвещения РСФСР (1917–1929) **I**: 5, 80, 711; **II**: 658, 660, 664, 763, 791
- Львов Лоллий Иванович (1888–1966/67), писатель и критик **I**: 9, 16
- Любатович (Леватович, Любарович) Татьяна Спиридоновна (1859–1932), певица (меццо-сопрано), выступала в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) **I**: 59, 387, 709; **II**: 600–602, 609
- Людовик XVI (1754–1793), французский король (1774–1792) **I**: 738
- Люция, кухарка в доме у К.А. Коровина **II**: 187, 383
- Мазини, Анджело (1844–1926), итальянский певец (тенор) **I**: 61, 388, 400, 401, 655, 656; **II**: 30, 365, 395, 593, 603, 604, 607, 670, 675, 739
- Мазырин (он же Анчутка) Виктор Александрович, архитектор, товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества **I**: 55, 222, 226; **II**: 526, 580–583, 619–622, 625, 630, 631, 656, 671
- Май Карл Иванович (1820–1895), директор гимназии **I**: 714
- Майоров, «красноармейский начальник» **I**: 167
- Макаров Василий, крестьянин **I**: 277, 142; **II**: 625, 626
- Макаров Василий, лавочник **II**: 175
- Макаров Сергей **I**: 200
- Маковский **II**: 99
- Маковский Владимир Егорович (1846–1920), художник-жанрист **I**: 56, 567, 708, 721; **II**: 34
- Маковский Константин Егорович (1839–1915), исторический художник, жанрист и портретист; член Товарищества передвижников **I**: 100, 721, 737
- Маковский Сергей Константинович (1877–1962), поэт, художественный критик, историк искусства, сын К.Е. Маковского (см.) **I**: 10, 176, 473, 721
- Максим Грек (наст. имя и фам. Михаил Треволис; ок. 1475–1556), публицист, писатель, переводчик, филолог **I**: 741
- Маланья, крестьянка **I**: 44
- Малашкин, становой **II**: 82–84, 549
- Малевский-Малевич Петр Николаевич (1891–1974), один из руководителей евразийского движения **I**: 718
- Малинин (наст. фам. Буренин) Михаил Дмитриевич (1853–1919), певец (баритон) и антрепренер, управляющий делами Частной оперы С.И. Мамонтова (см.) **I**: 59, 397; **II**: 592, 600

- Малиновская Елена Константиновна (1875–1942), театральный деятель, управляющий московскими государственными театрами (1918–1919), директор Большого театра (1920–1924, 1930–1941) II: 664, 758, 790
- Малиновский II: 186
- Малютин Сергей Васильевич (1859–1937), живописец и график I: 709, 714
- Малявин Филипп Андреевич (1869–1940), живописец I: 64
- Малянтович Всеволод Николаевич (1885–1949), адвокат, после Гражданской войны в эмиграции во Франции, журналист II: 11
- Мамонов I: 149, 150
- Мамонтов I: 368, 370
- Мамонтов Анатолий Иванович (1840–1905), брат С.И. Мамонтова, владелец типографии и книжного магазина в Москве I: 388, 389, 401
- Мамонтов Всеволод Саввич (1870–1951), сын С.И. Мамонтова (см.) I: 150, 312
- Мамонтов Иван Федорович (1800–1869), откупщик, строитель Ярославской железной дороги, отец А.И. и С.И. Мамонтовых, друг деда К.А. Коровина I: 31, 37, 312, 313, 706
- Мамонтов Николай Саввич I: 150
- Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), купец, председатель правления Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, театральный деятель, меценат, основатель Русской частной оперы (1885) I: 5, 8, 13, 59–64, 66–68, 98–100, 159, 187–189, 230, 239, 243, 267, 370, 367, 383–392, 394–402, 566, 567, 569, 655, 656, 706, 708–710, 717, 722, 733–735, 737, 738; II: 8, 30–34, 165, 304, 305, 397, 398, 591–594, 596–598, 600, 602, 605–611, 638, 654, 655, 675, 678, 679, 728, 732, 739, 791
- Мамонтов Сергей Саввич (1867–1915), журналист и драматург, сын С.И. Мамонтова (см.) I: 63, 68, 390
- Мамонтова (урожд. Сапожникова) Елизавета Григорьевна (1847–1908), жена С.И. Мамонтова (см.), организатор ку-
- старно-резчицкой мастерской в Абрамцево I: 187, 188; II: 33
- Мамонтовы, семья I: 187
- Мандель, портной I: 581
- Мандельштам Юрий Владимирович (1908–1943), литературный критик I: 20
- Маразани, Аутери (1849–1930), итальянский скульптор I: 95
- Мария Антуанетта (1755–1793), французская королева I: 593, 738
- Мария Ивановна (Маша), сестра лесничего Андрея Ивановича (см.) I: 488–490
- Мария Тихоновна, мать Левы Хорвата (см.) II: 393
- Мария Федоровна (1847–1928), российская императрица, супруга императора Александра III I: 393, 545
- Маркс Адольф Федорович (1838–1904), издатель, основатель акционерного общества «Товарищество издательского и печатного дела А.Ф. Маркс» I: 723
- Маркс, Карл (1818–1883), основоположник коммунизма I: 164, 719; II: 661
- Мармонтель, Жан Франсуа (1723–1799), французский писатель, друг Вольтера (см.) I: 731
- Мартос Иван Петрович (1754–1835), скульптор-монументалист, автор памятника Минину и Пожарскому (1814–1818) II: 729
- Мартьянов, купец I: 457, 463, 555
- Марфа II: 393
- Марфуша II: 281
- Марья Васильевна I: 550
- Марья Ивановна II: 195, 196
- Марья Петровна II: 498
- Марья Тихоновна, цыганка, певица в ресторане «Яр» II: 204
- Массне, Жюль Эиль Фредерик (1842–1912), французский композитор I: 8
- Массне, Альфред, племянник Ж. Массне (см.), муж М.Н. Кузнецовой-Массне (см.) I: 8
- Матрена Гавриловна (Матреша, Мотя), цыганка I: 120, 295–297, 303, 304, 584; II: 433

- Маша II: 321, 323
 Маша I: 93
 Маша, дочь Никона Осиповича (см.) II: 142, 174, 178, 179, 353
 Маша, сестра Алексея Петровича (см.) II: 24, 26, 193–195; II: 223–225
 Маша, сестра Егора Васильевича (см.) II: 193–195
 Маша, сестра няни Тани (см.) I: 29
 Машка-кудлашка, цыганка из хора II: 280
 Машков Илья Иванович (1881–1944), художник и педагог; ученик К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества (до 1910) I: 61, 75, 76, 80
 Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт II: 660
 Медичи, Козимо (1389–1464), герцог, основатель могущества фамилии Медичи, покровитель художников, ученых и поэтов во Флоренции I: 652–655
 Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер; 1791–1864), немецкий композитор II: 730
 Мекк Владимир Владимирович, фон (1877–1932), коллекционер и ценитель искусства I: 68
 Мелли Карл Яковлевич, комиссионер Ф.Я. Гарднера (см.) I: 710
 Мельников Андрей Павлович (1855–1930), художник, историк, этнограф, сын П.И. Мельникова-Печерского (см.), товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 232, 233, 360, 364; II: 219, 303, 329–331, 538, 544, 546
 Мельников Константин Степанович (1890–1974), архитектор-конструктивист, художник и педагог I: 712
 Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1818–1883), писатель I: 232, 360, 708; II: 303
 Мельников Петр Иванович (1870–1940), режиссер (1896–1905) Частной оперы С.И. Мамонтова (см.); затем — попеременно — Большого и Мариинского театров I: 317, 560, 561; II: 511, 637
 Мелюшин, московский домовладелец I: 310, 311
 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), прозаик, поэт, драматург, религиозный критик II: 655
 Мерзлютин, купец I: 624, 625
 Мериме, Проспер (1803–1870), французский писатель I: 340, 731
 Мессалиди, подрядчик, грек II: 652, 654
 Мидхат-бей, турецкий художник I: 95
 Микеланджело Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец и поэт I: 745
 Милле, Жан Франсуа (1814–1875), французский живописец, график II: 782, 793
 Микеланжело ди Лодовико Буанаротти ди Симони (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель эпохи Ренессанса I: 56, 366, 655
 Миколка II: 390
 Милютин, фабрикант II: 554
 Миллёркер, Карл (1842–1899), австрийский композитор II: 741
 Минин Кузьма (?–1616), организатор национально-освободительной борьбы русского народа против польской интервенции начала XVII в., народный герой II: 62, 729
 Митрохин, владелец портерной II: 89
 Митрохин Сергей II: 174
 Митрохина Пелагея, мещанка
 Митрошкин, домовладелец II: 376
 Михаил, двоюродный брат К.А. Коровина I: 228, 237
 Михаил Алексеевич II: 323
 Михаил Провыч — см.: Южин А.И.
 Михаил Федорович (1595–1645), русский царь (с 1613), первый царь из рода Романовых II: 735
 Михайло Абрамыч II: 122
 Михайлов, владелец мехового магазина на Кузнецком Мосту II: 14
 Михайловский — см.: Гарин-Михайловский Н.Г.
 Могилевский, сотрудник парижской газеты «Русские новости» II: 753
 Мозалевский Иван Иванович (1890–1975), художественный критик, художник-график I: 12, 20; II: 753
 Молева Наталья Михайловна, доктор исторических наук, искусствовед, иссле-

- дователь творчества К.А. Коровина I: 7, 24
- Молоховец Елена Ивановна (1831–1918), автор популярной книги кулинарных рецептов II: 244, 735
- Мольер, Жан Батист Поклен (1622–1673), французский драматург I: 716; II: 672
- Моне, Клод (1840–1926), французский художник-импрессионист II: 262
- Моравов А.А. II: 791
- Моравов Александр Викторович (1878–1951), портретист, жанрист II: 761, 767, 790
- Морозкин I: 584
- Морозов, боярин I: 505
- Морозов Абрам Михайлович, купец II: 262–264
- Морозов Арсений Абрамович (1873–1908), представитель торгово-промышленной династии купцов Морозовых I: 675
- Морозов Иван II: 198, 200
- Морозов Иван Абрамович (1871–1921), младший брат А.М. Морозова (см.) коллекционер французской живописи II: 262
- Морозов II: 364
- Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905), купец, меценат, наиболее известная фигура из династии Морозовых I: 69, 253, 271, 503, 505; II: 8, 15, 16, 198, 247, 352, 364, 626
- Морозовы, династия I: 726
- Москвин Иван Михайлович (1874–1946), артист, один из основателей МХТ I: 716; II: 291
- Москвинов В.Н., искусствовед I: 10
- Мотя — см.: Матрена Гавриловна, цыганка
- Моцарт, Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор I: 313; II: 29, 30, 599
- Мочалов Егор Иванович, директор ресторана «Эрмитаж» I: 308–310; II: 164, 565, 639
- Муравьев, театральный чиновник I: 230
- Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874), друг М.Ю. Лермонтова; писатель I: 724
- Мурильо, Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец II: 262
- Муромцев Сергей Анреевич (1850–1910), юрист (адвокат), профессор Московского университета, председатель I Государственной думы I: 62
- Мусоргский Модест Петрович (1839–1881), композитор I: 60, 708, 709, 719, 733; II: 181, 305, 669, 784, 793
- Муся, натурщица К.А. Коровина I: 324, 325; II: 280, 331
- Муханова (урожд. Хитрово) Елизавета (Вета) Михайловна (1870–после 1918), организатор выставок художественного магазина в Париже I: 676
- Мухин, хозяин гостиницы в Петербурге I: 391, 394, 604; II: 632, 680
- Мякутин II: 549
- Мясоедов Григорий Григорьевич (1835–1911), художник-передвижник I: 100
- Навуходоносор II (605–562 до н.э.), вавилонский царь, покоривший израильтян I: 573
- Надежда, барышня I: 640
- Надежда Ивановна I: 269, 270, 445
- Надумов Виктор II: 512
- Надя II: 334
- Надя (она же Наталья Петровна), жена М. Багровского (см.) I: 335; II: 688
- Найденов Николай Александрович (1834–1905), предприниматель, общественный деятель, меценат, благотворитель II: 198, 200, 247
- Найденов (псевд.; наст. имя и фам. Сергей Александрович Алексеев; 1869–1922), драматург I: 716
- Наполеон Бонапарт (1769–1821), французский император (1804–1814, март-июнь 1815) I: 116, 188, 329, 340, 406, 598, 711, 715; II: 345, 452
- Настасья, кухарка I: 589
- Настыка II: 337
- Настя, дочь священника II: 229
- Настя Станцуй, цыганка из хора в ресторане «Яр» II: 9
- Наталья Николаевна II: 270
- Наталья (Наталья), жена мельника Никона Осиповича (см.) I: 307; II: 371
- Наталья Ивановна, жена Петра Васильевича (см.) II: 466, 467

- Наташа II: 188, 380
 Наташа, дочь о. Василия (см.) 189, 190, 192, 263
 Наташа, богомолица II: 539
 Натрускин I: 582, 584
 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78), поэт I: 82, 700, 716, 717; II: 645
 Немирович-Данченко Георгий, секретарь журнала «Иллюстрированная Россия», публицист, художественный критик I: 18
 Нерадовский Петр Иванович (1875–1962), живописец, деятель науки и культуры, в 1915 г. хранитель художественного отдела Русского музея II: 755, 771, 789, 792
 Нерон (37–69 до н.э.), пятый, и последний, римский император I: 134; II: 574, 746
 Несслер Владимир (?), товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 360, 361, 561; II: 544–546, 548, 561
 Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец I: 714
 Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882), анархист, террорист, революционер I: 316, 729
 Никанор, дедушка-крестьянин I: 44
 Никита Иванович — см. Сергеев Никита Иванович
 Никита Макарыч, зажиточный крестьянин I: 274–277
 Никифоров, чиновник посольства в Париже II: 633
 Николай II (1868–1918), последний российский император (1894–1917) I: 63–65, 77, 101, 393, 400, 402, 577, 578, 710, 725, 737, 740, 742, 743; II: 33, 34, 178, 203, 595, 600, 609, 612, 613, 621, 625, 707
 Николай Андреевич — см.: Римский-Корсаков Н.А.
 Николай Николаевич — см.: Курлов Н.Н.
 Николай Петров, подьячий II: 281
 Николай Петрович, профессор II: 574, 575
 Никон, патриарх I: 54
 Николай Осипович — см.: Никон Осипович
 Никон Иванович, мельник II: 174, 178
 Никон Осипович (Никон, Никон Осипов), мельник I: 134, 136, 305–307, 318, 319, 717, 728; II: 107, 142, 173, 175, 176, 178, 179, 274, 275, 284, 287, 313, 363, 366, 388, 410, 411, 617, 624, 625, 629, 671, 674, 693, 702, 703, 705, 713, 715–720, 723, 748
 Никулина Надежда Алексеевна (1845–1923), актриса Малого театра I: 722
 Новиков Николай Иванович (1744–1818), книгоиздатель и публицист I: 738
 Новичков, студент, друг К.А. Коровина I: 116–119, 409, 410, 578; II: 511
 Ноев, садовник I: 149
 Носик Б.М. I: 24
 Носкин I: 584
 Носов II: 280
 Нувель Вальтер Федорович (1871–1949), музыкальный и театральный деятель, чиновник канцелярии Министерства Императорского двора, один из основателей и участников объединения «Мир Искусства» I: 714
 Нувель Ричард Федорович (Риккардо Норди), певец, брат В.Ф. Нувеля (см.) II: 655
 Нурок Альфред Павлович (1860–1919), музыкальный критик и библиофил, член редакции журнала «Мир Искусства» I: 714
 Нуоша, коммунистка I: 76
 Обухов (псевд. Орбелиар) Сергей Тимофеевич (1856–1929), офицер, певец, управляющий Московской конторой Императорских театров II: 421, 678, 740
 Огарев Николай Ильич (1820–1890), московский полицмейстер (1856–1886) I: 202, 203, 272–274, 308–311, 394, 417, 418, 581–583, 723
 Огонек, цыганка из хора ресторана «Яр» I: 546
 Олив Ольга I: 187
 Олимпич, метрдотель II: 200, 262
 Ольга II: 195, 196, 241, 354, 389
 Ольга Александровна, жена В.С. Кузнецова (см.) I: 56, 449–454, 666, 696; II: 104, 108, 109, 119, 130, 150, 350, 354, 356, 357, 764
 Ольга Петровна, жена Н.Н. Комаровского II: 230
 Ольга, сестра Ельчева М.А. (см.) II: 515
 Ольга, жена Княжева В. (см.) II: 389
 Ольхин Александр Александрович (1839–1897), юрист, литератор, поэт I: 729

- Омон, Шарль, французский антрепренер I: 149, 377, 718, 733; II: 122, 123, 376, 738
- Ораватц, Джордже (1891–1955), югославский скульптор I: 95
- Ордынский Михаил (?), товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества, окончил его с диплом учителя рисования в гимназиях I: 224, 360, 364, 561, 578–580, 732; II: 329–331, 544, 545
- Орленев (наст. фам. Орлов) Павел Николаевич (1869–1932), русский актер, театральный деятель I: 716
- Орлов I: 474
- Орлов Пимен Никитич (1812–1865), живописец, ученик К.П. Брюллова (см.) II: 782, 793
- Орлова Дуня, цыганка II: 280
- Осип Никонович, мельник, отец Никона Осиповича (см.) I: 319, 320; II: 175, 176
- Осман, татарин в Гурзуфе I: 544
- Осман-паша (Нури Гази Осман-паша; 1832–1900), турецкий вице-адмирал; главнокомандующий турками в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. II: 352, 738, 745
- Остапова Анна, тетка К.А. Коровина I: 215
- Остаповы, родственники (тетки) К.А. Коровина со стороны матери I: 30, 31, 34, 43, 707
- Остоушкин Илья Семенович I: 545; II: 467–469
- Остоушкина Марья Петровна II: 467
- Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург I: 60, 387, 709, 716, 733; II: 164, 341, 385, 498, 727, 737, 739, 741
- Остроухов Илья Семенович (1858–1929), пейзажист, коллекционер, собиратель икон; член Совета Третьяковской галереи (1899–1903), позднее — ее попечитель (1905–1913) I: 67
- Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Алексеевич (1874–1953), актер Малого театра I: 697, 716
- Осуровы, помещики I: 141
- Оська, цыган II: 213
- Павел I: 335, 532–534
- Павел I: 335; II: 75–77, 501
- Павел, бывший военный II: 267
- Павел, крестьянин I: 110, 112, 258, 259
- Павел, маляр II: 238
- Павел I (1754–1801), российский император, взошел на престол в 1796 г. и пробыл на нем 4 года 4 месяца и 4 дня I: 366, 732
- Павел, рыбак, деревенский сосед К.А. Коровина I: 170, 199, 200, 211
- Павел III, папа Римский (в миру Алессандро Фарнезе; 1468–1549), глава католической церкви (1534–1549) I: 745
- Павел Александрович — см.: Тучков П.А.
- Павел Семенович, преподаватель в Училище живописи, ваяния и зодчества (Со рокин?) I: 55
- Павел Степанович II: 503
- Павлов, телеграфист I: 185
- Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881–1931), балерина, участница «Русских сезонов» С.П. Дягилева (см.) I: 7
- Падила-Рамос, Мариано (Арто) (1834–1926), испанский певец (баритон), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 59, 61, 400; II: 30, 32, 395, 603, 739
- Панаев Валериан Александрович (1824–1899), инженер-путеец, строитель и владелец доходного дома с театральным залом на Адмиралтейской набережной в Петербурге I: 395, 733; II: 591, 747
- Панина Варвара Васильевна (1872–1911), знаменитая исполнительница цыганских романсов I: 262, 726, 727; II: 560, 622
- Парфенова Ирина Николаевна, артистка хора Большого театра II: 790
- Пастер, Луи (1822–1895), французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии, иностранный член-корреспондент (1884) и почетный член (1893) Петербургской Академии наук I: 162
- Пастрана Юлия (1834–1860), бородатая женщина из паноптикума К. Гаснера I: 583, 742
- Пастухов Николай Иванович (1831–1911), редактор-издатель «Московского листка» I: 24, 720, 728
- Патронов, возчик II: 501
- Пашка, рыбак I: 302
- Паяр (ресторатор в Париже) II: 263, 498, 736

- Пеге, немец, рыболов, знакомый К.А. Коровина I: 591–593; II: 572
- Пеньков, околоточный II: 308, 309
- Переплетчиков, сосед К.А. Коровина I: 219
- Перов Василий Григорьевич (1833–1882), художник-жанрист и портретист I: 47, 56, 176, 212, 223, 224, 359, 366, 367, 567, 708, 724, 736; II: 304, 305, 495, 546, 743
- Перро, Шарль (1628–1703), французский писатель-сказочник I: 744
- Петипа Мариус Иванович (1818–1910), русский балетмейстер французской национальности I: 720, 730, 744
- Петипа Мария Мариусовна (1857–1930), дочь М.И. Петипа (см.), артистка балета I: 730
- Петр I (1672–1725), русский царь, первый российский император (с 1689) I: 357, 711, 728; II: 115, 576
- Петр, банщик II: 329, 346
- Петр, крестьянин, односельчанин Г.Д. Тараканова (см.) II: 210
- Петр, дворник I: 403; II: 122, 530, 605
- Петр, кучер I: 43, 255
- Петр, коридорный в гостинице «Восточные номера» II: 510
- Петр, лакей II: 306
- Петр, натурщик I: 472; II: 328, 329
- Петр (Петруша), племянник К.А. Коровина II: 177, 178
- Петр, сторож II: 96, 121, 123, 543
- Петр (Петя), студент, муж Маши, сестры лесничего Андрея Ивановича II: 194
- Петр, швейцар II: 225
- Петр Афанасьевич, домашний учитель К.А. Коровина I: 46–49, 53, 157, 158, 218, 219, 290–293; II: 60, 393
- Петр Васильевич, бывший чиновник II: 15, 465–467
- Петр Гаврилович, купец, поставщик зерна I: 571, 572; II: 54
- Петр Захарович, лесник, приятель К.А. Коровина II: 191
- Петр Иванович, фабрикант II: 431
- Петр Кузьмич II: 334
- Петр Кузьмич, архитектор I: 603, 605
- Петр Петрович I: 268; II: 201
- Петр Сергеевич I: 138, 139
- Петров, адвокат II: 505
- Петров Сергей Васильевич, художник, ученик К.А. Коровина II: 341–343
- Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939), живописец, ученик К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 6
- Петрусьян I: 452–454
- Петрушин, фабрикант II: 377
- Петушков Николай — см.: Курлов Н.Н.
- Пецорни — см.: Пиццорни
- Печерский Андрей — см.: Мельников П.И.
- Пешков Максим Алексеевич (1897–1934), сын А.М. Горького (см.) II: 665
- Пешкова Надежда Алексеевна (1901–1971), жена Максима Пешкова (см.) II: 665
- Пивато, ресторатор в Петербурге II: 593, 747
- Пикеле, певица I: 435, 584; II: 10, 376, 377
- Пикион II: 64, 65
- Пирогов I: 583
- Пироне I: 395
- Пиццорни (Пецорни), певец (тенор), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 386; II: 603
- Плаксин, солдат-сторож в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 227, 359, 360, 541, 562
- План Карл Андреевич, немец, друг К.А. Коровина I: 322, 336, 575, 576; II: 58
- Плевако Федор Никифорович (1842–1908), знаменитый московский адвокат I: 312, 527–529
- Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904), государственный деятель, министр внутренних дел и шеф жандармов II: 575, 746
- Плевицкая Надежда Васильевна (1884–1941), певица (меццо-сопрано) I: 740
- Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), политический деятель, философ и теоретик марксизма I: 145, 717, 718
- Плещеев А.А. I: 18
- Плосковицкий, доктор, знакомый отца К.А. Коровина I: 29, 30, 32, 34, 216, 217, 706
- Побойнов Иван Иванович (1849–?), библиотекарь в Училище живописи, ваяния

- и зодчества, преподаватель истории I: 366
- Поге, немец, охотник и рыболов I: 276, 277
- Погожев (Торожев) Владимир Петрович (1851–1935), управляющий Петербургской конторой Императорских театров (1882–1896), впоследствии — управляющий делами дирекции I: 391, 733
- Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642), князь, полководец, народный герой, соратник К. Минина в борьбе против польской интервенции начала XVII в. II: 62, 729
- Покровский, барин I: 701, 702
- Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927), художник-пейзажист, декоратор, педагог I: 6, 56, 59, 62, 99, 102, 103, 176, 187, 361, 367, 368, 384, 386, 397, 398, 401, 494, 565–569, 571, 708, 741, 742; II: 33, 110, 186, 305, 409
- Поленова Наталья Васильевна, дочь В.Д. Поленова (см.) I: 13, 571
- Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт I: 725; II: 736
- Полторацкий Николай Петрович (1921–1990), философ, публицист, профессор русской литературы в Университете Питтсбурга (США) I: 18
- Полубояринов Николай Николаевич, помещик II: 581
- Поляков, судебный следователь, друг отца К.А. Коровина I: 29, 32, 216, 217, 706; II: 13, 14, 205
- Померщиков — см.: Домерщиков П.П.
- Поплавский Сергей Петрович, рыболов I: 322, 539, 575, 576; II: 58, 520, 522, 554, 555
- Попов, профессор II: 347
- Попов Алексей Гаврилович (?–1856), владелец фарфорового завода I: 69, 710
- Попов Константин Абрамович (1814–1872), коммерции советник, благотворитель и общественный деятель, основатель «Товарищества чайной торговли и складов К. и С. Поповых» II: 246, 735
- Попов П.Н., автор книги «История родов русского дворянства» (1886) II: 746
- Попов Симеон Абрамович (?–1856), брат К.А. Попова (см.), совладелец «Товари-
- щества чайной торговли и складов К. и С. Поповых» II: 246, 735
- Постников, капитан I: 243, 264
- Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), писатель-прозаик и драматург I: 93, 520
- Потэн, Пьер (1825–1901), французский врач, изобретатель аппарата для лечения заболеваний плевры II: 381, 739
- Поярков Владимир Александрович (1869–?), художник I: 360, 361, 409, 561; II: 511, 544, 546, 548
- Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Трейлебен Оскар Августович; 1849–1921), актер и педагог I: 387, 458
- Прасковья Андреевна, жена Никона Осиповича (см.) II: 142
- Прасковья Афанасьевна, знахарка II: 443
- Прасковья Васильевна, крестьянка I: 512–516
- Прасковья Ивановна II: 54
- Прасковья Михайловна I: 427; II: 281
- Прахов Адриан Викторович (1846–1916), археолог, искусствовед, профессор Петербургского и Киевского университетов I: 397; II: 31
- Прахов Николай Адрианович (1873–1957), художник, искусствовед II:
- Пригожий Яков (1840–1920), пианист ресторана «Яр», автор аранжировок и мелодий цыганских романсов I: 731
- Прозоровский Борис Алексеевич (1891–1937), русский композитор, автор романсов I: 736
- Пронин Илья Васильевич (Илюшка-беглый) II: 136, 137
- Проخور Михайлович, управляющий у А.М. Морозова (см.) II: 263
- Прохоров II: 83
- Прудон (Прюдон), Пьер Жозеф (1809–1865), французский публицист, экономист и социолог, один из основоположников анархизма II: 110, 11, 731
- Прюнье, владелец ресторана II: 671
- Прияшников Илларион (Ларион) Михайлович (1840–1894), художник, первый учитель К.А. Коровина I: 29, 30, 32, 56, 176, 215, 361, 567, 589, 708; II: 11, 14, 206, 546

- Пугачев Емельян Иванович (1740/42–1775), донской казак, предводитель Крестьянского восстания 1773–1775 гг. I: 27, 229; II: 172, 621
- Пукирев Василий Владимирович (1832–1890), живописец II: 376–378, 738
- Пуни, Цезарь (1807–1870), итальянский композитор, автор нескольких балетов, работавший в России I: 720
- Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), один из руководителей черносотенного движения, депутат II–IV Государственных дум, соучастник убийства Г. Распутина (см.) I: 725
- Пуссен, Николая (1594–1665), французский живописец I: 361
- Путятин Евфимий Васильевич (1803–1883), русский адмирал, государственный деятель и дипломат I: 706
- Пушкин Александр Александрович (1833–1914), старший сын А.С. Пушкина (см.), генерал от кавалерии; председатель Московского опекунского совета I: 265, 698–700; II: 206–208, 493–495, 528, 530
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), русский поэт I: 53, 60, 74, 82, 101, 129, 172, 173, 174, 211, 212, 241, 265, 312, 331, 368, 541, 562, 581, 698–700, 707, 712, 721, 723, 729, 736, 740, 741, 743, 747; II: 205–207, 635, 730, 733, 734, 737, 743, 745, 747
- Пушкина (урожд. Гончарова) Наталья Николаевна (1812–1863), жена А.С. Пушкина (см.) II: 207
- Пэрдэ (Пёрде), Джеймс (1828–1909), английский оружейник I: 665, 746; II: 207, 209, 734
- Пюви де Шаванн, Пьер (1824–1898), французский живописец I: 95, 214, 724
- Рабенек, владельцы Шелковской мануфактуры I: 218, 724
- Радин Леонид Петрович (1860–1900), профессиональный революционер, химик и поэт I: 711
- Радин (наст. фам. Казанков) Николай Мариусович (1872–1935), актер и режиссер I: 716
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670–1671 гг. I: 347; II: 199, 292, 293
- Раиса Павловна, возлюбленная племянника К.А. Коровина Володи (см.) II: 129
- Ракитин Николай, сын фабриканта I: 670–673
- Распайль, Франсуа Винсент (1794–1878), французский фармацевт, ботаник и микроскопист, основатель ботанической гистохимии, активный политический деятель, последователь якобинцев II: 12, 727
- Распутин Григорий Ефимович (1872–1916), фаворит Николая II и его жены Александры Федоровны I: 229, 230, 725
- Рассадин Станислав Борисович, литературный критик, искусствовед I: 22
- Растаковский, коммерции советник II: 17
- Расторгуев, купец II: 198
- Растрелли, Франческо Бартоломео (1700–1771), итальянский архитектор, трудившийся в России I: 178
- Рафалли II: 630
- Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения I: 234, 545, 546; II: 262
- Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943), композитор, пианист и дирижер II: 600, 676, 678
- Рейсиг (Рейенг, Рейсик) Александр Карлович (?–1885), генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; также резчик по дереву I: 225; II: 537, 745
- Рембрандт, Харменс Ван Рейн (1606–1669), голландский живописец, рисовальщик и гравер II: 330
- Ремизов, обыватель II: 118
- Ремизова Соня, артистка 606, 607, 609
- Ремизова Оленька II: 117, 118
- Ренуар, Пьер Огюст (1841–1919), французский живописец II: 262
- Репин Илья Ефимович (1844–1930), художник I: 9, 10, 68, 99, 124, 187, 188, 385, 388–391, 564–567, 716, 741; II: 33, 99, 155, 305, 330, 358, 395, 737, 740, 751, 793, 794

- Репин, пристав I: 246, 284
 Решимов, артист I: 416
 Рибоньер II: 122
 Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), русский композитор I: 59, 60, 159, 386, 708, 709, 717, 719, 729, 734, 743; II: 8, 30, 305, 592, 602, 614
 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), один из лидеров партии октябристов, крупный помещик, государственный деятель I: 470, 737
 Рогожин, студент I: 488, 489
 Рогожкин Алексей Петрович, старообрядец I: 120
 Родон (наст. фам. Габель) Василий Иванович (1846–1892), артист оперетты I: 271
 Рождественский Аполлинарий, семинарист I: 190–192
 Рождественский Василий Васильевич (1884–1963), живописец, педагог; в 1919 г. — «главный мастер», профессор ГСХМ (бывш. МУЖВЗ), сосед Коровина по Островну II: 752, 765, 767, 791
 Розанов Василий Васильевич (1856–1919), философ, критик и публицист II: 655
 Романов, лечащий доктор К.А. Коровина II: 764
 Романов (Романков), околоточный в Гурзуфе I: 599, 601–606; II: 133, 652, 653
 Ромашкин, околоточный в Москве II: 89
 Ростопчин Федор Васильевич (1763–1826), граф (с 1799), русский государственный деятель, генерал-губернатор Москвы I: 711
 Рубенс, Петер Пауль (1577–1640), фламандский живописец I: 214; II: 691
 Рубин Герман, исследователь творчества К.А. Коровина I: 9
 Рубини, Джованни Баттиста (1794–1854), итальянский певец (тенор) I: 401, 656; II: 336, 604
 Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), композитор, пианист и дирижер; основатель Петербургской консерватории I: 66, 161, 719; II: 40, 364, 643, 728, 738
 Рубо Франц Алексеевич (1856–1928), художник-баталист I: 399
 Рудаков Семен, фабричный рабочий II: 306
 Рудаков, студент I: 296
 Рукавишников Константин Васильевич (1850–1915), купец; московский городской голова (1893–1896) II: 31
 Рыбаков II: 199
 Рыбаков Константин Николаевич (1856–1916), драматический актер Малого театра (с 1881) I: 83, 458; II: 141
 Рюмин, граф — см.: Бестужев-Рюмин П.Н.
 Рюмина, графиня, вдова Бестужева-Рюмина П.Н. I: 221
 Рябушинские, братья — семья крупных московских предпринимателей, промышленников и банкиров I: 739
 Рябушинский Павел Павлович (1871–1924), один из основателей партии прогрессистов I: 739
 Рябушинский Степан Павлович (1874–1942), предприниматель, коллекционер, владелец знаменитого особняка постройки Шехтеля Ф.О. (см.) II: 729
 Рябушинский II: 198
 Рябушкин Андрей Петрович (1861–1904), живописец I: 567, 714, 741
 Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898), зоолог, натуралист, автор двухтомного труда «Рыбы России: Жизнь и ловля (уженья) наших пресноводных рыб» (1892), издатель и редактор журнала «Природа» (1873–1877) и журнала «Природа и охота» (с 1878) I: 738
 Савва Матвеевич, фабрикант I: 431
 Савватий, священник II: 54, 728
 Савелий, крестьянин I: 377
 Савина — см.: Салина Н.В.
 Савинов Афанасий I: 168, 462, 463
 Савинов, крестьянин II: 414, 416
 Савинов Николай, крестьянин I: 301
 Савицкий Петр Николаевич (1895–1968), русский философ и культуролог, один из основателей евразийства I: 717, 718
 Савостьянов (Севастьянов) Иван Тимофеевич, кондитер в Москве II: 178, 329, 402, 493, 495, 733, 740, 743
 Саврасов Алексей Кондратьевич (1830–1897), художник-пейзажист, учитель К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 47, 53, 56, 58, 59, 176,

- 212, 214, 223–225, 228, 232, 359–361, 363, 364, 516, 559–564, 566, 571, 708, 742; II: 303, 304, 393, 494, 495, 522, 538, 545, 546, 548, 577, 743
- Садовников Дмитрий Николаевич (1847–1883), русский поэт, фольклорист и этнограф I: 740
- Садовский Михаил Провович (1847–1910), актер Малого театра, знаменитый исполнитель ролей в пьесах А.Н. Островского (*см.*), сын П.М. Садовского (*см.*) I: 309, 310, 581–584; II: 15, 16, 161, 162, 164, 425, 727
- Садовский (наст. фам. Ермилов) Пров Михайлович (1818–1872), артист Малого театра; отец М.П. Садовского (*см.*) I: 416, 418
- Саламонский Альберт Иванович (1843–1913), основатель цирка (1880) на Цветном бульваре в Москве II: 27, 728
- Салина (по мужу Юрасовская) Надежда Васильевна (1864–1956), певица, выступала в Частной опере С.И. Мамонтова (*см.*), солистка Большого театра I: 59, 387, 709; II: 32
- Салов, адвокат I: 312; II: 357
- Сальвини, Томмазо (1829–1915), итальянский актер-трагик I: 160; II: 676, 683
- Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932), московский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета I: 608, 744
- Самарина Вера Саввична (урожд. Мамонтова), жена А.Д. Самарина (*см.*) I: 608, 744
- Самков Владимир Алексеевич (1924–1983), культуролог I: 7, 14, 18, 21, 22, 24, 705
- Самонов Петр Александрович (1863–1930-е), подполковник, скульптор I: 722
- Сангвинский, товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества II: 99–103
- Санька, сын Никона Осиповича (*см.*) I: 306–308, 319; II: 106, 107, 178, 693, 702, 703, 717, 720
- Сапатер, Мартин (?–1801) друг юности Ф. Гойи (*см.*) II: 168–173, 732
- Сапунов Николай Николаевич (1880–1912), художник и декоратор I: 6, 61
- Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972), живописец I: 6, 15
- Сатковский — *см.*: Сахновский Ю.С.
- Сафонов Василий Ильич (1852–1918), пианист и дирижер; профессор и директор Московской консерватории
- Сафронов, чиновник особых поручений II: 344
- Сафронов Павел Павлович II: 503–505
- Сахаров Владимир Викторович (1853–1920), генерал от кавалерии, командующий 11-й и Дунайской армиями II: 789
- Сахновский Юрий Сергеевич (Юрий, Юрий Сергеевич) (1866–1930), композитор, дирижер, театральный и музыкальный критик; друг К.А.Коровина и один из основных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле I: 134–136, 171, 172, 208–211, 287–289, 305–307, 318–320, 335, 343, 344, 363–365, 368, 383, 459–461, 480, 530, 532–534, 602, 603, 609, 661–664, 689, 690, 696, 697, 717, 720, 737, 747; II: 18, 19, 55, 56, 66, 68, 69, 85–88, 93–99, 119–121, 141, 142, 148, 150, 151, 181–183, 189–192, 196, 208, 210, 223, 225, 242, 250–252, 270, 272–275, 280, 284–286, 288, 289, 324, 332, 344, 351, 352, 364, 365, 383, 399–401, 409, 417, 419, 421, 441, 442, 452, 455, 457, 462–464, 476–479, 484, 486, 487, 490, 491, 496, 497, 507, 509, 516–519, 542, 552, 556–558, 562, 563, 566, 567, 569, 571, 574, 575, 587, 639, 640, 641, 644, 675, 687–694, 696–702, 705–708, 714–724, 726, 748
- Саша, актер I: 608
- Саша (Шура) Ветерок, цыганка из ресторана «Яр» I: 272, 546, 547; II: 122
- Сашка (Шурка) Пароход, цыганка из ресторана «Яр» I: 119, 546; II: 9, 83, 84, 280
- Свентицкий, инженер I: 657
- Свербович I: 452
- Светлов Валериан Яковлевич (1860–1934), балетный критик I: 12
- Светославский Сергей Иванович (1857–1931), художник-пейзажист, товарищ К.А. Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 52, 236, 359, 360, 364, 366, 421, 561, 568; II: 303, 329, 331, 511, 546, 547
- Свистунов, солдат II: 81, 202, 203

- Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939), кн.; литературный критик и литературовед, участник евразийского движения I: 718
- Святослав Игоревич (942–972), великий князь киевский I: 249
- Себербиллер — см.: Цубербиллер В.В.
- Севастьянов — см.: Савостьянов И.Т.
- Сегонзак, Андре Дюнуайе де (1884–1974), французский живописец и график II: 783, 793
- Сезанн, Поль (1839–1906), французский художник, основоположник новейшего искусства XIX в. I: 71, 711; II: 780, 782
- Семен, деревенский староста I: 415
- Семен, «колдун», крестьянин I: 404, 405
- Семен, кузнец I: 136, 173; II: 393
- Семен, пастух I: 218
- Семен, угольщик I: 557, 558; II: 68, 73
- Семен (по прозвищу Баран), деревенский сторож, пастух I: 141–143, 466; II: 375, 571
- Семен Дмитриевич, адвокат I: 371
- Семен Петрович, лесник I: 511
- Семен Тихонович, каторжник I: 646, 647, 649
- Семенов Олий Федорович (1873–1947), журналист, редактор парижской газеты «Возрождение» I: 17
- Семирадский Генрих Ипполитович (1843–1902), живописец I: 473, 737
- Сенька, друг детства К.А. Коровина I: 39
- Серафим Иванович (Сима), племянник А.Я. Коровиной (см.) II: 766, 767, 792
- Сергеев Иван Петрович, домовладелец II: 344, 346–348
- Сергеев Никита Иванович, купец II: 60–62, 65, 197, 365, 390–393, 402, 432–435, 536, 537
- Сергеев Сергей Алексеевич, хозяин дома, в котором жил К.А. Коровин II: 55, 57
- Сергеев Сергей Петрович, помещик II: 122–125, 498
- Сергей Александрович, вел. кн. (1857–1905), московский генерал-губернатор (1891–1905); убит террористом И. Каляевым I: 163
- Сергей Иванович, учитель I: 42
- Сергей Матвеевич I: 545
- Сергей Михайлович, вел. кн. (1869–1918), генерал-фельдцейхмейстер артиллерии, президент Русского театрального общества II: 52, 53
- Сергей Тимофеевич II: 536
- Сергей (по прозвищу Баран), крестьянин-охотник I: 375, 413–416
- Серебрянский Андрей Порфирьевич (1808–1838), поэт I: 735
- Серега, крестьянин I: 352–355, 608
- Серега, сапожник I: 319, II: 36?, 713, 714
- Серега, угольщик I: 172; II: 487
- Серегин Григорий, брендмайор I: 523
- Сережа II: 60
- Сережа, брат Таты (см.) I: 317, 318; II: 527, 528, 538
- Сережа (Сережка), друг детства К.А. Коровина I: 39, 43, 44, 219
- Сережа, монах, приятель И.И. Левитана (см.) I: 369
- Сережа, фабрикант-текстильщик I: 503, 504
- Серов Александр Николаевич (1820–1871), композитор, музыкальный критик; отец художника В.А. Серова (см.) I: 719; II: 181, 739
- Серов Валентин Александрович (Антон, Тоша) (1865–1911), художник и портретист, сын А.Н. Серова (см.) I: 6, 15, 16, 61–65, 67, 68, 95, 104–106, 164, 172, 181, 187–189, 201, 239–248, 283, 284, 328, 353–355, 388, 390, 391, 397, 401, 402, 675, 676, 709, 710, 713, 714, 732, 734, 745; II: 28, 29, 31–33, 89–91, 155, 395–398, 409–411, 426, 530, 531, 554, 555, 578–580, 598, 605, 607–609, 617–626, 628, 629, 638–640, 644, 654, 656, 665, 674, 675, 680–683, 724–726, 748, 793
- Серова Валентина Семеновна (1846–1924), композитор, музыкант, общественный деятель, мать В.А. Серова (см.) I: 98; II: 739
- Серова Ольга Федоровна (1865–1927), жена В.А. Серова (см.) I: 106
- Сеславин Александр Никитич (1780–1858), герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор (1814), прославился своими партизанскими действиями I: 121, 715
- Сильва, итальянский певец, выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.) I: 400
- Сильверсван Адриан Карлович (1858–1927), художник-пейзажист I: 558, 560

- Сима — см.: Серафим Иванович
- Симеон, крестьянин I: 681
- Симеон, настоятель храма II: 307
- Симов Виктор Андреевич (1858–1935), художник и декоратор; работал в Частной опере С.И. Мамонтова (1885–1886) I: 709
- Синельников Николай Николаевич (1855–1939), русский актер, режиссер, антрепренер, педагог I: 716
- Сислей (Сизеле, Сизлэ), Альфред (1839–1899), французский живописец II: 262, 782, 793
- Скиталец (наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869–1941), писатель II: 651, 652
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник и стратег, генерал от инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878), участник среднеазиатских завоеваний России и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. I: 183, 722
- Скрябин Александр Николаевич (1872–1915), композитор, пианист и педагог II: 181
- Славянский — см.: Агреньев-Славянский Д.А.
- Смирнов Иаков Георгиевич (1854–1936), протопресвитер (с 1931); при митрополите Евлогии (см.) — настоятель в Св.-Александро-Невского собора в Париже (1898–1936); благочинный русских приходов во Франции (1921–1936), а затем Парижа и его окрестностей (1926–1936), председатель епархиального совета (1924–1926) I: 145, 717, 718
- Смирнов Н., исследователь творчества К.А. Коровина I: 21
- Смирнов, «председатель Автономной Московской Республики» I: 254, II: 17
- Смирнов, торговец водкой II: 283, 549
- Смирнова Надежда Александровна (1873–1951), актриса и педагог; жена Н.Е. Эфроса (см.) I: 125
- Смирягин, торговец лесом II: 73
- Смякин, арестант I: 582
- Собакин Николай Петрович (Кокоша), приятель К.А. Коровина I: 685–689
- Собачий Пистолет — см.: Виктор Эммануилович
- Собинов Леонид Витальевич (1872–1934), певец (лирический тенор), солист Большого театра. После Февральской революции был назначен управляющим Большого театра I: 75; II: 189, 498, 733, 755, 789
- Созонов Егор Сергеевич (1879–1910), член «боевой организации» партии эсеров; совершил убийство министра внутренних дел В.К. Плеве (см.) II: 746
- Соколов Николай Афанасьевич, коллекционер, писатель II: 759, 764, 770, 790
- Соколов-кривой II: 279
- Сократ (ок. 470–399 до н.э.), древнегреческий философ II: 247
- Солдатенков, купец II: 8
- Солеварников Петр Гаврилович, купец II: 222, 223, 355, 356
- Соловальников II: 389
- Соловейчик Исаак Соломонович, домовладелец II: 618
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), русский философ, поэт, публицист и литературный критик I: 54, 708
- Соловьев Николай Феопемтович (1846–1916), композитор, музыкальный критик, педагог II: 739
- Соловьева, домовладелица II: 82
- Солодовников Гаврила Гаврилович (1826–1901), богатый московский купец-«миллионщик» и домовладелец, меценат I: 400; II: 246, 271, 497
- Сомов Константин Андреевич (1869–1939), живописец и график, член объединения «Мир Искусства» I: 714
- Сорокин, купец II: 292
- Сорокин Евграф Семенович (1821–1892), исторический живописец и жанрист, учитель К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 56–59, 176, 213, 214, 223; II: 546
- Сорокин Павел Семенович (1836–1886), художник I: 56, 176, 223, 226, 227, 359, 556, 567; II: 526
- Сорычев, хирург II: 347
- Софья Алексеевна (1657–1704), царевна, правительница Российского государства (1682–1689) при двух царях, ее малолетних братьях Иване V и Петре I I: 711

- Спакович II: 59
 Спасский (о. Георгий; 1878–1934), священник II: 673
 С.П.Г., княгиня II: 340
 Спино Петр Антонович (1844–1894), физиолог, профессор Одесского университета I: 386
 Станиславский (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), актер, режиссер, теоретик сценического искусства, основатель МХТ I: 5, 722; II: 8, 141
 Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства I: 62, 124, 709, 717
 Степан Иваныч, доктор II: 432, 434, 435
 Степанида, нянька у С.П. Сергеева (см.) II: 124, 125
 Степанов, художник II: 752
 Степанов Петр Сергеевич, судебный пристав I: 416, 418
 Стоенеско Юсташ (1885–1956), румынский художник I: 95
 Стоекая, содержательница притона? I: 222
 Стрекач Гришка, крестьянин II: 100–102
 Стрекач Сергей, крестьянин
 Стрекачев Николай I: 353
 Струве Глеб Петрович (1898–1985), доктор славянских наук, профессор русской литературы Калифорнийского ун-та в Беркли (США) I: 6, 24
 Ступишин, барин I: 199, 200; II: 88, 481, 482
 Суббербиллер — см.: Цубербиллер В.В.
 Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, драматург, критик и издатель консервативной газеты «Новое время» I: 93, 160, 253, 520, 719, 726
 Суворов, владелец рыбного магазина II: 483
 Суворов Петр Иванович, живописец, коллекционер II: 753, 761, 768, 790
 Сувчинский Петр Петрович (1892–1985), музыкант и публицист, один из основателей евразийства I: 717, 718
 Судейкин Сергей Юрьевич (1882–1946), художник и декоратор I: 6, 61
 Сумбатов (Сумбатов-Южин) — см.: Южин А.И.
 Суриков Василий Иванович (1848–1916), художник I: 67, 99, 568, 570, 741, 742; II: 305, 529, 794
 Сухарев Лаврентий Панкратьевич, стрелцкий полковник (1682–1689), сохранивший верность Петру I во время стрелцкого бунта 1689 г. I: 711
 Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), генерал, военный министр (годы) I: 603, 604, 743; II: 652
 Сученко Иван, писарь I: 342
 Сучков Павел Андреевич — см.: Тучков П.А.
 Сушкины I: 34
 Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), книгоиздатель II: 786, 794
 Таманьо Франческо (1850–1905) итальянский певец (тенор), неоднократно выступавший в России I: 61; II: 336, 607
 Тamarin Вова, актер II: 15
 Танеев Александр Сергеевич (1850–1918), камергер, управляющий собственной канцелярией Николая II (см.); плодовитый композитор I: 602, 743; II: 742
 Танеев Сергей Иванович (1865–1915), композитор, профессор и директор Московской консерватории; троюродный дядя К.А. Коровина I: 602, 603, 743
 Таньон, француз-гувернер в доме С.Т. Аксакова (см.) в Абрамцево I: 68, 187–189, 390
 Таня, актриса I: 184; II: 8
 Таня, няня К.А. Коровина I: 28–31, 217, 225, 227, 236, 362, 549, 550, 587; II: 12, 184, 185, 206
 Тараканов Герасим Дементьевич, крестьянин, друг К.А. Коровина, охотник и рыболов I: 108, 167–170, 180–182, 196–198, 209–211, 249–252, 305, 332, 344, 345, 349–352, 373–380, 413, 439, 441, 454–457, 465–466, 469–472, 481–487, 490, 491, 495–496, 500, 501, 536, 539–541, 556–558, 611, 612, 621, 626, 627, 629, 634, 645, 646, 649–652, 661, 665–667, 674–676, 683, 684, 690–692; II: 19–26, 34–37, 39, 40, 72–74, 92–96, 99, 137, 143, 151–153, 155, 180–183, 190–192, 208–212, 221, 222, 225–228, 235, 236, 239–242, 246, 250, 251, 270, 272, 273, 288–290,

- 299–302, 311–317, 320–324, 326–328, 337, 338, 350–352, 354, 405, 406, 409, 417, 420, 422, 436, 440, 443–451, 453, 454, 463, 471, 472, 475–480, 482, 484, 486, 487, 490, 496, 497, 500, 502, 507–509, 516, 541–543, 563, 564, 567, 569, 570, 572, 575, 581, 615–617, 624, 627–629, 671, 678
- Тараканов Григорий, крестьянин I: 635
- Тарбеев Николай (Кокоша), приятель К.А. Коровина I: 346–349
- Тарлецкий, помещик I: 51, 52
- Тартаков Иоаким Викторович (1860–1923), певец (баритон), солист Мариинского театра II: 51
- Тата, подруга детства К.А. Коровина I: 132, 314, 315, 317, 551–554; II: 393, 394, 460–462, 524–526
- Тейлор, Карл, сын П. Тейлор (*см.*) I: 7, II: 754
- Тейлор, Полин (1910–1986), нью-йоркский адвокат, коллекционер I: 7
- Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель II: 633
- Теляковский Владимир Аркадьевич (1861–1924), управляющий московской конторой Императорских театров (до 1917) I: 64–66, 75, 103, 104, 160, 163, 229, 230, 392, 475, 477, 602, 710; II: 40, 53, 177, 178, 373, 602, 603, 611–613, 632, 633, 636, 645, 646, 656, 675, 677, 679, 790
- Тенишев Вячеслав Николаевич, кн. (1843–1903), инженер путей сообщения, основатель Тенишевского реального училища в Петербурге (1895); этнограф и коллекционер II: 608, 610, 655
- Тенишева Мария Клавдиевна, кн. (1858–1928), известная деятельница русской культуры, жена В.Н. Тенишева (*см.*) II: 609
- Терапиано Юрий Константинович (1892–1980), поэт, литературный критик I: 24
- Тербужинский II: 122
- Терешкевич II: 762, 764
- Терещенко, композитор I: 490
- Терещенко Михаил Иванович (1886–1956), крупный общественный деятель, коллекционер, продолжатель дела отца, И.Н. Терещенко (*см.*) II: 784, 794
- Терещенко Иван Николаевич (1854–1903), владелец выдающегося собрания картин II: 794
- Тесленко Николай Васильевич (1870–1942), юрист, один из учредителей кадетской партии I: 330, 332, 479; II: 633
- Тестов, ресторатор II: 345, 644
- Тэфановские, помещики Полтавской губернии II: 29
- Тефик, татарин в Гурзуфе 544
- Типочкин Капитоша, купеческий сын II: 224
- Тихомиров Михаил Андреевич (1848–1902), доктор медицины, преподаватель анатомии в Училище живописи, ваяния и зодчества (1878–1886) I: 366
- Тихон, старец II: 101
- Тихон Васильевич, дьячок II: 174
- Тихонов Николай, дворник II: 92
- Тихонов Николай (Миколка), механик II: 292
- Тициан, Вечеллио (ок. 1480–1576), итальянский живописец эпохи Возрождения I: 214; II: 262, 672, 604, 605, 673
- Тишлер, Виктор (1890–1955), австрийский художник I: 95
- Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна, графиня (1844–1919), жена Л.Н. Толстого (*см.*) II: 530
- Толстой Дмитрий Иванович, граф (1860–1940), директор Эрмитажа (1909–1918), товарищ управляющего Русским музеем Александра III (1915) II: 755, 789
- Толстой Иван Иванович (1858–1916), археолог, нумизмат, вице-президент Академии художеств (1893–1905) I: 101, II: 34, 596
- Толстой Лев Николаевич, граф (1828–1910), писатель и религиозный мыслитель I: 19, 70, 74, 93, 122–124, 241, 285, 321, 336, 390, 391, 460, 520, 730, 737; II: 60, 97, 111, 177, 358
- Толстые II: 230
- Топорков Василий Осипович (1889–1970), артист театра и кино I: 716
- Торквемада, Томас (ок. 1420–1498), основатель испанской инквизиции II: 574, 746
- Торнаги, Иола Игнатъевна (1874–1964), балерина в Частной опере С.И. Мамонто-

- ва (см.), первая жена Ф.И. Шаляпина (см.)
 II: 600, 602, 603, 614, 765, 791
- Торопов К.Д., глава торгового дома «Торопов К.Д.», владелец кондитерских магазинов фирмы «Флей» I: 727
- Тоша — см.: Серов В.А.
- Трамбле, кондитер I: 429, 735
- Трезвинский Степан Евтропиевич (1860–1942), певец (бас), выступал в Частной опере С.И. Мамонтова (см.), солист Большого театра I: 75; II: 398, 636, 660
- Третьяков Павел Михайлович (1832–1898), основатель Третьяковской галереи I: 62, 67, 101, 102, 171, 199, 564, 571; II: 8, 33, 304, 606
- Третьяков Сергей Михайлович (1834–1892), купец, московский городской голова (1873–1881); коллекционер произведений западноевропейской живописи XIX в.
- Трифон, монах I: 114, 115
- Трифон, сторож II: 421
- Трифоновский, студент I: 315
- Тропинин Василий Андреевич (1776–1857), художник-портретист I: 69, 99, 710
- Трофим, мельник II: 307
- Трофимов, содержатель гостиничных номеров I: 127
- Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), один из организаторов Октябрьской революции I: 76, 712; II: 661
- Трубенталь (Трюменталь), актер I: 334, 336; II: 38, 93, 94, 280
- Трубецкой Николай Сергеевич, кн. (1890–1938), языковед, философ, публицист, один из основателей евразийства I: 717, 718
- Трубецкой Павел Петрович, кн. (1866–1938), художник-жанрист, скульптор и иллюстратор I: 324, 544, 740
- Трутовский Константин Александрович (1826–1893), военный инженер и художник-жанрист; инспектор в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 54, 224, 366
- Труффи Иосиф Антонович (1850–1925), дирижер Частной оперы С.И. Мамонтова (см.) I: 400; II: 398, 591–593, 597–600, 683
- Трухнов, фабрикант I: 304
- Трюменталь (см.: Трубенталь)
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель I: 140, 565, 717, 733; II: 439, 466, 564, 586, 742
- Туржанский Леонард Викторович (1875–1945), художник-пейзажист I: 61
- Тучков Павел Александрович (1862–1918), камергер и председатель Верейской уездной управы Московской губернии, родственник С.И. Мамонтова (см.); он же: П.А. Сучков, друг К.А. Коровина, персонаж его рассказов об охоте и рыбной ловле I: 69, 187–189, 239, 269, 325, 345–349, 373, 374, 376, 406–409, 421, 422, 449, 457, 465–467, 469–471, 510–515, 530, 531, 534, 535, 540, 555, 621, 625–628, 650–652, 656–660, 664–666, 683, 689–691, 710; II: 23–26, 34, 35, 65–68, 96–98, 140, 145, 147–149, 150, 151, 153, 154, 188–192, 201–204, 226, 228, 247–249, 251, 265, 266, 270, 271, 279, 280, 300–302, 312–314, 322, 323, 325–327, 337, 338, 349, 350, 352, 353, 361, 362, 368, 369, 375, 413, 417–424, 437–454, 463, 464, 475–480, 483, 484, 486, 490–492, 496, 501, 502, 515, 541, 542, 550–552, 556–558, 563–565, 569, 577–579, 615, 616, 641, 642, 671, 683
- Тучкова Софья Федоровна (1867–1920), жена П.А. Тучкова (см.); занималась просветительской и благотворительной деятельностью I: 187
- Уйган, итальянский певец II: 395, 739
- Улуханов Александр Иванович (?–1941), оперный певец (бас) и режиссер I: 737
- Усатов Дмитрий Андреевич (1847–1913), певец (тенор), солист Большого театра, педагог II: 591, 676
- Усачев, офицер II: 618
- Уткин Андрей I: 405
- Уткин Дмитрий I: 123
- Утюгов Владимир Федорович II: 467
- Утюгов Федор Петрович, чиновник особых поручений II: 502–504
- Утюгова Пелагея Васильевна II: 467
- Ушаков Николай Владимирович, владелец усадьбы Верхнее Островно, где жил К.А. Коровин после 1917 г. II: 761, 763–767, 770, 791

- Ушаков Петр Лаврентьевич, майор, погиб в бою при Бородине II: 470
- Ушаков, сын П.Л. Ушакова (см.), майор, участник севастопольской обороны II: 470, 472
- Ушакова Варвара Владимировна, сестра Н.В.Ушакова (см.) II: 791
- Ушакова Софья Владимировна, сестра Н.В. Ушакова (см.) II: 791
- Ушаковы II: 608, 791
- Фаберже, Петер Карл Густавович (1846–1920), ювелир, основатель семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства I: 430, 431; II: 335
- Фальк Роберт Рафаилович (1886–1958), художник I: 61
- Фажетт (Форжет), французская певица I: 584; II: 10, 122, 123
- Федор, дворник II: 390
- Федор, работник В.С. Кузнецова I: 379, 380
- Федор Владимирович II: 431
- Федор Петрович II: 569, 570
- Федотова Гликерия Николаевна (1846–1925), актриса Малого театра I: 722; II: 498
- Феодосия Герасимовна, крестьянка I: 369, 370
- Феоктист Андреич, крестьянин, муж тетки Афросиньи (см.) I: 209, 357, 358, 375, 468, 470, 471, 480–482, 484, 501, 532, 534, 539, 541, 556, 609, 610, 642–645, 664, 665, 677, 678; II: 19, 66–68, 72, 74, 76, 151, 155, 183, 190–192, 211, 223, 247, 250, 278, 337, 349, 350, 354, 375, 399, 405, 406, 413, 440, 442, 455, 456, 463, 478–481, 484, 490, 491, 500, 508, 509, 516, 519, 521, 539, 619, 629, 674
- Фердинанд I (1861–1948), болгарский царь (1908–1918) I: 83, 712
- Фигнер Николай Николаевич (1857–1918), тенор, солист Мариинского театра II: 51–53, 498
- Фидлер Анна Яковлевна (см.: Коровина А.Я.)
- Филипп Лип (Лип-Филипп) I: 546
- Филиппов Дмитрий Иванович (1855–1908), из династии булочников Филипповых, владелец пекарен и булочных в Москве и Петербурге I: 224, 725; II: 233, 402, 426, 520, 740
- Филиппов Тертий Иванович (1825–1899), государственный контролер, член Государственного совета (1889–1899), общественный деятель; принимал активное участие в издании журналов «Москвитянин» и «Русская беседа»; автор «филипповского» сборника русских народных песен, душеприказчик М.П. Мусоргского (см.) II: 593, 608, 610, 784, 793
- Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), критик и публицист; сотрудник объединения «Мир Искусства»; двоюродный брат С.П. Дягилева (см.) I: 714
- Филька-вор I: 408, 409
- Фирдоуси (Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси; 935–ок. 1020 или 1026), персидский поэт I: 137
- Фирсанов, «миллионер» II: 212
- Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979), религиозный мыслитель, богослов и историк I: 717
- Фортуни, Мариано (1838–1874), испанский художник I: 213, 214, 566
- Фостер, Л. I: 24
- Фотинька, слуга С.И. Мамонтова (см.), карлик I: 384
- Фра Филиппо Липпи (1406–1469), флорентийский живописец эпохи Раннего Возрождения
- Франклин Бенжамин (1706–1790), американский просветитель, государственный деятель, один из авторов Декларации Независимости США (1776) I: 626, 744
- Франциск I (1494–1547), французский король (с 1515) I: 745
- Фролов, трактирщик I: 292, 684
- Фрося, горничная К.А. Коровина II: 240, 390
- Фрунсон, картежник II: 432, 433
- Фураев, трактирщик I: 145, 146; II: 328
- Фураев Ф.В., купец I: 293–296, 298, 702, 703; II: 328
- Фуфонов, инженер I: 665, 666
- Хабаров Игорь Петрович, сост. кн. «Константин Коровин. Шаляпин: Встречи и

- совместная жизнь». М., 1993 I: 16, 24; II: 747
- Харитоненко Павел Иванович (1853–1924), миллионер, коллекционер, «сахарный король»
- Харитоний II: 392, 394, 460–462, 524
- Хвойник И., исследователь творчества К.А. Коровина II: 792
- Хвостов — см.: Гвоздов
- Хвостович — см.: Гвоздович
- Хилков Михаил Иванович (1834–1909), министр путей сообщения (1895–1905) I: 532, 534, 740; II: 651
- Хитров Николай Васильевич — см.: Курлов Н.В., приятель К.А. Коровина
- Хлебников Велимир (наст. имя Виктор Владимирович; 1885–1922), поэт-футурист I: 711
- Хлудов Василий Алексеевич (1841–1913), один из представителей богатейших купцов I: 219–221
- Ховрин Степан Васильевич, боярин I: 740–741
- Холоденько, солдат II: 203
- Хорват Лева II: 393, 394
- Хорват II: 394
- Хорунжина (Хорунжева) Татьяна Федоровна, квартирная хозяйка К.А. Коровина во время его учебы в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 409–413, 511, 512, 578, 580, 581, 742
- Хохлов Павел Акинфиевич (1854–1919), певец (баритон), солист Большого театра I: 410
- Хренов, охотник I: 470, 471
- Христофор (Кривой Христофор; ?–1911), дирижер цыганского хора в ресторане «Яр», гитарист и запевала I: 272, 417, 418, 523; II: 7
- Хрусталева, ученица Училища живописи, ваяния и зодчества I: 368
- Хрущева Анна, крестьянка II: 180
- Худаков II: 504
- Царев Федор, повар, он же директор гимназии II: 338–340
- Цветаева Валерия Ивановна, единокровная сестра поэтессы М.И. Цветаевой (1883–1966), преподавательница ритмики I: 711
- Цорн, Андрес Леонард (1860–1920), шведский живописец, гравер и скульптор I: 569, 570; II: 110
- Цимбалистов (Цымбалистов) Николай, художник, ученик В.Г. Перова (см.) I: 223
- Цубербиллер (Себербиллер, Суббербиллер) Владимир Владимирович (1866–1910), товарищ прокурора Москвы I: 62, 312; II: 312
- Цурикова Г., исследователь творчества К.А. Коровина I: 21
- Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор I: 150, 215, 395, 396, 708, 709, 719, 734, 744; II: 38, 598, 614, 732, 733
- Чевышев, ювелир I: 416
- Чегелев, ювелир I: 253
- Чекунов, лечащий врач К.А. Коровина в Париже I: 13
- Челлини, Бенвенуто (1500–1571), итальянский ювелир, скульптор, художник эпохи Возрождения I: 327, 652–655, 745
- Челноков, художник-реставратор, сотрудник Русского музея II: 756, 789
- Чентоков II: 59
- Червенко Иван Федорович (1842–1903), ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, впоследствии инженер Московско-Курской железной дороги; построил мастерские для В.А. Серова (см.) и К.А. Коровина I: 62, 98, 396, 401; II: 530, 605
- Черемушкин, брендмайор II: 81
- Черкес Даниил Яковлевич (1899–1971), живописец и график, один из первых художников-мультипликаторов II: 762, 791
- Чернов (наст. фам. Эйнгорн) Аркадий Яковлевич (1858–1904), певец (баритон), солист Мариинского театра (с 1886) I: 394; II: 592
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), писатель-разночинец и критик I: 713
- Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), генерал-лейтенант русской армии, глав-

- нокомандующий русско-сербским войском в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. (1876) I: 219, 583, 724
- Чесноков, подрядчик I: 198; II: 681
- Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель I: 5, 16, 21, 61, 89–94, 115–120, 159, 178, 274, 363, 368, 370, 516–521, 700, 713, 715, 716, 722, 739; II: 304, 396, 510–512, 543–545
- Чехов Николай Павлович (1858–1889), музыкант и художник, брат А.П. Чехова (см.) II: 543
- Чехова Мария Павловна (1863–1957), художник и педагог, сестра А.П. Чехова (см.); впоследствии директор музея им. А.П. Чехова в Ялте I: 520, 521
- Чижов Федор Васильевич (1811–1877), математик, писатель, переводчик, крупный предприниматель, финансист и благотворитель, друг деда К.А. Коровина I: 31, 37, 63, 385, 389, 400, 402, 706, 710, 733, 734
- Чижова Вера I: 578, 580
- Чилипочули I: 430
- Чингисхан (Тэмуджин, Темучин; ок. 1155 или 1162–1227), полководец, организовавший завоевательные походы в Китай, Среднюю Азию и Восточную Европу; основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206) I: 173, 721; II: 111
- Чистяков Павел Петрович (1832–1919), художник, искусствовед, профессор Петербургского и Киевского университетов II: 30
- Чихачев, франт II: 503
- Чичагов, Дмитрий Николаевич (1835–1894), архитектор I: 713
- Чичагов Николай Дмитриевич (Чича), судебный следователь, друг К.А. Коровина I: 311–313, 443–445; II: 8, 211, 212
- Чоглоков Михаил Иванович (ок. 1650–1710), живописец Оружейной палаты, архитектор, автор и создатель Сухаревой башни в Москве I: 711
- Чоколов Семен Петрович (1848–1921), инженер путей сообщения, участвовал в строительстве Вологодско-Архангельской железной дороги. В 1887 г. В.А. Серов исполнил его портрет I: 62, 241, 656, 745
- Чуевский В.П., автор слов романса «Птичка» II: 741
- Чуркин Василий, разбойник I: 144–146, 293, 295, 297–304, 728; II: 307, 362, 414
- Шайкевич Андрей Анатольевич (1903–1972), балетный критик, автор некролога о К.А. Коровине в парижской газете «Последние Новости» I: 20
- Шаляпин Борис Федорович (1904–1979), сын Ф.И. Шаляпина II: 604, 679, 683
- Шаляпин Иван Яковлевич (1837–1901), отец Ф.И. Шаляпина II: 631
- Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), великий русский певец, друг К.А. Коровина I: 5, 7, 8, 13–16, 20, 21, 23, 66, 68, 75, 84, 160, 161, 230, 253, 318, 320, 328, 354, 395, 399–401, 425, 490, 491, 493, 528, 603–605, 630, 692, 705, 709, 729, 733, 740; II: 188, 189, 271, 291, 305, 373, 381, 388, 397–399, 409–411, 417, 419–421, 425–427, 447, 456, 498, 527, 529, 580–585, 592–684, 701, 739–741, 747, 765, 769, 771, 772, 785, 786, 791, 794
- Шаляпин Федор Федорович, Федя (1907–1992), киноактер, сын Ф.И. Шаляпина I: 16, 528; II: 679, 683, 684
- Шаляпин Игорь Федорович (1899–1903), сын Ф.И. Шаляпина II: 607
- Шаляпина Ирина (Ерина) Федоровна (1900–1978), дочь Ф.И. Шаляпина I: 12, 15, 18; II: 683, 765, 792
- Шаляпины I: 14
- Шамиль, имам (1797–1871), предводитель кавказских горцев Западного Дагестана и Чечни I: 346, 731
- Шанкс, Джеймс Стюарт, владелец магазина, торгующего галантерейными товарами (сумками, веерами, гребнями, мехами и перчатками), а также основатель мастерской, выпускавшей серебряные украшения, в том числе оправы для английского фарфора и фаянса знаменитых марок II: 638, 747
- Шатилов II: 329, 330
- Шаулов, приятель К.А. Коровина II: 329
- Шварц, чиновник I: 527
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт, художник, революционный демократ I: 729

- Шекспир, Уильям (1564–1616), английский драматург, писатель и поэт I: 122, 129, 211, 238, 424–426, 609, 716, 733; II: 97, 498, 683
- Шербаев, купец II: 10
- Шереметев II: 304
- Шехтель Франц Осипович (1859–1926), архитектор, друг Коровина по Училищу живописи, ваяния и зодчества I: 420; II: 59, 728
- Шешкевич, банкир I: 84
- Шибает Арсений Григорьевич, известный купец I: 416–419; II: 198
- Шибнев, купец II: 334
- Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих, фон (1759–1805), немецкий поэт, философ I: 95, 734; II: 425, 741
- Шиловский Константин, служащий Ярославско-Костромского земельного банка, приятель К.А. Коровина II: 172, 732
- Шишкин Иван Иванович (1832–1898), русский художник–пейзажист II: 97, 99, 654
- Шишкин Николай Иванович (?–1911), гитарист и певец, руководитель цыганского хора I: 731
- Шкафер Василий Петрович (1867–1937), артист оперы (тенор), режиссер и солист Частной оперы С.И. Мамонтова (1897–1904), режиссер и солист Большого театра (1904–1906, 1909–1923), педагог I: 708
- Шмит I: 390
- Шнейер, жулик I: 582; II: 528, 529
- Шопенгауэр Артур (1788–1860), немецкий философ I: 173
- Шпехтель — см.: Шехтель Ф.О.
- Шрам Розалия Викентьевна II: 512
- Штемберг Виктор Карлович (1863–?), живописец II: 762, 791
- Штеренберг Давид Петрович (1881–1948), живописец, заведующий отделом ИЗО Наркомпроса II: 791
- Штиглиц Александр Людвигович (1814–1884), барон, финансист, меценат I: 714
- Штраус, Иоганн (1825–1899), австрийский композитор и дирижер II: 195, 734
- Штюрге (Штюрьме), комиссар I: 72, 195
- Шуберт Франц (1797–1828), австрийский композитор I: 198, 450, 562; II: 196, 784
- Шувалов Иван Иванович (1727–1797), вельможа елизаветинских времен, государственный деятель; первый куратор Московского университета
- Шульц Мишка, адвокат II: 318
- Шуман, Роберт (1810–1856), немецкий композитор I: 730; II: 683
- Шумбрунер II: 65
- Шуминский I: 312
- Шурка-телеграфист II: 99, 133
- Шустов Николай Леонтьевич (?–1898), предприниматель; владелец крупнейшего предприятия по производству алкогольной продукции, а также коньячно-го завода в Армении I: 24, 727, 728
- Щегловы II: 57
- Щепкин Михаил Семенович (1788–1863), русский актер I: 742
- Щербатов II: 304
- Щербатов С., автор кн. «Художники в ушедшей России» I: 24
- Щербатов Сергей Александрович, кн. (1875–1962), художник, коллекционер, член правления Третьяковской галереи, Училища живописи, ваяния и зодчества, Румянцевского музея I: 67
- Щербиновский Сергей Анисимович, приятель К.А. Коровина в Училище живописи, ваяния и зодчества I: 409, 472–475, 578; II: 511
- Щукин Яков Васильевич (ум. 1926), владелец сада «Эрмитаж» в Москве (открыт в 1894 г.) II: 630
- Щуровский Владимир Андреевич (1852–1941 или 1939?), студент, впоследствии известный московский врач-терапевт II: 511, 771, 792
- Эйлер — см.: Эллерт Н.Л.
- Эйнем, Теодор Фердинанд фон (?–1878), немецкий фабрикант-кондитер I: 78, 107, 712; II: 661
- Эллерт (Эйлер, Эллер) Николай Людвигович (1831–1901), художник-пейзажист I: 558, 560; II: 99
- Эмилия Карловна I: 139
- Эмма Августовна, жена К.И. Гаснера (см.) I: 202, 203

Эмма Августовна, жена начальника станции Карла Ивановича (см.) II: 572

Эмма Августовна, ученица А.К. Саврасова (см.) I: 225, 576

Энгельгард Александр Платонович (1845–1903), архангельский губернатор (1893–1901) I: 283, 527; II: 452

Эфрос Николай Ефимович (1867–1923), театральный критик и историк театра I: 125, 161

Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857–1927), актер, драматург, театральный деятель; директор Малого театра (с 1923) I: 83, 160, 183, 458, 459, 712, 722; II: 15, 16, 96, 141, 242, 401, 425, 498, 568

Юнашев Николай Петрович, артист оперного театра II: 294–296

Юрий, Юрий Сергеевич — см.: Сахновский Ю.С.

Юрок, Сол (наст. имя и фам. Соломон Израилевич Гурков; 1888–1974), американский импресарио, театральный деятель II: 677

Юсупов Феликс Феликсович (1887–1957), князь, муж племянницы Николая II, соучастник убийства Г. Распутина (см.) I: 725

Юсуповы, княжеский род II: 304

Яблочкина Александра Александровна (1866–1964), актриса Малого театра (с 1888) I: 83, 183

Языков Николай Михайлович (1803–1846/47), поэт I: 706, 731

Яковлев Михаил Николаевич (1880–1942), живописец, график, художник-декоратор, помощник К.А. Коровина по постановочной работе в Большом театре II: 757, 790

Яковлев Павел Филиппович (1853–1921), художник-жанрист I: 223, 224, 359, 567, 724, 725, 741; II: 330, 538

Якубович, врач II: 752

Якунчиков, купец II: 198

Якунчикова Мария Федоровна (1864–1952), жена Т.С. Морозова (см.), старшего сына С.И. Морозова, участница Абрамцевского художественного кружка I: 187

Ялычев Ленька, крестьянин I: 187

Янов Александр Степанович (1857–1918), живописец, театральный художник; работал в Частной опере С.И. Мамонтова II: 538

Янчевский Н.Д., автор статьи в «Парижском вестнике» I: 23

Яньшев, художник II: 112

Ярлычев, крестьянин II: 193

Ярославский Емельян Михайлович (наст. фам. и имя Губельман Миней Израилевич; 1878–1943), деятель коммунистической партии, историк, публицист I: 711

Ярошенко Николай Александрович (1846–1898), живописец-жанрист I: 100, 724

Яшка, проводник II: 490

Яшка, слуга в клубе II: 376

Яшков II: 132

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы 1936-1939

Праздник в Москве	7
Хвостики	11
Новый год	14
Рождество Христово	17
Омшайник	19
Охота на волков	23
Михаил Александрович Врубель	27
С лучом	34
Володя	37
Кавказ	40
<i>Дарьяльское ущелье</i>	42
<i>Станция Казбек</i>	43
<i>Станции Гудаур и Млеты</i>	47
«Демон» (<i>Постановка оперы Рубинштейна на Императорской сцене в Петербурге</i>)	51
Постом	54
Вербное воскресенье	62
Светлый день	65
Вечер весны	69
Чужая жена	72
На рыбной ловле	74
Май	77
В отставке	81
На реке	85
Львы	89
Мимикрия	92
Собачий Пистолет	96
Саввинская слобода	99
Мушки	103
На мельнице	106
Споры	109
Благодетель	112
На охоте	115
Семейные недоразумения	118
Подкидыш	121
Любовное недоразумение	126
Женщины	129
Водяница	132

Разбойники	136
Волки (<i>Охотничий рассказ</i>)	139
Английские рябчики	143
Первый снег	147
В дождичек	151
В деревенской глуши	154
Шарик	157
Утенок (<i>М.П. Садовский</i>)	161
Испания	164
«Чертова»	173
Старый этюд	177
Мадьяры	180
Верка	183
В сочельник	186
Новый год	189
Зимняя сказка	192
Ссоры	195
Тихий человек	198
Естественная история	201
Воспоминания детства (<i>О Пушкине</i>)	205
Встречи с А.А. Пушкиным	206
Деньги	208
В снегах	211
В детстве	214
Дуновение весны	219
Масленица	222
Глухариный ток	225
Помещик	228
Геркулесовы столпы	232
Философы	234
Душа томится...	237
Весной (<i>Охотничий рассказ</i>)	239
Повара	243
Пасхальная ночь	245
На Пасху	247
На Клязьме	251
Тобик	254
Московские чудаки	262
В палатке	256
Зазуля	264
Дачи	267
Пугало	270
Лето	273
Скорбь	275
К Белому морю...	278
Склероз	281
Куриная Слепота	283
Русское лето	287

На Волге	290
Жара	293
Мораль	297
«Ихтиолух» (<i>Охотничий рассказ</i>)	299
Осенняя грусть	303
Грезино	305
Мордобой	307
Осенний дождь	309
Октябрь	312
Темный бор	315
Рыболовы	318
У лесника	321
«Монархисты»	323
Гришка-разбойник	325
Первый снег	328
Жена	331
Надо сказать спасибо!	333
Мороз	336
Директор	338
Котелок	341
Московская зима	343
Канун праздника	346
Рождественская ночь	349
Звезда Вифлеемская	351
Святки	354
Чепуха	358
Под Рождество	360
Стрекулист	363
Мастер	365
Самоед	368
Скучные дни	371
На Масленице	373
Волшебный стол	376
Недоразумение	379
Масленица	381
Масленица	384
В Великом посту	387
Красная горка	390
У Харитония в Огородниках	392
Калейдоскоп	395
Памяти друга (<i>На смерть Шалапина</i>)	397
Поросенок	399
На Пасхе	402
Пасха	404
Арманьяк	407
Умер Шалапин... ..	409
Бочка с водой	411
Песочек	414

«Петушок»	416
Колодезь	419
Колдун	421
Штрихи из прошлого (О Шаляпине)	424
Шутик	427
Озабоченные люди	430
Натурщица	432
На природе	435
В деревне	437
Лечение	440
Слуховая галлюцинация	443
Охотники	446
У стога	448
В жару	452
Август	454
В Черемушках	457
Тата	460
Кудесник	462
Буживаль	465
Пассивная оборона	467
Майор Ушаков	469
Телеграмма	472
Моховое болото	475
Крик в ночи	477
Осенней порой	480
Шутки	483
Осенний вечер	485
Случай	487
В лесу	490
Бабушка	492
Перед праздником	495
«Чванство»	498
Рождественская ночь	500
Новый год	502
Новое счастье	505
Под Крещение	507
Татьянин день	509
Необыкновенный сон	512
Блины	514
Капустник	517
Грибной рынок	519
В лавке у Березкина	522
Из ранних лет	524
Плевако (Из воспоминаний)	527
Пирог	530
Светлое Христово Воскресение	532
Исцеление	533
В былые времена	536

Неуживчивый человек	538
Весенние дни	541
На большой дороге	543
Доктор	546
Ночь	548
В майские дни	551
Рыболовы	553
«Поэтесса»	555
Веселье...	558
Княгиня	561
В Петров день	563
Философия	566
В дни революции	568
Война	570
Спорщики	573
В дождливый день	575
На Северной Двине	577
Медиум	580
День в природе	583
Чертополох	586

Шалапин. Встречи и совместная жизнь

Первое знакомство	591
В Нижнем Новгороде	593
В Москве	598
Свадьба	600
Частная опера	602
Шалапин и Врубель	605
Конец Частной оперы	607
Обед у кн. Тенишевой	609
Возвращение в Императорские театры	611
Спектакль в честь Лубэ	612
Скандал	613
Весна	615
На отдыхе	617
Приезд Горького	620
На рыбной ловле	622
Фабрикант	625
На охоте	627
Купанье	630
1905 год	631
Слава	633
На репетициях	636
Камень	637
Антрепренерша из Баку	637
Деньги	638

Шляпин и Серов	640
Когда Шляпин не пел	641
Цыганский романс	641
«Демон»	642
На Волге	645
В Крыму	651
«Мир Искусства». Шляпин за границей.	654
Дом в деревне	656
Октябрь	657
Отъезд	660
Первая встреча в Париже	664
Дегустатор	666
Странный концерт	667
Телеграмма	668
«Русалка»	668
Вспышка гнева	669
Антиквар	670
Домье	672
Молебен	673
Болезнь	674
Робость	676
На Марне	677
Последняя встреча	679
Дурной сон	682

Из неопубликованного

Охота... рыбная ловля... Коля Куров	687
Примечания	727

Письма

К.А. Коровин: неизданные письма (<i>из последних поступлений в Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи</i>)	751
Алфавитный перечень рассказов	795
Указатель имен	800

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ФОТОГРАФИЙ

Государственный Исторический музей, Москва:

К.А. Коровин. Москворецкий мост. 1914 (на обложке кн. 1)

Государственная Третьяковская галерея (Отдел рукописей), Москва:

К.А. Коровин. Фактория на Мурмане. Панно для павильона «Север» на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. 1896

Алеша Коровин, сын К.А. Коровина. Москва, 1910-е

К.А. Коровин. Москва, 1910-е (2 фото)

Анна Яковлевна Коровина (урожд. Фидлер), жена К.А. Коровина, с сыном Алешей. Москва, 1910-е

И.К. Крайтор. 1913

Страница письма К.А. Коровина И.К. Крайтору от 18 ноября 1915 г. Москва

К.А. Коровин среди преподавателей и студентов Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Москва, 1917

К.А. Коровин. 1920-е

К.А. Коровин. Париж, 1930–1937 (2 фото)

К.А. Коровин, П.А. Суворов с женой. Охотино. 1921

К.А. Коровин за работой. Справа стоит П.А. Суворов.

Охотино. 1921

Окрестности Охотина. 1921

К.А. Коровин с художником Гиппелем. 1922

К.А. Коровин. У балкона. Испанки Ленора и Ампара. 1888–1889

К.А. Коровин. Бумажные фонари. Портрет А.Я. Фидлер, жены художника. 1898

А.К. Коровин. Зимой. 1894

К.А. Коровин. Рыбы, вино и фрукты. 1916

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург:

К.А. Коровин. Интерьер Охотина. 1913

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник

В.Д. Поленова, Тульская область:

В.А. Серов. Левитан в одежде бедуина. 1887 г.

К.А. Коровин. За чайным столом. 1888

К.А. Коровин. Настурции. 1888

К.А. Коровин. Мальвы в Саратовской губернии. 1889 (на обложке кн. 2)

Областной художественный музей, Тула:

К.А. Коровин. Архангельский порт на Двине. 1894

Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Переславль-Залесский:

Дом К.А. Коровина в Охотине. Построен в 1915 г. по проекту самого художника. Фотография первой половины XX в.

Дом К.А. Коровина в Охотине. Современная фотография (фото А. Масальской)

С.А. Виноградов. Охотино. Интерьер (фото)

Керосиновая лампа из дома К.А. Коровина в Охотине

Дача Ф.И. Шалапина (недалеко от станции Итларь). Фотография начала XX в.

У костра. На переднем плане: в центре — стоит К.А. Коровин, слева — сидит Н.А. Соколов, справа (с ложкой) — Ф.И. Шалапин. 1905

После охоты. В центре: К.А. Коровин; слева от него: Ф.И. Шалапин; справа: учителя со станции Итларь — Рябов и Казинов Ратухино. 1911

Мельница Новенькая на реке Нерли. Фотография начала XX в.

Собрание П. Тейлор, Библиотека Гарвардского университета, США:

К.А. Коровин. Портрет С.П. Дягилева

К.А. Коровин. Сцена из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Эскиз. 1917

К.А. Коровин. Эскиз костюма к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Ярославна. 1922

К.А. Коровин. Эскиз костюма к опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Подруга Кончаковны. 1928

К.А. Коровин. Эскиз театрального костюма. Бабочка

К.А. Коровин. Эскиз театрального костюма. Испанец

К.А. Коровин. Сцена из оперы П.И. Чайковского «Лебединое озеро». Эскиз

К.А. Коровин. Сцена из оперы Дж. Верди «Корсар». Эскиз

К.А. Коровин. Эскиз костюма к балету Ц. Пуни «Конек-Горбунок». Старик-отец. 1938

К.А. Коровин. Эскиз костюма к опере Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Генерал Полкан

Коровин К.А.

«То было давно... там... в России...»: Воспоминания, рассказы, письма: В двух кн. Кн. 2. Рассказы (1936–1939); Шаляпин: Встречи и совместная жизнь; Неопубликованное; Письма / К.А. Коровин. Сост. Т.С. Ермолаевой; прим. Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной. — М.: Русский путь, 2010. — 848 с., ил.

ISBN 978 5-85557-347-1

ISBN 978 5-85557-349-5

В книге второй настоящего издания публикуются рассказы 1936–1939 гг., воспоминания «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», в разделе «Из неопубликованного» — рукопись «Охота... рыбная ловля... Коля Куров», на страницах которой обнаружены три неизвестные ранее карандашные зарисовки художника, — как и рукопись, они публикуются впервые. Раздел «Письма» подготовлен сотрудниками Отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи; в него входит коллекция писем К.А. Коровина разных лет (из новых поступлений).

УДК 882,0

ББК 84(2Рос)6

Коровин Константин Алексеевич
«ТО БЫЛО ДАВНО... ТАМ... В РОССИИ...»

ВОСПОМИНАНИЯ, РАССКАЗЫ, ПИСЬМА

*Книга вторая*Редактор *Т. Есина*Корректор *И. Леонтьева*Компьютерная верстка *Л. Фирсовой*

Подписано в печать 24.02.10. Формат 70х100/16. Бумага писчая.
Гарнитура MinionC. Усл. печ. л. 68,37. Тираж 3000 экз. Заказ № 535

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru.
Сайт издательства: www.rp-net.ru. Сайт магазина «Русское Зарубжье»: www.kmrz.ru

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46